СТАЛИНГРАД



pocketbook

ЖИЗНЬ И СУДЬБА

Василий Гроссман

Жизнь и судьба

Василий Семёнович Гроссман

Аннотация
Василий Семенович Гроссман. Жизнь и судьба
Часть первая
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

72
73
74
Часть вторая
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Часть третья
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

62
63

Аннотация

Масштабный, эпический роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба», некогда арестованный, со сложной судьбой появления в печати, детективной историей восстановления рукописи, – откровение своей эпохи. Его сравнивают по масштабу охвата событий с «Войной и миром» Льва Толстого. Роман пропитан истинным патриотизмом, свободой духа, неподдельной смелостью выражения мысли. Автор утверждает, что именно социальная покорность ведет к созданию мира зла. Сам факт написания этого произведения доказал, что противостоять тоталитарной системе возможно.

Василий Семенович Гроссман
Жизнь и судьба

Посвящается моей матери Екатерине Савельевне Гроссман

© Гроссман В. С., наследники, 2017
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017

Часть первая

1

Над землей стоял туман. На проводах высокого напряжения, тянувшихся вдоль шоссе, отсвечивали отблески автомобильных фар.

Дождя не было, но земля на рассвете стала влажной, и, когда вспыхивал запретительный светофор, на мокром асфальте появлялось красноватое расплывчатое пятно. Дыхание лагеря чувствовалось за много километров, — к нему тянулись, все сгущаясь, провода, шоссейные и железные дороги. Это было пространство, заполненное прямыми линиями, пространство прямоугольников и параллелограммов, рассекавших землю, осеннее небо, туман.

Протяжно и негромко завыли далекие сирены.

Шоссе прижалось к железной дороге, и колонна автомашин, груженных бумажными пакетами с цементом, шла некоторое время почти на одной скорости с бесконечно длинным товарным эшелоном. Шоферы в военных шинелях не оглядывались на идущие рядом вагоны, на бледные пятна человеческих лиц.

Из тумана вышла лагерная ограда — ряды проволоки, натянутые между железобетонными

столбами. Бараки тянулись, образуя широкие, прямые улицы. В их однообразии выражалась бесчеловечность огромного лагеря.

В большом миллионе русских деревенских изб нет и не может быть двух неразличимо схожих. Все живое — неповторимо. Немыслимо тождество двух людей, двух кустов шиповника… Жизнь глохнет там, где насилие стремится стереть ее своеобразие и особенности.

Внимательный и небрежный глаз седого машиниста следил за мельканием бетонных столбиков, высоких мачт с вращающимися прожекторами, бетонированных башен, где в стеклянном фонаре виднелся охранник у турельного пулемета. Машинист мигнул помощнику, паровоз дал предупредительный сигнал. Мелькнула освещенная электричеством будка, очередь машин у опущенного полосатого шлагбаума, бычий красный глаз светофора.

Издали послышались гудки идущего навстречу состава. Машинист сказал помощнику:

— Цуккер идет, я узнаю его по бедовому голосу, разгрузился и гонит на Мюнхен порожняк.

Порожний состав, грохоча, встретился с идущим к лагерю эшелоном, разодранный воздух затрещал, заморгали серые просветы между

вагонами, вдруг снова пространство и осенний утренний свет соединились из рваных лоскутов в мерно бегущее полотно.

Помощник машиниста, вынув карманное зеркальце, поглядел на свою запачканную щеку. Машинист движением руки попросил у него зеркальце.

Помощник сказал взволнованным голосом:

— Ах, геноссе Апфель, поверьте мне, мы могли бы возвращаться к обеду, а не в четыре часа утра, выматывая свои силы, если б не эта дезинфекция вагонов. И как будто бы дезинфекцию нельзя производить у нас на узле.

Старику надоел вечный разговор о дезинфекции.

— Давай-ка продолжительный, — сказал он, — нас подают не на запасный, а прямо к главной разгрузочной площадке.

2

В немецком лагере Михаилу Сидоровичу Мостовскому впервые после Второго Конгресса Коминтерна пришлось всерьез применить свое знание иностранных языков. До войны, живя в Ленинграде, ему нечасто приходилось говорить с иностранцами. Ему теперь вспомнились годы лондонской и швейцарской эмиграции: там, в товариществе революционеров, говорили, спорили, пели на многих языках Европы.

Сосед по нарам, итальянский священник Гарди, сказал Мостовскому, что в лагере живут люди пятидесяти шести национальностей.

Судьба, цвет лица, одежда, шарканье шагов, всеобщий суп из брюквы и искусственного саго, которое русские заключенные называли «рыбий глаз», — все это было одинаково у десятков тысяч жителей лагерных бараков.

Для начальства люди в лагере отличались номерами и цветом матерчатой полоски, пришитой к куртке: красной — у политических, черной — у саботажников, зеленой — у воров и убийц.

Люди не понимали друг друга в своем разноязычии, но их связывала одна судьба. Знатоки

молекулярной физики и древних рукописей лежали на нарах рядом с итальянскими крестьянами и хорватскими пастухами, не умевшими подписать свое имя. Тот, кто некогда заказывал повару завтрак и тревожил экономку своим плохим аппетитом, и тот, кто ел соленую треску, рядом шли на работу, стуча деревянными подошвами и с тоской поглядывали, не идут ли Kostträger — носильщики бачков, — «костриги», как их называли русские обитатели блоков.

В судьбе лагерных людей сходство рождалось из различия. Связывалось ли видение о прошлом с садиком у пыльной итальянской дороги, с угрюмым гулом Северного моря или с оранжевым бумажным абажуром в доме начальствующего состава на окраине Бобруйска, — у всех заключенных до единого прошлое было прекрасно.

Чем тяжелей была у человека долагерная жизнь, тем ретивей он лгал. Эта ложь не служила практическим целям, она служила прославлению свободы: человек вне лагеря не может быть несчастлив…

Этот лагерь до войны именовался лагерем для политических преступников.

Возник новый тип политических заключенных, созданный национал-социализмом, — преступ-

ники, не совершившие преступлений.

Многие заключенные попали в лагерь за высказанные в разговорах с друзьями критические замечания о гитлеровском режиме, за анекдот политического содержания. Они не распространяли листовок, не участвовали в подпольных партиях. Их обвиняли в том, что они бы могли все это сделать.

Заключение во время войны военнопленных в политический концентрационный лагерь являлось также нововведением фашизма. Тут были английские и американские летчики, сбитые над территорией Германии, и представлявшие интерес для гестапо командиры и комиссары Красной Армии. От них требовали сведений, сотрудничества, консультаций, подписей под всевозможными декларациями.

В лагере находились саботажники — прогульщики, пытавшиеся самовольно покинуть работу на военных заводах и строительствах. Заключение в концентрационные лагеря рабочих за плохую работу было также приобретением национал-социализма.

В лагере находились люди с сиреневыми лоскутами на куртках — немецкие эмигранты, уехавшие из фашистской Германии. И в этом

было нововведение фашизма — покинувший Германию, как бы лояльно он ни вел себя за границей, становился политическим врагом.

Люди с зелеными полосами на куртках, — воры и взломщики, были в политическом лагере привилегированной частью; комендатура опиралась на них в надзоре над политическими.

Во власти уголовного над политическим заключенным также проявлялось новаторство национал-социализма.

В лагере находились люди такой своеобразной судьбы, что не было изобретено цвета лоскута, отвечающего подобной судьбе. Но и индусу, заклинателю змей, персу, приехавшему из Тегерана изучать германскую живопись, китайцу, студенту-физику, национал-социализм уготовил место на нарах, котелок баланды и двенадцать часов работы на плантаже.

Днем и ночью шло движение эшелонов к лагерям смерти, к концентрационным лагерям. В воздухе стояли стук колес, рев паровозов, гул сапог сотен тысяч лагерников, идущих на работу с пятизначными цифрами синих номеров, пришитых к одежде. Лагеря стали городами Новой Европы. Они росли и ширились со своей планировкой, со своими переулками и площадями,

больницами, со своими базарами-барахолками, крематориями и стадионами.

Какими наивными и даже добродушно-патриархальными казались ютившиеся на городских окраинах старинные тюрьмы в сравнении с этими лагерными городами, по сравнению с багрово-черным, сводившим с ума заревом над кремационными печами.

Казалось, что для управления громадой репрессированных нужны огромные, тоже почти миллионные армии надсмотрщиков, надзирателей. Но это было не так. Неделями внутри бараков не появлялись люди в форме СС! Сами заключенные приняли на себя полицейскую охрану в лагерных городах. Сами заключенные следили за внутренним распорядком в бараках, следили, чтобы к ним в котлы шла одна лишь гнилая и мерзлая картошка, а крупная, хорошая отсортировывалась для отправки на армейские продовольственные базы.

Заключенные были врачами, бактериологами в каторжных больницах и лабораториях, дворниками, подметавшими каторжные тротуары, они были инженерами, дававшими каторжный свет, каторжное тепло, детали каторжных машин.

Свирепая и деятельная лагерная полиция — ка-

по, носившая на левых рукавах широкую желтую повязку, лагерэльтеры, блокэльтеры, штубенэльтеры — охватывала своим контролем всю вертикаль лагерной жизни, от общелагерных дел до частных событий, происходящих ночью на нарах. Заключенные допускались к сокровенным делам лагерного государства — даже к составлению списков на селекцию, к обработке подследственных в дункелькамерах — бетонных пеналах. Казалось, исчезни начальство, заключенные будут поддерживать ток высокого напряжения в проволоке, чтобы не разбегаться, а работать.

Эти капо и блокэльтеры служили коменданту, но вздыхали, а иногда даже и плакали по тем, кого отводили к кремационным печам… Однако раздвоение это не шло до конца, своих имен в списки на селекцию они не вставляли. Особо зловещим казалось Михаилу Сидоровичу то, что национал-социализм не приходил в лагерь с моноклем, по-юнкерски надменный, чуждый народу. Национал-социализм жил в лагерях по-свойски, он не был обособлен от простого народа, он шутил по-народному, и шуткам его смеялись, он был плебеем и вел себя по-простому, он отлично знал и язык, и душу, и ум тех, кого лишил

свободы.

3

Мостовского, Агриппину Петровну, военного врача Левинтон и водителя Семенова после того, как они были задержаны немцами августовской ночью на окраине Сталинграда, доставили в штаб пехотной дивизии.

Агриппину Петровну после допроса отпустили, и по указанию сотрудника полевой жандармерии переводчик снабдил ее буханкой горохового хлеба и двумя красными тридцатками; Семенова присоединили к колонне пленных, направлявшихся в шталаг в районе хутора Вертячего. Мостовского и Софью Осиповну Левинтон отвезли в штаб армейской группы.

Там Мостовской в последний раз видел Софью Осиповну — она стояла посреди пыльного двора, без пилотки, с сорванными знаками различия, и восхитила Мостовского угрюмым, злобным выражением глаз и лица.

После третьего допроса Мостовского погнали пешком к станции железной дороги, где грузился эшелон с зерном. Десять вагонов были отведены под направленных на работу в Германию девушек и парней — Мостовской слышал женские

крики при отправлении эшелона. Его заперли в маленькое служебное купе жесткого вагона. Сопровождавший его солдат не был груб, но при вопросах Мостовского на лице его появлялось какое-то глухонемое выражение. Чувствовалось при этом, что он целиком занят одним лишь Мостовским. Так опытный служащий зоологического сада в постоянном молчаливом напряжении следит за ящиком, в котором шуршит, шевелится зверь, совершающий путешествие по железной дороге. Когда поезд шел по территории польского генерал-губернаторства, в купе появился новый пассажир — польский епископ, седой, высокий красавец с трагическими глазами и пухлым юношеским ртом. Он тотчас стал рассказывать Мостовскому о расправе, учиненной Гитлером над польским духовенством. Говорил он по-русски с сильным акцентом. После того как Михаил Сидорович обругал католичество и папу, он замолчал и на вопросы Мостовского отвечал кратко, по-польски. Через несколько часов его высадили в Познани.

В лагерь Мостовского привезли, минуя Берлин… Казалось, уже годы прошли в блоке, где содержались особо интересные для гестапо заключенные. В особом блоке жизнь шла сытнее,

чем в рабочем лагере, но это была легкая жизнь лабораторных мучеников-животных. Человека кликнет дежурный к двери — оказывается, приятель предлагает по выгодному паритету обменять табачок на пайку, и человек, ухмыляясь от удовольствия, возвращается на свои нары. А второго точно так же окликнут, и он, прервав беседу, отойдет к дверям, и уже собеседник не дождется окончания рассказа. А через денек подойдет к нарам капо, велит дежурному собрать тряпье, и кто-нибудь искательно спросит у штубенэльтера Кейзе, можно ли занять освободившиеся нары? Привычна стала дикая смесь разговоров о селекции, кремации трупов и о лагерных футбольных командах, — лучшая: плантаж — Moorsoldaten[1], силен ревир, лихое нападение у кухни, польская команда «працефикс» не имеет защиты. Привычны стали десятки, сотни слухов о новом оружии, о раздорах среди национал-социалистических лидеров. Слухи всегда были хороши и лживы, — опиум лагерного народа.

[1] Примечания: 1
Болотные солдаты (*нем.*).

4

К утру выпал снег и, не тая, пролежал до полудня. Русские почувствовали радость и печаль. Россия дохнула в их сторону, бросила под бедные, измученные ноги материнский платок, побелила крыши бараков, и они издали выглядели домашними, по-деревенски.

Но блеснувшая на миг радость смешалась с печалью и утонула в печали.

К Мостовскому подошел дневальный, испанский солдат Андреа, и сказал на ломаном французском языке, что его приятель писарь видел бумагу о русском старике, но писарь не успел прочесть ее, начальник канцелярии прихватил ее с собой.

«Вот и решение моей жизни в этой бумажке», — подумал Мостовской и порадовался своему спокойствию.

— Но ничего, — сказал шепотом Андреа, — еще можно узнать.

— У коменданта лагеря? — спросил Гарди, и его огромные глаза блеснули чернотой в полутьме. — Или у самого представителя Главного управления безопасности Лисса?

Мостовского удивляло различие между дневным и ночным Гарди. Днем священник говорил о супе, о вновь прибывших, сговаривался с соседями об обмене пайки, вспоминал острую, прочесноченную итальянскую еду.

Военнопленные красноармейцы, встречая его на лагерной площадке, знали его любимую поговорку: «тути капути», и сами издали кричали ему: «Папаша Падре, тути капути», — и улыбались, словно слова эти обнадеживали. Называли они его — папаша Падре, считая, что «падре» его имя.

Как-то поздним вечером содержащиеся в особом блоке советские командиры и комиссары стали подшучивать над Гарди, действительно ли он соблюдал обет безбрачия.

Гарди без улыбки слушал лоскутный набор французских, немецких и русских слов.

Потом он заговорил, и Мостовской перевел его слова. Ведь русские революционеры ради идеи шли на каторгу и на эшафот. Почему же его собеседники сомневаются, что ради религиозной идеи человек может отказаться от близости с женщиной? Ведь это несравнимо с жертвой жизни.

— Ну, не скажите, — проговорил бригадный комиссар Осипов.

Ночью, когда лагерники засыпали, Гарди становился другим. Он стоял на коленях на нарах и молился. Казалось, в его исступленных глазах, в их бархатной и выпуклой черноте может утонуть все страдание каторжного города. Жилы напрягались на его коричневой шее, словно он работал, длинное апатичное лицо приобретало выражение угрюмого счастливого упорства. Молился он долго, и Михаил Сидорович засыпал под негромкий быстрый шепот итальянца. Просыпался Мостовской обычно, поспав полтора-два часа, и тогда Гарди уже спал. Спал итальянец бурно, как бы соединяя во сне обе свои сущности, дневную и ночную, храпел, смачно плямкал губами, скрипел зубами, громоподобно испускал желудочные газы и вдруг протяжно произносил прекрасные слова молитвы, говорящие о милосердии Бога и Божьей Матери.

Он никогда не укорял старого русского коммуниста за безбожие, часто расспрашивал его о Советской России.

Итальянец, слушая Мостовского, кивал головой, как бы одобряя рассказы о закрытых церквах и монастырях, об огромных земельных угодьях, забранных Советским государством у Синода.

Его черные глаза с печалью смотрели на ста-

рого коммуниста, и Михаил Сидорович сердито спрашивал:

— Vous me comprenez?[2]

Гарди улыбался своей обычной, житейской улыбкой, той, с которой говорил о рагу и о соусе из помидоров.

— Je comprends tout ce que vous dites, je ne comprends pas seulement, pourquoi vous dites cela[3].

Находившиеся в особом блоке русские военнопленные не были освобождены от работ, и поэтому Мостовской виделся и разговаривал с ними лишь в поздние вечерние и ночные часы. На работу не ходили генерал Гудзь и бригадный комиссар Осипов.

Частым собеседником Мостовского был странный, неопределенного возраста человек — Иконников-Морж. Спал он на худшем месте во всем бараке — у входной двери, где его обдавало холодным сквозняком и где одно время стоял огромный ушастый чан с гремящей крышкой — параша.

Русские заключенные называли Иконникова

---

[2] Примечания: 2

Вы меня понимаете? (*фр.*)

[3] Примечания: 3

Я понимаю все, что вы говорите, я не понимаю только, почему вы это говорите (*фр.*).

«старик-парашютист», считали его юродивым и относились к нему с брезгливой жалостью. Он обладал невероятной выносливостью, той, которая отличает лишь безумцев и идиотов. Он никогда не простужался, хотя, ложась спать, не снимал с себя промокшей под осенним дождем одежды. Казалось, что таким звонким и ясным голосом может действительно говорить лишь безумный.

Познакомился он с Мостовским таким образом: Иконников-Морж подошел к Мостовскому и молча долго всматривался ему в лицо.

— Что скажет доброго товарищ? — спросил Михаил Сидорович и усмехнулся, когда Иконников нараспев произнес:

— Сказать доброе? А что есть добро?

Слова эти вдруг перенесли Михаила Сидоровича в пору детства, когда приезжавший из семинарии старший брат заводил с отцом спор о богословских предметах.

— Вопрос с седой бородкой, — сказал Мостовской, — о нем еще думали буддисты и первые христиане. Да и марксисты немало потрудились над его разрешением.

— И решили? — с интонацией, рассмешившей Мостовского, спросил Иконников.

— Вот Красная Армия, — сказал Мостовской, —

сейчас решает его. А в тоне вашем, простите, содержится некий елей, нечто этакое, не то поповское, не то толстовское.

— Иначе не может быть, — сказал Иконников, — ведь я был толстовцем.

— Вот так фунт, — сказал Михаил Сидорович. Странный человек заинтересовал его.

— Видите ли, — сказал Иконников, — я убежден, что гонения, которые большевики проводили после революции против церкви, были полезны для христианской идеи, ведь церковь пришла в жалкое состояние перед революцией.

Михаил Сидорович добродушно сказал:

— Да вы прямо диалектик. Вот и мне пришлось увидеть евангельское чудо на старости лет.

— Нет, — хмуро проговорил Иконников. — Ведь для вас цель ваша оправдывает средства, а средства ваши безжалостны. Во мне вы не видите чуда — я не диалектик.

— Так, — сказал, внезапно раздражаясь, Мостовской, — чем же, однако, могу вам служить?

Иконников, стоя в позе военного, принявшего положение «смирно», сказал:

— Не смейтесь надо мной! — горестный голос его прозвучал трагично. — Я не ради шуток подошел к вам. Пятнадцатого сентября прошлого года

я видел казнь двадцати тысяч евреев — женщин, детей и стариков. В этот день я понял, что Бог не мог допустить подобное, и мне стало очевидно, что его нет. В сегодняшнем мраке я вижу вашу силу, она борется со страшным злом…

— Ну что ж, — сказал Михаил Сидорович, — поговорим.

Иконников работал на плантаже, в болотистой части прилагерных земель, где прокладывалась система огромных бетонированных труб для отвода реки и грязных ручейков, заболачивающих низменность. Рабочих на этом участке называли «Moorsoldaten», обычно сюда попадали люди, пользовавшиеся нерасположением начальства.

Руки Иконникова были маленькие, с тонкими пальцами, с детскими ногтями. Он возвращался с работы замазанный глиной, мокрый, подходил к нарам Мостовского и спрашивал:

— Разрешите посидеть возле вас?..

Он садился и улыбался, не глядя на собеседника, проводил рукой по лбу. Лоб у него был какой-то удивительный — не очень большой, выпуклый, светлый, такой светлый, точно существовал отдельно от грязных ушей и рук с обломанными ногтями, темно-коричневой шеи.

Советским военнопленным, людям с простой

биографией, он казался человеком неясным и темным.

Предки Иконникова со времен Петра Великого были из рода в род священниками. Лишь последнее поколение Иконниковых пошло другой дорогой — все братья Иконникова по желанию отца получили светское образование.

Иконников учился в Петербургском технологическом институте, но увлекся толстовством, ушел с последнего курса и отправился на север Пермской губернии народным учителем. Он прожил в деревне около восьми лет, а затем перебрался на юг, в Одессу, поступил на грузовой пароход слесарем в машинное отделение, побывал в Индии, в Японии, жил в Сиднее. После революции он вернулся в Россию, вступил в крестьянскую земледельческую коммуну. Эта была его давняя мечта, он верил, что сельскохозяйственный коммунистический труд приведет к Царству Божьему на земле.

Во время всеобщей коллективизации он увидел эшелоны, набитые семьями раскулаченных. Он видел, как падали в снег изможденные люди и уже не вставали. Он видел «закрытые», вымершие деревни с заколоченными окнами и дверями. Он видел арестованную крестьянку,

оборванную женщину с жилистой шеей, с трудовыми, темными руками, на которую с ужасом смотрели конвоиры: она съела, обезумев от голода, своих двоих детей.

В эту пору он, не покидая коммуны, стал проповедовать Евангелие, молить Бога о спасении гибнущих. Кончилось дело тем, что его посадили, но оказалось, что бедствия тридцатых годов помутили его разум. После года принудительного лечения в тюремной психиатрической больнице он вышел на волю и поселился в Белоруссии у старшего брата, профессора-биолога, устроился с его помощью на работу в технической библиотеке. Но мрачные события произвели на него чрезвычайное впечатление.

Когда началась война и немцы захватили Белоруссию, Иконников увидел муки военнопленных, казни евреев в городах и местечках Белоруссии. Он вновь впал в какое-то истерическое состояние и стал умолять знакомых и незнакомых людей прятать евреев, сам пытался спасать еврейских детей и женщин. На него вскоре донесли, и, каким-то чудом избегнув виселицы, он попал в лагерь.

В голове оборванного и грязного «парашютиста» царил хаос, он утверждал нелепые и

комичные категории надклассовой морали.

— Там, где есть насилие, — объяснял Иконников Мостовскому, — царит горе и льется кровь. Я видел великие страдания крестьянства, а коллективизация шла во имя добра. Я не верю в добро, я верю в доброту.

— Будем, следуя вашему совету, ужасаться, что во имя добра вздернут Гитлера и Гиммлера. Ужасайтесь уж без меня, — отвечал Михаил Сидорович.

— Спросите Гитлера, — сказал Иконников, — и он вам объяснит, что и этот лагерь ради добра.

Мостовскому казалось, что во время спора с Иконниковым работа его логики становится похожа на бессмысленные усилия ножа, борющегося с медузой.

— Мир не поднялся выше истины, высказанной сирийским христианином, жившим в шестом веке, — повторял Иконников, — «Осуди грех и прости грешника».

В бараке находился еще один русский старик — Чернецов. Он был одноглазым. Охранник разбил ему искусственный, стеклянный глаз, и пустая красная глазница страшно выглядела на его бледном лице. Разговаривая, он прикрывал зияющую пустую глазницу ладонью.

Это был меньшевик, бежавший из Советской России в 1921 году. Двадцать лет он прожил в Париже, работал бухгалтером в банке. Попал он в лагерь за призыв к служащим банка саботировать распоряжения новой немецкой администрации. Мостовской старался с ним не сталкиваться.

Одноглазого меньшевика, видимо, тревожила популярность Мостовского, — и солдат-испанец, и норвежец, владелец писчебумажной лавки, и адвокат-бельгиец тянулись к старому большевику, расспрашивали его.

Однажды к Мостовскому на нары сел верховодивший среди русских военнопленных майор Ершов, — немного привалившись к Мостовскому и положив руку ему на плечо, он быстро и горячо говорил.

Мостовской внезапно оглянулся, — с дальних нар смотрел на них Чернецов. Мостовскому подумалось, что выражение тоски в его зрячем глазу страшней, чем красная зиявшая яма на месте выбитого глаза.

«Да, брат, невесело тебе», — подумал Мостовской и не испытал злорадства.

Не случай, конечно, а закон определил, что Ершов всем всегда нужен. «Где Ершов? Ерша не видели? Товарищ Ершов! Майор Ершов! Ершов

сказал… Спроси Ершова…» К нему приходят из других бараков, вокруг его нар всегда движение.

Михаил Сидорович окрестил Ершова: властитель дум. Были властители дум — шестидесятники, были — восьмидесятники. Были народники, был да сплыл Михайловский. И в гитлеровском концлагере есть свой властитель дум! Одиночество одноглазого казалось в этом лагере трагическим символом.

Десятки лет прошли с поры, когда Михаил Сидорович впервые сидел в царской тюрьме, — даже век был тогда другой — девятнадцатый.

Сейчас он вспоминал о том, как обижался на недоверие некоторых руководителей партии к его способности вести практическую работу. Он чувствовал себя сильным, он каждый день видел, как веско было его слово для генерала Гудзя, и для бригадного комиссара Осипова, и для всегда подавленного и печального майора Кириллова.

До войны его утешало, что, удаленный от практики, он меньше соприкасается со всем тем, что вызывало его протест и несогласие, — и единовластие Сталина в партии, и кровавые процессы оппозиции, и недостаточное уважение к старой партийной гвардии. Он мучительно переживал казнь Бухарина, которого хорошо знал и очень

любил. Но он знал, что, противопоставив себя партии в любом из этих вопросов, он, помимо своей воли, окажется противопоставлен ленинскому делу, которому отдал жизнь. Иногда его мучили сомнения, — может быть, по слабости, по трусости молчит он и не выступает против того, с чем не согласен. Ведь многое в довоенной жизни было ужасно! Он часто вспоминал покойного Луначарского, — как хотелось ему вновь увидеть его, с Анатолием Васильевичем так легко было говорить, так быстро, с полуслова, понимали они друг друга.

Теперь, в страшном немецком лагере, он чувствовал себя уверенным и крепким. Лишь одно томящее ощущение не оставляло его. Он и в лагере не мог вернуть молодого, ясного и круглого чувства: свой среди своих, чужой среди чужих.

Тут дело было не в том, что однажды английский офицер спросил его, не мешало ли ему заниматься философской наукой то, что в России запрещено высказывать антимарксистские взгляды.

— Кому-нибудь, может быть, это и мешает. А мне, марксисту, не мешает, — ответил Михаил Сидорович.

— Я задал этот вопрос, именно имея в виду, что

вы старый марксист, — сказал англичанин. И хотя Мостовской поморщился от болезненного чувства, вызванного этими словами, он сумел ответить англичанину.

Тут дело было не в том, что такие люди, как Осипов, Гудзь, Ершов, иногда тяготили его, хотя они были кровно близки ему. Беда была в том, что многое в его собственной душе стало для него чужим. Случалось, в мирные времена он, радуясь, встречался со старым другом, а в конце встречи видел в нем чужого.

Но как поступить, когда чуждое сегодняшнему дню жило в нем самом, было частью его самого… С собой ведь не порвешь, не перестанешь встречаться.

При разговорах с Иконниковым он раздражался, бывал груб, насмешлив, обзывал его тюрей, размазней, киселем, шляпой. Но, насмехаясь над ним, он в то же время скучал, когда долго не видел его.

В этом было главное изменение между его тюремными годами в молодости и нынешним временем.

В молодую пору в друзьях и единомышленниках все было близко, понятно. Каждая мысль, каждый взгляд врага были чужды, дики.

А теперь вдруг он узнавал в мыслях чужого то, что было дорого ему десятки лет назад, а чужое иногда непонятным образом проявлялось в мыслях и словах друзей.

«Это, должно быть, оттого, что я слишком долго живу на свете», — думал Мостовской.

5

Американский полковник жил в отдельном боксе особого барака. Ему разрешали свободно выходить из барака в вечернее время, кормили особым обедом. Говорили, что по его поводу был сделан запрос из Швеции, — президент Рузвельт просил о нем через шведского короля.

Полковник однажды отнес плитку шоколада больному русскому майору Никонову. Его в особом бараке интересовали больше всего русские военнопленные. Он пытался заводить с русскими разговор о немецкой тактике и о причинах неудач первого года войны.

Он часто заговаривал с Ершовым и, глядя в умные, одновременно серьезные и веселые глаза русского майора, забывал, что тот не понимает по-английски.

Ему казалось странным, как же не понимает его человек с таким умным лицом, да еще не понимает разговора о предметах, которые сильно волнуют обоих.

— Неужели вы ни черта не понимаете? — огорченно спрашивал он.

Ершов по-русски отвечал ему:

— Наш уважаемый сержант владел всеми языками, кроме иностранных.

Но все же на языке, состоящем из улыбок, взглядов, похлопываний по спине и десятка-полутора исковерканных русских, немецких, английских и французских слов, разговаривали о товариществе, сочувствии, помощи, о любви к дому, женам, детям — лагерные русские люди с людьми десятков разноязычных национальностей.

«Камрад, гут, брот, зупэ, киндер, сигарет, арбайт» да еще с дюжину немецких слов, рожденных в лагерях: ревир, блокэльтерсте, капо, фернихтунгслагер, аппель, аппельплац, вахраум, флюгпункт, лагершуце, — хватало, чтобы выразить особо важное в простой и запутанной жизни лагерных людей.

Были и русские слова — ребята, табачок, товарищ, — которыми пользовались заключенные многих национальностей. А русское слово «доходяга», определявшее состояние близкого к смерти лагерника, стало общим для всех, завоевало все 56 лагерных национальностей.

С набором в десяток-полтора слов великий немецкий народ вторгся в города и деревни, населенные великим русским народом, и миллионы русских деревенских баб, стариков, детей и мил-

лионы немецких солдат объяснялись словами — «матка, пан, руки вверх, курка, яйка, капут». Ничего доброго из этого объяснения не получалось. Но великому немецкому народу хватало этих слов для того дела, которое он совершал в России.

Но так же ничего хорошего не получалось из того, что Чернецов пытался заговаривать с советскими военнопленными, — хотя он за двадцать лет эмиграции не забыл русского языка, а превосходно владел русской речью. Он не мог понять советских военнопленных, они чуждались его.

И так же не могли договориться советские военнопленные — одни, готовые умереть, но не изменить, другие, помышлявшие вступить во власовские войска. Чем больше говорили они и спорили, тем меньше понимали они друг друга. А потом уже они молчали, полные ненависти и презрения друг к другу.

В этом мычании немых и в речах слепых, в этом густом смешении людей, объединенных ужасом, надеждой и горем, в непонимании ненависти людей, говорящих на одном языке, трагически выражалось одно из бедствий двадцатого века.

6

В день, когда высыпал снег, вечерние разговоры русских военнопленных были особенно печальны.

Даже полковник Златокрылец и бригадный комиссар Осипов, всегда собранные, полные душевной силы, стали угрюмы и молчаливы. Тоска подмяла всех.

Артиллерист майор Кириллов сидел на нарах Мостовского, опустив плечи, и тихонько покачивал головой. Казалось, не только темные глаза, но все огромное его тело было полно тоской.

Подобное выражение глаз бывает у безнадежных раковых больных — глядя в такие глаза, даже самые близкие люди, сострадая, думают: скорей бы ты умер.

Желтолицый и вездесущий Котиков, указывая на Кириллова, шепотом сказал Осипову:

— Либо повесится, либо к власовцам метнется.

Мостовской, потирая седые щетинистые щеки, проговорил:

— Слушайте меня, казачки. А ведь, право, хорошо. Неужели не понимаете? Каждый день жизни государства, созданного Лениным, невыносим

для фашизма. У него нет выбора, — либо сожрать нас, уничтожить, либо самому погибнуть. Ведь в ненависти к нам фашизма проверка правильности дела Ленина. Еще одна, и нешуточная. Поймите вы, чем больше к нам ненависть фашистов, тем уверенней мы должны быть в своей правоте. И мы осилим.

Он резко повернулся к Кириллову, сказал:

— Ну что ж это вы, а? Помните у Горького, когда он ходил по тюремному двору, какой-то грузин кричал: «Что ты ходишь таким курицам, ходы голова вверх!»

Все рассмеялись.

— Верно, верно, давайте головы вверх, — сказал Мостовской. — Вы подумайте — огромное, великое Советское государство защищает коммунистическую идею! Пусть Гитлер справится с ним и с ней. Сталинград стоит, держится. Казалось иногда перед войной: не слишком ли круто, не слишком ли жестоко закрутили мы гайки? Но уж, действительно, и слепым теперь видно — цель оправдала средства.

— Да, гайки подкрутили у нас крепко. Это вы верно сказали, — проговорил Ершов.

— Мало подкрутили, — сказал генерал Гудзь. — Еще крепче надо бы, тогда б до Волги не дошел.

— Не нам Сталина учить, — сказал Осипов.

— Ну вот, — сказал Мостовской. — А если погибнуть придется в тюрьмах и шахтах сырых, тут уж ничего не попишешь. Не об этом нам надо думать.

— А о чем? — громко спросил Ершов.

Сидевшие переглянулись, оглянулись, помолчали.

— Эх, Кириллов, Кириллов, — сказал вдруг Ершов. — Верно наш отец сказал: мы радоваться должны, что фашисты нас ненавидят. Мы их, они нас. Понимаешь? А ты подумай, — попасть к своим в лагерь, свой к своим. Вот где беда. А тут что! Мы люди крепкие, еще дадим немцу жизни.

7

Весь день у командования 62-й армии не было связи с частями. Вышли из строя многие штабные радиоприемники; проволочная связь повсеместно нарушилась.

Бывали минуты, когда люди, глядя на текучую, покрытую мелкой волной Волгу, ощущали реку как неподвижность, у берега которой зыбилась трепещущая земля. Сотни советских тяжелых орудий вели огонь из Заволжья. Над немецким расположением у южного склона Мамаева кургана вздымались комья земли и глины.

Клубящиеся земляные облака, проходя сквозь дивное, незримое сито, созданное силой тяготения, образовывали рассев — тяжелые глыбы, комки рушились на землю, а легкая взвесь подымалась в небо.

По нескольку раз на день оглушенные, с воспаленными глазами красноармейцы встречали немецкие танки и пехоту.

Для командования, оторванного от войск, день казался томительно длинным.

Чем только не пытались Чуйков, Крылов и Гуров заполнить этот день — создавали видимость

дела, писали письма, спорили о возможных передвижениях противника, шутили, и водку пили с закуской и без закуски, и молчали, прислушиваясь к грому бомбежки. Железный вихрь выл вокруг блиндажа, косил все живое, на миг подымавшее голову над поверхностью земли. Штаб был парализован.

— Давайте в подкидного сыграем, — сказал Чуйков и отодвинул в угол стола объемистую пепельницу, полную окурков.

Даже начальнику штаба армии Крылову изменило спокойствие. Постукивая пальцем по столу, он сказал:

— Нет хуже положения — вот так ждать, как бы не схарчили.

Чуйков раздал карты, объявил: «Черва козырь», потом вдруг смешал колоду, проговорил:

— Сидим, как зайчишки, и играем в картишки. Нет, не могу!

Он сидел задумавшись. Лицо его казалось ужасным, такое выражение ненависти и муки отразилось на нем.

Гуров, словно предугадывая свою судьбу, задумчиво повторил:

— Да, после такого денька можно от разрыва сердца умереть.

Потом он рассмеялся, сказал:

— В дивизии днем в уборную выйти — страшное, немыслимое дело! Мне рассказывали: начальник штаба у Людникова плюхнулся в блиндаж, крикнул: «Ура, ребята, я посрал!» Поглядел, а в блиндаже докторша сидит, в которую он влюблен.

С темнотой налеты немецкой авиации прекратились. Вероятно, человек, попавший ночью на сталинградский берег, подавленный грохотом и треском, вообразил бы, что недобрая судьба привела его в Сталинград в час решающей атаки, но для военных старожилов это было время бритья, постирушек, писания писем, время, когда фронтовые слесари, токари, паяльщики, часовщики мастерили зажигалки, мундштуки, светильники из снарядных гильз с фитилями из шинельного сукна, чинили ходики.

Мерцающий огонь разрывов освещал береговой откос, развалины города, нефтяные баки, заводские трубы, и в этих коротких вспышках побережье и город казались зловещими и угрюмыми.

В темноте ожил армейский узел связи, затрещали пишущие машинки, размножающие копии боевых донесений, зажужжали движки, затарах-

тела морзянка, и телефонисты перекликались по линиям — подключали в сеть командные пункты дивизий, полков, батарей, рот… Степенно покашливали прибывшие в армейский штаб связные, докладывали оперативным дежурным офицеры связи.

Заспешили на доклад к Чуйкову и Крылову старик Пожарский, командующий артиллерией армии, и начальник смертных переправ инженерный генерал Ткаченко, и новосел в зеленой солдатской шинельке, командир сибирской дивизии Гуртьев, и сталинградский старожил подполковник Батюк, стоявший со своей дивизией под Мамаевым курганом. Зазвучали в политдонесениях члену Военного совета армии Гурову знаменитые сталинградские имена — минометчика Бездидько, снайперов Василия Зайцева и Анатолия Чехова, сержанта Павлова, и рядом с ними назывались имена людей, впервые произнесенные в Сталинграде, — Шонина, Власова, Брысина, которым первый их сталинградский день принес военную славу. А на переднем крае сдавали почтальонам равнобедренные бумажные треугольники — «лети, листок, с запада на восток… лети с приветом, вернись с ответом… добрый день, а может быть, и

вечер…». На переднем крае хоронили погибших, и убитые проводили первую ночь своего вечного сна рядом с блиндажами и укрытиями, где товарищи их писали письма, брились, ели хлеб, пили чай, мылись в самодельных банях.

8

Пришли самые тяжелые дни защитников Сталинграда.

В неразберихе городского сражения, атак и контратак, в борьбе за Дом специалиста, за мельницу, здание Госбанка, в борьбе за подвалы, дворы, площади стал несомненен перевес немецких сил.

Немецкий клин, вколоченный в южной части Сталинграда у сада Лапшиных, Купоросной Балки и Ельшанки, ширился, и немецкие пулеметчики, укрывшись у самой воды, обстреливали левый берег Волги южней Красной Слободы. Оперативщики каждый день отмечали на картах линию фронта, видели, как неуклонно наползали синие отметины и все таяла, утончалась полоса между красной чертой советской обороны и голубизной Волги.

Инициатива, душа войны, в эти дни была в руках у немцев. Они ползли и ползли вперед, и вся ярость советских контратак не могла остановить их медленного, но отвратительно несомненного движения.

А в небе от восхода до заката ныли немецкие

пикировщики, долбили горестную землю фугасными бомбами. И в сотнях голов жила колючая, жестокая мысль о том, что же будет завтра, через неделю, когда полоска советской обороны превратится в нитку, порвется, искрошенная железными зубами немецкого наступления.

9

Поздно ночью генерал Крылов прилег в своем блиндаже на койку. В висках ломило, покалывало в горле от десятков выкуренных папирос. Крылов провел языком по сухому небу и повернулся к стене. Дремота смешала в памяти Крылова севастопольские и одесские бои, крик штурмующей румынской пехоты, мощенные камнем, поросшие плющом одесские дворы и матросскую красоту Севастополя.

Ему померещилось, что он вновь на командном пункте в Севастополе, и в сонном тумане поблескивали стекла пенсне генерала Петрова; сверкнувшее стекло заблестело тысячами осколков, и уже колыхалось море, и серая пыль от расколотого немецкими снарядами скального камня поплыла над головами моряков и солдат, встала над Сапун-горой.

Послышался бездушный плеск волны о борт катера и грубый голос моряка-подводника: «Прыгай!» Казалось, что прыгнул он в волну, но нога тотчас коснулась корпуса подводной лодки… И последний взгляд на Севастополь, на звезды в небе, на береговые пожары…

Крылов заснул. Во сне продолжалась власть войны. Подводная лодка уходила из Севастополя в Новороссийск… Он поджимал затекшие ноги, грудь и спина взмокли от пота, шум двигателя бил в виски. И вдруг двигатель замер — лодка мягко легла на дно. Духота стала невыносима, давил металлический свод, деленный на квадраты пунктиром клепки…

Он услышал многоголосый рев, плеск, — взорвалась глубинная бомба, вода ударила, сбросила его с койки. Крылов открыл глаза: кругом был огонь, мимо распахнутой двери блиндажа бежал к Волге поток пламени, слышались крики людей, стрекотание автоматов.

— Шинелью, шинелью голову закрой! — закричал Крылову незнакомый красноармеец, протягивая шинель. Но Крылов, отстраняя красноармейца, закричал:

— Где командующий?

Вдруг он понял: немцы подожгли нефтебаки, и горящая нефть хлынула к Волге.

Казалось, не было уже возможности выбраться живым из этого текучего огня. Огонь гудел, с треском отрываясь от нефти, заполнявшей ямы и воронки, хлеставшей по ходам сообщения. Земля, глина, камень, пропитываясь нефтью, на-

чинали дымить. Нефть вываливалась черными, глянцевитыми струями из прошитых зажигательными пулями хранилищ, и казалось, это разворачиваются огромные рулоны огня и дыма, укупоренные в цистернах.

Жизнь, которая торжествовала на земле сотни миллионов лет тому назад, грубая и страшная жизнь первобытных чудовищ, вырвалась из могильных толщ, вновь ревела, топча ножищами, выла, жадно жрала все вокруг себя. Огонь подымался на много сотен метров вверх, унося облака горючего пара, которые взрывоподобно вспыхивали высоко в небе. Масса пламени была так велика, что воздушный вихрь не успевал подавать к горящим углеродистым молекулам кислород, и плотный колышущийся черный свод отделил осеннее звездное небо от горевшей земли. Жутко было смотреть снизу на эту струящуюся, жирную и черную твердь.

Огненные и дымовые столбы, стремясь вверх, то принимали мгновеньями очертания живых, охваченных отчаянием и яростью существ, то казались дрожащими тополями, трепещущими осинами. Черное и красное кружилось в лоскутах огня подобно слившимся в пляске черным и рыжим растрепанным девкам.

Горящая нефть плоско расплывалась по воде и, подхваченная течением, шипела, дымила, затравленно извивалась.

Удивительно, что в эти минуты уже многие бойцы знали, как можно пробраться к берегу. Они кричали: «Сюда, сюда беги, вот по этой тропке!»; некоторые люди успели два-три раза подняться к пылавшим блиндажам, помогали штабным добираться до выступа на берегу, где в огненной развилке упершихся в Волгу нефтяных потоков стояла кучка спасшихся.

Люди в ватниках помогли спуститься к берегу командующему армией и офицерам штаба. Эти люди на руках вынесли из огня генерала Крылова, которого уже считали погибшим, и, поморгав обгоревшими ресницами, вновь продирались сквозь чащу красного шиповника к штабным блиндажам.

До утра простояли на маленьком выступе земли у самой Волги работники штаба 62-й армии. Прикрывая лицо от раскаленного воздуха, сбивая с одежды искры, они оглядывались на командующего армией. Он был одет в красноармейскую шинель внакидку, из-под фуражки выбивались на лоб волосы. Нахмуренный, угрюмый, он казался спокойным и задумчивым.

Гуров сказал, оглядывая стоящих:

— И в огне мы, оказывается, не горим… — и пощупал горячие пуговицы шинели.

— Эй, боец с лопатой, — крикнул начальник инженерной службы генерал Ткаченко, — прокопайте скоренько тут канавку, а то еще потечет огонь с той горки!

Он сказал Крылову:

— Все смешалось, товарищ генерал, огонь течет, как вода, а Волга огнем жжет. Счастье, что сильного ветра нет, а то попалило бы нас всех.

Когда ветерок набегал с Волги, тяжеловесный шатер пожара колыхался, клонился, и люди шарахались от обжигающего пламени.

Некоторые, подходя к берегу, смачивали водой сапоги, и она испарялась с горячих голенищ. Одни молчали, упершись взором в землю, другие все озирались, третьи, превозмогая напряжение, шутили: «Здесь и спичек не надо, можно прикурить и от Волги, и от ветерка», четвертые ощупывали себя, покачивали головой, ощущая жар металлических пряжек на ремнях.

Послышалось несколько взрывов, это рвались в блиндажах батальона охраны штаба ручные гранаты. Потом затрещали патроны в пулеметных лентах. Просвистела сквозь огонь немецкая мина

и взорвалась далеко в Волге. Мелькали сквозь дым далекие фигуры людей на берегу, — видимо, кто-то пытался отвести огонь от командного пункта, а через миг вновь все исчезало в дыму и огне.

Крылов, вглядываясь в льющийся вокруг огонь, уж не вспоминал, не сравнивал… Не вздумали ли немцы приноровить к пожару наступление? Немцы не знают, в каком положении находится командование армии, вчерашний пленный не верил, что штаб армии находится на правом берегу… Очевидно, частная операция, значит, есть шансы дожить до утра. Только бы не поднялся ветер.

Он оглянулся на стоящего рядом Чуйкова, тот всматривался в гудевший пожар; лицо его, испачканное копотью, казалось раскаленным, медным. Он снял фуражку, провел рукой по волосам и стал похож на потного деревенского кузнеца; искры прыгали над его курчавой головой. Вот он поглядел вверх на шумный огненный купол, оглянулся на Волгу, где среди змеящихся огней проступали прорывы тьмы. Крылову подумалось, что командарм напряженно решает те же вопросы, что тревожили его: начнут ли немцы ночью большое наступление… Где разместить

штаб, если придется дожить до утра…

Чуйков, почувствовав взгляд начальника штаба, улыбнулся ему и сказал, обведя рукой широкий круг повыше головы:

— Красиво, здорово, черт, а?

Пламя пожара хорошо было видно из Красного Сада, в Заволжье, где располагался штаб Сталинградского фронта. Начальник штаба генерал-лейтенант Захаров, получив первое сообщение о пожаре, доложил об этом Еременко, и командующий попросил Захарова лично пойти на узел связи и переговорить с Чуйковым. Захаров, шумно дыша, торопливо шел по тропинке. Адъютант, светя фонариком, время от времени произносил: «Осторожно, товарищ генерал», — и отводил рукой нависавшие над тропинкой ветви яблонь. Далекое зарево освещало стволы деревьев, ложилось розовыми пятнами на землю. Этот неясный свет наполнял душу тревогой. Тишина, стоявшая вокруг, нарушаемая лишь негромкими окликами часовых, придавала какую-то особо томящую силу немому бледному огню.

На узле связи дежурная, глядя на тяжело дышавшего Захарова, сказала, что с Чуйковым нет связи — ни телефонной, ни телеграфной, ни беспроволочной…

— С дивизиями? — отрывисто спросил Захаров.

— Только что, товарищ генерал-лейтенант, была связь с Батюком.

— Давайте, живо!

Дежурная, боясь глядеть на Захарова и уже уверенная, что тяжелый и раздражительный характер генерала сейчас разыграется, вдруг радостно сказала:

— Есть, пожалуйста, товарищ генерал, — и протянула трубку Захарову.

С Захаровым говорил начальник штаба дивизии. Он, как и девушка-связистка, оробел, услыша тяжелое дыхание и властный голос начальника штаба фронта.

— Что там у вас происходит, докладывайте. Есть связь с Чуйковым?

Начальник штаба дивизии доложил о пожаре на нефтебаках, о том, что огненный вал обрушился на командный пункт штаба армии, что у дивизии нет связи с командармом, что, видимо, не все там погибли, так как через огонь и дым видны люди, стоящие на берегу, но ни с суши, ни с Волги на лодке к ним подобраться нельзя — Волга горит. Батюк ушел берегом с ротой охраны штаба на пожар, чтобы попытаться отвести

огненный поток и помочь выбраться из огня людям, стоящим на берегу.

Захаров, выслушав начальника штаба, проговорил:

— Передайте Чуйкову, если он жив, передайте Чуйкову… — и замолчал.

Девушка-связистка, удивленная длинной паузой и ожидая раската хриплого генеральского голоса, опасливо поглядела на Захарова, — он стоял, приложив платок к глазам.

В эту ночь сорок штабных командиров погибли среди огня в обрушившихся блиндажах.

10

Крымов попал в Сталинград вскоре после пожара нефтехранилищ.

Чуйков разместил новый командный пункт армии под волжским откосом, в расположении стрелкового полка, входившего в состав дивизии Батюка. Чуйков посетил блиндаж командира полка капитана Михайлова и, осмотрев многонакатную просторную землянку, удовлетворенно кивнул. Глядя на огорченное лицо рыжего, веснушчатого капитана, командарм весело сказал ему:

— Не по чину, товарищ капитан, построили себе блиндаж.

Штаб полка, прихватив свою нехитрую мебель, переместился на несколько десятков метров по течению Волги, — там рыжий Михайлов, в свою очередь, решительно потеснил командира своего батальона.

Командир батальона, оставшись без квартиры, не стал трогать командиров своих рот (уж очень тесно жили), а велел выкопать себе новую землянку на самом плоскогорье.

Когда Крымов пришел на командный пункт

62-й армии, там в разгаре были саперные работы. Прокладывались ходы сообщения между отделами штаба, улицы и переулочки, соединявшие жителей политотдела, оперативщиков и артиллеристов.

Два раза Крымов видел самого командарма — он выходил посмотреть на стройку.

Нигде, пожалуй, в мире к строительству жилищ не относились с такой серьезностью, как в Сталинграде. Не для тепла и не в пример потомству строились сталинградские блиндажи. Вероятность встретить рассвет и час обеда грубо зависела от толщины блиндажных накатов, от глубины хода сообщения, от близости отхожего места, от того, заметен ли с воздуха блиндаж.

Когда говорили о человеке, говорили и о его блиндаже.

— Толково сегодня Батюк поработал минометами на Мамаевом кургане… И блиндажик, между прочим, у него: дверь дубовая, толстенная, как в сенате, умный человек…

А случалось, говорили о ком-нибудь так:

— Ну что ж, потеснили его ночью, потерял ключевую позицию, связи с подразделениями не имел. Командный пункт его с воздуха виден, плащ-палатка вместо двери — от мух, можно

сказать. Пустой человек, от него, я слышал, жена до войны ушла.

Много разных историй было связано с блиндажами и землянками Сталинграда. И рассказ о том, как в трубу, в которой жил родимцевский штаб, вдруг хлынула вода и вся канцелярия выплыла на берег, и шутники на карте отметили место впадения родимцевского штаба в Волгу. И рассказ о том, как вышибло знаменитые двери в блиндаже у Батюка. И рассказ о том, как Жолудева на тракторном заводе засыпало вместе со штабом в блиндаже.

Сталинградский береговой откос, часто и плотно начиненный блиндажами, напоминал Крымову огромный военный корабль — по одному борту его лежала Волга, по другому — плотная стена неприятельского огня.

Крымов имел поручение политуправления разобрать склоку, возникшую между командиром и комиссаром стрелкового полка в дивизии Родимцева.

Отправляясь к Родимцеву, он собирался сделать доклад штабным командирам, а затем разобрать и кляузное дело.

Посыльный из политотдела армии подвел его к каменному устью широкой трубы, в которой

разместился родимцевский штаб. Часовой доложил о батальонном комиссаре из штаба фронта, и чей-то толстый голос произнес:

— Зови его сюда, а то, верно, с непривычки в штаны наложил.

Крымов зашел под низкий свод и, чувствуя на себе взгляды штабных, представился полнотелому полковому комиссару в солдатском ватнике, сидевшему на консервном ящике.

— А, очень приятно, доклад послушать — дело хорошее, — сказал полковой комиссар. — А то слышали, что и Мануильский и еще кое-кто на левый берег приехали, а к нам в Сталинград не соберутся.

— У меня, кроме того, есть поручение от начальника политуправления, — сказал Крымов, — разобрать дело между командиром стрелкового полка и комиссаром.

— Было у нас такое дело, — ответил комиссар. — Вчера его разобрали: на командный пункт полка попала тонная бомба, убито восемнадцать человек, в том числе командир полка и комиссар.

Он проговорил с доверительной простотой:

— Все у них как-то наоборот было, и внешность даже: командир человек простой, крестьянский сын, а комиссар перчатки носил, кольцо на паль-

це. Теперь лежат оба рядом.

Как человек, умеющий управлять своим и чужим настроением, а не подчиняться настроению, он, резко изменив тон, веселым голосом сказал:

— Когда дивизия наша под Котлубанью стояла, пришлось мне везти к фронту на своей машине московского докладчика, Павла Федоровича Юдина. Член Военного совета мне сказал: «Волос потеряет, голову тебе снесу». Намаялся я с ним. Чуть самолет — сразу в кювет пикировали. Берег. Неохота голову терять. Но и товарищ Юдин берегся, проявлял инициативу.

Люди, прислушивающиеся к их разговору, посмеивались, и Крымов вновь ощутил раздражавший его тон снисходительной насмешливости.

Обычно у Крымова складывались хорошие отношения со строевыми командирами, вполне сносные со штабными, а раздраженные и не всегда искренние со своим же братом политическими работниками. Вот и сейчас комиссар дивизии раздражал его: без году неделя на фронте, а представляется ветераном, наверное, и в партию перед войной вступил, а уж Энгельс его не устраивает.

Но, видимо, и Крымов чем-то раздражал комиссара дивизии.

Это ощущение не оставило Крымова и когда адъютант устраивал ему ночлег, и когда его поили чаем.

Почти в каждой воинской части есть свой особый, отличный от других стиль отношений. В штабе родимцевской дивизии постоянно гордились своим молодым генералом.

После того как Крымов закончил беседу, ему стали задавать вопросы.

Начальник штаба Бельский, сидевший подле Родимцева, спросил:

— Когда же, товарищ докладчик, союзники второй фронт откроют?

Комиссар дивизии, полулежавший на узеньких нарах, прилепленных к каменной обшивке трубы, сел, разгреб руками сено и проговорил:

— Куда спешить. Меня больше интересует, как наше командование действовать собирается.

Крымов недовольно покосился на комиссара, сказал:

— Поскольку ваш комиссар так ставит вопрос, отвечать следует не мне, а генералу.

Все поглядели на Родимцева, и он сказал:

— Высокому человеку здесь не разогнуться. Одно слово — труба. Оборона — что ж, в ней нет высшей заслуги. А наступать из этой трубы нель-

зя. Рады бы, да в трубе резервов не накопишь.

В это время зазвонил телефон. Родимцев взял трубку.

Все люди поглядели на него.

Положив трубку, Родимцев нагнулся к Бельскому и негромко произнес несколько слов. Тот потянулся к телефону, но Родимцев положил руку на телефонный аппарат и сказал:

— К чему? Разве вам не слышно?

Многое было слышно под каменными сводами штольни, освещенной мерцающим дымным светом ламп, сделанных из снарядных гильз. Частые пулеметные очереди грохотали над головой сидевших, как тележки на мосту. Время от времени ударяли разрывы ручных гранат. Звуки в трубе резонировали очень гулко.

Родимцев подзывал к себе то одного, то другого сотрудника штаба, вновь поднес к уху нетерпеливую телефонную трубку.

На мгновенье он поймал взгляд сидевшего неподалеку Крымова и, мило, по-домашнему улыбнувшись, сказал ему:

— Разгулялася волжская погода, товарищ докладчик.

А телефон уж звонил непрерывно. Прислушиваясь к разговору Родимцева, Крымов примерно

понимал, что происходило. Заместитель командира дивизии, молодой полковник Борисов, подошел к генералу и, склонившись над ящиком, на котором был разложен план Сталинграда, картинно, резко провел жирную синюю черту по перпендикуляру, рассекающую до самой Волги красный пунктир советской обороны. Борисов выразительно посмотрел на Родимцева темными глазами. Родимцев вдруг встал, увидя идущего к нему из полумрака человека в плащ-палатке.

По походке и выражению лица подошедшего сразу же делалось понятным, откуда он явился, — он был окутан невидимым раскаленным облаком, казалось, что при быстрых движениях не плащ-палатка шуршит, а потрескивает электричество, которым насыщен этот человек.

— Товарищ генерал, — жалуясь, закричал он, — потеснил меня, собака, в овраг залез, прет к Волге. Надо усилить меня.

— Задержите противника сами любой ценой. Резервов у меня нет, — сказал Родимцев.

— Задержать любой ценой, — ответил человек в плащ-палатке, и всем стало понятно, когда он, повернувшись, пошел к выходу, что он знает цену, которую заплатит.

— Тут рядом? — спросил Крымов и показал на

карте извилистую жилу оврага.

Но Родимцев не успел ему ответить. В устье трубы послышались пистолетные выстрелы, мелькнули красные зарницы ручных гранат.

Послышался пронзительный командирский свисток. К Родимцеву кинулся начальник штаба, закричал:

— Товарищ генерал, противник прорвался на ваш командный пункт!..

И вдруг исчез командир дивизии, чуть-чуть игравший своим спокойным голосом, отмечавший цветным карандашиком по карте изменение обстановки. Исчезло ощущение, что война в каменных развалинах и поросших бурьяном оврагах связана с хромированной сталью, катодными лампами, радиоаппаратурой. Человек с тонкими губами озорно крикнул:

— А ну, штаб дивизии! Проверьте личное оружие, взять гранаты — и за мной, отразим противника!

И в его голосе и глазах, быстро, властно скользнувших по Крымову, много было ледяного и жгучего боевого спирта. На миг показалось — не в опыте, не в знании карты, а в жестокой и безудержной, озорной душе главная сила этого человека!

Через несколько минут офицеры штаба, писари, связные, телефонисты, неловко и торопливо толкаясь, вываливались из штабной трубы, и впереди, освещенный боевым, мерцающим огнем, легким шагом бежал Родимцев, стремясь к оврагу, откуда раздавались взрывы, выстрелы, крики и брань.

Когда, задохнувшись от бега, Крымов одним из первых добрался до края оврага и поглядел вниз, его содрогнувшееся сердце почувствовало соединенное чувство гадливости, страха, ненависти. На дне расселины мелькали неясные тени, вспыхивали и гасли искры выстрелов, загорался то зеленый, то красный глазок, а в воздухе стоял непрерывный железный свист. Казалось, Крымов заглянул в огромную змеиную нору, где сотни потревоженных ядовитых существ, шипя, сверкая глазами, быстро расползались, шурша среди сухого бурьяна.

И с чувством ярости, отвращения, страха он стал стрелять из винтовки по мелькавшим во тьме вспышкам, по быстрым теням, ползавшим по склонам оврага.

В нескольких десятках метров от него немцы появились на гребне оврага. Частый грохот ручных гранат тряс воздух и землю, — штурмовая

немецкая группа стремилась прорваться к устью трубы.

Тени людей, вспышки выстрелов мелькали во мгле, крики, стоны то вспыхивали, то гасли. Казалось, кипит большой черный котел, и Крымов весь, всем телом, всей душой погрузился в это булькающее, пузырящееся кипение и уж не мог мыслить, чувствовать, как мыслил и чувствовал прежде. То казалось, он правит движением захватившего его водоворота, то ощущение гибели охватывало его, и казалось, густая смоляная тьма льется ему в глаза, в ноздри, и уж нет воздуха для дыхания и нет звездного неба над головой, есть лишь мрак, овраг и страшные существа, шуршащие в бурьяне.

Казалось, нет возможности разобраться в том, что происходит, и в то же время силилось очевидное, по-дневному ясное чувство связи с людьми, ползущими по откосу, чувство своей силы, соединенной с силой стреляющих рядом с ним, чувство радости, что где-то рядом находится Родимцев.

Это удивительное чувство, возникшее в ночном бою, где в трех шагах не различишь, кто это рядом — товарищ или готовый убить тебя враг, связывалось со вторым, не менее удивительным и необъяснимым ощущением общего хода боя,

тем ощущением, которое давало солдатам возможность судить об истинном соотношении сил в бою, предугадывать ход боя.

11

Ощущение общего исхода боя, рожденное в человеке, отъединенном от других дымом, огнем, оглушенном, часто оказывается более справедливым, чем суждение об исходе боя, вынесенное за штабной картой.

В миг боевого перелома иногда происходит изумительное изменение, когда наступающий и, кажется, достигший своей цели солдат растерянно оглядывается и перестает видеть тех, с кем дружно вместе начинал движение к цели, а противник, который все время был для него единичным, слабым, глупым, становится множественным и потому непреодолимым. В этот ясный для тех, кто переживает его, миг боевого перелома, таинственный и необъяснимый для тех, кто извне пытается предугадать и понять его, происходит душевное изменение в восприятии: лихое, умное «мы» обращается в робкое, хрупкое «я», а неудачливый противник, который воспринимался как единичный предмет охоты, превращается в ужасное и грозное, слитное «они».

Раньше все события боя воспринимались

наступающим и успешно преодолевающим сопротивление по отдельности: разрыв снаряда… пулеметная очередь… вот он, этот, за укрытием стреляет, сейчас он побежит, он не может не побежать, так как он один, по отдельности от той своей отдельной пушки, от того своего отдельного пулемета, от того, соседнего ему, стреляющего тоже по отдельности солдата, а я — это мы, я — это вся громадная, идущая в атаку пехота, я — это поддерживающая меня артиллерия, я — это поддерживающие меня танки, я — это ракета, освещающая наше общее боевое дело. И вдруг — я остаюсь один, а все, что было раздельно и потому слабо, сливается в ужасное единство вражеского ружейного, пулеметного, артиллерийского огня, и нет уже силы, которая помогла бы мне преодолеть это единство. Спасение — в моем бегстве, в том, чтобы спрятать мою голову, укрыть плечо, лоб, челюсть.

А во тьме ночи подвергшиеся внезапному удару и поначалу чувствовавшие себя слабыми и отдельными начинают расчленять единство обрушившегося на них неприятеля и ощущать собственное единство, в котором и есть сила победы.

В понимании этого перехода часто и лежит

то, что дает право военному делу называться искусством.

В этом ощущении единичности и множественности, в переходе сознания от понятия единичности к понятию множественности не только связь событий при ночных штурмах рот и батальонов, но и знак военных усилий армий и народов.

Есть одно ощущение, которое почти целиком теряется участниками боя, — это ощущение времени. Девочка, протанцевавшая на новогоднем балу до утра, не сможет ответить, каково было ее ощущение времени на балу — долгим ли или, наоборот, коротким.

И шлиссельбуржец, отбывший двадцать пять лет заключения, скажет: «Мне кажется, что я провел в крепости вечность, но одновременно мне кажется, что я провел в крепости короткие недели».

У девочки ночь была полна мимолетных событий — взглядов, отрывков музыки, улыбок, прикосновений, — каждое это событие казалось столь стремительным, что не оставляло в сознании ощущения протяженности во времени. Но сумма этих коротких событий породила ощущение большого времени, вместившего всю радость

человеческой жизни.

У шлиссельбуржца происходило обратное — его тюремные двадцать пять лет складывались из томительно длинных отдельных промежутков времени, от утренней поверки до вечерней, от завтрака до обеда. Но сумма этих бедных событий, оказалось, породила новое ощущение: в сумрачном однообразии смены месяцев и годов время сжалось, сморщилось… Так возникло одновременное ощущение краткости и бесконечности, так возникло сходство этого ощущения в людях новогодней ночи и в людях тюремных десятилетий. В обоих случаях сумма событий порождает одновременное чувство длительности и краткости.

Более сложен процесс деформации ощущения длительности и краткости времени, переживаемый человеком в бою. Здесь дело идет дальше, здесь искажаются, искривляются отдельные, первичные ощущения. В бою секунды растягиваются, а часы сплющиваются. Ощущение длительности связывается с молниеносными событиями — свистом снарядов и авиабомб, вспышками выстрелов и вспышками взрывов.

Ощущение краткости соотносится к событиям протяженным — к движению по вспаханному

полю под огнем, к переползанию от укрытия к укрытию. А рукопашный бой происходит вне времени. Здесь неопределенность проявляется и в слагающих, и в результате, здесь деформируются и сумма, и каждое слагаемое.

А слагаемых здесь бесконечное множество.

Ощущение продолжительности боя в целом столь глубоко деформировано, что оно является полной неопределенностью — не связывается ни с длительностью, ни с краткостью.

В хаосе, в котором смешались слепящий свет и слепящая тьма, крики, грохот разрывов, скоропечать автоматов, в хаосе, разодравшем в клочья ощущение времени, с поразительной ясностью Крымов понял: немцы смяты, немцы побиты. Он понял это так же, как и те писари и связные, что стреляли рядом с ним, — внутренним чувством.

12

Ночь прошла. Среди опаленного бурьяна валялись тела убитых. Безрадостно и угрюмо дышала у берегов тяжелая вода. Тоска охватывала сердце при взгляде на разрытую землю, на пустые коробки выгоревших домов.

Начинался новый день, и война готовилась щедро — по самый край — наполнить его дымом, щебенкой, железом, грязными, окровавленными бинтами. А позади были такие же дни. И ничего уже не было в мире, кроме этой вспаханной железом земли, кроме неба в огне.

Крымов сидел на ящике, прислонившись головой к каменной обшивке трубы, и дремал.

Он слушал неясные голоса сотрудников штаба, слышал позвякивание чашек — комиссар дивизии и начальник штаба пили чай, переговаривались сонными голосами. Говорили, что захваченный пленный оказался сапером; батальон его был на самолетах переброшен несколько дней назад из Магдебурга. В мозгу Крымова мелькнула картинка из детского учебника — два задастых битюга, подгоняемых погонщиками в остроконечных колпаках, пытаются отодрать

присосавшиеся друг к другу полушария. И чувство скуки, которое вызывала в нем в детстве эта картинка, вновь коснулось его.

— Это хорошо, — сказал Бельский, — значит, резервы подобрались.

— Да уж, конечно, хорошо, — согласился Вавилов, — штаб дивизии в контратаку ходит.

И тут Крымов услышал негромкий голос Родимцева:

— Цветочки, цветочки, ягодки на заводах будут.

Казалось, все силы души Крымов истратил в этом ночном бою. Для того чтобы увидеть Родимцева, надо было повернуть голову, но Крымов не повернул головы. «Так пусто, вероятно, себя чувствует колодец, из которого вычерпали всю воду», — подумал он. Он снова задремал, и негромкие голоса, звуки стрельбы и разрывов слились в однотонное гудение.

Но вот новое ощущение вошло в мозг Крымова, и ему померещилось, что он лежит в комнате с закрытыми ставнями и следит за пятном утреннего света на обоях. Пятно доползло до ребра стенного зеркала и раскрылось радугой. Сердце мальчика задрожало, человек с седыми висками, с висящим у пояса тяжелым пистолетом открыл

глаза и оглянулся.

Посреди трубы, в старенькой гимнастерке, в пилоточке с зеленой фронтовой звездочкой стоял, склонив голову, музыкант и играл на скрипке.

Вавилов, увидев, что Крымов проснулся, наклонился к нему и сказал:

— Это наш парикмахер, Рубинчик, ба-альшой специалист!

Иногда кто-нибудь бесцеремонно перебивал игру шутливым грубым словом, иногда кто-нибудь, заглушая музыканта, спрашивал «разрешите обратиться?» — рапортовал начальнику штаба, постукивала ложечка в жестяной кружке, кто-то протяжно зевнул: «Охо-хо-хо-хо…» — и стал взбивать сено.

Парикмахер внимательно следил, не мешает ли его игра командирам, готовый в любую минуту прервать ее.

Но почему Ян Кубелик, вспомнившийся Крымову в эти минуты, седой, в черном фраке, отступил, склонившись перед штабным парикмахером? Почему тонкий, дребезжащий голос скрипки, поющий незамысловатую, как мелкий ручеек, песенку, казалось, выражал в эти минуты сильней, чем Бах и Моцарт, всю просторную глубину человеческой души?

Снова, в тысячный раз Крымов ощутил боль одиночества. Женя ушла от него…

Снова с горечью он подумал, что уход Жени выразил всю механику его жизни: он остался, но его не стало. И она ушла.

Снова он подумал, что надо сказать самому себе много страшного, беспощадно жестокого… полно робеть, прикрываться перчаткою…

Музыка, казалось, вызвала в нем понимание времени.

Время — прозрачная среда, в которой возникают, движутся, бесследно исчезают люди… Во времени возникают и исчезают массивы городов. Время приносит их и уносит.

Но в нем возникло совсем особое, другое понимание времени. То понимание, которое говорит: «Мое время… не наше время».

Время втекает в человека и в царство-государство, гнездится в них, и вот время уходит, исчезает, а человек, царство остаются… царство осталось, а его время ушло… человек есть, а время его исчезло. Где оно? Вот человек, он дышит, он мыслит, он плачет, а то единственное, особое, только с ним связанное время ушло, уплыло, утекло. И он остается.

Самое трудное — быть пасынком времени. Нет

тяжелее участи пасынка, живущего не в свое время. Пасынков времени распознают сразу — в отделах кадров, в райкомах партии, в армейских политотделах, редакциях, на улице… Время любит лишь тех, кого оно породило, — своих детей, своих героев, своих тружеников. Никогда, никогда не полюбит оно детей ушедшего времени, и женщины не любят героев ушедшего времени, и мачехи не любят чужих детей.

Вот таково время, — все уходит, а оно остается. Все остается, одно время уходит. Как легко, бесшумно уходит время. Вчера еще ты был так уверен, весел, силен: сын времени. А сегодня пришло другое время, но ты еще не понял этого.

Время, растерзанное в бою, возникло из фанерной скрипки парикмахера Рубинчика. Скрипка сообщала одним, что время их пришло, другим, что время их уходит.

«Ушло, ушло», — подумал Крымов.

Он смотрел на спокойное, добродушное, большое лицо комиссара Вавилова. Вавилов прихлебывал из кружки чай, старательно, медленно жевал хлеб с колбаской, его непроницаемые глаза были повернуты к светлевшему в устье трубы пятну света.

Родимцев, зябко поднявши прикрытые ши-

нелью плечи, со спокойным и ясным лицом, внимательно, в упор смотрел на музыканта. Рябоватый седой полковник, начальник артиллерии дивизии, наморщив лоб, отчего лицо его казалось недобрым, смотрел на лежащую перед ним карту, и лишь по грустным милым глазам его видно было, что карты он не видит, слушает. Бельский быстро писал донесение в штаб армии; он, казалось, был занят только делом, но писал он, склонив голову и повернув ухо в сторону скрипача. А поодаль сидели красноармейцы — связные, телефонисты, писари, и на их изнеможенных лицах, в их глазах было выражение серьезности, какое возникает на лице крестьянина, жующего хлеб.

Вдруг вспомнилась Крымову летняя ночь — большие темные глаза молодой казачки, ее жаркий шепот… Хороша все же жизнь!

Когда скрипач перестал играть, стало слышно тихое журчание, — под деревянным настилом бежала вода, и Крымову показалось, что душа его — вот тот самый невидимый колодец, который стал пуст, сух, а теперь потихоньку вбирает в себя воду.

Полчаса спустя скрипач брил Крымова и со смешащей обычно посетителей парикмахерских

преувеличенной серьезностью спрашивал, не беспокоит ли Крымова бритва, щупал ладонью — хорошо ли выбриты крымовские скулы. В угрюмом царстве земли и железа пронзительно странно, нелепо и грустно запахло одеколоном и пудрой.

Родимцев, прищурившись, оглядел попрысканного одеколоном и напудренного Крымова, удовлетворенно кивнул и сказал:

— Что ж, гостя побрил на совесть. Теперь меня давай обработай.

Темные большие глаза скрипача наполнились счастьем. Разглядывая голову Родимцева, он встряхнул беленькую салфеточку и произнес:

— Может быть, височки все-таки подправим, товарищ гвардии генерал-майор?

13

После пожара нефтехранилищ генерал-полковник Еременко собрался к Чуйкову в Сталинград.

Эта опасная поездка не имела никакого практического смысла.

Однако душевная, человеческая необходимость в ней была велика, и Еременко потерял три дня, ожидая переправы.

Спокойно выглядели светлые стены блиндажа в Красном Саду, приятна была тень яблонь во время утренних прогулок командующего.

Далекий грохот и огонь Сталинграда сливались с шумом листвы и с жалобой камыша, и в этом соединении было что-то непередаваемо тяжелое, командующий во время утренних прогулок кряхтел и матерился.

Утром Еременко сообщил Захарову о своем решении отправиться в Сталинград и велел ему принять на себя командование.

Он пошутил с официанткой, расстилавшей скатерть для завтрака, разрешил заместителю начальника штаба слетать на два дня в Саратов, он внял просьбе генерала Труфанова, командовавшего одной из степных армий, и обещал

ему побомбить мощный артиллерийский узел румын. «Ладно, ладно, дам тебе дальнобойных самолетов», — сказал он.

Адъютанты гадали, чем вызвано хорошее настроение командующего. Добрые вести от Чуйкова? Благоприятный разговор по телефону ВЧ? Письмо из дому?

Но все такие и подобные известия обычно не проходили мимо адъютантов — Москва не вызывала командующего, а вести от Чуйкова не были веселыми.

После завтрака генерал-полковник надел ватник и отправился на прогулку. Шагах в десяти от него шел адъютант Пархоменко. Командующий шел по-обычному неторопливо, несколько раз он почесывал ляжку и поглядывал в сторону Волги.

Еременко подошел к бойцам трудового батальона, рывшим котлован. Это были пожилые люди с темно-коричневыми от загара затылками. Лица их были угрюмы и невеселы. Работали они молча и сердито поглядывали на полнотелого человека в зеленой фуражке, в бездействии стоявшего на краю котлована.

Еременко спросил:

— Скажите-ка, ребята, кто из вас хуже всех работает?

Бойцам трудового батальона вопрос показался подходящим, им надоело махать лопатами. Бойцы все вместе покосились на мужика, вывернувшего карман и ссыпавшего на ладонь махорочную труху и хлебные крошки.

— Да пожалуй, он, — сказали двое и оглянулись на остальных.

— Так, — серьезно произнес Еременко, — значит, этот. Вот самый лядачий.

Боец с достоинством вздохнул, глянул снизу на Еременко серьезными кроткими глазами и, видимо, решив, что вопрошавший интересуется всем этим не для дела, а просто так, для истории либо для пополнения образования, не стал вмешиваться в разговор.

Еременко спросил:

— А кто же из вас лучше всех работает?

И все показали на седого человека; поредевшие волосы не предохраняли его голову от загара, как не предохраняет землю от солнечных лучей чахлая трава.

— Трошников, вот он, — сказал один, — старается очень.

— Привык работать, ничего с собой поделать не может, — подтвердили остальные, как бы извиняясь за Трошникова.

Еременко полез в карман брюк, извлек сверкнувшие на солнце золотые часы и, с трудом нагнувшись, протянул их Трошникову.

Тот, не поняв, глядел на Еременко.

— Бери, это тебе награда, — сказал Еременко.

Продолжая глядеть на Трошникова, он сказал:

— Пархоменко, оформи награждение грамотой.

Он пошел дальше, слыша, как за спиной его загудело от возбужденных голосов, землекопы охали, смеялись невиданной удаче привычного к работе Трошникова.

Два дня ожидал командующий фронтом переправы. Связь с правым берегом в эти дни была почти порвана. Катера, которым удавалось прорваться к Чуйкову, за считанные минуты пути получали по пятьдесят — семьдесят пробоин, подходили к берегу залитые кровью.

Еременко сердился, раздражался.

Начальство на шестьдесят второй переправе, слыша немецкую пальбу, страшилось не бомб и снарядов, а гнева командующего. Еременко казалось, что нерадивые майоры и нерасторопные капитаны виноваты в бесчинствах немецких минометов, пушек и авиации.

Ночью Еременко вышел из землянки и стоял

на песчаном холмике близ воды.

Карта войны, лежавшая перед командующим фронтом в блиндаже в Красном Саду, здесь гремела, дымилась, дышала жизнью и смертью.

Казалось, он узнавал огненный пунктир прочерченного его рукой переднего края, узнавал толстые клинья паулюсовских прорывов к Волге, отмеченные его цветными карандашами узлы обороны и места скопления огневых средств. Но, глядя на карту, раскрытую на столе, он чувствовал себя в силе гнуть, двигать линию фронта, он мог заставить взреветь тяжелую артиллерию левобережья. Там чувствовал он себя хозяином, механиком.

Здесь совсем другое чувство охватило его… Зарево над Сталинградом, медленный гром в небе — все это потрясало своей огромной, не зависящей от командующего страстью и силой.

Среди грохота пальбы и разрывов со стороны заводов доносился чуть слышный протяжный звук: а-а-а-а-а…

В этом протяжном крике поднявшейся в контратаку сталинградской пехоты было нечто не только грозное, но и печальное, тоскливое.

— А-а-а-а-а, — разносилось над Волгой… Боевое «ура», пройдя над холодной ночной водой

под звездами осеннего неба, словно теряло горячность страсти, менялось, и в нем вдруг открывалось совсем другое существо, — не задор, не лихость, а печаль души, словно прощающейся со всем дорогим, словно зовущей близких своих проснуться, поднять голову от подушки, послушать в последний раз голос отца, мужа, сына, брата…

Солдатская тоска сжала сердце генерал-полковника.

Война, которую командующий привык толкать, вдруг втянула его в себя, он стоял тут, на сыпучем песке, одинокий солдат, потрясенный огромностью огня и грома, стоял, как стояли тут, на берегу, тысячи и десятки тысяч солдат, чувствовал, что народная война больше, чем его умение, его власть и воля. Может быть, в этом ощущении и было то самое высшее, до чего суждено было подняться генералу Еременко в понимании войны.

Под утро Еременко переправился на правый берег. Предупрежденный по телефону Чуйков подошел к воде, следил за стремительным ходом бронекатера.

Еременко медленно сошел, прогибая своей тяжестью выброшенный на берег трап, неловко

ступая по каменистому берегу, подошел к Чуйкову.

— Здравствуй, товарищ Чуйков, — сказал Еременко.

— Здравствуйте, товарищ генерал-полковник, — ответил Чуйков.

— Приехал посмотреть, как вы тут живете. Вроде ты не обгорел при нефтяном пожаре. Такой же лохматый. И не похудел даже. Кормим мы тебя все же неплохо.

— Где ж худеть, сижу день и ночь в блиндаже, — ответил Чуйков, и, так как ему показались обидными слова командующего, что кормят его неплохо, он сказал: — Что же это я гостя принимаю на берегу!

И действительно, Еременко рассердился, что Чуйков назвал его сталинградским гостем. И когда Чуйков сказал: «Пожалуйте ко мне в хату», Еременко ответил: «Мне и тут хорошо, на свежем воздухе».

В это время заговорила из Заволжья громкоговорительная установка.

Берег был освещен пожарами и ракетами, вспышками взрывов и казался пустынным. Свет то мерк, то разгорался, секундами он вспыхивал с ослепительной белой силой. Еременко всмат-

ривался в береговой откос, изрытый ходами сообщения, блиндажами, в громоздившиеся вдоль воды груды камня, они выступали из тьмы и легко и быстро вновь уходили во тьму.

Огромный голос медленно, веско пел:

Пусть ярость благородная вскипает, как волна,

Идет война народная, священная война...

И так как людей на берегу и на откосе не было видно, и так как все кругом — и земля, и Волга, и небо — было освещено пламенем, казалось, что эту медленную песню поет сама война, поет без людей, помимо них катит пудовые слова.

Еременко чувствовал неловкость за свой интерес к открывшейся ему картине: в самом деле, он словно в гости приехал к сталинградскому хозяину. Он сердился, что Чуйков, видимо, понял душевную тревогу, заставившую его переправиться через Волгу, знал, как томился командующий фронтом, гуляя под шелест сухого камыша в Красном Саду.

Еременко стал спрашивать хозяина всей этой огненной беды о маневрировании резервами, о взаимодействии пехоты и артиллерии и о сосре-

доточении немцев в районе заводов. Он задавал вопросы, и Чуйков отвечал, как и полагается отвечать на вопросы старшего начальника.

Они помолчали. Чуйкову хотелось спросить: «Величайшая в истории оборона, но как же с наступлением все-таки?»

Но он не решился спрашивать: Еременко подумает, что не хватает у защитников Сталинграда терпения, просят снять тяжесть с плеч.

Вдруг Еременко спросил:

— Твой отец с матерью, кажется, в Тульской области, в деревне живут?

— В Тульской, товарищ командующий.

— Пишет старик тебе?

— Пишет, товарищ командующий. Работает еще.

Они поглядели друг на друга, стекла очков Еременко розовели от огня пожара.

Казалось, вот-вот начнется единственно нужный им обоим разговор о простой сути Сталинграда. Но Еременко сказал:

— Ты, верно, интересуешься вопросом, который всегда командующему фронтом задают, — насчет пополнений живой силой и боеприпасами?

Разговор, единственно имевший смысл в этот час, так и не состоялся.

Стоявший на гребне откоса часовой поглядывал вниз, и Чуйков, следя за свистом снаряда, поднял глаза и проговорил:

— Красноармеец, вероятно, думает: что за два чудака стоят там у воды?

Еременко посопел, ковырнул в носу.

Подошел момент, когда надо было прощаться. По неписаной морали начальник, стоящий под огнем, обычно уходит, лишь когда подчиненные начинают просить его об этом. Но безразличие Еременко к опасности было так полно и естественно, что эти правила не касались его.

Он рассеянно и одновременно зорко повернул голову следом за свистящим звуком пролетевшей мины.

— Ну что ж, Чуйков, пора мне ехать.

Чуйков стоял несколько мгновений на берегу, следя за уходившим катером, — пенный след за кормой напоминал ему белый платок, словно женщина, прощаясь, махала им.

Еременко, стоя на палубе, глядел на заволжский берег, — он волнообразно колыхался в неясном свете, идущем от Сталинграда, а река, по которой прыгал катер, застыла, как каменная плита.

Еременко с досадой прошел от борта к борту. Десятки привычных мыслей возникли в его голо-

ве. Новые задачи стояли перед фронтом. Главным теперь было накапливание бронетанковых сил, порученная ему Ставкой подготовка удара на левом фланге. Ни слова он не сказал об этом Чуйкову.

А Чуйков вернулся в свой блиндаж, и автоматчик, стоявший у входа, и порученец в сенцах, и явившийся по вызову начальник штаба гурьевской дивизии — все, кто вскочили, заслышав тяжелую походку Чуйкова, увидели, что командарм расстроен. Да и было отчего.

Ведь тают, тают дивизии, ведь в смешении атак и контратак немецкие клинья неуклонно срезают драгоценные метры сталинградской земли. Ведь две свежие пехотные дивизии полного состава прибыли из германского тыла и сосредоточены в районе Тракторного завода, зловеще бездействуют.

Нет, не высказал Чуйков перед командующим фронтом всех своих опасений, тревог, мрачных мыслей.

Но ни тот, ни другой не знали, в чем была причина их неудовлетворенности этой встречей. Главным в их встрече было надделовое, то, что оба они не сумели вслух высказать.

14

Октябрьским утром майор Березкин проснулся, подумал о жене и дочери, о крупнокалиберных пулеметах, прислушался к ставшему за месяц его сталинградской жизни привычным грохоту, позвал автоматчика Глушкова и велел принести себе помыться.

— Холодная, как вы приказывали, — сказал Глушков, улыбаясь и переживая удовольствие, которое испытывал Березкин от утреннего умывания.

— А на Урале, где жена и дочка, уже снежок, наверное, выпал, — сказал Березкин, — не пишут они мне, вот, понимаешь…

— Напишут, товарищ майор, — сказал Глушков.

Пока Березкин вытирался, надевал гимнастерку, Глушков рассказывал ему о событиях, произошедших в утренние часы.

— По пищеблоку ударил «ванюшей», кладовщика убило, во втором батальоне помначштаба вышел оправиться, его в плечо осколком подранило; в саперном батальоне бойцы судака, глушенного бомбой, выловили, кило на пять, я

ходил смотреть, комбату, товарищу капитану Мовшовичу, в подарок снесли. Заходил товарищ комиссар, велел, когда проснетесь, позвонить.

— Понятно, — сказал Березкин. Он выпил чашку чаю, поел студня из телячьих ножек, позвонил комиссару и начальнику штаба, сказал, что отправляется в батальоны, надел ватник и пошел к двери.

Глушков встряхнул полотенце, повесил его на гвоздик, пощупал гранату на боку, похлопал себя по карману — на месте ли кисет — и, взяв в углу автомат, пошел за командиром полка.

Березкин вышел из полутемного блиндажа и зажмурился от белого света. Ставшая за месяц знакомой картина лежала перед ним — глинистая осыпь, бурый откос весь в пятнах засаленных плащ-палаток, прикрывавших солдатские землянки, дымящие трубы самодельных печей. Наверху темнели заводские корпуса со снесенными крышами.

Левее, ближе к Волге, возвышались заводские трубы «Красного Октября», громоздились товарные вагоны, как ошалевшее стадо, сбившееся вокруг тела убитого вожака, лежащего на боку паровоза. А еще дальше виднелось широкое кружево мертвых городских развалин, и осеннее

небо просвечивало сквозь бреши окон тысячами голубых пятен.

Меж заводских цехов поднимался дым, мелькало пламя, и ясный воздух был полон то тягучим шелестом, то сухим, дробным тарахтением. Казалось, что заводы работают полным ходом.

Березкин внимательно оглядел свои триста метров земли, — оборону полка, — она проходила среди домиков рабочего поселка. Внутреннее чувство помогало в путанице развалин, улочек ощутить, в каком доме варят кашу красноармейцы, в каком едят шпик и пьют шнапс немецкие автоматчики.

Березкин пригнул голову и ругнулся, прошелестела в воздухе мина.

На противоположном склоне оврага дым закрыл вход в один из блиндажей, и тотчас же звонко треснул разрыв. Из блиндажа выглянул начальник связи соседней дивизии, — он был без кителя, в подтяжках. Едва он сделал шаг, как снова засвистело, и начальник связи поспешно отступил и прихлопнул дверь, — мина разорвалась метрах в десяти. В дверях блиндажа, расположенного на углу оврага и волжского откоса, стоял Батюк и наблюдал происходившее.

Когда начальник связи пытался шагнуть впе-

ред, Батюк, гакая, кричал: «Огонь!» — и немец, как по заказу, пускал мину.

Батюк заметил Березкина и крикнул ему:

— Здорово, сосед!

Эта проходка по пустынной тропинке по существу своему была ужасным, смертным делом, — немцы, выспавшись и покушав фрюштик, наблюдали за тропинкой с особым интересом, садили, не жалея припасов, по всякому. На одном из поворотов Березкин постоял у груды скрапа и, промерив глазом лукаво задумавшееся пространство, проговорил:

— Давай, Глушков, беги первый.

— Что вы, разве можно, тут снайпер у них, — сказал Глушков.

Перебегать первым опасное место считалось привилегией начальников, немцы обычно не успевали открыть огонь по первому бегущему.

Березкин оглянулся на немецкие дома, подмигнул Глушкову и побежал.

Когда он подбежал к насыпи, закрывавшей обзор из немецких домов, за спиной его четко чокнуло, щелкнуло — немец стрельнул разрывной пулей.

Березкин, стоя под насыпью, стал закуривать. Глушков побежал длинным, быстрым шагом.

Очередь резанула ему под ноги, казалось, с земли взлетела стайка воробьев. Глушков метнулся в сторону, споткнулся, упал, вновь вскочил и подбежал к Березкину.

— Чуть не срезал, — сказал он и, отдышавшись, объяснил: — Я думал подгадать, он вас пропустил и с досады сигарету закуривать станет, а он, холера, видно, некурящий.

Глушков пощупал обкромсанную полу ватника и обматерил немца.

Когда они подошли к командному пункту батальона, Березкин спросил:

— Подранило, товарищ Глушков?

— Он мне каблук отгрыз, совсем раздел, подлец, — сказал Глушков.

Командный пункт батальона находился в подвале заводского магазина «Гастроном», и в сыром воздухе стоял запах квашеной капусты и яблок.

На столе горели два высоких светильника из снарядных гильз. Над дверью был прибит плакат: «Продавец и покупатель, будьте взаимно вежливы».

В подвале размещались штабы двух батальонов — стрелкового и саперного. Оба комбата, Подчуфаров и Мовшович, сидели за столом и завтракали. Открывая дверь, Березкин услышал

оживленный голос Подчуфарова:

— Я разбавленный спиридон не люблю, по мне бы его вовсе не было.

Оба комбата поднялись, вытянулись. Начальник штаба спрятал под груду ручных гранат четвертинку водки, а повар заслонил своим телом судака, о котором минуту назад беседовал с ним Мовшович. Вестовой Подчуфарова, сидевший на корточках и собиравшийся поставить по указанию своего начальника на патефонный диск пластинку «Китайская серенада», вскочил так быстро, что успел лишь скинуть пластинку, а патефонный моторчик продолжал жужжать вхолостую: вестовой, глядя прямым и открытым взором, как и следовало боевому солдату, ловил уголком глаза злой взгляд Подчуфарова, когда проклятый патефон особенно трудолюбиво подвывал и курлыкал.

Оба комбата и остальные, причастные к завтраку, хорошо знали предрассудок начальников: старшие полагали — батальонные люди должны либо вести бои, либо глядеть в бинокль на противника, либо размышлять, склонившись над картой. Но ведь люди не могут двадцать четыре часа стрелять, говорить по телефону с ниже- и вышестоящими, — надо и покушать.

Березкин покосился в сторону журчащего патефона и усмехнулся.

— Так, — сказал он и добавил: — Садитесь, товарищи, продолжайте.

Слова эти имели, возможно, обратный, а не прямой смысл, и на лице Подчуфарова появилось выражение грусти и раскаяния, а на лице Мовшовича, командовавшего отдельным саперным батальоном и потому непосредственно не подчиненного командиру полка, выражение одной лишь грусти, без раскаяния. Примерно так же разделились выражения лиц, подчиненных им.

Березкин продолжал особо неприятным тоном:

— А где судак ваш на пять килограмм, товарищ Мовшович, о нем уж в дивизии все знают.

Мовшович с тем же выражением грусти сказал:

— Повар, покажите, пожалуйста, рыбу.

Повар, единственный находившийся при исполнении своих прямых обязанностей, прямодушно сказал:

— Товарищ капитан велел пофаршировать его по-еврейски; перец, лавровый лист есть, а вот хлеба белого нет, и хрену не будет…

— Так, понятно, — сказал Березкин, — фарши-

рованную рыбу я в Бобруйске ел у одной Фиры Ароновны, по правде говоря, не совсем понравилась.

И вдруг люди в подвале поняли, что командиру полка даже не приходило в голову сердиться.

Словно Березкин знал о том, что Подчуфаров отбивал ночных немцев, что под утро его присыпало землей и вестовой, наладчик «Китайской серенады», откапывал его и кричал: «Не сомневайтесь, товарищ капитан, выручу…»

Словно он знал, что Мовшович ползал с саперами по танкоопасной улочке и присыпал землей и битым кирпичом шахматный узор против танковых мин…

Их молодость радовалась еще одному утру, можно еще раз поднять жестяную кружечку и сказать: «Эх, будь здоров, и тому подобное», и можно жевать капусту, дымить папироской…

Собственно, ничего не произошло — минутку хозяева подвала постояли перед старшим командиром, потом предложили ему покушать с ними, с удовольствием глядели, как командир полка ел капусту.

Березкин часто сравнивал сталинградское сражение с прошедшим годом войны, — видел он ее немало. Он понял, что выдерживает такое

напряжение лишь потому, что в нем самом живут тишина и покой. И красноармейцы могли есть суп, чинить обувь, вести разговор о женах, о плохих и хороших начальниках, мастерить ложки в такие дни и часы, когда, казалось, люди способны испытывать лишь бешенство, ужас либо изнеможение. Он видел, что не имевшие в себе покойной душевной глубины долго не выдерживали, как бы отчаянны и безрассудны в бою они ни были. Робость, трусость казались Березкину временным состоянием, чем-то вроде простуды, которую можно вылечить.

Что такое храбрость и трусость, он твердо не знал. Однажды в начале войны начальство распекало Березкина за робость, — он самочинно отвел полк из-под немецкого огня. А незадолго до Сталинграда Березкин приказал командиру батальона отвести людей на обратный скат высоты, чтобы их зря не обстреливали немецкие хулиганы-минометчики. Командир дивизии с упреком сказал:

— Что ж это, товарищ Березкин, а мне про вас говорили как о человеке храбром, спокойном.

Березкин молчал, вздохнул, — должно быть, говорившие ошиблись в нем.

Подчуфаров, ярко-рыжий, с яркими голубыми

глазами, с трудом сдерживал свою привычку быстро, неожиданно смеяться и неожиданно сердиться. Мовшович, худой, с длинным веснушчатым лицом, с пятнами седых волос на темной голове, сипло отвечал на вопросы Березкина. Он вытащил блокнот и стал рисовать предложенную им новую схему минирования танкоопасных участков.

— Вырвите мне этот чертежик на память, — сказал Березкин, наклонился к столу и вполголоса произнес: — Меня вызывал командир дивизии. По данным армейской разведки, немцы уводят силы из городского района, сосредоточивают их против нас. Танков много. Понятно?

Березкин прислушался к близкому разрыву, потрясшему стены подвала, и улыбнулся.

— А у вас тут спокойно. В моем овраге за это время уже обязательно человека три побывали бы из штаба армии, разные комиссии все ходят.

В это время новый удар потряс здание, с потолка посыпались куски штукатурки.

— А ведь верно, спокойно, никто особенно не беспокоит, — сказал Подчуфаров.

— Вот в том-то и дело, что не беспокоят, — сказал Березкин.

Он заговорил доверительно, вполголоса, ис-

кренне забывая, что он и есть начальство, забыв об этом от привычки быть подчиненным и непривычки быть начальством.

— Знаете, как начальство? Почему не наступаешь? Почему не занял высоту? Почему потери? Почему без потерь? Почему не доносишь? Почему спишь? Почему…

Березкин поднялся.

— Пойдемте, товарищ Подчуфаров, хочу вашу оборону посмотреть.

Пронзительная печаль была в этой улочке рабочего поселка, в обнажившихся внутренних стенах, обклеенных пестренькими обоями, во вспаханных танками садиках и огородах, в одиноких, кое-где уцелевших осенних георгинах, цветущих бог весть зачем.

Неожиданно Березкин сказал Подчуфарову:

— Вот, товарищ Подчуфаров, писем от жены нет. Нашел я ее в дороге, а теперь опять нет писем, знаю только, что на Урал с дочкой поехали.

— Напишут, товарищ майор, — сказал Подчуфаров.

В полуподвале двухэтажного дома, под заложенными кирпичом окнами, лежали раненые, ожидавшие ночной эвакуации. На полу стояло ведро с водой, кружка, меж окон напротив двери

была прибита к стене картинка-открытка «Сватовство майора».

— Это тылы, — сказал Подчуфаров, — передний край дальше.

— Дойдем и до переднего края, — сказал Березкин.

Они прошли через переднюю в комнату с проваленным потолком, и чувство, которое испытывают люди, пришедшие из заводской конторы в двери цеха, охватило их. В воздухе стоял тревожный и перченый дух пороховых газов, под ногами скрипели пегие, выстрелянные патроны. В детской кремовой коляске были сложены противотанковые мины.

— Вот развалюшку у меня ночью немец забрал, — сказал Подчуфаров, подходя к окну. — До чего жалко, дом замечательный, окна на юго-запад. Весь мой левый край под огнем держит.

У заложенных кирпичом окон с узкими прорезями стоял станковый пулемет, пулеметчик без пилотки, с обвязанной пропыленным и задымленным бинтом головой заправлял новую ленту, а первый номер, обнажив белые зубы, сжевывал кусок колбасы, готовясь через полминуты снова стрелять.

Подошел командир роты, лейтенант. В кар-

машек его гимнастерки была вставлена белая астра.

— Орел, — улыбаясь, сказал Березкин.

— Вот хорошо, что вас вижу, товарищ капитан, — сказал лейтенант, — как я вам ночью сказал, так и есть, опять они пошли на дом номер шесть дробь один. Ровно в девять начали, — и он посмотрел на часы.

— Здесь стоит командир полка, ему докладывайте.

— Виноват, не признал, — быстро козырнул лейтенант.

Шесть дней назад противник отрезал в районе полка несколько домов и начал по-немецки обстоятельно сжевывать их. Советская оборона гасла под развалинами, гасла вместе с жизнью оборонявшихся красноармейцев. Но в одном заводском доме с глубокими подвалами советская оборона продолжала держаться. Крепкие стены выдерживали удары, хотя и были во многих местах прошиблены снарядами и изгрызены минами. Немцы пытались сокрушить это здание с воздуха, и трижды самолеты-торпедоносцы пускали на него разрушительные торпеды. Вся угловая часть дома обрушилась. Но подвал под развалинами оказался цел, и оборонявшиеся,

расчистив обломки, установили пулеметы, легкую пушку, минометы и не подпускали немцев. Дом этот был счастливо расположен — немцы не могли к нему найти скрытых подходов.

Командир роты, докладывавший Березкину, сказал:

— Пробовали ночью пробраться к ним — не вышло дело у нас. Одного убили, а двое раненные вернулись.

— Ложись! — жутким голосом закричал в это время красноармеец-наблюдатель, и несколько человек повалились плашмя на землю, а командир роты не договорил, взмахнул руками, как будто собираясь нырнуть, плюхнулся на пол.

Вой пронзительно вырос и вдруг обратился потрясающим землю и душу грохотом вонючих и душных разрывов. Толстый черный чурбак грохнулся на пол, подскочил, подкатился под ноги Березкину, и тот подумал, что полено, подброшенное силой взрыва, едва не ударило его по ноге.

И вдруг он увидел — то был невзорвавшийся снаряд. Напряжение этой секунды было невыносимо.

Но снаряд не взорвался, и его черная тень, поглотившая небо и землю, заслонившая прошлое,

обрубившая будущее, исчезла.

Командир роты поднялся на ноги.

— Вот это козюлька, — сказал чей-то расстроенный голос, а другой рассмеялся:

— Ну, я думал — все, накрылся.

Березкин утер пот, вдруг выступивший на лбу, поднял с полу белую астрочку, стряхнул с нее кирпичную пыль и, прикрепив ее к карману лейтенантской гимнастерки, сказал:

— Наверное, подарок... — и стал объяснять Подчуфарову: — Почему у вас все-таки спокойно? Начальство не ходит. Ведь начальство всегда чего-нибудь от тебя хочет: у тебя повар хороший, заберу у тебя повара. У тебя классный парикмахер или, там, портной — дай его мне. Калымщики! Ты хороший блиндаж себе отрыл — вылезай из него. У тебя хорошая квашеная капуста — пришли ее мне. — Он неожиданно спросил у лейтенанта: — А почему же двое вернулись, не дошли до окруженных?

— Подранило их, товарищ командир полка.

— Понятно.

— Вы счастливый, — сказал Подчуфаров, когда они, выйдя из дома, проходили по огородам, где среди желтой картофельной ботвы были вырыты окопы и землянки второй роты.

— Кто знает, счастливый ли я, — сказал Березкин и прыгнул на дно окопа. — Как в полевых условиях, — проговорил он таким тоном, каким говорят: «Как в курортных условиях».

— Земля лучше всего к войне приспособлена, — подтвердил Подчуфаров. — Привыкла, — возвращаясь к разговору, начатому командиром полка, он добавил: — Не то что повара, случалось, и бабу начальство отбирало.

Весь окоп шумел возбужденной перекличкой, трещал винтовочными выстрелами, короткими очередями автоматов и пулеметов.

— Командир роты убит, политрук Сошкин командует, — сказал Подчуфаров. — Вот его блиндажик.

— Ясно, ясно, — сказал Березкин, заглянув в полуоткрытую дверь блиндажа.

Возле пулеметов их нагнал краснолицый, с черными бровями политрук Сошкин и, непомерно громко выкрикивая отдельные слова, доложил, что рота ведет огонь по немцам с целью помешать их сосредоточению для атаки на дом шесть дробь один.

Березкин взял у него бинокль, вглядывался в короткие огоньки выстрелов, языкастое пламя из минометных жерл.

— Вон, второе окно на третьем этаже, там, мне кажется, снайпер засел.

И только он успел сказать эти слова, в окне, на которое указывал он, блеснул огонек, и пуля щебетнула, ударила в стенку окопа как раз между головой Березкина и головой Сошкина.

— Счастливый вы, — сказал Подчуфаров.

— Кто знает, счастливый ли я, — ответил Березкин.

Они прошли по окопу к местному ротному изобретению: противотанковое ружье было закреплено сошниками на тележном колесе.

— Своя ротная зенитка, — сказал сержант с пыльной щетиной и беспокойными глазами.

— Танк в ста метрах, у домика с зеленой крышей! — закричал учебным голосом Березкин.

Сержант быстро повернул колесо, и длинное дуло противотанкового ружья склонилось к земле.

— А у Дыркина один боец, — сказал Березкин, — к противотанковому ружью снайперский прицел приспособил и за день три пулемета сшиб.

Сержант пожал плечами.

— Дыркину хорошо, в цехах сидит.

Они пошли дальше по окопу, и Березкин, продолжая разговор, возникший в самом начале обхода, сказал:

— Посылочку я им собрал, очень хорошую. И вот, понимаете, не пишет жена. Нет ответа и нет. Я даже не знаю — дошла ли посылка до них. А может быть, заболели? Долго ли в эвакуации до беды.

Подчуфаров неожиданно вспомнил, как в давнее прошлое время в деревню возвращались плотники, ходившие на работу в Москву, приносили женам, старикам, детям подарки. Вот для них строй и тепло деревенской домашней жизни всегда значили больше, чем московский многолюдный грохот и ночные огни.

Через полчаса они вернулись на командный пункт батальона, но Березкин не стал заходить в подвал, а простился с Подчуфаровым на дворе.

— Оказывайте дому «шесть дробь один» всю возможную поддержку, — сказал он. — Попыток пройти к ним не делайте, это мы сделаем ночью силами полка. — После этого он сказал: — Теперь так… Не нравится мне ваше отношение к раненым. У вас на КП диваны, а раненые на полу. Теперь так. За свежим хлебом не прислали, люди едят сухари. Это два. Теперь так. Ваш политрук Сошкин в дымину пьяный был. Это три. Теперь так…

И Подчуфаров слушал, удивляясь, как это

командир полка прошелся по обороне и все заметил… На помкомвзвода немецкие брюки… У командира первой роты две пары часов на руке.

Березкин сказал назидательно:

— Наступать немец будет. Ясно?

Он пошел к заводу, и Глушков, успевший набить каблук и зашить прореху на ватнике, спросил:

— Домой пошли?

Березкин, не ответив ему, сказал Подчуфарову:

— Позвоните комиссару полка, скажите ему, что я пошел к Дыркину, в третий цех, на завод, — и, подмигнув, прибавил: — Капустки мне пришлите, хороша. Как-никак и я начальство.

15

Писем от Толи не было… Утром Людмила Николаевна провожала мать и мужа на работу, Надю в школу. Первой уходила мать, работавшая химиком в лаборатории знаменитого казанского мыловаренного завода. Проходя мимо комнаты зятя, Александра Владимировна обычно повторяла шутку, услышанную ею от рабочих на заводе: «Хозяевам на работу к шести, а служащим к девяти».

За ней шла в школу Надя, вернее, не шла, а убегала галопом, потому что не было возможности поднять ее вовремя с кровати, — в последнюю минуту она вскакивала, хватала чулки, кофту, книги, тетради, завтракая, давилась чаем, а сбегая по лестнице, наматывала шарф и натягивала пальто.

Когда Виктор Павлович садился завтракать, чайник после ухода Нади уже остывал, и его приходилось наново разогревать.

Александра Владимировна сердилась, когда Надя говорила: «Скорей бы вырваться из этой чертовой дыры». Надя не знала, что Державин жил когда-то в Казани, что жили в ней Аксаков,

Толстой, Ленин, Зинин, Лобачевский, что Максим Горький работал когда-то в казанской булочной.

— Какое старческое безразличие, — говорила Александра Владимировна, и странно было слышать этот упрек старухи, обращенный к девочке-подростку.

Людмила видела, что мать продолжала интересоваться людьми, новой работой. Одновременно с восхищением перед душевной силой матери в ней жило совсем другое чувство, — как можно было в горе интересоваться гидрогенизацией жиров, казанскими улицами и музеями.

И однажды, когда Штрум сказал жене что-то по поводу душевной молодости Александры Владимировны, Людмила, не сдержавшись, ответила:

— Не молодость это у мамы, а старческий эгоизм.

— Бабушка не эгоистка, она народница, — сказала Надя и добавила: — Народники хорошие люди, но не очень умные.

Мнения свои Надя высказывала категорически и, вероятно, из-за всегдашнего недостатка времени в короткой форме. «Мура», — говорила она с большим количеством «р». Она следила за сводками Совинформбюро, была в курсе военных событий, вмешивалась в разговоры о политике.

После летней поездки в колхоз Надя объясняла матери причины плохой производительности колхозного труда.

Своих школьных отметок она матери не показывала и лишь однажды растерянно сообщила:

— Знаешь, мне влепили четверку за поведение. Представляешь, математичка погнала меня из класса. Я, выходя, рявкнула «гуд бай!» — все так и грохнули.

Как многие дети из обеспеченных семей, до войны не знавшие забот о материальных и кухонных делах, Надя в эвакуационное время много говорила о пайках, достоинствах и недостатках распределителей, знала преимущества постного масла перед коровьим, сильные и слабые стороны продельной крупы, выгоды кускового сахара перед песком.

— Знаешь что? — говорила она матери. — Я решила: давай мне с сегодняшнего дня чай с медом вместо чая со сгущенкой. По-моему, выгодней для меня, а тебе безразлично.

Иногда Надя становилась угрюма, с презрительной усмешкой говорила грубости старшим. Однажды она в присутствии матери сказала отцу: «Ты дурак», — сказала с такой злобой, что Штрум растерялся.

Иногда мать видела, как, читая книгу, Надя плачет. Она себя считала существом отсталым, неудачливым, обреченным прожить тусклую, тяжелую жизнь.

— Дружить со мной никто не хочет, я глупа, никому не интересна, — сказала она однажды за столом. — Замуж меня никто не возьмет, я кончу аптекарские курсы и уеду в деревню.

— В глухих деревнях аптек нет, — сказала Александра Владимировна.

— Касаемо замужества твой прогноз чрезмерно мрачен, — сказал Штрум. — Ты похорошела за последнее время.

— Плевать, — сказала Надя и злобно посмотрела на отца.

А ночью мать видела, как Надя, держа книжку в высунутой из-под одеяла голой, тонкой руке, читала стихи.

Однажды, принеся из академического распределителя сумку с двумя килограммами сливочного масла и большим пакетом риса, Надя сказала:

— Люди, и я в том числе, сволочи и подлецы, пользуются всем этим. И папа подло обменивает талант на сливочное масло. Как будто больным, малообразованным людям и слабеньким детям жить надо впроголодь оттого, что они не знают

физики или не могут выполнить триста процентов плана… Лопать масло могут избранные.

А за ужином она вызывающе сказала:

— Мама, дай-ка мне двойной мед и масло, я ведь утром проспала.

Надя во многом походила на отца. Людмила Николаевна замечала, что Виктора Павловича особенно раздражают в дочери именно те черты, которыми она походила на него.

Однажды Надя, точно повторяя отцовскую интонацию, сказала о Постоеве:

— Жук, бездарность, ловчила!

Штрум возмутился:

— Как ты, недоучившаяся школьница, смеешь так говорить об академике?

Но Людмила помнила, что Виктор, будучи студентом, о многих академических знаменитостях говорил: «Ничтожество, бездарность, трепанг, карьерист!»

Людмила Николаевна понимала, что Наде живется нелегко, очень запутанный, одинокий и тяжелый у нее характер.

После ухода Нади пил чай Виктор Павлович. Скосив глаза, он смотрел в книгу, глотал, не прожевывая, делал глупое удивленное лицо, нащупывал пальцами стакан, не отрывая глаз от

книги, говорил: «Налей мне, если можно, погорячей». Она знала все его жесты: то он начинал чесать голову, то выпячивал губу, то, сделав кривую рожу, ковырял в зубах, и она говорила:

— Господи, Витя, когда уж ты будешь зубы лечить?

Она знала, что он чесался и выпячивал губу, думая о своей работе, а вовсе не потому, что у него чесалась голова или свербило в носу. Знала, что если она скажет: «Витя, ты даже не слышишь, что я тебе говорю», он, продолжая косить глаза в сторону книги, скажет: «Я все слышу, могу повторить: «когда уж ты, Витя, будешь зубы лечить», — и опять удивится, глотнет, шизофренически накуксится, и все это будет означать, что он, просматривая работу знакомого физика, кое в чем согласен с ним, а кое в чем не согласен. Потом Виктор Павлович долго будет сидеть неподвижно, потом начнет кивать головой, как-то покорно, по-старчески тоскливо, — такое выражение лица и глаз, вероятно, бывает у людей, страдающих опухолью мозга. И опять Людмила Николаевна будет знать: Штрум думает о матери.

И, когда он пил чай, думал о своей работе, кряхтел, охваченный тоской, Людмила Николаевна смотрела на глаза, которые она целовала, на кур-

чавые волосы, которые она перебирала, на губы, целовавшие ее, на ресницы, брови, на руки с маленькими, несильными пальцами, на которых она обрезала ногти, говоря: «Ох, неряха ты мой».

Она знала о нем все: его чтение детских книг в постели перед сном, его лицо, когда он шел чистить зубы, его звонкий, чуть дрожащий голос, когда он в парадном костюме начал свой доклад о нейтронном излучении. Она знала, что он любит украинский борщ с фасолью, знала, как он тихонько стонет во сне, переворачиваясь с боку на бок. Она знала, как он быстро снашивает каблук левого ботинка и грязнит рукава сорочек; знала, что он любит спать на двух подушках; знала его тайный страх при переходе городских площадей, знала запах его кожи, форму дырок на его носках. Она знала, как он напевает, когда голоден и ждет обеда, какой формы ногти на больших пальцах его ног, знала уменьшительное имя, которым называла его в двухлетнем возрасте мать; знала его шаркающую походку; знала имена мальчишек, дравшихся с ним, когда он учился в старшем приготовительном классе. Она знала его насмешливость, привычку дразнить Толю, Надю, товарищей. Даже теперь, когда был он почти всегда в тяжелом настроении, Штрум

дразнил ее тем, что близкий ей человек, Марья Ивановна Соколова, мало читала и однажды в разговоре спутала Бальзака с Флобером.

Дразнить Людмилу он умел мастерски, она всегда раздражалась. И теперь она сердито, всерьез возражала ему, защищая свою подругу:

— Ты всегда насмехаешься над теми, кто мне близок. У Машеньки безошибочный вкус, ей и не надо много читать, она всегда чувствует книгу.

— Конечно, конечно, — говорил он. — Она уверена, что «Макс и Мориц» написал Анатоль Франс.

Она знала его любовь к музыке, его политические взгляды. Она видела его однажды плачущим, видела, как он в бешенстве порвал на себе рубаху и, запутавшись в кальсонах, на одной ноге поскакал к ней, подняв кулак, готовый ударить. Она видела его жесткую, смелую прямоту, его вдохновение; видела его декламирующим стихи; видела его пьющим слабительное.

Она чувствовала, что муж сейчас обижен на нее, хотя в отношениях их, казалось, ничего не изменилось. Но изменение было, и выражалось оно в одном — он перестал говорить с ней о своей работе. Он говорил с ней о письмах от знакомых ученых, о продовольственных и промтоварных

лимитах. Он говорил иногда и о делах в институте, в лаборатории, про обсуждение плана работ, рассказывал о сотрудниках: Савостьянов пришел на работу после ночной выпивки и уснул, лаборантки варили картошку под тягой, Марков готовит новую серию опытов.

Но о своей работе, о той внутренней, о которой он говорил во всем мире с одной лишь Людмилой, — он перестал говорить.

Он как-то жаловался Людмиле Николаевне, что, читая даже близким друзьям записи своих, не доведенных до конца размышлений, он испытывал на следующий день неприятное чувство, — работа ему кажется поблекшей, ему тяжело касаться ее.

Единственный человек, которому он выворачивал свои сомнения, читал отрывочные записи, фантастические и самонадеянные предположения, не испытывая после никакого осадка, была Людмила Николаевна.

Теперь он перестал говорить с ней.

Теперь, тоскуя, он находил облегчение в том, что обвинял Людмилу. Он постоянно и неотступно думал о матери. Он думал о том, о чем никогда не думал и о чем его заставил думать фашизм, — о своем еврействе, о том, что мать его еврейка.

Он в душе упрекал Людмилу за то, что она холодно относилась к его матери. Однажды он сказал ей:

— Если б ты сумела наладить с мамой отношения, она бы жила с нами в Москве.

А она перебирала в уме все грубое и несправедливое, что совершил Виктор Павлович по отношению к Толе, и, конечно, ей было что вспомнить.

Сердце ее ожесточалось, так несправедлив он был к пасынку, столько видел он в Толе плохого, так трудно прощал ему недостатки. А Наде отец прощал и грубость, и лень, и неряшливость, и нежелание помочь матери в домашних делах.

Она думала о матери Виктора Павловича, — судьба ее ужасна. Но как мог Виктор требовать от Людмилы дружбы к Анне Семеновне — ведь Анна Семеновна нехорошо относилась к Толе. Каждое ее письмо, каждый ее приезд в Москву были из-за этого невыносимы Людмиле. Надя, Надя, Надя… У Нади глаза Виктора… Надя держит вилку, как Виктор… Надя рассеянна, Надя остроумна, Надя задумчива. Нежность, любовь Анны Семеновны к сыну соединялась с любовью и нежностью к внучке. А ведь Толя не держал вилку так, как держал ее Виктор Павлович.

И странно, — в последнее время она чаще, чем прежде, вспоминала Толиного отца, своего первого мужа. Ей хотелось разыскать его родных, его старшую сестру, и они радовались бы глазам Толи, сестра Абарчука узнавала бы в Толиных глазах, искривленном большом пальце, широком носе — глаза, руки, нос своего брата.

И так же, как она не хотела вспомнить Виктору Павловичу все хорошее в его отношении к Толе, она прощала Абарчуку все плохое, даже то, что он бросил ее с грудным ребенком, запретил дать Толе фамилию Абарчук.

Утром Людмила Николаевна оставалась дома одна. Она ждала этого часа, близкие мешали ей. Все события в мире, война, судьба сестер, работа мужа, Надин характер, здоровье матери, ее жалость к раненым, боль о погибших в немецком плену, — все рождалось ее болью о сыне, ее тревогой о нем.

Она чувствовала, что совсем из иной руды выплавляются чувства матери, мужа, дочери. Их привязанность и любовь к Толе казались ей неглубокими. Для нее мир был в Толе, для них Толя был лишь частью мира.

Шли дни, шли недели, письма от Толи не было.

Каждый день радио передавало сводки Совинформбюро, каждый день газеты были полны войной. Советские войска отступали. В сводках и газетах писалось об артиллерии. Толя служил в артиллерии. Письма от Толи не было.

Ей казалось: один человек по-настоящему понимал ее тоску — Марья Ивановна, жена Соколова.

Людмила Николаевна не любила дружить с профессорскими женами, ее раздражали разговоры о научных успехах мужей, платьях, домашних работницах. Но, вероятно, потому, что мягкий характер застенчивой Марьи Ивановны был противоположен ее характеру, и потому, что ее трогало отношение Марьи Ивановны к Толе, она очень привязалась к Марье Ивановне.

С ней Людмила говорила о Толе свободней, чем с мужем и матерью, и каждый раз ей становилось спокойней, легче на душе. И хотя Марья Ивановна почти каждый день заходила к Штрумам, Людмила Николаевна удивлялась, чего ж это так давно не приходит ее подруга, поглядывала в окно, не видно ли худенькой фигуры Марьи Ивановны, ее милого лица.

А писем от Толи не было.

16

Александра Владимировна, Людмила и Надя сидели на кухне. Время от времени Надя подкладывала в печь смятые листы ученической тетрадки, и угасавший красный свет осветлялся, печь заполнялась ворохом недолговечного пламени. Александра Владимировна, искоса поглядывая на дочь, сказала:

— Я вчера заходила к одной лаборантке на дом, господи, какая теснота, нищета, голодуха, мы тут, как цари; собрались соседки, зашел разговор, кто что больше любил до войны: одна говорит — телятину, вторая — рассольник. А девочка этой лаборантки говорит: «А я больше всего любила отбой».

Людмила Николаевна молчала, а Надя проговорила:

— Бабушка, у вас здесь уже образовалось больше миллиона знакомых.

— А у тебя никого.

— Ну и очень хорошо, — сказала Людмила Николаевна. — Витя стал часто ходить к Соколову. Там собирается всякий сброд, и я не понимаю, как Витя и Соколов могут целыми часами болтать с

этими людьми… Как им не надоедает — толочь языками табачок. И как не жалеют Марью Ивановну, ей нужен покой, а при них ни прилечь, ни посидеть, да еще дымят вовсю.

— Каримов, татарин, мне нравится, — сказала Александра Владимировна.

— Противный тип.

— Мама в меня, ей никто не нравится, — сказала Надя, — вот только Марья Ивановна.

— Удивительный вы народ, — сказала Александра Владимировна, — у вас есть какая-то своя московская среда, которую вы с собой привезли. В поездах, в клубе, в театре, — все это не ваш круг, а ваши — это те, что с вами в одном месте дачи построили, это и у Жени я наблюдала… Есть ничтожные признаки, по которым вы определяете людей своего круга: «Ах, она ничтожество, не любит Блока, а он примитив, не понимает Пикассо… Ах, она ему подарила хрустальную вазу. Это безвкусно…» Вот Виктор — демократ, ему плевать на все это декадентство.

— Чепуха, — сказала Людмила. — При чем тут дачи! Есть мещане с дачами и без дач, и не надо с ними встречаться, противно.

Александра Владимировна замечала, что дочь все чаще раздражается против нее.

Людмила Николаевна давала мужу советы, делала замечания Наде, выговаривала ей за проступки и прощала ей проступки, баловала ее и отказывала в баловстве и ощущала, что у матери свое отношение к ее действиям. Александра Владимировна не высказывала этого своего отношения, но оно существовало. Случалось, что Штрум переглядывался с тещей и в глазах его появлялось выражение насмешливого понимания, словно он предварительно обсуждал странности Людмилиного характера с Александрой Владимировной. И тут не имело значения, обсуждали они или не обсуждали, а дело было в том, что появилась в семье новая сила, изменившая одним своим присутствием привычные отношения.

Виктор Павлович однажды сказал Людмиле, что на ее месте уступил бы матери главенство, пусть чувствует себя хозяйкой, а не гостьей.

Людмиле Николаевне слова мужа показались неискренними, ей даже подумалось, что он хочет подчеркнуть свое особенное, сердечное отношение к ее матери и этим невольно напоминает о холодном отношении Людмилы к Анне Семеновне.

Смешно и стыдно было бы признаться ему в этом, она иногда к детям ревновала его, особен-

но к Наде. Но сейчас это не была ревность. Как признаться даже самой себе в том, что мать, потерявшая кров, нашедшая приют в ее доме, раздражает ее и тяготит. Да и странным было это раздражение, оно ведь существовало рядом с любовью, рядом с готовностью отдать Александре Владимировне, если понадобится, свое последнее платье, поделиться последним куском хлеба.

А Александра Владимировна вдруг чувствовала, что ей хочется то беспричинно заплакать, то умереть, то не прийти вечером домой и остаться ночевать на полу у сослуживицы, то вдруг собраться и уехать в сторону Сталинграда, разыскать Сережу, Веру, Степана Федоровича.

Александра Владимировна большей частью одобряла поступки и высказывания зятя, а Людмила почти всегда не одобряла его. Надя заметила это и говорила отцу:

— Пойди пожалуйся бабушке, что мама тебя обижает.

Вот и теперь Александра Владимировна сказала:

— Вы живете, как совы. А Виктор нормальный человек.

— Все это слова, — сказала, морщась, Людмила. — А придет день отъезда в Москву, и вы с

Виктором будете счастливы.

Александра Владимировна вдруг сказала:

— Знаешь что, милая моя, когда придет день возвращения в Москву, я не поеду с вами, а останусь здесь, мне в Москве в твоем доме места нет. Понятно тебе? Уговорю Женю сюда перебраться либо к ней соберусь в Куйбышев.

То был трудный миг в отношениях матери и дочери. Все, что лежало тяжелого на душе у Александры Владимировны, было высказано в ее отказе ехать в Москву. Все, что собралось тяжелого на душе у Людмилы Николаевны, стало от этого явным, как будто бы произнесенным. Но Людмила Николаевна обиделась, словно она ни в чем не была виновата перед матерью.

А Александра Владимировна глядела на страдающее лицо Людмилы и чувствовала себя виноватой. По ночам Александра Владимировна чаще всего думала о Сереже, — то вспоминала его вспышки, споры, то представляла себе его в военной форме, его глаза, вероятно, стали еще больше, он ведь похудел, щеки ввалились. Особое чувство вызывал в ней Сережа — сын ее несчастного сына, которого она любила, казалось, больше всех на свете… Она говорила Людмиле:

— Не мучься ты так о Толе, поверь, что я беспо-

коюсь о нем не меньше тебя.

Что-то было фальшивое, оскорблявшее ее любовь к дочери в этих словах, — не так уж она беспокоилась о Толе. Вот и сейчас обе, прямые до жестокости, испугались своей прямоты и отказывались от нее.

— «Правда хорошо, а любовь лучше», новая пьеса Островского, — протяжно произнесла Надя, и Александра Владимировна неприязненно, даже с каким-то испугом посмотрела на девочку-десятиклассницу, сумевшую разобраться в том, в чем она сама еще не разобралась.

Вскоре пришел Виктор Павлович. Он открыл дверь своим ключом и внезапно появился на кухне.

— Приятная неожиданность, — сказала Надя. — Мы считали, что ты застрянешь допоздна у Соколовых.

— А-а, все уже дома, все у печки, очень рад, чудесно, чудесно, — произнес он, протянул руки к печному огню.

— Вытри нос, — сказала Людмила. — Что же чудесного, я не пойму?

Надя прыснула и сказала, подражая материнской интонации:

— Ну, вытри нос, тебе ведь русским языком

говорят.

— Надя, Надя, — предостерегающе сказала Людмила Николаевна: она ни с кем не делила свое право воспитывать мужа.

Виктор Павлович произнес:

— Да-да, очень холодный ветер.

Он пошел в комнату, и через открытую дверь было видно, как он сел за стол.

— Папа опять пишет на переплете книги, — проговорила Надя.

— Не твое дело, — сказала Людмила Николаевна и стала объяснять матери: — Почему он так обрадовался, — все дома? У него псих, беспокоится, если кого-нибудь нет дома. А сейчас он чего-то там недодумал и обрадовался, не надо будет отвлекаться беспокойствами.

— Тише, ведь действительно ему мешаем, — сказала Александра Владимировна.

— Наоборот, — сказала Надя, — говоришь громко, он не обращает внимания, а если говорить шепотом, он явится и спросит: «Что это вы там шепчетесь?»

— Надя, ты говоришь об отце, как экскурсовод, который рассказывает об инстинктах животных.

Они одновременно рассмеялись, переглянулись.

— Мама, как вы могли так обидеть меня? — сказала Людмила Николаевна.

Мать молча погладила ее по голове.

Потом они ужинали на кухне. Виктору Павловичу казалось — какой-то особой прелестью обладало в этот вечер кухонное тепло.

То, что составляло основу его жизни, продолжалось. Мысль о неожиданном объяснении противоречивых опытов, накопленных лабораторией, неотступно занимала его последнее время.

Сидя за кухонным столом, он испытывал странное счастливое нетерпение, — пальцы рук сводило от сдерживаемого желания взяться за карандаш.

— Изумительная сегодня гречневая каша, — сказал он, стуча ложкой в пустой тарелке.

— Это намек? — спросила Людмила Николаевна.

Пододвигая жене тарелку, он спросил:

— Люда, ты помнишь, конечно, гипотезу Прута?

Людмила Николаевна, недоумевая, подняла ложку.

— Это о происхождении элементов, — сказала Александра Владимировна.

— Ах, ну помню, — проговорила Людмила, — все элементы из водорода. Но при чем тут каша?

— Каша? — переспросил Виктор Павлович. — А вот с Проутом произошла такая история: он высказал правильную гипотезу в большей мере потому, что в его время существовали грубые ошибки в определении атомных весов. Если бы при нем определили атомные веса с точностью, какой достигли Дюма и Стас, он бы не решился предположить, что атомные веса элементов кратны водороду. Оказался прав потому, что ошибался.

— А при чем тут все же каша? — спросила Надя.

— Каша? — переспросил удивленно Штрум и, вспомнив, сказал: — Каша ни при чем… В этой каше трудно разобраться, понадобилось сто лет, чтобы разобраться.

— Это тема вашей лекции сегодняшней? — спросила Александра Владимировна.

— Нет, пустое, я ведь и лекций не читаю, ни к селу ни к городу.

Он поймал взгляд жены и почувствовал, — она понимала: интерес к работе вновь будоражил его.

— Как жизнь? — спросил Штрум. — Приходила

к тебе Марья Ивановна? Читала тебе небось «Мадам Бовари», сочинение Бальзака?

— А ну тебя, — сказала Людмила Николаевна.

Ночью Людмила Николаевна ждала, что муж заговорит с ней о своей работе. Но он молчал, и она ни о чем не спросила его.

17

Какими наивными представились Штруму идеи физиков в середине девятнадцатого века, взгляды Гельмгольца, сводившего задачи физической науки к изучению сил притяжения и отталкивания, зависящих от одного лишь расстояния.

Силовое поле — душа материи! Единство, объединяющее волну энергии и материальную корпускулу... зернистость света... ливень ли он светлых капель или молниеносная волна?

Квантовая теория поставила на место законов, управляющих физическими индивидуальностями, новые законы — законы вероятностей; законы особой статистики, отбросившей понятие индивидуальности, признающей лишь совокупности, физики прошлого века напоминали Штруму людей с нафабренными усами, в костюмах со стоячими крахмальными воротниками и с твердыми манжетами, столпившихся вокруг бильярдного стола. Глубокомысленные мужи, вооруженные линейками и часами-хронометрами, хмуря густые брови, измеряют скорости и ускорения, определяют массы упругих шаров,

заполняющих мировое зеленое суконное пространство.

Но пространство, измеренное металлическими стержнями и линейками, время, отмеренное совершеннейшими часами, вдруг стали искривляться, растягиваться и сплющиваться. Их незыблемость оказалась не фундаментом науки, а решетками и стенами ее тюрьмы. Пришла пора Страшного суда, тысячелетние истины были объявлены заблуждениями. В старинных предрассудках, ошибках, неточностях, словно в коконах, столетиями спала истина.

Мир стал неевклидовым, его геометрическая природа формировалась массами и их скоростями.

С нараставшей стремительностью шло научное движение в мире, освобожденном Эйнштейном от оков абсолютного времени и пространства.

Два потока — один, стремящийся вместе со вселенными, второй, стремящийся проникнуть в атомное ядро, — разбегаясь, не терялись один для другого, хотя один бежал в мире парсеков, другой мерился миллимикронами. Чем глубже уходили физики в недра атома, тем ясней становились для них законы, определяющие свечение звезд. Красное смещение по лучу зрения в спектрах далеких

галактик породило представление о разбегающихся в бесконечном пространстве вселенных. Но стоило предпочесть конечное чечевицеобразное, искривленное скоростями и массами пространство, и можно было представить себе, что расширением охвачено само пространство, увлекающее за собой галактики.

Штрум не сомневался: нет в мире человека счастливей ученого… Иногда — утром, по дороге в институт, и во время вечерней прогулки, и вот сегодня ночью, когда он думал о своей работе, — его охватывало чувство счастья, смирения и восторга.

Силы, наполняющие Вселенную тихим светом звезд, высвобождались при превращении водорода в гелий…

За два года до войны два молодых немца расщепили нейтронами тяжелые атомные ядра, и советские физики в своих исследованиях, придя другими путями к сходным результатам, вдруг ощутили то, что сто тысяч лет назад испытал пещерный человек, зажигая свой первый костер…

Конечно, в двадцатом веке главное направление определяет физика… Вот так же, как в 1942 году направлением главного удара для всех фронтов мировой войны стал Сталинград.

Но следом, вплотную, по пятам, шли за Штрумом сомнения, страдание, неверие.

18

«Витя, я уверена, мое письмо дойдет до тебя, хотя я за линией фронта и за колючей проволокой еврейского гетто. Твой ответ я никогда не получу, меня не будет. Я хочу, чтобы ты знал о моих последних днях, с этой мыслью мне легче уйти из жизни.

Людей, Витя, трудно понять по-настоящему… Седьмого июля немцы ворвались в город. В городском саду радио передавало последние известия, я шла из поликлиники после приема больных и остановилась послушать, дикторша читала по-украински статью о боях. Я услышала отдаленную стрельбу, потом через сад побежали люди, я пошла к дому и все удивлялась, как это пропустила сигнал воздушной тревоги. И вдруг я увидела танк, и кто-то крикнул: «Немцы прорвались!»

Я сказала: «Не сейте панику»; накануне я заходила к секретарю горсовета, спросила его об отъезде, он рассердился: «Об этом рано говорить, мы даже списков не составляли». Словом, это были немцы. Всю ночь соседи ходили друг к другу, спокойней всех были малые дети да я. Решила — что будет со всеми, то будет и со мной. Вначале

я ужаснулась, поняла, что никогда тебя не увижу, и мне страстно захотелось еще раз посмотреть на тебя, поцеловать твой лоб, глаза, а потом я подумала — ведь счастье, что ты в безопасности.

Под утро я заснула и, когда проснулась, почувствовала страшную тоску. Я была в своей комнате, в своей постели, но ощутила себя на чужбине, затерянная, одна.

Этим же утром мне напомнили забытое за годы советской власти, что я еврейка. Немцы ехали на грузовике и кричали: «Juden kaputt!»

А затем мне напомнили об этом некоторые мои соседи. Жена дворника стояла под моим окном и говорила соседке: «Слава богу, жидам конец». Откуда это? Сын ее женат на еврейке, и старуха ездила к сыну в гости, рассказывала мне о внуках.

Соседка моя, вдова, у нее девочка 6 лет, Аленушка, синие, чудные глаза, я тебе писала о ней когда-то, зашла ко мне и сказала: «Анна Семеновна, попрошу вас к вечеру убрать вещи, я переберусь в вашу комнату». «Хорошо, я тогда перееду в вашу». «Нет, вы переберетесь в каморку за кухней».

Я отказалась, там ни окна, ни печки.

Я пошла в поликлинику, а когда вернулась, оказалось: дверь в мою комнату взломали, мои

вещи свалили в каморке. Соседка мне сказала: «Я оставила у себя диван, он все равно не влезет в вашу новую комнатку».

Удивительно, она кончила техникум, и покойный муж ее был славный и тихий человек, бухгалтер в Укопспилке. «Вы вне закона», — сказала она таким тоном, словно ей это очень выгодно. А ее дочь Аленушка сидела у меня весь вечер, и я ей рассказывала сказки. Это было мое новоселье, и она не хотела идти спать, мать ее унесла на руках. А затем, Витенька, поликлинику нашу вновь открыли, а меня и еще одного врача-еврея уволили. Я попросила деньги за проработанный месяц, но новый заведующий мне сказал: «Пусть вам Сталин платит за то, что вы заработали при советской власти, напишите ему в Москву». Санитарка Маруся обняла меня и тихонько запричитала: «Господи, боже мой, что с вами будет, что с вами всеми будет». И доктор Ткачев пожал мне руку. Я не знаю, что тяжелей: злорадство или жалостливые взгляды, которыми глядят на подыхающую, шелудивую кошку. Не думала я, что придется мне все это пережить.

Многие люди поразили меня. И не только темные, озлобленные, безграмотные. Вот старик педагог, пенсионер, ему 75 лет, он всегда спра-

шивал о тебе, просил передать привет, говорил о тебе: «Он наша гордость». А в эти дни проклятые, встретив меня, не поздоровался, отвернулся. А потом мне рассказывали, — он на собрании в комендатуре говорил: «Воздух очистился, не пахнет чесноком». Зачем ему это — ведь эти слова его пачкают. И на том же собрании сколько клеветы на евреев было… Но, Витенька, конечно, не все пошли на это собрание. Многие отказались. И, знаешь, в моем сознании с царских времен антисемитизм связан с квасным патриотизмом людей из «Союза Михаила Архангела». А здесь я увидела, — те, что кричат об избавлении России от евреев, унижаются перед немцами, по-лакейски жалки, готовы продать Россию за тридцать немецких сребреников. А темные люди из пригорода ходят грабить, захватывают квартиры, одеяла, платья; такие, вероятно, убивали врачей во время холерных бунтов. А есть душевно вялые люди, они поддакивают всему дурному, лишь бы их не заподозрили в несогласии с властями.

Ко мне беспрерывно прибегают знакомые с новостями, глаза у всех безумные, люди как в бреду. Появилось странное выражение: «перепрятывать вещи». Кажется, что у соседа надежней. Перепрятывание вещей напоминает мне игру.

Вскоре объявили о переселении евреев, разрешили взять с собой 15 килограммов вещей. На стенах домов висели желтенькие объявленьица: «Всем жидам предлагается переселиться в район Старого города не позднее шести часов вечера 15 июля 1941 года». Не переселившимся — расстрел.

Ну вот, Витенька, собралась и я. Взяла я с собой подушку, немного белья, чашечку, которую ты мне когда-то подарил, ложку, нож, две тарелки. Много ли человеку нужно? Взяла несколько инструментов медицинских. Взяла твои письма, фотографии покойной мамы и дяди Давида и ту, где ты с папой снят, томик Пушкина, «Lettres de mon moulin», томик Мопассана, где «Une vie», словарик, взяла Чехова, где «Скучная история» и «Архиерей», — вот и, оказалось, заполнила всю свою корзинку. Сколько я под этой крышей тебе писем написала, сколько часов ночью проплакала, теперь уж скажу тебе, о своем одиночестве.

Простилась с домом, с садиком, посидела несколько минут под деревом, простилась с соседями. Странно устроены некоторые люди. Две соседки при мне стали спорить о том, кто возьмет себе стулья, кто письменный столик, а стала с ними прощаться, обе заплакали. Попросила соседей Басанько, если после войны ты приедешь узнать

обо мне, пусть расскажут поподробней — и мне обещали. Тронула меня собачонка, дворняжка Тобик, — последний вечер как-то особенно ласкалась ко мне.

Если приедешь, ты ее покорми за хорошее отношение к старой жидовке.

Когда я собралась в путь и думала, как мне дотащить корзину до Старого города, неожиданно пришел мой пациент Щукин, угрюмый и, как мне казалось, черствый человек. Он взялся понести мои вещи, дал мне триста рублей и сказал, что будет раз в неделю приносить мне хлеб к ограде. Он работает в типографии, на фронт его не взяли по болезни глаз. До войны он лечился у меня, и если бы мне предложили перечислить людей с отзывчивой, чистой душой, — я назвала бы десятки имен, но не его. Знаешь, Витенька, после его прихода я снова почувствовала себя человеком, значит, ко мне не только дворовая собака может относиться по-человечески.

Он рассказал мне, — в городской типографии печатается приказ: евреям запрещено ходить по тротуарам, они должны носить на груди желтую лату в виде шестиконечной звезды, они не имеют права пользоваться транспортом, банями, посещать амбулатории, ходить в кино, запрещается

покупать масло, яйца, молоко, ягоды, белый хлеб, мясо, все овощи, исключая картошку; покупки на базаре разрешается делать только после шести часов вечера (когда крестьяне уезжают с базара). Старый город будет обнесен колючей проволокой, и выход за проволоку запрещен, можно только под конвоем на принудительные работы. При обнаружении еврея в русском доме — хозяину расстрел, как за укрытие партизана.

Тесть Щукина, старик крестьянин, приехал из соседнего местечка Чуднова и видел своими глазами, что всех местных евреев с узлами и чемоданами погнали в лес, и оттуда в течение всего дня доносились выстрелы и дикие крики, ни один человек не вернулся. А немцы, стоявшие на квартире у тестя, пришли поздно вечером — пьяные, и еще пили до утра, пели и при старике делили между собой брошки, кольца, браслеты. Не знаю, случайный ли это произвол или предвестие ждущей и нас судьбы?

Как печален был мой путь, сыночек, в средневековое гетто. Я шла по городу, в котором проработала 20 лет. Сперва мы шли по пустынной Свечной улице. Но когда мы вышли на Никольскую, я увидела сотни людей, шедших в это проклятое гетто. Улица стала белой от узлов,

от подушек. Больных вели под руки. Парализованного отца доктора Маргулиса несли на одеяле. Один молодой человек нес на руках старуху, а за ним шли жена и дети, нагруженные узлами. Заведующий магазином бакалеи Гордон, толстый, с одышкой, шел в пальто с меховым воротником, а по лицу его тек пот. Поразил меня один молодой человек: он шел без вещей, подняв голову, держа перед собой раскрытую книгу, с надменным и спокойным лицом. Но сколько рядом было безумных, полных ужаса.

Шли мы по мостовой, а на тротуарах стояли люди и смотрели.

Одно время я шла с Маргулисами и слышала сочувственные вздохи женщин. А над Гордоном в зимнем пальто смеялись, хотя, поверь, он был ужасен, не смешон. Видела много знакомых лиц. Одни слегка кивали мне, прощаясь, другие отворачивались. Мне кажется, в этой толпе равнодушных глаз не было; были любопытные, были безжалостные, но несколько раз я видела заплаканные глаза.

Я посмотрела — две толпы, евреи в пальто, шапках, женщины в теплых платках, а вторая толпа на тротуаре одета по-летнему. Светлые кофточки, мужчины без пиджаков, некоторые в

вышитых украинских рубахах. Мне показалось, что для евреев, идущих по улице, уже и солнце отказалось светить, они идут среди декабрьской ночной стужи.

У входа в гетто я простилась с моим спутником, он мне показал место у проволочного заграждения, где мы будем встречаться.

Знаешь, Витенька, что я испытала, попав за проволоку? Я думала, что почувствую ужас. Но, представь, в этом загоне для скота мне стало легче на душе. Не думай, не потому, что у меня рабская душа. Нет. Нет. Вокруг меня были люди одной судьбы, и в гетто я не должна, как лошадь, ходить по мостовой, и нет взоров злобы, и знакомые люди смотрят мне в глаза и не избегают со мной встречи. В этом загоне все носят печать, поставленную на нас фашистами, и поэтому здесь не так жжет мою душу эта печать. Здесь я себя почувствовала не бесправным скотом, а несчастным человеком. От этого мне стало легче.

Я поселилась вместе со своим коллегой, доктором-терапевтом Шперлингом, в мазаном домике из двух комнатушек. У Шперлингов две взрослые дочери и сын, мальчик лет двенадцати. Я подолгу смотрю на его худенькое личико и печальные большие глаза; его зовут Юра, а я раза два назы-

вала его Витей, и он меня поправлял: «Я Юра, а не Витя».

Как различны характеры людей! Шперлинг в свои пятьдесят восемь лет полон энергии. Он раздобыл матрацы, керосин, подводу дров. Ночью внесли в домик мешок муки и полмешка фасоли. Он радуется всякому своему успеху, как молодожен. Вчера он развешивал коврики. «Ничего, ничего, все переживем, — повторяет он. — Главное, запастись продуктами и дровами».

Он сказал мне, что в гетто следует устроить школу. Он даже предложил мне давать Юре уроки французского языка и платить за урок тарелкой супа. Я согласилась.

Жена Шперлинга, толстая Фанни Борисовна, вздыхает: «Все погибло, мы погибли», — но при этом следит, чтобы ее старшая дочь Люба, доброе и милое существо, не дала кому-нибудь горсть фасоли или ломтик хлеба. А младшая, любимица матери, Аля — истинное исчадие ада: властная, подозрительная, скупая; она кричит на отца, на сестру. Перед войной она приехала погостить из Москвы и застряла.

Боже мой, какая нужда вокруг! Если бы те, кто говорят о богатстве евреев и о том, что у них всегда накоплено на черный день, посмотрели

на наш Старый город. Вот он и пришел, черный день, чернее не бывает. Ведь в Старом городе не только переселенные с 15 килограммами багажа, здесь всегда жили ремесленники, старики, рабочие, санитарки. В какой ужасной тесноте жили они и живут. Как едят! Посмотрел бы ты на эти полуразваленные, вросшие в землю хибарки.

Витенька, здесь я вижу много плохих людей — жадных, трусливых, хитрых, даже готовых на предательство, есть тут один страшный человек, Эпштейн, попавший к нам из какого-то польского городка, он носит повязку на рукаве и ходит с немцами на обыски, участвует в допросах, пьянствует с украинскими полицаями, и они посылают его по домам вымогать водку, деньги, продукты. Я раза два видела его — рослый, красивый, в франтовском кремовом костюме, и даже желтая звезда, пришитая к его пиджаку, выглядит, как желтая хризантема.

Но я хочу тебе сказать и о другом. Я никогда не чувствовала себя еврейкой, с детских лет я росла в среде русских подруг, я любила больше всех поэтов Пушкина, Некрасова, и пьеса, на которой я плакала вместе со всем зрительным залом, съездом русских земских врачей, была «Дядя Ваня» со Станиславским. А когда-то, Витенька, когда я

была четырнадцатилетней девочкой, наша семья собралась эмигрировать в Южную Америку. И я сказала папе: «Не поеду никуда из России, лучше утоплюсь». И не уехала.

А вот в эти ужасные дни мое сердце наполнилось материнской нежностью к еврейскому народу. Раньше я не знала этой любви. Она напоминает мне мою любовь к тебе, дорогой сынок.

Я хожу к больным на дом. В крошечные комнатки втиснуты десятки людей: полуслепые старики, грудные дети, беременные. Я привыкла в человеческих глазах искать симптомы болезней — глаукомы, катаракты. Я теперь не могу так смотреть в глаза людям, — в глазах я вижу лишь отражение души. Хорошей души, Витенька! Печальной и доброй, усмехающейся и обреченной, побежденной насилием и в то же время торжествующей над насилием. Сильной, Витя, души!

Если бы ты видел, с каким вниманием старики и старухи расспрашивают меня о тебе. Как сердечно утешают меня люди, которым я ни на что не жалуюсь, люди, чье положение ужасней моего.

Мне иногда кажется, что не я хожу к больным, а, наоборот, народный добрый врач лечит мою душу. А как трогательно вручают мне за лечение

кусок хлеба, луковку, горсть фасоли.

Поверь, Витенька, это не плата за визиты! Когда пожилой рабочий пожимает мне руку и вкладывает в сумочку две-три картофелины и говорит: «Ну, ну, доктор, я вас прошу», у меня слезы выступают на глазах. Что-то в этом такое есть чистое, отеческое, доброе, не могу словами передать тебе это.

Я не хочу утешать тебя тем, что легко жила это время, ты удивляйся, как мое сердце не разорвалось от боли. Но не мучься мыслью, что я голодала, я за все это время ни разу не была голодна. И еще — я не чувствовала себя одинокой.

Что сказать тебе о людях, Витя? Люди поражают меня хорошим и плохим. Они необычайно разные, хотя все переживают одну судьбу. Но, представь себе, если во время грозы большинство старается спрятаться от ливня, это еще не значит, что все люди одинаковы. Да и прячется от дождя каждый по-своему…

Доктор Шперлинг уверен, что преследования евреев временные, пока война. Таких, как он, немало, и я вижу, чем больше в людях оптимизма, тем они мелочней, тем эгоистичней. Если во время обеда приходит кто-нибудь, Аля и Фанни Борисовна немедленно прячут еду.

Ко мне Шперлинги относятся хорошо, тем более что я ем мало и приношу продуктов больше, чем потребляю. Но я решила уйти от них, они мне неприятны. Подыскиваю себе уголок. Чем больше печали в человеке, чем меньше он надеется выжить, тем он шире, добрее, лучше.

Беднота, жестянщики, портняги, обреченные на гибель, куда благородней, шире и умней, чем те, кто ухитрились запасти кое-какие продукты. Молоденькие учительницы, чудик — старый учитель и шахматист Шпильберг, тихие библиотекарши, инженер Рейвич, который беспомощней ребенка и мечтает вооружить гетто самодельными гранатами, — что за чудные, непрактичные, милые, грустные и добрые люди.

Здесь я вижу, что надежда почти никогда не связана с разумом, она бессмысленна, я думаю, ее родил инстинкт.

Люди, Витя, живут так, как будто впереди долгие годы. Нельзя понять, глупо это или умно, просто так оно есть. И я подчинилась этому закону. Здесь пришли две женщины из местечка и рассказывают то же, что рассказывал мне мой друг. Немцы в округе уничтожают всех евреев, не щадя детей, стариков. Приезжают на машинах немцы и полицаи и берут несколько десятков

мужчин на полевые работы, они копают рвы, а затем, через два-три дня немцы гонят еврейское население к этим рвам и расстреливают всех поголовно. Всюду в местечках вокруг нашего города вырастают эти еврейские курганы.

В соседнем доме живет девушка из Польши. Она рассказывает, что там убийства идут постоянно, евреев вырезают всех до единого, и евреи сохранились лишь в нескольких гетто — в Варшаве, в Лодзи, Радоме. И когда я все это обдумала, для меня стало совершенно ясно, что нас здесь собрали не для того, чтобы сохранить, как зубров в Беловежской пуще, а для убоя. По плану дойдет и до нас очередь через неделю, две. Но, представь, понимая это, я продолжаю лечить больных и говорю: «Если будете систематически промывать лекарством глаза, то через две-три недели выздоровеете». Я наблюдаю старика, которому можно будет через полгода-год снять катаракту.

Я задаю Юре уроки французского языка, огорчаюсь его неправильному произношению.

А тут же немцы, врываясь в гетто, грабят, часовые, развлекаясь, стреляют из-за проволоки в детей, и все новые, новые люди подтверждают, что наша судьба может решиться в любой день.

Вот так оно происходит — люди продолжают

жить. У нас тут даже недавно была свадьба. Слухи рождаются десятками. То, задыхаясь от радости, сосед сообщает, что наши войска перешли в наступление и немцы бегут. То вдруг рождается слух, что советское правительство и Черчилль предъявили немцам ультиматум, и Гитлер приказал не убивать евреев. То сообщают, что евреев будут обменивать на немецких военнопленных.

Оказывается, нигде нет столько надежд, как в гетто. Мир полон событий, и все события, смысл их, причина, всегда одни — спасение евреев. Какое богатство надежды!

А источник этих надежд один — жизненный инстинкт, без всякой логики сопротивляющийся страшной необходимости погибнуть нам всем без следа. И вот смотрю и не верю: неужели все мы — приговоренные, ждущие казни? Парикмахеры, сапожники, портные, врачи, печники — все работают. Открылся даже маленький родильный дом, вернее, подобие такого дома. Сохнет белье, идет стирка, готовится обед, дети ходят с 1 сентября в школу, и матери расспрашивают учителей об отметках ребят.

Старик Шпильберг отдал в переплет несколько книг. Аля Шперлинг занимается по утрам физкультурой, а перед сном наворачивает волосы

на папильотки, ссорится с отцом, требует себе какие-то два летних отреза.

И я с утра до ночи занята — хожу к больным, даю уроки, штопаю, стираю, готовлюсь к зиме, подшиваю вату под осеннее пальто. Я слушаю рассказы о карах, обрушившихся на евреев, — знакомую, жену юрисконсульта, избили до потери сознания за покупку утиного яйца для ребенка; мальчику, сыну провизора Сироты, прострелили плечо, когда он пробовал пролезть под проволокой и достать закатившийся мяч. А потом снова слухи, слухи, слухи.

Вот и не слухи. Сегодня немцы угнали восемьдесят молодых мужчин на работы, якобы копать картошку, и некоторые люди радовались — сумеют принести немного картошки для родных. Но я поняла, о какой картошке идет речь.

Ночь в гетто — особое время, Витя. Знаешь, друг мой, я всегда приучала тебя говорить мне правду, сын должен всегда говорить матери правду. Но и мать должна говорить сыну правду. Не думай, Витенька, что твоя мама сильный человек. Я — слабая. Я боюсь боли и трушу, садясь в зубоврачебное кресло. В детстве я боялась грома, боялась темноты. Старухой я боялась болезней, одиночества, боялась, что, заболев, не смогу ра-

ботать, сделаюсь обузой для тебя и ты мне дашь это почувствовать. Я боялась войны. Теперь по ночам, Витя, меня охватывает ужас, от которого леденеет сердце. Меня ждет гибель. Мне хочется звать тебя на помощь.

Когда-то ты ребенком прибегал ко мне, ища защиты. И теперь в минуты слабости мне хочется спрятать свою голову на твоих коленях, чтобы ты, умный, сильный, прикрыл ее, защитил. Я не только сильна духом, Витя, я и слаба. Часто думаю о самоубийстве, но я не знаю, слабость, или сила, или бессмысленная надежда удерживают меня.

Но хватит. Я засыпаю и вижу сны. Часто вижу покойную маму, разговариваю с ней. Сегодня ночью видела во сне Сашеньку Шапошникову, когда вместе жили в Париже. Но тебя ни разу не видела во сне, хотя всегда думаю о тебе, даже в минуты ужасного волнения. Просыпаюсь, и вдруг этот потолок, и я вспоминаю, что на нашей земле немцы, я прокаженная, и мне кажется, что я не проснулась, а, наоборот, заснула и вижу сон.

Но проходит несколько минут, я слышу, как Аля спорит с Любой, чья очередь отправиться к колодцу, слышу разговоры о том, что ночью на соседней улице немцы проломили голову старику.

Ко мне пришла знакомая, студентка педтех-

никума, и позвала к больному. Оказалось, она скрывает лейтенанта, раненного в плечо, с обожженным глазом. Милый, измученный юноша с волжской, окающей речью. Он ночью пробрался за проволоку и нашел приют в гетто. Глаз у него оказался поврежден несильно, я сумела приостановить нагноение. Он много рассказывал о боях, о бегстве наших войск, навел на меня тоску. Хочет отдохнуть и пойти через линию фронта. С ним пойдут несколько юношей, один из них был моим учеником. Ох, Витенька, если б я могла пойти с ними! Я так радовалась, оказывая помощь этому парню, мне казалось, вот и я участвую в войне с фашизмом.

Ему принесли картошки, хлеба, фасоли, а какая-то бабушка связала ему шерстяные носки.

Сегодня день наполнен драматизмом. Накануне Аля через свою русскую знакомую достала паспорт умершей в больнице молодой русской девушки. Ночью Аля уйдет. И сегодня мы узнали от знакомого крестьянина, проезжавшего мимо ограды гетто, что евреи, посланные копать картошку, роют глубокие рвы в четырех верстах от города, возле аэродрома, по дороге на Романовку. Запомни, Витя, это название, там ты найдешь братскую могилу, где будет лежать твоя мать.

Даже Шперлинг понял все, весь день бледен, губы дрожат, растерянно спрашивает меня: «Есть ли надежда, что специалистов оставят в живых?» Действительно, рассказывают, в некоторых местечках лучших портных, сапожников и врачей не подвергли казни.

И все же вечером Шперлинг позвал старика печника, и тот сделал тайник в стене для муки и соли. И я вечером с Юрой читала «Lettres de mon moulin». Помнишь, мы читали вслух мой любимый рассказ «Les vieux» и переглянулись с тобой, рассмеялись, и у обоих слезы были на глазах. Потом я задала Юре уроки на послезавтра. Так нужно. Но какое щемящее чувство у меня было, когда я смотрела на печальное личико моего ученика, на его пальцы, записывающие в тетрадку номера заданных ему параграфов грамматики.

И сколько этих детей: чудные глаза, темные кудрявые волосы, среди них есть, наверное, будущие ученые, физики, медицинские профессора, музыканты, может быть, поэты.

Я смотрю, как они бегут по утрам в школу, не по-детски серьезные, с расширенными трагическими глазами. А иногда они начинают возиться, дерутся, хохочут, и от этого на душе не веселей, а ужас охватывает.

Говорят, что дети наше будущее, но что скажешь об этих детях? Им не стать музыкантами, сапожниками, закройщиками. И я ясно сегодня ночью представила себе, как весь этот шумный мир бородатых, озабоченных папаш, ворчливых бабушек, создательниц медовых пряников, гусиных шеек, мир свадебных обычаев, поговорок, субботних праздников уйдет навек в землю, и после войны жизнь снова зашумит, а нас не будет, мы исчезнем, как исчезли ацтеки.

Крестьянин, который привез весть о подготовке могил, рассказывает, что его жена ночью плакала, причитала: «Они и шьют, и сапожники, и кожу выделывают, и часы чинят, и лекарства в аптеке продают… Что ж это будет, когда их всех поубивают?»

И так ясно я увидела, как, проходя мимо развалин, кто-нибудь скажет: «Помнишь, тут жили когда-то евреи, печник Борух; в субботний вечер его старуха сидела на скамейке, а возле нее играли дети». А второй собеседник скажет: «А вон под той старой грушей-кислицей обычно сидела докторша, забыл ее фамилию, я у нее когда-то лечил глаза, после работы она всегда выносила плетеный стул и сидела с книжкой». Так оно будет, Витя.

Как будто страшное дуновение прошло по лицам, все почувствовали, что приближается срок.

Витенька, я хочу сказать тебе… нет, не то, не то.

Витенька, я заканчиваю свое письмо и отнесу его к ограде гетто и передам своему другу. Это письмо нелегко оборвать, оно — мой последний разговор с тобой, и, переправив письмо, я окончательно ухожу от тебя, ты уж никогда не узнаешь о последних моих часах. Это наше самое последнее расставание. Что скажу я тебе, прощаясь, перед вечной разлукой? В эти дни, как и всю жизнь, ты был моей радостью. По ночам я вспоминала тебя, твою детскую одежду, твои первые книжки, вспоминала твое первое письмо, первый школьный день, все, все вспоминала от первых дней твоей жизни до последней весточки от тебя, телеграммы, полученной 30 июня. Я закрывала глаза, и мне казалось — ты заслонил меня от надвигающегося ужаса, мой друг. А когда я вспоминала, что происходит вокруг, я радовалась, что ты не возле меня — пусть ужасная судьба минет тебя.

Витя, я всегда была одинока. В бессонные ночи я плакала от тоски. Ведь никто не знал этого. Моим утешением была мысль о том, что я расскажу тебе о своей жизни. Расскажу, почему мы разо-

шлись с твоим папой, почему такие долгие годы я жила одна. И я часто думала, как Витя удивится, узнав, что мама его делала ошибки, безумствовала, ревновала, что ее ревновали, была такой, как все молодые. Но моя судьба закончить жизнь одиноко, не поделившись с тобой. Иногда мне казалось, что я не должна жить вдали от тебя, слишком я тебя любила, думала, что любовь дает мне право быть с тобой на старости. Иногда мне казалось, что я не должна жить вместе с тобой, слишком я тебя любила.

Ну, enfin… Будь всегда счастлив с теми, кого ты любишь, кто окружает тебя, кто стал для тебя ближе матери. Прости меня.

С улицы слышен плач женщин, ругань полицейских, а я смотрю на эти страницы, и мне кажется, что я защищена от страшного мира, полного страдания.

Как закончить мне письмо? Где взять силы, сынок? Есть ли человеческие слова, способные выразить мою любовь к тебе? Целую тебя, твои глаза, твой лоб, волосы.

Помни, что всегда в дни счастья и в день горя материнская любовь с тобой, ее никто не в силах убить.

Витенька… Вот и последняя строка последнего

маминого письма к тебе. Живи, живи, живи вечно… Мама».

19

Никогда до войны Штрум не думал о том, что он еврей, что мать его еврейка. Никогда мать не говорила с ним об этом — ни в детстве, ни в годы студенчества. Никогда за время учения в Московском университете ни один студент, профессор, руководитель семинара не заговорил с ним об этом.

Никогда до войны в институте, в Академии наук не пришлось ему слышать разговоры об этом.

Никогда, ни разу не возникало в нем желания говорить об этом с Надей — объяснять ей, что мать у нее русская, а отец еврей.

Век Эйнштейна и Планка оказался веком Гитлера. Гестапо и научный ренессанс рождены одним временем. Как человечен девятнадцатый век, век наивной физики, по сравнению с двадцатым веком — двадцатый век убил его мать. Есть ужасное сходство в принципах фашизма с принципами современной физики.

Фашизм отказался от понятия отдельной индивидуальности, от понятия «человек» и оперирует огромными совокупностями. Современная физика говорит о больших и меньших вероятиях

явлений в тех или иных совокупностях физических индивидуумов. А разве фашизм в своей ужасной механике не основывается на законе квантовой политики, политической вероятности?

Фашизм пришел к идее уничтожения целых слоев населения, национальных и расовых объединений на основе того, что вероятность скрытого и явного противодействия в этих слоях и прослойках выше, чем в других группах и слоях. Механика вероятностей и человеческих совокупностей.

Но нет, конечно! Фашизм потому и погибнет, что законы атомов и булыжников он вздумал применить к человеку!

Фашизм и человек не могут сосуществовать. Когда побеждает фашизм, перестает существовать человек, остаются лишь внутренне преображенные, человекообразные существа. Но когда побеждает человек, наделенный свободой, разумом и добротой, — фашизм погибает и смирившиеся вновь становятся людьми.

Не признание ли это чепыжинских мыслей о квашне, против которых он спорил этим летом? Время разговора с Чепыжиным представлялось ему бесконечно далеким, казалось, десятилетия

лежали между московским летним вечером и сегодняшним днем.

Казалось, что другой человек, не Штрум шел по Трубной площади, волнуясь, слушал, горячо, самоуверенно спорил.

Мать… Маруся… Толя…

Бывали минуты, когда наука представлялась ему обманом, мешающим увидеть безумие и жестокость жизни.

Быть может, наука не случайно стала спутницей страшного века, она союзник его. Как одиноко чувствовал он себя. Не с кем было ему делиться своими мыслями. Чепыжин был далеко. Постоеву все это странно и неинтересно.

Соколов склонен к мистике, к какой-то странной религиозной покорности перед кесаревой жестокостью, несправедливостью.

В лаборатории у него работали двое превосходных ученых — физик-экспериментатор Марков и забулдыга, умница Савостьянов. Но заговори Штрум с ними обо всем этом, они бы сочли его психопатом.

Он вынимал из стола письмо матери и вновь читал его.

«Витя, я уверена, мое письмо дойдет до тебя, хотя я за линией фронта и за колючей проволокой

еврейского гетто… Где взять силы, сынок…»

И холодное лезвие вновь ударяло его по горлу…

20

Людмила Николаевна вынула из почтового ящика воинское письмо.

Большими шагами она вошла в комнату и, поднеся конверт к свету, оторвала край грубой конвертной бумаги.

На миг ей представилось, что из конверта посыпятся фотографии Толи, — крошечный, когда еще голова не держалась, голый на подушке с задранными медвежьими ножками, с оттопыренными губами.

Непонятным образом, казалось, не вчитываясь в слова, а впитывая, вбирая красивым почерком неинтеллигентного грамотея написанные строки, она поняла: жив, жизнь!

Она прочитала о том, что Толя тяжело ранен в грудь и в бок, потерял много крови, слаб, сам не может писать, четыре недели температурит… Но счастливые слезы застилали ей глаза, так велико было мгновение назад отчаяние.

Она вышла на лестницу, прочла первые строки письма и, успокоенная, пошла в дровяной сарай. Там, в холодном сумраке, она прочла середину и конец письма и подумала, что письмо — пред-

смертное прощание с ней.

Людмила Николаевна стала укладывать дрова в мешок. И хотя доктор, у которого она лечилась в московском Гагаринском переулке в поликлинике ЦЕКУБУ, велел ей не подымать свыше трех килограммов и делать лишь медленные, плавные движения, Людмила Николаевна, по-крестьянски закряхтев, взвалила себе на плечи мешок, полный сырых поленьев, махом поднялась на второй этаж. Она опустила мешок на пол, и посуда на столе вздрогнула, зазвенела.

Людмила надела пальто, накинула на голову платок и пошла на улицу.

Люди проходили мимо, потом оглядывались.

Она перешла улицу, трамвай резко зазвонил, и вагоновожатая погрозила ей кулаком.

Если свернуть направо, то переулком можно пройти к заводу, где работает мать.

Если Толя погибнет, то отцу его это не будет известно, — в каком лагере искать его, может быть, давно умер…

Людмила Николаевна пошла в институт к Виктору Павловичу. Проходя мимо домика Соколовых, она вошла во двор, постучала в окно, но занавеска осталась спущенной, — Марьи Ивановны не было дома.

— Виктор Павлович только что прошел к себе, — сказал ей кто-то, и она поблагодарила, хотя не поняла, кто говорил с ней, — знакомый, незнакомый, мужчина, женщина, и пошла по лабораторному залу, где, как всегда, казалось, мало кто занимался делом. Обычно, так кажется, в лаборатории мужчины либо болтают, либо, покуривая, смотрят в книгу, а женщины всегда заняты: кипятят в колбах чай, смывают растворителем маникюр, вяжут.

Она замечала мелочи, десятки мелочей, бумагу, из которой лаборант сворачивал папиросу.

В кабинете Виктора Павловича ее шумно приветствовали, и Соколов быстро подошел к ней, почти подбежал, размахивая большим белым конвертом, и сказал:

— Нас обнадеживают, есть план, перспектива реэвакуации в Москву, со всеми манатками и аппаратурой, с семьями. Неплохо, а? Правда, еще сроки не указаны совершенно. Но все же!

Его оживленное лицо, глаза показались ей ненавистны. Неужели и Марья Ивановна так же радостно подбежала бы к ней? Нет, нет. Марья Ивановна сразу бы все поняла, все прочла бы на ее лице.

Знай она, что увидит столько счастливых лиц,

она, конечно, не пошла бы к Виктору. И Виктор обрадован, и его радость вечером придет в дом, — и Надя будет счастлива, они уедут из ненавистной Казани.

Стоят ли все люди, сколько их есть, молодой крови, которой куплена эта радость?

Она с упреком подняла глаза на мужа.

И в ее мрачные глаза посмотрели его глаза — понимающие, полные тревоги.

Когда они остались одни, он ей сказал, что сразу же, лишь она вошла, понял — случилось несчастье.

Он прочитал письмо и повторял:

— Ну что же делать, Боже мой, что же делать.

Виктор Павлович надел пальто, и они пошли к выходу.

— Я не приду уже сегодня, — сказал он Соколову, стоявшему рядом с новым, недавно назначенным начальником отдела кадров Дубенковым, круглоголовым высоким человеком в широком модном пиджаке, узком для его широких плеч.

Штрум, на мгновение выпустив руку Людмилы, вполголоса сказал Дубенкову:

— Мы хотели начать составлять списки московские, но сегодня не смогу, я потом объясню.

— К чему беспокоиться, Виктор Павлович, —

баском сказал Дубенков. — Спешить пока некуда. Это планирование на будущее, я возьму на себя всю черновую работу.

Соколов махнул рукой, закивал головой, и Штрум понял, что он догадался о постигшем Штрума новом горе.

Холодный ветер носился по улицам, подымал пыль, то закручивал ее веревочкой, то вдруг швырял, рассыпал, как черную негодную крупу. Неумолимая суровость была в этой стуже, в костяном постукивании ветвей, в ледяной синеве трамвайных рельсов.

Жена повернула к нему лицо, помолодевшее от страдания, осунувшееся, озябшее, пристально, просяще всматривалась в Виктора Павловича.

Когда-то у них была молодая кошка, она в свои первые роды не могла родить котенка, умирая, она подползла к Штруму и кричала, смотрела на него широко раскрытыми светлыми глазами. Но кого же просить, кого молить в этом огромном пустом небе, на этой безжалостной пыльной земле?

— Вот госпиталь, в котором я работала, — проговорила она.

— Люда, — вдруг сказал он, — зайди в госпиталь, ведь тут тебе расшифруют полевую почту.

Как это раньше не пришло в голову.

Он видел, как Людмила Николаевна поднялась по ступенькам, стала объясняться с вахтером.

Штрум заходил за угол, снова возвращался к подъезду госпиталя. Прохожие бежали мимо с сетками-авоськами, со стеклянными банками, в которых, в сером супе, плавали серые макароны и картофелины.

— Витя, — окликнула его жена.

Он по ее голосу понял, что она овладела собой.

— Значит, так, — сказала она. — Это в Саратове. Оказывается, заместитель главного врача там был недавно. Он мне записал улицу и номер дома.

Сразу возникло множество дел, вопросов, — когда идет пароход, как достать билет, нужно собрать вещи, продукты, надо одолжить денег, надо достать какую-нибудь командировку.

Уехала Людмила Николаевна без вещей и продуктов, почти без денег, на палубу прошла, не имея билета, в общей давке и суете, поднявшейся при посадке.

Увезла она лишь память о прощании с матерью, мужем, Надей в темный осенний вечер. Зашумели у бортов черные волны, низовой ветер ударил, завыл, подхватил брызги речной воды.

21

Секретарь обкома одной из оккупированных немцами областей Украины Дементий Трифонович Гетманов был назначен комиссаром формировавшегося на Урале танкового корпуса.

Прежде чем выехать на место службы, Гетманов на «Дугласе» слетал в Уфу, где находилась в эвакуации его семья.

Товарищи, уфимские работники, заботливо относились к его семье: бытовые и жилищные условия оказались неплохими… Жена Гетманова, Галина Терентьевна, до войны отличавшаяся из-за дурного обмена веществ полнотой, не похудела, даже несколько поправилась в эвакуации. Две дочери и маленький, еще не ходивший в школу сын выглядели здоровыми.

Гетманов провел в Уфе пять дней. Перед отъездом к нему зашли проститься близкие люди: младший брат жены, зам. управделами Украинского совнаркома; старый товарищ Гетманова киевлянин Мащук — работник органов безопасности; и свояк Дементия Трифоновича, ответственный работник отдела пропаганды украинского ЦК Сагайдак.

Сагайдак приехал в одиннадцатом часу, когда дети уже легли спать, и разговор шел вполголоса. Гетманов задумчиво сказал:

— А не выпить ли нам, товарищи, московской горилки по глотку?

Все в Гетманове по отдельности было большим, — седеющая вихрастая голова-башка, широкий, обширный лоб, богатый мясом нос, ладони, пальцы, плечи, толстая мощная шея. Но сам он, соединение больших и массивных частей, был небольшого роста. И странно, что в его большом лице особенно привлекали и запоминались маленькие глаза: они были узкими, едва видимые из-под набухших век. Цвет их был неясный — не определишь, чего в них больше: серого или голубого. Но заключалось в них много пронзительного, живого, мощная проницательность.

Галина Терентьевна, легко подняв свое грузное тело, вышла из комнаты, и мужчины притихли, как это часто бывает и в деревенской избе, и в городском обществе, когда на столе должно появиться вино. Вскоре Галина Терентьевна вернулась, неся поднос. Казалось удивительным, как ее толстые руки сумели за короткие минуты пооткрывать столько консервных банок, собрать посуду.

Мащук оглядел стены, завешенные украинскими плахтами, посмотрел на широкую тахту, на гостеприимные бутылки и консервные банки, сказал:

— А я помню эту тахту в вашей квартире, Галина Терентьевна, и молодец же вы, что сумели ее вывезти, определенный оргталант у вас.

— Ты учти, — сказал Гетманов, — когда эвакуировались, меня дома уже не было — все сама!

— Не бросать же ее, земляки, немцам, — сказала Галина Терентьевна. — И Дима так привык к ней, придет с бюро обкома и сразу на тахту, материалы читает.

— Как же, читает! Спит, — сказал Сагайдак.

Она снова ушла на кухню, и Мащук плутовски сказал вполголоса, обращаясь к Гетманову:

— Ох, и представляю я себе докторшу, военврача, с которым наш Дементий Трифонович познакомится.

— Да, уж он даст жизни, — сказал Сагайдак.

Гетманов отмахнулся:

— Бросьте, что вы, — инвалид!

— Как же, — сказал Мащук, — а кто в Кисловодске в три часа ночи в палату возвращался?

Гости захохотали, и Гетманов мельком, но пристально поглядел на брата жены.

Вошла Галина Терентьевна и, оглядев смеющихся мужчин, проговорила:

— Только жена вышла, а они уж моего бедного Диму черт знает чему учат.

Гетманов стал разливать водку в рюмки, и все стали озабоченно выбирать закуску.

Гетманов, поглядев на портрет Сталина, висевший на стене, поднял рюмку и сказал:

— Что ж, товарищи, первый тост за нашего отца, пускай он нам будет здоров.

Сказал он эти слова немного грубоватым, товарищеским голосом. В этом простецком тоне суть состояла в том, что всем было известно величие Сталина, но собравшиеся за столом люди пили за него, прежде всего любя в нем простого, скромного и чуткого человека. И Сталин на портрете, сощурившись, оглядывая стол и богатую грудь Галины Терентьевны, казалось, говорил: «Вот, ребята, я раскурю трубочку и подсяду к вам поближе».

— И верно, хай наш батько живет, — сказал брат хозяйки, Николай Терентьевич. — Что б мы все без него делали?

Он оглянулся на Сагайдака, придерживая возле рта рюмку, не скажет ли тот чего-нибудь, но Сагайдак посмотрел на портрет: «О чем же,

отец, еще говорить, ты все знаешь», и выпил. Все выпили.

Дементий Трифонович Гетманов был родом из Ливен Воронежской области, но у него имелись долгие связи с украинскими товарищами, так как он много лет вел партийную работу на Украине. Его связи с Киевом были упрочены женитьбой на Галине Терентьевне, — ее многочисленные родственники занимали видные места в партийном и советском аппарате на Украине.

Жизнь Дементия Трифоновича была довольно бедна внешними событиями. Он не участвовал в гражданской войне. Его не преследовали жандармы, и царский суд его никогда не высылал в Сибирь. Доклады на конференциях и съездах он обычно читал по рукописи. Читал он хорошо, — без запинок, с выражением, хотя писал доклады не сам. Правда, читать их было легко, их печатали крупным шрифтом, через два интервала, и имя Сталина выделено на них было особым красным шрифтом. Он был когда-то толковым, дисциплинированным пареньком, хотел учиться в механическом институте, но его мобилизовали на работу в органы безопасности, и вскоре он стал личным охранником секретаря крайкома. Потом его отметили и послали на партийную

учебу, а затем он был взят на работу в партийный аппарат — сперва в организационно-инструкторский отдел крайкома, потом в управление кадров Центрального Комитета. Через год он стал инструктором отдела руководящих кадров. А вскоре после тридцать седьмого года он сделался секретарем обкома партии, как говорили, — хозяином области.

Слово его могло решить судьбу заведующего университетской кафедрой, инженера, директора банка, председателя профессионального союза, крестьянского коллективного хозяйства, театральной постановки.

Доверие партии! Гетманов знал великое значение этих слов. Партия доверяла ему! Весь его жизненный труд, где не было ни великих книг, ни знаменитых открытий, ни выигранных сражений, был трудом огромным, упорным, целеустремленным, особым, всегда напряженным, бессонным. Главный и высший смысл этого труда состоял в том, что возникал он по требованию партии и во имя интересов партии. Главная и высшая награда за этот труд состояла лишь в одном — в доверии партии.

Духом партийности, интересами партии должны были проникаться его решения в любых

обстоятельствах, — шла ли речь о судьбе ребенка, которого определяют в детдом, о реорганизации кафедры биологии в университете, о выселении из помещения, принадлежащего библиотеке, артели, производящей пластмассовые изделия. Духом партийности должно быть проникнуто отношение руководителя к делу, к книге, к картине, и поэтому, как ни трудно это, он должен не колеблясь отказаться от привычного дела, от любимой книги, если интересы партии приходят в противоречие с его личными симпатиями. Но Гетманов знал: существовала более высокая степень партийности; ее суть была в том, что человек вообще не имеет ни склонностей, ни симпатий, могущих вступать в противоречие с духом партийности, — все близкое и дорогое для партийного руководителя потому и близко ему, потому только и дорого ему, что оно выражает дух партийности.

Подчас жестоки, суровы бывали жертвы, которые приносил Гетманов во имя духа партийности. Тут уж нет ни земляков, ни учителей, которым с юности обязан многим, тут уж не должно считаться ни с любовью, ни с жалостью. Здесь не должны тревожить такие слова, как «отвернулся», «не поддержал», «погубил», «предал»... Но

дух партийности проявляется в том, что жертва как раз-то и не нужна — не нужна потому, что личные чувства — любовь, дружба, землячество — естественно, не могут сохраняться, если они противоречат духу партийности.

Незаметен труд людей, обладающих доверием партии. Но огромен этот труд, — нужно и ум и душу тратить щедро, без остатка. Сила партийного руководителя не требовала таланта ученого, дарования писателя. Она оказывалась над талантом, над дарованием. Руководящее, решающее слово Гетманова жадно слушали сотни людей, обладавших даром исследования, пения, писания книг, хотя Гетманов не только не умел петь, играть на рояле, создавать театральные постановки, но и не умел со вкусом и глубиной понимать произведения науки, поэзии, музыки, живописи… Сила его решающего слова заключалась в том, что партия доверила ему свои интересы в области культуры и искусства.

Таким количеством власти, каким обладал он, секретарь областной партийной организации, вряд ли мог обладать народный трибун, мыслитель.

Гетманову казалось, что самая глубокая суть понятия «доверие партии» выражалась в мнении,

чувстве, отношении Сталина. В его доверии к своим соратникам, наркомам, маршалам и была суть партийной линии.

Гости говорили главным образом о новой военной работе, предстоящей Гетманову. Они понимали, что Гетманов мог рассчитывать на большее назначение, люди с его партийным положением обычно, переходя на военную работу, становились членами Военных советов армий, а иногда даже и фронтов.

Гетманов, получив назначение на корпус, встревожился и огорчился, узнавал через одного из своих друзей, члена Оргбюро ЦК, нет ли против него наверху недовольства. Но, казалось, ничего тревожного не имелось.

Тогда Гетманов, утешая себя, стал находить хорошие стороны в своем назначении, — ведь танковым войскам предстоит решить судьбу войны, им предстоит выступить на решающих направлениях. В танковый корпус пошлют не каждого, скорей пошлют членом Военного совета в захудалую армию на второстепенный участок, чем в танковый корпус. Этим партия выразила ему доверие. Но все же он был огорчен, — очень ему нравилось, надев форму и глядя в зеркало, произносить: «Член Военного совета армии, бри-

гадный комиссар Гетманов».

Почему-то наибольшее раздражение вызывал в нем командир корпуса полковник Новиков. Он еще ни разу не видел полковника, но все, что Гетманов знал и узнавал о нем, не нравилось ему.

Друзья, сидевшие с ним за столом, понимали его настроение, и все, что говорили они о его новом назначении, было приятно ему.

Сагайдак сказал, что корпус вероятнее всего пошлют под Сталинград, что командующего Сталинградским фронтом генерала Еременко товарищ Сталин знает со времен гражданской войны, еще по Первой конной армии, и часто говорит с ним по телефону ВЧ, а когда тот бывает в Москве, товарищ Сталин принимает его... Недавно командующий был на даче у товарища Сталина под Москвой, и беседа товарища Сталина с ним длилась два часа. Хорошо воевать под командованием человека, к которому с таким доверием относится товарищ Сталин.

Потом говорили, что Никита Сергеевич помнит Гетманова по работе на Украине и что большой удачей для Гетманова будет попасть на тот фронт, где Никита Сергеевич член Военного совета.

— Не случайно, — сказал Николай Терентьевич, — в Сталинград товарищ Сталин послал

Никиту Сергеевича: фронт решающий, кого же послать?

Галина Терентьевна задорно сказала:

— А моего Дементия Трифоновича случайно, что ли, товарищ Сталин посылает в танковый корпус?

— Да уж, — сказал прямодушно Гетманов, — мне попасть на корпус — это вроде из первых секретарей обкома дорасти до секретаря райкома. Радость небольшая.

— Нет, нет, — серьезно сказал Сагайдак. — В этом назначении выражено доверие партии. Райком, да не простой, не сельский, а Магнитогорский, Днепродзержинский. Корпус, да не простой — танковый!

Мащук сказал, что командира корпуса, куда комиссаром едет Гетманов, недавно назначили, он раньше не командовал соединениями. Об этом сказал ему работник фронтового особого отдела, приезжавший недавно в Уфу.

— Он мне еще вот что говорил, — сказал Мащук и, сам себя перебивая, добавил: — Да что вам рассказывать, Дементий Трифонович, вы-то о нем, наверное, больше знаете, чем он сам о себе знает.

Гетманов узко сощурил и без того узкие, прон-

зительные, умные глаза, пошевелил мясистыми ноздрями и сказал:

— Ну уж больше.

Мащук едва заметно усмехнулся, и все сидевшие за столом заметили его усмешку. Странное, удивительное дело, — хоть приходился он шуряком и свояком семье Гетмановых и хоть был Мащук при семейных встречах скромным, милым, любящим шутку человеком, а все же чувствовали Гетмановы какое-то напряжение, слушая его мягкий, вкрадчивый голос, глядя на темные, спокойные глаза и бледное, длинное лицо. И сам Гетманов, чувствуя это, не удивлялся, он понимал силу, стоящую за Мащуком, знавшим что-то такое, чего и Гетманов подчас не знал.

— И что за человек? — спросил Сагайдак.

Гетманов снисходительно ответил:

— Да вот такой, выдвиженец военного времени, до войны ничем особым он не отличался.

— В номенклатуре не был? — сказал, улыбаясь, брат хозяйки.

— Ну, номенклатура, — Гетманов помахал рукой. — Но человек полезный, танкист, говорят, хороший. Начальником штаба корпуса — генерал Неудобнов. Я с ним на восемнадцатом съезде партии познакомился. Мужик толковый.

Мащук сказал:

— Неудобнов, Илларион Иннокентьевич? Еще бы. Я у него работать начинал, потом судьба развела. Перед войной я с ним у Лаврентия Павловича в приемной встретился.

— Ну, развела, — улыбаясь, сказал Сагайдак. — Ты подходи диалектически, ищи тождество и единство, а не противоположность.

Мащук сказал:

— По-чудачному все во время войны, — полковник какой-то в комкоры, а Неудобнов к нему в подчинение идет!

— Военного опыта нет. Приходится считаться, — сказал Гетманов.

А Мащук все удивлялся:

— Шутка, Неудобнов, да от одного его слова что зависело! Член партии с дореволюционным стажем, огромный опыт военной и государственной работы! Одно время думали, что он членом коллегии будет.

Остальные гости поддержали его.

Их сочувствие Гетманову сейчас было удобно выразить в соболезнованиях Неудобнову.

— Да, напутала война, скорей бы кончалась, — сказал брат хозяйки.

Гетманов поднял руку с растопыренными паль-

цами в сторону Сагайдака и сказал:

— Вы знали Крымова, московский, делал в Киеве доклад о международном положении на лекторской группе ЦК?

— Перед войной приезжал? Загибщика этого? В Коминтерне когда-то работал?

— Точно, он. Вот этот мой комкор собрался жениться на его бывшей жене.

Новость почему-то всех насмешила, хотя никто не знал бывшей жены Крымова, ни комкора, который собирался на ней жениться.

Мащук сказал:

— Да, шуряк недаром первую закалку получил у нас в органах. И уж про женитьбу знает.

— Хватка есть, скажем прямо, — проговорил Николай Терентьевич.

— А как же… Верховное Главнокомандование ротозеев не жалует.

— Да, уж наш Гетманов не ротозей, — проговорил Сагайдак.

Мащук сказал серьезно и буднично, словно перенесся в свой служебный кабинет:

— Крымова этого, еще когда он приезжал в Киев, помню, неясный. Понатыкано у него связей и с правыми и с троцкистами с самых давних времен. А разобраться, то, верно…

Он говорил просто и откровенно, казалось, так же просто, как мог говорить о своей работе директор трикотажной фабрики или преподаватель техникума. Но все понимали, что простота и свобода, с которой он говорил, были лишь кажущиеся, — он, как никто, знал, о чем можно, а о чем нельзя говорить. А Гетманов, сам любивший ошеломить собеседника смелостью, простотой и искренностью, хорошо знал о сокровенной глубине, молчавшей под поверхностью живого, непосредственного разговора.

Сагайдак, который бывал обычно занятей, озабоченней и серьезней других гостей, не хотел расставаться с легким настроением и весело объяснил Гетманову:

— Его и кинула жена как недостаточно проверенного.

— Хорошо бы, если потому, — сказал Гетманов. — Но мне подобытся, что этот мой комкор женится на совершенно чуждом человеке.

— Ну и пусть, мне бы твои заботы, — сказала Галина Терентьевна. — Главное, чтобы любили друг друга.

— Любовь, конечно, основное — это все знают и помнят, — сказал Гетманов, — но, кроме того, есть вещи, которые некоторые советские люди

забывают.

— Вот это верно, — сказал Мащук, — а забывать нам ничего не положено.

— А потом удивляются, почему ЦК не утвердил, почему то, почему не это. А сами не дорожат доверием.

Вдруг Галина Терентьевна удивленно нараспев произнесла:

— Странно даже слушать ваш разговор, и как будто войны нет, а только и заботы, — на ком этот комкор женится и кто бывший муж у его будущей жены. Ты с кем это, Дима, собрался воевать?

Она насмешливо посмотрела на мужчин, и красивые карие глаза ее казались чем-то похожи на узенькие глаза мужа, — должно быть, проницательностью и походили.

Грустным голосом Сагайдак проговорил:

— Да где там, про войну забыть… Отовсюду наши братья и сыны на войну идут — от последней колхозной хаты до Кремля. Война — и великая, и отечественная.

— У товарища Сталина — Василий, сын, летчик-истребитель, потом у товарища Микояна сын воюет в авиации, у Лаврентия Павловича, я слышал, сын тоже на фронте, только не знаю, какой род войск. Потом Тимур Фрунзе лейтенант,

кажется, в пехоте… Потом у этой, у Долорес Ибаррури, сын под Сталинградом погиб.

— У товарища Сталина два сына на фронте, — сказал брат хозяйки. — Второй, Яков, артиллерийской батареей командовал. Вернее, он первый, Васька — младший, Яков — старший. Несчастный парень, — в плен попал.

Он примолк, почувствовав, что коснулся предмета, о котором, по мнению старших товарищей, говорить не следует.

Желая смять молчание, Николай Терентьевич сказал прямодушно и беспечно:

— Между прочим, немцы кидают до конца лживые листовки, будто Яков Сталин дает им охотно показания.

Но пустота вокруг него стала еще неприятней. Он заговорил о том, о чем не следовало упоминать ни в шутку, ни всерьез, о чем полагалось молчать. Вздумай кто-либо возмутиться слухами об отношениях Иосифа Виссарионовича с женой, этот искренний опровергатель слухов совершил бы не меньшую оплошность, чем распространитель слухов, — самый разговор был недопустим.

Гетманов, вдруг повернувшись к жене, сказал:

— Сердце мое, там, где дело взял в свои руки товарищ Сталин, да еще так крепко взял, там уж

пусть немцы волнуются.

А Николай Терентьевич ловил взгляд Гетманова своим виноватым взглядом.

Но, конечно, не вздорные люди сидели за столом, не для того они встретились, чтобы из произошедшей неловкости создавать серьезную историю — дело.

Сагайдак проговорил с добродушной и товарищеской интонацией, поддерживая перед Гетмановым Николая Терентьевича:

— Вот это правильно, а мы давайте будем волноваться, чтобы глупостей не натворить на своем участке.

— И чтобы не болтать лишнего, — добавил Гетманов.

В том, что он почти прямо сказал свой упрек, а не промолчал, было выражено прощение Николаю Терентьевичу, и Сагайдак и Мащук одобрительно кивнули.

Николай Терентьевич знал, что этот пустой, оплошный случай забудется, но знал, что забудется он не до конца. Когда-нибудь вдруг зайдет разговор о кадрах, о выдвижении, об особо ответственном поручении, и при имени Николая Терентьевича и Гетманов, и Сагайдак, и Мащук закивают, но при этом чуть-чуть улыбнутся и на

вопрос дотошного собеседника скажут: «Чуток, может быть, легкомыслен», — и покажут чуток на кончике мизинца.

В глубине души все понимали, что не так уж врут немцы насчет Якова. Но именно поэтому не следовало касаться этой темы.

Особенно хорошо разбирался в таких делах Сагайдак. Он долгое время работал в газете, сперва заведовал отделом информации, потом сельскохозяйственным отделом, затем около двух лет был редактором республиканской газеты. Он считал, что главная цель его газеты воспитывать читателя, а не давать без разбору хаотическую информацию о самых различных, часто случайных, событиях. Если редактор Сагайдак считал целесообразным пройти мимо какого-либо события, замолчать жестокий недород, идейно не выдержанную поэму, формалистическую картину, падеж скота, землетрясение, гибель линкора, не видеть силы океанской волны, внезапно смывшей с земли тысячи людей, либо огромного пожара на шахте, — события эти не имели для него значения, казалось ему, не должны были занимать умы читателей, журналистов и писателей. Иногда ему надо было по-особому объяснить то или иное событие в жизни, — случалось, что

объяснение это бывало поразительно смелым, необычным, противоречило житейским представлениям. Ему казалось, что его редакторская сила, опыт, умение выражались в том, что он умел доводить до сознания читателей нужные, служащие воспитательной цели взгляды.

Когда во время проведения сплошной коллективизации возникли грубые перегибы, Сагайдак до появления статьи Сталина «Головокружение от успехов» писал, что голод в период сплошной коллективизации произошел оттого, что кулаки назло закапывали зерно, назло не ели хлеба и от этого опухали, назло государству умирали целыми деревнями, с малыми ребятами, стариками и старухами.

И тут же он помещал материалы о том, что в колхозных яслях детей ежедневно кормят куриным бульоном, пирожками и рисовыми котлетами. А дети сохли и опухали.

Началась война, одна из самых жестоких и страшных войн, выпавших России за 1000 лет ее жизни. И вот на протяжении особо жестоких испытаний первых недель, месяцев войны ее истребительный огонь поставил на первое место реальное, истинное, роковое течение событий, война определяла все судьбы, даже судьбу

партии. Эта роковая пора миновала. И тотчас драматург Корнейчук объяснил в своей пьесе «Фронт», что неудачи войны были связаны с глупыми генералами, не умевшими выполнять указания Высшего, никогда не ошибавшегося командования.

В этот вечер не одному Николаю Терентьевичу суждено было пережить неприятные минуты. Мащук, перелистывая большой альбом в кожаном переплете, на толстые картонные страницы которого были наклеены фотографии, вдруг так выразительно поднял брови, что все невольно потянулись к альбому. На фотографии был заснят Гетманов в своем довоенном обкомовском кабинете, — он сидел за просторным, как степь, письменным столом, в гимнастерке полувоенного образца, а над ним висел портрет Сталина, такой огромный, какой может быть только в кабинете секретаря обкома. Лицо Сталина на портрете было размалевано цветными карандашами, к подбородку была пририсована синяя эспаньолка, на ушах висели голубые серьги.

— Ну что за мальчишка! — воскликнул Гетманов и даже по-бабьи как-то всплеснул руками.

Галина Терентьевна расстроилась, повторяла, оглядывая гостей:

— И ведь, знаете, еще вчера перед сном говорил: «Я дядю Сталина люблю, как папу».

— То ж детская шалость, — сказал Сагайдак.

— Нет, это не шалость, это злостное хулиганство, — вздохнул Гетманов.

Он посмотрел на Мащука пытливыми глазами. И оба они в эту минуту вспомнили один и тот же довоенный случай, — племянник их земляка, студент-политехник, в общежитии стрельнул из духового ружья по портрету Сталина.

Они знали, что болван студент дурил, не имел никаких политических, террористических целей. Земляк, славный человек, директор МТС, просил Гетманова выручить племянника.

Гетманов после заседания бюро обкома заговорил с Мащуком об этом деле.

Мащук сказал:

— Дементий Трифонович, ведь мы не дети — виноват, не виноват, какое это имеет значение… А вот если я прекращу это дело, завтра в Москву, может быть, самому Лаврентию Павловичу сообщат: либерально Мащук отнесся к тому, что стреляют по портрету великого Сталина. Сегодня я в этом кабинете, а завтра — я лагерная пыль. Хотите на себя взять ответственность? И о вас скажут: сегодня по портрету, а завтра не по порт-

рету, а Гетманову чем-то этот парень симпатичен или поступок этот ему нравится? А? Возьмете на себя?

Через месяц или два Гетманов спросил у Мащука:

— Ну как там тот стрелок?

Мащук, глядя на него спокойными глазами, ответил:

— Не стоит о нем спрашивать, оказалось, мерзавец, кулацкий выблядок, — признался на следствии.

И сейчас Гетманов, пытливо глядя на Мащука, повторил:

— Нет, не шалость это.

— Да ну уж, — проговорил Мащук, — парню пятый год, возраст все же учитывать надо.

Сагайдак с такой душевностью, что все ощутили теплоту его слов, сказал:

— Прямо вам скажу, у меня не хватает силы быть принципиальным к детям… Надо бы, но не хватает духу. Я смотрю: были бы здоровы…

Все сочувственно посмотрели на Сагайдака. Он был несчастным отцом. Старший сын его, Виталий, еще учась в девятом классе, вел нехорошую жизнь, — однажды его задержала милиция за участие в ресторанном дебоше, и отцу пришлось

звонить заместителю наркома внутренних дел, тушить скандальную историю, в которой участвовали сыновья видных людей — генералов, академиков, дочь писателя, дочь наркома земледелия. Во время войны молодой Сагайдак захотел пойти в армию добровольцем, и отец устроил его в двухлетнее артиллерийское училище. Виталия оттуда исключили за недисциплинированность и пригрозили отправить с маршевой ротой на фронт.

Теперь молодой Сагайдак уже месяц учился в минометном училище, и никаких происшествий с ним не случалось — отец и мать радовались и надеялись, но в душе у них жила тревога.

Второй сын Сагайдака, Игорь, в двухлетнем возрасте болел детским параличом, и последствия этой болезни превратили его в калеку — он передвигался на костылях, сухие тонкие ножки его были бессильны. Игорек не мог учиться в школе, учителя приходили к нему на дом, — учился он охотно и старательно.

Не было светила-невропатолога не только на Украине, но и в Москве, Ленинграде, Томске, с которым бы не советовались Сагайдаки об Игорьке. Не было нового заграничного лекарства, которого не добыл бы Сагайдак через торгпред-

ства либо посольства. Он знал: за чрезмерность родительской любви его можно и должно упрекать. Но он одновременно знал, что грех его не смертный грех. Ведь и он, сталкиваясь с сильным отцовским чувством у некоторых областных работников, учитывал, что люди нового типа особо глубоко любят своих детей. Он знал — и ему простится знахарка, доставленная из Одессы на самолете к Игорьку, и травка, прибывшая в Киев фельдъегерским пакетом от какого-то священного дальневосточного деда.

— Наши вожди особые люди, — проговорил Сагайдак, — я не говорю о товарище Сталине, тут уж вообще не о чем говорить, но и ближайшие помощники его… Они умеют и в этом вопросе всегда ставить партию выше отцовского чувства.

— Да, они понимают: не с каждого спросишь такое, — сказал Гетманов и намекнул о суровости, которую проявил один из секретарей ЦК к своему проштрафившемуся сыну.

Разговор о детях пошел по-новому, задушевно и просто.

Казалось, вся внутренняя сила этих людей, вся их способность радоваться связаны лишь с тем, румяны ли их Танечки и Виталики, хорошие ли отметки приносят из школы, благополучно

ли переходят с курса на курс их Владимиры и Людмилы.

Галина Терентьевна заговорила о своих дочерях:

— Светланка до четырех лет была плохого здоровья, — колиты, колиты, извелась девочка. А вылечили ее только одним — тертыми сырыми яблоками.

Гетманов проговорил:

— Сегодня перед школой она мне сказала: «Нас с Зоей в классе называют — генеральские дочки». А Зоя, нахалка, смеется: «Подумаешь, большая честь — генеральская дочь! У нас в классе маршальская дочь — это действительно!»

— Видите, — весело сказал Сагайдак, — на них не угодишь. Игорь днями мне заявил: «Третий секретарь — подумаешь, не велика птица».

Микола тоже мог рассказать о своих детях много смешного и веселого, но он знал, что ему не положено рассказывать о сметливости своих ребят, когда говорят о сметливости сагайдаковского Игоря и гетмановских дочерей.

Мащук задумчиво сказал:

— У наших батьков в деревне с детьми просто было.

— А все равно любили детей, — сказал брат

хозяйки.

— Любили, конечно, любили, но и драли, меня по крайней мере.

Гетманов проговорил:

— Вспомнил я, как покойный отец в пятнадцатом году на войну шел. Не шутите, он у меня до унтер-офицера дослужился, два Георгия имел. Мать собирала его: положила в мешок портянки, фуфайку, яичек крутых положила, хлебца, а мы с сестрой лежим на нарах и смотрим, как он на рассвете сидит в последний раз за столом. Наносил в кадушку, что в сенях стояла, воды, дров нарубил. Мать все вспоминала потом.

Он посмотрел на часы и сказал:

— Ого…

— Значит, завтра, — сказал Сагайдак и поднялся.

— В семь часов самолет.

— С гражданского? — спросил Мащук.

Гетманов кивнул.

— Это лучше, — сказал Николай Терентьевич и тоже поднялся, — а то до военного пятнадцать километров.

— Какое это может иметь значение для солдата, — сказал Гетманов.

Они стали прощаться, снова зашумели, засме-

ялись, обнялись, а уж в коридоре, когда гости стояли в пальто и шапках, Гетманов проговорил:

— Ко всему солдат может привыкнуть, солдат дымом греется, солдат шилом бреется. Но вот жить в разлуке с детьми, к этому солдат привыкнуть не может.

И по голосу его, по выражению лица, по тому, как смотрели на него уходившие, видно было, что тут уж не шутят.

22

Ночью Дементий Трифонович, одетый в военную форму, писал, сидя за столом. Жена в халате сидела подле него, следила за его рукой. Он сложил письмо и сказал:

— Это заведующему крайздравом, если понадобится тебе спецлечение и выезд на консультацию. Пропуск брат тебе устроит, а он только даст направление.

— А доверенность на получение лимита ты написал? — спросила жена.

— Это не нужно, — ответил он, — позвони управляющему делами в обком, а еще лучше прямо самому Пузиченко, он сделает.

Он перебрал пачку написанных писем, доверенностей, записок и сказал:

— Ну, как будто все.

Они помолчали.

— Боюсь я за тебя, мой коханый, — сказала она. — Ведь на войну идешь.

Он встал, проговорил:

— Береги себя, детей береги. Коньяк в чемодан положила?

Она сказала:

— Положила, положила. Помнишь, года два назад ты так же на рассвете дописывал мне доверенности, улетал в Кисловодск?

— Теперь в Кисловодске немцы, — сказал он.

Гетманов прошелся по комнате, прислушался:

— Спят?

— Конечно, спят, — сказала Галина Терентьевна.

Они прошли в комнату к детям. Странно было, как эти две полные, массивные фигуры бесшумно движутся в полутьме. На белом полотне подушек темнели головы спящих детей… Гетманов вслушивался в их дыхание.

Он прижал ладонь к груди, чтобы не потревожить спящих гулкими ударами сердца. Здесь, в полумраке, он ощущал щемящее и пронзительное чувство нежности, тревоги, жалости к детям. Страстно хотелось обнять сына, дочерей, поцеловать их заспанные лица. Здесь ощущал он беспомощную нежность, нерассуждающую любовь, и здесь он терялся, стоял смущенный, слабый.

Его не пугали и не волновали мысли о предстоящей новой для него работе. Ему часто приходилось браться за новую работу, он легко находил ту правильную линию, которая и была главной

линией. Он знал — и в танковом корпусе он сумеет осуществить эту линию.

Но здесь, — как связать железную суровость, непоколебимость с нежностью, с любовью, не знающей ни закона, ни линии.

Он оглянулся на жену. Она стояла, по-деревенски подперев щеку ладонью. В полумраке лицо ее казалось похудевшим, молодым, такой была она, когда они в первый раз после женитьбы поехали к морю, жили в санатории «Украина» над самым береговым обрывом.

Под окном деликатно прогудел автомобиль — это пришла обкомовская машина. Гетманов снова повернулся к детям и развел руками, в этом жесте выражалась его беспомощность перед чувством, с которым не мог он совладать.

В коридоре он после прощальных слов и поцелуев надел полушубок, папаху, стоял, выжидая, пока водитель машины вынесет чемоданы.

— Ну вот, — сказал он и вдруг снял с головы папаху, шагнул к жене, снова обнял ее. И в этом новом, последнем прощании, когда сквозь полуоткрытую дверь, смешиваясь с домашним теплом, входил сырой и холодный уличный воздух, когда шершавая, дубленая шкура полушубка прикоснулась к душистому шелку халата, оба

они ощутили, что их жизнь, казавшаяся единой, вдруг раскололась, и тоска ожгла их сердца.

23

Евгения Николаевна Шапошникова поселилась в Куйбышеве у старушки-немки Женни Генриховны Генрихсон, в давние времена служившей воспитательницей в доме Шапошниковых.

Странным казалось Евгении Николаевне после Сталинграда очутиться в тихой комнатке рядом со старухой, все удивлявшейся, что маленькая девочка с двумя косами стала взрослой женщиной.

Жила Женни Генриховна в полутемной комнатке, когда-то отведенной для прислуги в большой купеческой квартире. Теперь в каждой комнате жила семья, и каждая комната делилась с помощью ширмочек, занавесок, ковров, диванных спинок на уголки и закуты, где спали, обедали, принимали гостей, где медицинская сестра делала уколы парализованному старику.

Кухня по вечерам гудела голосами жильцов.

Евгении Николаевне нравилась эта кухня с прокопченными сводами, красно-черный огонь керосинок.

Среди белья, сохнувшего на веревках, шумели жильцы в халатах, ватниках, гимнастерках, сверкали ножи. Клубили пар стиральщицы, склонясь

над корытами и тазами. Просторная плита никогда не топилась, ее обложенные кафелем бока холодно белели, как снежные склоны потухшего в прошлую геологическую эпоху вулкана.

В квартире жила семья ушедшего на фронт рабочего-грузчика, врач-гинеколог, инженер с номерного завода, мать-одиночка — кассир из распределителя, вдова убитого на фронте парикмахера, комендант почтамта, а в самой большой комнате, бывшей гостиной, жил директор поликлиники.

Квартира была обширна, как город, и в ней даже имелся свой квартирный сумасшедший — тихий старичок с глазами милого доброго щенка.

Жили люди тесно, но разобщенно, не очень дружно, обижаясь, мирясь, утаивая друг от друга свою жизнь и тут же шумно и щедро делясь с соседями всеми обстоятельствами своей жизни.

Евгении Николаевне хотелось нарисовать не предметы, не жильцов, а чувство, которое вызывали они в ней.

Это чувство было сложно и многотрудно, казалось, и великий художник не смог бы выразить его. Оно возникало от соединения могущественной военной силы народа и государства с этой темной кухней, нищетой, сплетнями, мелоч-

ностью, соединения разящей военной стали с кухонными кастрюлями, картофельной шелухой.

Выражение этого чувства ломало линию, искажало очертания, выливалось в какую-то внешне бессмысленную связь расколотых образов и световых пятен.

Старушка Генрихсон была существом робким, кротким и услужливым. Она носила черное платье с белым воротничком, ее щеки были постоянно румяны, хотя она всегда ходила полуголодная.

В ее голове жили воспоминания о выходках первоклассницы Людмилы, о смешных словах, которые говорила маленькая Маруся, о том, как двухлетний Митя входил в столовую в передничке и, всплескивая руками, кричал: «Бабедать, бабедать!»

Ныне Женни Генриховна служила в семье женщины — зубного врача — приходящей домработницей, ухаживала за больной матерью хозяйки. Хозяйка ее выезжала на пять-шесть дней в район по путевкам горздрава, и тогда Женни Генриховна ночевала в ее доме, чтобы помогать беспомощной старухе, едва передвигавшей ноги после недавнего инсульта.

В ней совершенно отсутствовало чувство собственности, она все время извинялась перед Евгенией Николаевной, просила у нее разрешения открыть форточку в связи с эволюциями ее старого трехцветного кота. Главные ее интересы и волнения были связаны с котом, как бы не обидели его соседи.

Сосед по квартире, инженер Драгин, начальник цеха, со злой насмешкой смотрел на ее морщинистое лицо, на девственно стройный, иссушенный стан, на ее пенсне, висевшее на черном шнурочке. Его плебейская натура возмущалась тем, что старуха осталась предана воспоминаниям прошлого и с идиотски блаженной улыбкой рассказывала, как она возила своих дореволюционных воспитанников гулять в карете, как сопровождала «мадам» в Венецию, Париж и Вену. Многие из «крошек», взлелеянных ею, стали деникинцами, врангелевцами, были убиты красными ребятами, но старушку интересовали лишь воспоминания о скарлатине, дифтерии, колитах, которыми страдали малыши.

Евгения Николаевна говорила Драгину:

— Более незлобивого, безответного человека я не встречала. Поверьте, она добрей всех, кто живет в этой квартире.

Драгин, пристально, по-мужски откровенно и нахально вглядываясь в глаза Евгении Николаевны, отвечал:

— Пой, ласточка, пой. Продались вы, товарищ Шапошникова, немцам за жилплощадь.

Женни Генриховна, видимо, не любила здоровых детей. О своем самом хилом воспитаннике, сыне еврея-фабриканта, она особенно часто рассказывала Евгении Николаевне, хранила его рисунки, тетрадки и начинала плакать каждый раз, когда рассказ доходил до того места, где описывалась смерть этого тихого ребенка.

У Шапошниковых она жила много лет назад, но помнила все детские имена и прозвища и заплакала, узнав о смерти Маруси; она все писала каракулями письмо Александре Владимировне в Казань, но никак не могла его закончить.

Щучью икру она называла «кавиар» и рассказывала Жене, как ее дореволюционные воспитанники получали на завтрак чашку крепкого бульона и ломтик оленины.

Свой паек она скармливала коту, которого звала «Мое дорогое, серебряное дитя». Кот в ней души не чаял и, будучи грубой, угрюмой скотиной, завидя старуху, внутренне преображался, становился ласков, весел.

Драгин все спрашивал ее, как она относится к Гитлеру: «Что, небось рады?», но хитрая старушка объявила себя антифашисткой и звала фюрера людоедом.

Ко всему была она совершенно никчемна, — не умела стирать, варить, а когда шла в магазин, то обязательно при покупке спичек продавец впопыхах срезал с ее карточки месячное довольствие сахара или мяса.

Современные дети совсем не походили на ее воспитанников того времени, которое она называла «мирным». Все изменилось, даже игры — девочки «мирного» времени играли в серсо, лакированными палочками со шнурком бросали резиновое диаболо, играли вялым раскрашенным мячом, который носили в белой сеточке — авоське. А нынешние играли в волейбол, плавали саженками, а зимой в лыжных штанах играли в хоккей, кричали и свистели.

Они знали больше Женни Генриховны историй об алиментах, абортах, мошеннически приобретенных и прикрепленных рабочих карточках, о старших лейтенантах и подполковниках, привозивших с фронта жиры и консервы чужим женам.

Евгения Николаевна любила, когда старая

немка вспоминала об ее детских годах, ее отце, о брате Дмитрии, которого Женни Генриховна особенно хорошо помнила, — он при ней болел коклюшем и дифтеритом.

Однажды Женни Генриховна сказала:

— Мне вспоминаются мои последние хозяева в семнадцатом году. Месье был товарищем министра финансов — он ходил по столовой и говорил: «Все погибло, имения жгут, фабрики остановились, валюта рухнула, сейфы ограблены». И вот, как теперь у вас, вся семья распалась. Месье, мадам и мадемуазель уехали в Швецию, мой воспитанник пошел добровольцем к генералу Корнилову, а мадам плакала: «Целые дни мы прощаемся, пришел конец».

Евгения Николаевна печально улыбнулась и ничего не ответила.

Однажды вечером явился участковый и вручил Женни Генриховне повестку. Старая немка надела шляпку с белым цветком, попросила Женечку покормить кота, — она отправилась в милицию, а оттуда на работу к мамаше зубного врача, обещала вернуться через день. Когда Евгения Николаевна пришла с работы, она застала в комнате разор, соседи ей сказали, что Женни Генриховну забрала милиция.

Евгения Николаевна пошла узнавать о ней. В милиции ей сказали, что старуха уезжает с эшелоном немцев на север.

Через день пришли участковый и управдом, забрали опечатанную корзину, полную старого тряпья, пожелтевших фотографий и пожелтевших писем.

Женя пошла в НКВД, чтобы узнать, как передать старушке теплый платок. Человек в окошке спросил Женю:

— А вы кто, немка?

— Нет, я русская.

— Идите домой. Не беспокойте людей справками.

— Я ведь о зимних вещах.

— Вам ясно? — спросил человек в окошечке таким тихим голосом, что Евгения Николаевна испугалась.

В этот же вечер она слышала разговор жильцов на кухне, — они говорили о ней.

Один голос сказал:

— Все же некрасиво она поступила.

Второй голос ответил:

— А по-моему, умница. Сперва одну ногу поставила, потом сообщила о старухе куда надо, выперла ее и теперь хозяйка комнаты.

Мужской голос сказал:

— Какая комната: комнатушка.

Четвертый голос сказал:

— Да, такая не пропадет, и с такой не пропадешь.

Печальной оказалась судьба кота. Он сидел сонный, подавленный на кухне в то время, как люди спорили, куда его девать.

— К черту этого немца, — говорили женщины.

Драгин неожиданно объявил, что готов участвовать в кормежке кота. Но кот недолго прожил без Женни Генриховны — одна из соседок то ли случайно, то ли с досады ошпарила его кипятком, и он умер.

24

Евгении Николаевне нравилась ее одинокая жизнь в Куйбышеве.

Никогда, пожалуй, она не была так свободна, как сейчас. Ощущение легкости и свободы возникло у нее, несмотря на тяжесть жизни. Долгое время, пока не удалось ей прописаться, она не получала карточек и ела один раз в день в столовой по обеденным талонам. С утра она думала о часе, когда войдет в столовку и ей дадут тарелку супа.

Она в эту пору мало думала о Новикове. О Крымове она думала чаще и больше, почти постоянно, но внутренняя, сердечная светосила этих мыслей была невелика.

Память о Новикове вспыхивала и исчезала, не томила.

Но однажды на улице она издали увидела высокого военного в длинной шинели, и ей на мгновение показалось, что это Новиков. Ей стало трудно дышать, ноги ослабели, она растерялась от счастливого чувства, охватившего ее. Через минуту она поняла, что обозналась, и сразу же забыла свое волнение.

А ночью она внезапно проснулась и подумала:

«Почему он не пишет, ведь он знает адрес?»

Она жила одна, возле не было ни Крымова, ни Новикова, ни родных. И ей казалось, что в этом свободном одиночестве и есть счастье. Но ей это только казалось.

В Куйбышеве в это время находились многие московские наркоматы, учреждения, редакции московских газет. Это была временная, эвакуированная из Москвы столица, с дипломатическим корпусом, с балетом Большого театра, со знаменитыми писателями, с московскими конферансье, с иностранными журналистами.

Все эти тысячи московских людей ютились в комнатушках, в номерах гостиниц, в общежитиях и занимались обычными для себя делами — заведующие отделами, начальники управлений и главных управлений, наркомы руководили подведомственными им людьми и народным хозяйством, чрезвычайные и полномочные послы ездили на роскошных машинах на приемы к руководителям советской внешней политики; Уланова, Лемешев, Михайлов радовали зрителей балета и оперы; господин Шапиро — представитель агентства «Юнайтед Пресс», задавал на пресс-конференциях каверзные вопросы начальнику Совинформбюро Соломону Абра-

мовичу Лозовскому; писатели писали заметки для отечественных и зарубежных газет и радио; журналисты писали на военные темы по материалам, собранным в госпиталях.

Но быт московских людей стал здесь совершенно иным — леди Крипс, жена чрезвычайного и полномочного посла Великобритании, уходя после ужина, который она получала по талону в гостиничном ресторане, заворачивала недоеденный хлеб и кусочки сахара в газетную бумагу, уносила с собой в номер; представители мировых газетных агентств ходили на базар, толкаясь среди раненых, длинно обсуждали качество самосада, крутя пробные самокрутки, либо стояли, переминаясь с ноги на ногу, в очереди к бане; писатели, знаменитые хлебосольством, обсуждали мировые вопросы, судьбы литературы за рюмкой самогона, закусывали пайковым хлебом.

Огромные учреждения втискивались в тесные куйбышевские этажи; руководители главных советских газет принимали посетителей за столами, на которых в послеслужебное время дети готовили уроки, а женщины занимались шитьем.

В этой смеси государственной громады с эвакуационной богемой было нечто привлекательное.

Евгении Николаевне пришлось пережить много волнений в связи с пропиской.

Начальник конструкторского бюро, в котором она начала работать, подполковник Ризин, высокий мужчина с тихим, журчащим голосом, с первых же дней стал вздыхать об ответственности начальника, принявшего работника с неоформленной пропиской. Ризин велел ей пойти в милицию, выдал справку о зачислении на работу.

Сотрудник районного отделения милиции взял у Евгении Николаевны паспорт и справки, велел прийти за ответом через три дня.

В назначенный день Евгения Николаевна вошла в полутемный коридор, где сидели ожидавшие приема люди с тем особым выражением лица, какое бывает лишь у пришедших в милицию по поводу паспортных и прописочных дел. Она подошла к окошечку. Женская рука с ногтями, покрытыми черно-красным лаком, протянула ей паспорт, спокойный голос сказал ей:

— Вам отказано.

Она заняла очередь, чтобы поговорить с начальником паспортного стола. Люди в очереди разговаривали шепотом, оглядываясь на проходивших по коридору служащих девиц с накра-

шенными губами, одетых в ватники и сапоги. Поскрипывая сапогами, неторопливо прошел человек в демисезонном пальто и в кепке, с выглядывавшим из-под кашне воротом военной гимнастерки, открыл ключиком то ли английский, то ли французский замок в двери, — это был Гришин, начальник паспортного стола. Начался прием. Евгения Николаевна заметила, что люди, дождавшись своей очереди, не радовались, как это обычно бывает после долгого ожидания, а, подходя к двери, озирались, словно собираясь в последнюю минуту бежать.

За время ожидания Евгения Николаевна наслушалась рассказов о дочерях, которых не прописали у матерей, о парализованной, которой было отказано в прописке у брата, о женщине, приехавшей ухаживать за инвалидом войны и не получившей прописки.

Евгения Николаевна вошла в кабинет Гришина. Он молча указал ей на стул, посмотрел ее бумаги, сказал:

— Вам ведь отказано, чего же вы хотите?

— Товарищ Гришин, — проговорила она, и голос ее дрожал, — поймите, ведь все это время мне не выдают карточек.

Он смотрел на нее неморгающими глазами, его

широкое молодое лицо выражало задумчивое равнодушие.

— Товарищ Гришин, — сказала Женя, — подумайте сами, как получается. В Куйбышеве есть улица имени Шапошникова. Это мой отец, он один из зачинателей революционного движения в Самаре, а дочери его вы отказываете в прописке…

Спокойные глаза Гришина смотрели на нее: он слушал то, что она говорила.

— Вызов нужен, — сказал он. — Без вызова не пропишу.

— Я ведь работаю в военном учреждении, — сказала Женя.

— По вашим справкам этого не видно.

— А это поможет?

Он неохотно ответил:

— Возможно.

Утром Евгения Николаевна, придя на работу, сказала Ризину, что ей отказано в прописке, — он развел руками и зажурчал:

— Ах, дурачье, неужели не понимают, что вы для нас с первых дней стали необходимым работником, что вы выполняете работу оборонного характера.

— Вот-вот, — сказала Женя. — Он сказал, что

надо справку о том, что наше учреждение подведомственно Наркомату обороны. Очень прошу вас, напишите, я вечером пойду с ней в милицию.

Через некоторое время Ризин подошел к Жене и виноватым голосом сказал:

— Надо, чтобы органы или милиция прислали запрос. Без запроса мне запрещено писать подобную справку.

Вечером она пошла в милицию и, высидев в очереди, ненавидя себя за искательную улыбку, стала просить Гришина запросить справку у Ризина.

— Никаких запросов я не собираюсь писать, — сказал Гришин.

Ризин, услышав об отказе Гришина, заохал, проговорил задумчиво:

— Знаете что, попросите его, пусть хотя бы по телефону меня запросит.

На следующий вечер Жене предстояла встреча с московским литератором Лимоновым, когда-то знавшим ее отца. Сразу же после работы она пошла в милицию, стала просить у сидевших в очереди, чтобы ей разрешили зайти к начальнику паспортного стола «буквально на минуточку», лишь задать вопрос. Люди пожимали плечами,

отводили глаза. Она с обидой сказала:

— Ах так, ну что ж, кто последний?..

В этот день милицейские впечатления Жени были особенно тяжелыми. У женщины с отечными ногами в комнате у начальника паспортного стола сделался припадок, — она громко вскрикивала: «Я вас умоляю, я вас умоляю». Безрукий ругался у Гришина в комнате матерными словами, следующий за ним тоже шумел, донеслись его слова: «Не уйду». Но ушел он очень быстро. Во время этого шума одного лишь Гришина не было слышно, он ни разу не повысил голоса, казалось, его не было, — люди одни, сами по себе кричали, грозились.

Она просидела в очереди полтора часа и снова, ненавидя свое ласковое лицо и свое торопливое «большое спасибо», ответившие на малый кивок «садитесь», стала просить Гришина позвонить по телефону ее начальнику, — Ризин сперва сомневался, имеет ли он право дать справку без письменного запроса за номером и печатью, но потом согласился, — он напишет справку, указав: «В ответ на ваш устный запрос от такого-то числа такого-то месяца».

Евгения Николаевна положила перед Гришиным заранее заготовленную бумажку, где

крупным выпуклым почерком она написала номер телефона, имя, отчество Ризина, его звание, его должность, а мелким почерком, в скобках: «Обеденный перерыв от и до». Но Гришин не взглянул на бумажку, положенную перед ним, сказал:

— Никаких запросов я делать не буду.

— Но почему же? — спросила она.

— Не положено.

— Подполковник Ризин говорит, что без запроса, хотя бы устного, он не имеет права давать справки.

— Раз не имеет права, пусть не пишет.

— Но как же мне быть?

— А я почем знаю.

Женя терялась от его спокойствия — если б он сердился, раздражался ее бестолковостью, казалось, было бы легче. А он сидел, повернувшись вполоборота, не шевельнув веком, никуда не спешил.

Мужчины, разговаривая с Евгенией Николаевной, всегда замечали, что она красива, она всегда ощущала это. Но Гришин смотрел на нее так же, как на старух со слезящимися глазами и на инвалидов, — входя в его комнату, она уже не была человеком, молодой женщиной, лишь

носителем просьбы.

Она терялась от своей слабости, от огромности его железобетонной силы. Евгения Николаевна шла по улице, спешила, опоздав к Лимонову больше чем на час, но, спеша, она уже не радовалась предстоящей встрече. Она ощущала запах милицейского коридора, в глазах ее стояли лица ожидавших, портрет Сталина, освещенный тусклым электричеством, и рядом Гришин. Гришин, спокойный, простой, вобравший в свою смертную душу всесилие государственного гранита.

Лимонов, толстый и высокий, большеголовый, с молодыми юношескими кудрями вокруг большой лысины, встретил ее радостно.

— А я боялся, что вы не придете, — говорил он, помогая снять Жене пальто.

Он стал расспрашивать ее об Александре Владимировне:

— Ваша мама еще со студенческих времен для меня стала образцом русской женщины с мужественной душой. Я о ней всегда в книгах пишу, то есть не собственно о ней, а вообще, словом, вы понимаете.

Понизив голос и оглянувшись на дверь, он спросил:

— Слышно ли что-нибудь о Дмитрии?

Потом они заговорили о живописи и вдвоем стали ругать Репина. Лимонов принялся жарить яичницу на электроплитке, сказал, что он лучший специалист по омлетам в стране, — повар из ресторана «Националь» учился у него.

— Ну как? — с тревогой спросил он, угощая Женю, и, вздохнув, добавил: — Грешен, люблю пожрать.

Как велик был гнет милицейских впечатлений! Придя в теплую, полную книг и журналов комнату Лимонова, куда вскоре пришли еще двое пожилых остроумных, любящих искусство людей, она все время холодеющим сердцем чувствовала Гришина.

Но велика сила свободного, умного слова, и Женя минутами забывала о Гришине, о тоскливых лицах в очереди. Казалось, ничего нет в жизни, кроме разговоров о Рублеве, о Пикассо, о стихах Ахматовой и Пастернака, драмах Булгакова.

Она вышла на улицу и сразу же забыла умные разговоры.

Гришин, Гришин… В квартире никто не говорил с ней о том, прописана ли она, никто не требовал предъявления паспорта со штампом о прописке. Но уже несколько дней ей казалось, что за ней следит старшая по квартире Глафи-

ра Дмитриевна, длинноносая, всегда ласковая, юркая женщина с вкрадчивым, беспредельно фальшивым голосом. Каждый раз, сталкиваясь с Глафирой Дмитриевной и глядя в ее темные, одновременно ласковые и угрюмые глаза, Женя пугалась. Ей казалось, что в ее отсутствие Глафира Дмитриевна с подобранным ключом забирается к ней в комнату, роется в ее бумагах, снимает копии с ее заявлений в милицию, читает письма.

Евгения Николаевна старалась бесшумно открывать дверь, ходила по коридору на цыпочках, боясь встретить старшую по квартире. Вот-вот та скажет ей: «Что ж это вы нарушаете законы, а я за вас отвечать должна?»

Утром Евгения Николаевна зашла в кабинет к Ризину, рассказала ему о своей очередной неудаче в паспортном столе.

— Помогите мне достать билет на пароход до Казани, а то меня, вероятно, погонят на торфоразработки за нарушение паспортного режима.

Она больше не просила его о справке, говорила насмешливо, зло.

Большой красивый человек с тихим голосом смотрел на нее, стыдясь своей робости. Она постоянно чувствовала на себе его тоскующий, нежный

взгляд, он оглядывал ее плечи, ноги, шею, затылок, и она плечами, затылком чувствовала этот настойчивый, восхищенный взгляд. Но сила закона, определявшего движения исходящих и входящих бумаг, видимо, была нешуточная сила.

Днем Ризин подошел к Жене и молча положил на чертежный лист заветную справку.

Женя так же молча посмотрела на него, и слезы выступили на ее глазах.

— Я запросил через секретную часть, — сказал Ризин, — но не надеялся и вдруг получил санкцию начальника.

Сотрудники поздравляли ее, говорили: «Наконец-то кончились ваши мучения».

Она пошла в милицию. Люди в очереди кивали ей, некоторые стали ей знакомы, спрашивали: «Ну как?..»

Несколько голосов произнесли: «Пройдите без очереди… у вас ведь минутное дело, чего же опять ждать два часа».

Конторский стол, несгораемый шкаф, грубо раскрашенный под дерево коричневыми разводами, не показались ей такими угрюмыми, казенными.

Гришин смотрел, как торопливые пальцы Жени положили перед ним нужную бумагу, едва

заметно, удовлетворенно кивнул:

— Ну что ж, оставьте паспорт, справки, через три дня в приемные часы получите документы в регистратуре.

Голос его звучал по-обычному, но светлые глаза Гришина, показалось Жене, приветливо улыбнулись.

Она шла к дому и думала, что Гришин оказался таким же человеком, как все, — смог сделать хорошее и улыбнулся. Он оказался не бессердечен, — и ей стало неловко за все то плохое, что она думала о начальнике паспортного стола.

Через три дня большая женская рука с черно-красными лакированными ногтями протянула ей из окошечка паспорт с аккуратно вложенными в него бумагами. Женя прочла четким почерком написанную резолюцию: «В прописке отказать, как не имеющей отношения к данной жилплощади».

— Сукин сын, — громко сказала Женя и, не имея силы сдержаться, продолжала: — Издеватель, бездушный мучитель!

Она говорила громко, потрясая в воздухе непрописанным паспортом, обращаясь к сидевшим в очереди людям, хотела их поддержки, но видела, как они отворачивались от нее. Дух бунтовщицы

вспыхнул на миг в ней, дух отчаяния и бешенства. Вот так же кричали иногда обезумевшие от отчаяния женщины в очередях тридцать седьмого года, стоя за справками об осужденных без права переписки в полутемном приемном зале Бутырской тюрьмы, на Матросской Тишине в Сокольниках.

Милиционер, стоявший в коридоре, взял Женю за локоть, стал толкать ее к двери.

— Пустите меня, не трогайте! — и она вырвала руку, оттолкнула его от себя.

— Гражданка, — сипло сказал он, — прекратите, не вынуждайте на десять лет!

Ей показалось, что в глазах милиционера мелькнуло сочувственное, жалостливое выражение.

Она быстро пошла к выходу. По улице, толкая ее, шли люди, все они были прописаны, имели прикрепленные к распределителям карточки…

Ночью ей снился пожар, она наклонилась над лежащим раненым человеком, уткнувшимся лицом в землю, пыталась тащить его и понимала, хотя не видела его лица, что это Крымов.

Она проснулась измученная, подавленная.

«Хоть бы скорей он приехал, — думала она, одеваясь, бормотала: — Помоги мне, помоги мне».

И ей страстно, до боли захотелось увидеть не Крымова, которого ночью спасала, а Новикова, таким, каким видела его летом в Сталинграде.

Эта бесправная жизнь без прописки, без карточек, в вечном страхе перед дворником, управдомом, старшей по квартире Глафирой Дмитриевной была тяжела, невыносимо мучила. Женя пробиралась на кухню, когда все спали, а утром старалась умываться до того, как проснутся жильцы. А когда жильцы с ней заговаривали, голос у нее становился какой-то противно ласковый, не свой, как у баптистки.

Днем Женя написала заявление об уходе со службы.

Она слышала, что после отказа в паспортном отделе является участковый и берет подписку о выезде из Куйбышева в трехдневный срок. В тексте подписки говорилось: «Лица, виновные в нарушении паспортного режима, подлежат…» Женя не хотела «подлежать…». Она примирилась с тем, что ей нужно выбыть из Куйбышева. Сразу стало спокойней на душе, мысль о Гришине, о Глафире Дмитриевне, о ее мягких, как гнилые маслины, глазах перестала томить, пугать. Она отказалась от беззакония, подчинилась закону.

Когда она написала заявление и собиралась

нести его Ризину, ее позвали к телефону — звонил Лимонов.

Он спросил ее, свободна ли она завтра вечером, приехал человек из Ташкента и очень смешно рассказывает о тамошней жизни, привез Лимонову привет от Алексея Толстого. Снова пахнуло на нее другой жизнью.

Женя, хотя не собиралась делать этого, рассказала Лимонову о своих делах с пропиской.

Он слушал ее, не перебивая, потом сказал:

— Вот история, даже любопытно: у папы собственная улица в Куйбышеве, а дочку вышибают, отказывают в прописке. Занятно. Занятно.

Он подумал немного и сказал:

— Вот что, Евгения Николаевна, вы свое заявление сегодня не подавайте, я вечером буду на совещании у секретаря обкома и расскажу ему о вашем деле.

Женя поблагодарила, но подумала, что Лимонов забудет о ней тут же, положив телефонную трубку. Но все же заявление она Ризину не передала, а лишь спросила, сможет ли он через штаб Военного округа достать ей билет на пароход до Казани.

— Это-то проще простого, — сказал Ризин и развел руками. — Беда с органами милиции. Да

что поделаешь, Куйбышев на особом режиме, у них есть спецуказание.

Он спросил ее:

— Вы свободны сегодня вечером?

— Нет, занята, — сердито ответила Женя.

Она шла домой и думала, что скоро увидит мать, сестру, Виктора Павловича, Надю, что в Казани ей будет лучше, чем в Куйбышеве. Она удивлялась, почему так огорчалась, замирала от страха, входя в милицию. Отказали — и наплевать… А если Новиков пришлет письмо, можно ведь попросить соседей — перешлют в Казань.

Утром, едва она пришла на работу, ее вызвали к телефону, и чей-то любезный голос попросил ее зайти в паспортный стол городской милиции оформить прописку.

25

У Жени завязалось знакомство с одним из жильцов квартиры — Шарогородским. Когда Шарогородский резко поворачивался, казалось, большая, седая алебастровая голова его сорвется с тонкой шеи и с грохотом упадет на пол. Женя заметила, что бледная кожа на лице старика отливала мягкой голубизной. Это соединение голубизны кожи и холодной голубизны глаз очень занимало Женю; старик происходил из высокого дворянства, и ее смешила мысль о том, что старика нужно рисовать голубым.

Владимир Андреевич Шарогородский до войны жил хуже, чем во время войны. Сейчас у него появилась кое-какая работа. Совинформбюро заказывало ему заметки о Дмитрии Донском, Суворове, Ушакове, о традициях русского офицерства, о поэтах девятнадцатого века — Тютчеве, Баратынском…

Владимир Андреевич сказал Жене, что по материнской линии он родня стариннейшему, более древнему, чем Романовы, княжескому роду.

Юношей он служил в губернском земстве и проповедовал среди помещичьих сыновей, сельских

учителей и молодых священников совершеннейшее вольтерьянство и чаадаевщину.

Владимир Андреевич рассказал Жене о своем разговоре с губернским предводителем дворянства — это было сорок четыре года назад. «Вы, представитель одного из старинных родов России, взялись доказывать мужикам, что ведете происхождение от обезьяны. Мужик вас спросит, — а великие князья? А наследник цесаревич? А государыня? А сам государь?..»

Владимир Андреевич продолжал смущать умы, и дело кончилось тем, что его выслали в Ташкент. Спустя год его простили, и он уехал в Швейцарию. Там он встречался со многими революционными деятелями, — чудаковатого князя знали и большевики, и меньшевики, и эсеры, и анархисты. Он ходил на диспуты и вечеринки, с некоторыми был приятен, но ни с кем не соглашался. В ту пору он дружил со студентом-евреем, чернобородым бундовцем Липецом.

Незадолго до Первой мировой войны он вернулся в Россию и поселился у себя в имении, изредка печатал статьи на исторические и литературные темы в «Нижегородском листке».

Хозяйством он не занимался, имением правила его мать.

Шарогородский оказался единственным помещиком, имение которого не тронули крестьяне. Комбед даже выделил ему подводу дров и выдал сорок головок капусты. Владимир Андреевич сидел в единственной отапливаемой и застекленной комнате дома, читал и писал стихи. Одно стихотворение он прочел Жене. Оно называлось «Россия»:

Безумная беспечность
На все четыре стороны.
Равнина. Бесконечность.
Кричат зловеще вороны.

Разгул. Пожары. Скрытность.
Тупое безразличие.
И всюду самобытность
И жуткое величие.

Читал он, бережно произнося слова и расставляя точки, запятые, высоко поднимая свои длинные брови, отчего, однако, его просторный лоб не казался меньше.

В 1926 году Шарогородский вздумал читать лекции по истории русской литературы, опровергал Демьяна Бедного и прославлял Фета, выступал на дискуссиях о красоте и правде жизни, которые

были тогда модны, он объявил себя противником всякого государства, объявил марксизм ограниченным учением, говорил о трагической судьбе русской души, договорился и доспорился до того, что на казенный счет вновь уехал в Ташкент. Там жил он, удивляясь силе географических аргументов в теоретическом споре, и лишь в конце 1933 года получил разрешение переехать в Самару, к своей старшей сестре Елене Андреевне. Она умерла незадолго до войны.

К себе в комнату Шарогородский не приглашал никогда. Но однажды Женя заглянула в княжьи покои: груды книг и старых газет высились холмами по углам, старинные кресла громоздились друг на дружке почти до самого потолка, портреты в золоченых рамах стояли на полу. На крытом красным бархатом диване лежало смятое, с вылезающими комьями ваты одеяло.

Это был человек мягкий, беспомощный в делах практической жизни. О таких людях принято говорить, — детской души человек, ангельской доброты. Но он мог равнодушно пройти, бормоча свои любимые стихи, мимо голодного ребенка либо оборванной старухи, протягивающей руку за куском хлеба.

Слушая Шарогородского, Женя часто вспоми-

нала своего первого мужа, уж очень не походил старый поклонник Фета и Владимира Соловьева на коминтерновца Крымова.

Ее поражало, что Крымов, равнодушный к прелести русского пейзажа и русской сказки, фетовского и тютчевского стиха, был таким же русским человеком, как старик Шарогородский. Все, что с юности было дорого Крымову в русской жизни, имена, без которых не мыслил он себе России, все это было безразлично, а иногда и враждебно Шарогородскому.

Для Шарогородского Фет был Богом, и прежде всего русским Богом. И так же божественны были для него сказки о Финисте Ясном Соколе, «Сомнение» Глинки. И как ни восхищался он Данте, тот для него был лишен божественности русской музыки, русской поэзии.

А Крымов не делал различия между Добролюбовым и Лассалем, Чернышевским и Энгельсом. Для него Маркс был выше всех русских гениев, для него «Героическая» симфония Бетховена безраздельно торжествовала над русской музыкой. Пожалуй, лишь Некрасов был для него исключением, первым в мире поэтом. Минутами Евгении Николаевне казалось, что Шарогородский помогает ей понять не только Крымова, но и судьбу ее

отношений с Николаем Григорьевичем.

Жене нравилось разговаривать с Шарогородским. Обычно разговор начинался с тревожных сводок, потом Шарогородский пускался в рассуждения о судьбе России.

— Русское дворянство, — говорил он, — виновато перед Россией, Евгения Николаевна, но оно умело ее любить. В ту, первую войну нам ничего не простили, каждое лычко поставили в строку, — и наших дураков, и оболтусов, и сонных обжор, и Распутина, и полковника Мясоедова, и липовые аллеи, и беспечность, и черные избы, и лапти… Шесть сыновей моей сестры погибли в Галиции, в Восточной Пруссии, мой брат, старый, больной человек, был убит в бою, — но им история не зачла этого… А надо бы.

Часто Женя слушала его совершенно не схожие с современными рассуждения о литературе. Фета он ставил выше Пушкина и Тютчева. Фета он знал так, как, конечно, не знал его ни один человек в России, да, вероятно, и сам Фет под конец жизни не помнил о себе всего того, что знал о нем Владимир Андреевич.

Льва Толстого он считал слишком реальным и, признавая в нем поэзию, не ценил его. Тургенева он ценил, но считал его талант недостаточно

глубоким. В русской прозе ему больше всего нравились Гоголь и Лесков.

Он считал, что первыми погубителями русской поэзии были Белинский и Чернышевский.

Он сказал Жене, что, кроме русской поэзии, он любит три вещи, все на букву «с» — сахар, солнце и сон.

— Неужели я умру, не увидев ни одного своего стихотворения напечатанным? — спрашивал он.

Как-то, возвращаясь со службы, Евгения Николаевна встретила Лимонова. Он шел по улице в раскрытом зимнем пальто, с болтающимся на шее ярким клетчатым кашне, опираясь на суковатую палку. Странно выглядел среди куйбышевской толпы этот массивный человек в боярской бобровой шапке.

Лимонов проводил Женю до дома. Она пригласила его зайти, выпить чаю, он внимательно посмотрел на нее и сказал: «Ну что ж, спасибо, вообще-то с вас пол-литра полагается за прописку», — тяжело дыша, стал взбираться по лестнице.

Лимонов вошел в маленькую Женину комнату и сказал: «Да-а, телесам моим тут тесно, авось мыслям будет просторно».

Он вдруг заговорил с ней каким-то не совсем

натуральным голосом, начал объяснять свою теорию любви, любовных отношений.

— Авитаминоз, духовный авитаминоз! — с одышкой говорил он. — Понимаете, вот такой могучий голод, как у быков, коров, оленей, жаждущих соли. То, чего во мне нет, то, чего нет в моих близких, в моей жене, я ищу в предмете своей любви. Жена — причина авитаминоза! И мужчина жаждет найти в своей возлюбленной то, чего годами, десятилетиями не находил в своей жене. Понятно вам?

Он взял ее за руку и стал гладить ее ладонь, потом стал гладить ее по плечу, коснулся шеи, затылка.

— Вы понимаете меня? — вкрадчиво спрашивал он. — Очень просто все. Духовный авитаминоз!

Женя смеющимися и смущенными глазами глядела, как большая белая рука с полированными ногтями пропутешествовала с ее плеча на грудь, и сказала:

— Видимо, авитаминоз бывает не только духовный, но и физический, — и поучающим голосом преподавательницы первого класса добавила: — Лапать меня не надо, право же, не надо.

Он оторопело посмотрел на нее и, вместо того чтобы смутиться, стал смеяться. И она стала сме-

яться вместе с ним.

Они пили чай и говорили о художнике Сарьяне. В дверь постучал старик Шарогородский.

Оказалось, Лимонов знал имя Шарогородского по чьим-то рукописным запискам и из чьих-то хранящихся в архиве писем. Шарогородский книг Лимонова не читал, но слышал его фамилию, она обычно упоминалась при газетных перечислениях пишущих на военно-исторические темы.

Они заговорили, заволновались, обрадовались, ощутив общность, и в разговоре их замелькали имена Соловьева, Мережковского, Розанова, Гиппиус, Белого, Бердяева, Устрялова, Бальмонта, Милюкова, Евреинова, Ремизова, Вячеслава Иванова.

Женя подумала, что два этих человека словно подняли со дна затонувший мир книг, картин, философских систем, театральных постановок…

А Лимонов вдруг вслух повторил ее мысль:

— Мы с вами словно Атлантиду со дна моря подняли.

Шарогородский грустно кивнул:

— Да, да, но вы лишь исследователь русской Атлантиды, а я житель ее, вместе с ней опустился на океанское дно.

— Что ж, — сказал Лимонов, — война кое-кого

подняла из Атлантиды на поверхность.

— Да, оказалось, — проговорил Шарогородский, — что создатели Коминтерна в час войны ничего лучшего не придумали, как повторить: священная русская земля.

Он улыбнулся.

— Подождите, война кончится победой, и тогда интернационалисты объявят: «Наша матушка-Россия всему свету голова».

Странная вещь, Евгения Николаевна ощущала, что они говорят так оживленно, многословно, остроумно не только потому, что обрадовались встрече, нашли близкую им обоим тему. Она понимала, что оба они — и совсем старый и очень пожилой — все время ощущают, что она слушает их, она нравилась им. Как это все же странно. И странно то, что ей это совершенно безразлично и даже смешно, и в то же время совсем не безразлично, а приятно.

Женя смотрела на них и думала: «А ведь понять себя невозможно… Почему мне так больно за прошлую жизнь, почему мне так жалко Крымова, почему я неотступно думаю о нем?»

И так же, как когда-то ей казались чужими коминтерновские немцы и англичане Крымова, сейчас она с тоской и враждебностью слушала

Шарогородского, когда он насмешливо заговорил о коминтерновцах. Тут и лимоновская теория авитаминоза не поможет разобраться. Да и нет в этих делах теории…

И вдруг ей показалось, что она все время думает и тревожится о Крымове лишь потому, что тоскует по другому человеку, о котором, казалось, почти совсем не вспоминает.

«Да неужели я действительно люблю его?» — удивилась она.

26

Ночью небо над Волгой очистилось от туч. Медленно плыли под звездами холмы, расколотые густой тьмой оврагов.

Изредка проносились метеоры, и Людмила Николаевна беззвучно произносила: «Пусть Толя останется жив».

Это было ее единственное желание, больше она ничего не хотела от неба…

Одно время, еще учась на физмате, она работала вычислительницей в Астрономическом институте. Тогда она узнала, что метеоры движутся потоками, встречающими Землю в разные месяцы, — персеиды, ориониды, кажется, еще гемениды, леониды. Она уже забыла, какой поток метеоров встречается с Землей в октябре, в ноябре… Но пусть Толя будет жив!

Виктор упрекал ее в том, что она не любит помогать людям, плохо относится к его родным. Он считает, — захоти Людмила, Анна Семеновна жила бы с ними и не осталась бы на Украине.

Когда двоюродного брата Виктора выпустили из лагеря и направляли в ссылку, она не хотела пустить его ночевать, боялась, что об этом узнает

домоуправление. Она знала: мать помнит, что Людмила жила в Гаспре, когда отец умирал, и Людмила не прервала отдыха, приехала в Москву на второй день после похорон.

Мать иногда говорила с ней о Дмитрии, ужасалась тому, что произошло с ним:

«Он был мальчиком правдивым, прямым, таким он оставался всю жизнь. И вдруг шпионаж, подготовка убийства Кагановича и Ворошилова… Дикая, страшная ложь, кому нужна она? Кому нужно губить искренних, честных?..»

Однажды она сказала матери: «Не можешь ты полностью ручаться за Митю. Невинных не сажают». И сейчас ей вспоминался взгляд, которым посмотрела на нее мать.

Как-то она сказала матери о жене Дмитрия:

— Я ее всю жизнь терпеть не могла, скажу тебе откровенно, я и теперь ее терпеть не могу.

И сейчас ей вспомнился ответ матери:

— Да ты понимаешь, что это все значит: сажать жену на десять лет за недонесение на мужа!

Потом ей вспомнилось: она как-то принесла домой щенка, найденного на улице, и Виктор не хотел взять этого щенка, и она крикнула ему:

— Жестокий ты человек!

А он ответил ей:

— Ах, Люда, я не хочу, чтобы ты была молода и красива, я одного хочу, чтобы у тебя было доброе сердце не только к кошкам и собакам.

Сейчас, сидя на палубе, она вспоминала, впервые не любя себя, не желая обвинять других, горькие слова, которые ей пришлось выслушать в своей жизни… Когда-то муж, смеясь, сказал по телефону: «С тех пор, как мы взяли котенка, я слышу ласковый голос жены».

Мать ей как-то сказала: «Люда, как это ты можешь отказывать нищим, — ведь подумай: голодный просит у тебя, у сытой…»

Но она не была скупой. Она любила гостей, ее обеды были знамениты среди знакомых.

Никто не видел, как она плакала, сидя ночью на палубе. Пусть, пусть она черства, она забыла все, что учила, она ни к чему не пригодна, она никому уже не может нравиться, растолстела, волосы серые от седины, и высокое давление, муж ее не любит, поэтому она и кажется ему бессердечной. Но лишь бы Толя был жив! Она готова все признать, покаяться во всем плохом, что ей приписывают близкие, — только бы он был жив!

Почему она все время вспоминает своего первого мужа? Где он, как найти его? Почему она не написала его сестре в Ростов, теперь-то не напи-

шешь — немцы. Сестра бы ему сообщила о Толе.

Шум пароходной машины, подрагивания палубы, всплеск воды, мерцание звезд в небе, — все смешалось и слилось, и Людмила Николаевна задремала.

Приближалось время рассвета. Туман колыхался над Волгой, и казалось, все живое утонуло в нем. И вдруг взошло солнце, — словно взрыв надежды! Небо отразилось в воде, и темная осенняя вода задышала, и солнце словно вскрикивало на речной волне. Береговой откос был круто просолен ночным морозом, и как-то особенно весело смотрели среди инея рыжие деревья. Налетел ветер, исчез туман, мир стал стеклянный, пронзительно прозрачный, и не было тепла ни в ясном солнце, ни в синеве воды и неба.

Земля была огромна, и даже лес на ней не стоял без края, видны были и начало его и конец, а земля все длилась, тянулась.

И таким же огромным и вечным, как Земля, было горе.

Она видела ехавших в Куйбышев в каютах первого класса наркоматовских руководителей, в бекешах защитного цвета, в шапках из серого полковничьего каракуля. В каютах второго класса ехали ответственные жены, ответственные

тещи, по чину обмундированные, словно имелась особая форма для жен, своя для тещ и свекровей. Жены — в меховых шубках, с белыми пуховыми платками, тещи и матери — в синих суконных шубах с черными каракулевыми воротниками, с коричневыми платками. С ними ехали дети со скучными недовольными глазами. Через окна кают видны были продукты, следовавшие вместе с этими пассажирами, — опытный глаз Людмилы легко определял содержимое мешков; в кошелках, в запаянных банках, темных больших бутылках с засургученными горлышками плыли вниз по Волге мед, топленое масло. По отрывкам разговоров гулявших по палубе классных пассажиров ясно было, что их всех занимает и волнует идущий из Куйбышева московский поезд.

Людмиле казалось, что женщины безразлично смотрят на красноармейцев и лейтенантов, сидящих в коридорах, точно у них не было на войне сыновей и братьев.

Когда передавали утреннее сообщение «От Советского Информбюро», они не стояли под рупором вместе с красноармейцами, пароходными матросами, а, щурясь заспанными глазами на громкоговоритель, пробирались по своим делам.

От матросов Людмила узнала, что весь пароход

был дан для семей ответственных работников, возвращающихся через Куйбышев в Москву, и что в Казани по приказу военных властей на него произвели посадку воинских команд и гражданских лиц. Законные пассажиры устроили скандал, отказывались пустить военных, звонили по телефону уполномоченному Государственного Комитета Обороны.

Нечто непередаваемо странное было в виноватых лицах красноармейцев, едущих под Сталинград и чувствующих, что они стеснили законных пассажиров.

Людмиле Николаевне казались невыносимыми эти спокойные женские глаза. Бабушки подзывали внуков и, продолжая разговор, привычным движением совали во внучачьи рты печенье. А когда из расположенной на носу каюты вышла на палубу прогуливать двух мальчиков приземистая старуха в шубе из колонка, женщины торопливо кланялись ей, улыбались, а на лицах государственных мужей появлялось ласковое и беспокойное выражение.

Объяви сейчас радио об открытии второго фронта, о том, что прорвана блокада Ленинграда, — никто из них не дрогнет, но скажет им кто-либо, что в московском поезде отменен

международный вагон, — и все события войны будут поглощены великими страстями мягких и жестких плацкарт.

Удивительно! Ведь Людмила Николаевна своим обмундированием — серой каракулевой шубой, пуховым платком, походила на пассажиров первого и второго класса. Ведь недавно и она переживала плацкартные страсти, возмущалась, что Виктору Павловичу для поездки в Москву не дали билета в мягкий вагон.

Она рассказала лейтенанту-артиллеристу, что ее сын, лейтенант-артиллерист, лежит с тяжелыми ранениями в саратовском госпитале. Она говорила с больной старухой о Марусе и о Вере, о свекрови, пропавшей на оккупированной территории. Ее горе было такое же, как горе, вздыхавшее на этой палубе, горе, которое всегда находило свою дорогу от госпиталей, от фронтовых могил к деревенским избам, к стоящему на безымянном пустыре безномерному бараку.

Уходя из дома, она не взяла с собой кружку, не взяла хлеба; казалось, что она всю дорогу не будет ни есть, ни пить.

Но на пароходе с самого утра ей мучительно захотелось есть, и Людмила поняла, что ей круто придется. На второй день пути красноармейцы,

сговорившись с кочегарами, сварили в машинном отделении суп с пшеном, позвали Людмилу и ей налили в котелок супа.

Людмила сидела на пустом ящике и хлебала из чужого котелка чужой ложкой обжигающий суп.

— Хорош супчик! — сказал ей один из кашеваров и, так как Людмила Николаевна молчала, задорно спросил ее: — А не так разве, не наваристый?

Именно в этом требовании похвалы, обращенном к человеку, которого красноармеец накормил, и ощущалась простодушная широта.

Она помогла бойцу заправить пружину в неисправный автомат, чего не мог сделать даже старшина с орденом Красной Звезды.

Людмила Николаевна, прислушавшись к спору лейтенантов-артиллеристов, взяла карандаш и помогла им вывести тригонометрическую формулу.

После этого случая лейтенант, звавший ее «гражданочкой», неожиданно спросил, как ее зовут по имени и отчеству. А ночью Людмила Николаевна ходила по палубе.

Река дышала ледяным холодом, из тьмы налетал низовой, безжалостный ветер. А над головой светили звезды, и не было утешения и покоя в

этом жестоком, из огня и льда небе, стоявшем над ее несчастной головой.

27

Перед приходом парохода во временную военную столицу капитан получил распоряжение продлить рейс до Саратова, погрузить на пароход раненых из саратовских госпиталей.

Пассажиры, ехавшие в каютах, стали готовиться к высадке, выносили чемоданы, пакеты, укладывали их на палубе.

Стали видны силуэты фабрик, домики под железными крышами, бараки, и, казалось, по-иному зашумела вода за кормой, по-иному, тревожней застучала пароходная машина.

А потом медленно стала выползать громада Самары, серая, рыжая, черная, поблескивающая стеклами, в клочьях фабричного, паровозного дыма.

Пассажиры, сходившие в Куйбышеве, стояли у борта.

Сходившие на берег не прощались, не кивали в сторону остающихся, — не завязались в дороге знакомства.

Старуху в колонковой шубе и ее двух внуков ожидал автомобиль «ЗИС-101». Желтолицый человек в бекеше генеральского сукна откозырял

старухе, поздоровался с мальчиками за руку.

Прошло несколько минут, и пассажиры с детьми, с чемоданами, пакетами исчезли, точно и не было их.

На пароходе остались лишь шинели, ватники.

Людмиле Николаевне показалось, что теперь ей легче и лучше будет дышаться среди людей, объединенных одной судьбой, трудом, горем.

Но она ошиблась.

28

Грубо и жестоко встретил Людмилу Николаевну Саратов.

Сразу же на пристани она столкнулась с каким-то одетым в шинель пьяным человеком; споткнувшись, он толкнул ее и выругал грязными словами.

Людмила Николаевна стала взбираться по крутому, замощенному булыжником взвозу и остановилась, тяжело дыша, оглянулась. Пароход белел внизу между пристанских серых амбаров и, словно поняв ее, негромко, отрывисто протрубил: «Иди уж, иди». И она пошла.

При посадке в трамвай молодые женщины с молчаливой старательностью отпихивали старых и слабых. Слепой в красноармейской шапке, видимо, недавно выпущенный из госпиталя, не умея еще одиноко нести свою слепоту, переминался суетливыми шажками, дробно постукивал палочкой перед собой. Он по-детски жадно ухватился за рукав немолодой женщины. Она отдернула руку, шагнула, звеня по булыжнику подкованными сапогами, и он, продолжая цепляться за ее рукав, торопливо объяснял:

— Помогите произвести посадку, я из госпиталя.

Женщина ругнулась, пихнула слепого, он потерял равновесие, сел на мостовую.

Людмила поглядела на лицо женщины.

Откуда это нечеловеческое выражение, что породило его — голод в 1921 году, пережитый ею в детстве; мор 1930 года? Жизнь, полная по края нужды?

На мгновение слепой обмер, потом вскочил, закричал птичьим голосом. Он, вероятно, с невыносимой пронзительностью увидел своими слепыми глазами самого себя в съехавшей набок шапке, бессмысленно машущего палкой.

Слепой бил палкой по воздуху, и в этих круговых взмахах выражалась его ненависть к безжалостному зрячему миру. Люди, толкаясь, лезли в вагон, а он стоял, плача и вскрикивая. А люди, которых Людмила с надеждой и любовью объединила в семью труда, нужды, добра и горя, точно сговорились вести себя не по-людски. Они точно сговорились опровергнуть взгляд, что добро можно заранее уверенно определить в сердцах тех, кто носит замасленную одежду, у кого потемнели в труде руки.

Что-то мучительное, темное коснулось Людми-

лы Николаевны и одним своим прикосновением наполнило ее холодом и тьмой тысячеверстных, нищих русских просторов, ощущением беспомощности в жизненной тундре.

Людмила переспросила кондукторшу, где нужно сходить, и та спокойно проговорила:

— Я уже объявляла, оглохла, что ли?

Пассажиры, стоявшие в трамвайном проходе, не отвечали на вопрос, сходят ли они, как окаменели, не желали подвинуться.

Когда-то Людмила училась в подготовительном «азбучном» классе саратовской женской гимназии. Зимним утром она сидела за столом, болтая ногами, и пила чай, а отец, которого она обожала, намазывал ей маслом кусок теплого калача… Лампа отражалась в толстой щеке самовара, и не хотелось уходить от теплой руки отца, от теплого хлеба, от тепла самовара.

И казалось, в ту пору не было в этом городе ноябрьского ветра, голода, самоубийц, умирающих в больницах детей, а одно лишь тепло, тепло, тепло.

Здесь на кладбище была похоронена ее старшая сестра Соня, умершая от крупа, — Александра Владимировна назвала ее Соней в честь Софьи Львовны Перовской. На этом же кладбище, ка-

жется, и дедушка похоронен.

Она подошла к трехэтажному школьному зданию, то был госпиталь, где лежал Толя.

У двери не стоял часовой, и ей показалось, что это хорошая примета. Она ощутила госпитальный воздух, такой тягучий и липкий, что даже измученные морозом люди не радовались его теплу, а вновь хотели уйти от него на мороз. Она прошла мимо уборных, где сохранились дощечки «для мальчиков» и «для девочек». Она прошла по коридору, и на нее пахнули кухни, она прошла еще дальше и через запотевшее окно разглядела сложенные во внутреннем дворе прямоугольные ящики-гробы, и снова, как у себя в передней с нераспечатанным письмом, она подумала: «О боже, если б сейчас упасть мертвой». Но она пошла большими шагами дальше, ступила на ковровую серую дорожку и, пройдя мимо тумбочек со знакомыми ей комнатными растениями — аспарагусами, филодендронами, — подошла к двери, на которой рядом с дощечкой «четвертый класс» висела сделанная от руки надпись: «регистратура».

Людмила взялась за ручку двери, и солнечный свет, прорвавшись сквозь тучи, ударил в окна, и все вокруг засияло.

А спустя несколько минут разговорчивый писарь, перебирая карточки в длинном сиявшем на солнце ящике, говорил ей:

— Так-так, значит, Шапошников А. Вэ… Анатолий Вэ… так… ваше счастье, что не встретили нашего коменданта, не раздевши, в пальто, он бы вам дал жизни… так-так… ну вот, значит, Шапошников… Да-да, он самый, лейтенант, правильно.

Людмила смотрела на пальцы, вытаскивающие карточку из длинного фанерного ящика, и казалось, она стоит перед Богом, и в его воле сказать ей слово жизни либо слово смерти, и вот он на миг замешкался, не решил еще, жить ее сыну или умереть.

29

Людмила Николаевна приехала в Саратов через неделю после того, когда Толе сделали еще одну, третью, операцию. Операцию производил военврач второго ранга Майзель. Операция была сложная и длительная, более пяти часов Толя находился под общим наркозом, дважды пришлось вводить в вену гексонал. Никто из госпитальных военных и клинических университетских хирургов подобной операции в Саратове не производил. Известна была она по литературным источникам, американцы в военно-медицинском журнале за 1941 год поместили ее подробное описание.

Ввиду особой сложности этой операции с лейтенантом после очередного рентгеновского исследования длительно и откровенно беседовал доктор Майзель. Он объяснил лейтенанту характер тех патологических процессов, которые происходили в его организме после ужасного ранения. Одновременно хирург откровенно рассказал о риске, сопутствующем операции. Он сказал, что врачи, консультировавшие вместе с ним, не единогласны в своем решении, — старый

клиницист, профессор Родионов был против операции. Лейтенант Шапошников задал доктору Майзелю два-три вопроса и тут же в рентгеновском кабинете, после короткого размышления, согласился оперироваться. Пять дней ушло на подготовку к операции.

Операция началась в одиннадцать часов утра и закончилась лишь в четвертом часу. При операции присутствовал начальник госпиталя военный врач Димитрук. По отзывам врачей, наблюдавших за операцией, она прошла блестяще.

Майзель правильно решил тут же, стоя у операционного стола, неожиданные, не предусмотренные в литературном описании трудности.

Состояние больного во время операции было удовлетворительное, пульс хорошего наполнения, без выпадений.

Около двух часов дня доктор Майзель, человек немолодой и грузный, почувствовал себя плохо и вынужден был на несколько минут прервать работу. Доктор-терапевт Клестова дала ему валидола, после чего Майзель уже не делал перерывов до конца работы. Однако вскоре после окончания операции, когда лейтенант Шапошников был транспортирован в бокс, у доктора Майзеля произошел тяжелый приступ стенокардии. Лишь

повторные инъекции камфары и прием жидкого нитроглицерина ликвидировали к ночи спазм сосудов. Приступ был, очевидно, вызван нервным возбуждением, непосильной перегрузкой больного сердца.

Дежурившая возле Шапошникова медицинская сестра Терентьева, согласно указанию, следила за состоянием лейтенанта. В бокс зашла Клестова, проверила пульс у лежавшего в забытьи лейтенанта. Состояние Шапошникова было удовлетворительным, доктор Клестова сказала сестре Терентьевой:

— Дал Майзель лейтенанту путевку в жизнь, а сам чуть не помер.

Сестра Терентьева ответила:

— Ох, если б только этот лейтенант Толя выкарабкался.

Шапошников дышал почти неслышно. Лицо его было неподвижно, тонкие руки и шея казались детскими, на бледной коже едва заметной тенью лежал загар, сохранившийся от полевых занятий и степных переходов. Состояние, в котором находился Шапошников, было средним между беспамятством и сном, — тяжелая одурь от непреодоленного действия наркоза и изнеможения душевных и физических сил.

Больной невнятно произносил отдельные слова и иногда целые фразы. Терентьевой показалось, что он сказал скороговоркой: «Хорошо, что ты меня не видела таким». После этого он лежал тихо, углы губ опустились, и казалось, что, находясь в беспамятстве, он плачет.

Около восьми часов вечера больной открыл глаза и внятно — медицинская сестра Терентьева обрадовалась и удивилась — попросил напиться. Сестра Терентьева сказала больному, что пить ему нельзя, и добавила, что операция прошла превосходно и больного ждет выздоровление. Она спросила его о самочувствии, и он ответил, что боли в боку и в спине невелики.

Она вновь проверила его пульс и провела увлажненным полотенцем по его губам и по лбу.

В это время в палату зашел санитар Медведев и передал, что сестру Терентьеву вызывает по телефону начальник хирургического отделения военврач Платонов. Сестра Терентьева зашла в комнату дежурного по этажу и, взяв трубку, доложила военврачу Платонову, что больной проснулся, состояние у него обычное для перенесшего тяжелую операцию.

Сестра Терентьева попросила сменить ее, — ей необходимо пойти в городской военный комис-

сариат в связи с путаницей, возникшей при переадресовке денежного аттестата, выданного ей мужем. Военврач Платонов обещал отпустить ее, но велел наблюдать Шапошникова до того, как Платонов сам осмотрит его.

Сестра Терентьева вернулась в палату. Больной лежал в той же позе, в какой она оставила его, но выражение страдания не так резко выступало на его лице — углы губ приподнялись, и лицо казалось спокойным, улыбающимся. Постоянное выражение страдания, видимо, старило лицо Шапошникова, и сейчас, улыбающееся, оно поразило сестру Терентьеву, — худые щеки, немного оттопыренные, полные бледные губы, высокий, без единой морщинки лоб, казалось, принадлежали не взрослому человеку, даже не отроку, а ребенку. Сестра Терентьева спросила о самочувствии больного, но он не ответил, — очевидно, заснул.

Сестру Терентьеву несколько насторожило выражение его лица. Она взяла лейтенанта Шапошникова за руку, — пульс не прощупывался, рука была чуть теплой от того неживого, едва ощутимого тепла, которое хранят в себе по утрам топленные накануне и давно уже прогоревшие печи.

И хотя медицинская сестра Терентьева всю жизнь прожила в городе, она, опустившись на колени, тихонько, чтобы не тревожить живых, завыла по-деревенски:

— Родименький наш, цветочек ты наш, куда ты ушел от нас?

30

В госпитале стало известно о приезде матери лейтенанта Шапошникова. Мать умершего лейтенанта принял комиссар госпиталя, батальонный комиссар Шиманский. Шиманский, красивый человек, с выговором, свидетельствующим о его польском происхождении, хмурился, ожидая Людмилу Николаевну, — ему казались неизбежными ее слезы, может быть, обморок. Он облизывал языком недавно выращенные усы, жалел умершего лейтенанта, жалел его мать и поэтому сердился и на лейтенанта, и на его мать, — если устраивать прием для мамаши каждого умершего лейтенанта, где наберешься нервов?

Усадив Людмилу Николаевну, Шиманский, прежде чем начать разговор, пододвинул к ней графин с водой, и она сказала:

— Благодарю вас, я не хочу пить.

Она выслушала его рассказ о консилиуме, предшествовавшем операции (батальонный комиссар не счел нужным говорить ей о том, что один голос был против операции), о трудностях операции и о том, что операция прошла хорошо;

хирурги считают, что эту операцию следует применять при тяжелых ранениях, подобных тем, что получил лейтенант Шапошников. Он сказал, что смерть Шапошникова наступила от паралича сердца, и как показано в заключении патолого-анатома, военврача третьего ранга Болдырева, предвидение и устранение этого внезапного экзитуса было вне власти врачей.

Затем батальонный комиссар заговорил о том, что через госпиталь проходят сотни больных, но редко кого так любил персонал, как лейтенанта Шапошникова, — сознательный, культурный и застенчивый больной, всегда совестился попросить о чем-нибудь, утруждать персонал.

Шиманский сказал, что мать должна гордиться, воспитав сына, беззаветно и честно отдавшего жизнь за Родину.

Затем Шиманский спросил, есть ли у нее просьбы к командованию госпиталя.

Людмила Николаевна попросила извинить, что она отнимает время у комиссара, и, вынув из сумки листок бумаги, стала читать свои просьбы.

Она попросила указать ей место захоронения сына.

Батальонный молча кивнул и пометил в блокноте.

Она хотела поговорить с доктором Майзелем.

Батальонный комиссар сказал, что доктор Майзель, узнав о ее приезде, сам хотел встретиться с ней.

Она попросила встречи с медицинской сестрой Терентьевой.

Комиссар кивнул и сделал пометочку у себя в блокноте. Она попросила разрешения получить на память вещи сына.

Снова комиссар сделал пометку.

Потом она попросила передать раненым привезенные ею для сына гостинцы и положила на стол две коробки шпрот, пакетик конфет.

Ее глаза встретились с глазами комиссара, и он невольно сощурился от блеска ее больших голубых глаз.

Шиманский попросил Людмилу прийти в госпиталь на следующий день в девять тридцать утра, — все ее просьбы будут выполнены.

Батальонный комиссар посмотрел на закрывшуюся дверь, посмотрел на подарки, которые Шапошникова передала раненым, пощупал пульс у себя на руке, не нашел пульса, махнул рукой и стал пить воду, которую предложил в начале беседы Людмиле Николаевне.

31

Казалось, нет у Людмилы Николаевны свободной минуты. Ночью она ходила по улицам, сидела на скамейке в городском саду, заходила на вокзал греться, снова ходила по пустынным улицам скорым, деловым шагом.

Шиманский выполнил все, о чем она просила.

В девять часов тридцать минут утра Людмилу Николаевну встретила медицинская сестра Терентьева.

Людмила Николаевна просила ее рассказать все, что она знала о Толе.

Вместе с Терентьевой Людмила Николаевна, надев халат, поднялась на второй этаж, прошла коридором, по которому несли ее сына в операционную, постояла у двери однокоечной палаты-бокса, поглядела на пустовавшую в это утро койку. Сестра Терентьева шла все время рядом с ней и вытирала нос платком. Они снова спустились на первый этаж, и Терентьева простилась с ней. Вскоре в приемную комнату, тяжело дыша, вошел седой, тучный человек с темными кругами под темными глазами. Накрахмаленный, ослепительный халат хирурга Майзеля

казался еще белее по сравнению с его смуглым лицом, темными вытаращенными глазами.

Майзель рассказал Людмиле Николаевне, почему профессор Родионов был против операции. Он, казалось, угадывал все, о чем хотела спросить его Людмила Николаевна. Он рассказал ей о своих разговорах с лейтенантом Толей перед операцией. Понимая состояние Людмилы, он с жестокой прямотой рассказал о ходе операции.

Потом он заговорил о том, что у него к лейтенанту Толе была какая-то почти отцовская нежность, и в басовитом голосе хирурга тоненько, жалостно задребезжало стекло. Она посмотрела впервые на его руки, они были особенные, жили отдельно от человека с жалобными глазами, — суровые, тяжелые, с большими, сильными смуглыми пальцами.

Майзель снял руки со стола. Словно читая ее мысль, он проговорил:

— Я сделал все возможное, но получилось, что мои руки приблизили его смерть, а не побороли ее, — и снова положил руки на стол.

Она понимала, что все сказанное Майзелем — правда.

Каждое его слово о Толе, страстно ею желаемое, мучило и жгло. Но разговор имел в себе еще одну

томительную тяжесть, — она чувствовала, что хирург хотел встречи с ней не ради нее, а ради себя. И это вызывало в ней нехорошее чувство к Майзелю.

Прощаясь с хирургом, она сказала, что верит, — он сделал все возможное для спасения ее сына. Он тяжело задышал, и она ощутила, что слова ее принесли ему облегчение, и вновь поняла, что, чувствуя свое право услышать от нее эти слова, он и хотел с ней встречи и встретился с ней.

И она с упреком подумала: «Неужели от меня надо еще получать утешение?»

Хирург ушел, а Людмила пошла к человеку в папахе, коменданту. Он отдал ей честь, сипло доложил, что комиссар велел отвезти ее к месту захоронения на легковой машине, машина задержалась на десять минут из-за того, что отвозили в карточное бюро список вольнонаемных. Вещи лейтенанта уже уложены, их удобней будет взять после возвращения с кладбища.

Все, о чем просила Людмила Николаевна, было выполнено по-военному, четко и точно. Но в отношении к ней комиссара, сестры, коменданта чувствовалось, что и эти люди хотят от нее получить какое-то успокоение, прощение, утешение.

Комиссар почувствовал свою вину за то, что в

госпитале умирают люди. До приезда Шапошниковой его это не тревожило, — на то и госпиталь во время войны. Постановка медицинского обслуживания не вызывала нареканий у начальства. Его жучили за недостаточную организацию политической работы, за плохую информацию о настроениях раненых.

Он недостаточно боролся с неверием в победу среди части раненых, с вражескими вылазками среди отсталой части раненых, враждебно настроенных к колхозному строю. В госпитале имелись случаи разглашения ранеными военной тайны.

Шиманского вызывали в политотдел санитарного управления военного округа и посулили отправить его на фронт, если из особого отдела опять сообщат о непорядках в госпитальной идеологии.

А теперь комиссар почувствовал себя виноватым перед матерью умершего лейтенанта за то, что вчера умерло трое больных, а он вчера принимал душ, заказал повару свой любимый бигос из тушеной кислой капусты, выпил бидончик пива, добытый в саратовском горторге. Сестра Терентьева была виновата перед матерью умершего лейтенанта в том, что муж ее, военный инженер,

служил в штабе армии, на передовой не бывал, а сын, который на год старше Шапошникова, работал на авиационном заводе в конструкторском бюро. И комендант знал свою вину, — он, кадровый военный, служил в тыловом госпитале, он послал домой хороший габардиновый материал и фетровые валенки, а от убитого лейтенанта осталось матери бумажное обмундирование.

И толстогубый старшина с мясистыми налитыми ушами, ведавший захоронением умерших больных, чувствовал свою вину перед женщиной, с которой поехал на кладбище. Гробы сбивались из тонких, бракованных досок. Умершие клались в гробы в нижнем белье, рядовых клали тесно, в братские могилы, надписи на могилах делались некрасивым почерком, на неотесанных дощечках, писались они непрочной краской. Правда, умерших в дивизионных медсанбатах закапывали в ямы без гробов, а надписи делали чернильным карандашом, до первого дождя. А те, что погибли в бою, в лесах, болотах, в овражках, в чистом поле, — тех, случалось, и не находили похоронщики, их хоронил песок, сухой лист, метель.

Но старшина все же чувствовал свою вину за низкое качество лесоматериалов перед женщи-

ной, сидевшей с ним рядом в машине и выспрашивавшей его, как хоронят умерших, — вместе ли, во что обряжают трупы, говорят ли последнее слово над могилой.

Неудобно было и оттого, что перед поездкой он забежал к дружку в каптерку и выпил баночку разбавленного медицинского спиртишки, закусил хлебцем с луковкой. Он совестился, что в машине стоит от его дыхания водочный дух с цибульной примесью, но как он ни совестился, а отказаться от того, чтобы дышать, не мог.

Он хмуро смотрел в зеркальце, висевшее перед водителем машины, — в этом четырехугольном зеркальце отражались смеющиеся, смущавшие старшину глаза водителя.

«Ну и нажрался, старшина», — говорили безжалостно веселые молодые глаза водителя.

Все люди виноваты перед матерью, потерявшей на войне сына, и тщетно пробуют оправдаться перед ней на протяжении истории человечества.

32

Бойцы трудового батальона сгружали с грузовика гробы. В их молчаливой неторопливости видна была трудовая, привычная сноровка. Один, стоя в кузове грузовика, пододвигал гроб к краю, другой принимал его на плечо и заносил в воздухе, тогда молча подходил третий и принимал второй край гроба на плечо. Скрипя ботинками по замерзшей земле, они несли гробы к широкой братской могиле, поставив гроб у края ямы, возвращались к грузовику. Когда пустой грузовик ушел в город, бойцы присели на гробы, стоявшие у отрытой могилы, и стали сворачивать папиросы из большого количества бумаги и малого количества табака.

— Сегодня вроде посвободней, — сказал один и стал высекать огонь из добротно слаженного огнива, — трут в виде шнура был пропущен в медную гильзу, а кремень вправлен в оправу. Боец помахал трутом, и дымок повис в воздухе.

— Старшина говорил, больше одной машины не будет, — сказал второй и прикурил, выпустил много дыму.

— Тогда и оформим могилу.

— Ясно, сразу удобней, и список он привезет, проверит, — проговорил третий, не куривший, вынул из кармана кусок хлеба, встряхнул его, легонько обдул и стал жевать.

— Ты скажи старшине, пусть лом нам даст, а то на четверть почти прихватило землю морозом, завтра нам новую готовить, лопатой такую землю возьмешь разве?

Тот, что добывал огонь, гулко ударив ладонями, выбил из деревянного мундштука окурок, легонько постучал мундштуком о крышку гроба.

Все трое замолчали, словно прислушиваясь. Было тихо.

— Верно, будто трудовым батальонам сухим пайком выдавать обед будут? — спросил жевавший хлеб боец, понизив голос, чтобы не мешать покойникам в гробах неинтересным для них разговором.

Второй курец, выдув окурок из длинного закопченного тростникового мундштука, посмотрел в него на свет, покачал головой.

Снова было тихо…

— Денек сегодня ничего, вот только ветер.

— Слышь, машина пришла, так-то мы до обеда отделаемся.

— Нет, это не наша, это легковик.

Из машины вышел знакомый им старшина, за ним женщина в платке, и пошли в сторону чугунной ограды, где до прошлой недели производили захоронения, а потом перестали из-за отсутствия места.

— Хоронят силу, а никто не провожает, — сказал один. — В мирное время тут знаешь как — один гроб, а за ним, может, сто человек цветочки несут.

— Плачут и по этим, — и боец толстым овальным ногтем, обточенным трудом, как галька морем, деликатно постучал по доске. — Только нам этих слез не видно… Гляди, старшина один вертается.

Они снова стали закуривать, на этот раз все трое. Старшина подошел к ним, добродушно сказал:

— Все курим, ребята, а кто же за нас поработает?

Они молча выпустили три дымовых облака, потом один, обладатель кресала, проговорил:

— Покуришь тут, слышь, грузовик подходит. Я его уж по мотору признаю.

33

Людмила Николаевна подошла к могильному холмику и прочла на фанерной дощечке имя своего сына и его воинское звание.

Она ясно ощутила, что волосы ее под платком стали шевелиться, чьи-то холодные пальцы перебирали их.

Рядом, вправо и влево, вплоть до ограды, широко стояли такие же серые холмики, без травы, без цветов, с одним только стрельнувшим из могильной земли прямым деревянным стебельком. На конце этого стебелька имелась фанерка с именем человека. Фанерок было много, и их однообразие и густота напоминали строй щедро взошедших на поле зерновых…

Вот она наконец нашла Толю. Много раз она старалась угадать, где он, что он делает и о чем думает, — дремлет ли ее маленький, прислонившись к стенке окопа, идет ли по дороге, прихлебывает чай, держа в одной руке кружку, в другой кусочек сахара, бежит ли по полю под обстрелом… Ей хотелось быть рядом, она была нужна ему, — она бы долила чаю в кружку, сказала бы «съешь еще хлеба», она бы разула его и

обмыла натертую ногу, обмотала бы ему шею шарфом… И каждый раз он исчезал, и она не могла найти его. И вот она нашла Толю, но она уже не нужна была ему.

Дальше видны были могилы с дореволюционными гранитными крестами. Могильные камни стояли, как толпа стариков, никому не нужных, для всех безразличных, — одни повалились набок, другие беспомощно прислонились к стволам деревьев.

Казалось, небо стало какое-то безвоздушное, словно откачали из него воздух, и над головой стояла наполненная сухой пылью пустота. А беззвучный могучий насос, откачавший из неба воздух, все работал, работал, и уже не стало для Людмилы не только неба, но и не стало веры и надежды, — в огромной безвоздушной пустоте остался лишь маленький, в серых смерзшихся комьях, холм земли.

Все живое — мать, Надя, глаза Виктора, военные сводки, — все перестало существовать.

Живое стало неживым. Живым во всем мире был лишь Толя. Но какая тишина стояла кругом. Знает ли он уже, что она пришла…

Людмила опустилась на колени, легонько, чтобы не причинить сыну беспокойства, поправила

дощечку с его именем, он всегда сердился, когда она поправляла воротничок его куртки, провожая его на занятия.

— Вот я пришла, а ты, верно, думал, что это мама не идет…

Она заговорила вполголоса, боясь, что ее услышат люди за кладбищенской оградой.

По шоссе неслись грузовики, темная гранитовая поземка кружилась, дымясь, по асфальту, кудрявясь, завиваясь… Шли, гремя солдатскими сапогами, молочницы с бидонами, люди с мешками, бежали школьники в ватниках и в зимних солдатских шапках.

Но полный движения день казался ей туманным видением.

Какая тишина.

Она говорила с сыном, вспоминала подробности его прошедшей жизни, и эти воспоминания, существовавшие лишь в ее сознании, заполняли пространство детским голосом, слезами, шелестом книг с картинками, стуком ложечки о край белой тарелки, жужжанием самодельных радиоприемников, скрипом лыж, скрипом лодочных уключин на дачных прудах, шорохом конфетных бумажек, мельканием мальчишеского лица, плеч и груди.

Его слезы, огорчения, его хорошие и плохие поступки, оживленные ее отчаянием, существовали, выпуклые, осязаемые.

Не воспоминания об ушедшем, а волнения действительной жизни охватили ее.

Зачем читать всю ночь при этом ужасном свете, что ж это, в такие молодые годы начать носить очки…

Вот он лежит в легонькой бязевой рубахе, босой, как же не дали одеяла, земля совершенно ледяная, и по ночам сильный мороз.

Неожиданно у Людмилы хлынула носом кровь. Платок сделался тяжелый, весь вымок. У нее закружилась голова, в глазах помутилось, и короткое мгновение казалось, что она теряет сознание. Она зажмурила глаза, а когда открыла их, мир, оживленный ее страданием, уже исчез, лишь серая пыль, подхваченная ветром, кружилась над могилами: то одна, то другая могила начинали дымиться.

Живая вода, что хлынула поверх льда и вынесла из тьмы Толю, сбежала, исчезла, вновь отодвинулся тот мир, который на миг, сбив оковы, сам хотел стать действительностью, мир, созданный отчаянием матери. Ее отчаяние, подобно Богу, подняло лейтенанта из могилы, заполнило пу-

стоту новыми звездами.

В эти прошедшие минуты он один жил на свете, и благодаря ему было все остальное.

Но могучая сила матери не удержала огромные людские толпы, моря, дороги, землю, города в подчинении перед мертвым Толей.

Она поднесла платок к глазам, глаза были сухи, а платок мокрый от крови. Она ощущала, что лицо у нее запачкано в липкой крови, и сидела, ссутулясь, смирясь, не по своей воле делая маленькие, первые движения к осознанию того, что Толи нет.

Людей в госпитале поражало ее спокойствие, ее вопросы. Они не понимали, что она не могла ощутить того, что было им очевидно, — отсутствие Толи среди живущих. Ее чувство к сыну было таким сильным, что мощь совершившегося ничего не могла поделать с этим чувством, — он продолжал жить.

Она была безумна, никто не видел этого. Наконец она нашла Толю. Так кошка, найдя своего мертвого котенка, радуется, облизывает его.

Долгие муки проходит душа, пока годами, иногда десятилетиями, камень за камнем, медленно воздвигает свой могильный холмик, сама в себе приходит к чувству вечной потери, смиряется

перед силой произошедшего.

Ушли, закончив работу, бойцы трудового батальона, собралось уходить солнце, и тени от могильных фанерок вытянулись. Людмила осталась одна.

Она подумала, что о смерти Толи надо сообщить родным, отцу в лагерь. Обязательно отцу. Родному отцу. О чем он думал перед операцией? Как его кормили, с ложечки? Спал ли он хоть немножко, на боку, на спине? Он любит воду с лимоном и сахаром. Каким лежит он сейчас, бритая ли у него голова?

Должно быть, от нестерпимой душевной боли кругом делалось все темней и темней.

Ее поразила мысль о вечности ее горя — умрет Виктор, умрут внуки ее дочери, а она все будет горевать.

И когда чувство тоски стало так невыносимо, что сердце не могло выдержать ее, снова растворилась грань между действительностью и миром, жившим в душе Людмилы, и вечность отступила перед ее любовью.

Зачем, подумала она, сообщать о смерти Толи родному отцу, Виктору, всем близким, ведь еще ничего не известно наверное. Лучше выждать, может быть, все еще будет совершенно по-ино-

му.

Она шепотом сказала:

— И ты никому не говори, еще ничего не известно, все еще будет хорошо.

Людмила прикрыла полой пальто Толины ноги. Она сняла платок с головы и прикрыла им плечи сына.

— Господи, да нельзя же так, почему не дали одеяла. Хоть ноги получше закрой.

Она забылась, в полусне продолжала говорить с сыном, упрекала его за то, что письма его такие короткие. Она просыпалась, поправляла на нем сброшенный ветром платок.

Как хорошо, что они вдвоем, никто не мешает им. Его никто не любил. Все говорили, что он некрасив, — у него оттопыренные толстые губы, он странно ведет себя, бессмысленно вспыльчив, обидчив. И ее никто не любил, все близкие видели в ней одни лишь недостатки… Мой бедный мальчик, робкий, неуклюжий, хороший сыночек… Он один любил ее, и теперь, ночью, на кладбище, он один с ней, он никогда не оставит ее, и когда она будет никому не нужной старухой, он будет любить ее… какой он не приспособленный к жизни. Никогда ни о чем не попросит, застенчивый, смешной; учительница говорит, что в школе он

стал посмешищем, — его дразнят, выводят из себя, и он плачет, как маленький. Толя, Толя, не оставляй меня одну.

А затем пришел день, — красное, ледяное зарево разгоралось над заволжской степью. С ревом проехал грузовик по шоссе.

Безумие ушло. Она сидела рядом с могилой сына. Тело Толи засыпано землей. Его нет.

Она видела свои грязные пальцы, валявшийся на земле платок, у нее онемели ноги, она ощущала, что лицо ее запачкано. В горле першило.

Ей было все равно. Скажи ей кто-нибудь, что кончилась война, что умерла ее дочь, очутись рядом с ней стакан горячего молока, кусок теплого хлеба, она бы не шевельнулась, не протянула бы руки. Она сидела без тревоги, без мыслей. Все было безразлично, не нужно. Одна лишь ровная мука сжимала сердце, давила на виски. Люди из госпиталя, врач в белом халате что-то говорили о Толе, она видела их разевающиеся рты, но не слушала их слов. На земле лежало письмо, выпавшее из кармана пальто, то, что она получила из госпиталя, и ей не хотелось поднять его, стряхнуть с него пыль. Не было мыслей о том, как Толя двухлетним, косолапо переваливаясь, ходил терпеливо и настойчиво следом за кузнечиком,

прыгавшим с места на место, и о том, что она не спросила сестру, как лежал он утром, перед операцией, в последний день своей жизни, — на боку, на спине. Она видела дневной свет, она не могла его не видеть.

Вдруг ей вспомнилось: Толе исполнилось три года, вечером пили чай со сладким пирогом, и он спросил: «Мама, почему темно, ведь сегодня день рождения?»

Она видела ветви деревьев, блещущий под солнцем полированный кладбищенский камень, дощечку с именем сына, — «Шапошн» было написано крупно, а «иков» лепилось мелко, буква к букве. Она не думала, у нее не было воли. Ничего у нее не было.

Она встала, подняла письмо, стряхнула закоченевшими руками комки земли с пальто, очистила его, обтерла туфли, долго вытряхивала платок, пока он вновь не побелел. Она надела на голову платок, краешком его сняла пыль с бровей, обтерла губы, подбородок от пятен крови. Она пошла в сторону ворот, не оглядываясь, не медленно и не быстро.

34

После возвращения в Казань Людмила Николаевна начала худеть и стала похожа на свои молодые фотографии студенческой поры. Она добывала продукты в распределителе и готовила обед, топила печи, мыла полы, стирала. Ей казалось, что осенние дни очень длинные и ей нечем заполнить их пустоту.

В день приезда из Саратова она рассказала родным о своей поездке, о том, что думала о своей вине перед близкими людьми, рассказала о приходе в госпиталь, развернула пакет с изодранным осколками кровавым обмундированием сына. Когда она рассказывала, Александра Владимировна тяжело дышала, Надя плакала, у Виктора Павловича стали дрожать руки, он не мог взять со стола стакан чая. Прибежавшая навестить ее Марья Ивановна побледнела, рот ее полуоткрылся, и в глазах возникло мученическое выражение. Одна лишь Людмила говорила спокойно, глядя яркими, широко открытыми голубыми глазами.

Она теперь ни с кем не спорила, а всю жизнь была большой спорщицей; раньше стоило сказать кому-нибудь, как доехать до вокзала, и Людмила,

волнуясь и сердясь, начинала доказывать, что совсем не по тем улицам и не теми троллейбусами надо ехать.

Однажды Виктор Павлович спросил ее:

— Людмила, с кем это ты по ночам разговариваешь?

Она сказала:

— Не знаю, может быть, померещилось что-нибудь.

Он не стал ее больше спрашивать, но рассказал Александре Владимировне, что почти каждую ночь Людмила раскрывает чемоданы, стелет одеяло на диванчик, стоящий в углу, озабоченно негромко говорит вслух.

— У меня такое чувство, словно она днем со мной, с Надей, с вами — во сне, а ночью у нее оживленный голос, какой был еще до войны, — сказал он. — Мне кажется, что она заболела, становится другим человеком.

— Не знаю, — сказала Александра Владимировна. — Все мы переживаем горе. Все одинаково и каждый по-своему.

Разговор их был прерван стуком в дверь. Виктор Павлович поднялся. Но Людмила Николаевна крикнула из кухни:

— Я открою.

Непонятно было, в чем дело, но домашние замечали, что после возвращения из Саратова Людмила Николаевна по нескольку раз на день проверяла, — нет ли писем в почтовом ящике.

Когда же кто-нибудь стучался, она бросалась поспешно к двери.

И сейчас, слушая ее торопливые, почти бегущие шаги, Виктор Павлович и Александра Владимировна переглянулись.

Они услышали раздраженный голос Людмилы Николаевны:

— Нету, нету сегодня ничего, и не ходите так часто, я вам уже два дня назад дала полкило хлеба.

35

Лейтенанта Викторова вызвали в штаб к майору Закаблуке, командиру стоявшего в резерве истребительного летного полка. Дежурный по штабу лейтенант Великанов сказал, что майор улетел на «У-2» в штаб воздушной армии, в район Калинина, и вернется вечером. На вопрос Викторова, по поводу чего вызов, Великанов подмигнул, сказал, что, возможно, дело связано с пьянкой и скандалом в столовой.

Викторов заглянул за занавеску, сделанную из плащ-палатки и пристегнутого к ней ватного одеяла, — оттуда раздавался треск пишущей машинки. Напачкан Волконский, увидев Викторова, предупреждая его вопрос, проговорил:

— Нету, нету писем, товарищ лейтенант.

Машинистка, вольнонаемная Леночка, оглянулась на лейтенанта, поглядела в трофейное зеркальце со сбитого немецкого самолета, подарок погибшего летчика Демидова, поправила пилотку, передвинула линейку, лежавшую на ведомости, которую она перепечатывала, и снова ударила по клавишам машинки.

Этот длинномордый лейтенант, задававший

начканцу один и тот же унылый вопрос, наводил на Леночку тоску.

Викторов, идя обратно на аэродром, свернул в сторону лесной опушки.

Вот уже месяц, как полк вышел из боев, пополнял матчасть, принимал взамен выбывшего летный состав.

Месяц назад необычным казался этот неведомый Викторову северный край. Жизнь леса, молодой реки, гибко бегущей среди крутых холмов, запах прели, грибов, гудение деревьев, — тревожили его днем и ночью.

Во время полетов, казалось, земные запахи достигали кабины истребителя. Этот лес, озера дышали жизнью Древней Руси, о которой Викторов читал до войны. Здесь, среди озер, лесов лежали старинные дороги, из этого прямоствольного леса строились дома, церкви, обтесывались корабельные мачты. Старина задумалась и притихла еще в те времена, когда бежал тут серый волк и плакала Аленушка на бережку, которым Викторов теперь ходил в столовую военторга. Ему казалось, что эта ушедшая старина какая-то наивная, простая, молодая, — и не только жившие в теремах девушки, но и седобородые купцы, дьяконы и патриархи на тысячу лет моложе

житейски умудренных парней — летчиков из мира скоростных машин, автоматических пушек, дизелей, кино и радио, пришедших в эти леса с авиаполком майора Закаблуки. Знаком этой ушедшей молодости была Волга, быстрая, худенькая, в пестрых крутых берегах, в зелени леса, в голубых и красных цветных узорах…

Сколько их, лейтенантов, сержантов да и просто ребят без звания ходят по военной дороге. Курят они положенное им число папирос, стучат белой ложкой в жестяной миске, играют в вагоне в подкидного, в городе лакомятся мороженым на палочке, пьют, кашляя, свою малую долю стограммовых стопок, пишут положенное число писем, кричат в полевой телефон, стреляют, кто из мелкокалиберной пушчонки, кто бахнет из главного калибра, кто нажмет в танке-«тридцатьчетверке» на акселератор, крикнет что-нибудь такое…

Земля под сапогом скрипела и пружинила, как старый матрац, — это лежали листья, сверху легкие, хрупкие, отличные один от другого и в смерти, а под ними засохшие уж годы назад, соединенные в одну хрусткую слитную коричневую массу, — пепел от той жизни, что взрывала почки, шумела в грозу, блестела на солнце после

дождей. Истлевший, почти невесомый хворост крошился под ногами. Тихий свет доходил до лесной земли, рассеянный лиственным абажуром. Воздух в лесу был застывший, густой, — это особенно ощущал привыкший к воздушным вихрям летчик-истребитель. Нагретое, потное дерево пахло сырой свежестью древесины. Но запах умерших деревьев и хвороста забивал запах живого леса. Там, где стояли ели, в октаву врезалась высокая скипидарная нота. Осина пахла приторно сладко, горько дышала ольха. Лес жил отдельно от остального мира, и Викторову казалось, что он входит в дом, где все не так, как на улице: и запахи, и свет через спущенные занавески, и звуки по-иному раздавались в этих стенах, и пока не выйдешь из леса, все чувствуешь себя не по-обычному, как на малознакомых людях. Словно со дна, сквозь высокий, толстый слой лесного воздуха смотришь наверх, плещут листья, и кажется, что трескучая паутина, цепляющаяся за зеленую звездочку на пилотке, — это водоросли, взвешенные между поверхностью и дном водоема. Кажется, что быстрые толстоголовые мухи, и вялая мошкара, и тетерев, по-куриному продирающийся между ветвей, шевелят плавниками и никогда им не подняться над лесом,

как не подняться рыбе выше поверхности воды; а если сорока вспорхнет над вершиной осины, то тотчас вновь нырнет меж ветвей, — рыба блеснула на мгновение белым боком на солнце и вновь плюхнулась в воду. И каким странным кажется мох в каплях росы, синих, зеленых, гаснущих в сумраке лесного дна.

Хорошо из этой тихой полутьмы вдруг выйти на светлую поляну, все сразу по-иному, — и теплая земля, и запах нагретого солнцем можжевельника, и подвижность воздуха, и поникшие большие колокольчики, отлитые из фиолетового металла, и цветы дикой гвоздики на липких смолистых стеблях. На душе становится беспечно, и поляна — как счастливый день в бедной жизни. Кажется, что бабочки-лимонницы, черно-синие отшлифованные жуки, муравьи, прошуршавшие в траве, уж не хлопочут каждый о себе, а все вместе работают одну общую работу. Коснулась лица березовая ветка, осыпанная мелкими листьями; кузнечик подпрыгнул, угодил об человека, как об древесный ствол, уцепился за его поясной ремень, не торопясь напруживает зеленые ляжки, сидит с круглыми кожаными глазами, с литой бараньей мордой. Тепло, запоздалые цветы земляники, горячие от солнца пуговицы и пряжка поясного

ремня. Наверное, над этой поляной никогда не пролетал ни «Ю-88», ни ночной «хейнкель».

36

Часто ночью он вспоминал месяцы, проведенные в сталинградском госпитале. Он не помнил мокрой от пота рубахи, солоноватой, вызывавшей тошноту воды, не помнил тяжелого запаха, мучившего его. Эти госпитальные дни представлялись ему счастьем. И здесь, в лесу, прислушиваясь к гулу деревьев, он думал: «Неужели я слышал ее шаги?»

Неужели это было? Она обнимала его, гладила его волосы, она плакала, и он целовал ее мокрые, соленые глаза.

Иногда Викторов думал о том, как на «яке» доберется до Сталинграда, всего ведь несколько часов, — в Рязани можно зарядиться, потом дойти до Энгельса, там у него знакомый парень работает ответственным дежурным. Ну, пусть потом расстреляют.

Ему все вспоминалась прочитанная в старой книге история: братья, богачи Шереметьевы, сыновья фельдмаршала, выдали замуж свою шестнадцатилетнюю сестру за князя Долгорукого, девочка до свадьбы, кажется, один только раз и видела его. Братья дали за невестой огромное

приданое, дареное серебро уместилось в трех комнатах. А через два дня после свадьбы умер Петр II. Долгорукого, его приближенного, схватили и увезли на север, заперли в деревянную башню. Молодая жена не послушалась уговоров, — ей можно было освободиться от этого брака, ведь девочка всего два дня прожила с ним. Она поехала за мужем, поселилась в лесном глухом краю, в деревенской избе. Каждый день в течение десяти лет ходила она к башне, где сидел Долгорукий. Однажды утром она увидела: окошко в башне настежь, дверь не заперта. Молодая княгиня побежала по улице, падала на колени перед каждым встречным, кто бы он ни был, — мужик, стрелец, молила, спрашивала, где муж ее. Люди сказали ей, что Долгорукого увезли в Нижний Новгород. Много перетерпела она в тяжелом пешем пути. А в Нижнем она узнала, что Долгорукий четвертован. Тогда Долгорукая решила уйти в монастырь, поехала в Киев. В день пострига она долго ходила по берегу Днепра. Но не о воле жалела Долгорукая, надо было ей, принимая монашество, снять с пальца обручальное кольцо, и не могла с ним расстаться… Много часов ходила она по берегу, а потом, когда солнце стало садиться, сняла с пальца кольцо, кинула его в Днепр и пошла к

монастырским воротам.

И лейтенанту воздушных сил, воспитаннику детдома, слесарю в механической мастерской СталГРЭСа все вспоминалась жизнь княгини Долгорукой. Он шел лесом, и ему представлялось: вот уж нет его, закопали, и подкопченный фрицем самолет, ушедший носом в землю, проржавел, рассыпался, зарос травой, и по этим местам ходит Вера Шапошникова — остановится, спустится по обрыву к Волге, глядит на воду… А двести лет назад ходила здесь молодая Долгорукая — выйдет на поляну, пройдет среди льна, раздвинет руками осыпанные красными ягодами кусты. И больно ему делалось, и горько, и безнадежно, и сладко.

Идет лесом узкоплечий лейтенантик в старенькой гимнастерке, — сколько их забыто в незабываемое время.

37

Викторов, еще подходя к аэродрому, понял, что произошли какие-то важные события. Машины «бэзэ»[4] разъезжали по летному полю, техники, мотористы из батальона аэродромного обслуживания суетились около самолетов, стоявших под маскирующими их сетками. Обычно молчаливый движок рации стучал четко и сосредоточенно.

«Ясно», — подумал Викторов, ускоряя шаги.

И тут же все подтвердилось, ему встретился лейтенант Соломатин с розовыми пятнами ожога на скуле и сказал:

— Выходим из резерва, есть приказ.

— К фронту? — спросил Викторов.

— А куда, к Ташкенту? — спросил Соломатин и пошел в сторону деревни.

Он, видимо, был расстроен: у него завязалось серьезное дело с хозяйкой по квартире, и сейчас он, должно быть, спешил к ней.

— Делиться будет Соломатин: избу бабе, корову себе, — проговорил рядом с Викторовым

---

[4] Примечания: 4
Бензозаправщики.

знакомый голос. Это шел по тропинке лейтенант Еремин, с которым Викторов ходил в паре.

— Куда нас, Ерема? — спросил Викторов.

— Может, Северо-Западный пойдет в наступление. Сейчас командир дивизии на «Эр»-«пятом» пришел. У меня пилот знакомый на «дугласе» в штабе Воздушной, можно спросить. Он все знает.

— Чего спрашивать, скажут сами.

А тревога уже охватила не только штаб и летчиков на аэродроме, но и деревню. Черноглазый, пухлогубый младший лейтенант Король, самый молодой летчик в полку, нес по улице постиранное и отглаженное белье, поверх белья лежала коврижка и узелок сухих ягод.

Над Королем подшучивали, что хозяйки — две вдовые старухи — баловали его коврижками. Когда он уходил на задания, старухи шли к аэродрому, встречали его на полпути — одна высокая, прямая, другая с согнутой спиной, — он шел между ними, злой, смущенный, избалованный мальчик, и летчики говорили, что Король ходит в звене с восклицательным и вопросительным знаками.

Командир эскадрильи Ваня Мартынов вышел из дома в шинели, неся в одной руке чемоданчик,

в другой парадную фуражку, которую, боясь помять, не вкладывал в чемодан. Рыжая хозяйская дочь без платка, с самодельной завивкой смотрела ему вслед таким взором, что уж лишним было бы рассказывать и о ней и о нем.

Хроменький мальчик отрапортовал Викторову, что политрук Голуб и лейтенант Ваня Скотной, с которыми он вместе квартировал, ушли с вещами.

Викторов перебрался на эту квартиру несколько дней назад, до этого он жил с Голубом у плохой хозяйки, женщины с высоким выпуклым лбом и с выпуклыми желтыми глазами, — посмотрев в эти глаза, человеку делалось не по себе.

Чтобы избавиться от постояльцев, она напускала в избу дыма, а однажды подсыпала им золы в чай. Голуб уговаривал Викторова написать рапорт об этой хозяйке комиссару полка, но Викторов не хотел писать рапорта.

— Хай ее холера задушит, — согласился Голуб и добавил слова, которые слышал от матери, еще мальчиком: — До нашего берега що пристанет — як не гивно, то триска.

Они перебрались на новую квартиру, она показалась им раем. Но вот в раю побыть пришлось недолго.

Вскоре и Викторов с вещевым мешком и продавленным чемоданчиком шел мимо высоких, словно двухэтажных, серых изб, хромой мальчик прыгал рядом, нацеливаясь подаренной ему Викторовым трофейной кобурой в кур, в кружащие над лесом самолеты. Он прошел мимо избы, откуда Евдокия Михеевна выкуривала его дымом, и увидел за мутным стеклом ее неподвижное лицо. Никто не заговаривал с ней, когда она, неся от колодца два деревянных ведра, останавливалась передохнуть. Не было у нее ни коровы, ни овцы, ни стрижей под крышей. Голуб расспрашивал о ней, пытался выявить ее кулацкую родословную, но оказалось, что она из бедняцкой семьи. Женщины говорили, что после смерти мужа она словно помешалась: забралась в холодное осеннее время в озеро и просидела в нем сутки. Мужики ее силой вытащили оттуда. Но, говорили женщины, она и до смерти мужа, и до замужества была неразговорчива.

Вот идет Викторов по улице лесной деревни, и через несколько часов он улетит навсегда отсюда, и все это — гудящий лес, деревня, где лоси заходят на огороды, папоротник, желтые натеки смолы, река, кукушки — перестанет для него существовать. Исчезнут старики, девчонки, разговоры о

том, как проводили коллективизацию, рассказы о медведях, отнимавших у баб лукошки с малиной, о мальчишках, наступавших голой пяткой на гадючьи головки… Исчезнет эта деревня, странная для него и необычная, вся обращенная к лесу, как был обращен к заводу рабочий поселок, где он родился и вырос.

А потом истребитель приземлится, и вмиг возникнет, станет новый аэродром, сельский или заводской поселок со своими старухами, девчонками, со своими слезами и шутками, котами с лысыми от шрамов носами, со своими рассказами о прошлом, о сплошной коллективизации, со своими плохими и хорошими квартирными хозяйками.

И красавец Соломатин на новом положении в свободную минутку наденет фуражку, пройдется по улице, споет под гитару и сведет с ума девчонку.

Командир полка майор Закаблука с бронзовым лицом и бритым белым черепом, гремя пятью орденами Красного Знамени, переминаясь на кривых ногах, зачитал летчикам приказ о выходе из резерва, сказал, что ночевать приказывает в блиндажах и что порядок следования будет объявлен перед вылетом на аэродроме.

Затем он сказал, что отлучаться из аэродромных блиндажей командование запрещает и с нарушителями шуток не будет.

— Щоб мне не спали в воздухе, а хорошо выспались пэрэд полетом, — объяснил он.

Заговорил комиссар полка Берман, которого не любили за высокомерие, хотя он умел толково и красиво говорить о тонкостях летного дела. Особенно плохо стали относиться к Берману после случая с летчиком Мухиным. У Мухина завязалась любовная история с красивой радисткой Лидой Войновой. Их роман всем нравился, — едва была свободная минута, они встречались, ходили гулять к реке и шли, всегда взявшись за руки. Над ними даже не смеялись, так уже все было ясно в их отношениях.

И вдруг пошел слух, и шел этот слух от самой Лиды, она рассказала подруге, а от подруги пошло по полку, — во время очередной прогулки Мухин изнасиловал Войнову, угрожал ей огнестрельным оружием.

Берман, узнав об этом деле, разъярился и проявил столько энергии, что в течение десяти дней Мухин был судим трибуналом и приговорен к расстрелу.

Перед исполнением приговора в полк прилетел

член Военного совета Воздушной армии, генерал-майор авиации Алексеев, и стал выяснять обстоятельства мухинского преступления. Лида вогнала генерала в полное смущение, стала перед ним на колени, умоляла поверить, что все дело против Мухина — нелепая ложь.

Она рассказала ему всю историю, — они лежали с Мухиным на лесной поляне, целовались, потом она задремала, и Мухин, желая подшутить над ней, незаметно просунул ей между колен револьвер, выстрелил в землю. Она проснулась, вскрикнула, и Мухин снова стал с ней целоваться. А уж в передаче, шедшей от подруги, которой Лида все это рассказала, дело выглядело совсем жутко. Правда во всей истории была лишь одна, необычайно простая, — ее любовь с Мухиным. Все разрешилось благополучно, приговор отменили, Мухина перевели в другой полк.

Вот с тех пор летчики не любили Бермана.

Как-то в столовой Соломатин сказал, что русский человек так бы не поступил.

Кто-то из летчиков, кажется, Молчанов, ответил, что есть плохие люди среди всех наций.

— Вот возьми Короля, еврей, а с ним в паре хорошо ходить. Идешь на задание и знаешь — в хвосте сидит такой друг, в котором уверен, — ска-

зал Ваня Скотной.

— Ну какой же Король еврей? — сказал Соломатин. — Король — это свой парень, я в нем в воздухе уверен больше, чем в себе. Он у меня над Ржевом «мессера» из-под самого хвоста вымел. И я два раза бросал несчастного, подбитого фрица из-за Борьки Короля. А знаешь сам, я забываю мать родную, когда в бой иду.

— Тогда как же получается, — сказал Викторов, — если еврей хороший, ты говоришь — он не еврей.

Все рассмеялись, а Соломатин сказал:

— Ладно, а вот Мухину смешно не было, когда ему Берман расстрел пришил.

В это время в столовую вошел Король, и кто-то из летчиков его участливо спросил:

— Слушай, Боря, ты еврей?

Король смутился и ответил:

— Да, еврей.

— Это точно?

— Вполне точно.

— Обрезанный?

— Да ну тебя к черту, — ответил Король. Все стали снова смеяться.

А когда летчики шли с аэродрома в деревню, Соломатин пошел рядом с Викторовым.

— Знаешь, — сказал он, — ты напрасно речи произносил. Когда я работал на мыловаренном заводе, у нас жидов полно было, — все начальство; насмотрелся я на этих самуилов абрамовичей, — и уж один за другого, круговая порука, будь уверен.

— Да что ты пристал, — пожал плечами Викторов, — что ты меня к ним в коллегию записываешь?

Берман заговорил о том, что в жизни летного состава открывается новая эра, кончилась жизнь в резерве. Это все понимали и без него, но слушали со вниманием, не проскользнет ли в его речи намека, — останется ли полк на Северо-Западном фронте и лишь переведут его под Ржев, перебросят ли на запад, на юг?

Берман говорил:

— Итак, у боевого летчика качество первое — знать матчасть, знать так, чтобы играть ею; второе — любовь к своей машине, любить ее, как сестру, как мать; третье — смелость, а смелость — это холодный ум и горячее сердце. Четвертое — чувство товарищества, оно воспитывается всей нашей советской жизнью; пятое — беззаветность в бою! Успех — в слетанности пар! Следи за ведущим! Настоящий летчик и на земле всегда

думает, разбирает прошлый бой, прикидывает: «Эх, так бы лучше, эх, не так бы надо!»

Летчики с фальшивым выражением интереса глядели на комиссара и тихонько переговаривались.

— Может, на эскорт «дугласов», что везут продукты в Ленинград? — сказал Соломатин, у которого в Ленинграде была знакомая.

— На Московское направление? — сказал Молчанов, чьи родные жили в Кунцеве.

— А может, под Сталинград? — проговорил Викторов.

— Ну, это вряд ли, — сказал Скотной.

Ему было безразлично, куда бросят полк, — все близкие его находились на оккупированной Украине.

— А ты, Боря, куда летишь? — спросил Соломатин. — В свою еврейскую столицу, Бердичев?

Вдруг темные глаза Короля совсем потемнели от бешенства, и он внятно матерно выругался.

— Младший лейтенант Король! — крикнул комиссар.

— Слушаюсь, товарищ батальонный комиссар…

— Молчать…

Но Король уже и так молчал.

Майор Закаблука отличался как знаменитый знаток и любитель матерного слова и из-за того, что боевой летчик матюгнулся в присутствии начальства, не стал бы поднимать историю. Он сам каждое утро грозно кричал своему ординарцу: «Мазюкин… твою в бога, веру… — и совершенно мирно заканчивал: — Дай-ка мне полотенце».

Однако, зная кляузный нрав комиссара, командир полка боялся тут же амнистировать Короля. Берман в рапорте описал бы, как Закаблука дискредитировал перед летным составом политическое руководство. Берман уже писал в политотдел, что Закаблука завел в резерве личное хозяйство, пил водку с начальником штаба и имел связь с зоотехником Женей Бондаревой из местного населения.

Поэтому командир полка начал издалека. Он грозно, хрипло закричал:

— Как стоите, младший лейтенант Король? Два шага вперед! Что за разгильдяйство?

Потом он повел дело дальше.

— Политрук Голуб, доложите комиссару, по какой причине Король нарушил дисциплину.

— Разрешите доложить, товарищ майор, он поругался с Соломатиным, а почему, я не слышал.

— Старший лейтенант Соломатин!

— Есть, товарищ майор!

— Доложите. Не мне! Батальонному комиссару!

— Разрешите доложить, товарищ батальонный комиссар?

— Докладывайте, — кивнул Берман, не глядя на Соломатина. Он ощутил, что командир полка гнет какую-то свою линию. Он знал, что Закаблука отличался необычайной хитростью и на земле, и в воздухе, — там, наверху, он лучше всех умел быстро разгадать цель, тактику противника, перехитрить его хитрости. А на земле он знал, что сила начальства в слабостях, а слабость подчиненных в их силе. И он умел, когда нужно, и прикинуться, и казаться простачком, и угодливо хохотать над глупой остротой, сказанной глупым человеком. И он умел держать в руках отчаянных воздушных лейтенантов.

В резерве Закаблука проявил склонность к сельскому хозяйству, главным образом к животноводству и птицеводству. Он занимался и заготовками плодоягодных культур: устраивал наливки из малины, солил и сушил грибы. Его обеды славились, и командиры многих полков любили в свободные часы подскочить к нему на «У-2», выпить и закусить. Но майор не признавал

пустого хлебосольства.

Берман знал еще одно свойство майора, делающее отношения с ним особенно трудными: расчетливый, осторожный и хитрый Закаблука был одновременно почти безумным человеком, идя напролом, уже не жалел своей жизни.

— С начальством спорить — все равно что ссать против ветра, — говорил он Берману и вдруг совершал безумный, идущий наперекор его же пользе поступок, комиссар только ахал.

Когда случалось им обоим находиться в хорошем настроении, они, разговаривая, подмигивали друг другу, похлопывали один другого по спине или по животу.

— Ох, и хитрый мужик у нас комиссар, — говорил Закаблука.

— Ох, и силен наш героический майор, — говорил Берман.

Закаблука не любил комиссара за елейность, за трудолюбие, с которым он вписывал в донесения каждое неосторожное слово; он высмеивал в Бермане его слабость к хорошеньким девочкам, его любовь к вареной курице — «дайте мне ножку» — и равнодушие к водке, он осуждал его безразличие к житейским обстоятельствам других людей и умение создать для самого себя

сносные бытовые условия. Он ценил в Бермане ум, готовность пойти на конфликт с начальством ради пользы дела, храбрость, — иногда, казалось, Берман сам не понимал, как легко может потерять жизнь.

И вот эти два человека, собираясь вести на линию боев воздушный полк, искоса поглядывая друг на друга, слушали, что говорит лейтенант Соломатин.

— Я должен прямо сказать, товарищ батальонный комиссар, это по моей вине Король нарушил дисциплину. Я над ним подсмеивался, он терпел, а потом, конечно, забылся.

— Что вы ему сказали, отвечайте комиссару полка, — перебил Закаблука.

— Тут ребята гадали, куда полк пойдет, на какой фронт, а я Королю говорю: ты, наверно, в свою столицу, на Бердичев, хочешь?

Летчики поглядывали на Бермана.

— Не понимаю, в какую столицу? — сказал Берман и вдруг понял.

Он смутился, все почувствовали это, и особенно командира полка поразило, что это случилось с человеком, подобным лезвию опасной бритвы. Но дальнейшее тоже было удивительно.

— Ну что ж тут такого? — сказал Берман. — А

если бы вы, Король, сказали Соломатину, который, как известно, происходит из села Дорохово Ново-Рузского района, что он хочет воевать над селом Дорохово, что ж, он должен был бить вас за это по морде? Странная местечковая этика, несовместимая со званием комсомольца.

Он говорил слова, которые всегда неотвратимо, с какой-то гипнотизирующей силой действовали на людей. Все понимали, что Соломатин хотел обидеть и обидел Короля, а Берман уверенно объяснял летчикам, что Король не изжил националистических предрассудков и его поведение есть пренебрежение дружбой народов. Ведь не надо Королю забывать, что именно фашисты используют националистические предрассудки, играют на них.

Все, что говорил Берман, само по себе было справедливо и верно. Революция, демократия родили идеи, о которых он говорил сейчас взволнованным голосом. Но сила Бермана в эти минуты заключалась в том, что не он служил идее, она служила ему, его сегодняшней нехорошей цели.

— Видите, товарищи, — сказал комиссар. — Там, где нет идейной ясности, нет и дисциплины. Этим и объясняется сегодняшний поступок Короля.

Он подумал и добавил:

— Безобразный поступок Короля, безобразное, несоветское поведение Короля.

Тут уж, конечно, Закаблука не мог вмешаться, проступок Короля комиссар связал с вопросом политическим, и Закаблука знал, что ни один строевой командир никогда не посмеет вмешаться в действия политических органов.

— Вот какое дело, товарищи, — сказал Берман и, помолчав некоторое время, чтобы увеличить впечатление от своих слов, закончил: — Ответственность за это безобразие ложится на непосредственного виновника, но она ложится и на меня, комиссара полка, не сумевшего помочь летчику Королю изжить в себе отсталое, отвратительное, националистическое. Вопрос серьезней, чем казалось мне вначале, поэтому я не буду сейчас наказывать Короля за совершенное им нарушение дисциплины. Но я принимаю на себя задачу перевоспитания младшего лейтенанта Короля.

Все зашевелились, поудобней усаживаясь, почувствовали: обошлось.

Король посмотрел на Бермана, и что-то было такое в его взгляде, отчего Берман поморщился, дернул плечом и отвернулся.

А вечером Соломатин сказал Викторову:

— Видишь, Леня, у них всегда так, — один за другого, шито-крыто; попался бы ты или Ваня Скотной на таком деле, — закатал бы, будь уверен, Берман в штрафное подразделение.

38

Вечером в блиндаже летчики не спали, лежа на нарах, курили и разговаривали. Скотной за ужином выпил прощальные граммы и напевал:

Машина в штопоре кружится,
Ревет, летит земле на грудь,
Не плачь, родная, успокойся,
Меня навеки позабудь.

Великанов все же не выдержал, проболтался, и стало известно, что полк перебазируется под Сталинград.

Луна поднялась над лесом, и беспокойное пятно засветлело меж деревьев. Деревня, расположенная в двух километрах от аэродрома, лежала словно в золе, темная, притихшая. Летчики, сидевшие у входа в блиндаж, оглядывали чудный мир земных ориентиров. Викторов смотрел на легкие лунные тени от крыльев и хвостов «яков», тихонько подпевал певцу:

И вынут нас из-под машины,
Поднявши на руки каркас,

Взовьются в небо ястребочки,
В последний путь проводят нас.

А те, что лежали на нарах, беседовали. Говоривших не было видно в полутьме, но они хорошо знали друг друга по голосу и, не называя имен, отвечали на вопросы и задавали вопросы.

— Демидов сам просился на задания, он без воздуха худел.

— Помнишь, под Ржевом, когда мы сопровождали «петляковых», восемь «мессеров» на него навалилось, он бой принял, семнадцать минут держался.

— Да, сменять истребителя на «юнкерса» — целесообразная вещь.

— Идет в воздухе и поет. Я каждый день его песни вспоминаю. Он и Вертинского пел.

— Развитой, москвич!

— Да, уж этот в воздухе не бросит. Всегда за отстающим следил.

— Ты его и не узнал хорошо.

— Узнал я. Напарника видишь в полете машины. Он мне раскрылся.

Скотной закончил очередной куплет песни, и все притихли, ожидая, пока он снова запоет. Но Скотной не стал петь.

Он повторил известную на боевых аэродромах поговорку, сравнивавшую жизнь летчика-истребителя с короткой детской рубашонкой.

Заговорили о немцах.

— Его тоже сразу определяешь, какой сильный, настойчивый, какой ловит простачков, клюет сзаду, караулит отстающего.

— У них, в общем, пары не так крепки.

— Ну, не скажи.

— Фриц в раненого зубами вцепится, а от активного уйдет.

— Один на один, пусть у него и две железки, я его собью!

— Ты не обижайся, но я бы за сбитого «юнкерса» не стал бы звание присваивать.

— Таран — вот русская натура.

— А чего мне обижаться, ты у меня звания не отнимешь.

— Да, насчет тарана у меня мысль давно есть… Я его еще ударю винтярой!

— Таран на догоне — вот таран! Загнать его в землю: с дымом, с газом!

— Интересно, командир полка корову и кур возьмет с собой на «дуглас»?

— Их уже порешили всех: солят!

Кто-то протяжно и задумчиво проговорил:

— Я бы в хороший клуб зайти сейчас с девушкой постеснялся, отвык совсем.

— Зато Соломатин не стесняется.

— Или завидуешь, Леня?

— Завидую факту, а не объекту.

— Ясно. Верен до гроба.

Потом все стали вспоминать бой под Ржевом, последний перед выходом в резерв, когда семь истребителей столкнулись с большой группой «юнкерсов», шедших на бомбежку в сопровождении «мессеров». И казалось, каждый говорил о себе, но это казалось — говорили об общем.

— На фоне леса их не видно было, а поднялись — сразу заметно. Идут в три яруса! Я сразу признал «Ю-восемьдесят семь»: ноги торчат, нос желтый. Тут уж сел поудобней: ну, будет дело!

— А я сперва подумал: это разрывы зенитных.

— Солнце, конечно, способствовало этому делу! Я прямо с солнца на него свалился. Я левым ведомым шел. Тут сразу меня метров на тридцать подкинуло… Подкачал — ничего, самолет слушается! Пошел на «юнкерса» всем оружием, подзакоптил его, а тут «мессер», длинный, как щука желтоносая, дал вираж, но опоздал. Вижу — по мне огоньки, идет синяя трасса.

— А я вижу, моя трасса в его черных плоскостях

кончается.

— Увлекаешься!

— Я еще в детстве пускал змеев, отец драл меня! А на заводе был, семь километров в аэроклуб ходил после работы, язык на плечо, а ни одного занятия не пропустил.

— Нет, ты сюда послушай. Он меня — поджег: масляный бак, трубки бензиновые. Внутри загорелся. Пару! А тут еще ударил мне в козырек, разбил очки, стекла летят из козырька, слезы текут. Ну я что, — рванул под него, сорвал очки! Соломатин меня прикрыл. И знаешь — горю, а страха нет, — времени не хватает! Сел все же, сам не обгорел, сапоги сгорели, самолет сгорел.

— Я же вижу — сейчас свалят нашего парня. А я еще два виража сделал, он мне помахал: иди! Я был не парный, кидался вышибать «мессеров» у тех, кто нуждался.

— Ох, и я же тогда привез пробоин, избили меня, как старую куропатку.

— Я двенадцать раз ходил на этого фрица, подзакоптил! Вижу — мотает головой — верный куш есть! На расстоянии двадцати пяти метров пушкой его сбил.

— Да, вообще надо сказать — немец не любит бой на горизонталях, старается перейти на вер-

тикальный.

— Вот это сказанул!

— А что?

— Да кто же этого не знает? Это уж в деревне девки знают: он отрывается от резких виражей.

— Эх, «чаечек» надо было тогда получше прикрыть, там люди хорошие.

Потом стало тихо, и кто-то сказал:

— Уйдем завтра чуть свет, а Демидов останется тут один.

— Ну, ребята, кто куда, а я в сберкассу, — надо в деревню сходить.

— Прощальный визит — пошли!

Ночью все вокруг — река, поля, лес — было так тихо и прекрасно, что казалось, в мире не может быть ни вражды, ни измены, ни голода, ни старости, а одна лишь счастливая любовь. Облака наплывали на луну, и она шла в сером дыму, и дым застилал землю. Мало кто ночевал в эту ночь в блиндажах. На лесной опушке, у деревенских заборов мелькали белые платки, слышался смех. В тишине вздрагивало дерево, испуганное ночным сновидением, а иногда речная вода неразборчиво бормотала и вновь беззвучно скользила.

Пришел горький час для любви — час разлуки, час судьбы, — одну, что плачет, забудут на второй

день, других разлучит смерть, кому-то судьба присудит верность, встречу.

Но вот пришло утро. Заревели моторы, плоский самолетный ветер прижал охваченную смятением траву, и тысячи тысяч водяных капель затрепетали на солнце… Боевые самолеты, один за другим взбираясь на синюю гору, поднимают в небо пушки и пулеметы, кружат, ждут товарищей, строятся звеньями…

И то, что ночью казалось таким необъятным, уходит, тонет в синем небе…

Видны серые коробочки-дома, прямоугольники огородов, они скользят, уходят под крыло самолета… Уже не видна тропка, поросшая травой, не видна могила Демидова… Пошли! И вот лес дрогнул, пополз под крыло самолета.

— Здравствуй, Вера! — сказал Викторов.

39

В пять часов утра дневальные стали будить заключенных. Стояла глубокая ночь, бараки были освещены безжалостным светом, которым освещаются тюрьмы, узловые железнодорожные станции, приемные покои в городских больницах.

Тысячи людей, харкая, кашляя, подтягивали ватные штаны, наворачивали на ноги портянки, чесали бока, животы, шеи.

Когда спускавшиеся со вторых этажей деревянных нар задевали ногами по головам одевавшихся внизу, те не ругались, а молча отодвигали головы либо отпихивали рукой толкавшие их ноги.

В ночном пробуждении массы людей, мелькании портянок, движении спин, голов, махорочного дыма, в воспаленном, ярком электрическом свете была пронзительная неестественность: сотни квадратных километров тайги застыли в морозной тишине, а лагерь был набит людьми, полон движения, дыма, света.

Всю первую половину ночи шел снег, и сугробы завалили двери бараков, захлестнули дорогу,

ведущую к шахтам…

Медленно завыли шахтные сирены, и, может быть, где-нибудь в тайге волки подвывали их широкому и безрадостному голосу. На лагерном поле сипло лаяли овчарки, слышался гул тракторов, расчищавших дороги к шахтным зданиям, перекликались конвойные…

Сухой снег, освещенный прожекторами, блестел нежно и кротко. На широком лагерном поле под беспрерывный лай собак началась поверка. Голоса конвойных звучали простуженно и раздраженно… Но вот широкий, взбухающий от обилия живой поток поплыл в сторону шахтных копров. Скрипели ботинки и валенки. Вытаращив свой одинокий глаз, пялилась караульная вышка…

А сирены все выли, дальние и близкие, — северный сводный оркестр. Он звучал над морозной красноярской землей, над автономной республикой Коми, над Магаданом, над Советской Гаванью, над снегами колымского края, над чукотской тундрой, над лагерями мурманского севера и северного Казахстана…

Под голоса сирен, под удары ломика по подвешенной к дереву рельсе шли добытчики соликамского калия, ридеровской и балхашской

меди, колымского никеля и свинца, кузнецкого и сахалинского угля, шли строители железной дороги, идущей поверх вечной мерзлоты вдоль берега Ледовитого океана, колымских бархатных трасс, рабочие лесоповала Сибири и Северного Урала, мурманского и архангельского края…

В этот снежный ночной час начинался день на таежных лагпунктах и командировках великой лагерной громады Дальстроя.

40

Ночью у зека Абарчука был приступ тоски. Не той привычной и угрюмой лагерной тоски, а обжигающей, как малярия, заставляющей вскрикивать, срываться с нар, ударять себя по вискам, по черепу кулаками.

Утром, когда заключенные поспешно и одновременно неохотно собирались на работу, сосед Абарчука, газовый десятник, кавалерийский комбриг времен гражданской войны, длинноногий Неумолимов спросил:

— Что это ты мотался так ночью? Баба снилась? Ржал даже.

— Тебе бы только баба, — ответил Абарчук.

— А я думал, ты во сне плачешь, — сказал второй сосед по нарам, придурок Монидзе, член президиума Коммунистического интернационала молодежи, — я тебя разбудить хотел.

А третий лагерный друг Абарчука, фельдшер Абраша Рубин, ничего не заметил и сказал, когда они выходили в морозную тьму:

— Мне, знаешь, сегодня снился Николай Иванович Бухарин, будто он приехал к нам в Институт красной профессуры веселый, живой, и идет

дикий шум по поводу теории Енчмена.

Абарчук пришел на работу в инструментальный склад. Пока его помощник Бархатов, зарезавший когда-то с целью грабежа семью из шести человек, растапливал печь кедровыми чурками — отходами от лесопильной рамы, Абарчук перекладывал инструменты, лежавшие в ящиках. Ему казалось, что колючая острота напильников и резцов, напитавшихся обжигающим холодом, передает чувство, испытанное им ночью.

День ничем не отличался от предыдущих. Бухгалтер прислал с утра утвержденные техотделом заявки дальних лагпунктов. Надо было отобрать материалы и инструменты, упаковать их в ящики, составить сопроводительные ведомости. Некоторые посылки были некомплектны, и требовалось составление особых актов.

Бархатов, как всегда, ничего не делал, и заставить его работать нельзя было. Он, приходя на склад, занимался лишь вопросами питания, и сегодня он с утра варил в котелке суп из картофеля и капустных листьев. На минуту забежал к Бархатову профессор латыни из Харьковского фармацевтического института — посыльный при первой части, и дрожащими красными пальцами высыпал на стол немного грязного пшена. Бархa-

тов за какие-то дела брал с него калым.

Днем Абарчука вызвали в финчасть — в отчете не сходились цифры. Зам. нач. финчасти кричал на него, грозился написать рапорт начальнику. От этих угроз Абарчуку стало тошно. Один, без помощника, он не справлялся с работой, а пожаловаться на Бархатова он не смел. Он устал, боялся потерять работу кладовщика, попасть опять в шахту или на лесоповал. Он уж поседел, сил стало мало… Вот, наверное, и от этого охватила его тоска — жизнь ушла под сибирский лед.

Когда он вернулся из финчасти, Бархатов спал, подложив под голову валенки, видимо, принесенные ему кем-то из уголовников; рядом с его головой стоял пустой котелок, к щеке прилипло трофейное пшено.

Абарчук знал, что Бархатов иногда уносит со склада инструменты, возможно, валенки появились в результате обменных операций со складским имуществом. А когда Абарчук однажды, недосчитавшись трех напильников, сказал: «Как не стыдно во время Отечественной войны воровать дефицитный металл», — Бархатов ему ответил: «Ты, вошь, молчи. А то знаешь!»

Абарчук не смел прямо будить Бархатова и стал греметь, перекладывать ленточные пи-

лы, кашлять, уронил на пол молоток. Бархатов проснулся, спокойными, недовольными глазами следил за ним.

Потом он негромко сказал:

— Малый со вчерашнего эшелона рассказывал, — есть лагеря хуже Озерных. Зека в кандалах, полчерепа побритые. Фамилий нет, одни номера понашиты на груди, на коленях, а на спине бубновый туз.

— Брехня, — сказал Абарчук.

Бархатов мечтательно сказал:

— Надо бы всех фашистов политических туда собрать, а тебя, падло, первым, чтобы не будил меня.

— Простите, гражданин Бархатов, я нарушил ваш покой, — сказал Абарчук.

Он очень боялся Бархатова, но иногда не мог справиться со своим раздражением.

В час смены на склад зашел черный от угольной пыли Неумолимов.

— Ну как соревнование? — спросил Абарчук. — Включается народ?

— Разворачиваем. Уголек-то на военные нужды идет, — это все понимают. Плакаты сегодня из КВЧ принесли: поможем Родине ударным трудом.

Абарчук вздохнул, сказал:

— Знаешь, надо написать труд о лагерной тоске. Одна тоска давит, вторая наваливается, третья душит, дышать не дает. А есть такая особая, которая не душит, не давит, не наваливается, а изнутри разрывает человека, вот как разрывает глубинных чудовищ давление океана.

Неумолимов грустно улыбнулся, но зубы его не блеснули белизной, они у него были порченые, сливались по цвету с углем.

Бархатов подошел к ним, и Абарчук, оглянувшись, сказал:

— Всегда ты так бесшумно ходишь, я вздрагиваю даже: вдруг уж ты рядом.

Бархатов, человек без улыбки, озабоченно проговорил:

— Я схожу на продсклад, не возражаешь?

Он ушел, и Абарчук сказал своему другу:

— Вспомнил ночью сына от первой жены. Он, наверное, на фронт пошел.

Он наклонился к Неумолимову.

— Мне хочется, чтобы парень вырос хорошим коммунистом. Я вот думал, встречусь с ним, скажу ему: помни, судьба твоего отца — случай, мелочь. Дело партии — святое дело! Высшая закономерность эпохи!

— Он твою фамилию имеет?

— Нет, — ответил Абарчук, — я считал, что из него вырастет мещанин.

Накануне вечером и ночью он думал о Людмиле, ему хотелось видеть ее. Он искал обрывки московских газет, вдруг прочтет: «лейтенант Анатолий Абарчук». И ему станет ясно, что сын захотел носить фамилию отца.

Впервые в жизни ему захотелось жалости к себе, и он представлял, как подойдет к сыну, дыхание прервется, и он покажет рукой на горло: «Не могу говорить».

Толя обнимет его, и он положит голову сыну на грудь и заплачет, без стыда, горько, горько. И они так будут долго стоять, сын выше его на голову…

Сын постоянно думал об отце. Он разыскал товарищей отца, узнал, как отец участвовал в боях за революцию. Толя скажет: «Папа, папа, ты совсем белый стал, какая у тебя худая, морщинистая шея… Все эти годы ты боролся, ты вел великую, одинокую борьбу».

Во время следствия его кормили три дня соленым и не давали воды, били.

Он понял, что дело не в том, чтобы заставить его подписать показания о диверсиях и о шпионаже, и не в том, чтобы он оговорил людей. Главное

было в том, чтобы он усомнился в правоте дела, которому отдал жизнь. Когда шло следствие, ему казалось, что он попал в руки бандитов и стоит добиться встречи с начальником отдела — и бандит-следователь будет схвачен.

Но шло время, и он увидел, что дело не только в нескольких садистах.

Он узнал законы эшелона и законы арестантского пароходного трюма. Он видел, как уголовные проигрывали в карты не только чужие вещи, но и чужую жизнь. Он видел жалкий разврат, предательство. Он видел уголовную Индию, истеричную, кровавую, мстительную, суеверную, невероятно жестокую. Он видел страшные побоища между «суками» — работающими и «ворами» — ортодоксами, отказывающимися от работы.

Он говорил: «Зря не сажают», считал, что посажена по ошибке маленькая кучка людей, в том числе и он, остальные репрессированы за дело, — меч правосудия покарал врагов революции.

Он видел угодливость, вероломство, покорность, жестокость… Он называл эти черты родимыми пятнами капитализма и считал, что их несли на себе бывшие люди, белые офицеры, кулачье, буржуазные националисты.

Его вера была непоколебима, его преданность партии — беспредельна…

Неумолимов, собираясь уходить со склада, неожиданно сказал:

— Да, забыл, ведь тебя тут один спрашивал.

— Это где же?

— Со вчерашнего эшелона. Их на работу распределяли. Один тебя спросил. Я говорю: «Случайно знаю, я с ним случайно четвертый год рядом на нарах сплю». Он мне назвался, но фамилия вылетела из головы.

— А он какой по виду? — спросил Абарчук.

— Да знаешь, плюгавенький, шрам на виске.

— Ох! — вскрикнул Абарчук. — Неужели Магар?

— Во-во.

— Да это же мой старший товарищ, учитель мой, он меня в партию ввел! О чем он спрашивал? Что говорил?

— Обычное спрашивал, — какой у тебя срок? Я сказал: просил пять, получил десять. Теперь, говорю, кашлять стал, освободится досрочно.

Абарчук, не слушая Неумолимова, повторял:

— Магар, Магар… Он работал одно время в ВЧК… Это был особый человек, знаешь, особый. Все товарищу отдаст, шинель зимой с себя сни-

мет, последний кусок хлеба товарищу отдаст. А умен, образованный. И чистых пролетарских кровей, сын керченского рыбака.

Он оглянулся и наклонился к Неумолимову.

— Помнишь, мы говорили, коммунисты в лагере должны создать организацию, помогать партии, а Абрашка Рубин спросил: «Кого же в секретари?» Вот его.

— А я за тебя голосну, — сказал Неумолимов, — я его не знаю. Где найдешь его, — десять машин с людьми пошли на лагпункты, наверное, и он поехал.

— Ничего, найдем, ах, Магар, Магар. Значит, спрашивал обо мне?

Неумолимов сказал:

— Чуть не забыл, зачем к тебе шел. Дай мне бумаги чистой. Вот память стала.

— Письмо?

— Нет, заявление Семе Буденному. На фронт буду проситься.

— Не пустят.

— Меня Сема помнит.

— Политических в армию не берут. Вот дадут наши шахты больше угля, и за это бойцы спасибо скажут, там и твоя доля будет.

— Я в войска хочу.

— Тут Буденный не поможет. Я Сталину писал.

— Не поможет? Шутишь, — Буденный! Иль тебе бумаги жалко? Я бы не стал просить, но мне в КВЧ бумаги не дают. Я свою норму использовал.

— Ладно, дам листик, — сказал Абарчук.

У него имелось немного бумаги, за которую он не должен был отчитываться. А в КВЧ бумагу давали счетом, и надо было потом показывать, на что использована она.

Вечером в бараке шла обычная жизнь.

Старый кавалергард Тунгусов, моргая глазами, рассказывал бесконечную историю-роман: уголовные внимательно слушали, почесываясь, и одобрительно покачивали головами. Тунгусов плел путаную, замысловатую баланду, всаживая в нее имена знакомых балерин, знаменитого Лоуренса, описания дворцов, события из жизни трех мушкетеров, плавание жюль-верновского Наутилуса.

— Постой, постой, — сказал один из слушателей, — как же она перешла границу Персии, ты вчера говорил — ее легавые отравили?

Тунгусов помолчал, кротко посмотрел на критика, потом бойко проговорил:

— Положение Надин лишь казалось безнадежным. Усилия тибетского врача, влившего в ее

полуоткрытые губы несколько капель драгоценного отвара, добытого из синих высокогорных трав, вернули ей жизнь. К утру она настолько оправилась, что могла передвигаться по комнате без посторонней помощи. Силы возвращались к ней.

Объяснение удовлетворило слушателей.

— Ясно… дуй дальше, — сказали они.

В углу, который назывался колхозный сектор, хохотали, слушая старого глупостника, немецкого старосту Гасюченко, нараспев говорящего похабные частушки:

Гоп сыдор, макотер

Дид на печки…

Дальше шли такие рифмы, что слушатели изнемогали от смеха. Страдающий от грыжи московский журналист и писатель, добрый, умный и робкий человек, медленно жевал белый сухарь — он накануне получил посылку от жены. Видимо, вкус и хруст сухаря напоминали ему прошлую жизнь — в глазах его стояли слезы.

Неумолимов спорил с танкистом, попавшим в лагерь за убийство из низменных побуждений. Танкист развлекал слушателей, глумился над кавалерией, а Неумолимов, бледный от ненависти,

кричал ему:

— Мы своими клинками, знаешь, чего делали в двадцатом году!

— Знаю, кур ворованных кололи. Одна машина КВ всю вашу Первую конную завернуть может. Вы гражданскую войну с отечкой не сравнивайте.

Молодой вор Колька Угаров приставал к Абраше Рубину, уговаривал его сменять ботинки на рваные, с оторванными подметками тапочки.

Рубин, чуя беду, нервно зевал, оглядывался на соседей, ища поддержки.

— Смотри, жид, — говорил похожий на поворотливого, светлоглазого дикого кота Кольку, — смотри, падло, ты мне последние нервы треплешь.

Потом Угаров сказал:

— Почему ты мне освобождения не подписал от работы?

— Ты ведь здоров, я не имею права.

— Не подпишешь?

— Коля, милый, клянусь тебе, я бы с радостью, но не могу.

— Не подпишешь?

— Ну пойми. Неужели ты думаешь, если б я мог…

— Ладно. Все.

— Постой, постой, пойми меня.

— Я понял. Теперь ты поймешь.

Обрусевший швед Штеддинг, о нем говорили, что он действительно шпион, отрываясь на миг от картины, которую он рисовал на куске картона, выданного ему в культурно-воспитательной части, поглядел на Кольку, на Рубина, покачал головой и снова обратился к картине. Картина называлась «Тайга-матушка». Штеддинг не боялся уголовных — они почему-то не трогали его.

Когда Колька отошел, Штеддинг сказал Рубину:

— Безумно ведете себя, Абрам Ефимович.

Не боялся уголовных и белорус Конашевич, он до лагеря был авиационным механиком на Дальнем Востоке, завоевал в тихоокеанском флоте звание чемпиона по боксу в полутяжелом весе. Конашевича уголовные уважали, но он никогда не вступался за тех, кого воры обижали.

Абарчук медленно шел по узкому проходу между двухэтажными нарами-крестами, тоска вновь охватила его. Дальний конец стометрового барака тонул в махорочном тумане, и каждый раз казалось, что, дойдя до барачного горизонта, Абарчук увидит новое, но было все то же, — тамбур, где под деревянными желобами-умывальниками

стирали портянки заключенные, прислоненные к штукатуренной стене швабры, крашеные ведра, матрасики на нарах, набитые вылезавшими сквозь мешковину стружками, ровный гул разговоров, испитые, все под один цвет лица заключенных.

Большинство зека, ожидая вечернего отбоя, сидели на нарах, говорили о супе, о бабах, о нечестности хлебореза, о судьбе своих писем Сталину и заявлений в Прокуратуру СССР, о новых нормах для отбойки и откатки угля, о сегодняшнем морозе, о завтрашнем морозе.

Абарчук шел медленно, слушая обрывки разговоров, — и казалось, все одна и та же нескончаемая беседа длится годами среди тысяч людей на этапах, в эшелонах, в лагерных бараках — у молодых о бабах, у стариков о еде. Особенно было нехорошо, когда о женщинах жадно говорили старики, а о вкусной вольной еде — молодые ребята.

Проходя мимо нар, где сидел Гасюченко, Абарчук ускорил шаги, — старый человек, чью жену дети и внуки зовут «мама», «бабушка», нес такое, что страшно делалось.

Скорей бы отбой, — лечь на нары, закрыть голову ватником, не видеть, не слышать.

Абарчук посмотрел на дверь, — вот войдет Магар. Абарчук уговорит старосту, их положат рядом, и ночами они будут беседовать, откровенно, искренне, — два коммуниста, учитель и ученик, члены партии.

На нарах, где размещались хозяева барака — бригадир угольной бригады Перекрест, Бархатов, староста барака Зароков, — устроили пирушку. Шестерка — перекрестовский холуй, плановик Желябов, постелил на тумбочке полотенце, раскладывая сало, селедку, пряники — калым, полученный Перекрестом с тех, кто работал в его бригаде.

Абарчук прошел мимо хозяйских нар, чувствуя, как замирает сердце, — вдруг окликнут, позовут. Очень хотелось поесть вкусненького. Подлец Бархатов! Ведь делает все, что хочет на складе, ведь Абарчук знает, что он ворует гвозди, украл три напильника, но ни слова не заявил на вахте… мог бы подозвать: «Эй, заведующий, присядь с нами». И, презирая себя, Абарчук чувствовал, что не только желание поесть, но и другое чувство волнует его, — мелкое и подлое лагерное чувство. Побыть в кругу сильных, по-простому разговаривать с Перекрестом, перед которым трепетал весь огромный лагерь.

И Абарчук подумал о себе — падло. И тут же думал о Бархатове — падло.

Его не позвали, позвали Неумолимова, и, улыбаясь коричневыми зубами, пошел к нарам кавалерийский комбриг, кавалер двух орденов Красного Знамени. Улыбающийся человек, подходивший к воровскому столу, двадцать лет тому назад вел в бой кавалерийские полки добывать мировую коммуну…

Зачем он говорил Неумолимову сегодня о Толе, о самом своем дорогом.

Но ведь и он шел в бой за коммуну, и он из своего кабинета на кузбасской стройке рапортовал Сталину, и он волновался, окликнут ли его, когда потупившись, с делано безразличным лицом, проходил мимо тумбочки, покрытой вышитым грязным полотенцем.

Абарчук подошел к нарам Монидзе, тот штопал носок, и сказал:

— Знаешь, что я подумал. Я уже завидую не тем, кто на воле. Я завидую тем, кто попал в немецкий концлагерь. Как хорошо! Сидеть и знать, что бьет тебя фашист. У нас ведь самое страшное, самое трудное, — свои, свои, свои, у своих.

Монидзе поднял на него печальные большие глаза и сказал:

— А мне сегодня Перекрест сказал: «Имей в виду, кацо, дам тебе кулаком по черепу, доложу на вахте, и мне благодарность будет, — ты последний изменник».

Абраша Рубин, сидевший на соседних нарах, сказал:

— И не это самое плохое.

— Да, да, — сказал Абарчук, — видел, как комбриг обрадовался, когда его позвали?

— А ты огорчился, что не тебя позвали? — сказал Рубин.

Абарчук с той особой ненавистью, которая рождается болью от справедливого упрека и подозрения, сказал:

— Читай свою душу, а в мою не лезь.

Рубин по-куриному полузакрыл глаза:

— Я? Я даже огорчаться не смею. Я низшая секта, неприкасаемый. Слышал мой разговор с Колькой?

— Не то, не то, — отмахнулся Абарчук, встал и вновь зашагал в сторону тамбура по проходу между нарами, и вновь до него доходили слова длинной, не имеющей конца беседы.

— Борщ со свининкой и в будни, и в праздники.

— У нее грудь, ты не поверишь.

— А я по-простому — баранину с кашей, зачем мне ваши майонезы, граждане…

Он снова вернулся к нарам Монидзе, присел, прислушался к разговору.

Рубин говорил:

— Я не понял его, почему он сказал: «Станешь композитором». А это он имел в виду стукачей — пишут оперу, ну оперуполномоченному.

Монидзе, продолжая штопать, сказал:

— Ну его к черту, стучать — последнее дело.

— Как стучать? — сказал Абарчук. — Ты ведь коммунист.

— Такой же, как ты, — ответил Монидзе, — бывший.

— Я не бывший, — сказал Абарчук, — и ты не бывший.

И опять Рубин обозлил его, высказав справедливое подозрение, которое всегда оскорбительней и тяжелей несправедливого:

— Тут дело не в коммунизме. Надоели кукурузные помои три раза в день. Я этот суп видеть не могу. Это — за. А против — не хочется, чтобы ночью сделали темную, а утром нашли, как Орлова, в уборной, спущенным в очко. Слышал мой разговор с Колькой Угаровым?

— Головой вниз, ногами вверх! — сказал Мо-

нидзе и стал смеяться, должно быть, потому, что смеяться было нечему.

— Ты что ж, считаешь, мной руководят животные инстинкты? — спросил Абарчук и почувствовал истерическое желание ударить Рубина.

Он снова сорвался с места и пошел по бараку.

Конечно, надоела кукурузная болтушка. Сколько уж дней он гадает о грядущем обеде в день Октябрьской революции: рагу из овощей, макароны по-флотски, запеканка?

Конечно, от оперуполномоченного многое зависит, и таинственны, туманны дорожки к высотам жизни — зав. баней, хлеборез. Ведь он может работать в лаборатории, — белый халат, заведующая вольнонаемная, не зависеть от уголовных, он может работать в плановом отделе, заведовать шахтой… Но Рубин не прав. Рубин хочет унизить, Рубин подрывает силу, ищет в человеке то, что воровски прокрадывается из подсознания. Рубин диверсант.

Всю жизнь Абарчук был непримиримым к оппортунистам, ненавидел двурушников и социально чуждых.

Его душевная сила, его вера были в праве суда. Он усомнился в жене и расстался с ней. Он не поверил, что она воспитает сына непоколебимым

борцом, и он отказал сыну в своем имени. Он клеймил тех, кто колебался, презирал нытиков, проявлявших слабость маловеров. Он предавал суду итээровцев, тосковавших в Кузбассе по московским семьям. Он засудил сорок социально неясных рабочих, подавшихся со стройки в деревни. Он отрекся от мещанина-отца.

Сладко быть непоколебимым. Совершая суд, он утверждал свою внутреннюю силу, свой идеал, свою чистоту. В этом была его утеха, его вера. Он ни разу не уклонился от партийных мобилизаций. Он добровольно отказался от партмаксимума. В его самоотречении было его самоутверждение. В своей неизменной гимнастерке и сапогах он ходил на работу, на заседания коллегии наркомата, в театр, гулял в Ялте по набережной, когда партия послала его лечиться. Он хотел походить на Сталина.

Теряя право судить, он терял себя. И Рубин чувствовал это. Почти каждый день он намекал на слабости, на трусость, на жалкие желания, прокрадывающиеся в лагерную душу.

Позавчера он сказал:

— Бархатов снабжает складским металлом шпану, а наш Робеспьер молчит. Цыпленки тоже хочут жить.

Когда Абарчук, готовясь осудить кого-нибудь, ощущал, что он и сам подсуден, начинал колебаться, его охватывало отчаяние; он терял себя.

Абарчук остановился у нар, где старый князь Долгорукий говорил с молодым профессором экономического института Степановым. Степанов вел себя в лагере надменно, отказывался вставать, когда в барак входило начальство, открыто высказывал несоветские взгляды. Он гордился тем, что в отличие от массы политических заключенных сидел за дело: написал статью под заголовком «Государство Ленина — Сталина» и давал ее читать студентам. Не то третий, не то четвертый читатель донес на него.

Долгорукий вернулся в Советский Союз из Швеции. До Швеции он долго жил в Париже и стосковался по родине. Через неделю после возвращения он был арестован. В лагере он молился, дружил с сектантами и писал стихи мистического содержания.

Сейчас он читал Степанову стихи.

Абарчук, опершись плечом на перекрещенные доски, набитые между нарами первого и второго этажа, послушал чтение. Долгорукий, полузакрыв глаза, читал дрожащими, потрескавшимися губами. И негромкий голос его был дрожащий и

потрескавшийся.

Я не сам ли выбрал час рожденья,
Год и область, царство и народ,
Чтоб пройти все муки и крещенья
Совести, огня и вод.
Апокалиптическому зверю
Ввержeнный в зияющую пасть,
Павший ниже, чем возможно пасть,
В гноище и смраде – верю!
Верю в правоту верховных сил,
Расковавших древние стихии,
И из недр обугленной России
Говорю: Ты прав, что так судил!
Надо до алмазного закала
Прокалить всю толщу бытия.
Если ж дров в плавильной печи мало,
Господи, вот плоть моя!

Окончив чтение, он продолжал сидеть с полузакрытыми глазами, и губы его продолжали беззвучно шевелиться.

— Мура, — сказал Степанов, — декадентство.

Долгорукий показал бледной, бескровной ру-

кой вокруг себя.

— Вы видите, куда привели русских людей Чернышевский и Герцен. Помните, что писал Чаадаев в своем третьем философском письме?

Степанов учительским тоном сказал:

— Вы в своем мистическом мракобесии мне так же противны, как и организаторы этого лагеря. И вы, и они забываете о третьем, самом естественном пути России: пути демократии, свободы.

Абарчук уже не раз спорил со Степановым, но теперь ему не хотелось вмешиваться в разговор, клеймить в Степанове врага, внутреннего эмигранта. Он прошел в угол, где молились баптисты, послушал их бормотание.

В это время раздался зычный голос старосты Зарокова:

— Встать!

Все повскакивали с мест, — в барак вошло начальство. Скосив глаза, Абарчук видел бледное длинное лицо стоявшего, руки по швам, фитиля-доходяги Долгорукого, губы его шептали. Он, вероятно, повторял свои стихи. Рядом сидел Степанов, он, как всегда, из анархических побуждений не подчинялся разумным правилам внутреннего распорядка.

— Шмон, шмон, — шептали заключенные.

Но обыска не было. Два молодых конвойных солдата в красно-синих фуражках прошли меж нарами, оглядывая заключенных.

Поравнявшись со Степановым, один из них сказал:

— Сидишь, профессор, жопу боишься простудить.

Степанов, повернув свою курносую, широкую морду, громким голосом попугая ответил заученную фразу:

— Гражданин начальник, прошу обращаться ко мне на «вы», я являюсь политическим заключенным.

Ночью в бараке произошло ЧП, — был убит Рубин.

Убийца приставил к его уху во время сна большой гвоздь и затем сильным ударом вогнал гвоздь в мозг. Пять человек, в том числе Абарчук, были вызваны к оперуполномоченному. Опера, видимо, интересовало происхождение гвоздя. Такие гвозди недавно поступили на склад, и с производства на них еще не было требований.

Во время умывания Бархатов стал у деревянного желоба рядом с Абарчуком. Повернув к нему свое мокрое лицо, Бархатов, слизывая капли с губ, тихо сказал:

— Запомни, падло, если стукнешь оперу — мне ничего не будет. А тебя пришью в эту же ночь, да так, что лагерь содрогнется.

Вытеревшись полотенцем, он заглянул своими спокойными промытыми водой глазами в глаза Абарчука и, прочтя в них то, что хотел прочесть, пожал Абарчуку руку.

В столовой Абарчук отдал Неумолимову свою миску кукурузного супа.

Неумолимов дрожащими губами сказал:

— Вот зверь. Абрашу нашего! Какой человек! — и придвинул к себе абарчуковский суп.

Абарчук молча встал из-за стола.

При выходе из столовой толпа расступилась, в столовую шел Перекрест. Переступая порог, он нагнулся, лагерные потолки не были рассчитаны на его рост.

— Сегодня у меня рождение. Приходи гулять. Водочки выпьем.

Ужасно! Десятки людей слышали ночную расправу, видели человека, подошедшего к нарам Рубина.

Что стоило вскочить, поднять по тревоге барак. Сотни сильных людей, объединившись, могли за две минуты справиться с убийцей, спасти товарища. Но никто не поднял головы, не закричал.

Человека убили, как овцу. Люди лежали, притворяясь спящими, натягивая на головы ватники, стараясь не кашлянуть, не слышать, как метался в беспамятстве умирающий.

Какая подлость, какая овечья покорность!

Но ведь и он не спал, ведь и он молчал, покрыл голову ватником… Он отлично знал, что покорность не от пустяков, рождена опытом, знанием лагерных законов.

Подымись они ночью, останови убийцу, все равно человек с ножом сильней человека, не имеющего ножа. Сила барака — минутная сила, а нож всегда нож.

И Абарчук думал о предстоящем допросе: оперуполномоченному просто требовать показаний, — он не спит ночью в бараке, он не моется в тамбуре, подставляя спину под удар, он не ходит по шахтным продольным, он не заходит в барачную уборную, где вдруг навалятся, накинут на голову мешок.

Да, да, он видел, как ночью шел человек к спящему Рубину. Он слышал, как хрипел Рубин, бил, умирая, руками и ногами по нарам.

Оперуполномоченный, капитан Мишанин, вызвал Абарчука к себе в кабинет, прикрыл дверь, сказал:

— Садитесь, заключенный.

Он стал задавать первые вопросы, те, на которые получал всегда от политических заключенных быстрые и точные ответы.

Потом он поднял утомленные глаза на Абарчука и, заранее понимая, что многоопытный заключенный, боясь неминуемой барачной расправы, никогда не скажет, каким образом гвоздь попал в руки убийцы, несколько мгновений смотрел на Абарчука.

Абарчук тоже смотрел на него, разглядывал молодое лицо капитана, его волосы и брови, веснушки на носу и думал, что капитан старше его сына не больше, чем на два-три года.

Капитан задал вопрос, тот, ради которого вызвал заключенного, вопрос, на который уже не ответили трое допрошенных до Абарчука.

Абарчук некоторое время молчал.

— Вы что, глухой?

Абарчук продолжал молчать.

Как хотелось ему, чтобы оперуполномоченный, пусть даже не искренне, а лишь применяя установленный следственный прием, сказал: «Слушай, товарищ Абарчук, ведь ты коммунист. Сегодня ты в лагере, а завтра мы с тобой будем в одной организации членские взносы платить.

Помоги мне, как товарищ товарищу, как члену партии».

Но капитан Мишанин сказал:

— Заснули, что ли, так я вас сейчас разбужу.

Но Абарчука не надо было будить.

Осипшим голосом он сказал:

— Гвозди воровал со склада Бархатов. Он взял, кроме того, со склада три напильника. Убийство, по-моему, совершил Николай Угаров. Я знаю, что Бархатов передал ему гвоздь, а Рубина Угаров несколько раз грозил убить. И вчера обещал: Рубин не давал ему освобождения по болезни.

Затем он взял протянутую ему папиросу и сказал:

— Я считаю своим партийным долгом заявить вам об этом, товарищ оперуполномоченный. Товарищ Рубин — старый член партии.

Капитан Мишанин дал ему прикурить и начал быстро, молча писать. Потом он сказал мягким голосом:

— Вы должны знать, заключенный, — ни о каком партийном членстве вам говорить не полагается. Вам запрещено обращение — товарищ. Я для вас гражданин начальник.

— Виноват, гражданин начальник, — сказал Абарчук.

Мишанин сказал ему:

— Деньков несколько, пока я не закончу дознания, у вас тут порядок будет. А потом, знаете… Можно вас перевести в другой лагерь.

— Нет, я не боюсь, гражданин начальник, — сказал Абарчук.

Он шел на склад, зная, что Бархатов его ни о чем не спросит. Бархатов неотступно будет глядеть на него, вытянет правду, следя за его движениями, взглядами, покашливаниями.

Он был счастлив, он победил себя.

Он вновь обрел право суда. И, вспоминая Рубина, Абарчук жалел, что не может высказать ему того плохого, что думал о нем вчера.

Прошло три дня, а Магар не появлялся. Абарчук спрашивал о нем в управлении шахт, ни в одном из списков знакомые Абарчуку писари не нашли фамилии Магара.

Вечером, когда Абарчук понял, что судьба их развела, пришел в барак занесенный снегом санитар Трюфелев и, выдирая ледяшки из ресниц, сказал Абарчуку:

— Слышьте, тут к нам в санчасть поступил один заключенный, просил вас прийти до него.

Трюфелев добавил:

— Давай лучше сейчас тебя проведу. Отпросись

у старосты, а то, знаешь, в наших зека сознательности никакой — накроется в два счета, агитируй его, когда наденет деревян-бушлат.

41

Санитар привел Абарчука в больничный коридор, пахнущий своим особым, отличным от бараков, плохим запахом. Они прошли в полутьме мимо наваленных деревянных носилок и связанных в тюки старых ватников, видимо, дожидавшихся дезинфекции.

Магар лежал в изоляторе — каморке с бревенчатыми стенами, где почти вплотную одна к другой стояли две железные кровати. В изолятор обычно клали либо больных инфекционными заболеваниями, либо доходяг-умирающих. Тоненькие ножки кроватей казались проволочными, но они не были погнуты, полнотелые люди никогда не лежали на этих кроватях.

— Не сюда, не сюда, правей, — раздался голос настолько знакомый, что Абарчуку показалось, — нету седины, нету неволи, а снова то, чем жил и ради чего счастлив был отдать жизнь.

Он, вглядываясь в лицо Магара, исступленно, медленно сказал:

— Здравствуй, здравствуй, здравствуй…

Магар, боясь не справиться с волнением, произнес нарочито буднично:

— Да садись, садись прямо против меня на койку.

И, видя взгляд, которым Абарчук поглядел на соседнюю койку, добавил:

— Ты его не потревожишь, его уж никто не потревожит.

Абарчук наклонился, чтобы лучше видеть лицо товарища, потом снова оглянулся на прикрытого покойника:

— Давно он?

— Часа два назад умер, санитары его не тревожат пока, ждут врача, это лучше, а то положат другого, живой говорить не даст.

— Это верно, — сказал Абарчук и не задал вопросы, страстно интересующие его: «Ну как, ты с Бубновым проходил или по делу Сокольникова? А срок какой у тебя? Ты был во Владимирском или Суздальском политизоляторе? Особое совещание или военная коллегия? Ты подписал на себя?»

Он оглянулся на прикрытое тело, спросил:

— А кто он, отчего умер?

— Умер от лагеря, раскулаченный. Звал какую-то Настю, все хотел уходить куда-то…

Абарчук постепенно различил в полумраке лицо Магара. Он не узнал бы его, какое уж там не изменился — умирающий старик!

Чувствуя спиной прикосновение твердой, согнутой в локте руки покойника, ощущая на себе взгляд Магара, он подумал: «Тоже, наверно, считает: в жизни б не узнал».

А Магар сказал:

— Я только сейчас понял, — он все бубнил что-то вроде: би… би… би… би… а это он просил: «Пить, пить», кружка рядом, хоть бы выполнил его последнюю волю.

— Видишь, мертвый тоже вмешивается.

— А это понятно, — сказал Магар, и Абарчук услышал знакомую, всегда волновавшую его интонацию: так обычно Магар начинал серьезный разговор. — Ведь говорим о нем, а разговор о себе.

— Нет, нет! — Абарчук, поймав горячую ладонь Магара, сжал ее, обнял его за плечи, затрясся от беззвучного рыдания, задохнулся.

— Спасибо тебе, — бормотал он, — спасибо тебе, спасибо, товарищ, друг.

Они молчали, оба тяжело дыша. Их дыхание смешивалось в одно, и Абарчуку казалось, что не только дыхание их слилось.

Магар заговорил первый.

— Слушай, — сказал он, — слушай, друг, я тебя так в последний раз называю.

— Брось ты, ты будешь жить! — сказал Абарчук.

Магар сел на постели.

— Как пытки не хочу, но должен сказать. И ты слушай, — сказал он покойнику, — это тебя касается, твоей Насти. Это мой последний революционный долг, и я его выполню! Ты, товарищ Абарчук, особая натура. Да и встретились мы когда-то в особое время, — мне кажется, наше лучшее время. Вот я скажу тебе… Мы ошиблись. Наша ошибка вот к чему привела — видишь… мы с тобой должны просить прощения у него. Дай-ка мне закурить. Да какое уж там каяться. Сего не искупить никаким покаянием. Это я хотел сказать тебе. Раз. Теперь — два. Мы не понимали свободы. Мы раздавили ее. И Маркс не оценил ее: она основа, смысл, базис под базисом. Без свободы нет пролетарской революции. Вот два, и слушай — три. Мы проходим через лагерь, тайгу, но вера наша сильней всего. Не сила это — слабость, самосохранение. Там, за проволокой, самосохранение велит людям меняться, иначе они погибнут, попадут в лагерь, — и коммунисты создали кумира, погоны надели, мундиры, исповедуют национализм, на рабочий класс подняли руку, надо будет, дойдут до черносотенства… А здесь, в лагере, тот

же инстинкт им велит не меняться — если не хочешь покрыться деревян-бушлатом, то не меняйся в лагерные десятилетия, в этом спасение… Две стороны медной монетки…

— Перестань! — крикнул Абарчук и вскочил, поднес к лицу Магара сжатый кулак. — Тебя сломали! Ты не вынес! То, что ты сказал, ложь, бред.

— Хорошо бы, но я не в бреду. Я ведь снова зову тебя! Как двадцать лет назад звал! Если мы не можем жить, как революционеры, — умрем, так жить хуже.

— Хватит, довольно!

— Прости меня. Я понимаю. Я похож на старую гетеру, что плачет о потерянной добродетели. Но говорю тебе: помни! Дорогой мой, прости меня…

— Простить? Да лучше бы я, лучше бы ты вот так, как этот мертвец, лежали, не дожив до часа встречи…

Стоя уже в дверях, Абарчук проговорил:

— Я еще приду к тебе… Я тебе вправлю мозги, теперь я буду твоим учителем.

Утром санитар Трюфелев встретился Абарчуку на лагерном дворе, он тащил на санках бидон с молоком, обвязанный веревками. Странно было, что за полярным кругом у человека потное лицо.

— Твоему дружку молочка не пить, — сказал

он, — удавился сегодня ночью.

Приятно поразить человека новостью, и санитар с дружелюбным торжеством смотрел на Абарчука.

— Записку оставил? — спросил Абарчук и хлебнул ледяного воздуха. Ему показалось, что Магар обязательно оставил записку, — то, вчерашнее, нашло на него случайно.

— Зачем записка? Что ни напишешь — к оперу попадает.

Эта ночь была самая тяжелая в жизни Абарчука. Он лежал не шевелясь, стиснув зубы, глядя широко открытыми глазами на стену с темными следами давленых клопов.

Он обращался к сыну, которому не хотел когда-то дать своей фамилии, и звал его: «Ты теперь один у меня, ты один — моя надежда. Видишь, друг, учитель хотел удавить мой ум, мою волю и сам удавился. Толя, Толя, ты один, один у меня на всем свете. Видишь ли ты меня, слышишь ли ты меня? Узнаешь ли когда-нибудь, что и в эту ночь отец твой не согнулся, не поколебался?»

А вокруг, рядом, спал лагерь — спал тяжело, громко, некрасиво, в тяжелом, удушливом воздухе, с храпом, лепетанием, сонным визгом, со скрежетом зубов, с протяжными стонами и

вскрикиваниями.

Абарчук вдруг приподнялся на нарах, казалось, рядом шевельнулась чья-то быстрая, бесшумная тень.

42

В конце лета 1942 года войска кавказской группы Клейста захватили первый советский нефтяной промысел близ Майкопа. Немецкие войска были на Нордкапе и на Крите, в северной Финляндии и на берегу Ла-Манша. Народный маршал, солдат на солнце, Эрвин Роммель, стоял в 80 километрах от Александрии. На вершине Эльбруса горные егеря водрузили знамя со свастикой. Манштейн получил приказ двинуть гигантские пушки и верферы — новую реактивную артиллерию, на цитадель большевизма — Ленинград. Скептик Муссолини разрабатывал план вступления в Каир, тренировался в езде на арабском жеребце. Солдат на снегу, Диттль, стоял в тех северных широтах, до которых не доходил ни один европейский завоеватель. Париж, Вена, Прага, Брюссель стали провинциальными немецкими городами.

Пришла пора осуществить самые жестокие планы национал-социализма, направленные против человека, его жизни и свободы. Лидеры фашизма лгут, утверждая, что напряжение борьбы вынуждает их быть жестокими. Опасность,

наоборот, отрезвляет их, неуверенность в своих силах заставляет их сдерживаться.

Мир захлебнется в крови в тот день, когда фашизм полностью будет уверен в своем окончательном торжестве. Если у фашизма не останется вооруженных врагов на земле, палачи, убивающие детей, женщин и стариков, не будут знать удержу. Ведь главный враг фашизма — человек.

Осенью 1942 года имперское правительство приняло ряд особо жестоких, бесчеловечных законов.

В частности, 12 сентября 1942 года, в пору апогея военного успеха национал-социализма, евреи, населяющие Европу, были полностью изъяты из юрисдикции судов и переданы гестапо.

Руководство партии и лично Адольф Гитлер вынесли решение о полном уничтожении еврейской нации.

43

Софья Осиповна Левинтон иногда думала о том, что было прежде, — пять курсов Цюрихского университета, летняя поездка в Париж и в Италию, концерты в консерватории и экспедиции в горные районы Центральной Азии, врачебная работа, которую она вела тридцать два года, любимые кушанья, друзья, чья жизнь, с тяжелыми и веселыми днями, сплелась с ее жизнью, привычные телефонные звонки, привычные словечки «хошь… покедова…», картонные игры, вещи, оставшиеся в ее московской комнате.

Вспоминались сталинградские месяцы — Александра Владимировна, Женя, Сережа, Вера, Маруся. Чем ближе были ей люди, тем дальше, казалось, ушли они от нее.

Как-то перед вечером в запертом товарном вагоне эшелона, стоявшего на запасных путях какой-то узловой станции недалеко от Киева, она искала вшей в вороте своей гимнастерки, а рядом две пожилые женщины быстро, негромко говорили по-еврейски. В этот момент она с необычайной ясностью осознала, что это именно с ней, с Сонечкой, Сонькой, Софой, Софьей Осиповной

Левинтон, майором медицинской службы, — все это произошло.

Главное изменение в людях состояло в том, что у них ослабевало чувство своей особой натуры, личности и силилось, росло чувство судьбы.

«Кто же действительно, по-настоящему — я, я, я? — думала Софья Осиповна. — Та куцая, сопливая, которая боялась папы и бабушки, или та толстая, вспыльчивая, со шпалами на вороте, или вот эта, пархатая, вшивая?»

Желание счастья ушло, но появилось множество мечтаний: убить вшей… добраться до щелки и подышать воздухом… помочиться… помыть хотя бы одну ногу… и желание, жившее во всем теле, — пить.

Ее втолкнули в вагон, и она, оглянувшись в полутьме, казавшейся ей поначалу тьмой, услышала негромкий смех.

— Здесь смеются сумасшедшие? — спросила она.

— Нет, — ответил мужской голос. — Здесь рассказывают анекдот.

Кто-то меланхолически произнес:

— Еще одна еврейка попала в наш несчастный эшелон.

Софья Осиповна, стоя у дверей, жмурясь, чтобы

привыкнуть к темноте, отвечала на вопросы.

Сразу же, вместе с плачем, стонами, зловонием Софью Осиповну вдруг поглотила атмосфера с детства забытых слов, интонаций…

Софья Осиповна хотела шагнуть внутрь вагона, но не смогла. Она нащупала в темноте худенькую ногу в коротенькой штанине и сказала:

— Прости, мальчик, я тебя ушибла?

Но мальчик ничего не ответил ей. Софья Осиповна сказала в темноту:

— Мамаша, может быть, вы подвинете своего немого молодого человека? Я ведь не могу стоять все время на ногах.

Из угла истерический актерский мужской голос проговорил:

— Надо было дать заранее телеграмму, тогда бы подготовили номер с ванной.

Софья Осиповна раздельно сказала:

— Дурак.

Женщина, чье лицо можно было уже различить в полумраке, сказала:

— Садитесь возле меня, тут масса места.

Софья Осиповна ощутила, что пальцы ее быстро, мелко дрожат.

Это был мир, знакомый ей с детства, мир еврейского местечка, и она ощутила, как все

изменилось в этом мире.

В вагоне ехали рабочие из артелей, радиомонтер, студентки педтехникума, преподаватели профшкол, инженер с консервного завода, зоотехник, девушка — ветеринарный врач. Раньше местечко не знало таких профессий. Но ведь Софья Осиповна не изменилась, та же, что когда-то боялась папы и бабушки. И, может быть, этот новый мир такой же неизменный? А в общем, не все ли равно: еврейское местечко, новое ли, старое ли, катится под откос, в бездну.

Она услышала, как молодой женский голос сказал:

— Современные немцы — это дикари, они даже не слыхали о Генрихе Гейне.

Из другого угла мужской голос насмешливо произнес:

— А в итоге дикари нас везут, как скотину. Чем уж нам помог этот Гейне.

Софью Осиповну выспрашивали о положении на фронтах, и так как она ничего хорошего не рассказала, ей объяснили, что ее сведения неверные, и она поняла, что в телячьем вагоне есть своя стратегия, основанная на страстной жажде существовать на земле.

— Неужели вы не знаете, что Гитлеру послан

ультиматум немедленно выпустить всех евреев?

Да, да, конечно, это так. Когда чувство коровьей тоски, обреченности сменялось режущим ощущением ужаса, на помощь людям приходил бессмысленный опиум — оптимизм.

Вскоре интерес к Софье Осиповне прошел, и она сделалась путницей, не знающей, куда и зачем везут ее, такой же, как и все остальные. Имя и отчество ее никто не спрашивал, фамилию ее никто не запомнил.

Софья Осиповна даже удивилась, — всего несколько дней понадобилось, чтобы пройти обратную дорогу от человека до грязной и несчастной, лишенной имени и свободы скотины, а ведь путь до человека длился миллионы лет.

Ее поражало, что в огромном постигшем людей бедствии их продолжают волновать житейские мелочи, что люди раздражаются друг против друга по пустякам.

Пожилая женщина шепотом говорила ей:

— Посмотри, докторша, на ту гранд-даму, она сидит у щелки, как будто только ее ребенку нужно дышать кислородом. Пани едет на лиман.

Ночью поезд останавливался два раза, и все вслушивались в скрипящие шаги охраны, ловили невнятные русские и немецкие слова.

Ужасно звучал язык Гёте на ночных русских полустанках, но еще более зловещей казалась родная русская речь людей, служивших в немецкой охране.

К утру Софья Осиповна страдала вместе со всеми от голода и мечтала о глотке воды. И мечта ее была куцая, робкая, ей представлялась мятая консервная банка, на дне которой немного теплой жижи. Она почесывалась быстрым, коротким движением, каким собака вычесывает блох.

Теперь, казалось Софье Осиповне, она поняла различие между жизнью и существованием. Жизнь — кончилась, оборвалась, а существование длилось, продолжалось. И хоть было оно жалким, ничтожным, мысль о насильственной смерти наполняла душу ужасом.

Пошел дождь, несколько капель залетели в решетчатое окошечко. Софья Осиповна оторвала от подола своей рубахи тонкую полосу и придвинулась к стенке вагона, и в том месте, где имелась небольшая щель, просунула материю, ждала, пока лоскут напитается дождевой влагой. Потом она втянула лоскут в щель и стала жевать прохладную мокрую тряпку. А у стен и по углам вагона люди тоже стали рвать лоскуты, и Софья Осиповна ощутила гордость, — это она изобрела

способ ловить, выуживать дождь.

Мальчик, которого Софья Осиповна толкнула ночью, сидел недалеко от нее и следил, как люди запускают тряпки в щели между дверью и полом. В неясном свете она увидела его худое, остроносое лицо. Ему, видимо, было лет шесть. Софья Осиповна подумала, что за все время ее пребывания в вагоне с мальчиком этим никто не заговаривал и он сидел неподвижно, не сказал ни с кем ни слова. Она протянула ему мокрую тряпку и сказала:

— Возьми-ка, паренек.

Он молчал.

— Бери, бери, — говорила она, и он нерешительно протянул руку.

— Как тебя зовут? — спросила она.

Он тихо ответил:

— Давид.

Соседка, Муся Борисовна, рассказала, что Давид приехал погостить к бабушке из Москвы и война отрезала его от матери. Бабушка погибла в гетто, а родственница Давида, Ревекка Бухман, которая едет с больным мужем, даже не позволяет мальчику сидеть возле себя.

К вечеру Софья Осиповна много наслушалась разговоров, рассказов, споров, сама говорила и

спорила. Обращаясь к своим собеседникам, она говорила:

— Бридер иден[5], вот что я вам скажу.

Многие с надеждой ждали конца дороги, считали, что везут их в лагеря, где каждый будет работать по специальности, а больные попадут в инвалидные бараки. Все почти беспрерывно говорили об этом. А тайный ужас, немой, молчаливый вой, не проходил, жил в душе.

Софья Осиповна узнала из рассказов, что не только человеческое живет в человеке. Ей рассказали о женщине, которая посадила парализованную сестру в корыто и вытащила ее зимней ночью на улицу, заморозила ее. Ей рассказали, что были матери, которые убивали своих детей, и что в вагоне едет такая женщина. Ей рассказали о людях, подобно крысам, тайно живших месяцами в канализационных трубах и питавшихся нечистотами, готовых на любое страдание, лишь бы существовать.

Жизнь евреев при фашизме была ужасна, а евреи не были ни святыми, ни злодеями, они были людьми.

Чувство жалости, которое испытывала Софья

---

[5] Примечания: 5
Братья евреи (*идиш*).

Осиповна к людям, возникало у нее особенно сильно, когда она смотрела на маленького Давида.

Он обычно молчал и сидел неподвижно. Изредка мальчик доставал из кармана мятую спичечную коробку и заглядывал в нее, потом снова прятал коробку в карман.

Несколько суток Софья Осиповна совершенно не спала, ей не хотелось. И в эту ночь она без сна сидела в зловонной темноте. «А где сейчас Женя Шапошникова?» — вдруг подумала она. Она слушала бормотания, вскрикивания и думала, что в спящих, воспаленных головах сейчас с ужасной живой силой стоят картины, которые словами уже не передать. Как сохранить, как запечатлеть их, — если человек останется жить на земле и захочет узнать о том, что было?..

«Злата! Злата!» — закричал рыдающий мужской голос.

44

...В сорокалетнем мозгу Наума Розенберга совершалась привычная ему бухгалтерская работа. Он шел по дороге и считал: на позавчерашних сто десять — вчерашних шестьдесят один, на них шестьсот двенадцать за пятидневку, итого семьсот восемьдесят три... Жаль, что он не вел учет мужчин, детей, женщин... Женщины горят легче. Опытный бреннер кладет тела так, чтобы костистые, богатые золой старики горели рядом с телами женщин. Сейчас дадут команду — свернуть с дороги, — вот так же командовали год назад тем, которых они сейчас откопают и начнут вытаскивать из ям крючьями, привязанными к веревкам. Опытный бреннер по неразрытому холму может определить, сколько тел лежит в яме — пятьдесят, сто, двести, шестьсот, тысяча... Шарфюрер Эльф требует, чтобы тела называли фигурами, — сто фигур, двести фигур, но Розенберг зовет их: люди, убитый человек, казненный ребенок, казненный старик. Он зовет их так про себя, иначе шарфюрер впустит в него девять граммов металла, но он упорно бормочет: вот ты выходишь из ямы, казненный человек... не

держись руками за маму, дитя, вы будете вместе, далеко ты не уйдешь от нее… «Что ты там бормочешь?» — «Я ничего, это вам кажется». И он бормочет — борется, в этом его маленькая борьба… Позавчера была яма, где лежало восемь человек. Шарфюрер кричит: «Это издевательство, команда в двадцать бреннеров сжигает восемь фигур». Он прав, но что делать, если в деревушке было две еврейских семьи. Приказ есть приказ — раскопать все могилы и сжечь все тела… Вот они свернули с дороги, идут по траве, и вот в сто пятнадцатый раз посреди зеленой поляны серый холм — могила. Восемь копают, четверо валят дубовые стволы и распиливают их на поленья длиной в человеческое тело, двое разбивают их топорами и клиньями, двое подносят с дороги сухие старые доски, растопку, банки с бензином, четверо готовят место для костра, роют канаву для поддувала, — надо сообразить, откуда ветер.

Сразу исчезает запах лесной прели, и охрана смеется, ругается, зажимает носы, шарфюрер плюет, отходит на опушку. Бреннеры бросают лопаты, берутся за крючья, завязывают тряпками рты и носы… Здравствуйте, дедушка, опять вам пришлось посмотреть на солнце; какой вы тяжелый… Убитая мама и трое детей — два мальчика,

один уже школьник, а девочка тридцать девятого года рождения, был рахит, — ничего, теперь его нет… Не держись руками за маму, дитя, она никуда не уйдет… «Сколько фигур?» — кричит с опушки шарфюрер. «Девятнадцать» — и тихо про себя: «убитых людей». Все ругаются, — полдня прошло. Зато на прошлой неделе раскопали могилу — двести женщин, все молодые. Когда сняли верхний слой земли, над могилой встал серый пар, и охрана смеялась: «Горячие бабы!» Поверх канавок, по которым тянет воздух, кладут сухие дрова, потом дубовые поленья, они дают богатый жаркий уголь, потом убитые женщины, потом дрова, потом убитые мужчины, снова дрова, потом бесхозные куски тел, потом банку бензина, потом в середку авиационную зажигательную бомбу, потом шарфюрер командует, и охрана заранее улыбается, — бреннеры поют хором. Костер горит! Потом золу кидают в яму. Снова тихо. Было тихо, и стало тихо. А потом их привели в лес, и они не увидели холма среди зелени, шарфюрер приказал копать яму — четыре на два; все поняли, — они выполнили задание: восемьдесят девять деревень, на них восемнадцать местечек, на них четыре поселка, на них два районных городка, на них три совхоза — два зерновых, один

молочный, — итого сто шестнадцать населенных пунктов, сто шестнадцать холмов раскопали бреннеры… Пока бухгалтер Розенберг копает яму для себя и других бреннеров, он подсчитывает: последняя неделя — семьсот восемьдесят три, перед этим три декады в сумме дали четыре тысячи восемьсот двадцать шесть сожженных человеческих тел, общий итог — пять тысяч шестьсот девять сожженных тел. Он считает, считает, и от этого незаметно идет время, он выводит среднее число фигур, нет, не фигур, число человеческих тел, — пять тысяч шестьсот девять делится на число могил — сто шестнадцать, получается сорок восемь и тридцать пять сотых человеческих тел в братской могиле, округляя, это будет сорок восемь человеческих тел в могиле. Если учесть, что работало двадцать бреннеров в течение тридцати семи дней, то на одного бреннера приходится… «Стройся», — кричит старший охранник, и шарфюрер Эльф зычно командует: «Ин ди грубе марш!» Но он не хочет в могилу. Он бежит, падает, снова бежит, он бежит лениво, бухгалтер не умеет бегать, но его не смогли убить, и он лежит в лесу на траве, в тишине и не думает о небе над головой, ни о Златочке, которую убили беременной на шестом месяце, он

лежит и считает то, что не успел досчитать в яме: двадцать бреннеров, тридцать семь дней, итого бреннеро-дней… — это раз; два — надо учесть, сколько кубов дров на человека; три — надо учесть, сколько часов горения в среднем на одну фигуру, сколько…

Через неделю его поймали полицейские и отвели в гетто.

И вот здесь, в вагоне, он все время бормочет, считает, делит, множит. Годовой отчет! Он должен его сдать Бухману, главному бухгалтеру Госбанка. И вдруг ночью, во сне, взрывая коросту, покрывшую его мозг и сердце, хлынули обжигающие слезы.

«Злата! Злата!» — зовет он.

45

Окно ее комнаты выходило на проволочную ограду гетто. Ночью библиотекарша Муся Борисовна проснулась, приподняла край занавески и увидела, как двое солдат тащили пулемет; на его полированном теле поблескивали синие пятна лунного света, очки шедшего впереди офицера поблескивали. Она слышала негромкий гул моторов. Машины приближались к гетто с потушенными фарами, и тяжелая ночная пыль серебрилась, клубясь вокруг их колес, — они, словно божества, плыли в облаках.

В эти тихие лунные минуты, когда подразделения СС и СД, отряды украинских полицейских, подсобные части, автомобильная колонна резерва Управления имперской безопасности подошли к воротам спящего гетто, женщина измерила рок двадцатого века.

Лунный свет, мерное величавое движение вооруженных подразделений, черные могучие грузовики, заячье постукивание ходиков на стене, замершие на стуле кофточка, лифчик, чулки, теплый запах жилья, — все несоединимое соединилось.

46

Дочь арестованного и погибшего в 1937 году старого доктора Карасика, Наташа, в вагоне время от времени пробовала петь. Иногда она напевала и ночью, но люди не сердились на нее.

Она была застенчива, всегда говорила едва слышным голосом, опустив глаза, ходила в гости только к близким родственникам и удивлялась смелости девушек, танцевавших на вечерах.

В час отбора людей, подлежащих уничтожению, ее не зачислили в кучку ремесленников и врачей, которым сохранили их полезную жизнь, — существование вянущей, поседевшей девушки было не нужно.

Полицейский подтолкнул ее к базарному пыльному холмику, на котором стояли три пьяных человека, одного из них, ныне начальника полиции, она знала до войны, — он был комендантом какого-то железнодорожного склада. Она даже не поняла, что эти трое творят приговор жизни и смерти народу; полицейский пихнул ее в гудящую тысячную толпу признанных бесполезными детей, женщин, мужчин.

Потом они шли к аэродрому под последним для

них августовским зноем, мимо пыльных придорожных яблонь, в последний раз пронзительно кричали, рвали на себе одежду, молились. Наташа шла молча.

Никогда она не думала, что кровь бывает такой поразительно красной под солнцем. Когда на миг смолкали крики, выстрелы, хрипы, — из ямы слышалось журчание крови, — она бежала по белым телам, как по белым камням.

Потом было самое нестрашное, — негромкий треск автомата и палач с простым, незлобивым, утомленным работой лицом, терпеливо ожидавший, пока она робко подойдет к нему поближе, станет на край журчащей ямы.

Ночью она, выжав намокшую рубашку, вернулась в город, — мертвые не выходят из могилы, значит, она была жива.

И вот когда Наташа пробиралась дворами в гетто, она увидела народное гулянье на площади — смешанный духовой и струнный оркестр играл печальную и мечтательную мелодию всегда нравившегося ей вальса, и при тусклой луне и тусклых фонарях по пыльной площади кружились пары — девушки, солдаты, шарканье ног смешивалось с музыкой. Увядшей девушке в этот миг стало на душе радостно, уверенно, — и она

все пела и пела потихоньку в предчувствии ждущего ее счастья, а иногда, если никто не видел, даже пробовала танцевать вальс.

47

Все, что было после начала войны, Давид помнил плохо. Но как-то ночью, в вагоне, пронзительно ясно в мозгу мальчика возникло недавно пережитое.

В темноте бабушка ведет его к Бухманам. Небо в мелких звездах, а край неба светлый, зеленовато-лимонный. Листья лопуха касаются щеки, словно чьи-то холодные влажные ладони.

На чердаке, в убежище, за фальшивой кирпичной стеной сидят люди. Черные листы кровельного железа днем раскаляются. Иногда чердачное убежище заполняется гарным духом. Гетто горит. Днем в убежище все лежат неподвижно. Монотонно плачет Светланочка, дочь Бухманов. У Бухмана больное сердце, днем его все считают мертвым. А ночью он ест и ссорится с женой.

И вдруг лай собаки. Нерусские голоса «Asta! Asta! Wo sind die Juden?», и над головой нарастает громыхание, немцы вылезли через слуховое окно на крышу.

Потом гремевший в черном жестяном небе немецкий кованый гром затих. Под стенкой слышны лукавые, несильные удары — кто-то

выстукивал стены.

В убежище наступила тишина, страстная тишина, с напружившимися мышцами плеч и шеи, с выпученными от напряжения глазами, с оскаленными ртами.

Маленькая Светлана под вкрадчивое постукивание по стене затянула свою жалобу без слов. Плач девочки вдруг, внезапно оборвался, Давид оглянулся в ее сторону и встретил бешеные глаза матери Светланы, Ревекки Бухман.

После этого раз или два на короткий миг ему представились эти глаза и откинутая, словно у матерчатой куклы, голова девочки.

А вот то, что было до войны, помнилось подробно, вспоминалось часто. В вагоне он, словно старик, жил прошлым, лелеял и любил его.

48

Двенадцатого декабря, в день рождения Давида, мама купила ему книгу-сказку. На лесной поляне стоял серенький козлик, рядом тьма леса казалась особо зловещей. Среди черно-коричневых стволов, мухоморов и поганок видна была красная, оскаленная пасть и зеленые глаза волка.

О неминуемом убийстве знал один лишь Давид. Он ударял кулаком по столу, прикрывал ладонью от волка-полянку, но он понимал, что не может оградить козленка.

Ночью он кричал:

— Мама, мама, мама!

Мать, проснувшись, подходила к нему, как облако в ночном мраке, — и он блаженно зевал, чувствуя, что самая большая сила в мире защищает его от тьмы ночного леса.

Когда он стал старше, его пугали красные собаки из «Книги джунглей». Как-то ночью комната наполнилась красными хищниками, и Давид пробрался босыми ногами по выступавшему ящику комода в постель к матери.

Когда у Давида бывала высокая температура, у него появлялся один и тот же бред: он лежал

на песчаном морском берегу, и крошечные, величиной с самый маленький мизинчик волны щекотали его тело. Вдруг на горизонте поднималась синяя бесшумная гора воды, она все нарастала, стремительно приближалась. Давид лежал на теплом песочке, черно-синяя гора воды надвигалась на него. Это было страшней волка и красных собак.

Утром мама уходила на работу, он шел на черную лестницу и выливал в банку из-под крабовых консервов чашку молока, об этом знала худая побирушка-кошка с тонким, длинным хвостом, с бледным носом и заплаканными глазами. Однажды соседка сказала, что на рассвете приезжали люди с ящиком и отвратительную кошку-нищенку, слава богу, наконец увезли в институт.

— Куда я пойду, где этот институт? Ведь это совершенно немыслимо, забудь ты об этой несчастной кошке, — говорила мама и смотрела в его умоляющие глаза. — Как ты будешь жить на свете? Нельзя быть таким ранимым.

Мать хотела его отдать в детский летний лагерь, он плакал, умолял ее, всплескивал в отчаянии руками и кричал:

— Обещаю тебе поехать к бабушке, только не в этот лагерь!

Когда мать везла его к бабушке на Украину, он в поезде почти ничего не ел, — ему казалось стыдно кушать крутое яйцо или взять из засаленной бумажки котлету.

У бабушки мама пожила с Давидом пять дней и собралась обратно на работу. Он простился с ней без слез, только так сильно обнял руками за шею, что мама сказала:

— Задушишь, глупенький. Здесь столько клубники дешевой, а через два месяца я приеду за тобой.

Возле дома бабушки Розы была остановка автобуса, ходившего из города на кожевенный завод. По-украински остановка называлась — зупынка.

Покойный дедушка был бундовцем, знаменитым человеком, он когда-то жил в Париже. Бабушку за это уважали и часто выгоняли со службы.

Из открытых окон слышалось радио: «Увага, увага, говорыть Кыив…»

Днем улица была пустынна, она оживлялась, когда шли по ней студентки и студенты кожевенного техникума, кричали друг другу через улицу: «Белла, ты сдала? Яшка, приходи готовить марксизм!»

К вечеру возвращались домой рабочие кожзаво-

да, продавцы, монтер из городского радиоцентра Сорока. Бабушка работала в месткоме поликлиники.

Давид в отсутствие бабушки не скучал.

Возле дома, в старом, никому не принадлежавшем фруктовом саду, среди дряхлых, бесплодных яблонь, паслась пожилая коза, бродили меченные краской куры, всплывали по травинкам немые муравьи. Шумно, уверенно вели себя в саду горожане — вороны, воробьи, и, как робкие деревенские дивчины, чувствовали себя залетевшие в сад полевые птицы, чьих имен Давид не знал.

Он услышал много новых слов: глечик… дикт… калюжа… ряженка… ряска… пужало… лядаче… кошеня… В этих словах он узнавал отзвуки и отражения родной ему русской речи. Он услышал еврейскую речь и был поражен, когда мама и бабушка заговорили при нем по-еврейски. Он никогда не слышал, чтобы мать говорила на языке, непонятном ему.

Бабушка привела Давида в гости к своей племяннице, толстой Ревекке Бухман. В комнату, поразившую Давида обилием плетеных белых занавесок, вошел главный бухгалтер Госбанка Эдуард Исаакович Бухман, одетый в гимнастерку

и в сапоги.

— Хаим, — сказала Ревекка, — вот наш московский гость, сын Раи, — и тут же прибавила: — Ну, поздоровайся с дядей Эдуардом.

Давид спросил главного бухгалтера:

— Дядя Эдуард, почему тетя Ревекка вас называет Хаим?

— О, вот это вопрос, — сказал Эдуард Исаакович. — Разве ты не знаешь, что в Англии все Хаимы — Эдуарды?

Потом заскреблась кошка, и когда, наконец, ей удалось когтями распахнуть дверь, все увидели посреди комнаты девочку с озабоченными глазами, сидевшую на горшке.

В воскресенье Давид пошел с бабушкой на базар. По дороге шли старухи в черных платках и заспанные, угрюмые железнодорожные проводницы, надменные жены районных руководителей с синими и красными сумками, шли деревенские женщины в сапогах-чоботах.

Еврейские нищие кричали сердитыми, грубыми голосами — казалось, им подавали милостыню не из жалости, а от страха. А по булыжной мостовой ехали колхозные грузовики-полуторки с мешками картошки и отрубей, с плетеными клетками, в которых сидели куры, вскрикивавшие на

ухабах, как старые, болезненные еврейки.

Больше всего привлекал и приводил в отчаяние, ужасал мясной ряд. Давид увидел, как с подводы стаскивали тело убитого теленка с полуоткрытым бледным ртом, с курчавой белой шерсткой на шее, запачканной кровью.

Бабушка купила пестренькую молодую курицу и понесла ее за ноги, связанные белой тряпочкой, и Давид шел рядом и хотел ладонью помочь курице поднять повыше бессильную голову, и поражался, откуда в бабушке взялась такая нечеловеческая жестокость.

Давид вспомнил непонятные ему мамины слова о том, что родня со стороны дедушки — интеллигентные люди, а вся родня со стороны бабушки — мещане и торгаши. Наверное, потому бабушка не жалела курицу.

Они зашли во дворик, к ним вышел старичок в ермолке, и бабушка заговорила с ним по-еврейски. Старичок взял курицу на руки, стал бормотать, курица доверчиво кудахтнула, потом старик сделал что-то очень быстрое, незаметное, но, видимо, ужасное, швырнул курицу через плечо — она вскрикнула и побежала, хлопая крыльями, и мальчик увидел, что у нее нет головы, — бежало одно безголовое куриное туловище, — старичок

убил ее. Пробежав несколько шагов, туловище упало, царапая сильными, молодыми лапами землю, и перестало быть живым.

Ночью мальчику казалось, что в комнату проник сырой запах, идущий от убитых коров и их зарезанных детей.

Смерть, жившая в нарисованном лесу, где нарисованный волк подкрадывался к нарисованному козленку, ушла в этот день со страниц сказки. Он почувствовал впервые, что и он смертен, не по-сказочному, не по книжке с картинкой, а в самом деле, с невероятной очевидностью.

Он понял, что когда-нибудь умрет его мама. Смерть придет к нему и к ней не из сказочного леса, где в полумраке стоят ели, — она придет из этого воздуха, из жизни, из родных стен, и от нее нельзя спрятаться.

Он ощутил смерть с той ясностью и глубиной, которая доступна лишь маленьким детям да великим философам, чья сила мысли приближается к простоте и силе детского чувства.

От стульев с просиженными сиденьями, на которые были положены фанерные дощечки, от толстого платяного шкафа шел спокойный, добрый запах, такой же, как от бабушкиных волос, платья. Теплая, обманно-спокойная ночь стояла

вокруг.

49

В это лето жизнь сошла с граней кубиков, с картинок, нарисованных в букварях. Он увидел, какой синевой горит черное крыло селезня и сколько веселой насмешливости в его улыбке и покрякивании. Белые черешни светлели среди листвы, и он влез по шершавому стволу и дотянулся до ягоды, сорвал ее. Он подошел к теленку, привязанному на пустыре, и протянул ему кусочек сахара, — окаменев от счастья, увидел милые глаза огромного младенца.

Рыжий Пынчик подошел к Давиду и, ослепительно картавя, предложил:

— Давай дерррться!

Евреи и украинцы в бабушкином дворе походили друг на друга. Старуха Партыньская заходила к бабушке и протяжно говорила:

— Чи вы чулы, Роза Нусиновна, Соня едет в Киев, опять помирилась с мужем.

Бабушка, всплескивая руками, смеясь, отвечала:

— Ну, вы бачилы комедию.

Этот мир казался Давиду милей, лучше, чем улица Кирова, где в асфальтированном колодце

гуляла с пуделем завитая, раскрашенная старуха по фамилии Драко-Дракон, где возле парадного по утрам стоял автомобиль «ЗИС-101», где соседка в пенсне, с папиросой в крашеных губах с бешенством шептала над коммунальной газовой плитой: «Троцкистка, ты опять сдвинула с конфорки мое кофе».

Мама его вела ночью с вокзала. Они прошли по освещенной луной булыжной улице мимо белого костела, где в нише стоял худенький, ростом с двенадцатилетнего мальчика, склоненный, в терновом венке Иисус Христос, мимо педтехникума, где когда-то училась мама.

Через несколько дней, в пятницу вечером, Давид увидел, как старики шли в синагогу в золотистой пыли, поднятой на пустыре босыми футболистами.

Пронзительная прелесть родилась из этого соединения украинских белых хат, скрипящих колодезных журавлей и ветхих узоров на белочерных молитвенных одеждах, кружащих голову бездонной библейской стариной. И тут же рядом «Кобзарь», Пушкин и Толстой, учебники физики, «Детская болезнь «левизны» в коммунизме», приехавшие с гражданской войны сыновья сапожников и портных, тут же рядом инструктора

райкомов, склочники и трибуны из райпрофсоветов, водители грузовиков, агенты уголовного розыска, лекторы по марксизму.

Приехав к бабушке, Давид узнал, что мама его несчастна. Первой ему сказала об этом толстая, с такими красными щеками, словно ей всегда стыдно, тетя Рахиль:

— Бросить такую чудную женщину, как твоё мать, чтоб вин уже не дождал.

А через день Давид уже знал, что папа его ушел к русской женщине, которая старше его на восемь лет, что он зарабатывает в филармонии две с половиной тысячи в месяц, что мама отказалась от алиментов и живет только на то, что сама зарабатывает, — триста десять рублей в месяц.

Давид однажды показал бабушке кокон, хранившийся в спичечной коробке.

Но бабушка сказала:

— Фе, зачем тебе эта гадость, выкинь ее скоренько.

Два раза Давид ходил на товарную станцию, смотрел, как грузят в вагоны быков, баранов, свиней. Он слышал, как бык громко замычал, то ли он жаловался, то ли просил жалости. Душа мальчика наполнилась ужасом, а мимо вагонов шли железнодорожные рабочие в оборванных,

замасленных куртках и не повернули утомленных, худых лиц в сторону кричащего быка.

Через неделю после приезда Давида бабушкина соседка Дебора, жена рабочего-слесаря с завода сельскохозяйственных машин Лазаря Янкелевича, родила первенца. В прошлом году Дебора поехала гостить к сестре в Кодыму, и ее во время грозы ударило молнией; ее откачивали, засыпали землей, и она два часа лежала, как неживая, а этим летом родила ребенка. Пятнадцать лет она не имела детей. Об этом бабушка рассказала Давиду, добавила:

— Так говорят люди, но ей, кроме того, делали в прошлом году операцию.

И вот бабушка с Давидом зашли к соседям.

— Ну, Лузя, ну, Деба, — сказала бабушка, поглядев на двуногого зверька, лежавшего в бельевой корзине. Она произнесла эти слова каким-то грозным голосом, точно предупреждая, чтобы отец и мать никогда не относились легкомысленно к случившемуся чуду.

В маленьком доме у железной дороги жила старуха Соркина с двумя сыновьями, глухонемыми парикмахерами. Их боялись все соседи, и старая Партыньская рассказывала Давиду:

— Воны тыхи, тыхи, докы не напьются. А як

выпьють — кыдаються друг на друга, пидхватят ножи и крычать, верещать, як кони!

Как-то бабушка послала с Давидом библиотекарше Мусе Борисовне баночку сметаны… Комнатка у нее была крошечная. На столе стояла маленькая чашечка, к стене была прибита маленькая полочка, на ней стояли маленькие книжки, а над кроваткой висела маленькая фотография. На фотографии была снята мама с Давидом, завернутым в пеленочку. Когда Давид посмотрел на фотографию, Муся Борисовна покраснела и сказала:

— Мы с твоей мамой сидели на одной парте.

Он прочел ей вслух басню про стрекозу и муравья, а она прочитала ему тихим голосом начало стихотворения: «Плакала Саша, как лес вырубали…»

Утром двор гудел: у Соломона Слепого ночью украли шубу, зашитую на лето и пересыпанную нафталином.

Когда бабушка узнала о пропаже шубы у Слепого, она сказала:

— Слава богу, хоть чем-нибудь этого разбойника наказать.

Давид узнал, что Слепой был доносчиком и, когда происходило изъятие валюты и золотых

пятерок, он выдал много людей. А в тридцать седьмом году он снова выдавал людей. Из тех, кого он выдал, двое были расстреляны, а один умер в тюремной больнице.

Ужасные ночные шорохи, невинная кровь и пение птиц — все соединилось в кипящую, обжигающую кашу. Понять ее Давид смог бы через много десятков лет, но жгущую прелесть и ужас ее он день и ночь ощущал своим маленьким сердцем.

50

Для забоя зараженного скота проводятся подготовительные меры: транспортировка, концентрация в пунктах забоя, инструктаж квалифицированных рабочих, отрытие траншей и ям.

Население, помогающее властям доставлять зараженный скот на пункты забоя либо помогающее ловить разбежавшуюся скотину, делает это не из ненависти к телятам и коровам, а из чувства самосохранения.

При массовом забое людей кровожадная ненависть к подлежащим уничтожению старикам, детям, женщинам также не охватывает население. Поэтому кампанию по массовому забою людей необходимо подготовить по-особому. Здесь недостаточно чувства самосохранения, здесь необходимо возбудить в населении отвращение и ненависть.

Именно в такой атмосфере отвращения и ненависти готовилось и проводилось уничтожение украинских и белорусских евреев. В свое время на этой же земле, мобилизовав и раздув ярость масс, Сталин проводил кампанию по уничтожению

кулачества как класса, кампанию по истреблению троцкистско-бухаринских выродков и диверсантов.

Опыт показал, что большая часть населения при таких кампаниях становится гипнотически послушна всем указаниям властей. В массе населения есть меньшая часть, создающая воздух кампании: кровожадные, радующиеся и злорадствующие, идейные идиоты либо заинтересованные в сведении личных счетов, в грабеже вещей и квартир, в открывающихся вакансиях. Большинство людей, внутренне ужасаясь массовым убийствам, скрывает свое душевное состояние не только от своих близких, но и от самих себя. Эти люди заполняют залы, где происходят собрания, посвященные истребительным кампаниям, и, как бы ни были часты эти собрания, вместительны эти залы, — почти не бывало случая, чтобы кто-либо нарушил молчаливое единогласие голосования. И, конечно, еще меньше бывало случаев, когда человек при виде подозреваемой в бешенстве собаки не отвел бы глаз от ее молящего взора, а приютил бы эту подозреваемую в бешенстве собаку в доме, где живет со своей женой и детьми. Но все же были такие случаи.

Первая половина двадцатого века будет отмечена как эпоха великих научных открытий, революций, грандиозных социальных преобразований и двух мировых войн.

Но первая половина двадцатого века войдет в историю человечества как эпоха поголовного истребления огромных слоев европейского населения, основанного на социальных и расовых теориях. Современность с понятной скромностью молчит об этом.

Одной из самых удивительных особенностей человеческой натуры, вскрытой в это время, оказалась покорность. Были случаи, когда к месту казни устанавливались огромные очереди и жертвы сами регулировали движение очередей. Были случаи, когда ожидать казни приходилось с утра до поздней ночи, в течение долгого жаркого дня, и матери, знавшие об этом, предусмотрительно захватывали бутылочки с водой и хлеб для детей. Миллионы невинных, чувствуя приближение ареста, заранее готовили сверточки с бельем, полотенчиком, заранее прощались с близкими. Миллионы жили в гигантских лагерях, не только построенных, но и охраняемых ими самими.

И уже не десятки тысяч и даже не десятки

миллионов людей, а гигантские массы были покорными свидетелями уничтожения невинных. Но не только покорными свидетелями; когда велели, голосовали за уничтожение, гулом голосов выражали одобрение массовым убийствам. В этой огромной покорности людей открылось нечто неожиданное.

Конечно, было сопротивление, было мужество и упорство обреченных, были восстания, была самопожертвенность, когда для спасения далекого, незнакомого человека другой человек рисковал своей жизнью и жизнью своей семьи. И все же неоспоримой оказалась массовая покорность!

О чем говорит она? О новой черте, внезапно возникшей, появившейся в природе человека? Нет — эта покорность говорит о новой ужасной силе, воздействовавшей на людей. Сверхнасилие тоталитарных социальных систем оказалось способным парализовать на целых континентах человеческий дух.

Человеческая душа, ставшая на службу фашизму, объявляет зловещее, несущее гибель рабство единственным и истинным добром. Не отказываясь от человеческих чувств, душа-предательница объявляет преступления, совершенные фашизмом, высшей формой гуманности, согла-

шается делить людей на чистых, достойных и на нечистых, не достойных жизни. Страсть к самосохранению выразилась в соглашательстве инстинкта и совести.

В помощь инстинкту приходит гипнотическая сила мировых идей. Они призывают к любым жертвам, к любым средствам ради достижения величайшей цели — грядущего величия родины, счастья человечества, нации, класса, мирового прогресса.

И наряду с инстинктом жизни, наряду с гипнотической силой великих идей работала третья сила — ужас перед беспредельным насилием могущественного государства, перед убийством, ставшим основой государственной повседневности.

Насилие тоталитарного государства так велико, что оно перестает быть средством, превращается в предмет мистического, религиозного преклонения, восторга.

Чем иным можно объяснить рассуждения некоторых мыслящих, интеллигентных евреев о том, что убийство евреев необходимо для счастья человечества и что они, сознав это, готовы вести на убойные пункты своих собственных детей, — ради счастья родины они готовы принести жертву,

которую когда-то совершил Авраам.

Чем иным можно объяснить то, что поэт, крестьянин от рождения, наделенный разумом и талантом, пишет с искренним чувством поэму, воспевающую кровавую пору страданий крестьянства, пору, пожравшую его честного и простодушного труженика-отца…

Одним из средств воздействия фашизма на человека является его полное или почти полное ослепление. Человек не верит, что его ждет уничтожение. Удивительно, насколько велик был оптимизм стоявших на краю могилы. На почве безумной, порой нечистой, а порой подлой надежды возникала покорность, соответствующая этой надежде, — жалкая, а порой и подлая.

Варшавское восстание, восстание в Треблинке, восстание в Собиборе, малые бунты и восстания бреннеров — возникали из суровой безнадежности.

Но, конечно, полная и ясная безнадежность порождала не одни восстания и сопротивление, она порождала и неведомое нормальному человеку стремление быть подвергнутым казни.

Ведь люди спорили из-за очереди к кровавому рву, и в воздухе слышался возбужденный, безумный, почти ликующий голос:

— Евреи, не бойтесь, ничего страшного, пять минут — и готово!

Все, все рождало покорность — и безнадежность, и надежда. Ведь люди одинаковой судьбы не одинаковы по характеру.

Нужно задуматься над тем, что должен пережить и испытать человек, чтобы дойти до счастливого сознания скорой казни. Об этом следует задуматься многим людям, особенно тем, кто склонен поучать, как следовало бороться в условиях, о которых, по счастливому случаю, этот пустой учитель не имеет представления.

Установив покорность человека перед беспредельным насилием, нужно сделать последний вывод, имеющий значение для понимания человека, его будущего.

Претерпевает ли природа человека изменение, становится ли она другой в котле тоталитарного насилия? Теряет ли человек присущее ему стремление быть свободным? В ответе этом — судьба человека и судьба тоталитарного государства. Изменение самой природы человека сулит всемирное и вечное торжество диктатуре государства, в неизменности человеческого стремления к свободе — приговор тоталитарному государству.

Вот великое восстание в Варшавском гетто, в Треблинке и Собиборе и огромное партизанское движение, полыхавшее в десятках порабощенных Гитлером стран, послесталинские Берлинское восстание в 1953 году и Венгерское восстание 1956 года, восстания, охватившие сибирские и дальневосточные лагеря после смерти Сталина, возникшие в ту же пору польские волынки, студенческое движение протеста против подавления свободы мысли, прокатившееся по многим городам, забастовки на многих заводах показали неистребимость присущего человеку стремления к свободе. Оно было подавлено, но оно существовало. Человек, обращенный в рабство, становился рабом по судьбе, а не по природе своей.

Природное стремление человека к свободе неистребимо, его можно подавить, но его нельзя уничтожить. Тоталитаризм не может отказаться от насилия. Отказавшись от насилия, тоталитаризм гибнет. Вечное, непрекращающееся, прямое или замаскированное, сверхнасилие есть основа тоталитаризма. Человек добровольно не откажется от свободы. В этом выводе свет нашего времени, свет будущего.

51

Электрическая машина ведет математические расчеты, запоминает исторические события, играет в шахматы, переводит книги с одного языка на другой. Она превосходит человека в способности быстро решать математические задачи, память ее безупречна.

Есть ли предел прогресса, создающего машину по образу и подобию человека? Видимо, нет этого предела.

Можно представить себе машину будущих веков и тысячелетий. Она будет слушать музыку, оценивать живопись, сама рисовать картины, создавать мелодии, писать стихи.

Есть ли предел ее совершенству? Сравнится ли она с человеком, превзойдет ли его?

Все новых и новых приростов электроники, веса и площадей будет требовать воспроизведение машиной человека.

Воспоминание детства… слезы счастья… горечь разлуки… любовь к свободе… жалость к больному щенку… мнительность… материнская нежность… мысли о смерти… печаль… дружба… любовь к слабым… внезапная надежда… счаст-

ливая догадка… грусть… беспричинное веселье… внезапное смятение…

Все, все воссоздаст машина! Но ведь площади всей земли не хватит для того, чтобы разместить машину, все увеличивающуюся в размере и весе, по мере того как она будет воссоздавать особенности разума и души среднего, незаметного человека.

Фашизм уничтожил десятки миллионов людей.

52

В просторном, светлом и чистом доме в лесной уральской деревне командир танкового корпуса Новиков и комиссар Гетманов заканчивали просмотр донесений командиров бригад, получивших приказ о выходе из резерва.

Бессонная работа последних дней сменилась тихим часом.

Новикову и его подчиненным, как и всегда в подобных случаях, казалось, что им не хватило времени для полного, совершенного овладения учебными программами. Но кончилась эпоха учения, овладения режимом работы моторов и ходовой части, артиллерийской техникой, оптикой, радиооборудованием; кончились тренировки в управлении огнем, оценке, выборе и распределении целей, выборе способа стрельбы, определении момента открытия огня, наблюдении разрывов, внесении поправок, смене целей.

Новый учитель — война — быстро подучит, подтянет отстающих, заполнит пробелы.

Гетманов потянулся к шкафику, стоявшему в простенке между окнами, постучал по нему пальцем и сказал:

— Эй, друг, выходи на передний край.

Новиков открыл дверцу шкафа, вынул бутылку коньяка и налил два синеватых толстых стаканчика.

Комиссар корпуса, раздумывая, произнес:

— Кого же нам славить?

Новиков знал, за кого полагалось выпить, потому Гетманов и спросил: «За кого пить?»

Мгновение поколебавшись, Новиков сказал:

— Давайте, товарищ комиссар корпуса, выпьем за тех, кого мы с вами в бой поведем, пусть воюют малой кровью.

— Правильно, прежде всего забота о вверенных кадрах, — проговорил Гетманов, — выпьем за наших хлопцев!

Они чокнулись, выпили.

Новиков с торопливостью, которую не мог скрыть, вновь налил рюмки и произнес:

— За товарища Сталина! За то, чтобы оправдать его доверие!

Он видел скрытую усмешку в ласковых, внимательных глазах Гетманова и, сердясь на себя, подумал: «Эх, заспешил».

Гетманов добродушно сказал:

— Что ж, ладно, за старичка, за батьку нашего. Доплыли до волжской воды под его водитель-

ством.

Новиков посмотрел на комиссара, — но что прочтешь на толстом, скуластом, улыбающемся лице умного сорокалетнего человека с прищуренными, веселыми и недобрыми глазами.

Гетманов вдруг заговорил о начальнике штаба корпуса генерале Неудобнове:

— Славный, хороший человек. Большевик. Сталинец настоящий. Теоретически подкован. Большой опыт руководящей работы. Выдержка большая. Я его помню по тридцать седьмому году. Его Ежов прислал произвести расчисточку в военном округе, а я, знаете, в ту пору сам не яслями заведовал… Но уж он поработал. Не дядя, а топор, по списку в расход пускал, не хуже Ульриха, Василь Васильича, оправдал доверие Николая Ивановича. Надо, надо его сейчас пригласить, а то еще обидится.

В тоне его как будто слышалось осуждение борьбы с врагами народа, борьбы, в которой, как знал Новиков, Гетманов участвовал. И снова Новиков глядел на Гетманова и не мог понять его.

— Да, — сказал медленно и неохотно Новиков, — кое-кто наломал в ту пору дров.

Гетманов махнул рукой.

— Пришла сегодня сводка генштабовская, жут-

кая: немец к Эльбрусу подходит, в Сталинграде спихивают наших в воду. И я прямо скажу, в этих делах есть наша доля, — по своим стреляли, перемолотили кадры.

Новиков внезапно ощутил прилив доверия к Гетманову, сказал:

— Да уж, ребята эти загубили замечательных людей, товарищ комиссар, много, много беды в армии натворили. Вот комкору Криворучко глаз на допросе выбили, а он следователю чернильницей башку разбил.

Гетманов сочувственно кивал и проговорил:

— Неудобнова нашего Лаврентий Павлович очень ценит. А уж Лаврентий Павлович в людях не ошибется, — умная головушка, ох, умная.

«Да-да», — протяжно подумал, не проговорил Новиков.

Они помолчали, прислушиваясь к негромким, шипящим голосам из соседней комнаты.

— Врешь, это наши носки.

— Как ваши, товарищ лейтенант, да вы что, опупели окончательно? — И тот же голос добавил, уже переходя на «ты»: — Куда кладешь, не трогай, это наши подворотнички.

— На-ка, товарищ младший политрук, какие же они ваши — смотри! — Это адъютант Новикова

и порученец Гетманова разбирали белье своих начальников после стирки.

Гетманов проговорил:

— Я их, чертей, все время наблюдаю. Шли мы с вами, а они сзади идут, на стрельбах, в батальоне у Фатова. Я по камушкам перешел через ручей, а вы перескочили и ногой дрыгнули, чтоб грязь сбить. Смотрю — мой порученец перешел по камушкам через ручей, а ваш лейтенант скакнул и ногой дрыгнул.

— Эй, вояки, потише ругайтесь, — сказал Новиков, и голоса по соседству сразу смолкли.

В комнату вошел генерал Неудобнов, бледный человек с большим лбом и густыми, сильно поседевшими волосами. Он оглядел рюмки, бутылку, положил на стол пачку бумаг и спросил Новикова:

— Как нам быть, товарищ полковник, с начальником штаба во второй бригаде? Михалев вернется через полтора месяца, я получил письменное заключение из окружного госпиталя.

— Да уж какой он начальник штаба без кишки и без куска желудка, — сказал Гетманов и налил в стакан коньяку, поднес Неудобнову. — Выпейте, товарищ генерал, пока кишка на месте.

Неудобнов приподнял брови, вопросительно

посмотрел светло-серыми глазами на Новикова.

— Прошу, товарищ генерал, прошу, — сказал Новиков.

Его раздражала манера Гетманова чувствовать себя всегда хозяином, убежденным в своем праве многословно высказываться на совещаниях по техническим вопросам, в которых он ничего не смыслил. И так же уверенно, убежденный в своем праве, Гетманов мог угощать чужим коньяком, укладывать гостя отдыхать на чужой койке, читать на столе чужие бумаги.

— Пожалуй, майора Басангова временно назначим, — сказал Новиков, — он командир толковый, участвовал в танковых боях еще под Новоград-Волынским. Возражений нет у бригадного комиссара?

— Возражений, конечно, нет, — сказал Гетманов, — какие у меня могут быть возражения... Но соображения есть, — замкомандира второй бригады, подполковник — армянин, начальник штаба у него будет калмык, добавьте — в третьей бригаде начальником штаба подполковник Лифшиц. Может быть, мы без калмыка обойдемся?

Он посмотрел на Новикова, потом на Неудобнова.

Неудобнов проговорил:

— По-житейски все это верно, от сердца говоря, но ведь марксизм дал нам другой подход к данному вопросу.

— Важно, как данный товарищ немца воевать будет, — вот в чем мой марксизм, — проговорил Новиков, — а где дед его Богу молился — в церкви, в мечети… — Он по думал и добавил: — Или в синагоге, мне все равно… Я так считаю: самое главное на войне — стрелять.

— Вот-вот, именно, — весело проговорил Гетманов. — Зачем же нам в танковом корпусе устраивать синагогу или какую-то там еще молельню? Все же мы Россию защищаем. — Он вдруг нахмурился и зло сказал: — Скажу вам по правде, хватит! Тошнит прямо! Во имя дружбы народов всегда мы жертвуем русскими людьми. Нацмен еле в азбуке разбирается, а мы его в наркомы выдвигаем. А нашего Ивана, пусть он семи пядей во лбу, сразу по шапке, уступай дорогу нацмену! Великий русский народ в нацменьшинство превратили. Я за дружбу народов, но не за такую. Хватит!

Новиков подумал, посмотрел бумаги на столе, постучал по рюмке ногтем и сказал:

— Я, что ли, зажимаю русских людей из особых симпатий к калмыцкой нации? — И, повернув-

шись к Неудобнову, проговорил: — Что ж, давайте приказ, майора Сазонова врио начальника штаба второй бригады.

Гетманов негромко произнес:

— Отличный командир Сазонов.

И снова Новиков, научившийся быть грубым, властным, жестким, ощутил свою неуверенность перед комиссаром… «Ладно, ладно, — подумал он, утешая самого себя. — Я в политике не понимаю. Я пролетарский военспец. Наше дело маленькое: немцев раскокать».

Но хоть он и посмеивался в душе над неучем в военном деле Гетмановым, неприятно было сознавать свою робость перед ним.

Этот человек с большой головой, со спутанными волосами, невысокий, но широкоплечий, с большим животом, очень подвижный, громкоголосый, смешливый, был неутомимо деятелен.

Хотя на фронте он никогда не был, в бригадах о нем говорили: «Ох, и боевой у нас комиссар!»

Он любил устраивать красноармейские митинги: речи его нравились, говорил он просто, много шутил, употреблял иногда довольно-таки крепкие, грубые слова.

Ходил он с перевалочкой, обычно опираясь на палку, и если зазевавшийся танкист не при-

ветствовал его, Гетманов останавливался перед ним и, опираясь на знаменитую палку, снимал фуражку и низко кланялся наподобие деревенского деда.

Он был вспыльчив и не любил возражений; когда с ним спорили, он сопел и хмурился, а однажды пришел в злость, замахнулся и, в общем, в некотором роде наддал кулаком начальника штаба тяжелого полка капитана Губенкова, человека упрямого и, как говорили о нем товарищи, «жутко принципиального».

Об упрямом капитане с осуждением говорил порученец Гетманова: «Довел, черт, нашего комиссара».

У Гетманова не было почтения к тем, кто видел тяжелые первые дни войны. Как-то он сказал о любимце Новикова, командире первой бригады Макарове:

— Я из него вышибу философию сорок первого года!

Новиков промолчал, хотя он любил поговорить с Макаровым о жутких, чем-то влекущих первых днях войны.

В смелости, резкости своих суждений Гетманов, казалось, был прямо противоположен Неудобнову.

Но оба эти человека при всей своей несхожести были объединены какой-то прочной общностью.

Новикову становилось тоскливо и от невыразительного, но внимательного взгляда Неудобнова, от его овальных фраз, всегда неизменно спокойных слов.

А Гетманов, похохатывая, говорил:

— Наше счастье, что немцы мужику за год опротивели больше, чем коммунисты за двадцать пять лет.

То вдруг усмехался:

— Чего уж, папаша наш любит, когда его называют гениальным.

Эта смелость не заражала собеседника, наоборот, поселяла тревогу.

До войны Гетманов руководил областью, выступал по вопросам производства шамотного кирпича и организации научно-исследовательской работы в филиале угольного института, говоря и о качестве выпечки хлеба на городском хлебозаводе, и о неверной повести «Голубые огни», напечатанной в местном альманахе, и о ремонте тракторного парка, и о низком качестве хранения товаров на базах облторга, и об эпидемии куриной чумы на колхозных птицефермах.

Теперь он уверенно говорил о качестве горюче-

го, о нормах износа моторов и о тактике танкового боя, о взаимодействии пехоты, танков и артиллерии при прорыве долговременной обороны противника, о танках на марше, о медицинском обслуживании в бою, о радиошифре, о воинской психологии танкиста, о своеобразии отношений внутри каждого экипажа и экипажей между собой, о первоочередном и капитальном ремонте, об эвакуации с поля боя поврежденных машин.

Как-то Новиков и Гетманов в батальоне капитана Фатова остановились возле машины, занявшей первое место на корпусных стрельбах.

Командир танка, отвечая на вопросы начальства, незаметно проводил ладонью по броне машины.

Гетманов спросил у танкиста, трудно ли ему было добиться первого места. И тот, вдруг оживившись, сказал:

— Нет, чего же трудно. Уж очень я полюбил ее. Как приехал из деревни в школу, увидел и сразу полюбил ее до невозможности.

— Любовь с первого взгляда, — сказал Гетманов и рассмеялся, и в его снисходительном смехе было что-то осуждающее смешную любовь паренька к машине.

Новиков почувствовал в эту минуту, что и он,

Новиков, плох, и он ведь умеет по-глупому любить. Но об этой способности любить по-глупому не хотелось говорить с Гетмановым, и, когда тот, став серьезным, назидательно сказал танкисту:

— Молодец, любовь к танку — великая сила. Поэтому ты и добился успеха, что полюбил свою машину, — Новиков насмешливо проговорил:

— А за что его, собственно, любить? Цель он крупная, поразить его легче легкого, шумит, как дурной, сам себя демаскирует, и экипаж балдеет от шума. В движении трясет, ни наблюдать толково, ни прицелиться толково нельзя.

Гетманов усмехнулся, посмотрел на Новикова. И вот сейчас Гетманов, наливая рюмки, точно так же усмехнулся, посмотрел на Новикова и сказал:

— Маршрут наш через Куйбышев лежит. Кое с кем удастся нашему комкору повидаться. Давайте за встречу.

«Вот только мне не хватало», — подумал Новиков, чувствуя, что жестоко, по-мальчишески, краснеет.

Генерала Неудобнова война застала за границей. Лишь в начале 1942 года, вернувшись в Москву, в Наркомат обороны, он увидел баррикады в Замоскворечье, противотанковые ежи, услышал сигналы воздушной тревоги.

Неудобнов, как и Гетманов, никогда не спрашивал Новикова о войне, может быть, стеснялся своего фронтового невежества.

Новиков все хотел понять, за какие качества Неудобнов вышел в генералы, и обдумывал жизнь начальника штаба корпуса, как березка в озерце, отраженную в листах анкет.

Неудобнов был старше Новикова и Гетманова и еще в 1916 году за участие в большевистском кружке попал в царскую тюрьму.

После гражданской войны он по партийной мобилизации некоторое время работал в ОГПУ, служил в пограничных войсках, был послан учиться в Академию, во время учебы был секретарем курсовой партийной организации… Потом он работал в военном отделе ЦК, в центральном аппарате Наркомата обороны.

Перед войной он дважды ездил за границу. Он был номенклатурным работником, был на особом учете, раньше Новиков не совсем ясно понимал, что это означает, какие особенности и какие преимущества имеют номенклатурные работники.

Удивительно быстро проходил Неудобнов обычно долгий период между представлением к званию и получением звания, казалось, нарком

только и ждал представления Неудобнова, чтобы подписать его. Анкетные сведения обладали странным свойством, — они объясняли все тайны человеческой жизни, причины успехов и неуспехов, но через минуту, при новых обстоятельствах, оказывалось, что они ничего не объясняли, а, наоборот, затемняли суть.

Война по-своему пересмотрела послужные списки, биографии, характеристики, наградные листы… И вот номенклатурный Неудобнов оказался в подчинении у полковника Новикова.

Неудобнову было ясно, что кончится война — и кончится это ненормальное положение…

Он привез с собой на Урал охотничье ружье, и все любители в корпусе остолбенели, а Новиков сказал, что, наверное, царь Николка в свое время охотился с таким ружьем.

Неудобнову оно досталось в 1938 году по какому-то ордерку, так же, как достались ему по ордеру, с каких-то особых складов — мебель, ковры, столовый фарфор и дача.

Шла ли речь о войне, о колхозных делах, о книге генерала Драгомирова, о китайской нации, о достоинствах генерала Рокоссовского, о климате Сибири, о качестве русского шинельного сукна либо о превосходстве красоты блондинок над

красотой брюнеток — он никогда в своих суждениях не преступал стандарта.

Трудно было понять, — то ли это сдержанность, то ли выражение его истинного нутра.

Иногда, после ужина, он становился разговорчив и рассказывал истории о разоблаченных вредителях и диверсантах, действовавших в самых неожиданных областях: в производстве медицинских инструментов, в армейских сапожных мастерских, в кондитерских, в областных дворцах пионеров, в конюшнях московского ипподрома, в Третьяковской галерее.

У него была превосходная память, и он, видимо, много читал, изучал произведения Ленина и Сталина. Во время споров он обычно говорил: «Товарищ Сталин еще на семнадцатом съезде…» — и приводил цитату.

Однажды Гетманов сказал ему:

— Цитата цитате рознь. Мало ли что было сказано! Было сказано: «Чужой земли не хотим, своей ни вершка не отдадим». А немец где?

Но Неудобнов пожал плечами, точно немцы, стоявшие на Волге, ничего не значили по сравнению со словами о том, что ни вершка своей земли не отдадим.

И вдруг все исчезало — танки, боевые уставы,

стрельбы, лес, Гетманов, Неудобнов… Женя! Неужели он увидит ее снова?

53

Новикову показалось странным, что Гетманов, прочтя полученное из дому письмо, сказал: «Супруга жалеет нас, я ей описывал, в каких мы условиях живем».

Эта казавшаяся комиссару тяжелой жизнь смущала Новикова роскошью.

Впервые он сам выбрал себе дом для жилья. Он сказал как-то, уезжая в бригаду, что ему не нравится хозяйский диван, и, когда он вернулся, вместо дивана стояло кресло с деревянной спинкой, и адъютант его, Вершков, тревожился — по вкусу ли комкору это кресло.

Повар спрашивал: «Как борщ, товарищ полковник?»

С детских лет он любил животных. И сейчас у него жил под кроватью еж, хозяйски постукивая пятками, бегал ночью по комнате, а в клетке с эмблемой танка, сделанной ремонтниками, промышлял орешками молодой бурундучок. Бурундук быстро привык к Новикову и иногда садился к нему на колено, поглядывал ребячьим, доверчивым и пытливым глазком. Все были к зверьку внимательны и добры, — и адъютант

Вершков, и повар Орленев, и водитель «виллиса» Харитонов.

Все это не казалось Новикову незаметным, мелочью. Когда он перед войной принес в дом начальствующего состава щенка и тот погрыз у соседки-полковницы туфлю и налил за полчаса три лужи, в общей кухне поднялась такая кутерьма, что пришлось Новикову тут же расстаться с собакой.

Пришел день отъезда, и осталась неразобранной сложная свара между командиром танкового полка и его начальником штаба.

Пришел день отъезда, и с ним заботы о горючем, о продовольствии в дороге, о порядке погрузки в эшелоны.

Стала волновать мысль о будущих соседях, чьи стрелковые и артиллерийские полки выходят сегодня из резерва, движутся к железной дороге, волновала мысль о человеке, перед которым Новиков станет по команде «смирно» и скажет: «Товарищ генерал-полковник, разрешите доложить...»

Пришел день отъезда, — не удалось повидать брата, племянницу. Ехал на Урал, думал, брат рядом, а оказалось — не нашлось для брата времени.

Вот уж командиру корпуса доложили о движении бригад, о платформах для тяжелых машин, о том, что еж и бурундук отправлены в лес, на волю.

Трудно быть хозяином, отвечать за каждый пустяк, проверять каждую мелочь. Вот уже установлены танки на платформах. Но не забыли ли поставить машины на тормоз, включили ли первую передачу, закрепили ли башни пушкой вперед, плотно ли закрыты крышки люков? Заготовили ли деревянные колодки, чтобы закрепить танки, предотвратить раскачивание вагонов?

— Эх, заложить прощальный преферансик, — сказал Гетманов.

— Не возражаю, — проговорил Неудобнов.

Но Новикову хотелось выйти на воздух, побыть одному.

В этот тихий предвечерний час воздух обладал удивительной прозрачностью, и самые незаметные и скромные предметы выглядели четко и выпукло. Дым вытекал из труб, не кудрявясь, скользил совершенно вертикальными прямыми струями. Потрескивали дровишки в полевых кухнях. Посреди улицы стоял темнобровый танкист, и девушка обняла юношу, положила голову ему на грудь, заплакала. Из штабных помещений вы-

носили ящики и чемоданы, пишущие машинки в черных футлярах. Связисты снимали шестовку, протянутую к бригадным штабам, черные жирные провода втягивались в катушки. Стоявший за сараями штабной танк пыхтел, постреливал, дымил, готовясь к походу. Водители заливали горючее в новые грузовые «форды», стаскивали с капотов стеганые попонки. А мир вокруг застыл.

Новиков стоял на крыльце, оглядывался по сторонам, и ком суеты, забот откатился от него в сторону.

Перед вечером он на «виллисе» выехал на дорогу, ведущую к станции.

Танки выходили из леса. Прохваченная заморозками земля позванивала под их тяжестью. Вечернее солнце освещало вершины дальнего елового леса, откуда шла бригада подполковника Карпова. Полки Макарова шли среди молодых берез. Танкисты украсили броню ветвями деревьев, и казалось, что еловые лапы и березовые листья рождены вместе с броней танков, гудением моторов, серебряным скрежетом гусениц.

Военные люди, глядя на идущие к фронту резервы, говорят: «Свадьба будет!»

Новиков, съехав с дороги, смотрел на проносившиеся мимо него машины.

Сколько драм, странных и смешных историй произошло здесь! О каких только ЧП не докладывали ему… Во время завтрака в штабном батальоне обнаружена в супе лягушка… Младший лейтенант Рождественский, образование 10 классов, чистил автомат, ранил случайным выстрелом в живот товарища, после чего младший лейтенант Рождественский сделал самоубийство. Красноармеец мотострелкового полка отказался принять присягу, сказал: «Присягать буду только в церкви».

Голубой и серый дымок цеплялся за придорожный кустарник.

Много разных мыслей было в головах под этими кожаными шлемами. Были в них и общие всему народу, — горесть войны, любовь к своей земле, но было и то удивительное различие, ради которого прекрасно общее в людях.

Ах, боже мой. Боже мой… Сколько их, — в черных комбинезонах, подпоясанных широкими ремнями. Начальство подобрало ребят широких в плечах, невысокого росточка, чтобы легче залазить в люк, шуровать в танке. Сколько одинаковых ответов в их анкетах и об отцах и матерях, и о годе рождения, и об окончании школы, и о курсах трактористов. Сливались зеленые сплюс-

нутые танки «тридцатьчетверки» с одинаково откинутыми крышками люков, с одинаково притороченным к зеленой броне брезентом.

Один танкист напевает; второй, полузакрыв глаза, полон страха и плохих предчувствий; третий думает о родном доме; четвертый жует хлеб с колбасой и думает о колбасе; пятый, открыв рот, тщится опознать птицу на дереве — не удод ли; шестой тревожится, не обидел ли он вчера грубым словом товарища; седьмой, полный хитрой и неостывающей злобы, мечтает ударить кулаком по морде недруга — командира «тридцатьчетверки», идущей впереди; восьмой складывает в уме стихи — прощание с осенним лесом; девятый думает о девичьей груди; десятый жалеет собаку, — поняв, что ее оставляют среди опустевших блиндажей, она бросилась на броню танка, уговаривала танкиста, быстро, жалко виляя хвостом; одиннадцатый думает о том, как хорошо уйти в лес, жить одному в избушке, питаться ягодами, пить ключевую воду и ходить босым; двенадцатый прикидывает — не сказаться ли больным и застрять где-нибудь в госпитале; тринадцатый повторяет сказку, слышанную в детстве; четырнадцатый вспоминает разговор с девушкой и не печалится, что разлука вечная, рад

этому; пятнадцатый думает о будущем, — хорошо бы после войны стать директором столовой.

«Ох, ребята», — думает Новиков.

Они глядят на него. Наверное, он проверяет, исправна ли воинская форма, он слушает моторы, на слух угадывает опыт и неопытность механиков-водителей, следит, соблюдают ли заданную дистанцию машины и подразделения, не обгоняют ли друг друга лихачи.

А он смотрит на них, такой же, как они, и то, что в них, то и в нем: и мысль о бутылке коньяка, самочинно раскупоренной Гетмановым, и о том, какой тяжелый человек Неудобнов, и о том, что больше уж не охотиться на Урале, а последняя охота оказалась неудачна, — с треском автоматов, с большой водкой, с дурацкими анекдотами… и мысль о том, что он увидит женщину, которую любит много лет… Когда он шесть лет назад узнал, что она вышла замуж, он написал рапорт-записку: «Отбываю в бессрочный отпуск, приложение — наган № 10322» — он служил тогда в Никольск-Уссурийском, — да вот не нажал на курок…

Робкие, угрюмые, смешливые и холодные, задумчивые, женолюбцы, безобидные эгоисты, бродяги, скупцы, созерцатели, добряки… Вот они,

идущие в бой за общее правое дело. Эта истина настолько проста, что кажется неловким разговор о ней. Но об этой самой простой истине забывают именно те, кто, казалось, из нее должен исходить.

Где-то здесь решение старого спора, — для субботы ли живет человек?[6]

Как малы мысли о сапогах, о брошенной собачонке, мысль об избе в глухой деревеньке, ненависть к товарищу, отбившему девчонку… Но вот в чем суть.

Человеческие объединения, их смысл определены лишь одной главной целью, — завоевать людям право быть разными, особыми, по-своему, по-отдельному чувствовать, думать, жить на свете.

Чтобы завоевать это право, или отстоять его, или расширить, люди объединяются. И тут рождается ужасный, но могучий предрассудок, что в таком объединении во имя расы, Бога, партии, государства — смысл жизни, а не средство. Нет, нет, нет! В человеке, в его скромной особенности, в его праве на эту особенность — единственный, истинный и вечный смысл борьбы за жизнь.

---

[6] Примечания: 6

Суббота для человека, а не человек для субботы». Евангелие от Марка, гл. II, стих 27.

Новиков чувствовал, что они добьются своего — осилят, перехитрят, переиграют в бою врага. Эта громада ума, трудолюбия, удали и расчета, рабочего умения, злости, это духовное богатство народных ребят — студентов, школьников из десятилеток, токарей, трактористов, учителей, электриков, водителей автотранспорта, — злых, добрых, крутых, смешливых, запевал, гармонистов, осторожных, медлительных, отважных — соединится, сольется вместе, соединившись, они должны победить, уж очень богаты они.

Не один, так другой, не в центре, так на фланге, не в первый час боя, так во второй, а добьются, перехитрят и уж там всей громадой сломают, осилят… Успех в бою приходит именно от них, они его добывают в пыли, в дыму, в тот миг, когда умеют сообразить, развернуться, рвануть, ударить на долю секунды раньше, на долю сантиметра вернее, веселей, крепче, чем противник.

В них разгадка, в ребятах на машинах с пушками и пулеметами — главная сила войны.

Но суть и была в том, соединится ли, сложится ли в одну силу внутреннее богатство всех этих людей.

Новиков смотрел, смотрел на них, а в душе силилось счастливое, уверенное, обращенное к

женщине чувство: «Моей она будет, будет моей».

54

Какие это были удивительные дни.

Крымову казалось, что книга истории перестала быть книгой, а влилась в жизнь, смешалась с ней.

Обостренно ощущал он цвет неба и сталинградских облаков, блеск солнца на воде. Эти ощущения напоминали ему пору детства, когда вид первого снега, дробь летнего дождя, радуга наполняли его ощущением счастья. Это чудное чувство оставляет с годами почти все живые существа, привыкшие к чуду своей жизни на земле.

Все, что в современной жизни казалось Крымову ошибочным, неверным, здесь, в Сталинграде, не ощущалось. «Вот так было при Ленине», — думал он.

Ему казалось, что люди здесь относятся к нему по-иному, лучше, чем относились до войны. Он не чувствовал себя пасынком времени, — вот так же, как в пору окружения. Еще недавно в Заволжье он с увлечением готовился к докладам и считал естественным, что политуправление перевело его на лекторскую работу.

А сейчас в душе его то и дело поднималось тяжелое, оскорбленное чувство. Почему его сняли с боевого комиссарства? Кажись, он справлялся с делом не хуже других, получше многих…

Хороши были в Сталинграде отношения людей. Равенство и достоинство жили на этом политом кровью глинистом откосе.

Интерес к послевоенному устройству колхозов, к будущим отношениям между великими народами и правительствами был в Сталинграде почти всеобщим. Боевая жизнь красноармейцев и их работа с лопатой, с кухонным ножом, которым чистилась картошка, либо с сапожным ножом, которым орудовали батальонные сапожники, — все, казалось, имело прямое отношение к послевоенной жизни народа, других народов и государств.

Почти все верили, что добро победит в войне и честные люди, не жалевшие своей крови, смогут строить хорошую, справедливую жизнь. Эту трогательную веру высказывали люди, считавшие, что им-то самим вряд ли удастся дожить до мирного времени, ежедневно удивлявшиеся тому, что прожили на земле от утра до вечера.

55

Вечером Крымов после очередного доклада оказался в блиндаже у подполковника Батюка, командира дивизии, расположенной по склонам Мамаева кургана и у Банного оврага.

Батюк, человек небольшого роста, с лицом замученного войной солдата, обрадовался Крымову.

На батюковском столе за ужином был поставлен добрый студень, горячий домашний пирог. Наливая Крымову водки, Батюк, прищурив глаза, проговорил:

— А я слышал, что вы к нам с докладами приехали, думал, к кому раньше пойдете — к Родимцеву или ко мне. Оказалось, все же к Родимцеву.

Он покряхтел, посмеялся.

— Мы здесь как в деревне живем. Стихнет вечером, ну и начинаем с соседями перезваниваться: ты что обедал, да кто у тебя был, да к кому пойдешь, да что тебе начальство сказало, у кого баня лучше, да о ком написали в газете; пишут не о нас, все о Родимцеве, по газетам судя, он один в Сталинграде воюет.

Батюк угощал гостя, а сам лишь выпил чаю с

хлебом, — оказалось, он был равнодушен к гастрономии.

Крымов увидел, что спокойствие движений и украинская медлительность речи не соответствуют трудным мыслям, передумать которые взялся Батюк.

Николая Григорьевича огорчило, что Батюк не задал ему ни одного вопроса, связанного с докладом. Доклад словно бы не коснулся того, что действительно занимало Батюка.

Поразил Крымова рассказ Батюка о первых часах войны. Во время общего отхода от границы Батюк повел свой полк на запад, — отбить у немцев переправы. Отступавшее по шоссе высокое начальство вообразило, что он собирается предаться немцам. Тут же, на шоссе, после допроса, состоявшего из матерной брани и истерических выкриков, было приказано его расстрелять. В последнюю минуту, он уже стоял у дерева, красноармейцы отбили своего командира.

— Да, — сказал Крымов, — сурьезное дело, товарищ подполковник.

— Разрыва сердца не получил, — ответил Батюк, — а порок все-таки нажил, это мне удалось.

Крымов сказал несколько театральным тоном:

— Слышите стрельбу в Рынке? Что-то Горохов

делает сейчас?

Батюк скосил на него глаза.

— А что он делает, наверное, в подкидного играет.

Крымов сказал, что его предупредили о предстоящей у Батюка конференции снайперов — ему интересно было присутствовать на ней.

— А конечно интересно, почему ж неинтересно, — сказал Батюк.

Они заговорили о положении на фронте. Батюка тревожило тихое, идущее по ночам сосредоточение немецких сил на северном участке.

Когда снайперы собрались в блиндаже командира дивизии, Крымов сообразил, для кого был испечен пирог.

На скамейках, поставленных у стены и вокруг стола, усаживались люди в ватниках, полные застенчивости, неловкости и собственного достоинства. Вновь пришедшие, стараясь не греметь, как рабочие, складывающие лопаты и топоры, ставили в угол свои автоматы и винтовки.

Лицо знаменитого снайпера Зайцева казалось по-домашнему славным — милый неторопливый крестьянский парень. Но, когда Василий Зайцев повернул голову и прищурился, стали очевидны суровые черты его лица.

Крымову вспомнилось случайное довоенное впечатление: как-то, наблюдая на заседании своего давнего знакомого, Николай Григорьевич вдруг увидел его, всегда казавшееся суровым, лицо совсем по-иному — заморгавший глаз, опущенный нос, полуоткрытый рот, небольшой подбородок соединились в рисунок безвольный, нерешительный.

Рядом с Зайцевым сидели минометчик Бездидько — узкоплечий человек с карими, все время смеющимися глазами и молодой узбек Сулейман Халимов, по-детски оттопырив толстые губы. Вытиравший платочком со лба пот снайпер-артиллерист Мацегура казался многосемейным человеком, характер которого не имеет ничего общего с грозным снайперским делом.

А остальные пришедшие в блиндаж снайперы — артиллерист лейтенант Шуклин, Токарев, Манжуля, Солодкий — и вовсе выглядели робкими и застенчивыми парнями.

Батюк расспрашивал пришедших, склонив голову, и казался любознательным учеником, а не одним из самых опытных и умудренных сталинградских командиров.

Когда он обратился к Бездидько, в глазах у всех сидевших появилось веселое ожидание шутки.

— Ну, як воно дило, Бездидько?

— Вчора я зробыв нимцю велыкый сабантуй, товарищу подполковник, це вы вже чулы, а з утра убыв пять фрыцив, истратил четыре мины.

— Да, то не Шуклина работа, одной пушкой четырнадцать танков подбил.

— Потому он и бив одной пушкой, шо у него в батареи тылько одна пушка и осталась.

— Он немцам бардачок разбил, — сказал красавец Булатов и покраснел.

— Я его запысав як обыкновенный блиндаж.

— Да, блиндаж, — проговорил Батюк, — сегодня мина дверь мне вышибла, — и, повернувшись к Бездидько, укоризненно добавил по-украински: — А я подумав, от сукын сын Бездидько, шо робыть, хиба ж я его так учыв стрелять.

Особо стеснявшийся наводчик пушки Манжуля, взяв кусок пирога, тихо сказал:

— Хорошее тесто, товарищ подполковник.

Батюк постучал винтовочным патроном по стакану.

— Что ж, товарищи, давайте всерьез.

Это было производственное совещание, такое же, какое собиралось на заводах, в полевых станах. Но не ткачи, не пекари, не портные сидели здесь, не о хлебе и молотьбе говорили люди.

Булатов рассказал, как он, увидев немца, шедшего по дороге в обнимку с женщиной, заставил их упасть на землю и, прежде чем убить, раза три дал им подняться, а затем снова заставил упасть, подымая пулями облачки пыли в двух-трех сантиметрах от ног.

— А убил я его, когда он над ней стоял, так крест-накрест и полегли на дорогу.

Рассказывал Булатов лениво, и рассказ его был ужасен тем ужасом, которого никогда не бывает в рассказах солдат.

— Давай, Булатов, без бреху, — прервал его Зайцев.

— Я без бреху, — сказал, не поняв, Булатов. — Мой счет семьдесят восемь на сегодняшний день. Товарищ комиссар не даст соврать, вот его подпись.

Крымову хотелось вмешаться в разговор, сказать о том, что ведь среди убитых Булатовым немцев могли быть рабочие, революционеры, интернационалисты… Об этом следует помнить, иначе можно превратиться в крайних националистов. Но Николай Григорьевич молчал. Эти мысли ведь не были нужны для войны, — они не вооружали, а разоружали.

Шепелявый, белесый Солодкий рассказал, как

убил вчера восемь немцев. Потом он добавил:

— Я сам, значит, уманьский колхозник, фашисты натворили больших чудесов в моем селе. Я сам маленько кровь потерял — был три раза раненный. Вот и сменял колхозника на снайпера.

Угрюмый Токарев объяснял, как лучше выбирать место у дороги, по которой немцы ходят за водой и к кухням, и между прочим сказал:

— Жена пишет — гибли в плену под Можаем, сына мне убили за то, что назвал я его Владимиром Ильичом.

Халимов, волнуясь, рассказал:

— Я никогда не тороплюсь, если сердце держаем, я стреляю. Я на фронт приехал, мой друг был сержант Гуров, я учил его узбекски, он учил меня русски. Его немец убил, я двенадцать свалил. Снял с офицера бинок, себе на шею одел: ваше приказание выполнил, товарищ политрук.

Все же страшноваты эти творческие отчеты снайперов. Всю жизнь Крымов высмеивал интеллигентских слюнтяев, высмеивал Евгению Николаевну и Штрума, охавших по поводу страданий раскулаченных в период коллективизации. Он говорил Евгении Николаевне о событиях 1937 года: «Не то страшно, что уничтожают врагов, черт с ними, страшно, когда по своим бьют».

И теперь ему хотелось сказать, что он всегда, не колеблясь, готов был уничтожать белогвардейских гадов, меньшевистскую и эсеровскую сволочь, попов, кулачье, что никогда никакой жалости не возникало у него к врагам революции, но нельзя же радоваться, что наряду с фашистами убивают немецких рабочих. Все же страшновато от разговоров снайперов, хоть они знают, ради чего совершают свое дело.

Зайцев стал рассказывать о своем многодневном состязании с немецким снайпером у подножия Мамаева кургана. Немец знал, что Зайцев следит за ним, и сам следил за Зайцевым. Оба они казались равной примерно силы и не могли друг с другом справиться.

— В этот день он троих наших положил, а я сижу в балочке, ни одного выстрела не сделал. Вот он делает последний выстрел, без промаха стрельба, упал боец, лег на бок, руку откинул. Идет с их стороны солдат с бумагой, я сижу, смотрю… А он, я это понимаю, понимает, что сидел бы тут снайпер, убил бы этого с бумагой, а он прошел. А я понимаю, что бойца, которого он положил, ему не видно и ему интересно посмотреть. Тихо. И второй немец пробежал с ведеркой — молчит балочка. Прошло еще минут шестнадцать — он стал

приподниматься. Встал. Я встал во весь рост…

Вновь переживая произошедшее, Зайцев поднялся из-за стола, — то особое выражение силы, которое мелькнуло на его лице, теперь стало единственным и главным выражением его, то уже не был добродушный широконосый парень, — что-то могучее, львиное, зловещее было в этих раздувшихся ноздрях, в широком лбе, в глазах, полных ужасного, победного вдохновения.

— Он понял — узнал меня. И я выстрелил.

На мгновение стало тихо. Так, наверное, было тихо после короткого прозвучавшего вчера выстрела, и словно бы снова послышался шум упавшего человеческого тела. Батюк вдруг повернулся к Крымову, спросил:

— Ну как, интересно вам?

— Здорово, — сказал Крымов и больше ничего не сказал.

Ночевал Крымов у Батюка.

Батюк, шевеля губами, отсчитывал в рюмочку капли сердечного лекарства, наливал в стакан воду.

Позевывая, он рассказывал Крымову о делах в дивизии, не о боях, а о всяких происшествиях жизни.

Все, что говорил Батюк, имело отношение, ка-

залось Крымову, к той истории, что произошла с самим Батюком в первые часы войны, от нее тянулись его мысли.

С первых сталинградских часов не проходило у Николая Григорьевича какое-то странное чувство.

То, казалось ему, попал он в беспартийное царство. То, наоборот, казалось ему, он дышал воздухом первых дней революции.

Крымов вдруг спросил:

— Вы давно в партии, товарищ подполковник?

Батюк сказал:

— А что, товарищ батальонный комиссар, вам кажется, я не ту линию гну?

Крымов не сразу ответил.

Он сказал командиру дивизии:

— Знаете, я считаюсь неплохим партийным оратором, выступал на больших рабочих митингах. А тут у меня все время чувство, что меня ведут, а не я веду. Вот такая странная штука. Да, вот, — кто гнет линию, кого линия гнет. Хотелось мне вмешаться в разговор ваших снайперов, внести одну поправку. А потом подумал, — ученых учить — портить… А по правде говоря, не только поэтому промолчал. Политуправление указывает докладчикам — довести до сознания бойцов, что

Красная Армия есть армия мстителей. А я тут начну об интернационализме да классовом подходе. Главное ведь — мобилизовать ярость масс против врагов! А то получилось бы как с дураком в сказке — пришел на свадьбу, стал читать за упокой…

Он подумал, проговорил:

— Да и привычка… Партия мобилизует обычно гнев масс, ярость, нацеливает бить врага, уничтожать. Христианский гуманизм в нашем деле не годится. Наш советский гуманизм суровый… Церемоний мы не знаем…

Он подумал, проговорил:

— Естественно, я не имею в виду тот случай, когда вас зазря расстреливали… И в тридцать седьмом, случалось, били по своим: в этих делах горе наше. А немцы полезли на отечество рабочих и крестьян, что ж! Война есть война. Поделом им.

Крымов ожидал ответа Батюка, но тот молчал, не потому что был озадачен словами Крымова, а потому, что заснул.

56

В мартеновском цеху завода «Красный Октябрь» в высоком полусумраке сновали люди в ватниках, гулко отдавались выстрелы, вспыхивало быстрое пламя, не то пыль, не то туман стояли в воздухе.

Командир дивизии Гурьев разместил командные пункты полков в мартеновских печах. Крымову подумалось, что люди, сидящие в печах, варивших недавно сталь, особые люди, сердца их из стали.

Здесь уже были слышны шаги немецких сапог и не только крики команды, но и негромкое щелканье и позванивание, — немцы перезаряжали свои рогатые автоматы.

И когда Крымов полез, вжав голову в плечи, в устье печи, где находился командный пункт командира стрелкового полка, и ощутил ладонями не остывшее за несколько месяцев тепло, таившееся в огнеупорном кирпиче, какая-то робость охватила его, — показалось, сейчас откроется ему тайна великого сопротивления.

В полусумраке различил он сидящего на корточках человека, увидел его широкое лицо,

услышал славный голос:

— Вот и гость к нам пришел в грановитую палату, милости просим, — водочки сто грамм, печеное яичко на закуску.

В пыльной и душной полумгле Николаю Григорьевичу пришло в голову, что он никогда не расскажет Евгении Николаевне о том, как он вспоминал ее, забравшись в сталинградскую мартеновскую берлогу. Раньше ему все хотелось отделаться от нее, забыть ее. Но теперь он примирился с тем, что она неотступно ходит за ним. Вот и в печь полезла, ведьма, не спрячешься от нее.

Конечно, все оказалось проще пареной репы. Кому нужны пасынки времени? В инвалиды его, на мыло, в пенсионеры! Ее уход подтвердил, осветил всю безнадежность его жизни, — даже здесь, в Сталинграде, нет ему настоящего, боевого дела…

А вечером в этом же цеху Крымов после доклада беседовал с генералом Гурьевым. Гурьев сидел без кителя, то и дело вытирая красное лицо платком, громким, хриплым голосом предлагал Крымову водки, этим же голосом кричал в телефон приказания командирам полков; этим же громким хриплым голосом выговаривал повару, не сумевшему по правилам зажарить шашлык,

звонил соседу своему Батюку, спрашивал его, забивали ли козла на Мамаевом кургане.

— Народ у нас, в общем, веселый, хороший, — сказал Гурьев. — Батюк — мужик умный, генерал Жолудев на Тракторном — мой старинный друг. На «Баррикадах» Гуртьев, полковник, тоже славный человек, но он уж очень монах, совсем отказался от водки. Это, конечно, неправильно.

Потом он стал объяснять Крымову, что ни у кого не осталось так мало активных штыков, как у него, шесть-восемь человек в роте; ни к кому так трудно не переправиться, как к нему, ведь, бывает, с катеров третью часть снимают ранеными, — вот разве только Горохову в Рынке так достается.

— Вчера вызвал Чуйков моего начальника штаба Шубу, что-то не сошлось у него при уточнении линии переднего края, так мой полковник Шуба совсем больной вернулся.

Он поглядел на Крымова и сказал:

— Думаете, матом крыл? — и рассмеялся. — Что мат, матом я его сам каждый день крою. Зубы выбил, весь передний край.

— Да, — протяжно сказал Крымов. Это «да» выражало, что, видимо, достоинство человека не всегда торжествовало на сталинградском откосе.

Потом Гурьев стал рассуждать о том, почему так плохо пишут газетные писатели о войне.

— Отсиживаются, сукины дети, ничего сами не видят, сидят за Волгой, в глубоком тылу, и пишут. Кто его лучше угостит, про того он и пишет. Вот Лев Толстой написал «Войну и мир». Сто лет люди читают и еще сто лет читать будут. А почему? Сам участвовал, сам воевал, вот он и знает, про кого надо писать.

— Позвольте, товарищ генерал, — сказал Крымов. — Толстой в Отечественной войне не участвовал.

— То есть как это «не участвовал»? — спросил генерал.

— Да очень просто, не участвовал, — проговорил Крымов. — Толстой ведь не родился, когда шла война с Наполеоном.

— Не родился? — переспросил Гурьев. — Как это так, не родился? Кто ж за него писал, если он не родился? А? Как вы считаете?

И у них загорелся вдруг яростный спор. Это был первый спор, возникший после доклада Крымова. К удивлению Николая Григорьевича, оказалось, что переспорить собеседника ему не удалось.

57

На следующий день Крымов пришел на завод «Баррикады», где стояла Сибирская стрелковая дивизия полковника Гуртьева.

Он с каждым днем все больше сомневался, нужны ли его доклады. Иногда ему казалось, что слушают его из вежливости, как неверующие слушают старика священника. Правда, приходу его бывали рады, но он понимал, — рады ему по-человечески, а не его речам. Он стал одним из тех армейских политотдельцев, что занимаются бумажными делами, болтаются, мешают тем, кто воюет. Лишь те политработники были на месте, которые не спрашивали, не разъясняли, не составляли длинных отчетов и донесений, не занимались агитацией, а воевали.

Он вспоминал довоенные занятия в университете марксизма-ленинизма, и ему и его слушателям было смертно скучно штудировать, как катехизис, «Краткий курс» истории партии.

Но вот в мирное время эта скука была законна, неизбежна, а здесь, в Сталинграде, стала нелепа, бессмысленна. К чему все это?

Крымов встретился с Гуртьевым у входа в штаб-

ной блиндаж и не признал в худеньком человеке, одетом в кирзовые сапоги, в солдатскую, не по росту куцую шинель, командира дивизии.

Доклад Крымова состоялся в просторном, с низким потолком блиндаже. Никогда за все время своего пребывания в Сталинграде Крымов не слышал такого артиллерийского огня, как в этот раз. Приходилось все время кричать.

Комиссар дивизии Свирин, человек с громкой складной речью, богатой острыми, веселыми словами, перед началом доклада сказал:

— А к чему это ограничивать аудиторию старшим командным составом? А ну, топографы, свободные бойцы роты охраны, недежурящие связисты и связные, пожалуйте на доклад о международном положении! После доклада кино. Танцы до утра.

Он подмигнул Крымову, как бы говоря: «Ну вот, будет еще одно замечательное мероприятие; сгодится для отчета и вам и нам».

По тому, как улыбнулся Гуртьев, глядя на шумевшего Свирина, и по тому, как Свирин поправил шинель, накинутую на плечи Гуртьеву, Крымов понял дух дружбы, царивший в этом блиндаже.

И по тому, как Свирин, сощурив и без того узкие

глаза, оглядел начальника штаба Саврасова, а тот неохотно, с недовольным лицом, сердито поглядел на Свирина, Крымов понял, что не только дух дружбы и товарищества царит в этом блиндаже.

Командир и комиссар дивизии сразу же после доклада ушли по срочному вызову командарма. Крымов разговорился с Саврасовым. Это был человек, видимо, тяжелого и резкого характера, честолюбивый и обиженный. Многое в нем — и честолюбие, и резкость, и насмешливый цинизм, с которым говорил он о людях, — было нехорошо.

Саврасов, глядя на Крымова, произносил монолог:

— В Сталинграде придешь в любой полк и знаешь: в полку самый сильный, решительный — командир полка! Это уж точно. Тут уж не смотрят, сколько у дяди коров. Смотрят одно — башка… Есть? Тогда хорош. Липы тут нет. А в мирное время как бывало? — он улыбнулся своими желтыми глазами прямо в лицо Крымову. — Знаете, я политику терпеть не могу. Все эти правые, левые, оппортунисты, теоретики. Не выношу аллилуйщиков. Но меня и без политики схарчить раз десять хотели. Хорошо еще, что я беспартийный, — то пьяницу мне пришьют, то,

оказывается, я бабник. Притворяться мне, что ли? Не умею.

Крымову хотелось сказать Саврасову, что вот и в Сталинграде его, крымовская, судьба не выправляется, болтается он без настоящего дела. Почему Вавилов, а не он комиссаром в дивизии Родимцева? Почему Свирину партия доверяет больше, чем ему? Ведь в самом деле — он и умней, и шире взгляд, и опыт партийный больше, и мужества хватит, а понадобится, и жестокости хватит, рука не дрогнет… Да ведь, по сути, — они по сравнению с ним ликбезовцы! Ваше время истекло, товарищ Крымов, катись.

Разжег, распалил, расстроил его этот желтоглазый полковник.

Да чего ж тут сомневаться, господи, вот и личная его жизнь рухнула, пошла под откос… Тут дело не в том, конечно, что Женя увидела его материальную беспомощность. Это ей все равно. Она человек чистый. Разлюбила! В бывших, в битых не влюбляются. Человек без ореола. Да, да, вылетел из номенклатуры… А впрочем. Чиста-то она чиста, но и для нее материальное значит. Все по земле ходят. И Евгения Николаевна. Ведь не пойдет за нищего художника, хоть он и мажет бредовую свою мазню, которую она объявила

гениальной…

Многие из этих мыслей мог бы высказать Крымов желтоглазому полковнику, но он лишь возразил ему в том, в чем был с ним согласен.

— Ну что вы, товарищ полковник, вы уж очень упрощаете. В довоенное время смотрели не только на то, сколько у дядьки коров. А подбирать кадры по одному лишь деловому признаку тоже ведь нельзя.

Война не давала вести разговор о том, что было до войны. Грохнул тяжелый разрыв, и из тумана и пыли возник озабоченный капитан, заголосил телефонист — в штаб звонили из полка. Немецкий танк открыл огонь по штабу полка, а автоматчики, проскочившие вслед за танком, забрались в каменный дом, где находились управленцы тяжелого артдивизиона; управленцы, сидя на втором этаже, завязали с немцами бой. Танк зажег деревянный дом по соседству, и сильный ветер с Волги нес пламя на командный пункт командира полка Чамова, и Чамов со своим штабом начал задыхаться и решил менять командный пункт. Но менять днем командный пункт под огнем артиллерии, под секущими очередями тяжелых пулеметов, державших Чамова под обстрелом, было трудно.

Все эти события происходили одновременно на участке обороны дивизии. Одни спрашивали совета, другие поддержки артиллерии, третьи просили разрешения на отход, четвертые информировали, пятые хотели информации. И у каждого было особое дело, и у всех общим было лишь то, что речь шла о жизни и смерти.

А когда чуть притихло, Саврасов спросил у Крымова:

— А не пообедать ли нам, товарищ батальонный комиссар, пока начальство не вернулось из штаба армии?

Он не подчинялся введенному командиром и комиссаром дивизии правилу — и не отказался от водки. Поэтому он предпочитал обедать отдельно.

— Гуртьев — вояка хороший, — сказал немного захмелевший Саврасов, — грамотный, честный. Но в чем беда — жуткий аскет! Монастырь завел. А у меня на девок волчий интерес, люблю это дело, как паук. При Гуртьеве — не дай бог анекдот рассказать. Но с ним мы воюем, в общем, складно. А комиссар меня не любит, хотя по натуре он монах не хуже меня. Думаете, меня Сталинград состарил? Друзья вот эти, я тут, наоборот, поправился.

— Вот и я этой комиссарской породы, — сказал Крымов.

Саврасов покачал головой.

— Той, да не той. Не в этой водке тут дело, а в этой, — и он постучал пальцем по бутылке, а потом себя по лбу.

Они уже кончили обед, когда вернулись с командного пункта Чуйкова командир и комиссар дивизии.

— Что нового произошло? — быстро и строго спросил Гуртьев, оглядев стол.

— Вот ранило нам начальника связи, тыркались немцы на стыке с Жолудевым, домик подожгли на стыке Чамова и Михалева. Чамов почихал, дыму наглотался, а в общем ничего особенного, — ответил Саврасов.

Свирин, глядя на раскрасневшееся лицо Саврасова, ласково и протяжно проговорил:

— Все водочку, водочку, товарищ полковник, пьем.

58

Командир дивизии запросил командира полка майора Березкина о положении в доме шесть дробь один: не лучше ли отвести оттуда людей?

Березкин посоветовал командиру дивизии не выводить людей, хотя дому и грозило окружение. В доме находятся наблюдательные пункты заволжской артиллерии, передающие важные данные о противнике. В доме находится саперное подразделение, которое может парализовать движение немцев на танкоопасных направлениях. Немцы вряд ли начнут общее наступление, прежде чем не ликвидируют этот очаг сопротивления, их правило хорошо известно. А при некоторой поддержке дом шесть дробь один сумеет продержаться долго и тем расстроить немецкую программу. Так как связные могут добраться до осажденного дома лишь в редкие ночные часы, а проволочная связь постоянно рвется, хорошо бы подкинуть туда радиста с передатчиком.

Командир дивизии согласился с Березкиным. Ночью политрук Сошкин с группой красноармейцев сумел пройти в дом шесть дробь один, передать защитникам его несколько ящиков па-

тронов и ручных гранат. Одновременно Сошкин доставил в дом шесть дробь один девушку-радистку и передатчик, взятый с узла связи.

Вернувшийся под утро политрук рассказал, что командир отряда отказался написать отчетное донесение, сказал:

— Бумажной ерундой мне некогда заниматься, мы отчитываемся только перед фрицами.

— Вообще у них там ничего не поймешь, — сказал Сошкин, — все этого Грекова боятся, а он с ними, как ровня, лежат вповалку, и он среди них, «ты» ему говорят и зовут «Ваня». Вы извините, товарищ командир полка, не воинское подразделение, а какая-то Парижская коммуна.

Березкин, покачивая головой, спросил:

— Отчет отказался писать? Это — мужичок!

Потом комиссар полка Пивоваров произнес речь о партизанящих командирах.

Березкин примирительно сказал:

— Что ж, партизанщина? Инициатива, самостоятельность. Я сам иногда мечтаю: попал бы в окружение и отдохнул бы от всей этой бумажной волокиты.

— Кстати, о бумажной волоките, — сказал Пивоваров. — Вы напишите подробное донесение, передам комиссару дивизии.

В дивизии серьезно отнеслись к рапорту Сошкина.

Комиссар дивизии велел Пивоварову получить подробные сведения о положении в доме шесть дробь один и вправить Грекову мозги. Тут же комиссар дивизии доложил о морально-политическом неблагополучии члену Военного совета и начальнику политотдела армии.

В армии еще серьезней, чем в дивизии, отнеслись к сведениям политрука. Комиссар дивизии получил указание, не откладывая дела, заняться окруженным домом. Начальник политотдела армии, бригадный комиссар, написал срочное донесение начальнику политуправления фронта, дивизионному комиссару.

Радистка Катя Венгрова пришла в дом шесть дробь один ночью. Утром она представилась управдому Грекову, и тот, принимая рапорт сутулившейся девушки, вглядывался в ее глаза, растерянные, испуганные и в то же время насмешливые.

У нее был большой рот с малокровными губами. Греков несколько секунд выжидал, прежде чем ответить на ее вопрос: «Разрешите идти?»

За эти секунды в его хозяйской голове появились мысли, не имевшие отношения к военному

делу: «А ей-богу, славненькая… ноги красивые… боится… Видно, мамина дочка. Ну сколько ей, от силы восемнадцать. Как бы мои ребята не стали с ней кобелировать…»

Все эти соображения, прошедшие через голову Грекова, неожиданно завершились такой мыслью: «Кто тут хозяин, кто немцев здесь до озверения довел, а?»

Потом он ответил на ее вопрос:

— Куда вам идти, девушка? Оставайтесь возле своего аппарата. Чего-нибудь накрутим.

Он постучал пальцем по радиопередатчику, покосился на небо, где ныли немецкие бомбардировщики.

— Вы из Москвы, девушка? — спросил он.

— Да, — ответила она.

— Вы садитесь, у нас тут просто, по-деревенски.

Радистка шагнула в сторонку, и кирпич скрипел под ее сапогами, и солнце светилось на дулах пулеметов, на черном теле грековского трофейного пистолета. Она присела, смотрела на шинели, наваленные под разрушенной стеной. И ей на миг стало удивительно, что в этой картине для нее уж не было ничего удивительного. Она знала, что пулеметы, глядящие в проломы стены, системы

Дегтярева, знала, что в обойме трофейного «вальтера» сидят восемь патронов, что бьет «вальтер» сильно, но целиться из него плохо, знала, что шинели, наваленные в углу, принадлежат убитым и что убитые похоронены неглубоко, — запах гари смешивался с другим, ставшим привычным для нее запахом. И радиопередатчик, данный ей этой ночью, походил на тот, с которым она работала под Котлубанью, — та же шкала приема, тот же переключатель. Ей вспомнилось, как она в степи, глядясь в пыльное стекло на амперметре, поправляла волосы, выбившиеся из-под пилотки.

С ней никто не заговаривал, казалось, буйная, страшная жизнь дома идет мимо нее.

Но когда седой человек, она поняла из разговора, что он минометчик, выругался нехорошими словами, Греков сказал:

— Отец, что ж это. Тут наша девушка. Надо поаккуратней.

Катя поежилась не от ругательных слов старика, а от взгляда Грекова.

Она ощутила, что, хотя с ней и не заговаривают, в доме растревожены ее появлением. Она, казалось, кожей почувствовала напряжение, возникшее вокруг нее. Оно продолжалось, когда завыли пикировщики, и бомбы стали рваться

совсем близко, и застучали обломки кирпича.

Она все же привыкла несколько к бомбежкам, к свисту осколков — не так терялась. А чувство, возникавшее, когда она ощущала на себе тяжелые, внимательные мужские взгляды, по-прежнему вызывало растерянность.

Накануне вечером девушки-связистки жалели ее, говорили:

— Ох и жутко тебе там будет!

Ночью посыльный привел ее в штаб полка. Там уже по-особому чувствовалась близость противника, хрупкость жизни. Люди казались какими-то ломкими, — вот они есть, а через минуту их нет.

Командир полка сокрушенно покачал головой, проговорил:

— Разве можно детей на войну посылать.

Потом он сказал:

— Не робейте, милая, если что будет не так, прямо по передатчику мне сообщите.

И сказал он это таким добрым, домашним голосом, что Катя с трудом удержала слезы.

Потом другой посыльный отвел ее в штаб батальона. Там играл патефон, и рыжий командир батальона предложил Кате выпить и потанцевать с ним под пластинку «Китайская серенада».

В батальоне было совсем жутко, и Кате представлялось, что командир батальона выпил не для веселья, а чтобы заглушить невыносимую жуть, забыть о своей стеклянной хрупкости.

А сейчас она сидела на груде кирпича в доме шесть дробь один и почему-то не испытывала страха, думала о своей сказочной, прекрасной довоенной жизни.

Люди в окруженном доме были особо уверенными, сильными, и эта их самоуверенность успокаивала. Вот такая же убеждающая уверенность есть у знаменитых докторов, у заслуженных рабочих в прокатных цехах, у закройщиков, кромсающих драгоценное сукно, у пожарников, у старых учителей, объясняющих у доски.

До войны Кате представлялось, что она должна прожить несчастливую жизнь. До войны она смотрела на подруг и знакомых, ездящих на автобусе, как на расточителей. Люди, выходящие из плохоньких ресторанов, казались ей необычайными существами, и она иногда шла следом за такой вывалившей из «Дарьяла» или «Терека» компанией и прислушивалась к разговору. Приходя из школы домой, она торжественно говорила матери:

— Знаешь, что сегодня было, меня девочка уго-

стила газированной водой с сиропом, натуральный, пахнет настоящей черной смородиной!

Нелегко было им на деньги, остававшиеся из четырехсотрублевого жалованья матери после вычета подоходного и культурного налога, после вычета госзайма, строить бюджет. Новых вещей они не покупали, перешивали старые, в оплате дворничихи Маруси, убиравшей в квартире места общего пользования, они не участвовали, и, когда приходили их дни уборки, Катя мыла полы и выносила мусорное ведро; молоко они брали не у молочниц, а в государственном магазине, где очереди были очень большие, но это давало экономию в шесть рублей в месяц; а когда в государственном магазине не было молока, Катина мать ходила вечером на базар — там молочницы, спеша на поезд, отдавали молоко дешевле утреннего, и получалось почти в одну цену с государственной ценой. На автобусе они никогда не ездили, это было слишком дорого, а на трамвай садились, когда надо было ехать большое расстояние. В парикмахерскую Катя не ходила, мама сама подстригала ей волосы. Стирали они, конечно, сами, лампочку жгли неяркую, чуть светлей той, что горела в местах общего пользования. Обед они готовили на три дня. Обед состоял из

супа, иногда из каши с постным маслом, и Катя как-то съела три тарелки супа, сказала: «Ну вот, сегодня у нас обед из трех блюд».

Мать не вспоминала о том, как жили они при отце, а Катя уже не помнила этого. Лишь иногда Вера Дмитриевна, мамина подруга, говорила, глядя, как мать и дочь готовятся обедать: «Да, были когда-то и мы рысаками».

Но мама сердилась, и Вера Дмитриевна не распространялась по поводу того, что происходило, когда Катя и ее мать были рысаками.

Как-то Катя нашла в шкафу фотографию отца. Она впервые увидела его лицо на снимке и сразу, точно кто-то подсказал ей, поняла, что это отец. На обороте фотографии было написано: «Лиде — я из дома бедных Азров, полюбив, мы умираем молча». Она ничего не сказала матери, но, приходя из школы, вынимала фотографию и подолгу всматривалась в темные, казавшиеся ей грустными глаза отца.

Однажды она спросила:

— Где папа сейчас?

Мать сказала:

— Не знаю.

А когда Катя пошла в армию, мать впервые заговорила с ней об отце, и Катя узнала, что отец

был арестован в 1937 году, узнала историю его второй женитьбы.

Всю ночь они не спали, говорили. И все смешалось — мать, обычно сдержанная, говорила с дочерью о том, как покинул ее муж, говорила о своей ревности, унижении, обиде, любви, жалости. И удивительно было Кате, — мир человеческой души оказался таким огромным, перед ним отступала даже ревущая война. А утром они простились. Мать притянула Катину голову к себе, вещевой мешок оттягивал Кате плечи. Катя произнесла: «Мамочка, и я из дома бедных Азров, полюбив, мы умираем молча…»

Потом мать легонько толкнула ее в плечо:

— Пора, Катя, иди.

И Катя пошла, как шли в эту пору миллионы молодых и пожилых, пошла из материнского дома, чтобы, может быть, никогда в него не вернуться либо вернуться уже другой, навек разлученной со временем своего недоброго и милого детства.

Вот она сидит рядом со сталинградским управдомом Грековым, смотрит на его большую голову, на его губастое, хмурое мурло.

59

В первый день работала проволочная связь.

От долгого безделья и отчужденности от жизни дома шесть дробь один девушке-радистке стало невыносимо тоскливо.

Но и этот первый день в доме шесть дробь один многое подготовил для сближения ее с жизнью, которая ей предстояла.

Она узнала, что в развалинах второго этажа сидят наблюдатели-артиллеристы, передающие данные в Заволжье, что старший на втором этаже — лейтенант в грязной гимнастерке, с постоянно сползающими со вздернутого носа очками.

Она поняла, что сердитый сквернослов-старик попал сюда из ополчения и гордится своим званием командира минометного расчета. Между высокой стеной и холмом кирпичного лома располагались саперы, там царствовал полный человек, который ходил, покрякивая и морщась, словно страдая от мозолей.

Единственной в доме пушкой командовал лысый в матросской тельняшке человек. Фамилия его была Коломейцев. Катя слышала, как Греков крикнул:

— Эй, Коломейцев, ты, я вижу, опять мировую цель проспал.

Пехотой и пулеметами верховодил младший лейтенант со светлой бородой. Лицо его в рамке бороды казалось особенно молодым, а лейтенант, вероятно, считал, что борода ему придает вид тридцатилетнего, пожилого.

Днем ее покормили, она поела хлеба, бараньей колбасы. Потом она вспомнила, что в кармане гимнастерки у нее лежит конфета, и незаметно сунула конфету в рот. После еды ей захотелось спать, хотя стреляли совсем близко. Она заснула, во сне продолжала сосать конфету, продолжала томиться, тосковать, ждать беды. Вдруг ушей ее достиг протяжный голос. Не открывая глаз, она вслушивалась в слова:

…как вино, печаль минувших дней
В моей душе, чем старе, тем сильней…

В каменном колодце, освещенном вечерним газообразным янтарем, стоял взъерошенный, грязный малый и держал перед собой книжку. А на красных кирпичах сидели пять-шесть человек, Греков лежал на шинели, подперев подбородок кулаками. Парень, похожий на грузина, слушал недоверчиво, как бы говоря: «Нет, меня

не купишь такой ерундой, брось».

От близкого разрыва встало облако кирпичной пыли, и, казалось, заклубился сказочный туман, люди на кровавых грудах кирпича и их оружие в красном тумане стали, как в грозный день, о котором рассказано в «Слове о полку Игореве». И неожиданно сердце девушки задрожало от нелепой уверенности, что ее ожидает счастье.

День второй. В этот день произошло событие, взбудоражившее ко всему привыкших жильцов дома.

На втором этаже ответственным съемщиком был лейтенант Батраков. При нем находились вычислитель и наблюдатель. Катя по нескольку раз на день видела их — унылого Лампасова, хитроумного и простодушного Бунчука, странного, все время улыбающегося самому себе очкастого лейтенанта.

В минуты тишины сверху, через пролом в потолке, бывали слышны их голоса.

Лампасов до войны имел отношение к куроводству, беседовал с Бунчуком об уме и вероломных повадках кур. Бунчук, припав к стереотрубе, протяжно, нараспев докладывал: «Ось бачу — с Калача идэ фрыцевська автомобыльна колонна… идэ середня танка… идуть фрыци пишки,

до батальону… У трех мистах, як и вчора, кухни дымять, идуть фрыци с котелками…» Некоторые его наблюдения не имели стратегического значения и представляли лишь житейский интерес. Тогда он пел: «Ось бачу… фрыцевський командир гуляе з собачкой, собачка нюхае стовбыка, бажае оправиться, так воно и е, мабуть, сучка, охвицер стоить, чекае; ось дви дивки городськи, балакають с фрыцевськими солдатами, рыгочуть, солдат выймае сигареты, идна дивка бере, пускае дым, друга головой мотае, мабуть, каже: я не куряща…»

И вдруг Бунчук все тем же певучим голосом доложил:

— Ось бачу… на плацу построена полнокровна пихота… Стоить оркестра… На самой середыни якась трибуна, ни, це дрова зложены… — Потом он надолго замолчал, а затем голосом, полным отчаяния, но все же протяжным, произнес: — Ой, бачу, товарищ лейтенант, ведуть жэнщину, в сороци, вона щось крычыть… оркэстра гра… цю жэнщину прывязывають до стовба, ой, бачу, товарищ лейтенант, коло неи хлопчык, и его привязують… товарищ лейтенант, очи б мои не дывылись, два фрыца льють бензин с бачков…

Батраков передал о происшествии по телефону

в Заволжье.

Он припал к стереотрубе и на свой калужский манер, подражая голосу Бунчука, заголосил:

— Ой, бачу, ребята, все в дыму и оркестр играет… Огонь! — заорал он страшным голосом и повернулся в сторону Заволжья.

Но Заволжье молчало…

А через несколько минут место казни было накрыто сосредоточенным огнем тяжелого артиллерийского полка. Плац закрыло облаками дыма и пыли.

Несколько часов спустя стало известно через разведчика Климова, что немцы собирались сжечь цыганку и цыганенка, заподозренных в шпионаже. Накануне Климов оставил старухе, жившей в погребе с внучкой и козой, пару грязного белья, портянки и обещал назавтра зайти за постиранным бельем. Он хотел разузнать у старухи про цыганку и цыганенка, убило их советскими снарядами или они успели сгореть на немецком огне. Климов прополз среди развалин по ему одному ведомым тропинкам, но на месте, где находилась землянка, советский ночной бомбардировщик положил тяжелую бомбу — не стало ни бабушки, ни внучки, ни козы, ни климовских рубахи и подштанников. Он обнаружил

лишь между расщепленными бревнами и ломтями штукатурки грязного котенка. Котенок был никудышный, ни о чем не просил и ни на что не жаловался, считал, что этот грохот, голод, огонь и есть жизнь на земле.

Климов так и не мог понять, почему вдруг сунул котенка в карман.

Катю удивляли отношения людей в доме шесть дробь один. Разведчик Климов докладывал Грекову не по форме, стоя, а сел рядом с ним, говорили они, словно товарищ с товарищем. Климов прикурил свою папироску от папиросы Грекова.

Закончив рассказ, Климов подошел к Кате и сказал:

— Девушка, вот какие жуткие дела бывают на свете.

Она вздохнула, покраснела, ощутив на себе его колющий, режущий взгляд.

Он вытащил из кармана котенка, положил его на кирпич рядом с Катей.

В этот день десяток людей подходили к Кате, они заговаривали с ней на кошачьи темы, но никто не говорил о случае с цыганкой, хотя случай этот растревожил всех. Те, кто хотели завести с Катей чувствительные, откровенные разговоры, говорили с ней насмешливо, грубо. Те, кто за-

мышляли с бесхитростной простотой переспать с ней, заговаривали церемонно, с елейной деликатностью.

У котенка сделалась трясучка, и он дрожал всем телом, видимо, был контужен.

Старик минометчик, морщась, проговорил:

— Пришибить его, и все, — и тут же добавил: — Ты бы с него блох выбрала.

Второй минометчик, красивый, смуглый ополченец Ченцов, посоветовал Кате:

— Выкиньте эту погань, девушка. Был бы сибирский.

Мрачный, с тонкогубым и злым лицом солдат-сапер Ляхов один лишь действительно интересовался кошкой и был безразличен к прелестям радистки.

— Когда мы в степи стояли, — сказал он Кате, — как шарахнет на меня, я подумал — снаряд на излете. А это заяц. До вечера со мной сидел, а затихло — ушел.

Он сказал:

— Вот вы девушка, а все-таки понимаете, — он бьет из стовосьмимиллиметрового, вот его «ванюша» сыграл, разведчик над Волгой летает. А заяц, дурачок, ничего не разбирает. Он миномета от гаубицы не отличит. Немец навесил ракет, а

его трясет — разве ему объяснишь? Вот поэтому их и жалко.

Она, чувствуя серьезность собеседника, так же серьезно ответила:

— Я не вполне согласна. Собаки, например, разбираются в авиации. Когда мы стояли в деревне, там был один Керзон, дворняга, идут наши «илы», он лежит и даже головы не подымет. А чуть заноет «юнкерс», и этот Керзон бежит в щель. Без поллитры разбирался.

Воздух дрогнул от поганого дерущего скрипа — заиграл двенадцатиствольный немецкий «ванюша». Ударил железный барабан, черный дым смешался с кровавой кирпичной пылью, посыпался грохочущий камень. А через минуту, когда стала оседать пыль, радистка и Ляхов продолжали разговор, точно не они падали наземь. Видимо, и Катю заразило самоуверенностью, шедшей от людей в окруженном доме. Казалось, они были убеждены, что в разваленном доме все хрупко, ломко, — и железо, и камень, только не они.

А мимо расщелины, в которой они сидели, с воем и свистом пронеслась пулеметная очередь, за ней вторая.

Ляхов сказал:

— Весной мы под Святогорском стояли. И как

засвистит над головой, а выстрелов не слышно. Ничего не поймешь. А это оказалось — скворцы научились передразнивать пулю… Командир у нас был, старший лейтенант, и тот нас по тревоге поднял, так они засвистели.

— Дома я себе войну представляла: дети кричат, все в огне, кошки бегают. Приехала в Сталинград, все так и оказалось.

Вскоре к радистке Венгровой подошел бородатый Зубарев.

— Ну как? — участливо спросил он. — Живет молодой человек с хвостом? — и приподнял обрывок портянки, прикрывавший котенка. — Ох, какой бедный, какой слабый, — говорил он, а в глазах его блестело нахальное выражение.

Вечером после короткого боя немцам удалось немного продвинуться во фланг дома «шесть дробь один», преградить пулеметным огнем дорогу между домом и советской обороной. Проволочная связь со штабом стрелкового полка прервалась. Греков приказал пробить ходок из подвала к подземному заводскому туннелю, проходившему неподалеку от дома.

— Взрывчатка есть, — сказал Грекову широкотелый старшина Анциферов, держа в одной руке кружку с чаем, в другой — огрызок сахара.

Жильцы дома, рассевшись в яме, у капитальной стены, беседовали. Казнь цыганки взволновала всех, но никто по-прежнему не заговаривал об этом. Казалось, людей не волновало окружение.

Странным было Кате это спокойствие, но оно подчиняло себе, и самое страшное слово «окружение» не было ей страшно среди самоуверенных жильцов дома. Ей не было страшно и тогда, когда где-то совсем рядом скрежетнул пулемет и Греков кричал: «Бей, бей, вот они полезли». Ей не было страшно, когда Греков говорил: «Кто что любит, — граната, нож, лопатка. Вас учить — портить. Только прошу — бей, кто чем любит».

В минуты тишины жильцы дома обсуждали, не торопясь и обстоятельно, наружность радистки. Батраков, который, казалось, был не от мира сего да к тому же и близорук, обнаружил осведомленность во всех статях Катиной красоты.

— В дамочке бюст для меня основное, — сказал он.

Артиллерист Коломейцев поспорил с ним, он, по выражению Зубарева, «шпарил открытым текстом».

— Ну, а насчет кота заводили разговор? — спросил Зубарев.

— А как же, — ответил Батраков. — Через душу

ребенка — к телу матери. Даже папаша насчет кота запускал.

Старик минометчик сплюнул и провел ладонью по груди.

— Где же это у нее все, что полагается девке по штату? А? Я вас спрашиваю.

Особенно он рассердился, когда услышал намеки на то, что радистка нравится самому Грекову.

— Конечно, при наших условиях и такая Катька сойдет, летом и качка прачка. Ноги длинные, как у журавля, сзади — пусто. Глаза большие, как у коровы. Разве это девка?

Ченцов, возражая ему, говорил:

— Тебе бы только сисятая. Это отживший дореволюционный взгляд.

Коломейцев, сквернослов и похабник, объединявший в своей большой лысеющей голове множество особенностей и качеств, посмеиваясь и щуря мутно-серые глаза, говорил:

— Девчонка форменная, но у меня, например, особый подход. Я люблю маленьких, армяночек и евреечек, с глазищами, поворотливых, быстрых, стриженых.

Зубарев задумчиво посмотрел на темное небо, расцвеченное прожекторами, и негромко спросил:

— Все же интересно, как это дело сложится?

— Кому даст? — спросил Коломейцев. — Грекову — это точно.

— Нет, неясно, — сказал Зубарев и, подняв с земли кусок кирпича, с силой швырнул его об стену.

Приятели поглядели на него, на его бороду и принялись хохотать.

— Чем же ты ее прельстишь, волосней? — осведомился Батраков.

— Пением! — поправил Коломейцев. — Радиостудия: пехота у микрофона. Он поет, она будет передавать вещание в эфир. Пара — во!

Зубарев оглянулся на паренька, читавшего накануне вечером стихи.

— А ты что?

Старик минометчик сварливо сказал:

— Молчит — значит, говорить не хочет. — И тоном отца, выговаривающего сыну за то, что тот слушает разговоры взрослых, добавил: — Пошел бы в подвал, поспал, пока обстановка позволяет.

— Там сейчас Анциферов толом проход подрывать будет, — сказал Батраков.

А в это время Греков диктовал Венгровой донесение.

Он сообщал штабу армии, что, по всем признакам, немцы готовят удар, что, по всем признакам,

удар этот придется по Тракторному заводу. Он не сообщил только, что, по его мнению, дом, в котором он засел со своими людьми, будет находиться на оси немецкого удара. Но, глядя на шею девушки, на ее губы и полуопущенные ресницы, он представлял себе, и очень живо представлял, и эту худенькую шею переломленной, с вылезающим из-под разодранной кожи перламутрово-белым позвонком, и эти ресницы над застекленевшими рыбьими глазами, и мертвые губы, словно из серого и пыльного каучука.

И ему захотелось схватить ее, ощутить ее тепло, жизнь, пока и он и она не ушли еще, не исчезли, пока столько прелести было в этом молодом существе. Ему казалось, что из одной лишь жалости к девушке хотелось ему обнять ее, но разве от жалости шумит в ушах, кровь ударяет в виски?

Штаб ответил не сразу.

Греков потянулся так, что кости сладко хрустнули, шумно вздохнул, подумал: «Ладно, ладно, ночь впереди», спросил ласково:

— Как же этот котеночек поживает, что Климов принес, поправился, окреп?

— Какой там окреп, — ответила радистка.

Когда Катя представляла себе цыганку и ребенка на костре, пальцы у нее начинали дрожать, и

она косилась на Грекова, — замечает ли он это?

Вчера ей казалось, что никто с ней не будет разговаривать в доме шесть дробь один, а сегодня, когда она ела кашу, мимо нее пробежал с автоматом в руке бородатый и крикнул, как старой знакомой:

— Катя, больше жизни! — и показал рукой, как надо с маху запускать ложку в котелок.

Парня, читавшего вчера стихи, она видела, когда он тащил на плащ-палатке мины. В другой раз она оглянулась, увидела его, — он стоял у котла с водой, она поняла, что он смотрел на нее, и поэтому она оглянулась, а он успел отвернуться.

Она уже догадывалась, кто завтра будет ей показывать письма и фотографии, кто будет вздыхать и смотреть молча, кто принесет ей подарок — полфляги воды, белых сухарей, кто расскажет, что не верит в женскую любовь и никогда уже не полюбит. А бородатый пехотинец, наверное, полезет лапать ее.

Наконец штаб ответил, — Катя стала передавать ответ Грекову: «Приказываю вам ежедневно в девятнадцать ноль-ноль подробно отчитываться...»

Вдруг Греков ударил ее по руке, сбил ее ладонь с переключателя, — она испуганно вскрикнула.

Он усмехнулся, сказал:

— Осколок мины попал в радиопередатчик, связь наладится, когда Грекову нужно будет.

Радистка растерянно смотрела на него.

— Прости, Катюша, — сказал Греков и взял ее за руку.

60

Под утро из полка Березкина в штаб дивизии сообщили, что окруженные в доме шесть дробь один люди прорыли ход, столкнувшийся с заводским бетонированным туннелем, и вышли в цех Тракторного завода. Дежурный по штабу дивизии сообщил об этом в штаб армии, там доложили генералу Крылову, и Крылов приказал доставить к нему для опроса одного из вышедших. Офицер связи повел паренька, выбранного дежурным по штабу, на командный пункт армии. Они пошли оврагом к берегу, и паренек дорогой вертелся, задавал вопросы, беспокоился.

— Мне нужно домой возвращаться, я только разведать туннель должен был, чтобы раненых вынести.

— Ничего, — отвечал офицер связи. — Идешь к командирам постарше твоего, что прикажут, то и будешь делать!

По дороге паренек рассказал офицеру связи, что в доме шесть дробь один они сидят третью неделю, питались одно время картошкой, сваленной в подвале, воду брали из котла парового отопления и до того допекли немцев, что те присылали

парламентера, предлагали пропустить окруженных на завод, но, конечно, командир (паренек называл его «управдомом») велел в ответ вести стрельбу всем оружием. Когда они вышли к Волге, парень лег и пил воду, а напившись, бережно стряхнул на ладонь капли с ватника и слизал их, как голодный крошки хлеба. Он сказал, что вода в котле парового отопления сгнила и первые дни все страдали от нее желудочными болезнями, но управдом приказал кипятить воду в котелках, после чего желудочные болезни прекратились. Потом они шли молча. Паренек прислушивался к ночным бомбардировщикам, глядел на небо, расцвеченное красными и зелеными ракетами, шнурами трассирующих пуль и снарядов. Он поглядел на вялое и утомленное пламя все еще не гаснущих городских пожаров, на белые орудийные вспышки, на синие разрывы тяжелых снарядов в теле Волги и все замедлял шаги, пока офицер связи не окликнул его:

— Давай-давай, веселей!

Они шли среди береговых камней, мины со свистом неслись над ними, их окликали часовые. Потом они стали подниматься тропинкой по откосу, среди вьющихся ходков, среди блиндажей, врубленных в глиняную гору, то поднимаясь по

земляным ступенькам, то стуча каблуками по дощатым кладкам, и наконец подошли к проходу, закрытому колючей проволокой, — это был командный пункт 62-й армии. Офицер связи поправил ремень и пошел ходом сообщения к блиндажам Военного совета, отличавшимся особой толщиной бревен.

Часовой пошел звать адъютанта, на мгновение из-за полуприкрытой двери сладостно блеснул свет настольной электрической лампы, прикрытой абажуром.

Адъютант посветил фонариком, спросил фамилию паренька, велел ему обождать.

— А как же я домой попаду? — спросил паренек.

— Ничего, язык до Киева доведет, — сказал адъютант и строго добавил: — Зайдите в тамбур, а то еще миной ударит и буду в ответе перед генералом.

В теплых полутемных сенцах паренек сел на землю, привалился боком к стене и уснул.

Чья-то рука сильно тряхнула его, и в сонный сумбур, смешавший в себе боевые жестокие вопли прошедших дней и мирный шепот родного, давно уж не существующего дома, ворвался сердитый голос:

— Шапошников, скорей к генералу…

61

Сережа Шапошников провел двое суток в блиндаже охраны штаба. Штабная жизнь томила его, казалось, люди с утра до вечера маялись в безделье.

Он вспомнил, как просидел с бабушкой восемь часов в Ростове, ожидая идущего в Сочи поезда, и подумал, что нынешнее ожидание напоминает ему ту довоенную пересадку. Потом ему стало смешно от сравнения дома шесть дробь один с сочинским курортом. Он просил майора — коменданта штаба — отпустить его, но тот тянул, — от генерала не было распоряжения; вызвав Шапошникова, генерал задал ему всего два вопроса и прервал разговор, — отвлек телефонный звонок командарма. Комендант штаба решил не отпускать пока паренька, — может быть, генерал вспомнит о нем.

Комендант штаба, входя в блиндаж, ловил на себе взгляд Шапошникова, говорил:

— Ладно, помню.

Иногда просящие глаза паренька сердили его, и он говорил:

— Чем тебе тут плохо? Кормят на совесть, си-

дишь в тепле. Еще успеют тебя там убить.

Когда день полон грохота и человек по уши погружен в котел войны, он не в силах понять, увидеть свою жизнь, надо отойти хоть на шаг в сторону. И тогда, словно с берега, глаза видят всю громаду реки, — неужели в этой бешеной воде, пене плыл он только что?

Тихой казалась Сереже жизнь в ополченском полку: ночной караул в темной степи, далекое зарево в небе, разговоры ополченцев.

Лишь три ополченца очутились в поселке Тракторного завода. Поляков, не любивший Ченцова, говорил: «От всего ополченского войска остались — старый, малый да дурак».

Жизнь в доме шесть дробь один заслонила все, что было прежде. Хотя эта жизнь была невероятна, она оказалась единственной действительностью, а все прежнее стало мнимым.

Лишь иногда ночью возникала в памяти седая голова Александры Владимировны, насмешливые глаза тети Жени, и начинало щемить сердце, охваченное любовью.

Первые дни в доме шесть дробь один он думал, — странно, дико, если б в его домашнюю жизнь вошли вдруг Греков, Коломейцев, Анциферов… А теперь он иногда представлял себе,

как нелепо выглядели бы его тетки, двоюродная сестра, дядя Виктор Павлович в его нынешней жизни.

Ох, если б бабушка услышала, как Сережа матерится…

Греков!

Не совсем ясно, подобрались ли в доме шесть дробь один удивительные, особенные люди, или обыкновенные люди, попав в этот дом, стали особенными…

Ополченский Крякин не проначальствовал бы и дня здесь. А вот Ченцов, хотя его не любят, существует. Но он уж не тот, что в ополчении, — административную жилку упрятал.

Греков! Какое-то удивительное соединение силы, отваги, властности с житейской обыденностью. Он помнит, сколько стоили до войны детские ботинки, и какую зарплату получает уборщица либо слесарь, и сколько давали на трудодень зерном и деньгами в колхозе, где работает его дядя.

То говорил он о довоенных армейских делах с чистками, аттестациями, с блатом при получении квартир, говорил о некоторых людях, достигших генеральства в 1937 году, писавших десятки доносов и заявлений, разоблачавших

мнимых врагов народа.

То казалось, сила его в львиной отваге, в веселой отчаянности, с которой он, выскочив из пролома в стене, кричал:

— Не пущу, сукины коты! — и бросал гранаты в набегающих немцев.

То кажется, сила его в веселом, простецком приятельстве, в дружбе со всеми жильцами дома.

В довоенной его жизни не было ничего примечательного, был он когда-то десятником в шахте, потом техником-строителем, стал пехотным капитаном в одной из расположенных под Минском воинских частей, проводил занятия в поле и в казарме, ездил в Минск на курсы по переподготовке, вечером читал книжечки, пил водочку, ходил в кино, играл с приятелями в преферанс, ссорился с женой, с полным основанием ревновавшей его ко многим районным девицам и дамам. Обо всем этом он сам рассказывал. И вдруг в представлении Сережи, да не только Сережи, стал он богатырем, борцом за правду.

Новые люди окружили Сережу, вытеснили из души его даже самых близких ему.

Артиллерист Коломейцев был кадровым моряком, плавал на военном судне, трижды тонул в Балтийском море.

Сереже нравилось, что Коломейцев, часто презрительно говоривший о людях, о которых не принято говорить презрительно, проявлял необычайное уважение к ученым и писателям. Все начальники, по его мнению, обладающие любой должностью и званием, ничего не значили перед каким-нибудь плешивым Лобачевским или усохшим Роменом Ролланом.

Иногда Коломейцев говорил о литературе. Его слова совершенно не походили на ченцовские разговоры о нравоучительной, патриотической литературе. Ему нравился какой-то не то американский, не то английский писатель. Хотя Сережа никогда не читал этого писателя, а Коломейцев забыл его фамилию, но Сережа был уверен, что писатель этот хорошо пишет, — уж очень смачно, весело, с непристойными словами хвалил его Коломейцев.

— Мне что в нем нравится, — говорил Коломейцев, — не учит меня. Полезет мужик к бабе — и все, напился солдат — и все, умерла у старика старуха — описано точно. И смех, и жалко, и интересно, и все равно не знаешь, для чего люди живут.

С Коломейцевым дружил разведчик Вася Климов.

Как-то Климов и Шапошников пробирались в немецкое расположение, перелезли через железнодорожную насыпь, подползли к воронке от немецкой бомбы, где сидел расчет немецкого тяжелого пулемета и офицер-наблюдатель. Прильнув к краю воронки, они смотрели на немецкую жизнь. Один малый, пулеметчик, расстегнув китель и засунув за ворот рубахи красный клетчатый платок, брился. Сережа слышал, как скрипела под бритвой пыльная, жесткая щетина. Второй немец ел консервы из плоской баночки, и Сережа смотрел короткое, но емкое мгновение на его большое лицо, выражавшее сосредоточенное удовольствие. Офицер-наблюдатель заводил ручные часы. Сереже хотелось негромко, чтобы не испугать офицера, спросить: «Эй, слышите, сколько время?»

Климов выдернул чеку из ручной гранаты и уронил гранату в воронку. Когда пыль еще стояла в воздухе, Климов бросил вторую гранату и вслед за взрывом прыгнул в воронку. Немцы были мертвы так, словно и не жили минуту назад на свете. Климов, чихая от взрывных газов и пыли, взял все, что нужно было ему, — затвор от тяжелого пулемета, бинокль, снял с теплой офицерской руки часы, осторожно, чтобы не

запачкаться в крови, вынул солдатские книжки из растерзанных мундиров пулеметчиков.

Он сдал взятые трофеи, рассказал о происшествии, попросил Сережу слить немного воды ему на руки, сел рядом с Коломейцевым, проговорил:

— Вот мы сейчас покурим.

В это время прибежал Перфильев, говоривший о себе: «Я мирный рязанский житель, рыболов-любитель».

— Слышь, ты, Климов, чего расселся, — закричал Перфильев, — тебя управдом ищет, надо снова пойти в немецкие дома.

— Сейчас, сейчас, — виноватым голосом сказал Климов и стал собирать свое хозяйство: автомат, брезентовую сумочку с гранатами. К вещам он прикасался бережно, казалось, что боится причинить им боль. Обращался он ко многим на «вы», никогда не ругался.

— Не баптист ли ты? — как-то спросил старик Поляков Климова, убившего сто десять человек.

Климов не был молчалив и особенно любил рассказывать о своем детстве. Отец его был рабочим на Путиловском заводе. Сам Климов, токарь-универсал, перед войной преподавал в заводском ремесленном училище. Сережу смешил рассказ Климова о том, как один ремесленник подавился

шурупом, начал задыхаться, посинел, и Климов — до прибытия «Скорой помощи» — вытащил из глотки ремесленника шуруп плоскогубцами.

Но однажды Сережа видел Климова, напившегося трофейным шнапсом, — он был ужасен, казалось, сам Греков оробел перед ним.

Самым неряшливым человеком в доме был лейтенант Батраков. Сапог Батраков не чистил, одна подошва у него похлопывала при ходьбе, — красноармейцы, не поворачивая голов, узнавали о приближении артиллерийского лейтенанта. Зато лейтенант десятки раз на день протирал замшевой тряпочкой свои очки, очки не соответствовали его зрению, и Батракову казалось, что пыль и дым от разрывов коптят ему стекла. Климов несколько раз приносил ему очки, снятые с убитых немцев. Но Батракову не везло — оправа была хороша, а стекла не подходили.

До войны Батраков преподавал математику в техникуме, отличался большой самоуверенностью, говорил о неучах-школьниках надменным голосом.

Он устроил Сереже экзамен по математике, и Сережа осрамился. Жильцы дома стали смеяться, грозились оставить Шапошникова на второй год.

Однажды, во время немецкого авиационного налета, когда обезумевшие молотобойцы били тяжелыми кувалдами по камню, земле, железу, Греков увидел Батракова, сидящего над обрывом лестничной клетки и читающего какую-то книжонку.

Греков сказал:

— Нет уж, ни хрена немцы не добьются. Ну что они с таким дураком сделают?

Все, что делали немцы, вызывало у жильцов дома не чувство ужаса, а снисходительно-насмешливое отношение: «Ох, и старается фриц», «Гляди, гляди, что хулиганы эти надумали…», «Ну и дурак, куда он бомбы кладет…».

Батраков приятельствовал с командиром саперного взвода Анциферовым, сорокалетним человеком, любившим поговорить о своих хронических болезнях — явление на фронте редкое, — под огнем сами собой вылечивались язвы и радикулиты.

Но Анциферов продолжал в сталинградском пекле страдать от многочисленных болезней, которые гнездились в его объемистом теле. Немецкий лекарь не лечил его.

Фантастически неправдоподобно выглядел этот полнолицый, с лысеющей круглой головой,

с круглыми глазами человек, когда, освещенный зловещими отблесками пожаров, благодушествуя, пил чай со своими саперами. Он сидел обычно босиком, так как обутую ногу досаждала мозоль; без гимнастерки — Анциферову всегда было жарко. Он прихлебывал из чашки с синими цветочками горячий чай, вытирал обширным платком лысину, вздыхал, улыбался и вновь принимался дуть в чашку, куда угрюмый боец Ляхов, с головой, повязанной бинтом, то и дело подливал из огромного закопченного чайника кипящую струю стоялой воды. Иногда Анциферов, не натягивая сапог, недовольно кряхтя, взбирался на кирпичный пригорок посмотреть, что происходит на белом свете. Он стоял босой, без гимнастерки, без пилотки, похожий на крестьянина, вышедшего в буйный грозовой ливень на порог избы оглядеть свое приусадебное хозяйство.

До войны он работал прорабом. Теперь его опыт строителя приобрел как бы обратный знак. В мозгу его постоянно стояли вопросы разрушения домов, стен, подвальных перекрытий.

Главным предметом бесед Батракова с сапером были вопросы философские. В Анциферове, перешедшем от созидания к разрушению, появи-

лась потребность осмыслить этот необычный переход.

Иногда их беседа с высот философских — в чем цель жизни, есть ли советская власть в звездных мирах и каково преимущество умственного устройства мужчины над умственным устройством женщины, — переходила к обычным житейским отношениям.

Здесь, среди сталинградских развалин, все было по-иному, и нужная людям мудрость часто была на стороне растяпы Батракова.

— Веришь, Ваня, — говорил Анциферов Батракову, — я через тебя стал кое-что понимать. А раньше я считал, что всю механику понимаю до конца — кому нужно полкило водки с закуской, кому новые покрышки для автомашины доставить, а кому просто сотню сунуть.

Батраков, всерьез считавший, что именно он со своими туманными рассуждениями, а не Сталинград открыл Анциферову новое отношение к людям, снисходительно отвечал:

— Да, уважаемый, можно, в общем и целом, пожалеть, что мы до войны не встречались.

А в подвале обитала пехота, те, кто отбивали немецкий натиск и сами переходили по пронзительному голосу Грекова в контратаки.

Пехотой заправлял лейтенант Зубарев. Он учился до войны пению в консерватории. Иногда ночью он подбирался к немецким домам и начинал петь: «О не буди меня, дыхание весны», то арию Ленского.

Зубарев отмахивался, когда его спрашивали, для чего он забирается в кирпичные груды и поет с риском быть убитым. Быть может, здесь, где трупное зловоние день и ночь стояло в воздухе, он хотел доказать не только себе и своим товарищам, но и врагам, что с прелестью жизни никогда не справятся могучие истребительные силы.

Неужели можно было жить, не зная о Грекове, Коломейцеве, Полякове, о Климове, о Батракове, о бородатом Зубареве?

Для Сережи, прожившего всю жизнь в интеллигентной среде, стала очевидна правота бабушки, всегда твердившей, что простые рабочие люди — хорошие люди.

Но умненький Сережа сумел заметить бабушкин грех, — она все же считала простых людей простыми.

В доме шесть дробь один люди не были просты. Греков поразил как-то Сережу словами:

— Нельзя человеком руководить, как овцой, на что уж Ленин был умный, и тот не понял. Рево-

люцию делают для того, чтобы человеком никто не руководил. А Ленин говорил: «Раньше вами руководили по-глупому, а я буду по-умному».

Никогда Сережа не слышал, чтобы с такой смелостью люди осуждали наркомвнудельцев, погубивших в 1937 году десятки тысяч невинных людей.

Никогда Сережа не слышал, чтобы с такой болью люди говорили о бедствиях и мучениях, выпавших крестьянству в период сплошной коллективизации. Главным оратором на эти темы был сам управдом Греков, но часто вели такие разговоры и Коломейцев, и Батраков.

Сейчас, в штабном блиндаже, Сереже каждая минута, проведенная вне дома шесть дробь один, казалась томительно длинной. Немыслимым казалось слушать разговоры о дневальстве, о вызовах к начальникам отделов.

Он стал представлять себе, что делают сейчас Поляков, Коломейцев, Греков.

Вечером, в тихий час, все снова говорят о радистке.

Уж Грекова, если решит, ничем не остановить, хоть сам Будда или Чуйков будут грозить ему.

Жильцы дома были замечательными, сильными, отчаянными людьми. Наверно, Зубарев

и сегодня ночью запускал арии… А она сидит беспомощная, ждет своей судьбы.

«Убью!» — подумал он, но неясно понимал, кого он убьет.

Куда уж ему, он ни разу не поцеловал девушки, а эти дьяволы опытны, конечно, обманут ее, задурят.

Он много слышал историй о медсестрах, телефонистках, дальномерщицах и прибористках, девчонках-школьницах, ставших против воли «пепеже» командиров полков, артдивизионов. Эти истории его не волновали и не занимали.

Он поглядел на дверь блиндажа. Как раньше не приходило ему в голову, — никого не спрашивая, встать да пойти?

Он встал, открыл дверь и пошел.

А в это время оперативному дежурному в штаб армии позвонили по указанию начальника политотдела Васильева, попросили незамедлительно прислать к комиссару бойца из окруженного дома.

История Дафниса и Хлои постоянно трогает сердца людей не потому, что их любовь родилась под синим небом, среди виноградных лоз.

История Дафниса и Хлои повторяется всегда и всюду — и в душном, пропахшем жареной трес-

кой подвале, и в бункере концентрационного лагеря, и под щелканье счетов в учрежденческой бухгалтерии, и в пыльной мути прядильного цеха.

И эта история вновь возникла среди развалин, под вой немецких пикировщиков, там, где люди питали свои грязные и потные тела не медом, а гнилой картошкой и водой из старого отопительного котла, возникла там, где не было задумчивой тишины, а лишь битый камень, грохот и зловоние.

62

Старику Андрееву, работавшему сторожем на СталГРЭСе, с оказией передали записку из Ленинска, — невестка писала, что Варвара Александровна умерла от воспаления легких.

После известия о смерти жены Андреев стал совсем угрюм, редко заходил к Спиридоновым, по вечерам сидел у входа в рабочее общежитие, смотрел на орудийные вспышки и мелькание прожекторов в облачном небе. Иногда в общежитии с ним заговаривали, и он молчал. Тогда, думая, что старик плохо слышит, говоривший повторял вопрос более громко. Андреев хмуро произносил:

— Слышу, слышу, не глухой, — и опять молчал.

Смерть жены потрясла его. Жизнь его отражалась в жизни жены, дурное и хорошее, происходившее с ним, его веселое и печальное настроение существовало, отраженное в душе Варвары Александровны.

Во время сильной бомбежки, при разрывах тонных бомб, Павел Андреевич, глядя на земляной и дымовой вал, вздымавшийся среди цехов СталГРЭСа, думал: «Вот поглядела бы моя стару-

ха… Ох, Варвара, вот это да…»

А ее уж в это время не было в живых.

Ему казалось, что развалины разбитых бомбами и снарядами зданий, перепаханный войной двор, — кучи земли, искореженного железа, горький, сырой дым и желтое, ящерное, ползучее пламя горящих масляных изоляторов, — есть выражение его жизни, это ему осталось для дожития.

Неужели он сидел когда-то в светлой комнате, завтракал перед работой и рядом стояла жена и глядела на него: давать ли ему добавку?

Да, осталось ему умереть одному.

И вдруг вспоминал он ее молодую, с загорелыми руками, с веселыми глазами.

Что ж, придет час, не так уж он далек.

Как-то вечером он медленно, скрипя ступенями, спустился в блиндаж к Спиридоновым. Степан Федорович посмотрел на лицо старика и сказал:

— Плохо, Павел Андреевич?

— Вы еще молодой, Степан Федорович, — ответил Андреев. — У вас силы меньше, еще успокоитесь. А мне силы хватит: я один дойду.

Вера, мывшая в это время кастрюлю, оглянулась на старика, не сразу поняв смысл его слов.

Андреев, желая перевести разговор, — ему не нужно было ничье сочувствие, — сказал:

— Пора, Вера, вам отсюда, тут больницы нет, одни танки да самолеты.

Она усмехнулась и развела мокрыми руками.

Степан Федорович сердито сказал:

— Ей уже незнакомые говорят, кто ни посмотрит на нее, — пора перебираться на левый берег. Вчера приезжал член Военного совета армии, зашел к нам в блиндаж, посмотрел на Веру, ничего не сказал, а садился в машину, стал меня ругать: вы что же, не отец, что ли, хотите, мы ее на бронекатере через Волгу перевезем. Что я могу сделать: не хочет, и все.

Он говорил быстро, складно, как говорят люди, изо дня в день спорящие об одном и том же. Андреев смотрел на рукав своего пиджака с расползшейся знакомой штопкой и молчал.

— Какие же тут могут быть письма, — продолжал Степан Федорович. — Почта, что ли, тут есть. Сколько времени мы здесь, ни одной весточки ни от бабушки, ни от Жени, ни от Людмилы… Где Толя, где Сережа, разве тут узнаешь.

Вера сказала:

— Вот же получил Павел Андреевич письмо.

— Извещение о смерти получил, — Степан

Федорович испугался своих слов, раздраженно стал говорить, показывая рукой на тесные стены блиндажа, на занавеску, отделявшую Верину койку: — Да и как ей тут жить, ведь девушка, женщина, и тут постоянно мужики толкутся, днем и ночью, то рабочие, то военизированная охрана, набьется полно народу, галдят, курят.

Андреев сказал:

— Ребеночка пожалейте, пропадет он здесь.

— Ты подумай только, вдруг немцы ворвутся! Что тогда будет? — сказал Степан Федорович.

Вера молчала.

Она уверила себя, что Викторов войдет в разрушенные сталгрэсовские ворота и она издали увидит его в летном комбинезоне, в унтах, с планшетом на боку.

Она выходила на шоссе, — идет ли он? — Проезжавшие на грузовиках красноармейцы кричали ей:

— Эй, деваха, кого ждешь? Садись с нами.

Ей на минуту становилось весело, и она отвечала:

— Грузовик не довезет.

Когда пролетали советские самолеты, она всматривалась в низко идущие над СталГРЭСом истребители, казалось, вот-вот она различит,

узнает Викторова.

Однажды истребитель, пролетавший над СталГРЭСом, помахал приветственно крыльями, и Вера закричала, словно пришедшая в отчаяние птица, побежала, спотыкаясь, упала, и после этого падения у нее несколько ночей болела поясница.

В конце октября она видела воздушный бой над электростанцией, бой ничем не кончился, советские машины ушли в облака, немецкие, развернувшись, ушли на запад. А Вера стояла, смотрела на пустое небо, и в ее расширенных глазах было такое безумное напряжение, что проходивший по двору монтер сказал:

— Товарищ Спиридонова, вы что, может, подранило вас?

Она верила в свою встречу с Викторовым именно здесь, на СталГРЭСе, но ей казалось, что, скажи она об этом отцу, судьба рассердится на нее и помешает их встрече. Иногда ее уверенность бывала так велика, что она спешно бралась печь ржаные пирожки с картошкой, торопясь, мела пол, переставляла вещи, чистила грязную обувь… Иногда, сидя с отцом за столом, она, прислушавшись, говорила:

— Постой, я на минуточку, — и, накинув на плечи пальто, поднималась из подземелья на

поверхность, оглядывалась, не стоит ли во дворе летчик, не спрашивает ли, как пройти к Спиридоновым.

Ни разу, ни на минуту ей не приходило в голову, что он мог забыть ее. Она была уверена, что Викторов так же напряженно и упорно, как она о нем, день и ночь думает о ней.

Станцию почти каждый день обстреливали тяжелые немецкие орудия, — немцы наловчились, пристрелялись и лепили снаряды метко, по стенам цехов, грохот разрывов то и дело потрясал землю. Часто налетали единичные бродяги-бомбардировщики и сбрасывали бомбы «мессеры», низко стелясь над землей, пускали пулеметные очереди, пролетая над станцией. А иногда на отдаленных холмах появлялись немецкие танки, и тогда явственно слышалась торопливая ружейно-пулеметная трескотня.

Степан Федорович как будто привык к обстрелам и бомбежкам, так же, казалось, привыкали к ним и другие работники станции. Но и он и они, привыкая, одновременно теряли запас душевных сил, и иногда изнеможение охватывало Спиридонова, хотелось лечь на койку, натянуть на голову ватник и лежать так, не шевелясь, не открывая глаз. Иногда он напивался. Иногда

хотелось побежать на берег Волги, перебраться на Тумак и пойти по левобережной степи, ни разу не оглянувшись на СталГРЭС, принять позор дезертирства, лишь бы не слышать страшного воя немецких снарядов и бомб. Когда Степан Федорович через штаб стоявшей поблизости 64-й армии связывался с Москвой по телефону ВЧ и заместитель наркома говорил: «Товарищ Спиридонов, передайте привет из Москвы героическому коллективу, который вы возглавляете», Степану Федоровичу становилось неловко, — где уж там героизм. А тут еще все время ходили слухи о том, что немцы готовят массированный налет на СталГРЭС, обещали раздолбать его чудовищными тонными бомбами. От этих слухов холодели руки и ноги. Днем глаза все время косились на серое небо, — не летят ли. А ночью он вдруг вскакивал, мерещилось густое, тугое гудение приближающихся воздушных немецких полчищ. От страха спина, грудь становились влажными.

Видимо, не один он растрепал себе нервы. Главный инженер Камышов как-то сказал ему: «Сил больше нет, все мерещится какая-то чертовщина, гляжу на шоссе и думаю: эх, драпануть бы». А парторг ЦК Николаев зашел к нему вечером и попросил: «Налей мне, Степан Федорович, стакан

водки, у меня вся вышла, что-то без этого антибомбина последнее время совершенно спать не могу». Степан Федорович, наливая Николаеву водку, сказал: «Век живи, век учись. Надо бы выбрать специальность, при которой оборудование легко эвакуируется, а здесь, видишь, турбины остались, и мы при них. А с других заводов народ давно в Свердловске гуляет».

Уговаривая Веру уехать, Степан Федорович однажды сказал ей:

— Я прямо удивляюсь, ко мне наши люди ходят, просятся под любым предлогом смотаться отсюда, а тебя честью уговариваю, и ты не хочешь. Разрешили бы мне, минутки бы не задержался.

— Я ради тебя тут остаюсь, — грубо ответила она. — Без меня ты совсем сопьешься.

Но, конечно, Степан Федорович не только трепетал перед немецким огнем. Были на СталГРЭСе и смелость, и тяжелая работа, и смех, и шутки, и бесшабашное чувство суровой судьбы.

Веру постоянно мучило беспокойство о ребенке. Не родится ли он больным, не повредит ли ему, что Вера живет в душном, прокуренном подземелье и что каждый день земля дрожит от бомбежки. В последнее время ее часто тошнило, кружилась голова. Каким печальным, пугливым,

каким грустным должен родиться ребенок, если глаза его матери все время видят развалины, огонь, искореженную землю, самолеты с черными крестами в сером небе. Может быть, он даже слышит рев разрывов, может быть, его маленькое скорченное тело замирает при вое бомб и головенка втягивается в плечи.

А мимо нее пробегали люди в замасленных, грязных пальто, подпоясанных солдатскими брезентовыми поясами, махали ей на ходу рукой, улыбались, кричали:

— Вера, как жизнь? Вера, думаешь ли ты обо мне?

Она чувствовала нежность, с которой относились к ней, будущей матери. Может быть, маленький тоже чувствует эту нежность и сердце его будет чистым и добрым.

Она иногда заходила в механический цех, где ремонтировались танки, там когда-то работал Викторов. Она гадала, — у какого станка он стоял? Она старалась представить его себе в рабочей одежде либо в летной форме, но он всегда представлялся ей в госпитальном халате.

В мастерской ее знали не только сталгрэсовские рабочие, но и танкисты с армейской базы. Их нельзя было отличить, — рабочие люди завода

и рабочие люди войны были совершенно схожи — в замасленных ватниках, в мятых шапках, с черными руками.

Вера была поглощена мыслями о Викторове и о ребенке, чье существование она день и ночь ощущала, и тревога о бабушке, тете Жене, Сереже и Толе отступила из ее сердца, она лишь ощущала тяжелое томление, когда думала о них.

Ночью она тосковала по матери, звала ее, жаловалась ей, просила ее помощи, шептала: «Мамочка, милая, помоги мне».

И в эти минуты она ощущала себя беспомощной, слабой, совсем не такой, как в те минуты, когда спокойно говорила отцу:

— Не проси меня, никуда я не поеду отсюда.

63

За обедом Надя задумчиво проговорила:

— Толя вареную картошку любил больше, чем жареную.

Людмила Николаевна сказала:

— Завтра ему исполнится ровно девятнадцать лет и семь месяцев.

Вечером она сказала:

— Как бы Маруся огорчалась, узнав о фашистских зверствах в Ясной Поляне.

А вскоре пришла после заводского собрания Александра Владимировна и сказала Штруму, помогавшему ей снять пальто:

— Замечательная погода, Витя, воздух сухой, морозный. Ваша мама говорила: как вино.

Штрум ответил ей:

— А о кислой капусте мама говорила: виноград.

Жизнь двигалась наподобие плывущей по морю ледяной глыбы, подводная часть ее, скользившая в холодном мраке, придавала устойчивость надводной части, что отражала волны, слушала шум и плеск воды, дышала…

Когда молодежь в знакомых семьях поступала

в аспирантуру, защищала диссертации, влюблялась, женилась, к поздравлениям и семейным разговорам добавлялось чувство грусти.

Когда Штрум узнавал о гибели на войне знакомого человека, словно и в нем умирала живая частица, блекла краска. Но в шуме жизни продолжался голос умершего.

Но время, с которым были связаны мысль и душа Штрума, было ужасно, оно поднялось на женщин и детей. Вот и в его семье оно убило двух женщин и юношу, почти ребенка.

И Штруму часто вспоминались слышанные как-то от родственника Соколова, историка Мадьярова, строки поэта Мандельштама:

Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей…

Но этот век был его временем, с ним он жил, с ним он будет связан и после смерти.

Работа Штрума шла по-прежнему плохо.

Опыты, начатые еще задолго до войны, не давали предсказанных теорией результатов.

В пестроте опытных данных, в упорстве, с которым они перечили теории, заключался обескураживающий хаос, нелепица.

Сперва Штрум был убежден, что причина его

неудач в несовершенстве опытов, в отсутствии новой аппаратуры. Он раздражался на сотрудников лаборатории, казалось, они недостаточно сил уделяют работе, отвлекаются бытовыми делами.

Но дело было не в том, что талантливый, веселый и милый Савостьянов постоянно хлопотал, раздобывая талончик на водку, и что все знавший Марков читал в рабочее время лекции либо объяснял сотрудникам, какое снабжение получает тот или другой академик и как паек этого академика делится между двумя бывшими женами и третьей, ныне действующей женой, и не в том, что Анна Наумовна невыносимо подробно рассказывала о своих отношениях с квартирной хозяйкой.

Мысль Савостьянова была живой, ясной. Марков по-прежнему восхищал Штрума обширностью знаний, артистической способностью ставить тончайшие опыты, своей спокойной логикой. Анна Наумовна, хотя и жила в холодной проходной комнате-развалюшке, работала с нечеловеческой упорностью и добросовестностью. И по-прежнему Штрум гордился тем, что Соколов работает вместе с ним.

Ни точность в соблюдении условий опытов, ни контрольные определения, ни повторная калиб-

ровка счетчиков не приносили ясности в работу. Хаос вторгся в исследование подвергшейся воздействию сверхжесткого излучения органической соли тяжелого металла. Эта пылинка соли представлялась иногда Штруму каким-то потерявшим приличия и разум карликом, — карлик, в съехавшем на ухо колпачке, с красной мордой, кривлялся и совершал непристойные движения, складывал из пальчиков дули перед строгим лицом теории. В создании теории участвовали физики с мировыми именами, математический аппарат ее был безупречным, опытный материал, накопленный десятилетиями в прославленных лабораториях Германии и Англии, свободно укладывался в нее. Незадолго до войны в Кембридже был поставлен опыт, который должен был подтвердить предсказанное теорией поведение частиц в особых условиях. Успех этого опыта был высшим триумфом теории. Он казался Штруму таким же поэтичным и возвышенным, как опыт, подтвердивший предсказанное теорией относительности отклонение светового луча, идущего от звезды в поле тяготения солнца. Покушаться на теорию казалось немыслимым, словно солдату срывать золотые погоны с плеч маршала.

А карлик по-прежнему кривлялся и складывал

фиги, и нельзя было его урезонить. Незадолго до того как Людмила Николаевна поехала в Саратов, Штруму пришло в голову, что возможно расширить рамки теории, для этого, правда, надо было сделать два произвольных допущения и значительно утяжелить математический аппарат.

Новые уравнения касались той ветви математики, в которой был особенно силен Соколов. Штрум попросил Соколова помочь ему, — он не чувствовал себя достаточно уверенным в этой области математики. Соколову довольно быстро удалось вывести новые уравнения для расширенной теории.

Казалось, что вопрос решен, — опытные данные перестали противоречить теории. Штрум радовался успеху, поздравлял Соколова. Соколов поздравлял Штрума, а тревога и неудовлетворенность оставались.

Вскоре Штрум вновь пришел в уныние.

Он сказал Соколову:

— Я заметил, Петр Лаврентьевич, что у меня портится настроение, когда вечерами Людмила Николаевна занимается штопкой чулок. Мне это напоминает нас с вами, — подштопали мы с вами теорию, грубая работа, нитки другого цвета, муровое занятие.

Он растравлял свои сомнения, он, к счастью, не умел обманывать себя, инстинктивно чувствуя, что самоутешение приводит к поражению.

Ничего хорошего не было в расширении теории. Подштопанная, она теряла свою внутреннюю слаженность, произвольные допущения лишали ее независимой силы, самостоятельной жизни, уравнения ее стали громоздки, и оперировать ими было нелегко. Что-то талмудическое, условное, анемичное возникло в ней. Она как бы лишилась живой мускулатуры.

А новая серия опытов, поставленная блестящим Марковым, снова пришла в противоречие с выведенными уравнениями. Чтобы объяснить это новое противоречие, пришлось бы сделать еще одно произвольное допущение, опять подпирать теорию спичками и щепочками, подвязывать все веревочками.

— Мура, — сказал себе Штрум. Он понял, что шел неправильным путем.

Он получил письмо от инженера Крымова, тот писал, что работу по литью и обточке заказанной Штрумом аппаратуры придется на некоторое время отложить, завод загружен военными заказами, — видимо, изготовление аппаратуры запоздает на полтора-два месяца против наме-

ченного срока.

Но Штрума это письмо не огорчило, он уже не ждал с прежним нетерпением новой аппаратуры, не верил, что она сможет внести изменения в результаты опытов. А минутами его охватывала злоба, и тогда хотелось поскорей получить новую аппаратуру, окончательно убедиться, что обильный, расширенный опытный материал бесповоротно и безнадежно противоречит теории.

Неудача работы связалась в его сознании с личными горестями, все слилось в серую беспросветность.

Неделями длилась эта подавленность, он сделался раздражителен, стал проявлять интерес к домашним мелочам, вмешивался в кухонные дела, все удивлялся, как это Людмила тратит столько денег.

Его стал занимать спор Людмилы с квартирными хозяевами, потребовавшими дополнительной платы за пользование дровяным сараем.

— Ну, как переговоры с Ниной Матвеевной? — спрашивал он и, выслушав рассказ Людмилы, говорил: — Ах, черт, вот подлая баба…

Теперь он не думал о связи науки с жизнью людей, о том, счастье она или горе. Для таких мыслей надо было чувствовать себя хозяином,

победителем. А он казался себе в эти дни неудачливым подмастерьем.

Казалось, он уже никогда не сможет работать по-прежнему, пережитое горе лишило его исследовательской силы.

Он перебирал в памяти имена физиков, математиков, писателей, чьи главные труды были совершены в молодые годы, после 35–40 лет они уже ничего значительного не создали. Им было чем гордиться, а ему предстояло доживать, не совершив в молодости дела, о котором можно было вспоминать, доживая. Галуа, определивший на столетие многие пути развития математики, погиб двадцати одного года, двадцатишестилетний Эйнштейн опубликовал работу «К электродинамике движущихся тел», Герц умер, не достигнув сорока лет. Какая бездна лежала между судьбой этих людей и Штрумом!

Штрум сказал Соколову, что хотел бы временно прекратить лабораторную работу. Но Петр Лаврентьевич считал, что работу нужно продолжать, ждал многого от новой аппаратуры. А Штрум даже забыл сразу сказать ему о письме, полученном с завода.

Виктор Павлович видел, что жена знает о его неудачах, но она не заговаривала с ним о его

работе.

Она была невнимательна к самому главному в его жизни, а находила время для хозяйства, для разговоров с Марьей Ивановной, для споров с хозяйкой квартиры, для шитья Наде платья, для встреч с женой Постоева. Он озлоблялся на Людмилу Николаевну, не понимал ее состояния.

Ему казалось, что жена вернулась к своей привычной жизни, а она совершала все привычное именно потому, что оно было привычно, не требовало душевных сил, которых у нее не было.

Она варила суп с лапшой и говорила о Надиных ботинках, потому что долгие годы занималась домашним хозяйством и теперь механически повторяла то, что было ей привычно. Но он не видел, что она, продолжая свою прежнюю жизнь, совершенно не участвует в ней. Путник, поглощенный своими мыслями, идет по привычной дороге, обходя ямы, переступая через канавы и в то же время совершенно не замечая их.

Для того чтобы говорить с мужем о его работе, нужно было новое, сегодняшнее душевное напряжение, новая сила. У нее не было силы. А Штруму казалось, что у Людмилы Николаевны сохранился интерес ко всему, только не к его работе.

Его обижало, что, говоря о сыне, она обычно

вспоминала случаи, когда Виктор Павлович бывал недостаточно хорош к Толе. Она словно подводила итог отношений Толи с отчимом, и итог был не в пользу Виктора Павловича.

Людмила сказала матери:

— Как он, бедняжка, мучился оттого, что у него одно время прыщи были на лице. Он даже просил, чтобы я достала у косметички ему какой-нибудь мази. А Виктор все время дразнил его.

Так оно и было действительно.

Штруму нравилось поддразнивать Толю, и когда тот, приходя домой, здоровался с отчимом, Виктор Павлович обычно оглядывал внимательно Толю, покачивал головой и говорил задумчиво:

— Эко тебя, брат, вызвездило.

Последнее время Штрум по вечерам не любил сидеть дома. Иногда он заходил к Постоеву сыграть в шахматы, послушать музыку, — жена Постоева была неплохой пианисткой. Иногда заходил он к своему новому казанскому знакомому, Каримову. Но чаще всего бывал он у Соколова.

Ему нравилась маленькая комната Соколовых, нравилась милая улыбка гостеприимной Марьи Ивановны, а особенно нравились ему разговоры, шедшие за столом.

А когда он поздно вечером, возвращаясь из гостей, подходил к дому, утихавшая на время тоска вновь охватывала его.

64

Штрум, не заходя из института домой, отправился за своим новым знакомым Каримовым, чтобы вместе с ним пойти к Соколову.

Каримов был рябой, некрасивый человек. Смуглость его кожи подчеркивала седину волос, а от седины смуглость его казалась гуще.

Говорил Каримов по-русски правильно, и, лишь внимательно прислушиваясь, можно было заметить легкую тень, отличавшую оттенки в произношении и построении фразы.

Штрум не слышал его фамилии, но, оказывается, она была известна не только в Казани. Каримов перевел на татарский язык «Божественную комедию», «Путешествие Гулливера», а в последнее время работал над переводом «Илиады».

Выходя из университетской читальни, они часто, еще не будучи знакомы, сталкивались в курительной комнате. Библиотекарша, неряшливо одетая, словоохотливая старушка, красившая губы, сообщила Штруму много подробностей о Каримове, — и о том, что он окончил Сорбонну, и о том, что у него дача в Крыму и он до войны

большую часть года проводил на берегу моря. В Крыму во время войны застряла жена Каримова с дочерью — он не имеет о них сведений. Старушка намекнула Штруму, что в жизни этого человека были тяжелые, длившиеся восемь лет переживания, но Штрум встретил это известие недоумевающим взором. Видимо, и о Штруме старушка рассказывала Каримову. Зная друг друга, они испытывали неловкость оттого, что не были знакомы, но при встречах они не улыбались, а, наоборот, хмурились. Кончилось это тем, что, столкнувшись как-то в библиотечном вестибюле, оба одновременно рассмеялись и заговорили.

Штрум не знал, интересна ли его беседа Каримову, но ему, Штруму, было интересно говорить, когда слушает его Каримов. Виктор Павлович знал на печальном опыте, как часто приходится сталкиваться с собеседником, который как будто и умен, и остроумен, и в то же время невыносимо скучен.

Были люди, в чьем присутствии Штруму даже слово произнести было трудно, его голос деревенел, разговор становился бессмысленным и бесцветным, каким-то слепоглухонемым.

Были люди, в чьем присутствии любое искреннее слово звучало фальшиво.

Были люди, давние знакомые, в присутствии которых Штрум особенно ощущал свое одиночество.

Отчего это происходило? Да оттого же, что вдруг встречался человек, короткий ли дорожный спутник, сосед по нарам, участник случайного спора, в чьем присутствии внутренний мир другого человека терял свою одинокую немоту.

Они шли рядом, разговаривали, и Штрум подумал, что теперь он часами не вспоминает о своей работе, особенно во время вечерних разговоров у Соколова. С ним это никогда не бывало раньше, ведь он всегда думал о своей работе, — в трамвае, обедая, слушая музыку, вытирая после утреннего умывания лицо.

Должно быть, очень уж тяжел тупик, в который он зашел, и он подсознательно отталкивает от себя мысли о работе…

— Как сегодня трудились, Ахмет Усманович? — спросил он.

Каримов проговорил:

— Голова ничего не воспринимает. Думал все время о жене и дочери, то кажется — все хорошо будет, увижу их, то предчувствие, что погибли они.

— Я понимаю вас, — сказал Штрум.

— Я знаю, — проговорил Каримов.

Штрум подумал: странно, с человеком, знакомым всего несколько недель, он готов говорить о том, о чем не говорит с женой и дочерью.

65

В маленькой комнате Соколовых за столом собирались почти каждый вечер люди, которые в Москве вряд ли бы встречались.

Соколов, человек выдающегося таланта, говорил обо всем многословно, книжными словами. Не верилось, что он происходит из семьи волжского матроса, такой заглаженной была его речь. Был он человек добрый и возвышенный, а выражение лица имел хитрое, жестокое.

Не походил Петр Лаврентьевич на волжского матроса и тем, что совершенно не пил, боялся сквозного ветра, опасаясь инфекций, беспрерывно мыл руки и обрезал корку с хлеба в том месте, где касался ее пальцами.

Штрум, читая его работы, всегда удивлялся: человек так изящно, смело мыслил, лаконично выражал и доказывал сложнейшие и тонкие идеи и так нудно и многословно во время чаепития травил баланду.

Сам Штрум, как и многие люди, выросшие в книжной, интеллигентной среде, любил козырнуть в разговоре такими словами, как «мура», «буза», обозвать в разговоре со старым академи-

ком сварливую ученую даму «стервой» или даже «лярвой».

Соколов до войны не терпел политических разговоров. Едва Штрум касался политики, Соколов замолкал, замыкался либо с подчеркнутой нарочитостью менял тему.

В нем проявлялась какая-то странная покорность, беззлобие перед жестокими событиями времен коллективизации и 1937 года. Он словно бы воспринимал гнев государства, как гнев природы или божества. Штруму казалось, что Соколов верит в Бога и что эта вера проявляется и в его работе, и в его покорном смирении перед сильными мира сего, в его личных отношениях с людьми.

Однажды Штрум прямо спросил его:

— Вы верите в Бога, Петр Лаврентьевич?

Но Соколов нахмурился, ничего не ответил.

Удивительно было, что теперь у Соколова собирались по вечерам люди, вели разговоры на политические темы, и Соколов не только терпел эти разговоры, но и сам иногда участвовал в них.

Марья Ивановна, маленькая, худенькая, с неловкими движениями девочки-подростка, слушала мужа с каким-то особенным вниманием. В этом трогательном внимании сочеталась

и робкая почтительность девочки-ученицы, и восторг влюбленной женщины, и материнская снисходительная заботливость и тревога.

Конечно, разговоры начинались с военной сводки, потом они уходили далеко от войны. И все же, о чем бы ни говорили люди, все было связано с тем, что немцы дошли до Кавказа и до низовьев Волги.

А рядом с тоскливыми мыслями о военных неудачах жило чувство отчаянности, бесшабашности, — э, пропадать так пропадать!

О многом говорили по вечерам в маленькой комнате; казалось, что исчезли стенки в замкнутом, ограниченном пространстве и люди говорили не по-обычному.

Толстогубый, большеголовый историк Мадьяров, с кожей, литой из синевато-смуглого микропористого каучука, муж покойной сестры Соколова, иногда рассказывал о гражданской войне то, чего не написали в истории: о венгерце Гавро, командире интернационального полка, о комкоре Криворучко, о Боженко, о молоденьком офицерике Щорсе, приказавшем выпороть в своем вагоне членов комиссии, присланной Реввоенсоветом ревизовать щорсовский штаб. Он рассказал о страшной и странной судьбе

матери Гавро, венгерской старухи-крестьянки, не знавшей ни слова по-русски. Она приехала к сыну в СССР, а после ареста Гавро все шарахались от нее, боялись ее, и она, как безумная, не зная языка, бродила по Москве.

Мадьяров говорил о вахмистрах и унтер-офицерах в алых галифе с кожаными врезами, с синеватыми бритыми черепами, ставших начдивами и комкорами, о том, как эти люди казнили и миловали, и, покидая конницу, бросались за полюбившейся женщиной… Он рассказывал о комиссарах полков и дивизий в черных кожаных буденовках, читавших Ницше «Так сказал Заратустра» и предостерегавших бойцов от бакунинской ереси… Он рассказывал о царских прапорах, ставших маршалами и командармами первого ранга.

Однажды, понизив голос, он сказал:

— Случилось это в ту пору, когда Лев Давидович был еще Львом Давыдовичем, — и в его грустных глазах, тех, какие бывают у умных больных толстяков, появилось особое выражение.

Потом он улыбнулся и сказал:

— В нашем полку мы организовали оркестр: смесь труб, струнных и щипковых инструментов. Играл он всегда один мотив: «По улице ходила

большая крокодила, она, она зеленая была…» В любых случаях, и в атаку идя, и хороня героев, нажаривали эту «крокодилу». В жуткое отступление приехал к нам Троцкий дух поднимать, — весь полк погнали на митинг, городишка пыльный, скучный, собаки брешут, поставили трибуну посреди площади, и я помню: жарища, сонная одурь, и вот Троцкий с большим красным бантом, блестя глазами, произнес: «Товарищи красноармейцы» — да так, с таким рокотом, словно гроза всех ошпарила… А потом оркестр нажарил «крокодилу». Странная штука, но эта балалаечная «крокодила» больше сводного оркестра, который «Интернационал» играет, с ума свела, хоть на Варшаву, хоть на Берлин с голыми руками пойду…

Мадьяров рассказывал спокойно, неторопливо, он не оправдывал тех начдивов и комкоров, которых потом расстреливали как врагов народа и изменников Родины, он не оправдывал Троцкого, но в его восхищении Криворучко, Дубовым, в том, как уважительно и просто называл он имена командармов и армейских комиссаров, истребленных в 1937 году, чувствовалось, он не верит, что маршалы Тухачевский, Блюхер, Егоров, командующий Московским военным округом

Муралов, командарм второго ранга Левандовский, Гамарник, Дыбенко, Бубнов, что первый заместитель Троцкого Склянский и Уншлихт были врагами народа и изменниками Родины.

Спокойная обыденность мадьяровского голоса казалась немыслимой. Ведь государственная мощь создала новое прошедшее, по-своему вновь двигала конницу, наново назначала героев уже свершившихся событий, увольняла подлинных героев. Государство обладало достаточной мощью, чтобы наново переиграть то, что уже было однажды, и на веки веков совершено, преобразовать и перевоплотить гранит, бронзу, отзвучавшие речи, изменить расположение фигур на документальных фотографиях.

Это была поистине новая история. Даже живые люди, сохранившиеся от тех времен, по-новому переживали свою уже прожитую жизнь, превращали самих себя из храбрецов в трусов, из революционеров в агентов заграницы.

И, слушая Мадьярова, казалось, что неминуемо придет логика еще более могучая, логика правды. Никогда такие разговоры не велись до войны.

А как-то он сказал:

— Эх, все эти люди сегодня бы дрались с фашизмом беззаветно, не жалея крови своей. Зря

их угробили…

Инженер-химик Владимир Романович Артелев, казанский житель, был хозяином квартиры, которую снимали Соколовы. Жена Артелева возвращалась со службы к вечеру. Двое сыновей его были на фронте. Сам Артелев работал начальником цеха на химическом заводе. Одет он был плохо, — зимнего пальто и шапки не имел, а для тепла надевал под прорезиненный плащ ватную кацавейку. На голове он носил мятую, засаленную кепку и, уходя на работу, натягивал ее поплотней на уши.

Когда он входил к Соколовым, дуя на красные, замерзшие пальцы, робко улыбаясь людям, сидевшим за столом, Штруму казалось, что это не хозяин квартиры, начальник большого цеха на большом заводе, а неимущий сосед, приживал.

Вот и в этот вечер — с небритыми, впалыми щеками, он, видимо, боясь скрипнуть половицей, стоял у двери и слушал Мадьярова.

Марья Ивановна, направляясь в кухню, подошла к нему и шепотом сказала что-то на ухо. Он испуганно затряс головой, — видимо, отказывался от еды.

— Вчера, — говорил Мадьяров, — мне один полковник, он тут на излечении, рассказывал, что на

него дело возбуждено во фронтовой партийной комиссии, набил морду лейтенанту. Во время гражданской войны таких случаев не было.

— Вы же сами говорили, что Щорс выпорол комиссию Реввоенсовета, — сказал Штрум.

— То подчиненный порол начальство, — сказал Мадьяров, — разница есть.

— Вот и в промышленности, — сказал Артелев, — наш директор всем итээрам говорит «ты», а скажешь ему «товарищ Шурьев» — обидится, нужно — «Леонтий Кузьмич». На днях в цеху разозлил его старик-химик. Шурьев пустил его матом и крикнул: «Раз я сказал, то выполняй, а то дам коленом в ж..., полетишь у меня с завода», — а старику семьдесят второй год пошел.

— А профсоюз молчит? — спросил Соколов.

— Да какой там профсоюз, — сказал Мадьяров, — профсоюз призывает к жертвам: до войны идет подготовка к войне, во время войны все для фронта, а после войны профсоюз призовет ликвидировать последствия войны. Где уж тут стариком заниматься.

Марья Ивановна вполголоса спросила у Соколова:

— Может быть, чай пора пить?

— Конечно, конечно, — сказал Соколов, — да-

вай нам чаю.

«Удивительно бесшумно она движется», — подумал Штрум, рассеянно глядя на худенькие плечи Марьи Ивановны, скользнувшие в полуоткрытую кухонную дверь.

— Ах, товарищи родные, — сказал вдруг Мадьяров, — вы представляете себе, что такое свобода печати? Вот вы мирным послевоенным утром открываете газету, и вместо ликующей передовой, вместо письма трудящихся великому Сталину, вместо сообщений о том, что бригада сталеваров вышла на вахту в честь выборов в Верховный Совет, и о том, что трудящиеся в Соединенных Штатах встретили Новый год в обстановке уныния, растущей безработицы и нищеты, — вы находите в газете, знаете что? Информацию! Представляете себе такую газету? Газету, которая дает информацию!

И вот вы читаете: недород в Курской области, инспекторский отчет о режиме в Бутырской тюрьме, спор, нужен ли Беломоро-Балтийский канал, вы читаете о том, что рабочий Голопузов высказался против выпуска нового займа.

В общем, вы знаете все, что происходит в стране: урожай и недороды; энтузиазм и кражи со взломом; пуск шахты и катастрофу на шахте; раз-

ногласие между Молотовым и Маленковым; вы читаете отчеты о ходе забастовки по поводу того, что директор завода оскорбил семидесятилетнего старика-химика; вы читаете речи Черчилля, Блюма, а не то, что они «заявили якобы»; вы прочитываете отчет о прениях в палате общин; вы знаете, сколько человек вчера покончили самоубийством в Москве; сколько сшибленных было доставлено к вечеру к Склифосовскому. Вы знаете, почему нет гречневой крупы, а не только то, что из Ташкента в Москву была доставлена самолетом первая клубника. Вы узнаете, сколько грамм получают в колхозе на трудодень из газет, а не от домработницы, к которой приехала племянница из деревни покупать в Москве хлеб. Да, да, и при этом вы целиком и полностью остаетесь советским человеком.

Вы входите в книжный магазин и покупаете книгу, оставаясь советским человеком, читаете американских, английских, французских философов, историков, экономистов, политических обозревателей. Вы сами разбираетесь, в чем они не правы; вы сами, без няни, гуляете по улицам.

В тот момент, когда Мадьяров кончал свою речь, вошла Марья Ивановна, неся горку чайной посуды.

Соколов вдруг ударил по столу кулаком, сказал:

— Хватит! Убедительно и настойчиво прошу прекратить подобные разговоры.

Марья Ивановна, полуоткрыв рот, смотрела на мужа. Посуда в руках у нее зазвенела, — видимо, руки у нее задрожали.

Штрум расхохотался:

— Вот и ликвидировал Петр Лаврентьевич свободу печати! Недолго она продержалась. Хорошо, что Марья Ивановна не слышала этой крамолы.

— Наша система, — раздраженно сказал Соколов, — показала свою силу. Буржуазные демократии провалились.

— Да уж, показала, — сказал Штрум, — но изжившая себя буржуазная демократия в Финляндии столкнулась в сороковом году с нашим централизмом, и мы попали в сильную конфузию. Я не поклонник буржуазной демократии, но факты есть факты. Да и при чем тут старик-химик?

Штрум оглянулся и увидел пристальные и внимательные глаза Марьи Ивановны, слушавшей его.

— Тут дело не в Финляндии, а в финской зиме, — сказал Соколов.

— Э, брось, Петя, — проговорил Мадьяров.

— Скажем так, — проговорил Штрум, — во время войны Советское государство обнаружило и свои преимущества, и свои слабости.

— Какие же такие слабости? — спросил Соколов.

— Да вот хотя бы те, что многих, кто сейчас бы воевал, пересажали, — сказал Мадьяров. — Вон, видите, на Волге воюем.

— Но при чем же здесь система? — спросил Соколов.

— Как при чем? — сказал Штрум. — По-вашему, Петр Лаврентьевич, унтер-офицерская вдова сама себя расстреляла в тридцать седьмом году?

И он снова увидел внимательные глаза Марьи Ивановны. Он подумал, что в этом споре странно ведет себя: едва Мадьяров начинает критику государства, — Штрум спорит с ним; но когда Соколов набрасывается на Мадьярова, Штрум начинает критиковать Соколова.

Соколов любил иногда посмеяться над глупой статейкой либо безграмотной речью, но становился твердокаменным, едва разговор заходил о главной линии. А Мадьяров, наоборот, не скрывал своих настроений.

— Вы ищете объяснений нашего отступления

в несовершенстве советской системы, — проговорил Соколов, — но удар, который немцы обрушили на нашу страну, был такой силы, что, выдержав его, государство как раз-то с исчерпывающей ясностью доказало свою мощь, а не слабость. Вы видите тень, которую отбрасывает гигант, и говорите: вот смотрите, какая тень. Но вы забываете о самом гиганте. Ведь наш централизм — это социальный двигатель гигантской энергетической мощи, способный совершить чудеса. И он уже совершил их. И он их совершит в будущем.

— Если вы государству не нужны, оно вас иссушит, затаскает со всеми вашими идеями, планами и сочинениями, — проговорил Каримов, — но если ваша идея совпадает с интересом государства, летать вам на ковре-самолете!

— Вот-вот, — сказал Артелев, — я месяц был прикомандирован к одному оборонному объекту особой важности. Сталин сам следил за пуском цехов, звонил по телефону директору. Оборудование! Сырье, детали, запасные части — все по щучьему велению! А условия! Ванна, сливки по утрам на дом привозили. В жизни я так не жил. Рабочее снабжение исключительное! А главное, никакого бюрократизма. Все без писанины со-

вершалось.

— Вернее, государство-бюрократизм, как великан из сказки, там служит людям, — сказал Каримов.

— Если на оборонных объектах государственной важности достигли такого совершенства, то принципиально ясно: можно внедрить такую систему во всей промышленности, — сказал Соколов.

— Сетельмент! — сказал Мадьяров. — Это два совершенно разных принципа, а не один принцип. Сталин строит то, что нужно государству, а не человеку. Тяжелая промышленность нужна государству, а не народу. Беломоро-Балтийский канал бесполезен людям. На одном полюсе — потребности государства, на другом — потребности человека. Их никогда не примиришь.

— Вот-вот, а шаг в сторону от этого сетельмента — и пошла петрушка, — сказал Артелев. — Если моя продукция нужна соседям-казанцам, я по плану должен отвезти ее в Читу, а потом уж из Читы ее обратно в Казань доставят. Мне нужны монтажники, а у меня не исчерпан кредит на детские ясли, провожу монтажников как нянек в детские ясли. Централизация задушила! Изобретатель предложил директору выпускать полторы

тысячи деталей вместо двухсот, директор его погнал в шею: план-то он выполняет в весовом выражении, так спокойней. И если у него остановится вся работа, а недостающий материал можно купить на базаре за тридцатку, он лучше потерпит убыток в два миллиона, но не рискнет купить материал на тридцатку.

Артелев быстро оглядел слушателей и снова быстро заговорил, точно боясь, что ему не дадут договорить:

— Рабочий получает мало, но по труду. Продавец воды с сиропом получает в пять раз больше инженера. А руководство, директора, наркоматы знают одно — давай план! Ходи опухший, голодный, а план давай! Вот был у нас директор Шматков, он кричал на совещаниях: «Завод больше, чем мать родная, ты сам с себя три шкуры содрать должен, чтобы план выполнить. А с несознательного я сам три шкуры спущу». И вдруг узнаем, что Шматков переводится в Воскресенск. Я его спросил: «Как же вы оставляете завод в прорыве, Афанасий Лукич?» А он мне так просто, без демагогии, отвечает: «Да, знаете, у нас дети в Москве в институте учатся, а Воскресенск поближе к Москве. И, кроме того, квартиру хорошую дают, с садом, и жена прихварывает, ей воздух

нужен». Вот я удивляюсь — почему таким людям государство доверяет, а рабочим, беспартийным ученым знаменитым не хватает девяти гривен до рубля.

— А очень просто, — сказал Мадьяров, — этим ребятам доверено нечто большее, чем заводы и институты, им доверено сердце системы, святая святых: животворная сила советского бюрократизма.

— Я и говорю, — продолжал, не обращая на шутку внимания, Артелев, — я свой цех люблю, себя не жалею. А на главное меня не хватает, — не могу я с живых людей три шкуры спускать. С себя еще спущу шкуру, а с рабочего жалко как-то.

А Штрум, продолжая то, что ему самому было непонятно, ощущал потребность возражать Мадьярову, хотя все, что говорил Мадьяров, казалось ему справедливым.

— А у вас не сходятся концы с концами, — сказал он, — неужели интересы человека не совпадают, не сливаются сегодня полностью с интересами государства, создавшего оборонную промышленность? Мне кажется, что пушки, танки, самолеты, которыми вооружены наши дети и братья, нужны каждому из нас.

— Совершенно верно, — сказал Соколов.

66

Марья Ивановна стала разливать чай. Заспорили о литературе.

— Забыли у нас Достоевского, — сказал Мадьяров, — в библиотеках неохотно на дом выдают, издательства не переиздают.

— Потому что он реакционен, — сказал Штрум.

— Это верно, не надо было ему «Бесов» писать, — согласился Соколов.

Но тут Штрум спросил:

— Вы уверены, Петр Лаврентьевич, что не надо было «Бесов» писать? Скорее уж «Дневник писателя» не надо было писать.

— Гениев не причесывают, — сказал Мадьяров. — Достоевский не лезет в нашу идеологию. Вот Маяковский. Сталин не зря назвал его лучшим и талантливейшим. Он — сама государственность в своих эмоциях. А Достоевский — сама человечность, даже в своей государственности.

— Если так рассуждать, — сказал Соколов, — то вообще вся литература девятнадцатого века не лезет.

— Ну, не скажи, — проговорил Мадьяров. — Вот Толстой опоэтизировал идею народной войны,

а государство сейчас возглавило народную справедливую войну. Как сказал Ахмет Усманович — идеи совпали, и появился ковер-самолет: Толстого и по радио, и на вечерах чтецы, и издают, и вожди цитируют.

— Легче всего Чехову, его признает и прошлая эпоха и наша, — сказал Соколов.

— Вот это сказанул! — вскрикнул Мадьяров и хлопнул ладонями по столу. — Чехов у нас по недоразумению признан. Вот так же, как в некотором роде следующий ему Зощенко.

— Не понимаю, — сказал Соколов, — Чехов реалист, а достается у нас декадентам.

— Не понимаешь? — спросил Мадьяров. — Так я объясню.

— Вы Чехова не обижайте, — сказала Марья Ивановна, — я его люблю больше всех писателей.

— И правильно делаешь, Машенька, — сказал Мадьяров. — Ты, Петр Лаврентьевич, в декадентах человечность ищешь?

Соколов сердито отмахнулся от него.

Но Мадьяров тоже махнул на него рукой, ему важно было высказать свою мысль, а для этого надо было, чтобы Соколов искал в декадентах человечность.

— Индивидуализм не человечность! Путаете вы. Все путают. Вам кажется, декадентов бьют? Чепуха. Они не враждебны государству, просто не нужны, безразличны. Я убежден — между соцреализмом и декадентством бездны нет. Спорили, что такое соцреализм. Это зеркальце, которое на вопрос партии и правительства «Кто на свете всех милее, всех прекрасней и белее?» отвечает: «Ты, ты, партия, правительство, государство, всех румяней и милее!»

А декаденты на этот вопрос отвечают: «Я, я, я, декадент, всех милее и румяней». Не так уж велика разница. Соцреализм — это утверждение государственной исключительности, а декадентство — это утверждение индивидуальной исключительности. Методы разные, а суть одна — восторг перед собственной исключительностью. Гениальному государству без недостатков плевать на всех, кто с ним не схож. И декадентская кружевная личность глубочайше безразлична ко всем другим личностям, кроме двух, — с одной она ведет утонченную беседу, а со второй целуется, милуется. А внешне кажется, — индивидуализм, декадентство воюет за человека. Ни черта, по сути, не воюет. Декаденты безразличны к человеку, и государство безразлично. Тут бездны нет.

Соколов, прищурясь, слушал Мадьярова и, чувствуя, что тот заговорит сейчас о вовсе запретных вещах, перебил его:

— Позволь-ка, но при чем тут Чехов?

— О нем и речь. Вот между ним и современностью и лежит великая бездна. Ведь Чехов поднял на свои плечи несостоявшуюся русскую демократию. Путь Чехова — это путь русской свободы. Мы-то пошли другим путем. Вы попробуйте, охватите всех его героев. Может быть, один лишь Бальзак ввел в общественное сознание такие огромные массы людей. Да и то нет! Подумайте: врачи, инженеры, адвокаты, учителя, профессора, помещики, лавочники, фабриканты, гувернантки, лакеи, студенты, чиновники всех классов, прасолы, кондуктора, свахи, дьячки, архиереи, крестьяне, рабочие, сапожники, натурщицы, садоводы, зоологи, актеры, хозяева постоялых дворов, егери, проститутки, рыбаки, поручики, унтера, художники, кухарки, писатели, дворники, монахини, солдаты, акушерки, сахалинские каторжники…

— Хватит, хватит, — закричал Соколов.

— Хватит? — с комической угрозой переспросил Мадьяров. — Нет, не хватит! Чехов ввел в наше сознание всю громаду России, все ее клас-

сы, сословия, возрасты… Но мало того! Он ввел эти миллионы как демократ, понимаете ли вы, русский демократ! Он сказал, как никто до него, даже и Толстой не сказал: все мы прежде всего люди, понимаете ли вы, люди, люди, люди! Сказал в России, как никто до него не говорил. Он сказал: самое главное то, что люди — это люди, а потом уж они архиереи, русские, лавочники, татары, рабочие. Понимаете — люди хороши и плохи не оттого, что они архиереи или рабочие, татары или украинцы, — люди равны, потому что они люди. Полвека назад ослепленные партийной узостью люди считали, что Чехов выразитель безвременья. А Чехов знаменосец самого великого знамени, что было поднято в России за тысячу лет ее истории, — истинной, русской, доброй демократии, понимаете, русского человеческого достоинства, русской свободы. Ведь наша человечность всегда по-сектантски непримирима и жестока. От Аввакума до Ленина наша человечность и свобода партийны, фанатичны, безжалостно приносят человека в жертву абстрактной человечности. Даже Толстой с проповедью непротивления злу насилием нетерпим, а главное, исходит не от человека, а от Бога. Ему важно, чтобы восторжествовала идея, утвержда-

ющая доброту, а ведь богоносцы всегда стремятся насильственно вселить Бога в человека, а в России для этого не постоят ни перед чем, подколют, убьют — не посмотрят.

Чехов сказал: пусть Бог посторонится, пусть посторонятся так называемые великие прогрессивные идеи, начнем с человека, будем добры, внимательны к человеку, кто бы он ни был, — архиерей, мужик, фабрикант-миллионщик, сахалинский каторжник, лакей из ресторана; начнем с того, что будем уважать, жалеть, любить человека, без этого ничего у нас не пойдет. Вот это и называется демократия, пока несостоявшаяся демократия русского народа.

Русский человек за тысячу лет всего насмотрелся, — и величия, и сверхвеличия, но одного он не увидел — демократии. Вот, кстати, и разница между декадентством и Чеховым. Декаденту государство может дать по затылку в раздражении, коленкой в зад пихнуть. А сути Чехова государство не понимает, потому и терпит его. Демократия в нашем хозяйстве негожа, — истинная, конечно, человечная.

Видно было, что острота мадьяровских слов очень не нравится Соколову.

А Штрум, заметив это, с каким-то непонятным

ему самому удовольствием сказал:

— Прекрасно сказано, верно, умно. Прошу только снисхождения для Скрябина, он, кажется, ходит в декадентах, а я его люблю.

Он сделал рукой отталкивающий жест в сторону жены Соколова, поставившей перед ним блюдечко с вареньем, и проговорил:

— Нет, нет, спасибо, не хочу.

— Черная смородина, — сказала она.

Он посмотрел на ее карие, желтоватые глаза и спросил:

— Разве я говорил вам о своей слабости?

Она молча кивнула, улыбнулась. Зубы у нее были неровные, губы тонкие, неяркие. И от улыбки бледное, немного серое лицо ее стало милым, привлекательным.

«А она славная, хорошая, если б только носик не краснел все время», — подумал Штрум.

Каримов сказал Мадьярову:

— Леонид Сергеевич, как увязать страстную речь о чеховской человечности с вашим гимном Достоевскому? Для Достоевского не все люди в России одинаковы. Гитлер назвал Толстого ублюдком, а портрет Достоевского, говорят, висит у Гитлера в кабинете. Я нацмен, я татарин, я родился в России, я не прощаю русскому писа-

телю его ненависти к полячишкам, жидишкам. Не могу, — если он и великий гений. Слишком досталось нам в царской России крови, плевков в глаза, погромов. В России у великого писателя нет права травить инородцев, презирать поляков и татар, евреев, армян, чувашей.

Седой темноглазый татарин сказал Мадьярову со злой, надменной монгольской усмешкой:

— Вы, может быть, читали произведение Толстого «Хаджи Мурат»? Может быть, читали «Казаков»? Может быть, читали рассказ «Кавказский пленник»? Это все русский граф писал, более русский, чем литвин Достоевский. Пока будут живы татары, они за Толстого молиться будут Аллаху.

Штрум посмотрел на Каримова.

«Вот ты какой, — подумал он, — вот ты какой».

— Ахмет Усманович, — сказал Соколов, — я глубочайше уважаю вашу любовь к своему народу. Но разрешите мне тоже гордиться тем, что я русский, разрешите мне любить Толстого не только за то, что он хорошо написал о татарах. Нам, русским, почему-то нельзя гордиться своим народом, сразу же попадаем в черносотенцы.

Каримов встал, лицо его покрылось жемчужным потом, и он проговорил:

— Скажу вам правду, действительно, почему мне говорить неправду, если есть правда. Если вспомнить, как еще в двадцатых годах выжигали тех, кем гордится татарский народ, всех наших больших культурных людей, нужно подумать, — для чего запрещать «Дневник писателя».

— Не только ваших, били и наших, — сказал Артелев.

Каримов сказал:

— У нас уничтожили не только людей, национальную культуру уничтожили. Теперешняя интеллигенция татарская — дикари по сравнению с теми людьми.

— Да-да, — насмешливо сказал Мадьяров, — те могли создать не только культуру, но и свою татарскую внешнюю и внутреннюю политику. А это не годится.

— У вас есть сейчас свое государство, — сказал Соколов, — есть институты, школы, оперы, книги, татарские газеты, все вам дала революция.

— Правильно, есть и государственная опера, и оперное государство. А урожай наш собирает Москва, и сажает нас Москва.

— Ну, знаете, если бы вас сажал татарин, а не русский, от этого бы вам легче не было, — проговорил Мадьяров.

— А если бы вообще не сажали? — спросила Марья Ивановна.

— Ну, Машенька, чего захотела, — сказал Мадьяров.

Он посмотрел на часы и сказал:

— Ого, времечко.

Марья Ивановна поспешно проговорила:

— Ленечка, оставайтесь ночевать. Я вас устрою на складной кровати.

Он однажды жаловался Марье Ивановне, что особенно ощущает свое одиночество, когда вечером возвращается домой, где никто не ждет его, входит в пустую темную комнату.

— Что ж, — сказал Мадьяров, — я не против. Петр Лаврентьевич, ты не возражаешь?

— Нет, что ты, — сказал Соколов, и Мадьяров шутливо добавил:

— Сказал хозяин без всякого энтузиазма.

Все поднялись из-за стола, стали прощаться.

Соколов вышел провожать гостей, и Марья Ивановна, понизив голос, сказала Мадьярову:

— Как хорошо, что Петр Лаврентьевич не бежит этих разговоров. В Москве, лишь только намек при нем возникал, он замолчит, замкнется.

Она произносила с особой ласковой и почтительной интонацией имя и отчество мужа: «Петр

Лаврентьевич». Она ночами переписывала от руки его работы, хранила черновики, наклеивала на картон его случайные записи. Она считала его великим человеком, и в то же время он казался ей беспомощным дитятей.

— Нравится мне этот Штрум, — сказал Мадьяров. — Не понимаю, почему его считают неприятным человеком.

Он шутливо добавил:

— Я заметил, все свои речи он произносил при вас, Машенька, а когда вы хлопотали в кухне, он берег свое красноречие.

Она стояла лицом к двери, молчала, точно не слыша Мадьярова, потом сказала:

— Что вы, Леня, он ко мне относится, как к козявке. Петя его считает недобрым, насмешливым, надменным, за это его не любят физики, а некоторые его боятся. Но я не согласна, мне кажется, он очень добрый.

— Ну уж добрый меньше всего, — сказал Мадьяров. — Язвил всех, ни с кем не согласен. Но ум свободный, не замагничен.

— Нет, он добрый, незащищенный.

— Но надо признать, — проговорил Мадьяров, — Петенька и сейчас лишнего слова не скажет.

В это время Соколов вошел в комнату. Он услышал слова Мадьярова.

— Я вот о чем попрошу тебя, Леонид Сергеевич, — сказал он, — не учи ты меня, а во-вторых, я попрошу тебя в моем присутствии подобных разговоров не вести.

Мадьяров сказал:

— Знаешь, Петр Лаврентьевич, и ты не учи меня.

Я сам отвечаю за свои разговоры, как ты за свои.

Соколов хотел, видимо, ответить резкостью, но сдержался и вновь вышел из комнаты.

— Что ж, я, пожалуй, домой пойду, — сказал Мадьяров.

Марья Ивановна сказала:

— Вы меня очень огорчите. Ведь вы знаете его доброту. Он всю ночь будет мучиться.

Она стала объяснять, что у Петра Лаврентьевича ранимая душа, что он много пережил, его в тридцать седьмом году вызывали на жестокие допросы, после этого он провел четыре месяца в нервной клинике.

Мадьяров слушал, кивая головой, сказал:

— Ладно, ладно, Машенька, уговорили, — и, вдруг озлившись, добавил: — Все это верно, ко-

нечно, но не одного Петрушу вашего вызывали. Помните, когда меня продержали на Лубянке одиннадцать месяцев? Петр за это время позвонил Клаве один только раз по телефону. Это родной сестре, а? И если помните, он и вам запретил ей звонить. Клаве это было очень больно… Может быть, он у вас великий физик, но душа у него с лакеинкой.

Марья Ивановна закрыла лицо руками и сидела молча.

— Никто, никто не поймет, как мне это все больно, — сказала она тихо.

Она одна знала, как тридцать седьмой год и жестокости сплошной коллективизации были отвратительны ему, как он душевно чист. Но одна она знала, как велика его скованность, его рабская покорность перед властью.

Поэтому он и был дома таким капризным, бонзой, привык, чтобы Машенька чистила ему ботинки, обвевала его платочком в жару, во время дачных прогулок отгоняла от его лица веточкой комаров.

67

Когда-то студентом последнего курса Штрум вдруг сказал товарищу по семинару:

— Невозможно совершенно читать — патока и дикая скука, — и бросил на пол номер «Правды».

И, едва он это сказал, его охватил страх. Он поднял газету, отряхнул ее, усмехнулся удивительно подлой улыбкой, его спустя долгие годы бросало в жар, когда он вспоминал эту собачью улыбку.

Через несколько дней он протянул тому же товарищу «Правду» и оживленно проговорил:

— Гришка, прочти-ка передовую, здорово написана.

Товарищ, беря газету, сказал ему жалостливо:

— Трусоват был Витя бедный. Думаешь, донесу?

Тогда же, еще студентом, Штрум дал себе слово либо молчать, не высказывать опасных мыслей, либо, высказывая их, не дрейфить. Но он не сдержал слова. Он часто терял осторожность, вспыхивал, «ляпал», а ляпнув, случалось, терял мужество и начинал тушить им же зажженный огонек.

В 1938 году, после бухаринского процесса, он

сказал Крымову:

— Как хотите, а Бухарина я знаю лично, с ним говорил два раза — большая башка, милая умная улыбка, в общем, чистейший и обаятельнейший человек.

И тут же Штрум, смущенный угрюмым взглядом Крымова, пробормотал:

— Впрочем, черт его знает, шпионаж, агент охранки, где уж тут чистота и обаяние, — гнусность!

И снова ему пришлось смешаться — Крымов с тем же угрюмым видом, с каким слушал его, сказал:

— Пользуясь тем, что мы родственники, сообщу вам: Бухарин и охранка у меня не умещаются в голове, и не уместятся.

И Штрум с внезапным бешенством против самого себя, против силы, мешающей быть людям людьми, крикнул:

— Да боже мой, не верю я в этот ужас! Эти процессы — кошмар моей жизни. Почему они сознаются, зачем они сознаются?

Но Крымов не стал продолжать разговор, видимо, он и так много сказал…

О, чудная, ясная сила откровенного разговора, сила правды! Какую страшную цену платили

люди за несколько смелых, без оглядки высказанных слов.

Сколько раз ночью Штрум лежал в постели и прислушивался к шуму автомобилей на улице. Вот Людмила Николаевна босыми ногами подошла к окну, сдвинула занавеску. Она смотрит, ждет, потом бесшумно — ей кажется, что Виктор Павлович спит, — идет к постели, ложится. Утром она спрашивает:

— Как ты спал?

— Спасибо, ничего. А ты?

— Душно немного было. Я подходила к форточке.

— А-а.

Как передать это ночное чувство невиновности и чувство обреченности.

«Помни, Витя, каждое слово туда доходит, ты губишь себя, меня и детей».

Вот другой разговор:

«Я не могу тебе сказать всего, но ради бога, слышишь, — ни слова ни с кем. Виктор, мы живем в страшное время, ты не представляешь себе ничего. Помни, Виктор, ни слова, ни с кем…»

И перед Виктором Павловичем встают непрозрачные, томящиеся глаза человека, которого он знает с детства, и появляется страх не от слов его,

а от того, что старый друг недоговаривает, от того, что Виктор Павлович не решается задать прямой вопрос: «Ты агент, тебя вызывают?»

Он вспоминает лицо своего ассистента, при котором он необдуманно пошутил, что Сталин сформулировал законы всемирного тяготения задолго до Ньютона.

— Вы ничего не говорили, я ничего не слышал, — весело сказал молодой физик.

Зачем, зачем, зачем эти шутки. Уж шутить, во всяком случае, глупо, все равно что пощелкивать по сосуду с нитроглицерином.

О, ясная сила свободного, веселого слова! Она в том и проявляется, что вопреки страху его вдруг произносят.

Понимал ли Штрум трагичность нынешних свободных бесед, — все они, участники этих разговоров, ненавидели немецкий фашизм, страшились его… Почему же свобода мелькнула в дни дошедшей до Волги войны, когда все они переживали горе военных неудач, суливших ненавистное немецкое рабство?

Штрум молча шел рядом с Каримовым.

— Удивительная штука, — вдруг сказал он, — читаешь иностранные романы об интеллигенции, вот я читал Хемингуэя, у него интеллигенты

во время бесед беспрерывно пьют. Коктейли, виски, ром, коньяк, опять коктейли, опять коньяк, опять виски всех систем. А русская интеллигенция свой главный разговор вела за стаканом чая. Вот за знаменитым стаканом жидкого чая договорились народовольцы, и народники, и социал-демократы, и Ленин великую революцию обсудил с друзьями за стаканом чая. Правда, говорят, Сталин предпочитает коньяк.

Каримов сказал:

— Да, да, да. Сегодняшний разговор тоже шел за чаем. Вы правы.

— Вот, вот. Умный Мадьяров! Смелый! Уж очень захватывают эти до сумасшествия непривычные его разговоры.

Каримов взял Штрума под руку.

— Виктор Павлович, вы заметили, самая невинная вещь у Мадьярова выглядит как обобщение? Тревожит меня это. Его ведь в тридцать седьмом году арестовали на несколько месяцев и выпустили. А тогда никого не выпускали. Даром не выпускали. Понимаете?

— Понимаю, понимаю, как не понять, — медленно сказал Штрум. — Не стучит ли?

Они расстались на углу, и Штрум зашагал в сторону своего дома.

«Черт с ним, пусть, пусть, — думал он, — хоть поговорили по-людски, без страха, обо всем, на всю железку, без условностей, лицемерия. Париж стоит мессы…»

Хорошо, что есть, не вывелись такие люди, как Мадьяров, с внутренней духовной независимостью. И слова Каримова, сказанные ему при расставании, не заставляли привычно холодеть сердце.

Он подумал, что снова забыл рассказать Соколову о письме, полученном с Урала.

Он шел по темной пустынной улице.

Внезапная мысль возникла вдруг. И он сразу, не сомневаясь, понял, почувствовал, что мысль эта верна. Он увидел новое, невероятно новое объяснение тех ядерных явлений, которые, казалось, не имели объяснения, — вдруг пропасти стали мостами. Какая простота, какой свет! Эта мысль была изумительно мила, хороша, казалось, не он породил ее, она поднялась просто, легко, как белый водяной цветок из спокойной тьмы озера, и он ахнул, осчастливленный ее красотой…

И странная случайность, вдруг подумал он, пришла она к нему, когда ум его был далек от мыслей о науке, когда захватившие его споры о жизни были спорами свободного человека, когда

одна лишь горькая свобода определяла его слова и слова его собеседников.

68

Калмыцкая ковыльная степь кажется нищей и тоскливой, когда видишь ее впервые, когда человек в машине полон тревог и забот, а глаза его рассеянно следят за нарастанием и таянием невысоких холмов, медлительно выплывающих из-за горизонта и медлительно уплывающих за горизонт… Даренскому казалось, что все один и тот же сточенный ветрами холм плывет да плывет перед ним, все один и тот же завиток дороги разворачивается да разворачивается, уходит да уходит под каучуковые автомобильные покрышки. И всадники в степи все казались одними и теми же, одинаковыми, хоть были они то безбороды и молоды, то в серой седине, то на буланых, то на вороных летучих коньках…

Машина проезжала через поселки и хотоны, мимо домиков с крошечными окошечками, на которых густела, точно в аквариумах, герань, — казалось, разбейся оконное стекло, и вытечет в окружающую пустыню живой воздух, высохнет, погибнет зелень; машина проезжала мимо круглых, обмазанных глиной юрт, шла да шла среди тусклого ковыля, среди колючей верблюжьей

травы, среди пятен солончаков, мимо пылящих маленькими ножками овец, мимо колеблемых ветром бездымных костров…

Для взгляда путешественника, катящего на надутых городским дымным воздухом шинах, все сливалось здесь в бедное, серое однообразие, все становилось монотонно и одинаково… Курай, будяки, ковыль, цигрик, полынь… холмы растекались по равнине, распрямленные катком огромных времен. Удивительным свойством обладает эта калмыцкая юго-восточная степь, переходящая постепенно в песчаную пустыню, раскинувшуюся на восток от Элисты к Яшкулю до самого устья Волги, до берега Каспийского моря… В этой степи земля и небо так долго гляделись друг в друга, что стали похожи, как похожи муж и жена, прожившие вместе жизнь. И нельзя уже различить, что это — пыльная ли алюминиевая седина ковыля проросла на скучной, несмелой голубизне степного неба или стала отсвечивать голубизной степь, и уж не отделишь неба от земли, смешались они в молочной пыли. И когда глядишь на густую тяжелую воду озер Цацá и Барманцак, кажется, что это соль выступила на поверхность земли, а поглядишь на плешины соли, и кажется, не земля, а озерная вода…

Удивительна в бесснежные дни ноября и декабря дорога в калмыцкой степи — та же сухая серо-зеленая растительность, та же пыль вьется над дорогой, — не поймешь, прокалена, иссушена ли степь солнцем или морозами.

Может быть, поэтому возникают здесь миражи, — стерта грань между воздухом и землей, водой и солончаком. Этот мир по толчку, который дает мозг жаждущего человека, по рывку мысли вдруг начинает перекристаллизовываться, и жаркий воздух становится голубоватым, стройным камнем, и нищая земля плещется тихой водой, и тянутся до горизонта пальмовые сады, и лучи ужасного, сокрушающего солнца, смешиваясь с клубами пыли, обращаются в золотые куполы храмов и дворцов… Человек сам в миг изнеможения творит из земли и из неба мир своего желания.

Машина все бежит и бежит по дороге, по скучной степи.

И вот неожиданно этот мир степной пустыни совсем по-новому, совсем по-другому открывается человеку…

Калмыцкая степь! Древнее, благородное создание природы, где нет ни одной кричащей краски, где нет ни одной резкой, острой черты в рельефе,

где скупая печаль оттенков серого и голубого может поспорить с титанической цветовой лавиной осеннего русского леса, где мягкие, чуть волнистые линии холмов очаровывают душу глубже, чем хребты Кавказа, где скупые озерца, наполненные темной и спокойной древней водой, кажется, выражают суть воды больше, чем все моря и океаны…

Все проходит, а вот это огромное, чугунное, тяжелое солнце в вечернем дыму, этот горький ветер, полный до краев полынью, не забудутся. А потом, — не в бедности, а в богатстве встает степь…

Вот она весной, молодая, тюльпанная, океан, в котором ревут не волны, а краски. И злая верблюжья колючка окрашена зеленью, и молодые острые шипы ее еще нежны и мягки, не успели окостенеть…

А летней ночью в степи видишь, как галактический небоскреб высится весь, — от голубых и белых звездных глыб фундамента до уходящих под мировую крышу дымных туманностей и легких куполов шарообразных звездных скоплений…

Есть у степи одно особо замечательное свойство. Это свойство живет в ней неизменно, — и на

рассвете, зимой и летом, и в темные ненастные ночи, и в светлые ночи. Всегда и прежде всего степь говорит человеку о свободе… Степь напоминает о ней тем, кто потерял ее.

Даренский, выйдя из машины, глядел на всадника, выехавшего на холм. В халате, подпоясанный веревкой, сидел он на мохнатой лошаденке и оглядывал с холма степь. Он был стар, лицо его казалось каменно жестким.

Даренский окликнул старика и, подойдя к нему, протянул портсигар. Старик, быстро повернувшись всем телом в седле, совмещая в себе подвижность юноши и рассуждающую медлительность старости, оглядел руку с протянутым портсигаром, затем лицо Даренского, затем его пистолет на боку, его три подполковничьих шпалы, его франтовские сапоги. Затем тонкими коричневыми пальцами, такими маленькими и тоненькими, что их можно было назвать пальчиками, он взял папиросу, повертел ее в воздухе.

Скуластое, каменно жесткое лицо старого калмыка все изменилось, и из морщин глянули два добрых и умных глаза. И взгляд этих старых карих глаз, одновременно испытующий и доверчивый, видно, таил в себе что-то очень славное. Даренскому беспричинно стало весело и приятно. Лошадь

старика, недоброжелательно запрядавшая при приближении Даренского ушами, вдруг успокоилась, наставила с любопытством сперва одно, потом другое ухо, а затем улыбнулась всей своей большезубой мордой и прекрасными очами.

— Спасиба, — тоненьким голосом сказал старик.

Он провел ладонью по плечу Даренского и сказал:

— У меня было два сына в кавалерийской дивизии, один убитый, старший, — и он показал рукой повыше лошадиной головы, — а второй, младший, — и он показал пониже лошадиной головы, — пулеметчик, три орден есть. — Потом он спросил: — Бачку имеешь?

— Мать жива, а отец мой умер.

— Ай, плохо, — покачал головой старик, и Даренский подумал, что он не из вежливости сокрушался, а от души, узнав, что у русского подполковника, угостившего его папиросой, умер отец.

А потом старик вдруг гикнул, беспечно взмахнул рукой, и лошадь ринулась с холма с непередаваемой быстротой и непередаваемой легкостью.

О чем думал, мчась по степи, всадник: о сыновьях, о том, что у оставшегося возле испорченного

автомобиля русского подполковника умер отец?

Даренский следил за стремительной скачкой старика, и в висках не кровь стучала, а одно лишь слово: «Воля… воля… воля…»

И зависть к старому калмыку охватила его.

69

Даренский выехал из штаба фронта в длительную командировку в армию, стоявшую на крайнем левом фланге. Поездки в эту армию считались среди работников штаба особо неприятными, — пугали отсутствие воды, жилья, плохое снабжение, большие расстояния и скверные дороги. Командование не имело точных сведений о положении в войсках, затерявшихся в песке между каспийским побережьем и калмыцкой степью, и начальство, посылая Даренского в этот район, надавало ему множество поручений.

Проехав сотни километров по степи, Даренский почувствовал, как тоска осилила его. Здесь никто не помышлял о наступлении, безысходным казалось положение войск, загнанных немцами на край света…

Не во сне ли было недавнее, день и ночь не ослабевавшее штабное напряжение, догадки о близости наступления, движение резервов, телеграммы, шифровки, круглосуточная работа фронтового узла связи, гул идущих с севера автомобильных и танковых колонн?

Слушая унылые разговоры артиллерийских и

общевойсковых командиров, собирая и проверяя данные о состоянии материальной части, инспектируя артиллерийские дивизионы и батареи, глядя на угрюмые лица красноармейцев и командиров, глядя, как медленно, лениво двигались люди по степной пыли, Даренский постепенно подчинился монотонной тоске этих мест. Вот, думал он, дошла Россия до верблюжьих степей, до барханных песчаных холмов и легла, обессиленная, на недобрую землю, и уже не встать, не подняться ей.

Даренский приехал в штаб армии и отправился к высокому начальству.

В просторной полутемной комнате лысеющий, с сытым лицом молодец в гимнастерке без знаков различия играл в карты с двумя женщинами в военной форме. Молодец и женщины с лейтенантскими кубиками не прервали игры при входе подполковника, а, лишь рассеянно оглядев его, продолжали ожесточенно произносить:

— А козыря не хочешь? А вальта не хочешь?

Даренский выждал, пока окончится сдача, и спросил:

— Здесь размещен командующий армией?

Одна из молодых женщин ответила:

— Он уехал на правый фланг, будет только к

вечеру. — Она оглядела Даренского опытным взором военнослужащей и спросила: — Вы, наверное, из штаба фронта, товарищ подполковник?

— Так точно, — ответил Даренский и, едва заметно подмигнув, спросил: — А, извините, члена Военного совета я могу видеть?

— Он уехал с командующим, будет только вечером, — ответила вторая женщина и спросила: — Вы не из штаба артиллерии?

— Так точно, — ответил Даренский.

Первая, отвечавшая о командующем, показалась Даренскому особенно интересной, хотя она, видимо, была значительно старше, чем та, что ответила о члене Военного совета. Иногда такие женщины кажутся очень красивыми, иногда же при случайном повороте головы вдруг становятся увядшими, пожилыми, неинтересными. И эта, нынешняя, была из такой породы, с прямым красивым носом, с синими недобрыми глазами, говорившими о том, что эта женщина знает точную цену и людям и себе.

Лицо ее казалось совсем молодым, ну не дашь ей больше двадцати пяти лет, а чуть нахмурилась, задумалась, стали видны морщинки в уголках губ и отвисающая кожа под подбородком, — не

дашь ей меньше сорока пяти. Но вот уж ноги в хромовых по мерке сапожках действительно были хороши.

Все эти обстоятельства, о которых довольно долго рассказывать, сразу стали ясны для опытного глаза Даренского.

А вторая была молодой, но располневшей, большетелой, — все в ней по отдельности было не так уж красиво, — и жидковатые волосы, и широкие скулы, и неопределенного цвета глаза, но она была молода и женственна, уж до того женственна, что, кажется, и слепой, находясь возле нее, не мог бы не почувствовать ее женственности.

И это Даренский заметил тотчас, в течение секунды.

И больше того, в течение этой же секунды он каким-то образом сразу же взвесил достоинства первой, отвечавшей о командующем, женщины и достоинства второй, отвечавшей о члене Военного совета, и сделал тот, не имеющий практического последствия выбор, который почти всегда делают мужчины, глядя на женщин. Даренский, которого беспокоили мысли, как бы найти командующего и даст ли тот нужные Даренскому данные, где бы пообедать, где бы устроиться на ночлег, далекая ли и тяжелая ли дорога в диви-

зию на крайнем правом фланге, — успел как-то само собой и между прочим, и в то же время не так уж между прочим, подумать: «Вот эта!»

И случилось так, что он не сразу пошел к начальнику штаба армии получать нужные сведения, а остался играть в подкидного.

Во время игры (он оказался партнером синеглазой женщины) выяснилось множество вещей, — партнершу его звали Алла Сергеевна, вторая, та, что моложе, работала в штабном медпункте, полнолицый молодец без воинского звания именуется Володей, видимо, состоит в родстве с кем-то из командования и работает поваром в столовой Военного совета.

Даренский сразу почувствовал силу Аллы Сергеевны, — это видно было по тому, как обращались к ней заходившие в комнату люди. Видимо, командующий армией был ее законным мужем, а вовсе не возлюбленным, как вначале показалось Даренскому.

Неясным было ему, почему так фамильярен с ней Володя. Но потом Даренский, охваченный озарением, догадался: вероятно, Володя был братом первой жены командующего. Конечно, оставалось не совсем ясным, жива ли первая жена, находится ли командующий в оформленном

разводе с ней.

Молодая женщина, Клавдия, очевидно, не находилась в законном браке с членом Военного совета. В обращении к ней Аллы Сергеевны проскальзывали нотки надменности и снисходительности: «Конечно, мы играем с тобой в подкидного, мы говорим друг другу «ты», но ведь того требуют интересы войны, в которой мы с тобой участвуем».

Но и в Клавдии было некое чувство превосходства над Аллой Сергеевной. Даренскому показалось примерно такое: хоть я и не венчана, а боевая подруга, но я верна своему члену Военного совета, а ты-то хоть и законная, но кое-что нам про тебя известно. Попробуй, скажи только это словцо «пепеже»…

Володя не скрывал, как сильно нравилась ему Клавдия. Его отношение к ней выражалось примерно так: любовь моя безнадежна, куда мне, повару, тягаться с членом Военного совета… Но хоть я и повар, я люблю тебя чистой любовью, ты сама чувствуешь: только бы в глазки твои смотреть, а то, ради чего любит тебя член Военного совета, мне безразлично.

Даренский плохо играл в подкидного, и Алла Сергеевна взяла его под свою опеку. Алле Серге-

евне понравился сухощавый подполковник: он говорил «благодарю вас», промямливал «простите, ради бога», когда руки их сталкивались во время раздачи карт, он с грустью посматривал на Володю, если тот вытирал нос пальцами, а затем уж пальцы вытирал платочком, он вежливо улыбался чужим остротам и сам отлично острил.

Выслушав одну из шуток Даренского, она сказала:

— Тонко, я не сразу поняла. Поглупела от этой степной жизни.

Сказала она это негромко, как бы давая ему понять, верней, почувствовать, что у них может завязаться свой разговор, в котором только они оба и могут участвовать, разговор, от которого холодеет в груди, тот особый, единственно важный разговор мужчины и женщины.

Даренский продолжал делать ошибки, она поправляла его, а в это время возникала между ними другая игра, и в этой игре уже Даренский не ошибался, эту игру он знал тонко… И хоть ничего не было между ними сказано, кроме как: «Да не держите маленькую пику», «Подкидывайте, подкидывайте, не бойтесь, не жалейте козыря…» — она уже знала и оценила все привлекательное, что было в нем: и мягкость, и силу, и

сдержанность, и дерзость, и робость… Все это Алла Сергеевна ощутила и потому, что подсмотрела в Даренском эти черты, и потому, что он сумел показать ей их. И она сумела показать ему, что понимает его взгляды, обращенные к ее улыбке, движениям рук, пожиманию плеч, к ее груди под нарядной габардиновой гимнастеркой, к ее ногам, к маникюру на ее ногтях. Он чувствовал, что ее голос чуть-чуть излишне, неестественно протяжен и улыбка продолжительней обычной улыбки, чтобы он сумел оценить и милый голос, и белизну ее зубов, и ямочки на щеках…

Даренский был взволнован и потрясен внезапно посетившим его чувством. Он никогда не привыкал к этому чувству, каждый раз, казалось, оно посещало его впервые. Большой опыт его отношений с женщинами не обращался в привычку, — опыт был сам по себе, а счастливое увлечение само по себе. Именно в этом сказывались истинные, а не ложные женолюбцы.

Как-то получилось, что в эту ночь он остался на командном пункте армии.

Утром он зашел к начальнику штаба, молчаливому полковнику, не задавшему ему ни одного вопроса о Сталинграде, о фронтовых новостях, о положении северо-западнее Сталинграда. По-

сле разговора Даренский понял, что штабной полковник мало чем может удовлетворить его инспекторскую любознательность, попросил поставить визу на своем предписании и выехал в войска.

Он сел в машину со странной пустотой и легкостью в руках и ногах, без единой мысли, без желаний, соединяя в себе полное насыщение с полным опустошением… Казалось, и все кругом стало пресным, пустым — небо, ковыль и степные холмы, еще вчера так нравившиеся ему. Не хотелось шутить и разговаривать с водителем. Мысли о близких, даже мысли о матери, которую Даренский любил и почитал, были скучны, холодны… Размышления о боях в пустыне, на краю русской земли, не волновали, шли вяло.

Даренский то и дело сплевывал, покачивал головой и с каким-то тупым удивлением бормотал: «Ну и баба…»

В эти минуты в голове шевелились покаянные мысли о том, что до добра такие увлечения не доводят, вспоминались когда-то прочитанные не то у Куприна, не то в каком-то переводном романе слова, что любовь подобна углю, раскаленная, она жжет, а когда холодна, пачкает… Хотелось даже поплакать, собственно не плакать,

а так, похныкать, пожаловаться кому-то, ведь не по своей воле дошел, а судьба довела беднягу подполковника до такого отношения к любви… Потом он уснул, а когда проснулся, вдруг подумал: «Если не убьют, обязательно на обратном пути к Аллочке заеду».

70

Майор Ершов, вернувшись с работы, остановился у нар Мостовского, сказал:

— Слышал американец радио, — наше сопротивление под Сталинградом ломает расчеты немцев.

Он наморщил лоб и добавил:

— Да еще сообщение из Москвы — о ликвидации Коминтерна, что ли.

— Да вы что, спятили? — спросил Мостовской, глядя в умные глаза Ершова, похожие на холодную, мутноватую весеннюю воду.

— Может быть, американец спутал, — сказал Ершов и стал драть ногтями грудь. — Может быть, наоборот, Коминтерн расширяется.

Мостовской знал в своей жизни немало людей, которые как бы становились мембраной, выразителями идеалов, страстей, мыслей всего общества. Мимо этих людей, казалось, никогда не проходило ни одно серьезное событие в России. Таким выразителем мыслей и идеалов лагерного общества был Ершов. Но слух о ликвидации Коминтерна совершенно не был интересен лагерному властителю дум.

Бригадный комиссар Осипов, ведавший политическим воспитанием большого воинского соединения, был тоже равнодушен к этой новости.

Осипов сказал:

— Генерал Гудзь мне сообщил: вот через ваше интернациональное воспитание, товарищ комиссар, драп начался, надо было в патриотическом духе воспитывать народ, в русском духе.

— Это как же — за Бога, царя, отечество? — усмехнулся Мостовской.

— Да все ерунда, — нервно зевая, сказал Осипов. — Тут дело не в ортодоксии, дело в том, что немцы шкуру с нас живьем сдерут, товарищ Мостовской, дорогой отец.

Испанский солдат, которого русские звали Андрюшкой, спавший на нарах третьего этажа, написал «Stalingrad» на деревянной планочке и ночью смотрел на эту надпись, а утром переворачивал планку, чтобы рыскавшие по бараку капо не увидели знаменитое слово.

Майор Кириллов сказал Мостовскому:

— Когда меня не гоняли на работу, я валялся сутками на нарах. А сейчас я себе рубаху постирал и сосновые щепки жую против цинги.

А штрафные эсэсовцы, прозванные «веселые

ребята» (они на работу ходили всегда с пением), с еще большей жестокостью придирались к русским.

Невидимые связи соединяли жителей лагерных бараков с городом на Волге. А вот Коминтерн оказался всем безразличен.

В эту пору к Мостовскому впервые подошел эмигрант Чернецов.

Прикрывая ладонью пустую глазницу, он заговорил о радиопередаче, подслушанной американцем.

Так велика была потребность в этом разговоре, что Мостовской обрадовался.

— Вообще-то источники неавторитетные, — сказал Мостовской, — чушь, чушь.

Чернецов поднял брови, — это очень нехорошо выглядело — недоуменно и неврастенично поднятая над пустым глазом бровь.

— Чем же? — спросил одноглазый меньшевик. — В чем невероятное? Господа большевики создали Третий Интернационал, и господа большевики создали теорию так называемого социализма в одной стране. Сие соединение суть нонсенс. Жареный лед… Георгий Валентинович в одной из своих последних статей писал: «Социализм может существовать как система мировая,

международная, либо не существовать вовсе».

— Так называемый социализм? — спросил Михаил Сидорович.

— Да, да, так называемый. Советский социализм.

Чернецов улыбнулся и увидел улыбку Мостовского. Они улыбнулись друг другу потому, что узнали свое прошлое в злых словах, в насмешливых, ненавидящих интонациях.

Словно вспоров толщу десятилетий, блеснуло острие их молодой вражды, и эта встреча в гитлеровском концлагере напомнила не только о многолетней ненависти, а и о молодости.

Этот лагерный человек, враждебный и чужой, любил и знал то, что знал и любил в молодости Мостовской. Он, а не Осипов, не Ершов, помнил рассказы о временах Первого съезда, имена людей, которые лишь им обоим остались небезразличны. Их обоих волновали отношения Маркса и Бакунина и то, что говорил Ленин и что говорил Плеханов о мягких и твердых искровцах. Как сердечно относился слепой, старенький Энгельс к молодым русским социал-демократам, приезжавшим к нему, какой язвой была в Цюрихе Любочка Аксельрод!

Чувствуя, видимо, то, что чувствовал Мостов-

ской, одноглазый меньшевик сказал с усмешкой:

— Писатели трогательно описывали встречу друзей молодости, а что ж встреча врагов молодости, вот таких седых, замученных старых псов, как вы и я?

Мостовской увидел слезу на щеке Чернецова. Оба понимали: лагерная смерть скоро заровняет, занесет песком все, что было в долгой жизни, — и правоту, и ошибки, и вражду.

— Да, — сказал Мостовской. — Тот, кто враждует с тобой на протяжении всей жизни, становится поневоле и участником твоей жизни.

— Странно, — сказал Чернецов, — вот так встретиться в этой волчьей яме. — Он неожиданно добавил: — Какие чудные слова: пшеница, жито, грибной дождь…

— Ох, и страшен этот лагерь, — смеясь, сказал Мостовской, — по сравнению с ним все кажется хорошим, даже встреча с меньшевиком.

Чернецов грустно кивнул.

— Да уж действительно, нелегко вам.

— Гитлеризм, — проговорил Мостовской, — гитлеризм! Я не представлял себе подобного ада!

— Вам-то чего удивляться, — сказал Чернецов, — вас террором не удивишь.

И точно ветром сдуло то грустное и хорошее,

что возникло между ними. Они заспорили с беспощадной злобой.

Клевета Чернецова была ужасна тем, что питалась не одной лишь ложью. Жестокости, сопутствующие советскому строительству, отдельные промашки Чернецов возводил в генеральную закономерность. Он так и сказал Мостовскому:

— Вас, конечно, устраивает мысль, что в тридцать седьмом году были перегибы, а в коллективизации головокружение от успехов и что ваш дорогой и великий несколько жесток и властолюбив. А суть-то в обратном: чудовищная бесчеловечность Сталина и сделала его продолжителем Ленина. Как у вас любят писать, Сталин — это Ленин сегодня. Вам все кажется, что нищета деревни и бесправие рабочих — все это временное, трудности роста. Пшеница, которую вы, истинное кулачье, монополисты, покупаете у мужика по пятаку за кило и продаете тому же мужику по рублю за кило, это и есть первооснова вашего строительства.

— Вот и вы, меньшевик, эмигрант, говорите: Сталин — это Ленин сегодня, — сказал Мостовской. — Мы наследники всех поколений русских революционеров — от Пугачева и Разина. Не ренегаты-меньшевики, бежавшие за границу,

а Сталин наследник Разина, Добролюбова, Герцена.

— Да-да, наследники! — сказал Чернецов. — Знаете, что значили для России свободные выборы в Учредительное собрание! В стране тысячелетнего рабства! За тысячу лет Россия была свободна немногим больше полугода. Ваш Ленин не наследовал, а загубил русскую свободу. Когда я думаю о процессах тридцать седьмого года, мне вспоминается совсем другое наследство; помните полковника Судейкина, начальника Третьего отделения, он совместно с Дегаевым хотел инсценировать заговоры, запугать царя и таким путем захватить власть. А вы считаете Сталина наследником Герцена?

— Да вы что, впрямь дурак? — спросил Мостовской. — Вы что, всерьез о Судейкине? А величайшая социальная революция, экспроприация экспроприаторов, фабрики, заводы, отнятые от капиталистов, а земля, забранная у помещиков? Проглядели? Это чье наследство, — Судейкина, что ли? А всеобщая грамотность, а тяжелая промышленность? А вторжение четвертого сословия, рабочих и крестьян, во все области человеческой деятельности? Это что ж, — судейкинское наследство? Жалко вас делается.

— Знаю, знаю, — сказал Чернецов, — с фактами не спорят. Их объясняют. Ваши маршалы, и писатели, и доктора наук, художники и наркомы не слуги пролетариата. Они слуги государства. А уж тех, кто работает в поле и цехах, я думаю, и вы не решитесь назвать хозяевами. Какие уж они хозяева!

Он вдруг наклонился к Мостовскому и сказал:

— Между прочим, из всех вас я уважаю лишь одного Сталина. Он ваш каменщик, а вы чистоплюи! Сталин-то знает: железный террор, лагеря, средневековые процессы ведьм, — вот на чем стоит социализм в одной отдельно взятой стране.

Михаил Сидорович сказал Чернецову:

— Любезный, всю эту гнусь мы слышали. Но вы об этом, я должен вам сказать откровенно, говорите как-то особенно подло. Так паскудить, гадить может человек, который с детства жил в вашем доме, а потом был выгнан из него. Знаете, кто он, этот выгнанный человек?.. Лакей!

Он пристально посмотрел на Чернецова и сказал:

— Не скрою, сперва мне хотелось вспомнить то, что связывало нас в девяносто восьмом году, а не то, что развело в девятьсот третьем.

— Покалякать о том времени, когда лакея еще

не выгнали из дома?

Но Михаил Сидорович всерьез рассердился.

— Да, да, вот именно! Выгнанный, бежавший лакей! В нитяных перчатках! А мы не скрываем: мы без перчаток. Руки в крови, в грязи! Что ж! Мы пришли в рабочее движение без плехановских перчаток. Что вам дали лакейские перчатки? Иудины сребреники за статейки в вашем «Социалистическом вестнике»? Здесь лагерные англичане, французы, поляки, норвежцы, голландцы в нас верят! Спасение мира в наших руках! В силе Красной Армии! Она армия свободы!

— Так ли, — перебил Чернецов, — всегда ли? А захват Польши по сговору с Гитлером в тридцать девятом году? А раздавленные вашими танками Латвия, Эстония, Литва? А вторжение в Финляндию? Ваша армия и Сталин отнимали у малых народов то, что дала им революция. А усмирение крестьянских восстаний в Средней Азии? А усмирение Кронштадта? Все это для ради свободы и демократии? Ой ли?

Мостовской поднес руки к лицу Чернецова и сказал:

— Вот они, без лакейских перчаток!

Чернецов кивнул ему:

— Помните жандармского полковника Стрель-

никова? Тоже работал без перчаток: писал фальшивые признания вместо забитых им до полусмерти революционеров. Для чего вам понадобился тридцать седьмой год? Готовились бороться с Гитлером, этому вас Стрельников или Маркс учил?

— Ваши зловонные слова меня не удивляют, — сказал Мостовской, — вы ничего другого не скажете. Знаете, что меня действительно удивляет? К чему вас гитлеровцы держат в лагере. Зачем? Нас они ненавидят до исступления. Тут все ясно. Но зачем вас и подобных вам держать Гитлеру в лагере!

Чернецов усмехнулся, лицо его стало таким, каким было в начале разговора.

— Да вот, видите, держат, — сказал он. — Не пускают. Вы походатайствуйте, может быть, меня и отпустят.

Но Мостовской не хотел шутить.

— Вы с вашей ненавистью к нам не должны сидеть в гитлеровском лагере. И не только вы, вот и этот субъект, — и он указал на подходившего к ним Иконникова-Моржа.

Лицо и руки Иконникова были запачканы глиной.

Он сунул Мостовскому несколько грязных, ис-

писанных листков бумаги и сказал:

— Прочтите, может быть, придется завтра погибнуть.

Мостовской, пряча листки под тюфяк, раздраженно проговорил:

— Прочту, почему это вы собрались покинуть сей мир?

— Знаете, что я слышал? Котлованы, которые мы выкопали, назначены для газовни. Сегодня уже начали бетонировать фундаменты.

— Об этом ходил слух, — сказал Чернецов, — еще когда прокладывали широкую колею.

Он оглянулся, и Мостовской подумал, что Чернецова занимает, — видят ли пришедшие с работы, как запросто он разговаривает со старым большевиком. Он, вероятно, гордится этим перед итальянцами, норвежцами, испанцами, англичанами. Но больше всего он, вероятно, гордился этим перед русскими военнопленными.

— А мы продолжали работать? — спросил Иконников-Морж. — Участвовали в подготовке ужаса?

Чернецов пожал плечами:

— Вы что думаете, — мы в Англии? Восемь тысяч откажутся от работы, и всех убьют в течение часа.

— Нет, не могу, — сказал Иконников-Морж. — Не пойду, не пойду.

— Если откажетесь работать, вас кокнут через две минуты, — сказал Мостовской.

— Да, — сказал Чернецов, — можете поверить этим словам, товарищ знает, что значит призывать к забастовке в стране, где нет демократии.

Его расстроил спор с Мостовским. Здесь, в гитлеровском лагере, фальшиво, бессмысленно прозвучали в его собственных ушах слова, которые он столько раз произносил в своей парижской квартире.

Прислушиваясь к разговорам лагерников, он часто ловил слово «Сталинград», с ним, хотел он этого или нет, связывалась судьба и мира.

Молодой англичанин показал ему знак виктории и сказал:

— Молюсь за вас, — Сталинград остановил лавину, — и Чернецов ощутил счастливое волнение, услышав эти слова.

Он сказал Мостовскому:

— Знаете, Гейне говорил, что только дурак показывает свою слабость врагу. Но ладно, я дурак, вы совершенно правы, мне ясно великое значение борьбы, которую ведет ваша армия. Горько русскому социалисту понимать это и,

понимая, радоваться, гордиться, и страдать, и ненавидеть вас.

Он смотрел на Мостовского, и тому казалось, будто и второй, зрячий глаз Чернецова налился кровью.

— Но неужели и здесь вы не осознали своей шкурой, что человек не может жить без демократии и свободы? Там, дома, вы забыли об этом! — спросил Чернецов.

Мостовской наморщил лоб.

— Послушайте, хватит истерики.

Он оглянулся, и Чернецов подумал, что Мостовской встревожен, — видят ли пришедшие с работы, как запросто разговаривает с ним эмигрант-меньшевик. Он, вероятно, стыдился этого перед иностранцами. Но больше всего он стыдился перед русскими военнопленными.

Кровавая слепая яма в упор смотрела на Мостовского.

Иконников дернул за разутую ногу сидевшего на втором этаже священника, на ломаном французском, немецком и итальянском языке стал спрашивать:

— Que dois-je faire, mio padre? Nous travaillons

dans una Vernichtungslager[7].

Антрацитовые глаза Гарди оглядывали лица людей.

— Tout le monde travaille lá-bas. Et moi je travaille lábas. Nous sommes des esclaves, — медленно сказал он. — Dieu nous pardonnera[8].

— C'est son métier[9], — добавил Мостовской.

— Mais ce n'est pas votre métier[10], — с укоризной произнес Гарди.

Иконников-Морж быстро заговорил:

— Вот-вот, Михаил Сидорович, с вашей точки зрения тоже ведь так, а я не хочу отпущения грехов. Не говорите — виноваты те, кто заставляет тебя, ты раб, ты не виновен, ибо ты не свободен. Я свободен! Я строю фернихтунгслагерь, я отвечаю перед людьми, которых будут душить газом. Я могу сказать «нет»! Какая сила может запретить мне это, если я найду в себе силу не бояться уничтожения. Я скажу «нет»! Je dirai non, mio padre,

---

[7] Примечания: 7
Что я должен делать, падре? Мы работаем в фернихтунгслагере (*фр.*).

[8] Примечания: 8
Все там работают. И я работаю там. Мы рабы. Бог нас простит (*фр.*).

[9] Примечания: 9
Это его профессия (*фр.*).

[10] Примечания: 10
Но это не ваша профессия (*фр.*).

je dirai non!

Рука Гарди коснулась седой головы Иконникова.

— Donnez-moi votre main[11], — сказал он.

— Ну, сейчас будет увещевание пастырем заблудшей в гордыне овцы, — сказал Чернецов, и Мостовской с невольным сочувствием кивнул его словам.

Но Гарди не увещевал Иконникова, он поднес грязную руку Иконникова к губам и поцеловал ее.

---

[11] Примечания: 11
Дайте вашу руку (*фр.*).

71

На следующий день Чернецов разговорился с одним из своих немногочисленных советских знакомых, красноармейцем Павлюковым, работавшим санитаром в ревире.

Павлюков стал жаловаться Чернецову, что скоро его выгонят из ревира и погонят рыть котлованы.

— Это все партийные строят, — сказал он, — им невыносимо, что я на хорошее место устроился: сунул кому надо. Они в подметалы, на кухне, в вашрауме всюду своих поустраивали. Вы, папаша, помните, как в мирное время было? Райком своя. Местком своя. Верно ведь? А здесь у них тоже шарашкина контора, свои на кухне, своим порции дают. Старого большевика они содержат, как в санатории, а вы вот, как собака, пропадаете, никто из них в вашу сторону не посмотрит. А разве это справедливо? Тоже весь век на советскую власть ишачили.

Чернецов, смущаясь, сказал ему, что он двадцать лет не жил в России. Он уже заметил, что слова «эмигрант», «заграница» сразу же отталкивают от него советских людей. Но Павлюков не

стал насторожен после слов Чернецова.

Они присели на груде досок, и Павлюков, широконосый, широколобый, настоящий сын народа, как подумал Чернецов, глядя в сторону часового, ходившего в бетонированной башенке, сказал:

— Некуда мне податься, только в добровольческое формирование. Или в доходяги и накрыться.

— Для спасения жизни, значит? — спросил Чернецов.

— Я вообще не кулак, — сказал Павлюков, — не вкалывал на лесозаготовках, а на коммунистов все равно обижен. Нет вольного хода. Этого не сей, на этой не женись, эта работа не твоя. Человек становится как попка. Мне хотелось с детских лет магазин свой открыть, чтобы всякий в нем все мог купить. При магазине закусочная, купил, что тебе надо, и пожалуйста: хочешь — пей рюмку, хочешь — жаркое, хочешь — пивка. Я бы, знаете, как обслуживал? Дешево! У меня бы в ресторане и деревенскую еду бы давали. Пожалуйста! Печеная картошка! Сало с чесноком! Капуста квашеная! Я бы, знаете, какую закуску людям давал — мозговые кости! Кипят в котле, пожалуйста, сто грамм выпей — и на тебе косточку, хлеб черный, ну, ясно, соль. И всюду кожаные кресла,

чтобы вши не заводились. Сидишь, отдыхаешь, а тебя обслужат. Скажи я такое дело, меня бы сразу в Сибирь. А я вот думаю, в чем особый вред для народа в таком деле? Я цены назначу вдвое ниже против государства.

Павлюков покосился на слушателя:

— В нашем бараке сорок ребят записались в добровольческое формирование.

— А по какой причине?

— За суп, за шинельку, чтобы не работать до перелома черепа.

— И еще по какой?

— А кое-кто из идейности.

— Какой?

— Да разной. Некоторые за погубленных в лагерях. Другим нищета деревенская надоела. Коммунизма не выносят.

Чернецов сказал:

— А ведь подло!

Советский человек с любопытством поглядел на эмигранта, и тот увидел это насмешливо-недоуменное любопытство.

— Бесчестно, неблагородно, нехорошо, — сказал Чернецов. — Не время счеты сводить, не так их сводят. Нехорошо, перед самим собой, перед своей землей.

Он встал с досок и провел рукой по заду.

— Меня не заподозришь в любви к большевикам. Правда, не время, не время счеты сводить. А к Власову не ходите, — он вдруг запнулся и добавил: — Слышите, товарищ, не ходите, — и оттого, что произнес, как в старое, молодое время, слово «товарищ», он уже не мог скрыть своего волнения, и не скрыл его, пробормотал: — Боже мой. Боже мой, мог ли я…

Поезд отошел от перрона. Воздух был туманный от пыли, от запаха сирени и весенних городских помоек, от паровозного дыма, от чада, идущего из кухни привокзального ресторана.

Фонарь все уплывал, удалялся, а потом стал казаться неподвижным среди других зеленых и красных огней.

Студент постоял на перроне, пошел через боковую калитку. Женщина, прощаясь, обхватила руками его шею и целовала в лоб, волосы, растерянная, как и он, внезапной силой чувства… Он шел с вокзала, и счастье росло в нем, кружило голову, казалось, что это начало — завязка того, чем наполнится вся его жизнь…

Он вспоминал этот вечер, покидая Россию, по дороге на Славуту. Он вспоминал его в парижской больнице, где лежал после операции — удаления

заболевшего глаукомой глаза, вспоминал, входя в полутемный прохладный подъезд банка, в котором служил.

Об этом написал поэт Ходасевич, бежавший, как и он, из России в Париж:

Странник идет, опираясь на посох, –
Мне почему-то припомнилась ты,
Едет коляска на красных колесах –
Мне почему-то припомнилась ты.
Вечером лампу зажгли в коридоре –
Мне почему-то припомнилась ты.
Что б ни случилось: на суше, на море
Или на небе – мне вспомнишься ты…

Ему хотелось вновь подойти к Мостовскому, спросить: «А вы не знали такой — Наташи Задонской, жива ли она? И неужели вы все эти десятилетия ходили с ней по одной земле?»

72

На вечернем аппеле штубенэльтер, гамбургский вор-взломщик Кейзе, носивший желтые краги и клетчатый кремовый пиджак с накладными карманами, был хорошо расположен. Коверкая русские слова, он негромко напевал: «Kali zavtra voina, esli zavtra v pochod…»

Его мятое, шафранового цвета лицо с карими, пластмассовыми глазами выражало в этот вечер благодушие. Пухлая, белоснежная, без единого волоска рука, с пальцами, способными удавить лошадь, похлопывала по плечам и спинам заключенных. Для него убить было так же просто, как шутки ради подставить ножку. После убийства он ненадолго возбуждался, как молодой кот, поигравший с майским жуком.

Убивал он чаще всего по поручению штурмфюрера Дроттенхара, ведавшего санитарной частью в блоке восточного района.

Самым трудным в этом деле было оттащить тела убитых на кремацию, но этим Кейзе не занимался, никто бы не посмел предложить ему такую работу. Дроттенхар был опытен и не допускал, чтобы люди слабели настолько, чтобы их

приходилось тащить к месту казни на носилках.

Кейзе не торопил назначенных к операции, не делал им злых замечаний, ни разу никого из них не толкнул и не ударил. Больше четырехсот раз подымался Кейзе по двум бетонированным ступенькам спецкамеры и всегда испытывал живой интерес к человеку, над которым проделывал операцию: к взгляду ужаса и нетерпения, покорности, муки, робости и страстного любопытства, которым обреченный встречал пришедшего его умертвить.

Кейзе не мог понять, почему ему так нравилась именно обыденность, с которой он производил свое дело. Спецкамера выглядела скучно: табурет, серый каменный пол, сливная труба, кран, шланг, конторка с книгой записей.

Операцию низводили до полной обыденности, о ней всегда говорили полушутя. Если операция совершалась с помощью пистолета, Кейзе называл ее «впустить в голову зерно кофе»; если она производилась с помощью вливания фенола, Кейзе называл ее «маленькая порция эликсира».

Удивительно и просто, казалось Кейзе, раскрывался секрет человеческой жизни в кофейном зерне и эликсире.

Его карие, литые из пластмассы очи, казалось,

не принадлежали живому существу. То была затвердевшая желто-коричневая смола… И когда в бетонных глазах Кейзе появлялось веселое выражение, людям становилось страшно, так, вероятно, страшно делается рыбке, вплотную подплывавшей к полузасыпанной песком коряге и вдруг обнаружившей, что темная осклизлая масса имеет глазки, зубки, щупальцы.

Здесь, в лагере, Кейзе переживал чувство превосходства над жившими в бараках художниками, революционерами, учеными, генералами, религиозными проповедниками. Тут дело было не в зерне кофе и порции эликсира. Это было чувство естественного превосходства, оно приносило много радости.

Он радовался не своей громадной физической силе, не своему умению идти напролом, сшибить с ног, взломать кассовую сталь. Он любовался своей душой и умом, он был загадочен и сложен. Его гнев, расположение возникали не по-обычному, — казалось, без логики. Когда весной с транспорта в особый барак были пригнаны отобранные гестапо русские военнопленные, Кейзе попросил их спеть любимые им песни.

Четыре с могильным взглядом, с опухшими руками русских человека выводили:

Кейзе, пригорюнившись, слушал, поглядывал на стоявшего с краю скуластого человека. Кейзе из уважения к артистам не прерывал пения, но, когда певцы замолчали, он сказал скуластому, что тот в хоре не пел, пусть теперь поет соло. Глядя на грязный ворот гимнастерки этого человека со следами споротых шпал, Кейзе спросил:

— Verstehen Sie, Herr Major, — ты понял, блияд?

Человек кивнул, — он понял.

Кейзе взял его за ворот и легонько встряхнул, так встряхивают неисправный будильник. Прибывший с транспорта военнопленный пихнул Кейзе в скулу кулаком и ругнулся.

Казалось, русскому пришел конец. Но гаулейтер особого барака не убил майора Ершова, а подвел его к нарам, в углу у окна. Они пустовали, ожидая приятного для Кейзе человека. В тот же день Кейзе принес Ершову крутое гусиное яйцо и хохоча дал ему: «Ihre Stimme wird schqn!»

С тех пор Кейзе хорошо относился к Ершову. И в бараке с уважением отнеслись к Ершову, его несгибаемая жесткость была соединена с характером мягким и веселым.

Сердился на Ершова после случая с Кейзе один из исполнителей «Сулико», бригадный комиссар

Осипов.

— Тяжелый человек, — говорил он.

Вскоре после этого происшествия и окрестил Мостовской Ершова властителем дум.

Кроме Осипова, испытывал недоброжелательность к Ершову всегда замкнутый, всегда молчаливый военнопленный Котиков, знавший все обо всех. Был Котиков какой-то бесцветный — и голос бесцветный, и глаза, и губы. Но был он настолько бесцветен, что эта бесцветность запоминалась, казалась яркой.

В этот вечер веселость Кейзе при аппеле вызвала в людях повышенное чувство напряжения и страха. Жители бараков всегда ждали чего-то плохого, и страх, предчувствие, томление и днем и ночью, то усиливаясь, то слабея, жили в них.

Перед концом вечерней поверки в особый барак вошли восемь лагерных полицейских — капо в дурацких, клоунских фуражках, с ярко-желтой перевязью на рукавах. По их лицам видно было, что свои котелки они наполняют не из общего лагерного котла.

Командовал ими высокий белокурый красавец, одетый в стального цвета шинель со споротыми нашивками. Из-под шинели видны были кажущиеся от алмазного блеска светлыми лаки-

рованные сапоги.

Это был начальник внутрилагерной полиции Кениг — эсэсовец, лишенный за уголовные преступления звания и заключенный в лагерь.

— Mütze ab! — крикнул Кейзе.

Начался обыск. Капо привычно, как фабричные рабочие, выстукивали столы, выявляя выдолбленные пустоты, встряхивали тряпье, быстрыми, умными пальцами проверяли швы на одежде, просматривали котелки.

Иногда они, шутя, поддав кого-нибудь коленом под зад, говорили: «Будь здоров».

Изредка капо обращались к Кенигу, протягивая найденную записку, блокнот, лезвие безопасной бритвы. Кениг взмахом перчатки давал понять — интересен ли найденный предмет.

Во время обыска заключенные стояли, построившись в шеренгу.

Мостовской и Ершов стояли рядом, поглядывали на Кенига и Кейзе. Фигуры обоих немцев казались литыми.

Мостовского пошатывало, кружилась голова. Ткнув пальцем в сторону Кейзе, он сказал Ершову:

— Ах и субъект!

— Ариец классный, — сказал Ершов. Не желая,

чтобы его услышал стоящий вблизи Чернецов, он сказал на ухо Мостовскому: — Но и наши ребятки бывают дай боже!

Чернецов, участвуя в разговоре, которого он не слышал, сказал:

— Священное право всякого народа иметь своих героев, святых и подлецов.

Мостовской, обращаясь к Ершову, но отвечая не только ему, сказал:

— Конечно, и у нас найдешь мерзавцев, но что-то есть в немецком убийце такое, неповторимое, что только в немце и может быть.

Обыск кончился. Была подана команда отбоя. Заключенные стали взбираться на нары.

Мостовской лег, вытянул ноги. Ему подумалось, что он не проверил, все ли цело в его вещах после обыска, — кряхтя, приподнялся, стал перебирать барахло.

Казалось, не то исчез шарф, не то холстинка — портянка. Но он нашел и шарф, и портянку, а тревожное чувство осталось.

Вскоре к нему подошел Ершов и негромко сказал:

— Капо Недзельский треплет, что наш блок растрясут, часть оставят для обработки, большинство — в общие лагеря.

— Ну что ж, — сказал Мостовской, — наплевать.

Ершов присел на нары, сказал тихо и внятно:

— Михаил Сидорович!

Мостовской приподнялся на локте, посмотрел на него.

— Михаил Сидорович, задумал я большое дело, буду с вами о нем говорить. Пропадать, так с музыкой!

Он говорил шепотом, и Мостовской, слушая Ершова, стал волноваться, — чудный ветер коснулся его.

— Время дорого, — говорил Ершов. — Если этот чертов Сталинград немцы захватят, опять заплесневеют люди. По таким, как Кириллов, видно.

Ершов предлагал создать боевой союз военнопленных. Он произносил пункты программы на память, точно читая по писаному.

…Установление дисциплины и единства всех советских людей в лагере, изгнание предателей из своей среды, нанесение ущерба врагу, создание комитетов борьбы среди польских, французских, югославских и чешских заключенных…

Глядя поверх нар в мутный полусвет барака, он сказал:

— Есть ребята с военного завода, они мне верят,

будем накапливать оружие. Размахнемся. Связь с десятками лагерей, террор против изменников. Конечная цель: всеобщее восстание, единая свободная Европа…

Мостовской повторил:

— Единая свободная Европа… ах, Ершов, Ершов.

— Я не треплюсь. Наш разговор — начало дела.

— Становлюсь в строй, — сказал Мостовской и, покачивая головой, повторил: — Свободная Европа… Вот и в нашем лагере секция Коммунистического Интернационала, а в ней два человека, один из них беспартийный.

— Вы и немецкий, и английский, и французский знаете, тысячи связей вяжутся, — сказал Ершов. — Какой вам еще Коминтерн — лагерники всех стран, соединяйтесь!

Глядя на Ершова, Михаил Сидорович произнес давно забытые им слова:

— Народная воля! — и удивился, почему именно эти слова вдруг вспомнились ему.

А Ершов сказал:

— Надо переговорить с Осиповым и полковником Златокрыльцем. Осипов — большая сила! Но он меня не любит, поговорите с ним вы. А с полковником я сегодня поговорю. Составим

четверку.

73

Мозг майора Ершова днем и ночью работал с неослабевающим напряжением.

Ершов обдумывал план подполья, охватывающего лагерную Германию, технику связи подпольных организаций, запоминал названия трудовых и концентрационных лагерей, железнодорожных станций. Он думал о создании шифра, думал, как с помощью лагерных канцеляристов включать в транспортные списки организаторов, перебирающихся из лагеря в лагерь.

А в душе его жила мечта! Работа тысяч подпольных агитаторов, героев-вредителей подготавливала захват лагерей вооруженной силой восставших! Восставшие лагерники должны завладеть зенитной артиллерией, обороняющей лагерные объекты, и превратить ее в противотанковое и противопехотное оружие. Надо выявить зенитчиков и подготовить расчеты для орудий, захваченных штурмовыми группами.

Майор Ершов знал лагерную жизнь, видел силу подкупа, страха, жажду набить желудок, видел, как многие люди меняли честные гимнастерки на власовские голубые шинели с погонами.

Он видел подавленность, угодливость, вероломство и покорность; он видел ужас перед ужасом, видел, как столбенели люди перед страшными чинами зихерхайтсдинст.

И все же в мыслях оборванного пленного майора не было фантазерства. В мрачное время стремительного немецкого продвижения на Восточном фронте он поддерживал своих товарищей веселыми, дерзкими словами, уговаривал опухавших бороться за свое здоровье. В нем жило нетушимое, задорное, неистребимое презрение к насилию.

Люди чувствовали веселый жар, шедший от Ершова, — такое простое, всем нужное тепло исходит от русской печи, в которой горят березовые дрова.

Должно быть, это доброе тепло, а не только сила ума и сила бесстрашия поспособствовало майору Ершову стать главарем советских военнопленных командиров.

Ершов давно понял, что Михаил Сидорович первый человек, которому он откроет свои мысли. Он лежал на нарах с открытыми глазами, смотрел на шершавый дощатый потолок, словно изнутри гроба на крышку, а сердце билось.

Здесь, в лагере, он, как никогда за тридцать

три года своей жизни, переживал ощущение собственной силы.

Жизнь его до войны была нехороша. Отца его, крестьянина Воронежской губернии, раскулачили в тридцатом году. Ершов служил в эту пору в армии.

Ершов не порвал связи с отцом. Его не приняли в Академию, хотя он сдал приемные экзамены на «отлично». С трудом удалось Ершову закончить военное училище. Назначение он получил в райвоенкомат. Отец его, спецпереселенец, жил в это время с семьей на Северном Урале. Ершов взял отпуск и поехал к отцу. От Свердловска он ехал двести километров по узкоколейке. По обе стороны дороги тянулись леса и болота, штабели заготовленной древесины, лагерная проволока, бараки и землянки, словно поганые грибы на высоких ножках, стояли сторожевые вышки. Дважды поезд задерживали — конвойная стража искала заключенного, совершившего побег. Ночью поезд стоял на разъезде, ждал встречного, и Ершов не спал, слушал лай наркомвнудельских овчарок, свистки часовых, — возле станции находился большой лагерь.

Ершов доехал до конечного пункта узкоколейки лишь на третий день, и хотя на воротнике

его были лейтенантские кубари, а документы и литеры были выправлены по правилам, он при проверках документов все ждал, что ему скажут: «А ну, бери мешок» — и отведут в лагерь. Видно, даже воздух в этих местах был какой-то запроволочный.

Потом он ехал семьдесят километров в кузове попутной полуторки, дорога шла среди болот. Машина принадлежала совхозу имени ОГПУ, где работал отец Ершова. В кузове было тесно: ехали на лагпункт спецпереселенцы-рабочие, которых перебрасывали на лесоповал. Ершов пробовал расспрашивать их, но они отвечали односложно, видимо, боялись его военной формы.

К вечеру грузовик пришел в деревушку, лепившуюся между опушкой леса и краем болота. Он запомнил закат, такой тихий и кроткий среди лагерного северного болота. Избы при вечернем свете казались совершенно черными, вываренными в смоле.

Он вошел в землянку, вместе с ним вошел вечерний свет, а навстречу ему встала сырость, духота, запах нищей пищи, нищей одежды и постели, дымное тепло…

Из этой темноты возник отец, худое лицо, прекрасные глаза, поразившие Ершова своим

непередаваемым выражением.

Старые, худые, грубые руки обняли шею сына, и в этом судорожном движении измученных старческих рук, обхвативших шею молодого командира, была выражена робкая жалоба и такая боль, такая доверчивая просьба о защите, что только одним мог ответить на все это Ершов — заплакал.

Потом они постояли над тремя могилами — мать умерла в первую зиму, старшая сестра Анюта на вторую, Маруся на третью.

Кладбище в лагерном крае слилось с деревней, и тот же мох рос под стенами изб и на скатах землянок, на могильных холмах и на болотных кочках. Так и останутся мать и сестры под этим небом, — и зимой, когда холод вымораживает влагу, и осенью, когда кладбищенская земля набухает от подступающей к ней темной болотной жижи.

Отец стоял рядом с молчащим сыном, тоже молчал, потом поднял глаза, посмотрел на сына и развел руками: «Простите меня, и мертвые и живые, не смог я сберечь тех, кого любил».

Ночью отец рассказывал. Он говорил спокойно, негромко. О том, о чем рассказывал он, лишь спокойно и можно было говорить, — воплем,

слезами этого не выскажешь.

На ящике, прикрытом газеткой, лежали привезенные сыном угощения, стояла поллитровка. Старик говорил, а сын сидел рядом, слушал.

Отец рассказывал о голоде, о смерти деревенских знакомых, о сошедших с ума старухах, о детях — тела их стали легче балалайки, легче куренка. Рассказывал, как голодный вой день и ночь стоял над деревней, рассказывал о заколоченных хатах с ослепшими окнами.

Он рассказывал сыну о пятидесятидневной зимней дороге в теплушке с дырявой крышей, об умерших, ехавших в эшелоне долгие сутки вместе с живыми. Рассказывал, как спецпереселенцы шли пешком и женщины несли детей на руках. Прошла эту пешую дорогу больная мать Ершова, тащилась в жару, с потемневшим разумом. Он рассказал, как привели их в зимний лес, где ни землянки, ни шалаша, и как начали они там новую жизнь, разводя костры, устраивая постели из еловых веток, растапливая в котелках снег, как хоронили умерших…

— Все воля Сталинова, — сказал отец, и в словах его не было гнева, обиды — так говорят простые люди о могучей, не знающей колебаний судьбе.

Ершов вернулся из отпуска и написал заявле-

ние Калинину, просил о высшей, немыслимой милости — простить невинного, просил, чтобы разрешили старику приехать к сыну. Но письмо его не успело дойти до Москвы, а Ершова уже вызвали к начальству, имелось заявление — донос о его поездке на Урал.

Ершова уволили из армии. Он поступил на стройку, решил подработать денег и поехать к отцу. Но вскоре пришло письмецо с Урала — извещение о смерти отца.

На второй день после начала войны лейтенант запаса Ершов был призван.

В бою под Рославлем он заменил убитого командира полка, собрал бегущих, ударил по противнику, отбил речную переправу, обеспечил отход тяжелых орудий резерва Главного Командования.

Чем больше становилась тяжесть, ложившаяся на его плечи, тем сильнее были его плечи. Он и сам не знал своей силы. Покорность, оказалось, не была свойственна его натуре. Чем огромней было насилие, тем злей, задорней становилось желание драться.

Иногда он спрашивал себя: почему ему так ненавистны власовцы? Власовские воззвания писали о том, что рассказывал его отец. Он-то

знал, что это правда. Но он знал, что эта правда в устах у немцев и власовцев — ложь.

Он чувствовал, ему было ясно, что, борясь с немцами, он борется за свободную русскую жизнь, победа над Гитлером станет победой и над теми лагерями, где погибли его мать, сестры, отец.

Ершов переживал горькое и хорошее чувство, — здесь, где анкетные обстоятельства пали, он оказался силой, за ним шли. Здесь не значили ни высокие звания, ни ордена, ни спецчасть, ни первый отдел, ни управление кадров, ни аттестационные комиссии, ни звонок из райкома, ни мнение зама по политической части.

Мостовской как-то сказал ему:

— Это уже давно Генрих Гейне заметил: «Все мы ходим голые под своим платьем»... но один, скинув мундир, показывает анемическое, жалкое тело, других же узкая одежда уродует, они ее скинут, и видно — вот где настоящая сила!

То, о чем Ершов мечтал, стало сегодняшним делом, и он думал об этом деле по-новому, — кого посвятить, кого привлечь, перебирал в уме, взвешивал хорошее, взвешивал плохое, что знал о людях.

Кто войдет в подпольный штаб? Пять имен возникли в его голове. Мелкие житейские слабости,

чудачества — все по-новому представилось ему, незначительное приобретало вес.

У Гудзя генеральский авторитет, но он безволен, трусоват, видимо, необразован; он хорош, когда при нем умный зам, штаб, он ждет, чтобы командиры оказывали ему услуги, подкармливали его, и принимает их услуги как должное, без благодарности. Кажется, повара своего вспоминает чаще, чем жену и дочерей. Много говорит об охоте, — утки, гуси, службу на Кавказе вспоминает по охоте, — кабаны и козы. Видно, сильно выпивал. Хвастун. Часто говорит о боях 1941 года; кругом все были не правы, и сосед слева, и сосед справа, генерал Гудзь был всегда прав. Никогда не винит в неудачах высшее военное начальство. В житейских делах и отношениях опытен, тонок, как тертый писарь. А в общем, была бы воля Ершова, он генералу Гудзю полком не доверил бы командовать, не то что корпусом.

Бригадный комиссар Осипов умен. То вдруг скажет с усмешечкой словцо о том, как собирались воевать малой кровью на чужой территории, глянет карим глазом. А через час он уже каменно жестко отчитает усомнившегося, прочтет проповедь. А назавтра опять пошевелит ноздрями и скажет шепеляво:

— Да, товарищи, мы летаем выше всех, дальше всех, быстрее всех — вот и залетели.

О военном поражении первых месяцев войны говорил умно, но в нем нет горя, говорит с какой-то безжалостностью шахматиста.

Говорит с людьми свободно, легко, но с наигранной, не настоящей товарищеской простотой. По-настоящему его интересуют разговоры с Котиковым.

Чем этот Котиков интересен бригадному комиссару?

Опыт у Осипова огромный. Знание людей. Опыт этот очень нужен, в подпольном штабе без Осипова не обойтись. Но опыт его не только может помочь, может и помешать.

Иногда Осипов рассказывал смешные истории о знаменитых военных людях, называл их: Сема Буденный, Андрюша Еременко.

Однажды он сказал Ершову:

— Тухачевский, Егоров, Блюхер виноваты так, как я да ты.

А Кириллов рассказывал Ершову, что в тридцать седьмом году Осипов был заместителем начальника Академии — беспощадно разоблачал десятки людей, объявлял их врагами народа.

Он очень боится болезней: щупает себя, высо-

вывает язык и, скосив глаза, смотрит, не обложен ли. А смерти, видно было, не боялся.

Полковник Златокрылец — угрюмый, прям, прост, командир боевого полка. Считает, что высшее начальство виновато в отступлении 1941 года. Его боевую командирскую и солдатскую силу чувствуют все. Физически крепок. И голос у него сильный, таким голосом только и останавливать бегущих, поднимать в атаку. Матерщинник.

Он объяснять не любит — приказывает. Товарищ. Готов из котелка отлить солдату баланды. Но уж очень груб.

Люди всегда чувствуют его волю. На работе он старший, крикнет — никто не ослушается.

Его не проведешь, уж он не упустит. С ним можно сварить кашу. Но уж очень груб!

Кириллов — этот умный, но какая-то в нем разболтанность. Подмечает всякую мелочь, а смотрит на все усталыми, полузакрытыми глазами… Равнодушный, людей не любит, но прощает им слабости и подлость. Смерти не боится, а временами тянется к ней.

Про отступление он говорил, пожалуй, умней всех командиров. Он, беспартийный, сказал как-то:

— Я не верю, что коммунисты могут людей сделать лучше. Такого случая в истории не было.

Как будто безразличен ко всему, а ночью плакал на нарах, на вопрос Ершова долго молчал, потом сказал негромко: «Россию жалко». Но вохкий он какой-то, мягкий. Как-то сказал: «Ох, по музыке я соскучился». А вчера с какой-то сумасшедшей улыбочкой он сказал: «Ершов, послушайте, я вам стишки прочту». Ершову стихи не понравились, но он их запомнил, и они назойливо лезли в голову.

Мой товарищ, в смертельной агонии
Не зови ты на помощь людей.
Дай-ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.
И не плачь ты от страха, как маленький,
Ты не ранен, ты только убит.
Дай-ка лучше сниму с тебя валенки,
Мне еще воевать предстоит.

Сам он их, что ли, написал?

Нет-нет, не годится Кириллов в штаб. Куда ему людей тянуть, он сам еле тянется.

Вот Мостовской! В нем и образованность — ах-

нешь, и воля железная. Говорили, что на допросах кремнем держался. Но удивительно — нет людей, к которым не было бы у Ершова придирки. На днях он упрекнул Мостовского:

— Зачем вы, Михаил Сидорович, со всей этой шпаной разговоры чешете, вот с этим Иконниковым-Моржом малахольным и с этим эмигрантом, подлецом одноглазым?

Мостовской насмешливо сказал:

— Вы думаете, я поколеблюсь в своих взглядах, — стану евангелистом или даже меньшевиком?

— А черт их знает, — сказал Ершов. — Не тронь дерьма, чтоб не воняло. Сидел этот Морж в наших лагерях. Теперь его немцы таскают на допросы. Себя продает, и вас, и тех, кто к вам льнет…

А вывод получился такой — для работы в подполье идеальных людей нет. Нужно мерить силу и слабость каждого. Это нетрудно. Но только по основе человека можно решить, годен он или не годен. А основу измерить нельзя. Основу можно угадать, почувствовать. Вот он и начал с Мостовского.

74

Тяжело дыша, генерал-майор Гудзь подошел к Мостовскому. Он шаркал ногами, кряхтел, выпячивал нижнюю губу, коричневые складки кожи шевелились на его щеках и шее, — все эти движения, жесты, звуки сохранил он от своей былой могучей толщины, и странным все это казалось при его нынешней немощи.

— Дорогой отец, — сказал он Мостовскому, — мне, молокососу, делать вам замечания — все равно что майору учить генерал-полковника. Прямо говорю: зря вы с этим Ершовым установили братство народов — неясный он до конца человек. Без военных знаний. По уму лейтенант, а метит в командующие, лезет в учителя полковникам. Следует с ним поосторожней.

— Чепуху порете, ваше превосходительство, — сказал Мостовской.

— Конечно, чепуху, — кряхтя, произнес Гудзь. — Конечно, чепуха. Мне доложили — в общем бараке вчера двенадцать человек записались в эту блядскую освободительную русскую армию. А посчитать, сколько из них — из кулачья? Я вам не только свое личное мнение говорю, уполномочен

еще кое-кем, имеющим политический опыт.

— Это не Осиповым, часом? — спросил Мостовской.

— А хоть и он. Вы человек теоретический, вы и не понимаете всего навоза здешнего.

— Странную беседу вы затеяли, — сказал Мостовской. — Мне начинает казаться, что от людей ничего здесь не остается, одна бдительность. Кто бы мог предугадать!

Гудзь прислушался, как бронхит скрипит и булькает в его груди, и со страшной тоской произнес:

— Не видать мне воли, нет, не видать.

Мостовской, глядя ему вслед, с размаху ударил себя ладонью по коленке, — он вдруг понял, почему возникло тревожное и томительное ощущение, — при обыске пропали бумаги, данные ему Иконниковым.

Что он там, черт, написал? Может быть, прав Ершов, жалкий Иконников стал участником провокации, — подкинул, подсунул эти странички. Что он там написал?

Он подошел к нарам Иконникова. Но Иконникова не оказалось, и соседи не знали, куда он делся. И от этого всего, — от исчезновения бумаг, от пустых нар Иконникова — ему вдруг стало яс-

но, что вел он себя неверно, пускаясь в разговоры с юродивым богоискателем.

С Чернецовым он спорил, но, конечно, не стоило и спорить, какие уж тут споры. Ведь при Чернецове юродивый передал Мостовскому бумаги — есть и доносчик, есть и свидетель.

Жизнь его оказалась нужна для дела, для борьбы, а он может бессмысленно потерять ее.

«Старый дурень, якшался с отбросами и провалил себя в день, когда делом, революционным делом должен заниматься», — думал он, и горькая тревога все росла.

В вашрауме он столкнулся с Осиповым: бригадный комиссар при тусклом свете худосочного электричества стирал портянки над жестяным желобом.

— Хорошо, что я вас встретил, — сказал Мостовской. — Мне надо поговорить с вами.

Осипов кивнул, оглянулся, обтер мокрые руки о бока. Они присели на цементированный выступ стены.

— Так я и думал, наш пострел везде поспел, — сказал Осипов, когда Мостовской заговорил с ним о Ершове.

Он погладил руку Мостовского своей влажной ладонью.

— Товарищ Мостовской, — сказал он, — меня восхищает ваша решимость. Вы большевик ленинской когорты, для вас не существует возраста. Ваш пример будет поддерживать всех нас.

Он заговорил негромко:

— Товарищ Мостовской, наша боевая организация уже создана, мы решили до поры не говорить вам об этом, хотели сберечь вашу жизнь, но, видно, для соратника Ленина нет старости. Я скажу вам прямо: Ершову мы не можем доверять. Как говорится, объективка на него совсем плохонькая: кулачок, озлоблен репрессиями. Но мы реалисты. Пока без него не обойтись. Нажил себе дешевую популярность. Приходится считаться с этим. Вы лучше меня знаете, как партия умела использовать на известных этапах подобных людей. Но вы должны знать наш взгляд на него: постольку поскольку и до поры до времени.

— Товарищ Осипов, Ершов пойдет до конца, я не сомневаюсь в нем.

Слышно было, как стучат капли, падая на цементный пол.

— Вот что, товарищ Мостовской, — медленно сказал Осипов. — От вас секретов у нас нет. Здесь находится заброшенный из Москвы товарищ. Могу назвать его — Котиков. Это и его точка зре-

ния на Ершова, не только моя. Его установки для всех нас, коммунистов, закон — приказ партии, приказ Сталина в чрезвычайных условиях. Но мы с этим вашим крестником, властителем дум, будем работать, решили и будем. Важно лишь одно: быть реалистами, диалектиками. Да не вас нам учить.

Мостовской молчал. Осипов обнял его и трижды поцеловал в губы. На глазах его заблестели слезы.

— Я вас целую, как отца родного, — сказал он. — А хочется мне вас перекрестить, как в детстве меня мать крестила.

И Михаил Сидорович почувствовал, что невыносимое, мучительное ощущение сложности жизни уходит. Вновь, как в молодое время, мир показался ясным и простым, разделился на своих и чужих.

Ночью в особый барак пришли эсэсовцы и увели шесть человек. Среди них был Михаил Сидорович Мостовской.

Часть вторая

1

Когда люди в тылу видят движение к фронту воинских эшелонов, их охватывает чувство радостного томления, — кажется, что именно эти пушки, эти свежеокрашенные танки предназначены для главного, заветного, что сразу приблизит счастливый исход войны.

У тех, кто, выходя из резерва, грузится в эшелоны, возникает в душе особое напряжение. Молодым командирам взводов мерещатся приказы Сталина в засургученных конвертах… Конечно, люди поопытней ни о чем таком не помышляют, пьют кипяток, бьют об столик или об подметку сапога вяленую воблу, обсуждают частную жизнь майора, перспективы товарообмена на ближайшей узловой станции. Опытные люди уже видели, как бывает: часть сгружается в прифронтовой полосе, на глухой, известной только немецким пикировщикам станции, и под первую бомбежку новички маленько теряют праздничное настроение… Людям, опухавшим в дороге от сна, не дают поспать ни часу, марш длится сутками, некогда попить, поесть, в висках ломает от беспрерывного рева перегретых моторов, руки не

в силах держать рычаги управления. А командир уже начитался шифровок, наслушался крику и матюков по радиопередатчику, — командованию надо поскорей затыкать дыру, и нет здесь никому никакого дела до того, какие показатели у новой части в учебных стрельбах. «Давай, давай, давай». Одно это слово стоит в ушах командира части, и он дает, не задерживает, — гонит вовсю. И бывает, прямо с ходу, не разведав местности, часть вступает в бой, чей-то усталый и нервный голос скажет: «Немедленно контратакуйте, вот вдоль этих высоток, у нас тут ни хрена нет, а он прет вовсю, все к черту повалится».

В головах механиков-водителей, радистов, наводчиков стук и грохот многосуточной дороги смешался с воем германских воздушных пищух, с треском рвущихся мин.

Тут и становится особенно понятно безумие войны, — час прошел, и вот он, огромный труд: дымятся обгоревшие, развалившиеся машины с развороченными орудиями, сорванными гусеницами.

Где месяцы бессонной учебы, где прилежание, терпеливый труд сталеваров, электриков…

И старший начальник, чтобы скрыть необдуманную торопливость, с которой была брошена

в бой прибывшая из резерва часть, скрыть ее почти бесполезную гибель, — посылает наверх стандартное донесение: «Действия брошенной с хода резервной части приостановили на некоторое время продвижение противника и позволили произвести перегруппировку вверенных мне войск».

А если б не кричал — давай-давай, если б дал возможность разведать местность, не переть на минированное поле, то танки, хоть и ничего решающего не совершив, подрались бы, причинили немцам неприятность и большое неудобство.

Танковый корпус Новикова шел к фронту.

Необстрелянным, наивным ребятам-танкистам казалось, что именно им предстоит участвовать в решающем деле. Фронтовики, знавшие почем фунт лиха, посмеивались над ними — командир первой бригады Макаров и лучший в корпусе командир танкового батальона Фатов хорошо знали, как все это бывает, видели не раз.

Скептики и пессимисты — люди реальные, люди горького опыта, кровью, страданием обогатившиеся пониманием войны. В этом их превосходство над безусыми губошлепами. Но люди горького опыта ошиблись. Танкам полковника Новикова предстояло участвовать в деле,

которое определило и судьбу войны, и послевоенную жизнь многих сотен миллионов людей.

2

Новикову было приказано, прибыв в Куйбышев, связаться с представителем Генерального штаба, генерал-лейтенантом Рютиным, осветить ряд вопросов, интересующих Ставку.

Новиков думал, что его встретят на вокзале, но комендант вокзала, майор с каким-то диким, блуждающим и одновременно совершенно сонным взором, сказал, что о Новикове никто не справлялся. Позвонить по телефону генералу с вокзала не удалось, генеральский телефон был до того засекречен, что пользоваться им было невозможно.

Новиков отправился пешком в штаб округа.

На вокзальной площади он ощутил ту робость, которую переживают командиры строевых частей, вдруг оказавшиеся в непривычной городской обстановке. Ощущение своего центрального положения в жизни обрушилось — тут не было ни телефониста, протягивающего трубку, ни водителя, стремительно кидавшегося заводить машину.

По мощенной лобастым булыжником улице бежали люди к вновь образующейся у распреде-

лителя очереди: «Кто крайний?.. Я за вами…»

Казалось, что нет ничего важней для этих позванивающих бидонами людей, чем очередь у зашарпанной двери продмага. Особенно сердили Новикова встречные военные, почти у каждого в руках был чемоданчик, сверточек. «Собрать их всех, сукиных сынов, да эшелоном на фронт», — подумал он.

Неужели он сегодня увидит ее? Он шел по улице и думал о ней. Женя, алло!

Встреча с генералом Рютиным в кабинете командующего округом была недолгой. Едва начался разговор, генерала вызвали по телефону из Генштаба, — предложили срочно вылететь в Москву.

Рютин извинился перед Новиковым и позвонил по городскому телефону.

— Маша, все изменилось. «Дуглас» уходит на рассвете, передай Анне Аристарховне. Картошку не успеем взять, мешки в совхозе… — Бледное лицо его брезгливо и страдальчески наморщилось, и, видимо, перебивая поток слов, шедший к нему по проводу, он сказал: — Что ж, прикажешь доложить Ставке, что из-за недошитого дамского пальто я не смогу лететь?

Генерал положил трубку и сказал Новикову:

— Товарищ полковник, вы считаете, что ходовая часть машины удовлетворяет требованиям, которые мы выдвинули перед конструкторами?

Новикова тяготил этот разговор. За месяцы, проведенные в корпусе, он научился точно определять людей, вернее, их деловой вес. Мгновенно и безошибочно взвешивал он силу тех уполномоченных, руководителей комиссий, представителей, инспекторов и инструкторов, которые являлись к нему в корпус.

Он знал значение негромких слов: «Товарищ Маленков велел передать вам...» — и знал, что есть люди в орденах и генеральских погонах, красноречивые и шумные, бессильные получить тонну солярки, назначить кладовщика и снять с работы писаря.

Рютин действовал не на главном этаже государственной громады. Он работал на статистику, представительство, на общее освещение, и Новиков, разговаривая с ним, стал поглядывать на часы.

Генерал закрыл большой блокнот.

— К сожалению, товарищ полковник, время, вылетаю на рассвете в Генштаб. Беда прямо, хоть в Москву вас вызывай.

— Да, товарищ генерал-лейтенант, действи-

тельно, хоть в Москву, вместе с танками, которыми я командую, — холодно сказал Новиков.

Они простились. Рютин просил передать привет генералу Неудобнову, с которым они вместе служили когда-то. Новиков шел по зеленой дорожке в обширном кабинете и слышал, как Рютин сказал в телефон:

— Соедините меня с начальником совхоза номер один.

«Картошку свою выручает», — подумал Новиков.

Он пошел к Евгении Николаевне. Душной летней ночью он подошел к ее сталинградскому дому, пришел из степи, охваченной дымом и пылью отступления. И вот он снова шел к ее дому, и, казалось, бездна лежала между тем и этим человеком, а шел он такой же, он же, один и тот же человек.

«Будешь моею, — подумал он. — Будешь моею».

3

Это был старинной постройки двухэтажный дом, из тех, не поспевающих за временами года толстостенных, упрямых домов, которые летом хранят прохладную сырость, а в осенние холода не расстаются с душным и пыльным теплом.

Он позвонил, и на него из открывшейся двери пахнуло духотой, и в коридоре, заставленном продавленными корзинами и сундуками, он увидел Евгению Николаевну… Он видел ее, не видя ни белого платочка на ее волосах, ни черного платья, ни ее глаз и лица, ни ее рук и плеч… Он словно не глазами увидел ее, а незрячим сердцем. А она ахнула и не подалась немного назад, как обычно делают пораженные неожиданностью люди.

Он поздоровался, и что-то она ему ответила.

Он шагнул к ней, закрыл глаза, чувствовал и счастье жизни, и готовность вот тут же, сейчас умереть, и тепло ее касалось его.

И для того, чтобы переживать чувство, которого он раньше не знал, — счастье, оказалось, не нужно было ни зрения, ни мыслей, ни слов.

Она спросила его о чем-то, и он ответил, идя следом за ней по темному коридору и держа ее за

руку, словно мальчик, боящийся остаться один в толпе.

«Очень широкий коридор, — подумал он. — Тут «КВ» пройти может».

Они вошли в комнату с окном, выходящим на глухую стену соседнего дома.

У стен стояли две кровати — одна с мятой, плоской подушкой, застеленная серым одеялом, вторая под белым кружевным покрывалом, с белыми, взбитыми подушечками. Над беленькой кроватью висели открытки с новогодними и пасхальными красавцами в смокингах, цыплятами, выходящими из яичных скорлуп.

На углу стола, заваленного свернутыми в трубку листами ватманской бумаги, лежал кусок хлеба, вялая половина луковицы, стояла бутылка с постным маслом.

— Женя… — сказал он.

Взгляд ее, обычно насмешливый, наблюдающий, был особый, странный. Она сказала:

— Вы голодны, вы с дороги?

Она, видимо, хотела разрушить, разбить то новое, что уже возникло и что уже нельзя было разбить. Какой-то стал он иной, не такой, каким был, человек, получивший власть над сотнями людей, над угрюмыми машинами войны, с

жалобными глазами несчастного парнишки. И от этого несоответствия она терялась, хотелось испытывать к нему снисходительное чувство, даже жалость, и не думать о его силе. Ее счастьем была свобода. Но свобода уходила от нее, и она была счастлива.

Вдруг он сказал:

— Да что же, неужели непонятно! — И снова он перестал слышать свои и ее слова. И снова возникло в его душе ощущение счастья и связанное с ним чувство, — хоть сейчас умереть. Она его обняла за шею, и ее волосы, точно теплая вода, коснулись его лба, щек, и в полумраке этих темных, рассыпавшихся волос он увидел ее глаза.

Ее шепот заглушил войну, скрежет танков…

Вечером они пили кипяток, ели хлеб, и Женя сказала:

— Отвык начальник от черного хлеба.

Она принесла выставленную за окно кастрюлю гречневой каши, — крупные, заледеневшие зерна гречи стали фиолетовыми и синими. На них выступил холодный пот.

— Как персидская сирень, — сказала Женя.

Новиков попробовал персидской сирени, подумал: «Жуткое дело!»

— Отвык начальник, — снова сказала она, и он

подумал: «Хорошо, что не послушался Гетманова, не привез продукты».

Он сказал:

— Когда началась война, я был под Брестом в одном авиаполку. Летчики кинулись на аэродром, и я слышал, какая-то полька вскрикнула: «Кто это?», а мальчишка-полячонок ответил ей: «Это русский жолнеж», — и я особенно почувствовал: русский, русский я… Ведь, понимаешь, всю жизнь знаю, что не турок, а здесь душа загудела: русский я, я русский. По правде говоря, нас в другом духе воспитывали перед войной… Сегодня, именно сейчас, лучший мой день, — вот смотрю на тебя и снова, как тогда, — русское горе, русское счастье… Вот такое, хотел тебе сказать… — Он спросил: — Чему ты?

Мелькнула перед ней взлохмаченная голова Крымова. Боже, неужели она навеки рассталась с ним? Именно в эти счастливые минуты ей показалась невыносимой вечная разлука с ним.

На мгновение показалось, вот-вот она соединит этот сегодняшний день, слова сегодняшнего человека, целовавшего ее, с тем ушедшим временем, вдруг поймет тайный ход своей жизни и увидит то, что не дано увидеть, — глубину своего собственного сердца, ту, где решается судьба.

— Эта комната, — сказала Женя, — принадлежит немке, она меня приютила. Это ее ангельская белая кроватка. Более безобидного, беспомощного человека я не видела в жизни… Странно ведь вот так, во время войны с немцами, я уверена, — она самый добрый человек в этом городе. Странно, да?

— Она скоро придет? — спросил он.

— Нет, с ней война кончена, ее выслали.

— Ну и слава богу, — сказал Новиков.

Ей хотелось сказать ему о своей жалости к Крымову, брошенному ею, ему некому писать письма, не к кому стремиться, ему осталась тоска, безнадежная тоска, одиночество.

И к этому примешивалось желание рассказать о Лимонове, о Шарогородском, о новом, любопытном, непонятном, что связывалось с этими людьми. И хотелось рассказать о том, как в детстве Женни Генриховна записывала смешные слова, которые произносили маленькие Шапошниковы, и что тетрадки с этими записями лежат на столе, их можно почитать. Хотелось рассказать об истории с пропиской и о начальнике паспортного стола. Но в ней не было еще доверия к нему, она стеснялась его. Нужно ли ему то, что она скажет?

И удивительно… Словно наново она переживала свой разрыв с Крымовым. Ей всегда в глубине души казалось, что можно будет исправить, вернуть прошлое. Это успокаивало ее. И сейчас, когда она ощутила подхватившую ее силу, пришла мучительная тревога, — неужели это навеки, неужели то непоправимо? Бедный, бедный Николай Григорьевич. За что ему столько страданий?

— Что ж это будет? — сказала она.

— Евгения Николаевна Новикова, — проговорил он.

Она стала смеяться, всматриваться в его лицо.

— Чужой, ведь совершенно чужой. Собственно, кто ты?

— Этого я не знаю. А вот ты — Новикова Евгения Николаевна.

Она уже не была над жизнью. Она наливала ему в чашку кипятку, она спрашивала:

— Еще хлеба?

Вдруг она сказала:

— Если с Крымовым что-нибудь случится, его искалечат или посадят, я вернусь к нему. Имей это в виду.

— А за что его сажать? — хмуро спросил он.

— Ну, мало ли что, старый коминтерновец, его ведь Троцкий знал, сказал, прочтя одну его

статью: «Мраморно!»

— Попробуй вернись, он тебя погонит.

— Не беспокойся. Это уж мое дело.

Он сказал ей, что после войны она станет хозяйкой в большом доме, и дом будет красивый, и при доме будет сад.

Неужели это навсегда, на всю жизнь?

Ей почему-то хотелось, чтобы Новиков ясно понимал, что Крымов умный, талантливый, что она привязана к Крымову, да чего там — любит его. Она не хотела, чтобы он ревновал ее к Крымову, но она, сама того не понимая, все делала, чтобы вызвать его ревность. Но она рассказала именно ему, единственному, то, что ей, единственной, рассказал когда-то Крымов, — о словах Троцкого. «Знай об этом случае в свое время еще кто-либо, вряд ли Крымов уцелел бы в 1937 году». Ее чувство к Новикову требовало высшего доверия, и она доверила ему судьбу человека, обиженного ею.

Голова ее была полна мыслей, она думала о будущем, о сегодняшнем дне, о прошедшем, она млела, радовалась, стыдилась, тревожилась, тосковала, ужасалась. Мать, сестры, племянники, Вера, десятки людей связывались с изменением, произошедшим в ее жизни. Как бы Новиков говорил с Лимоновым, слушал разговоры о поэзии и

живописи. Он не стыдный, хотя и не знает Шагала и Матисса… Сильный, сильный, сильный. Она и подчинилась. Вот кончится война. Неужели, неужели она никогда больше не увидит Николая. Боже, боже, что она наделала. Не надо думать об этом сейчас. Ведь неизвестно, что еще будет, как все сложится.

— Я именно сейчас поняла: ведь совершенно не знаю тебя. Я не шучу: чужой. Дом, сад — зачем все это? Ты всерьез?

— Хочешь, я после войны демобилизуюсь и поеду десятником на стройку, куда-нибудь в Восточную Сибирь. Будем жить в семейном бараке.

Слова эти были правдой, он не шутил.

— Необязательно в семейном.

— Совершенно обязательно.

— Да ты с ума сошел. Зачем это? — И она подумала: «Коленька».

— Как зачем? — испуганно спросил он.

А он не думал ни о будущем, ни о прошлом. Он был счастлив. Его даже не пугала мысль о том, что через несколько минут они расстанутся. Он сидел рядом с ней, он смотрел на нее… Евгения Николаевна Новикова… Он был счастлив. Ему не нужно было, чтобы она была умна, красива, молода. Он действительно любил ее. Сперва он

не смел мечтать, чтобы она стала его женой. Потом он долгие годы мечтал об этом. Но и сегодня по-прежнему он со смирением и робостью ловил ее улыбку и насмешливое слово. Но он видел — появилось новое.

Она следила, как он собирался в дорогу, и сказала:

— Пришло время отправиться к ропщущей дружине, а меня бросить в набежавшую волну.

Когда Новиков стал прощаться, он понял, что не так уж сильна она и что женщина всегда женщина, даже если она и наделена от Бога ясным и насмешливым умом.

— Столько хотела сказать и ничего не сказала, — проговорила она.

Но это не было так, — то важное, что решает жизнь людей, стало определяться во время их встречи. Он действительно любил ее.

4

Новиков шел к вокзалу.

...Женя, ее растерянный шепот, ее босые ноги, ее ласковый шепот, слезы в минуты расставания, ее власть над ним, ее бедность и чистота, запах ее волос, ее милая стыдливость, тепло ее тела, его робость от сознания своей рабоче-солдатской простоты и его гордость от принадлежности к рабоче-солдатской простоте.

Новиков пошел по железнодорожным путям, и в жаркое, смутное облако его мыслей вошла пронзительная игла — страх солдата в пути: не ушел ли эшелон.

Он издали увидел платформы, угловатые танки с металлическими мышцами, выпиравшими из-под брезентовых полотнищ, часовых в черных шлемах, штабной вагон с окнами, завешенными белыми занавесками.

Он вошел в вагон мимо приосанившегося часового.

Адъютант Вершков, обиженный на то, что Новиков не взял его с собой в Куйбышев, молча положил на столик шифровку Ставки, — следовать на Саратов, далее астраханской веткой.

В купе вошел генерал Неудобнов и, глядя не на лицо Новикова, а на телеграмму в его руках, сказал:

— Подтвердили маршрут.

— Да, Михаил Петрович[12], — сказал Новиков, — не маршрут, подтвердили судьбу: Сталинград. — И добавил: — Привет вам от генерал-лейтенанта Рютина.

— А-а-а, — сказал Неудобнов, и нельзя было понять, к чему относится это безразличное «а-а-а», — к генеральскому привету или к сталинградской судьбе.

Странный он был человек, страшновато становилось от него Новикову: что бы ни случилось в пути — задержка из-за встречного поезда, неисправность буксы в одном из вагонов, неполучение повестки к движению эшелона от путевого диспетчера — Неудобнов оживлялся, говорил:

— Фамилию, фамилию запишите, сознательный вредитель, посадить его надо, мерзавца.

Новиков в глубине души равнодушно, без ненависти относился к тем, кого называли врагами народа, подкулачниками, кулаками. У него никогда не возникало желания засадить кого-нибудь

---

[12] Примечания: 12
Так у автора. См. с. 105.

в тюрьму, подвести под трибунал, разоблачить на собрании. Но это добродушное равнодушие, считал он, происходило от малой политической сознательности.

А Неудобнов, казалось Новикову, глядя на человека, сразу же и прежде всего проявлял бдительность, подозрительно думал: «Ох, а не враг ли ты, товарищ дорогой?» Накануне он рассказывал Новикову и Гетманову о вредителях-архитекторах, пытавшихся главные московские улицы-магистрали превратить в посадочные площадки для вражеской авиации.

— По-моему, это ерунда, — сказал Новиков, — военно безграмотно.

Сейчас Неудобнов заговорил с Новиковым на свою вторую любимую тему — о домашней жизни. Пощупав вагонные отопительные трубы, он стал рассказывать про паровое отопление, устроенное им на даче незадолго до войны.

Разговор этот неожиданно показался Новикову интересным и важным, он попросил Неудобнова начертить схему дачного парового отопления, сложив чертежик, вложил его во внутренний карман гимнастерки.

— Пригодится, — сказал он.

Вскоре в купе вошел Гетманов и весело, шумно

приветствовал Новикова:

— Вот мы снова с командиром, а то уж хотели нового атамана себе выбирать, думали, бросил Стенька Разин свою дружину.

Он щурился, добродушно глядя на Новикова, и тот смеялся шуткам комиссара, а в душе у него возникло ставшее уже привычным напряженное ощущение.

В шутках Гетманова была странная особенность, он словно знал многое о Новикове и именно в своих шутках об этом намекал. Вот и теперь он повторил слова Жени при расставании, но уж это, конечно, было случайностью.

Гетманов посмотрел на часы и сказал:

— Ну, панове, моя очередь в город съездить, возражений нет?

— Пожалуйста, мы тут скучать без вас не будем, — сказал Новиков.

— Это точно, — сказал Гетманов, — вы, товарищ комкор, в Куйбышеве вообще не скучаете.

И уже в этой шутке случайности не было.

Стоя в дверях купе, Гетманов спросил:

— Как себя чувствует Евгения Николаевна, Петр Павлович?

Лицо Гетманова было серьезно, глаза не смеялись.

— Спасибо, хорошо, работает много, — сказал Новиков и, желая перевести разговор, спросил у Неудобнова: — Михаил Петрович, вам бы почему в Куйбышев на часок не съездить?

— Чего я там не видел? — ответил Неудобнов.

Они сидели рядом, и Новиков, слушая Неудобнова, просматривал бумаги и откладывал их в сторону, время от времени произносил:

— Так-так-так, продолжайте…

Всю жизнь Новиков докладывал начальству, и начальство во время доклада просматривало бумаги, рассеянно произносило:

— Так-так, продолжайте… — И всегда это оскорбляло Новикова, и Новикову казалось, что он никогда не стал бы так делать…

— Вот какое дело, — сказал Новиков, — нам надо заранее составить для ремонтного управления заявку на инженеров-ремонтников, колесники у нас есть, а гусеничников почти не оказалось.

— Я уже составил, думаю, ее лучше адресовать непосредственно генерал-полковнику, ведь все равно пойдет к нему на утверждение.

— Так-так-так, — сказал Новиков. Он подписал заявку и проговорил: — Надо проверить противовоздушные средства в бригадах, после Саратова возможны налеты.

— Я уже отдал распоряжение по штабу.

— Это не годится, надо под личную ответственность начальников эшелонов, пусть донесут не позже шестнадцати часов. Лично, лично.

Неудобнов сказал:

— Получено утверждение Сазонова на должность начальника штаба в бригаду.

— Быстро, телеграфно, — сказал Новиков.

На этот раз Неудобнов не смотрел в сторону, он улыбнулся, понимая досаду и неловкость Новикова.

Обычно Новиков не находил в себе смелости упорно отстаивать людей особо годных, по его мнению, для командных должностей. Едва дело касалось политической благонадежности командиров, он скисал, а деловые качества людей вдруг переставали казаться важными.

Но сейчас он озлился. Сегодня он не хотел смирения. Глядя на Неудобнова, он проговорил:

— Моя ошибка, принес в жертву воинское умение анкетным данным. На фронте выправим, — там по анкетным данным не повоюешь. В случае чего — в первый же день к черту смещу!

Неудобнов пожал плечами, сказал:

— Я лично против этого калмыка Басангова ничего не имею, но предпочтение нужно отдать

русскому человеку. Дружба народов — святое дело, но, понимаете, большой процент среди националов — враждебно настроенных, шатких, неясных людей.

— Надо бы об этом думать в тридцать седьмом году, — сказал Новиков. — У меня такой знакомый был, Митька Евсеев. Он всегда кричал: «Я русский, это прежде всего». Ну вот ему и дали русского человека, посадили.

— Каждому овощу свое время, — сказал Неудобнов. — А сажают мерзавцев, врагов. Зря у нас не сажают. Когда-то мы заключали с немцами Брестский мир, и в этом был большевизм, а теперь товарищ Сталин призвал уничтожить всех немцев-оккупантов до последнего, пробравшихся на нашу советскую Родину, — и в этом большевизм.

И поучающим голосом добавил:

— В наше время большевик прежде всего — русский патриот.

Новикова раздражало: он, Новиков, выстрадал свое русское чувство в тяжелые дни войны, а Неудобнов, казалось, заимствовал его из какой-то канцелярии, в которую Новиков не был вхож.

Он говорил с Неудобновым, раздражался, думал о многих делах, волновался. А щеки горели, как от ветра и солнца, и сердце билось гулко, сильно,

не хотело успокаиваться.

Казалось, полк шел по его сердцу, гулко, дружно выбивали сапоги: «Женя, Женя, Женя, Женя».

В купе заглянул уже простивший Новикова Вершков и произнес вкрадчивым голосом:

— Товарищ полковник, разрешите доложить, повар замучил: третий час кушанье под парами.

— Ладно, ладно, побыстрей только.

И тут же в купе вбежал потный повар и с выражением страдания, счастья и обиды стал устанавливать блюдца с уральскими соленьями.

— А мне дай бутылочку пива, — томно сказал Неудобнов.

— Есть, товарищ генерал-майор, — проговорил счастливый повар.

Новиков почувствовал, что от желания есть после долгого поста слезы выступили у него на глазах. «Привык, товарищ начальник», — подумал он, вспоминая недавнюю холодную персидскую сирень.

Новиков и Неудобнов одновременно поглядели в окно: по путям, пронзительно выкрикивая, шарахаясь и спотыкаясь, шел пьяный танкист, поддерживаемый милиционером с винтовкой на брезентовом ремне. Танкист пытался вырваться и ударить милиционера, но тот обхватил его за

плечи, и, видимо, в пьяной голове танкиста царила полная путаница, — забыв о желании драться, он с внезапным умилением стал целовать милицейскую щеку.

Новиков сказал адъютанту:

— Немедленно расследуйте и доложите мне об этом безобразии.

— Расстрелять надо мерзавца, дезорганизатора, — сказал Неудобнов, задергивая занавеску.

На незамысловатом лице Вершкова отразилось сложное чувство. Прежде всего он горевал, что командир корпуса портит себе аппетит. Но одновременно он испытывал и сочувствие к танкисту, оно содержало в себе самые различные оттенки, — усмешки, поощрения, товарищеского восхищения, отцовской нежности, печали и сердечной тревоги. Отрапортовав:

— Слушаюсь, расследовать и доложить. — Он, тут же сочиняя, добавил: — Мать у него тут живет, а русский человек, он разве знает меру, расстроился, стремился со старушкой потеплей проститься и не соразмерил дозы.

Новиков почесал затылок, придвинув к себе тарелку: «Черта с два, никуда не уйду больше от эшелона», — подумал он, обращаясь к женщине, ждавшей его.

Гетманов вернулся перед отправкой эшелона раскрасневшийся, веселый, отказался от ужина, велел лишь порученцу откупорить бутылку мандариновой, любимой им воды.

Кряхтя, он снял с себя сапоги и прилег на диван, ногой в носке поплотней прикрыл дверь в купе.

Он стал рассказывать Новикову слышанные от старого товарища, секретаря обкома, новости, — тот накануне вернулся из Москвы, где был принят одним из тех людей, что в дни праздников поднимаются на Мавзолей, но не стоят на Мавзолее возле микрофона, рядом со Сталиным. Человек, рассказывавший новости, знал, конечно, не все и уж, конечно, не все, что знал, рассказал секретарю обкома, знакомому ему по той поре, когда секретарь работал инструктором райкома в небольшом приволжском городе. И из того, что услышал секретарь обкома, он, взвесив на невидимых химических весах собеседника, рассказал немногое комиссару танкового корпуса. И уж, конечно, немногое из услышанного от секретаря обкома комиссар корпуса Гетманов рассказал полковнику Новикову…

Но он говорил в этот вечер тем особо доверительным тоном, каким раньше не говорил с Новиковым. Казалось, он предполагал, что

Новикову досконально известна огромная исполнительная власть Маленкова, и то, что, кроме Молотова, один лишь Лаврентий Павлович говорит «ты» товарищу Сталину, и что товарищ Сталин больше всего не любит самочинных действий, и что товарищ Сталин любит сыр сулугуни, и что товарищ Сталин из-за плохого состояния зубов макает хлеб в вино, и что он, между прочим, рябоват от перенесенной в детстве натуральной оспы, и что Вячеслав Михайлович давно уж не второе лицо в партии, и что Иосиф Виссарионович не очень жалует в последнее время Никиту Сергеевича и даже недавно в разговоре по ВЧ покрыл его матом.

Этот доверительный тон в разговоре о людях главной государственной высоты, веселое словцо Сталина, смеясь, осенившего себя крестным знамением в разговоре с Черчиллем, недовольство Сталина самонадеянностью одного из маршалов казались важней, чем в полунамеке произнесенные слова, шедшие от человека, стоявшего на Мавзолее, — слова, прихода которых жаждала и угадывала душа Новикова, — подходило время прорывать! С какой-то глупой самодовольной внутренней ухмылкой, которой Новиков сам же застыдился, он подумал: «Вот это да, попал и я в

номенклатуру».

Вскоре тронулся без звонков, без объявлений эшелон.

Новиков вышел в тамбур, открыл дверь, вгляделся в тьму, стоявшую над городом. И снова гулко забила пехота: «Женя, Женя, Женя». Со стороны паровоза сквозь стук и грохот послышались протяжные слова «Ермака».

Грохот стальных колес по стальным рельсам, и железный лязг вагонов, мчащих к фронту стальные массы танков, и молодые голоса, и холодный ветер с Волги, и огромное, в звездах небо как-то по-новому коснулись его, не так, как секунду назад, не так, как весь этот год с первого дня войны, — в душе сверкнула надменная радость и жестокое, веселое счастье от ощущения боевой, грозной и грубой силы, словно лицо войны изменилось, стало иным, не искаженным одной лишь мукой и ненавистью… Печально и угрюмо тянущаяся из тьмы песня зазвучала грозно, надменно.

Но странно, его сегодняшнее счастье не вызывало в нем доброты, желания прощать. Это счастье поднимало ненависть, гнев, стремление проявить свою силу, уничтожить все, что стоит на пути этой силы.

Он вернулся в купе, и так же, как недавно охва-

тило его очарование осенней ночи, охватила его духота вагона, и табачный дым, и запах горелого коровьего масла, и разомлевшей ваксы, дух потных, полнокровных штабных людей. Гетманов в пижаме, раскрытой на белой груди, полулежал на диване.

— Ну как, забьем козла? Генералитет дал согласие.

— Что ж, это можно, — ответил Новиков.

Гетманов, тихонько отрыгнув, озабоченно проговорил:

— Наверное, где-то язва у меня кроется, как поем, изжога жутко мучит.

— Не надо было доктора со вторым эшелоном отправлять, — сказал Новиков.

Зля самого себя, он думал: «Хотел когда-то Даренского устроить, поморщился Федоренко — и я на попятный. Сказал Гетманову и Неудобнову, они поморщились, зачем нам бывший репрессированный, и я испугался. Предложил Басангова, — зачем нам нерусский, я опять на попятный… То ли я согласен, то ли нет?» Глядя на Гетманова, он думал, нарочно доводя мысль до нелепости: «Сегодня он моим коньяком меня же угощает, а завтра ко мне моя баба приедет, он с моей бабой спать захочет».

Но почему он, не сомневавшийся в том, что ему-то и ломать хребет немецкой военной махине, неизменно чувствовал свою слабость и робость в разговоре с Гетмановым и Неудобновым?

В этот счастливый день грузно поднялось в нем зло на долгие годы прошедшей жизни, на ставшее для него законным положение, когда военно безграмотные ребята, привычные до власти, еды, орденов, слушали его доклады, милостиво хлопотали о предоставлении ему комнатушки в доме начальствующего состава, выносили ему поощрения. Люди, не знавшие калибров артиллерии, не умевшие грамотно вслух прочесть чужой рукой для них написанную речь, путавшиеся в карте, говорившие вместо «проце́нт» «про́цент», «выдающий полководец», «Бе́рлин», всегда руководили им. Он им докладывал. Их малограмотность не зависела от рабочего происхождения, ведь и его отец был шахтером, дед был шахтером, брат был шахтером. Малограмотность, иногда казалось ему, является силой этих людей, она им заменяла образованность; его знания, правильная речь, интерес к книгам были его слабостью. Перед войной ему казалось, что у этих людей больше воли, веры, чем у него. Но война показала, что и это не так.

Война выдвинула его на высокую командную должность. Но оказалось, хозяином он не сделался. По-прежнему он подчинялся силе, которую постоянно чувствовал, но не мог понять. Два человека, оказавшиеся в его подчинении, не имевшие права командовать, были выразителями этой силы. И вот он млел от удовольствия, когда Гетманов делился с ним рассказами о том мире, где, очевидно, и дышала сила, которой нельзя не подчиняться.

Война покажет, кому Россия обязана, — таким, как он, или таким, как Гетманов.

То, о чем мечтал он, свершилось: женщина, любимая им долгие годы, станет его женой… В этот день его танки получили приказ идти к Сталинграду.

— Петр Павлович, — внезапно сказал Гетманов, — знаете, тут, пока вы в город ездили, у меня с Михаилом Петровичем спор вышел.

Он отвалился от спинки дивана, отхлебнул пива, сказал:

— Я — человек простодушный, и я вам прямо хочу сказать: зашел разговор о товарище Шапошниковой. Брат у нее в тридцать седьмом году нырнул, — и Гетманов ткнул пальцем в сторону пола. — Оказывается, Неудобнов знал его в ту

пору, ну, а я ее первого мужа знаю, Крымова, этот, как говорится, чудом уцелел. Был он в лекторской группе ЦК. Вот Неудобнов и говорит, напрасно товарищ Новиков, которому советский народ и товарищ Сталин оказали высокое доверие, связывает свою личную жизнь с человеком неясной социально-политической среды.

— А ему какое дело до моей личной жизни? — сказал Новиков.

— Вот именно, — проговорил Гетманов. — Это все пережитки тридцать седьмого года, надо шире смотреть на такие вещи. Нет-нет, вы меня правильно поймите. Неудобнов — замечательный человек, кристально честный, несгибаемый коммунист сталинской складки. Но есть у него маленький грех, — не видит он иногда ростки нового, не ощущает. Для него главное — цитаты из классиков. А чему жизнь учит, он не всегда видит. Иногда кажется, что он не знает, не понимает, в каком государстве живет, до того он цитат начитался. А война нас во многом новому учит. Генерал-лейтенант Рокоссовский, генерал Горбатов, генерал Пултус, генерал Белов — все ведь сидели. А товарищ Сталин нашел возможным доверить им командование. Мне сегодня Митрич, у которого я гостевал, рассказывал, как

Рокоссовского прямо из лагеря в командармы произвели: стоял в барачной умывалке и портянки стирал, а за ним бегут: скорей! Ну, думает, портянок достирать не дали, а его накануне допрашивал один начальник и малость помял. А тут его на «дуглас» — и прямо в Кремль. Какие-то выводы все же из этого делать нам надо. А наш Неудобнов, он ведь энтузиаст тридцать седьмого года, его, начетчика, с этих позиций не собьешь. Неизвестно, в чем этот брат Евгении Николаевны был виноват, может быть, товарищ Берия тоже сейчас его выпустил бы и он бы армией командовал… А Крымов в войсках. Человек в порядке, при партбилете. В чем же дело?

Но эти слова именно и взорвали Новикова.

— Да плевать мне! — зычно сказал он и сам удивился, впервые услышав такие раскаты в своем голосе. — А мне что, был ли Шапошников враг или не был. Я его знать не знаю! Этому самому Крымову Троцкий о его статье говорил, что она мраморно написана. А мне-то что? Мраморно так мраморно. Да пусть его любили без памяти и Троцкий, и Рыков, и Бухарин, и Пушкин, — моя-то жизнь тут при чем? Я его мраморных статей не читал. А Евгения Николаевна тут при чем, она, что ли, в Коминтерне работала до тридцать

седьмого года? Руководить — это можно, а попробуйте, товарищи, повоюйте, поработайте! Хватит, ребята! Надоело!

Щеки его горели, сердце билось гулко, мысли были ясные, злые, четкие, а в голове стоял туман: «Женя, Женя, Женя».

Он слушал самого себя и удивлялся, — неужели это он впервые в жизни без опасений, свободно, рубит так, обращаясь к большому партийному работнику. Он посмотрел на Гетманова, чувствуя радость, подавляя раскаяние и опасения.

Гетманов вдруг вскочил с дивана, взмахнул толстыми руками, проговорил:

— Петр Павлович, дай я тебя обниму, ты настоящий мужик.

Новиков, растерявшись, обнял его, они поцеловались, и Гетманов крикнул в коридор:

— Вершков, дай нам коньяку, командир корпуса с комиссаром брудершафт сейчас пить будут!

5

Окончив уборку комнаты, Евгения Николаевна с удовольствием подумала: «Ну, вот и все», словно одновременно порядок установился и в комнате, где застелена кровать, а подушка уже не смята, и в душе Евгении Николаевны. Но когда не стало пепла возле изголовья кровати и последний окурок был убран с краешка этажерки, Женя поняла, что пыталась обмануть себя и что ей ничего не надо на свете, только Новикова. Захотелось рассказать о произошедшем в ее жизни Софье Осиповне, — именно ей, не матери, не сестре. И она смутно понимала, почему ей хотелось говорить об этом с Софьей Осиповной.

— Ах, Сонечка, Сонечка, Левинтониха, — вслух проговорила Женя.

Потом она подумала, что Маруси нет. Она понимала, что жить без него не может, ударила с отчаянием рукой по столу. Потом она сказала: «Плевать, мне никто не нужен», — после чего она стала на колени перед местом, где недавно висела шинель Новикова, и произнесла: «Будь жив».

После этого она подумала: «Комедиантство, непристойная я баба».

Она начала себя нарочно мучить, произнесла молча речь, обращенную к самой себе от имени какого-то низменного и ехидного существа, не то женского, не то мужского пола:

— Соскучилась дама, ясно, без мужика, привыкла к баловству, а тут самые такие годы… Одного бросила, конечно, куда Крымову, его вообще из партии хотели исключить. А тут в командирши корпуса. Мужик-то какой! Тут всякая заскучает, еще бы… Чем его теперь удержишь, дала ведь, а? Ясно, теперь ночи без сна, то ли его убили, то ли он себе нашел лет девятнадцати телефонистку, — и, подсмотрев, казалось, неизвестную самой Жене мысль, ехидное и циничное существо прибавило: — Ничего, ничего, скоро помчишься к нему.

Вот она не понимала, почему разлюбила Крымова. А тут не надо было понимать, — она стала счастлива.

Вдруг ей подумалось, что Крымов мешает ее счастью. Он все время стоит между Новиковым и ею, он отравляет ее радость. Он продолжает губить ее жизнь. Почему она должна постоянно мучиться, для чего эти угрызения совести? Что ж делать, разлюбила! Что ж он хочет от нее, почему он ее неотступно преследует? Она имеет право быть счастливой, она имеет право любить

того, кого любит. Почему Николай Григорьевич представляется ей таким слабым, беспомощным, растерянным, одиноким? Не такой уж он слабый! Не такой уж он добрый!

Раздражение против Крымова охватило ее. Нет, нет, не принесет она ему в жертву свое счастье… Жестокий, узкий, непоколебимо фанатичный. Она никогда не могла примириться с его равнодушием к человеческим страданиям. Как это все чуждо ей, ее матери, отцу… «Кулаков не жалеют», — говорил он, когда гибли в ужасных голодных муках десятки тысяч женщин, детей в деревнях России и Украины. «Невинных не сажают», — говорил он во время Ягоды и Ежова. Когда Александра Владимировна рассказала, как в 1918 году в Камышине на барже вывезли и утопили в Волге купцов и домовладельцев с детьми, — среди них были подруги и товарищи Маруси по гимназии — Минаевы, Горбуновы, Касаткины, Сапожниковы, — Николай Григорьевич раздраженно сказал: «А что прикажете делать с ненавистниками нашей революции, пирожками их кормить?» Почему же она не имеет права на счастье? Почему она должна мучиться, жалеть человека, который никогда не жалел слабых?

Но в глубине души, злясь и ожесточаясь, она

знала, что не права, не так уж жесток Николай Григорьевич.

Она сняла теплую юбку, которую выменяла на куйбышевском базаре, и надела свое летнее платье, единственное уцелевшее после сталинградского пожара, то, в котором она вечером стояла с Новиковым на сталинградской набережной у памятника Хользунову.

Незадолго до высылки она спросила у Женни Генриховны, была ли та когда-нибудь влюблена.

Женни Генриховна смутилась и сказала: «Да, в мальчика с золотыми кудрями, с голубыми глазами. Он носил бархатную курточку и белый воротничок. Мне было одиннадцать лет, и я не была с ним знакома». Где теперь этот кудрявый, бархатный мальчик, где теперь Женни Генриховна?

Евгения Николаевна села на кровать, посмотрела на часы. Обычно в это время к ней заходил Шарогородский. Ох, не хочет она сегодня умных разговоров.

Она быстро надела пальто, платок. Ведь бессмысленно — эшелон давно ушел.

Возле вокзальных стен шевелилась громада сидящих на мешках и узлах людей. Евгения Николаевна бродила по вокзальным закоулкам,

женщина спросила ее о талонах на рейсовый хлеб, другая — о талончиках на посадку… Некоторые люди сонно и подозрительно оглядывали ее. Тяжело прошел по первому пути товарный состав, вздрогнули вокзальные стены, задребезжали стекла в вокзальных окнах. Показалось, что и ее сердце дрожит. Мимо вокзальной ограды плыли открытые товарные платформы, на них стояли танки.

Счастливое чувство внезапно охватило ее. А танки все плыли, плыли, и точно лепные сидели на них красноармейцы в шлемах, с автоматами на груди.

Она шла к дому, размахивая по-мальчишески руками, распахнув пальто, поглядывая на свое летнее платье. Вечернее солнце вдруг осветило улицы, и пыльный, холодный, ждущий зимы, злой, обшарпанный город показался торжественным, розовым, светлым. Она вошла в дом, и старшая по квартире, Глафира Дмитриевна, видевшая днем в коридоре полковника, приехавшего к Жене, льстиво улыбаясь, сказала:

— А вам письмо есть.

«Да, все повернулось к счастью», — подумала Женя и раскрыла конверт, письмо было из Казани, от матери.

Она прочла первые строки и негромко вскрикнула, растерянно позвала:

— Толя, Толя!

6

Мысль, внезапно поразившая ночью на улице Штрума, легла в основу новой теории. Уравнения, выведенные им за несколько недель работы, совершенно не служили расширению принятой физиками классической теории, не стали дополнением к ней. Наоборот, классическая теория сама стала лишь частным случаем в разработанном Штрумом новом, широком решении; его уравнения включали казавшуюся всеобъемлющей теорию в себя.

Штрум на время перестал ходить в институт, работой лаборатории руководил Соколов. Штрум почти не выходил из дому, шагал по комнате, часами просиживал за столом. Иногда, вечером, он шел гулять, выбирая глухие привокзальные улицы, чтобы не встретить знакомых. Дома он жил по-обычному, — ел, умывался, шутил за столом, читал газеты, слушал сводку Совинформбюро, придирался к Наде, спрашивал Александру Владимировну о заводе, говорил с женой.

Людмила Николаевна чувствовала, что муж в эти дни стал походить на нее, — и он делал все, что привычно, заведено, внутренне не участвуя в

жизни, которой легко жил лишь потому, что она была привычна ему. Но эта общность не сближала Людмилу Николаевну с мужем, она была кажущейся. Прямо противоположные причины определяли их внутреннюю отчужденность от дома — жизнь и смерть.

Штрум не сомневался в своих результатах. Подобная уверенность никогда не была присуща ему. Но именно теперь, когда он формулировал самое важное научное решение, найденное им в жизни, он ни разу не усомнился в его истинности. В те минуты, когда мысль о системе уравнений, позволявших по-новому толковать широкую группу физических явлений, пришла к нему, он почему-то, без свойственных ему сомнений и колебаний, ощутил, что мысль эта верна.

И теперь, подводя к концу свою многосложную математическую работу, вновь и вновь проверяя ход своих рассуждений, он не испытывал большей уверенности, чем в те минуты, когда на пустынной улице внезапная догадка поразила его.

Иногда он пытался понять путь, которым шел. Внешне все казалось довольно просто.

Поставленные в лаборатории опыты должны были подтвердить предсказания теории.

Однако этого не случилось. Противоречие между результатом опыта и теорией естественно вызвало сомнение в точности опытов. Теория, выведенная на основе десятилетних работ многих исследователей и, в свою очередь, объяснившая много новых опытных работ, казалась незыблемой. Повторные опыты вновь и вновь показали, что отклонения, претерпеваемые заряженными частицами, участвующими в ядерном взаимодействии, по-прежнему совершенно не соответствуют предсказаниям теории. Любые, самые щедрые поправки на неточность опытов, на несовершенство измерительной аппаратуры и фотоэмульсий, применяемых при фотографировании ядерных взрывов, не могли объяснить таких больших несоответствий.

Тогда стало очевидно, что результаты опытов не подлежат сомнению, и Штрум постарался подштопать теорию, ввести в нее произвольные допущения, позволяющие подчинить теории полученный в лаборатории новый опытный материал. Все, что он делал, исходило из признания основного и главного: теория выведена из опыта, и потому опыт не может противоречить теории. Огромный труд был затрачен на то, чтобы добиться увязки теории с новыми опытами.

Но подштопанная теория, от которой казалось немыслимым отойти и отказаться, по-прежнему не помогала объяснению все новых и новых противоречивых опытных данных. Подштопанная, она оставалась беспомощной, как и неподштопанная.

И вот тогда-то пришло новое! Штрум сорвал погоны с плеч маршала!

Старая теория перестала быть основой, фундаментом, всеобъемлющим целым. Она не оказалась ошибочной, она не оказалась нелепым заблуждением, но она вошла как частное решение в новую теорию… Порфироносная вдова склонилась главой перед новой царицей. Все это произошло мгновенно.

Когда Штрум стал думать о том, как возникла в его мозгу новая теория, его поразила неожиданность.

Тут, оказывается, полностью отсутствовала простая логика, связывавшая теорию с опытом. Здесь как бы кончались следы на земле, он не мог понять дороги, которой шел.

Раньше ему всегда казалось, что теория возникает из опыта: опыт рождает ее. Противоречия между теорией и новыми опытными данными, казалось Штруму, естественно приводят к новой,

более широкой теории.

Но удивительное дело, — он убедился, что все происходило совершенно не так. Он достиг успеха именно тогда, когда не пытался связать ни опыт с теорией, ни теорию с опытом.

Новое, казалось, возникло не из опыта, а из головы Штрума. Он с удивительной ясностью понимал это. Новое возникло свободно. Башка породила теорию. Логика ее, ее причинные связи не были связаны с опытами, которые Марков проводил в лаборатории. Теория, казалось, возникла сама по себе из свободной игры мысли, и эта словно бы оторвавшаяся от опыта игра мысли и позволила объяснить все богатство старого и нового опытного материала.

Опыт был внешним толчком, заставившим работать мысль. Но он не определял содержание мысли.

Это было поразительно…

Голова его была полна математических связей, дифференциальных уравнений, правил вероятности, законов высшей алгебры и теории чисел. Эти математические связи существовали сами по себе, в пустом ничто, вне мира атомных ядер и звезд, вне электромагнитных полей и полей тяготения, вне пространства и времени, вне че-

ловеческой истории и геологической истории земли… Но они были в его голове…

И в то же время голова его была полна иных связей и законов, — квантовых взаимодействий, силовых полей, констант, определявших живую суть ядерных процессов, движения света, сплющивания и растяжения времени и пространства. И удивительное дело, — в башке физика-теоретика процессы материального мира были лишь отражением законов, порожденных в математической пустыне. В голове Штрума не математика отражала мир, а мир был проекцией от дифференциальных уравнений, мир был отражением математики…

И в то же время голова его была полна показаний счетчиков и приборов, пунктирных линий, запечатлевших движение частиц и ядерных взрывов в эмульсии и на фотографической бумаге…

И в то же время в голове его жил шум листьев, и свет луны, и пшенная каша с молоком, и гудение огня в печке, и отрывки мелодий, и собачий лай, и римский сенат, и сводки Совинформбюро, и ненависть к рабству, и любовь к тыквенным семечкам…

И вот из этой каши вышла теория, всплыла,

вынырнула из той глубины, где не было ни математики, ни физики, ни опытов в физической лаборатории, ни жизненного опыта, где не было сознания, а горючий торф подсознания…

И логика математики, не связанная с миром, отразилась и выразилась, воплотилась в реальности физической теории, а теория вдруг с божественной точностью наложилась на сложный, пунктирный узор, отпечатанный на фотографической бумаге.

И человек, в чьей голове произошло все это дело, глядя на дифференциальные уравнения и на куски фотографической бумаги, подтверждавшие порожденную им истину, всхлипывал и вытирал плачущие счастливые глаза…

И все же, — не будь этих неудачных опытов, не возникни хаос, нелепица, они бы с Соколовым кое-как подлатали и подштопали старую теорию — и ошиблись бы.

Какое счастье, что нелепица не уступила их настойчивости.

И все же, хотя новое объяснение родилось из головы, оно было связано с опытами Маркова. И ведь верно, — не будь в мире атомных ядер и атомов, не было бы их и в мозгу человека. Да-да, и не будь блестящего Маркова, не будь механика

Ноздрина, не будь великих стеклодувов Петушковых, не будь МОГЭСа, не будь металлургических печей и производства чистых реактивов, не было бы предугадывающей реальность математики в башке физика-теоретика.

Штрума удивляло, что он достиг своего высшего научного успеха в пору, когда был подавлен горем, когда постоянная тоска давила на его мозг. Как же оно могло случиться?

И почему именно после взбудораживших его опасных, смелых, острых разговоров, не имевших никакого отношения к его работе, все неразрешимое вдруг нашло решение в течение коротких мгновений? Но, конечно, это — пустое совпадение.

Разобраться во всем этом было трудно…

Работа была закончена, и Штруму захотелось говорить о ней, — до этого он не думал о людях, с которыми поделится своими мыслями.

Ему захотелось видеть Соколова, написать Чепыжину, он стал представлять себе, как встретят его новые уравнения Мандельштам, Иоффе, Ландау, Тамм, Курчатов, как воспримут их сотрудники отдела, сектора, лаборатории, какое впечатление они произведут на ленинградцев. Он стал думать, под каким названием опубли-

кует он работу. Он стал думать, как отнесется к ней великий датчанин, что скажет Ферми. А может быть, сам Эйнштейн прочтет ее, напишет ему несколько слов. Кто станет противником ее, какие вопросы поможет она решить.

Ему не хотелось говорить о своей работе с женой. Обычно, прежде чем отправить деловое письмо, он прочитывал его Людмиле вслух. Когда он неожиданно встречал на улице знакомого, то первой его мыслью было, — вот удивится Людмила. Споря с директором института и произнося резкую фразу, он думал: «Вот расскажу Людмиле, как я ему врезал». Он не представлял себе, как смотреть кинофильм, сидеть в театре и не знать, что Людмила рядом, что можно шепнуть ей: «Господи, какая мура». И всем, что сокровенно тревожило его, он делился с ней; еще студентом он говорил: «Знаешь, мне сдается, что я идиот».

Почему же он молчал сейчас? Может быть, потребность делиться с ней своей жизнью вызывалась верой, что она живет его жизнью больше, чем своей, что его жизнь и есть ее жизнь? А теперь этой уверенности не стало. Она разлюбила его? Может быть, он перестал любить ее?

Но он все же рассказал жене о своей работе, хотя ему не хотелось говорить с ней.

— Ты понимаешь, — сказал он, — какое-то удивительное чувство: что бы ни случилось со мной теперь, в сердце вот это — недаром прожил жизнь. Понимаешь, именно теперь впервые не страшно умереть, вот сию минуту, ведь оно, это, есть, родилось!

И он показал ей на исписанную страничку на столе.

— Я не преувеличиваю: это новый взгляд на природу ядерных сил, новый принцип, верно, верно, это ключ к многим запертым дверям… И понимаешь, в детстве, нет, не то, но знаешь, такое чувство, словно из темной тихой воды вдруг всплыла кувшинка, ах, боже мой…

— Я очень рада, я очень рада, Витенька, — говорила она и улыбалась.

Он видел, что она думает о своем, не переживает его радости и волнения.

И она не поделилась ни с матерью, ни с Надей тем, что он рассказал ей, видимо, забыла.

Вечером Штрум пошел к Соколову.

Ему хотелось говорить с Соколовым не только о своей работе. Он хотел поделиться с ним своими чувствами.

Милый Петр Лаврентьевич поймет его, он ведь не только умен, у него добрая и чистая душа.

И в то же время он опасался, что Соколов начнет корить его, вспоминать, как Штрум малодушничал. Соколов любит объяснять чужие поступки и многословно поучать.

Он давно уже не был у Соколова. Вероятно, раза три собирались за это время гости у Петра Лаврентьевича. На миг он представил выпуклые глаза Мадьярова. «Смелый, черт», — подумал он. Странно, что за все это время он почти не вспоминал о вечерних ассамблеях. Да и сейчас не хотелось думать о них. Какая-то тревога, страх, ожидание неминуемой беды связывались с этими вечерними разговорами. Правда, уж очень распоясались. Каркали, каркали, а вот Сталинград держится, немцы остановлены, эвакуированные возвращаются в Москву.

Он накануне сказал Людмиле, что теперь не боится умереть, вот хоть сию минуту. А вспоминать свои критиканские речи было страшно. А Мадьяров, тот уж совершенно распустился. Жутко вспомнить. А подозрения Каримова совсем страшны. А вдруг действительно Мадьяров провокатор?

«Да-да, умереть не страшно, — подумал Штрум, — но я сейчас тот пролетарий, которому есть что терять, не только цепи».

Соколов сидел в домашней куртке за столом и читал книгу.

— А где же Марья Ивановна? — удивленно спросил Штрум и сам удивился своему удивлению. Не застав ее дома, он растерялся, словно не с Петром Лаврентьевичем, а с ней собрался говорить о теоретической физике.

Соколов, вкладывая очки в футляр, улыбаясь, сказал:

— Разве Марья Ивановна всегда обязана сидеть дома?

И вот, путаясь в словах, экая, кашляя, волнуясь, Штрум стал выкладывать Соколову свои мысли, выводить уравнения.

Соколов был первым человеком, узнавшим его мысли, и Штрум по-новому, совершенно по-особому ощутил произошедшее.

— Ну вот и все, — сказал Штрум, и голос его дрогнул, он ощутил волнение Соколова.

Они молчали, и эта тишина казалась Штруму прекрасной. Он сидел, опустив голову, нахмурясь, и грустно покачивал головой. Наконец он быстро, робко посмотрел на Соколова, — ему показалось, что на глазах у Петра Лаврентьевича слезы.

В этой бедной комнатке во время страшной, охватившей весь мир войны сидели два чело-

века, и чудная связь была между ними и теми, живущими в других странах, и теми, жившими сотни лет назад людьми, чья чистая мысль стремилась к самому возвышенному и прекрасному, что суждено совершить человеку.

Штруму хотелось, чтобы Соколов молчал и дальше. В этой тишине было что-то божественное…

И они долго молчали. Потом Соколов подошел к Штруму, положил ему руку на плечо, и Виктор Павлович почувствовал, что сейчас заплачет.

Петр Лаврентьевич сказал:

— Прелесть, чудо, какая изящная прелесть. Я от всего сердца поздравляю вас. Какая удивительная сила, логика, изящество! Ваши выводы даже эстетически совершенны.

И тут же, охваченный волнением, Штрум подумал: «Ах, боже мой, боже, ведь это хлеб, не в изяществе тут дело».

— Ну, вот видите, Виктор Павлович, — сказал Соколов, — как вы были не правы, падая духом, хотели отложить все до возвращения в Москву. — И тоном учителя Закона Божьего, которого Штрум не выносил, он стал говорить: — Веры в вас мало, терпения мало. Это часто мешает вам…

— Да-да, — торопливо сказал Штрум. — Я знаю.

Меня этот тупик очень угнетал, мне все стало тошно.

А Соколов стал рассуждать, и все, что он сейчас говорил, не нравилось Штруму, хотя Петр Лаврентьевич сразу понял значение штрумовской работы и в превосходных степенях оценивал ее. Но Виктору Павловичу любые оценки казались неприятны, ремесленно плоски.

«Ваша работа сулит замечательные результаты». Что за глупое слово «сулит». Штрум и без Петра Лаврентьевича знает, что она «сулит». И почему — сулит результаты? Она сама результат, чего уж там сулить. «Применили оригинальный метод решения». Да не в оригинальности тут дело… Хлеб, хлеб, черный хлеб.

Штрум нарочно заговорил о текущей работе лаборатории.

— Кстати, забывал вам сказать, Петр Лаврентьевич, я получил письмецо с Урала, — выполнение нашего заказа задержится.

— Вот-вот, — сказал Соколов, — аппаратура придет, а мы уже будем в Москве. В этом есть положительный элемент. А то в Казани мы бы ее все равно не стали монтировать, и нас бы обвинили, что мы тормозим выполнение нашего тематического плана.

Он многословно заговорил о лабораторных делах, о выполнении тематического плана. И хотя Штрум сам перевел разговор на текущие институтские дела, он же огорчился, что Соколов так легко оставил главную, большую тему.

По-особенному сильно ощутил Штрум в эти минуты свое одиночество.

Неужели Соколов не понимает, что речь идет о чем-то неизмеримо большем, чем обычная институтская тематика?

Это было, вероятно, самое важное научное решение из сделанных Штрумом; оно влияло на теоретические взгляды физиков. Соколов по лицу Штрума, видимо, понял, что слишком уж охотно и легко перешел к разговорам о текущих делах.

— Любопытно, — сказал он, — вы совсем по-новому подтвердили эту штуковину с нейтронами и тяжелым ядром, — и он сделал движение ладонью, напоминавшее стремительный и плавный спуск саней с крутого откоса. — Вот тут-то нам и пригодится новая аппаратура.

— Да, пожалуй, — сказал Штрум. — Но мне это кажется частностью.

— Ну, не скажите, — проговорил Соколов, — частность эта достаточно велика, ведь гигантская энергия, согласитесь.

— Ах, ну и бог с ней, — сказал Штрум. — Тут интересно, мне кажется, изменение взгляда на природу микросил. Это может порадовать кое-кого, избавит от слепого топтания.

— Ну уж и обрадуются, — сказал Соколов. — Так же, как спортсмены радуются, когда не они, а кто-нибудь другой устанавливает рекорд.

Штрум не ответил. Соколов коснулся предмета недавнего спора, шедшего в лаборатории.

Во время этого спора Савостьянов уверял, что работа ученого напоминает собой тренировку спортсмена, — ученые готовятся, тренируются, напряжение при решении научных вопросов не отличается от спортивного. Те же рекорды.

Штрум и особенно Соколов рассердились на Савостьянова за это высказывание.

Соколов произнес даже речь, обозвал Савостьянова молодым циником и говорил так, словно наука сродни религии, словно бы в научной работе выражено стремление человека к божеству.

Штрум понимал, что сердится в этом споре на Савостьянова не только за его неправоту. Он ведь и сам иногда ощущал спортивную радость, спортивное волнение и зависть.

Но он знал, что суета, и зависть, и азарт, и чувство рекорда, и спортивное волнение были не

сутью, а лишь поверхностью его отношений с наукой. Он сердился на Савостьянова не только за правоту его, но и за неправоту.

О подлинном своем чувстве к науке, зародившемся когда-то в его еще молодой душе, он не говорил ни с кем, даже с женой. И ему было приятно, что Соколов так правильно, возвышенно говорил о науке в споре с Савостьяновым.

Для чего теперь Петр Лаврентьевич вдруг заговорил о том, что ученые подобны спортсменам? Почему сказал он это? Для чего сказал, и именно в особый, чрезвычайный момент для Штрума?

И, чувствуя растерянность, обиду, он резко спросил Соколова:

— А вы, Петр Лаврентьевич, неужели не радуетесь вот тому, о чем мы говорили, раз не вы поставили рекорд?

Соколов в эту минуту думал о том, насколько решение, найденное Штрумом, просто, само собой разумелось, уже существовало в голове Соколова, вот-вот неминуемо должно было быть и им высказано.

Соколов сказал:

— Да, именно вот так же, как Лоренц не был в восторге, что Эйнштейн, а не он сам преобразовал его, Лоренцевы, уравнения.

Удивительна была простота этого признания, Штрум раскаялся в своем дурном чувстве.

Но Соколов тут же добавил:

— Шутки, конечно, шутки. Лоренц тут ни при чем. Не так я думаю. И все же я прав, а не вы, хотя я не так думаю.

— Конечно, не так, не так, — сказал Штрум, но все же раздражение не проходило, и он решительно понял, что именно так и думал Соколов.

«Нет в нем искренности сегодня, — думал Штрум, — а он чистый, как дитя, в нем сразу видна неискренность».

— Петр Лаврентьевич, — сказал он, — в субботу соберутся у вас по-обычному?

Соколов пошевелил толстым разбойничьим носом, готовясь сказать что-то, но ничего не сказал.

Штрум вопросительно смотрел на него.

Соколов проговорил:

— Виктор Павлович, между нами говоря, мне что-то перестали эти чаепития нравиться.

Теперь уже он вопросительно посмотрел на Штрума и, хотя Штрум молчал, сказал:

— Вы спрашиваете, почему? Сами понимаете… Это ведь не шутки. Распустили языки.

— Вы-то ведь не распустили, — сказал Штрум. — Вы больше молчали.

— Ну, знаете, в том-то и дело.

— Пожалуйста, давайте у меня, я буду очень рад, — сказал Штрум.

Непонятно! Но и он был неискренен! Зачем он врал? Зачем он спорил с Соколовым, а внутренне был согласен с ним? Ведь и он убоялся этих встреч, не хотел их сейчас.

— Почему у вас? — спросил Соколов. — Разговор не о том. Да и скажу вам откровенно, — поссорился я со своим родичем, с главным оратором — Мадьяровым.

Штруму очень хотелось спросить: «Петр Лаврентьевич, вы уверены, что Мадьяров честный человек? Вы можете за него ручаться?»

Но он сказал:

— Да что тут такого? Сами себе внушили, что от каждого смелого слова государство рухнет. Жаль, что вы поссорились с Мадьяровым, он мне нравится. Очень!

— Неблагородно в тяжелые для России времена заниматься русским людям критиканством, — проговорил Соколов.

Штруму снова хотелось спросить: «Петр Лаврентьевич, дело ведь серьезное, вы уверены в том, что Мадьяров не доносчик?»

Но он не задал этого вопроса, а сказал:

— Позвольте, именно теперь полегчало. Сталинград — поворот на весну. Вот мы с вами списки составили на реэвакуацию. А вспомните, месяца два назад? Урал, тайга, Казахстан, — вот что было в голове.

— Тем более, — сказал Соколов. — Не вижу оснований для того, чтобы каркать.

— Каркать? — переспросил Штрум.

— Именно каркать.

— Да что вы, ей-богу, Петр Лаврентьевич, — сказал Штрум.

Он прощался с Соколовым, а в душе его стояло недоуменное, тоскливое чувство.

Невыносимое одиночество охватило его. С утра он стал томиться, думать о встрече с Соколовым. Он чувствовал: это будет особая встреча. А почти все, что говорил Соколов, казалось ему неискренним, мелким.

И он не был искренен. Ощущение одиночества не оставляло его, стало еще сильней.

Он вышел на улицу, и его у наружной двери окликнул негромкий женский голос. Штрум узнал этот голос.

Освещенное уличным фонарем лицо Марьи Ивановны, ее щеки и лоб блестели от дождевой влаги. В стареньком пальто, с головой, повязан-

ной шерстяным платком, она, жена доктора наук и профессора, казалась воплощением военной эвакуационной бедности.

«Кондукторша», — подумал он.

— Как Людмила Николаевна? — спросила она, и пристальный взгляд ее темных глаз всматривался в лицо Штрума.

Он махнул рукой и сказал:

— Все так же.

— Я завтра пораньше приду к вам, — сказала она.

— Да вы и так ее лекарь-хранитель, — сказал Штрум. — Хорошо, Петр Лаврентьевич терпит, он, дитя, без вас часа прожить не может, а вы так часто бываете у Людмилы Николаевны.

Она продолжала задумчиво смотреть на него, точно слыша и не слыша его слова, и сказала:

— Сегодня у вас совсем особое лицо, Виктор Павлович. У вас случилось хорошее?

— Почему вы решили так?

— Глаза у вас не так, как всегда, — и неожиданно сказала: — С вашей работой хорошо, да? Ну, вот видите, а вы считали, что из-за своего великого горя уже не работник.

— Вы откуда это знаете? — спросил он и подумал: «Ох и болтливы бабы, неужели наболтала

ей Людмила?» — А что же там видно в моих очах? — спросил он, скрывая в насмешливости свое раздражение.

Она помолчала, обдумывая его слова, и сказала серьезно, не принимая предложенного им насмешливого тона:

— В ваших глазах всегда страдание, а сегодня его нет.

И он вдруг стал говорить ей:

— Марья Ивановна, как странно все. Ведь я чувствую, — я совершил сейчас главное дело своей жизни. Ведь наука — хлеб, хлеб для души. И ведь случилось это в такое горькое, трудное время. Как странно, как все запутано в жизни. Ах, как бы мне хотелось… Да ладно, чего уж там…

Она слушала, все глядя ему в глаза, тихо сказала:

— Если б я могла отогнать горе от порога вашего дома.

— Спасибо, милая Марья Ивановна, — сказал Штрум, прощаясь. Он вдруг успокоился, словно к ней он и шел и ей высказал то, что хотел сказать.

А через минуту, забыв о Соколовых, он шагал по темной улице, холодом веяло из-под черных подворотен, ветер на перекрестках дергал по-

лу пальто. Штрум пожимал плечами, морщил лоб, — неужели мама никогда, никогда не узнает о нынешних делах своего сына.

7

Штрум собрал сотрудников лаборатории — ученых-физиков Маркова, Савостьянова, Анну Наумовну Вайспапир, механика Ноздрина, электрика Перепелицына и сказал им, что сомнения в несовершенстве аппаратуры неосновательны. Именно особая точность измерений приводила к однородным результатам, как ни варьировались условия опытов.

Штрум и Соколов были теоретиками, экспериментальные работы в лаборатории вел Марков. Он обладал удивительным талантом решать запутаннейшие экспериментальные проблемы, безошибочно точно определяя принципы новой сложной аппаратуры.

Штрума восхищала уверенность, с которой Марков, подойдя к незнакомому для него прибору, не пользуясь никакими объяснениями, сам, в течение нескольких минут, ухватывал и главные принципы, и малозаметные детали. Он, видимо, воспринимал физические приборы как живые тела, — ему казалось естественным, взглянув на кошку, увидеть ее глаза, хвост, уши, когти, прощупать биение сердца, сказать, что к чему в

кошачьем теле.

Когда в лаборатории конструировалась новая аппаратура и нужно было подковать блоху, козырным королем становился надменный механик Ноздрин.

Светловолосый веселый Савостьянов, смеясь, говорил о Ноздрине: «Когда Степан Степанович умрет, его руки возьмут на исследование в Институт мозга».

Но Ноздрин не любил шуток, свысока относился к научным сотрудникам, понимал, что без его сильных рабочих рук дело в лаборатории не пойдет.

Любимцем лаборатории был Савостьянов. Ему легко давались и теоретические вопросы и экспериментальные.

Он все делал шутя, быстро, без труда.

Его светлые, пшеничные волосы казались освещенными солнцем даже в самые хмурые осенние дни. Штрум, любуясь Савостьяновым, думал, что волосы его светлые оттого, что и ум у него ясный, светлый. И Соколов ценил Савостьянова.

— Да, не нам с вами, халдеям и талмудистам, чета, помрем, — соединит в себе и вас, и меня, и Маркова, — сказал Соколову Штрум.

Анну Наумовну лабораторные остряки окре-

стили «курица-жеребец», она обладала нечеловеческой работоспособностью и терпением, — однажды ей пришлось просидеть 18 часов за микроскопом, исследуя слои фотоэмульсии.

Многие руководители институтских отделов считали, что Штруму повезло, — очень уж удачно подобрались сотрудники в его лаборатории. Штрум, обычно шутя, говорил: «Каждый зав имеет тех сотрудников, которых заслуживает…»

— Мы все волновались и огорчались, — сказал Штрум, — теперь мы можем вместе радоваться — опыты ставились профессором Марковым безукоризненно. В этом, конечно, заслуги и механической мастерской, и лаборантов, проводивших огромное количество наблюдений, сделавших сотни и тысячи расчетов.

Марков, быстро покашливая, сказал:

— Виктор Павлович, хочется услышать возможно подробней вашу точку зрения.

Понизив голос, он добавил:

— Мне говорили, что работы Кочкурова в смежной области вызывают практические надежды. Мне говорили, что неожиданно запросили из Москвы о его результатах.

Марков обычно знал подноготную всевозможных событий. Когда эшелон с сотрудниками

института шел в эвакуацию, Марков приносил в вагон множество новостей: о заторах, смене паровоза, о предстоящих на пути продовольственных пунктах.

Небритый Савостьянов озабоченно произнес:

— Придется мне выпить весь лабораторный спирт по этому поводу.

Анна Наумовна, большая общественница, проговорила:

— Вот видите, какое счастье, а нас уже на производственных совещаниях и в месткоме обвиняли в смертных грехах.

Механик Ноздрин молчал, поглаживая впалые щеки.

А молодой одноногий электрик Перепелицын медленно покраснел во всю щеку и не сказал ни слова, с грохотом уронил на пол костыль.

Штруму был приятен и радостен этот день.

Утром с ним говорил по телефону молодой директор Пименов, наговорил Штруму много хороших слов. Пименов на самолете улетал в Москву, — шли последние приготовления к возвращению в Москву почти всех отделов института.

— Виктор Павлович, — сказал, прощаясь, Пименов, — скоро уж увидимся в Москве. Я счастлив,

я горжусь, что директорствую в институте в ту пору, когда вы завершили свое замечательное исследование.

И на собрании сотрудников лаборатории все было очень приятно Штруму.

Марков обычно посмеивался над лабораторными порядками, говорил:

— Докторов, профессоров у нас полк, кандидатов и младших научных сотрудников у нас батальон, а солдат — один Ноздрин! — В этой шутке было недоверие к физикам-теоретикам. — Мы, как странная пирамида, — пояснил Марков, — у которой широко, обширно на вершине и все у́же да у́же к основанию. Шатко, колеблемся, а надо бы основание широкое — полк Ноздриных.

А после доклада Штрума Марков сказал:

— Да, вот тебе и полк, вот тебе и пирамида.

А у Савостьянова, который проповедовал, что наука сродни спорту, после доклада Штрума глаза стали удивительно хорошие: счастливые, добрые.

Штрум понял, что Савостьянов в эти минуты смотрел на него не как футболист на тренера, а как верующий на апостола.

Он вспомнил свой недавний разговор с Соколовым, вспомнил спор Соколова с Савостьяновым

и подумал: «Может быть, в природе ядерных сил я кое-что смыслю, но вот в природе человека уж ни черта действительно».

К концу рабочего дня к Штруму в кабинет вошла Анна Наумовна и сказала:

— Виктор Павлович, новый начальник отдела кадров не включил меня на реэвакуацию. Я только что смотрела список.

— Знаю, знаю, — сказал Штрум, — не к чему огорчаться, ведь реэвакуация будет произведена по двум спискам, — вы поедете во вторую очередь, всего на несколько недель позже.

— Но ведь из нашей группы почему-то я одна не попала в первую очередь. Я, кажется, с ума сойду, так мне опостылела эвакуация. Каждую ночь вижу Москву во сне. Потом как же так: значит, начнут монтаж в Москве без меня?

— Да-да, действительно. Но понимаете, список-то утвержден, менять очень трудно. Свечин из магнитной лаборатории уже говорил по поводу Бориса Израилевича, с ним такая же история, как с вами, но оказалось, очень сложно менять. Пожалуй, лучше и вам подождать.

Он вдруг вспыхнул и закричал:

— Черт их знает, каким местом они думают, напихали в список ненужных людей, а вас, которая

сразу же понадобится для основного монтажа, почему-то забыли.

— Меня не забыли, — сказала Анна Наумовна, и ее глаза наполнились слезами, — меня хуже…

Анна Наумовна, оглянувшись каким-то странным, быстрым, робким взглядом на полуоткрытую дверь, сказала:

— Виктор Павлович, почему-то из списка вычеркнули только еврейские фамилии, и мне говорила Римма, секретарь из отдела кадров, что в Уфе, в списке украинской академии, повычеркивали почти всех евреев, только докторов наук оставили.

Штрум, полуоткрыв рот, мгновение растерянно смотрел на нее, потом расхохотался:

— Да вы что, с ума сошли, дорогая! Мы ведь, слава богу, живем не в царской России. Что это у вас за местечковый комплекс неполноценности, выкиньте вы эту чушь из головы!

8

Дружба! Сколько различий в ней.

Дружба в труде. Дружба в революционной работе, дружба в долгом пути, солдатская дружба, дружба в пересыльной тюрьме, где знакомство и расставание отделены друг от друга двумя-тремя днями, а память об этих днях хранится долгие годы. Дружба в радости, дружба в горе. Дружба в равенстве и в неравенстве.

В чем же дружба? Только ли в общности труда и судьбы суть дружбы? Ведь иногда ненависть между людьми, членами одной партии, чьи взгляды отличаются лишь в оттенках, бывает больше, чем ненависть этих людей к врагам партии. Иногда люди, вместе идущие в бой, ненавидят друг друга больше, чем своего общего врага. Ведь иногда ненависть между заключенными больше, чем ненависть этих заключенных к своим тюремщикам.

Конечно, друзей встретишь чаще всего среди людей общей судьбы, одной профессии, общих помыслов, и все же преждевременно заключать, что подобная общность определяет дружбу.

Ведь могут подружиться, и, случается, дружат,

люди, объединенные нелюбовью к своей профессии. Дружат ведь не только герои войны и герои труда, дружат и дезертиры войны и труда. Однако в основе дружбы, как той, так и другой, лежит общность.

Могут ли дружить два противоположных характера? Конечно!

Иногда дружба — это бескорыстная связь.

Иногда дружба эгоистична, иногда она самопожертвенна, но удивительно, эгоизм дружбы бескорыстно приносит пользу тому, с кем дружишь, а самопожертвенность дружбы в основе эгоистична.

Дружба — зеркало, в котором человек видит себя. Иногда, беседуя с другом, ты узнаешь себя — ты беседуешь с собой, общаешься с собой.

Дружба — равенство и сходство. Но в то же время дружба — это неравенство и несходство.

Дружба бывает деловая, действенная, в совместном труде, в совместной борьбе за жизнь, за кусок хлеба.

Есть дружба за высокий идеал, философская дружба собеседников-созерцателей, дружба людей, работающих по-разному, порознь, но вместе судящих о жизни.

Возможно, высшая дружба объединяет дей-

ственную дружбу, дружбу труда и борьбы с дружбой собеседников.

Друзья всегда нужны друг другу, но не всегда друзья получают от дружбы поровну. Не всегда друзья хотят от дружбы одного и того же. Один дружит и дарит опытом, другой, дружа, обогащается опытом. Один, помогая слабому, неопытному, молодому другу, познает свою силу, зрелость, другой, слабый, познает в друге свой идеал, — силу, опыт, зрелость. Так один в дружбе дарит, другой радуется подаркам.

Бывает, что друг — безмолвная инстанция, с ее помощью человек общается с самим собой, находит радость в себе, в своих мыслях, которые звучат, внятны, зримы благодаря отражению в резонирующей душе друга.

Дружба разума, созерцательная, философская, обычно требует от людей единства взглядов, но это сходство может не быть всеобъемлющим. Иногда дружба проявляется в споре, в несходстве друзей.

Если друзья сходны во всем, если они взаимно отражают друг друга, то спор с другом есть спор с самим собой.

Друг тот, кто оправдывает твои слабости, недостатки и даже пороки, кто утверждает твою

правоту, талант, заслуги.

Друг тот, кто, любя, разоблачает тебя в твоих слабостях, недостатках и пороках.

И вот дружба основывается на сходстве, а проявляется в различии, противоречиях, несходствах. И вот человек в дружбе эгоистично стремится получить от друга то, чего у него самого нет. И вот человек в дружбе стремится щедро передать то, чем он владеет.

Стремление к дружбе присуще натуре человека, и тот, кто не умеет дружить с людьми, дружит с животными — собаками, лошадьми, кошками, мышами, пауками.

Абсолютно сильное существо не нуждается в дружбе, видимо, таким существом мог быть лишь Бог.

Истинная дружба независима от того, находится ли твой друг на троне или, свергнутый с трона, оказался в тюрьме, истинная дружба обращена к внутренним свойствам души и равнодушна к славе, внешней силе.

Разнообразны формы дружбы, многообразно ее содержание, но есть одна незыблемая основа дружбы — это вера в неизменность друга, это верность другу. И потому особо прекрасна дружба

там, где человек служит субботе[13]. Там, где друга и дружбу приносят в жертву во имя высших интересов, там человек, объявленный врагом высшего идеала, теряя всех своих друзей, верит, что не потеряет единственного друга.

[13] Примечания: 13
См. сноску на стр. 244.

9

Придя домой, Штрум увидел на вешалке знакомое пальто, — его ждал Каримов.

Каримов отложил газету, и Штрум подумал, что, видимо, Людмила Николаевна не хотела разговаривать с гостем.

Каримов проговорил:

— Я к вам из колхоза, читал там лекцию. — И добавил: — Только, пожалуйста, не беспокойтесь, в колхозе меня очень кормили, — ведь наш народ исключительно гостеприимный.

И Штрум подумал, что Людмила Николаевна не спросила Каримова, хочет ли он чаю.

Лишь внимательно всмотревшись в широконосое, мятое лицо Каримова, Штрум подмечал в нем едва уловимые отклонения от обычного русского, славянского типа. А в короткие мгновения, при неожиданном повороте головы, все эти мелкие отклонения объединялись, и лицо преображалось в лицо монгола.

Вот так же иногда на улице Штрум угадывал евреев в некоторых людях с белокурыми волосами, светлыми глазами, вздернутыми носами. Что-то едва ощутимое отличало еврейское про-

исхождение таких людей, — иногда это была улыбка, иногда манера удивленно наморщить лоб, прищуриться, иногда пожатие плеч.

Каримов стал рассказывать о своей встрече с лейтенантом, приехавшим после ранения к родителям в деревню. Очевидно, ради этого рассказа Каримов и пришел к Штруму.

— Хороший мальчик, — сказал Каримов, — рассказывал все откровенно.

— По-татарски? — спросил Штрум.

— Конечно, — сказал Каримов.

Штрум подумал, что встреться ему такой раненый лейтенант-еврей, он бы не стал с ним говорить по-еврейски; он знал не больше десятка еврейских слов, причем служили они для шутливого обращения к собеседнику, — вроде «бекицер», «халоймес».

Лейтенант осенью 1941 года попал в плен под Керчью. Немцы послали его убирать засыпанный снегом, неубранный хлеб — на корм лошадям. Лейтенант, улучив минуту, скрылся в зимних сумерках, бежал. Население, русское и татарское, укрывало его.

— Я теперь полон надежды увидеть жену и дочь, — сказал Каримов, — у немцев, оказывается, как и у нас, карточки разных категорий.

Лейтенант говорит, что много крымских татар уходит в горы, хотя немцы их не трогают.

— Я когда-то, студентом, лазил по Крымским горам, — проговорил Штрум и вспомнил, как мать прислала ему деньги на эту поездку. — А евреев видел ваш лейтенант?

В дверь заглянула Людмила Николаевна и сказала:

— Мама до сих пор не пришла, я беспокоюсь.

— Да, да, где же это она? — рассеянно сказал Штрум и, когда Людмила Николаевна закрыла дверь, снова спросил: — Что ж говорит о евреях лейтенант?

— Он видел, как гнали на расстрел еврейскую семью, старуху, двух девушек.

— Боже мой! — сказал Штрум.

— Да, кроме того, он слышал о каких-то лагерях в Польше, куда свозят евреев, убивают и разделывают их тела, как на скотобойнях. Но, видимо, это фантазия. Я его специально расспрашивал о евреях, знал, что вас это интересует.

«Почему же только меня? — подумал Штрум. — Неужели других это не интересует?»

Каримов задумался на мгновение и сказал:

— Да, забыл, еще он рассказывал мне, будто немцы приказывают приносить в комендатуры

грудных еврейских детей, и им смазывали губы каким-то бесцветным составом, и они сразу умирали.

— Новорожденным? — переспросил Штрум.

— Мне кажется, что это такая же выдумка, как и фантазия о лагерях, где разделывают трупы.

Штрум прошелся по комнате и сказал:

— Когда думаешь о том, что в наши дни убивают новорожденных, ненужными кажутся все усилия культуры. Ну, чему же научили людей Гёте, Бах? Убивают новорожденных!

— Да, страшно, — проговорил Каримов.

Штрум видел сочувствие Каримова, но он видел и его радостное волнение, — рассказ лейтенанта укрепил в нем надежду на встречу с женой. А Штрум знал, что после победы уж не встретит свою мать.

Каримов собрался домой, Штруму было жалко расставаться с ним, и он решил проводить его.

— Вы знаете, — вдруг сказал Штрум, — мы, советские ученые, счастливые люди. Что должен чувствовать честный немецкий физик или химик, зная, что его открытия идут на пользу Гитлеру? Вы представляете себе физика-еврея, чьих родных вот так убивают, как бешеных собак, а он счастлив, совершая свое открытие, а оно, помимо

его воли, придает военную мощь фашизму? Он все видит, понимает и все же не может не радоваться своему открытию. Ужасно!

— Да-да, — сказал Каримов, — но ведь мыслящий человек не может себя заставить не думать.

Они вышли на улицу, и Каримов сказал:

— Мне неудобно, что вы провожаете меня. Погода ужасная, а вы ведь недавно пришли домой и снова вышли на улицу.

— Ничего, ничего, — ответил Штрум. — Я вас доведу только до угла.

Он поглядел на лицо своего спутника и сказал:

— Мне приятно пройтись с вами по улице, хотя погода плохая.

Каримов шел молча, и Штруму показалось, что он задумался и не слышит того, что сказал ему Штрум. Дойдя до угла, Штрум остановился и проговорил:

— Ну что ж, давайте тут простимся.

Каримов крепко пожал ему руку, сказал, растягивая слова:

— Скоро вы вернетесь в Москву, придется нам с вами расстаться. А я очень ценю наши встречи.

— Да, да, да, поверьте, и мне печально, — сказал Штрум.

Штрум шел к дому и не заметил, что его оклик-

нули.

Мадьяров смотрел на него темными глазами. Воротник его пальто был поднят.

— Что ж это, — спросил он, — прекратились наши ассамблеи? Вы совершенно исчезли, Петр Лаврентьевич на меня дуется.

— Да, жаль, конечно, — сказал Штрум. — Но немало глупостей там наговорили мы с вами сгоряча.

Мадьяров проговорил:

— Кто же обращает внимание на сказанное сгоряча слово.

Он приблизил к Штруму лицо, его расширенные, большие, тоскливые глаза стали еще темнее, еще тоскливей, он сказал:

— Есть действительно хорошее в том, что прекратились наши ассамблеи.

Штрум спросил:

— Что же?

Мадьяров с одышкой проговорил:

— Надо вам сказать, старик Каримов, сдается мне, работает. Понятно? А вы с ним, кажется, часто встречаетесь.

— Никогда не поверю, чушь! — сказал Штрум.

— А вы не подумали, — все его друзья, все друзья его друзей уже десять лет стерты в порошок,

следа нет от всей его среды, он один остался да еще процветает: доктор наук.

— Ну и что же? — спросил Штрум. — Я тоже доктор, и вы доктор наук.

— Да вот то самое. Подумайте об этой дивной судьбе. Я, чай, вы, сударь, не маленький.

10

— Витя, мама только теперь пришла, — сказала Людмила Николаевна.

Александра Владимировна сидела за столом с платком на плечах, она придвинула к себе чашку чаю и тут же отодвинула ее, сказала:

— Ну вот, я говорила с человеком, который видел перед самой войной Митю.

Волнуясь и потому особенно спокойным, размеренным голосом она рассказала, что к соседям ее сослуживицы, цеховой лаборантки, приехал на несколько дней земляк. Сослуживица назвала случайно в его присутствии фамилию Александры Владимировны, и приезжий спросил, нет ли у Александры Владимировны родственника по имени Дмитрий.

Александра Владимировна пошла после работы к лаборантке на дом. И тут выяснилось, что этот человек недавно освобожден из лагеря, он корректор, отсидел семь лет за то, что допустил опечатку в газетной передовой, — в фамилии товарища Сталина наборщики перепутали одну букву. Перед войной его перевели за нарушение дисциплины из лагеря в Коми АССР в режимный

лагерь на Дальний Восток, в систему Озерных лагерей, и там его соседом по бараку оказался Шапошников.

— С первого слова я поняла, что Митя. Он сказал: «Лежит на нарах и все насвистывает — чижик-пыжик, где ты был…» Митя перед самым арестом приходил ко мне и на все мои вопросы усмехался и насвистывал «чижика»… Вечером этот человек должен на грузовой машине ехать в Лаишево, где живет его семья. Митя, говорит, болел — цинга, и с сердцем было нехорошо. Говорит, Митя не верил, что выйдет на свободу. Рассказывал ему обо мне, о Сереже. Работал Митя при кухне, это считается прекрасная работа.

— Да, для этого надо было кончать два института, — сказал Штрум.

— Ведь нельзя поручиться: а вдруг это подосланный провокатор? — сказала Людмила.

— Кому нужно провоцировать старуху?

— Зато Виктором в известном учреждении достаточно интересуются.

— Ну, Людмила, это же чепуха, — раздражаясь, сказал Виктор Павлович.

— А почему он на свободе, он объяснил? — спросила Надя.

— То, что он рассказывал, невероятно. Это

огромный мир, мне кажется, какое-то наваждение. Он словно человек из другой страны. У них свои обычаи, своя история средних и новых веков, свои пословицы…

Я спросила, почему его освободили, — он удивился, как, вы не знаете, меня актировали; я опять не поняла, оказывается — доходяги-умирающие, их освобождают. У них какое-то деление внутри лагеря — работяги, придурки, суки… Я спросила — что за приговор: десять лет без права переписки, который получили тысячи людей в тридцать седьмом году? Он говорит, что не встретил ни одного человека с таким приговором, а был в десятках лагерей. Где же эти люди? Он говорит — не знаю, в лагерях их нет.

Лесоповал. Сверхсрочники, спецпереселенцы… Он на меня такую тоску навалил. И вот Митя жил там и тоже говорил — доходяга, придурок, суки… Он рассказывал о способе самоубийства — на колымском болоте перестают есть и несколько дней подряд пьют воду, умирают в отеке, от водянки, называется это у них — пил воду, стал пить воду, ну, конечно, при больном сердце.

Она видела напряженное и тоскливое лицо Штрума, нахмуренные брови дочери.

Волнуясь, чувствуя, как горит голова и сохнет

во рту, она продолжала рассказывать:

— Он говорит, — страшнее лагеря дорога, эшелон, там всесильны уголовники, они раздевают, отбирают продукты, проигрывают жизнь политических в карты, проигравший убивает человека ножом, а жертва даже не знает до последней минуты, что ее жизнь разыграли в карты… Еще ужасно, оказывается, что в лагерях все командные места у уголовников — они старосты в бараке, бригадиры на лесозаготовках, политические бесправны, им говорят «ты», уголовники называли Митю фашистом… Нашего Митю убийцы и воры называли фашистом.

Александра Владимировна громко, словно обращаясь к народу, сказала:

— Этого человека перевели из лагеря, где был Митя, в Сыктывкар. В первый год войны приехал в ту группу лагерей, где остался Митя, человек из центра по фамилии Кашкетин и организовал казнь десяти тысяч заключенных.

— О, боже мой, — сказала Людмила Николаевна, — я хочу понять: знает ли об этом ужасе Сталин?

— О, боже мой, — сердито повторяя интонацию матери, сказала Надя, — неужели не понимаешь? Их Сталин приказал убить.

— Надя, — крикнул Штрум, — прекрати!

Как это бывает с людьми, ощущающими, что кто-то со стороны понимает их внутреннюю слабость, Штрум вдруг пришел в бешенство, закричал на Надю:

— Ты не забудь, — Сталин — Верховный Главнокомандующий армии, борющейся с фашизмом, до последнего дня своей жизни твоя бабушка надеялась на Сталина, все мы живем, дышим оттого, что есть Сталин и Красная Армия… Ты научись раньше сама себе нос вытирать, а потом уж будешь опровергать Сталина, преградившего дорогу фашизму в Сталинграде.

— Сталин сидит в Москве, а преграждал в Сталинграде ты знаешь кто, — сказала Надя. — И тебя не поймешь, ты сам приходил от Соколова и говорил то же, что и я…

Он почувствовал новый прилив злобы к Наде, казалось ему, такой сильный, что хватит ее до конца жизни.

— Ничего похожего, приходя от Соколова, я не говорил, не выдумывай, пожалуйста, — сказал он.

Людмила Николаевна проговорила:

— К чему все эти ужасы вспоминать, когда советские дети гибнут за Родину на войне.

Но тут-то Надя и высказала понимание тайного, слабого, что было в душе ее отца.

— Ну, конечно, ты ничего не говорил, — сказала она. — Теперь-то, когда у тебя такой успех в работе, а немцев остановили в Сталинграде…

— Да как ты можешь, — сказал Виктор Павлович, — как ты смеешь подозревать отца в нечестности! Людмила, ты слышишь?

Он ждал поддержки жены, но Людмила Николаевна не поддержала его.

— Чему ты удивляешься, — сказала она, — она тебя наслушалась, это то, о чем ты говорил со своим Каримовым, с этим отвратительным Мадьяровым. Мне Марья Ивановна рассказывала о ваших беседах. Да ты и сам достаточно дома наговорился. Ох, скорей бы уж в Москву.

— Хватит, — сказал Штрум, — я знаю заранее все приятное, что ты хочешь мне сказать.

Надя замолчала, лицо ее казалось старушечьи увядшим, некрасивым, она отвернулась от отца, но, когда он все же поймал ее взгляд, его поразила ненависть, с которой она взглянула на него.

Душно сделалось, так много тяжелого, нехорошего стало в воздухе. Все, что годами почти в каждой семье живет в тени, — потревожит и затихнет, усмиренное любовью и душевным до-

верием, — вышло на поверхность, вырвавшись, разлилось широко, заполнило жизнь, словно лишь непонимание, подозрения, злоба, упреки только и существовали между отцом, матерью и дочерью.

Неужели лишь рознь и отчужденность рождала их общая судьба?

— Бабушка! — сказала Надя.

Штрум и Людмила одновременно посмотрели на Александру Владимировну, — она сидела, прижимая ладони ко лбу, словно испытывая нестерпимую головную боль.

Что-то непередаваемо жалкое было в ее беспомощности, в том, что и она и горе ее никому, казалось, не нужны, лишь мешали и раздражали, послужили семейному раздору, в том, что, всю жизнь сильная и суровая, в эти минуты она сидела, старая, одинокая, беспомощная.

Надя вдруг, став на колени, прижалась лбом к ногам Александры Владимировны, проговорила:

— Бабушка, милая, хорошая, бабушка…

Виктор Павлович подошел к стене, включил радио, в картонном микрофоне захрипело, завыло, засвистело. Казалось, радио передает осеннюю ночную непогоду, вставшую над передним краем войны, над сожженными деревнями, над сол-

датскими могилами, над Колымой и Воркутой, над полевыми аэродромами, над намокшими от холодной воды и снега брезентовыми крышами медсанбатов.

Штрум посмотрел на нахмурившееся лицо жены, подошел к Александре Владимировне, взял ее руки в свои, стал целовать их. Потом, нагнувшись, он погладил Надю по голове.

Казалось, ничто не изменилось за эти несколько мгновений, те же люди были в комнате, то же горе давило их, та же судьба вела их. И только они сами знали, каким чудным теплом наполнились в эти секунды их ожесточенные сердца…

В комнате вдруг возник раскатистый голос:

«В течение дня наши войска вели бои с противником в районе Сталинграда, северо-восточнее Туапсе и в районе Нальчика. На других фронтах никаких изменений не произошло».

11

Лейтенант Петер Бах попал в госпиталь по поводу пулевого ранения в плечо. Рана оказалась несерьезной, и товарищи, провожавшие Баха до санитарного фургона, поздравили его с удачей.

С чувством блаженства и одновременно кряхтя от боли Бах отправился, поддерживаемый санитаром, принимать ванну.

Наслаждение от прикосновения теплой воды было велико.

— Лучше, чем в окопах? — спросил санитар и, желая сказать раненому что-либо приятное, добавил: — Когда выпишетесь, вероятно, там уже будет все в порядке.

И он махнул рукой в ту сторону, откуда доносилось равномерное слитное грохотанье.

— Вы здесь недавно? — спросил Бах.

Потерев мочалкой лейтенантскую спину, санитар сказал:

— Почему вы решили, что я здесь недавно?

— Там уж никто не думает, что дело кончится скоро. Там думают, что дело кончится не скоро.

Санитар посмотрел на голого офицера в ванне. Бах вспомнил: персонал в госпиталях имеет ин-

струкцию доносить о настроениях раненых, а в словах лейтенанта было проявлено неверие в мощь вооруженных сил. Бах раздельно повторил:

— Да, санитар, чем это кончится, пока никто не знает.

Зачем он повторил эти опасные слова? Понять это мог лишь человек, живущий в тоталитарной империи.

Он повторил их от раздражения на то, что испугался, произнеся их в первый раз. Он повторил их и с защитной целью, — обмануть своей беспечностью предполагаемого доносчика.

Затем, для разрушения вредного впечатления о своей оппозиционности, он произнес:

— Такой силы, какую мы собрали здесь, вероятно, не было ни разу с начала войны. Поверьте мне, санитар.

Потом ему стало противно от этой иссушающей сложной игры, и он предался детской забаве: старался зажать в руке теплую мыльную воду — вода выстреливала то в борт ванны, то в лицо самому Баху.

— Принцип огнемета, — сказал он санитару.

Как он похудел! Он рассматривал свои голые руки, грудь и подумал о молодой русской жен-

щине, которая два дня назад целовала его. Думал ли он, что в Сталинграде у него будет роман с русской женщиной. Правда, романом это трудно назвать. Случайная военная связь. Необычайная, фантастическая обстановка, они встречаются в подвале, он идет к ней среди развалин, освещенный вспышками взрывов. Такие встречи хорошо описать в книге. Вчера он должен был прийти к ней. Она, вероятно, решила, что он убит. После выздоровления он снова придет к ней. Интересно, кем будет занято его место. Природа не терпит пустоты…

Вскоре после ванны его отправили в рентгеновский кабинет, и врач-рентгенолог поставил Баха перед экраном рентгенаппарата.

— Жарко там, лейтенант?

— Русским жарче, чем нам, — ответил Бах, желая понравиться врачу и получить хороший диагноз, такой, при котором операция прошла бы легко и без боли.

Вошел врач-хирург. Оба артца заглядывали в нутро Баха и могли увидеть всю ту оппозиционную нечисть, которая за былые годы отызвествовалась в его грудной клетке.

Хирург схватил Баха за руку и стал вертеть ею, то приближая к экрану, то отдаляя от него. Его за-

нимало осколочное ранение, а то, что к ране был прикреплен молодой человек с высшим образованием, являлось обстоятельством случайным.

Оба артца заговорили, перемешивая латинские слова с немецкими шутливыми ругательствами, и Бах понял, что дела его обстоят неплохо, — рука останется при нем.

— Подготовьте лейтенанта к операции, — сказал хирург, — а я посмотрю тут сложный случай — тяжелое черепное ранение.

Санитар снял с Баха халат, хирургическая сестра велела ему сесть на табурет.

— Черт, — сказал Бах, жалко улыбаясь и стыдясь своей наготы, — надо бы, фрейлен, согреть стул, прежде чем сажать на него голым задом участника Сталинградской битвы.

Она ответила ему без улыбки:

— У нас нет такой должности, больной, — и стала вынимать из стеклянного шкафчика инструменты, вид которых показался Баху ужасным.

Однако удаление осколка прошло легко и быстро. Бах даже обиделся на врача, — презрение к пустячной операции тот распространил на раненого.

Хирургическая сестра спросила Баха, нужно ли

проводить его в палату.

— Я сам дойду, — ответил он.

— Вы у нас не засидитесь, — проговорила она успокоительным тоном.

— Прекрасно, — ответил он, — а то я уже начал скучать.

Она улыбнулась.

Сестра, видимо, представляла себе раненых по газетным корреспонденциям. В них писатели и журналисты сообщали о раненых, тайно бегущих из госпиталей в свои родные батальоны и роты; им непременно нужно было стрелять по противнику, без этого жизнь им была не в жизнь.

Может быть, журналисты и находили в госпиталях таких людей, но Бах испытал постыдное блаженство, когда лег в кровать, застеленную свежим бельем, съел тарелку рисовой кашки и, затянувшись сигаретой (в палате было строго запрещено курить), вступил в беседу с соседями.

Раненых в палате оказалось четверо, — трое были офицеры-фронтовики, а четвертый — чиновник с впалой грудью и вздутым животом, приехавший в командировку из тыла и попавший в районе Гумрака в автомобильную катастрофу. Когда он лежал на спине, сложив руки на животе, казалось, что худому дяде в шутку

сунули под одеяло футбольный мяч.

Видимо, поэтому раненые и прозвали его «вратарем».

Вратарь, единственный из всех, охал по поводу того, что ранение вывело его из строя. Он говорил возвышенным тоном о родине, армии, долге, о том, что он гордится увечьем, полученным в Сталинграде.

Фронтовые офицеры, пролившие кровь за народ, относились к его патриотизму насмешливо.

Один из них, лежавший на животе вследствие ранения в зад, командир разведроты Крап, бледнолицый, губастый, с выпуклыми карими глазами, сказал ему:

— Вы, видимо, из тех вратарей, которые не прочь загнать мяч, а не только отбить его.

Разведчик был помешан на эротической почве, — говорил он главным образом о половых сношениях.

Вратарь, желая уколоть обидчика, спросил:

— Почему вы не загорели? Вам, вероятно, приходится работать в канцелярии?

Но Крап не работал в канцелярии.

— Я — ночная птица, — сказал он, — моя охота происходит ночью. С бабами, в отличие от вас, я сплю днем.

В палате ругали бюрократов, удирающих на автомобилях под вечер из Берлина на дачи; ругали интендантских вояк, получающих ордена быстрей фронтовиков, говорили о бедствиях семей фронтовиков, чьи дома разрушены бомбежками; ругали тыловых жеребцов, лезущих к женам армейцев; ругали фронтовые ларьки, где продают лишь одеколон и бритвенные лезвия.

Рядом с Бахом лежал лейтенант Герне. Баху показалось, что он происходит из дворян, но выяснилось, что Герне крестьянин, один из тех, кого выдвинул национал-социалистский переворот. Он служил заместителем начальника штаба полка и был ранен осколком ночной авиационной бомбы.

Когда Вратаря унесли на операцию, лежавший в углу простецкий человек, старший лейтенант Фрессер, сказал:

— В меня стреляют с тридцать девятого года, а я ни разу еще не кричал о моем патриотизме. Кормят, поят, одевают — я и воюю. Без философии.

Бах сказал:

— Нет, отчего же. В том, что фронтовики посмеялись над фальшью Вратаря, есть уже своя философия.

— Вот как! — сказал Герне. — Интересно, какая

же это философия?

По недоброму выражению его глаз Бах привычно почувствовал в Герне человека, ненавидящего догитлеровскую интеллигенцию. Много пришлось Баху прочесть и выслушать слов о том, что старая интеллигенция тянется к американской плутократии, что в ней таятся симпатии к талмудизму и еврейской абстракции, к иудейскому стилю в живописи и литературе. Злоба охватила его. Теперь, когда он готов склониться перед грубой мощью новых людей, зачем смотреть на него с угрюмой, волчьей подозрительностью? Разве его не ели вши, не жег мороз так же, как и их? Его, офицера переднего края, не считают немцем! Бах закрыл глаза и повернулся к стенке…

— Для чего столько яду в вашем вопросе? — сердито пробормотал он.

Герне с улыбкой презрения и превосходства:

— А вы будто бы не понимаете?

— Я же сказал вам, не понимаю, — раздраженно ответил Бах и добавил: — То есть я догадываюсь.

Герне, конечно, рассмеялся.

— Ага, двойственность? — крикнул Бах.

— Именно, именно двойственность, — веселился Герне.

— Волевая импотенция?

Тут Фрессер станет хохотать. А Крап, приподнявшись на локтях, невыразимо нагло посмотрит на Баха.

— Дегенераты, — громовым голосом скажет Бах. — Эти оба за пределами человеческого мышления, но вы, Герне, уже где-то на полпути между обезьяной и человеком… Давайте говорить всерьез.

И он похолодел от ненависти, зажмурил закрытые глаза.

— Стоит вам написать брошюрку по любому крошечному вопросу — и вы уже ненавидите тех, кто закладывал фундамент и возводил стены германской науки. Стоит вам написать тощую повесть, как вы оплевываете славу немецкой литературы. Вам кажется, что наука и искусство — это нечто вроде министерств, чиновники старого поколения не дают вам возможности получить чин? Вам с вашей книжоночкой становится тесно, вам уже мешают Кох, Нернст, Планк, Келлерман… Наука и искусство не канцелярия, это парнасский холм под необъятным небом, там всегда просторно, там хватает места для всех талантов на протяжении всей истории человечества, пока не появляетесь там вы со своими худосочными плодами. Но это не теснота, просто

вам там не место. А вы бросаетесь расчищать площадку, но от этого ваши убогие, плохо надутые шары не поднимаются ни на метр выше. Выкинув Эйнштейна, вы не займете его места. Да-да, Эйнштейн, — он, конечно, еврей, но, извините великодушно, гений. Нет власти в мире, которая могла бы помочь вам занять его место. Задумайтесь, — стоит ли тратить столько сил на уничтожение тех, чьи места останутся навек пустыми. Если ваша неполноценность помешала вам пойти по дорогам, которые открыл Гитлер, то в этом виноваты лишь вы, и не пылайте злобой к полноценным людям. Методом полицейской ненависти в области культуры ничего нельзя сделать! Вы видите, как глубоко понимают это Гитлер, Геббельс? Они нас учат своим примером. Сколько любви, терпения и такта проявляют они, пестуя немецкую науку, живопись, литературу. Вот с них берите пример, идите путем консолидации, не вносите раскола в наше общее немецкое дело!

Произнеся безмолвно свою воображаемую речь, Бах открыл глаза. Соседи лежали под одеяльцами.

Фрессер сказал:

— Товарищи, посмотрите сюда, — и движением

фокусника вытащил из-под подушки литровую бутылку итальянского коньяка «Три валета».

Герне издал горлом странный звук, — только истинный пьяница, притом крестьянский пьяница, мог с таким выражением смотреть на бутылку.

«А ведь он неплохой человек, по всему видно, что неплохой», — подумал Бах и устыдился своей произнесенной и непроизнесенной истерической речи.

А в это время Фрессер, прыгая на одной ноге, разливал в стоящие на тумбочках стаканы коньяк.

— Вы зверь, — улыбаясь, говорил разведчик.

— Вот это боевой лейтенант, — сказал Герне.

Фрессер проговорил:

— Какой-то медицинский чин заметил мою бутылку и спросил: «Что это там у вас в газете?» А я ему: «Это письма от мамы, я с ними никогда не расстаюсь».

Он поднял стакан:

— Итак, с фронтовым приветом, обер-лейтенант Фрессер!

И все выпили.

Герне, которому тотчас же снова захотелось выпить, сказал:

— Эх, надо еще Вратарю оставить.

— Черт с ним, с Вратарем; верно, лейтенант? — спросил Крап.

— Пусть он выполняет долг перед родиной, а мы просто выпьем, — сказал Фрессер. — Жить ведь каждому хочется.

— Моя задница совершенно ожила, — сказал разведчик. — Сейчас бы еще даму средней упитанности.

Всем стало весело и легко.

— Ну, поехали, — и Герне поднял свой стакан.

Они снова выпили.

— Хорошо, что мы попали в одну палату.

— А я сразу определил, только посмотрел: «Вот это настоящие ребята, прожженные фронтовики».

— А у меня, по правде говоря, было сомнение насчет Баха, — сказал Герне. — Я подумал: «Ну, это партийный товарищ».

— Нет, я беспартийный.

Они лежали, сбросив одеяла. Всем стало жарко. Разговор пошел о фронтовых делах.

Фрессер воевал на левом фланге, в районе поселка Окатовка.

— Черт их знает, — сказал он. — Наступать русские совершенно не умеют. Но уже начало но-

ября, а мы ведь тоже стоим. Сколько мы выпили в августе водки, и все тосты были: «Давайте не терять друг друга после войны, надо учредить общество бывших бойцов за Сталинград».

— Наступать они умеют неплохо, — сказал разведчик, воевавший в районе заводов. — Они не умеют закреплять. Вышибут нас из дома и сейчас же либо спать ложатся, либо жрать начинают, а командиры пьянствуют.

— Дикари, — сказал Фрессер и подмигнул. — Мы на этих сталинградских дикарей потратили больше железа, чем на всю Европу.

— Не только железа, — сказал Бах. — У нас в полку есть такие, что плачут без причины и поют петухами.

— Если до зимы дело не решится, — сказал Герне, — то начнется китайская война. Вот такая бессмысленная толкотня.

Разведчик сказал вполголоса:

— Знаете, готовится наше наступление в районе заводов, собраны такие силы, каких тут никогда еще не бывало. Все это бабахнет в ближайшие дни. Двадцатого ноября все мы будем спать с саратовскими девочками.

За занавешенными окнами слышался широкий, величественный и неторопливый грохот

артиллерии, гудение ночных самолетов.

— А вот затарахтели руссфанер, — проговорил Бах. — В это время они бомбят. Некоторые их зовут — пила для нервов.

— А у нас в штабе их зовут — дежурный унтерофицер, — сказал Герне.

— Тише! — и разведчик поднял палец. — Слышите, главные калибры!

— А мы попиваем винцо в палате легкораненых, — проговорил Фрессер.

И им в третий раз за день стало весело.

Заговорили о русских женщинах. Каждому было что рассказать. Бах не любил такие разговоры.

Но в этот госпитальный вечер Бах рассказал о Зине, жившей в подвале разрушенного дома, рассказал лихо, все смеялись.

Вошел санитар и, оглядев веселые лица, стал собирать белье на кровати Вратаря.

— Берлинского защитника родины выписали как симулянта? — спросил Фрессер.

— Санитар, чего ты молчишь, — сказал Герне, — мы все мужчины, если с ним что-нибудь случилось, скажи нам.

— Он умер, — сказал санитар. — Паралич сердца.

— Вот видите, до чего доводят патриотические разговоры, — сказал Герне.

Бах сказал:

— Нехорошо так говорить об умершем. Он ведь не лгал, ему не к чему было лгать перед нами. Значит, он был искренен. Нехорошо, товарищи.

— О, — сказал Герне, — недаром мне показалось, что лейтенант пришел к нам с партийным словом. Я сразу понял, что он из новой, идейной породы.

12

Ночью Бах не мог уснуть, ему было слишком удобно. Странно было вспоминать блиндаж, товарищей, приход Ленарда, — они вместе глядели на закат через открытую дверь блиндажа, пили из термоса кофе, курили.

Вчера, усаживаясь в санитарный фургон, он обнял Ленарда здоровой рукой за плечо, они поглядели друг другу в глаза, рассмеялись.

Думал ли он, что будет пить с эсэсовцем в сталинградском бункере, ходить среди освещенных пожарами развалин к своей русской любовнице!

Удивительная вещь произошла с ним. Долгие годы он ненавидел Гитлера. Когда он слушал бесстыдных седых профессоров, заявлявших, что Фарадей, Дарвин, Эдисон — собрание жуликов, обворовавших немецкую науку, что Гитлер величайший ученый всех времен и народов, он со злорадством думал: «Ну что ж, это маразм, это все должно лопнуть». И такое же чувство вызывали в нем романы, где с потрясающей лживостью описывались люди без недостатков, счастье идейных рабочих и идейных крестьян, мудрая воспитательная работа партии. Ах, какие жалкие

стихи печатались в журналах! Его это особенно задевало, — он в гимназии сам писал стихи.

И вот, в Сталинграде, он хочет вступить в партию. Когда он был мальчиком, он из боязни, что отец разубедит его в споре, закрывал уши ладонями, кричал: «Не хочу слушать, не хочу, не хочу…» Но вот он услышал! Мир повернулся вокруг оси.

Ему по-прежнему претили бездарные пьесы и кинофильмы. Может быть, народу придется несколько лет, десятилетие, обходиться без поэзии, что ж делать? Но ведь и сегодня есть возможность писать правду! Ведь немецкая душа и есть главная правда, смысл мира. Ведь умели же мастера Возрождения выражать в произведениях, сделанных по заказу князей и епископов, величайшие ценности духа…

Разведчик Крап, продолжая спать и одновременно участвуя в ночном бою, закричал так громко, что его крик, наверное, был слышен на улице: «Гранатой, гранатой его!» Он хотел поползти, неловко повернулся, закричал от боли, потом снова уснул, захрапел.

Даже вызывавшая в нем содрогание расправа над евреями теперь по-новому представлялась ему. О, будь его власть, он бы немедленно прекратил массовое убийство евреев. Но надо прямо

сказать, хотя у него немало было друзей-евреев: есть немецкий характер, немецкая душа, и если есть она, то есть и еврейский характер, и еврейская душа.

Марксизм потерпел крах! К этой мысли трудно прийти человеку, чей отец, братья отца, мать были социал-демократами.

Маркс, словно физик, основавший теорию строения материи на силах отталкивания и пренебрегший силой всемирного притяжения. Он дал определение силам классового отталкивания, он лучше всех проследил их на протяжении всей человеческой истории. Но он, как это часто случается с людьми, сделавшими крупное открытие, возомнил, что определенные им силы классовой борьбы единственно решают развитие общества и ход истории. Он не увидел могучих сил национального надклассового сродства, и его социальная физика, построенная на пренебрежении к закону всемирного национального тяготения, нелепа.

Государство не следствие, государство — причина!

Таинственный и дивный закон определяет рождение национального государства! Оно — живое единство, оно одно выражает то, что

есть во всех миллионах людей особо ценного, бессмертного, — немецкий характер, немецкий очаг, немецкую волю, немецкую жертвенность.

Некоторое время Бах лежал, закрыв глаза. Чтобы уснуть, он стал представлять себе стадо овец — одна белая, вторая черная, снова белая и снова черная, снова белая и снова черная…

Утром, после завтрака, Бах писал письмо матери. Он морщил лоб, вздыхал, — все, что он пишет, будет ей неприятно. Но именно ей он должен сказать о том, что чувствует в последнее время. Приезжая в отпуск, он ничего не сказал ей. Но она видела его раздражение, его нежелание слушать бесконечные воспоминания об отце, — все одно и то же.

Отступник от отцовской веры, подумает она. Но нет. Он-то как раз отказывается от отступничества.

Больные, уставшие от утренних процедур, лежали тихо. Ночью на освободившуюся постель Вратаря положили тяжелораненого. Он лежал в беспамятстве, и нельзя было узнать, из какой он части.

Как объяснить матери, что люди новой Германии сегодня ближе ему, чем друзья детства?

Вошел санитар и вопросительно произнес:

— Лейтенант Бах?

— Я, — сказал Бах и прикрыл ладонью начатое письмо.

— Господин лейтенант, русская спрашивает вас.

— Меня? — спросил пораженный Бах и сообразил, что пришла его сталинградская знакомая, Зина. Как могла она узнать, где он находится? И тут же он понял, что ей сказал об этом водитель ротного санитарного фургона. Он обрадовался, растроганный, — ведь надо было выйти в темноте и добираться на попутных машинах, пройти пешком шесть-восемь километров. И он представил себе ее бледное большеглазое лицо, ее худенькую шею, серый платочек на голове.

А в палате поднялся гогот.

— Вот это лейтенант Бах! — говорил Герне. — Вот это работа среди местного населения.

Фрессер тряс руками, словно отряхивая с пальцев воду, и говорил:

— Санитар, зови ее сюда. У лейтенанта достаточно широкая кровать. Мы их обвенчаем.

А разведчик Крап сказал:

— Женщина, как собака, идет следом за мужчиной.

Вдруг Бах возмутился. Что она вообразила? Как

она могла явиться в госпиталь? Ведь офицерам запрещены связи с русскими женщинами. А если б в госпитале работали его родные либо знакомые семьи Форстер? При таких незначащих отношениях даже немка не решилась бы навещать его…

Казалось, что лежащий в забытьи тяжелораненый брезгливо усмехается.

— Передайте этой женщине, что я не смогу к ней выйти, — сказал он хмуро и, чтобы не участвовать в веселом разговоре, сразу же взялся за карандаш, стал перечитывать написанное.

«…Удивительная вещь, долгие годы я считал, что государство подавляет меня. А теперь я понял, что именно оно выразитель моей души… Я не хочу легкой судьбы. Если надо, я порву со старыми друзьями. Я знаю, те, к которым я приду, никогда не будут меня считать до конца своим. Но я скручу себя ради самого главного, что есть во мне…»

А веселье в палате продолжалось.

— Тише, не мешайте ему. Он пишет письмо своей невесте, — сказал Герне.

Бах стал смеяться. Секундами сдерживаемый смех напоминал всхлипывание, и ему подумалось, что так же, как он сейчас смеется, он мог бы и плакать.

13

Генералы и офицеры, не часто видевшие командующего 6-й пехотной армией Паулюса, считали, что в мыслях и настроениях генерал-полковника не произошло перемен. Манера держаться, характер приказов, улыбка, с которой он выслушивал и мелкие частные замечания, и серьезные донесения, свидетельствовали о том, что генерал-полковник по-прежнему подчиняет себе обстоятельства войны.

И лишь люди, особо близкие к командующему, его адъютант, полковник Адамс, и начальник штаба армии, генерал Шмидт, понимали, насколько изменился за время сталинградских боев Паулюс.

По-прежнему мог он быть мило остроумным и снисходительным либо надменным, либо дружески входить в обстоятельства жизни своих офицеров, по-прежнему в его власти было вводить в бой полки и дивизии, повышать и понижать в должности, подписывать награждения, по-прежнему курил он свои привычные сигары… Но главное, скрытое, душевное менялось день от дня и готовилось окончательно измениться.

Чувство власти над обстоятельствами и сроками покидало его. Еще недавно он спокойным взглядом скользил по донесениям разведывательного отдела штаба армии, — не все ли равно, что задумали русские, имеет ли значение движение их резервов?

Теперь Адамс видел: из папки с донесениями и документами, которую он по утрам клал на стол командующему, тот в первую очередь брал разведывательные данные о ночных движениях русских.

Адамс однажды, изменив порядок, в котором складывались бумаги, положил первыми донесения разведывательного отдела. Паулюс открыл папку, посмотрел на бумагу, лежавшую наверху. Длинные брови Паулюса поднялись, затем он захлопнул папку.

Полковник Адамс понял, что совершил бестактность. Его поразил быстрый, казалось, жалобный взгляд генерал-полковника.

Через несколько дней Паулюс, просмотрев донесения и документы, положенные в обычном порядке, улыбнувшись, сказал своему адъютанту:

— Господин новатор, вы, видимо, наблюдательный человек.

В этот тихий осенний вечер генерал Шмидт отправился на доклад к Паулюсу в несколько торжественном настроении.

Шмидт шел по широкой станичной улице к дому командующего, с удовольствием вдыхая холодный воздух, омывающий прокуренное ночным табаком горло, поглядывал на небо, расцвеченное темными красками степного заката. На душе его было спокойно, он думал о живописи и о том, что послеобеденная отрыжка перестала его беспокоить.

Он шагал по тихой и пустынной вечерней улице, и в голове его, под фуражкой с большим тяжелым козырьком, умещалось все то, что должно было проявиться в самой ожесточенной схватке, которая когда-либо готовилась за время сталинградского побоища. Он именно так и сказал, когда командующий, пригласив его сесть, приготовился слушать.

— Конечно, в истории нашего оружия случалось, что несравненно большее количество техники мобилизовывалось для наступления. Но на таком ничтожном участке фронта подобной плотности на земле и в воздухе лично мне никогда не приходилось создавать.

Слушая начальника штаба, Паулюс сидел, ссу-

туля плечи, как-то не по-генеральски, поспешно и послушно поворачивая голову следом за пальцем Шмидта, тыкавшимся в столбцы графиков и в квадраты карты. Это наступление задумал Паулюс. Паулюс определил его параметры. Но теперь, слушая Шмидта, самого блестящего начальника штаба, с которым приходилось ему работать, он не узнавал свои мысли в деталях разработки предстоящей операции.

Казалось, Шмидт не излагал соображения Паулюса, развернутые в боевую программу, а навязывал свою волю Паулюсу, против его желания готовил к удару пехоту, танки, саперные батальоны.

— Да-да, плотность, — сказал Паулюс. — Она особенно впечатляет, когда сравниваешь ее с пустотой на нашем левом фланге.

— Ничего не поделаешь, — сказал Шмидт, — слишком много земли на востоке, больше, чем немецких солдат.

— Это тревожит не только меня, — фон Вейхс мне сказал: «Мы били не кулаком, а растопыренными пальцами, расходящимися по бесконечному восточному пространству». Это тревожит не только Вейхса. Это не тревожит лишь…

Он не договорил.

Все шло так, как нужно, и все шло не так, как нужно.

В случайных неясностях и злых мелочах последних боевых недель, казалось, вот-вот раскроется совсем по-новому, безрадостно и безнадежно, истинная суть войны.

Разведка упорно доносит о концентрации советских войск на северо-западе. Авиация бессильна помешать им. Вейхс не имеет на флангах армии Паулюса немецких резервов. Вейхс пытается дезинформировать русских, устанавливая немецкие радиостанции в румынских частях. Но от этого румыны не станут немцами.

Казавшаяся вначале победоносной африканская кампания; блестящая расправа с англичанами в Дюнкерке, в Норвегии, Греции, не завершившаяся захватом Британских островов; колоссальные победы на востоке, тысячекилометровый прорыв к Волге, не завершенный окончательным разгромом советских армий. Всегда кажется, — главное уже сделано, и если дело не доведено до конца, то это только случайная, пустая задержка…

Что значат эти несколько сот метров, отделяющих его от Волги, полуразрушенные заводы, обгоревшие, пустые коробки домов по сравнению

с грандиозными пространствами, захваченными во время летнего наступления… Но и от египетского оазиса отделяли Роммеля несколько километров пустыни. И для полного торжества в поверженной Франции не хватило нескольких дюнкеркских часов и километров… Всегда и всюду недостает нескольких километров до окончательного разгрома противника, всегда и всюду пустые фланги, огромные пространства за спиной победоносных войск, нехватка резервов.

Минувшее лето! То, что он пережил в те дни, дано, видно, испытать лишь однажды в жизни. Он ощутил на своем лице дыхание Индии. Если б лавина, сметающая леса, выжимающая из русел реки, способна была чувствовать, то она бы чувствовала именно то, что ощущал он в те дни.

В эти дни мелькнула мысль, что немецкое ухо привыкло к имени Фридриха, — конечно, шутливая, несерьезная мысль, но все же была она. Но именно в эти дни злая, жесткая песчинка скрипнула не то под ногой, не то на зубах. В штабе царило торжественное и счастливое напряжение. Он принимал от командиров частей письменные рапорты, устные рапорты, радиорапорты, телефонные рапорты. Казалось, то уж не тяжелая боевая работа, а символическое выражение

немецкого торжества… Паулюс взял телефонную трубку. «Господин генерал-полковник…» Он узнал по голосу, кто говорит, интонация военных будней совершенно не гармонировала с колоколами в воздухе и в эфире.

Командир дивизии Веллер доложил, что русские на его участке перешли в наступление, их пехотному подразделению, примерно усиленному батальону, удалось прорваться на запад и занять сталинградский вокзал.

Именно с этим ничтожным происшествием прочно связалось рождение томящего чувства.

Шмидт прочел вслух проект боевого приказа, слегка расправил плечи и приподнял подбородок, знак того, что чувство официальности не покидает его, хотя между ним и командующим хорошие личные отношения.

И неожиданно, понизив голос, генерал-полковник, совсем не по-военному, не по-генеральски, сказал странные, смутившие Шмидта, слова:

— Я верю в успех. Но знаете что? Ведь наша борьба в этом городе совершенно не нужна, бессмысленна.

— Несколько неожиданно со стороны командующего войсками в Сталинграде, — сказал Шмидт.

— Вы считаете — неожиданно? Сталинград перестал существовать как центр коммуникаций и центр тяжелой промышленности. Что нам тут делать после этого? Северо-восточный фланг кавказских армий можно заслонить по линии Астрахань — Калач. Сталинград не нужен для этого. Я верю в успех, Шмидт: мы захватим Тракторный завод. Но этим мы не закроем нашего фланга. Фон Вейхс не сомневается, что русские ударят. Блеф их не остановит.

Шмидт проговорил:

— В движении событий меняется их смысл, но фюрер никогда не отступал, не решив задачи до конца.

Паулюсу казалось, что беда именно в том, что самые блестящие победы не дали плодов, так как не были с упорством и решительностью доведены до конца; в то же время ему казалось, что в отказе от решения потерявших смысл задач проявляется истинная сила полководца.

Но, глядя в настойчивые и умные глаза генерала Шмидта, он сказал:

— Не нам навязывать свою волю великому стратегу.

Он взял со стола текст приказа о наступлении и подписал его.

— Четыре экземпляра, учитывая особую секретность, — сказал Шмидт.

14

Часть, в которую прибыл из штаба степной армии Даренский, находилась на юго-восточном фланге Сталинградского фронта, в безводных прикаспийских песках.

Расположенные у озерной и речной воды степи представлялись теперь Даренскому чем-то вроде обетованной земли, — там рос ковыль, кое-где росли деревья, ржали лошади.

В пустынной песчаной равнине обосновались тысячи людей, привыкших к влажному воздуху, к росе на зорьке, к шороху сена. Песок сечет их по коже, лезет в уши, скрипит в пшене и в хлебе, песок в соли и в винтовочном затворе, в механизме часов, песок в солдатских сновидениях… Телу человеческому, ноздрям, гортани, икрам ног здесь трудно. Тело жило здесь, как живет телега, сошедшая с накатанной колеи и со скрипом ползущая по бездорожью.

Весь день ходил Даренский по артиллерийским позициям, говорил с людьми, писал, снимал схемы, осматривал орудия, склады боеприпасов. К вечеру он выдохся, голова гудела, болели ноги, не привыкшие ходить по сыпучей песчаной почве.

Даренский давно заметил, что в дни отступления генералы бывают особо внимательны к нуждам подчиненных; командующие и члены Военных советов щедро проявляют самокритичность, скептицизм и скромность.

Никогда в армии не появляется столько умных, все понимающих людей, как в пору жестоких отступлений, превосходства противника и гнева Ставки, ищущей виновников неудач.

Но здесь, в песках, людьми владело сонное безразличие. Штабные и строевые командиры словно уверились, что интересоваться им на этом свете нечем, все равно и завтра, и послезавтра, и через год будет песок.

Ночевать Даренского пригласил к себе начальник штаба артиллерийского полка подполковник Бова. Бова, несмотря на свою богатырскую фамилию, был сутул, плешив, плохо слышал на одно ухо. Он как-то приезжал по вызову в штаб артиллерии фронта и поразил всех необычайной памятью. Казалось, что в его плешивой голове, посаженной на узкие сутулые плечи, ничего не могло существовать, кроме цифр, номеров батарей и дивизионов, названий населенных пунктов, командирских фамилий, обозначений высот.

Бова жил в дощатой хибарке со стенами, обмазанными глиной и навозом, пол был покрыт рваными листами толя. Хибарка эта ничем не отличалась от других командирских жилищ, разбросанных в песчаной равнине.

— А, здорово! — сказал Бова и размашисто пожал руку Даренскому. — Хорошо, а? — и он показал на стены. — Вот здесь зимовать в собачьей будке, обмазанной дерьмом.

— Да, помещение так себе! — сказал Даренский, удивляясь тому, что тихий Бова стал совершенно на себя не похож.

Он усадил Даренского на ящик из-под американских консервов и налил ему водки в мутный, с краями, запачканными высохшим зубным порошком, граненый стакан, пододвинул зеленый моченый помидор, лежавший на раскисшем газетном листе.

— Прошу, товарищ подполковник, вино и фрукты! — сказал он.

Даренский опасливо, как все непьющие, отпил немного, отставил стакан подальше от себя и начал расспрашивать Бову об армейских делах. Но Бова уклонялся от деловых разговоров.

— Эх, товарищ подполковник, — сказал он, — забил я себе голову службой, ни на что не отвле-

кался, какие бабы были, когда мы на Украине стояли, а на Кубани, боже мой... и ведь давали охотно, только мигни! А я, дурак, просиживал задницу в оперативном отделе, спохватился поздно, среди песков!

Даренский, вначале сердившийся, что Бова не хочет говорить о средней плотности войск на километр фронта и о преимуществах минометов над артиллерией в условиях песчаной пустыни, все же заинтересовался новым оборотом разговора.

— Еще бы, — сказал он, — на Украине женщины замечательно интересные. В сорок первом году, когда штаб стоял в Киеве, я встречался с одной особой, украинкой, она была женой работника прокуратуры, красавица!

Он привстал, поднял руку, коснулся пальцами низенького потолка, добавил:

— Касаемо Кубани я с вами тоже спорить не собираюсь. Кубань можно поставить в этих смыслах на одно из первых мест, необычайно высокий процент красавиц.

На Бову слова Даренского сильно подействовали.

Он выругался и плачущим голосом закричал:

— А теперь калмычки, пожалуйста!

— Не скажите! — перебил его Даренский и довольно складно произнес речь о прелести смуглых и скуластых, пропахших полынью и степным дымом женщин. Он вспомнил Аллу Сергеевну из штаба степной армии и закончил свою речь: — Да и вообще вы не правы, женщины всюду есть. В пустыне воды нет, это верно, а дамы есть.

Но Бова не ответил ему. Тут Даренский заметил, что Бова спит, и лишь в этот момент сообразил, что хозяин его был совершенно пьян.

Бова спал с храпом, напоминающим стоны умирающего, голова его свесилась с койки. Даренский с тем особым терпением и добротой, которые возникают у русских мужчин к пьяным, подложил Бове под голову подушку, постелил ему под ноги газету, утер ему слюнявый рот и стал оглядываться, где бы самому устроиться.

Даренский положил на пол шинель хозяина, а поверх хозяйской кинул свою шинель, под голову пристроил свою раздутую полевую сумку, служившую ему в командировках и канцелярией, и продовольственным складом, и вместилищем умывальных принадлежностей.

Он вышел на улицу, вдохнул холодный ночной воздух, ахнул, взглянув на неземное пламя в черном азиатском небе, справил малую нужду, все

поглядывая на звезды, подумал: «Да, космос», — и пошел спать.

Он лег на хозяйскую шинель, прикрылся своей шинелью и вместо того, чтобы закрыть глаза, широко раскрыл их, — его поразила безрадостная мысль.

Беспросветная бедность окружает его! Вот и лежит он на полу, глядит на объедки моченых помидоров, на картонный чемодан, в котором, наверное, лежит куцее вафельное полотенце с большим черным клеймом, мятые подворотнички, пустая кобура, продавленная мыльница.

Изба в Верхне-Погромном, где осенью ночевал он, кажется ему сегодня богатой. А через год эта сегодняшняя хибарка покажется роскошной, вспомнится в какой-нибудь яме, где уж не будет бритвы, не будет чемодана, не будет рваных портянок.

За те месяцы, что он работал в штабе артиллерии, в его душе произошли большие перемены. Жажда работы, являвшаяся такой же могучей потребностью, как желание пищи, была удовлетворена. Он уж не чувствует себя счастливым оттого, что работал, ведь не чувствует себя счастливым постоянно сытый человек.

Работал Даренский хорошо, начальство очень

ценило его. Первое время это радовало его, — он не привык к тому, что его считали незаменимым, нужным. За долгие годы он привык к обратному.

Даренский не задумывался, почему возникшее в нем чувство превосходства над сослуживцами не рождало в нем снисходительной благожелательности к товарищам по работе — черты истинно сильных людей. Но, очевидно, он не был сильным.

Он часто раздражался, кричал и ругался, потом страдальчески смотрел на обиженных им людей, но никогда не просил у них прощения. На него обижались, но не считали его плохим человеком. К нему в штабе Сталинградского фронта относились, пожалуй, еще лучше, чем относились к Новикову в свое время в штабе Юго-Западного. Говорили, что целые страницы его докладных записок используются при отчетах больших людей перед еще большими людьми в Москве. Оказалось, что в трудное время и ум, и работа его были важны и полезны. А жена за пять лет до войны ушла от него, считая, что он враг народа, сумевший обманно скрыть от нее свою дряблую, двурушническую сущность. Он часто не получал работы из-за плохих анкетных данных, — и по линии отца, и по линии матери. Сперва он оби-

жался, узнав, что место, в котором ему отказали, занял человек, отличавшийся глупостью либо невежеством. Потом Даренскому представлялось, что действительно ему нельзя доверить ответственную оперативную работу. После лагеря он совсем уж всерьез стал ощущать свою неполноценность.

И вот в пору ужасной войны оказалось не так.

Натягивая на плечи шинель, отчего ноги сразу ощущали холодный воздух, идущий от двери, Даренский думал о том, что теперь, когда его знания и способности оказались нужны, он валяется на полу в курятнике, слышит пронзительный, отвратный крик верблюдов, мечтает не о курортах и дачах, а о чистой паре подштанников и о возможности помыться с обмылочком стирального мыла.

Он гордился, что его возвышение не связано ни с чем материальным. Но одновременно это раздражало его.

Его уверенность и самомнение сочетались с постоянной житейской робостью. Жизненные блага, казалось Даренскому, никогда не причитались ему.

Это ощущение постоянной неуверенности, постоянная, ставшая привычной, денежная нуж-

да, всегдашнее ощущение своей бедной, старой одежды были привычны ему с детских лет.

И ныне, в пору успеха, это ощущение не покидало его.

Мысль, что он придет в столовую Военного совета и буфетчица скажет: «Товарищ подполковник, вам надо питаться в столовой Военторга», наполняла его страхом. Потом, где-нибудь на заседании, какой-нибудь генерал-шутник подмигнет: «Ну как, подполковник, наваристый борщ в столовой Военного совета?» Он всегда поражался хозяйской уверенности, с которой не только генералы, но и газетные фотографы ели, пили, требовали бензин, обмундирование, папиросы в тех местах, где им не полагалось ни бензина, ни папирос.

Так шла жизнь, — отец его годами не мог устроиться на работу, постоянной кормилицей семьи была мать, работавшая стенографисткой.

Среди ночи Бова перестал храпеть, и Даренский, прислушиваясь к тишине, идущей от его койки, забеспокоился.

Бова неожиданно спросил:

— Вы не спите, товарищ подполковник?

— Нет, не спится, — ответил Даренский.

— Простите, что не устроил вас получше, упил-

ся я, — сказал Бова. — А сейчас голова ясная, точно не пил ничего. Вот, понимаете, лежу и думаю: как же это мы очутились в этой жуткой местности. Кто нам помог в такую дыру попасть?

— Кто ж помог, немцы, — ответил Даренский.

— Да вы перебирайтесь на койку, я на пол лягу, — сказал Бова.

— Ну что вы, мне и здесь хорошо.

— Неудобно как-то, по кавказскому обычаю не полагается: хозяин на койке, гость на полу.

— Ничего, ничего, мы не кавказцы.

— Почти уж кавказцы, предгорья Кавказа рядом. Немцы, говорите, помогли, да вот, понимаете, не только немцы, и мы себе помогли.

Бова, очевидно, привстал: койка сильно заскрипела.

— Мд-д-а, — произнес он.

— Да-да-да, — сказал с пола Даренский.

Бова толкнул разговор в особое, необычное русло, и они оба молчали, раздумывая, надо ли начинать такой разговор с человеком малознакомым. И, видимо, раздумье это привело к выводу, что подобный разговор с малознакомым человеком вести не следует.

Бова закурил.

Когда спичка вспыхнула, Даренский увидел

лицо Бовы, оно казалось помятым и угрюмым, чужим.

Даренский тоже закурил.

Бова при свете спички увидел лицо Даренского, приподнявшегося на локте, оно казалось холодным и недобрым, чужим.

Именно после этого почему-то и пошел разговор, который не следовало вести.

— Да, — произнес Бова, но на этот раз не протяжно, а коротко и резко, — бюрократизм и бюрократы вот помогли нам докатиться сюда.

— Бюрократизм, — сказал Даренский, — дело плохое. Водитель мой сказал: до войны в деревне такой бюрократизм был, что без поллитры никто справки не напишет в колхозе.

— А вы не смейтесь, не до смеха, — прервал Бова, — знаете, бюрократизм — не шуточка, он в мирное время доводил людей черт знает до чего. А в условиях переднего края бюрократизм может быть и похуже. Вот в летных частях случай: летчик выбросился из горящей машины, «мессер» его сшиб, сам цел остался, а штаны на нем обгорели. И вот, не выдают ему штанов! Скандал прямо, зам по хозяйственной отказывает: не вышел срок износа, и все! И трое суток летчик просидел без штанов, пока не дошло дело до командира

соединения.

— Ну, это, извините, ерунда, — сказал Даренский, — оттого, что где-то дурак замешкался с выдачей штанов, от этого не отступают от Бреста до прикаспийской пустыни. Пустое — волокита.

Бова кисло покряхтел и сказал:

— Разве я говорю, что именно от штанов. А вот вам случай: попало в окружение пехотное подразделение, стали люди голодать. Получила летная часть приказ сбрасывать им продукты на парашютах. А интендантство отказалось выдать продукты, — нам нужно, говорят, чтобы на накладной расписывались, а как же они внизу распишутся, если им с самолета будут эти мешки сбрасывать? Уперся интендант и не дает. Уломали, — приказным порядком.

Даренский усмехнулся.

— Комический случай, но опять же мелочь. Педантство. В условиях переднего края бюрократизм может жутко проявить себя. Знаете приказ: «Ни шагу назад»? Вот молотит немец по сотням людей, а стоит отвести их за обратный скат высоты, и люди будут в безопасности, и тактического проигрыша никакого, и техника сохранится. Но вот есть приказ: «Ни шагу назад», — и держат под огнем и губят технику, губят людей.

— Вот-вот, совершенно верно, — сказал Бова, — в сорок первом году двух полковников к нам в армию из Москвы прислали проверить этот самый приказ «Ни шагу назад». А машины у них не было, а мы за трое суток от Гомеля на двести километров драпанули. Я полковников взял к себе в полуторку, чтобы их немцы не захватили, а они трясутся в кузове и меня просят: «Дайте нам материалы по внедрению приказа «Ни шагу назад»… Отчетность, ничего не поделаешь.

Даренский набрал воздуху в грудь, словно собравшись нырнуть поглубже, и, видимо, нырнул, сказал:

— Бюрократизм страшен, когда красноармеец, пулеметчик, защищая высоту один против семидесяти немцев, задержал наступление, погиб, армия склонила, обнажила голову перед ним, а его чахоточную жену вышибают из квартиры и предрайсовета кричит на нее: вон, нахалка! Бюрократизм — это, знаете, когда человеку велят заполнить двадцать четыре анкеты и он в конце концов сам признается на собрании: «Товарищи, я не наш человек». Вот когда человек скажет: да, да, государство рабоче-крестьянское, а мои папа и мама дворяне, нетрудовой элемент, выблядки, гоните меня в шею, тогда — порядок.

— А я в этом бюрократизма не вижу, — возразил Бова. — Действительно так, государство рабоче-крестьянское, и управляют им рабочие и крестьяне. Что ж тут плохого? Это справедливо. Буржуазное государство ведь не доверяет голоте.

Даренский опешил, казалось, что собеседник мыслит совсем не в ту сторону.

Бова зажег спичку и, не прикуривая, посветил ею в сторону Даренского.

Даренский прищурился с чувством, с каким попадают на боевом поле в свет чужого прожектора.

А Бова сказал:

— Я вот — чистого рабочего происхождения, отец был рабочий, дед — рабочий. Анкета у меня — стеклышко. А оказывается, я тоже не годился до войны.

— Почему же не годились? — спросил Даренский.

— Я не вижу бюрократизма, если в рабоче-крестьянском государстве относятся осмотрительно к дворянам. Но вот почему меня, рабочего, перед войной взяли за шкирку? Я не знал, то ли картошку пойти перебирать на склад Союзплодоовощи, то ли улицы подметать. А я как раз высказывался с классовой точки: покритиковал начальство,

уж очень красиво жило. Вот мне и дали по шее. Здесь, по-моему, он и есть, главный корешок бюрократизма: если рабочий страдает в своем государстве.

Даренский сразу почувствовал, что собеседник в этих своих словах коснулся чего-то очень значительного, и, так как говорить о том, что волновало, пекло душу, не было в его обычае, да и не было в привычке слушать это от других, он ощутил нечто непередаваемо хорошее: счастье, без оглядки, без страха высказываться, спорить о том, что особенно тревожит ум, будоражит и о чем именно вследствие того, что оно тревожит и будоражит, он ни с кем не говорил.

Но здесь, на полу, в хибарке, ночью в беседе со скромным выпившим и протрезвившимся армейцем, чувствуя вокруг себя присутствие людей, прошедших от Западной Украины до этой пустыни, все, казалось, было по-иному. И простое, естественное, желанное и нужное, но недоступное, немыслимое, — искренний разговор человека с человеком, — совершилось!

— В чем вы не правы? — сказал Даренский. — В сенат буржуи не пускают голытьбу, и это верно, но, если голоштанник стал миллионером, его пускают в сенат. Форды из рабочих вышли. У нас

на командные посты не пускают буржуазию и помещиков, это правильно. Но если ставят каинову печать на человека-трудягу только за то, что его отец или дед были кулаками либо священниками, это совсем другое дело. В этом нет классовой точки зрения. А думаете, не встречал я во время своих лагерных мытарств рабочих-путиловцев и донецких шахтеров? Сколько хочешь! Наш бюрократизм страшен, когда думаешь: это не нарост на теле государства, — нарост можно срезать. Он страшен, когда думаешь: бюрократизм и есть государство. А во время войны умирать за начальников отделов кадров никто не хочет. Написать на просьбе «отказать» либо выгнать из кабинета солдатскую вдову может любой холуй. А чтобы выгнать немца, нужно быть сильным, настоящим человеком.

— Это точно, — сказал Бова.

— Я не в обиде. Низкий поклон, до земли поклон. И спасибо! Я счастлив! Тут другое плохо: для того, чтобы я был счастлив и мог отдать России свои силы, должно вот такое жуткое время прийти — горькое. Тогда уж и бог с ним, с этим счастьем моим — будь оно проклято.

Даренский ощущал, что все же он не докопался до главного, что составляло суть их разговора, что

осветило бы жизнь ясным и простым светом, но вот он размышлял и говорил о том, о чем обычно не размышлял и не говорил, и это доставляло ему радость. Он сказал своему собеседнику:

— Знаете, я никогда в жизни, как бы все ни сложилось, не буду жалеть об этом ночном разговоре с вами.

15

Михаил Сидорович провел более трех недель в изоляторе при ревире. Кормили его хорошо, дважды его осматривал врач-эсэсовец, прописал ему вливание глюкозы.

Первые часы заключения Михаил Сидорович, ожидая вызова на допрос, беспрерывно досадовал на себя: зачем вел разговоры с Иконниковым: очевидно, юродивый его выдал, подсунул ему перед обыском компрометирующие бумаги.

Шли дни, а Мостовского не вызывали. Он обдумывал темы политических бесед с заключенными, размышлял, кого из них можно привлечь к работе. Ночью, в бессоннице, он составлял текст листовок, подбирал слова для лагерного разговорника, чтобы облегчить общение между людьми разных национальностей.

Он припоминал старинные правила конспирации, исключающие возможность всеобщего провала в случае доноса провокаторов.

Михаилу Сидоровичу хотелось расспросить Ершова и Осипова о первых шагах организации: он был уверен, что сумеет преодолеть предубеждение Осипова к Ершову.

Жалким казался ему Чернецов, ненавидящий большевизм и одновременно жаждущий победы Красной Армии. Думая о предстоящем допросе, он был почти спокоен.

Ночью у Михаила Сидоровича был сердечный припадок. Он лежал, упершись головой в стену, в ужасной тоске, какая приходит к умирающим в тюрьмах. От боли Мостовской на время потерял сознание. Он пришел в себя, боль ослабела, грудь, лицо, ладони покрылись потом. В мыслях наступила кажущаяся, мнимая ясность.

Разговор о мировом зле с итальянским священником связался в его памяти с чувством счастья, испытанным мальчиком, когда внезапно хлынул дождь и мальчик вбежал в комнату, где шила мать; с женой, приехавшей к нему в енисейскую ссылку, с ее мокрыми от слез, счастливыми глазами; с бледным Дзержинским, которого он спросил на партийном съезде о судьбе милого юноши-эсера. «Расстрелян», — сказал Дзержинский. Тоскливые глаза майора Кириллова… На санках тащат покрытый простыней труп его друга, в дни ленинградской блокады не принявшего от него помощи.

Мальчишеская вихрастая голова, полная мечтаний, и этот большой лысый череп, прижавшийся

к шершавым лагерным доскам.

Прошло несколько времени, и далекое стало уходить, становилось площе, теряло окраску. Казалось, он медленно погружается в прохладную воду. Он заснул, чтобы в предутреннем мраке вновь услышать вой сирен и встретить новый день.

Днем Михаила Сидоровича повели в ревирскую баню. Недовольно вздыхая, он осматривал свои худые руки, впалую грудь.

«Да, старость не проходит», — думал он.

Когда солдат-конвоир, разминая в пальцах сигарету, вышел за дверь, узкоплечий рябой лагерник, вытиравший шваброй цементный пол, сказал Мостовскому:

— Ершов велел передать вам сводку. В районе Сталинграда наши отбивают все атаки фрицев. Майор велел передать, что дела в порядке. Майор велел вам написать листовку и передать при следующей бане.

Мостовской хотел сказать, что у него нет карандаша и бумаги, но в это время вошел охранник.

Одеваясь, Михаил Сидорович нащупал в кармане пакет. Там лежали десять кусков сахара, увязанный в тряпочку кусок сала, кусок белой бумаги и огрызок карандаша.

И чувство счастья охватило Мостовского. Может ли он желать большего! Кончить жизнь не в ничтожных тревогах о склерозе, желудке, сердечных спазмах.

Он прижал к груди кусочки сахара, карандашик.

Ночью унтер-офицер-эсэсовец вывел его из ревира, повел по улице. Холодный ветер порывами дул в лицо. Михаил Сидорович оглянулся в сторону спящих бараков, подумал: «Ничего, ничего, нервы у товарища Мостовского не сдадут, спите, ребята, спокойно».

Они вошли в двери лагерного управления. Здесь уже не пахло лагерным аммиаком, ощущался холодный табачный дух. Мостовской заметил на полу большой окурок, и ему захотелось поднять его.

Минуя второй этаж, они поднялись на третий, конвоир велел Мостовскому вытереть ноги о половик и сам долго шаркал подошвами. Мостовской, задохнувшийся от подъема по лестнице, старался успокоить дыхание.

Они зашагали по ковровой дорожке, устилавшей коридор.

Милый, спокойный свет шел от ламп — маленьких полупрозрачных тюльпанов. Они прошли

мимо полированной двери с небольшой дощечкой «Комендант» и остановились перед такой же нарядной дверью с надписью «Штурмбаннфюрер Лисс».

Мостовской часто слышал эту фамилию — это был представитель Гиммлера при лагерном управлении. Мостовского смешило, что генерал Гудзь сердился, почему Осипова допрашивал сам Лисс, а его, Гудзя, один из помощников Лисса. Гудзь видел в этом недооценку строевого командования.

Осипов рассказывал, что Лисс допрашивал его без переводчика, — он был рижским немцем, знал русский язык.

В коридор вышел молодой офицер, сказал несколько слов конвойному, впустил Михаила Сидоровича в кабинет, оставив дверь открытой.

Кабинет был пуст. Ковер на полу, цветы в вазе, на стене картина: опушка леса, красные черепичные крыши крестьянских домов.

Мостовской подумал, что попал в кабинет директора скотобойни, — рядом хрип умирающих животных, дымящиеся внутренности, забрызганные кровью люди, а у директора покой, ковры, и только черные телефонные аппараты на столе говорят о связи скотобойни с этим кабинетом.

Враг! Какое простое и ясное слово. Снова вспомнился Чернецов, — какая жалкая судьба в эпоху «штурм унд дранг». Зато в нитяных перчатках. И Мостовской посмотрел на свои ладони и пальцы.

В глубине кабинета открылась дверь. И тут же скрипнула дверь, ведущая в коридор, — видимо, дежурный прикрыл ее, увидя, что Лисс в кабинете.

Мостовской стоял наморщившись, ждал.

— Здравствуйте, — тихо произнес невысокий человек с эсэсовской эмблемой на рукаве серого мундира.

В лице Лисса не было ничего отталкивающего, и потому особенно страшно показалось Михаилу Сидоровичу смотреть на него, — горбоносое лицо, с внимательными темно-серыми глазами, лобастое, с бледными, худыми щеками, придававшими ему выражение трудовой аскетичности.

Лисс выждал, пока Михаил Сидорович прокашлялся, и сказал:

— Мне хочется говорить с вами.

— А мне не хочется говорить с вами, — ответил Мостовской и покосился на дальний угол, откуда должны были появиться помощники Лисса, — чернорабочие заплечных дел, ударить старика по уху.

— Я вполне понимаю вас, — сказал Лисс, — садитесь.

И он усадил Мостовского в кресло, сел рядом с ним.

Говорил он по-русски каким-то бестелесным, пепельно-холодным языком, которым пишутся научно-популярные брошюры.

— Вы себя плохо чувствуете?

Михаил Сидорович пожал плечами и ничего не ответил.

— Да-да, я знаю. Я направил к вам врача, он сказал мне. Я вас потревожил среди ночи. Но мне очень хотелось разговаривать с вами.

«Еще бы», — подумал Михаил Сидорович и сказал:

— Я вызван на допрос. А разговаривать нам с вами не о чем.

— Почему? — спросил Лисс. — Вы смотрите на мой мундир. Но я не родился в нем. Вождь, партия шлют, и люди идут, солдаты партии. Я всегда был теоретиком в партии, я интересуюсь вопросами философии, истории, но я член партии. Разве каждый ваш работник НКВД любит Лубянку?

Мостовской следил за лицом Лисса, и ему подумалось, что это бледное, высоколобое лицо надо нарисовать в самом низу антропологической

таблицы, а эволюция пойдет от него вверх и придет к заросшему шерстью неандертальскому человеку.

— Если бы Центральный Комитет поручил вам укрепить работу в Чека, разве вы можете отказаться? Отложили Гегеля и пошли. Мы тоже отложили Гегеля.

Михаил Сидорович покосился на говорившего, — странно, кощунственно звучало имя Гегеля, произносимое грязными губами… В трамвайной давке к нему подошел опасный, опытный воръюга и затеял разговор. Стал бы он слушать — он только следил бы за его руками, вот-вот сверкнет бритва, ударит по глазам.

А Лисс поднял ладони, посмотрел на них, сказал:

— Наши руки, как и ваши, любят большую работу, не боятся грязи.

Михаил Сидорович поморщился, такими нестерпимыми показались движение и слова, повторившие его собственные.

Лисс заговорил быстро, оживленно, точно уже раньше разговаривал с Мостовским и теперь радовался, что может закончить прерванный, недоконченный разговор.

— Нужно двадцать летных часов, и вы сидите

в кресле в советском городе Магадане, в своем кабинете. У нас — вы у себя дома, но вам не повезло. Мне очень больно, когда ваша пропаганда начинает вместе с пропагандой плутократий писать про партайюстицию.

Он покачал головой. И вновь посыпались ошеломляющие, неожиданные, страшные и нелепые слова:

— Когда мы смотрим в лицо друг другу, мы смотрим не только на ненавистное лицо, мы смотрим в зеркало. В этом трагедия эпохи. Разве вы не узнаете себя, свою волю в нас? Разве для вас мир не есть ваша воля, разве вас можно поколебать, остановить?

Лицо Лисса приблизилось к лицу Мостовского.

— Понимаете вы меня? Я не хорошо владею русским языком, но мне очень хочется, чтобы вы поняли. Вам кажется, вы ненавидите нас, но это кажется: вы ненавидите самих себя в нас. Ужасно, правда? Вы понимаете?

Михаил Сидорович решил молчать, Лисс не втянет его в разговор.

Но на миг ему показалось, что человек, вглядывающийся в его глаза, не собирается его обмануть, а искренне напрягается, подбирает слова. Казалось, он жаловался, просил помочь разобраться в

том, что мучило его.

Томительно нехорошо стало Михаилу Сидоровичу. Казалось, иголка кольнула в сердце.

— Понимаете, понимаете? — быстро говорил Лисс, и он уже не видел Мостовского, так растревожен был он. — Мы наносим удар по вашей армии, но мы бьем себя. Наши танки прорвали не только вашу границу, но и нашу, гусеницы наших танков давят немецкий национал-социализм. Ужасно, какое-то самоубийство во сне. Это может трагически кончиться для нас. Понимаете? Если мы победим! Мы, победители, останемся без вас, одни против чужого мира, который нас ненавидит.

Слова этого человека легко было опровергнуть. А глаза его еще ближе приблизились к Мостовскому. Но было нечто еще более гадкое, опасное, чем слова опытного эсэсовского провокатора. Было то, что иногда то робко, то зло шевелилось, скреблось в душе и мозгу Мостовского. Это были гадкие и грязные сомнения, которые Мостовской находил не в чужих словах, а в своей душе.

Вот человек боится болезни, злокачественной опухоли, он не ходит к врачу, старается не замечать своих недомоганий, избегает разговоров с близкими о болезнях. И вот ему говорят: «Ска-

жите, а у вас бывают вот такие боли, обычно по утрам, обычно после того как… да, да…»

— Вы понимаете меня, учитель? — спросил Лисс. — Один немецкий человек, вы хорошо знаете его умную работу, сказал, что трагедия всей жизни Наполеона была в том, что он выразил душу Англии и именно в Англии имел своего смертоносного врага.

«Ох, лучше бы сразу приступили к мордобою, — подумал Михаил Сидорович и сообразил: — А, это он о Шпенглере».

Лисс закурил, протянул портсигар Мостовскому.

Михаил Сидорович отрывисто сказал:

— Не хочу.

Ему стало спокойней от мысли, что все жандармы в мире, и те, что допрашивали его сорок лет назад, и этот, говорящий о Гегеле и Шпенглере, пользуются одним идиотическим приемом: угощают арестованного папиросами. Да, собственно, все это от расстроенных нервов, от неожиданности — ждал мордобития, и вдруг нелепый отвратительный разговор. Но ведь и некоторые царские жандармы разбирались в политических вопросах, а были среди них по-настоящему образованные люди, один даже «Капитал» изучал. Но

вот интересно — бывало ли такое с жандармом, изучавшим Маркса, — вдруг, где-то в глубине, шевелилась мысль: а может быть, Маркс прав? Что же жандарм переживал тогда? Отвращение, ужас перед своим сомнением? Но уж, во всяком случае, жандарм не становился революционером. Он затаптывал свое сомнение, оставался жандармом… А я-то, я-то ведь тоже затаптываю свои сомнения. Но я, я ведь остаюсь революционером.

А Лисс, не заметив, что Мостовской отказался от сигареты, пробормотал:

— Да-да, пожалуйста, правильно, очень хороший табак, — закрыл портсигар и совсем расстроился. — Почему вас так удивляет мой разговор? Вы ждали другой разговор? А разве у вас на Лубянке нет образованных людей? Таких, чтобы могли поговорить с академиком Павловым, с Ольденбургом? Но они имеют цель. А у меня нет тайной цели. Даю вам честное слово. Меня мучит то, что мучит вас.

Он улыбнулся, добавил:

— Честное слово гестаповца, а это не шутка.

Михаил Сидорович повторял про себя: «Молчать, главное — молчать, не вступать в разговор, не возражать».

Лисс продолжал говорить, и снова казалось,

что он забывает о Мостовском.

— Два полюса! Конечно, так! Если бы это не было совершенно верно, не шла бы сегодня наша ужасная война. Мы ваши смертельные враги, да-да. Но наша победа — это ваша победа. Понимаете? А если победите вы, то мы и погибнем, и будем жить в вашей победе. Это как парадокс: проиграв войну, мы выиграем войну, мы будем развиваться в другой форме, но в том же существе.

Для чего этот всесильный Лисс, вместо того чтобы смотреть трофейные кинофильмы, пить водку, писать доклад Гиммлеру, читать книги по цветоводству, перечитывать письма дочери, баловаться с молодыми девушками, отобранными с очередного эшелона, либо, приняв лекарство, улучшающее обмен веществ, спать в своей просторной спальне, вызвал к себе ночью старого, пропахшего лагерным зловонием русского большевика?

Что задумал он? Для чего скрывает он свои цели, что хочет выпытать?

Сейчас Михаила Сидоровича не ужасали пытки. Страшно было думать, — а вдруг немец не лжет, вдруг говорит он искренне. Просто человеку захотелось поговорить.

Какая отвратительная мысль: они оба больные, оба измучены одной болезнью, но один не выдержал и говорит, делится, а второй молчит, затаился, но слушает, слушает.

А Лисс, как бы, наконец, отвечая на молчаливый вопрос Мостовского, раскрыл лежащую на столе папку и брезгливо, двумя пальцами, вынул пачку грязных бумаг. И Мостовской сразу узнал их, — это были каракули Иконникова.

Лисс, очевидно, рассчитывал, что, внезапно увидя эти подброшенные Иконниковым бумаги, Мостовской придет в смятение…

Но Михаил Сидорович не растерялся. Он смотрел на исписанные Иконниковым страницы почти радостно: все стало ясно, идиотически грубо и просто, как и всегда бывало при полицейских допросах.

Лисс придвинул к краю стола каракули Иконникова, потом потянул рукопись обратно к себе.

Он вдруг заговорил по-немецки.

— Видите, вот это у вас взяли при обыске. С первых слов я понял, что эту дрянь не вы писали, хотя я и не знаю вашего почерка.

Мостовской молчал.

Лисс постучал пальцем по бумагам, приглашая, — приветливо, настойчиво, доброжела-

тельно.

Но Мостовской молчал.

— Я ошибся? — удивленно спросил Лисс. — Нет! Я не ошибся. У вас и у нас одна гадливость к тому, что здесь написано. Вы и мы стоим вместе, а по другую сторону вот эта дрянь! — и он указал на бумаги Иконникова.

— Давайте, давайте, — торопливо и зло проговорил Мостовской, — перейдем к делу. Эти бумаги? Да, да, они у меня взяты. Вы хотите знать, кто их передал? Не ваше дело. Может быть, я сам написал их. Может быть, вы велели своему агенту сунуть их незаметно мне под матрац. Ясно?

На миг показалось, что Лисс примет вызов, взбесится, крикнет: «У меня есть способы вас заставить отвечать!»

Ему так хотелось этого, так бы все стало просто и легко. Какое простое и ясное слово: враг.

Но Лисс сказал:

— Зачем тут жалкие бумаги? Не все ли равно, кто их писал? Я знаю: не вы и не я. Как мне печально. Подумайте! Кто в наших лагерях, если нет войны, если нет в них военнопленных? В наших лагерях, если нет войны, сидят враги партии, враги народа. Знакомые вам люди, они сидят и в ваших лагерях. И если в спокойное, мирное время

наше Управление имперской безопасности включит в германскую систему ваших заключенных, мы их не выпустим, ваши контингенты — это наши контингенты.

Он усмехнулся.

— Тех немецких коммунистов, которых мы посадили в лагерь, вы тоже посадили в лагерь в тридцать седьмом году. Ежов посадил их, и рейхсфюрер Гиммлер посадил их… Будьте гегельянцем, учитель.

Он подмигнул Мостовскому:

— Я думал, в ваших лагерях знание иностранных языков вам пригодилось бы не меньше, чем в наших. Сегодня вас пугает наша ненависть к иудейству. Может быть, завтра вы возьмете себе наш опыт. А послезавтра мы станем терпимей. Я прошел длинную дорогу, и меня вел великий человек. Вас тоже вел великий человек, вы тоже прошли длинную, трудную дорогу. Вы верили, что Бухарин провокатор? Только великий человек мог вести по этой дороге. Я тоже знал Рема, я верил ему. Но так надо. И вот меня мучит: ваш террор убил миллионы людей, и только мы, немцы, во всем мире понимали: так надо! Совершенно верно! Поймите, как я понимаю. Эта война должна ужасать вас. Не должен был Наполеон

воевать против Англии.

И новая мысль поразила Мостовского. Он даже зажмурился, — то ли от внезапной рези в глазах, то ли хотелось избавиться от этой мучительной мысли. Ведь сомнения его, быть может, не были знаком слабости, бессилия, грязной раздвоенности, усталости, неверия. Может быть, эти сомнения, изредка то робко, то зло вдруг охватывавшие его, и были самым честным, самым чистым, что жило в нем. А он давил их, отталкивал, ненавидел. Может быть, в них-то и есть зерно революционной правды? В них динамит свободы!

Для того чтобы оттолкнуть Лисса, его скользкие, липучие пальцы, нужно лишь перестать ненавидеть Чернецова, перестать презирать юродивого Иконникова! Но нет, нет, еще больше! Нужно отказаться от того, чем жил всю жизнь, осудить то, что защищал и оправдывал…

Но нет, нет, еще больше! Не осудить, а всей силой души, всей революционной страстью своей ненавидеть — лагеря, Лубянку, кровавого Ежова, Ягоду, Берию! Но мало, — Сталина, его диктатуру!

Но нет, нет, еще больше! Надо осудить Ленина! Край пропасти!

Вот она, победа Лисса, победа не в той войне, что шла на полях сражения, а в той, полной змеиного яда, идущей без выстрелов войне, которую вел против него сейчас гестаповец.

Казалось, безумие сейчас охватит его. И вдруг он легко и радостно вздохнул. Мысль, на миг ужаснувшая и ослепившая его, обратилась в пыль, казалась смешной и жалкой. Наваждение длилось несколько секунд. Но неужели даже на секунду, на долю секунды он мог всерьез усомниться в правоте великого дела?

Лисс посмотрел на него, пожевал губами, продолжая говорить:

— На нас сегодня смотрят с ужасом, а на вас с любовью и надеждой? Поверьте, кто смотрит на нас с ужасом — и на вас смотрит с ужасом.

Теперь уж ничто не было страшно Михаилу Сидоровичу. Теперь он знал цену своим сомнениям. Не в болото вели они, как думал он раньше, а в пропасть!

Лисс взял в руки бумаги Иконникова.

— Зачем вы имеете дело с такими людьми? Эта проклятая война все перепутала, все смешала. Ах, если б я имел силу распутать эту путаницу.

Нету путаницы, господин Лисс. Все ясно, все просто. Не в союзе с Иконниковым и Чернецовым

мы осилим вас. Мы достаточно сильны, чтобы расправиться и с вами, и с ними.

Мостовской видел: Лисс объединял все темное, а мусорные ямы одинаково пахнут, все обломки, щепа, битый кирпич одинаковы. Не в мусоре нужно искать существо различия и сходства, а в замысле строителя, в его мысли.

И торжествующая, счастливая злоба не только против Лисса и Гитлера, но и против английского офицера с бесцветными глазами, спрашивавшего его о критике марксизма, против омерзительных речей одноглазого, против раскисляя-проповедника, оказавшегося полицейским агентом, охватила его. Где, где найдут эти люди идиотов, которые поверят, что есть хоть тень сходства между социалистическими государствами и фашистской империей? Лисс, гестаповец, единственный потребитель их гнилого товара. В эти минуты, как никогда раньше, Михаил Сидорович понял внутреннюю связь между фашизмом и его агентами.

И не в этом ли, подумал Михаил Сидорович, гений Сталина: ненавидя и истребляя подобных людей, он один видел тайное братство фашизма с фарисеями, проповедниками ложной свободы. И мысль эта казалась ему настолько очевидной,

что он захотел сказать о ней Лиссу, объяснить ему нелепость его построений. Но он только усмехнулся, он старый воробей, он не дурак Гольденберг, болтавший о делах народовольцев с прокурором судебной палаты.

Уперши глаза прямо на Лисса, громко, — вероятно, голос его слышала стоявшая под дверью охрана, — он сказал:

— Мой совет вам, не теряйте зря времени со мной. Ставьте меня к стенке, сразу вздерните, укокошьте.

Лисс поспешно проговорил:

— Вас никто не хочет кокошить. Успокойтесь, пожалуйста.

— Я не беспокоюсь, — весело сказал Мостовской, — я не собираюсь беспокоиться.

— Надо, надо беспокоиться! Пусть моя бессонница будет вашей бессонницей. В чем, в чем причина нашей вражды, я не могу понять ее... Адольф Гитлер не фюрер, а лакей Стиннесов и Круппов? У вас нет частной собственности на землю? Фабрики и банки принадлежат народу? Вы интернационалисты, мы проповедуем расовую ненависть? Мы подожгли, а вы стараетесь потушить? Нас ненавидят, а на ваш Сталинград смотрит с надеждой человечество? Так говорят

у вас? Чепуха! Пропасти нет! Ее выдумали. Мы форма единой сущности — партийного государства. Наши капиталисты не хозяева. Государство дает им план и программу. Государство забирает их продукцию и прибыль. Они имеют шесть процентов от прибыли для себя — это их заработная плата. Ваше партийное государство тоже определяет план, программу, забирает продукцию. Те, кого вы называете хозяевами, рабочие, — тоже получают заработную плату от вашего партийного государства.

Михаил Сидорович смотрел на Лисса и думал: «Неужели эта подлая болтовня на миг смутила меня? Неужели я мог захлебнуться в этом потоке ядовитой, смердящей грязи?»

Лисс с безнадежностью махнул рукой.

— И над нашим народным государством красное рабочее знамя, и мы зовем к национальному и трудовому подвигу и единству, и мы говорим: «Партия выражает мечту немецкого рабочего». И вы говорите: «Народность, труд». Вы, как и мы, знаете: национализм — главная сила двадцатого века. Национализм — душа эпохи! Социализм в одной стране — высшее выражение национализма!

Я не вижу причину нашей вражды! Но гени-

альный учитель и вождь немецкого народа, наш отец, лучший друг немецких матерей, величайший и мудрый стратег начал эту войну. Но я верю в Гитлера! Я верю, что голова вашего Сталина не затуманена гневом и болью. Он видит правду через дым и огонь войны. Он знает своего врага. Знает, знает, даже теперь, когда обсуждает с ним стратегию войны против нас и пьет бокал за его здоровье. На земле есть два великих революционера: Сталин и наш вождь. Их воля родила национальный социализм государства. Для меня братство с вами важней, чем война с вами из-за восточного пространства. Мы строим два дома, они должны стоять рядом. Мне хочется, учитель, чтобы вы пожили в спокойном одиночестве и думали, думали перед нашей новой беседой.

— К чему? Глупо! Бессмысленно! Нелепо! — сказал Мостовской. — И к чему это идиотское обращение «учитель»!

— О, оно не идиотское, вы и я должны понимать: будущее решается не на полях сражения. Вы лично знали Ленина. Он создал партию нового типа. Он первый понял, что только партия и вождь выражают импульс нации, и покончил Учредительное собрание. Но Максвелл в физике, разрушая механику Ньютона, думал,

что утверждает ее, так Ленин, создавая великий национализм двадцатого века, считал себя создателем Интернационала. Потом Сталин многому нас научил. Для социализма в одной стране надо ликвидировать крестьянскую свободу сеять и продавать, и Сталин не задрожал — ликвидировал миллионы крестьян. Наш Гитлер увидел, — немецкому национальному, социалистическому движению мешает враг — иудейство. И он решил ликвидировать миллионы евреев. Но Гитлер не только ученик, он гений! Ваше очищение партии в тридцать седьмом году Сталин увидел в нашем очищении от Рема — Гитлер тоже не задрожал… Вы должны поверить мне. Я говорил, а вы молчали, но я знаю, я для вас хирургическое зеркало.

Мостовской произнес:

— Зеркало? Все, что вы сказали, — ложь от первого и до последнего слова. Ниже моего достоинства опровергать вашу грязную, зловонную, провокационную болтовню. Зеркало? Да вы что, — окончательно обалдели? Сталинград вас приведет в чувство.

Лисс встал, и Мостовской в смятении, восторге, ненависти подумал: «Сейчас застрелит — и конец!»

Но Лисс словно не слышал слов Мостовского,

почтительно и низко склонился перед ним.

— Учитель, — сказал он, — вы всегда будете учить нас и всегда у нас учиться. Будем думать вместе.

Лицо его было печально и серьезно, а глаза смеялись.

И снова ядовитая иголочка кольнула сердце Михаила Сидоровича. Лисс посмотрел на часы.

— Время не проходит так, даром.

Он позвонил, негромко сказал:

— Возьмите, если вам нужно, это сочинение. Мы скоро увидимся. Гуте нахт.

Мостовской, сам не зная для чего, взял бумаги со стола и сунул в карман.

Его вывели из здания управления, он вдохнул холодный воздух, — как хороша была эта сырая ночь, завывание сирен в дорассветном мраке после гестаповского кабинета, тихого голоса национал-социалистического теоретика.

Когда его подвели к ревиру, по грязному асфальту проехала легковая машина с фиолетовыми фарами. Мостовской понял, что Лисс ехал на отдых, и с новой силой Михаила Сидоровича охватила тоска. Конвойный ввел его в бокс, запер дверь.

Он сел на нары, подумал: «Если б я верил в Бога,

то решил бы, что этот страшный собеседник мне послан в наказание за мои сомнения».

Спать он не мог, уже начинался новый день. Опершись спиной об стену, сколоченную из занозистых шершавых еловых досок, Михаил Сидорович стал вчитываться в каракули Иконникова.

16

«Большинство живущих на земле людей не задается мыслью определить «добро». В чем оно, добро? Кому добро? От кого добро? Есть ли добро общее, применимое ко всем людям, ко всем племенам, ко всем положениям жизни? Или мое добро в зле для тебя, добро моего народа в зле для твоего народа? Вечно ли, неизменно ли добро, или вчерашнее добро сегодня становится пороком, а вчерашнее зло сегодня есть добро?

Приходит пора Страшного суда, и о добре и зле задумываются не только философы и проповедники, а все люди, грамотные и безграмотные.

Подвинулись ли за тысячелетия люди в своих представлениях о добре? Есть ли это понятие, общее для всех людей, несть эллина и иудея, как полагали евангельские апостолы? Несть классов, наций, государств? А быть может, понятие еще более широкое, общее и для животных, для деревьев, мха, то самое широкое, которое вложили в понятие добра Будда и его ученики? Тот Будда, который, чтобы объять добром и любовью жизнь, должен был прийти к ее отрицанию.

Я вижу: возникающие в смене тысячелетий

представления морально-философских вождей человечества ведут к сужению понятия добра.

Христианские представления, отделенные пятью веками от буддийских, сужают мир живого, к которому применимо добро. Не все живое, а лишь люди!

Добро первых христиан, добро всех людей сменилось добром для одних лишь христиан, а рядом жило добро для мусульман, добро иудеев.

Но прошли века, и добро христиан распалось на добро католиков, протестантов, добро православия. И в добре православия возникло добро старой и новой веры.

И рядом шло добро богатых и добро бедных, рядом рождалось добро желтых, черных, белых.

И, все дробясь и дробясь, уже рождалось добро в круге секты, расы, класса, все, кто были за замкнутой кривой, уже не входили в круг добра.

И люди увидели, что много крови пролито из-за этого малого, недоброго добра во имя борьбы этого добра со всем тем, что считало оно, малое добро, злом.

И иногда само понятие такого добра становилось бичом жизни, бóльшим злом, чем зло.

Такое добро — пустая шелуха, из которой выпало, утерялось святое зернышко. Кто вернет людям

утерянное зерно?

Что же есть добро? Говорили так: добро — это помысел и связанное с помыслом действие, ведущее к торжеству, силе человечества, семьи, нации, государства, класса, верования.

Те, кто борется за свое частное добро, стремятся придать ему видимость всеобщности. Поэтому они говорят: мое добро совпадает с всеобщим добром, мое добро необходимо не только мне, оно необходимо всем. Делая добро частное, я служу добру всеобщему.

Так добро, потеряв всеобщность, добро секты, класса, нации, государства, стремится придать себе ложную всеобщность, чтобы оправдать свою борьбу со всем тем, что является для него злом.

Но ведь и Ирод проливал кровь не ради зла, а ради своего, Иродова добра. Новая сила пришла в мир и грозила гибелью ему, его семье, его любимцам и друзьям, его царству, его войску.

Но родилось не зло — родилось христианство. Никогда человечество не слышало таких слов: «Не судите, да не судимы будете. Ибо… каким судом судите, таким будете судимы, и какой мерой мерите, той мерой и вам будут мерить… Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь

за обижающих вас и гонящих вас. И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними; ибо в этом закон и пророки».

Что принесло людям это учение мира и любви?

Византийское иконоборство, пытки инквизиции, борьба с ересями во Франции, в Италии, Фландрии, Германии, борьба протестантства и католичества, коварство монашеских орденов, борьба Никона и Аввакума, многовековый гнет, давивший на науку и свободу, христианские истребители языческого населения Тасмании, злодеи, выжигавшие негритянские деревни в Африке. Все это стоило большего количества страданий, чем злодеяния разбойников и злодеев, творивших зло ради зла…

Такова потрясающая и сжигающая ум судьба самого человеческого учения человечества, оно не избежало общей участи и тоже распалось на круги частного, малого добра.

Жестокость жизни порождает добро в великих сердцах, они несут добро обратно в жизнь, полные желания изменить жизнь по подобию живущего в них добра. Но не круги жизни меняются по образцу и подобию идеи добра, а идея

добра, увязшая в жизненном болоте, дробится, теряет свою всеобщность, служит сегодняшней жизни, не лепит жизнь по прекрасному, но бесплотному образцу своему.

Движение жизни всегда воспринимается сознанием человека как борьба добра и зла, но это не так. Люди, желающие человечеству добра, бессильны уменьшить зло жизни.

Нужны великие идеи, чтобы рыть новое русло, сворачивать камни, рушить скалы, сносить леса, нужны мечты о всеобщем добре, чтобы великие воды дружно текли. Если бы море было наделено мыслью, то при каждой буре в его водах возникала бы идея и мечта счастья и каждая морская волна, дробясь о скалу, считала, что она гибнет ради добра морских вод, ей не приходило бы в голову, что ее подняла сила ветра, так же как сила ветра подняла тысячи волн, бывших до нее, и поднимет тысячи тех, что будут после.

Множество книг написано о том, как бороться со злом, о том, что же зло и что добро.

Но печаль всего этого бесспорна — и вот она: там, где поднимается заря добра, которое вечно и никогда не будет побеждено злом, тем злом, которое тоже вечно, но никогда не победит добра, там гибнут младенцы и старцы и льется кровь.

Не только люди, но и Бог бессилен уменьшить зло жизни.

«Глас в Раме слышен, плач и рыдание и вопль великий: Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет», — и ей, потерявшей своих детей, безразлично, что мудрецы считают добром, а что они считают злом.

Но, может быть, жизнь — зло?

Я увидел непоколебимую силу идеи общественного добра, рожденной в моей стране. Я увидел эту силу в период всеобщей коллективизации, я увидел ее в 1937 году. Я увидел, как во имя идеала, столь же прекрасного и человечного, как идеал христианства, уничтожались люди. Я увидел деревни, умирающие голодной смертью, я увидел крестьянских детей, умирающих в сибирском снегу, я видел эшелоны, везущие в Сибирь сотни и тысячи мужчин и женщин из Москвы, Ленинграда, из всех городов России, объявленных врагами великой и светлой идеи общественного добра. Эта идея была прекрасна и велика, и она беспощадно убила одних, исковеркала жизнь другим, она отрывала жен от мужей, детей от отцов.

Ныне великий ужас германского фашизма встал над миром. Вопли и стоны казненных заполнили воздух. Небо стало черным, погашено

солнце в дыму кремационных печей.

Но и эти невиданные не только во всей Вселенной, но даже человеком на земле преступления творятся во имя добра.

Когда-то я, живя в северных лесах, вообразил, что добро не в человеке, не в хищном мире животных и насекомых, а в молчаливом царстве деревьев. Но нет! Я увидел движение леса, его коварную битву за землю с травами и кустарниками. Миллиарды летучих семян, прорастая, убивают траву, вырезывают дружественный кустарник, миллионы ростков победившего самосева вступают в битву друг с другом. И лишь те, кто выживает, образуют единый полог молодого светолюбивого леса, вступают между собою в союз равных по силе. Ели и буки прозябают в сумеречной каторге под пологом светолюбивого леса.

Но приходит для светолюбивых пора дряхлости, и из-под их полога к свету вырываются тяжеловесные ели, казнят ольху и березу.

Так живет лес в вечной борьбе всех против всех. Лишь слепые мыслят мир добра в царстве деревьев и трав. Неужели жизнь — зло?

Добро не в природе, не в проповеди вероучителей и пророков, не в учениях великих социологов

и народных вождей, не в этике философов… И вот обыкновенные люди несут в своих сердцах любовь к живому, естественно и непроизвольно любят и жалеют жизнь, радуются теплу очага после трудового дня работы и не зажигают костров и пожаров на площадях.

И вот, кроме грозного большого добра, существует житейская человеческая доброта. Это доброта старухи, вынесшей кусок хлеба пленному, доброта солдата, напоившего из фляги раненого врага, это доброта молодости, пожалевшей старость, доброта крестьянина, прячущего на сеновале старика-еврея. Это доброта тех стражников, которые передают с опасностью для собственной свободы письма пленных и заключенных не товарищам по убеждениям, а матерям и женам.

Это частная доброта отдельного человека к отдельному человеку, доброта без свидетелей, малая, без мысли. Ее можно назвать бессмысленной добротой. Доброта людей вне религиозного и общественного добра.

Но задумаемся и увидим: бессмысленная, частная, случайная доброта вечна. Она распространяется на все живущее, даже на мышь, на ту ветку, которую, вдруг остановившись, поправля-

ет прохожий, чтобы ей удобно и легче было вновь прирасти к стволу.

В ужасные времена, когда среди безумий, творимых во имя славы государств и наций и всемирного добра, в пору, когда люди уже не кажутся людьми, а лишь мечутся, как ветви деревьев, и, подобно камням, увлекающим за собой камни, заполняют овраги и рвы, в эту пору ужаса и безумия бессмысленная, жалкая доброта, радиевой крупицей раздробленная среди жизни, не исчезла.

Пришли в деревню немцы, каратели. Накануне на дороге убили двух немецких солдат. С вечера согнали баб, велели рыть яму на опушке леса. На квартиру к одной пожилой женщине поставили несколько солдат. Ее мужа вызвал полицай и повел в контору, оказалось, туда согнали еще двадцать крестьян. Она до утра не спала — немцы нашли в подполе лукошко с яйцами и склянку меда, сами растопили печь, жарили яичницу, пили водку. Потом тот, что постарше, играл на губной гармошке, остальные стучали ногами, подпевали. На хозяйку они не смотрели, словно она не человек, а кошка. Утром, когда рассвело, они стали проверять автоматы, один, тот, что постарше, неловко дернул за спусковой крючок

и выстрелил себе в живот. Поднялся крик, суета. Кое-как немцы перевязали раненого, положили на кровать. Тут их всех позвали. Они знаками велели женщине смотреть за раненым. Женщина видит, — его придушить ничего не стоит: то бормочет, то закрывает глаза, плачет, плямкает губами. Потом вдруг открыл глаза и ясно так сказал: «Матка, воды». «Ох, ты, окаянный, — сказала женщина, — задушить бы тебя». И подала ему воды. А он схватил ее за руку, показывает, посади меня, кровь мне дышать не дает. Она его приподняла, а он руками за ее шею держится. А тут стрельба по селу пошла, бабу так и затрясло.

Потом она рассказывала, как было, но никто не понял, и она объяснить не могла.

Это доброта, осужденная за бессмысленность свою в басне о пустыннике, отогревшем на груди змею. Это доброта, милующая тарантула, кусающего ребенка. Безумная, вредная, слепая доброта!

Люди с удовольствием подбирают в баснях и рассказах примеры того вреда, который приносит и может принести эта бессмысленная доброта. Не надо опасаться ее! Бояться ее — все равно что бояться пресноводной рыбки, случайно занесенной из реки в соленый океан.

Вред, изредка творимый обществу, классу, расе, государству бессмысленной добротой, меркнет в свете, который исходит от людей, наделенных ею.

Она, эта дурья доброта, и есть человеческое в человеке, она отличает человека, она высшее, чего достиг дух человека. Жизнь не есть зло, — говорит она.

Эта доброта бессловесна, бессмысленна. Она инстинктивна, она слепа. В тот час, когда христианство облекло ее в учение отцов церкви, она стала меркнуть, зерно обратилось в шелуху. Она сильна, пока нема, бессознательна и бессмысленна, пока она в живом мраке человеческого сердца, пока не стала орудием и товаром проповедников, пока рудное золото ее не перековано в монету святости. Она проста, как жизнь. Даже проповедь Иисуса лишила ее силы, — сила ее в немоте человеческого сердца.

Но, усомнившись в человеческом добре, я усомнился и в доброте. Я горюю о ее бессилии! Что пользы в ней, она не заразительна.

Я подумал — она бессильна, прекрасна и бессильна, как роса.

Как превратить ее в силу, не иссушив, не растеряв ее, как иссушила и растеряла ее церковь.

Доброта сильна, пока бессильна! Едва человек хочет превратить ее в силу, она теряет себя, меркнет, тускнеет, исчезает.

Теперь я вижу подлинную силу зла. В небесах пусто. На земле лишь человек. Чем тушить зло? Каплями живой росы, человеческой добротой? Но ведь это пламя не потушить водой всех морей и облаков, не потушить его скупой горстью росы, собранной с евангельских времен по сегодняшний железный день…

Так, потеряв веру найти добро в Боге, в природе, я стал терять веру и в доброту.

Но чем шире, больше открывалась мне тьма фашизма, тем ясней видел я, — человеческое неистребимо продолжает существовать в людях на краю кровавой глины, у входа в газовню.

Я закалил свою веру в аду. Моя вера вышла из огня кремационных печей, прошла через бетон газовен. Я увидел, что не человек бессилен в борьбе со злом, я увидел, что могучее зло бессильно в борьбе с человеком. В бессилии бессмысленной доброты тайна ее бессмертия. Она непобедима. Чем глупей, чем бессмысленней, чем беспомощней она, тем огромней она. Зло бессильно перед ней! Пророки, вероучители, реформаторы, лидеры, вожди бессильны перед ней. Она — слепая и

немая любовь — смысл человека.

История людей не была битвой добра, стремящегося победить зло. История человека — это битва великого зла, стремящегося размолоть зернышко человечности. Но если и теперь человеческое не убито в человеке, то злу уже не одержать победы».

Окончив чтение, Мостовской несколько минут сидел, полузакрыв глаза.

Да, это написано потрясенным человеком. Катастрофа убогого духа!

Раскисляй объявил, что небеса пусты… Он видит жизнь, как войну всех против всех. А под конец он поиграл старыми бубенцами, добротой старушек, и собирается клистирной спринцовочкой потушить мировой огонь. Как все это ничтожно!

Глядя на серую стену одиночки, Михаил Сидорович вспомнил голубое кресло, разговор с Лиссом, и тяжелое чувство охватило его. Это была не головная тоска, — затосковало сердце, дышать стало трудно. Видимо, он напрасно заподозрил Иконникова. Писания юродивого вызвали презрительное отношение не только у него, но и у его отвратительного ночного собеседника. Он снова подумал о своем чувстве к Чернецову и о презре-

нии и ненависти, с которыми говорил гестаповец о подобных людях. Мутная тоска, охватившая его, казалась тяжелей физических страданий.

17

Сережа Шапошников указал на лежавшую на кирпиче, возле вещевого мешка книжку и сказал:

— Читала?

— Перечитывала.

— Нравится?

— Я больше люблю Диккенса.

— Ну, Диккенс.

Он говорил насмешливо, свысока.

— А «Пармский монастырь» тебе нравится?

— Не очень, — подумав, ответил он и добавил: — Сегодня пойду с пехотой вышибать немцев из соседней хаты. — Он понял ее взгляд и сказал: — Греков, ясно, приказал.

— А другие минометчики, Ченцов?

— Нет, только я.

Они помолчали.

— Он лезет к тебе?

Она кивнула.

— А ты?

— Ты ведь знаешь, — и она подумала о бедных Азрах.

— Мне кажется: сегодня меня кокнут.

— Почему тебя с пехотой, ты минометчик.

— А зачем он тебя тут держит? Передатчик разбит вдребезги. Давно бы надо отослать в полк, вообще на левый берег. Тебе тут делать нечего. Невеста без места.

— Зато мы видимся каждый день.

Он махнул рукой и пошел.

Катя оглянулась. Со второго этажа глазел, посмеивался Бунчук. Видимо, и Шапошников увидел Бунчука и потому внезапно ушел.

До вечера немцы обстреливали дом из пушек, трое были легко ранены, обвалилась внутренняя стена и засыпала выход из подвала, его раскопали, а снаряд вновь свалил кусок стены и снова засыпал выход из подвала, и его снова стали откапывать.

Анциферов заглянул в пыльную полутьму и спросил:

— Эй, товарищ радистка, вы живая?

— Да, — ответила из полутьмы Венгрова и чихнула, сплюнула красным.

— Будьте здоровы, — сказал сапер.

Когда стемнело, немцы стали жечь ракеты, стреляли из пулеметов, несколько раз прилетал бомбардировщик и бросал фугаски. Никто не спал. Греков сам стрелял из пулемета, два раза

пехота, страшно матерясь и прикрыв лицо саперными лопатками, кидалась отбивать немцев.

Немцы словно чувствовали, что готовится нападение на недавно занятый ими ничейный, бесхозный дом.

Когда стихала стрельба, Катя слышала, как они галдели, даже их смех доходил довольно ясно.

Немцы жутко картавили, произносили слова не так, как преподаватели на курсах иностранных языков. Она заметила, что котенок слез со своей подстилки. Задние лапы его были неподвижны, он полз на одних передних, спешил добраться к Кате.

Потом он перестал ползти, челюсти его несколько раз открылись и закрылись… Катя попыталась приподнять его опустившееся веко. «Подох», — подумала она и ощутила чувство брезгливости. Вдруг она поняла, что зверек, охваченный предчувствием уничтожения, думал о ней, полз к ней уже полупарализованный… Она положила трупик в яму, присыпала его кусками кирпича.

Свет ракеты заполнил подвал, и ей представлялось, что в подвале нет воздуха, что она дышит какой-то кровянистой жидкостью, что эта жидкость течет с потолка, выступает из каждой кирпичины.

Вот немцы лезут из дальних углов, подбираются к ней, сейчас ее схватят, поволокут. Необычайно близко, совсем рядом тыркали их автоматы. Может быть, немцы очищают второй этаж? Может быть, не снизу появятся они, а посыпятся сверху, из пролома в потолке?

Чтобы успокоиться, она старалась представить себе карточку, прибитую на двери: «Тихомировы — 1 звонок, Дзыга — 2 зв., Черемушкины — 3 зв., Файнберг — 4 зв., Венгровы — 5 зв., Андрющенко — 6 зв., Пегов — 1 продолжительный...» Она старалась представить себе большую кастрюлю Файнбергов, стоящую на керогазе и прикрытую фанерной дощечкой, обтянутое мешковым чехлом корыто Анастасии Степановны Андрющенко, тихомировский таз с отбитой эмалью, висящий на веревочном ушке. Вот она стелет себе постель и подкладывает под простыню на особо злые пружины коричневый мамин платок, кусок ватина, распоротое демисезонное пальто.

Потом она думала о доме шесть дробь один. Теперь, когда гитлеровцы прут, лезут из-под земли, не казались обидчиками грубые матерщинники, не пугал ее взгляд Грекова, от которого она краснела не только лицом, но шеей, плечами под гимнастеркой. Сколько ей пришлось выслушать

похабств за эти военные месяцы! Какой плохой разговор пришлось ей вести с лысым подполковником «беспроволочной связью», когда он, блестя металлом зубов, намекал, что в ее воле остаться на заволжском узле связи… Девочки пели вполголоса грустную песенку:

…А однажды осеннею ноченькой
Командир приласкал ее сам.
До утра называл ее доченькой,
И с тех пор уж пошла по рукам…

Она не трус, просто пришло такое внутреннее состояние.

В первый раз она увидела Шапошникова, когда он читал стихи, и она подумала тогда: «Какой идиот». Потом он исчез на два дня, и она стеснялась спросить о нем и все думала, не убили ли его. Потом он появился ночью, неожиданно, и она слышала, как он сказал Грекову, что ушел без разрешения из штабного блиндажа.

— Правильно, — сказал Греков. — Дезертировал к нам на тот свет.

Отходя от Грекова, Шапошников прошел мимо нее и не посмотрел, не оглянулся. Она расстроилась, потом рассердилась и снова подумала: «Дурак».

Потом она слышала разговор жильцов дома, они говорили, у кого больше шансов первому переспать с Катей. Один сказал: «Ясно, Греков».

Второй говорил: «Это не факт. Вот кто в списке на последнем месте, я могу сказать — Сережка-минометчик. Девочка чем моложе, тем ее больше к опытному мужику тянет».

Потом она увидела, как заигрывания, шуточки с ней почти прекратились. Греков не скрывал, что ему неприятно, когда Катю затрагивают жильцы дома.

Однажды бородатый Зубарев назвал ее «эй, супруга управдома».

Греков не спешил, но он, видимо, был уверен, и она ощущала его уверенность. После того, как радиопередатчик был разбит осколком авиабомбы, он велел ей устроиться в одном из отсеков глубокого подвала.

Вчера он сказал ей: «Я таких девушек, как ты, не видел никогда в жизни, — и добавил: — Встретил бы я тебя до войны, женился бы на тебе».

Она хотела сказать, что надо бы и ее спросить об этом, но промолчала, не решилась.

Он не сделал ей ничего дурного, не сказал ей грубого, нахального слова, но, думая о нем, она испытывала страх.

Вчера же он грустно сказал ей:

— Скоро немец начнет наступление. Вряд ли кто из наших жильцов уцелеет. Клин немецкий в наш дом уперся.

Он медленным, внимательным взглядом осмотрел ее, и Кате стало страшно не от мысли о предстоящем немецком наступлении, а от этого медленного, спокойного взгляда.

— Зайду к тебе, — сказал он. Казалось, не было связи между этими словами и словами о том, что вряд ли кто уцелеет после немецкого наступления, но связь была, и Катя поняла ее.

Он не походил на тех командиров, которых она видела под Котлубанью. С людьми говорил он без крика, без угроз, а слушались его все. Сидит, покуривает, рассказывает, слушает, не отличишь от солдат. А авторитет огромный.

С Шапошниковым она почти не разговаривала. Ей иногда казалось, — он влюблен в нее и бессилен, как и она, перед человеком, который их обоих восхищает и страшит. Шапошников был слаб, неопытен, ей хотелось просить его защиты, сказать ему: «Посиди возле меня»… То ей хотелось самой утешить его. Удивительно странно было разговаривать с ним, — словно не было войны, ни дома шесть дробь один. А он, как бы чувствуя

это, нарочно старался казаться грубей, однажды он даже матюгнулся при ней.

И сейчас ей казалось, что между ее неясными мыслями и чувствами и тем, что Греков послал Шапошникова на штурм немецкого дома, была какая-то жестокая связь.

Прислушиваясь к стрельбе автоматов, она представляла себе, что Шапошников лежит на красном кирпичном кургане, свесив мертвую нестриженую голову.

Пронзительное чувство жалости к нему охватило ее, в душе ее смешались и пестрые ночные огни, и ужас перед Грековым, и восхищение перед ним, начавшим наступление на немецкие железные дивизии из одиноких развалин, и мысли о матери.

Она подумала, что все в жизни отдаст, лишь бы увидеть Шапошникова живым.

«А если скажут: маму либо его?» — подумала она.

Потом ей послышались чьи-то шаги, она вцепилась пальцами в кирпич, вслушивалась.

Стрельба затихла, все было тихо.

Стала чесаться спина, плечи, ноги под коленями, но она боялась почесаться, зашуршать.

Батракова все спрашивали, отчего он чешется, и

он отвечал: «Это нервное». А вчера он сказал: «Нашел на себе одиннадцать вшей». И Коломейцев смеялся: «Нервная вошь напала на Батракова».

Она убита, и бойцы тащат ее к яме, говорят:

— Совсем бедная девка завшивела.

А может быть, это действительно нервное? И она поняла, что к ней в темноте идет человек, не мнимый, воображаемый, который возникал из шорохов, из обрывков света и обрывков тьмы, из сердечного замирания. Катя спросила:

— Кто идет?

— Это я, свой, — ответила темнота.

18

— Сегодня штурма не будет. Греков отменил, на завтрашнюю ночь. Сегодня немцы сами все время лезут. Между прочим, хочу сказать, этого самого «Монастыря» я никогда не читал.

Она не ответила.

Он старался разглядеть ее во тьме, и, исполняя его желание, огонь взрыва осветил ее лицо. А через секунду вновь стемнело, и они, молча условившись, ожидали нового взрыва, мелькания света. Сергей взял ее за руку. Он сжал ее пальцы. Он впервые в жизни держал в руке девичью руку.

Грязная, завшивевшая радистка сидела тихо, ее шея светилась в темноте.

Вспыхнул свет ракеты, и они сблизили головы. Он обнял ее, и она зажмурила глаза, они оба знали школьный рассказ: кто целуется с открытыми глазами, тот не любит.

— Ведь это не шутка, правда? — спросил он.

Она сжала ладонями его виски, повернула его голову к себе.

— Это на всю жизнь, — медленно сказал он.

— Удивительно, — сказала она, — вот я боюсь:

вдруг кто-нибудь придет. А до этого каким мне казалось счастьем, кто бы ни пришел: Ляхов, Коломейцев, Зубарев…

— Греков, — подсказал он.

— Ой, нет, — сказала она.

Он стал целовать ее шею и нащупал пальцами, отстегнул железную пуговицу на ее гимнастерке, коснулся губами ее худенькой ключицы, грудь он не решился целовать. А она гладила его жесткие, немытые волосы, как будто он был ребенком, а она уже знала, что все происходящее сейчас неизбежно, что так уж оно должно происходить.

Он посмотрел на светящийся циферблат часов.

— Кто поведет вас завтра? — спросила она. — Греков?

— Зачем об этом. Сами пойдем, зачем нас водить.

Он снова обнял ее, и у него вдруг похолодели пальцы, похолодело в груди от решимости и волнения. Она полулежала на шинели, казалось, не дышала. Он прикасался то к грубой, пыльной на ощупь ткани гимнастерки и юбки, то к шершавым кирзовым сапогам. Он ощутил рукой тепло ее тела. Она попыталась присесть, но он стал целовать ее. Вновь вспыхнул свет и на мгновение осветил упавшую на кирпичи Катину пилотку,

ее лицо, показавшееся ему в эти секунды незнакомым. И тотчас снова стало темно, особенно как-то темно…

— Катя!

— Что?

— Ничего, просто голос хотел услышать. Ты почему не смотришь на меня?

— Не надо, не надо, потуши!

Она снова подумала о нем и о матери, — кто ей дороже.

— Прости меня, — сказала она.

Он не понял ее, сказал:

— Ты не бойся, это на всю жизнь, если только будет жизнь.

— Это я о маме вспомнила.

— А моя мать умерла. Я лишь теперь понял, ее выслали за папу.

Они заснули на шинели, обнявшись, и управдом подошел к ним и смотрел, как они спят, — голова минометчика Шапошникова лежала на плече у радистки, рука его обхватывала ее за спину, он словно боялся потерять ее. Грекову показалось, что они оба мертвы, так тихо и неподвижно лежали они.

На рассвете Ляхов заглянул в отсек подвала, крикнул:

— Эй, Шапошников, эй, Венгрова, управдом зовет, — скоро только, рысью, на полусогнутых!

Лицо Грекова в облачном холодном сумраке было неумолимым, суровым. Он прислонился большим плечом к стене, всклокоченные волосы его нависали над низким лбом.

Они стояли перед ним, переминаясь с ноги на ногу, не замечая, что стоят держась за руки.

Греков пошевелил широкими ноздрями приплюснутого львиного носа, сказал:

— Вот что, Шапошников, ты сейчас проберешься в штаб полка, я тебя откомандировываю.

Сережа почувствовал, как дрогнули пальцы девушки, и сжал их, и она чувствовала, что его пальцы дрожат. Он глотнул воздух, язык и нёбо пересохли.

Тишина охватила облачное небо, землю. Казалось, что лежащие вповалку, прикрытые шинелями люди не спят, ждут, не дыша.

Прекрасно, приветливо было все вокруг, и Сережа подумал: «Изгнание из рая, как крепостных разлучает», — и с мольбой, ненавистью смотрел на Грекова.

Греков прищурился, вглядывался в лицо девушки, и взгляд его казался Сереже отвратительным, безжалостным, наглым.

— Ну, вот все, — оказал Греков. — С тобой пойдет радистка, что ей тут делать без передатчика, доведешь ее до штаба полка.

Он улыбнулся.

— А там уж вы свою дорогу сами найдете, возьми бумажку, я написал на обоих одну, не люблю писанины. Ясно?

И вдруг Сережа увидел, что смотрят на него прекрасные, человечные, умные и грустные глаза, каких никогда он не видел в жизни.

19

Комиссару стрелкового полка Пивоварову не пришлось попасть в дом шесть дробь один.

Беспроволочная связь с домом прервалась, то ли вышел из строя передатчик, то ли заправлявшему в доме капитану Грекову надоели строгие внушения командования.

Одно время сведения об окруженном доме удавалось получать через минометчика коммуниста Ченцова, он передавал, что «управдом» совсем распустился, — говорил бойцам черт знает какую ересь. Правда, с немцами Греков воевал лихо, этого информатор не отрицал.

В ночь, когда Пивоваров собрался пробраться в дом шесть дробь один, тяжело заболел командир полка Березкин.

Он лежал в блиндаже с горящим лицом, с нечеловечески, хрустально-ясными, бессмысленными глазами.

Доктор, поглядев на Березкина, растерялся. Он привык иметь дело с раздробленными конечностями, с проломленными черепами, а тут вдруг человек сам по себе заболел.

Доктор сказал:

— Надо бы банки поставить, да где их возьмешь?

Пивоваров решил доложить начальству о болезни командира полка, но комиссар дивизии позвонил Пивоварову по телефону — приказал срочно явиться в штаб.

Когда Пивоваров, несколько запыхавшись (пришлось раза два падать при близких разрывах), вошел в блиндаж комиссара дивизии, тот разговаривал с переправившимся с левого берега батальонным комиссаром. Пивоваров слышал об этом человеке, делавшем доклады в частях, расположенных на заводах.

Пивоваров громко отрапортовал:

— По вашему приказанию явился, — и тут же с ходу доложил о болезни Березкина.

— Да-а, хреновато, — сказал комиссар дивизии. — Вам, товарищ Пивоваров, придется принять на себя командование полком.

— А как с окруженным домом?

— Куда уж вам, — сказал комиссар дивизии. — Тут такую кашу заварили вокруг этого окруженного дома. До штаба фронта дело дошло.

И он помахал бумажкой-шифровкой перед Пивоваровым.

— Я для этого дела вас, собственно, и вызвал. Вот

товарищ Крымов получил распоряжение политуправления фронта отправиться в окруженный дом, навести там большевистский порядок, стать там боевым комиссаром, а в случае чего отстранить этого самого Грекова, взять на себя командование… Поскольку все это хозяйство находится на участке вашего полка, вы обеспечьте все необходимое, и чтобы переправиться в этот дом, и для дальнейшей связи. Ясно?

— Ясно, — сказал Пивоваров. — Будет исполнено.

После этого он спросил обычным, не казенным, а житейским голосом:

— Товарищ батальонный комиссар, с такими ребятами иметь дело, ваш ли это профиль?

— Именно мой, — усмехнулся комиссар, пришедший с левого берега. — Я вел летом сорок первого двести человек из окружения по Украине, партизанских настроений там хватало.

Комиссар дивизии сказал:

— Что ж, товарищ Крымов, давайте действуйте. Со мной связь держите. Государство в государстве — это ведь негоже.

— Да, там еще какое-то грязное дело с девчонкой-радисткой, — сказал Пивоваров. — Наш Березкин все тревожился, замолчал их радиопе-

редатчик. А ребята там такие, что от них всего ждать можно.

— Ладно, на месте все разберете, — дуйте, желаю успеха, — сказал комиссар дивизии.

20

Через день после того, как Греков отослал Шапошникова и Венгрову, Крымов, сопровождаемый автоматчиком, отправился в знаменитый, окруженный немцами, дом.

Они вышли светлым холодным вечером из штаба стрелкового полка. Едва Крымов вступил на асфальтированный двор Сталинградского тракторного завода, как ощутил опасность уничтожения яснее и сильнее, чем когда-либо.

И в то же время чувство подъема, радости не оставляло его. Шифровка, неожиданно пришедшая из штаба фронта, как бы подтвердила ему, что здесь, в Сталинграде, все идет по-другому, здесь другие отношения, другие оценки, другие требования к людям. Крымов снова был Крымовым, не калекой из инвалидной команды, а боевым комиссаром-большевиком. Опасное и трудное поручение не страшило его. Так приятно и сладко было в глазах комиссара дивизии, в глазах Пивоварова вновь читать то, что всегда проявляли к нему товарищи по партии.

Среди взломанного снарядом асфальта, у исковерканного полкового миномета лежал убитый

красноармеец.

Почему-то теперь, когда душа Крымова была полна живой надежды, ликовала, вид этого тела поразил его. Он много видел мертвецов, стал к ним безразличен. А сейчас он содрогнулся, — тело, полное вечной смерти, лежало по-птичьи беспомощное, покойник поджал ноги, точно ему было холодно.

Мимо, держа у виска толстую полевую сумку, пробежал политрук в сером коробящемся плаще, красноармейцы волочили на плащ-палатке противотанковые мины вперемешку с буханками хлеба.

А мертвецу не стал нужен хлеб и оружие, он не хотел письма от верной жены. Он не был силен своей смертью, он был самым слабым, мертвый воробышек, которого не боятся мошки и мотыльки.

В проломе цеховой стены артиллеристы устанавливали полковую пушку и ругались с расчетом тяжелого пулемета. По жестикуляции спорщиков ясно делалось, о чем примерно говорили они.

— Наш пулемет, знаешь, сколько времени здесь стоит? Вы еще болтались на том берегу, а мы уж тут стреляли.

— Нахальные люди вы, вот вы кто такие!

Воздух взвыл, снаряд разорвался в углу цеха. Осколки застучали по стенам. Автоматчик, шедший впереди Крымова, оглянулся, не убило ли комиссара. Подождав Крымова, он проговорил:

— Вы не беспокойтесь, товарищ комиссар, мы считаем — тут второй эшелон, глубокий тыл.

Спустя недолгое время Крымов понял, что двор у цеховой стены — тихое место.

Пришлось им и бежать, и падать, уткнувшись лицом в землю, снова бежать и снова падать. Два раза заскакивали они в окопы, в которых засела пехота; бежали они и среди сгоревших домиков, где уже не было людей, а лишь выло и свистело железо… Автоматчик вновь в утешение сказал Крымову:

— Это что, главное, — не пикирует. — А затем предложил: — А ну, товарищ комиссар, давайте припустим вон до той воронки.

Крымов сполз на дно бомбовой ямы, поглядел наверх — синее небо было над головой, а голова не была оторвана, по-прежнему сидела на плечах. Странно ощущать присутствие людей только в том, что смерть, посылаемая ими с двух сторон, воет, поет над твоей головой.

Странное это чувство безопасности в яме, вы-

рытой заступом смерти.

Автоматчик, не дав ему отдышаться, проговорил:

— Лезьте за мной! — И заполз в темный ходок, оказавшийся на дне ямы. Крымов протиснулся следом за ним, и низкий ходок расширился, кровля его поднялась, они вошли в туннель.

Под землей слышался гул наземной бури, свод вздрагивал, и грохот перекатывался по подземелью. Там, где особенно густо лежали чугунные трубы и разветвлялись темные, толщиной с человеческую руку кабели, на стене было написано суриком: «Махов ишак». Автоматчик посветил фонариком и сказал:

— Тут над нами немцы ходят.

Вскоре они свернули в узкий ходок, двигались по направлению к едва заметному светло-серому пятну; все ясней, светлей становилось пятно в глубине ходка, все яростней доносились взрывы и пулеметные очереди.

Крымову показалось на миг, что он приближается к плахе. Но вот они вышли на поверхность, и первое, что увидел Крымов, были лица людей, — они показались ему божественно спокойными.

Непередаваемое чувство охватило Крымова, — радостное, легкое. И даже бушевавшая война

ощутилась им не как роковая грань жизни и смерти, а как гроза над головой молодого, сильного, полного жизни путника.

Какая-то ясная, пронзительная уверенность в том, что он переживает час нового, счастливого перелома своей судьбы, охватила его.

Он словно видел в этом ясном дневном свете свое будущее, — ему снова предстояло жить во всю силу своего ума, воли, большевистской страсти.

Чувство уверенности и молодости смешалось с печалью об ушедшей женщине, она представилась ему бесконечно милой.

Но сейчас она не казалась навеки потерянной. Вместе с силой, вместе с прежней жизнью вернется к нему она. Он шел за ней!

Старик в насаженной на лоб пилотке стоял над горевшим на полу костром и переворачивал штыком жарившиеся на листе кровельной жести картофельные оладьи; готовые оладьи он складывал в металлическую каску. Увидев связного, он быстро спросил:

— Сережа там?

Связной строго сказал:

— Начальник пришел!

— Сколько лет, отец? — спросил Крымов.

— Шестьдесят, — ответил старик и объяснил: — Я из рабочего ополчения.

Он снова покосился на связного.

— Сережка там?

— Нету в полку его, видно, он к соседу попал.

— Эх, — с досадой сказал старик, — пропадет.

Крымов здоровался с людьми, оглядывался, всматривался в подвальные отсеки с наполовину разобранными деревянными переборками. В одном месте стояла полковая пушка, глядела из бойницы, прорубленной в стене.

— Как на линкоре, — сказал Крымов.

— Да, только воды мало, — ответил красноармеец.

Подальше, в каменных ямах и ущельях стояли минометы.

На полу лежали хвостатые мины. Тут же, немного поодаль, лежал на плащ-палатке баян.

— Вот дом номер шесть дробь один держится, не сдается фашистам, — громко сказал Крымов. — Весь мир, миллионы людей этому радуются.

Люди молчали.

Старик Поляков поднес Крымову металлическую каску, полную оладий.

— А про то не пишут, как Поляков оладьи печет?

— Вам смех, — сказал Поляков, — а Сережку-то нашего угнали.

Минометчик спросил:

— Второй фронт не открыли еще? Ничего не слышно?

— Пока нету, — ответил Крымов.

Человек в майке, в распахнутом кителе сказал:

— Как стала по нам садить тяжелая артиллерия из-за Волги, Коломейцева волной с ног сбило, он встал и говорит: «Ну, ребята, второй фронт открылся».

Темноволосый парень проговорил:

— Чего зря говорить, если б не артиллерия, мы тут не сидели бы. Слопал бы нас немец.

— А где ж, однако, командир? — спросил Крымов.

— Вон там, на самом переднем крае примостился.

Командир отряда лежал на высокой груде кирпича и смотрел в бинокль.

Когда Крымов окликнул его, он неохотно повернул лицо и лукаво, предостерегающе приложил палец к губам, снова взялся за бинокль. Спустя несколько мгновений его плечи затряслись, он смеялся. Он сполз и, улыбаясь, сказал:

— Хуже шахмат, — и, разглядев зеленые шпалы

и комиссарскую звезду на гимнастерке Крымова, проговорил: — Здравствуйте в нашей хате, товарищ батальонный комиссар, — и представился: — Управдом Греков. Вы по нашему ходку пришли?

Все в нем — и взгляд, и быстрые движения, и широкие ноздри приплюснутого носа — было дерзким, сама дерзость.

«Ничего, ничего, согну я тебя», — подумал Крымов.

Крымов стал расспрашивать его. Греков отвечал лениво, рассеянно, позевывая и оглядываясь, точно вопросы Крымова мешали ему вспомнить что-то действительно важное и нужное.

— Сменим вас? — спросил Крымов.

— К чему? — ответил Греков. — Вот только курева, ну, конечно, мины, гранаты и, если не жалко, водочки и шамовки на кукурузниках подбросьте… — Перечисляя, он загибал пальцы на руке.

— Значит, уходить не собираетесь? — злясь и невольно любуясь некрасивым лицом Грекова, спросил Крымов.

Они молчали, и в это короткое молчание Крымов превозмог чувство своего душевного подчинения людям в окруженном доме.

— Дневник боевых действий ведете? — спросил он.

— У меня бумаги нет, — ответил Греков. — Писать не на чем, да и некогда, да и не к чему.

— Вы находитесь в подчинении командира сто семьдесят шестого стрелкового полка, — сказал Крымов.

— Есть, товарищ батальонный комиссар, — ответил Греков и насмешливо добавил: — Когда поселок отрезали и я в этом доме собрал людей, оружие, отбил тридцать атак, восемь танков сжег, надо мной командиров не было.

— Наличный состав свой на сегодняшнее число точно знаете, проверяете?

— Зачем мне проверять, я строевых записок не представляю, что я, в АХО и на допе снабжаюсь? Сидим на гнилой картошке и на гнилой воде.

— Женщины в доме есть?

— Товарищ комиссар, вы вроде допрос мне учинили?

— Ваши люди в плен попадали?

— Нет, такого случая не было.

— Все же, где ваша радистка?

Греков закусил губу, брови его сошлись, и он ответил:

— Девушка эта — немецкая шпионка, она меня

завербовала, а потом я ее изнасиловал, а потом я ее пристрелил. — И, вытянув шею, он спросил: — Такого, что ли, ответа вам от меня нужно? — И с насмешкой сказал: — Я вижу, дело штрафным батальоном пахнет, так, что ли, товарищ начальник?

Крымов несколько мгновений молча смотрел на него и сказал:

— Греков, Греков, закружилась ваша голова. И я в окружении был. И меня спрашивали.

Он посмотрел на Грекова и медленно сказал:

— У меня есть указание, — в случае необходимости отстранить вас от командования и переподчинить людей себе. Зачем вы сами прете на рожон, толкаете меня на этот путь?

Греков молчал, думал, прислушивался, потом сказал:

— Стихает, успокоился немец.

21

— Вот и хорошо, посидим вдвоем, — сказал Крымов, — уточним дальнейшее.

— А зачем сидеть вдвоем, — сказал Греков, — мы тут воюем все вместе и дальнейшее уточняем вместе.

Дерзость Грекова нравилась Крымову, но одновременно и сердила. Ему хотелось сказать Грекову об украинском окружении, о своей довоенной жизни, чтобы Греков не принимал его за чиновника. Но в таком рассказе, чувствовал Крымов, проявилась бы слабость его. А Крымов пришел в этот дом проявить свою силу, а не слабость. Он ведь не был политотдельским чиновником, он был военным комиссаром.

«Ничего, — подумал он, — комиссар не подкачает».

В затишье люди сидели и полулежали на грудах кирпича. Греков произнес:

— Сегодня немец уже больше не пойдет. — И предложил Крымову: — Давайте, товарищ комиссар, покушаем.

Крымов присел рядом с Грековым среди отдыхавших людей.

— Вот смотрю на вас всех, — проговорил Крымов, — а в голове все время вертится: русские прусских всегда били.

Негромкий ленивый голос подтвердил:

— Точно!

И в этом «то-о-очно» было столько снисходительной насмешки над общими формулами, что дружный негромкий смех прошел среди сидевших. Они знали не меньше человека, впервые сказавшего — «русские прусских всегда били», о том, какую силу таят в себе русские, да они, собственно, и были самым прямым выражением этой силы. Но они знали и понимали, что прусские дошли до Волги и Сталинграда вовсе не потому, что русские их всегда били.

С Крымовым в эти мгновения происходила странная вещь. Он не любил, когда политические работники славили старых русских полководцев, его революционному духу претили ссылки в статьях «Красной звезды» на Драгомирова, ему казалось ненужным введение орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого. Революция есть революция, ее армии нужно одно лишь знамя — красное.

Когда-то он, работая в Одесском ревкоме, участвовал в шествии портовых грузчиков и городских

комсомольцев, пришедших сбросить с пьедестала бронзовое тельце великого полководца, возглавившего походы крепостного русского войска в Италию.

И именно здесь, в доме шесть дробь один, Крымов, впервые в жизни произнеся суворовские слова, ощутил длящуюся в веках единую славу вооруженного русского народа. Казалось, он по-новому ощутил не только тему своих докладов, — тему своей жизни.

Но почему именно сегодня, когда он снова дышал привычным воздухом ленинской революции, пришли к нему эти чувства и мысли?

И насмешливое, ленивое «точно», произнесенное кем-то из бойцов, больно укололо его.

— Воевать вас, товарищи, учить не надо, — сказал Крымов. — Этому вы сами всякого научите. Но вот почему командование нашло нужным все же прислать меня к вам? Зачем я вот, скажем, пришел к вам?

— За суп, для ради супа? — негромко и дружелюбно предположил кто-то.

Но смех, которым слушатели встретили это робкое предположение, не был тихим. Крымов посмотрел на Грекова.

Греков смеялся вместе со всеми.

— Товарищи, — проговорил Крымов, и злая краска выступила на его щеках, — серьезней, товарищи, я прислан к вам партией.

Что это было такое? Случайное настроение, бунт? Нежелание слушать комиссара, рожденное ощущением своей силы, своей собственной опытности? А может быть, веселье слушателей не имело в себе ничего крамольного, просто возникло от ощущения естественного равенства, которое было так сильно в Сталинграде.

Но почему это ощущение естественного равенства, раньше восхищавшее Крымова, сейчас вызывало в нем чувство злобы, желание подавить его, скрутить?

Здесь связь Крымова с людьми не ладилась не потому, что они были подавлены, растеряны, трусили. Здесь люди чувствовали себя сильными, уверенно, и неужели возникшее в них чувство силы ослабляло их связь с комиссаром Крымовым, вызывало отчужденность, враждебность и в нем и в них?

Старик, жаривший оладьи, сказал:

— Вот я давно уж хотел спросить у партийного человека. Говорят, товарищ комиссар, что при коммунизме все станут получать по потребности, это как же тогда будет, если каждому, особенно с

утра, по потребности — сопьются все?

Крымов повернулся к старику и увидел на его лице истинную заботу.

А Греков смеялся, смеялись его глаза, большие, широкие ноздри раздувало смехом.

Сапер с головой, перевязанной окровавленным, грязным бинтом, спросил:

— А вот насчет колхозов, товарищ комиссар. Как бы их ликвидировать после войны.

— Оно бы неплохо докладик на этот счет, — сказал Греков.

— Я не лекции пришел к вам читать, — сказал Крымов, — я военный комиссар, я пришел, чтобы преодолеть вашу недопустимую партизанщину.

— Преодолевайте, — сказал Греков. — А вот кто будет немцев преодолевать?

— Найдутся, не беспокойтесь. Не за супом я пришел, как вы выражаетесь, а большевистскую кашу сварить.

— Что ж, преодолевайте, — сказал Греков. — Варите кашу.

Крымов, посмеиваясь и в то же время серьезно, перебил:

— А понадобится, и вас, Греков, с большевистской кашей съедят.

Сейчас Николай Григорьевич был спокоен и

уверен. Колебания, какое решение будет наиболее правильным, прошли. Грекова надо отстранить от командования.

Крымов теперь уж ясно видел в Грекове враждебное и чуждое, чего не могли ни уменьшить, ни заглушить героические дела, творившиеся в окруженном доме. Он знал, что справится с Грековым.

Когда стемнело, Крымов подошел к управдому и сказал:

— Давайте, Греков, поговорим всерьез и начистоту. Чего вы хотите?

Греков быстро, снизу вверх, — он сидел, а Крымов стоял, — посмотрел на него и весело сказал:

— Свободы хочу, за нее и воюю.

— Мы все ее хотим.

— Бросьте! — махнул рукой Греков. — На кой она вам? Вам бы только с немцами справиться.

— Не шутите, товарищ Греков, — сказал Крымов. — Почему вы не пресекаете неверные политические высказывания некоторых бойцов? А? При вашем авторитете вы это можете не хуже всякого комиссара сделать. А у меня впечатление, что люди ляпают и на вас оглядываются, как бы ждут вашего одобрения. Вот этот, что высказывался насчет колхозов. Зачем вы его поддержали?

Я вам говорю прямо: давайте вместе это дело выправим. А не хотите, — я вам так же прямо говорю: шутить не буду.

— Насчет колхозов, что тут такого? Действительно, не любят их, это вы не хуже меня знаете.

— Вы что ж, Греков, задумали менять ход истории?

— А уж вы-то все на старые рельсы хотите вернуть?

— Что это «все»?

— Все. Всеобщую принудиловку.

Он говорил ленивым голосом, бросая слова, посмеиваясь. Вдруг он приподнялся, сказал:

— Товарищ комиссар, бросьте. Ничего я не задумал. Это я так, позлить вас. Такой же советский человек, как и вы. Меня недоверие обижает.

— Так давайте, Греков, без шуток. Поговорим всерьез, как устранить недобрый, несоветский, зеленый дух. Вы его породили, помогите мне его убить. Ведь вам еще воевать со славой предстоит.

— Спать охота. И вам отдохнуть надо. Вот увидите, что тут с утра начнется.

— Ладно, Греков, давайте завтра. Я ведь уходить от вас не собираюсь, никуда не спешу.

Греков рассмеялся:

— Наверное, договоримся.

«Все ясно, — подумал Крымов. — Гомеопатией заниматься не буду. Хирургическим ножом сработаю. Политически горбатых не распрямляют уговорами».

Греков неожиданно сказал:

— Глаза у вас хорошие. Тоскуете вы.

Крымов от неожиданности развел руками и ничего не ответил. А Греков, точно услышав подтверждение своих слов, проговорил:

— У меня самого, знаете, тоска. Только это так, ерунда, личное. Об этом в рапорте не напишешь.

Ночью во время сна Крымов был ранен шальной пулей в голову. Пуля содрала кожу и поцарапала череп. Ранение было неопасное, но голова сильно кружилась, и Крымов не мог стоять на ногах. Его все время тошнило.

Греков велел соорудить носилки, и в тихий предрассветный час раненого эвакуировали из окруженного дома.

Крымов лежал на носилках, голова гудела и кружилась, в виске постреливало и постукивало.

Греков провожал носилки до подземного хода.

— Не повезло вам, товарищ комиссар, — сказал он.

И вдруг догадка ожгла Крымова — не Греков ли

стрелял в него ночью?

К вечеру у Крымова начались рвоты, усилилась головная боль.

Два дня пролежал он в дивизионном медсанбате, а затем его перевезли на левый берег и поместили в армейский госпиталь.

22

Комиссар Пивоваров пробрался в тесные землянки медсанбата и увидел тяжелую обстановку — раненые лежали вповалку. Крымова в медсанбате он не застал, его накануне ночью эвакуировали на левый берег.

«Как это его сразу ранило? — думал Пивоваров. — То ли ему не повезло, то ли ему повезло».

Пивоварову одновременно хотелось решить, стоит ли переводить больного командира полка в медсанбат. Пробравшись обратно в штабной блиндаж, Пивоваров (по дороге его чуть не убило осколком немецкой мины) рассказал автоматчику Глушкову, что в медсанбате нет никаких условий для лечения больного. Кругом валяются груды кровавой марли, бинтов, ваты — страшно подойти. Слушая комиссара, Глушков сказал:

— Конечно, товарищ комиссар, у себя в блиндаже все-таки лучше.

— Да, — кивнул комиссар. — И там не разбирают, кто командир полка, а кто боец, все на полу.

И Глушков, которому полагалось по чину лежать на полу, сказал:

— Конечно, куда же это годится.

— Разговаривал что-нибудь? — спросил Пивоваров.

— Нет, — и Глушков махнул рукой. — Какой уж разговор, товарищ комиссар, принесли письмо от жены, оно лежит, а он не смотрит.

— Что ты говоришь? — сказал Пивоваров. — Вот это уж заболел. Жуткое дело, не смотрит!

Он взял письмо, взвесил конверт на руке, поднес письмо к лицу Березкина, строго, вразумляюще сказал:

— Иван Леонтьевич, вам письмо от супруги, — подождал немного и совсем другим тоном добавил: — Ваня, пойми, от жены, неужели не понимаешь, а, Ваня?

Но Березкин не понимал.

Лицо его было румяно, блестящие глаза пронзительно и бессмысленно смотрели на Пивоварова.

С упорной силой война стучалась в этот день в блиндаж, где лежал больной командир полка. Почти по всем телефонам связь с ночи была нарушена; и почему-то телефон в землянке Березкина работал безотказно, по этому телефону звонили из дивизии, звонили из оперативного отдела штаба армии, звонил сосед — командир полка из дивизии Гурьева, звонили березкинские ком-

баты — Подчуфаров и Дыркин. В блиндаже все время толклись люди, скрипела дверь и хлопала плащ-палатка, повешенная у входа Глушковым. Тревога, ожидание с утра охватили людей. В этот день, который отличался ленивой артиллерийской стрельбой, нечастыми и неряшливо неточными авиационными налетами, возникла у многих пронзительно тоскливая уверенность в том, что немецкий удар совершится. Эта уверенность одинаково мучила и Чуйкова, и комиссара полка Пивоварова, и людей, сидевших в доме шесть дробь один, и пившего с утра водку командира стрелкового взвода, справлявшего свой день рождения возле заводской трубы на Сталинградском тракторном.

Каждый раз, когда в блиндаже Березкина происходили интересные либо особо смешные разговоры, все оглядывались на командира полка, — неужели и этого не слышит?

Командир роты Хренов осипшим от ночной прохлады голосом рассказывал Пивоварову, как перед рассветом он вышел из подвала, где находился его командный пункт, присел на камешке, прислушивался, не занимаются ли немцы глупостями. И вдруг с неба раздался сердитый, злой голос: «Эй, хрен, чего плошек не зажег?»

Хренов на миг ошалел — кто это на небе знает его фамилию, даже убоялся, а потом оказалось — это кукурузник-летчик выключил мотор и над самой головой планирует; видно, для дома шесть дробь один хотел сбросить продукты и сердился, что не наметили передний край.

Все в блиндаже оглянулись на Березкина — улыбнулся ли? Но лишь Глушкову показалось, что в сияющих стеклянных глазах больного появилась живая точка. Пришел час обеда, блиндаж опустел. Березкин лежал тихо, и Глушков вздыхал — лежит Березкин, а рядом жданное письмецо. Пивоваров и майор — новый начальник штаба, заменивший убитого Кошенкова, пошли обедать, едят мировой борщ, пьют сто грамм. Повар уже угощал этим хорошим борщом Глушкова. А командир полка, хозяин, не ест, глотнул лишь воды из кружки…

Глушков раскрыл конверт и, подойдя вплотную к койке, внятно, медленно и негромко прочел: «Здравствуй, дорогой мой Ваня, здравствуй, ненаглядный мой, здравствуй, мой хороший».

Глушков нахмурился и продолжал вслух разбирать написанное.

Он читал лежавшему в беспамятстве командиру письмо от жены, письмо, которое уже зачитали

цензоры в военной цензуре, нежное, грустное и хорошее, — это письмо мог прочесть лишь один человек на свете — Березкин.

Глушков не очень удивился, когда Березкин повернул голову и сказал: «Дай сюда», — и протянул руку.

Строки письма дрожали в больших дрожащих пальцах:

«…Ваня, тут очень красиво, Ваня, такая тоска по тебе. Люба все спрашивает, почему нет с нами папы. Мы живем на берегу озера, в доме тепло, у хозяйки корова, молоко, есть деньги, которые ты прислал, я утром выхожу, и по холодной воде плавают желтые и красные листья кленов, а вокруг уж лежит снег, и от этого вода особенно синяя, и небо синее, и листья невероятно желтые, невероятно красные. И Люба спрашивает: почему ты плачешь? Ваня, Ваня, дорогой мой, спасибо тебе за все, спасибо тебе за все, все, за доброту. Почему я плачу — как объяснить. Я плачу оттого, что я живу, плачу от горя, что Славы нет, а я живу, от счастья, — ты жив, плачу, когда вспоминаю маму, сестер, плачу от утреннего света, оттого, что так красиво кругом и такое горе, всюду у всех, и у меня. Ваня, Ваня, дорогой мой, ненаглядный мой, хороший мой…»

Вот и кружится голова, вот и сливается все вокруг, дрожат пальцы, письмо дрожит вместе с раскаленным воздухом.

— Глушков, — сказал Березкин, — меня надо сегодня оздоровить. — (Тамара не любила этого слова.) — Как там, кипятильник не разбило?

— Кипятильник целый. Как же оздоровить в один день — в вас жары сорок градусов, как в поллитре, разве выйдет сразу.

Бойцы вкатили в блиндаж громыхавшую металлическую бочку из-под бензина. Бочку налили до половины дымящейся от жары мутной речной водой. Воду лили выварокой и брезентовым ведерком.

Глушков помог Березкину раздеться и подвел его к бочке.

— Уж очень горяча, товарищ подполковник, — говорил он, пробуя с наружной стороны бочку и отдергивая руку, — еще сварите сь. Я товарища комиссара звал, а он у командира дивизии на совещании, лучше подождем товарища комиссара.

— Чего ждать?

— Если с вами случится, я себя сам застрелю. А если не посмею, то меня товарищ комиссар Пивоваров застрелит.

— Давай помоги мне.

— Разрешите, я хоть начальника штаба позову.

— Ну, — сказал Березкин, и, хотя это хриплое, короткое «ну» произнес голый, с трудом стоящий на ногах человек, Глушков сразу перестал спорить.

Влезши в воду, Березкин застонал, охнул, метнулся, и Глушков, глядя на него, застонал, заходил вокруг бочки.

«Как в родильном доме», — почему-то подумал он.

Березкин на время потерял сознание, и все смешалось в тумане — и военная тревога, и жар болезни. Вдруг замерло, остановилось сердце, и перестала нестерпимо жечь на совесть согретая вода. Потом он пришел в себя, сказал Глушкову:

— Надо пол подтереть.

Но Глушков не видел, как вода пошла через край бочки. Багровое лицо командира полка стало белеть, рот полуоткрылся, на бритом черепе выступили крупные, показавшиеся Глушкову голубыми, капли пота. Березкин вновь стал терять сознание, но, когда Глушков попытался вытащить его из воды, он внятно произнес:

— Не время, — и закашлялся. А когда приступ кашля прошел, Березкин, не отдышавшись, сказал: — Подлейка кипяточку.

Он наконец выбрался из воды, и Глушков, глядя на него, совсем пал духом. Он помог Березкину вытереться и лечь на койку, накрыл его одеялом и шинелями, потом стал накладывать на него все барахло, имевшееся в блиндаже, — плащ-палатки, ватники, ватные штаны.

Когда вернулся Пивоваров, в блиндаже было прибрано. Только в воздухе стоял сырой, банный дух. Березкин лежал тихо, спал. Пивоваров постоял над ним.

«А славное у него лицо, — подумал Пивоваров. — Этот уж заявлений не писал».

Его весь день тревожило пришедшее воспоминание о том, как он разоблачал лет пять назад своего товарища по двухгодичным курсам, Шмелева, — сегодня, когда стояло это злое, томящее и мучительное затишье, всякая ерунда лезла в голову, лез в голову и Шмелев, искоса глядевший с жалким и горестным лицом, слушавший, как зачитывалось на собрании заявление его друга-приятеля Пивоварова.

Около двенадцати часов ночи Чуйков позвонил по телефону, минуя командира дивизии, в полк, стоявший в поселке Тракторного завода, — его этот полк сильно беспокоил, — разведка доносила, что в этом районе идет особо упорное

накапливание немецких танков и пехоты.

— Ну, как там у вас? — раздражаясь, сказал он. — Кто там у вас наконец полком командует? Мне Батюк сказал, что у командира полка какие-то воспаления легких, хочет его на левый берег переправить.

Ответил сиплый голос:

— Я командую полком, подполковник Березкин. Было немного, простыл, а теперь снова в порядке.

— Я слышу, — словно злорадствуя, сказал Чуйков. — Ты охрип сильно, так тебе немец даст попить горячего молока. Приготовил, имей в виду, зальет.

— Понял, товарищ первый, — сказал Березкин.

— А, понял, — проговорил с угрозой Чуйков, — так имей в виду, если вздумаешь отходить, я тебе дам гогель-могелю, не хуже немецкого молока.

23

Поляков уговорился с Климовым сходить ночью в полк, старику хотелось разузнать о Шапошникове.

Поляков сказал о своем желании Грекову, и тот обрадовался.

— Дуй, дуй, отец, сам немного отдохнешь в тылу, потом расскажешь, как они там.

— С Катькой-то? — спросил Поляков, сообразив, почему Греков одобрил его просьбу.

— Да их уж в полку нет, — сказал Климов. — Я слышал, командир полка их обоих в Заволжье откомандировал. Они уже, наверное, в Ахтубе в ЗАГСе расписались.

Поляков, старик зловредный, спросил Грекова:

— Может, тогда отмените или письмо от вас будет?

Греков быстро глянул на него, но сказал спокойно:

— Ладно, иди. Договорились.

«Понятно», — подумал Поляков. В пятом часу утра они поползли ходком. Поляков то и дело задевал головой о крепление и ругал матерными словами Сережку Шапошникова, его сердило и

смущало, что он скучал по парню.

Ходок расширился, они сели немного отдохнуть. Климов, посмеиваясь, сказал:

— Что ж с тобой пакета нет, гостинчика?

— Да ну его, сопливого, — сказал Поляков. — Кирпич бы ему прихватить да кирпичом дать.

— Ясно, — сказал Климов. — Для этого только ты идешь, готов в Заволжье плыть. А может, ты Катьку, старик, хочешь видеть, безумно ревнуешь?

— Пошли, — сказал Поляков.

Вскоре они вылезли на поверхность, зашагали по ничьей земле. Кругом стояла тишина.

«А вдруг война кончилась?» — подумал Поляков и представил себе с удивительной силой свою комнату: тарелка борща на столе, жена чистит пойманную им рыбу. Ему даже жарко стало.

В эту ночь генерал Паулюс отдал приказ о наступлении в районе Сталинградского тракторного завода.

Две пехотные дивизии должны были войти в проломленные авиацией, артиллерией и танками ворота. С полночи огоньки сигарет краснели в сложенных ладонях солдат.

Над заводскими цехами за полтора часа до рассвета загудели моторы «юнкерсов». В начавшейся

бомбежке не было спадов и передышек, — если на краткий миг в этом гремевшем сплошняке образовывалась щель, то она тотчас заполнялась свистом бомб, спешащих изо всех своих тяжелых железных сил к земле. Беспрерывный плотный грохот мог, казалось, как чугун, проломить человеку череп, сломать позвоночный столб.

Стало светать, а над районом завода по-прежнему длилась ночь.

Казалось, земля сама по себе извергала молнии, грохот, дым и черную пыль.

Особо сильный удар пришелся по полку Березкина и по дому шесть дробь один.

По всему расположению полка оглушенные люди ошалело вскакивали, понимая, что немец затеял новое, еще невиданное по силе, смертоубийственное хулиганство.

Застигнутые бомбежкой, Климов со стариком кинулись в сторону ничейной земли, где находились вырытые в конце сентября тонными бомбами воронки. В сторону ничейной земли бежали успевшие выскочить из заваливающихся окопов бойцы подчуфаровского батальона.

Расстояние между немецкими и русскими окопами было так невелико, что часть удара пришлась на немецкий передний край, калеча

солдат головной немецкой дивизии, выдвинувшейся для наступления.

Полякову казалось, что по разбушевавшейся Волге мечется во всю силу низовой астраханский ветер. Несколько раз Полякова сшибало с ног, он падал, забыл, на каком он свете, молод он или стар, где верх, где низ. Но Климов все тянул да тянул его — давай, давай, и они повалились в глубокую воронку, покатились на сырое, липучее дно. Здесь тьма была тройная, сплетенная из тьмы ночи, из дымовой и пыльной тьмы, из тьмы глубокого погреба.

Они лежали рядом, — в старой и молодой голове жил желанный, милый свет, просьба о жизни. Этот свет, трогательная надежда были такими, какие горят во всех головах, во всех сердцах — не только человечьих, но и в самых простых сердцах зверей и птиц.

Поляков тихо матерился, считая, что вся беда от Сережки Шапошникова, бормотал: «Довел-таки Сережка». А в душе представлялось ему, что он молится.

Этот сплошной взрыв не мог длиться долго, таким сверхнапряжением был полон он. Но время шло, а ревущий грохот не ослабевал, и черная дымовая мгла, не светлея, а наливаясь, все прочней

связывала землю и небо.

Климов нащупал грубую рабочую руку старого ополченца и пожал ее, и ее ответное доброе движение на миг утешило Климова в незасыпанной могиле. Близкий взрыв наплескал в яму комья земли и каменной крошки; куски кирпича ударили старика по спине. Тошно стало им, когда земля пластами поползла по стенам ямы. Вот она, яма, в которую человеку пришлось полезть, и уж не увидеть света, — немец с неба засыплет, приравняет края.

Обычно, идя на разведку, Климов не любил напарников, спешил поскорей уйти в темноту, — так хладнокровный, опытный пловец спешит уйти от каменистого берега в угрюмую глубину открытого моря. А здесь, в яме, он радовался лежавшему рядом Полякову.

Время потеряло свой плавный ход, стало безумным, рвалось вперед, как взрывная волна, то вдруг застывало, скрученное в бараний рог.

Но вот люди в яме приподняли головы, — над ними стоял мутный полусвет, дым и пыль уносило ветром… земля затихла, звуковой сплошняк распался на отдельные взрывы. Муторное изнеможение овладело душой; казалось, что все живые силы выдавлены из нее, осталась одна

лишь тоска.

Климов приподнялся, подле него лежал покрытый пылью, тертый, жеванный войной от пилотки до сапог немец. Климов не боялся немцев, он был постоянно убежден в своей силе, в своем дивном умении нажать на спусковой крючок, подбросить гранату, ударить прикладом либо ножом на секунду раньше, чем это сделает противник.

Но сейчас он растерялся, его поразило, что, оглушенный и ослепленный, он утешался, чувствуя немца рядом, что руку немца он спутал с поляковской рукой. Они смотрели друг на друга. Обоих придавила одна и та же сила, оба они были беспомощны бороться с этой силой, и оказалось, она не защищала одного из них, а одинаково угрожала и одному, и другому.

Они молчали, два военных жителя. Совершенный и безошибочный автоматизм — убить, — которым оба они обладали, не сработал.

А Поляков сидел поодаль и тоже смотрел на заросшего щетиной немца. И хотя Поляков не любил долго молчать, сейчас он молчал.

Жизнь была ужасна, а в глубине их глаз мелькнуло унылое прозрение, что и после войны сила, загнавшая их в эту яму, вдавившая мордами в

землю, будет жать не только побежденных.

Они, словно договорившись, полезли из ямы, подставляя свои спины и черепа под легкий выстрел, непоколебимо уверенные в своей безопасности.

Поляков поскользнулся, но немец, ползший рядом, не помог ему, старик покатил вниз, ругая и проклиная белый свет, куда все же снова упорно полез. Климов и немец вылезли на поверхность, и оба посмотрели: один на восток, второй на запад, — не видит ли начальство, что лезут они из одной ямы, не убивают друг друга. Не оглянувшись, без «адью» пошли каждый к своим окопам холмами и долинами перепаханной и еще дымящейся земли.

— Дома-то нашего нет, с землей сровняли, — испуганно сказал Климов поспевавшему за ним Полякову. — Неужели всех вас убило, братья мои?

В это время стали печатать пушки и пулеметы, завыло, заукало. Немецкие войска пошли в большое наступление. То был самый тяжелый день Сталинграда.

— Довел Сережка проклятый, — бормотал Поляков. Он еще не понимал, что произошло, что в доме шесть дробь один не осталось живых, и

его раздражали всхлипывания и восклицания Климова.

24

В час воздушной атаки бомба ударила по камере подземного газопрохода, где находился командный пункт батальона, и засыпала находившихся в этот момент там командира полка Березкина, комбата Дыркина и батальонного телефониста. Очутившись в полной темноте, оглушенный, задыхающийся от каменной пыли Березкин сперва подумал, что он уж неживой, но Дыркин в миг короткого затишья чихнул и спросил:

— Вы живой, товарищ подполковник?

И Березкин ответил:

— Живой.

Дыркин развеселился, услыша голос командира полка, и к нему сразу вернулось хорошее настроение, годами не покидавшее его.

— Раз живой, то, значит, порядок, — давясь пылью, кашляя и отхаркивая, сказал он, хотя порядка было не так уж много. Дыркина и телефониста присыпало щебенкой, и не было ясно, целы ли у них кости, пощупать себя они не могли. Железная балка провисла над их головами и мешала им разогнуть спины, но эта балка, види-

мо, и спасла их. Дыркин зажег фонарик, и стало действительно страшновато. В пыли нависали камни, гнутое железо, вздутый бетон, залитый смазочным маслом, размозженные кабели. Казалось, еще один бомбовый толчок, и не станет узкой щели, не станет людей — железо и камень сомкнутся.

Они на время притихли, съежились, — неистовая сила молотила по цехам.

«Эти цехи, — подумал Березкин, — и своими мертвыми телами работали на оборону — ведь трудно разбить бетон, железо, разодрать арматуру».

Потом они все обстукали, ощупали и поняли, что вылезть своими силами им никак нельзя. Телефон был цел, но молчал, — провод перемололо.

Говорить друг с другом они почти не могли — грохот разрывов глушил голоса, из-за пыли они захлебывались в кашле.

Березкин, сутки назад лежавший в жару, сейчас не чувствовал слабости. Его сила обычно подчиняла в бою и командиров, и красноармейцев, но суть ее не была военной и боевой — это была простая, рассудительная человеческая сила. Сохранять ее и проявлять в аду сражения могли

лишь редкие люди, и именно они, эти обладатели цивильной, домашней и рассудительной человеческой силы, и были истинными хозяевами войны.

Но стихла бомбежка, и засыпанные люди услышали железный гул.

Березкин утер нос, покашлял и сказал:

— Завыла волчья стая, танки на Тракторный пошли. — И добавил: — А мы у них на дороге сидим.

И оттого, что, казалось, ничего хуже уж и не придумать, комбат Дыркин вдруг громко, каким-то непередаваемым голосом запел, закашлял песню из кинофильма:

Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить,

С нашим атаманом не приходится тужить…

Телефонист подумал, что комбат сошел с ума, но все же, харкая и кашляя, подхватил:

Жена погорюет, выйдет за другого,

Выйдет за другого, забудет про меня…

А на поверхности, в гулком пролете цеха, наполненного дымом, пылью и ревом танков,

Глушков, срывая кожу с окровавленных ладоней и пальцев, разбрасывал камни, куски бетона, отгибал прутья арматуры. Глушков работал с безумным исступлением, и только безумие помогло ему ворочать тяжелые балки, совершить работу, которая была бы по силам десятерым.

Березкин снова увидел неприглядный дымный, пыльный свет, смешанный с грохотом взрывов, с ревом немецких танков, с пушечной и пулеметной стрельбой. И все же то был ясный, тихий свет, и, глядя на него, Березкин первым делом подумал: «Видишь, Тамара, напрасно ты беспокоишься, я тебе говорил, что ничего особенного». Крепкие, сильные руки Глушкова обняли его.

Дыркин рыдающим голосом крикнул:

— Разрешите доложить, товарищ командир полка, — командую мертвым батальоном.

Он обвел рукой вокруг себя.

— Нету Вани, нету нашего Вани, — и указал на труп комиссара батальона, лежащего на боку в черной бархатной луже крови и машинного масла. На командном пункте полка все оказалось сравнительно благополучно — лишь стол и койка были присыпаны землей.

Пивоваров, увидя Березкина, заругался счастливым голосом, бросился к нему.

Березкин стал спрашивать:

— Связь есть с батальонами? Как отдельный дом? Что Подчуфаров? Попали с Дыркиным, как воробьи в мышеловку, ни связи, ни света. Кто жив, кто мертв, где мы, где немец, ничего не знаю, — давайте обстановку! Пока вы воевали, мы там песни пели.

Пивоваров стал рассказывать о потерях, о том, что люди в доме шесть дробь один накрылись все, погибли, вместе с бузотером Грековым, уцелели только двое — разведчик и старик-ополченец.

Но полк выдержал немецкий напор, оставшиеся в живых были живы.

В это время зазуммерил телефон, и штабные, оглянувшись на связиста, поняли по его лицу, что звонит высший сталинградский начальник.

Связной передал Березкину трубку, — слышно было хорошо, и притихшие в землянке люди узнали тугой, низкий голос Чуйкова:

— Березкин? Командир дивизии ранен, заместитель и начальник штаба убиты, приказываю вам принять командование дивизией. — И после паузы добавил медленно и веско: — Ты командовал полком в невиданных, адских условиях, сдержал напор. Спасибо тебе. Обнимаю тебя, дорогой. Желаю успеха.

Началась война в цехах Тракторного завода. Живые были живы.

Молчал дом «шесть дробь один». Ни одного выстрела не слышно было из развалин. Видимо, главная сила воздушного удара обрушилась на дом, — остатки стен рухнули, каменный холм выровняло. Немецкие танки вели огонь по батальону Подчуфарова, маскируясь у остатков мертвого дома.

Развалины недавно еще страшного для немцев, беспощадного к ним дома стали теперь для них безопасным убежищем.

Издали красные груды кирпича казались огромными клочьями дымящегося сырого мяса, серо-зеленые немецкие солдаты, возбужденно и быстро жужжа, ползли, перебегали среди кирпичных глыб сокрушенного, убитого дома.

— Ты уж покомандуй полком, — сказал Березкин Пивоварову и добавил: — Всю войну начальство мной недовольно. А тут просидел без дела под землей, спевал песни и, на тебе, — получил благодарность Чуйкова, и, шутка, командование дивизией поручено. Теперь спуску тебе не дам.

Но немец пер, было не до шуток.

25

Штрум с женой и дочерью приехали в Москву в холодные снежные дни. Александра Владимировна не захотела прерывать работу на заводе и осталась в Казани, хотя Штрум брался устроить ее в институт имени Карпова.

Странные это были дни — одновременно радостно и тревожно было на душе. Казалось, немцы по-прежнему грозны, сильны, готовят новые жестокие удары.

Казалось, нет еще перелома в войне. Но естественной и разумной была тяга людей в Москву, законной казалась начатая правительством реэвакуация в Москву некоторых учреждений.

Люди уже ощущали тайный знак военной весны. И все же невесело, угрюмо выглядела столица во вторую зиму войны.

Грязный снег холмами лежал вдоль тротуаров. На окраинных улицах тропинки по-деревенски соединяли подъезды домов с трамвайными остановками и продмагами. Из многих окон дымили железные трубы румынок, и стены домов покрылись желтой копотной наледью.

Московские люди в полушубках, платках каза-

лись уездными, деревенскими.

По дороге с вокзала Виктор Павлович, сидя на вещах в кузове грузовика, оглядывал насупившееся лицо сидевшей с ним рядом Нади.

— Что, мадмуазель, — спросил Штрум, — такую Москву ты представляла себе в казанских мечтах?

Надя, раздражаясь, что отец понял ее настроение, ничего не ответила.

Виктор Павлович стал объяснять ей:

— Человек не понимает, что созданные им города не есть естественная часть природы. Человек не должен выпускать из рук ружья, лопаты, метлы, чтобы отбивать свою культуру от волков, метели, сорных трав. Стоит зазеваться, отвлечься на год-два, и пропало дело — из лесов пойдут волки, полезет чертополох, города завалит снегом, засыплет пылью. Сколько уже погибло великих столиц от пыли, снега, бурьяна.

Штруму захотелось, чтобы и Людмила, сидевшая в кабине рядом с леваком-шофером, слышала его рассуждения, и он перегнулся через борт грузовика, спросил через наполовину спущенное оконце:

— Тебе удобно, Люда?

Надя сказала:

— Просто дворники не чистят снег, при чем тут гибель культуры.

— Дурочка ты, — сказал Штрум. — Погляди на эти торосы.

Грузовик сильно тряхнуло, и все узлы и чемоданы в кузове разом подпрыгнули, и вместе с ними подпрыгнули Штрум и Надя. Они переглянулись и рассмеялись.

Странно, странно. Мог ли он думать, что в год войны, горя, бездомности, в казанской эвакуации ему удастся сделать свою самую большую, главную работу.

Казалось, одно лишь торжественное волнение будут испытывать они, приближаясь к Москве, казалось, горе об Анне Семеновне, Толе, Марусе, мысли о жертвах, понесенных почти в каждой семье, соединятся с радостью возвращения, заполнят душу.

Но все шло не так, как представлялось. В поезде Штрум раздражался по пустякам. Его сердило, что Людмила Николаевна много спала, не смотрела в окно на ту землю, которую отстоял ее сын. Во сне она громко всхрапывала, проходивший по вагону раненый военный, послушав ее храп, сказал:

— Ого, вот это по-гвардейски.

Его раздражала Надя: мать убирала после нее

остатки еды, Надя с дикарским эгоизмом выбирала из сумки самые румяные коржики. В поезде она усвоила по отношению к отцу какой-то дурацкий, насмешливый тон. Штрум слышал, как она в соседнем купе говорила: «Мой папаша большой поклонник музыки и сам бренчит на рояле».

Соседи по вагону вели разговоры о московской канализации и центральном отоплении, о беспечных людях, не плативших деньги по московским жировкам и потерявших право на площадь, о том, какие продукты выгодней везти в Москву. Штрума сердили разговоры на житейские темы, но и он говорил об управдоме, водопроводе, а ночью, когда не мог уснуть, думал о прикреплении к московскому распределителю, о том, выключен ли телефон.

Злая баба-проводница, подметая купе, извлекла из-под скамьи брошенную Штрумом куриную кость и сказала:

— Ну, чисто свиньи, а еще считаются культурные.

В Муроме Штрум и Надя, гуляя по перрону, прошли мимо молодых людей в бекешах с каракулевыми воротниками. Один из молодых людей сказал:

— Абрам из эвакуации возвращается.

Второй объяснил:

— Спешит Абраша получить медаль за оборону Москвы.

А на станции Канаш поезд остановился против эшелона с заключенными. Вдоль теплушек ходили часовые, к маленьким, зарешеченным окнам прижимались бледные лица заключенных, кричавших: «Покурить», «Табачку». Часовые ругались, отгоняли заключенных от окошек.

Вечером он прошел в соседний вагон, где ехали Соколовы. Марья Ивановна с головой, повязанной цветным платочком, стелила постели, — Петру Лаврентьевичу на нижней полке, себе на верхней. Она была озабочена, удобно ли будет Петру Лаврентьевичу, и на вопросы Штрума отвечала невпопад и даже не спросила, как чувствует себя Людмила Николаевна.

Соколов зевал, жаловался, что его разморила вагонная духота. Штрума почему-то необычайно обидело, что Соколов рассеян и не обрадовался его приходу.

— В первый раз в жизни вижу, — сказал Штрум, — чтобы муж заставлял жену лазить на верхнюю полку, а сам спал внизу.

Он произнес эти слова раздраженно и сам удивился, почему это обстоятельство так рассердило

его.

— А мы всегда так, — сказала Марья Ивановна. — Петру Лаврентьевичу душно наверху, а мне все равно.

И она поцеловала Соколова в висок.

— Ну, я пошел, — сказал Штрум. И снова обиделся, что Соколовы не стали его задерживать.

Ночью в вагоне было очень душно. Вспоминались Казань, Каримов, Александра Владимировна, разговоры с Мадьяровым, тесный кабинетик в университете… Какие милые, тревожные глаза были у Марьи Ивановны, когда Штрум, приходя к Соколовым по вечерам, рассуждал о политике. Не такие рассеянные и отчужденные, как сегодня в вагоне.

«Черт знает что, — подумал он. — Сам спит внизу, где удобней и прохладней, вот это домострой».

И, рассердившись на Марью Ивановну, которую он считал лучшей из знакомых ему женщин, — кроткой, доброй, он подумал: «Красноносая крольчиха. Тяжелый человек Петр Лаврентьевич, мягкий, сдержанный, и вместе с тем безудержное самомнение, скрытность, злопамятный. Да, достается ей, бедняжке».

Он никак не мог заснуть, пробовал думать о

предстоящих встречах с друзьями, с Чепыжиным, — многие уже знают о его работе. Что ждет его, ведь он едет с победой, что скажут ему Гуревич, Чепыжин?

Он подумал, что Марков, разработавший во всех подробностях новую опытную установку, приедет в Москву лишь через неделю, а без него не удастся начать работу. Плохо, что и Соколов, и я — халдеи, теоретики с безмозглыми, слепыми руками…

Да, победитель, победитель.

Но эти мысли шли лениво, рвались.

Перед глазами стояли люди, кричавшие «табачку», «папирос», молодцы, назвавшие его Абрамом. Странную фразу сказал при нем Постоев Соколову; Соколов рассказывал о работе молодого физика Ландесмана, и Постоев сказал: «Да уж что там Ландесман, вот Виктор Павлович удивил мир первоклассным открытием, — и обнял Соколова, добавил: — А все же самое главное, что мы с вами русские люди»…

Включен ли телефон, горит ли газ? Неужели и сто с лишним лет назад люди, возвращаясь в Москву после изгнания Наполеона, думали о такой же ерунде?..

Грузовик остановился возле дома, и Штрумы

вновь увидели четыре окна своей квартиры с налепленными прошлым летом синими бумажными крестами на стеклах, парадную дверь, липы на обочине тротуара, увидели вывеску «Молоко», дощечку на дверях домоуправления.

— Лифт, конечно, не работает, — проговорила Людмила Николаевна и, обратившись к шоферу, спросила: — Товарищ, вы не поможете нам снести вещи на третий этаж?

Шофер ответил:

— Отчего же, можно. Только вы мне заплатите за это дело хлебом.

Машину разгрузили, Надю оставили стеречь вещи, а Штрум с женой поднялись в квартиру. Они поднимались медленно, удивляясь, что все так неизменно, — обитая черной клеенкой дверь на втором этаже, знакомые почтовые ящики. Как странно, что улицы, дома, вещи, о которых забываешь, не исчезают, и вот они снова, и снова человек среди них.

Когда-то Толя, не дожидаясь лифта, взбегал на третий этаж, кричал сверху Штруму: «Ага, а я уже дома!»

— Передохнем на площадке, ты задохнулась, — сказал Виктор Павлович.

— Бог мой, — сказала Людмила Николаевна. —

Во что превратилась лестница. Завтра же пойду в домоуправление и заставлю Василия Ивановича организовать уборку.

Вот они снова стоят перед дверью своего дома: муж и жена.

— Может быть, ты сама хочешь открыть дверь?

— Нет-нет, зачем, открой ты, ты хозяин.

Они вошли в квартиру, прошли по комнатам, не снимая пальто, она попробовала рукой радиатор, сняла телефонную трубку, подула в нее, сказала:

— Телефон-то, оказывается, работает!

Потом она прошла на кухню, сказала:

— Вот и вода есть, значит, уборной можно пользоваться.

Она подошла к плите, попробовала краны у плиты, газ был выключен.

Боже мой, боже мой, вот и все. Враг остановлен. Они вернулись в свой дом. Словно вчера была суббота, 21 июня 1941 года… Как все неизменно, как все изменилось! Другие люди вошли в дом, у них уже другие сердца, другая судьба, они живут в другой эпохе. Почему так тревожно, так буднично… Почему утерянная довоенная жизнь казалась такой прекрасной, счастливой… Почему

так томят мысли о завтрашнем дне — карточное бюро, прописка, лимит на электричество, лифт работает, лифт не работает, подписка на газеты… Снова ночью в своей кровати слушать знакомый бой часов.

Он шел следом за женой и вдруг вспомнил свой летний приезд в Москву, красивую Нину, пившую с ним вино, пустая бутылка и сейчас стояла на кухне возле раковины.

Он вспомнил ночь после прочтения письма матери, привезенного полковником Новиковым, свой внезапный отъезд в Челябинск. Вот здесь он целовал Нину, и шпилька выпала у нее из волос, они не могли ее найти. Его охватила тревога, не появилась ли на полу шпилька, может быть, Нина забыла здесь карандаш с губной помадой, пудреницу.

Но в это мгновение водитель, тяжело дыша, поставил чемодан, оглядел комнату и спросил:

— Всю площадь занимаете?

— Да, — виновато ответил Штрум.

— А нас шестеро на восьми метрах, — сказал водитель. — Бабка днем спит, когда все на работе, а ночью на стуле сидит.

Штрум подошел к окну, Надя стояла у сложенных возле грузовика вещей, приплясывала, дула

на пальцы.

Милая Надя, беспомощная дочка Штрума, это ее родной дом.

Водитель принес мешок с продуктами и портплед, набитый постельными принадлежностями, присел на стул, стал сворачивать папиросу.

Его, видимо, всерьез занимал жилищный вопрос, и он все заговаривал со Штрумом о санитарной норме, взяточниках из райжилуправления.

Из кухни послышался грохот кастрюль.

— Хозяйка, — сказал водитель и подмигнул Штруму.

Штрум снова посмотрел в окно.

— Порядок, порядок, — сказал водитель. — Вот раздолбают немцев в Сталинграде и понаедут из эвакуации, еще хуже с площадью станет. У нас недавно вернулся рабочий на завод после двух ранений, конечно, дом разбомбили, поселился с семьей в нежилом подвале, жена, конечно, забеременела, двое детей туберкулезные. Залило их в подвале водой, выше колен. Они постелили доски на табуреты и по доскам ходили от кровати к столу, от стола к плите. Вот он стал добиваться — и в партком, и в райком, и Сталину писал. Все обещали, обещали. Он ночью подхватил жену, детей, барахло и занял площадь на пятом этаже,

резерв райсовета. Комната восемь метров сорок три сотых. Тут целое дело поднялось! Прокурор его вызвал, — в двадцать четыре часа освободи площадь или пойдешь в лагерь на пять лет, детей в детдом заберем. Он тогда что сделал? Имел за войну ордена, так он их себе в грудь вколотил, в живое мясо, и тут же, в цеху, повесился, в обеденный перерыв. Ребята заметили, сразу чик веревку. «Скорая помощь» его в больницу свезла. Ему сразу после этого ордер дали, он пока в больнице еще, но повезло человеку, — площадь маленькая, а все удобства есть. Толково получилось.

Когда водитель досказал свою историю, явилась Надя. — А вещи украдут, кто ответит? — спросил водитель. Надя пожала плечами, стала ходить по комнатам, дуя на замерзшие пальцы.

Едва Надя вошла в дом, она стала сердить Штрума.

— Ты хоть воротник опусти, — сказал он, но Надя отмахнулась, крикнула в сторону кухни:

— Мама, я жутко есть хочу!

Людмила Николаевна в этот день проявила столько энергичной деятельности, что Штруму казалось, приложи она такую силу к фронтовым делам, немцы откатились бы на сто километров от Москвы.

Водопроводчик подключил отопление, трубы оказались в порядке, правда, они мало нагревались. Вызвать газового мастера было нелегко. Людмила Николаевна дозвонилась до директора газовой сети, и тот прислал мастера из аварийной бригады. Людмила Николаевна зажгла все газовые горелки, поставила на них утюги, и, хотя газ горел слабо, в кухне стало тепло, можно было сидеть без пальто. После трудов водителя, водопроводчика и газовщиков хлебный мешок стал совсем легкий.

До позднего вечера Людмила Николаевна занималась хозяйственными делами. Она обмотала щетку тряпкой и обтерла пыль с потолков и стен. Она обмыла от пыли люстру, вынесла на черный ход засохшие цветы, собрала множество хлама, старых бумаг, тряпок, и ропщущая Надя три раза выносила ведра на помойку.

Людмила Николаевна перемыла кухонную и столовую посуду, и Виктор Павлович вытирал под ее руководством тарелки, вилки и ножи, чайную посуду она не доверила ему. Она затеяла стирку в ванной комнате, перетапливала на плите масло, перебирала привезенную из Казани картошку.

Штрум позвонил по телефону Соколову, подошла Марья Ивановна и сказала:

— Я уложила Петра Лаврентьевича спать, он устал с дороги, но, если что-нибудь срочное, я разбужу.

— Нет-нет, я хотел потрепаться без дела, — сказал Штрум.

— Я так счастлива, — сказала Марья Ивановна. — Мне все время плакать хочется.

— Приходите к нам, — сказал Штрум. — Как у вас, вечер свободен?

— Да что вы, сегодня невозможно, — смеясь сказала Марья Ивановна. — Столько дел и у Людмилы Николаевны, и у меня.

Она спросила о лимите на электричество, о водопроводе, и он неожиданно грубо сказал:

— Я сейчас позову Людмилу, она продолжит беседу о водопроводе. — Он тут же добавил подчеркнуто шутливо: — Жаль, жаль, что не придете, а то бы мы почитали поэму Флобера «Макс и Мориц».

Но она не ответила на шутку, проговорила:

— Я попозже позвоню. Если у меня столько хлопот в одной комнате, то сколько их у Людмилы Николаевны.

Штрум понял, что она обижена его грубым тоном. И вдруг ему захотелось в Казань. До чего странно все же устроен человек.

Штрум позвонил Постоевым, но у них оказался выключен телефон.

Он позвонил доктору физических наук Гуревичу, и ему сказали соседи, что Гуревич уехал к сестре в Сокольники.

Он позвонил Чепыжину, но к телефону никто не подошел.

Вдруг позвонил телефон, мальчишеский голос попросил Надю, но Надя в это время совершала рейс с мусорным ведром.

— Кто ее спрашивает? — строго спросил Штрум.

— Это неважно, один знакомый.

— Витя, хватит болтать по телефону, помоги мне отодвинуть шкаф, — позвала Людмила Николаевна.

— Да с кем я болтаю, я никому в Москве не нужен, — сказал Штрум. — Хоть бы поесть что-нибудь дала мне. Соколов уж нажрался и спит.

Казалось, что Людмила внесла в дом еще больший беспорядок, — повсюду лежали груды белья, вынутая из шкафов посуда стояла на полу; кастрюли, корыта, мешки мешали ходить по комнатам и по коридору.

Штрум думал, что Людмила не будет первое время входить в комнату Толи, но он ошибся.

С озабоченными глазами и раскрасневшимся лицом она говорила:

— Витя, Виктор, поставь в Толину комнату, на книжный шкаф, китайскую вазу, я вымыла ее.

Вновь позвонил телефон, и он слышал, как Надя сказала:

— Здравствуй, да я никуда не ходила, мама погнала с мусорным ведром.

А Людмила Николаевна торопила его:

— Витя, помоги же мне, не спи, ведь столько еще дела.

Какой могучий инстинкт живет в душе женщины, как силен и как прост этот инстинкт.

К вечеру беспорядок был побежден, в комнатах потеплело, привычный довоенный вид стал проступать в них.

Ужинали на кухне. Людмила Николаевна напекла коржей, нажарила пшенных котлет из сваренной днем каши.

— Кто это звонил тебе? — спросил Штрум у Нади.

— Да мальчишка, — ответила Надя и рассмеялась, — он уже четвертый день звонит, наконец дозвонился.

— Ты что ж, переписку с ним вела? Предупредила заранее о приезде? — спросила Людмила

Николаевна.

Надя раздраженно поморщилась, повела плечом.

— А мне хоть бы собака позвонила, — сказал Штрум.

Ночью Виктор Павлович проснулся. Людмила в рубахе стояла перед открытой дверью Толиной комнаты и говорила:

— Вот видишь, Толенька, я все успела, прибрала, и в твоей комнате, словно не было войны, мальчик мой хороший…

26

В одном из залов Академии наук собрались приехавшие из эвакуации ученые.

Все эти старые и молодые люди, бледные, лысые, с большими глазами и с пронзительными маленькими глазами, с широкими и узкими лбами, собравшись вместе, ощутили высшую поэзию, когда-либо существовавшую в жизни, — поэзию прозы. Сырые простыни и сырые страницы пролежавших в нетопленых комнатах книг, лекции, читанные в пальто с поднятыми воротниками, формулы, записанные красными, мерзнущими пальцами, московский винегрет, построенный из осклизлой картошки и рваных листьев капусты, толкотня за талончиками, нудные мысли о списках на соленую рыбу и дополнительное постное масло, — все вдруг отступило. Знакомые, встречаясь, шумно здоровались.

Штрум увидел Чепыжина рядом с академиком Шишаковым.

— Дмитрий Петрович! Дмитрий Петрович! — повторил Штрум, глядя на милое ему лицо. Чепыжин обнял его.

— Пишут вам ваши ребята с фронта? — спросил

Штрум.

— Здоровы, пишут, пишут.

И по тому, как нахмурился, а не улыбнулся Чепыжин, Штрум понял, что он уже знает о смерти Толи.

— Виктор Павлович, — сказал он, — передайте жене вашей мой низкий поклон, до земли поклон. И мой, и Надежды Федоровны.

Сразу же Чепыжин сказал:

— Читал вашу работу, интересно, очень значительная, значительней, чем кажется. Понимаете, интересней, чем мы сейчас можем себе представить.

И он поцеловал Штрума в лоб.

— Да что там, пустое, пустое, — сказал Штрум, смутился и стал счастлив. Когда он шел на собрание, его волновали суетные мысли: кто читал его работу, что скажут о ней? А вдруг никто не читал ее?

И сразу же после слов Чепыжина его охватила уверенность, — только о нем, только о его работе и будет здесь сегодня разговор.

Шишаков стоял рядом, а Штруму хотелось сказать Чепыжину о многом, чего не скажешь при постороннем, особенно при Шишакове.

Глядя на Шишакова, Штрум обычно вспоминал

шутливые слова Глеба Успенского: «Пирамидальный буйвол!»

Квадратное, с большим количеством мяса, лицо Шишакова, надменный мясистый рот, мясистые пальцы с полированными ногтями, серебристо-серый литой и плотный ежик, всегда отлично сшитые костюмы — все это подавляло Штрума. Он, встречая Шишакова, каждый раз ловил себя на мысли: «Узнает? Поздоровается?» — и, сердясь на самого себя, радовался, когда Шишаков медленно произносил мясистыми губами казавшиеся тоже говяжьими, мясистыми слова.

— Надменный бык! — говорил Соколову Штрум, когда речь заходила о Шишакове. — Я перед ним робею, как местечковый еврей перед кавалерийским полковником.

— А ведь подумать, — говорил Соколов, — знаменит он тем, что не познаша позитрона при проявлении фотографий. Известно каждому аспиранту — ошибка академика Шишакова.

Соколов очень редко говорил плохо о людях, — то ли из осторожности, то ли из религиозного чувства, запрещавшего осуждать ближних. Но Шишаков безудержно раздражал Соколова, и Петр Лаврентьевич его часто поругивал и высмеивал, не мог сдержаться.

Заговорили о войне.

— Остановили немца на Волге, — сказал Чепыжин. — Вот она, волжская сила. Живая вода, живая сила.

— Сталинград, Сталинград, — сказал Шишаков, — в нем слились и триумф нашей стратегии, и стойкость нашего народа.

— А вы, Алексей Алексеевич, знакомы с последней работой Виктора Павловича? — спросил вдруг Чепыжин.

— Слышал, конечно, но не читал еще.

На лице Шишакова не видно было, что именно он слышал о работе Штрума.

Штрум посмотрел Чепыжину в глаза долгим взглядом — пусть его старый друг и учитель видит все, что пережил Штрум, пусть узнает о его потерях, сомнениях. Но и глаза Штрума увидели печаль, и тяжелые мысли, и старческую усталость Чепыжина.

Подошел Соколов, и, пока Чепыжин пожимал ему руку, академик Шишаков небрежно скользнул глазами по старенькому пиджаку Петра Лаврентьевича. А когда подошел Постоев, Шишаков радостно улыбнулся всем мясом своего большого лица, сказал:

— Здравствуй, здравствуй, дорогой мой, вот уж

кого я рад видеть.

Они заговорили о здоровье, женах, детях, дачах, — большие, великолепные богатыри.

Штрум негромко спросил Соколова:

— Как устроились, дома тепло?

— Пока не лучше, чем в Казани. Маша очень просила вам кланяться. Вероятно, завтра днем к вам зайдет.

— Вот чудесно, — сказал Штрум, — мы уж соскучились, привыкли в Казани встречаться каждый день.

— Да уж, каждый день, — сказал Соколов. — По-моему, Маша к вам по три раза в день заходила. Я уж предлагал ей к вам перебраться.

Штрум рассмеялся и подумал, что смех его не совсем естественен. В зал вошел академик математик Леонтьев, носатый, с большим бритым черепом и с огромными очками в желтой оправе. Когда-то они, живя в Гаспре, поехали в Ялту, выпили много вина в магазинчике винторга, пришли в гаспринскую столовую с пением неприличной песни, переполошив персонал, насмешив всех отдыхающих. Увидя Штрума, Леонтьев заулыбался. Виктор Павлович слегка потупился, ожидая, что Леонтьев заговорит о его работе.

Но Леонтьев, видимо, вспомнил о гаспринских приключениях, замахал рукой, крикнул:

— Ну как, Виктор Павлович, споем?

Вошел темноволосый молодой человек в черном костюме, и Штрум заметил, что академик Шишаков тотчас поклонился ему.

К молодому человеку подошел Суслаков, ведавший важными, но непонятными делами при президиуме, — известно было, что с его помощью легче, чем с помощью президента, можно было перевести доктора наук из Алма-Аты в Казань, получить квартиру. Это был человек с усталым лицом, из тех, что работают по ночам, с мятыми, из серого теста щеками, человек, который всем и всегда был нужен.

Все привыкли к тому, что Суслаков на заседаниях курил «Пальмиру», а академики табак и махорку и что, выходя из подъезда Академии, не ему говорили знаменитые люди: «Давайте подвезу», а он, подходя к своему «ЗИСу», говорил знаменитым людям: «Давайте подвезу».

Теперь Штрум, наблюдая за разговором Суслакова с темноволосым молодым человеком, видел, что тот ничего не просил у Суслакова, — как бы грациозно ни была выражена просьба, всегда можно угадать, кто просит и у кого просят. Нао-

борот, молодой человек не прочь был поскорей закончить разговор с Суслаковым. Молодой человек с подчеркнутой почтительностью поклонился Чепыжину, но в этой почтительности мелькнула неуловимая, но все же как-то и уловимая небрежность.

— Между прочим, кто этот юный вельможа? — спросил Штрум.

Постоев проговорил вполголоса:

— Он с недавнего времени работает в отделе науки Центрального Комитета.

— Знаете, — сказал Штрум, — у меня удивительное чувство. Мне кажется, что упорство наше в Сталинграде — это упорство Ньютона, упорство Эйнштейна, что победа на Волге знаменует торжество идей Эйнштейна, словом, понимаете, вот такое чувство.

Шишаков недоуменно усмехнулся, слегка покачал головой.

— Неужели не понимаете меня, Алексей Алексеевич? — сказал Штрум.

— Да, темна вода во облацех, — сказал, улыбаясь, оказавшийся рядом молодой человек из отдела науки. — Видимо, так называемая теория относительности и может помочь отыскать связь между русской Волгой и Альбертом Эйн-

штейном.

— Так называемая? — удивился Штрум и поморщился от насмешливой недоброжелательности, проявленной к нему.

Ища поддержки, он посмотрел на Шишакова, но, видимо, и на Эйнштейна распространялось спокойное пренебрежение пирамидального Алексея Алексеевича.

Злое чувство, мучительное раздражение охватило Штрума. Так иногда случалось с ним, ошпарит обида, и большой силы стоит сдержаться. А потом уж дома, ночью он произносил свою ответную речь обидчикам и холодел, сердце замирало. Иногда, забываясь, он кричал, жестикулировал, защищая в этих воображаемых речах свою любовь, смеясь над врагами. Людмила Николаевна говорила Наде: «Опять папа речи произносит».

В эти минуты он чувствовал себя оскорбленным не только за Эйнштейна. Каждый знакомый, казалось ему, должен был говорить с ним о его работе, он должен был быть в центре внимания собравшихся. Он чувствовал себя обиженным и уязвленным. Он понимал, что смешно обижаться на подобные вещи, но он был обижен. Один лишь Чепыжин заговорил с ним о его работе.

Кротким голосом Штрум сказал:

— Фашисты изгнали гениального Эйнштейна, и их физика стала физикой обезьян. Но, слава богу, мы остановили движение фашизма. И все это вместе: Волга, Сталинград, и первый гений нашей эпохи Альберт Эйнштейн, и самая темная деревушка, и безграмотная старуха-крестьянка, и свобода, которая нужна всем… Ну вот все это и соединилось. Я, кажется, высказался путано, но, наверное, нет ничего яснее этой путаницы…

— Мне кажется, Виктор Павлович, что в вашем панегирике Эйнштейну есть сильный перебор, — сказал Шишаков.

— В общем, — весело проговорил Постоев, — я бы сказал, перебор есть.

А молодой человек из отдела науки грустно посмотрел на Штрума.

— Вот, товарищ Штрум, — проговорил он, и вновь Штрум ощутил недоброжелательность его голоса. — Вам кажется естественным в такие важные для нашего народа дни соединить в своем сердце Эйнштейна и Волгу, а у ваших оппонентов просыпается в эти дни иное в сердце. Но над сердцем никто не волен, и спорить тут не о чем. А касаемо оценок Эйнштейна — тут уж можно поспорить, потому что выдавать идеалистическую теорию за высшие достижения науки,

мне думается, не следует.

— Да бросьте вы, — перебил его Штрум. Надменным учительским голосом он сказал: — Алексей Алексеевич, современная физика без Эйнштейна — это физика обезьян. Нам не положено шутить с именами Эйнштейна, Галилея, Ньютона.

И он предостерег Алексея Алексеевича движением пальца, увидел, как заморгал Шишаков.

Вскоре Штрум, стоя у окна, то шепотом, то громко передавал об этом неожиданном столкновении Соколову.

— А вы были совсем рядом и ничего даже не слышали, — сказал Штрум. — И Чепыжин как назло отошел, не слышал.

Он нахмурился, замолчал. Как наивно, по-ребячьи мечтал он о своем сегодняшнем торжестве. Оказывается, всеобщее волнение вызвал приход какого-то ведомственного молодого человека.

— А знаете фамилию этого молодого вьюноши? — вдруг, точно угадывая его мысль, спросил Соколов. — Чей он родич?

— Понятия не имею, — ответил Штрум.

Соколов, приблизив губы к уху Штрума, зашептал.

— Что вы говорите! — воскликнул Штрум. И, вспомнив казавшееся ему непонятным отноше-

ние пирамидального академика и Суслакова к юноше студенческого возраста, протяжно произнес: — Так во-о-от оно что, а я-то все удивлялся.

Соколов, посмеиваясь, сказал Штруму:

— С первого дня вы себе обеспечили дружеские связи и в отделе науки, и в академическом руководстве. Вы как тот марктвеновский герой, который расхвастался о своих доходах перед налоговым инспектором.

Но Штруму эта острота не понравилась, он спросил:

— А вы действительно не слышали нашего спора, стоя рядом со мной? Или не хотели вмешиваться в мой разговор с фининспектором?

Маленькие глаза Соколова улыбнулись Штруму, стали добрыми и оттого красивыми.

— Виктор Павлович, — сказал он, — не расстраивайтесь, неужели вы думаете, что Шишаков может оценить вашу работу? Ах, боже мой, боже мой, сколько тут житейской суеты, а ваша работа — это ведь настоящее.

И в глазах, и в голосе его была та серьезность, то тепло, которых ждал от него Штрум, придя к нему казанским осенним вечером. Тогда, в Казани, Виктор Павлович не получил их.

Началось собрание. Выступавшие говорили о

задачах науки в тяжелое время войны, о готовности отдать свои силы народному делу, помочь армии в ее борьбе с немецким фашизмом. Говорилось о работе институтов Академии, о помощи, которую окажет Центральный Комитет партии ученым, о том, что товарищ Сталин, руководя армией и народом, находит время интересоваться вопросами науки, и о том, что ученые должны оправдать доверие партии и лично товарища Сталина.

Говорилось и об организационных изменениях, назревших в новой обстановке. Физики с удивлением узнали, что они недовольны научными планами своего института; слишком много внимания уделяется чисто теоретическим вопросам. В зале шепотом передавали друг другу слова Суслакова: «Институт, далекий от жизни».

27

В Центральном Комитете партии рассматривался вопрос о состоянии научной работы в стране. Говорили, что партия главное внимание обратит теперь на развитие физики, математики и химии.

Центральный Комитет считал, что наука должна повернуться лицом к производству, ближе, тесней связаться с жизнью.

Говорили, что на заседании присутствовал Сталин, по обыкновению он ходил по залу, держа в руке трубку, задумчиво останавливался во время своих прогулок, прислушиваясь то ли к словам выступавших, то ли к своим мыслям.

Участники совещания резко выступали против идеализма и против недооценки отечественной философии и науки.

Сталин на совещании подал две реплики. Когда Щербаков высказался за ограничение бюджета Академии, Сталин отрицательно покачал головой и сказал:

— Науку делать — не мыло варить. На Академии экономить не будем.

Вторая реплика была подана, когда на сове-

щании говорилось о вредных идеалистических теориях и чрезмерном преклонении части ученых перед западной наукой. Сталин кивнул головой, сказал:

— Надо наконец защитить наших людей от аракчеевцев.

Ученые, приглашенные на это совещание, рассказали о нем друзьям, взяв с них слово молчать. Через три дня вся ученая Москва в десятках семейных и дружеских кружков вполголоса обсуждала подробности совещания.

Шепотом говорили о том, что Сталин седой, что у него во рту черные, порченые зубы, что у него красивые, с тонкими пальцами руки и рябое от оспы лицо.

Слушавших эти рассказы несовершеннолетних предупреждали:

— Смотри, будешь болтать, погубишь не только себя, но и всех нас.

Все считали, что положение ученых станет значительно лучше, большие надежды связывались со словами Сталина об аракчеевщине.

Через несколько дней был арестован видный ботаник, генетик Четвериков. О причине его ареста ходили разные слухи; одни говорили, что он оказался шпионом, другие, что во время своих

поездок за границу он встречался с русскими эмигрантами, третьи, что его жена, немка, переписывалась до войны с сестрой, живущей в Берлине, четвертые говорили, что он пытался ввести негодные сорта пшеницы, чтобы вызвать мор и неурожай, пятые связывали его арест со сказанной им фразой о персте указующем, шестые — с политическим анекдотом, который он рассказал товарищу детства.

Во время войны сравнительно редко приходилось слышать о политических арестах, и многим, в том числе и Штруму, стало казаться, что эти страшные дела навсегда прекратились.

Вспомнился 1937 год, когда почти ежедневно называли фамилии людей, арестованных минувшей ночью. Вспомнилось, как сообщали об этом друг другу по телефону: «Сегодня ночью заболел муж Анны Андреевны…» Вспомнилось, как соседи отвечали по телефону об арестованных: «Уехал и неизвестно когда вернется…» Вспомнились рассказы о том, как арестовывали, — пришли домой, а он купал в это время ребенка, взяли на работе, в театре, глубокой ночью… Вспомнилось: «Обыск продолжался двое суток, перерыли все, даже полы взламывали… Почти ничего не смотрели; так, для приличия полистали книги…»

Вспомнились десятки фамилий ушедших и не вернувшихся: академик Вавилов… Визе… поэт Мандельштам, писатель Бабель… Борис Пильняк… Мейерхольд… бактериологи Коршунов и Златогоров… профессор Плетнев… доктор Левин…

Но дело не в том, что арестованные были выдающимися, знаменитыми. Дело в том, что и знаменитые, и безвестные, скромные, незаметные были невинны, все они честно работали.

Неужели все это начнется вновь, неужели и после войны душа будет замирать от ночных шагов, гудков машин?

Как трудно связать войну за свободу и это… Да-да, зря мы так разболтались в Казани.

А через неделю после ареста Четверикова Чепыжин заявил о своем уходе из Института физики, и на его место был назначен Шишаков.

К Чепыжину приезжал на дом президент Академии, говорили, что будто бы Чепыжина вызывал к себе то ли Берия, то ли Маленков, что Чепыжин отказался менять тематический план института.

Говорили, что, признавая его большие научные заслуги, вначале не хотели применять к нему крайние меры. Одновременно был отстранен и директор-администратор, молодой либерал

Пименов, как не соответствующий назначению.

Академику Шишакову были поручены функции директора и научное руководство, которое осуществлял Чепыжин.

Прошел слух, что у Чепыжина после этих событий был сердечный приступ. Штрум сейчас же собрался поехать к нему, позвонил по телефону; домашняя работница, подошедшая к телефону, сказала, что Дмитрий Петрович действительно последние дни себя чувствовал плохо и по совету доктора уехал вместе с Надеждой Федоровной за город, вернется через две-три недели.

Штрум говорил Людмиле:

— Вот так, словно мальчишку ссаживают со ступенек трамвая, а называется это защитой от аракчеевщины. Физике что до того, марксист Чепыжин, буддист или ламаист. Чепыжин школу создал. Чепыжин друг Резерфорда. Уравнение Чепыжина знает каждый дворник.

— Ну, насчет дворников, папа, ты хватил, — сказала Надя.

Штрум сказал:

— Смотри, будешь болтать, погубишь не только себя, но и всех нас.

— Я знаю, такие речи только для домашних.

Штрум сказал кротко:

— Увы, Наденька, что я могу сделать для изменения решения ЦК? Головой об стену биться? И ведь Дмитрий Петрович сам заявил о желании уйти. И, как говорится, народ не одобрил его деятельность.

Людмила Николаевна сказала мужу:

— Не надо так кипеть. Да, кроме того, ты ведь сам спорил с Дмитрием Петровичем.

— Если не спорят, нет настоящей дружбы.

— Вот именно, — сказала Людмила Николаевна. — И увидишь, тебя с твоим языком еще отстранят от руководства лабораторией.

— Не это меня волнует, — сказал Штрум. — Надя права, действительно, все мои разговоры для внутреннего употребления, дуля в кармане. Позвони Четвериковой, зайди к ней! Ведь вы знакомы.

— Это не принято, да и не так близко мы знакомы, — сказала Людмила Николаевна. — Помочь я ничем не могу ей. Не до меня ей теперь. Ты-то кому звонил после таких событий?

— А по-моему, надо, — сказала Надя.

Штрум поморщился.

— Да, звонки, по существу, та же дуля в кармане.

Он хотел поговорить с Соколовым об уходе

Чепыжина, не с женами и дочерьми говорить об этом. Но он заставлял себя не звонить Петру Лаврентьевичу, разговор не для телефона.

Странно все же. Почему Шишакова? Вот ведь ясно, что последняя работа Штрума — событие в науке. Чепыжин сказал на ученом совете, что это самое значительное событие за десятилетие в советской физической теории. А во главе института ставят Шишакова. Шутка ли? Человек смотрит на сотни фотографий, видит следы электронов, отклоняющихся влево, и вдруг перед ним фотографии таких же следов, таких же частиц, отклоняющихся вправо. Можно сказать, зажал в руке позитрон! Вот молодой Савостьянов сообразил бы! А Шишаков оттопырил губы и отложил фотографии в сторону как дефектные. «Эх, — сказал Селифан, — так это же есть направо, не знаешь, где право, а где лево».

Но самое удивительное то, что никого такие вещи почему-то не удивляют. Они каким-то образом сами по себе стали естественны. И все друзья Штрума, и жена его, и он сам считают это положение законным. Штрум не годится в директора, а Шишаков годится.

Как сказал Постоев? Ага, да… «Самое главное, что мы с вами русские люди».

Но уж трудно, кажется, быть более русским, чем Чепыжин.

Утром, идя в институт, Штрум представлял себе, что там все сотрудники, от докторов до лаборантов, только и говорят о Чепыжине.

Перед институтским подъездом стоял «ЗИС», шофер, пожилой человек в очках, читал газету.

Старик-сторож, с которым Штрум летом пил чай в лаборатории, встретил его на лестнице, сказал:

— Новый начальник приехал. — И сокрушенно добавил: — Дмитрий-то Петрович наш, а?

В зале лаборанты говорили о монтаже оборудования, которое накануне прибыло из Казани. Большие ящики загромождали главный лабораторный зал. Вместе со старым оборудованием прибыла новая аппаратура, сделанная на Урале. Ноздрин, с показавшимся Штруму надменным лицом, стоял возле огромного дощатого ящика.

Перепелицын прыгал вокруг этого ящика на одной ноге и держал под мышкой костыль.

Анна Степановна, показывая на ящики, проговорила:

— Вот видите, Виктор Павлович!

— Такую махину слепой увидит, — сказал Перепелицын.

Но Анна Степановна имела в виду не ящики.

— Вижу, вижу, конечно, вижу, — сказал Штрум.

— Через час рабочие придут, — сказал Ноздрин. — Мы с профессором Марковым договорились.

Он произнес эти слова спокойным, медленным голосом хозяина. Пришла пора его силы.

Штрум прошел к себе в кабинет. Марков и Савостьянов сидели на диване, Соколов стоял у окна, заведующий соседней магнитной лабораторией Свечин сидел за письменным столом и курил самокрутку.

Когда Штрум вошел, Свечин встал, уступая ему кресло:

— Хозяйское место.

— Ничего, ничего, сидите, — сказал Штрум и тут же спросил: — О чем беседа в высоком собрании?

Марков сказал:

— Вот, о лимитах. Будто для академиков лимит поднимут до полутора тысяч, а для смертных повысят до пятисот, как у народных артистов и великих поэтов типа Лебедева-Кумача.

— Начинаем монтаж оборудования, — сказал Штрум, — а Дмитрия Петровича нет в институте.

Как говорится: дом горит, а часы идут.

Но сидевшие не приняли предложенного Штрумом разговора.

Савостьянов сказал:

— Вчера приехал двоюродный брат, по дороге из госпиталя на фронт, понадобилось выпить, и я купил у соседки пол-литра водки за триста пятьдесят рублей.

— Фантастика! — сказал Свечин.

— Науку делать — не мыло варить, — весело сказал Савостьянов, но по лицам собеседников увидел, что шутка его неуместна.

— Новый шеф уже здесь, — сказал Штрум.

— Человек большой энергии, — сказал Свечин.

— Мы за Алексеем Алексеевичем не пропадем, — сказал Марков. — У товарища Жданова дома чай пил.

Удивительный был человек Марков, — казалось, знакомств у него немного, а всегда знал все, — и про то, что в соседней лаборатории забеременела кандидат наук Габричевская, и что у уборщицы Лиды муж снова попал в госпиталь, и что ВАК не утвердил Смородинцева в звании доктора.

— Чего уж, — проговорил Савостьянов. — Прославленная ошибка Шишакова нам известна. А

человек он, в общем, неплохой. Знаете, кстати, разницу между хорошим и плохим человеком? Хороший человек подлости делает неохотно.

— Ошибка ошибкой, — проговорил заведующий магнитной лабораторией, — но ведь за ошибку человека не делают академиком.

Свечин был членом партбюро института, в партию он вступил осенью 1941 года и, как многие люди, недавно приобщенные к партийной жизни, был непоколебимо прямолинеен, относился к партийным поручениям с молитвенной серьезностью.

— Виктор Павлович, — сказал он, — у меня к вам дело, партбюро просит вас выступить на собрании в связи с новыми задачами.

— Ошибки руководства, проработка Чепыжина? — спросил Штрум с раздражением, разговор шел совсем не так, как ему хотелось. — Не знаю, хороший я или плохой, но подлости я делаю неохотно.

Повернувшись к сотрудникам лаборатории, он спросил:

— Вы, товарищи, например, согласны с уходом Чепыжина? — Он был заранее уверен в их поддержке и смутился, когда Савостьянов неопределенно пожал плечами.

— Старам стал, плохам стал.

Свечин сказал:

— Чепыжин объявил, что никаких новых работ ставить не будет. Что же было делать? Да к тому же он ведь сам отказался, а его, наоборот, просили остаться.

— Аракчеев? — спросил Штрум. — Вот, наконец обнаружили.

Марков, понизив голос, сказал:

— Виктор Павлович, говорят, что в свое время Резерфорд дал клятву не начинать работать с нейтронами, опасаясь, что с их помощью можно будет добраться до огромных взрывных сил. Благородно, но чистоплюйство бессмысленное. А Дмитрий Петрович, так рассказывают, вел разговор в подобном же баптистском духе.

«Господи, — подумал Штрум, — откуда он узнает все?»

Он проговорил:

— Петр Лаврентьевич, выходит, мы с вами не в большинстве.

Соколов покачал головой:

— Виктор Павлович, мне кажется, что в такое время индивидуализм, строптивость недопустимы. Война ведь. Не о себе, не о своих интересах должен был думать Чепыжин, когда с ним гово-

рили старшие товарищи.

Соколов насупился, и все некрасивое в его некрасивом лице стало особенно заметно.

— Ах так, и ты, Брут? — сказал Штрум, скрывая в насмешливой фразе свою растерянность.

Но вот что удивительно: он не только растерялся, он словно бы обрадовался. «Ну, конечно, так я и знал», — подумал он. Но почему: «Ах, ну конечно»? Ведь он не предполагал, что Соколов может ответить таким образом. А если б предполагал, то чему было радоваться?

— Вы должны выступить, — сказал Свечин. — Совершенно не обязательно вам критиковать Чепыжина. Хотя бы несколько слов о перспективах вашей работы в связи с решением ЦК.

До войны Штрум встречался со Свечиным на симфонических концертах в консерватории. Рассказывали, что в молодые годы, учась на физмате, Свечин писал заумные стихи, носил хризантему в петлице. А теперь Свечин говорил о решениях партбюро так, словно речь шла о формулировании конечных истин.

Штруму иногда хотелось подмигнуть ему, легонько толкнуть пальцем в бок, сказать: «Э, старик, поговорим по-простому».

Но он знал, что со Свечиным теперь по-про-

стому не поговоришь. И все же, пораженный словами Соколова, Штрум заговорил по-простому.

— Посадка Четверикова, — спросил он, — тоже связана с новыми задачами? А старший Вавилов тоже в связи с этим сел? А если я вообще позволю себе заявить, что Дмитрий Петрович для меня больший авторитет в физике, чем товарищ Жданов, и заведующий отделом науки ЦК, и даже…

Он увидел глаза людей, смотревших на него и ждавших, что он произнесет имя Сталина, махнул рукой, сказал:

— Ну, ладно, хватит, пойдем в лабораторный зал.

Ящики с новой аппаратурой, прибывшей с Урала, были уже раскрыты, и из опилок, бумаги, взломанных нетесаных досок осторожно освободили основную, весившую три четверти тонны часть установки. Штрум приложил ладонь к полированной поверхности металла.

Из этого металлического чрева будет рождаться, словно Волга из-под часовенки на Селигере, стремительный пучок частиц.

Хорошими были глаза у людей в эти минуты. Хорошо, когда чувствуешь, — есть на свете вот такая чудесная махина, чего ж еще?

После работы Штрум и Соколов остались одни в лаборатории.

Соколов выговаривал Штруму:

— Виктор Павлович, зачем вы выскакиваете, как петух? Нет в вас смирения. Я рассказал Маше о ваших успехах на заседании в Академии, когда вы за полчаса ухитрились испортить отношения с новым директором и с великим мальчишкой из отдела науки. Маша ужасно расстроилась, даже ночью не спала. Вы знаете время, в котором мы живем. Вот мы начнем завтра монтировать новую установку. Я видел ваше лицо, когда вы смотрели на нее. И всем этим жертвовать ради пустой фразы.

— Постойте, постойте, — сказал Штрум. — Дышать нечем.

— А, господи, — перебил его Соколов. — В работе никто вам не станет мешать. Дышите себе вовсю.

— Знаете, дорогой мой, — сказал Штрум и кисло улыбнулся, — у вас дружеские претензии ко мне, спасибо от души. Разрешите и мне, в порядке взаимной искренности. Ну, зачем вы, ей-богу, вдруг при Свечине так сказали о Дмитрии Петровиче? Мне как-то очень это больно после казанского свободомыслия. А обо мне: к сожалению, не такой

уж я отчаянный. Не Дантон, — как говорили мы в студенческие времена.

— Ну и слава богу, что не Дантон. Откровенно говоря, я всегда считал, что политические ораторы как раз те люди, которые не могут себя выразить в творчестве, в созидании. А мы с вами можем.

— Ну вот тебе раз, — сказал Штрум, — а куда вы денете французика Галуа? А куда деть Кибальчича?

Соколов отодвинул стул, сказал:

— Кибальчич, знаете, на плаху пошел, а я говорю о пустой болтовне. Вот той, которой занимался Мадьяров.

Штрум спросил:

— Это значит, и я пустой болтун?

Соколов молча пожал плечами.

Ссора, казалось, забудется так же, как были забыты многие их столкновения и споры. Но почему-то эта короткая вспышка не прошла без следа, не забылась. Когда жизнь одного человека дружески сходится с жизнью второго, они, случается, ссорятся и бывают несправедливы в споре, и все же их взаимные обиды уходят без следа. Но если намечается внутреннее разделение между людьми, еще не понимающими этого внутрен-

него разделения, то и случайное слово, мелкая небрежность в отношениях превращается в острие, смертельное для дружбы.

И часто внутреннее расхождение лежит так глубоко, что никогда не выходит на свет, никогда не осознается людьми. Пустой, шумный спор, сорвавшееся недоброе слово кажутся им тогда роковой причиной, погубившей многолетнее товарищество.

Нет, не из-за гусака поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем!

28

О новом заместителе директора института Касьяне Терентьевиче Ковченко говорили: «Верный шишаковский кадр». Ласковый, вставляющий в разговор украинские слова, Ковченко с удивительной быстротой получил квартиру и персональную машину.

Марков, знаток множества историй об академиках и академическом начальстве, рассказывал, что Ковченко получил звание лауреата Сталинской премии за работу, которую впервые прочел после того, когда она была опубликована, — его участие в работе состояло в том, что он добыл дефицитные материалы и ускорил прохождение работы по инстанциям.

Шишаков поручил Ковченко организовать конкурс на замещение новых вакансий. Был объявлен набор старших научных сотрудников, были вакантны должности заведующих вакуумной лаборатории и лаборатории низких температур.

Военвед выделил материалы и рабочих, перестраивались механические мастерские, ремонтировалось институтское здание, МоГЭС снабжал институт безлимитной энергией, номерные заво-

ды выделяли институту дефицитные материалы. Всеми этими делами также заправлял Ковченко.

Обычно, когда в учреждение приходит новый начальник, о нем с уважением говорят: «Приезжает раньше всех на работу, сидит позже всех». Так говорили о Ковченко. Но еще большее уважение служащих вызывает новый начальник, о котором говорят: «Вот уж две недели, как назначен, а он один раз на полчасика заехал. Не бывает совершенно». Это свидетельствует о том, что начальник вырабатывает новые скрижали, витает в государственной стратосфере.

Так в институте первое время говорили об академике Шишакове.

А Чепыжин уехал на дачу работать, как он сказал, в хате-лаборатории. Знаменитый сердечник профессор Файнгарт советовал ему не делать резких движений, не поднимать тяжестей. Чепыжин на даче колол дрова, копал канавы и чувствовал себя хорошо, писал Файнгарту, что строгий режим помог ему.

В голодной и холодной Москве институт казался теплым и сытым оазисом. Сотрудники, намерзшиеся за ночь в сырых квартирах, приходя утром на работу, с наслаждением прикладывали ладони к горячим радиаторам.

Особенно нравилась институтской публике новая столовая, устроенная в полуподвальном помещении. При столовой имелся буфет, где продавались простокваша, сладкий кофе, колбаса. При отпуске продуктов буфетчица не отбирала талонов на мясо и жиры с продовольственных карточек, это особенно ценилось институтской публикой.

Обеды в столовой делились на шесть категорий: для докторов наук, для старших научных сотрудников, для младших научных сотрудников, для старших лаборантов, для технического и для обслуживающего персонала.

Главные волнения возникали вокруг обедов двух высших категорий, различавшихся друг от друга наличием на третье блюдо компота из сухофруктов либо порошкового киселя. Волнения возникали и в связи с продовольственными пакетами, которые выдавались на дом докторам, заведующим отделами.

Савостьянов говорил, что, вероятно, о теории Коперника было меньше произнесено речей, чем об этих продовольственных пакетах.

Иногда казалось, что в создании мистических распределительных скрижалей участвуют не только дирекция и партком, но и более высокие,

таинственные силы.

Вечером Людмила Николаевна сказала:

— Странно, однако, получала я сегодня твой пакет, — Свечин, полное научное ничтожество, получил два десятка яиц, а тебе почему-то причитается пятнадцать. Я даже по списку проверила. Тебе и Соколову по пятнадцать.

Штрум произнес шутливую речь:

— Черт знает что такое! Как известно, ученые у нас распределяются по категориям — величайший, великий, знаменитый, выдающийся, крупный, известный, значительный, опытный, квалифицированный, наконец, старейший. Поскольку величайших и великих нет среди живых, яиц им выдавать не надо. Всем остальным капуста, манка и яйца выдаются в соответствии с ученым весом. А у нас все путается: общественно пассивен, руководит семинаром по марксизму, близок к дирекции. Получается ерунда. Зав. гаражом Академии приравнен к Зелинскому: двадцать пять яиц. Вчера в лаборатории у Свечина одна очень милая женщина даже разрыдалась от обиды и отказалась принимать пищу, как Ганди.

Надя, слушая отца, хохотала, а потом сказала:

— Знаешь, папа, удивительно, как вы не стесняетесь лопать свои отбивные рядом с уборщицами.

Бабушка ни за что бы не согласилась.

— Видишь ли, — сказала Людмила Николаевна, — ведь в этом принцип: каждому по труду.

— Да ну, ерунда. Социализмом от этой столовки не пахнет, — сказал Штрум и добавил: — Ну, хватит об этом, я плюю на все это. А знаете, — вдруг сказал он, — что мне сегодня рассказывал Марков? Мою работу люди не только в нашем институте, но и в Институте математики и механики перепечатывают на машинке, друг другу дают читать.

— Как стихи Мандельштама? — спросила Надя.

— Ты не смейся, — сказал Штрум. — И студенты старших курсов просят, чтобы им прочли специальную лекцию.

— Что ж, — сказала Надя, — мне и Алка Постоева говорила: «Твой папа в гении вышел».

— Ну, положим, до гениев мне далеко, — сказал Штрум.

Он пошел к себе в комнату, но вскоре вернулся и сказал жене:

— Не выходит из головы эта чепуха. Свечину выписали два десятка яиц. Удивительно у нас умеют оскорблять людей!

Стыдно было, но Штрума кольнуло, почему Соколов стоял в списке в одной категории с ним.

Конечно, надо было отметить преимущество Штрума хоть одним яичком, ну, дали бы Соколову четырнадцать, чуток меньше, отметить только.

Он высмеивал себя, но жалкое раздраженное ощущение от равенства выдач с Соколовым было почему-то обидней, чем преимущества Свечина. Со Свечиным дело было проще, — он член партийного бюро, его преимущества шли по государственной линии. К этому Штрум был равнодушен.

А с Соколовым дело касалось научной силы, ученых заслуг. Тут уж Штрум не был равнодушен. Томительное, из глубины души идущее раздражение охватило его. Но в какой смешной, жалкой форме происходили эти оценки. Он понимал это. Но что же делать, если человек не всегда велик, бывает он и жалок.

Ложась спать, Штрум вспомнил свой недавний разговор с Соколовым о Чепыжине и громко, сердито сказал:

— Гомо лакеус.

— Ты о ком? — спросила Людмила Николаевна, читавшая в постели книгу.

— Да о Соколове, — сказал Штрум. — Лакей он.

Людмила, заложив палец в книгу, сказала, не поворачивая к мужу головы:

— Вот ты дождешься, что тебя выставят из института, и все ради красного словца. Раздражителен, всех поучаешь… Перессорился со всеми, а теперь, я вижу, хочешь и с Соколовым поссориться. Скоро ни один человек не будет бывать в нашем доме.

Штрум сказал:

— Ну, не надо, не надо, Люда, милая. Ну, как тебе объяснить? Понимаешь, снова тот же довоенный страх за каждое слово, та же беспомощность. Чепыжин! Люда, ведь это великий человек! Я думал, что институт гудеть будет, а оказалось, один лишь старик-сторож посочувствовал ему. Вот Постоев сказал Соколову: «А самое главное, мы с вами русские люди». К чему он это сказал?

Ему хотелось долго говорить с Людмилой, рассказать ей о своих мыслях. Ему ведь стыдно, что все эти дела с выдачей продуктов невольно занимают его. Почему это? Почему в Москве он словно бы постарел, потускнел, его волнуют житейские мелочи, мещанские интересы, служебные дела. Почему в казанской провинции его душевная жизнь была глубже, значительней, чище? Почему даже его главный научный интерес, его радость замутилась, связалась с мелкими честолюбивыми мыслишками?

— Люда, тяжело мне, трудно. Ну, чего же ты молчишь? А, Люда? Ты понимаешь меня?

Людмила Николаевна молчала. Она спала.

Он тихонько рассмеялся, ему показалось смешным, что одна женщина, узнав о его художествах, не спала, а другая уснула. Потом он представил себе худое лицо Марьи Ивановны и вновь повторил слова, только что сказанные жене:

— Ты понимаешь меня? А, Маша?

«Черт, что за чушь лезет в голову», — подумал он, засыпая.

В голову действительно лезла чушь.

У Штрума были бездарные руки. Обычно, когда дома перегорал электрический утюг, погасал свет из-за короткого замыкания, починками занималась Людмила Николаевна.

Людмилу Николаевну в первые годы жизни со Штрумом умиляла его беспомощность. Но в последнее время она начала раздражаться на него и однажды, когда он поставил пустой чайник на огонь, сказала:

— Глиняные руки у тебя, Фитюлькин ты какой-то!

Это сердившее и обижавшее его слово Штрум часто вспоминал, когда в институте началась работа по монтажу аппаратуры.

В лаборатории воцарились Марков и Ноздрин. Савостьянов первым ощутил это и сказал на производственном совещании:

— Нет Бога, кроме профессора Маркова, и Ноздрина, пророка его!

Чопорность и сдержанность Маркова исчезли. Он восхищал Штрума смелостью мысли, на ходу решал внезапно возникавшие задачи. Штруму казалось, что Марков хирург, действующий скальпелем среди сплетений кровеносных сосудов и нервных узлов. Казалось, рождалось разумное существо с сильным, зорким разумом. Казалось, что новый, впервые в мире возникший металлический организм наделен сердцем, чувствами, способен радоваться и страдать наравне с создавшими его людьми.

Штрума всегда немного смешила непоколебимая уверенность Маркова в том, что его работа, приборы, построенные им, значат больше, чем пустые дела, которыми занимались Будда и Магомет, либо книги, написанные Толстым и Достоевским.

Толстой сомневался в пользе своей великой писательской работы! Гений не был уверен в том, что делает дело, нужное людям! Но физики не сомневались в том, что их дело нужно людям.

Марков не сомневался.

Но сейчас эта уверенность Маркова не казалась Штруму смешной.

Штрум любил наблюдать, как Ноздрин работает напильником, щипцами, отвертками либо задумчиво перебирает пряди проводов, помогая электрикам, ведущим подводку электроэнергии к новой установке.

На полу лежали мотки проводов, тусклые, синеватые листы свинца. Посередине зала на чугунной плите стояла привезенная с Урала основная часть установки с расточенными круглыми и прямоугольными прорезями. Какая-то щемящая, тревожная прелесть была в этой грубой глыбе металла, служащей фантастически тонким исследованиям вещества…

На берегу моря, тысячу или две тысячи лет тому назад, несколько человек строили плот из толстых бревен, скрепляли их веревками и скобами. На песчаном берегу стояли во́роты, верстаки и грелись на кострах горшки со смолой… Приближался час отплытия.

Вечером строители плота возвращались в свои дома, вдыхали запах жилья, тепло жаровень, слушали руготню и смех женщин. Иногда они встревали в домашние свары, шумели, замахи-

вались на детей, ссорились с соседями. А ночью в теплой мгле становился слышен шум моря, и сердце сжималось в предчувствии неведомой дороги…

Соколов, наблюдая за работой, обычно молчал. Штрум, оглядываясь, встречал его серьезный, внимательный взгляд, и, казалось, то хорошее, важное, что всегда было между ними, продолжало существовать.

Штруму хотелось откровенного разговора с Петром Лаврентьевичем. В самом деле, — все так странно. Вот эти унижающие душу талонные, лимитные страсти, мыслишки о мере почета, о внимании начальства. И тут же в душе продолжается то, что не зависит от начальства, от служебных успехов и неуспехов, премий.

Теперь снова казанские вечера кажутся хорошими, молодыми, что-то в них было от студенческих дореволюционных сходок. Только бы Мадьяров оказался честным человеком. Странно ведь: Каримов подозревает Мадьярова, Мадьяров — Каримова… Оба честные! Он уверен в этом. Впрочем, может быть, как сказал Гейне: «Die beiden stinken»[14].

---

[14] Примечания: 14
Оба воняют (*нем.*).

Ему иногда вспоминается разговор с Чепыжиным о квашне. Почему теперь, когда он вернулся в Москву, в душе поднимается все мелкое, ничтожное? Почему на поверхность поднимаются люди, которых он не уважает? Почему оказываются негодны те, в чью силу, талант, честность он верит? Ведь Чепыжин говорил о гитлеровской Германии, ведь Чепыжин был не прав.

— Удивительно, — сказал Соколову Штрум, — посмотреть на работу по сбору нашей установки приходят люди из разных лабораторий. А вот Шишаков не удосужился, ни разу не был.

— Делов у него много, — сказал Соколов.

— Конечно, конечно, — поспешно согласился Штрум.

Да, попробуй, затей с Петром Лаврентьевичем после возвращения в Москву искренний, дружеский разговор. Свой своя не познаша.

Странно, но он перестал спорить с Соколовым по любому поводу, появилось желание уходить от спора.

Но и уйти от спора было нелегко. Иногда спор возникал внезапно, неожиданно для Штрума.

Штрум протяжно сказал:

— Вспомнил я наши казанские разговоры… Кстати, как Мадьяров, пишет вам?

Соколов покачал головой.

— Не знаю, не знаю, как Мадьяров. Я ведь говорил вам, что мы перестали встречаться перед отъездом. Мне все неприятней вспоминать о наших разговорах той поры. От подавленности мы пытались объяснить временные военные трудности какими-то вымышленными пороками советской жизни. Все, что ставилось в минус советскому государству, оказалось его преимуществом.

— Тридцать седьмой год, например? — спросил Штрум.

Соколов сказал:

— Виктор Павлович, вы в последнее время любой наш разговор превращаете в спор.

Штрум хотел ему сказать, что, наоборот, он-то миролюбив, а Соколов раздражен, и это внутреннее раздражение и побуждает его спорить по любому поводу.

Но он сказал:

— Возможно, Петр Лаврентьевич, дело в моем скверном характере, он день ото дня становится хуже. Это установлено не только вами, но и Людмилой Николаевной.

Произнося эти слова, он подумал: «Как я одинок. И дома, и на работе, и с другом своим — одинок».

29

У рейхсфюрера СС Гиммлера предполагалось совещание по специальным мероприятиям, проводимым Главным имперским управлением безопасности. Совещанию придавалось особое значение, оно связывалось с поездкой Гиммлера в полевую Ставку вождя.

Штурмбаннфюрер Лисс получил распоряжение из Берлина доложить о ходе строительства специального объекта, расположенного вблизи лагерного управления.

Прежде чем приступить к осмотру объекта, Лисс должен был поехать на механические заводы фирмы «Фосс» и на химическую фабрику, выполнявшую заказы Управления безопасности. Затем Лиссу предлагалось доложить в Берлине о положении дел оберштурмбаннфюреру СС Эйхману, ответственному за подготовку совещания.

Командировка обрадовала Лисса, его тяготила лагерная обстановка, постоянное общение с грубыми, примитивными людьми.

Садясь в машину, он вспомнил о Мостовском.

Вероятно, старик, сидя в изоляторе, день и ночь старается разгадать, с какой целью вызывал его

Лисс, напряженно ждет.

Всего лишь потребность проверить кое-какие мысли да вот желание написать работу «Идеология врага и ее лидеры».

Какой интересный характер! Действительно, когда влезаешь в ядро атома, на тебя начинают действовать не только силы отталкивания, но и силы притяжения.

Автомобиль выехал за ворота лагеря, и Лисс забыл о Мостовском.

На следующий день рано утром Лисс приехал на заводы Фосса.

Позавтракав, Лисс разговаривал в кабинете Фосса с конструктором Прашке, затем он разговаривал с инженерами, руководившими производством; в конторе коммерческий директор ознакомил его с калькуляцией стоимости заказанных агрегатов.

Он провел несколько часов в заводских цехах, путешествовал среди грохота металла и к концу дня очень устал.

Завод Фосса выполнял важную часть заказа Управления безопасности, и Лисс остался доволен, — руководители предприятия вдумчиво отнеслись к делу, технические условия выполнялись точно, инженеры-механики усо-

вершенствовали конструкцию транспортеров, теплотехники разработали наиболее экономичную схему работы печей.

После тяжелого дня на заводе вечер в семье Фосса показался особенно приятным.

Посещение химической фабрики разочаровало Лисса: в производстве оказалось лишь немногим больше сорока процентов запланированного химиката.

Люди на фабрике раздражали Лисса своими многочисленными жалобами: производство сложно и капризно; во время воздушного налета испортилась вентиляция, и в цехе произошло массовое отравление рабочих; кизельгур, которым пропитывается стабилизованная продукция, поступает нерегулярно; герметическая тара задерживается на железной дороге…

Однако в дирекции химического общества ясно представляли себе значение заказа Управления безопасности. Главный химик акционерного общества, доктор Кирхгартен, сказал Лиссу, что заказ Управления безопасности будет выполнен в срок. Правление пошло на то, чтобы притормозить выполнение заданий министерства боеприпасов, — случай беспрецедентный начиная с сентября 1939 года.

Лисс отказался присутствовать на ответственном испытании в лаборатории химического объединения, но просмотрел протоколы, подписанные физиологами, химиками и биохимиками.

В этот же день Лисс встретился с научными работниками, проводившими испытания, — это были молодые ученые, две женщины — физиолог и биохимик, врач-патологоанатом, химик — специалист по органическим соединениям с низкой температурой кипения, руководитель группы — токсиколог, профессор Фишер. Участники совещания произвели на Лисса прекрасное впечатление.

Хотя все они были заинтересованы в том, чтобы разработанная ими методика была одобрена, они не скрыли от Лисса слабые стороны своей работы и свои сомнения.

На третий день Лисс на самолете вместе с инженерами монтажной фирмы Обершгайна вылетел на стройку. Он чувствовал себя хорошо, поездка развлекла его. Впереди предстояло самое приятное, — после осмотра строительства он должен был вместе с техническими руководителями стройки выехать в Берлин — доложить в Главном управлении безопасности о положении дел.

Погода была скверная, лил холодный ноябрьский дождь. Самолет с трудом приземлился на центральном лагерном аэродроме, — на небольшой высоте начиналось обледенение крыльев, над землей стлался туман. На рассвете шел снег, и кое-где на комьях глины лежали серые, не смытые дождем, осклизлые пятна снега.

Поля фетровых шляп у инженеров поникли, пропитавшись ртутно-тяжелым дождем.

К строительной площадке были проложены железнодорожные пути, — они связывались непосредственно с главной магистралью.

Вблизи железной дороги располагались складские помещения. С них начался инспекторский осмотр. Под навесом происходила сортировка грузов, — детали различных механизмов, решетки и разобранные части роликовых конвейерных устройств, трубы разного диаметра, воздуходувные и вентиляционные устройства, костеизмельчающие шаровые мельницы, газоизмерительная и электроизмерительная контрольная аппаратура, еще не вмонтированная на пульты, мотки кабеля, цемент, самоопрокидывающиеся вагонетки, горы рельсов, конторская мебель.

В особых, охраняемых чинами СС помещениях с множеством вытяжных устройств и низко

гудящими вентиляторами находился склад начавшей поступать продукции химического объединения, — баллоны с красными вентилями и пятнадцатикилограммовые банки с красно-синими наклейками, издали похожие на банки с болгарским джемом.

Выходя из этого наполовину вдавленного в землю помещения, Лисс и его спутники встретились с только что прибывшим поездом из Берлина главным проектировщиком комбината профессором Штальгангом и с начальником работ инженером фон Рейнеке, огромным мужчиной в желтой кожаной куртке.

Штальганг хрипло дышал, сырой воздух вызвал у него приступ астмы. Окружившие Штальганга инженеры стали укорять его, что он не бережется; все они знали, что альбом работ Штальганга находится в личной библиотеке Гитлера.

Площадка строительства ничем не отличалась от обычных для середины двадцатого века циклопических строек.

Вокруг котлованов слышались свистки часовых, скрежет экскаваторов, движение кранов, птичий крик паровозиков.

Лисс и его спутники подошли к прямоугольному серому, без окон зданию. Весь ансамбль

промышленных зданий, печей из красного кирпича, широкожерлых труб, диспетчерских башенок и башен охраны со стеклянными колпаками, — все тянулось к этому серому, слепому, безлобому зданию.

Рабочие-дорожники заканчивали асфальтирование дорожки — из-под катков шел серый горячий дым, смешивался с серым холодным туманом.

Рейнеке сказал Лиссу, что при проверке объекта № 1 на герметичность результаты оказались неудовлетворительными. Штальганг возбужденным сиплым голосом, забывая о своей астме, разъяснял Лиссу архитектурную идею нового сооружения.

При кажущейся простоте и малых габаритах обычная промышленная гидротурбина является средоточием огромных сил, масс и скоростей, — в ее витках геологическая мощь воды преобразуется в работу.

По принципу турбины построено и это сооружение. Оно превращает жизнь и все виды связанной с ней энергии в неорганическую материю. В турбине нового типа нужно преодолеть силу психической, нервной, дыхательной, сердечной, мышечной, кроветворной энергии. В

новом сооружении соединены принципы турбины, скотобойни, мусоросжигательного агрегата. Все эти особенности надо было объединить в простом архитектурном решении.

— Наш дорогой Гитлер, — сказал Штальганг, — как известно, при осмотре самых прозаических промышленных объектов не забывает об архитектурной форме.

Он понизил голос так, чтобы его слышал один лишь Лисс.

— Вы ведь знаете, что увлечение мистической стороной архитектурного оформления лагерей под Варшавой принесло большие неприятности рейхсфюреру. Все это необходимо было учесть.

Внутреннее устройство бетонной камеры соответствовало эпохе промышленности больших масс и скоростей.

Втекая в подводящие каналы, жизнь, подобно воде, уже не могла ни остановиться, ни потечь обратно, — скорость ее движения по бетонному коридору определялась формулами, подобными формуле Стокса о движении жидкости в трубе, зависящем от плотности, удельного веса, вязкости, трения, температуры. Электрические лампы были вделаны в потолок и защищены толстым мутно-прозрачным стеклом.

Чем дальше, тем свет становился ярче, и у входа в камеру, преграждённого полированной стальной дверью, слепил своей сухой белизной.

У двери царило то особое возбуждение, которое всегда возникает у строителей и монтажников перед пуском нового агрегата. Чернорабочие мыли шлангами пол. Пожилой химик в белом халате производил у закрытой двери замеры давления. Рейнеке приказал открыть дверь камеры. Войдя в просторный зал с низко нависшим бетонным небом, некоторые инженеры сняли шляпы. Пол камеры был составлен из тяжелых раздвижных плит, оправленных в металлические рамы и плотно сходившихся одна с другой. При действии механизма, управляемого из диспетчерской, плиты, составлявшие пол, становились вертикально и содержимое камеры уходило в подземные помещения. Там органическое вещество подвергалось обработке бригадами стоматологов, они извлекали ценные металлы, используемые для протезирования. После этого приводилась в действие лента транспортера, ведущего к кремационным печам, где потерявшее мышление и чувствительность органическое вещество под действием тепловой энергии терпело дальнейшее разрушение — превращалось в фосфорные

туки, известь и золу, аммиак, углекислый и сернистый газы.

К Лиссу подошел офицер связи, протянул ему телеграмму. Все увидели, как стало угрюмо лицо штурмбаннфюрера, прочитавшего телеграмму.

Телеграмма извещала Лисса о том, что оберштурмбаннфюрер СС Эйхман встретится с ним на строительстве сегодня ночью, он выехал машиной по мюнхенской автостраде.

Рухнула поездка Лисса в Берлин. А он рассчитывал будущую ночь провести у себя на даче, где жила больная, тоскующая по нему жена. Перед сном он бы посидел в кресле, надев на ноги мягкие туфли, и на час-два в тепле и уюте забыл бы о суровом времени. Как приятно ночью в постели на загородной даче прислушиваться к далекому гулу зенитных орудий берлинской ПВО.

А вечером в Берлине, после доклада на Принц-Альбертштрассе и перед отъездом за город, в тихий час, когда не бывает воздушных тревог и налетов, он собирался навестить молодую референтку Института философии, — она одна знала, как тяжело ему живется, какая смута в его душе. У него были уложены в портфель для этой встречи бутылка коньяка и коробка шоколада. Теперь все это рухнуло.

Инженеры, химики, архитекторы смотрели на него, — какие тревоги заставляют хмуриться инспектора Главного управления безопасности? Кто из них мог знать это?

Людям мгновениями казалось, что камера уже не подчиняется своим создателям, а ожила, живет своей бетонной волей, бетонной жадностью, начнет выделять токсины, жеванет стальной дверной челюстью, станет пищеварить.

Штальганг подмигнул Рейнеке и шепотом сказал:

— Вероятно, Лисс получил сообщение, что оберштурмбаннфюрер примет его доклад здесь, я-то об этом знал еще утром. А у него лопнул отдых в семье и, вероятно, встреча с какой-нибудь милой дамой.

30

Лисс встретился с Эйхманом ночью.

Эйхману было лет тридцать пять. Перчатки, фуражка, сапоги, — три предмета, воплотившие в себя поэзию, надменность и превосходство германского оружия, походили на те, что носил рейхсфюрер СС Гиммлер.

Лисс знал семью Эйхманов с довоенных лет, они были земляками. Лисс, учась в Берлинском университете, работая в газете, потом в философском журнале, изредка навещал родной город, узнавал о своих гимназических сверстниках. Одни поднимались на общественной волне, затем волна уходила, и успех исчезал, и тогда другим улыбались известность, материальные удачи. А молодой Эйхман неизменно жил тускло и однообразно. Орудия, бившие под Верденом, и вот-вот, казалось, рождавшаяся победа, поражение и инфляция, политическая борьба в рейхстаге, вихрь левых, сверхлевых направлений в живописи, театре, музыке, новые моды и крушения новых мод, — ничто не меняло его однообразного бытия.

Он работал агентом провинциальной фирмы. В

семье и в своих отношениях к людям он бывал в меру добр и равнодушен, груб и внимателен. Все большие дороги в жизни были забиты шумной, жестикулирующей, враждебной ему толпой. Всюду он видел отталкивающих его быстрых, юрких людей с блестящими темными глазами, ловких и опытных, снисходительно усмехавшихся в его сторону…

В Берлине, после окончания гимназии, ему не удалось устроиться. Директора контор и владельцы столичных фирм говорили ему, что, к сожалению, вакансия закрыта, а Эйхман стороной узнавал, что вместо него принят какой-то гнилой человечек неясной национальности, не то поляк, не то итальянец. Он пробовал поступить в университет, но несправедливость, царившая там, помешала ему. Он видел, что экзаменаторы, глядя на его светлоглазое полное лицо, светлый ежик волос, на короткий прямой нос, становились скучными. Казалось, их тянуло к длинномордым, темноглазым, сутулым и узкоплечим, к дегенератам. Не он один был отброшен обратно в провинцию. Это была судьба многих. Порода людей, царившая в Берлине, встречалась на всех этажах общества. Но больше всего эта порода плодилась в потерявшей национальные

черты космополитической интеллигенции, не делающей разницы между немцем и итальянцем, немцем и поляком.

Это была особая порода, странная раса, подавлявшая всех, кто пытался соревноваться с ней, — умом, образованностью, насмешливым безразличием. Ужасно было безысходное ощущение живой и не агрессивной умственной мощи, исходившей от этой породы, — эта мощь проявлялась в странных вкусах этих людей, в их быте, в котором соблюдение моды соединялось с неряшливостью и с безразличием к моде, в их любви к животным, соединенной с их совершенно городским образом жизни, в их способности к абстрактному мышлению, соединенной со страстью к грубому в искусстве и быту… Эти люди двигали германскую химию красок и синтеза азота, исследования жестких лучей, производство качественной стали. Ради них приезжали в Германию иностранные ученые и художники, философы и инженеры. Но именно эти люди меньше всего походили на немцев, они болтались по всему свету, их дружеские связи были совсем не немецкими, их немецкое происхождение неясно.

Где уж тут было служащему провинциальной

фирмы пытаться пробиться к лучшей жизни, хорошо, что он не голодал.

И вот он выходит из своего кабинета, закрыв в сейфе бумаги, о которых знают в мире три человека, — Гитлер, Гиммлер, Кальтенбруннер. Черный большой автомобиль ждет его у подъезда. Часовые приветствуют его, адъютант распахивает дверцу машины, — оберштурмбаннфюрер СС Эйхман уезжает. Шофер дает с места полный газ, и мощный гестаповский «хорх», почтительно приветствуемый городской полицией, поспешно включающей зеленые светофоры, поколесив по берлинским улицам, вырывается на автостраду. Дождь, туман, сигнальные знаки, плавные виражи автострады…

В Смолевичах среди садов стоят тихие домики, и трава растет на тротуарах. На улицах бердичевских Яток в пыли бегают грязные куры с желтыми кадмиевыми ногами, меченные фиолетовыми и красными чернилами. На Подоле и на Васильковской в Киеве, в многоэтажных домах с немытыми окнами, ступени лестниц истерты миллионами детских ботинок, стариковскими шлепанцами.

В Одессе во дворе стоит пестротелый платан, сохнет цветное белье, рубашки и кальсоны, дымятся на мангалах тазы с кизиловым вареньем,

кричат в люльках новорожденные со смуглой кожей, еще ни разу не видевшей солнца.

В Варшаве, в костлявом, узкоплечем шестиэтажном доме, живут швеи, переплетчики, домашние учителя, певицы из ночных кабаре, студенты, часовщики.

В Сталиндорфе вечером зажигается огонь в избах, ветер тянет со стороны Перекопа, пахнет солью, теплой пылью, мычат, мотая тяжелыми головами, коровы…

В Будапеште, в Фастове, в Вене, в Мелитополе и в Амстердаме, в особняках с зеркальными окнами, в домах, стоящих в фабричном дыму, жили люди еврейской нации.

Лагерная проволока, стены газовни, глина противотанкового рва объединили миллионы людей разных возрастов и профессий, языков, житейских и духовных интересов, фанатически верующих и фанатиков-атеистов, рабочих, тунеядцев, врачей и торговцев, мудрецов и идиотов, воров, идеалистов, созерцателей, добросердечных, святых и хапуг. Всех их ждала казнь.

Гестаповский «хорх» бежал, кружил по осенним автострадам.

31

Они встретились ночью. Эйхман прошел прямо в кабинет, задавая на ходу быстрые вопросы, сел в кресло.

— У меня мало времени, не позже завтрашнего дня я должен быть в Варшаве.

Он уже побывал у коменданта лагеря, беседовал с начальником строительства.

— Как работают заводы, какие у вас впечатления от личности Фосса, на высоте ли, по-вашему, химики? — быстро спрашивал он.

Большие белые пальцы с большими розовыми ногтями перекладывали бумаги на столе, время от времени оберштурмбаннфюрер делал пометки автоматической ручкой, и Лиссу казалось, что Эйхман не различает особенности дела, вызывающего тайный холодок ужаса даже в каменных сердцах.

Лисс много пил все эти дни. Усилилась одышка, и по ночам он чувствовал свое сердце. Но ему казалось, что для здоровья зло от алкоголя меньше, чем зло от нервного напряжения, в котором он все время находился.

Он мечтал вернуться к изучению выдающихся

деятелей, враждебных национал-социализму, решать жестокие и сложные, но бескровные задачи. Тогда он перестанет пить, будет выкуривать за день не больше двух-трех легких сигарет. Вот недавно он вызвал к себе ночью старого русского большевика, разыграл с ним партию политических шахмат и, вернувшись домой, спал без снотворного, проснулся в десятом часу утра.

Оберштурмбаннфюреру и Лиссу при ночном осмотре газовой камеры был устроен маленький сюрприз. Посреди камеры строители установили столик с вином и закусками, и Рейнеке пригласил Эйхмана и Лисса выпить бокал вина.

Эйхман рассмеялся милой выдумке и сказал:

— Я с удовольствием закушу.

Он передал фуражку своему охраннику и сел к столу. Его большое лицо вдруг стало добродушно-озабоченным, таким, каким оно становится у всех миллионов любящих покушать мужчин, когда они садятся за накрытый стол.

Рейнеке стоя разлил вино, и все взялись за бокалы, ожидая тост Эйхмана.

В этой бетонной тишине, в этих налитых бокалах было такое напряжение, что Лиссу казалось, — сердце не выдержит его. Хотелось, чтобы громкий тост за немецкий идеал разрядил

напряжение. Но напряжение не проходило, а росло, — оберштурмбаннфюрер жевал бутерброд.

— Что ж вы, господа? — спросил Эйхман. — Прекрасная ветчина.

— Мы ждем хозяйского тоста, — сказал Лисс.

Оберштурмбаннфюрер поднял бокал.

— За дальнейшие служебные успехи, которые, мне кажется, достойны быть отмечены.

Он один почти ничего не пил и много ел.

Утром Эйхман делал в трусиках гимнастику перед открытым настежь окном. В тумане вырисовывались ровные ряды лагерных бараков, доносились паровозные гудки.

Лисс не завидовал Эйхману. У Лисса было высокое положение без высоких должностей, — он считался умным человеком в Имперском управлении безопасности. Гиммлер любил беседовать с ним.

Высокопоставленные люди в большинстве случаев старались не показывать ему своего служебного превосходства. Он привык к тому, что его уважали не только в полиции безопасности. Имперское управление безопасности дышало и жило всюду: и в университете, и в подписи директора детского санатория, и на приемных пробах молодых певцов в опере, и в решении жюри,

отбиравшего картины для весенней выставки, и в списке кандидатов при выборах в рейхстаг.

Здесь был стержень жизни. Основой вечной правоты партии, победы ее логики либо нелогичности над всякой логикой, ее философии над всякой другой философией была работа государственной тайной полиции. Это была волшебная палочка! Стоило уронить ее, и волшебство исчезало, — великий оратор превращался в болтуна, корифей науки — в популяризатора чужих идей. Эту волшебную палочку нельзя было выпускать из рук.

Поглядывая на Эйхмана, Лисс в это утро впервые в жизни почувствовал шевеление завистливой тревоги.

За несколько минут до отъезда Эйхман задумчиво сказал:

— А ведь мы с вами земляки, Лисс.

Они стали перечислять приятные им названия городских улиц, ресторанов, кино.

— Кое-где, конечно, я не бывал, — сказал Эйхман и назвал клуб, в который сына владельца мастерской не пускали.

Лисс спросил, меняя предмет разговора:

— Скажите, можно примерно иметь представление, о каком количестве евреев идет речь?

Он знал, что задал сверхвопрос, может быть, три человека в мире, кроме Гиммлера и вождя, могли ответить на него.

Но именно после воспоминания о тяжелых молодых годах Эйхмана в пору демократии и космополитизма следовало спросить его о том, чего Лисс не знал, — признаться в своем незнании.

Эйхман ответил.

Лисс, пораженный, спросил:

— Миллионов?

Эйхман пожал плечами.

Некоторое время они молчали.

— Я очень жалею, что мы не встретились с вами в пору студенчества, — сказал Лисс, — в годы учения, как сказано у Гёте.

— Я не был берлинским студентом, я учился в провинции, не жалейте, — сказал Эйхман и добавил: — Цифру эту, земляк, я впервые произношу вслух. Если считать Берхтесгаден, Рейхсканцеляй и ведомство нашего рейхсфюрера, она была названа семь или восемь раз.

— Я понимаю, завтра мы не прочтем ее в газете.

— Я имею в виду именно газету, — сказал Эйхман.

Он с усмешкой поглядел на Лисса, и тот почув-

ствовал тревогу от ощущения, что собеседник умней его.

А Эйхман проговорил:

— Помимо того, что тихий наш городок весь утопает в зелени, была еще одна причина, по которой я назвал вам эту цифру. Мне хочется, чтобы она связывала нас для дальнейшей совместной работы.

— Благодарю, — сказал Лисс, — надо подумать, дело очень серьезное.

— Конечно. Предложение исходит не только от меня, — Эйхман поднял палец вертикально вверх. — Если вы разделите со мной труд, а Гитлер проиграет, мы будем висеть вместе — вы и я.

— Перспектива прекрасная, стоит подумать, — проговорил Лисс.

— Представляете, через два года мы вновь сядем в этой камере за уютный столик и скажем: «За двадцать месяцев мы решили вопрос, который человечество не решило за двадцать веков!»

Они простились. Лисс глядел вслед машине.

У него имелся свой взгляд на человеческие отношения в государстве. Жизнь в национал-социалистическом государстве не могла развиваться свободно — каждым ее шагом нужно было управлять.

Для того чтобы руководить дыханием людей, материнским чувством, кругом чтения, заводами, пением, армией, летними экскурсиями, — нужны были вожаки. Жизнь ведь потеряла право расти, как трава, волноваться, как море. Вожаки, казалось Лиссу, тяготели к четырем типам характеров.

Первый характер — цельные натуры, обычно лишенные остроты ума и способности к анализу. Эти люди ловили лозунги, формулы из газет и журналов, цитаты из речей Гитлера и статей Геббельса, из книг Франка и Розенберга. Они терялись, не чувствуя подпорок. Они не задумывались о связи явлений, проявляли жестокость и нетерпимость по любому поводу. Они все принимали всерьез: и философию, и национал-социалистическую науку, и туманные откровения, и достижения нового театра, и новую музыку, и кампанию по выборам в рейхстаг. Они, как школяры, зубрили в кружках «Mein Kampf», конспектировали доклады и брошюры. Обычно они были скромны в личной жизни, иногда испытывали нужду, чаще остальных категорий попадали в партийные мобилизации, отрывавшие их от семей.

Именно к этой категории, казалось сперва Лис-

су, принадлежал и Эйхман.

Второй тип характеров: умные циники. Эти знали о существовании волшебной палочки. В проверенном кругу друзей они посмеивались над многим, — над невежеством новых докторов и магистров, над ошибками и нравами ляйтеров и гауляйтеров. Они не смеялись только над вождем и над высокими идеалами. Эти люди обычно жили широко, много пили. На высших ступенях партийной иерархии эти характеры встречались чаще, чем на низших. Внизу царствовали характеры первого типа.

На самом верху, казалось Лиссу, царил третий характер, — там умещалось восемь-девять человек и бывали допускаемы еще пятнадцать-двадцать, там существовал мир, лишенный догм, там свободно судили обо всем. Там не было идеалов, одна лишь математика, веселые, не ведающие жалости высокие мастера.

Иногда Лиссу казалось, что все в Германии происходит ради них и их блага.

Лисс заметил, что появление на вершине ограниченных людей всегда знаменовало начало зловещих событий. Мастера социальной механики возвышали догматиков, чтобы поручить им особо кровавые дела. Простаки временно упива-

лись высшей властью, но обычно, закончив дела, исчезали, а иногда разделяли судьбу своих жертв. Наверху вновь оставались веселые мастера.

В простаках, характерах первого типа, имелось чрезвычайно ценное свойство, — они были народны. Они не только цитировали классиков национал-социализма, но и говорили языком народа. Их грубость казалась народной, крестьянской. Их шутки вызывали смех на рабочих собраниях.

Четвертый тип характеров: исполнители, полностью равнодушные к догме, идеям, философии, но также чуждые и аналитических способностей. Национал-социализм платил им, и они служили ему. Их единственной, высшей страстью были сервизы, костюмы, дачи, драгоценности, мебель, легковые машины, холодильники. Деньги они не очень любили, не верили в их прочность.

Лисс тяготел к высшим руководителям, мечтал об их обществе и о близости с ними, — там, в царстве насмешливого ума, щегольской логики, он чувствовал себя легко, естественно, хорошо.

Но Лисс видел, что в страшной высоте, над высшими руководителями, над стратосферой был мир туманный, непонятный, неясный, мучающий своей алогичностью, — в этом высшем мире

существовал вождь Адольф Гитлер.

В Гитлере, и это страшило Лисса, непонятным образом соединялось несоединимое, — он был главой мастеров — сверхмехаником, шеф-монтером, обер-мастером, обладавшим высшей логикой, высшим цинизмом, высшей математической жестокостью, даже по сравнению со всеми своими ближайшими помощниками, вместе взятыми. И в то же время в нем была догматическая исступленность, фанатическая вера и слепота веры, бычья нелогичность, которые Лисс встречал лишь на самых низких, полуподвальных этажах партийного руководства. Он, создатель волшебной палочки, первосвященник, был одновременно и темным, исступленным верующим.

И вот сейчас, глядя вслед уходившей машине, Лисс ощутил, что Эйхман неожиданно вызвал в нем то пугающее и влекущее, неясное чувство, которое вызывал в нем лишь один человек в мире — вождь немецкого народа Адольф Гитлер.

32

Антисемитизм проявляется разнообразно — он в насмешливом, брезгливом доброжелательстве и в истребительных погромах.

Разнообразны виды антисемитизма — идейный, внутренний, скрытый, исторический, бытовой, физиологический; разнообразны формы его — индивидуальный, общественный, государственный.

Антисемитизм встретишь и на базаре, и на заседании Президиума Академии наук, в душе глубокого старика и в детских играх во дворе. Антисемитизм без ущерба для себя перекочевал из поры лучины, парусных кораблей и ручных прялок в эпоху реактивных двигателей, атомных реакторов и электронных машин.

Антисемитизм никогда не является целью, антисемитизм всегда лишь средство, он мерило противоречий, не имеющих выхода.

Антисемитизм есть зеркало собственных недостатков отдельных людей, общественных устройств и государственных систем. Скажи мне, в чем ты обвиняешь евреев, и я скажу, в чем ты сам виноват.

Ненависть к отечественному крепостному праву, даже в сознании борца за свободу, шлиссельбургского арестанта, крестьянина Олейничука, выражалась как ненависть к ляхам и жидам. И даже гениальный Достоевский увидел жида-ростовщика там, где должен был различить безжалостные глаза русского подрядчика, крепостника и заводчика.

Национал-социализм, одарив вымышленное им мировое еврейство чертами расизма, жаждой власти над миром, космополитическим безразличием к немецкой родине, навязал евреям свои собственные черты. Но это лишь одна из сторон антисемитизма.

Антисемитизм есть выражение бездарности, неспособности победить в равноправной жизненной борьбе, всюду — в науке, в торговле, в ремесле, в живописи. Антисемитизм — мера человеческой бездарности. Государства ищут объяснения своей неудачливости в происках мирового еврейства. Но это одна из сторон антисемитизма.

Антисемитизм есть выражение несознательности народных масс, неспособных разобраться в причинах своих бедствий и страданий. В евреях, а не в государственном и общественном устрой-

стве видят невежественные люди причины своих бедствий. Но и это массовое проявление антисемитизма — одна из сторон его.

Антисемитизм — мерило религиозных предрассудков, тлеющих в низах общества. Но и это лишь одна из сторон антисемитизма.

Отвращение к внешности еврея, его речи, к его пище не есть, конечно, истинная причина физиологического антисемитизма. Ведь человек, с отвращением говорящий о курчавых волосах еврея, о его жестикуляции, восхищается черными, курчавыми волосами детей на картинах Мурильо, безразличен к гортанному говору, жестикуляции армян, дружелюбно поглядывает на синегубого негра.

Антисемитизм — явление особое в ряду преследований, которым подвергаются национальные меньшинства. Это явление особое, потому что историческая судьба евреев складывалась своеобразно, особо.

Подобно тому как тень человека дает представление о его фигуре, так и антисемитизм дает представление об исторической судьбе и пути евреев. История еврейства сплелась и соединилась со многими вопросами мировой политической и религиозной жизни. Это первая особенность

еврейского национального меньшинства. Евреи живут почти во всех странах мира. Такое необычайно широкое распространение национального меньшинства в обоих полушариях Земли представляет вторую особенность евреев.

В пору расцвета торгового капитала появились евреи торговцы и ростовщики. В пору расцвета промышленности многие евреи проявили себя в технике и промышленности. В атомную эру немало талантливых евреев работает по атомной физике.

В пору революционной борьбы немало евреев проявили себя как выдающиеся деятели революции. Они — то национальное меньшинство, которое не отбрасывается на общественную, географическую периферию, а стремится проявить себя на направлении главного движения в развитии идеологических и производительных сил. В этом третья особенность еврейского национального меньшинства.

Часть еврейского меньшинства ассимилируется, растворяется в коренном населении страны, а народная, широкая основа еврейства сохраняет национальное в языке, религии, быте. Антисемитизм сделал своим правилом изобличать ассимилированную часть еврейства в тайных

национальных и религиозных устремлениях, а органическую часть еврейства, занимающуюся ремеслами, физическим трудом, делать ответственной за тех, кто участвует в революции, управлении промышленностью, создании атомных реакторов, акционерных обществ и банков.

Названные особенности бывают присущи порознь тому или другому национальному меньшинству, но, кажется, одни лишь евреи объединили в себе все эти особенности.

Антисемитизм тоже отразил на себе эти особенности, он тоже слился с главными вопросами мировой политической, экономической, идеологической, религиозной жизни. В этом зловещая особенность антисемитизма. Пламя его костров освещает самые ужасные времена истории.

Когда Возрождение вторглось в пустыню католического средневековья, мир тьмы зажег костры инквизиции. Их огонь осветил не только силу зла, но и картину гибели его.

В двадцатом веке обреченный гибели старый национальный уклад физически отсталых и неудачливых государств зажег костры Освенцима, люблинских и треблинкских крематориев. Их пламя осветило не только краткое фашистское торжество, это пламя предсказало миру,

что фашизм обречен. К антисемитизму прибегают перед неминуемым свершением судьбы и всемирно-исторические эпохи, и правительства реакционных, неудачливых государств, и отдельные люди, стремящиеся выправить свою неудачную жизнь.

Были ли случаи на протяжении двух тысячелетий, когда свобода, человечность пользовались антисемитизмом как средством своей борьбы? Может быть, и были, но я не знаю таких.

Бытовой антисемитизм — бескровный антисемитизм. Он свидетельствует, что в мире существуют завистливые дураки и неудачники.

В демократических странах может возникнуть общественный антисемитизм, — он проявляется в прессе, представляющей те или иные реакционные группы, в действиях этих реакционных групп, например, в бойкоте еврейского труда либо еврейских товаров, в религии и идеологии реакционеров.

В тоталитарных странах, где общество отсутствует, антисемитизм может быть лишь государственным.

Государственный антисемитизм — свидетельство того, что государство пытается опереться на дураков, реакционеров, неудачников, на тьму

суеверных и злобу голодных. Такой антисемитизм бывает на первой стадии дискриминационным, — государство ограничивает евреев в выборе местожительства, профессии, праве занимать высшие должности, в праве поступать в учебные заведения и получать научные звания, степени и т. д.

Затем государственный антисемитизм становится истребительным.

В эпохи, когда всемирная реакция вступает в гибельный для себя бой с силами свободы, антисемитизм становится для нее государственной, партийной идеей; так случилось в двадцатом веке, в эпоху фашизма.

33

Движение к Сталинградскому фронту вновь сформированных частей шло тайно, в ночное время…

Северо-западней Сталинграда, в среднем течении Дона, сгущалась, тяжелела сила нового фронта. Эшелоны разгружались на вновь построенной железной дороге, прямо в степи.

Едва рассветало, шумевшие ночью железные реки замирали, и лишь легкий пыльный туман стоял над степью. Днем стволы пушек обрастали сухим бурьяном и охапками соломы, и, казалось, не было в мире более молчаливых существ, чем эти слившиеся с осенней степью артиллерийские стволы. Самолеты, распластав крылья, словно мертвые, высосанные насекомые, стояли на аэродромах, прикрытые паутиной маскировочных сеток.

День ото дня все гуще и гуще делались условные треугольники, ромбики, кружки, все гуще становилась сеть цифр — номеров на той карте, которую видели в мире всего лишь несколько человек, — то строились, кристаллизовались, выходили на исходные рубежи новые армии

нового Юго-Западного фронта, ныне фронта наступления.

А по левому берегу Волги пустынными, солончаковыми степями шли на юг, минуя дымящийся и гремящий Сталинград, танковые соединения, артиллерийские дивизии и уходили к тихим заводям и затонам. Войска, переправившись через Волгу, оседали в калмыцкой степи, в соленом межозерье, и тысячи русских людей начинали произносить странные им слова: «Барманцак», «Цаца́»... То шло южное скопление сил в калмыцких степях на правом плече немцев. Советское Верховное командование готовило окружение сталинградских дивизий Паулюса.

Темными ночами под осенними облаками и звездами пароходы, паромы, баржи переправили на правый, калмыцкий берег, что южней Сталинграда, танковый корпус Новикова...

Тысячи людей видели написанные на броне белой краской имена военных вождей России: «Кутузов», «Суворов», «Александр Невский».

Миллионы людей видели, как пошли в сторону Сталинграда тяжелые русские пушки, минометы и полученные по ленд-лизу колонны грузовых «доджей» и «фордов».

И все же, хотя движение это было видимо

миллионами людей, сосредоточение огромных воинских масс, нацеленных для наступления северо-западнее и южнее Сталинграда, шло втайне.

Как же это могло случиться? Ведь и немцы знали об этом огромном движении. Ведь скрыть его нельзя было, как нельзя скрыть степной ветер от идущего степью человека.

Немцы знали о движении войск к Сталинграду, а сталинградское наступление оставалось для них тайной. Каждый немецкий лейтенант, взглянув на карту, где были предположительно помечены места скопления русских войск, мог расшифровать высшую военно-государственную тайну Советской России, известную лишь Сталину, Жукову, Василевскому.

И все же окружение немцев в районе Сталинграда было внезапно для немецких лейтенантов и фельдмаршалов.

Как же могло это случиться?

Сталинград продолжал держаться, по-прежнему немецкие атаки не приводили к решающим успехам, хотя в них участвовали большие воинские массы. А в истаявших сталинградских полках оставались лишь десятки красноармейцев. Эти малые десятки, принявшие на себя

сверхтяжесть ужасных боев, и были той силой, которая путала все представления немцев.

Противник не мог представить, что мощь его усилий расщепляется горстью людей. Казалось, советские резервы готовятся поддержать и питать оборону. Солдаты, отбивавшие на волжском откосе напор дивизий Паулюса, были стратегом сталинградского наступления.

А неумолимое лукавство истории таилось еще глубже, и в его глубине свобода, рождавшая победу, оставаясь целью войны, превращалась от прикосновения лукавых пальчиков истории в ее средство.

34

Старуха с охапкой сухого камыша прошла к дому, хмурое лицо ее было поглощено заботой, она шла мимо запыленного «виллиса», мимо перекрытого брезентом штабного танка, подпиравшего плечом дощатую стену дома. Она шла, костистая, скучная, и, казалось, ничего не было обычней этой старухи, идущей мимо танка, подпиравшего ее дом. Но не было ничего значительней в событиях мира, чем связь этой старухи и ее некрасивой дочери, доившей в это время под навесом корову, связь ее белоголового внука, запустившего палец в нос и следившего, как молоко прыскало из коровьих сосцов, с войсками, стоявшими в степи.

И все эти люди, — майоры из корпусных и армейских штабов, генералы, дымившие папиросами под темными деревенскими иконами, генеральские повара, жарившие баранину в русских печах, телефонистки, накручивающие на патроны и гвозди локоны в амбарах, водитель, бривший во дворе щеку перед жестяным умывальником и скосивший один глаз на зеркальце, а второй на небо — летит ли немец, — и весь

этот стальной, электрический и бензиновый мир войны был непрерывной частью долгой жизни степных деревень, поселков, хуторков.

Непрерывная связь существовала для старухи между сегодняшними ребятами на танках и теми замученными, что летом притопали пешком, попросились ночевать и все боялись, не спали ночью, выходили поглядеть.

Непрерывная связь существовала между этой старухой с хуторка в калмыцкой степи и той, что на Урале вносила в штаб резервного танкового корпуса шумный медный самовар, и с той, что в июне под Воронежем стелила полковнику солому на пол и крестилась, оглядываясь на красное зарево в окошке. Но так привычна была эта связь, что ее не замечали ни старуха, шедшая в дом топить колючкой печь, ни полковник, вышедший на крыльцо.

Дивная, томящая тишина стояла в калмыцкой степи. Знали ли люди, сновавшие в это утро по Унтер-ден-Линден, о том, что здесь Россия повернула свое лицо на Запад, готовилась ударить и шагнуть?

Новиков с крыльца окликнул водителя Харитонова:

— Шинели прихвати, мою и комиссара, поздно

вернемся.

На крыльцо вышли Гетманов и Неудобнов.

— Михаил Петрович, — сказал Новиков, — в случае чего звоните к Карпову, а после пятнадцати к Белову и Макарову.

Неудобнов сказал:

— Какие тут могут быть случаи.

— Мало ли, командующий нагрянет, — сказал Новиков.

От солнца отделились две пичужки и пошли в сторону хутора. И сразу в их нарастающем гуле, в их скользкой стремительности раздробилась степная неподвижность.

Харитонов, выскочив из машины, побежал под стенку амбара.

— Ты что это, дурак, своих перелякался? — закричал Гетманов.

В этот момент один из самолетов дал пулеметную очередь по хуторку, от второго отделилась бомба. Завыло, зазвенело, пронзительно закричала женщина, заплакал ребенок, дробно застучали комья земли, поднятые взрывом.

Новиков, услыша вой падающей бомбы, пригнулся. На миг все смешалось в пыли и дыму, и он видел только Гетманова, стоявшего рядом с ним. Из пылевого тумана выступила фигура Не-

удобнова, — он стоял, расправив плечи, подняв голову, единственный из всех не пригнувшись, точно вырезанный из дерева.

Гетманов, счищая со штанов пыль, немного побледневший, но возбужденный и веселый, с милой хвастливостью сказал:

— Ничего, молодцом, штаны вроде остались сухие, а генерал наш даже не шелохнулся.

Потом Гетманов и Неудобнов пошли смотреть, как далеко разбросало вокруг воронки землю, удивлялись, что выбиты стекла в дальних домах, а в самом ближнем стекла уцелели, смотрели на поваленный плетень.

Новиков любопытствовал на людей, впервые увидевших разрыв бомбы, — их, видимо, поражало, что бомбу эту выточили, подняли на воздух и сбросили на землю лишь с одной целью: убить отца маленьких Гетмановых и отца маленьких Неудобновых. Вот чем, оказывается, занимались люди на войне.

Сидя в машине, Гетманов все говорил о налете, потом перебил самого себя:

— Тебе, видно, Петр Павлович, смешно меня слушать, на тебя тысячи падали, а на меня первая. — И, снова перебив самого себя, спросил: — Слушай, Петр Павлович, этот Крымов

самый, он в плену вроде был?

Новиков сказал:

— Крымов? Да на что он тебе?

— Слышал о нем разговор один интересный в штабе фронта.

— В окружении был, в плену, кажется, не был. Что за разговор?

Гетманов, не слыша Новикова, тронул Харитонова за плечо, сказал:

— Вот по этому большачку в штаб первой бригады, минуя балочку. Видишь, у меня глаз фронтовой.

Новиков уже привык, что в разговоре Гетманов никогда не шел за собеседником, — то начнет рассказывать, то задаст вопрос, снова расскажет, снова перебьет рассказ вопросом. Казалось, мысль его идет не имеющим закона зигзагом. Но это не было так, только казалось.

Гетманов часто рассказывал о своей жене, о детях, носил при себе толстую пачку семейных фотографий, дважды посылал в Уфу порученца с посылками.

И тут же он затеял любовь с чернявой злой докторшей из санчасти, Тамарой Павловной, и любовь нешуточную. Вершков как-то утром трагически сказал Новикову:

— Товарищ полковник, докторша у комиссара ночь провела, на рассвете выпустил.

Новиков сказал:

— Не ваше дело, Вершков. Вы бы лучше у меня конфеты тайком не таскали.

Гетманов не скрывал свою связь с Тамарой Павловной, и сейчас в степи он привалился плечом к Новикову, шепотом проговорил:

— Петр Павлович, полюбил нашу докторицу один паренек, — и посмотрел ласково, жалобно на Новикова.

— Вот это комиссар, — сказал Новиков и показал глазами на водителя.

— Что ж, большевики не монахи, — шепотом объяснил Гетманов, — понимаешь, полюбил ее, старый дурак.

Они молчали несколько минут, и Гетманов, точно не он вел только что доверительный, приятельский разговор, сказал:

— А ты не худеешь, Петр Павлович, попал в родную фронтовую обстановку. Вот, знаешь, я, например, создан для партийной работы, — пришел в обком в самый тяжелый год, другой чахотку бы нажил: план по зерновым сорван, два раза товарищ Сталин меня по телефону вызывал, а мне хоть бы что, толстею, как на курорте. Вот

и ты так.

— А черт его знает, для чего я создан, — сказал Новиков, — может быть, и в самом деле для войны.

Он рассмеялся.

— Я замечаю, чуть что случится интересного, я первым делом думаю, не забыть бы Евгении Николаевне рассказать. На тебя с Неудобновым первую в жизни бомбу немцы кинули, а я подумал: надо ей рассказать.

— Политдонесения составляешь? — спросил Гетманов.

— Вот-вот, — сказал Новиков.

— Жена, ясно, — сказал Гетманов. — Она ближе всех.

Они подъехали к расположению бригады, сошли с машины.

В голове Новикова постоянно тянулась цепь людей, фамилий, наименований населенных пунктов, задач, задачек, ясностей и неясностей предполагаемых, отменяемых распоряжений.

Вдруг ночью он просыпался и начинал томиться, его охватывали сомнения: следует ли вести стрельбу на дальности, превышающие нарезку дистанционной шкалы прицела? Оправдывает ли себя стрельба с ходу? Сумеют ли командиры

подразделений быстро и правильно оценивать изменения боевой обстановки, принимать самостоятельные решения, отдавать мгновенные приказы?

Потом он представлял себе, как эшелон за эшелоном танки, проломав немецко-румынскую оборону, входят в прорыв, переходят к преследованию, объединенные с штурмовой авиацией, самоходной артиллерией, мотопехотой, саперами, — мчатся все дальше на Запад, захватывая речные переправы, мосты, обходя минные поля, подавляя узлы сопротивления. В счастливом волнении он спускал босые ноги с кровати, сидел в темноте, тяжело дыша от предчувствия счастья.

Ему никогда не хотелось об этих своих ночных мыслях говорить с Гетмановым.

В степи он чаще, чем на Урале, испытывал раздражение против него и Неудобнова.

«К пирожкам поспели», — думал Новиков.

Он уже не тот, каким был в 1941 году. Он пьет больше, чем раньше. Он частенько матерится, раздражается. Однажды он замахнулся на начальника снабжения горючим.

Он видел, что его боятся.

— А черт его знает, создан ли я для войны, — сказал он. — Лучше всего с бабой, которую любишь,

жить в лесу, в избе. Пошел на охоту, а вечером вернулся. Она сварит похлебку, и легли спать. А войной человека не накормишь.

Гетманов, склонив голову, внимательно посмотрел на него.

Командир первой бригады полковник Карпов, мужчина с пухлыми щеками, рыжими волосами и пронзительно яркими голубыми глазами, какие бывают лишь у очень рыжих людей, встретил Новикова и Гетманова возле полевой рации.

Его военный опыт был некоторое время связан с боями на Северо-Западном фронте; там Карпову не раз приходилось закапывать свои танки в землю, превращая их в неподвижные огневые точки.

Он шел рядом с Новиковым и Гетмановым к расположению первого полка, и могло показаться, что он и есть главный начальник, такими неторопливыми были его движения.

По конституции своей, казалось, должен он быть человеком добродушным, склонным к пиву и обильной еде. Но был он другой натурой, — неразговорчивый, холодный, подозрительный, мелочный. Гостей он не угощал, слыл скупым.

Гетманов похваливал добросовестность, с которой рылись землянки, укрытия для танков и

орудий.

Все учел командир бригады, — и танкоопасные направления, и возможность флангового нажима, не учел он лишь, что предстоящие бои заставят его перейти к стремительному вводу бригады в прорыв, к преследованию.

Новикова раздражали одобрительные кивки и словечки Гетманова.

А Карпов, точно нарочно разогревая раздражение Новикова, говорил:

— Вот разрешите, товарищ полковник, рассказать. Под Одессой мы превосходно окопались. Вечерком перешли в контратаку, дали румынам по башке, а ночью по приказу командарма вся наша оборона, как один человек, ушла в порт грузиться на корабль. Румыны спохватились часов в десять утра, кинулись атаковать брошенные окопы, а мы уже по Черному морю плыли.

— Как бы тут вы не остались стоять перед пустыми румынскими окопами, — сказал Новиков.

Сможет ли Карпов в период наступления день и ночь рваться вперед, оставляя позади себя боеспособные части противника, узлы сопротивления?.. Рваться вперед, подставив под удары голову, затылок, бока, охваченный одной лишь страстью преследования. Не тот, не тот у него характер.

Все кругом носило на себе следы прошедшей степной жары, и странно было, что воздух так прохладен. Танкисты занимались своими солдатскими делами, — кто брился, сидя на броне, пристроив к башне зеркальце, кто чистил оружие, кто писал письмо, рядом забивали козла на расстеленной плащ-палатке, большая группа стояла, позевывая, возле девушки-санитарки. И все в этой обыденной картине под огромным небом на огромной земле наполнилось предвечерней грустью.

А в это время к подходившим начальникам бежал, на ходу одергивая гимнастерку, командир батальона, пронзительно кричал:

— Батальон, смирно!

Новиков, точно споря с ним, ответил:

— Вольно, вольно.

Там, где проходил, роняя словечко, комиссар, слышался смех, танкисты переглядывались, лица делались веселей.

Комиссар спрашивал, кто как переживает разлуку с уральскими девушками, спрашивал, много ли бумаги извели на письма, аккуратно ли в степь доставляют «Звездочку».

Комиссар напустился на интенданта:

— Что сегодня ели танкисты? А что вчера? А что

позавчера? А ты тоже три дня ел суп из перловки и зеленых помидор? А ну, позвать сюда повара, — сказал он под смех танкистов, — пусть скажет, что готовил интенданту на обед.

Он своими вопросами о быте и жизни танкистов как бы упрекал строевых командиров: «Что ж это вы только о технике да о технике».

Интендант, худой человек в пыльных кирзовых сапогах, с красными руками, точно у прачки, полоскавшей белье в холодной воде, стоял перед Гетмановым, покашливал.

Новикову стало жалко его, он сказал:

— Товарищ комиссар, к Белову отсюда вместе проедем?

Гетманов с довоенных времен заслуженно считался хорошим массовиком, вожаком. Едва заводил он разговор, люди начинали посмеиваться, — его простецкая, живая речь, грубые словечки сразу стирали различие между секретарем обкома и замурзанным человеком в спецовке.

Он всегда входил в житейский интерес, — не запаздывает ли зарплата, есть ли дефицитные продукты в сельмагах и рабкоопах, хорошо ли отапливаются общежития, налажена ли кухня в полевых станах.

Особенно просто, хорошо говорил он с пожилыми заводскими работницами и колхозницами, — всем нравилось, что секретарь — слуга народа, что он жестоко придирается к снабженцам, орсовцам, комендантам общежитий, а если надо, и к директорам заводов и МТС, когда они пренебрегают интересами трудового человека. Он был крестьянским сыном, он сам когда-то работал слесарем в цеху, и рабочие люди чувствовали это. Но в своем обкомовском кабинете он был всегда озабочен своей ответственностью перед государством, тревога Москвы была его главной тревогой; об этом знали и директора больших заводов, и секретари сельских райкомов.

— План срываешь государству, понял? Партбилет хочешь положить на стол? Знаешь, что доверила тебе партия? Объяснять не надо?

В его кабинете не смеялись и не шутили, не говорили о кипятке в общежитиях и об озеленении цехов. В его кабинете утверждали жесткие производственные планы, говорили о повышении норм выработки, о том, что с жилстроительством придется подождать, что надо потуже подтянуть кушаки, решительней снижать себестоимость, завышать розничные цены.

Сила этого человека особенно чувствовалась,

когда он вел заседания в обкоме. На этих заседаниях возникало ощущение, что все люди пришли в его кабинет не со своими мыслями, претензиями, а для того, чтобы помочь Гетманову, что весь ход заседания заранее определен напором, умом и волей Гетманова.

Он говорил негромко, не торопясь, уверенный в послушании тех, к кому обращены его слова.

«Скажи-ка о своем районе, дадим, товарищи, слово агроному. Хорошо, если ты, Петр Михайлович, добавишь. Пусть выскажется Лазько, у него не все благополучно по этой линии. Ты, Родионов, я вижу, тоже хочешь речь произнести, по-моему, товарищи, вопрос ясен, пора закруглять, возражений, думаю, не будет. Тут, товарищи, подготовлен проект резолюции, зачти-ка, Родионов». И Родионов, который хотел посомневаться и даже поспорить, старательно зачитывал резолюцию, поглядывая на председателя, — достаточно ли четко он читает. «Ну вот, товарищи не возражают».

Но самым удивительным было то, что Гетманов, казалось, оставался искренен, был самим собой, и когда требовал плана с секретарей райкомов и срезал последние граммы с колхозных трудодней, и когда занижал зарплату рабочим,

и когда требовал снижения себестоимости, и когда повышал розничные цены, и когда, растроганный, говорил с женщинами в сельсовете, вздыхал об их нелегкой жизни, сокрушался по поводу тесноты в рабочих общежитиях.

Понять это трудно, но разве все в жизни легко поймешь.

Когда Новиков и Гетманов подошли к машине, Гетманов шутя сказал провожавшему их Карпову:

— Придется обедать у Белова, от вас и вашего интенданта обеда не дождешься.

Карпов сказал:

— Товарищ бригадный комиссар, интенданту пока ничего не дали с фронтовых складов. А сам он, между прочим, ничего не ест — болеет желудком.

— Болеет, ай-ай-ай, какая беда, — сказал Гетманов, зевнул, махнул рукой. — Ну что ж, поехали.

Бригада Белова была значительно выдвинута на запад по сравнению с карповской.

Белов, худой, носатый человек, на кривых кавалерийских ногах, с острым быстрым умом, пулеметной речью, нравился Новикову.

Он казался Новикову человеком, созданным для танковых прорывов и стремительных брос-

ков.

Характеристика его была хороша, хотя в боевых действиях он участвовал недолго, — совершил в декабре под Москвой танковый рейд по немецким тылам.

Но сейчас Новиков, тревожась, видел лишь недостатки командира бригады, — пьет, как конь, легкомыслен, пристает к женщинам, забывчив, не пользуется любовью подчиненных. Обороны Белов не подготовил. Материально-техническая обеспеченность бригады, видимо, не интересовала Белова. Его занимала лишь обеспеченность горючим и боеприпасами. Вопросами организации ремонта и эвакуации с поля боя поврежденных машин он занимался недостаточно.

— Что ж вы, товарищ Белов, все же не на Урале, а в степи, — сказал Новиков.

— Да, как цыгане, табором, — добавил Гетманов.

Белов быстро ответил:

— Против авиации принял меры, а наземный противник не страшен, мне кажется, в таком тылу нереален.

Он вдохнул воздух:

— Не обороны хочется, в прорыв войти. Душа плачет, товарищ полковник.

Гетманов проговорил:

— Молодец, молодец, Белов. Суворов советский, полководец настоящий. — И, перейдя на «ты», добродушно и тихо сказал: — Мне начальник политотдела доложил, будто ты сошелся с сестрой из медсанбата. Верно это?

Белов из-за добродушного тона Гетманова не сразу понял плохой вопрос, переспросил:

— Виноват, что он сказал?

Но так как и без повторения слова дошли до его сознания, он смутился:

— Мужское дело, товарищ комиссар, в полевых условиях.

— А у тебя жена, ребенок.

— Трое, — мрачно поправил Белов.

— Ну вот видишь, трое. Ведь во второй бригаде командование сняло хорошего комбата Булановича, пошло на крайнюю меру, перед выходом из резерва заменило его Кобылиным только из-за этого дела. Какой же пример подчиненным, а? Русский командир, отец трех детей.

Белов, озлившись, громко произнес:

— Никому нет до этого дела, поскольку я к ней насилия не применял. А пример этот показали до вас, и до меня, и до вашего батька.

Не повышая голоса, вновь перейдя на «вы»,

Гетманов сказал:

— Товарищ Белов, не забывайте про свой партийный билет. Стойте как следует, когда с вами говорит ваш старший начальник.

Белов, приняв воинский, совершенно деревянный вид, проговорил:

— Виноват, товарищ бригадный комиссар, я, конечно, понимаю, осознаю.

Гетманов сказал ему:

— В твоих боевых успехах я уверен, комкор тебе верит, не срами себя только по личной линии. — Он посмотрел на часы: — Петр Павлович, мне надо в штаб, я с тобой к Макарову не поеду. Я у Белова машину возьму.

Когда они вышли из блиндажа, Новиков, не удержавшись, спросил:

— Что, по Томочке соскучился?

На него недоуменно посмотрели ледяные глаза, и недовольный голос произнес:

— Меня вызывает член Военного совета фронта.

Перед возвращением в штаб корпуса Новиков заехал к своему любимцу Макарову, командиру первой бригады.

Вместе пошли они к озерцу, у которого расположился один из батальонов.

Макаров, с бледным лицом и грустными глазами, которые, казалось, никак не могли принадлежать командиру бригады тяжелых танков, сказал Новикову:

— Помните то болото, белорусское, товарищ полковник, когда немцы нас гоняли по камышам?

Новиков помнил белорусское болото.

Он подумал о Карпове и Белове. Тут дело, очевидно, не только в опыте, но и в натуре. Надо прививать командирам опыт, которого у них нет. Но ведь натуру никак не следует подавлять. Нельзя людей из истребительной авиации перебрасывать в саперные части. Не всем же быть, как Макаров, — он хорош и в обороне, и в преследовании.

Гетманов говорит — создан для партийной работы. А Макаров вот солдат. Не перекроить. Макаров, Макаров, золотой вояка!

От Макарова Новикову не хотелось отчетов, сведений. Ему хотелось советоваться с ним, делиться. Как достичь в наступлении полной сыгранности с пехотой и мотопехотой, с саперами, с самоходной артиллерией? Совпадают ли их предположения о возможных замыслах и действиях противника после начала наступления?

Одинаково ли оценивают они силу его противотанковой обороны? Правильно ли определены рубежи развертывания?

Они пришли на командный пункт батальона.

Командный пункт разместился в неглубокой балке. Командир батальона Фатов, увидя Новикова и командира бригады, смутился, — штабная землянка, казалось ему, не подходила для таких высоких гостей. А тут еще красноармеец растапливал дрова порохом, и печь крайне неприлично ухала.

— Запомним, товарищи, — сказал Новиков, — корпусу поручат одну из самых ответственных частей общей фронтовой задачи, а я выделяю самую трудную часть Макарову, а Макаров, сдается мне, самую сложную часть своей задачи прикажет выполнить Фатову. А как решать задачу, это вам самим придется подумать. Я вам не буду навязывать в бою решение.

Он спрашивал Фатова об организации связи со штабом полка, командирами рот, о работе радио, о количестве боеприпасов, о проверке моторов, о качестве горючего.

Перед тем, как проститься, Новиков сказал:

— Макаров, готовы?

— Нет, не совсем еще готов, товарищ полков-

ник.

— Трех суток вам достаточно?

— Достаточно, товарищ полковник.

Сидя в машине, Новиков сказал водителю:

— Ну как, Харитонов, все в порядке у Макарова как будто?

Харитонов, покосившись на Новикова, ответил:

— Порядок, конечно, полный, товарищ полковник. Начальник продснабжения пьяным напился, из батальона пришли концентрат получать, а он ушел спать и ключ забрал. Так и вернулись, не нашедши его. А старшина мне рассказывал, — командир роты получил водку на бойцов и справил себе именины. Всю водку эту выпил. Хотел я запаску, камеру подклеить, а у них клею даже нет.

35

Выглянув в окно штабной избы и увидя в облаке пыли «виллис» командира корпуса, генерал Неудобнов обрадовался.

Так однажды было в детстве, когда взрослые ушли в гости и он радовался, что остался хозяином в доме, — но едва закрылась дверь, ему стали мерещиться воры, пожар, и он ходил от двери к окну, млея, прислушивался, потягивал носом — не пахнет ли дымом.

Он почувствовал себя беспомощным, способы, которыми он управлял большими делами, здесь не годились.

Вдруг противник полезет, — ведь от штаба до фронта шестьдесят километров. Тут не припугнешь снятием с должности, не обвинишь в связях с врагами народа. Прут танки и прут, чем их остановишь? И эта очевидность поразила Неудобнова, — мощь государственного гнева, заставлявшего склоняться и трепетать миллионы людей, здесь, на фронте, когда пер немец, не стоила ни гроша. Немцы не заполняли анкет, не рассказывали на собраниях своих биографий, не маялись, боясь ответить о занятиях родителей до

семнадцатого года.

Все, что он любил, без чего не мог жить, его судьба, судьба его детей, уже не было под прикрытием великого, грозного, родного ему государства. И он впервые с робостью и приязнью подумал о полковнике.

Новиков, войдя в штабную избу, сказал:

— Мне, товарищ генерал, ясно, — Макаров! Он в любом положении сам решит внезапно возникшую задачу. Белов, тот без оглядки будет рваться вперед, он иного не понимает. А Карпова придется подгонять, тяжеловоз, медлитель.

— Да-да, кадры, кадры, они все решают; неустанно изучать кадры, этому нас товарищ Сталин учит, — проговорил Неудобнов и живо добавил: — Я все думаю — немецкий агент в станице есть, это он, подлец, утром навел авиацию на наш штаб.

Рассказывая Новикову о штабных событиях, Неудобнов сказал:

— Тут к нам собрались приехать соседи и командиры частей усиления, так, без особого дела, познакомиться, просто в гости.

— Жаль, что Гетманов уехал в штаб фронта, и чего это его понесло? — сказал Новиков.

Они условились вместе пообедать, и Новиков

пошел к себе на квартиру помыться, переменить запылившуюся гимнастерку.

На широкой станичной улице было пустынно, только возле ямы, вырытой бомбой, стоял старик, в чьей избе квартировал Гетманов. Старик, словно бы яма была вырыта для хозяйственных надобностей, что-то определял над ней растопыренными руками. Поравнявшись с ним, Новиков спросил:

— Над чем это колдуешь, отец?

Старик по-солдатски взял под козырек, проговорил:

— Товарищ командующий, был я в германском плену в пятнадцатом году, работал там у одной хозяйки, — и, указав на яму, потом на небо, подмигнул: — Не иначе мой байстрюк, сукин сын, прилетал, наведывал меня.

Новиков рассмеялся:

— Ох, старик.

Он заглянул в закрытые ставнями окна Гетманова, кивнул часовому, стоявшему у крыльца, и вдруг подумал: «Какого черта Гетманов в штаб фронта ездит? Какие это дела у него?» И на миг в душе его мелькнула тревога: «Двуличный он, как это Белову за аморальное поведение выговаривал, а стоило мне про Тамару вспомнить, как

лед сделался».

Но тотчас мысли эти показались пустыми, не свойственна была Новикову подозрительность.

Он свернул за угол дома и увидел на полянке несколько десятков парней, должно быть, мобилизованных райвоенкоматом, отдыхавших возле колодца.

Сопровождавший ребят боец, притомившись, спал, прикрыв лицо пилоткой, рядом с ним лежали горкой сложенные узелки и мешочки. Ребята, видимо, прошли немало по степи, натрудили ноги, и некоторые из них разулись. Головы их еще не были пострижены, и издали они походили на сельских школьников, отдыхавших на переменке между уроками. Их худые лица, тонкие шеи, русые нестриженые волосы, латаная, перешитая из отцовских пиджаков и штанов одежда, — все это было совершенно детским. Несколько человек играли в традиционную игру мальчишек, когда-то и комкор играл в нее, кидали пятаки в сторону вырытой ямки, прищурившись, целились. Остальные глядели на игру, и лишь глаза у них не были детскими — тревожные и грустные.

Они заметили Новикова и поглядывали на спящего дядьку, очевидно, им хотелось спросить его, можно ли кидать пятаки, продолжать сидеть,

когда мимо них идет военное начальство.

— Дуйте, дуйте, богатыри, — сказал бархатным басом Новиков и прошел, махнув в их сторону рукой.

Чувство пронзительной жалости охватило его, — такой острой, что он даже растерялся от ее силы. Должно быть, эти худые детские глазастые личики, эта сельская бедная одежда вдруг с какой-то прямо-таки удивительной ясностью сообщили, что ведь дети, ребята… А в армии ребячье, человечье скрыто под каской, в выправке, в скрипе сапог, в отработанных движениях и словах… А тут все было начистоту.

Он зашел в дом, и странно, что от всего сложного и тревожного груза сегодняшних мыслей и впечатлений самой тревожной оказалась эта встреча с мальчишками-новобранцами.

«Живая сила, — повторял про себя Новиков, — живая сила, живая сила».

Всю свою солдатскую жизнь он знал страх перед начальством за потерю техники и боеприпасов, за просроченное время, за машины, моторы, горючее, за оставление без разрешения высоты и развилки дорог. Не встречал он, чтобы начальники всерьез сердились на то, что боевые действия сопровождались большими потерями

живой силы. А иногда начальник посылал людей под огонь, чтобы избегнуть гнева старшего начальства и сказать себе в оправдание, разведя руками: «Ничего не мог поделать, я половину людей положил, но не мог занять намеченный рубеж...»

Живая сила, живая сила.

Он несколько раз видел, как гнали живую силу под огонь даже не для перестраховки и формального выполнения приказа, а от лихости, от упрямства. Тайная тайных войны, ее трагический дух были в праве одного человека послать на смерть другого человека. Это право держалось на том, что люди шли в огонь ради общего дела.

Но вот знакомый Новикова, трезвый и разумный командир, находясь на передовом НП, не изменяя своим привычкам, ежедневно пил свежее молоко. Утром под огнем противника боец из второго эшелона приносил ему термос с молоком. Случалось, немцы убивали бойца, и тогда знакомый Новикова, хороший человек, оставался без молока. А на следующий день новый посыльный нес под огнем термос с молоком. Пил молоко хороший, справедливый, заботливый к подчиненным человек, его солдаты называли отцом. Пойди-ка разберись во всем этом хозяйстве.

Вскоре Неудобнов зашел за Новиковым, и Новиков, торопливо и старательно причесывая перед зеркальцем волосы, сказал:

— Да, товарищ генерал, жуткое все же дело — война! Видели — ребят на пополнение гонят?

Неудобнов сказал:

— Да, кадры бросовые, сопливые. Я этого сопровождающего разбудил, обещал его в штрафную роту отправить. Распустил их совершенно, не воинская команда, а кабак какой-то.

В романах Тургенева иногда рассказывается, как к вновь обосновавшемуся помещику приезжают соседи…

В темноте подошли к штабу две легковые машины, и хозяева вышли встречать на крыльцо гостей: командира артиллерийской дивизии, командира гаубичного полка, командира бригады реактивных минометов.

…Дайте мне руку, любезный читатель, и отправимся вместе в имение Татьяны Борисовны, моей соседки…

Полковник-артиллерист, командир дивизии, был знаком Новикову по фронтовым рассказам и по штабным сводкам, — он ему даже ясно представлялся: багроволицый, круглоголовый. Но, конечно, он оказался пожилым, сутулым

человеком.

Казалось, что веселые глаза его случайно попали на угрюмое лицо. А иногда глаза так умно смеялись, что казалось, — они-то, глаза, и есть суть полковника, а морщины, унылая, сутулая спина случайно присоединились к этим глазам.

Командир гаубичного полка Лопатин мог сойти не только за сына, но и за внука командира артиллерийской дивизии.

Командир бригады реактивных минометов Магид, смуглый, с черными усиками над оттопыренной верхней губой, с высоким лбом от ранней лысины, оказался остряком и разговорчивым человеком.

Новиков позвал гостей в комнату, где стоял уже накрытый стол.

— Прошу принять привет с Урала, — сказал он, указывая на тарелки маринованных и соленых грибов.

Повар, стоявший в картинной позе у накрытого стола, сильно покраснел, ахнул и скрылся — не выдержали нервы.

Вершков наклонился над ухом Новикова и зашептал, указывая на стол:

— Конечно, давайте, что ж ее держать взаперти.

Командир артиллерийской дивизии Морозов, показав ногтем чуть повыше четверти своего стакана, сказал:

— Никак не больше, печень.

— А вам, подполковник?

— Ничего, у меня печень здоровая, лейте до края.

— Наш Магид — казак.

— А у вас, майор, как печень?

Командир гаубичного полка Лопатин прикрыл свой стакан ладонью и сказал:

— Спасибо, я не пью. — И, сняв ладонь, добавил: — Символически, капельку одну, чтобы чокнуться.

— Лопатин — дошкольник, конфеты любит, — сказал Магид.

Выпили за успех общей работы. Тут же, как обычно бывает, выяснилось, что у всех оказались знакомые по академии и училищам мирных времен.

Поговорили о фронтовом начальстве, о том, как плохо стоять в холодной осенней степи.

— Ну как, скоро свадьба будет? — спросил Лопатин.

— Будет свадьба, — сказал Новиков.

— Да-да, там, где «катюша», там всегда сва-

дьба, — сказал Магид.

Магид был высокого мнения о решающей роли оружия, которым он командовал. После стакана водки он сделался снисходительно доброжелателен, в меру насмешлив, скептичен, рассеян и сильно не нравился Новикову.

Новиков в последнее время все прикидывал в душе, как бы отнеслась Евгения Николаевна к тому или другому фронтовому человеку, как бы стал с ней разговаривать и вести себя тот или другой его фронтовой знакомец.

Магид, подумалось Новикову, обязательно стал бы приставать к Жене, ломался бы, хвастался, рассказывал бы анекдоты.

Новиков ощутил тревожное, ревнивое чувство, словно Женя слушала остроты Магида, старавшегося показать товар лицом.

И, сам желая показать перед ней товар лицом, он заговорил о том, как важно понимать и знать людей, с которыми рядом воюешь, заранее знать, как поведут они себя в боевых условиях. Он рассказал о Карпове, которого придется подгонять, о Белове, которого придется сдерживать, и о Макарове, одинаково легко и быстро ориентирующемся в условиях наступления и обороны.

Из довольно пустого разговора возник спор,

который часто происходит среди командиров различных родов войск, спор хотя и горячий, но, по существу, тоже довольно-таки пустой.

— Да, людей направлять и подправлять надо, но насиловать их волю не следует, — сказал Морозов.

— Людьми надо твердо руководить, — сказал Неудобнов. — Ответственности бояться не надо, ее нужно на себя принимать.

Лопатин сказал:

— Кто не был в Сталинграде, тот вообще войны не видел.

— Нет, уж вы простите, — возразил Магид. — Что Сталинград? Геройство, стойкость, упорство — не спорю, да и смешно спорить! Но я не был в Сталинграде, а имею нахальство считать, что войну видел. Я офицер наступления. В трех наступлениях я участвовал и скажу: сам прорывал, сам в прорыв входил. Пушки себя показали, обогнали не только пехоту, но и танки, а хотите знать, и авиацию.

— Ну, это вы, подполковник, бросьте: обогнали танки, — желчно сказал Новиков. — Танк — хозяин маневренной войны, тут и разговору нет.

— Есть еще такой простой прием, — сказал Лопатин. — В случае успеха все приписывать себе.

А неуспех валить на соседа.

Морозов сказал:

— Эх, соседи, соседи, вот как-то командир стрелковой части, генерал, попросил меня поддержать его огнем. «Дай-ка, друг, огоньку вон по тем высоткам». — «Какие ввести калибры?» А он по матушке выругался и говорит: «Давай огоньку, и все тут!» А потом оказалось, он не знает ни калибров орудий, ни дальности огня, да и в карте плохо разбирается: «Давай, давай огоньку, туды твою мать…» — А своим подчиненным — «Вперед, а то зубы выбью, расстреляю!» — И уверен, что превзошел всю мудрость войны. Вот вам и сосед, прошу любить и жаловать. А тебя еще зачислят к нему в подчинение, — как же: генерал.

— Эх, извините, чуждым нашему духу языком вы говорите, — сказал Неудобнов. — Нет таких командиров частей в Советских Вооруженных Силах, да еще генералов!

— Как нет? — сказал Морозов. — Да скольких я за год войны встретил подобных мудрецов — пистолетом грозят, матерятся, бессмысленно людей посылают под огонь. Вот недавно. Командир батальона плачет прямо: «Куда я поведу: людей на пулеметы?» И я говорю: «Верно ведь, давайте задавим огневые точки артиллерией». А

командир дивизии, генерал, с кулаками на этого комбата: «Или ты сейчас выступишь, или я тебя как собаку расстреляю». Ну и повел людей — как скот на убой!

— Да-да, это называется: ндраву моему не препятствуй, — сказал Магид. — А размножаются генералы, между прочим, не почкованием, а портят девочек-связисток.

— И двух слов без пяти ошибок написать не могут, — добавил Лопатин.

— Вот-вот, — сказал, не расслышав, Морозов. — Повоюйте с ними малой кровью. Вся сила их в том, что они людей не жалеют.

То, что говорил Морозов, вызывало в Новикове сочувствие. Всю свою военную жизнь сталкивался он с такими и подобными делами.

Вдруг он сказал:

— А как это — людей жалеть? Если человек людей жалеет, не надо ему воевать.

Его очень расстроили сегодняшние ребята-новобранцы, ему хотелось рассказать о них; и вместо того чтобы сказать хорошее и доброе, что было в нем, Новиков с внезапной, ему самому совершенно непонятной злобой и грубостью повторил:

— А как это — людей жалеть? На то и война,

чтобы себя не жалеть и людей не жалеть. Главная беда: пригонят в часть кое-как обученных и дадут им в руки драгоценную технику. Спрашивается вот, кого жалеть?

Неудобнов быстро переводил глаза с одного собеседника на другого.

Неудобнов погубил немало хороших людей, таких, что сидели сейчас за столом, и Новикова поразила мысль, что, может быть, беда от этого человека не меньше, чем та, что ждет на переднем крае Морозова, его, Новикова, Магида, Лопатина и тех сельских ребят, что отдыхали сегодня на станичной улице.

Неудобнов назидательно сказал:

— Не тому нас учит товарищ Сталин. Товарищ Сталин нас учит, что самое дорогое — люди, наши кадры. Наш самый драгоценный капитал — кадры, люди, их и беречь надо как зеницу ока.

Новиков видел, что слушатели сочувственно относятся к словам Неудобнова, и подумал: «Вот интересно выходит. Я перед соседями зверь зверем получился, а Неудобнов, оказывается, людей бережет. Жаль, что Гетманова нет, тот уж совсем святой. И всегда у меня с ними так».

Перебивая Неудобнова, он совсем уж грубо и зло сказал:

— Людей у нас много, а техники мало. Человека сделать всякий дурак может, это не танк, не самолет. Если ты людей жалеешь, не лезь на командную должность!

36

Командующий Сталинградским фронтом генерал-полковник Еременко вызвал к себе командование танкового корпуса — Новикова, Гетманова, Неудобнова.

Накануне Еременко побывал в бригадах, но в штаб корпуса не заезжал.

Приехавшие по вызову командиры сидели, поглядывая искоса на Еременко, не зная, какой разговор ждет их.

Еременко поймал взгляд Гетманова, оглядывавшего койку со смятой подушкой, и сказал:

— Нога сильно разболелась, — и выругал свою ногу плохими словами.

Все молчали, смотрели на него.

— В общем корпус подготовлен, успели подготовиться, — сказал Еременко.

Произнося эти слова, он искоса посмотрел на Новикова, но тот не вспыхнул радостно, услыша одобрение командующего.

Еременко был немного удивлен тем, что командир корпуса равнодушно отнесся к похвале не щедрого на похвалу командующего.

— Товарищ генерал-полковник, — сказал Но-

виков, — я уж вам докладывал, что части нашей штурмовой авиации два дня бомбили сосредоточенную в районе степных балок сто тридцать седьмую танковую бригаду, входящую в состав корпуса.

Еременко, прищурившись, соображал, чего тот хочет, — обезопасить себя, подвести ли авиационного начальника.

Новиков нахмурился, добавил:

— Хорошо, что попаданий прямых не было. Они бомбить не умеют.

Еременко сказал:

— Ничего. Они еще вас поддержат, загладят свою вину.

Гетманов вмешался в разговор:

— Конечно, товарищ командующий фронтом, мы со сталинской авиацией ссориться не будем.

— Вот-вот, товарищ Гетманов, — сказал Еременко и спросил: — Ну как, были у Хрущева?

— Завтра велел мне приехать Никита Сергеевич.

— По Киеву знает?

— Почти два года, товарищ командующий, с Никитой Сергеевичем работали.

— Скажи, пожалуйста, товарищ генерал, тебя ли я видел как-то на квартире у Тициана Петро-

вича? — вдруг спросил Еременко у Неудобнова.

— Так точно, — ответил Неудобнов. — Вас тогда Тициан Петрович вызвал вместе с маршалом Вороновым.

— Верно, верно.

— А я, товарищ генерал-полковник, был некоторое время прикомандирован наркомом по просьбе Тициана Петровича. Поэтому я бывал у него дома.

— Вот-вот, я вижу — знакомое лицо, — сказал Еременко и, желая показать свое расположение Неудобнову, прибавил: — Не скучно тебе, товарищ генерал, в степи, надеюсь, устроился неплохо?

И удовлетворенно кивнул, еще не выслушав ответа.

Когда посетители уходили, Еременко окликнул Новикова:

— Полковник, пойди-ка сюда.

Новиков вернулся от двери, и Еременко, привстав, приподнял над столом свое тело располневшего крестьянина, сварливо сказал:

— Вот что. Тот с Хрущевым работал, тот с Тицианом Петровичем, а ты, сукин сын, солдатская кость, — помни, ты корпус в прорыв поведешь.

37

В темное, холодное утро Крымова выписали из госпиталя. Он, не заходя домой, отправился к начальнику политуправления фронта генералу Тощееву доложить о своей поездке в Сталинград.

Крымову повезло — Тощеев с утра находился у себя в служебном кабинете, в обшитом серыми досками доме, и без промедления принял Николая Григорьевича.

Начальник политуправления, чья внешность и фамилия были связаны, кося глазами на свою новую, надетую после недавнего производства в генералы форму, потягивал носом, вдыхал карболовый госпитальный дух, шедший от посетителя.

— Поручения по дому «шесть дробь один» я не выполнил из-за ранения, — сказал Крымов, — теперь могу снова отправиться туда.

Тощеев посмотрел на Крымова раздраженным, недовольным взглядом, сказал:

— Не надо, напишите на мое имя подробную докладную.

Он не задал ни одного вопроса, не одобрил и не осудил доклад Крымова.

Как всегда, странными казались генеральская форма и ордена в бедной сельской избе.

Но странным было не только это.

Николай Григорьевич не мог понять, чем вызвал хмурое недовольство начальства.

Крымов зашел в общую часть политуправления, чтобы получить талоны на обед, прикрепить продовольственный аттестат, оформить свое возвращение из командировки, оформить дни, проведенные в госпитале.

Пока в канцелярии заготовлялись документы, Крымов сидел на табуретке и оглядывал лица сотрудников и сотрудниц.

Здесь никто не интересовался им, — его возвращение из Сталинграда, его ранение, все, что он видел и пережил, не имело значения, ничего не значило. Люди в общей части были заняты делом. Стучали пишущие машинки, шелестели бумаги, глаза сотрудников скользили по Крымову и вновь уходили в раскрытые папки, в разложенные на столах бумаги.

Сколько нахмуренных лбов, какое напряжение мысли в глазах, в сведенных бровях, какая погруженность, сколько плавной деловитости в движениях рук, перекладывающих, листающих бумаги.

И лишь внезапный судорожный зевок, быстрый вороватый взгляд, брошенный на часы — долго ли до обеда, — серая, сонная муть, наплывавшая на те либо иные глаза, говорили о смертной скуке киснущих в канцелярской духоте людей.

В общую часть заглянул знакомый Крымову инструктор из седьмого отдела политуправления фронта. Крымов вышел вместе с ним в коридор покурить.

— Приехали? — спросил инструктор.

— Да, как видите.

И так как инструктор не спросил Крымова, что видел он в Сталинграде и что делал там, Николай Григорьевич сам спросил:

— Что у нас нового в политуправлении?

Главной новостью была та, что бригадный комиссар наконец получил при переаттестации звание генерала.

Инструктор, посмеиваясь, рассказал, что Тощеев, ожидая нового, строевого звания, заболел от волнения — шутка ли, пошил у лучшего фронтового портного генеральскую форму, а Москва генерала ему все не давала и не давала. Ходят жуткие рассказы о том, что при переаттестации некоторые полковые и старшие батальонные комиссары будут получать звание капитанов и

старших лейтенантов.

— Представляете? — сказал инструктор. — Вот так прослужить, как я, восемь лет в армии, в политорганах, и получить лейтенанта, а?

Были еще новости. Заместитель начальника отдела информации политуправления фронта отозван в Москву, в Главное политическое управление, где получил повышение, — назначен заместителем начальника политуправления Калининского фронта.

Старшие инструктора политуправления, питавшиеся раньше в столовой заведующих отделов, приравнены по указанию члена Военного совета к инструкторам, питаются теперь в общей столовой. Имеется указание отбирать у отправляющихся в командировку обеденные талоны, не компенсируя их сухим пайком. Поэты фронтовой редакции Кац и Талалаевский были представлены к награждению орденами Красной Звезды, но по новому указанию товарища Щербакова награждение работников фронтовой печати должно проходить через Главное политическое управление, и потому материалы на поэтов посланы в Москву, а фронтовой список тем временем подписан командующим, и все проходившие по этому списку обмыли свои пра-

вительственные награды.

— Вы еще не обедали? — спросил инструктор. — Пойдемте вместе.

Крымов ответил, что ждет оформления документов.

— Тогда я пойду, — сказал инструктор и вольнодумно пошутил на прощание: — Надо спешить, а то довоюемся до того, что станут нас кормить в столовой военторга вместе с вольнонаемными и девками-машинистками.

Вскоре и Крымов, закончив оформление документов, вышел на улицу, вдохнул сырой осенний воздух.

Почему так хмуро встретил его начальник политуправления? Чем был он недоволен? Крымов не выполнил поручения? Начальник политуправления не поверил, что Крымова ранило, заподозрил его в трусости? Его раздражило, что Крымов прошел к нему, минуя свое непосредственное начальство, да еще не в приемные часы? Что Крымов дважды назвал его «товарищ бригадный комиссар», а не «товарищ генерал-майор»? А может быть, Крымов тут ни при чем — мало ли что. Тощеев не представлен к ордену Кутузова? Письмо о болезни жены? Кто может знать, почему начальник политуправления фронта был в

это утро в таком плохом настроении?

Крымов за сталинградские недели отвык от Средней Ахтубы, от равнодушных взглядов начальства в политуправлении, сослуживцев-инструкторов, официантов в столовых. В Сталинграде было не так!

Вечером он пришел к себе в комнату. Хозяйская собака, казалось, составленная из двух различных собачьих половин — клочковато-лохматого рыжего зада и черно-белой длинной морды, — очень обрадовалась ему. Обе ее половинки были рады, — вилял рыжий, сбитый в войлочные комья хвост, а черно-белая морда тыкалась в руки Крымова, умильно глядела добрыми карими глазами. В вечернем полумраке казалось, что две собаки ласкаются к Крымову. Собака вместе с ним прошла в сени. Хозяйка, возившаяся в сенях, зло сказала собаке: «Пошел отсюда, окаянный», — а потом уж хмуро, как начальник политуправления, поздоровалась с Крымовым.

Какой неуютной, одинокой показалась ему эта тихая комнатка — кровать, подушка в белой наволочке, кружевные занавески на окнах — после милых сталинградских землянок, берлог, прикрытых плащ-палатками, сырых дымных блиндажей.

Крымов сел за стол и принялся за докладную. Он писал быстро, мельком сверяясь с записями, сделанными в Сталинграде. Самым сложным оказалось написать о доме «шесть дробь один». Он встал, прошелся по комнате, снова сел за стол, тотчас опять встал, вышел в сени, покашлял, прислушался, — неужели чертова старуха не предложит чаю? Потом он черпнул ковшиком воды из бочонка, вода была хорошая, лучше сталинградской, вернулся в комнату, сел за стол, подумал, держа перо в руке. Потом он лег на койку, закрыл глаза.

Как же получилось? Греков стрелял в него!

В Сталинграде у него все силилось ощущение связи, близости с людьми, ему в Сталинграде легко дышалось. Там не было тусклых, безразличных к нему глаз. Казалось, что, придя в дом «шесть дробь один», он с еще большей силой ощутит дыхание Ленина. А пришел туда и сразу почувствовал насмешливое недоброжелательство, и сам стал раздражаться, вправлять людям мозги, угрожать им. Зачем заговорил он о Суворове? Греков стрелял в него! Он особо мучительно ощущал сегодня одиночество, надменность и снисходительность людей, казавшихся ему полуграмотными, балбесами, молокососами в партии.

Какая тоска тянуться перед Тощеевым! Ощущать его раздраженный, то иронический, то презирающий взгляд. Ведь Тощеев со всеми своими чинами и орденами по настоящему партийному счету не стоит крымовского пальца. Случайные для партии, не связанные с ленинской традицией люди! Ведь многие из них выдвинулись в 1937 году: писали доносы, разоблачали врагов народа. И он вспомнил чудное чувство веры, легкости, силы, с которыми шел по ходку к пятну дневного света.

Ему даже душно стало от злобы, — это Греков отшвырнул его от желанной жизни. Идя в этот дом, он радовался своей новой судьбе. Ленинская правда, казалось ему, жила в этом доме. Греков стрелял в большевика-ленинца! Он отшвырнул Крымова обратно в ахтубинскую канцелярскую, нафталинную жизнь! Мерзавец!

Крымов вновь сел за стол. Ни одного слова неправды не было в том, что он написал.

Он прочел написанное. Конечно, Тощеев передаст его докладную в Особый отдел. Греков растлил, политически разложил воинское подразделение, произвел теракт: стрелял в представителя партии, военного комиссара. Крымова вызовут для показаний, вероятно, для очной

ставки с арестованным Грековым.

Он представил себе, как Греков сидит перед столом следователя, небритый, с бледно-желтым лицом, без поясного ремня.

Как это Греков сказал: «Тоскуете вы, но об этом в рапорте не напишешь».

Генсек марксистско-ленинской партии объявлен непогрешимым, чуть ли не божественным! В тридцать седьмом году Сталин не пощадил старой ленинской гвардии. Он нарушил ленинский дух, сочетавший партийную демократию с железной дисциплиной.

Мыслимо ли, законно ли расправляться с такой жестокостью с членами ленинской партии? Вот Грекова расстреляют перед строем. Страшно, когда бьют по своим, а Греков ведь не свой, он враг.

Крымов никогда не сомневался в праве партии действовать мечом диктатуры, в святом праве революции уничтожать своих врагов. Он и оппозиции никогда не сочувствовал! Он никогда не считал, что Бухарин, Рыков, Зиновьев и Каменев шли ленинским путем. Троцкий при всем блеске своего ума и революционного темперамента не изжил своего меньшевистского прошлого, не поднялся до ленинских высот. Вот сила — Сталин!

Его потому и зовут Хозяином. Его рука ни разу не дрогнула, в нем не было интеллигентской дряблости Бухарина. Партия, созданная Лениным, громя врагов, шла за Сталиным. Военные заслуги Грекова ничего не значат. С врагами не спорят, к их доводам не прислушиваются.

Но как ни пытался озлобить себя Николай Григорьевич, он в эти минуты уже не чувствовал злобы к Грекову.

Снова вспомнилось: «Тоскуете вы».

«Что ж это, — думал Крымов, — донос, что ли, я написал? Пусть и не ложный, но все же донос… Ничего не поделаешь, товарищ дорогой, ты член партии… Выполняй свой партийный долг».

Утром Крымов сдал свою докладную записку в политуправление Сталинградского фронта.

А через два дня Крымова вызвал заведующий отделом агитации и пропаганды политуправления фронта, полковой комиссар Огибалов, замещавший начальника политуправления. Сам Тощеев не мог принять Крымова, — был занят с приехавшим с фронта комиссаром танкового корпуса.

Большеносый и бледный, обстоятельный и методичный полковой комиссар Огибалов сказал Крымову:

— Вам придется на днях снова съездить на правый берег, товарищ Крымов, на этот раз в шестьдесят четвертую, к Шумилову; кстати, наша машина пойдет на командный пункт обкома партии, а с командного пункта обкома партии вы переправитесь к Шумилову. Секретари обкома поедут на празднование Октябрьской революции в Бекетовку.

Он, не торопясь, продиктовал Крымову все, что поручалось ему сделать в политотделе 64-й армии, — поручения были до обидного мелкие, неинтересные, связанные со сбором бумажных сведений, нужных не для живого дела, а для канцелярских отчетов.

— А как же с докладами? — спросил Крымов. — Я ведь готовил по вашему поручению октябрьский доклад, хотел его читать в частях.

— Пока воздержимся, — сказал Огибалов и стал объяснять, почему следует Крымову воздержаться.

Когда Крымов собрался уходить, полковой комиссар сказал ему:

— Ну и история с этой вашей докладной, меня начальник политуправления ввел в курс.

У Крымова заныла душа — наверное, делу Грекова уже дали ход. Полковой комиссар про-

говорил:

— Повезло этому вашему орлу Грекову, вчера нам сообщил начальник политотдела шестьдесят второй армии, что Греков убит при немецком наступлении на Тракторный, погиб вместе со всем своим отрядом.

И, утешая Крымова, добавил:

— Его командующий армией представил посмертно к званию Героя Советского Союза, но теперь, ясно, мы это дело прикроем.

Крымов развел руками, как бы говоря: «Что ж, повезло так повезло, ничего не поделаешь».

Огибалов, понизив голос, сказал:

— Начальник Особого отдела считает, что он, возможно, жив. Мог перейти на сторону противника.

Дома Крымова ждала записка — его просили зайти в Особый отдел.

Видимо, дело Грекова продолжалось.

Крымов решил отложить неприятный разговор в Особом отделе до своего возвращения — в посмертных делах срочности не было.

38

В южной части Сталинграда, в поселке Бекетовка, на заводе «Судоверфь» областная партийная организация решила провести торжественное заседание, посвященное двадцатипятилетию Октябрьской революции.

Рано утром 6 ноября на подземном командном пункте Сталинградского обкома, в дубовой роще на левом берегу Волги, собрались партийные руководители области. Первый секретарь обкома, отраслевые секретари, члены бюро обкома съели трехступенчатый горячий завтрак и на машинах выехали из дубовой рощи на большую дорогу, ведущую к Волге.

По этой дороге шли ночами на южную Тумакскую переправу танки и артиллерия. Пронзительно безотрадно выглядела изрытая войной степь в замерзших комьях бурой грязи, в запаянных оловянным льдом лужах. По Волге двигался лед, его шуршание было слышно за десятки метров от берега. Дул сильный низовой ветер, переправа через Волгу на открытой железной барже была в этот день невеселым делом.

Ожидавшие переправы красноармейцы в под-

битых холодным волжским ветром шинелях сидели на барже, лепясь один к другому, стараясь не прикасаться к напитанному холодом железу. Люди били горькую чечетку, поджимали ноги, а когда потянул с Астрахани могучий ледяной ветер, не было сил ни дуть на пальцы, ни хлопать себя по бокам, ни утирать сопли, — люди стыли. Над Волгой стлался рваный дым, шедший из трубы парохода. Дым казался особо черным на фоне льда, а лед казался особо белым под низким пологом пароходного дыма. Лед нес от сталинградского берега войну.

Большеголовый ворон сидел на льдине и думал; подумать было о чем. Рядом на льдине лежала обгорелая пола солдатской шинели, на третьей льдине стоял окаменевший валенок, торчал карабин, вмерзший согнутым дулом в лед. Легковые машины секретарей обкома и членов бюро въехали на баржу. Секретари и члены бюро вышли из машин и, стоя у бортов, смотрели на медленно идущий лед, слушали его шуршание.

Синегубый старик в красноармейской шапке, в черном полушубке, старший на барже, подошел к секретарю обкома по транспорту Лактионову и с невообразимой сипотой, рожденной речной сыростью, многолетней водкой и табаком, про-

говорил:

— Вот, товарищ секретарь, шли первым утренним рейсом, матросик лежал на льду, ребята его сняли, чуть вместе с ним не потонули, ломами пришлось вырубать — вон он, под брезентом на берегу.

Старик указал грязной варежкой в сторону берега. Лактионов посмотрел, не увидел вырубленного изо льда покойника и, в грубой прямоте вопроса пряча неловкость, спросил, указывая на небо:

— Как он тут вас? В какое время особенно?

Старик махнул рукой:

— Какая у него теперь бомбежка.

Старик выругал ослабевшего немца, и голос его при произнесении бранной фразы вдруг очистился от сипоты, прозвучал звонко и весело.

А буксир потихоньку тянул баржу к бекетовскому — сталинградскому берегу, казавшемуся не военным, а обычным, с нагромождением складов, будок, бараков…

Ехавшим на празднование секретарям и членам бюро наскучило стоять на ветру, и они вновь сели в машины. Красноармейцы смотрели на них сквозь стекла, как на тепловодных рыб в аквариуме.

Сидевшие в «эмках» партийные руководители Сталинградской области закуривали, почесывались, переговаривались…

Торжественное заседание состоялось ночью.

Пригласительные билеты, отпечатанные типографским способом, отличались от мирных лишь тем, что серая, рыхлая бумага была уж очень плоха, а на билете не указывалось место заседания.

Партийные руководители Сталинграда, гости из 64-й армии, инженеры и рабочие с соседних предприятий шли на заседание с провожатыми, хорошо знавшими дорогу: «Здесь поворот, еще поворот, осторожно, воронка, рельсы, осторожней, тут яма с известью…»

Отовсюду во мраке слышались голоса, шарканье сапог.

Крымов, успевший днем после переправы побывать в армейском политотделе, приехал на празднование с представителями 64-й армии.

В тайном, рассредоточенном движении людей, пробиравшихся в ночной мгле по заводскому лабиринту, было что-то напоминавшее революционные праздники старой России.

Волнение заставляло Крымова шумно вздыхать, он понимал, что сейчас, не готовясь, мог бы сказать речь, и чувством опытного массового

оратора знал, — люди пережили бы вместе с ним волнение, радость оттого, что сталинградский подвиг сродни революционной борьбе русских рабочих.

Да, да, да. Война, поднявшая громаду национальных сил, была войной за революцию. В том, что он в окруженном доме заговорил о Суворове, не было измены революции… Сталинград, Севастополь, судьба Радищева, мощь Марксова манифеста, ленинские призывы с броневика у Финляндского вокзала — были едины.

Он увидел Пряхина, как всегда неторопливого, медленного. Удивительно как-то получалось, — никак Николаю Григорьевичу не удавалось поговорить с Пряхиным.

Он приехал на подземный командный пункт обкома и сразу же пошел к Пряхину, — ему хотелось о многом рассказать ему. Но поговорить не удалось, почти все время звонил телефон, к первому секретарю то и дело входили люди. Неожиданно Пряхин спросил у Крымова:

— Ты Гетманова такого знал?

— Знал, — ответил Крымов. — На Украине, в ЦК партии, был членом бюро ЦК. А что?

Но Пряхин ничего не ответил. А потом началась предотъездная суета. Крымов обиделся, — Пря-

хин не предложил ему ехать в своей машине. Дважды они сталкивались лицом к лицу, и Прянхин словно не узнавал Николая Григорьевича, холодно и безразлично смотрели его глаза.

Военные шли по освещенному коридору — рыхлый, с толстой грудью и животом командарм Шумилов, маленький, с выпуклыми карими глазами сибиряк, генерал, член Военного совета армии Абрамов. В простодушном демократизме мужской дымящей толпы в гимнастерках, ватниках, тулупах, среди которой шли генералы, казалось Крымову, проявлялся дух первых лет революции, ленинский дух. Ступив на сталинградский берег, Крымов вновь ощутил это.

Президиум занял свои места, и председатель Сталинградского горсовета Пиксин оперся руками на стол, как все председатели, медленно покашлял в сторону, где особенно густо шумели, и объявил торжественное заседание Сталинградского горсовета и партийных организаций города совместно с представителями воинских частей и рабочих сталинградских заводов, посвященное двадцатипятилетней годовщине Великой Октябрьской революции, открытым.

По жесткому звуку аплодисментов чувствовалось, что хлопают одни лишь мужские, солдат-

ские и рабочие ладони.

А потом Пряхин, первый секретарь, — тяжелый, медлительный, лобастый, начал свой доклад. И не стало связи между давно прошедшим и сегодняшним днем.

Казалось, Пряхин открыл дискуссию с Крымовым, опровергал его волнение размеренностью своей мысли.

Предприятия области выполняют государственный план. Сельские районы на левобережье с некоторым запозданием, в основном же удовлетворительно, выполнили государственные заготовки.

Предприятия, расположенные в городе и севернее города, не выполнили своих обязательств перед государством, так как находятся в районе военных действий.

Вот этот человек, когда-то стоя рядом с Крымовым, на фронтовом митинге сорвал с головы папаху, крикнул:

— Товарищи солдаты, братья, долой кровавую войну! Да здравствует свобода!

Сейчас он, глядя в зал, говорил, что резкое снижение поставок государству зерновых по области объясняется тем, что Зимовнический, Котельнический районы поставок не смогли

выполнить, будучи ареной военных действий, а районы Калача, Верхне-Курмоярской частично или полностью оккупированы противником.

Затем докладчик заговорил о том, что население области, продолжая трудиться над выполнением своих обязательств перед государством, одновременно широко приняло участие в боевых действиях против немецко-фашистских захватчиков. Он привел цифровые данные об участии трудящихся города в частях народного ополчения, зачитал, оговорившись, что данные неполны, сведения о числе сталинградцев, награжденных за образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом доблесть и мужество.

Слушая спокойный голос первого секретаря, Крымов понимал, что в разящем несоответствии его мыслей и чувств со словами о сельском хозяйстве и промышленности области, выполнивших свои обязательства перед государством, выражена не бессмысленность, а смысл жизни.

Речь Пряхина именно своей каменной холодностью утверждала безоговорочное торжество государства, обороняемого человеческим страданием и страстью к свободе.

Лица рабочих и военных были серьезны, хму-

ры.

Как странно, томительно было вспоминать сталинградских людей — Тарасова, Батюка, разговоры с бойцами в окруженном доме «шесть дробь один». Как нехорошо и трудно было думать о Грекове, погибшем в развалинах окруженного дома.

Кто же он Крымову — Греков, произносивший возмутительные слова? Греков стрелял в него! Почему так чуждо, так холодно звучат слова Пряхина, старого товарища, первого секретаря Сталинградского обкома? Какое странное, сложное чувство…

А Пряхин уже подходил к концу доклада, говорил:

— Мы счастливы рапортовать великому Сталину, что трудящиеся области выполнили свои обязательства перед Советским государством…

После доклада Крымов, двигаясь в толпе к выходу, искал глазами Пряхина. Не так, не так должен был делать Пряхин свой доклад в дни сталинградских боев.

И вдруг Крымов увидел его: Пряхин, спустившись с возвышения, стоял рядом с командующим 64-й армией, пристальным, тяжелым взглядом смотрел прямо на Крымова; заметив, что Крымов глядит в его сторону, Пряхин медленно отвел

глаза…

«Что такое?» — подумал Крымов.

39

Ночью, после торжественного заседания, Крымов добрался попутной машиной до СталГРЭСа.

Зловеще выглядела станция в эту ночь. Накануне на нее налетали немецкие тяжелые бомбардировщики. Взрывы накопали воронок, валом подняли комоватую землю. Ослепшие, без стекол, цеха кое-где от сотрясения осели, трехэтажное здание конторы было растерзано.

Масляные трансформаторы дымно горели ленивым зубчатым невысоким огнем.

Охранник, молодой грузин, вел Крымова через двор, освещенный пламенем. Крымов заметил, как дрожали пальцы у закурившего провожатого, — не только каменные здания рушатся и горят от тонных бомб, — горит, приходит в хаос и человек.

О встрече со Спиридоновым Крымов думал с той минуты, как получил приказание побывать в Бекетовке.

Вдруг Женя здесь, на СталГРЭСе? Может быть, Спиридонов знает о ней, может быть, он получил от нее письмо, и она приписала в конце: «Не знаете ли вы что-нибудь о Николае Григорьевиче?»

Он волновался и радовался. Может быть, Спиридонов скажет: «А Евгения Николаевна все грустила». Может быть, он скажет: «Знаете, она плакала».

С утра все силилось нетерпеливое желание заехать на СталГРЭС. Днем ему очень хотелось хоть на несколько минут заглянуть к Спиридонову.

Но он все же пересилил себя, поехал на командный пункт 64-й армии, хотя инструктор армейского политотдела шепотом предупредил его:

— Торопиться вам сейчас к члену Военного совета незачем. Он сегодня с утра пьян…

И действительно, напрасно Крымов спешил к генералу, не заехал днем к Спиридонову. Сидя в ожидании приема на подземном командном пункте, он слышал, как за фанерной перегородкой член Военного совета диктовал машинистке поздравительное письмо соседу, Чуйкову.

Он торжественно произнес:

— Василий Иванович, солдат и друг!

Сказав эти слова, генерал заплакал и несколько раз, всхлипывая, повторил: «Солдат и друг, солдат и друг».

Потом он строго спросил:

— Ты что там написала?

— «Василий Иванович, солдат и друг», — прочла машинистка.

Видимо, ее скучающая интонация показалась члену неподходящей, и он исправил ее, высоким голосом произнес:

— «Василий Иванович, солдат и друг».

И снова расчувствовался, забормотал: «Солдат и друг, солдат и друг».

Потом генерал, пересилив слезы, строго спросил:

— Ты что там написала?

— «Василий Иванович, солдат и друг», — сказала машинистка.

Крымов понял, что мог не спешить.

Неясный огонь не освещал, а путал дорогу, казалось, выползал из глубины земли; а может быть, сама земля горела, — таким сырым, тяжелым было это низкое пламя.

Они подошли к подземному командному пункту директора СталГРЭСа. Бомбы, упавшие невдалеке, накопали высокие земляные холмы, и к входу в убежище едва наметилась еще не протрамбованная ногами тропинка.

Охранник сказал:

— Вот пришли как раз в праздник.

Крымов подумал, что на людях Спиридонову не

скажешь того, что хочешь, не спросишь. Он велел охраннику вызвать директора на поверхность, сказать, что приехал комиссар из штаба фронта. Когда он остался один, непреодолимое волнение охватило его.

«Да что это? — подумал он. — Я считал — вылечился. Неужели и война не помогла закрестить? Что мне делать?»

— Гони, гони, гони, уходи, иначе погибнешь! — бормотал он.

Но не было силы уйти, не было силы гнать.

Из блиндажа вышел Спиридонов.

— Слушаю вас, товарищ, — недовольным голосом сказал он.

Крымов спросил:

— Не узнал меня, Степан Федорович?

Спиридонов тревожно проговорил:

— Кто это? — И, всматриваясь в лицо Крымова, вдруг вскрикнул: — Николай, Николай Григорьевич!

Его руки с судорожной силой обхватили шею Крымова.

— Родной мой, Николай, — проговорил он и стал сопеть.

И Крымов, захваченный этой встречей среди развалин, почувствовал, что плачет. Один,

совершенно один… В доверчивости, радости Спиридонова он почувствовал свою близость к семье Евгении Николаевны и в этой близости вновь измерил свою душевную боль. Почему, почему ушла она, почему принесла ему столько страданий? Как могла она сделать это?

Спиридонов сказал:

— Война что наделала, уничтожила мою жизнь. Погибла моя Маруся.

Он рассказал о Вере, сказал, что несколько дней назад она наконец уехала со СталГРЭСа, перебралась на левый берег Волги. Он сказал:

— Дура она.

— А муж ее где? — спросил Крымов.

— Наверное, на свете давно нет — летчик-истребитель.

Крымов спросил, не имея больше силы сдерживаться:

— Что с Евгенией Николаевной, жива она, где она?

— Жива, не то в Куйбышеве, не то в Казани.

Глядя на Крымова, он добавил:

— Это ведь самое главное: жива!

— Да-да, конечно, это самое главное, — сказал Крымов.

Но он не знал, что самое главное. Он знал лишь

одно, — боль в душе не проходит. Он знал, что все, связанное с Евгенией Николаевной, причиняло ему боль. Узнавал ли он, что ей хорошо и спокойно, узнавал ли он, что она страдает и переживает беду, — все ему было одинаково плохо.

Степан Федорович говорил об Александре Владимировне, Сереже, Людмиле, а Крымов кивал головой, негромко бормотал:

— Да-да-да… Да-да-да…

— Пошли, Николай, — сказал Степан Федорович. — Пошли ко мне, у меня теперь другого дома нет. Только этот.

Струящиеся огоньки светильников не могли осветить подземелья, заставленного койками, шкафами, аппаратурой, бутылями, мешками с мукой.

На скамьях, на койках, ящиках, вдоль стен сидели люди. В душном воздухе стоял гул разговора.

Спиридонов разливал спирт в стаканы, кружки, крышки от котелков. Стало тихо, — все следили за ним особым взглядом. Этот взгляд глубок и серьезен, в нем нет тревоги, одна лишь вера в справедливость.

Оглядывая лица сидящих, Крымов подумал: «Хорошо бы был здесь Греков. Вот ему бы налить». Но Греков уже выпил отпущенное ему

число чарок. Больше пить ему на этом свете не полагалось.

Спиридонов поднялся со стаканом в руке, и Крымов подумал: «Испортит все, закатит речь вроде Пряхина».

Но Степан Федорович описал стаканом в воздухе восьмерку и сказал:

— Что ж, ребята, придется выпить. С праздником вас.

Застучали стаканы, застучали жестяные кружки, закряхтели выпившие, покачали головами.

Люди тут были самые разные, и государство перед войной расселило их разно, и они не встречались за одним столом, не хлопали друг друга по плечу, не говорили: «Нет, ты послушай сюда, что я тебе скажу».

Но здесь, в подземелье, над которым стояла разрушенная электростанция и горел пожар, возникло то незатейливое братство, за которое жизнь не жалко отдать, так хорошо оно.

Седой старик, ночной сторож, запел старую песню, которую любили петь еще до революции подвыпившие царицынские ребята с французского завода.

Пел он пронзительно, тонко, голосом своей молодости, и потому, что голос молодой поры

стал ему чужим, он сам себя слушал с каким-то насмешливым удивлением, как слушают загулявшего постороннего человека.

Второй, черноголовый старик, серьезно нахмурившись, слушал песню про любовь и любовное страдание.

И верно, хорошо было слушать пение, хорош был чудный и страшный час, связавший директора и ездового с полевой хлебопекарни, ночного сторожа, охранника, смешавший по-людски калмыка, русских, грузина.

А черный старик, как только сторож кончил петь про любовь, еще больше нахмурил и без того хмурые брови, медленно, без слуха и без голоса запел: «Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног…»

Парторг ЦК рассмеялся, замотал головой, и Спиридонов рассмеялся, замотал головой.

И Крымов усмехнулся, спросил Спиридонова:

— Меньшевиком когда-то был старикан, наверное, а?

Спиридонов все знал об Андрееве и, конечно, все рассказал бы Крымову, но было боязно, что его услышит Николаев, и чувство простецкого братства отошло на миг, и, перебив пение, Спиридонов закричал:

— Павел Андреевич, это не из той оперы!

Андреев сразу замолчал, поглядел, потом сказал:

— А я вот думал, из той. Померещилось.

Охранник-грузин показал Крымову руку с содранной кожей.

— Откапывал друга, Воробьев Сережа.

Его черные глаза вспыхнули, и он сказал с задышкой, казалось, что крикнул пронзительно:

— Я его, Сережа, больше брата любил.

А седой ночной сторож, захмелевший, весь в поту, приставал к парторгу ЦК Николаеву:

— Нет, ты лучше меня послушай; Макуладзе говорит, что Сережку Воробьева больше брата родного любил, пожалуйста! Знаешь, я на антрацетовом руднике работал, меня хозяин как уважал, как любил. Выпивал со мной, я ему песни пел. Прямо мне говорил — ты мне заместо брата, хоть и простой шахтер. И беседовали, и обедали вместе.

— Грузин какой-нибудь? — спросил Николаев.

— Зачем мне твой грузин, сам господин Воскресенский, хозяин всех рудников. Ты разве понимаешь, как он меня уважал. А у него миллион капитал был, вот какой был человек. Понял?

Николаев переглянулся с Крымовым, и они

оба юмористически подмигнули, покачали головами.

— Ну и ну, — сказал Николаев, — вот это действительно. Век живи, век учись.

— Вот и учись, — сказал старик, не замечая насмешки.

Странный это был вечер. Поздно ночью, когда люди стали уходить, Спиридонов сказал Крымову:

— Николай, и не беритесь за шинель, не пущу, будете у меня ночевать.

Он стелил Крымову постель не торопясь, обдумывая, что куда постелить — одеяло, ватник, плащ-палатку. Крымов вышел из блиндажа, постоял в темноте, глядя на колышущийся огонь, вновь спустился вниз, а Спиридонов все еще стелил ему.

Когда Крымов снял сапоги, улегся, Спиридонов спросил:

— Ну как, удобно?

Он погладил Крымова по голове, улыбнулся доброй, пьяной улыбкой.

Огонь, горевший наверху, почему-то напомнил Крымову костры, горевшие январской ночью 1924 года в Охотном ряду, когда хоронили Ленина.

Все, оставшиеся ночевать в подземелье, каза-

лось, уже уснули, мрак был непроницаем.

Крымов лежал с открытыми глазами, не замечая темноты, думал, думал, вспоминал…

Сильный мороз стоял все это время. Темное зимнее небо над куполами Страстного монастыря, сотни людей в ушанках, буденовках, в шинелях и кожанках. Страстная площадь вдруг забелела от тысяч листков — правительственное сообщение.

Тело Ленина везли из Горок до железнодорожной станции на крестьянских санях. Полозья скрипели, пофыркивали лошади. За гробом шла Крупская в круглой меховой шапочке, обвязанной серым платком, сестры Ленина — Анна и Мария, друзья, крестьяне из деревни Горки. Так провожают на вечный покой добрых интеллигентных тружеников, земских врачей, агрономов.

В Горках стало тихо. Блестел кафель голландских печей, возле застеленной белым летним одеялом кровати стоял шкафчик, уставленный бутылочками с подвязанными сигнатурками, пахло лекарствами. В пустую комнату вошла пожилая женщина в медицинском халате. Она шла по привычке на цыпочках. Женщина, проходя мимо постели, подняла со стула бечевочку с

привязанным к ней кусочком газеты, и молодая кошка, спавшая в кресле, услышав привычное шуршание игрушки, быстро подняла голову, поглядела на пустую кровать и, позевывая, опять улеглась.

Шедшие за гробом родные и близкие товарищи вспоминали ушедшего. Сестры помнили белоголового мальчика, у него был трудный характер, иногда он становился насмешлив, требователен до жестокости, но он был хороший, любил мать, сестер, братьев.

Жена вспоминала — в Цюрихе он, сидя на корточках, разговаривает с маленькой внучкой квартирной хозяйки Тилли; хозяйка сказала со смешившим Володю швейцарским акцентом:

— Вам надо заводить детей.

Он лукаво, быстро поглядел снизу на Надежду Константиновну.

Рабочие с «Динамо» приехали в Горки, Володя пошел к ним навстречу, забылся, хотел заговорить, жалобно замычал и махнул рукой; и рабочие стояли вокруг и плакали, глядя, как он плакал. И этот взгляд перед концом, испуганный, жалобный, словно обращенный ребенком к матери.

Вдали показались станционные строения, сре-

ди снега чернел паровоз с высокой трубой.

Политические друзья великого Ленина, шагавшие за санями с заиндевевшими от мороза бородами — Рыков, Каменев, Бухарин, — рассеянно поглядывали на рябого смуглолицего человека в длинной шинели, в сапогах с мягкими голенищами. Они обычно со снисходительной насмешкой оглядывали его униформу кавказского человека. Будь Сталин тактичней, не следовало бы ему приезжать в Горки, где собрались родные и самые близкие друзья великого Ленина. Они не понимали, что он-то, единственный, станет наследником Ленина, оттолкнет их всех, даже самых близких, даже отгонит жену от ленинского наследства.

Не у них — Бухарина, Рыкова, Зиновьева — была ленинская правда. И не у Троцкого была она. Они ошиблись. Никто из них не стал продолжателем дела Ленина. Но и Ленин до последних своих дней не знал и не понимал, что дело Ленина станет делом Сталина.

Почти два десятилетия прошло с того дня, когда на скрипящих деревенских санях везли тело человека, определившего судьбы России, Европы, Азии, человечества.

Мысль Крымова упорно тянулась к тому вре-

мени, ему вспоминались морозные дни января 1924 года, треск ночных костров, морозные стены Кремля, стотысячные плачущие толпы, рвущий сердце вой заводских гудков, зычный голос Евдокимова, читавшего с деревянного помоста обращение к трудящемуся человечеству, тесная кучка людей, несущих гроб в деревянный, наскоро сколоченный Мавзолей.

Крымов поднимался по застланным коврами ступеням Дома Союзов, мимо закрытых черными и красными лентами зеркал, и пахнущий хвоей теплый воздух был полон горестной музыкой. Войдя в зал, он увидел склоненные головы тех, кого привык видеть на трибуне, в Смольном, на Старой площади. Потом здесь же, в Доме Союзов, он вновь увидел эти склоненные головы в 1937 году. И, вероятно, обвиняемые, слушая нечеловеческий, звенящий голос Вышинского, вспоминали про то, как они шли за санями, стояли у гроба Ленина, и в ушах их звучала траурная мелодия.

Почему он вдруг стал думать на СталГРЭСе в праздничную годовщину об этих январских днях? Десятки людей, создававших вместе с Лениным большевистскую партию, оказались провокаторами, платными агентами иностранных

разведок, диверсантами, а один лишь человек, никогда не занимавший центрального положения в партии, не знаменитый как теоретик, оказался спасителем дела партии, носителем истины. Почему они сознаются?

Обо всем этом лучше было не думать. Но эту ночь Крымов думал именно об этом. Почему они сознаются? А почему я молчу? Вот я молчу, думал Крымов, не нахожу силы сказать: «Я сомневаюсь в том, что Бухарин диверсант, убийца, провокатор». А при голосовании я поднял руку. А после этого поставил свою подпись. А после этого сказал речь, написал статью. Моя горячность мне самому кажется искренней. А где же в это время мои сомнение, смятение? Что же это? Человек с двумя сознаниями? Или это два разных человека, и у каждого свое, несхожее со вторым, сознание? Как понять? Но это всегда и всюду, не только у меня, у самых разных людей.

Греков высказывал то, что подспудно чувствовалось во многих людях, то, что, находясь под спудом, тревожило, интересовало, иногда влекло Крымова. Но, едва это подспудное было высказано, Крымов ощутил злобу и вражду, желание согнуть, сломить Грекова. Если б понадобилось, он, не колеблясь, расстрелял бы Грекова.

А вот Пряхин говорил казенными, холодными, чиновными словами, говорил именем государства о процентах выполнения плана, о поставках, об обязательствах. Подобные чиновные, бездушные речи, чиновные, бездушные люди, произносившие эти речи, были всегда чужды, неприятны Крымову, но с этими людьми он шел нога в ногу, они теперь были его старшими товарищами. Дело Ленина, дело Сталина воплотилось в этих людях, в государстве. Крымов готов был, не колеблясь, отдать жизнь за его славу и силу.

Вот и старый большевик Мостовской. Он ни разу не выступал, защищая людей, в чьей революционной чести был уверен. Он молчал. Почему же он молчал?

А вот слушатель высших курсов журналистики, где когда-то преподавал Крымов, милый, честный парень — Колосков. Он, приехав из деревни, рассказывал Крымову про коллективизацию, про районных мерзавцев, которые включают в кулацкие списки людей, чьи дома или сады им приглянулись, своих личных врагов. Он рассказал о голоде в деревне, как с непоколебимой жестокостью забрали весь хлеб до последнего зерна… Он начал говорить о чудном деревенском старике, погибшем, чтобы спасти жизнь своей

старухе и внучке, и заплакал. А вскоре Крымов в стенной газете прочел очерк Колоскова о кулачье, которое зарывает в землю зерно, дышит звериной ненавистью к росткам нового.

Почему он писал так, этот, плакавший от душевной боли, Колосков? Почему молчал Мостовской? Неужели из одной лишь трусости? Сколько раз Крымов говорил одно, а в душе было другое. Но вот когда он говорил и писал, ему казалось, что именно так он и думает, и он верил, что говорит то, что думает. А иногда он говорил себе: «Ничего не поделаешь, революции так нужно».

Было, было, всякое было. Плохо защищал Крымов своих друзей, в чьей невиновности был уверен. Иногда он молчал, иногда он мычал, иногда бывало хуже: он не молчал и не мычал. Иногда его вызывали в партком, в райком, в горком, в обком, иногда его вызывали в органы безопасности, спрашивали его мнение о знакомых ему людях, членах партии. Он никогда не клеветал на друзей, никогда никого не оговаривал, он не писал доносов, заявлений… Плохо, слабо, плохо защищал Крымов своих друзей, большевиков. Он писал объяснения…

Ну, а Греков? Греков — враг. С врагами Крымов никогда не церемонился, не знал к ним жалости.

Но почему он прекращал отношения с семьями репрессированных товарищей? Он переставал приходить к ним, звонить им; но все же, встречаясь на улице с родными своих репрессированных друзей, он никогда не переходил на другой тротуар, а здоровался.

А вот имеются какие-то люди — обычно это старухи, домашние хозяйки, беспартийные мещанки, — через них посылают в лагеря посылки, на их адрес получают из лагерей письма, и они почему-то не боятся. Иногда эти старухи — домашние работницы, безграмотные няньки, полные религиозных предрассудков, они берут к себе сирот, оставшихся от арестованных отцов и матерей, спасают детей от жизни в приемниках и детдомах. А члены партии боятся этих сирот как огня. Неужели эти старые мещанки, тетки, безграмотные няньки честней, мужественней большевиков-ленинцев, Мостовского, Крымова?

Но почему, почему, неужели страх? Одна лишь трусость?

Люди умеют преодолевать страх — и дети идут в темноту, и солдаты в бой, и парень делает шаг и прыгает с парашютом в бездну.

А этот страх особый, тяжелый, непреодолимый для миллионов людей, это тот, написанный зло-

вещими, переливающимися красными буквами в зимнем свинцовом небе Москвы, — Госстрах…

Нет, нет! Сам по себе страх не в силах сделать такую огромную работу. Революционная цель освобождала во имя морали от морали, она оправдывала именем будущего сегодняшних фарисеев, доносчиков, лицемеров, она объясняла, почему человеку во имя счастья народа должно толкать в яму невиновных. Эта сила именем революции позволяла отворачиваться от детей, чьи родители попали в лагеря. Она объясняла, почему революция хочет, чтобы жену, не доносившую на своего ни в чем не виноватого мужа, следовало оторвать от детей и поместить на десять лет в концентрационный лагерь.

Сила революции вступила в союз со страхом смерти, с ужасом перед пытками, с тоской, охватывающей тех, кто чувствовал на себе дыхание дальних лагерей.

Когда-то люди, идя в революцию, знали, что их ждет тюрьма, каторга, годы бесприютства и бездомности, плаха.

И самым тревожным, смутным, нехорошим было теперь то, что ныне революция за верность себе, за верность великой цели платила сытными пайками, кремлевским обедом, наркомовскими

пакетами, персональными машинами, путевками в Барвиху, международными вагонами.

— Вы не спите, Николай Григорьевич? — спросил из темноты Спиридонов.

Крымов ответил:

— Да, почти сплю, засыпаю.

— Ну, простите, не буду мешать.

40

Прошло больше недели после ночного вызова Мостовского к оберштурмбаннфюреру Лиссу.

Лихорадочное ожидание, напряжение сменилось тяжелой тоской.

Мостовскому минутами стало казаться, что он навсегда забыт друзьями и врагами, что те и другие считают его бессильным, выжившим из ума старым пукальщиком, бесполезным доходягой.

Ясным, безветренным утром его повели в баню. На этот раз эсэсовский конвоир, не войдя в помещение, уселся на ступеньках, положив рядом с собой автомат, закурил. День был ясный, пригревало солнце, и солдату, видимо, не хотелось заходить в сырое помещение бани.

Военнопленный, обслуживающий баню, подошел к Михаилу Сидоровичу.

— Здравствуйте, дорогой товарищ Мостовской.

Мостовской вскрикнул от неожиданности: перед ним в форменной куртке с ревирской повязкой на рукаве, помахивая тряпкой, стоял бригадный комиссар Осипов.

Они обнялись, и Осипов торопливо сказал:

— Мне удалось получить работу в бане, пошел в

подсмену постоянному уборщику, я хотел с вами повидаться. Привет вам от Котикова, генерала, Златокрыльца. Скажите прежде всего, что с вами происходит, как себя чувствуете, чего от вас хотят? Вы раздевайтесь и рассказывайте.

Мостовской рассказал о ночном допросе.

Осипов, глядя на него выпуклыми темными глазами, сказал:

— Хотят обработать вас, болваны.

— Но для чего? Цель? Цель?

— Возможно, есть интерес к каким-нибудь сведениям исторического рода, к характеристике основателей и вождей партии. Может быть, связано с требованием деклараций, обращений, писем.

— Безнадежная затея, — сказал Мостовской.

— Будут мучить, товарищ Мостовской.

— Безнадежная, дурацкая затея, — повторил Мостовской и спросил: — Расскажите, что у вас?

Осипов сказал шепотом:

— Лучше, чем ожидали. Основное: удалось связаться с работающими на заводе, к нам начало поступать оружие — автоматы и гранаты. Люди приносят детали, сборку ведем в блоках ночью. Конечно, пока в ничтожных количествах.

— Это Ершов устроил, молодчина! — сказал

Мостовской. И, сняв рубаху, осмотрев свою грудь и руки, снова рассердился на свою старость, сокрушенно покачал головой.

Осипов сказал:

— Должен вас информировать как старшего партийного товарища: Ершова уже нет в нашем лагере.

— Что, как это, — нет?

— Его взяли на транспорт, в лагерь Бухенвальд.

— Да что вы! — вскрикнул Мостовской. — Чудный ведь парень!

— Он и в Бухенвальде останется чудным парнем.

— А как же это, почему случилось?

Осипов хмуро сказал:

— Сразу обнаружилось раздвоение в руководстве. К Ершову существовала стихийная тяга со стороны многих, это кружило ему голову. Он ни за что не подчинился бы центру. Человек он неясный, чужой. С каждым шагом положение запутывалось. Ведь первая заповедь подполья — стальная дисциплина. А у нас получались два центра — беспартийный и партийный. Мы обсудили положение и приняли решение. Чешский товарищ, работающий в канцелярии, подложил

карточку Ершова в группу отобранных для Бухенвальда, его автоматически внесли в список.

— Чего проще, — сказал Мостовской.

— Таково было единогласное решение коммунистов, — проговорил Осипов.

Он стоял перед Мостовским в своей жалкой одежде, держа в руке тряпку, суровый, непоколебимый, уверенный в своей железной правоте, в своем страшном, большем, чем Божьем, праве ставить дело, которому он служит, высшим судьей над судьбами людей.

А голый, худой старик, один из основателей великой партии, сидел, подняв худые, иссушенные плечи, низко нагнув голову, и молчал.

Снова встал перед ним ночной кабинет Лисса.

И снова страх охватил его: неужели Лисс не лгал, неужели без тайной жандармской цели человеку хотелось говорить с человеком?

Он распрямился и так же, как всегда, как десять лет назад, в пору коллективизации, так же, как в пору политических процессов, приведших на плаху его товарищей молодости, проговорил:

— Я подчиняюсь этому решению, принимаю его как член партии, — и вытащил из подкладки своей куртки, лежавшей на скамье, несколько клочков бумаги — составленные им листовки.

Внезапно перед ним возникло лицо Иконникова, его коровьи глаза, и Михаилу Сидоровичу захотелось вновь услышать голос проповедника бессмысленной доброты.

— Я хотел спросить про Иконникова, — сказал Михаил Сидорович. — Его карточку чех не перекладывал?

— Старый юродивый, кисель, как вы его называли? Он казнен. Отказался выйти на работу по строительству лагеря уничтожения. Кейзе было приказано застрелить его.

В эту же ночь на стенах лагерных блоков были расклеены составленные Мостовским листовки о Сталинградском сражении.

41

Вскоре после окончания войны в архиве мюнхенского гестапо были найдены следственные материалы по делу подпольной организации в одном из концентрационных лагерей в Западной Германии. В закрывающей дело бумаге сообщалось, что приговор над участниками организации приведен в исполнение, тела казненных сожжены в крематории. Первым в списке стояло имя Мостовского.

Изучение материалов следствия не дало возможности установить имя провокатора, выдавшего своих товарищей. Возможно, что гестапо казнило его вместе с теми, кого он выдал.

42

В общежитии зондеркоманды, обслуживавшей газовую камеру, склады отравляющих веществ и кремационные печи, было тепло и покойно.

Для заключенных, постоянно работавших на объекте № 1, были также созданы хорошие условия. У каждой кровати стоял столик, имелись графины с кипяченой водой, в проходе между нарами лежала ковровая дорожка.

Рабочие, обслуживающие газовую камеру, были расконвоированы, обедали в особом помещении. Немцев из зондеркоманды кормили по ресторанной системе, каждый мог составить себе меню. Немцы в зондеркоманде получали внекатегорные оклады, — почти втрое больше, чем соответствующие по званию военнослужащие в действующих частях. Их семьи пользовались жилищными льготами, продовольственным снабжением по высшим нормам, правом первоочередной эвакуации из угрожаемых с воздуха районов.

Солдат Розе дежурил у смотрового окошечка, и, когда процесс заканчивался, Розе давал команду к разгрузке камеры. Кроме того, ему полагалось

наблюдать за тем, чтобы дантисты работали добросовестно и аккуратно. Он несколько раз докладывал начальнику объекта, штурмбаннфюреру Кальтлуфту, о трудности одновременно выполнять оба задания, — случалось, что, пока Розе следит наверху за газированием, внизу, где работали дантисты и шла погрузка на транспортер, рабочие оставались без присмотра, — начинались мухлевка и воровство.

Розе привык к своей работе, он уже не волновался, как в первые дни, глядя в смотровое стекло. Его предшественника однажды застукали у смотрового стекла за занятием, которое подходило двенадцатилетнему мальчику, а не солдату СС, выполняющему особое задание. Розе вначале не понял, почему товарищи намекали на какие-то неприличия, лишь потом он узнал, в чем дело.

Розе новая работа не нравилась, хотя он и привык к ней. Розе волновал тот непривычный почет, которым его окружали. Официантки в столовой спрашивали, почему он бледен. Всегда, сколько Розе помнит себя, мать плакала. Отца почему-то всегда увольняли, казалось, его принимали на работу реже, чем увольняли. Розе перенял от старших вкрадчивую, мягкую походку, которая никого не должна тревожить, перенял

тревожную, приветливую улыбку, обращенную к соседям, владельцу дома, к кошке владельца дома, к директору школы и шуцману, стоящему на углу. Казалось, мягкость и приветливость были основными чертами его характера, и он сам удивлялся, сколько в нем жило ненависти, как мог он годами не проявлять ее.

Он попал в зондеркоманду; знаток человеческих душ — начальник — понял его мягкий, женственный характер.

Ничего привлекательного не было в том, чтобы наблюдать, как корчатся в камере евреи. Розе испытывал неприязнь к солдатам, которым работа на объекте нравилась. Чрезвычайно неприятен был военнопленный Жученко, дежуривший в утреннюю смену у входа в камеру. На его лице была все время какая-то детская и потому особо неприятная улыбка. Розе не любил своей работы, но он знал все явные и тайные выгоды ее.

Ежедневно, к концу рабочего дня, солидный человек, зубной врач, передавал Розе бумажный пакетик с несколькими золотыми коронками. Маленькие пакетики составляли ничтожную долю драгметалла, поступавшего в управление лагеря, но Розе уже дважды передавал жене около килограмма золота. Это было их светлое будущее

— осуществление мечты о спокойной старости. Ведь в молодости он был слаб и робок, не мог по-настоящему бороться за жизнь. Он никогда не сомневался в том, что партия имеет одну лишь цель, — благо слабых и малых людей. Он уже чувствовал на самом себе благотворные последствия политики Гитлера, — ведь и он был слабый, маленький человек, а жить ему и его семье стало несравненно легче, лучше.

43

В душе Антон Хмельков иногда ужасался своей работе и вечерами, лежа на нарах и прислушиваясь к смеху Трофима Жученко, чувствовал тяжелую, холодную оторопь.

Руки Жученко с длинными и толстыми пальцами, которые закрывали герметический затвор камеры, всегда казались немытыми, и неприятно было брать хлеб из хлебницы, к которой тянулся Жученко.

Жученко переживал счастливое волнение, выходя на утреннюю смену и поджидая колонну людей со стороны железной дороги. Движение колонны казалось ему нестерпимо медленным, и он издавал горлом тонкий, жалобный звук, и челюсти его слегка подергивались, как у кошки, что через оконное стекло следит за воробьями.

Для Хмелькова этот человек стал причиной беспокойства. Конечно, Хмельков тоже мог выпить и пьяным побаловаться с женщиной, ожидавшей очереди. Имелась лазейка, через которую работники зондеркоманды проходили в предбанник выбирать бабу. Мужчина есть мужчина. Хмельков выбирал женщину либо девочку, заводил ее в

пустой отсек барака и через полчасика приводил обратно в загон, сдавал охраннику. Он молчал, и женщина молчала. Он оказался здесь не ради баб и вина, не ради габардинового галифе, не ради командирских хромовых сапог.

В июльский день 1941 года он попал в плен. Его били прикладом по шее и по голове, он болел кровавой дизентерией, его гнали в порванных сапогах по снегу, его поили желтой водой с пятнами мазута, он отрывал пальцами куски вонючего черного мяса от лошадиного трупа, он жрал гнилую брюкву и картофельные очистки. Он выбирал лишь одно — жизнь, большего он не хотел, он отбивался от десяти смертей — от голодной и морозной, он не хотел смерти от кровавого поноса, он не хотел упасть с девятью граммами металла в башке, он не хотел опухнуть и дать своему сердцу захлебнуться в воде, поднявшейся от ног. Он не был преступником, он был парикмахером в городе Керчи, и никто никогда не думал о нем дурно, — ни родные, ни соседи по двору, ни мастера на работе, ни приятели, с которыми он пил вино, ел копченую кефаль и играл в домино. И он думал, что ничего общего не было у него с Жученко. Но иногда ему казалось, что разница между ним и Жученко в какой-то незначащей

ерунде; а уже там важно ли — Богу и людям, — с каким чувством выходят они на работу, — один весело, другой не весело — работа одна.

Но он не понимал, что Жученко тревожил его не тем, что был виноват больше него. Тем и страшен был ему Жученко, что страшное, прирожденное уродство оправдывало его. А он, Хмельков, не был уродом, он был человеком.

Он смутно знал, что в пору фашизма человеку, желающему остаться человеком, случается выбор более легкий, чем спасенная жизнь, — смерть.

44

Начальник объекта, командир зондеркоманды штурмбаннфюрер Кальтлуфт, добился того, что центральная диспетчерская давала каждый вечер график прибытия эшелонов на день вперед. Кальтлуфт заранее инструктировал своих работников о предстоящей им работе — об общем числе вагонов, количестве прибывших людей; в зависимости от того, из какой страны прибывал эшелон, вызывались соответствующие подсобные команды заключенных — парикмахеров, провожатых, грузчиков.

Кальтлуфт не любил разгильдяйства; он не пил и сердился, если его подчиненные бывали в нетрезвом виде. Лишь однажды его видели веселым и оживленным; уезжая на пасхальные дни к семье и уже сидя в автомобиле, он подозвал к себе штурмфюрера Гана и стал ему показывать фотографии дочери, большелицей и большеглазой, похожей на отца девочки.

Кальтлуфт любил работать, жалел тратить зря время, он не заходил после ужина в клубные помещения, не играл в карты и не смотрел кинофильмов. На Рождество для зондеркоманды была

устроена елка и выступал самодеятельный хор, а к ужину бесплатно выдавали бутылку французского коньяка на двоих. Кальтлуфт зашел в клуб на полчаса, и все увидели на его пальцах свежий след чернил, — он работал и в рождественский вечер.

Когда-то он жил в деревенском доме родителей, и казалось, что в этом доме пройдет его жизнь, — ему нравилось спокойствие деревни, он не боялся работы. Он мечтал расширить отцовское хозяйство, но ему казалось, что, как бы велики ни стали доходы от разведения свиней, от торговли брюквой и пшеницей, он всю жизнь проживет в уютном и тихом отцовском доме. Но жизнь сложилась по-иному. В конце Первой мировой войны он попал на фронт, пошел дорогой, которую судьба прокладывала для него. Казалось, судьба определила ему движение из деревенских в солдаты, от окопов к охране штаба, от канцелярии к адъютантству, от работы в центральном аппарате Имперской безопасности к работе в управлении лагерей и, наконец, переход к должности начальника зондеркоманды в лагере уничтожения.

Если б Кальтлуфту пришлось отвечать перед небесным судом, он бы, оправдывая свою душу,

правдиво рассказал судье, как судьба толкала его на путь палача, убившего пятьсот девяносто тысяч человек. Что мог сделать он перед волей могучих сил: мировой войны, огромного народного национального движения, непреклонной партии, государственного принуждения? Кто в состоянии плыть по-своему? Он — человек, он жил бы в доме отца. Не он шел, его толкали, не он хотел, его вели, он шел, как мальчик-с-пальчик, судьба вела его за руку. И так же или примерно так оправдывали бы себя перед Богом те, кого посылал на работу Кальтлуфт, и те, кто послали на работу Кальтлуфта.

Кальтлуфту не пришлось оправдывать свою душу перед небесным судом. И потому Богу не пришлось подтвердить Кальтлуфту, что нет в мире виноватых…

Есть суд небесный и суд государства и общества, но есть высший суд — это суд грешного над грешным. Грешный человек измерил мощь тоталитарного государства, — она беспредельно велика; пропагандой, голодом, одиночеством, лагерем, угрозой смерти, безвестностью и бесславием сковывает эта страшная сила волю человека. Но в каждом шаге человека, совершаемом под угрозой нищеты, голода, лагеря и

смерти, всегда наряду с обусловленным проявляется и нескованная воля человека. В жизненной дороге начальника зондеркоманды — от деревни к окопам, от беспартийной обывательщины к сознательности члена национал-социалистической партии, всегда и всюду отпечатывалась его воля. Судьба ведет человека, но человек идет потому, что хочет, и он волен не хотеть. Судьба ведет человека, человек становится орудием истребительных сил, но сам он при этом выигрывает, а не проигрывает. Он знает об этом, и он идет к выигрышу; у страшной судьбы и у человека — разные цели, но у них один путь.

Не безгрешный и милостивый небесный судья, не мудрый верховный государственный суд, руководствующийся благом государства и общества, не святой, не праведник, а жалкий, раздавленный фашизмом грязный и грешный человек, сам испытавший ужасную власть тоталитарного государства, сам падавший, склонявшийся, робевший, подчинявшийся, произнесет приговор.

Он скажет:

— Есть в страшном мире виноватые! Виновен!

45

Вот и пришел последний день дороги. Вагоны заскрипели, заскрежетали тормоза, и стало тихо, потом загрохотали запоры, послышалась команда:

— Alle heraus![15]

На мокрую после недавнего дождя платформу стали выходить люди.

Какими странными казались после тьмы вагона знакомые лица!

Пальто, платки изменились меньше, чем люди; кофты, платья напоминали о домах, где их надевали, о зеркалах, у которых их примеряли…

Выходившие из вагонов сбивались в кучи, в стадной скученности было что-то привычное, успокаивающее; в знакомом запахе, в знакомом тепле, в знакомых измученных лицах и глазах, в плотной огромности толпы, вышедшей из сорока двух товарных вагонов…

Звеня по асфальту коваными каблуками, медленно шли два патрульных солдата-эсэсовца в длинных шинелях. Они шагали, надменные и

---

[15] Примечания: 15
Все наружу! (*нем.*)

задумчивые, не взглянули на молодых евреев, вынесших на руках мертвую старуху с белыми волосами, рассыпавшимися по белому лицу, на курчавого человека-пуделя, ставшего на четвереньки и пьющего горстью из лужи воду, на горбунью, поднявшую юбку, чтобы приладить вырванную из штанов тесемку.

Время от времени эсэсовцы переглядывались, произносили два-три слова. Они шли по асфальту так же, как солнце идет по небу. Солнце ведь не следит за ветром, облаками, морской бурей и шумом листвы, но в своем плавном движении оно знает, что все на земле совершается благодаря ему.

Люди в синих комбинезонах, в кепи с большими козырьками, с белыми повязками на рукавах, кричали, поторапливали прибывших на странном языке — смеси русских, немецких, еврейских, польских и украинских слов.

Быстро, умело организуют ребята в синих комбинезонах толпу на платформе, отсеивают падающих с ног, более сильных заставляют грузить полуживых на автофургоны, лепят из хаоса противоречивых движений колонну, внушают ей идею движения, придают этому движению направление и смысл.

Колонна строится по шесть человек в ряд, и по рядам бежит известие: «В баню, сперва в баню».

Казалось, сам милосердный Бог не придумал бы ничего добрей.

— Ну, евреи, сейчас пойдем, — кричит человек в кепи, старший над командой, проводившей разгрузку эшелона, и оглядывает толпу.

Мужчины и женщины подхватывают клумки, дети вцепляются в материнские юбки и борта отцовских пиджаков.

«В баню… в баню…» — эти слова чаруют, гипнотически заполняют сознание.

В рослом человеке в кепи есть что-то свойское, привлекающее, он кажется близким несчастному миру, а не тем, в серых шинелях и касках. Старуха с молитвенной осторожностью гладит кончиками пальцев рукав его комбинезона, спрашивает:

— Ир зынд а ид, а лытвек, майн кынд?

— Да-да, маменька, их бын а ид, прентко, прентко, панове! — И вдруг зычно, сипло, соединяя в одной команде слова, принятые в двух борющихся между собой армиях, он кричит: — Die Kolonne marsch! Шагом марш!

Платформа опустела, люди в комбинезонах сметают с асфальта куски тряпья, обрывки бинтов, брошенную кем-то изорванную калошу, уронен-

ный детский кубик, с грохотом закрывают двери товарных вагонов. Железная волна скрежещет по вагонам. Пустой эшелон трогается, идет на дезинфекцию.

Команда, кончив работу, возвращается через служебные ворота в лагерь. Эшелоны с востока — самые скверные, в них больше всего мертвецов, больных, в вагонах наберешься вшей, надышишься зловонием. В этих эшелонах не найдешь, как в венгерских, либо голландских, либо бельгийских, флакон духов, пакетик какао, банку сгущенного молока.

46

Великий город открылся перед путниками. Его западные окраины тонули в тумане. Темный дым далеких фабричных труб смешивался с туманом, и шахматная сеть бараков покрылась дымкой, и удивительным казалось соединение тумана с геометрической прямизной барачных улиц.

На северо-востоке поднималось высокое черно-красное зарево, казалось, что, раскалившись, рдеет сырое осеннее небо. Иногда из сырого зарева вырывался медленный огонь, грязный, пресмыкающийся.

Путники вышли на просторную площадь. Посреди площади на деревянном помосте, какие обычно устраиваются в местах народных гуляний, стояли несколько десятков людей. Это был оркестр; люди резко отличались друг от друга так же, как их инструменты. Некоторые оглядывались на приближавшуюся колонну. Но вот седой человек в светлом плаще сказал что-то, и люди на помосте взялись за свои инструменты. Вдруг показалось, робко и дерзко вскрикнула птица, и воздух, разодранный колючей проволокой и воем сирен, смердящий нечистотами, жирной

гарью, весь наполнился музыкой. Словно теплая громада летнего цыганского дождя, зажженного солнцем, рухнула, сверкая, на землю.

Люди в лагерях, люди в тюрьмах, люди, вырвавшиеся из тюрем, люди, идущие на смерть, знают потрясающую силу музыки.

Никто так не чувствует музыку, как те, кто изведал лагерь и тюрьму, кто идет на смерть.

Музыка, коснувшись гибнущего, вдруг возрождает в душе его не мысли, не надежды, а лишь одно слепое, прон зительное чудо жизни. Рыдание прошло по колонне. Все, казалось, преобразилось, все соединилось в единстве, все рассыпанное, — дом, мир, детство, дорога, стук колес, жажда, страх и этот вставший в тумане город, эта тусклая красная заря, — все вдруг соединилось — не в памяти, не в картине, а в слепом, горячем, томящем чувстве прожитой жизни. Здесь, в зареве печей, на лагерном плацу, люди чувствовали, что жизнь больше, чем счастье, — она ведь и горе. Свобода не только благо. Свобода трудна, иногда и горестна — она жизнь.

Музыка сумела выразить последнее потрясение души, объединившей в своей слепой глубине все перечувствованное в жизни, радость и горе ее, с этим туманным утром, с заревом над головой.

Но, может быть, и не так. Может быть, музыка была лишь ключом к чувствам человека, она распахнула нутро его в этот страшный миг, но не она наполнила человека.

Ведь бывает, что детская песенка заставляет плакать старика. Но не над песенкой плачет старик, она лишь ключ к тому, что находила душа.

Пока колонна медленно вычерчивала полукруг по площади, из лагерных ворот выехал кремово-белый автомобиль. Из него вышел офицер-эсэсовец в очках, в шинели с меховым воротником, сделал нетерпеливый жест, и дирижер, следивший за ним, сразу каким-то отчаянным движением опустил руки — музыка оборвалась.

Раздалось многократно повторенное «halt!».

Офицер проходил мимо рядов. Он указывал пальцем, и колонновожатый вызывал людей из рядов. Офицер оглядывал вызванных безразличным взглядом, и колонновожатый негромко, чтобы не помешать его задумчивости, спрашивал:

— Сколько лэт? Профэссия?

Отобранных оказалось человек тридцать.

Вдоль рядов послышалось:

— Врачи, хирурги!

Никто не отозвался.

— Врачи, хирурги, выходи!

Снова тишина.

Офицер пошел к машине, потеряв интерес к тысяче людей, стоящих на площади.

Отобранных стали строить по пять в ряд, повернули лицом к транспаранту на лагерных воротах «Arbeit macht frei!»[16].

Из рядов закричал ребенок, дико и пронзительно закричали женщины. Отобранные люди стояли молча, опустив головы.

Но как передать чувство человека, разжимающего руку жены, и этот последний быстрый взгляд на милое лицо? Как жить, безжалостно вспоминая, что в миг молчаливого расставания глаза твои в какую-то долю секунды заморгали, чтобы прикрыть грубое радостное чувство сохраненного существования?

Как утопить память о том, что жена сунула мужу в руку узелок, где было обручальное кольцо, несколько кусков сахара, сухарь? Неужели можно существовать, видя, как с новой силой вспыхнуло зарево в небе — то горят руки, которые он целовал, глаза, радовавшиеся ему, волосы, чей запах он узнавал в темноте, то его дети, жена,

---

[16] Примечания: 16

Работа делает свободным! (*нем.*)

мать? Разве можно в бараке просить себе место ближе к печке, подставлять миску под черпак, наливающий литр серой жижи, прилаживать оборвавшуюся подметку ботинка? Разве можно бить ломом, дышать, пить воду? А в ушах крик детей, вопль матери.

Продолжающих существовать погнали в сторону лагерных ворот. До них доносятся крики, они сами кричат, рвут на груди рубахи, а навстречу идет их новая жизнь: полные электричества проволочные струны, бетонированные вышки с пулеметами, бараки, девушки и женщины с бледными лицами глядят на них из-за проволоки, идут люди в рабочих колоннах с красными, желтыми, синими лоскутами, пришитыми к груди.

Снова заиграл оркестр. Отобранные для лагерной работы люди входят в построенный на болоте город. Темная вода в угрюмой немоте пробивает себе дорогу в осклизлых плитах бетона, среди тяжелых каменных глыб. Эта вода — черно-рыжая, пахнет гнилью; она в клочьях зеленой химической пены, с кусками загаженных тряпок, с кровавыми шматками, вышвырнутыми из лагерных операционных. Вода уйдет под лагерную землю, снова выйдет на поверхность, снова уйдет под землю. Но она пройдет свой путь, в ней ведь

живут и морская волна и утренняя роса, в этой угрюмой лагерной воде.

А обреченные пошли на смерть.

47

Софья Осиповна шла ровным тяжелым шагом, мальчик держался за ее руку. Другой рукой мальчик ощупывал в кармане спичечную коробку, где в грязной вате лежала темно-коричневая куколка, недавно, в вагоне, вышедшая из кокона. Рядом шагал, бормоча, слесарь Лазарь Янкелевич, его жена Дебора Самуиловна несла на руках ребенка. За спиной Ревекка Бухман бормотала: «Ой, боже, ой, боже, ой, боже…» Пятой в ряду шла библиотекарша Муся Борисовна. Волосы ее были причесаны, воротничок казался белым. Она в дороге несколько раз отдавала пайку хлеба за полкотелка теплой воды. Эта Муся Борисовна ничего никому не жалела, в вагоне ее считали святой, старухи, знавшие толк в людях, целовали ей платье. Впереди ряд состоял из четырех человек — при отборе офицер вызвал из этого ряда сразу двоих — отца и сына Слепых, на вопрос о профессии они выкрикнули: «Zahnarzt!»[17]. И офицер кивнул: Слепых угадали, выиграли жизнь. Трое оставшихся в ряду шли, болтая рука-

---

[17] Примечания: 17
Зубной врач (*нем.*).

ми, их руки оказались не нужны; четвертый шел, приподняв воротник пиджака, заложив руки в карманы, независимой походкой, закинув голову. Впереди, может быть, на четыре-пять рядов выделялся огромный старик в зимней красноармейской шапке.

В затылок Софье Осиповне шла Муся Винокур, которой в теплушке исполнилось четырнадцать лет.

Смерть! Она стала своей, компанейской, запросто заходила к людям, во дворы, в мастерские, встречала хозяйку на базаре и уводила ее с кошелочкой картошки, вмешивалась в игру ребятишек, заглядывала в мастерскую, где дамские портные, напевая, спешили дошить манто для жены гебитскомиссара, стояла в очереди за хлебом, подсаживалась к старухе, штопавшей чулок…

Смерть делала свое будничное дело, а люди свое. Иногда она давала докурить, дожевать, иногда настигала человека по-приятельски, грубо, с глупым гоготом, хлопнув ладонью по спине.

Казалось, люди наконец стали понимать ее, она открыла им свою будничность, детскую простоту. Уже очень легок был этот переход, словно через мелкую речушку, где переброшены деревянные

кладки с берега, где дымят избы, на пустынную луговую сторону, — пять-шесть шагов. И все! Чего же, казалось, бояться? Вот по мостушке, стуча копытцами, прошел теленок, вот, ударяя голыми пятками, пробежали мальчишки.

Софья Осиповна услышала музыку. Эту музыку она впервые слышала ребенком, слушала студенткой, молодым врачом; эта музыка всегда волновала живым предчувствием будущего.

Музыка обманула ее. У Софьи Осиповны не было будущего, была лишь прожитая жизнь.

И чувство своей особой, отдельной, прожитой жизни на миг заслонило перед ней настоящее — край жизненного обрыва.

Самое странное из всех чувств! Оно непередаваемо, им нельзя поделиться с самым близким человеком, женой, матерью, братом, сыном, другом, отцом, оно тайна души, и душа, даже если она страстно этого хочет, не может выдать своей тайны. Человек унесет чувство своей жизни, не разделит его ни с кем. Чудо отдельного, особого человека, того, в чьем сознании, в чьем подсознании собрано все хорошее и все плохое, смешное, милое, стыдное, жалкое, застенчивое, ласковое, робкое, удивленное, что было от детства до старости, — слитое, соединенное в немом и тайном

одиноком чувстве одной своей жизни.

Когда заиграла музыка, Давиду захотелось вынуть из кармана коробочку, на мгновение приоткрыть ее, чтобы куколка не простудилась, и показать ей музыкантов. Но, пройдя несколько шагов, он перестал замечать людей на помосте, лишь зарево в небе и музыка остались. Печальная, могучая мелодия, как чашечку, наполнила его душу до самых краев тоской по матери. Мать, не сильная и спокойная, а стыдящаяся того, что ее бросил муж. Она пошила Давиду рубашку, и соседи в коридоре смеялись, что Давидка носит рубашку из ситца с цветочками, с криво пришитыми рукавами. Единственной защитой, надеждой его была мать. Он все время непоколебимо и бессмысленно надеялся на нее. Но, может быть, музыка сделала так: он перестал надеяться на маму. Он любил ее, но она была беспомощной и слабой, как те, что шли сейчас рядом с ним. А музыка, сонная, тихая, казалась ему маленькими волнами, он видел их в бреду, когда у него поднималась температура и он сползал с горячей подушки на теплый и влажный песок.

Оркестр взвыл, заголосила огромная иссохшая глотка.

Темная стена, которая вставала из воды, когда

он болел ангиной, теперь нависла над ним, занимала все небо.

Все, все, страшившее его сердечко, соединилось, слилось в одно. И страх перед картинкой, где козленок не замечает волчьей тени между стволами елей, и синеглазые головы убитых телят на базаре, и мертвая бабушка, и задушенная девочка Ревекки Бухман, и первый безотчетный ночной страх, заставлявший его отчаянно кричать и звать мать. Смерть стояла во всю громадную величину неба и смотрела, — маленький Давид шел к ней своими маленькими ногами. Вокруг была одна лишь музыка, за которую нельзя было спрятаться, за которую нельзя было схватиться, об которую нельзя было разбить себе голову.

А куколка, — у ней ни крыльев, ни лапок, ни усиков, ни глаз, она лежит в коробочке, глупая, доверчивая, ждет.

Раз еврей — все!

Он икал, задыхался. Если б он мог, он бы сам себя задушил. Музыка смолкла. Его маленькие ноги и десятки других маленьких ног торопились, бежали. У него не было мыслей, он не мог ни кричать, ни плакать. Пальцы, мокрые от пота, сжимали в кармане коробочку, но он не помнил уже и о куколке. Одни лишь маленькие ноги шли,

шли, спешили, бежали.

Если б охвативший его ужас длился еще несколько минут, он упал бы с разорвавшимся сердцем.

Когда музыка прекратилась, Софья Осиповна вытерла слезы и сердито произнесла:

— Так, сказал бедняк!

Потом она взглянула на лицо мальчика, оно было так ужасно, что даже здесь выделялось своим особым выражением.

— Что ты? Что с тобой? — вскрикнула Софья Осиповна и резко дернула его за руку. — Что ты, что с тобой, ведь мы идем мыться в баню.

Когда стали выкликать врачей-хирургов, она молчала, противилась ненавистной ей силе.

Рядом шла жена слесаря, и большеголовый жалкий младенец на ее руках всматривался в окружавшее беззлобным и задумчивым взглядом. Эта жена слесаря ночью в вагоне украла для своего ребенка у одной женщины горсточку сахара. Пострадавшая оказалась совсем слабой. За нее вступился старик по фамилии Лапидус, возле которого никто не хотел сидеть, так как он много мочился под себя.

И вот теперь Дебора, жена слесаря, задумавшись, шла, держа ребенка на руках. И ребенок,

день и ночь кричавший, молчал. Печальные темные глаза женщины делали незаметным уродство ее грязного лица, ее бледных, мягких губ.

«Матерь Божья», — подумала Софья Осиповна.

Когда-то, года за два до войны, она глядела, как восходящее из-за тянь-шаньских сосен солнце освещает снеговые белки, а озеро лежит в сумерке, словно бы выточенное из одной сгущенной до каменной плотности синевы; тогда она подумала, что нет в мире человека, который не позавидовал бы ей, и тут же с обжегшей ее пятидесятилетнее сердце силой ощутила, что все бы отдала, если б где-нибудь в нищей, темной комнате с низким потолком ее обняли бы руки ребенка.

Маленький Давид вызвал в ней особую нежность, которую она никогда не испытывала к детям, хотя всегда любила детей. В вагоне она отдавала ему часть своего хлеба, он поворачивал к ней в полутьме лицо, и ей хотелось плакать, прижать его к себе, целовать частыми, быстрыми поцелуями, которыми обычно матери целуют маленьких детей; она шепотом, так, чтобы он не расслышал, повторяла:

— Кушай, сыночек, кушай.

Она мало разговаривала с мальчиком, стран-

ный стыд заставлял ее скрывать возникшее в ней материнское чувство. Но она заметила, что мальчик всегда тревожно следит за ней, если она перебиралась в другую сторону вагона, становился спокоен, когда она была вблизи него.

Ей не хотелось признаться себе, почему она не откликнулась, когда вызывали врачей-хирургов, осталась в колонне и почему чувство душевного подъема охватило ее в эти минуты.

Колонна шла вдоль проволочных заграждений, бетонированных башен с турельными пулеметами, вдоль рвов, и людям, забывшим свободу, казалось — проволока и пулеметы не для того, чтобы помешать лагерникам бежать, а для того, чтобы обреченные смерти не сумели укрыться в каторжный лагерь.

Дорога отделилась от лагерной проволоки, повела к невысоким приземистым постройкам с плоскими крышами; издали эти прямоугольники с серыми стенами без окон напоминали Давиду огромные кубики, от которых отклеились картинки.

Мальчик из-за образовавшегося в поворачивавших рядах просвета увидел постройки с распахнутыми дверьми и, не зная почему, вынул из кармана коробочку с куколкой, не простив-

шись с ней, швырнул ее в сторону. Пусть живет!

— Капитальные люди немцы, — точно стража могла услышать и оценить его льстивость, сказал шедший впереди.

Человек с поднятым воротником как-то странно, по-особому, это видно было и со стороны, повел плечами, оглянулся направо, налево и стал большим, высоким, и вдруг, легко прыгнув, словно расправив крылья, ударил кулаком в лицо эсэсовского стражника, свалил его на землю. Софья Осиповна, злобно крикнув, кинулась следом, но споткнулась, упала. Сразу несколько рук схватили ее, помогли подняться. А шедшие сзади напирали, и Давид, оглядываясь, боясь, что его собьют с ног, мельком увидел, как стражники оттаскивают в сторону мужчину.

В миг, когда Софья Осиповна пыталась броситься на стражника, она забыла о мальчике. Теперь она снова держала его за руку. Давид увидел, какими ясными, злыми и прекрасными могут быть глаза человека, на долю секунды почуявшего свободу.

А в это время первые ряды уже вступили на асфальтированную площадку перед входом в баню, по-новому зазвучали шаги людей, идущих в просторно распахнутые двери.

48

В сыром теплом предбаннике, освещенном небольшими прямоугольными окошками, стояла спокойная полутьма.

Деревянные, из некрашеных толстых досок скамьи, с написанными масляной краской номерами, терялись в полутьме. Посреди зала, до стены, противоположной входу, проходила невысокая перегородка, по одну сторону ее раздевались мужчины, по другую — женщины с детьми.

Это разделение не вызвало в людях тревоги, так как они продолжали видеть друг друга, перекликались: «Маня, Маня, ты здесь?» — «Да-да, я вижу тебя». Кто-то крикнул: «Матильда, приходи с мочалкой, потрешь мне спину!» Чувство успокоения охватило почти всех.

Между рядами ходили серьезные люди в халатах, следили за порядком и говорили разумные слова о том, что носки, чулки, портянки следует вкладывать в ботинки, что нужно обязательно запомнить номер ряда и номер места.

Голоса звучали негромко, приглушенно.

Когда человек раздевается догола, — он прибли-

жается к самому себе. Господи, еще жестче, гуще стали волосы на груди, и сколько седых. Какие некрасивые ногти на пальцах. Голый человек, глядя на себя, не делает выводов, кроме одного: «Вот я». Он узнает себя, определяет свое «я» — оно всегда одно. Мальчишка, скрестив худые руки на ребристой груди, глядит на свое лягушачье тело — «Вот я», и он же спустя пятьдесят лет, рассматривая узловатые, синие жилы на ногах, жирную, обвисшую грудь, узнает себя: «Вот я».

Но Софью Осиповну поразило странное чувство. В обнажении молодых и старых тел: и носатенького худенького мальчика, о котором старуха, покачав головой, сказала: «Ой, несчастный хусид», и четырнадцатилетней девочки, на которую даже здесь, любуясь, смотрели сотни глаз, в уродстве и немощи вызывавших молитвенную почтительность старух и стариков, в силе волосатых мужских спин, жилистых женских ног и больших грудей, — обнажилось скрытое под тряпьем тело народа. Софье Осиповне показалось, что она ощутила это, относящееся не к ней одной, а к народу: «Вот я». Это было голое тело народа, одновременно — молодое и старое, живое, растущее, сильное и вянущее, с кудрявой и седой головой, прекрасное и безобразное, сильное и

немощное. Она смотрела на свои толстые белые плечи, никто их не целовал, только мама когда-то в детстве, потом с кротким чувством перевела глаза на мальчика. Неужели несколько минут назад она, забыв о нем, бросилась с пьяным бешенством в сторону эсэсовца… «Молодой еврейский дурень, — подумала она, — и его старый русский ученик проповедовали непротивление злу насилием. При них не было фашизма». Уж не стыдясь проснувшегося в ней, девице, материнского чувства, Софья Осиповна, наклонившись, взяла в свои рабочие большие ладони узенькое лицо Давида, ей показалось, что она взяла в руки его теплые глаза, и поцеловала его.

— Да-да, детка, — сказала она, — вот мы и добрались до бани.

В полутьме бетонного предбанника, казалось, мелькнули глаза Александры Владимировны Шапошниковой. Жива ли она? Они простились, и Софья Осиповна пошла, вот и дошла, и Аня Штрум дошла…

Жене рабочего хотелось показать мужу маленького голого сына, но муж был за перегородкой, и она протянула Софье Осиповне наполовину прикрытого пеленкой ребенка, гордясь, сказала:

— Только его раздели, и он уже не плачет.

А из-за перегородки мужчина, обросший черной бородой, носивший вместо кальсон рваные пижамные штаны, крикнул, блеснув глазами и золотом искусственных зубов:

— Манечка, тут продается купальный костюм, купить?

Муся Борисовна, прикрывая рукой грудь, выступавшую из широкого выреза рубахи, улыбнулась шутке.

Софья Осиповна уже знала, что в этом острословии приговоренных не проявлялась сила духа, слабым и робким не так страшен был страх, когда они над ним смеялись.

Ревекка Бухман, с измученным, осунувшимся прекрасным лицом, отворачивая от людей горячие огромные глаза, растрепала свои могучие косы, прятала в них кольца и серьги.

Слепая и жестокая сила жизни владела ею. Фашизм, хотя она была несчастна и беспомощна, пригнул ее до своего уровня, — ее уже ничто не могло остановить в стремлении сохранить свою жизнь. И теперь, пряча кольца, она не вспоминала о том, что этими руками сжала горло своему ребенку из страха, что его плач может раскрыть убежище на чердаке.

Но когда Ревекка Бухман медленно вздохнула,

словно животное, наконец добравшееся до безопасной чащи, она увидела женщину в халате, снимающую ножницами косы с головы Муси Борисовны. А рядом жница волос стригла девочку, и шелковые черные струи бесшумно сбегали на бетонированный пол. Волосы лежали на полу, и казалось, что женщины моют ноги в темной и светлой воде.

Женщина в халате неторопливо отвела руку Ревекки, прикрывшую голову, захватила волосы у затылка, концы ножниц коснулись кольца, спрятанного в волосах, и женщина, не прекращая работы и ловко выбирая пальцами запутанные в волосах кольца, сказала, склонившись над ухом Ревекки: «Все будет вам обратно, — и еще тише шепнула: — Немец тут, надо «gans ruhig». Лицо женщины в халате не запомнилось Ревекке, у ней не было глаз, губ, была одна лишь желтоватая рука с синими жилами.

По другую сторону перегородки появился седой мужчина в очках, криво сидящих на кривом носу, похожий на больного, печального дьявола, оглядел скамьи и раздельно, печатая буквы, голосом человека, привыкшего разговаривать с глухими, спросил:

— Мама, мама, мама, как себя чувствуешь?

Морщинистая маленькая старуха, вдруг расслышав голос сына среди гула сотен голосов, нежно улыбнулась ему, ответила, угадывая привычный вопрос:

— Хороший, хороший пульс, никаких перебоев, не волнуйся.

Кто-то рядом с Софьей Осиповной сказал:

— Это Гельман, знаменитый терапевт.

А молодая голая женщина, держа за руку губастую девочку в белых трусиках, громко кричала:

— Нас убьют, нас убьют, нас убьют!

— Тише, тише, успокойте сумасшедшую, — говорили женщины. Они оглядывались, стражи не было видно. Уши и глаза отдыхали в полусумраке и в тишине. Какое огромное, уже много месяцев не испытанное блаженство снять с себя одеревеневшую от грязи и пота одежду, полусгнившие носки, чулки, портянки. Ушли женщины, окончившие стрижку, и люди еще свободнее вздохнули. Одни задремали, другие просматривали швы на одежде, третьи негромко разговаривали. Кто-то сказал:

— Жаль, нет колоды, можно бы сыграть в подкидного.

Но в эти минуты начальник зондеркоманды, дымя сигаркой, снимал телефонную трубку,

кладовщик грузил на моторную тележку банки «Циклона» с красными, как на фруктовом джеме, наклейками, и дежурный особого отряда, сидевший в служебном помещении, поглядывал на стену — вот-вот зажжется красная сигнальная лампочка.

Команда «Встать!» внезапно возникла с разных концов предбанника.

Там, где кончались скамьи, стояли немцы в черной форме. Люди вошли в широкий коридор, освещенный вделанными в потолок неяркими лампами, прикрытыми толстым овальным стеклом. Здесь видна была мускульная сила медленно, плавно изгибающегося бетона, втягивавшего в себя человеческий поток. Было тихо, лишь шелестели шаги идущих босыми ногами людей.

Когда-то до войны Софья Осиповна сказала Евгении Николаевне Шапошниковой: «Если человеку суждено быть убитым другим человеком, интересно проследить, как постепенно сближаются их дороги: сперва они, может быть, страшно далеки, — вот я на Памире собираю альпийские розы, щелкаю своим «контаксом», а он, моя смерть, в это время за восемь тысяч верст от меня — после школы ловит на речке ершей. Я

собиралась на концерт, а он в этот день покупает на вокзале билет, едет к теще, но все равно, уж мы встретимся, дело будет». И теперь этот странный разговор вспомнился Софье Осиповне. Она поглядела на потолок: через эту бетонную толщу над головой ей уже не услышать грозы, не увидеть опрокинутого ковша Большой Медведицы… Она шла босыми ногами навстречу завитку коридора, а коридор бесшумно, вкрадчиво плыл навстречу ей; движение шло без насилия, само собой, какое-то полусонное скольжение, как будто все кругом и все внутри было смазано глицерином и сонно скользило само собой.

Вход в камеру открылся и постепенно и вдруг. Медленно скользил народный поток. Старуха и старик, прожившие вместе пятьдесят лет, разделенные при раздевании, сейчас снова шли рядом, жена рабочего несла проснувшегося ребенка, мать и сын смотрели поверх голов идущих, разглядывая не пространство, а время. Мелькнуло лицо терапевта, а совсем рядом смотрели глаза доброй Муси Борисовны, налитый ужасом взор Ревекки Бухман. Вот Люся Штеренталь, нельзя заглушить, уменьшить красоту этих молодых глаз, легко дышащих ноздрей, шеи, полуоткрытых губ, и рядом шел старик Лапидус со смятым

синегубым ртом. Софья Осиповна снова прижала к себе плечи мальчика. Такой нежности к людям никогда еще не было в ее сердце.

Шедшая рядом Ревекка закричала, крик ее был невыносимо страшен, крик человека, превращающегося в золу.

У входа в газовую камеру стоял человек с куском водопроводной трубы в руке. На нем была коричневая рубаха с застежкой-молнией, с короткими, до локтей, рукавами. Увидев его неясную, детскую и безумную, упоенную улыбку, так страшно закричала Ревекка Бухман.

Глаза скользнули по лицу Софьи Осиповны: вот это он и есть, наконец встретились!

Она почувствовала, что ее пальцы должны схватить эту шею, выползшую из раскрытого ворота. Но улыбающийся коротко, быстро взмахнул палкой. Сквозь звон колоколов и хруст стекла она услышала: «Не бодайся, пархата».

Она сумела устоять на ногах и тяжелым, медленным шагом вместе с Давидом переступила стальной порог.

49

Давид провел ладонью по стальной дверной раме, ощутил гладкий холод. Он увидел в стальном зеркале светло-серое расплывчатое пятно — отражение своего лица. Босые подошвы определили, что пол в камере холодней, чем в коридоре, его недавно мыли, поливали.

Он шел маленькими, небыстрыми шагами по бетонному ящику с низким потолком. Он не видел ламп, но в камере стоял серый свет, словно солнце проникало сквозь затянутое бетоном небо, каменный свет казался не для живых существ.

Люди, которые были все время вместе, рассыпались, теряя друг друга. Мелькнуло лицо Люси Штеренталь. Давид в вагоне смотрел на нее, испытывая сладкую и грустную влюбленность. Но через миг на месте Люси появилась низкорослая женщина без шеи. И сразу на этом же месте появился голубоглазый старик с белым пушком на голове. И тут же наплыл остановившийся расширенный взор молодого мужчины.

Это было несвойственное людям движение. Это было движение, несвойственное и низшим

живым существам. В нем не было смысла и цели, в нем не проявлялась воля живущих. Людской поток втекал в камеру, вновь входившие подталкивали уже вошедших, те подталкивали своих соседей, и из этих бесчисленных маленьких толчков локтем, плечом, животом рождалось движение, ничем не отличавшееся от молекулярного движения, открытого ботаником Броуном.

Давиду казалось, что его ведут, нужно было двигаться. Он дошел до стены, коснулся ее холодной простоты коленом, потом грудью, дороги больше не было. Софья Осиповна стояла, привалившись к стене.

Несколько мгновений они глядели на движущихся от двери людей. Дверь оказалась далеко, и понять, где она, можно было по особо густой белизне человеческих тел, сжатых, уплотненных при входе, а затем уже рассыпающихся в пространстве газовой камеры.

Давид видел лица людей. С утра, как только был разгружен эшелон, он видел спины, а сейчас весь эшелон, казалось, двигался на него лицом. Необычной вдруг стала Софья Осиповна, — ее голос в плоском бетонном пространстве звучал по-иному, вся она, войдя в камеру, стала измененной. Когда она сказала: «Крепко держись за

меня, мой хлопчик», он почувствовал, — она боялась его отпустить, чтобы не остаться одной. Но они не удержались у стены, отделились от нее и стали двигаться мелкими шажками. Давид почувствовал, что он двигается быстрее, чем Софья Осиповна. Ее рука сжала его руку, притягивала к себе. А какая-то мягкая, постепенная сила оттягивала Давида, пальцы Софьи Осиповны стали разжиматься…

Все плотнее становилась толпа в камере, все медленней стали движения, все короче шажки людей. Никто не руководил движением в бетонном ящике. Немцам стало безразлично, стоят ли люди в газовой камере неподвижно или совершают бессмысленные зигзаги, полукружия. И голый мальчик делал крошечные бессмысленные шажки. Кривая движения его легкого маленького тела перестала совпадать с кривой движения большого и тяжелого тела Софьи Осиповны, и вот они разделились. Не за руку надо было держать его, а вот так, как эти две женщины — мать и девушка, — судорожно, с угрюмым упорством любви, прижаться щека к щеке, грудь к груди, стать одним неразделимым телом.

Людей становилось все больше, и молекулярное движение по мере сгущения и уплотнения

отступало от закономерности Авогадро. Потеряв руку Софьи Осиповны, мальчик закричал. Но тут же Софья Осиповна сдвинулась в прошлое. Существовало только сейчас, теперь. Губы людей дышали рядом, тела их касались, их мысли и чувства стали соединяться, сплетаться.

Давид попал в ту часть вращения, которая, отразившись от стены, двигалась обратно к двери. Давид увидел трех людей, соединившихся вместе: двух мужчин и старуху, она защищала детей, и они поддерживали мать. И вдруг новое, по-новому возникшее движение произошло рядом с Давидом. Шум тоже был новый, отличавшийся от шороха и бормотаний.

— Пустите с дороги! — и сквозь единую массу тел пробивался человек с могучими, напруженными руками, толстой шеей, наклоненной головой. Он хотел вырваться из гипнотического бетонного ритма, его тело бунтовалось, как рыбье тело на кухонном столе, слепо, без мысли. Он вскоре затих, задохнулся и стал семенить ногами, совершать то, что совершали все.

От нарушения, которое произвел он, изменились кривые движения, и Давид оказался рядом с Софьей Осиповной. Она прижала к себе мальчика с той силой, которую открыли и измерили

рабочие в лагерях уничтожения, — разгружая камеру, они никогда не пытаются отделять тела обнявшихся близких людей.

Со стороны двери раздавались крики; люди, видя плотную человеческую массу, заполнявшую камеру, отказывались проходить в распахнутые двери.

Давид видел, как закрылась дверь: дверная сталь, словно притянутая магнитом, мягко, плавно приближалась к стали дверной рамы, и они слились, стали едины.

Давид заметил, что в верхней части стены, за квадратной металлической сеткой, шевельнулось что-то живое, ему показалось, серая крыса, но Давид понял — завертелся вентилятор. Почувствовался слабый сладковатый запах.

Затих шорох шагов, изредка слышались невнятные слова, стон, вскрикивание. Речь уже не служила людям, действие было бессмысленно — оно направлено к будущему, а в газовой камере будущего не было. Движение головы и шеи Давида не породило в Софье Осиповне желания посмотреть туда, куда смотрит другое живое существо.

Ее глаза, читавшие Гомера, газету «Известия», «Гекльберри Финна», Майн Рида, гегелевскую

«Логику», видевшие хороших и плохих людей, видевшие гусей на зеленых курских лужках, звезды в Пулковский рефрактор, блеск хирургической стали, Джоконду в Лувре, помидоры и репу на базарных рундуках, синеву Иссык-Куля, теперь не были нужны ей. Ослепи ее кто-либо в этот миг, она не почувствовала бы потери.

Она дышала, но дыхание стало тяжелой работой, и она выбивалась из сил, производя работу дыхания. Она хотела сосредоточиться на последней мысли под оглушающий звон колоколов. Но мысль не рождалась. Софья Осиповна стояла, немая, не закрывая невидящих глаз.

Движение ребенка наполняло ее жалостью. Ее чувство к мальчику было так просто — слова и глаза не стали ей нужны. Полумертвый мальчик дышал, но воздух, данный ему, не продлевал жизнь, а угонял ее. Голова его поворачивалась, ему все еще хотелось смотреть. Он видел тех, кто оседали на землю, видел открытые беззубые рты, рты с белыми и золотыми зубами, видел тоненькую струйку крови, бежавшую из ноздри. Он видел любопытствующие глаза, глядевшие в камеру через стекло; созерцающие глаза Розе на миг встретились с глазами Давида. Ему и голос был нужен, он спросил бы тетю Соню об этих

волчьих глазах. И мысли его нужны были ему. Он сделал в мире лишь несколько шагов, он увидел следы босых детских пяток на горячей, пыльной земле, в Москве жила его мама, луна смотрела вниз, а снизу ее видели глаза, на газовой плите кипел чайник; мир, где бежала безголовая курица; мир, где лягушки, которых он заставлял танцевать, держа за передние лапки, и утреннее молоко, — продолжал тревожить его.

Все время сильные, горячие руки обнимали Давида, мальчик не понял, что стало темно в глазах, гулко, пустынно в сердце, скучно, слепо в мозгу. Его убили, и он перестал быть.

Софья Осиповна Левинтон ощутила, как осело в ее руках тело мальчика. Она опять отстала от него. В подземных выработках с отравленным воздухом индикаторы газа — птицы и мыши — погибают сразу, у них маленькие тела, и мальчик с маленьким, птичьим телом ушел раньше, чем она.

«Я стала матерью», — подумала она.

Это была ее последняя мысль.

А в ее сердце еще была жизнь: оно сжималось, болело, жалело вас, живых и мертвых людей; хлынула тошнота, Софья Осиповна прижимала к себе Давида, куклу, стала мертвой, куклой.

50

Человек умирает и переходит из мира свободы в царство рабства. Жизнь — это свобода, и потому умирание есть постепенное уничтожение свободы: сперва ослабляется сознание, затем оно меркнет; процессы жизни в организме с угасшим сознанием некоторое время еще продолжаются, — совершается кровообращение, дыхание, обмен веществ. Но это неотвратимое отступление в сторону рабства — сознание угасло, огонь свободы угас.

Потухли звезды на ночном небе, исчез Млечный Путь, погасло солнце, погасли Венера, Марс, Юпитер, замерли океаны, замерли миллионы листьев, и замер ветер, цветы потеряли цвет и запах, исчез хлеб, исчезли вода, прохлада и духота воздуха. Вселенная, существовавшая в человеке, перестала быть. Эта Вселенная поразительно походила на ту, единственную, что существует помимо людей. Эта Вселенная поразительно походила на ту, что продолжает отражаться в миллионах живых голов. Но эта Вселенная особенно поразительна была тем, что имелось в ней нечто такое, что отличало шум ее океана, запах

ее цветов, шорох листвы, оттенки ее гранитов, печаль ее осенних полей от каждой из тех, что существовали и существуют в людях, и от той, что вечно существует вне людей. В ее неповторимости, в ее единственности душа отдельной жизни — свобода. Отражение Вселенной в сознании человека составляет основу человеческой мощи, но счастьем, свободой, высшим смыслом жизнь становится лишь тогда, когда человек существует как мир, никогда никем не повторимый в бесконечности времени. Лишь тогда он испытывает счастье свободы и доброты, находя в других то, что нашел в самом себе.

51

Водитель Семенов, попавший в плен вместе с Мостовским и Софьей Осиповной Левинтон, после десяти недель голодного лагеря в прифронтовой полосе был направлен вместе с большой партией пленных красноармейцев в сторону западной границы.

В прифронтовом лагере его ни разу не ударили кулаком, прикладом, сапогом.

В лагере был голод.

Вода журчит в арыке, плещет, вздыхает, шумит у берега, и вот вода гремит, ревет, волочит каменные глыбы, подобно соломинкам стремит огромные стволы, и сердце холодеет, когда глядишь на сдавленную средь тесных берегов реку, сотрясающую скалы, и кажется, то не вода, а тяжелые массы — ожившего, взбесившегося, ставшего на дыбы — прозрачного свинца.

Голод, подобно воде, постоянно и естественно связан с жизнью, и вдруг он превращается в силу, уничтожающую тело, ломающую и коверкающую душу, истребляющую многомиллионные живые массы.

Бескормица, гололедица и снегопады, степные

и лесные засухи, наводнения, мор режут стада овец и лошадей, убивают волков, певчих птиц и лис, диких пчел, верблюдов, окуней, гадюк. Люди во время стихийных бедствий в своих страданиях становятся равными животным.

Государство по своей воле способно принудительно, искусственно сжать, сдавить плотинами жизнь, и тогда, подобно воде среди тесных берегов, страшная сила голода потрясает, коверкает, ломает, уничтожает человека, племя, народ.

Голод выжимает молекулу за молекулой белок и жир из клеточек тела, голод размягчает кости, искривляет рахитичные ножки детей, разжижает кровь, кружит голову, сушит мышцы, съедает нервную ткань, голод угнетает душу, гонит радость, веру, уничтожает силу мысли, рождает покорность, низость, жестокость, отчаяние и безразличие.

Человеческое иногда полностью гибнет в человеке, и голодное существо становится способно на убийство, на пожирание трупов, на людоедство.

Государство способно построить плотину, отделяющую пшеницу, рожь от тех, кто сеял ее, и тем вызвать страшный мор, подобный мору, убившему миллионы ленинградцев в пору гитлеровской блокады, убившему миллионы военнопленных в

гитлеровских лагерных загонах.

Пища! Еда! Кушанье! Шамовка! Заправка и Подзаправка! Едушка и Жратва! Хлебово и Жарево! Питание! Жирный, мясной, диетический, скудный стол. Стол богатый и щедрый, изысканный, простой, деревенский! Яства. Корм. Корм…

Картофельные очистки, собаки, лягушатина, улитки, гнилые капустные листья, лежалая свекла, дохлая конина, кошачье мясо, мясо ворон и галок, сырое горелое зерно, кожа поясных ремней, халява сапог, клей, земля, пропитавшаяся жирными помоями, вылитыми из офицерской кухни, — все это корм. Это то, что просачивается через плотину.

Этот корм добывают, его делят, его выменивают, его крадут друг у друга.

На одиннадцатый день пути, когда эшелон стоял на станции Хутор Михайловский, охрана вытащила впавшего в беспамятство Семенова из вагона и передала станционным властям.

Пожилой немец, комендант, несколько мгновений глядел на полуживого красноармейца, сидевшего у стенки пожарного сарая.

— Пусть ползет в деревню, в камере он умрет через день, а расстреливать его не за что, — сказал переводчику комендант.

Семенов побрел в расположенную около станции деревню.

В первую хату его не пустили.

— Нема ничого, идить соби, — ответил ему из-за двери старушечий голос.

Во вторую хату он долго стучался, никто не отвечал. То ли хата была пустой, то ли заперта изнутри.

В третьей хате дверь была полуоткрыта, он вошел в сени, никто его не окликнул, и Семенов прошел в комнату.

Тепло пахнуло на него, голова закружилась, и он сел на лавку у двери.

Семенов тяжело и быстро дышал, оглядывая белые стены, иконы, стол, печь. Все это потрясало после лагерных загонов.

В окне мелькнула тень, и в хату вошла женщина, увидела Семенова и вскрикнула:

— Хто вы?

Он ничего не ответил. Ясно было, кто он.

В этот день не безжалостные силы могучих государств, а человек, старая Христя Чуняк решала его жизнь и судьбу.

Солнце глядело из серых облаков на военную землю, и ветер, тот, что шел над траншеями и дзотами, над колючей лагерной проволокой, над

трибуналами и особыми отделами, — подвывал под окошком хаты.

Женщина дала Семенову кружку молока, и он, жадно и трудно заглатывая, стал пить.

Он выпил молоко, и его стошнило. Его выворачивало от рвоты, глаза плакали, и он, словно кончаясь, с воем втягивал в себя воздух, и его опять и опять рвало.

Он старался удержать рвоту, в голове была одна лишь мысль, — хозяйка выгонит его, поганого и грязного.

Он видел воспаленными глазами, что она принесла тряпку, стала подтирать пол.

Он хотел сказать ей, что сам все почистит, вымоет, только пусть не гонит его. Но он лишь бормотал, показывал дрожащими пальцами. Время шло. Старуха то входила в хату, то выходила. Она не гнала Семенова. Может быть, она просила соседку привести немецкий патруль, позвать полицая?

Хозяйка поставила в печь чугун с водой. Стало жарко, пар задымился над водой. Лицо старухи казалось нахмуренным, недобрым.

«Выгонит и дезинфекцию после меня делать будет», — подумал он.

Женщина достала из сундука белье, брюки. Она

помогла Семенову раздеться, свернула в узелок его белье. Он ощутил запах своего грязного тела, пропитанных мочой, кровавыми испражнениями подштанников.

Она помогла Семенову сесть в корыто, и его изъеденное вшами тело почувствовало прикосновение ее шершавых, сильных ладоней, по плечам и по груди его потекла мыльная теплая вода. Он вдруг захлебнулся, затрясся, его забило, и, взвизгивая, глотая сопли, он вскрикивал: «Мама… маманька… маманька».

Она вытирала серым холщовым полотенцем его слезящиеся глаза, волосы, плечи. Подхватив Семенова под мышки, она посадила его на скамью и, нагнувшись, вытирала его похожие на палки ноги, надела на него рубаху и подштанники, застегнула белые, обшитые материей пуговки.

Она вылила из корыта в ведро черную, поганую воду и унесла ее.

Она постелила на печке овчинный кожух, накрыла его полосатым рядном, сняла с кровати большую подушку и положила ее в изголовье.

Потом она легко, как куренка, приподняла Семенова, помогла ему взобраться на печку.

Семенов лежал в полубреду. Его тело ощущало немыслимую перемену, — стремление безжа-

лостного мира уничтожить замученную скотину перестало действовать.

Но ни в лагере, ни в эшелоне он не испытывал таких страданий, как сейчас, — ноги томились, ныли пальцы, ломало в костях, подкатывала тошнота, голова наполнялась сырой, черной кашей, то вдруг, легкая и пустая, начинала кружиться, глаза резало, била икота, веки чесались. А минутами сердце ныло, замирало, нутро наполнялось дымом, и казалось, пришла смерть.

Прошло четыре дня. Семенов слез с печки, стал ходить по комнате. Его поражало, что мир оказался полон еды. В лагерной жизни была лишь гнилая свекла. Казалось, на земле есть одна лишь мутная болтушка — лагерный суп, жижица, пахнущая гнилью.

А теперь он видел пшено, картошку, капусту, сало, он слышал крик петуха.

Ему, как ребенку, казалось, что в мире есть два волшебника — добрый и злой, и он все боялся, что злой волшебник снова осилит доброго, и сытый, теплый, добрый мир исчезнет, и он опять будет мять зубами кусок своего поясного ремня.

Его занимала ручная мельница, производительность у нее была жуткая — лоб становился мокрым, пока удавалось намолоть несколько

горстей серой, сырой муки.

Семенов почистил напильником и шкуркой передачу, подтянул болт, который связывал механизм с устроенными из плоских камней жерновами. Он все сделал, как полагалось грамотному московскому механику, исправил грубую работу деревенского мастера, но мельница стала работать после этого хуже.

Семенов лежал на печке и думал, как получше молоть пшеницу.

Утром он вновь разобрал мельницу, пустил в дело колеса и части старых ходиков.

— Тетя Христя, посмотрите, — хвастливо проговорил он и показал, как ходит приспособленная им двойная зубчатая передача.

Они почти не говорили друг с другом. Она не рассказывала об умершем в 1930 году муже, о пропавших без вести сыновьях, о дочери, уехавшей в Прилуки и забывшей о матери. Она не спрашивала его, как попал он в плен, откуда он родом, деревенский он или городской.

Он боялся выходить на улицу, долго вглядывался в окно, прежде чем выйти во двор, всегда спешил обратно в хату. Если громко хлопала дверь, падала на пол кружка, он пугался, — казалось, доброе кончилось, перестала действовать

сила старой Христи Чуняк.

Когда соседка шла к Христиной хате, Семенов залезал на печку, лежал, стараясь не сопеть, не чихать. Но соседи редко заходили к ним.

Немцы в деревне не стояли, они квартировали в железнодорожном поселке около станции.

Мысль, что он живет в тепле и покое, а кругом идет война, не вызывала у Семенова угрызений, он очень боялся, что его снова затянет в мир лагерей и голода.

Утром, просыпаясь, он опасался сразу открыть глаза, казалось, что за ночь волшебство исчезло и он увидит лагерную проволоку, охрану, услышит звяканье пустого котелка.

Он лежал с закрытыми глазами, прислушивался, не исчезла ли Христя.

Он мало думал о недавнем времени, не вспоминал комиссара Крымова, Сталинград, немецкий лагерь, эшелон. Но каждую ночь он кричал и плакал во сне.

Однажды ночью он слез с печи и пополз по полу, забился под нары, проспал там до утра. А утром не мог вспомнить, что ему померещилось во сне.

Несколько раз видел он, как по деревенской улице проезжали грузовые машины с картошкой,

мешками зерна, однажды он видел легковую машину — «оппель-капитан». Мотор тянул хорошо, колеса не буксовали по деревенской грязи.

Сердце замирало, когда он представлял себе, — вот картавые голоса загалдят в сенях, потом в хату ввалится немецкий патруль.

Он спрашивал тетю Христю о немцах.

Она отвечала:

— А есть неплохие нимцы. Як фронт у нас проходыв, у мене в хати двое стоялы — иден студент, другий художник. Завжды грали с дитьми. А потим шофер стоял, вин с собой кишку возыв. Вернется с поиздки — кишка до него, вин ий сала, масла. Казав, от самой границы вона с ним ихала. Сидить за столом и на руках ее держить. И до мене вин був дуже добрый, дров мени превиз, другим разом мишок муки скынув. А есть нимцы — дитей убивають, дида-сусида убыли, за людей нас не считають, в хати гадять, голи перед женщинами ходять. И наши тут есть деревеньски, полицаи, — лютують над людьми.

— Наших таких зверей нет, как у немцев, — сказал Семенов и спросил: — А вы не боитесь, тетя Христя, что я у вас живу?

Она покачала головой и сказала, что в деревне много отпущенных домой пленных, правда, это

украинцы, вернувшиеся в родные села. Но она ведь может сказать, что Семенов ее племянник, сын сестры, уехавшей с мужем в Россию.

Семенов уже знал лица соседей, знал старуху, не пустившую его в первый день. Он знал, что вечером девушки шли в кино на станцию, что по субботам на станции «грала оркестра» и были танцы. Его очень интересовало, какие картины немцы показывают в кино. Но к тете Христе заходили лишь старики, они кино не смотрели. И спросить было некого.

Соседка принесла письмо от дочери, уехавшей по вербовке в Германию. Некоторые места в письме Семенов не понял, и ему их объяснили. Девушка писала: «Прилеталы Ванька и Гришка: стеклилы викна». Ванька и Гришка служили в авиации. Значит, на немецкий город был налет советской авиации.

В другом месте девушка писала: «Шов такый дощ, як в Бахмачи». И это тоже значило, что налетали самолеты, в начале войны были сильные налеты на станцию Бахмач.

В тот же вечер к Христе зашел высокий худой старик. Он оглядел Семенова и чисто произнес по-русски:

— Откуда, герой, будешь?

— Пленный я, — ответил Семенов.

Старик сказал:

— Мы все пленные.

Он при Николае служил в армии, был артиллеристом и с удивительной памятью стал воспроизводить перед Семеновым артиллерийские команды. Команды он подавал хрипло, по-русски, а об исполнении доносил звонко, по-молодому, с украинским выговором, видимо, запомнив интонации своего и начальнического голоса, звучавшие много лет назад.

Потом он стал ругать немцев.

Он рассказал Семенову, — вначале люди надеялись, что немцы «знулируют» колхозы, а оказалось, немцы догадались — колхозы и для них хорошее дело. Завели пятихатки, десятихатки, те же звенья и бригады. Тетя Христя протяжным, печальным голосом проговорила:

— Ой, кольхозы, кольхозы!

Семенов проговорил:

— Что ж, колхозы, известное дело, у нас повсюду колхозы.

И тут старуха Чуняк сказала:

— Ты мовчи. Догадуешь, як прийшов до мене з эшелона? От так вся Украина була в эшелони в тридцатом роци. Крапыву всю зъилы, землю

илы… Хлиб до последнего зерна забралы. Мой чоловик помер, а як вин мучывся! Я опухла, голос потиряла, ходыть не могла.

Семенова поразило, что старая Христя голодала, как и он. Ему все казалось, голод, мор бессильны перед хозяйкой доброй хаты.

— А может, вы кулаками были? — спросил он.

— Та яки там кулаки. Вись народ пропадав, хуже чим в вийну.

— А ты деревенский? — спросил старик.

— Нет, — ответил Семенов, — я прирожденный московский, и отец мой прирожденный московский.

— Вот, — хвастливо сказал старик, — если б ты тут был в коллективизацию, пропал бы, городской, сразу бы пропал. Почему я жив остался? Природу понимаю. Ты думаешь, желудь, липовый лист, крапиву, лебеду? Их сразу чисто подобрали. А я пятьдесят шесть растений знаю, которые человеку кушать можно. Вот и остался жив. Весна только-только пришла, ни одного еще листочка нет, а я из земли уже корешки копаю. Я все, брат, знаю: каждый корешок, и кору, и цветочки, и каждую траву понимаю. Корова, овца, лошадь, — кто хочешь с голоду пропадет, а я не пропаду, я лучше их травоядный.

— Московський? — медленно переспросила Христя. — А я и не знала, что ты московський.

Сосед ушел, Семенов лег спать, а Христя сидела, подперев скулы руками, и смотрела в черное ночное окно.

Богатый урожай был в тот год. Пшеница стояла плотной стеной, высокая, по плечо ее Василию, а Христю с головой закрывало.

Тихий протяжный стон стоял над селом, живые скелетики, дети, ползали по полу, чуть слышно скулили; мужики с налитыми водой ногами бродили по дворам, обессиленные голодной одышкой. Женщины выискивали варево для еды, — все было съедено, сварено — крапива, желуди, липовый лист, валявшиеся за хатами копыта, кости, рога, невыделанные овчинные шкуры… А ребята, приехавшие из города, ходили по дворам, мимо мертвых и полумертвых, открывали подполы, копали ямы в сараях, тыкали железными палками в землю, искали, выколачивали кулацкое зерно.

В душный летний день Василий Чуняк затих, перестал дышать. В этот час в хату вновь зашли приехавшие из города хлопцы, и голубоглазый человек, по-кацапски «акая», совсем так же, как «акал» Семенов, проговорил, подойдя к умер-

шему:

— Уперлось кулачье, жизни своей не жалеет.

Христя вздохнула, перекрестилась и стала разбирать постель.

52

Штрум считал, что работу его оценит лишь узкий круг физиков-теоретиков. Но оказалось не так. Ему в последнее время звонили по телефону не только знакомые физики, но и математики, и химики. Некоторые просили его разъяснений, — математические выводы его были сложны.

В институт к нему явились делегаты от студенческого общества, просили сделать доклад для студентов-физиков и математиков старших курсов. Он дважды выступал в Академии. Марков, Савостьянов рассказывали ему, что о работе его спорят во многих институтских лабораториях.

Людмила Николаевна слышала в лимитном магазине, как одна супруга ученого спросила другую: «Вы за кем стоите?» Та ответила: «Вот за женой Штрума». И вопрошавшая сказала: «Того самого?»

Виктор Павлович не показывал, что неожиданно широкий интерес к его работе радует его. Но он не был равнодушен к славе. На ученом совете института работа его была выдвинута на Сталинскую премию. Штрум на это заседание не пошел, но вечером все поглядывал на телефон, — ждал

звонка Соколова. Первым позвонил ему после заседания Савостьянов.

Обычно насмешливый, даже циничный, Савостьянов сейчас говорил не по-обычному.

— Это триумф, настоящий триумф! — повторял он.

Он рассказал о выступлении академика Прасолова. Старик говорил, что со времен его покойного друга Лебедева, исследовавшего световое давление, в стенах физического института не рождалась работа такого значения.

Профессор Свечин говорил о математическом методе Штрума, доказывал, что в самом методе есть элементы новаторства. Он сказал, что только советские люди способны в условиях войны так беззаветно отдавать свои силы на служение народу.

Выступали еще многие, выступал Марков, но самую яркую и сильную речь сказал Гуревич.

— Молодчина, — сказал Савостьянов, — он-то сказал нужные слова, сработал без ограничителя. Назвал вашу работу классической и сказал, что ее нужно поставить рядом с трудами основателей атомной физики — Планка, Бора, Ферми.

«Сильно», — подумал Штрум.

Вскоре после Савостьянова позвонил Соколов.

— К вам сегодня не пробиться, звоню уж двадцать минут, все занято, — сказал он.

Соколов был тоже взволнован и обрадован.

Штрум сказал:

— Я забыл спросить у Савостьянова о голосовании.

Соколов сказал, что против Штрума голосовал профессор Гавронов, занимавшийся историей физики, — по его мнению, работа Штрума ненаучно построена, вытекает из идеалистических воззрений западных физиков, практически бесперспективна.

— Это даже хорошо, что Гавронов против, — сказал Штрум.

— Да, пожалуй, — согласился Соколов.

Гавронов был странным человеком, его шутя называли «братья славяне», он с фанатической упорностью доказывал, что все достижения физики связаны с трудами русских ученых, ставил мало кому известные имена Петрова, Умова, Яковлева выше имен Фарадея, Максвелла, Эйнштейна.

Соколов шутливо сказал:

— Видите, Виктор Павлович, вот Москва и признала значение вашей работы. Скоро пировать у вас будем.

Взяла трубку Марья Ивановна, сказала:

— Поздравляю, поздравьте Людмилу Николаевну, я так рада за вас и за нее.

Штрум сказал:

— Все суета сует.

Но суета сует радовала и волновала его.

Ночью, когда Людмила Николаевна уже собиралась спать, позвонил Марков. Это был знаток официальной конъюнктуры и по-иному, чем Савостьянов и Соколов, рассказал об ученом совете. Ковченко после выступления Гуревича под общий смех сказал:

— Вот и в Институте математики ударили в колокола, шумят вокруг работы Виктора Павловича. Правда, крестного хода там еще не было, но хоругви уже поднимали.

В шутке Ковченко подозрительный Марков почувствовал недоброжелательство. Остальные его наблюдения касались Шишакова. Алексей Алексеевич не высказал своего отношения к работе Штрума. Слушая ораторов, он кивал головой, то ли одобрительно, то ли в смысле: «Мели, Емеля, твоя неделя».

Шишаков ратовал о выдвижении на премию работы молодого профессора Молоканова; работа его была посвящена рентгеноанализу стали и

имела лишь узкопрактическое значение для нескольких заводов, вырабатывающих качественный металл.

Потом Марков сказал, что после заседания Шишаков подошел к Гавронову и говорил с ним.

Штрум сказал:

— Вам, Вячеслав Иванович, работать по дипломатическому ведомству.

Марков, не умевший шутить, ответил:

— Нет, я физик-экспериментатор.

Штрум зашел к Людмиле в комнату и сказал:

— Выдвинули меня на Сталинскую премию. Рассказывают много приятных для меня вещей.

И он передал ей о выступлениях участников заседания.

— Весь этот официальный успех — чушь. Но знаешь, тошен мне вечный комплекс неполноценности. Входишь в зал заседаний — первый ряд свободен, но я не решаюсь сесть, иду на «камчатку». А Шишаков, Постоев, не колеблясь, сядут в президиум. Мне плевать на это кресло, но внутренне, внутренне хотя бы ощущать свое право на него.

— Как бы Толя радовался, — сказала Людмила Николаевна.

— Вот и маме я не напишу об этом.

Людмила Николаевна сказала:

— Витя, уже двенадцатый час, Нади нет. Вчера она пришла в одиннадцать.

— Что ж тут такого?

— Она говорит, что у подруги, но меня это тревожит. Она говорит, что у отца Майки есть ночной пропуск на машину и он ее подвозит до нашего угла.

— Чего ж тревожиться? — сказал Виктор Павлович и подумал: «Господи, речь идет о большом успехе, о государственной Сталинской премии, зачем перебивать этот разговор житейскими пустяками».

Он помолчал, кротко вздохнул.

На третий день после заседания ученого совета Штрум позвонил Шишакову по домашнему телефону, он хотел просить его принять на работу молодого физика Ландесмана. Дирекция и отдел кадров все оттягивали оформление. Одновременно он хотел попросить, чтобы Алексей Алексеевич ускорил вызов из Казани Анны Наумовны Вайспапир. Теперь, когда в институте шел новый набор, не было смысла оставлять квалифицированных работников в Казани.

Он давно уж хотел говорить обо всем этом с Шишаковым, но казалось, что Шишаков мо-

жет быть с ним недостаточно любезен, скажет: «Обратитесь к моему заместителю». И Штрум все откладывал этот разговор.

Теперь волна успеха подняла его. Десять дней назад ему казалось неудобным прийти на прием к Шишакову, а сегодня было просто и естественно позвонить ему на дом.

Женский голос осведомился:

— Кто спрашивает?

Штрум ответил. Ему было приятно слышать свой голос, так неторопливо, спокойно назвал он себя.

Женщина у телефона помедлила, потом ласково сказала: «Одну минуточку», — а через минуточку она так же ласково проговорила:

— Пожалуйста, позвоните завтра в десять часов в институт.

— Простите, пожалуйста, — сказал Штрум.

Всем телом, кожей он ощутил жгучую неловкость.

Он тоскливо угадывал, что и ночью во сне его не оставит это чувство, что он утром, проснувшись, подумает: «Почему тошно?» — и вспомнит: «Ах да, этот дурацкий звонок».

Он зашел в комнату к жене и рассказал о несостоявшемся разговоре с Шишаковым.

— Да-да, не к масти козырь, как говорит обо мне твоя мама.

Он стал ругать женщину, отвечавшую ему.

— Черт, сука, не выношу гнусную манеру узнавать, кто спрашивает, а потом отвечать: барин занят.

Людмила Николаевна в подобных случаях обычно возмущалась, и ему хотелось ее послушать.

— Помнишь, — сказал он, — я считал, что равнодушие Шишакова связано с тем, что он не может нажить на моей работе капитал. А теперь мне сдается, что капитал ему можно нажить, но по-другому: дискредитировать меня. Ведь он знает: Садко меня не любит.

— Господи, до чего ты подозрителен, — сказала Людмила Николаевна, — который час?

— Четверть десятого.

— Видишь, а Нади нет.

— Господи, — сказал Штрум, — до чего ж ты подозрительна.

— Между прочим, — сказала Людмила Николаевна, — сегодня я слышала в лимитном: Свечина, оказывается, тоже на премию выдвигают.

— Скажи пожалуйста, он не сказал мне. За что ж это?

— За теорию рассеяния, кажется.

— Непонятно. Ведь она была опубликована до войны.

— Ну и что ж. За прошлое тоже дают. Он получит, а ты нет. Вот увидишь. Ты все для этого делаешь.

— Дура ты, Люда. Садко меня не любит!

— Тебе мамы недостает. Она тебе во всем подпевала.

— Не понимаю твоего раздражения. Если б в свое время ты к моей маме проявляла хоть долю того тепла, что я к Александре Владимировне.

— Анна Семеновна никогда не любила Толю, — сказала Людмила Николаевна.

— Неправда, неправда, — сказал Штрум, и жена показалась ему чужой, пугающей своей упорной несправедливостью.

53

Утром в институте Штрум узнал от Соколова новость. Накануне вечером Шишаков пригласил к себе в гости нескольких работников института. За Соколовым на машине заехал Ковченко.

Среди званых был заведующий отделом науки ЦК, молодой Бадьин.

Штрума покоробила неловкость, — очевидно, он звонил Шишакову в то время, когда собрались гости.

Усмехаясь, он сказал Соколову:

— В числе приглашенных был граф Сен-Жермен, о чем же говорили господа?

Он вспомнил, как, звоня по телефону Шишакову, бархатным голосом назвал себя, уверенный, что, услыша фамилию «Штрум», Алексей Алексеевич радостно кинется к телефону. Он даже застонал от этого воспоминания, подумал, что так жалобно стонут собаки, тщетно вычесывая невыносимо лютую блоху.

— Между прочим, — сказал Соколов, — обставлено это было совсем не по-военному. Кофе, сухое вино «Гурджаани». И народу было мало, человек десять.

— Странно, — сказал Штрум, и Соколов понял, к чему относилось это задумчивое «странно», тоже задумчиво сказал:

— Да, не совсем понятно, вернее, совсем непонятно.

— А Натан Самсонович был? — спросил Штрум.

— Гуревич не был, кажется, ему звонили, он вел занятия с аспирантами.

— Да-да-да, — сказал Штрум и забарабанил пальцем по столу. Потом он неожиданно для самого себя спросил Соколова: — Петр Лаврентьевич, о работе моей ничего не говорили?

Соколов помялся:

— Такое чувство, Виктор Павлович, что ваши хвалители и поклонники оказывают вам медвежью услугу, — начальство раздражается.

— Чего ж вы молчите? Ну?

Соколов рассказал, что Гавронов заговорил о том, что работа Штрума противоречит ленинским взглядам на природу материи.

— Ну? — сказал Штрум. — И что же?

— Да, понимаете, Гавронов — это чепуха, но неприятно, Бадьин его поддержал. Что-то вроде того, что работа ваша при всей своей талантливости противоречит установкам, данным на том

знаменитом совещании.

Он оглянулся на дверь, потом на телефон и сказал вполголоса:

— Понимаете, мне показалось, не вздумают ли наши шефы институтские в связи с кампанией за партийность науки избрать вас в качестве козла отпущения. Знаете, как у нас кампании проводятся. Выберут жертву — и давай ее молотить. Это было бы ужасно. Ведь работа замечательная, особая!

— Что же, так никто и не возражал?

— Пожалуй, нет.

— А вы, Петр Лаврентьевич?

— Я считал бессмысленным вступать в спор. Нет смысла опровергать демагогию.

Штрум смутился, чувствуя смущение своего друга, и сказал:

— Да-да, конечно, конечно. Вы правы.

Они молчали, но молчание их не было легким. Холодок страха коснулся Штрума, того, что всегда тайно жил в сердце, страха перед гневом государства, страха оказаться жертвой этого гнева, обращающего человека в пыль.

— Да-да-да, — задумчиво сказал он, — не до жиру, быть бы живу.

— Как я хочу, чтобы вы поняли это, — вполго-

лоса сказал Соколов.

— Петр Лаврентьевич, — тоже вполголоса спросил Штрум, — как там Мадьяров, благополучен? Пишет он вам? Я иногда очень тревожусь, сам не знаю отчего.

В этом внезапном разговоре шепотом они как бы выразили, что у людей есть свои, особые, людские, негосударственные отношения.

Соколов спокойно, раздельно ответил:

— Нет, я из Казани ничего не имею.

Его спокойный, громкий голос как бы сказал, что ни к чему им сейчас эти особые, людские, отделенные от государства отношения.

В кабинет зашли Марков и Савостьянов, и начался совсем другой разговор. Марков стал приводить примеры жен, портящих мужьям жизнь.

— Каждый имеет жену, которую заслуживает, — сказал Соколов, посмотрел на часы и вышел из комнаты.

Савостьянов, посмеиваясь, сказал ему вслед:

— Если в троллейбусе одно место свободно, Марья Ивановна стоит, а Петр Лаврентьевич садится. Если ночью позвонит кто-нибудь, — он уж не встанет с постели, а Машенька бежит в халатике спрашивать, кто там. Ясно: жена — друг человека.

— Я не из числа счастливцев, — сказал Марков. — Мне говорят: «Ты что, оглох, пойди открой дверь».

Штрум, вдруг озлившись, сказал:

— Ну что вы, где нам… Петр Лаврентьевич светило, супруг!

— Вам-то что, Вячеслав Иванович, — сказал Савостьянов, — вы теперь и дни, и ночи в лаборатории, вне досягаемости.

— А думаете, мне не достается за это? — спросил Марков.

— Ясно, — сказал Савостьянов и облизнул губы, предвкушая свою новую остроту. — Сиди дома! Как говорят, мой дом — моя Петропавловская крепость.

Марков и Штрум рассмеялись, и Марков, видимо, опасаясь, что веселый разговор может затянуться, встал и сказал самому себе:

— Вячеслав Иванович, пора за дело.

Когда он вышел, Штрум сказал:

— Такой чопорный, с размеренными движениями, а стал, как пьяный. Действительно, дни и ночи в лаборатории.

— Да-да, — подтвердил Савостьянов, — он, как птица, строящая гнездо. Весь целиком ушел в работу!

Штрум усмехнулся:

— Он даже теперь светских новостей не замечает, перестал их передавать. Да-да, мне нравится, — как птица, строящая гнездо.

Савостьянов резко повернулся к Штруму.

Его молодое светлобровое лицо было серьезно.

— Кстати, о светских новостях, — сказал он, — должен сказать, Виктор Павлович, что вчерашняя ассамблея у Шишакова, на которую вас не позвали, это, знаете, что-то такое возмутительное, такое дикое…

Штрум поморщился, это выражение сочувствия казалось унизительным.

— Да бросьте вы, прекратите, — резко сказал он.

— Виктор Павлович, — сказал Савостьянов, — конечно, плевать на то, что Шишаков вас не позвал. Но вам ведь Петр Лаврентьевич рассказал, какую гнусь говорил Гавронов? Это же надо иметь наглость, сказать, что в работе вашей дух иудаизма и что Гуревич назвал ее классической и так хвалил ее только потому, что вы еврей. И сказать всю эту мерзость при молчаливых усмешечках начальства. Вот вам и «брат славянин».

Во время обеденного перерыва Штрум не пошел в столовую, шагал из угла в угол по своему

кабинету. Думал ли он, что столько дряни есть в людях? Но молодец Савостьянов! А казалось, что пустой малый, с вечными остротами и фотографиями девиц в купальных костюмах. Да в общем, все это пустяки. Болтовня Гавронова ничтожна, — психопат, мелкий завистник. Никто не возразил ему, потому что слишком нелепо, смешно то, что он заявил.

И все же пустяки, мелочи волновали, мучили. Как же это Шишаков мог не позвать Штрума? Действительно, грубо, глупо. А особенно унизительно, что Штруму совершенно безразличен бездарный Шишаков и его вечеринки, а больно Штруму так, словно в его жизни случилось непоправимое несчастье. Он понимает, что это глупо, а сделать с собой ничего не может. Да-да, а еще хотел на яичко больше, чем Соколов, получить. Ишь ты!

Но одна вещь действительно по-серьезному жгла сердце. Ему хотелось сказать Соколову: «Как же вам не стыдно, друг мой? Как вы могли скрыть от меня, что Гавронов обливал меня грязью? Петр Лаврентьевич, вы и там молчали, вы и со мной молчали. Стыдно, стыдно вам!»

Но, несмотря на свое волнение, он тут же говорил самому себе: «Но ведь и ты молчишь. Ты ведь

не сказал своему другу Соколову, в чем подозревает его родича Мадьярова Каримов? Промолчал! От неловкости? От деликатности? Врешь! Страха ради иудейска».

Видимо, судьба судила, чтобы весь этот день был тяжелым.

В кабинет вошла Анна Степановна, и Штрум, посмотрев на ее расстроенное лицо, спросил:

— Что случилось, Анна Степановна, дорогая? — «Неужели слышала о моих неприятностях?» — подумал он.

— Виктор Павлович, что ж это? — сказала она. — Вот так вот, за моей спиной, почему я заслужила такое?

Анну Степановну просили зайти во время обеденного перерыва в отдел кадров, там ей предложили написать заявление об уходе. Получено распоряжение директора об увольнении лаборантов, не имеющих высшего образования.

— Брехня, я понятия об этом не имею, — сказал Штрум. — Я все улажу, поверьте мне.

Анну Степановну особенно обидели слова Дубенкова, что администрация ничего не имеет против нее лично.

— Виктор Павлович, что против меня можно иметь? Вы меня простите, ради бога, я вам поме-

шала работать.

Штрум накинул на плечи пальто и пошел через двор к двухэтажному зданию, где помещался отдел кадров.

«Ладно, ладно, — думал он, — ладно, ладно». Больше он ничего не думал. Но в это «ладно, ладно» было много вложено.

Дубенков, здороваясь с Штрумом, проговорил:

— А я собрался вам звонить.

— По поводу Анны Степановны?

— Нет, зачем, в связи с некоторыми обстоятельствами ведущим работникам института нужно будет заполнить вот эту анкетку.

Штрум посмотрел на пачку анкетных листов и произнес:

— Ого! Да это на неделю работы.

— Что вы, Виктор Павлович. Только, пожалуйста, не проставляйте, в случае отрицательного ответа, черточек, а пишите: «нет, не был; нет, не состоял; нет, не имею» и так далее.

— Вот что, дорогой, — сказал Штрум, — надо отменить нелепый приказ об увольнении нашего старшего лаборанта Анны Степановны Лошаковой.

Дубенков сказал:

— Лошаковой? Виктор Павлович, как я могу

отменить приказ дирекции?

— Да это черт знает что! Она институт спасала, добро охраняла под бомбами. А ее увольняют по формальным основаниям.

— Без формального основания у нас никого не уволят с работы, — с достоинством сказал Дубенков.

— Анна Степановна не только чудный человек, она один из лучших работников нашей лаборатории.

— Если она действительно незаменима, обратитесь к Касьяну Терентьевичу, — сказал Дубенков. — Кстати, вы с ним согласуете еще два вопроса по вашей лаборатории.

Он протянул Штруму две скрепленные вместе бумажки.

— Тут по поводу замещения должности научного сотрудника по конкурсу, — он заглянул в бумагу и медленно прочел: — Ландесман Эмилий Пинхусович.

— Да, это я писал, — сказал Штрум, узнав бумагу в руках Дубенкова.

— Вот тут резолюция Касьяна Терентьевича: «Ввиду несоответствия требованиям».

— То есть как, — спросил Штрум, — несоответствия? Я-то знаю, что он соответствует, откуда же

Ковченко знает, кто мне соответствует?

— Вот вы и утрясите с Касьяном Терентьевичем, — сказал Дубенков. Он заглянул во вторую бумагу и сказал: — А это заявление наших сотрудников, оставшихся в Казани, и тут ваше ходатайство.

— Да, что же?

— Касьян Терентьевич пишет: нецелесообразно, поскольку они продуктивно работают в Казанском университете, отложить рассмотрение вопроса до окончания учебного года.

Он говорил негромко, мягко, точно желая ласковостью своего голоса смягчить неприятное для Штрума известие, но в глазах его не было ласковости, одна лишь любопытствующая недоброта.

— Благодарю вас, товарищ Дубенков, — сказал Штрум.

Штрум снова шел по двору и снова повторял: «Ладно, ладно». Ему не нужна поддержка начальства, ему не нужна любовь друзей, душевная общность с женой, он умеет воевать в одиночку. Вернувшись в главный корпус, он поднялся на второй этаж.

Ковченко, в черном пиджаке, вышитой украинской рубахе, вышел из кабинета вслед за доложившей ему о приходе Штрума секретаршей

и сказал:

— Прошу, прошу, Виктор Павлович, в мою хату.

Штрум вошел в «хату», обставленную красными креслами и диванами. Ковченко усадил Штрума на диван и сам сел рядом.

Он улыбался, слушая Штрума, и его приветливость чем-то напоминала приветливость Дубенкова. Вот, вероятно, так же улыбался он, когда Гавронов произносил свою речь об открытии Штрума.

— Что же делать, — сокрушаясь, проговорил Ковченко и развел руками. — Не мы все это напридумывали. Она под бомбами была? Теперь это не считается заслугой, Виктор Павлович; каждый советский человек идет под бомбы, если только ему прикажет родина.

Потом Ковченко задумался и сказал:

— Есть возможность, хотя, конечно, будут придирки. Переведем Лошакову на должность препаратора. Энэровскую карточку мы ей сохраним. Вот — могу вам обещать.

— Нет, это оскорбительно для нее, — сказал Штрум.

Ковченко спросил:

— Виктор Павлович, что ж вы хотите, — чтобы

у советского государства были одни законы, а в лаборатории Штрума другие?

— Наоборот, я хочу, чтобы к моей лаборатории именно и применялись советские законы. А по советским законам Лошакову нельзя увольнять.

Он спросил:

— Касьян Терентьевич, если уж говорить о законах, почему вы не утвердили в мою лабораторию талантливого юношу Ландесмана?

Ковченко пожевал губами.

— Видите ли, Виктор Павлович, может быть, он по вашим заданиям и сможет работать успешно, но есть еще обстоятельства, с ними должно считаться руководство института.

— Очень хорошо, — сказал Штрум и снова повторил: — Очень хорошо.

Потом он спросил:

— Анкета, да? Родственники за границей?

Ковченко неопределенно развел руками.

— Касьян Терентьевич, если уж продолжать этот приятный разговор, — сказал Штрум, — почему вы тормозите возвращение из Казани моей сотрудницы Анны Наумовны Вайспапир? Она, кстати, кандидат наук. В чем тут противоречие между моей лабораторией и государством?

Ковченко со страдальческим лицом сказал:

— Виктор Павлович, что вы меня допрашиваете? Я отвечаю за кадры, поймите вы это.

— Очень хорошо, очень хорошо, — сказал Штрум, чувствуя, что окончательно созрел для грубого разговора. — Вот что, уважаемый, — сказал он, — так работать я дальше не могу. Наука существует не для Дубенкова и не для вас. Я тоже здесь существую ради работы, а не для неясных мне интересов отдела кадров. Я напишу Алексею Алексеевичу, — пусть назначит Дубенкова заведовать ядерной лабораторией.

Ковченко сказал:

— Виктор Павлович, право же, успокойтесь.

— Нет, я так работать не буду.

— Виктор Павлович, вы не представляете, как руководство ценит вашу работу, в частности я.

— А мне плевать, цените вы меня или нет, — сказал Штрум и увидел в лице Ковченко не обиду, а веселое удовольствие.

— Виктор Павлович, — сказал Ковченко, — мы ни в коем случае не допустим, чтобы вы оставили институт. — Он нахмурился и добавил: — И вовсе не потому, что вы незаменимы. Неужели вы думаете, что некем уж заменить Виктора Павловича Штрума? — И совсем уж ласково закончил: — Неужели некем в России заменить

вас, если вы не можете заниматься наукой без Ландесмана и Вайспапир?

Он смотрел на Штрума, и Виктор Павлович почувствовал, — вот-вот Ковченко скажет те слова, что все время, как незримый туман, вились между ними, касались глаз, рук, мозга.

Штрум опустил голову, и уже не было профессора, доктора наук, знаменитого ученого, совершившего замечательное открытие, умевшего быть надменным и снисходительным, независимым и резким.

Сутулый и узкоплечий, горбоносый, курчавый мужчина, сощурившись, точно ожидая удара по щеке, смотрел на человека в вышитой украинской рубахе и ждал.

Ковченко тихо проговорил:

— Виктор Павлович, не волнуйтесь, не волнуйтесь, право же, не волнуйтесь. Ну что вы, ей-богу, из-за такой ерунды затеваете волынку.

54

Ночью, когда жена и дочь легли спать, Штрум взялся заполнять анкету. Почти все вопросы в анкете были те же, что и до войны. И потому, что они были прежними, они казались Виктору Павловичу странными, как-то по-новому тревожили его.

Государство было взволновано не тем, достаточен ли математический аппарат, которым Штрум пользовался в своей работе, соответствует ли монтируемая в лаборатории установка тем сложным опытам, которые будут проведены с ее помощью, хороша ли защита от нейтронного излучения, достаточна ли дружба и научная связь Соколова и Маркова со Штрумом, подготовлены ли младшие сотрудники к производству утомительных расчетов, понимают ли они, как много зависит от их терпения, напряжения и сосредоточенности.

Это была царь-анкета, анкета анкет. Она хотела знать все об отце Людмилы, о ее матери, о дедушке и бабушке Виктора Павловича, о том, где они жили, когда умерли, где похоронены. В связи с чем отец Виктора Павловича, Павел Иосифович,

ездил в 1910 году в Берлин? Государственная тревога была серьезна и хмура. Штрум, просмотрев анкету, сам заразился неуверенностью в своей надежности и подлинности.

1. Фамилия, имя, отчество… Кто он, человек, вписывающий в анкетный лист в ночной час: Штрум, Виктор Павлович? Ведь, кажется, мать была с отцом в гражданском браке, ведь они разошлись, когда Вите исполнилось два года, ему помнится, в бумагах отца стояло имя Пинхус, а не Павел. Почему я Виктор Павлович? Кто я, познал ли я себя, а вдруг, по существу своему, я Гольдман, а может быть, я Сагайдачный? Или француз Дефорж, он же Дубровский?

И, полный сомнений, он принялся отвечать на второй вопрос.

2. Дата рождения… года… месяца… дня… укажите новый и старый стиль. Что знал он об этом темном декабрьском дне, мог ли уверенно подтвердить, что именно в этот день родился он? Не указать ли, чтобы снять с себя ответственность, — «со слов».

3. Пол… Штрум смело написал: «мужчина». Он подумал: «Ну, какой я мужчина, настоящий мужчина не смолчал бы после отстранения Чепыжина».

4. Место рождения старого (губ., уезд, волость и деревня) и нового (обл., край, район и село) районирования… Штрум написал: Харьков. Мать рассказывала ему, что родился он в Бахмуте, а метрику на него она выправила в Харькове, куда переехала через два месяца после рождения сына. Как быть, стоит ли делать оговорку?

5. Национальность… Вот и пятый пункт. Такой простой, не значащий в довоенное время и какой-то чуть-чуть особенный сейчас.

Штрум, нажимая на перо, решительными буквами написал: «еврей». Он не знал, что будет вскоре значить для сотен тысяч людей ответить на пятый вопрос анкеты: калмык, балкарец, чеченец, крымский татарин, еврей…

Он не знал, что год от года будут сгущаться вокруг этого пятого пункта мрачные страсти, что страх, злоба, отчаяние, безысходность, кровь будут перебираться, перекочевывать в него из соседнего шестого пункта «социальное происхождение», что через несколько лет многие люди станут заполнять пятый пункт анкеты с тем чувством рока, с которым в прошлые десятилетия отвечали на шестой вопрос дети казачьих офицеров, дворян и фабрикантов, сыновья священников.

Но он уже ощущал и предчувствовал сгущение силовых линий вокруг пятого вопроса анкеты. Накануне вечером ему позвонил по телефону Ландесман, и Штрум ему сказал, что ничего не получится с его оформлением. «Я так и предполагал», — сказал Ландесман злым, упрекающим Штрума голосом. «У вас непорядок в анкете?» — спросил Штрум. Ландесман фыркнул в трубку и сказал: «Непорядок выражен в фамилии».

Надя сказала во время вечернего чаепития:

— Знаешь, папа, Майкин папа сказал, что в будущем году в Институт международных отношений не примут ни одного еврея.

«Что же, — подумал Штрум, — еврей так еврей, ничего не попишешь».

6. Социальное происхождение… Это был ствол могучего дерева, его корни уходили глубоко в землю, его ветви широко расстилались над просторными листами анкеты: социальное происхождение матери и отца, родителей матери и отца… социальное происхождение жены, родителей жены… если вы в разводе, социальное происхождение бывшей жены, чем занимались ее родители до революции.

Великая революция была социальной революцией, революцией бедноты. В шестом вопросе,

всегда казалось Штруму, естественно выражалось справедливое недоверие бедноты, возникшее за тысячелетия господства богатых.

Он написал «из мещан». Мещанин! Какой уж он мещанин. И вдруг, возможно, война сделала это, он усомнился в действительности бездны между справедливым советским вопросом о социальном происхождении и кровавым вопросом немцев о национальности. Ему вспомнились казанские вечерние разговоры, речь Мадьярова о чеховском отношении к человеку.

Он подумал: «Мне кажется моральным, справедливым социальный признак. Но немцам бесспорно моральным кажется национальный признак. А мне ясно: ужасно убивать евреев за то, что они евреи. Ведь они люди, — каждый из них человек — хороший, злой, талантливый, глупый, тупой, веселый, добрый, отзывчивый, скаред. А Гитлер говорит: все равно, важно одно — еврей. И я всем существом протестую! Но ведь у нас такой же принцип, — важно, что из дворян, важно, что из кулаков, из купцов. А то, что они хорошие, злые, талантливые, добрые, глупые, веселые, — как же? А ведь в наших анкетах речь идет даже не о купцах, священниках, дворянах. Речь идет об их детях и внуках. Что же, у них дворянство в

крови, как еврейство, они купцы, священники по крови, что ли? Ведь чушь. Софья Перовская была генеральская дочка, не просто генеральская, губернаторская. Гнать ее! А Комиссаров, полицейский прихвостень, который схватил Каракозова, ответил бы на шестой пункт: «из мещан». Его бы приняли в университет, утвердили в должности. А ведь Сталин сказал: «Сын за отца не отвечает». Но ведь Сталин сказал: «Яблочко от яблони недалеко падает». Ну что ж, из мещан так из мещан».

7. Социальное положение… Служащий? Служащий — бухгалтер, регистратор. Служащий Штрум математически обосновал механизм распада атомных ядер, служащий Марков хочет с помощью новой экспериментальной установки подтвердить теоретические выводы служащего Штрума.

«А ведь правильно, — подумал он, — именно служащий».

Он пожимал плечами, вставал, ходил по комнате, отстранял кого-то движением ладони. Потом Штрум садился за стол и отвечал на вопросы.

29. Привлекались ли вы или ваши ближайшие родственники к суду, следствию, были ли арестованы, подвергались ли наказаниям в судебном и административном порядке, когда, где и за что

именно? Если судимость снята, то когда?..

Тот же вопрос, обращенный к жене Штрума. Холодок пробежал в груди. Здесь не до споров, здесь не шутят. В голове замелькали имена. Я уверен, что он ни в чем не виноват… человек не от мира сего… она была арестована за недонесение на мужа, кажется, дали восемь лет, не знаю точно, я не переписываюсь с ней, Темники, кажется, случайно узнал, встретил ее дочь на улице… не помню точно, он, кажется, был арестован в начале тридцать восьмого года, да, десять лет без права переписки…

Брат жены был членом партии, я с ним встречался редко; ни я, ни жена с ним не переписываемся; мать жены, кажется, ездила к нему, да-да, задолго до войны, его вторая жена выслана за недонесение на мужа, она умерла во время войны, его сын — участник обороны Сталинграда, пошел добровольцем… Моя жена разошлась с первым мужем, сын от первого брака, мой пасынок, погиб на фронте, защищая Сталинград… Первый муж был арестован, с момента развода жена ничего не знает о нем… За что осужден, не знаю, туманно слышал, — что-то вроде принадлежности к троцкистской оппозиции, но я не уверен, меня это совершенно не интересовало…

Безысходное чувство виновности, нечистоты охватило Штрума. Он вспомнил про каявшегося партийца, сказавшего на собрании: «Товарищи, я не наш человек».

И вдруг протест охватил его. Я не из смиренных и покорных! Садко меня не любит, — пусть! Я одинок, жена перестала интересоваться мной, — пусть! А я не отрекусь от несчастных, невинно погибших.

Стыдно, товарищи, касаться всего этого! Ведь люди невинны, а уж дети, жены, в чем они виноваты? Покаяться надо перед этими людьми, прощения у них просить. А вы хотите доказать мою неполноценность, лишить меня доверия, потому что я нахожусь в родстве с невинно пострадавшими? Если я и виноват, то только в том, что мало помогал им в беде.

А второй ход мыслей, разительно противоположный, шел рядом в мозгу того же человека.

Я ведь не поддерживал с ними связи. Я не переписывался с врагами, я не получал писем из лагерей, я не оказывал им материальной поддержки, встречи мои с ними были редки, случайны…

30. Живет ли кто-либо из ваших родственников за границей (где, с каких пор, по каким причинам

выехали)? Поддерживаете ли вы с ними связь?

Новый вопрос усилил его тоску.

Товарищи, неужели вы не понимаете, что в условиях царской России эмиграция была неизбежна! Ведь эмигрировала беднота, эмигрировали свободолюбивые люди, Ленин тоже ведь жил в Лондоне, Цюрихе, Париже. Почему же вы подмигиваете, читая о моих тетках и дядях, об их дочерях и сыновьях в Нью-Йорке, Париже, Буэнос-Айресе?.. Кто это из знакомых сострил: «Тетка в Нью-Йорке… Раньше я думал — голод не тетка, а оказывается, тетка — это голод».

Но действительно получалось, что список его родственников, живущих за границей, немногим меньше списка его научных работ. А если добавить список репрессированных…

Ну вот и распластали человека. На свалку его! Чужак! Но ведь ложь, ложь! Он, а не Гавронов и Дубенков, нужен науке; он жизнь отдаст за свою страну. А мало ли людей с блистательными анкетами, способных обмануть, предать? Мало ли людей писали в анкетах: отец — кулак, отец — бывший помещик, — и отдали жизнь в бою, пошли в партизаны, пойдут на плаху?

Что ж это? Он-то знал: статистический метод! Вероятность! Большая вероятность встретить

врага среди людей с нетрудовым прошлым, чем среди людей из пролетарской среды. Но ведь и немецкие фашисты, основываясь на большей и меньшей вероятности, уничтожают народы, нации. Этот принцип бесчеловечен. Он бесчеловечен и слеп. К людям мыслим лишь один подход — человеческий.

Виктор Павлович составит другую анкету, принимая людей в лабораторию, человеческую анкету.

Ему безразлично — русский, еврей, украинец, армянин — человек, с которым ему предстоит работать; рабочий, фабрикант, кулак ли его дедушка; его отношение к товарищу по работе не зависит от того, арестован ли его брат органами НКВД, ему безразлично, живут ли сестры его товарища по работе в Костроме или Женеве.

Он спросит, — с какого возраста вас интересует теоретическая физика, как вы относитесь к эйнштейновской критике старика Планка, склонны ли вы к одним лишь математическим размышлениям или вас влечет и экспериментальная работа, как вы относитесь к Гейзенбергу, верите ли вы в возможность создать единое уравнение поля? Главное, главное — талант, огонь, искра Божия.

Он бы спросил, если, конечно, товарищ по работе хотел бы отвечать, любит ли он пешие прогулки, пьет ли вино, ходит ли на симфонические концерты, нравились ли ему в детстве книги Сетона-Томпсона, кто ему ближе — Толстой или Достоевский, не увлекается ли он садоводством, рыболов ли он, как он относится к Пикассо, какой рассказ Чехова он считает лучшим?

Его интересовало бы, молчалив ли или любит поговорить его будущий товарищ по работе, добр ли он, остроумен ли, злопамятен ли, раздражителен, честолюбив, не станет ли он затевать шашни с хорошенькой Верочкой Пономаревой.

Удивительно хорошо сказал об этом Мадьяров, так хорошо, что все думается, — не провокатор ли он.

Господи, боже мой…

Штрум взял перо и написал: «Эсфирь Семеновна Дашевская, тетка со стороны матери, живет в Буэнос-Айресе с 1909 года, преподавательница музыки».

55

Штрум вошел в кабинет к Шишакову с намерением быть сдержанным, не произнести ни одного резкого слова.

Он понимал: глупо сердиться и обижаться на то, что в голове чиновного академика Штрум и его работа стояли на самых плохих, последних местах.

Но едва Штрум увидел лицо Шишакова, он почувствовал непреодолимое раздражение.

— Алексей Алексеевич, — сказал он, — как говорится, насильно мил не будешь, но вы ни разу не поинтересовались монтажом установки.

Шишаков миролюбиво сказал:

— Обязательно в ближайшее время зайду к вам.

Шеф милостиво обещал осчастливить Штрума своим посещением.

Шишаков добавил:

— Вообще-то мне кажется, что ко всем вашим нуждам руководство достаточно внимательно.

— Особенно отдел кадров.

Шишаков, полный миролюбия, спросил:

— Чем же мешает вам отдел кадров? Вы первый

из руководителей лаборатории, который делает такое заявление.

— Алексей Алексеевич, я тщетно прошу вызвать из Казани Вайспапир, она незаменимый специалист по ядерной фотографии. Я категорически возражаю против увольнения Лошаковой. Она замечательный работник, она замечательный человек. Я не представляю себе, как можно уволить Лошакову. Это бесчеловечно. И, наконец, я прошу утвердить подавшего на конкурс кандидата наук Ландесмана. Он талантливый парень. Вы все же недооцениваете значения нашей лаборатории. Иначе мне не пришлось бы тратить время на подобные разговоры.

— Я ведь тоже трачу время на эти разговоры, — сказал Шишаков.

Штрум, обрадовавшись, что Шишаков перестал говорить с ним миролюбивым тоном, мешавшим Штруму высказать свое раздражение, проговорил:

— Мне очень неприятно, что конфликты эти возникают в основном вокруг людей с еврейскими фамилиями.

— Вот оно что, — сказал Алексей Алексеевич и от мира перешел к войне. — Виктор Павлович, — сказал он, — перед институтом поставлены

ответственные задачи. Вам не нужно говорить, в какое трудное время эти задачи поставлены перед нами. Я полагаю, что ваша лаборатория не может полностью в настоящее время способствовать решению этих задач. А тут еще вокруг вашей работы, несомненно интересной, но столь же несомненно и спорной, был поднят чрезмерный шум.

Он внушительно сказал:

— Это не только моя точка зрения. Товарищи считают, что эта шумиха дезориентирует научных работников. Вчера со мной подробно говорили по этому поводу. Был высказан взгляд, что вам следовало бы задуматься над своими выводами, они противоречат материалистическим представлениям о природе вещества, вы сами должны выступить по этому поводу. Некоторые люди из неясных для меня соображений заинтересованы в том, чтобы спорные теории объявить генеральным направлением науки именно в пору, когда все силы наши должны быть обращены к задачам, поставленным войной. Все это крайне серьезно. Вы же пришли со странными претензиями по поводу некоей Лошаковой. Простите, но я никогда не знал, что Лошакова — еврейская фамилия.

Штрум, слушая Шишакова, растерялся. Никто не высказывал прямо ему в глаза враждебного отношения к его работе. Сейчас впервые он услышал это от академика, руководителя института, в котором он работал.

И, уже не боясь последствий, он сказал все то, что думал и что поэтому никак не следовало ему говорить.

Он сказал, что физике нет дела, подтверждает ли она философию. Он сказал, что логика математических выводов сильней, чем логика Энгельса и Ленина, и пусть Бадьин из отдела науки ЦК приспособляет взгляды Ленина к математике и физике, а не физику и математику к взглядам Ленина. Он сказал, что узкий практицизм губит науку, кем бы он ни был высказан, «даже самим Господом Богом»; лишь великая теория порождает великую практику. Он уверен, что кардинальные технические вопросы, и не только технические, будут еще в двадцатом веке решаться в связи с теорией ядерных процессов. Он охотно выскажется именно в этом духе, если товарищи, имен которых Шишаков ему не называет, считают нужным его выступление.

— А что касается вопроса о людях с еврейскими фамилиями, Алексей Алексеевич, то вам не

следует отшучиваться, если вы действительно русский интеллигент, — сказал он. — В случае вашего отказа в моих просьбах я вынужден буду незамедлительно уйти из института. Так работать я не могу.

Он перевел дыхание, посмотрел на Шишакова, подумал и сказал:

— Мне в таких условиях работать тяжело. Я не только физик, но я и человек. Мне стыдно перед людьми, которые ждут от меня помощи и защиты от несправедливости.

Он произнес сейчас «в таких условиях работать тяжело», у него не хватило запала второй раз повторить слова о незамедлительном уходе. Штрум увидел по лицу Шишакова, что тот заметил эту смягченную формулу.

И, может быть, именно поэтому Шишаков нажал:

— Нам нет смысла продолжать разговор на языке ультиматумов. Я, конечно, вынужден учесть ваши пожелания.

Странное, одновременно тоскливое и радостное, чувство владело Штрумом в течение всего дня. Приборы в лаборатории, новая установка, монтаж которой близился к концу, казались ему частью его жизни, мозга, тела. Как ему существо-

вать отдельно от них?

Страшно было вспоминать о еретических словах, сказанных им директору. И в то же время он ощущал себя сильным. Его беспомощность была одновременно и его силой. Но мог ли он думать, что в дни своего научного торжества, вернувшись в Москву, ему придется вести подобный разговор?

О его столкновении с Шишаковым никто не мог знать, но ему казалось, что сотрудники особенно сердечно сегодня относятся к нему.

Анна Степановна взяла его за руку и сжала ее.

— Виктор Павлович, я вас не хочу благодарить, но я знаю, что вы — это вы, — сказала она.

Он молча стоял возле нее, взволнованный и почти счастливый.

«Мама, мама, — вдруг подумал он. — Видишь, видишь».

По дороге домой он решил ничего не говорить жене, но он не мог преодолеть привычки делиться с ней всем, что происходило с ним, и в передней, снимая пальто, проговорил:

— Ну вот, Людмила, ухожу из института.

Людмила Николаевна расстроилась и огорчилась, но тут же сказала ему слова, которые были ему неприятны:

— Ты ведешь себя так, как будто ты Ломоносов или Менделеев. Уйдешь, — будет вместо тебя Соколов или Марков, — она подняла голову от шитья. — Пусть твой Ландесман на фронт пойдет. А то действительно получается в представлении предубежденных людей: еврей еврея устраивает в оборонном институте.

— Ладно, ладно, хватит, — сказал он. — Ты не рассуждай, Людочка, пожалей. Помнишь, как у Некрасова сказано: «Думал бедняга в храм славы попасть, рад, что попал и в больницу». Я-то считал, что оправдал тот хлеб, что ел, а от меня покаяния требуют за грехи, за ересь. Нет, ты подумай только: выступить с покаяниями. Ведь это бред! И тут же меня дружно выдвигают на премию, студенты ходят. Это все Бадьин! Впрочем, какой уж там Бадьин. Садко меня не любит!

Людмила Николаевна подошла к нему, поправила ему галстук, одернула полу пиджака, спросила:

— Ты, вероятно, не обедал, очень бледный.

— Мне есть не хочется.

— Съешь пока хлеба с маслом, а я разогрею обед.

Потом она накапала в рюмку сердечного лекарства, сказала:

— Выпей, не нравится мне твой вид, дай-ка пульс проверю.

Они пошли на кухню, Штрум жевал хлеб, поглядывал в зеркальце, которое Надя повесила у газового счетчика.

— Как странно, дико, — сказал он, — думал ли я в Казани, что мне придется заполнять стоэтажные анкеты, выслушивать то, что я сегодня выслушал. Какая мощь! Государство и человек… то вознесет его высоко, то в бездну бросит без труда.

— Витя, я хочу с тобой поговорить о Наде, — сказала Людмила Николаевна. — Почти каждый день она возвращается домой после комендантского часа.

— Ты уже говорила мне об этом на днях, — сказал Штрум.

— Я помню, что говорила. Вчера вечером я случайно подошла к окну, отдернула маскировку и вижу: Надя идет с каким-то военным, остановились возле магазина «Молоко», и стала с ним целоваться.

— Вот так так, — сказал Виктор Павлович и от удивления перестал жевать.

Надя целовалась с военным. Штрум несколько мгновений сидел молча, потом стал смеяться. По-

жалуй, только одна эта ошеломляющая новость и могла отвлечь его от тяжелых мыслей, оттеснить его тревоги. На мгновение глаза их встретились, и Людмила Николаевна неожиданно для себя тоже рассмеялась. В этот миг возникло между ними то полное, возможное лишь в редкие минуты жизни, понимание, которому не нужны слова и мысли.

И для Людмилы Николаевны не было неожиданностью, когда Штрум, казалось, некстати проговорил:

— Мила, Мила, но согласись, ведь я правильно срезался с Шишаковым?

Это был простой ход мыслей, но не так уж просто было понять его. Здесь соединились мысль о прожитой жизни, о судьбе Толи и Анны Семеновны, о том, что война, старость ли неминуемо разрушает жизнь, и что сколько бы славы и богатства ни добыл человек, состарившись, он уйдет, умрет, а вместо него придут молодые ребята, и что, может быть, самое важное пройти по жизни честно.

И Штрум спрашивал у жены:

— Ведь верно, правильно?

Людмила Николаевна отрицательно покачала головой. Десятилетия общности, слитности жиз-

ни умели и разделять.

— Знаешь, Люда, — сказал примиренно Штрум, — те, кто в жизни прав, часто не умеют себя вести — взрываются, грубят, бывают бестактны и нетерпимы, и их обычно винят во всех неурядицах и на работе и в семье. А те, кто не правы, обидчики, они умеют себя вести, логичны, спокойны, тактичны, всегда кажутся правыми.

Надя пришла в одиннадцатом часу. Услышав шум ключа в замке, Людмила Николаевна сказала мужу:

— Поговори с ней.

— Тебе удобней, не стану я, — сказал Виктор Павлович, но, когда Надя, растрепанная и красноносая, вошла в столовую, он сказал: — С кем это ты целуешься перед парадной дверью?

Надя внезапно оглянулась, точно собираясь бежать, полуоткрыв рот, смотрела на отца.

Через мгновение она повела плечами и равнодушно проговорила:

— А… Андрюша Ломов, он сейчас в школе лейтенантов.

— Ты что ж, замуж за него собралась? — спросил Штрум, пораженный самоуверенным голосом Нади. Он оглянулся на жену, видит ли она Надю.

Словно взрослая, Надя, сощурив глаза, роняла

раздраженно слова.

— Замуж? — переспросила она, и это слово, отнесенное к дочери, поразило Штрума. — Возможно, собралась!

Потом она добавила:

— А может быть, нет, я еще окончательно не решила.

Людмила Николаевна, все время молчавшая, спросила:

— Надя, зачем же ты лгала про какого-то Майкиного отца и уроки? Я никогда не лгала своей маме.

Штрум вспомнил, что в пору его ухаживания за Людмилой та говорила, приходя на свидание: «Толю оставила маме, наврала ей, что иду в библиотеку».

Надя, вдруг вернувшись в свое ребячье естество, плаксивым и злым голосом крикнула:

— А шпионить за мной хорошо? Твоя мама тоже шпионила за тобой?

Штрум в бешенстве рявкнул:

— Дура, не смей дерзить матери!

Она скучающе и терпеливо глядела на него.

— Так что ж, Надежда Викторовна, вы, следовательно, еще не решили, идете ли вы замуж или станете наложницей молодого полковника?

— Нет, еще не решила, во-вторых, он не полковник, — ответила Надя.

Неужели губы его дочери целует какой-то малый в военной шинели? Неужели в девчонку, Надьку, смешную, умную дуру, можно влюбиться, заглядывать ей в щенячьи глаза?

Но ведь это вечная история…

Людмила Николаевна молчала, понимая, что Надя сейчас будет злиться, отмалчиваться. Она знала, что, когда они останутся одни, она погладит дочку по голове, Надя всхлипнет, неизвестно почему, и Людмиле Николаевне сделается ее пронзительно жалко, тоже неизвестно почему, ведь, в конце концов, не так уж страшно для девушки поцеловаться с пареньком. И Надя ей все расскажет об этом Ломове, и она будет гладить дочку по волосам и вспоминать, как она сама впервые поцеловалась, и будет думать о Толе, ведь все, что происходит в жизни, она связывает с Толей. Толи нет.

Как печальна эта девичья любовь на краю военной бездны. Толя, Толя…

А Виктор Павлович шумел, охваченный отцовской тревогой.

— Где этот болван служит? — спрашивал он. — Я поговорю с его командиром, он ему покажет,

как затевать романы с сопливыми.

Надя молчала, и Штрум, зачарованный ее надменностью, невольно примолк, потом спросил:

— Ты что взираешь на меня, как существо высшей расы на амебу?

Каким-то странным образом взгляд Нади напоминал ему о сегодняшнем разговоре с Шишаковым, — спокойный, самоуверенный Алексей Алексеевич смотрел на Штрума с высоты своего государственного и академического величия. Под взглядом светлых шишаковских глаз Штрум инстинктивно ощущал напрасность всех своих протестов, ультиматумов, волнений. Сила государственного порядка высилась базальтовой глыбой, и Шишаков со спокойным безразличием глядел на шебуршение Штрума, — не сдвинуть тому базальта.

И странно, но девочка, стоявшая сейчас перед ним, казалось, тоже сознавала, что он, бессмысленно волнуясь и сердясь, хочет совершить невозможное, остановить ход жизни.

А ночью Штрум думал о том, что он, порывая с институтом, губит свою жизнь. Уходу его из института придадут политический характер, скажут, что он стал источником нездоровых оппозиционных настроений; а тут война, институт

отмечен благосклонностью Сталина. А тут еще эта жуткая анкета…

А тут безумный разговор с Шишаковым. А тут еще разговоры в Казани. Мадьяров…

И вдруг ему сделалось так страшно, что захотелось написать примирительное письмо Шишакову и свести на нет все события сегодняшнего дня.

56

Днем, вернувшись из распределителя, Людмила Николаевна увидела, что в почтовом ящике белеет письмо. Сердце, сильно бившееся после подъема по лестнице, забилось еще сильней. Держа в руке письмо, она подошла к Толиной комнате, раскрыла дверь, комната была пуста: он и сегодня не вернулся.

Людмила Николаевна проглядела страницы, написанные знакомым ей с детства материнским почерком. Она увидела имена Жени, Веры, Степана Федоровича, имени сына не было в письме. Надежда снова отступила в глухой угол, но надежда не сдалась.

Александра Владимировна о своей жизни почти ничего не писала, лишь несколько слов о том, что Нина Матвеевна, квартирная хозяйка в Казани, после отъезда Людмилы проявила много неприятных черт. От Сережи, Степана Федоровича и Веры нет никаких известий. Тревожит Александру Владимировну Женя, — видимо, у нее происходят какие-то серьезные события в жизни. Женя в письме к Александре Владимировне намекает на какие-то неприятности и на

то, что, возможно, ей придется поехать в Москву.

Людмила Николаевна не умела грустить. Она умела горевать. Толя, Толя, Толя.

Вот Степан Федорович овдовел… Вера — бездомная сирота; жив ли Сережа, лежит ли где-нибудь искалеченный в госпитале? Отец его не то расстрелян, не то умер в лагере, мать погибла в ссылке… дом Александры Владимировны сгорел, она живет одна, не зная о сыне, о внуке.

Мать не писала о своей казанской жизни, о здоровье, о том, тепло ли в комнате, улучшилось ли снабжение.

Людмила Николаевна знала, почему мать ни словом не упомянула обо всем этом, и знание это было тяжело ей.

Пустым, холодным стал дом Людмилы. Точно и в него попали какие-то ужасные невидимые бомбы, все рухнуло в нем, тепло ушло из него, он тоже в развалинах.

В этот день она много думала о Викторе Павловиче. Отношения их нарушены. Виктор раздражен против нее, стал холоден с нею, и особенно грустно то, что ей это безразлично. Слишком хорошо она его знает. Со стороны все кажется романтичным и возвышенным. Ей вообще не свойственно поэтическое и восторженное отно-

шение к людям, а вот Марье Ивановне Виктор Павлович представлялся жертвенной натурой, возвышенным, мудрым. Маша любит музыку, даже бледнеет, когда слышит игру на рояле, и Виктор Павлович иногда играл по ее просьбе. Ее натуре нужен был, видимо, предмет преклонения, и она создала себе такой возвышенный образ, выдумала для себя несуществующего в жизни Штрума. Если бы Маша изо дня в день наблюдала Виктора, она бы быстро разочаровалась. Людмила Николаевна знала, что один лишь эгоизм движет поступками Виктора, он никого не любит. И теперь, думая о его столкновении с Шишаковым, она, полная тревоги и страха за мужа, испытывала одновременно привычное раздражение: он и своей наукой, и покоем близких готов пожертвовать ради эгоистического удовольствия покрасоваться, поиграть в защитника слабых.

Но вот вчера, волнуясь за Надю, он забыл о своем эгоизме. А мог бы Виктор, забыв обо всех своих тяжелых делах, волноваться за Толю? Вчера она ошиблась. Надя не была с ней по-настоящему откровенна. Что это — детское, мимолетное или судьба ее?

Надя рассказала ей о компании, где она познакомилась с этим Ломовым. Она довольно

подробно говорила о ребятах, читающих несовременные стихи, об их спорах о новом и старом искусстве, об их презрительно-насмешливом отношении к вещам, к которым, казалось Людмиле, не должно быть ни презрительного, ни насмешливого отношения.

Надя охотно отвечала на вопросы Людмилы и, видимо, говорила правду: «Нет, не пьем, один только раз, когда мальчишку провожали на фронт», «О политике иногда говорят. Ну, конечно, не так, как в газетах, но очень редко, может быть, раз или два».

Но едва Людмила Николаевна начинала спрашивать о Ломове, Надя отвечала раздраженно: «Нет, он стихов не пишет», «Откуда я могу знать, кто его родители, конечно, ни разу не видела, почему странно? Ведь он понятия о папе не имеет, вероятно, думает, что он в продмаге торгует».

Что это — судьба Нади или бесследно забудется все через месяц?

Готовя обед, стирая, она думала о матери, Вере, Жене, о Сереже. Она позвонила по телефону Марье Ивановне, но к телефону никто не подошел, позвонила Постоевым, и работница ответила, что хозяйка уехала за покупками, позвонила в домоуправление, чтобы вызвать слесаря почи-

нить кран, ей ответили, что слесарь не вышел на работу.

Она села писать матери, — казалось, что она напишет большое письмо, покается в том, что не смогла для Александры Владимировны создать нужные условия жизни и та предпочитает жить в Казани одна. С довоенных времен завелось, что у Людмилы Николаевны никто из родных не гостил, не ночевал. Вот и теперь самые близкие люди не едут к ней в большую московскую квартиру. Письма она не написала, лишь порвала четыре листа бумаги.

Перед концом рабочего дня позвонил по телефону Виктор Павлович, сказал, что задержится в институте, — вечером приедут техники, которых он вызвал с военного завода.

— Новое что-нибудь есть? — спросила Людмила Николаевна.

— А, в этом смысле? — сказал он. — Нет, ничего нового.

Вечером Людмила Николаевна вновь перечла письмо матери, подошла к окну.

Светила луна, улица была пустынна. И снова она увидела Надю под руку с военным, — они шли по мостовой к дому. Потом Надя побежала, а парень в военной шинели стоял посреди пу-

стынной мостовой, смотрел, смотрел. И Людмила Николаевна словно соединила в своем сердце все, что казалось несоединимым. Ее любовь к Виктору Павловичу, ее тревога за него и ее злоба против него. Толя, который ушел, не поцеловав девичьих губ, и лейтенант, стоявший на мостовой, — вот и Вера поднималась счастливая по лестнице своего сталинградского дома, и бесприютная Александра Владимировна…

И чувство жизни, бывшей единственной радостью человека и страшным горем его, наполнило ее душу.

57

У подъезда института Штрум столкнулся с Шишаковым, тот выходил из машины.

Шишаков, здороваясь, приподнял шляпу, не выказав желания задержаться и поговорить с Виктором Павловичем.

«Худо мне», — подумал Штрум.

Профессор Свечин во время обеда, сидя за соседним столиком, смотрел мимо него и не заговаривал с ним. Толстый Гуревич, идя из столовой, с особой сердечностью говорил сегодня со Штрумом, долго жал ему руку, но, когда дверь директорской приемной приоткрылась, Гуревич внезапно простился и быстро пошел по коридору.

В лаборатории Марков, с которым Штрум разговаривал о подготовке оборудования для предстоящих фотографирований ядерных частиц, поднял голову от тетрадки с записями, сказал:

— Виктор Павлович, мне рассказывали, что на бюро парткома шел очень жесткий разговор о вас. Ковченко вышил вам кошелечек, сказал: «Не хочет Штрум работать в нашем коллективе».

— Вышил так вышил, — сказал Штрум и почувствовал, как стало подергиваться у него веко.

Во время разговора с Марковым о ядерных фотографиях у Штрума возникло чувство, словно уже не он, а Марков заведует лабораторией. У Маркова был неторопливый хозяйский голос, дважды к нему подходил Ноздрин, задавал вопросы по поводу монтажа аппаратуры.

Но неожиданно лицо Маркова стало жалобным, просящим, и он тихо сказал Штруму:

— Виктор Павлович, пожалуйста, на меня не ссылайтесь, если будете говорить об этом заседании парткома, а то у меня будут неприятности: выдал партийную тайну.

— Ну что вы, — сказал Штрум.

Марков сказал:

— Все утрясется.

— Э, — сказал Штрум, — обойдутся и без меня. Экивоки вокруг оператора пси — собачий бред!

— Мне думается, что вы ошибаетесь, — сказал Марков. — Вот я вчера говорил с Кочкуровым, вы ведь знаете, он не витает в облаках. Он мне сказал: «В работе Штрума математика обгоняет физику, но, странное дело, она мне светит, сам не пойму почему».

Штрум понял, на что намекал Марков, — моло-

дой Кочкуров был энтузиастом работ, связанных с воздействием медленных нейтронов на ядра тяжелых атомов, утверждал, что эти работы связаны с практическими перспективами.

— Кочкуровы ничего не решают, — проговорил Штрум. — Решают Бадьины, а Бадьин считает, что я должен каяться в том, что тащу физиков в талмудическую абстракцию.

Видимо, в лаборатории все уже знали о конфликте Штрума с начальством и о вчерашнем заседании партийного комитета. Анна Степановна смотрела на Штрума страдающими глазами.

Штруму хотелось поговорить с Соколовым, но Соколов с утра уехал в Академию, а потом позвонил по телефону, что задержится и вряд ли уж приедет в институт.

А Савостьянов был почему-то в отличном настроении, беспрерывно острил.

— Виктор Павлович, — сказал он, — почтенный Гуревич — ученый блестящий и выдающийся, — и при этом он провел ладонью по голове и животу, намекая на лысину и брюшко Гуревича.

Вечером, возвращаясь пешком из института, Штрум на Калужской неожиданно встретился с Марьей Ивановной.

Она первой окликнула его. На ней было пальто,

которого Виктор Павлович не видел раньше, и он не сразу узнал ее.

— Удивительно, — сказал он, — каким образом вы оказались на Калужской?

Она несколько мгновений молчала, глядя на него. Потом, покачав головой, сказала:

— Это не случайность, я хотела вас встретить, поэтому я и оказалась на Калужской.

Он смутился, слегка развел руками.

На мгновение сердце упало, ему показалось, — она сейчас сообщит ему что-то очень страшное, предупредит об опасности.

— Виктор Павлович, — сказала она, — я хотела с вами поговорить. Петр Лаврентьевич мне рассказал обо всем.

— А, о моих замечательных успехах, — сказал Штрум.

Они пошли рядом, и могло показаться, что идут два незнакомых человека.

Штрума стесняло ее молчание, и, искоса поглядев на Марью Ивановну, он сказал:

— Людмила меня ругает за эту историю. Вы, верно, тоже хотите сердиться на меня.

— Нет, я не сержусь, — сказала она. — Я знаю, что заставило вас поступить таким образом.

Он быстро посмотрел на нее.

Она сказала:

— Вы думали о своей матери.

Он кивнул.

Потом она сказала:

— Петр Лаврентьевич не хотел вам говорить… ему рассказали, что против вас ополчились и дирекция, и партийная организация, он слышал, что Бадьин сказал: «Это не просто истерика. Это политическая антисоветская истерика».

— Вот какая у меня истерика, — сказал Штрум. — А я ведь чувствовал: Петр Лаврентьевич не хочет мне рассказывать о том, что знает.

— Да, не хотел. И мне больно за него.

— Боится?

— Да, боится. И, кроме того, он считает, что вы принципиально не правы.

Она негромко сказала:

— Петр Лаврентьевич хороший, он очень много пережил.

— Да-да, — сказал Штрум, — это и больно: такой высокий, смелый ученый и такая несмелая душа.

— Он очень много пережил, — повторила Марья Ивановна.

— И все же, — сказал Штрум, — не вы, а он должен был мне сказать об этом.

Он взял ее под руку.

— Слушайте, Марья Ивановна, — сказал он, — скажите мне, что там с Мадьяровым? Я никак не пойму, — что там произошло?

Его теперь постоянно тревожила мысль о казанских разговорах, часто вспоминались отдельные фразы, слова, зловещее предупреждение Каримова и одновременно подозрение Мадьярова. Ему казалось, что московские тучи над его головой неминуемо свяжутся с казанской говорильней.

— Я сама не пойму, что произошло, — сказала она. — Заказное письмо, которое мы послали Леониду Сергеевичу, вернулось в Москву. Переменил ли он адрес, уехал ли? Случилось ли самое худшее?

— Да, да, да, — пробормотал Штрум и на мгновение растерялся.

Марья Ивановна, видимо, думала, что Соколов рассказал Штруму о посланном и вернувшемся письме. А Штрум понятия не имел об этом письме, Соколов ничего не сказал ему. Штрум спросил ее, что произошло, имея в виду ссору Мадьярова с Петром Лаврентьевичем.

— Давайте зайдем в Нескучный, — сказал он.

— Но ведь мы идем не в ту сторону?

— Есть вход и со стороны Калужской, — ска-

зал он.

Ему хотелось расспросить ее подробнее о Мадьярове, о его подозрениях по отношению к Каримову, рассказать о подозрениях Каримова. В пустынном Нескучном саду им никто не помешает. Марья Ивановна сразу поймет всю важность этого разговора. Он чувствовал, что может говорить с ней свободно и доверчиво обо всем тревожащем его, что и она будет с ним откровенна.

Накануне началась оттепель. По склонам холмов в Нескучном саду из-под растаявшего снега кое-где выглядывали мокрые прелые листья, но в овражках снег был плотным. Над головой стояло облачное унылое небо.

— Какой хороший вечер, — сказал Штрум, вдыхая сырой, холодный воздух.

— Да, хорошо, ни души, точно за городом.

Они шли по грязным дорожкам. Когда попадалась лужа, он протягивал Марье Ивановне руку и помогал ей перейти.

Они долго шли молча, и ему не хотелось начинать разговор, — ни о войне, ни об институтских делах, ни о Мадьярове и о своих опасениях, предчувствиях, подозрениях, хотелось молча идти рядом с маленькой, неловко и в то же время легко

шагающей женщиной и испытывать чувство бездумной легкости, покоя, непонятно почему пришедшее к нему.

И она ни о чем не заговаривала, шла, немного опустив голову.

Они вышли на набережную, на реке стоял темный лед.

— Хорошо, — сказал Штрум.

— Да, очень, — ответила она.

Асфальтированная дорожка на набережной была сухой, они зашагали быстро, как два путника в дальней дороге. Им встретились раненый военный, лейтенант, и низкорослая плечистая девушка в лыжном костюме. Они шли в обнимку и время от времени целовались. Поравнявшись со Штрумом и Марьей Ивановной, они снова поцеловались, оглянулись, рассмеялись.

«Вот, может быть, Надя так ходила здесь со своим лейтенантом», — подумал Штрум.

Марья Ивановна оглянулась на парочку и сказала:

— Как грустно. — И, улыбнувшись, добавила: — Мне Людмила Николаевна говорила о Наде.

— Да-да, — сказал Штрум. — Удивительно это странно.

Потом он сказал:

— Решил звонить директору Электромеханического института, предлагаться. А если не возьмут, — уеду куда-нибудь в Новосибирск, Красноярск.

— Что же делать, — сказала она, — видимо, так надо. Вы иначе не могли поступить.

— Как все это грустно, — проговорил он.

Ему хотелось рассказать ей, что он с какой-то особенной силой ощущает любовь к работе, к лаборатории, что, глядя на установку, которая скоро будет проходить первые испытания, он радуется и горюет, ему кажется, что он будет приходить ночью к институту, заглядывать в окна. Он подумал, что Марья Ивановна в его словах ощутит желание порисоваться, и промолчал.

Они подошли к выставке трофеев. Замедлив шаги, они осматривали окрашенные в серый цвет немецкие танки, пушки, минометы, самолет с черной свастикой на крыльях.

— Даже на немые и неподвижные страшно смотреть, — сказала Марья Ивановна.

— Ничего, — сказал Штрум, — надо себя утешать тем, что в будущей войне все это будет выглядеть невинно, как мушкеты и алебарды.

Когда они подходили к воротам парка, Виктор Павлович сказал:

— Вот и кончилась наша прогулка, как жалко, что Нескучный сад так невелик. Вы не устали?

— Нет-нет, — сказала она, — я ведь привыкла, много хожу пешком.

То ли она не поняла его слов, то ли сделала вид, что не поняла их.

— Знаете, — сказал он, — почему-то наши с вами встречи всегда зависят от ваших встреч с Людмилой, моих с Петром Лаврентьевичем.

— Да-да, — сказала она. — А как же иначе?

Они вышли из парка, и шум города охватил их, разрушая прелесть молчаливой прогулки. Они вышли на площадь недалеко от того места, где встретились.

Глядя на него снизу вверх, как девочка на взрослого, она сказала:

— Вы, вероятно, теперь особенно чувствуете любовь к своей работе, лаборатории, приборам. Но ведь вы не могли иначе поступить, другой мог бы, а вы не могли. А я плохое рассказала вам, но, мне кажется, всегда лучше знать правду.

— Спасибо, Марья Ивановна, — сказал Штрум, пожимая ей руку. — Спасибо не только за это.

Ему показалось, что ее пальцы дрогнули в его руке.

— Странно, — сказала она, — мы с вами проща-

емся почти на том же месте, где встретились.

Он шутливо сказал:

— Недаром древние говорили, — и в конце пребывает начало.

Она наморщила лоб, видимо, вдумываясь в его слова, потом рассмеялась, сказала:

— Не поняла.

Штрум смотрел ей вслед: невысокая, худенькая женщина, из тех, на которых встречные мужчины никогда не оглядываются.

58

Редко Даренский переживал такие тоскливые недели, как во время своей командировки в калмыцкую степь. Он послал телеграмму фронтовому начальству, что пребывание его на крайнем левом фланге, где царит полное затишье, больше не нужно, что задание свое он выполнил. Но начальство с непонятным Даренскому упорством не отзывало его.

Самыми легкими были часы работы, самым тяжелым было время отдыха.

Кругом был песок, сыпучий, сухой, шуршащий. Была, конечно, жизнь и здесь: шуршали в песке ящерицы и черепахи, оставляя хвостами следы в песчаной россыпи, росла кое-где хрусткая, под цвет песка, колючка, кружили в воздухе коршуны, высматривая падаль и отбросы, бежали на высоких лапах пауки.

Нищета суровой природы, холодное однообразие ноябрьской бесснежной пустыни, казалось, опустошили людей, — не только быт их, но и мысли были бедны, однообразно тоскливы.

Постепенно Даренский подчинился этому унылому песчаному однообразию. Он всегда был

равнодушен к еде, а здесь он постоянно думал об обеде. Кислая болтушка из шрапнельной крупы и моченых помидоров на первое, каша из шрапнельной крупы на второе стали кошмаром его жизни. Сидя в полутемном сарайчике за дощатым столом, залитым лужами супа, глядя на людей, хлебавших из плоских жестяных мисок, он испытывал тоску, хотелось поскорей уйти из столовой, не слышать стука ложек, не ощущать тошнотного запаха. Но он выходил на воздух, и столовая снова влекла к себе, он думал о ней, высчитывал часы до завтрашнего обеда.

По ночам в хибарках было холодно, и спал Даренский плохо, — мерзли спина, уши, ноги, пальцы рук, стыли щеки. Спал он не раздеваясь, наматывал на ноги две пары портянок, голову повязывал полотенцем.

Вначале он удивлялся, что люди, с которыми он имел здесь дело, казалось, не думали о войне, головы их были забиты вопросами жратвы, курева, стирки. Но вскоре и Даренский, говоря с командирами дивизионов и батарей о подготовке орудий к зиме, о веретенном масле, об обеспечении боеприпасами, заметил, что и его голова полна всяких бытовых тревог, надежд и огорчений.

Штаб фронта казался недосягаемо далеким, он

мечтал о меньшем — съездить на денек в штаб армии, под Элисту. Но, думая об этой поездке, он не представлял себе встречи с синеглазой Аллой Сергеевной, а размышлял о бане, о постиранном белье, о супе с белой лапшой.

Даже ночевка у Бовы представлялась ему теперь приятной, не так уж плохо было в хибарке Бовы. Да и разговор с Бовой был не о стирке, не о супе.

Особенно мучили его вши.

Долгое время он не понимал, почему так часто стал почесываться, не замечал понимающей улыбки собеседника, когда во время служебного разговора вдруг свирепо скреб подмышку или ляжку. День ото дня он чесался все усердней. Привычным стали жжение и зуд возле ключиц, под мышками.

Ему казалось, что у него началась экзема, и он объяснял ее тем, что кожа у него стала сухой, раздражена пылью и песком.

Иногда зуд был таким томящим, что он, идя по дороге, неожиданно останавливался и начинал скрести ногу, живот, копчик.

Особенно сильно чесалось тело ночью. Даренский просыпался и с остервенением долго драл ногтями кожу на груди. Однажды он, лежа на

спине, задрал кверху ноги и, стеная, стал чесать икры. Экзема усиливалась от тепла, он подметил это. Под одеялом тело чесалось и жгло совершенно нестерпимо. Когда он выходил ночью на морозный воздух, зуд стихал. Он подумывал сходить в медсанбат, попросить мазь от экземы.

Как-то утром он оттянул ворот рубахи и увидел на воротнике вдоль швов шеренгу сонных, матерых вшей. Их было много. Даренский со страхом, стыдясь, оглянулся на лежавшего по соседству с ним капитана, капитан уже проснулся, сидел на койке и с хищным лицом давил на своих раскрытых подштанниках вшей. Губы капитана беззвучно шептали, он, видимо, вел боевой счет.

Даренский снял с себя рубаху и занялся тем же делом.

Утро было тихое, туманное. Стрельбы не было слышно, самолеты не гудели, и потому, должно быть, особенно ясно слышалось потрескивание вшей, погибавших под командирскими ногтями.

Капитан, мельком поглядев на Даренского, пробормотал:

— Ох и здорова — медведица! Свиноматка, должно быть.

Даренский, не отрывая глаз от ворота рубахи, сказал:

— Неужели не выдают порошка?

— Дают, — сказал капитан. — Да что толку. Баню надо, а тут питьевой воды не хватает. Посуду в столовой почти не моют, экономят воду. Где уж тут — баня.

— А вошебойки?

— Да ну их. Только обмундирование горит, а вошь лишь румяней становится. Эх, в Пёнзе мы стояли — в резерве, вот жили! Я в столовую даже не ходил. Хозяйка кормила, — еще не старая бабка, сочная. Два раза в неделю баня, пиво ежедневно.

Он нарочно вместо «Пенза» произносил «Пёнза».

— Что же делать? — спросил Даренский. — До Пёнзы далеко.

Капитан, серьезно глядя на него, доверительно сказал:

— Есть один хороший способ, товарищ подполковник. Нюхательный табак! Натолочь кирпича и смешать с нюхательным табаком. Посыпать белье. Вошь начнет чихать, мотнется, ну и раздробит себе башку о кирпич.

Лицо его было серьезно, и Даренский не сразу понял, что капитан обратился к фольклору.

Через несколько дней Даренский услышал с

десяток историй на эту тему. Фольклор оказался богато разработан.

Дни и ночи голова его теперь была занята множеством вопросов: питание, стирка белья, смена обмундирования, порошок, утюжка вшей с помощью горячей бутылки, вымораживание вшей, выжигание вшей. Он и о женщинах перестал думать, и ему вспомнилась поговорка, которую он слышал в лагере от уголовников: «Жить будешь, а бабу не захочешь».

59

Весь день Даренский провел на позициях артиллерийского дивизиона. За день не слышал он ни одного выстрела, ни один самолет не появлялся в воздухе.

Командир дивизиона, молодой казах, сказал ему, чисто чеканя русские слова:

— Вот, думаю, на будущий год бахчу здесь развести. Приезжайте дыньки кушать.

Командиру дивизиона здесь не было плохо, он шутил, показывая белые зубы, легко и быстро ходил на кривых, коротких ногах по глубокому песку, дружелюбно поглядывал на верблюдов, стоявших в упряжке возле хибарок, покрытых лоскутами толя.

Но хорошее настроение молодого казаха раздражало Даренского, и он, желая одиночества, к вечеру пошел на огневые позиции первой батареи, хотя уже днем побывал там.

Взошла луна, невероятно огромная, больше черная, чем красная. Багровея от усилий, она подымалась в прозрачной черноте небес, и в ее гневном свете совсем особо, тревожно и настороженно выглядела ночная пустыня, длин-

ноствольные пушки, противотанковые ружья и минометы. По дороге потянулся караван верблюдов, запряженных в скрипящие деревенские подводы, груженные ящиками со снарядами и сеном, и все несоединимое соединилось — тракторы-тягачи, и автофургон с типографской техникой армейской газеты, и тонкая мачта рации, и длинные верблюжьи шеи, и плавная, волнистая верблюжья походка, такая, словно во всем верблюжьем теле не было ни одной твердой кости, а все оно было отлито из каучука.

Верблюды прошли, в морозном воздухе встал деревенский запах сена. Вот такая же, больше черная, чем красная, выплывала огромная луна над пустынным полем, где сражалась дружина Игоря. Вот такая же луна стояла в небе, когда полчища персов шли на Грецию, римские легионы вторгались в германские леса, когда батальоны первого консула встречали ночь у пирамид.

Человеческое сознание, обращаясь к прошедшему, всегда просеивает сквозь скупое сито сгусток великих событий, отсеивает солдатские страдания, смятение, солдатскую тоску. В памяти остается пустой рассказ, как были построены войска, одержавшие победу, и как были построены войска, потерпевшие поражение, число

колесниц, катапульт, слонов либо пушек, танков и бомбардировщиков, принимавших участие в битве. В памяти сохранится рассказ о том, как мудрый и счастливый полководец связал центр и ударил во фланг и как внезапно появившиеся из-за холмов резервы решили исход сражения. Вот и все, да обычный рассказ о том, что счастливый полководец, вернувшись на родину, был заподозрен в намерении свергнуть владыку и поплатился за спасение отечества головой либо счастливо отделался ссылкой.

А вот созданная художником картина прошедшей битвы: огромная тусклая луна низко нависла над полем славы, — спят, раскинув широко руки, богатыри, закованные в кольчуги, валяются разбитые колесницы либо подорванные танки, и вот победители с автоматами, в развевающихся плащ-палатках, в римских касках с медными орлами, в меховых гренадерских шапках.

Даренский, нахохлившись, сидел на снарядном ящике на огневых позициях артиллерийской батареи и слушал разговор двух красноармейцев, лежавших под шинелями у орудий. Командир батареи с политруком ушли в штаб дивизиона, подполковник, представитель штаба фронта — артиллеристы узнали, кто он, у связного, — ка-

залось, крепко заснул. Красноармейцы блаженно дымили самокрутками, выпускали клубы теплого дыма.

Это, видимо, были два друга, связанные тем чувством, которое всегда отличает истинных друзей, — уверенностью, что каждая пустая мелочь, происшедшая в жизни одного, всегда значительна и интересна для другого.

— И что? — спрашивал, как будто насмешливо и безразлично, один.

А второй, как будто нехотя, отвечал:

— Что, что, разве ты его не знаешь? У человека ноги болят, человек не может в этих ботинках.

— Ну и что?

— Вот и остался в ботинках, не босиком же ходить.

— Да, значит, не дал сапог, — проговорил второй, и в голосе его не было следа насмешки и безразличия, — он весь был полон интереса к событию.

Затем они заговорили о доме.

— Что баба пишет? Того нет и этого нет, то мальчишка болеет, то девчонка болеет. Ну, баба, знаешь.

— А моя так прямо пишет: вам-то на фронте что, у вас пайки, а мы тут совсем пропадаем от

военных трудностей.

— Бабий ум, — сказал первый, — она сидит себе в глубоком тылу и понять не может, что на передовой. Она твой паек видит.

— Точно, — подтвердил второй, — она не достала керосину и уж думает, что хуже этого дела на свете нет.

— Ясно, в очереди постоять трудней, чем в песках этих от танков бутылками отбиваться.

Он сказал про танки и бутылки, хотя и он, и собеседник его знали, что немцы ни разу не пускали здесь танков.

И тут же, не закончив возникшего и здесь, в ночной военной пустыне, вечного семейного разговора — кому больше тяжести выпало в жизни, мужчине или женщине, один нерешительно сказал:

— Моя, между прочим, больная, у нее с позвоночником неувязка, подымет тяжелое — и лежит потом неделю.

И снова казалось, разговор совершенно изменился, они заговорили о том, какие кругом безводные, окаянные места.

Тот, что лежал поближе к Даренскому, проговорил:

— Разве она от вредности пишет, просто не

понимает.

И первый артиллерист добавил, чтобы отказаться от злых слов, что говорил о солдатских женах, и одновременно не отказаться от них:

— Точно. Это ж от дурости.

Потом они подымили, помолчали и заговорили о безопасных бритвенных лезвиях и опасных бритвах, о новом кителе командира батареи, о том, что все равно, как ни тяжело, а жить на свете хочется.

— А погляди, ночь-то какая, знаешь, я еще в школе учился, картину такую видел: стоит луна над полем, и кругом лежат побитые богатыри.

— Что ж тут похожего, — рассмеялся второй, — то богатыри, а мы что, воробьиного рода, наше дело телячье.

60

Нарушая тишину, вправо от Даренского раздался разрыв. «Сто три миллиметра», — определило привычное ухо. В мозгу пронеслись мысли, обычно связанные с разрывами вражеских мин и снарядов: «Случайный? Единичный? Пристрелка? Не взял бы в вилку. А вдруг огневой налет? А не пустит ли танки?»

Все привычные к войне люди прислушались, подумали примерно то же, что подумал Даренский.

Люди, привычные к войне, умеют из сотни звуков отличить один, истинно тревожный. Сразу же, чем бы ни занят был солдат, держал ли в руке ложку, чистил ли винтовку, писал ли письмо, ковырял ли пальцем в носу, читал ли газетку или был поглощен полным бездумьем, которое посещает иногда в свободные минуты солдата, — он мгновенно поворачивает голову, тянет жадное, умное ухо.

И тотчас же получился ответ. Несколько разрывов послышалось справа, затем слева, и все вокруг затрещало, загремело, задымилось, задвигалось.

Это был огневой налет!

Сквозь дым, пыль, песок прорезывался огонь взрывов, и из огня взрывов прорывался дым.

Люди бежали, падали.

Пустыню огласил режущий вопль. Мины стали рваться вблизи верблюдов, и животные, опрокидывая подводы, бежали, волоча за собой обрывки упряжи. Даренский, не обращая внимания на рвущиеся снаряды и мины, встал во весь рост, потрясенный ужасным зрелищем.

В его мозгу с необычайной яркостью пронеслась мысль о том, что здесь он видит последние дни своей родины. Чувство обреченности охватило его. Этот страшный крик мечущихся среди песков верблюдов, эти русские тревожные голоса, эти бегущие к укрытиям люди! Погибала Россия! Погибала здесь, загнанная в холодные приазиатские пески, погибала под угрюмой и равнодушной луной, и милая, бесконечно любимая им русская речь слилась с воплями ужаса и отчаяния разбегавшихся, покалеченных немецкими минами верблюдов.

В горькую минуту он испытал не гнев, не ненависть, а чувство братства ко всему слабому и бедному, живущему в мире; почему-то всплыло темное, старое лицо калмыка, встреченного им

в степи, и показалось ему близким, давно знакомым.

«Что ж делать, суждено», — подумал он и понял, что жить на свете ему не нужно, если поражение свершится.

Он оглядел бойцов, засевших в щелях, приосанился, готовый принять на себя командование батареей в безрадостном бою, закричал:

— Эй, телефонист, сюда! Ко мне!

А грохот разрывов вдруг стих.

В эту ночь по указанию Сталина три командующих фронтами — Ватутин, Рокоссовский и Еременко отдали войскам приказ о наступлении, решившем в течение ста часов судьбу Сталинградского сражения, судьбу трехсоттридцатитысячной армии Паулюса, определившем перелом в ходе войны.

В штабе Даренского ждала телеграмма: ему предлагалось выехать в танковый корпус полковника Новикова и информировать группу Генерального штаба о боевых действиях корпуса.

61

Вскоре после праздника Октябрьской революции немецкая авиация вновь произвела массированный налет на СталГРЭС. Восемнадцать бомбардировщиков сбросили тяжелые бомбы на станцию.

Облака дыма закрыли развалины, истребительная сила германской авиации полностью приостановила работу станции.

После этого налета у Спиридонова стали сильно дрожать руки; поднося кружку ко рту, он расплескивал чай, а иногда вынужден был ставить кружку обратно на стол, чувствуя, что дрожащие пальцы не в силах ее удержать. Пальцы переставали дрожать лишь после того, как он выпивал водки.

Руководство стало отпускать рабочих, и они переправлялись на попутных средствах через Волгу и Тумак — уходили степью на Среднюю Ахтубу и Ленинск.

Руководители станции запросили Москву, просили разрешения уехать, их пребывание на линии фронта среди разрушенных цехов теряло смысл. Москва медлила с ответом, и Спиридонов

сильно нервничал. Парторг Николаев сразу же после налета был вызван ЦК и улетел на «дугласе» в Москву.

Спиридонов и Камышов слонялись среди развалин станции и уговаривали друг друга, что им тут делать больше нечего, надо сматываться. А Москва все молчала.

Степана Федоровича особенно волновала судьба Веры. После переправы на левый берег Волги она почувствовала себя плохо и не смогла поехать в Ленинск. Проехать почти сто километров по разбитой дороге в кузове грузовика, подскакивавшего и ухавшего по замерзшим, окаменевшим комьям грязи, было для нее в последние месяцы беременности совершенно невозможно.

Знакомые рабочие отвели ее на вмерзшую в лед у берега баржу, превращенную в общежитие.

Вскоре после второй бомбежки станции Вера прислала отцу записку с механиком катера. Она просила отца не беспокоиться — ей предоставили место в трюме, в удобном куточке за перегородкой. Среди эвакуированных имеется медицинская сестра из бекетовской поликлиники и старушка-акушерка; в четырех километрах от баржи расположен полевой госпиталь, и в случае каких-нибудь осложнений всегда можно

будет позвать врача. На барже есть кипятильник, печь, еду готовят сообща из продуктов, которые посылает обком партии.

Хотя Вера просила отца не беспокоиться, каждое слово в ее записке наполняло Степана Федоровича тревогой. Пожалуй, лишь одно утешало его: Вера писала, что за время боев баржу ни разу не бомбили. Если б Степан Федорович перебрался на левый берег, он бы, конечно, сумел достать легковую либо санитарную машину, довез Веру хотя бы до Средней Ахтубы.

А Москва все молчала, не отзывала директора и главного инженера, хотя теперь на разрушенном СталГРЭСе нужен был лишь небольшой отряд военизированной охраны. Рабочим и техническому персоналу не было охоты мотаться без дела на станции, все тотчас, получив разрешение Спиридонова, уходили на переправу.

Лишь старик Андреев не захотел взять у директора справку на форменном бланке за круглой печатью.

Когда Степан Федорович после налета предложил Андрееву поехать в Ленинск, где жили невестка с внуком, Андреев сказал:

— Нет, я тут останусь.

Ему казалось, что на сталинградском берегу

он сохраняет связь со своей прежней жизнью. Может быть, через некоторое время он доберется до тракторозаводского поселка. Он будет ходить среди сгоревших, разбитых домов, придет в садик, насаженный женой, поднимет, подправит сломанные деревца, проверит, на месте ли закопанные вещи, потом сядет на камешек у поваленного забора.

— Ну вот, Варвара, значит, так, швейная машина на месте, даже не заржавела, яблоня, что у забора, пропала совсем, ее осколком срезало, а в подвале кислая капуста в кадушке только сверху заплесневела.

Степану Федоровичу хотелось посоветоваться о своих делах с Крымовым, но после Октябрьской годовщины Крымов на СталГРЭСе больше не появлялся.

Спиридонов и Камышов решили ждать до 17 ноября и тогда уходить — делать им на СталГРЭСе действительно нечего было. А немцы продолжали время от времени обстреливать станцию, и Камышов, сильно нервничавший после массированного налета, говорил:

— Степан Федорович, у них, наверное, разведка ни к черту, раз продолжают бить. В любой час может авиация снова ударить. Знаете немцев,

будут, как бык, долбить по пустому месту.

Восемнадцатого ноября, простившись с охраной, поцеловав Андреева, оглядев в последний раз развалины станции, Степан Федорович покинул СталГРЭС, так и не дождавшись формального разрешения Москвы.

Много, честно, тяжело поработал он на СталГРЭСе в пору сталинградских боев. Тем тяжелей и достойней был его труд, что он боялся войны, не привык к фронтовым условиям, постоянно трусил при мыслях о налетах, млел при бомбежках — и все же работал.

Он шел с чемоданом и узелком на плече и оглядывался, махал рукой Андрееву, стоявшему у разрушенных ворот, оглядывался на итээровский дом с выбитыми стеклами, на угрюмые стены турбинного цеха, на легкий дымок над продолжавшими гореть масляными изоляторами.

Он ушел со СталГРЭСа, когда стал там не нужен, ушел за день до начала наступления советских войск.

Но этот один день, до которого он не дотянул, перечеркнул в глазах многих людей всю его честную, трудную работу, — готовые называть его героем, они стали называть его трусом и дезертиром.

И сам он надолго сохранил в душе мучительное чувство, вспоминая, как шел, оглядывался, махал рукой, а хмурый одинокий старик стоял у станционных ворот и смотрел на него.

62

Вера родила сына.

Она лежала в трюме баржи на сколоченной из нетесаных досок койке, женщины для тепла навалили на нее тряпья, рядом с ней лежал завернутый в простынку ребенок, и когда кто-нибудь, входя к ней, отодвигал занавеску, она видела людей, мужчин и женщин, барахло, свисающее с верхних нар, до нее доносился гул голосов, детский крик и возня. Туман стоял в ее голове, туман стоял в чадном воздухе.

В трюме было душно и в то же время очень холодно, на дощатых стенах кое-где выступила изморозь. Люди ночью спали, не снимая валенок и ватников, женщины весь день кутались в платки и рваные одеяла, дули на мерзнущие пальцы.

Свет едва проходил через крошечное окошко, прорезанное почти на уровне льда, и днем в трюме стоял полумрак. А вечерами жгли коптилки — лампочки без стекол. От копоти лица людей были черные. Когда с трапа открывали люк, в трюм врывались клубы пара, словно дым от взорвавшегося снаряда.

Патлатые старухи расчесывали седые, серые

волосы, старики сидели на полу с кружками кипяточку среди пестрых подушек, узлов, деревянных чемоданов, по которым ползали, играя, обвязанные платками дети.

Оттого, что ребенок лежал у ее груди, Вере казалось, что изменились ее мысли, изменилось ее отношение ко всем людям, изменилось ее тело.

Она думала о своей подруге Зине Мельниковой, о старухе Сергеевне, ухаживавшей за ней, о весне, о матери, о порванной рубахе, о ватном одеяле, о Сереже и о Толе, о стиральном мыле, о немецких самолетах, о сталгрэсовском блиндаже, о своих немытых волосах — и все, что приходило ей в голову, напитывалось ее чувством к рожденному ею ребенку, связывалось с ним, значило и не значило в связи с ним.

Она смотрела на свои руки, на свои ноги, на свою грудь, пальцы. Это уже не были руки, игравшие в волейбол, писавшие сочинения, листавшие книгу. Это не были ноги, взбегавшие по школьным ступеням, бившие по теплой речной воде, обожженные крапивой, ноги, на которые смотрели, оглядывая Веру, прохожие на улице.

И, думая о ребенке, она одновременно думала о Викторове.

Аэродромы расположены в Заволжье, Викторов

рядом, Волга уж не разделяет их.

Вот сейчас зайдут в трюм летчики, и она спросит: «Вы лейтенанта Викторова знаете?»

И летчики скажут: «Знаем». «Скажите ему, — тут его сын, и жена тут».

Женщины заходили к ней за занавеску, качали головами, улыбались, вздыхали, некоторые начинали плакать, нагнувшись над маленьким.

Они плакали над собой и улыбались новорожденному, и не надо было слов, чтоб понять их.

Если Вере задавали вопросы, то смысл вопросов был лишь в том, чем родившая могла служить ребенку, — есть ли молоко у нее в груди, не началась ли грудница, не душит ли ее сырой воздух.

На третий день после родов к ней пришел отец. Он уже не походил на директора СталГРЭСа, — с чемоданчиком, с узелком, небритый, с поднятым воротником пальто, подвязанным галстуком, со щеками и носом, обожженными морозным ветром.

И когда Степан Федорович подошел к ее койке, она увидела, что его дрогнувшее лицо в первое мгновение обратилось не к ней, а к существу, лежавшему около нее.

Он отвернулся от нее, и по его спине и плечам она увидела, что он плачет, и поняла — плачет

оттого, что жена никогда не узнает о внуке, не нагнется над ним, как только что нагнулся он.

И уж потом, сердясь на свои слезы, стыдясь их, десятки людей видели их, он сказал осевшим от мороза голосом:

— Ну вот, стал дедом из-за тебя, — наклонился над Верой, поцеловал ее в лоб, погладил по плечу холодной грязной рукой.

Потом он сказал:

— На Октябрьскую Крымов был на СталГРЭСе. Он не знал, что мамы нет. Все спрашивал о Жене.

Небритый старик в синей кофте, из которой лезли клочья сбитой ваты, с одышкой проговорил:

— Товарищ Спиридонов, тут и Кутузова, и Ленина, и геройскую звезду дают за то, чтоб побольше набить народу. Сколько наколотили и наших, и ихних. Какую же звезду — наверное, кило на два — надо вашей дочке дать, что она в такой каторге жизнь новую принесла.

Это был первый человек, который после рождения ребенка заговорил о Вере.

Степан Федорович решил остаться на барже, подождать, пока Вера окрепнет, вместе с ней поехать в Ленинск. Это было ему по пути в Куйбышев, куда он ехал за новым назначением. Увидя,

что с питанием на барже обстоит совсем плохо, что немедленно надо выручать дочь и внука, Степан Федорович, отогревшись, отправился разыскивать командный пункт обкома партии, находившийся где-то в лесу, поблизости. Там он рассчитывал добыть через приятелей жиров и сахара.

63

Этот день в трюме был особенно тяжелый. Тучи нависли над Волгой. На грязном, в мусоре и темных помоях, льду не играли дети, женщины не стирали в проруби белье, морозный низовой ветер выдирал вмерзшие в лед куски тряпья, продирался в трюм сквозь щели в люке, наполнял баржу воем и скрипом.

Оцепеневшие люди сидели, кутаясь в платки, ватники, одеяла. Самые говорливые бабки притихли, прислушивались к вою ветра, к скрипу досок.

Стало темнеть, и казалось, что тьма пришла от невыносимой людской тоски, от измучившего всех холода, от голодухи, грязи, от бесконечной военной муки.

Вера лежала, укрывшись до подбородка ватником, ощущала на щеках холодное движение воздуха, проникавшего в трюм при каждом напоре ветра.

В эти минуты все казалось безнадежно плохо, — не сможет Степан Федорович забрать ее отсюда, и война никогда не кончится, немцы весной расползутся по Уралу, по Сибири, всегда будут ныть

в небе их самолеты, грохотать разрывы бомб.

Впервые она усомнилась в том, что Викторов близко от нее. Мало ли фронтов, а может быть, его уже нет на фронте, нет в тылу.

Она откинула простынку, вглядывалась в лицо ребенка. Отчего он плачет, должно быть, ему передается ее тоска, как передается ему ее тепло, ее молоко.

Всех подавила в этот день огромность холода, беспощадность морозного ветра, огромность войны на великих русских равнинах и реках.

Разве может долго терпеть такую страшную голодную и холодную жизнь человек?

К Вере подошла старуха Сергеевна, принимавшая ее ребенка, сказала:

— Не нравишься ты мне сегодня, ты в первый день лучше была.

— Ничего, — сказала Вера, — папа завтра приедет, привезет продуктов.

И хотя Сергеевна была рада, что роженице принесут жиров и сахара, она зло и грубо проговорила:

— Вы, начальники, всегда нажретесь, вам всюду припас есть. А нам припас один — мерзлая картошка.

— Тише! — крикнул кто-то. — Тише!

В другом конце трюма слышался неясный голос.

И вдруг голос зазвучал громко, подминая все посторонние звуки.

Какой-то человек при свете коптилки читал:

— «В последний час… Успешное наступление наших войск в районе города Сталинграда… На днях наши войска, расположенные на подступах к Сталинграду, перешли в наступление против немецко-фашистских войск. Наступление началось в двух направлениях: с северо-запада и с юга от Сталинграда…»

Люди стояли молча и плакали. Невидимая чудная связь установилась между ними и теми ребятами, что, прикрывая лицо от ветра, шли сейчас по снегу, и теми, что лежали на снегу, в крови, и темным взором прощались с жизнью.

Плакали старики и женщины, плакали рабочие, дети с недетским выражением стояли рядом со взрослыми и слушали чтение.

— «Нашими войсками заняты город Калач на восточном берегу Дона, станция Кривомузгинская, станция и город Абгасарово…» — произносил читавший.

Вера плакала вместе со всеми. И она ощущала связь между теми, что шли в ночной, зимней

темноте, падали, вновь вставали и снова падали, чтобы уже не встать, и этим трюмом, где измученные люди слушали о наступлении.

Ради нее, ради ее сына, ради женщин с потрескавшимися от ледяной воды руками, стариков, детей, обмотанных рваными материнскими платками, идут там на смерть.

И с восторгом, плача, думала она, что ее муж придет к ней сюда, и женщины, старики рабочие обступят его и скажут ему: «Сынок».

А человек, читавший сообщение Совинформбюро, произнес: «Наступление наших войск продолжается».

64

Дежурный по штабу доложил командующему 8-й воздушной армией сведения о боевой работе истребительных полков за день наступления.

Генерал просмотрел положенные перед ним бумаги и сказал дежурному:

— Не везет Закаблуке, вчера ему комиссара сбили, сегодня двух летчиков.

— Я звонил в штаб полка по телефону, товарищ командующий, — сказал дежурный. — Товарища Бермана хоронить завтра будут. Член Военного совета обещал слетать в полк, речь сказать.

— Наш член любит речи говорить, — улыбнувшись, сказал командующий.

— А летчики, товарищ командующий, таким образом: лейтенант Король над расположением тридцать восьмой гвардейской упал, а командира звена, старшего лейтенанта Викторова, «мессеры» подожгли над немецким аэродромом, не дотянул до линии фронта, упал на высотке, как раз на нейтральной зоне. Пехота видела, пробовала подойти к нему, но немец не дал.

— Да, бывает, — сказал командующий и почесал нос карандашом. — Вы вот что сделайте:

свяжитесь со штабом фронта и напомните, что Захаров нам обещал заменить «виллис», а то скоро вовсе не на чем будет ездить.

Всю ночь лежал мертвый летчик на снежном холме — был большой мороз, и звезды светили очень ярко. А на рассвете холм стал совершенно розовый, и летчик лежал на розовом холме. Потом подула поземка, и тело стало заносить снегом.

Часть третья

1

За несколько дней до начала сталинградского наступления Крымов пришел на подземный командный пункт 64-й армии. Адъютант члена Военного совета Абрамова, сидя за письменным столом, ел куриный суп, заедал его пирогом.

Адъютант отложил ложку, и по его вздоху можно было понять, что суп хорош. У Крымова глаза увлажнились, так сильно ему вдруг захотелось жевануть пирожка с капустой.

За перегородкой после доклада адъютанта стало тихо, потом послышался сиплый голос, знакомый уже Крымову, но на этот раз слова произносились негромко, и Крымов не мог их разобрать.

Вышел адъютант и сказал:

— Член Военного совета принять вас не может.

Крымов удивился:

— Я не просил приема. Товарищ Абрамов меня вызвал.

Адъютант молчал, глядя на суп.

— Значит, отменено? Ничего не понимаю, — сказал Крымов.

Крымов поднялся наверх и побрел по овражку

к берегу Волги — там помещалась редакция армейской газеты.

Он шел, досадуя на бессмысленный вызов, на внезапно охватившую его страсть к чужому пирогу, вслушивался в беспорядочную и ленивую стрельбу пушек, доносившуюся со стороны Купоросной балки.

В сторону оперативного отдела прошла девушка в пилотке, в шинели. Крымов оглядел ее и подумал: «Весьма хорошенькая».

С привычной тоской сжалось сердце, — он подумал о Жене. Тотчас же, так же привычно, он прикрикнул на себя: «Гони ее, гони!», стал вспоминать ночевку в станице, молодую казачку.

Потом он подумал о Спиридонове: «Хороший человек, но, конечно, не Спиноза».

Все эти мысли, ленивая пальба, досада на Абрамова, осеннее небо долгое время вспоминались ему с пронзительной ясностью.

Его окликнул штабной работник с зелеными капитанскими шпалами на шинели, шедший за ним следом от командного пункта.

Крымов, недоумевая, поглядел на него.

— Сюда, сюда, прошу, — негромко сказал капитан, указывая рукой на дверь избы.

Крымов прошел в дверь мимо часового.

Они вошли в комнату, где стоял конторский стол, а на дощатой стене висел пришпиленный кнопками портрет Сталина.

Крымов ожидал, что капитан обратится к нему примерно так: «Простите, товарищ батальонный комиссар, не откажетесь ли вы передать на левый берег товарищу Тощееву наш отчет?»

Но капитан сказал не так.

Он сказал:

— Сдайте оружие и личные документы.

И Крымов растерянно произнес уже не имеющие никакого смысла слова:

— Это по какому же праву? Вы мне свои документы раньше покажите, прежде чем требовать мои.

И потом, убедившись в том, что было нелепо и немыслимо, но в чем не было сомнения, он проговорил те слова, что в подобных случаях бормотали до него тысячи людей:

— Это дичь, я абсолютно ничего не понимаю, недоразумение.

Но это уже не были слова свободного человека.

2

— Да ты дурака строишь. Отвечай, кем завербован в период пребывания в окружении?

Его допрашивали на левом берегу Волги, во фронтовом Особом отделе.

От крашеного пола, от цветочных горшков на окне, от ходиков на стене веяло провинциальным покоем. Привычным и милым казалось подрагивание стекол и грохот, шедший со стороны Сталинграда, — видимо, на правом берегу разгружались бомбардировщики.

Как не вязался армейский подполковник, сидевший за деревенским кухонным столом, с воображаемым бледногубым следователем…

Но вот подполковник с меловым следом на плече от мазаной печи подошел к сидевшему на деревенской табуретке знатоку рабочего движения в странах колониального Востока, человеку, носившему военную форму и комиссарскую звезду на рукаве, человеку, рожденному доброй, милой матерью, и врезал ему кулаком по морде.

Николай Григорьевич провел рукой по губам и по носу, посмотрел на свою ладонь и увидел на ней кровь, смешанную со слюной. Потом он

пожевал. Язык окаменел, и губы занемели. Он посмотрел на крашеный, недавно вымытый пол и проглотил кровь.

Ночью пришло чувство ненависти к особисту. Но в первые минуты не было ни ненависти, ни физической боли. Удар по лицу означал духовную катастрофу и не мог ничего вызвать, кроме оцепенения, остолбенения.

Крымов оглянулся, стыдясь часового. Красноармеец видел, как били коммуниста! Били коммуниста Крымова, били в присутствии парня, ради которого была совершена великая революция, та, в которой участвовал Крымов.

Подполковник посмотрел на часы. Это было время ужина в столовой заведующих отделами.

Пока Крымова вели по двору по пыльной снежной крупе в сторону бревенчатой каталажки, особенно ясно был слышен гром воздушной бомбежки, шедшей со стороны Сталинграда.

Первая мысль, поразившая его после оцепенения, была та, что разрушить эту каталажку могла немецкая бомба… И эта мысль была проста и отвратительна.

В душной каморке с бревенчатыми стенами его захлестнули отчаяние и ярость, — он терял самого себя. Это он, он охрипшим голосом кри-

чал, бежал к самолету, встречал своего друга Георгия Димитрова, он нес гроб Клары Цеткин, и это он воровато посмотрел — ударит вновь или не ударит его особист. Он вел из окружения людей, они звали его «товарищ комиссар». И это на него брезгливо смотрел колхозник-автоматчик, на него — коммуниста, избитого на допросе коммунистом…

Он не мог еще осознать колоссального значения слов: «лишение свободы». Он становился другим существом, все в нем должно было измениться, — его лишили свободы.

В глазах темнело. Он пойдет к Щербакову, в Центральный Комитет, у него есть возможность обратиться к Молотову, он не успокоится, пока мерзавец подполковник не будет расстрелян. Да снимите же трубку! Позвоните Пряхину… Да ведь сам Сталин слышал, знает мое имя. Товарищ Сталин спросил как-то у товарища Жданова: «Это какой Крымов, тот, что в Коминтерне работал?»

И тут же Николай Григорьевич ощутил под ногами трясину, вот-вот втянет его темная, коллоидная, смолянистая, не имеющая дна гуща… Что-то непреодолимое, казалось, более сильное, чем сила немецких панцирных дивизий, навалилось на него. Он лишился свободы.

Женя! Женя! Видишь ли ты меня? Женя! Посмотри на меня, я в ужасной беде! Ведь совершенно один, брошенный, и тобой брошенный.

Выродок бил его. Мутилось сознание, и до судороги в пальцах хотелось броситься на особиста.

Он не испытывал подобной ненависти ни к жандармам, ни к меньшевикам, ни к офицеру-эсэсовцу, которого он допрашивал.

В человеке, топтавшем его, Крымов узнавал не чужака, а себя же, Крымова, вот того, что мальчиком плакал от счастья над потрясшими его словами Коммунистического Манифеста — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Это чувство близости поистине было ужасно…

3

Стало темно. Иногда гул сталинградской битвы раскатисто заполнял маленький, дурной тюремный воздух. Может быть, немцы били по Батюку, по Родимцеву, обороняющим правое дело.

В коридоре изредка возникало движение. Открывались двери общей камеры, где сидели дезертиры, изменники Родины, мародеры, изнасилователи. Они то и дело просились в уборную, и часовой, прежде чем открыть дверь, долго спорил с ними.

Когда Крымова привезли со сталинградского берега, его ненадолго поместили в общую камеру. На комиссара с неспоротой красной звездой на рукаве никто не обратил внимания, поинтересовались только, нет ли бумажки, чтобы завернуть махорочную труху. Люди эти хотели лишь одного — кушать, курить и справлять естественные надобности.

Кто, кто начал дело? Какое раздирающее чувство: одновременно знать свою невиновность и холодеть от ощущения безысходной вины. Родимцевская труба, развалины дома «шесть дробь один», белорусские болота, воронежская зима,

речные переправы — все счастливое и легкое было утеряно.

Вот ему захотелось выйти на улицу, пройтись, поднять голову и посмотреть на небо. Пойти за газетой. Побриться. Написать письмо брату. Он хочет выпить чаю. Ему нужно вернуть взятую на вечер книгу. Посмотреть на часы. Сходить в баню. Взять из чемодана носовой платок. Он ничего не мог. Он лишился свободы.

Вскоре Крымова вывели из общей камеры в коридор, и комендант стал ругать часового:

— Я ж тебе говорил русским языком, какого черта ты его сунул в общую? Ну, чего раззявился, хочешь на передовую попасть, а?

Часовой после ухода коменданта стал жаловаться Крымову:

— Вот так всегда. Занята одиночка. Сам ведь приказал держать в одиночке, которые на расстрел назначены. Если вас туда, куда же я его?

Вскоре Николай Григорьевич увидел, как автоматчики вывели из одиночки приговоренного к расстрелу. К узкому, впалому затылку приговоренного льнули светлые волосы. Возможно, ему было лет двадцать, а может быть, тридцать пять.

Крымова перевели в освободившуюся одиночку. Он в полутьме различил на столе котелок

и нащупал рядом вылепленного из хлебного мякиша зайца. Видимо, приговоренный совсем недавно выпустил его из рук, — хлеб был еще мягкий, и только уши у зайца зачерствели.

Стало тише… Крымов, полуоткрыв рот, сидел на нарах, не мог спать, — слишком о многом надо было думать. Но оглушенная голова не могла думать, виски сдавило. В черепе стояла мертвая зыбь, — все кружилось, качалось, плескалось, не за что было ухватиться, начать тянуть мысль.

Ночью в коридоре снова послышался шум. Часовые вызывали разводящего. Протопали сапоги. Комендант, Крымов узнал его по голосу, сказал:

— Выведи к черту этого батальонного комиссара, пусть посидит в караульном помещении. — И добавил: — Вот это ЧП так ЧП, до командующего дойдет.

Открылась дверь, автоматчик крикнул:

— Выходи!

Крымов вышел. В коридоре стоял босой человек в нижнем белье.

Крымов много видел плохого в жизни, но, едва взглянув, он понял, — страшней этого лица он не видел. Оно было маленькое, с грязной желтизной. Оно жалко плакало все, — морщинами, трясущимися щеками, губами. Только глаза не

плакали, и лучше бы не видеть этих страшных глаз, таким было их выражение.

— Давай, давай, — подгонял автоматчик Крымова.

В караульном помещении часовой рассказал ему о произошедшем ЧП.

— Передовой меня пугают, да тут хуже, чем на передовой, тут скорей все нервы потеряешь… Повели самострела на расстрел, он стрельнул себе через буханку хлеба в левую руку. Расстреляли, присыпали землей, а он ночью ожил и обратно к нам пришел.

Он обращался к Крымову, стараясь не говорить ему ни «вы», ни «ты».

— Они халтурят так, что последние нервы от них теряешь. Скотину и ту режут аккуратно. Все по халтурке. Земля мерзлая, разгребут бурьян, присыпят кое-как и пошли. Ну, ясно же, он вылез! Если б его закопать по инструкции, он бы никогда не вылез.

И Крымов, который всегда отвечал на вопросы, вправлял людям мозги, объяснял, сейчас в смятении спросил автоматчика:

— Но что ж это он снова пришел?

Часовой ухмыльнулся.

— Тут еще старшина, который водил его в

степь, говорит, — надо хлеба ему дать и чаю, пока его снова оформят, а начхозчастью злой, скандалит, — как его чаем поить, если он списан в расход? А по-моему, верно. Что ж он, старшина, схалтурит, а хозчасть за него отвечать должна?

Крымов вдруг спросил:

— Кем вы были в мирное время?

— Я в гражданке в госхозе пчелами заведовал.

— Ясно, — сказал Крымов, потому что все вокруг и все в нем самом стало темно и безумно.

На рассвете Крымова снова перевели в одиночную камеру. Рядом с котелком по-прежнему стоял вылепленный из хлебного мякиша заяц. Но сейчас он был твердый, шершавый. Из общей камеры послышался льстивый голос:

— Часовой, будь парнем, своди оправиться, а?

В степи в это время взошло красно-бурое солнце, — полезла в небо мерзлая, грязная свекла, облепленная комьями земли и глины.

Вскоре Крымова посадили в кузов полуторки, рядом сел милый лейтенант-провожатый, старшина передал ему крымовский чемодан, и полуторка, скрежеща, прыгая по схваченной морозом ахтубинской грязи, пошла в Ленинск, на аэродром.

Он вдыхал сырой холод, и сердце его наполни-

лось верой и светом, — страшный сон, казалось, кончился.

4

Николай Григорьевич вышел из легковой машины и оглядел серое лубянское ущелье. В голове шумело от многочасового рева аэропланных моторов, от мелькавших сжатых и несжатых полей, речушек, лесов, от мелькания отчаяния, уверенности и неуверенности.

Дверь открылась, и он вошел в рентгеновское царство душного казенного воздуха и бешеного казенного света — вступил в жизнь, шедшую вне войны, помимо войны, над войной.

В пустой душной комнате при прожекторно ярком свете ему велели раздеться догола, и, пока вдумчивый человек в халате ощупывал его тело, Крымов, подергиваясь, думал, что методичному движению не знающих стыда пальцев не могли помешать гром и железо войны…

Мертвый красноармеец, в чьем противогазе лежала написанная перед атакой записка: «Убит за счастливую советскую жизнь, дома остались — жена, шестеро детей», обгоревший смолянисто-черный танкист с клочьями волос, прилипших к молодой голове, многомиллионное народное войско, шедшее болотами и лесами, бившее из

пушек, из пулеметов…

А пальцы делали свое дело уверенно, спокойно, а под огнем кричал комиссар Крымов: «Что ж, товарищ Генералов, не хотите защищать Советскую родину!»

— Повернитесь, нагнитесь, отставьте ногу.

Потом, одетый, он фотографировался с расстегнутым воротом гимнастерки, с мертвым и живым лицом анфас и в профиль.

Потом он с непристойной старательностью отжимал отпечаток своих пальцев на листе бумаги. Потом хлопотливый работник срезáл пуговицы с его штанов и отбирал поясной ремень.

Потом он поднимался в ярко освещенном лифте, шел по ковровой тропинке длинным, пустым коридором мимо дверей с круглыми глазками. Палаты хирургической клиники, хирургия рака. Воздух был теплый, казенный, освещенный бешеным электрическим светом. Рентгеновский институт социальной диагностики…

«Кто же меня посадил?»

В этом душном, слепом воздухе трудно было думать. Сон, явь, бред, прошлое, будущее схлестнулись. Он терял ощущение самого себя… Была ли у меня мать? Может быть, мамы не было. Женя стала безразлична. Звезды меж вершинами со-

сен, донская переправа, зеленая немецкая ракета, пролетарии всех стран, соединяйтесь, за каждой дверью люди, умру коммунистом, где сейчас Михаил Сидорович Мостовской, голова шумит, неужели Греков стрельнул в меня, кучерявый Григорий Евсеевич, председатель Коминтерна, шел этим коридором, какой трудный, тесный воздух, какой проклятый прожекторный свет… Греков стрелял в меня, особист врезал в зубы, немцы стреляли в меня, что день грядущий мне готовит, клянусь вам, я ни в чем не виноват, надо бы отлить, славные старики пели в Октябрьскую годовщину у Спиридонова, ВЧК, ВЧК, ВЧК, Дзержинский был хозяином этого дома, Генрих Ягода да еще Менжинский, а потом уж маленький, с зелеными глазами питерский пролетарий Николай Иванович, сегодня ласковый и умный Лаврентий Павлович, как же, как же, встречались, аллаверды к вам, как это мы пели: «Вставай, пролетарий, за дело свое», я ни в чем не виноват, отлить надо бы, неужели меня расстреляют…

Как странно идти по прямому, стрелой выстреленному коридору, а жизнь такая путаная, тропка, овраги, болотца, ручейки, степная пыль, несжатый хлеб, продираешься, обходишь, а судьба прямая, струночкой идешь, коридоры,

коридоры, в коридорах двери…

Крымов шел размеренно, не быстро и не медленно, словно часовой шагал не сзади него, а впереди него.

С первых минут в лубянском доме пришло новое.

«Геометрическое место точек», — подумал он, выдавливая отпечаток пальца, и не понял, почему так подумал, хотя именно эта мысль и выражала то новое, что пришло к нему.

Новое ощущение произошло оттого, что он терял себя. Если бы он попросил воды, ему бы дали напиться, если б он внезапно упал с сердечным припадком, врач сделал бы ему нужный укол. Но он уже не был Крымовым, он ощутил это, хотя и не понимал этого. Он уже не был товарищем Крымовым, который, одеваясь, обедая, покупая билет в кино, думая, ложась спать, постоянно ощущал себя самим собой. Товарищ Крымов отличался от всех людей и душой, и умом, и дореволюционным партийным стажем, и статьями, напечатанными в журнале «Коммунистический Интернационал», и разными привычками и привычечками, повадками, интонациями голоса в разговорах с комсомольцами либо секретарями московских райкомов, рабочими, старыми пар-

тийными друзьями, просителями. Его тело было подобием человеческого тела, его движения, мысли были подобны человеческим движениям и мыслям, но суть товарища Крымова-человека, его достоинство, свобода ушли.

Его ввели в камеру — прямоугольник с начищенным паркетным полом, с четырьмя койками, застеленными туго, без складок натянутыми одеялами, и он мгновенно ощутил: три человека посмотрели с человеческим интересом на четвертого человека.

Они были людьми, плохими ли, хорошими, он не знал, были ли они враждебны или безразличны к нему, он не знал, но хорошее, плохое, безразличное, что исходило от них и шло к нему, было человеческим.

Он сел на койку, указанную ему, и трое сидевших на койках с открытыми книгами на коленях молча смотрели на него. И то дивное, драгоценное, что он, казалось, терял, — вернулось.

Один был массивный, лобастый, с бугристой мордой, с массой седых и не седых, по-бетховенски спутанных, курчавых волос над низким, мясистым лбом.

Второй — старик с бумажно-белыми руками, с костяным лысым черепом и лицом, словно

барельеф, отпечатанный на металле, словно в его венах и артериях тек снег, а не кровь.

Третий, сидевший на койке рядом с Крымовым, был милый, с красным пятном на переносице от недавно снятых очков, несчастный и добрый. Он показал пальцем на дверь, едва заметно улыбнулся, покачал головой, и Крымов понял, — часовой смотрел в глазок, и надо было молчать.

Первым заговорил человек со спутанными волосами.

— Ну что ж, — сказал он лениво и добродушно, — позволю себе от имени общественности приветствовать вооруженные силы. Откуда вы, дорогой товарищ?

Крымов смущенно усмехнулся, сказал:

— Из Сталинграда.

— Ого, приятно видеть участника героической обороны. Добро пожаловать в нашу хату.

— Вы курите? — быстро спросил белолицый старик.

— Курю, — ответил Крымов.

Старик кивнул, уставился в книгу.

Тогда милый близорукий сосед сказал:

— Дело в том, что я подвел товарищей, сообщил, что не курю, и на меня не дают табаку.

Он спросил:

— Вы давно из Сталинграда?

— Сегодня утром там был.

— Ого-го, — сказал великан, — «дугласом»?

— Так точно, — ответил Крымов.

— Расскажите, как Сталинград? На газеты мы не успели подписаться.

— Кушать хотите, верно? — спросил милый и близорукий. — А мы уж ужинали.

— Я есть не хочу, — сказал Крымов, — а Сталинград немцам не взять. Теперь это совершенно ясно.

— Я в этом был всегда уверен, — сказал великан, — синагога стояла и будет стоять.

Старик громко захлопнул книгу, спросил у Крымова:

— Вы, очевидно, член Коммунистической партии?

— Да, коммунист.

— Тише, тише, говорите только шепотом, — сказал милый и близорукий.

— Даже о принадлежности к партии, — сказал великан.

Его лицо казалось Крымову знакомо, и он вспомнил его: это знаменитый московский конферансье. Когда-то Крымов был с Женей на концерте в Колонном зале и видел его на сцене.

Вот и встретились.

В это время открылась дверь, заглянул часовой и спросил:

— Кто на «кэ»?

Великан ответил:

— Я на «кэ», Каценеленбоген.

Он поднялся, причесал пятерней свои лохматые волосы и неторопливо пошел к двери.

— На допрос, — шепнул милый сосед.

— А почему — «на кэ»?

— Это правило. Позавчера часовой вызывал его: «Кто тут Каценеленбоген на «кэ»?» Очень смешно. Чудак.

— Да, обсмеялись, — сказал старик.

«А ты-то за что сюда попал, старый бухгалтер? — подумал Крымов. — И я на «кэ».

Арестованные стали укладываться спать, а бешеный свет продолжал гореть, и Крымов кожей чувствовал, что некто наблюдает в глазок за тем, как он разворачивает портянки, подтягивает кальсоны, почесывает грудь. Этот свет был особый, он горел не для людей в камере, а для того, чтобы их лучше было видно. Если бы их удобней было наблюдать в темноте, их бы держали в темноте.

Старик-бухгалтер лежал, повернувшись лицом

к стене. Крымов и его близорукий сосед разговаривали шепотом, не глядя друг на друга, прикрыв рот ладонью, чтобы часовой не видел, как шевелятся их губы.

Время от времени они поглядывали на пустую койку, — как-то острит сейчас конферансье на допросе.

Сосед шепотом сказал:

— Все мы в камере стали зайцами, зайками. Это как в сказке: волшебник прикоснулся к людям, и они обратились в ушастых.

Он стал рассказывать о соседях.

Старик был не то эсером, не то эсдеком, не то меньшевиком, фамилию его — Дрелинг — Николай Григорьевич где-то когда-то слышал. Дрелинг просидел в тюрьмах, политизоляторах и лагерях больше двадцати лет, приближался к срокам, достигнутым шлиссельбуржцами Морозовым, Новорусским, Фроленко и Фигнер. Сейчас его привезли в Москву в связи с новым заведенным на него делом, — он в лагере задумал читать лекции по аграрному вопросу раскулаченным.

Конферансье имел такой же длительный лубянский стаж, как и Дрелинг, двадцать с лишним лет назад начал работать при Дзержинском в ВЧК, потом работал при Ягоде в ОГПУ, при Ежо-

ве в Наркомвнуделе, при Берии в Наркомате госбезопасности. Он работал то в центральном аппарате, то возглавлял огромные лагерные строительства.

Ошибся Крымов и в отношении своего собеседника Боголеева. Совслуж оказался искусствоведом, экспертом музейного фонда, сочинителем никогда не публикованных стихов, — писал Боголеев несозвучно эпохе.

Боголеев снова сказал шепотом:

— А теперь, понимаете, все, все исчезло, и стал из меня братик-кролик.

Как дико, страшно, ведь в мире ничего не было, кроме форсирования Буга, Днепра, кроме Пирятинского окружения и Овручских болот, Мамаева кургана, Купоросной балки, дома «шесть дробь один», политдонесений, убыли боеприпасов, раненых политруков, ночных штурмов, политработы в бою и на марше, пристрелки реперов, танковых рейдов, минометов, Генштаба, станковых пулеметов…

И в том же мире, в то же время ничего не было, кроме ночных следствий, побудок, поверок, хождений под конвоем в уборную, выданных счетом папирос, обысков, очных ставок, следователей, решений Особого совещания.

Но было и то, и другое.

Но почему ему казалось естественным, неминуемым, что соседи его, лишенные свободы, сидели в камере внутренней тюрьмы? И почему диким, нелепым, немыслимым было то, что он, Крымов, оказался в этой камере, на этой койке?

Крымову нестерпимо захотелось говорить о себе. Он не удержался и сказал:

— Меня оставила жена, мне не от кого ждать передачи.

А кровать огромного чекиста была пустой до утра.

5

Когда-то, до войны, Крымов ночью проходил по Лубянке и загадывал, что там, за окнами бессонного дома. Арестованные сидели во внутренней тюрьме восемь месяцев, год, полтора, — шло следствие. Потом родные арестованных получали письма из лагерей, и возникали слова — Коми, Салехард, Норильск, Котлас, Магадан, Воркута, Колыма, Кузнецк, Красноярск, Караганда, бухта Нагаево…

Но многие тысячи, попав во внутреннюю тюрьму, исчезали навсегда. Прокуратура сообщала родным, что эти люди осуждены на десять лет без права переписки, но заключенных с такими приговорами в лагерях не было. Десять лет без права переписки, видимо, означало: расстрелян.

В письме из лагеря человек писал, что чувствует себя хорошо, живет в тепле, и просил, если возможно, прислать чеснока и луку. И родные объясняли, что чеснок и лук нужны от цинги. О времени, проведенном в следственной тюрьме, никто никогда в письмах не писал.

Особенно жутко было проходить по Лубянке и Комсомольским переулком в летние ночи 1937

года.

Пустынно было на душных ночных улицах. Дома стояли темные, с открытыми окнами, одновременно вымершие и полные людей. В их покое не было покоя. А в освещенных окнах, закрытых белыми занавесками, мелькали тени, у подъезда хлопали дверцы машин, вспыхивали фары. Казалось, весь огромный город скован светящимся стеклянным взором Лубянки. Возникали в памяти знакомые люди. Расстояние до них не измерялось пространством, это было существование в другом измерении. Не было силы на земле и силы на небе, которая могла бы преодолеть эту бездну, равную бездне смерти. Но ведь не в земле, не под заколоченной крышкой гроба, а здесь, рядом, живой, дышащий, мыслящий, плачущий, не мертвый же.

А машины все везли новых арестованных, сотни, тысячи, десятки тысяч людей исчезали за дверьми внутренней тюрьмы, за воротами Бутырской, Лефортовской тюрем.

На места арестованных приходили новые работники в райкомы, наркоматы, в военные ведомства, в прокуратуру, в тресты, поликлиники, в заводоуправления, в месткомы и фабкомы, в земельные отделы, в бактериологические лабо-

ратории, в дирекцию академических театров, в авиаконструкторские бюро, в институты, проектирующие гиганты химии и металлургии.

Случалось, что через короткое время пришедшие взамен арестованных врагов народа, террористов и диверсантов сами оказывались врагами, двурушниками, и их арестовывали. Иногда случалось, что люди третьего призыва тоже были врагами, и их арестовывали.

Один товарищ, ленинградец, шепотом рассказал Крымову, что с ним в камере сидели три секретаря одного из ленинградских райкомов; каждый вновь назначенный секретарь разоблачал своего предшественника — врага и террориста. В камере они лежали рядом, не имея друг к другу злобы и обиды.

Когда-то ночью в это здание вошел Митя Шапошников, брат Евгении Николаевны. С белым узелком под мышкой, собранным для него женой, — полотенце, мыло, две пары белья, зубная щетка, носки, три носовых платка. Он вошел в эти двери, храня в памяти пятизначный номер партийного билета, свой письменный стол в парижском торгпредстве, международный вагон, где он по дороге в Крым выяснял отношения с женой, пил нарзан и листал, зевая, «Золотого осла».

Конечно, Митя ни в чем не был виноват. Но все же посадили Митю, а Крымова ведь не сажали.

Когда-то по этому ярко освещенному коридору, ведущему из свободы в несвободу, прошел Абарчук, первый муж Людмилы Шапошниковой. Абарчук шел на допрос, торопился развеять нелепое недоразумение… И вот проходит пять, семь, восемь месяцев, и Абарчук пишет: «Впервые мысль убить товарища Сталина подсказал мне резидент германской военной разведки, с которым меня в свое время связал один из руководителей подполья… разговор состоялся после первомайской демонстрации на Яузском бульваре, я обещал дать окончательный ответ через пять дней, и мы условились о новой встрече…»

Удивительная работа совершалась вот за этими окнами, поистине удивительная. Ведь Абарчук не отвел глаз, когда колчаковский офицер стрелял в него.

Конечно, его заставили подписать ложные показания на самого себя. Конечно, Абарчук настоящий коммунист, крепкой, ленинской закалки, он ни в чем не виноват. Но ведь арестовали, ведь дал показания… А Крымова ведь не сажали, не арестовывали, не вынуждали давать показаний.

О том, как создавались подобные дела, Крымов слышал. Кое-какие сведения пришли от тех, кто шепотом говорил ему: «Но помни, если ты хоть одному человеку — жене, матери — скажешь об этом, я погиб».

Кое-что сообщали те, кто, разгоряченные вином и раздосадованные самоуверенной глупостью собеседника, вдруг произносили несколько неосторожных слов и тут же замолкали, а на следующий день как бы между прочим, позевывая, говорили: «Да, кстати, я, кажется, плел вчера всякую ерунду, не помнишь? Ну, тем лучше».

Кое-что говорили ему жены друзей, ездившие в лагеря к мужьям на свидания.

Но ведь все это слухи, болтовня. Ведь с Крымовым ничего подобного не бывало.

Ну вот. Теперь его посадили. Невероятное, нелепое, безумное свершилось. Когда сажали меньшевиков, эсеров, белогвардейцев, попов, кулацких агитаторов, он никогда, ни разу даже на минуту не задумывался над тем, что чувствуют эти люди, теряя свободу, ожидая приговора. Он не думал об их женах, матерях, детях.

Конечно, когда снаряды стали рваться все ближе и ближе, калечить своих, а не врагов, он уже не был равнодушен, — сажали не врагов, а совет-

ских людей, членов партии.

Конечно, когда посадили нескольких человек, особенно близких ему, людей его поколения, которых он считал большевиками-ленинцами, он был потрясен, не спал ночью, стал задумываться над тем, есть ли у Сталина право лишать людей свободы, мучить, расстреливать их. Он думал о тех страданиях, которые переживают они, о страданиях их жен, матерей. Ведь то были не кулаки, не белогвардейцы, а люди — большевики-ленинцы!

И все же он успокаивал себя — как-никак Крымова-то не посадили, не выслали, он не подписывал на себя, не признавал ложных обвинений.

Ну вот. Теперь Крымова, большевика-ленинца, посадили. Теперь не было утешений, толкований, объяснений. Свершилось.

Кое-что он уже узнал. Зубы, уши, ноздри, пах голого человека становились предметом обыска. Потом человек шел по коридору, жалкий и смешной, поддерживая свои сползавшие штаны и подштанники со споротыми пуговицами. У близоруких забирали очки, и они беспокойно щурились, терли глаза. Человек входил в камеру и становился лабораторной мышью, в нем со-

здавали новые рефлексы, он говорил шепотом, и он вставал с койки, ложился на койку, отправлял естественные надобности, спал и видел сны под неотступным наблюдением. Все оказалось чудовищно жестоко, нелепо, бесчеловечно. Он впервые ясно понял, насколько страшны дела, творящиеся на Лубянке. Ведь мучили большевика, ленинца, товарища Крымова.

6

Дни шли, а Крымова не вызывали.

Он знал уже, когда и чем кормят, знал часы прогулки и срок бани, знал дым тюремного табака, время поверки, примерный состав книг в библиотеке, знал в лицо часовых, волновался, ожидая возвращения с допросов соседей. Чаще других вызывали Каценеленбогена. Боголеева вызывали всегда днем.

Жизнь без свободы! Это была болезнь. Потерять свободу — то же, что лишиться здоровья. Горел свет, из крана текла вода, в миске был суп, но и свет, и вода, и хлеб были особые, их давали, они полагались. Когда интересы следствия требовали того, заключенных временно лишали света, пищи, сна. Ведь все это они получали не для себя, такая была методика работы с ними.

Костяного старика вызывали к следователю один раз, и, вернувшись, он надменно сообщил:

— За три часа молчания гражданин следователь убедился, что моя фамилия действительно Дрелинг.

Боголеев был всегда ласков, говорил с обитателями камеры почтительно, по утрам спрашивал

соседей о здоровье, сне.

Однажды он стал читать Крымову стихи, потом прервал чтение, сказал:

— Простите, вам, верно, неинтересно.

Крымов, усмехнувшись, ответил:

— Скажу откровенно, не понял ни бельмеса. А когда-то читал Гегеля и понимал.

Боголеев очень боялся допросов, терялся, когда входивший дежурный спрашивал: «Кто на «б»?» Вернувшись от следователя, он казался похудевшим, маленьким, стареньким.

О своих допросах он рассказывал сбивчиво, сёрпая, жмурясь. Нельзя было понять, в чем его обвиняют, — то ли в покушении на жизнь Сталина, то ли в том, что ему не нравятся произведения, написанные в духе соцреализма.

Как-то великан-чекист сказал Боголееву:

— А вы помогите парню сформулировать обвинение. Я советую что-нибудь вроде такого: «Испытывая звериную ненависть ко всему новому, я огульно охаивал произведения искусства, удостоенные Сталинской премии». Десятку получите. И поменьше разоблачайте своих знакомых, этим не спасаетесь, наоборот, пришьют участие в организации, попадете в режимный лагерь.

— Да что вы, — говорил Боголеев, — разве я

могу помочь им, они знают все.

Он часто шепотом философствовал на свою любимую тему: все мы персонажи сказки — грозные начдивы, парашютисты, последователи Матисса и Писарева, партийцы, геологи, чекисты, строители пятилеток, пилоты, создатели гигантов металлургии… И вот мы, кичливые, самоуверенные, переступили порог дивного дома, и волшебная палочка превратила нас в чижиков-пыжиков, поросюшек, белочек. Нам теперь что — мошку, муравьиное яичко.

У него был оригинальный, странный, видимо, глубокий ум, но он был мелок в житейских делах, — всегда тревожился, что ему дали меньше, хуже, чем другим, что ему сократили прогулку, что во время прогулки кто-то ел его сухари.

Жизнь была полна событий, но она была пустой, мнимой. Люди в камере существовали в высохшем русле ручья. Следователь изучал это русло, камешки, трещины, неровности берега. Но воды, когда-то создавшей это русло, уже не было.

Дрелинг редко вступал в разговор, и если говорил, то большей частью с Боголеевым, видимо, потому, что тот был беспартийным.

Но и говоря с Боголеевым, он часто раздражался.

— Вы странный тип, — как-то сказал он, — во-первых, почтительны и ласковы с людьми, которых вы презираете, во-вторых, каждый день спрашиваете меня о здоровье, хотя вам абсолютно все равно, сдохну я или буду жить.

Боголеев поднял глаза к потолку камеры, развел руками, сказал:

— Вот послушайте, — и прочел нараспев:

– Из чего твой панцирь, черепаха? –
Я спросил и получил ответ:
– Он из мной накопленного страха –
Ничего прочнее в мире нет!

— Ваши стишки? — спросил Дрелинг.

Боголеев снова развел руками, не ответил.

— Боится старик, накопил страх, — сказал Каценеленбоген.

После завтрака Дрелинг показал Боголееву обложку книги и спросил:

— Нравится вам?

— Откровенно говоря, нет, — сказал Боголеев.

Дрелинг кивнул.

— И я не поклонник этого произведения. Георгий Валентинович сказал: «Образ матери, созданный Горьким, — икона, а рабочему классу не нужны иконы».

— Поколения читают «Мать», — сказал Крымов, — при чем тут икона?

Дрелинг голосом воспитательницы из детского сада сказал:

— Иконы нужны всем тем, кто хочет поработить рабочий класс. Вот в вашем коммунистическом киоте имеется икона Ленина, есть икона и преподобного Сталина. Некрасову не нужны были иконы.

Казалось, не только лоб, череп, руки, нос его были выточены из белой кости, — слова его стучали, как костяные.

«Ох и мерзавец», — подумал Крымов.

Боголеев, сердясь, Крымов ни разу не видел этого кроткого, ласкового, всегда подавленного человека таким раздраженным, сказал:

— Вы в своих представлениях о поэзии не пошли дальше Некрасова. С той поры возникли и Блок, и Мандельштам, и Хлебников.

— Мандельштама я не знаю, — сказал Дрелинг, — а Хлебников — это маразм, распад.

— А ну вас, — резко, впервые громко проговорил Боголеев, — надоели мне до тошноты ваши плехановские прописи. Вы тут в нашей камере марксисты разных толков, но схожи тем, что к поэзии слепы, абсолютно ничего в ней не по-

нимаете.

Странная история. Крымова особо угнетала мысль, что для часовых, ночных и дневных дежурных он — большевик, военный комиссар — ничем не отличался от плохого старика Дрелинга.

И теперь он, не терпевший символизма, декадентства, всю жизнь любивший Некрасова, готов был поддержать в споре Боголеева.

Скажи костяной старик плохое слово о Ежове, он с уверенностью стал бы оправдывать — и расстрел Бухарина, и высылку жен за недонесение, и страшные приговоры, и страшные допросы.

Но костяной человек молчал.

В это время пришел часовой, повел Дрелинга в уборную.

Каценеленбоген сказал Крымову:

— Дней пять мы сидели с ним в камере вдвоем. Молчит, как рыба об лед. Я ему говорю: «Курам на смех — два еврея, оба пожилые, проводят совместно вечера на хуторе близ Лубянки и молчат». Куда там! Молчит. К чему это презрение? Почему он не хочет со мной говорить? Страшная месть, или убийство священника в ночь под Лакбоймелах? К чему это? Старый гимназист.

— Враг! — сказал Крымов.

Дрелинг, видимо, не на шутку занимал чекиста.

— Сидит за дело, понимаете! — сказал он. — Фантастика! За плечами лагерь, впереди деревян-бушлат, а он, как железный. Завидую ему я! Вызывают его на допрос — кто на «д»? Молчит, как пень, не откликается. Добился, что его по фамилии называют. Начальство входит в камеру — убей его, не встанет.

Когда Дрелинг вернулся из уборной, Крымов сказал Каценеленбогену:

— Перед судом истории все ничтожно. Сидя здесь, я и вы продолжаем ненавидеть врагов коммунизма.

Дрелинг посмотрел с насмешливым любопытством на Крымова.

— Какой же это суд, — сказал он, ни к кому не обращаясь, — это самосуд истории!

Напрасно завидовал Каценеленбоген силе костяного человека. Его сила уже не была человеческой силой. Слепой, бесчеловечный фанатизм согревал своим химическим теплом его опустошенное и равнодушное сердце.

Война, бушевавшая в России, все события, связанные с ней, мало трогали его — он не расспрашивал о фронтовых делах, о Сталинграде.

Он не знал о новых городах, о могучей промышленности. Он уж не жил человеческой жизнью, а играл бесконечную, абстрактную, его одного касавшуюся партию тюремных шашек.

Каценеленбоген очень интересовал Крымова. Крымов чувствовал, видел, что тот умен. Он шутил, трепался, балагурил, а глаза его были умные, ленивые, усталые. Такие глаза бывают у всезнающих людей, уставших жить и не боящихся смерти.

Как-то, говоря о строительстве железной дороги вдоль берега Ледовитого океана, он сказал Крымову:

— Поразительно красивый проект. — И добавил: — Правда, реализация его обошлась тысяч в десять человеческих жизней.

— Страшновато, — сказал Крымов.

Каценеленбоген пожал плечами:

— Посмотрели бы вы, как шли колонны зека на работу. В гробовом молчании. Над головой зеленое и синее северное сияние, кругом лед и снег, а черный океан ревет. Вот тут и видна мощь.

Он советовал Крымову:

— Надо помогать следователю, он новый кадр, ему самому трудно справиться… А если поможешь ему, подскажешь, то и себе помо-

жешь, — избежишь сточасовых конвейеров. А результат ведь один — Особое совещание влепит положенное.

Крымов пытался с ним спорить, и Каценеленбоген отвечал:

— Личная невиновность — пережиток Средних веков, алхимия. Толстой объявил — нет в мире виноватых. А мы, чекисты, выдвинули высший тезис — нет в мире невиновных, нет неподсудных. Виноват тот, на кого выписан ордер, а выписать ордер можно на каждого. Каждый человек имеет право на ордер. Даже тот, кто всю жизнь выписывал эти ордера на других. Мавр сделал свое дело, мавр может уйти.

Он знал многих друзей Крымова, некоторые были ему знакомы в качестве подследственных по делам 1937 года. Говорил он о людях, чьи дела вел, как-то странно, — без злобы, без волнения: «интересный был человек», «чудак», «симпатяга».

Он часто вспоминал Анатоля Франса, «Думу про Опанаса», любил цитировать бабелевского Беню Крика, называл певцов и балерин Большого театра по имени и отчеству. Он собирал библиотеку редких книг, рассказывал о драгоценном томике Радищева, который достался ему незадолго до ареста.

— Хорошо, — говорил он, — если мое собрание будет передано в Ленинскую библиотеку, а то растащат дураки книги, не понимая их ценности.

Он был женат на балерине. Судьба радищевской книги, видимо, тревожила Каценеленбогена больше, чем судьба жены, и, когда Крымов сказал об этом, чекист ответил:

— Моя Ангелина умная баба, она не пропадет.

Казалось, он все понимал, но ничего не чувствовал. Простые понятия — разлука, страдание, свобода, любовь, женская верность, горе — были ему непонятны. Волнение появлялось в его голосе, когда он говорил о первых годах своей работы в ВЧК. «Какое время, какие люди», — говорил он. А то, что составляло жизнь Крымова, казалось ему категориями пропаганды.

О Сталине он сказал:

— Я преклоняюсь перед ним больше, чем перед Лениным. Единственный человек, которого я по-настоящему люблю.

Но почему этот человек, участвовавший в подготовке процесса лидеров оппозиции, возглавлявший при Берии колоссальную заполярную гулаговскую стройку, так спокойно, примиренно относился к тому, что в своем родном доме ходил на ночные допросы, поддерживая на животе

брюки со срезанными пуговицами? Почему тревожно, болезненно он относился к покаравшему его молчанием меньшевику Дрелингу?

А иногда Крымов сам начинал сомневаться. Почему он так возмущается, горит, сочиняя письма Сталину, холодеет, покрывается потом? Мавр сделал свое дело. Ведь все это происходило в тридцать седьмом году с десятками тысяч членов партии, такими же, как он, получше, чем он. Мавры сделали свое дело. Почему ему так отвратительно теперь слово «донос»? Только лишь потому, что он сам сел по чьему-то доносу? Он ведь получал политдонесения от политинформаторов в подразделениях. Обычное дело. Обычные доносы. Красноармеец Рябоштан носит нательный крест, называет коммунистов безбожниками, — долго ли прожил Рябоштан, попав в штрафную роту? Красноармеец Гордеев заявил, что не верит в силу советского оружия, что победа Гитлера неизбежна, — долго ли прожил Гордеев, попав в штрафное подразделение? Красноармеец Маркович заявил: «Все коммунисты воры, придет время, мы их поднимем на штыки и народ станет свободный», — трибунал присудил Марковича к расстрелу. Ведь он — доносчик, доложил в политуправление фронта о Грекове, не угробила

бы Грекова немецкая бомба, его бы расстреляли перед строем командиров. Что чувствовали, думали эти люди, которых посылали в штрафные роты, судили трибуналы, допрашивали в особых отделах?

А до войны, — сколько раз приходилось ему участвовать в таких делах, спокойно относиться к словам друзей: «Я в парткоме рассказал о своем разговоре с Петром»; «Он честно рассказал партийному собранию содержание письма Ивана»; «Его вызвали, и он, как коммунист, должен был, конечно, обо всем рассказать, — и о настроении ребят, и о письмах Володьки».

Было, было, все это было.

Э, чего там… Все эти объяснения, что он писал и давал устно, они ведь никому не помогли выйти из тюрьмы. Внутренний смысл их был один, — самому не попасть в трясину, отстраниться.

Плохо, плохо защищал своих друзей Крымов, хотя он не любил, боялся, всячески избегал всех этих дел. Чего же он горит, холодеет? Чего он хочет? Чтобы дежурный на Лубянке знал о его одиночестве, следователи вздыхали о том, что его оставила любимая женщина, учитывали в своих разработках то, что он по ночам звал ее, кусал себя за руку, что мама звала его Николенька?

Ночью Крымов проснулся, открыл глаза и увидел Дрелинга у койки Каценеленбогена. Бешеное электричество освещало спину старого лагерника. Проснувшийся Боголеев сидел на койке, прикрыв ноги одеялом.

Дрелинг кинулся к двери, застучал по ней костяным кулаком, закричал костяным голосом:

— Эй, дежурный, скорей врача, сердечный припадок у заключенного!

— Тише, прекратить! — крикнул подбежавший к глазку дежурный.

— Как тише, человек умирает! — заорал Крымов и, вскочив с койки, подбежал к двери, стал вместе с Дрелингом стучать по ней кулаком. Он заметил, что Боголеев лег на койку, укрылся одеялом, — видимо, боялся участвовать в ночном ЧП.

Вскоре дверь распахнулась, вошли несколько человек.

Каценеленбоген был без сознания. Его огромное тело долго не могли уложить на носилки.

Утром Дрелинг неожиданно спросил Крымова:

— Скажите, часто ли вам, коммунистическому комиссару, приходилось сталкиваться на фронте с проявлением недовольства?

Крымов спросил:

— Какого недовольства, чем?

— Я имею в виду недовольство колхозной политикой большевиков, общим руководством войной, словом, проявление политического недовольства?

— Никогда. Ни разу не столкнулся даже с тенью подобных настроений, — сказал Крымов.

— Так-так, понятно, я так и думал, — сказал Дрелинг и удовлетворенно кивнул.

7

Идея окружения немцев под Сталинградом считается гениальной.

В тайном сосредоточении воинских масс на флангах армии Паулюса повторился принцип, рожденный в пору, когда босые, со скошенными лбами, челюстатые мужики расползались по кустарникам, окружая пещеры, захваченные лесными пришельцами. Чему удивляться: различию между дубиной и дальнобойной артиллерией или тысячелетней неизменности принципа старого и нового оружия?

Но ни отчаяния, ни удивления не должно вызывать понимание того, что вечно множащая вширь и ввысь свои витки спираль человеческого движения имеет неизменную ось.

Хотя принцип окружения, составивший суть Сталинградской операции, не нов, — бесспорна заслуга организаторов Сталинградского наступления, правильно избравших район для применения этого древнего принципа. Правильно было ими избрано время проведения операции, умело обучены, накоплены войска; заслугой организаторов наступления является умелое устройство

взаимодействия трех фронтов — Юго-Западного, Донского и Сталинградского; больших трудностей стоило тайное сосредоточение войск на лишенной естественных масок степной земле. Силы с севера и с юга готовились, скользнув вдоль правого и левого плеча немцев, встретиться у Калача, обхватив противника, ломая кости, сминая сердце и легкие армии Паулюса. Много труда было затрачено на разработку деталей операции, на разведывание огневых средств, живой силы, тылов, коммуникаций противника.

Но все же в основе этого труда, в котором принимали участие Верховный Главнокомандующий маршал Иосиф Сталин, генералы Жуков, Василевский, Воронов, Еременко, Рокоссовский и многие одаренные офицеры Генерального штаба, лежал введенный в военную практику первобытным волосатым человеком принцип флангового окружения противника.

Определение гениальности можно отнести лишь к людям, которые вводят в жизнь новые идеи, те, что относятся к ядру, а не к оболочке, к оси, а не к виткам вокруг оси. Ничего общего с такого рода божественными действиями не имеют стратегические и тактические разработки со времен Александра Македонского. Человеческое

сознание, подавленное грандиозностью военных событий, склонно грандиозность масштаба отождествлять с грандиозностью мыслительных достижений полководцев.

История битв показывает, что полководцы не вносят новых принципов в операции по прорыву обороны, преследованию, в окружения, выматывания, — они применяют и используют принципы, известные еще людям неандертальской эры, известные, между прочим, и волкам, окружающим стадо, и стаду, обороняющемуся от волков.

Энергичный, знающий свое дело директор завода обеспечивает успешную заготовку сырья и топлива, взаимосвязь между цехами и десятки других мелких и крупных условий, необходимых для работы завода.

Но когда историки сообщают, что деятельность директора определила принципы металлургии, электротехники, рентгеновского анализа металла, — сознание изучающего историю завода начинает протестовать: рентгеновские лучи открыл не наш директор, а Рентген… доменные печи существовали и до нашего директора.

Истинно великие научные открытия делают человека более мудрым, чем природа. Природа

познает себя в этих открытиях, через эти открытия. К таким человеческим подвигам относится то, что совершили Галилей, Ньютон, Эйнштейн в познании природы пространства, времени, материи и силы. В этих открытиях человек создал бóльшую глубину и бóльшую высоту, чем те, что естественно существовали, и, таким образом, способствовал самопознанию природой себя, обогащению природы.

Открытиями низшего, второго порядка являются те, где существующие, видимые, осязаемые, сформулированные природой принципы воспроизводятся человеком.

Полет птиц, движение рыб, движение перекати-поля и круглого валуна, сила ветра, заставляющего деревья качаться и махать ветвями, реактивные движения голотурий — все это выражение того или иного осязаемого, явного принципа. Человек извлекает из явления его принцип, переносит в свою сферу и развивает в соответствии со своими возможностями и потребностями.

Огромно значение для жизни самолетов, турбин, реактивных двигателей, ракет, и однако, их созданием человечество обязано своему таланту, но не своему гению.

К таким же открытиям второго порядка относятся те, что используют принцип, выявленный, выкристаллизованный людьми, а не природой, скажем, принцип электромагнитной теории поля, нашедший свое применение и развитие в радио, телевидении, радиолокации. К таким же открытиям второго порядка относится освобождение атомной энергии. Создателю первого уранового котла Ферми не следует претендовать на звание гения человечества, хотя его открытие стало началом новой эпохи всемирной истории.

В открытиях еще более низшего, третьего порядка человек уже существующее в сфере его деятельности воплощает в новых условиях, скажем, устанавливает новый двигатель на летательном аппарате, заменяет на судне паровой двигатель электрическим.

И именно сюда относится деятельность человека в области военного искусства, где новые технические условия взаимодействуют со старыми принципами. Нелепо отрицать значение для дела войны деятельности генерала, руководящего сражением. Однако неверно объявлять генерала гением. В отношении способного инженера-производственника это глупо, в отношении генерала это не только глупо, но и вредно, опасно.

8

Два молота, каждый в миллионы тонн металла и живой человеческой крови, — северный и южный, ждали сигнала.

Первыми начали наступление войска, расположенные северо-западнее Сталинграда. 19 ноября 1942 года, в 7 часов 30 минут утра вдоль линии Юго-Западного и Донского фронтов началась мощная артиллерийская подготовка, длившаяся 80 минут. Огневой вал обрушился на боевые позиции, занятые частями 3-й румынской армии.

В 8 часов 50 минут перешли в атаку пехота и танки. Дух советских войск был необычайно высок. 76-я дивизия поднялась в атаку под звуки марша, исполнявшегося ее духовым оркестром.

Во второй половине дня тактическая глубина обороны противника была прорвана. Сражение развернулось на громадной территории.

4-й румынский армейский корпус был разгромлен. 1-я румынская кавалерийская дивизия была отсечена и изолирована от остальных частей 3-й армии в районе Крайней.

5-я танковая армия начала наступление с высот в тридцати километрах юго-западнее Серафи-

мовича, прорвала позиции 2-го румынского армейского корпуса и, быстро продвигаясь на юг, уже к середине дня овладела высотами севернее Перелазовской. Повернув на юго-восток, советские танковые и кавалерийские корпуса к вечеру достигли Гусынки и Калмыкова, зайдя на шестьдесят километров в тыл 3-й румынской армии.

Спустя сутки, на рассвете 20 ноября, перешли в наступление войска, сосредоточенные в калмыцких степях на юге от Сталинграда.

9

Новиков проснулся задолго до рассвета. Волнение Новикова было настолько велико, что он не ощущал его.

— Чай будете пить, товарищ командир корпуса? — торжественно и вкрадчиво спросил Вершков.

— Да, — сказал Новиков, — скажи повару, пусть яичницу зажарит.

— Какую, товарищ полковник?

Новиков помолчал, задумался, и Вершкову показалось, что командир корпуса погрузился в размышления, не слышит вопроса.

— Глазунью, — сказал Новиков и посмотрел на часы, — пойди к Гетманову, встал ли уже, через полчаса нам ехать.

Он, казалось ему, не думал о том, что через полтора часа начнется артиллерийская подготовка, о том, как небо загудит от сотен моторов штурмовиков и бомбардировщиков, о том, как поползут саперы резать проволоку и разминировать минные поля, как пехота, волоча пулеметы, побежит на туманные холмы, которые он столько раз разглядывал в стереотрубу. Он, казалось, не

ощущал в этот час связи с Беловым, Макаровым, Карповым. Он, казалось, не думал о том, что накануне на северо-западе от Сталинграда советские танки, войдя в прорванный артиллерией и пехотой немецкий фронт, безостановочно двигались в сторону Калача и что через несколько часов его танки пойдут с юга навстречу идущим с севера, чтобы окружить армию Паулюса.

Он не думал о командующем фронтом и о том, что, быть может, Сталин завтра назовет имя Новикова в своем приказе. Он не думал о Евгении Николаевне, не вспоминал рассвета над Брестом, когда бежал к аэродрому и в небе светлел первый огонь зажженной немцами войны.

Но все то, о чем он не думал, было в нем.

Он думал: надеть ли новые сапоги с мягкой халявой или ехать в ношеных, не забыть бы портсигар; думал: опять, сукин сын, подал мне холодный чай; он ел яичницу и куском хлеба старательно снимал растопленное масло со сковороды.

Вершков доложил:

— Ваше приказание выполнено, — и тут же сказал осуждающе и доверительно: — Я автоматчика спрашиваю: «У себя?» Автоматчик мне отвечает: «А где ему быть, — спит с бабой».

Автоматчик произнес более крепкое слово, нежели «баба», но Вершков не счел возможным привести его в разговоре с командиром корпуса.

Новиков молчал, надавливая подушечкой пальца, собирал крошки со стола.

Вскоре вошел Гетманов.

— Чайку? — спросил Новиков.

Отрывистым голосом Гетманов сказал:

— Пора ехать, Петр Павлович, чаи да сахары, надо немца воевать.

«Ох, силен», — подумал Вершков.

Новиков зашел в штабную половину дома, поговорил с Неудобновым о связи, о передаче приказов, поглядел на карту.

Полная обманной тишины мгла напомнила Новикову донбасское детство. Вот так казалось все спящим за несколько минут до того, как воздух заполнится сиренами и гудками и люди пойдут в сторону шахтных и заводских ворот. Но Петька Новиков, проснувшийся до гудка, знал, что сотни рук нащупывают в темноте портянки, сапоги, шлепают по полу босые бабьи ноги, погромыхивает посуда и печные чугуны.

— Вершков, — сказал Новиков, — подгони на НП мой танк, понадобится мне сегодня.

— Слушаюсь, — сказал Вершков, — я в него все

барахло погружу, и ваше, и комиссара.

— Какао не забудь положить, — сказал Гетманов.

На крыльцо вышел Неудобнов в шинели внакидку.

— Только что звонил генерал-лейтенант Толбухин, спрашивал, выехал ли комкор на НП.

Новиков кивнул, тронул водителя за плечо:

— Ехай, Харитонов.

Дорога вышла из улуса, оттолкнулась от последнего домика, вильнула, снова вильнула и легла строго на запад, пошла между белых пятен снега, сухого бурьяна.

Они проезжали мимо лощины, где сосредоточились танки первой бригады.

Вдруг Новиков сказал Харитонову: «Стой», — и, соскочив с «виллиса», пошел к темневшим в полумраке боевым машинам.

Он шел, не заговаривая ни с кем, всматривался в лица людей.

Ему вспомнились виденные на днях на деревенской площади нестриженые ребята из пополнения. Действительно, — дети, а в мире все направлено на то, чтобы они шли под огонь, и разработки Генерального штаба, и приказ командующего фронтом, и тот приказ, который он

отдаст через час командирам бригад, и те слова, что говорят им политработники, и те слова, что пишут в газетных статьях и стихах писатели. В бой, в бой! А на темном западе ждали лишь одного — бить по ним, кромсать их, давить их гусеницами.

«Свадьба будет!» Да, будет, без сладкого портвейна, без гармошки. «Горько», — крикнет Новиков, и девятнадцатилетние женихи не отвернутся, честно поцелуют невесту.

Новикову казалось, что он идет среди своих братишек, племяшей, сынишек соседей, и тысячи незримых баб, девчонок, старух смотрят.

Право посылать на смерть во время войны отвергают матери. Но и на войне встречаются люди, участники материнского подполья. Такие люди говорят: «Сиди, сиди, куда ты пойдешь, слышишь, как бьет. Подождут они там моего донесения, а ты лучше чайничек вскипяти». Такие люди рапортуют в телефон начальнику: «Слушаюсь, есть выдвинуть пулемет», — и, положив трубку, говорят: «Куда там его без толку выдвигать, убьют же хорошего парня».

Новиков пошел в сторону своей машины. Лицо его стало хмурым и жестоким, словно впитало в себя сырую тьму ноябрьского рассвета. Когда

машина тронулась, Гетманов понимающе посмотрел на него и сказал:

— Знаешь, Петр Павлович, что я хочу сказать тебе именно сегодня: люблю я тебя, понимаешь, верю в тебя.

10

Тишина стояла плотно, безраздельно, и в мире, казалось, не было ни степи, ни тумана, ни Волги, одна лишь тишина. На темных тучах пролетела светлая быстрая рябь, а затем снова серый туман стал багровым, и вдруг громы обхватили и небо и землю…

Ближние пушки и дальние пушки соединили свои голоса, а эхо прочило связь, ширило многосложное сплетение звуков, заполнявших весь гигантский куб боевого пространства.

Глинобитные домишки дрожали, и комья глины отваливались от стен, беззвучно падали на пол, двери домов в степных деревнях сами собой стали открываться и закрываться, пошли трещины по молодому зеркалу озерного льда.

Виляя тяжелым, полным шелкового волоса хвостом, побежала лисица, а заяц бежал не от нее, а вслед ей; поднялись в воздух, маша тяжелыми крыльями, соединенные, быть может, впервые вместе хищники дня и хищники ночи… Кое-кто из сусликов спросонок выскочил из норы, как выбегают из горящих изб сонные, взлохмаченные дядьки.

Вероятно, сырой утренний воздух на огневых позициях стал теплей на градус от прикосновения к тысячам горячих артиллерийских стволов.

С передового наблюдательного пункта были ясно видны разрывы советских снарядов, вращение маслянистого черного и желтого дыма, россыпи земли и грязного снега, молочная белизна стального огня.

Артиллерия замолкла. Дымовая туча медленно смешивала свои обезвоженные, жаркие космы с холодной влагой степного тумана.

И тут же небо заполнилось новым звуком, урчащим, тугим, широким, — на запад шли советские самолеты. Их гудение, звон, рев делали ощутимой, осязаемой многоэтажную высоту облачного слепого неба, — бронированные штурмовики и истребители шли, прижатые к земле низкими облаками, а в облаках и над облаками ревели басами невидимые бомбардировщики.

Немцы в небе над Брестом, русское небо над приволжской степью.

Новиков не думал об этом, не вспоминал, не сравнивал. То, что переживал он, было значительней воспоминания, сравнения, мысли.

Стало тихо. Люди, ожидавшие тишины, чтобы подать сигнал атаки, и люди, готовые по сигналу

кинуться в сторону румынских позиций, на миг захлебнулись в тишине.

В тишине, подобной немому и мутному архейскому морю, в эти секунды определялась точка перегиба кривой человечества.

Как хорошо, какое счастье участвовать в решающей битве за родину. Как томительно, ужасно подняться перед смертью в рост, не хорониться от смерти, а бежать ей навстречу. Как страшно погибнуть молоденьким! Жить-то, жить хочется. Нет в мире желания сильней, чем желание сохранить молодую, так мало жившую жизнь. Это желание не в мыслях, оно сильнее мысли, оно в дыхании, в ноздрях, оно в глазах, в мышцах, в гемоглобине крови, жадно пожирающем кислород. Оно настолько громадно, что ни с чем не сравнимо, его нельзя измерить. Страшно. Страшно перед атакой. Гетманов шумно и глубоко вздохнул, посмотрел на Новикова, на полевой телефон, на радиопередатчик.

Лицо Новикова удивило Гетманова, — оно было не тем, каким знал его Гетманов за все эти месяцы, а знал он его разным: в гневе, в заботе, в надменности, веселым и хмурым.

Неподавленные румынские батареи одна за другой ожили, били беглым огнем из глубины в

сторону переднего края. Открыли огонь по земным целям мощные зенитные орудия.

— Петр Павлович, — сильно волнуясь, сказал Гетманов, — время! Где пьют, там и льют.

Необходимость жертвовать людьми ради дела всегда казалась ему естественной, неоспоримой не только во время войны.

Но Новиков медлил, он приказал соединить себя с командиром тяжелого артиллерийского полка Лопатиным, чьи калибры только что работали по намеченной оси движения танков.

— Смотри, Петр Павлович, Толбухин тебя съест, — и Гетманов показал на свои ручные часы.

Новиков самому себе, не только Гетманову, не хотел признаться в стыдном, смешном чувстве.

— Машин много потеряем, машин жалко, — сказал он. — «Тридцатьчетверки» красавицы, а тут вопрос нескольких минут, подавим зенитные и противотанковые батареи — они как на ладони у нас.

Степь дымилась перед ним, не отрываясь, смотрели на него люди, стоявшие рядом с ним в окопчике; командиры танковых бригад ожидали его радиоприказа.

Он был охвачен своей ремесленной полковни-

чьей страстью к войне, и его грубое честолюбие трепетало от напряжения, и Гетманов понукал его, и он боялся начальства.

И он отлично знал, что сказанные им Лопатину слова не будут изучать в историческом отделе Генерального штаба, не вызовут похвалы Сталина и Жукова, не приблизят желаемого им ордена Суворова.

Есть право большее, чем право посылать, не задумываясь, на смерть, — право задуматься, посылая на смерть.

Новиков исполнил эту ответственность.

11

В Кремле Сталин ждал донесения командующего Сталинградским фронтом.

Он посмотрел на часы: артиллерийская подготовка только что кончилась, пехота пошла, подвижные части готовились войти в прорыв, прорубленный артиллерией. Самолеты воздушной армии бомбили тылы, дороги, аэродромы.

Десять минут назад он говорил с Ватутиным — продвижение танковых и кавалерийских частей Юго-Западного фронта превысило плановые предположения.

Он взял в руку карандаш, посмотрел на молчавший телефон. Ему хотелось пометить на карте начавшееся движение южной клешни. Но суеверное чувство заставило его положить карандаш. Он ясно чувствовал, что Гитлер в эти минуты думает о нем и знает, что и он думает о Гитлере.

Черчилль и Рузвельт верили ему, но он понимал, — их вера не была полной. Они раздражали его тем, что охотно совещались с ним, но, прежде чем советоваться с ним, договорились между собой.

Они знали — война приходит и уходит, а по-

литика остается. Они восхищались его логикой, знаниями, ясностью его мысли и злили его тем, что все же видели в нем азиатского владыку, а не европейского лидера.

Неожиданно ему вспомнились безжалостно умные, презрительно прищуренные, режущие глаза Троцкого, и впервые он пожалел, что того нет в живых: пусть бы узнал о сегодняшнем дне.

Он чувствовал себя счастливым, физически крепким, не было противного свинцового вкуса во рту, не щемило сердце. Для него чувство жизни слилось с чувством силы. С первых дней войны Сталин ощущал чувство физической тоски. Оно не оставляло его, когда перед ним, видя его гнев, помертвев, вытягивались маршалы и когда людские тысячи, стоя, приветствовали его в Большом театре. Ему все время казалось, что люди, окружающие его, тайно посмеиваются, вспоминая его растерянность летом 1941 года.

Однажды в присутствии Молотова он схватился за голову и бормотал: «Что делать… что делать…» На заседании Государственного Комитета Обороны у него сорвался голос, все потупились. Он несколько раз отдавал бессмысленные распоряжения и видел, что всем очевидна эта бессмысленность… 3 июля, начиная свое выступление

по радио, он волновался, пил боржом, и в эфир передали его волнение… Жуков в конце июля грубо возражал ему, и он на миг смутился, сказал: «Делайте, как знаете». Иногда ему хотелось уступить погубленным в тридцать седьмом году Рыкову, Каменеву, Бухарину ответственность, пусть руководят армией, страной.

У него иногда возникало ужасное чувство: побеждали на полях сражений не только сегодняшние его враги. Ему представлялось, что следом за танками Гитлера в пыли, дыму шли все те, кого он, казалось, навек покарал, усмирил, успокоил. Они лезли из тундры, взрывали сомкнувшуюся над ними вечную мерзлоту, рвали колючую проволоку. Эшелоны, груженные воскресшими, шли из Колымы, из республики Коми. Деревенские бабы, дети выходили из земли со страшными, скорбными, изможденными лицами, шли, шли, искали его беззлобными, печальными глазами. Он, как никто, знал, что не только история судит побежденных.

Берия бывал минутами невыносим ему, потому что Берия, видимо, понимал его мысли.

Все это нехорошее, слабое длилось недолго, несколько дней, все это прорывалось минутами.

Но чувство подавленности не оставляло его,

тревожила изжога, болел затылок, иногда случались пугающие головокружения.

Он снова посмотрел на телефон — время Еременко доложить о движении танков.

Пришел час его силы. В эти минуты решалась судьба основанного Лениным государства, централизованная разумная сила партии получила возможность осуществить себя в строительстве огромных заводов, в создании атомных станций и термоядерных установок, реактивных и турбовинтовых самолетов, космических и трансконтинентальных ракет, высотных зданий, дворцов науки, новых каналов, морей, в создании заполярных шоссейных дорог и городов.

Решалась судьба оккупированных Гитлером Франции и Бельгии, Италии, скандинавских и балканских государств, произносился смертный приговор Освенциму, Бухенвальду и Моабитскому застенку, готовились распахнуться ворота девятисот созданных нацистами концентрационных и трудовых лагерей.

Решалась судьба немцев-военнопленных, которые пойдут в Сибирь. Решалась судьба советских военнопленных в гитлеровских лагерях, которым воля Сталина определила разделить после освобождения сибирскую судьбу немецких пленных.

Решалась судьба калмыков и крымских татар, балкарцев и чеченцев, волей Сталина вывезенных в Сибирь и Казахстан, потерявших право помнить свою историю, учить своих детей на родном языке. Решалась судьба Михоэлса и его друга актера Зускина, писателей Бергельсона, Маркиша, Фефера, Квитко, Нусинова, чья казнь должна была предшествовать зловещему процессу врачей-евреев, возглавляемых профессором Вовси. Решалась судьба спасенных Советской Армией евреев, над которыми в десятую годовщину народной сталинградской победы Сталин поднял вырванный из рук Гитлера меч уничтожения.

Решалась судьба Польши, Венгрии, Чехословакии и Румынии.

Решалась судьба русских крестьян и рабочих, свобода русской мысли, русской литературы и науки.

Сталин волновался. В этот час будущая сила государства сливалась с его волей.

Его величие, его гений не существовали в нем самом, независимо от величия государства и вооруженных сил. Написанные им книги, его ученые труды, его философия значили, становились предметом изучения и восхищения для миллионов людей лишь тогда, когда государство

побеждало.

Его соединили с Еременко.

— Ну, что там у тебя? — не здороваясь, спросил Сталин. — Пошли танки?

Еременко, услыша раздраженный голос Сталина, быстро потушил папиросу.

— Нет, товарищ Сталин, Толбухин заканчивает артподготовку. Пехота очистила передний край. Танки в прорыв еще не вошли.

Сталин внятно выругался матерными словами и положил трубку.

Еременко снова закурил и позвонил командующему 51-й армией.

— Почему танки до сих пор не пошли? — спросил он.

Толбухин одной рукой держал телефонную трубку, второй вытирал большим платком пот, выступивший на груди. Китель его был расстегнут, из раскрытого ворота белоснежной рубахи выступали тяжелые жировые складки у основания шеи.

Преодолевая одышку, он ответил с неторопливостью очень толстого человека, который не только умом, но и всем телом понимает, что волноваться ему нельзя:

— Мне сейчас доложил командир танкового

корпуса, — по намеченной оси движения танков остались неподавленные артиллерийские батареи противника. Он просил несколько минут, чтобы подавить оставшиеся батареи артиллерийским огнем.

— Отменить! — резко сказал Еременко. — Немедленно пустите танки! Через три минуты доложите мне.

— Слушаюсь, — сказал Толбухин.

Еременко хотел обругать Толбухина, но неожиданно спросил:

— Что так тяжело дышите, больны?

— Нет, я здоров, Андрей Иванович, я позавтракал.

— Действуйте, — сказал Еременко и, положив трубку, проговорил: — Позавтракал, дышать не может, — и выругался длинно, фигурно.

Когда на командном пункте танкового корпуса зазуммерил телефон, плохо слышимый из-за вновь начавшей действовать артиллерии, Новиков понял, что командующий армией сейчас потребует немедленного ввода танков в прорыв.

Выслушав Толбухина, он подумал: «Как в воду глядел», — и сказал:

— Слушаюсь, товарищ генерал-лейтенант, будет исполнено.

После этого он усмехнулся в сторону Гетманова.

— Еще минуты четыре пострелять все же надо.

Через три минуты вновь позвонил Толбухин, на этот раз он не задыхался.

— Вы, товарищ полковник, шутите? Почему я слышу артиллерийскую стрельбу? Выполняйте приказ!

Новиков приказал телефонисту соединить себя с командиром артиллерийского полка Лопатиным. Он слышал голос Лопатина, но молчал, смотрел на движение секундной стрелки, выжидая намеченный срок.

— Ох и силен наш отец! — сказал с искренним восхищением Гетманов.

А еще через минуту, когда смолкла артиллерийская стрельба, Новиков надел радионаушники, вызвал командира танковой бригады, первой идущей в прорыв.

— Белов! — сказал он.

— Слушаюсь, товарищ командир корпуса.

Новиков, скривив рот, крикнул пьяным, бешеным голосом:

— Белов, жарь!

Туман стал гуще от голубого дыма, воздух загудел от рева моторов, корпус вошел в прорыв.

12

Цели русского наступления стали очевидны для немецкого командования группы армий «Б», когда на рассвете двадцатого ноября загремела артиллерия в калмыцкой степи и ударные части Сталинградского фронта, расположенные южнее Сталинграда, перешли в наступление против 4-й румынской армии, стоявшей на правом фланге Паулюса.

Танковый корпус, действовавший на левом, заходящем фланге ударной советской группировки, вошел в прорыв между озерами Цацá и Барманцак, устремился на северо-запад по направлению к Калачу, навстречу танковым и кавалерийским корпусам Донского и Юго-Западного фронтов.

Во второй половине дня 20 ноября наступавшая от Серафимовича группировка вышла севернее Суровикино, создав угрозу для коммуникаций армии Паулюса.

Но Шестая армия еще не чувствовала угрозы окружения. В шесть часов вечера штаб Паулюса сообщил командующему группой армий «Б» генерал-полковнику барону фон Вейхсу, что на 20 ноября в Сталинграде намечается продолжить

действия разведывательных подразделений.

Вечером Паулюс получил приказ фон Вейхса прекратить все наступательные операции в Сталинграде и, выделив крупные танковые, пехотные соединения и противотанковые средства, сосредоточить их поэшелонно за своим левым флангом для нанесения удара в северо-западном направлении.

Этот полученный Паулюсом в десять часов вечера приказ знаменовал собой окончание немецкого наступления в Сталинграде.

Стремительный ход событий лишил значения и этот приказ.

21 ноября ударные советские группировки, рвавшиеся от Клетской и Серафимовича, повернули по отношению к своему прежнему направлению на 90 градусов и, соединившись, двигались к Дону в районе Калача и севернее его, прямо в тыл сталинградского фронта немцев.

В этот день 40 советских танков появились на высоком, западном берегу Дона, в нескольких километрах от Голубинской, где находился командный пункт армии Паулюса. Другая группа танков с ходу захватила мост через Дон, — охрана моста приняла советскую танковую часть за учебный отряд, оснащенный трофейными танками,

часто пользовавшийся этим мостом. Советские танки вошли в Калач. Намечалось окружение двух немецких сталинградских армий, — 6-й Паулюса, 4-й танковой Готта. Для защиты Сталинграда с тыла одна из лучших боевых частей Паулюса, 384-я пехотная дивизия, заняла оборону, повернувшись фронтом на северо-запад.

А в это же время наступавшие с юга войска Еременко смяли 29-ю немецкую моторизованную дивизию, разбили 6-й румынский армейский корпус, двигались между реками Червленная и Донская Царица к железной дороге Калач — Сталинград.

В сумерках танки Новикова подошли к сильно укрепленному узлу сопротивления румын.

Но на этот раз Новиков не стал медлить. Он не использовал ночной темноты для скрытого, тайного сосредоточения танков перед атакой.

По приказу Новикова все машины, не только танки, но и самоходные пушки, и бронетранспортеры, и грузовики с мотопехотой внезапно включили полный свет.

Сотни ярких, слепящих фар взломали тьму. Огромная масса машин мчалась из степной тьмы, оглушая ревом, пушечной стрельбой, пулеметными очередями, слепя кинжальным светом,

парализуя румынскую оборону, вызывая панику.

После короткого боя танки продолжали движение.

22 ноября, в первой половине дня, шедшие из калмыцких степей советские танки ворвались в Бузиновку. Вечером восточней Калача, в тылу двух немецких армий, Паулюса и Готта, произошла встреча передовых советских танковых подразделений, шедших с юга и севера. К 23 ноября стрелковые соединения, выдвигаясь к рекам Чир и Аксай, надежно обеспечили внешние фланги ударных группировок.

Задача, поставленная перед войсками Верховным Главнокомандованием Красной Армии, была решена, — окружение сталинградской группировки немцев завершилось в течение ста часов.

Каков был дальнейший ход событий? Что определило его? Чья человеческая воля выразила рок истории?

22 ноября в шесть часов вечера Паулюс передал по радио в штаб группы армий «Б»:

«Армия окружена. Вся долина реки Царица, железная дорога от Советской до Калача, мост через Дон в этом районе, высоты на западном берегу реки, несмотря на героическое сопротив-

ление, перешли в руки русских… положение с боеприпасами критическое. Продовольствия хватит на шесть дней. Прошу предоставить свободу действий на случай, если не удастся создать круговую оборону. Обстановка может принудить тогда оставить Сталинград и северный участок фронта…»

В ночь на 22 ноября Паулюс получил приказ Гитлера именовать занимаемый его армией район — «Сталинградская крепость».

Предыдущий приказ был: «Командующему армией со штабом направиться в Сталинград, 6-й армии занять круговую оборону и ждать дальнейших указаний».

После совещания Паулюса с командирами корпусов командующий группой армий «Б» барон Вейхс телеграфировал Верховному командованию:

«Несмотря на всю тяжесть ответственности, которую испытываю, принимая это решение, я должен доложить, что я считаю необходимым поддержать предложение генерала Паулюса об отводе 6-й армии…»

Начальник Генерального штаба сухопутных сил генерал-полковник Цейцлер, с которым Вейхс беспрерывно поддерживал связь, целиком раз-

делял взгляд Паулюса и Вейхса о необходимости оставить район Сталинграда, считал немыслимым снабжать огромные массы войск, попавших в окружение, по воздуху.

В 2 часа ночи 24 ноября Цейцлер передал телефонограмму Вейхсу о том, что ему наконец удалось убедить Гитлера сдать Сталинград. Приказ о выходе 6-й армии из окружения, сообщал он, будет отдан Гитлером утром 24 ноября.

Вскоре после 10 часов утра единственная линия телефонной связи между группой армий «Б» и 6-й армией была порвана.

Приказ Гитлера о выходе из окружения ожидали с минуты на минуту, и, так как действовать надо было быстро, барон Вейхс решил под собственную ответственность отдать приказ о деблокировании.

В тот момент, когда связисты уже собирались передать радиограмму Вейхса, начальник службы связи услышал, что передается радиограмма из ставки фюрера генералу Паулюсу:

«6-я армия временно окружена русскими. Я решил сосредоточить армию в районе северная окраина Сталинграда, Котлубань, высота с отметкой 137, высота с отметкой 135, Мариновка, Цыбенко, южная окраина Сталинграда. Армия

может поверить мне, что я сделаю все, от меня зависящее, для ее снабжения и своевременного деблокирования. Я знаю храбрую 6-ю армию и ее командующего и уверен, что она выполнит свой долг. Адольф Гитлер».

Воля Гитлера, выражавшая сейчас гибельную судьбу Третьей империи, стала судьбой сталинградской армии Паулюса. Гитлер вписал новую страницу военной истории немцев рукой Паулюса, Вейхса, Цейцлера, рукой командиров немецких корпусов и полков, рукой солдат, всех тех, кто не хотел выполнять его волю, но исполнил ее до конца.

13

После сточасового сражения совершилось соединение частей трех фронтов — Юго-Западного, Донского и Сталинградского.

Под темным зимним небом, в развороченном снегу, на окраине Калача произошла встреча советских передовых танковых подразделений. Снежное степное пространство было прорезано сотнями гусениц, опалено снарядными разрывами. Тяжелые машины стремительно проносились в облаках снега, белая взвесь колыхалась в воздухе. Там, где танки делали крутые развороты, вместе со снегом в воздух поднималась мерзлая глинистая пыль.

Низко над землей со стороны Волги с воем неслись советские самолеты, штурмовики и истребители, поддерживающие вошедшие в прорыв танковые массы. На северо-востоке громыхали орудия тяжелого калибра, и дымное, темное небо освещалось неясными зарницами.

Возле маленького деревянного домика остановились друг против друга две машины «Т-34». Танкисты, грязные, возбужденные боевым успехом и близостью смерти, шумно, с наслаждением

вдыхали морозный воздух, казавшийся особо веселым после масляной, гарной духоты танкового нутра. Танкисты, сдвинув со лбов черные кожаные шлемы, зашли в дом, и там командир машины, пришедшей с озера Цацá, достал из кармана своего комбинезона пол-литра водки… Женщина в ватнике и огромных валенках поставила на стол стаканы, позванивавшие в ее дрожащих руках, всхлипывая, говорила:

— Ой, мы уж не думали в живых остаться, как стали наши бить, как стали бить, я в подполе две ночи и день просидела.

В комнату вошли еще два маленьких танкиста, плечистые, как кубари.

— Видишь, Валера, какое угощение. Кажется, и у нас там закуска есть, — сказал командир машины, пришедшей с Донского фронта. Тот, которого назвали Валерой, запустил руку в глубокий карман комбинезона и извлек завернутый в засаленный боевой листок кусок копченой колбасы, стал делить ее, аккуратно запихивая коричневыми пальцами кусочки белого шпика, вывалившиеся на изломе.

Танкисты выпили, и их охватило счастливое состояние. Один из танкистов, улыбаясь набитым колбасой ртом, проговорил:

— Вот что значит соединились — ваша водка, наша закуска.

Эта мысль всем понравилась, и танкисты, смеясь, повторяли ее, жуя колбасу, охваченные дружелюбием друг к другу.

14

Командир пришедшего с юга танка доложил по радио командиру роты о произошедшем соединении на окраине Калача. Он добавил несколько слов о том, что ребята с Юго-Западного фронта оказались славными и что с ними было распито по сто грамм.

Донесение стремительно пошло вверх, и через несколько минут командир бригады Карпов доложил комкору о произошедшем соединении.

Новиков чувствовал атмосферу любовного восхищения, возникшую вокруг него в штабе корпуса.

Корпус двигался почти без потерь, в срок выполнил поставленную перед ним задачу.

После отправления донесения командующему фронтом Неудобнов долго жал руку Новикову; обычно желчные и раздраженные глаза начальника штаба стали светлей и мягче.

— Вот видите, какие чудеса могут творить наши люди, когда нет среди них внутренних врагов и диверсантов, — сказал он.

Гетманов обнял Новикова, оглянулся на стоявших рядом командиров, на шоферов, вестовых,

радистов, шифровальщиков, всхлипнул, громко, чтобы все слышали, сказал:

— Спасибо тебе, Петр Павлович, русское, советское спасибо. Спасибо тебе от коммуниста Гетманова, низкий тебе поклон и спасибо.

И он снова обнял, поцеловал растроганного Новикова.

— Все подготовил, изучил людей до самой глубины, все предвидел, теперь пожал плоды огромной работы, — говорил Гетманов.

— Где уж там предвидел, — сказал Новиков, которому было невыносимо сладостно и неловко слушать Гетманова. Он помахал пачкой боевых донесений: — Вот мое предвидение. Больше всего я рассчитывал на Макарова, а Макаров потерял темп, потом сбился с намеченной оси движения, ввязался в ненужную частную операцию на фланге и потерял полтора часа. Белов, я был уверен, не обеспечивая флангов, вырвется вперед, а Белов на второй день, вместо того чтобы обойти узел обороны и рвать без оглядки на северо-запад, затеял волынку с артиллерийской частью и пехотой и даже перешел к обороне, затратил на эту ерунду одиннадцать часов. А Карпов первым вырвался к Калачу, шел без оглядки, вихрем, не обращая внимания на то, что творится у него на

флангах, первым перерезал немцам основную коммуникацию. Вот и изучил я людей, вот все заранее предвидел. Ведь я считал, что Карпова придется дубиной подгонять, что он только и будет по сторонам оглядываться да обеспечивать себе фланги.

Гетманов, улыбаясь, сказал:

— Ладно, ладно, скромность украшает, это мы знаем. Нас великий Сталин учит скромности…

В этот день Новиков был счастлив. Должно быть, он действительно любил Евгению Николаевну, если он и в этот день так много думал о ней, все оглядывался, казалось, вот-вот увидит ее.

Снизив голос до шепота, Гетманов сказал:

— Вот чего в жизни не забуду, Петр Павлович, как это ты задержал атаку на восемь минут. Командарм жмет. Командующий фронтом требует немедленно ввести танки в прорыв. Сталин, говорили мне, звонил Еременко, — почему танки не идут. Сталина заставил ждать! И ведь вошли в прорыв, действительно не потеряв ни одной машины, ни одного человека. Вот этого я никогда тебе не забуду.

А ночью, когда Новиков выехал на танке в район Калача, Гетманов зашел к начальнику штаба и сказал:

— Я написал, товарищ генерал, письмо о том, как командир корпуса самочинно задержал на восемь минут начало решающей операции величайшего значения, операции, определяющей судьбу Великой Отечественной войны. Познакомьтесь, пожалуйста, с этим документом.

15

В ту минуту, когда Василевский доложил Сталину по аппарату ВЧ об окружении сталинградской группировки немцев, возле Сталина стоял его помощник Поскребышев. Сталин, не глядя на Поскребышева, несколько мгновений сидел с полузакрытыми глазами, точно засыпая. Поскребышев, придержав дыхание, старался не шевелиться.

Это был час его торжества не только над живым врагом. Это был час его победы над прошлым. Гуще станет трава над деревенскими могилами тридцатого года. Лед, снеговые холмы Заполярья сохранят спокойную немоту.

Он знал лучше всех в мире: победителей не судят.

Сталину захотелось, чтобы рядом с ним находились его дети, внучка, маленькая дочь несчастного Якова. Спокойный, умиротворенный, он гладил бы голову внучки, он бы не взглянул на мир, распластавшийся у порога его хижины. Милая дочь, тихая, болезненная внучка, воспоминания детства, прохлада садика, далекий шум реки. Какое ему дело до всего остального. Ведь

его сверхсила не зависит от больших дивизий и мощи государства.

Медленно, не раскрывая глаз, с какой-то особенно мягкой, гортанной интонацией он произнес:

— Ах, попалась, птичка, стой, не уйдешь из сети, не расстанемся с тобой ни за что на свете.

Поскребышев, глядя на седую, лысеющую голову Сталина, на его рябое лицо с закрытыми глазами, вдруг почувствовал, как у него похолодели пальцы.

16

Успешное наступление в районе Сталинграда упразднило множество разрывов в линии советской обороны. Это упразднение разрывов происходило не только в масштабе огромных фронтов — Сталинградского и Донского, не только между армией Чуйкова и стоявшими на севере советскими дивизиями, не только между оторванными от тылов ротами и взводами и между засевшими в домах отрядами и боевыми группами. Ощущение отрыва, полуокружения и окружения исчезло также и из сознания людей, сменилось чувством целостности, единства и множественности. А это сознание слияния единичного человека с воинской массой и есть то, что называют победоносным духом войск.

И, конечно, в головах и душах немецких солдат, попавших в сталинградское окружение, начались прямо противоположные мысли. Огромный, живой клок, составленный из сотен тысяч думающих, чувствующих клеточек, оторвался от германских вооруженных сил. Эфемерность радиоволн да еще более эфемерные уверения пропаганды о вечной связи с Германией под-

твердили, что сталинградские дивизии Паулюса окружены.

Высказанная в свое время Толстым мысль о том, что осуществить полное окружение армии невозможно, подтверждалась современным Толстому военным опытом.

Война 1941–1945 годов доказала, что армию можно окружить, приковать к земле, обхватить железным обручем. Окружение во время войны 1941–1945 годов стало безжалостной действительностью многих советских и германских армий.

Мысль, высказанная Толстым, была, несомненно, верна для своего времени. Как большинство мыслей о политике либо о войне, высказанных великими людьми, она не обладала вечной жизнью.

Окружение в войне 1941–1945 годов стало реальностью благодаря необычайной подвижности войск и огромной неповоротливой массивности тылов, на которую опирается подвижность. Окружающие части пользуются всеми преимуществами подвижности. Окруженные части полностью теряют подвижность, так как в окружении невозможно организовать многосложный, массивный, заводообразный тыл современной армии. Окруженных разбивает

паралич. Окружающие пользуются моторами и крыльями.

Окруженная армия, лишаясь подвижности, теряет не только свои военно-технические преимущества. Солдаты и офицеры окруженных армий как бы вышибаются из мира современной цивилизации в мир прошедший. Солдаты и офицеры окруженных армий переоценивают не только силы сражающихся войск, перспективы войны, но и политику государства, обаяние партийных вождей, кодексы, конституцию, национальный характер, грядущее и прошлое народа.

И так же склонны к некоторым из названных переоценок, но, конечно, с противоположным знаком, те, кто, подобно орлу, сладко чувствуя силу своих крыльев, парит над скованной, беспомощной жертвой.

Сталинградское окружение армии Паулюса определило перелом в ходе войны.

Сталинградское торжество определило исход войны, но молчаливый спор между победившим народом и победившим государством продолжался. От этого спора зависела судьба человека, его свобода.

17

На границе Восточной Пруссии и Литвы, в герлицком осеннем лесу накрапывал дождь, и человек среднего роста, в сером плаще, шел по тропинке между высоких деревьев. Часовые, видя Гитлера, сдерживали дыхание, замирали в неподвижности, и дождевые капли медленно ползли по их лицам.

Ему хотелось подышать свежим воздухом, побыть одному. Сырой воздух казался очень приятным. Накрапывал славный холодный дождь. Какие милые, молчаливые деревья. Как хорошо ступать по опавшей, мягкой листве.

Люди в полевой ставке весь день нестерпимо раздражали его… Сталин никогда не вызывал в нем уважения. Все, что он делал, еще до войны, казалось ему глупым и топорным. Его хитрость, его вероломство были по-мужичьи просты. Его государство было нелепо. Черчилль когда-нибудь поймет трагическую роль Новой Германии, — она своим телом заслонила Европу от азиатского сталинского большевизма. Он представлял себе тех, кто настаивал на отводе 6-й из Сталинграда, — они будут особо сдержанны, почтительны.

Его раздражали те, что безоглядно верили ему, — они станут многословно выражать ему свою преданность. Ему все время хотелось презрительно думать о Сталине, унизить его, и он ощущал, что это желание вызвано потерей чувства превосходства… Жестокий и мстительный кавказский лавочник. Его сегодняшний успех ничего не менял… Не было ли тайной насмешки в глазах старого мерина Цейцлера? Его раздражала мысль о том, что Геббельс будет информировать его об остротах английского премьера по поводу его полководческого дара. Геббельс, смеясь, скажет: «Согласись, он остроумен», — а в глубине его красивых и умных глаз на миг всплывет торжество завистника, казалось, навек утопленное.

Неприятности с 6-й отвлекали, мешали ему быть самим собой. Не в потере Сталинграда, не в окруженных дивизиях была главная беда происшедшего; не в том, что Сталин переиграл его.

Он выправит все.

Обычные мысли, милые слабости были всегда присущи ему. Но когда он был велик и всесилен, все это восхищало и умиляло людей. Он выражал в себе немецкий национальный порыв. Но едва начинала колебаться мощь Новой Германии и ее вооруженных сил, меркла его мудрость, он терял

свою гениальность.

Он не завидовал Наполеону. Он не терпел тех, чье величие не глохло в одиночестве, бессилии, нищете, кто в темном подвале, на чердаке сохранял силу.

Он не смог во время этой одинокой лесной прогулки оттолкнуть от себя повседневность и в глубине души найти высшее и искреннее решение, недоступное ремесленникам из Генерального штаба и ремесленникам из партийного руководства. Невыносимое томление возникло от вновь вернувшегося к нему ощущения равенства с людьми.

Для того чтобы стать создателем Новой Германии, зажечь войну и печи Освенцима, создать гестапо, человек не годился. Создатель и вождь Новой Германии должен был уйти из человечества. Его чувства, мысли, его повседневность могли существовать лишь над людьми, вне людей.

Русские танки вернули его туда, откуда он ушел. Его мысли, его решения, его зависть сегодня не были обращены к Богу, мировой судьбе. Русские танки повернули его к людям.

Одиночество в лесу, которое вначале успокаивало его, показалось ему страшным. Один, без

телохранителей, без привычных адъютантов, он казался себе мальчиком из сказки, вошедшим в сумрачный, заколдованный лес.

Вот так же шел мальчик-с-пальчик, вот так же заблудился козленок в лесу, шел, не зная, что в темной чаще крадется к нему волк. И из гумусового сумрака прошедших десятилетий выплыл его детский страх, воспоминание о картинке из книжки — козленок стоит на солнечной лесной поляне, а между сырых, темных стволов — красные глаза, белые зубы волка.

И ему захотелось, как в детстве, вскрикнуть, позвать мать, закрыть глаза, побежать.

А в лесу, между деревьев, таился полк его личной охраны, тысячи сильных, тренированных, сообразительных, с быстрой, боевой реакцией людей. Цель их жизни была в том, чтобы чуждое дыхание не пошевелило волоса на его голове, не коснулось его. Едва слышно зуммерили телефоны, передавая по секторам и зонам о каждом движении фюрера, решившего совершить одинокую прогулку по лесу.

Он повернул обратно и, сдерживая желание бежать, шел в сторону темно-зеленых построек своей полевой ставки.

Охранники видели, что фюрер заторопился,

должно быть, срочные дела требовали его присутствия в штабе; могли ли подумать они, что в минуты первых лесных сумерек вождь Германии вспомнил волка из детской сказки.

Из-за деревьев светлели огни в окнах штабных построек. Впервые мысль об огне лагерных печей вызвала в нем человеческий ужас.

18

Необычайно странное чувство охватило людей в блиндажах и на командном пункте 62-й армии. Хотелось потрогать себя за лицо, хотелось пощупать одежду, пошевелить пальцами в сапоге. Немцы не стреляли… Стало тихо.

Тишина вызывала головокружение. Людям казалось, что они опустели, что у них млеет сердце, как-то по-иному шевелятся руки, ноги. Странно, немыслимо было есть кашу в тишине, в тишине писать письмо, проснуться ночью в тишине. Тишина грохотала по-своему, по-тихому. Тишина породила множество звуков, казавшихся новыми и странными: позвякивание ножа, шорох книжной страницы, скрип половицы, шлепанье босых ног, скрип пера, щелканье пистолетного предохранителя, тиканье ходиков на стене блиндажа.

Начальник штаба армии Крылов зашел в блиндаж командующего, Чуйков сидел на койке, напротив него за столиком сидел Гуров. Крылов хотел с ходу рассказать о последней новости, — Сталинградский фронт пошел в наступление, вопрос об окружении Паулюса решится в ближайшие часы. Он оглядел Чуйкова и Гурова и

молча присел на койку. Что-то, должно быть, очень важное увидел Крылов на лицах своих товарищей, если не поделился с ними новостью — новость была нешуточная.

Три человека молчали. Тишина породила новые, затертые в Сталинграде звуки. Тишина готовилась породить новые мысли, страсти, тревоги, ненужные в дни боев.

Но в эти минуты они еще не знали новых мыслей; волнения, честолюбия, обида, зависть еще не родились из костоломной тяжести Сталинграда. Они не думали о том, что их имена теперь навек связаны с прекрасной страницей военной истории России.

Эти минуты тишины были лучшими в их жизни. Это были минуты, когда одни лишь человеческие чувства владели ими, и никто из них потом не мог самому себе ответить, почему таким счастьем и печалью, любовью и смирением были полны они.

Нужно ли продолжать рассказ о сталинградских генералах после того, как завершилась оборона? Нужно ли рассказывать о жалких страстях, охвативших некоторых руководителей сталинградской обороны? О том, как беспрерывно пили и беспрерывно ругались по поводу неразделен-

ной славы. О том, как пьяный Чуйков бросился на Родимцева и хотел задушить его потому лишь, что на митинге в честь сталинградской победы Никита Хрущев обнял и расцеловал Родимцева и не поглядел на рядом стоявшего Чуйкова.

Нужно ли рассказывать о том, что первая поездка со святой малой земли Сталинграда на большую землю была совершена Чуйковым и его штабом на празднование двадцатилетия ВЧК-ОГПУ. О том, как утром после этого празднества Чуйков и его соратники едва все не утонули мертвецки пьяными в волжских полыньях и были вытащены бойцами из воды. Нужно ли рассказывать о матерщине, упреках, подозрениях, зависти.

Правда одна. Нет двух правд. Трудно жить без правды либо с осколочками, с частицей правды, с обрубленной, подстриженной правдой. Часть правды — это не правда. В эту чудную тихую ночь пусть в душе будет вся правда — без утайки. Зачтем людям в эту ночь их добро, их великие трудодни…

Чуйков вышел из блиндажа и медленно поднялся на гребень волжского откоса, деревянные ступени внятно поскрипывали под его ногами. Было темно. Запад и восток молчали. Силуэты

заводских корпусов, развалины городских зданий, окопы, блиндажи влились в спокойную, молчаливую тьму земли, неба, Волги.

Так выразила себя народная победа. Не в церемониальном марше войск, под гром сводного оркестра, не в фейерверках и артиллерийских салютах, а в сыром ночном деревенском покое, охватившем землю, город, Волгу…

Чуйков волновался, внятно ударяло в груди его ожесточенное войной сердце. Он прислушался: тишины не было. Со стороны Банного оврага и «Красного Октября» доносилось пение. Снизу, с Волги, слышались негромкие голоса, звуки гитары.

Чуйков вернулся в блиндаж. Гуров, поджидавший его с ужином, сказал:

— Василий Иванович, с ума сойти: тихо.

Чуйков засопел, ничего не ответил.

А потом, когда они подсели к столу, Гуров произнес:

— Эх, товарищ, и ты, видно, горе видал, коли плачешь от песни веселой.

Чуйков живо и удивленно поглядел на него.

19

В землянке, отрытой на склоне сталинградского оврага, несколько красноармейцев сидели вокруг самодельного столика у самодельного светильника.

Старшина разливал в кружки водку, а люди следили, как дорогая жидкость осторожно поднималась к корявому ногтю старшины, установленному на мутном экваторе граненого стакана.

Все выпили и потянулись к хлебу. Один, прожевав хлеб, сказал:

— Да, уж дал он нам, а все-таки мы осилили.

— Присмирел фриц, не бушует больше.

— Отбушевался.

— Кончилась сталинградская опупея.

— Все же горя много он успел сделать. Пол-России сжег.

Жевали долго, не торопясь, ощущая в своей неторопливости счастливое, спокойное чувство людей, отдыхающих, выпивших и кушающих после нелегкой работы.

Головы затуманило, но туман этот был какой-то особый, он не туманил. И вкус хлеба, и похрустывание лука, и оружие, сложенное под

глинистой стеной землянки, и мысли о доме, и Волга, и победа над могущественным врагом, добытая вот этими самыми руками, что гладили волосы детей, лапали баб, ломали хлеб и завертывали в газету табак, — все сейчас ощущалось с предельной ясностью.

20

Эвакуированные москвичи, готовясь в обратную дорогу, пожалуй, больше, чем свиданию с Москвой, радовались избавлению от жизни в эвакуации. Свердловские, омские, казанские, ташкентские, красноярские улицы и дома, звезды в осеннем небе, вкус хлеба — все стало постылым.

Если читали хорошую сводку Совинформбюро, говорили:

— Ну, теперь скоро все поедем.

Если читали тревожную сводку, говорили:

— Ох, перестанут давать вызовы на членов семьи.

Возникло множество рассказов о людях, сумевших без пропуска добраться до Москвы, — они пересаживались с дальних поездов на рабочие поезда, потом на электрички, где не было заградиловки.

Люди забывали, что в октябре 1941 года каждый прожитый в Москве день казался пыткой. С какой завистью тогда смотрели на москвичей, менявших зловещее родное небо на спокойствие Татарии, Узбекистана…

Люди забывали, что некоторые, не попавшие в эшелоны в роковые октябрьские дни 1941 года, бросали чемоданы и узлы, пешком уходили на Загорск, лишь бы вырваться из Москвы. Люди готовы были теперь бросить вещи, работу, налаженную жизнь и пешком идти в Москву, лишь бы вырваться из эвакуации.

Главная суть двух таких противоположных состояний — страстной тяги из Москвы и страстной тяги в Москву — состояла в том, что год прошедшей войны преобразовал сознание людей, и мистический страх перед немцами сменился уверенностью в превосходстве русской советской силы.

Страшная немецкая авиация уж не казалась страшной.

Во второй половине ноября Совинформбюро сообщило об ударе по группе немецко-фашистских войск в районе Владикавказа (Орджоникидзе), затем об успешном наступлении в районе Сталинграда. За две недели девять раз диктор объявлял: «В последний час… Наступление наших войск продолжается… Новый удар по противнику… наши войска под Сталинградом, преодолевая сопротивление противника, прорвали его новую линию обороны на восточном берегу Дона… наши

войска, продолжая наступление, прошли 10–20 километров… На днях наши войска, расположенные в районе среднего течения Дона, перешли в наступление против немецко-фашистских войск. Наступление наших войск в районе Среднего Дона продолжается… Наступление наших войск на Северном Кавказе… Новый удар наших войск юго-западнее Сталинграда… Наступление наших войск южнее Сталинграда…»

В канун нового, 1943 года Совинформбюро опубликовало сообщение: «Итоги шестинедельного наступления наших войск на подступах Сталинграда», — отчет о том, как были окружены немецкие армии под Сталинградом.

В тайне, не меньшей, чем та, что окутывала подготовку сталинградского наступления, сознание людей совершало подготовку к переходу к совершенно новому взгляду на события жизни. Эта совершавшаяся в подсознании перекристаллизация впервые стала явной, заявила о себе после сталинградского наступления.

То, что произошло в человеческом сознании, отличалось от происходившего в дни московского успеха, хотя внешне казалось, — отличий нет.

Отличие заключалось в том, что московская победа в основном послужила изменению от-

ношения к немцам. Мистическое отношение к немецкой армии кончилось в декабре 1941 года.

Сталинград, сталинградское наступление способствовали новому самосознанию армии и населения. Советские, русские люди по-новому стали понимать самих себя, по-новому стали относиться к людям разных национальностей. История России стала восприниматься как история русской славы, а не как история страданий и унижений русских крестьян и рабочих. Национальное из элемента формы перешло в содержание, стало новой основой миропонимания.

В дни московского успеха действовали довоенные, старые нормы мышления, довоенные представления.

Переосмысливание событий войны, осознание силы русского оружия, государства явилось частью большого, длительного, широкого процесса.

Процесс этот начался задолго до войны, однако он происходил главным образом не в сознании народа, а в его подсознании.

Три грандиозных события были краеугольными камнями нового переосмысливания жизни и человеческих отношений: коллективизация деревни, индустриализация, 1937 год.

Эти события, как и Октябрьская революция 1917 года, совершили сдвиги и смены огромных слоев населения; сдвиги эти сопровождались физическим истреблением людей, не меньшим, а большим, чем истребление в пору ликвидации классов русского дворянства, промышленной и торговой буржуазии.

Эти события, возглавленные Сталиным, знаменовали экономическое и политическое торжество строителей нового, Советского государства, социализма в одной стране. Эти события явились логическим результатом Октябрьской революции.

Однако новый уклад, победивший в пору коллективизации, индустриализации и почти полной смены руководящих кадров, не захотел отказаться от старых идейных формул и представлений, хотя они утратили для него живое содержание. Новый уклад пользовался старыми представлениями и фразеологией, берущими свое начало еще из дореволюционного становления большевистского крыла в Российской социал-демократической партии. Основой же нового уклада являлся его государственно-национальный характер.

Война ускорила процесс переосмысливания

действительности, подспудно шедший уже в довоенное время, ускорила проявление национального сознания, — слово «русский» вновь обрело живое содержание.

Сперва, в пору отступления, это слово связывалось большей частью с отрицательными определениями: российской отсталости, неразберихи, русского бездорожья, русского «авось»... Но, проявившись, национальное сознание ждало дня военного праздника.

Государство также шло к самосознанию в новых категориях.

Национальное сознание проявляется как могучая и прекрасная сила в дни народных бедствий. Народное национальное сознание в такую пору прекрасно, потому что оно человечно, а не потому, что оно национально. Это — человеческое достоинство, человеческая верность свободе, человеческая вера в добро, проявляющиеся в форме национального сознания.

Но пробудившееся в годы бедствий национальное сознание может развиваться многообразно.

Нет спору, что у начальника отдела кадров, оберегающего коллектив учреждения от космополитов и буржуазных националистов, и у красноармейца, отстаивающего Сталинград, по-

разному проявляется национальное сознание.

Жизнь советской державы отнесла пробуждение национального сознания к тем задачам, которые стояли перед государством в его послевоенной жизни, — его борьбе за идею национального суверенитета, в утверждении советского, русского во всех областях жизни.

Все эти задачи возникли не вдруг в военное и послевоенное время, они возникли до войны, когда события в деревне, создание отечественной тяжелой промышленности, приход новых кадров знаменовали торжество уклада, определенного Сталиным как социализм в одной стране.

Родимые пятна российской социал-демократии были сняты, удалены.

И именно в пору сталинградского перелома, в пору, когда пламя Сталинграда было единственным сигналом свободы в царстве тьмы, открыто начался этот процесс переосмысления.

Логика развития привела к тому, что народная война, достигнув своего высшего пафоса во время сталинградской обороны, именно в этот, сталинградский период дала возможность Сталину открыто декларировать идеологию государственного национализма.

21

В стенной газете, вывешенной в вестибюле Института физики, появилась статья под заголовком «Всегда с народом».

В статье говорилось о том, что в Советском Союзе, ведомом сквозь бури войны великим Сталиным, науке придается огромное значение, что партия и правительство окружили деятелей науки уважением и почетом, как нигде в мире, что даже в тяжелое военное время Советское государство создает все условия для нормальной и плодотворной работы ученых.

Далее в статье говорилось об огромных задачах, которые стоят перед институтом, о новом строительстве, о расширении старых лабораторий, о связи теории и практики, о том, какое значение имеют работы ученых для оборонной промышленности.

В статье говорилось о патриотическом подъеме, охватившем коллектив научных работников, стремящихся оправдать заботу и доверие партии и лично товарища Сталина, те надежды, которые народ возлагает на славный передовой отряд советской интеллигенции — научных работников.

Последняя часть статьи была посвящена тому, что, к сожалению, в здоровом и дружном коллективе имеются отдельные люди, которые не чувствуют ответственности перед народом и партией, люди, оторванные от дружной советской семьи. Эти люди противопоставляют себя коллективу, ставят свои частные интересы выше тех задач, которые поставлены перед учеными партией, склонны преувеличивать свои действительные и мнимые научные заслуги. Некоторые из них вольно или невольно становятся выразителями чуждых, несоветских взглядов и настроений, проповедуют политически враждебные идеи. Люди эти обычно требуют объективистского отношения к идеалистическим, проникнутым духом реакции и мракобесия взглядам иностранных ученых-идеалистов, кичатся своими связями с этими учеными, оскорбляют тем самым чувство национальной советской гордости русских ученых, принижают достижения советской науки.

Иногда они выступают как поборники якобы попранной справедливости, пытаясь нажить себе дешевую популярность среди недальновидных, доверчивых людей и ротозеев, — в действительности же они сеют семена розни, неверия в силы русской науки, неуважения к ее славному про-

шлому и великим именам. Статья призывала отсекать все загнивающее, чуждое, враждебное, мешающее выполнению задач, поставленных партией и народом перед учеными в пору Великой Отечественной войны. Статья кончалась словами: «Вперед, к новым вершинам науки, по славному пути, освещенному прожектором марксистской философии, по пути, которым ведет нас великая партия Ленина — Сталина».

Хотя в статье не назывались имена, все в лаборатории поняли, что речь идет о Штруме.

Савостьянов сказал Штруму о статье. Штрум не пошел читать ее, он стоял в этот момент возле сотрудников, заканчивавших монтаж новой установки. Штрум обнял Ноздрина за плечи, сказал:

— Что бы ни случилось, а эта махина свое дело сделает.

Ноздрин неожиданно выматерился во множественном числе, и Виктор Павлович не сразу понял, к кому относится эта брань.

В конце рабочего дня к Штруму подошел Соколов.

— Я любуюсь вами, Виктор Павлович. Вы весь день работали, словно ничего не происходит. Замечательная в вас сократовская сила.

— Если человек от природы блондин, он не

станет брюнетом оттого, что его пропечатали в стенной газете, — сказал Штрум.

Чувство обиды к Соколову стало привычно, и оттого, что Штрум привык к нему, оно словно бы прошло. Он уже не упрекал Соколова за скрытность, робость. Иногда он говорил себе: «Много в нем хорошего, а плохое неизбежно есть во всех».

— Да, статья статье рознь, — сказал Соколов. — Анна Степановна прочла ее, и с сердцем стало плохо. Ее из медпункта домой отправили.

Штрум подумал: «Что же там такое ужасное написано?» Но спрашивать Соколова не стал, а о содержании статьи с ним никто не заговаривал. Так, вероятно, перестают говорить с больными об их неизлечимой раковой болезни.

Вечером Штрум последним ушел из лаборатории. Старик-сторож Алексей Михайлович, переведенный в гардеробщики, подавая Штруму пальто, сказал:

— Вот, Виктор Павлович, какое дело, хорошим людям на этом свете покою не бывает.

Надев пальто, Штрум вновь поднялся по лестнице и остановился перед щитом со стенной газетой.

Прочтя статью, он растерянно оглянулся: на мгновение показалось, что его сейчас арестуют,

но в вестибюле было пустынно и тихо.

С физической реальностью ощутил он соотношение тяжести хрупкого человеческого тела и колоссального государства, ему показалось, что государство пристально всматривается в его лицо огромными светлыми глазами, вот-вот оно навалится на него, и он хрустнет, пискнет, взвизгнет и исчезнет.

На улице было людно, а Штруму казалось, что полоса ничейной земли легла между ним и прохожими.

В троллейбусе человек в военной зимней шапке возбужденным голосом говорил своему спутнику:

— Слыхал сводку «В последний час»?

Кто-то с передних мест сказал:

— Сталинград! Подавился немец.

Пожилая женщина смотрела на Штрума, точно укоряя его за молчание.

Он с кротостью подумал о Соколове: все люди полны недостатков — и он, и я.

Но так как мысль о своем равенстве с людьми в слабостях и недостатках никогда не бывает искренна до конца, он тут же подумал: «Его взгляды зависят от того, любит ли его государство, успешна ли его жизнь. Повернется на весну, на победу,

он слова критики не скажет. А во мне этого нет — плохо ли государству, бьет ли оно меня или ласкает, мои отношения с ним не меняются».

Дома он расскажет Людмиле Николаевне о статье. По-видимому, за него взялись всерьез. Он скажет:

— Вот тебе и Сталинская премия, Людочка. Такие статьи пишут, когда хотят человека посадить.

«У нас одна судьба, — подумал он, — пригласят меня в Сорбонну читать почетный курс, и она поедет со мной; пошлют меня в лагерь на Колыму, и она поедет следом за мной».

«Ты сам довел себя до этого ужаса», — скажет Людмила Николаевна.

Он резко проговорит: «Мне нужна не критика, а сердечное понимание. Критики мне хватает в институте».

Дверь ему открыла Надя.

В полутьме коридора она обняла его, прижалась щекой к его груди.

— Холодный, мокрый, дай пальто снять, что случилось? — спрашивал он.

— Неужели ты не слышал? Сталинград! Огромная победа. Немцы окружены. Пойдем, пойдем скорей.

Она помогла ему снять пальто и за руку потащила в комнаты.

— Сюда, сюда, мама в Толиной комнате.

Она раскрыла дверь. Людмила Николаевна сидела за Толиным столиком. Она медленно повернула к нему голову, торжественно и печально улыбнулась ему.

В этот вечер Штрум не сказал Людмиле о том, что произошло в институте.

Они сидели за Толиным столом, и Людмила Николаевна рисовала на листе бумаги схему окружения немцев в Сталинграде, объясняла Наде свой план военных действий.

А ночью у себя в комнате Штрум думал: «О господи, написать бы покаянное письмо, все ведь пишут в таких ситуациях».

22

Прошло несколько дней после появления статьи в стенгазете. Работа в лаборатории продолжалась по-прежнему. Штрум то впадал в уныние, то оживлялся, был деятелен, ходил по лаборатории, выколачивал быстрыми пальцами из подоконников и металлических кожухов свои любимые мелодии.

Он шутя говорил, что в институте, видимо, началась эпидемия близорукости, знакомые, сталкиваясь с ним нос к носу, проходят в задумчивости мимо, не здороваются; Гуревич, заметив издали Штрума, тоже принял задумчивый вид, перешел на другую сторону улицы, остановился у афиши. Штрум, наблюдая за его эволюциями, оглянулся, в этот же момент оглянулся Гуревич, и глаза их встретились. Гуревич сделал удивленный, обрадованный жест, стал кланяться. Все это было не так уж весело.

Свечин, встречая Штрума, здоровался с ним, тщательно шаркал ногой, но лицо его при этом становилось таким, словно он приветствовал посла недружественной державы.

Виктор Павлович вел счет — кто отвернулся,

кто кивнул, кто поздоровался с ним за руку.

Приходя домой, он первым делом спрашивал у жены:

— Звонил кто-нибудь?

И Людмила отвечала обычно:

— Никто, если не считать Марьи Ивановны.

И, зная его обычный после этих ее слов вопрос, добавляла:

— От Мадьярова писем пока нет.

— Вот, понимаешь, — говорил он, — те, кто звонили каждый день, стали позванивать, а те, кто позванивал, вообще перестали звонить.

Ему казалось, что и дома к нему стали относиться по-иному. Однажды Надя прошла мимо отца, пившего чай, не поздоровавшись.

Штрум грубо крикнул ей:

— Почему не здороваешься? Я, по-твоему, предмет неодушевленный?

И, видимо, лицо у него было при этом таким жалким, страдающим, что Надя, поняв его состояние, вместо того чтобы ответить грубостью, поспешно сказала:

— Папочка, милый, прости меня.

В этот же день он спросил ее:

— Слушай, Надя, ты продолжаешь встречаться со своим полководцем?

Она молча пожала плечами.

— Я тебя вот о чем хочу предупредить, — сказал он. — Не вздумай с ним вести разговоры на политические темы. Не хватает, чтобы и с этой стороны ко мне подобрались.

И Надя, вместо того чтобы ответить резкостью, проговорила:

— Можешь быть спокоен, папа.

Утром, приближаясь к институту, Штрум начинал оглядываться и то замедлял, то ускорял шаги. Убедившись, что коридор пуст, он шел быстро, опустив голову, и если где-нибудь открывалась дверь, у Виктора Павловича замирало сердце.

Войдя наконец в лабораторию, он тяжело дышал, словно солдат, бежавший к своему окопу по простреливаемому полю.

Однажды Савостьянов зашел в комнату к Штруму, сказал:

— Виктор Павлович, я вас прошу, все мы вас просим, напишите письмо, покайтесь, уверяю вас, это поможет. Подумайте — в пору, когда вам предстоит огромная, да что скромничать, великая работа, когда живые силы нашей науки смотрят на вас с надеждой, вот так, вдруг, все пустить под откос. Напишите письмо, признайте свои ошибки.

— В чем мне каяться, да в чем же ошибки? — сказал Штрум.

— Ах, да не все ли равно, ведь так все делают — и в литературе, и в науке, и партийные вожди, вот и в вашей любимой музыке Шостакович признает ошибки, пишет покаянные письма, и как с гуся вода, продолжает после покаяния работать.

— Но мне-то в чем каяться, перед кем?

— Напишите дирекции, напишите в ЦК. Это не суть важно, куда-нибудь! Важно то, что покаялись. Что-нибудь вроде «признаю свою вину, исказил, обещаю исправить, осознал», — вот в таком роде, вы ведь знаете, уже есть стандарт. А главное, — это помогает, всегда помогает!

Обычно веселые, смеющиеся глаза Савостьянова были серьезны. Казалось, даже цвет их изменился.

— Спасибо, спасибо, дорогой мой, — сказал Штрум, — меня трогает ваша дружба.

А через час Соколов сказал ему:

— Виктор Павлович, на будущей неделе будет расширенный ученый совет, я считаю, что вы обязаны выступить.

— Это по поводу чего? — спросил Штрум.

— Мне кажется, вы должны дать объяснения, короче говоря, покаяться в ошибке.

Штрум зашагал по комнате, внезапно остановился у окна и сказал, глядя на двор:

— Петр Лаврентьевич, а может быть, письмо лучше написать? Все же легче, чем на людях самому себе в рожу плевать.

— Нет, мне думается, вам надо выступить. Я говорил вчера со Свечиным, и он мне дал понять, что там, — он неопределенно показал в сторону верхнего дверного карниза, — хотели, чтобы вы выступили, а не писали письмо.

Штрум быстро повернулся к нему:

— Не выступлю и письма писать не буду.

Соколов с терпеливой интонацией врача-психиатра, беседующего с больным, проговорил:

— Виктор Павлович, молчать в вашем положении — это значит сознательно идти на самоубийство, над вами тяготеют политические обвинения.

— Понимаете, что меня особенно мучит? — спросил Штрум. — Почему в дни всеобщей радости, победы со мной происходит все это? И ведь какой-нибудь сукин сын может сказать, что я открыто ополчился на основы ленинизма, думая, что советской власти пришел конец. Дескать, Мориц любит слабых бить.

— Слышал я и такое мнение, — сказал Соколов.

— Нет, нет, черт с ним! — сказал Штрум. — Не буду каяться!

А ночью, запершись в своей комнате, он стал писать письмо. Охваченный стыдом, он разорвал письмо и тут же стал писать текст своего выступления на ученом совете. Перечтя его, он стукнул ладонью по столу и изорвал бумагу.

— Вот и все, кончено! — сказал он вслух. — Пусть будет, что будет. Пусть сажают.

Некоторое время он сидел неподвижно, переживая свое окончательное решение. Потом ему пришло в голову, что он напишет примерный текст письма, какое подал бы, если бы решил каяться, — так просто, поскольку он окончательно решил не каяться; ведь в этом нет ничего унизительного для него. Никто не увидит этого письма, ни один человек.

Он был один, дверь была заперта, кругом все спали, за окном стояла тишина — ни гудков, ни шума машин.

Но невидимая сила жала на него. Он чувствовал ее гипнотизирующую тяжесть, она заставляла его думать так, как ей хотелось, писать под свою диктовку. Она была в нем самом, она заставляла замирать сердце, она растворяла волю, вмешивалась в его отношение к жене и дочери, в его

прошлое, в мысли о юности. Он и самого себя стал ощущать скудоумным, скучным, утомляющим окружающих тусклым многословием. И даже работа его, казалось, потускнела, покрылась каким-то пеплом, пылью, перестала наполнять его светом и радостью.

Только люди, не испытавшие на себе подобную силу, способны удивляться тем, кто покоряется ей. Люди, познавшие на себе эту силу, удивляются другому, — способности вспыхнуть хоть на миг, хоть одному гневно сорвавшемуся слову, робкому, быстрому жесту протеста.

Штрум писал покаянное письмо для себя, письмо, которое спрячет и никому не покажет, но в то же время он втайне понимал, что письмо это вдруг да пригодится ему, пусть лежит.

Утром он пил чай, поглядывая на часы, — пора было пойти в лабораторию. Леденящее чувство одиночества охватило его. Казалось, уже до конца жизни никто не придет к нему. И ведь не звонят ему по телефону не только от страха. Не звонят потому, что он скучен, неинтересен, бездарен.

— Конечно, и вчера никто не спрашивал меня? — сказал он Людмиле Николаевне и продекламировал: — «Я один у окошка, ни гостя, ни друга не жду…»

— Я забыла сказать тебе, Чепыжин приехал, звонил, хочет тебя видеть.

— О, — сказал Штрум, — о, и ты могла не сказать мне об этом? — И стал выколачивать из стола торжественную музыку.

Людмила Николаевна подошла к окну. Штрум шел неторопливой походкой, высокий, сутулый, взмахивая время от времени портфелем, и она знала, что это он думает о своей встрече с Чепыжиным, приветствует его и разговаривает с ним.

Она в эти дни жалела мужа, тревожилась о нем, но одновременно думала о его недостатках и о главном из них — его эгоизме.

Вот он продекламировал: «Я один у окошка, не жду друга», — и пошел в лабораторию, где окружен людьми, где работа; вечером отправится к Чепыжину, вернется, вероятно, не раньше двенадцати и не подумал о том, что она весь день будет одна и что у окошка в пустой квартире стоит она, и никого возле нее нет, и что это она не ждет ни гостя, ни друга.

Людмила Николаевна пошла на кухню мыть посуду. В это утро ей было особенно тяжело на душе. Марья Ивановна сегодня не будет звонить, поедет к старшей сестре на Шаболовку.

Как тревожно с Надей, она молчит и, конечно,

несмотря на запреты, продолжает свои вечерние прогулки. А Виктор всецело поглощен своими делами, не хочет думать о Наде.

Раздался звонок, должно быть, пришел плотник, с которым она накануне условилась, — он должен исправить дверь в Толиной комнате. И Людмила Николаевна обрадовалась — живой человек. Она открыла дверь — в полутьме коридора стояла женщина в серой каракулевой шапочке, с чемоданом в руке.

— Женя! — крикнула Людмила так громко и жалобно, что сама поразилась своему голосу, и, целуя сестру, гладя ее по плечам, говорила: — Нету, нету Толеньки, нету.

23

Горячая вода в ванне текла тонкой, слабой струйкой, стоило хоть немного увеличить струю, и вода становилась холодной. Ванна наполнялась медленно, но сестрам показалось, что с минуты встречи они не сказали и двух слов.

Потом, когда Женя пошла купаться, Людмила Николаевна то и дело подходила к двери в ванную и спрашивала:

— Ну, как ты там, спину тебе не надо потереть? Следи за газом, а то он тухнет…

Через несколько минут Людмила стукнула кулаком по двери, сердито спросила:

— Да ты что там, уснула?

Женя вышла из ванной в мохнатом халате сестры.

— Ох, ведьма ты, — сказала Людмила Николаевна.

И Евгения Николаевна вспомнила, как назвала ее ведьмой Софья Осиповна во время ночного приезда Новикова в Сталинград.

Стол был накрыт.

— Странное чувство, — сказала Евгения Николаевна, — после двухдневной езды в бесплац-

картном вагоне помылась в ванне и, кажется, вернулась к времени мирного блаженства, а на душе…

— Что тебя в Москву вдруг привело? Что-нибудь очень плохое? — спросила Людмила Николаевна.

— Потом, потом.

Она махнула рукой.

Людмила рассказала о делах Виктора Павловича, о неожиданном и смешном Надином романе, рассказала о знакомых, которые перестали звонить по телефону и узнавать Штрума при встречах.

Евгения Николаевна рассказала о приезде Спиридонова в Куйбышев. Он стал какой-то славный и жалкий. Ему не дают нового назначения, пока комиссия не разберет его дело. Вера с ребенком в Ленинске, Степан Федорович говорит о внуке и плачет. Потом она рассказала Людмиле о высылке Женни Генриховны и о том, какой милый старик Шарогородский, как Лимонов помог ей с пропиской.

В голове Жени стоял табачный туман, стук колес, вагонные разговоры, и действительно странно было смотреть в лицо сестры, ощущать прикосновение мягкого халата к помытому телу,

сидеть в комнате, где пианино, ковер.

И в том, что рассказывали друг другу сестры, в печальных и радостных, смешных и трогательных событиях их сегодняшнего дня неотступно были покинувшие жизнь, но навсегда связанные с ними родные и друзья. И что бы ни говорили о Викторе Павловиче, тень Анны Семеновны стояла за ним, и следом за Сережей возникали его лагерные отец и мать, и шаги плечистого, толстогубого и застенчивого юноши день и ночь звучали рядом с Людмилой Николаевной. Но о них они не говорили.

— О Софье Осиповне ничего не слышно, как в землю провалилась, — сказала Женя.

— Левинтониха?

— Да-да, о ней.

— Я ее не любила, — сказала Людмила Николаевна. — Ты рисуешь? — спросила она.

— В Куйбышеве — нет. В Сталинграде рисовала.

— Можешь гордиться, Витя возил в эвакуацию две твои картины.

Женя улыбнулась:

— Это приятно.

Людмила Николаевна сказала:

— Что ж ты, генеральша, не рассказываешь о

главном? Ты довольна? Любишь его?

Женя, запахивая на груди халат, проговорила:

— Да-да, я довольна, я счастлива, я люблю, я любима... — И, быстрым взглядом оглядев Людмилу, добавила: — Знаешь, зачем я приехала в Москву? Николай Григорьевич арестован, сидит на Лубянке.

— Господи, за что же это? Такой стопроцентный!

— А наш Митя? Твой Абарчук? Уж он-то, кажется, был двухсотпроцентный.

Людмила Николаевна задумалась, сказала:

— А ведь какой он был жестокий, — Николай! Не жалел он крестьян во время сплошной коллективизации. Я, помню, спросила его: что же это делается? А он ответил: черт с ним, с кулачьем. И на Виктора он сильно влиял.

Женя с упреком сказала:

— Ах, Люда, ты всегда вспоминаешь плохое о людях и вслух говоришь об этом как раз в те моменты, когда это не нужно делать.

— Что ж, — сказала Людмила Николаевна, — я прямая, как оглобля.

— Ладно, ладно, ты только не гордись этой своей оглобельной добродетелью, — проговорила Женя.

Она шепотом сказала:

— Люда, меня вызывали.

Она взяла с дивана платок сестры и прикрыла им телефон, сказала:

— Говорят, что могут подслушивать. С меня взяли подписку.

— Ты, по-моему, ведь не была расписана с Николаем.

— Не была, но что из этого? Меня допрашивали как жену. Я расскажу тебе. Прислали повестку — явиться, имея при себе паспорт. Перебирала всех и вся — и Митю, и Иду, и даже твоего Абарчука, и всех сидевших знакомых вспоминала, но Николай мне даже в голову не приходил. Вызвали к пяти часам. Обыкновенная учрежденческая комната. На стене огромные портреты — Сталин и Берия. Молодой субъект с обычной физиономией посмотрел с таким пронзительным всеведением и сразу: «Вам известно о контрреволюционной деятельности Николая Григорьевича Крымова?» Ну, и начал… Я просидела у него два с половиной часа. Мне несколько раз казалось, что я уж оттуда не выйду. Он даже, представь себе, намекнул мне, что Новиков, ну, словом, какая-то жуткая гадость — будто я близка с Новиковым для того, чтобы собирать от него сведения, которые он

может выболтать, а я передам Николаю Григорьевичу… Я внутри точно задеревенела вся. Я ему сказала: «Знаете, Крымов настолько фанатичный коммунист, с ним, как в райкоме». А он мне: «Ах так, значит, вы в Новикове нашли не советского человека?» Я ему сказала: «Странное у вас занятие, люди на фронте борются с фашистами, а вы, молодой человек, сидите в тылу и пачкаете этих людей грязью». Я думала, что он после этого даст мне по морде, а он смешался, покраснел. В общем, Николай арестован. Какие-то безумные обвинения — и троцкизм, и связи с гестапо.

— Какой ужас, — сказала Людмила Николаевна и подумала, что ведь Толя мог попасть в окружение и его могли заподозрить в подобном.

— Представляю себе, как Витя воспримет эту новость, — сказала она. — Он ужасно нервный теперь, все ему кажется, что его посадят. Каждый раз он вспоминает, где, что, с кем говорил. Особенно эту злосчастную Казань.

Евгения Николаевна некоторое время пристально смотрела на сестру и наконец проговорила:

— Сказать тебе, в чем главный ужас? Этот следователь меня спросил: «Как же вы не знаете о троцкизме своего мужа, когда он сказал вам

восторженные слова Троцкого о его статье: «Мраморно»? И уже когда я шла домой, я вспомнила, что действительно Николай сказал мне: «Ты одна знаешь эти слова», и вдруг ночью меня поразило: когда Новиков был в Куйбышеве осенью, я ему об этом сказала. Мне показалось, что я схожу с ума, такой меня охватил ужас…

Людмила Николаевна сказала:

— Несчастная ты. И именно тебе суждено переживать подобные дела.

— Почему именно мне? — спросила Евгения Николаевна. — Ведь и с тобой могло случиться подобное.

— Ну нет. С одним ты разошлась, с другим сошлась. Одному рассказываешь о другом.

— Но и ты ведь расходилась с Толиным отцом. Вероятно, и ты Виктору Павловичу многое рассказывала.

— Нет, ты не права, — убежденно сказала Людмила Николаевна, — это несравнимые вещи.

— Да почему же? — спросила Женя, вдруг почувствовав, глядя на старшую сестру, раздражение. — Согласись, ведь то, что ты говоришь, просто-таки глупо.

Людмила Николаевна спокойно сказала:

— Не знаю, может быть, и глупо.

Евгения Николаевна спросила:

— У тебя часов нет? Мне надо поспеть на Кузнецкий, двадцать четыре, — и, уж не сдерживая раздражения, проговорила: — Тяжелый у тебя, Люда, характер. Недаром ты живешь в четырехкомнатной квартире, а мама предпочитает мотаться бездомной в Казани.

Сказав эти жестокие слова, Женя пожалела о своей резкости и, давая почувствовать Людмиле, что доверчивая связь их сильней случайных размолвок, проговорила:

— Я хочу верить Новикову. Но все же, все же… Как, почему слова эти стали известны в «безопасности»? Откуда этот ужасный туман?

Ей так хотелось, чтобы рядом оказалась мать. Женя бы положила голову ей на плечо и сказала бы: «Родная моя, я так устала».

Людмила Николаевна сказала:

— А знаешь, что могло быть: твой генерал мог рассказать кому-нибудь об этом вашем разговоре, а тот написал.

— Да-да, — сказала Женя, — странно, такая простая мысль не пришла мне в голову.

В тишине и покое Людмилиного дома с еще большей силой ощутила она душевную смуту, владевшую ею…

Все, что она недочувствовала, недодумала, уходя от Крымова, все, что втайне мучило и тревожило ее во время разрыва с ним — неисчезнувшая нежность к нему, тревога о нем, привычка к нему, — в последние недели усилилось, вспыхнуло.

Она думала о нем на работе, в трамвае, стоя в очереди за продуктами. Почти каждую ночь она видела его во сне, стонала, вскрикивала, просыпалась.

Сны были мучительны, всегда с пожарами, войной, с опасностью, грозившей Николаю Григорьевичу, и всегда невозможно было отвести от него эту опасность.

А утром, торопливо одеваясь, умываясь, боясь опоздать на работу, она продолжала думать о нем.

Ей казалось, что она его не любит. Но разве можно так постоянно думать о человеке, которого не любишь, так мучительно переживать его несчастную судьбу? Почему каждый раз, когда Лимонов и Шарогородский, посмеиваясь, называли бездарными его любимых поэтов и художников, ей хотелось увидеть Николая, погладить его по волосам, приласкать, пожалеть его?

Теперь она не помнила его фанатизма, рав-

нодушия к судьбе репрессированных, злобы, с которой он говорил о кулаках в период всеобщей коллективизации.

Теперь ей вспоминалось одно лишь хорошее, романтичное, трогательное, грустное. Его сила над ней была теперь в его слабости. Глаза его были детскими, улыбка растерянной, движения неловкие.

Она видела его с содранными погонами, с полуседой бородой, видела его лежащим ночью на койке, видела его спину во время прогулки по тюремному двору… Вероятно, он представлял себе, что она инстинктивно предугадала его судьбу и что в этом была причина их разрыва. Он лежал на тюремной койке и думал о ней… Генеральша…

Она не знала, — жалость ли это, любовь, совесть ли, долг?

Новиков прислал ей пропуск и договорился по военному проводу с приятелем из ВВС, который обещал доставить Женю на «дугласе» в штаб фронта. Начальство ей дало разрешение на три недели поехать на фронт.

Она успокаивала себя, повторяя: «Он поймет, он обязательно поймет, я иначе не могла поступить».

Она знала, что поступила с Новиковым ужасно:

ждал, ждал ее.

Она написала ему безжалостно правдиво обо всем. Отправив письмо, Женя подумала, что письмо прочтет военная цензура. Ведь все это может необычайно навредить Новикову.

«Нет, нет, он поймет», — твердила она.

Но дело и было в том, что Новиков поймет, а поняв, навсегда расстанется с ней.

Любила ли она его, любила ли только его любовь к себе? Чувство страха, тоски, ужаса перед одиночеством охватывало ее, когда она думала о неминуемости окончательного разрыва с ним.

Мысль о том, что она сама, по своей воле погубила свое счастье, казалась ей особо невыносимой.

Но когда она думала, что теперь уж ей ничего не удастся изменить, поправить, что уж не от нее, а от Новикова зависит их полный и окончательный разрыв, то и эта мысль казалась особенно тяжелой.

Когда ей совершенно невыносимо, мучительно становилось думать о Новикове, она начинала представлять себе Николая Григорьевича, — вот ее вызывают на очную ставку… здравствуй, бедный ты мой.

А Новиков большой, широкоплечий, сильный, облеченный могучей властью. Ему не нужна ее

поддержка, он справится сам. Она его называла «кирасир». Она уж никогда не забудет его прекрасного, милого лица, всегда будет тосковать о нем, о своем счастье, которое сама загубила. Пусть, пусть, себя она не жалеет. Своих страданий она не боится.

Но она знала, что не так уж силен Новиков. Иногда на лице его появлялось почти беспомощное, робкое выражение…

И не так уж она безжалостна к себе и равнодушна к собственным страданиям.

Людмила, точно участвуя в мыслях сестры, спросила:

— Что ж у тебя с твоим генералом будет?

— Я боюсь об этом думать.

— Ох, сечь тебя некому.

— Я не могла иначе поступить! — сказала Евгения Николаевна.

— Мне твои метания не нравятся. Ушла так ушла. Пришла так пришла. Нечего двойственность разводить и растекаться киселем.

— Так-так, — отойди от зла и сотворишь благо? Я по этому правилу жить не умею.

— Я говорю о другом. Я Крымова уважаю, хотя он мне и не нравится, а твоего генерала я ни разу не видала. Раз ты решилась стать его женой,

то неси ответственность за него. А ты безответственна. Человек занимает большое положение, воюет, а жена его в это время таскает передачи арестованному. Ты знаешь, чем это может для него кончиться?

— Знаю.

— Да ты его любишь вообще-то?

— Оставь ты, ради бога, — сказала Женя плачущим голосом и подумала: «Кого же я люблю?»

— Нет, ты отвечай.

— Не могла я иначе поступить, ведь не для удовольствия люди обивают пороги Лубянки.

— Надо думать не только о себе.

— Вот я и думаю не о себе.

— Виктор тоже так рассуждает. А в основе один лишь эгоизм.

— Логика у тебя невероятная, — с детства меня поражала. Ты это называешь эгоизмом?

— Да чем ты можешь помочь? Приговора ты не изменишь.

— Вот, бог даст, тебя посадят, тогда узнаешь, чем могут помочь тебе близкие люди.

Людмила Николаевна, меняя разговор, спросила:

— Скажи-ка, невеста без места, у тебя есть Марусины фотографии?

— Только одна. Помнишь, когда в Сокольниках снимались.

Она положила голову на плечо Людмиле, жалуясь, произнесла:

— Я так устала.

— Отдохни, поспи, не ходи сегодня никуда, — сказала Людмила Николаевна, — я тебе постелю.

Женя, полузакрыв глаза, покачала головой.

— Нет-нет, не надо. Жить я устала.

Людмила Николаевна принесла большой конверт и высыпала на колени сестре пачку фотографий.

Женя перебирала фотографии, восклицала: «Боже мой, боже мой… эту я помню, снимались на даче… какая смешная Надька… это после ссылки папа снимался… вот Митя гимназистом, Сережа на него удивительно похож, особенно верхняя часть лица… а вот мама с Марусей на руках, меня еще не было на свете…»

Она заметила, что среди снимков не было ни одной фотографии Толи, но не спросила у сестры, где Толины фотографии.

— Ну что ж, мадам, — сказала Людмила, — надо тебя обедом кормить.

— Аппетит у меня хороший, — сказала Женя, — как и в детстве, волнения на нем не отражаются.

— Ну, и слава богу, — сказала Людмила Николаевна и поцеловала сестру.

24

Женя сошла с троллейбуса у испещренного маскировочными полосами и запятыми Большого театра и стала подниматься по Кузнецкому мосту мимо выставочных помещений Художественного фонда, где до войны выставлялись знакомые ей художники и где когда-то выставлялись ее картины, прошла и даже не вспомнила об этом.

Странное чувство охватило ее. Ее жизнь, как колода карт, стасованная цыганкой. Вдруг выпала ей Москва.

Она издали увидела темно-серую гранитную стену могучего дома на Лубянке.

«Здравствуй, Коля», — подумала она. Возможно, Николай Григорьевич, ощущая ее приближение, волнуется и не понимает, почему волнение охватило его.

Старая судьба стала ее новой судьбой. То, что, казалось, навсегда ушло в прошлое, стало ее будущим.

Новая просторная приемная, выходившая зеркальными окнами на улицу, была закрыта, и прием посетителей производился в помещении старой приемной.

Она вошла в грязный двор и прошла мимо обшарпанной стены к полуоткрытой двери. Все в приемной выглядело удивительно обыкновенно, — столы в чернильных пятнах, деревянные диваны у стен, окошечки с деревянными подоконниками, где давались справки.

Казалось, не было связи между каменной, многоэтажной громадой, выходившей стенами в сторону Лубянской площади, Сретенки, Фуркасовского переулка, Малой Лубянки, и этой уездной канцелярской комнатой.

В приемной было людно, посетители, в большинстве женщины, стояли в очереди к окошечкам, некоторые сидели на диванах, старик в очках с толстыми стеклами заполнял за столом какой-то листок. Женя, глядя на старые и молодые, мужские и женские лица, подумала, что у всех у них много общего в выражении глаз, в складке рта, и она могла бы, встретив такого человека в трамвае, на улице, догадаться, что он ходит на Кузнецкий мост, 24.

Она обратилась к молодому вахтеру, одетому в красноармейскую форму и почему-то не похожему на красноармейца, и он спросил ее:

— В первый раз? — и указал на окошечко в стене.

Женя стояла в очереди, держа в руке паспорт, ее пальцы и ладони от волнения стали влажными. Женщина в берете, стоявшая впереди нее, вполголоса говорила:

— Если нет во внутренней, надо поехать на Матросскую Тишину, потом в Бутырскую, но там в определенные дни по буквам принимают, потом в Лефортовскую военную тюрьму, потом снова сюда. Я сына полтора месяца искала. А в военной прокуратуре вы уже были?

Очередь продвигалась быстро, и Женя подумала, что это нехорошо, — наверное, ответы были формальные, односложные. Но когда к окошечку подошла пожилая, нарядно одетая женщина, произошла заминка, — шепотом друг другу передавали, что дежурный пошел лично уточнять обстоятельства дела, телефонного разговора оказалось недостаточно. Женщина стояла вполоборота к очереди, и выражение ее прищуренных глаз, казалось, говорило о том, что она и здесь не собирается чувствовать себя ровней с убогой толпой родственников репрессированных.

Вскоре очередь опять стала подвигаться, и молодая женщина, отходя от окошечка, негромко проговорила:

— Один ответ: передача не разрешена.

Соседка объяснила Евгении Николаевне: «Значит, следствие не кончилось».

— А свидание? — спросила Женя.

— Ну что вы, — сказала женщина и улыбнулась Жениной простоте.

Никогда Евгения Николаевна не думала, что человеческая спина может быть так выразительна, пронзительно передавать состояние души. Люди, подходившие к окошечку, как-то по-особому вытягивали шеи, и спины их, с поднятыми плечами, с напружившимися лопатками, казалось, кричали, плакали, всхлипывали.

Когда Женю отделяло от окошка шесть человек, окошечко захлопнулось, был объявлен двадцатиминутный перерыв. Стоявшие в очереди сели на диваны и стулья.

Были тут жены, были матери, имелся пожилой мужчина — инженер, у которого сидела жена, переводчица из ВОКСА; была школьница-девятиклассница, у которой арестовали мать, а папа получил приговор — десять лет без права переписки в 1937 году; была слепая старуха, которую привела соседка по квартире, она узнавала о сыне; была иностранка, плохо говорившая по-русски, — жена немецкого коммуниста, одетая в клетчатое заграничное пальто, с пестрой матер-

чатой сумочкой в руке, глаза у нее были точно такие же, как у русских старух.

Были тут русские, армянки, украинки, еврейки, была колхозница из московского пригорода. Старик, заполнявший за столом анкету, оказался преподавателем Тимирязевской академии, у него арестовали внука, школьника, по всей видимости, за болтовню на вечеринке.

О многом услышала и узнала Женя за эти двадцать минут.

Сегодня хороший дежурный… в Бутырской консервов не принимают, обязательно надо передавать чеснок и лук — помогает от цинги… тут в прошлую среду был человек, получал документы, его три года продержали в Бутырках, ни разу не допросили и выпустили… вообще от ареста до лагеря проходит около года… хорошие вещи передавать не надо, — в Краснопресненской пересылке политические сидят вместе с уголовниками, и уголовники все отнимают… тут недавно была женщина, ее мужа, старика, крупнейшего инженера-конструктора, арестовали, оказалось, что когда-то в молодости у него была недолгая связь с какой-то женщиной, и он ей выплачивал алименты на ребенка, которого ни разу в жизни не видел, а этот ребенок, став взрослым,

на фронте перешел на сторону немцев, и инженеру дали 10 лет — отец изменника Родины… большинство идет по статье 58–10, контрреволюционная агитация — болтали, трепались… взяли перед Первым мая, вообще перед праздниками особенно сажают… тут была женщина — ей домой позвонил следователь, и она вдруг услышала голос мужа…

Странно, но здесь, в приемной НКВД, у Жени на душе стало спокойней и легче, чем после ванны у Людмилы.

Какими счастливицами казались женщины, у которых принимали передачи.

Кто-то едва слышным шепотом говорил рядом:

— Они о людях, арестованных в тридцать седьмом году, сведения высасывают из пальца. Одной сказали: «Жив и работает», а она пришла во второй раз, и тот же дежурный ей дал справку — «Умер в тридцать девятом году».

Но вот человек за оконцем поднял на Женю глаза. Это было обычное лицо канцеляриста, который вчера работал, быть может, в управлении пожарной охраны, а завтра, если велит начальство, будет заполнять документы в наградном отделе.

— Я хочу узнать об арестованном — Крымове

Николае Григорьевиче, — сказала Женя, и ей показалось — даже не знающие ее заметили, что она говорит не своим голосом.

— Когда арестован? — спросил дежурный.

— В ноябре, — ответила она.

Он дал ей опросный лист и сказал:

— Заполните, сдадите мне без очереди, за ответом придете завтра.

Передавая ей листок, он вновь взглянул на нее, — и этот мгновенный взгляд не был взглядом обычного канцеляриста — умный, запоминающий взгляд гэбиста.

Она заполняла листок, и пальцы ее дрожали, как у недавно сидевшего на этом стуле старика из Тимирязевской академии.

На вопрос о родстве с арестованным она написала: «Жена», — и подчеркнула это слово жирной чертой.

Отдав заполненный листок, она села на диван и положила паспорт в сумку. Она несколько раз перекладывала паспорт из одного отделения сумки в другое и поняла, что ей не хочется уходить от людей, стоявших в очереди.

Ей одного лишь хотелось в эти минуты, — дать Крымову знать, что она здесь, что она бросила ради него все, приехала к нему.

Только бы он узнал, что она здесь, рядом.

Она шла по улице, вечерело. В этом городе прошла большая часть ее жизни. Но та жизнь, с художественными выставками, театрами, обедами в ресторанах, с поездками на дачу, с симфоническими концертами, ушла так далеко, что, казалось, это была не ее жизнь. Ушел Сталинград, Куйбышев, красивое, минутами казавшееся ей божественно прекрасным лицо Новикова. Осталась лишь приемная на Кузнецком мосту, 24, и ей казалось, что она идет по незнакомым улицам незнакомого города.

25

Снимая в передней галоши и здороваясь со старухой-работницей, Штрум поглядел на полуоткрытую дверь чепыжинского кабинета.

Помогая Штруму снять пальто, старуха Наталья Ивановна сказала:

— Иди, иди, ждет тебя.

— Надежда Федоровна дома? — спросил Штрум.

— Нету, на дачу вчера поехала с племянницами. Вы не знаете, Виктор Павлович, скоро война кончится?

Штрум сказал ей:

— Рассказывают, что знакомые уговорили шофера спросить у Жукова, когда война кончится. Жуков сел в машину и спросил шофера: «Не скажешь ли, когда эта война кончится?»

Чепыжин вышел навстречу Штруму и сказал:

— Нечего, старая, моих гостей перехватывать. Своих приглашай.

Приходя к Чепыжину, Штрум переживал обычно ощущение подъема. И теперь хотя на сердце у него была тоска, он по-особому ощутил ставшую непривычной легкость.

Входя в чепыжинский кабинет и оглядывая книжные полки, Штрум обычно шутливо говорил слова из «Войны и мира»: «Да, писали — не гуляли».

И теперь он сказал: «Да, писали — не гуляли».

Беспорядок на библиотечных полках, казалось, был сходен с ложным хаосом в цехах челябинского завода.

Штрум спросил:

— Пишут ваши ребята?

— Получили письмо от старшего, а младший на Дальнем Востоке.

Чепыжин взял руку Штрума, в молчаливом пожатии выразил то, что не нужно говорить словами. И старуха Наталья Ивановна подошла к Виктору Павловичу, поцеловала его в плечо.

— Что у вас нового, Виктор Павлович? — спросил Чепыжин.

— То же, что и у всех. Сталинград. Теперь нет сомнения: Гитлеру капут. А у меня лично мало хорошего, наоборот, все плохо.

Штрум стал рассказывать Чепыжину о своих бедах.

— Вот друзья и жена советуют каяться. Каяться в своей правоте.

Он много, жадно говорил о себе — тяжелоболь-

ной, день и ночь занятый своей болезнью.

Штрум скривился, пожал плечами.

— Все вспоминаю наш с вами разговор насчет квашни и всякой дряни, которая всплывает на поверхность… Никогда столько мрази не возникало вокруг меня. И почему-то это все совпало с днями победы, что особенно обидно, непозволительно обидно.

Он посмотрел в лицо Чепыжину и спросил:

— По-вашему, не случайно?

Удивительное было лицо у Чепыжина — простое, даже грубое, скуластое, курносое, мужицкое и при этом уж до того интеллигентное и тонкое, куда там лондонцам, куда там лорду Кельвину.

Чепыжин хмуро ответил:

— Вот кончится война, тогда уж заведем разговор, что случайно, а что не случайно.

— Пожалуй, свинья меня к тому времени съест. Завтра на ученом совете меня порешат. То есть порешили меня уже в дирекции, в парткоме, а на ученом совете оформят — голос народа, требование общественности.

Странно чувствовал себя Виктор Павлович, разговаривая с Чепыжиным, — говорили они о мучительных событиях в жизни Штрума, а на душе у него почему-то было легко.

— А я-то считал, что вас теперь носят на серебряном блюде, а быть может, и на золотом, — сказал Чепыжин.

— Это почему? Ведь я увел науку в болото талмудической абстракции, оторвал ее от практики.

Чепыжин сказал:

— Да-да. Удивительно! Знаете, человек любит женщину. В ней смысл его жизни, она его счастье, страсть, радость. Но он почему-то должен скрываться, сие чувство почему-то неприлично, он должен говорить, что спит с бабой потому, что она будет готовить ему обед, штопать носки, стирать белье.

Он поднял перед лицом свои руки с растопыренными пальцами. И руки у него были удивительные — рабочие, сильные клешни, а при том до того уж аристократичны.

Чепыжин вдруг озлился:

— А я не стыжусь, мне не нужна любовь для варки обеда! Ценность науки в том счастье, которое она приносит людям. А наши академические молодцы кивают: наука — домработница практики, она работает по щедринскому правилу: «Чего изволите?», мы ее за это и держим, за это и терпим! Нет! Научные открытия имеют в самих себе свою высшую ценность! Они совершенствуют

человека больше, чем паровые котлы, турбины, авиация и вся металлургия от Ноя до наших дней. Душу, душу!

— Я-то за вас, Дмитрий Петрович, да вот товарищ Сталин с вами не согласен.

— А зря, зря. Ведь тут есть и вторая сторона дела. Сегодняшняя абстракция Максвелла завтра превращается в сигнал военного радио. Эйнштейновская теория поля тяготения, шредингеровская квантовая механика и построения Бора завтра могут обратиться самой мощной практикой. Вот это надо бы понимать. Это уж настолько просто, что гусь поймет.

Штрум сказал:

— Но ведь и вы на себе испытали нежелание политических руководителей признать, что сегодняшняя теория завтра станет практикой.

— Нет, тут-то обратное, — медленно сказал Чепыжин. — Я сам не хотел руководить институтом, и именно потому, что знал: сегодняшняя теория завтра обратится в практику. Но странно, странно, я был убежден, что Шишакова выдвинули в связи с разработкой вопроса ядерных процессов. А в этих делах без вас не обойдутся… Вернее, не считал, по-прежнему считаю.

Штрум проговорил:

— Я не понимаю мотивы, по которым вы отошли от работы в институте. Ваши слова мне неясны. Но наше начальство не поставило перед институтом задачи, которые вас встревожили. Это-то ясно. А начальству случается ошибаться в вещах более очевидных. Вот Хозяин все крепил дружбу с немцами и в последние дни перед войной гнал Гитлеру курьерскими поездами каучук и прочее стратегическое сырье. А в нашем деле… не грех ошибиться великому политику.

А у меня в жизни ведь все наоборот. Мои довоенные работы соприкасались с практикой. Вот я в Челябинск на завод ездил, помогал устанавливать электронную аппаратуру. А во время войны…

Он махнул с веселой безнадежностью рукой.

— Ушел в дебри, — не то страшно, не то неловко минутами. Ей-богу… Пытаюсь строить физику ядерных взаимодействий, а тут рухнуло тяготение, масса, время, двоится пространство, не имеющее бытия, а один лишь математический смысл. У меня в лаборатории действует молодой талантливый человек, Савостьянов, вот мы с ним как-то заговорили о моей работе. Он меня спрашивает: то, другое. Я ему говорю: это еще не теория, это программа и некоторые идеи. Второе

пространство — это лишь показатель в уравнении, а не реальность. Симметрия существует лишь в математическом уравнении, я не знаю, соответствует ли ей симметрия частиц. Математические решения обскакали физику, я не знаю, захочет ли физика частиц втискиваться в мои уравнения. Савостьянов слушал, слушал, потом сказал: «Я вспомнил моего товарища-студента, он как-то запутался в решении уравнения и сказал: знаешь, это не наука, а совокупление слепых в крапиве…»

Чепыжин рассмеялся.

— Действительно странно, что вы сами не в силах придать своей математике физического значения. Напоминает кошку из Страны чудес, — сперва появилась улыбка, потом сама кошка.

Штрум сказал:

— Ах, боже ж мой. А в душе я уверен, — вот главная ось человеческой жизни, именно здесь она и пролегла. Не изменю своих взглядов, не отступлюсь. Я не отступник от веры.

Чепыжин сказал:

— Я понимаю, каково вам расставаться с лабораторией, где вот-вот может проглянуть связь вашей математики с физикой. Горько, но я рад за вас, честность не сотрется.

— Как бы меня не стерли, — проговорил Штрум.

Наталья Ивановна внесла чай, стала сдвигать книги, освобождая место на столе.

— Ого, лимон, — сказал Штрум.

— Дорогой гость, — сказала Наталья Ивановна.

— Нуль без палочки, — сказал Штрум.

— Но-но, — проговорил Чепыжин. — Зачем так?

— Право же, Дмитрий Петрович, завтра меня порешат. Я чувствую. Что ж мне делать послезавтра?

Он пододвинул к себе стакан чаю и, вызванивая ложечкой по краю блюдечка марш своего отчаяния, рассеянно проговорил:

— Ого, лимон, — и смутился оттого, что с одной и той же интонацией дважды произнес это слово.

Они некоторое время молчали. Чепыжин сказал:

— Хочу с вами поделиться кое-какими мыслями.

— Я всегда готов, — рассеянно сказал Штрум.

— Да так, просто маниловщина… Знаете, теперь уже стало трюизмом представление о бесконечности Вселенной. Метагалактика когда-нибудь

окажется кусочком сахара, с которым пьет чай вприкуску какой-нибудь экономный лилипут, а электрон или нейтрон — миром, населенным Гулливерами. Это уже школьники знают.

Штрум кивнул и подумал: «Действительно, маниловщина. Что-то у старика сегодня дело не идет». Он в это время представил себе Шишакова на завтрашнем собрании. «Нет, нет, не пойду. Идти — значит каяться либо надо спорить по политическим вопросам, а это равносильно самоубийству…»

Он незаметно зевнул и подумал: «Сердечная недостаточность, зевают от сердца».

Чепыжин сказал:

— Ограничить бесконечность, казалось, может лишь Бог… Ведь за космической гранью неминуемо нужно признать Божественную силу. Не так ли?

— Так-так, — сказал Штрум и подумал: «Дмитрий Петрович, мне не до философии, ведь меня посадить могут. Как пить дать! Вот я в Казани поговорил откровенно с таким дядей — Мадьяровым. Либо он просто стукач, либо его посадят и заставят разговаривать. Кругом, кругом меня все плохо».

Он смотрел на Чепыжина, и Чепыжин, следя за

его ложно внимательным взглядом, продолжал говорить:

— Мне кажется, есть грань, ограничивающая бесконечность Вселенной, — жизнь. Эта грань не в эйнштейновской кривизне, она в противоположности жизни и неживой материи. Мне представляется, жизнь можно определить как свободу. Жизнь — есть свобода. Основной принцип жизни — свобода. Вот тут и пролегла граница — свобода и рабство, неживая материя и жизнь.

Потом я подумал, — свобода, однажды возникнув, начала свою эволюцию. Она шла двояко. Человек богаче свободой, чем простейшие. Вся эволюция живого мира есть движение от меньшей степени свободы к высшей. В этом суть эволюции живых форм. Высшая форма та, которая богаче свободой. Это первая ветвь эволюции.

Штрум, задумавшись, смотрел на Чепыжина. Чепыжин кивнул, как бы одобряя внимание слушателя.

— Ведь есть и вторая, количественная, ветвь эволюции, — подумал я. Ныне, если считать вес человека в пятьдесят килограммов, человечество весит сто миллионов тонн. Это намного больше того, что было, скажем, тысячу лет тому назад. Масса живого вещества будет все увеличиваться

за счет неживого. Земной шар будет постепенно оживать. Человек, заселив пустыни, Арктику, станет уходить под землю, все углубляя горизонты подземных городов и полей. Возникнет преобладание живой массы Земли! Затем оживут планеты. Если представить себе эволюцию жизни в бесконечности времени, то превращение неживой материи в жизнь пойдет в галактическом масштабе. Материя из неживой станет обращаться в живую, в свободу. Мироздание оживет, все в мире станет живым, а значит, свободным. Свобода — жизнь победит рабство.

— Да-да, — сказал Штрум и улыбнулся. — Можно взять интеграл.

— Вот штука, — сказал Чепыжин. — Я занимался эволюцией звезд, а понял, что шутить с шевелением серого пятнышка живой слизи не следует. Подумайте о первой ветви эволюции — от низшего к высшему. Придет человек, наделенный всеми признаками Бога: вездесущий, всемогущий, всеведущий. В ближайшее столетие придет решение вопроса о превращении материи в энергию и создании живого вещества. Параллельно развитие пойдет в направлении преодоления пространства и достижения предельных скоростей. В более далекие тысячелетия

прогресс пойдет в сторону овладения высшими видами энергии — психической.

И вдруг все, что говорил Чепыжин, перестало казаться Штруму болтовней. Оказалось, он не был согласен с тем, что говорил Чепыжин.

— Человек сумеет материализовать в показании приборов содержание, ритм психической деятельности разумных существ во всей Метагалактике. Движение психической энергии в пространстве, через которое свет летит миллионы лет, будет совершаться мгновенно. Свойство Бога — вездесущность — станет достоянием разума. Но, достигнув равенства с Богом, человек не остановится. Он станет решать задачи, которые оказались не по плечу Богу. Он установит связь с разумными существами высших этажей Вселенной, из иного пространства и иного времени, для которых вся история человечества лишь мгновенная, неясная вспышка. Он установит сознательную связь с жизнью в микрокосмосе, чья эволюция лишь краткий миг для человека. Это будет пора полного уничтожения пространственно-временной бездны. Человек посмотрит на Бога сверху вниз.

Штрум закивал головой, проговорил:

— Дмитрий Петрович, вначале я слушал вас,

думал, — мне не до философии, меня посадить могут, какая уж тут философия. И вдруг забыл и о Ковченко, и о Шишакове, и о товарище Берия, и о том, что меня завтра в шею погонят из моей лаборатории, а послезавтра могут посадить. Но, знаете, я испытывал, слушая вас, не радость, а отчаяние. Вот мы мудры, и Геркулес нам кажется рахитиком. И в это же время немцы убивают еврейских стариков и детей, как бешеных собак, а у нас происходили тридцать седьмой год и сплошная коллективизация с высылкой миллионов несчастных крестьян, с голодом, с людоедством… Знаете, мне все казалось раньше простым и ясным. А после всех ужасных потерь и бед все стало сложно, запутанно. Человек посмотрит сверху вниз на Бога, но не посмотрит ли он сверху вниз и на Дьявола, не превзойдет ли и его? Вы говорите, жизнь — свобода. Но думают ли так люди в лагерях? Не обратит ли свое могущество жизнь, разлившись во Вселенной, на устройство рабства, более страшного, чем рабство неживой материи, о котором вы говорили? Вот скажите мне, — превзойдет ли тот, будущий человек в своей доброте Христа? Вот — главное! Скажите мне, что даст миру могущество существа вездесущего и всеведущего, если это существо останется

с нашими нынешними зоологическими самоуверенностью и эгоизмом — классовыми, расовыми, государственными и лично своими? Не превратит ли этот человек весь мир в галактический концлагерь? Вот-вот, скажите мне, верите ли вы в эволюцию доброты, морали, милосердия, способен ли человек на такую эволюцию?

Штрум виновато поморщился.

— Простите, что настойчиво задаю вам этот вопрос, он, кажется, еще более абстрактен, чем уравнения, о которых мы с вами говорили.

— Не так уж он абстрактен, — сказал Чепыжин, — и потому-то он отразился и на моей жизни. Я решил не участвовать в работах, связанных с расщеплением атома. Нынешних добра и доброты не хватает человеку для разумной жизни, вы сами говорите об этом. Что же будет, если в лапы человеку попадут силы внутренней энергии атома? Ныне духовная энергия находится на жалком уровне. Но в будущее я верю! Верю, что развиваться будет не только мощь человека, но и любовь, душа его.

Он замолчал, пораженный выражением лица Штрума.

— Я думал, думал об этом, — сказал Штрум. — И меня однажды охватил ужас! Вот вас пугает несо-

вершенство человека. Но кто еще, скажем, в моей лаборатории, думает над всем этим? Соколов? Огромный талант, но он робок, преклоняется перед силой государства, считает, нет власти не от Бога. Марков? Он совершенно вне вопросов добра, зла, любви, морали. Деловой талант. Он решает вопросы науки, как шахматный этюдист. Савостьянов, о котором я вам говорил? Он милый, остроумный, прекрасный физик, но он то, что называется бездумный, пустой малый. Привез в Казань гору фотографий знакомых девиц в купальных костюмах, любит пофрантить, выпить, танцор. Для него наука — спорт: решить вопрос, понять явление — то же, что поставить спортивный рекорд. Важно, чтобы не обштопали! А ведь и я сегодня не думаю всерьез обо всем этом. Наукой должны заниматься в наше время люди великой души, пророки, святые! А науку делают деловые таланты, шахматные этюдисты, спортсмены. Не ведают, что творят. Вы! Но вы — это вы. Берлинский Чепыжин не откажется работать с нейтронами! Что тогда? А я, а со мной, что со мной происходит? Все мне казалось простым, ясным, а теперь нет, нет… Знаете, Толстой считал свои гениальные творения пустой игрой. А мы, физики, творим не гениально, а пыжимся, пыжимся.

Ресницы Штрума часто заморгали.

— Где мне взять веру, силы, стойкость? — быстро проговорил он, и в голосе его послышался еврейский акцент. — Ну что я вам могу сказать? Вы знаете горе, которое меня постигло, а сегодня меня травят только за то, что я…

Он не договорил, быстро встал, ложечка упала на пол. Он дрожал, руки его дрожали.

— Виктор Павлович, успокойтесь, прошу вас, — сказал Чепыжин. — Давайте говорить о чем-нибудь другом.

— Нет-нет, простите. Я пойду, что-то у меня с головой делается, извините меня.

Он стал прощаться.

— Спасибо, спасибо, — говорил Штрум, не глядя в лицо Чепыжину, чувствуя, что не может справиться с волнением.

Штрум спускался по лестнице, и слезы текли по его щекам.

26

Штрум вернулся домой, когда все спали. Ему казалось, что он до утра просидит за столом, переписывая и перечитывая свое покаянное заявление, решая в сотый раз — идти ли ему завтра в институт.

Во время долгой дороги домой он ни о чем не думал, — ни о слезах на лестнице, ни о разговоре с Чепыжиным, оборванном внезапным нервным припадком, ни о страшном для него завтрашнем дне, ни о письме матери, лежавшем в боковом кармане его пиджака. Молчание ночных улиц подчинило его, и в его голове все стало пустынным, просматривалось и простреливалось, как безлюдные просеки ночной Москвы. Он не волновался, не стыдился своих недавних слез, не страшился своей судьбы, не хотел хорошего исхода.

Утром Штрум пошел в ванную, но дверь была заперта изнутри.

— Людмила, ты? — спросил он.

Он ахнул, услышав голос Жени.

— Боже мой, как вы здесь очутились, Женечка? — сказал он и от растерянности глупо

спросил: — А Люда знает, что вы приехали?

Она вышла из ванной, и они поцеловались.

— Вы плохо выглядите, — сказал Штрум и добавил: — Это называется еврейский комплимент.

Она тут же в коридоре сказала ему об аресте Крымова и о цели своего приезда.

Он был поражен. Но после этого известия приезд Жени стал ему особенно дорог. Если бы Женя приехала счастливой, занятая мыслями о своей новой жизни, она бы не показалась ему такой милой, близкой.

Он говорил с ней, расспрашивал ее и все поглядывал на часы.

— Как все это нелепо, как бессмысленно, — говорил он, — вспомните только мои разговоры с Николаем, он всегда мне вправлял мозги. А теперь! Я полон ереси, гуляю на свободе, а он, правоверный коммунист, — арестован.

Людмила Николаевна сказала:

— Витя, имей в виду — часы в столовой отстают на десять минут.

Он пробормотал что-то и пошел к себе в комнату, успел, проходя по коридору, дважды посмотреть на часы.

Заседание ученого совета было назначено на 11 часов утра. Среди привычных предметов и

книг он с какой-то повышенной, близкой к галлюцинации, четкостью ощущал напряжение и суету, происходящие в институте. Половина одиннадцатого. Соколов начал снимать халат. Савостьянов вполголоса говорит Маркову: «Да, видимо, наш сумасшедший решил не приходить». Гуревич, почесывая толстый зад, поглядел в окно, — к зданию института подъехал «ЗИС», вышел Шишаков в шляпе, в длинном пасторском плаще. Вслед подъехала машина — молодой Бадьин. Идет по коридору Ковченко. В зале заседаний уже человек пятнадцать, перелистывают газеты. Они пришли заранее, зная, что народу будет много, надо занять места получше. Свечин и секретарь общеинститутского парткома Рамсков «с печатью тайны на челе» стоят у двери парткома. Старик-академик Прасолов в седых кудрях, устремив взор ввысь, плывет по коридору — он говорит на подобных заседаниях удивительно подло. Шумно, толпой идут младшие научные сотрудники.

Штрум посмотрел на часы, достал из стола свое заявление, сунул его в карман, снова посмотрел на часы.

Он может пойти на ученый совет и не каяться, молча присутствовать… Нет… Если прийти,

отмалчиваться не придется, а уж если говорить, то надо каяться. А не прийти — отрезать себе все дороги…

Скажут — «не нашел в себе смелости… демонстративно противопоставил себя коллективу… политический вызов… после этого уж следует разговаривать с ним другим языком…». Он вынул из кармана заявление и тут же, не читая, положил его обратно в карман. Десятки раз перечитывал он эти строки: «Я осознал, что, высказав недоверие к партийному руководству, я совершил поступок, несовместимый с нормами поведения советского человека, а потому… В своей работе я, не сознавая того, отошел от столбовой дороги советской науки и невольно противопоставил себя…»

Ему все время хотелось перечитывать это заявление, но едва он брал заявление в руки, каждая буква казалась ему невыносимо знакомой… Коммунист Крымов сел, попал на Лубянку. А Штрума с его сомнениями, ужасом перед жестокостью Сталина, с его разговорами о свободе, бюрократизме, с нынешней его политически окрашенной историей давно бы нужно было загнать на Колыму…

Последние дни его все чаще охватывал страх,

казалось, что его арестуют. Ведь обычно изгнанием с работы дело не ограничивается. Сперва прорабатывают, потом гонят с работы, потом сажают.

Он снова посмотрел на часы. Зал уже полон. Сидящие поглядывают на дверь, перешептываются: «Штрум-то не явился…» Кто-то говорит: «Уж полдень близится, а Виктора все нет». Шишаков занял председательское место, положил на стол очешник. Возле Ковченко стоит секретарша, принесшая ему на подпись срочные бумаги.

Нетерпеливое, раздраженное ожидание десятков людей, собравшихся в зале заседаний, нестерпимо давило на Штрума. Наверное, и на Лубянке, в той комнате, где сидит специально им интересующийся человек, ждут — неужели не придет? Он ощущал, видел хмурого человека в Центральном Комитете: так-таки и не изволил явиться? Он видел знакомых, говорящих женам: «Сумасшедший». Людмила в душе осуждает его, — Толя отдал жизнь за государство, с которым Виктор затеял спор во время войны.

Когда он вспоминал, как много среди его родных и родных Людмилы репрессированных, высланных, он успокаивал себя мыслью: «Но если там спросят, я скажу — не только такие

вокруг меня, вот Крымов — близкий мне человек, известный коммунист, старый член партии, подпольщик».

Вот тебе и Крымов! Начнут его там спрашивать, он и вспомнит все еретические разговоры Штрума. Впрочем, Крымов не такой уж близкий ему человек, — ведь Женя развелась с ним. Да и не было с ним столь уж опасных разговоров, — ведь до войны у Штрума не возникали особо острые сомнения. Ох, вот Мадьярова если там спросят!

Десятки, сотни усилий, давлений, толчков, ударов сливались в равнодействующую, она, казалось, сгибала ребра, расшивала черепные кости.

Бессмысленны слова доктора Штокмана, — силен тот, кто одинок… Где уж там силен! Воровски оглядываясь, с жалкими, местечковыми ужимками он стал торопливо повязывать галстук, перекладывать бумаги в карманы нового, парадного пиджака, надел новые желтые полуботинки.

В тот момент, когда он стоял одетый возле стола, в комнату заглянула Людмила Николаевна. Она молча подошла к нему, поцеловала, вышла из комнаты.

Нет, он не станет читать своего казенного покаяния! Он скажет правду, идущую от сердца:

товарищи, друзья мои, я с болью слушал вас, с болью думал, как могло случиться, что в счастливые дни завоеванного в муках сталинградского перелома я оказался один, слушаю гневные упреки своих товарищей, братьев, друзей… я клянусь вам — весь мозг, всю кровь, силы… Да, да, да, он теперь знал, что скажет… Скорей, скорей, он поспеет еще… Товарищи… Товарищ Сталин, я жил неверно, надо было дойти до края бездны, чтобы увидеть во всей глубине свои ошибки. То, что он скажет, будет идти из самой глубины души! Товарищи, мой сын погиб под Сталинградом…

Он пошел к двери.

Именно в эту последнюю минуту все окончательно решилось, и осталось только поскорей доехать до института, оставить в раздевалке пальто, войти в зал, услышать взволнованный шепот десятков людей, оглядеть знакомые лица, проговорить: «Я прошу слова, мне хочется сказать товарищам о том, что я думал и чувствовал в эти дни…»

Но именно в эти минуты медленными движениями он снял пиджак и повесил его на спинку стула, развязал галстук, свернул его и положил на край стола, присев, стал расшнуровывать туфли.

Ощущение легкости и чистоты охватило его.

Он сидел в спокойной задумчивости. Он не верил в Бога, но почему-то в эти минуты казалось, — Бог смотрит на него. Никогда в жизни не испытывал он такого счастливого и одновременно смиренного чувства. Уже не было силы, способной отнять у него его правоту.

Он стал думать о матери. Может быть, она была рядом с ним, когда он безотчетно переменил свое решение. Ведь за минуту до этого он совершенно искренне хотел выступить с истерическим покаянием. Он не думал о Боге, не думал о матери, когда непоколебимо ощутил свое окончательное решение. Но они были рядом с ним, хотя он не думал о них.

«Как мне хорошо, я счастлив», — подумал он.

Он снова представил себе собрание, лица людей, голоса выступающих.

«Как мне хорошо, светло», — снова подумал он.

Никогда, казалось, он не был так серьезен в своих мыслях о жизни, о близких, в понимании себя, своей судьбы.

Людмила с Женей вошли к нему в комнату. Людмила, увидя его без пиджака, в носках, с раскрытым воротом рубахи, как-то по-старушечьи ахнула:

— Боже мой, ты не пошел! Что же будет те-

перь?

— Не знаю, — сказал он.

— Но, может быть, еще не поздно? — сказала она, потом посмотрела на него и добавила: — Не знаю, не знаю, ты взрослый человек. Но когда решаешь такие вопросы, надо думать не только о своих принципах.

Он молчал, потом вздохнул.

Женя сказала:

— Людмила!

— Ну, ничего, ничего, — сказала Людмила, — будет, что будет.

— Да, Людочка, — сказал он, — «ивда еще побредем».

Он прикрыл рукой шею и улыбнулся:

— Простите, Женевьева, я без галстука.

Он смотрел на Людмилу Николаевну и Женю, и ему казалось, что только сейчас он по-настоящему понял, какое серьезное и нелегкое дело — жить на земле, как значительны отношения с близкими.

Он понимал, что жизнь пойдет по-обычному, и он снова станет раздражаться, тревожиться по пустякам, сердиться на жену и дочь.

— Знаете что, хватит говорить обо мне, — сказал он, — давайте, Женя, в шахматы сыграем,

помните, как вы мне вкатили два мата подряд.

Они расставили фигуры, и Штрум, которому достались белые, сделал первый ход королевской пешкой, Женя сказала:

— Николай всегда начинал белыми от короля. Что-то мне сегодня ответят на Кузнецком?

Людмила Николаевна, нагнувшись, пододвинула под ноги Штруму домашние туфли. Он, не глядя, пытался попасть ногой в туфлю, и Людмила Николаевна, ворчливо вздохнув, опустилась на пол, надела ему на ноги туфли. Он поцеловал ее в голову, рассеянно произнес:

— Спасибо, Людочка, спасибо.

Женя, все не делая первого хода, тряхнула головой.

— Нет, не могу понять. Ведь троцкизм — это старое. Что-то произошло, но что, что?

Людмила Николаевна, поправляя белые пешки, сказала:

— Я сегодня почти всю ночь не спала. Такой преданный, идейный коммунист.

— Ты, положим, отлично спала всю ночь, — сказала Женя, — я несколько раз просыпалась, а ты все похрапывала.

Людмила Николаевна рассердилась:

— Неправда, я буквально не сомкнула глаз.

И, отвечая вслух на мысль, тревожившую ее, сказала мужу:

— Ничего, ничего, лишь бы не арестовали. А если лишат тебя всего, я не боюсь, — будем продавать вещи, поедем на дачу, буду на базаре продавать клубнику. Буду преподавать химию в школе.

— Дачу отберут, — сказала Женя.

— Да неужели вы не понимаете, что Николай ни в чем не виноват? — сказал Штрум. — Не то поколение, мыслит не в той системе координат.

Они сидели над шахматной доской, поглядывали на фигуры, на единственную пешку, сделавшую единственный ход, и разговаривали.

— Женя, милая, — говорил Виктор Павлович, — вы поступили по совести. Поверьте, это лучшее, что дано человеку. Я не знаю, что принесет вам жизнь, но я уверен: сейчас вы поступили по совести; главная беда наша — мы живем не по совести. Мы говорим не то, что думаем. Чувствуем одно, а делаем другое. Толстой, помните, по поводу смертных казней сказал: «Не могу молчать!» А мы молчали, когда в тридцать седьмом году казнили тысячи невинных людей. И это лучшие молчали! Были ведь и шумно одобрявшие. Мы молчали во время ужасов сплошной коллективизации. И я

думаю — рано мы говорим о социализме, — он не только в тяжелой промышленности. Он прежде всего в праве на совесть. Лишать человека права на совесть — это ужасно. И если человек находит в себе силу поступить по совести, он чувствует такой прилив счастья. Я рад за вас, — вы поступили по совести.

— Витя, перестань ты проповедовать, как Будда, и сбивать дуру с толку, — сказала Людмила Николаевна. — При чем тут совесть? Губить себя, мучить хорошего человека, а какая от этого польза Крымову? Не верю я, что у нее может быть счастье, когда его выпустят. Он был в полном порядке, когда они разошлись, — у нее совесть перед ним чиста.

Евгения Николаевна взяла в руку шахматного короля, повертела в воздухе, поглядела подклеенную к нему суконку и поставила на место.

— Люда, — сказала она, — какое уж тут счастье. Не о счастье я думаю.

Штрум посмотрел на часы. Циферблат показался ему спокойным, стрелки сонными, мирными.

— Сейчас там прения в разгаре. Клянут меня вовсю, но у меня ни обиды, ни злобы.

— А я бы физиономии набила всем бесстыдникам, — сказала Людмила, — то называют тебя

надеждой науки, то плюют на тебя. Ты, Женя, когда пойдешь на Кузнецкий?

— К четырем.

— Я накормлю тебя обедом, потом уж пойдешь.

— Что же у нас на обед сегодня? — сказал Штрум и, улыбаясь, добавил: — Знаете, о чем я вас попрошу, дамочки?

— Знаю, знаю. Хочешь поработать, — сказала Людмила Николаевна, вставая.

— Другой бы на стены лез в такой день, — сказала Женя.

— Это моя слабость, а не сила, — сказал Штрум, — вот вчера Дэ Пэ много говорил со мной о науке. Но у меня другой взгляд, другая точка. Вот так, как у Толстого было: он сомневался, мучился, нужна ли людям литература, нужны ли людям книги, которые он пишет.

— Ну, знаешь, — сказала Людмила, — ты раньше напиши в физике «Войну и мир».

Штрум ужасно смутился.

— Да-да, Людочка, ты права, зарапортовался, — пробормотал он и невольно с упреком посмотрел на жену. — Господи, и в такие минуты нужно подчеркивать каждое мое неверное слово.

Снова он остался один. Он перечитывал сделан-

ные им накануне записи и одновременно думал о сегодняшнем дне. Почему ему стало приятно, когда Людмила и Женя ушли из комнаты? У него в их присутствии возникло ощущение собственной фальшивости. В его предложении играть в шахматы, в его желании работать была фальшь. Видимо, и Людмила почувствовала это, назвав его Буддой. И он, произнося свою похвалу совести, ощущал, как фальшиво, деревянно звучит его голос. Боясь, что его заподозрят в любовании собой, он старался вести будничные разговоры, но в этой подчеркнутой будничности, как и в проповеди с амвона, тоже была своя фальшь.

Беспокойное, неясное чувство тревожило его, он не мог понять: чего-то не хватает ему.

Несколько раз он вставал, подходил к двери, прислушивался к голосам жены и Евгении Николаевны.

Ему не хотелось знать, что говорили на собрании, кто выступал с особенной нетерпимостью и злобой, какую резолюцию заготовили. Он напишет коротенькое письмо Шишакову — он заболел и не сможет ходить в ближайшие дни в институт. А в дальнейшем необходимости в этом не будет. Он всегда готов быть полезен в той мере, в какой может. Вот, собственно, и все.

Почему он так боялся в последнее время ареста? Ведь он ничего не сделал такого. Болтал. Да, собственно, не так уж и болтал. Там-то знают.

Но чувство беспокойства не проходило, он нетерпеливо поглядывал на дверь. Может быть, ему хочется есть? С лимитом, вероятно, придется проститься. С знаменитой столовой — тоже.

В передней раздался негромкий звонок, и Штрум стремительно выбежал в коридор, крикнул в сторону кухни:

— Я открою, Людмила.

Он распахнул дверь, и в полутьме передней на него посмотрели встревоженные глаза Марьи Ивановны:

— Ах, ну вот, — негромко сказала она. — Я знала, что вы не пойдете.

Помогая ей снять пальто, ощущая руками тепло ее шеи и затылка, которое передалось воротнику пальто, Штрум внезапно догадался, — вот ее он ждал, в предчувствии ее прихода он прислушивался, поглядывал на дверь.

Он понял это по чувству легкости, радостной естественности, которую сразу же ощутил, увидев ее. Это, оказывается, ее хотел он встретить, когда с тяжелой душой возвращался вечерами из института, тревожно всматривался в прохожих,

оглядывал женские лица за окнами трамваев и троллейбусов. И когда, придя домой, он спрашивал у Людмилы Николаевны: «Никто не приходил?», — он хотел знать, не приходила ли она. Все это давно уже существовало… Она приходила, они разговаривали, шутили, она уходила, и он, казалось, забывал о ней. Она появлялась в его памяти, когда он разговаривал с Соколовым, когда Людмила Николаевна передавала ему привет от нее. Она, казалось, не существовала помимо тех минут, когда он видел ее или говорил о том, какая она милая женщина. Иногда, желая подразнить Людмилу, он говорил, что ее подруга не читала Пушкина и Тургенева.

Он гулял с ней в Нескучном саду, и ему было приятно смотреть на нее, ему нравилось, что она легко, сразу, никогда не ошибаясь, понимает его, его трогало детское выражение внимания, с которым она слушала его. Потом они простились, и он перестал думать о ней. Потом он вспомнил о ней, идя по улице, и снова забыл.

И вот сейчас он ощутил, что она не переставала быть с ним, ему только казалось, что ее нет. Она была с ним и тогда, когда он не думал о ней. Он не видел ее, не вспоминал ее, а она продолжала быть с ним. Он без мысли о ней ощущал, что ее нет ря-

дом, не понимал, что он постоянно, даже не думая о ней, встревожен ее отсутствием. А в этот день, когда он по-особому глубоко понимал и себя и людей, живших свою жизнь рядом с его жизнью, всматриваясь в ее лицо, он понял свое чувство к ней. Он радовался, видя ее, тому, что постоянное томящее ощущение ее отсутствия вдруг прерывается. Ему становится легко оттого, что она с ним, и он перестает бессознательно ощущать, что ее нет с ним. Он в последнее время всегда чувствовал себя одиноким. Он ощущал свое одиночество, разговаривая с дочерью, друзьями, Чепыжиным, женой. Но стоило ему увидеть Марью Ивановну, чувство одиночества исчезало.

И это открытие не поразило его, — оно было естественно и бесспорно. Как это месяц назад, два месяца назад, еще живя в Казани, он не понимал простого и бесспорного?

И, естественно, в день, когда он особенно сильно ощущал ее отсутствие, его чувство вырвалось из глубины на поверхность и стало достоянием его мысли.

И так как невозможно было скрывать от нее что бы то ни было, он тут же в передней, хмурясь и глядя на нее, сказал:

— Я все время думал, что голоден, как волк, и

все смотрел на дверь, скоро ли позовут обедать, а оказалось, я ждал — скоро ли придет Марья Ивановна.

Она ничего не сказала, казалось, не расслышала и прошла в комнату.

Она сидела на диване рядом с Женей, с которой ее познакомили, и Виктор Павлович переводил глаза с лица Жени на лицо Марьи Ивановны, потом на Людмилу.

Как красивы были сестры! В этот день лицо Людмилы Николаевны казалось особенно хорошо. Суровость, портившая его, отступила. Ее большие светлые глаза смотрели мягко, с грустью.

Женя поправила волосы, видимо, чувствуя на себе взгляд Марьи Ивановны, и та сказала:

— Простите меня, Евгения Николаевна, но я не представляла себе, что женщина может быть так красива. Я никогда не видела такого лица, как ваше.

Сказав это, она покраснела.

— Вы поглядите, Машенька, на ее руки, пальцы, — сказала Людмила Николаевна, — а шея, а волосы.

— А ноздри, ноздри, — сказал Штрум.

— Да что я вам, кабардинская кобыла? — сказа-

ла Женя. — Нужно мне это все.

— Не в коня корм, — сказал Штрум, и хотя не совсем было ясно, что значат его слова, они вызвали смех.

— Витя, а ты-то есть хочешь? — сказала Людмила Николаевна.

— Да-да, нет-нет, — сказал он и увидел, как снова покраснела Марья Ивановна. Значит, она слышала сказанные им в передней слова.

Она сидела, словно воробушек, серенькая, худенькая, с волосами, зачесанными, как у народных учительниц, над невысоким выпуклым лбом, в вязаной, заштопанной на локтях кофточке, каждое слово, сказанное ею, казалось Штруму, было полно ума, деликатности, доброты, каждое движение выражало грацию, мягкость.

Она не заговаривала о заседании ученого совета, расспрашивала о Наде, попросила у Людмилы Николаевны «Волшебную гору» Манна, спрашивала Женю о Вере и о ее маленьком сыне, о том, что пишет из Казани Александра Владимировна.

Штрум не сразу, не вдруг понял, что Марья Ивановна нашла единственно верный ход разговора. Она как бы подчеркивала, что нет силы, способной помешать людям оставаться людьми, что само могучее государство бессильно вторгнуться

в круг отцов, детей, сестер и что в этот роковой день ее восхищение людьми, с которыми она сейчас сидит, в том и выражается, что их победа дает им право говорить не о том, что навязано извне, а о том, что существует внутри.

Она правильно угадала, и, когда женщины говорили о Наде и о Верином ребенке, он сидел молча, чувствовал, как свет, что зажегся в нем, горит ровно и тепло, не колеблется и не тускнеет.

Ему казалось, что очарование Марьи Ивановны покорило Женю. Людмила Николаевна пошла на кухню, и Марья Ивановна отправилась ей помогать.

— Какой прелестный человек, — задумчиво сказал Штрум.

Женя насмешливо окликнула его:

— Витька, а Витька?

Он опешил от неожиданного обращения, — Витькой его не называли уже лет двадцать.

— Барынька влюблена в вас, как кошка, — сказала Женя.

— Что за глупости, — сказал он. — И почему барынька? Меньше всего она барынька. Людмила ни с одной женщиной не дружила. А с Марьей Ивановной у нее настоящая дружба.

— А у вас? — насмешливо спросила Женя.

— Я серьезно говорю, — сказал Штрум.

Она, видя, что он сердится, посмеиваясь, смотрела на него.

— Знаете что, Женечка? Ну вас к черту, — сказал он.

В это время пришла Надя. Стоя в передней, она быстро спросила:

— Папа пошел каяться?

Она вошла в комнату. Штрум обнял ее и поцеловал.

Евгения Николаевна повлажневшими глазами оглядывала племянницу.

— Ну, ни капли нашей славянской крови в ней нет, — сказала она. — Совершенно иудейская девица.

— Папины гены, — сказала Надя.

— Ты моя слабость, Надя, — сказала Евгения Николаевна. — Вот как Сережа у бабушки, так ты для меня.

— Ничего, папа, мы прокормим тебя, — сказала Надя.

— Кто это — мы? — спросил Штрум. — Ты со своим лейтенантом? Помой руки после школы.

— С кем это мама там разговаривает?

— С Марьей Ивановной.

— Тебе нравится Марья Ивановна? — спросила

Евгения Николаевна.

— По-моему, это лучший человек в мире, — сказала Надя, — я бы на ней женилась.

— Добрая, ангел? — насмешливо спросила Евгения Николаевна.

— А вам, тетя Женя, она не понравилась?

— Я не люблю святых, в их святости бывает скрыта истерия, — сказала Евгения Николаевна. — Предпочитаю им открытых стерв.

— Истерия? — спросил Штрум.

— Клянусь, Виктор, это вообще, я не о ней.

Надя пошла на кухню, а Евгения Николаевна сказала Штруму:

— Жила я в Сталинграде, был у Веры лейтенант. Вот и у Нади появился знакомый лейтенант. Появился и исчезнет! Так легко они гибнут. Витя, так это печально.

— Женечка, Женевьева, — спросил Штрум, — вам действительно не понравилась Марья Ивановна?

— Не знаю, не знаю, — торопливо сказала она, — есть такой женский характер — якобы податливый, якобы жертвенный. Такая женщина не скажет: «Я сплю с мужиком, потому что мне хочется этого», а она скажет: «Таков мой долг, мне его жалко, я принесла себя в жертву». Эти бабы

спят, сходятся, расходятся потому, что им того хочется, но говорят они совсем по-другому: «Это было нужно, так велел долг, совесть, я отказалась, я пожертвовала». А ничем она не жертвовала, делала, что хотела, и самое подлое, что эти дамы искренне сами верят в свою жертвенность. Таких я терпеть не могу! И знаете почему? Мне часто кажется, что я сама из этой породы.

За обедом Марья Ивановна сказала Жене:

— Евгения Николаевна, если разрешите, я могу пойти вместе с вами. У меня есть печальный опыт в этих делах. Да и вдвоем как-то легче.

Женя, смутившись, ответила:

— Нет-нет, спасибо большое, уж эти дела надо делать в одиночку. Тут тяжесть ни с кем не разделишь.

Людмила Николаевна искоса посмотрела на сестру и, как бы объясняя ей свою откровенность с Марьей Ивановной, сказала:

— Вот вбила себе Машенька в голову, что она тебе не понравилась.

Евгения Николаевна ничего не ответила.

— Да-да, — сказала Марья Ивановна. — Я чувствую. Но вы меня простите, что я это говорила. Ведь — глупости. Какое вам дело до меня. Напрасно Людмила Николаевна сказала. А теперь

получилось, точно я напрашиваюсь, чтобы вы изменили свое впечатление. А я так просто. Да и вообще…

Евгения Николаевна неожиданно для себя совершенно искренне сказала:

— Да что вы, милая вы, да что вы. Я ведь в таком расстройстве чувств, вы меня простите. Вы хорошая.

Потом, быстро поднявшись, она сказала:

— Ну, дети мои, как мама говорит: «Мне пора!»

27

На улице было много прохожих.

— Вы спешите? — спросил он. — Может быть, снова пойдем в Нескучный?

— Что вы, уже люди возвращаются со службы, а мне нужно поспеть к приходу Петра Лаврентьевича.

Он подумал, что она пригласит его зайти, чтобы услышать рассказ Соколова о заседании ученого совета. Но она молчала, и он почувствовал подозрение, не опасается ли Соколов встречаться с ним.

Его обижало, что она спешила домой, но ведь это было совершенно естественно.

Они проходили мимо сквера, неподалеку от улицы, ведущей к Донскому монастырю.

Она внезапно остановилась и сказала:

— Давайте посидим минуту, а потом я сяду в троллейбус.

Они сидели молча, но он чувствовал ее волнение. Немного склонив голову, она смотрела в глаза Штруму.

Они продолжали молчать. Губы ее были сжаты, но, казалось, он слышал ее голос. Все было ясно,

настолько ясно, словно бы они уже все сказали друг другу. Да и что тут могли сделать слова.

Он понимал, что происходит что-то необычайно серьезное, что новая печать ляжет на его жизнь, его ждет тяжелая смута. Он не хотел приносить людям страданий, лучше бы никто никогда не узнал об их любви, может быть, и они друг другу не скажут о ней. А может быть… Но происходившее сейчас, свою печаль и радость, они не могли скрыть друг от друга, и это влекло за собой неизбежные, переворачивающие изменения. Все происходящее зависело от них, и в то же время казалось, — происходившее подобно року, они уже не могли ему не подчиниться. Все, что возникало между ними, было правдой, естественной, не зависящей от них, как не зависит от человека дневной свет, и в то же время эта правда рождала неизбежную ложь, фальшь, жестокость по отношению к самым близким людям. Только от них зависело избежать этой лжи и жестокости — стоило отказаться от естественного и ясного света.

Одно ему было очевидно, — в эти минуты он навсегда терял душевный покой. Что уж там ни ждало его впереди, покоя в душе его не будет. Скроет ли он чувство к женщине, сидящей ря-

дом с ним, вырвется ли оно наружу и станет его новой судьбой, — он уже не будет знать покоя. В постоянной ли тоске по ней или в близости, соединенной с мучениями совести, — покоя ему не будет.

А она все смотрела на него с каким-то невыносимым выражением счастья и отчаяния.

Вот он не склонился, устоял в столкновении с огромной и безжалостной силой, и как он слаб, беспомощен здесь, на этой скамейке.

— Виктор Павлович, — сказала она, — мне пора уже. Петр Лаврентьевич ждет меня.

Она взяла его за руку и сказала:

— Мы с вами больше не увидимся. Я дала слово Петру Лаврентьевичу не встречаться с вами.

Он почувствовал смятение, которое испытывают люди, умирая от сердечной болезни, — сердце, чьи биения не зависели от воли человека, останавливалось, и мироздание начинало шататься, опрокидывалось, земля и воздух исчезали.

— Почему, Марья Ивановна? — спросил он.

— Петр Лаврентьевич взял с меня слово, что я перестану встречаться с вами. Я дала ему слово. Это, наверное, ужасно, но он в таком состоянии, он болен, я боюсь за его жизнь.

— Маша, — сказал он.

В ее голосе, в ее лице была непоколебимая сила, словно бы та, с которой он столкнулся в последнее время.

— Маша, — снова сказал он.

— Боже мой, вы ведь понимаете, вы видите, я не скрываю, зачем обо всем говорить. Я не могу, не могу. Петр Лаврентьевич столько перенес. Вы ведь все сами знаете. Вспомните, какие страдания выпали Людмиле Николаевне. Это ведь невозможно.

— Да-да, у нас нет права, — повторил он.

— Милый мой, хороший, бедный мой, свет мой, — сказала она.

Шляпа его упала на землю, вероятно, люди смотрели на них.

— Да-да, у нас нет права, — повторял он.

Он целовал ей руки, и когда он держал в руке ее холодные маленькие пальцы, ему казалось, что непоколебимая сила ее решения не видеться с ним соединена со слабостью, покорностью, беспомощностью…

Она поднялась со скамьи, пошла, не оглядываясь, а он сидел и думал, что вот он впервые смотрел в глаза своему счастью, свету своей жизни, и все это ушло от него. Ему казалось, что эта женщина, чьи пальцы он только что целовал,

могла бы заменить ему все, чего он хотел в жизни, о чем мечтал, — и науку, и славу, и радость всенародного признания.

28

На следующий день после заседания ученого совета Штруму позвонил по телефону Савостьянов, спросил его, как он себя чувствует, здорова ли Людмила Николаевна.

Штрум спросил о заседании, и Савостьянов ответил:

— Виктор Павлович, не хочется вас расстраивать, оказывается, ничтожеств больше, чем я думал.

«Неужели Соколов выступил?» — подумал Штрум и спросил:

— А резолюцию вынесли?

— Жестокую. Считать несовместимым, просить дирекцию рассмотреть вопрос о дальнейшем…

— Понятно, — сказал Штрум и, хотя был уверен, что именно такая резолюция будет вынесена, растерялся от неожиданности.

«Я не виноват ни в чем, — подумал он, — но, конечно, посадят. Там знали, что Крымов не виноват, а посадили».

— Кто-нибудь голосовал против? — спросил Штрум, и телефонная проволока донесла до него молчаливое смущение Савостьянова.

— Нет, Виктор Павлович, вроде единогласно, — сказал Савостьянов. — Вы очень повредили себе тем, что не пришли.

Голос Савостьянова был плохо слышен, он, видимо, звонил из автомата.

В тот же день позвонила по телефону Анна Степановна, она уже была отчислена с работы, в институт не ходила и не знала о заседании ученого совета. Она сказала, что едет на два месяца к сестре в Муром, и растрогала Штрума сердечностью, — приглашала его приехать.

— Спасибо, спасибо, — сказал Штрум, — если уж ехать в Муром, то не прохлаждаться, а преподавать физику в педтехникуме.

— Господи, Виктор Павлович, — сказала Анна Степановна. — Зачем вы все это, я в отчаянии, все из-за меня. Стою ли я этого.

Его слова о педтехникуме она, вероятно, восприняла как упрек себе. Голос ее тоже был плохо слышен, и она, видимо, звонила не из дому, а из автомата.

«Неужели Соколов выступил?» — спрашивал Штрум самого себя.

Поздно вечером позвонил Чепыжин. В этот день Штрум, подобно тяжелобольному, оживлялся, лишь когда заговаривали о его болезни.

Видимо, Чепыжин почувствовал это.

— Неужели Соколов выступил, неужели выступил? — спрашивал Штрум у Людмилы Николаевны, но она, естественно, как и он, не знала, выступал ли на заседании Соколов.

Какая-то паутина возникла между ним и близкими ему людьми.

Савостьянов, очевидно, боялся говорить о том, что интересовало Виктора Павловича, не хотел быть его информатором. Он, вероятно, думал: «Встретит Штрум институтских и скажет: «Я уже все знаю, мне Савостьянов во всех подробностях доложил обо всем».

Анна Степановна была очень сердечна, но в подобной ситуации ей следовало прийти к Штруму на дом, а не ограничиваться телефоном.

А Чепыжин, думалось Виктору Павловичу, должен был предложить ему сотрудничество в Институте астрофизики, хотя бы поговорить на эту тему.

«Они обижаются на меня, я обижаюсь на них, — лучше бы уж не звонили», — думал он.

Но он еще больше обижался на тех, кто вовсе не позвонил ему по телефону.

Весь день ждал он звонка Гуревича, Маркова, Пименова.

Потом он рассердился на механиков и электриков, работавших по монтажу установки.

«Сукины дети, — думал он. — Уж им-то, рабочим, бояться нечего».

Невыносимо было думать о Соколове. Петр Лаврентьевич велел Марье Ивановне не звонить Штруму! Простить можно всем, — и старым знакомым, и родичам даже, и сослуживцам. Но другу! Мысль о Соколове вызывала в нем такую злобу, такую мучительную обиду, что становилось трудно дышать. И в то же время, думая об измене своего друга, Штрум, сам того не замечая, искал оправдания своей собственной измены другу.

От нервности он написал Шишакову совершенно ненужное письмо о том, что просит известить его о решении дирекции института, сам же, по болезни, в ближайшие дни не сможет работать в лаборатории.

За весь следующий день не было ни одного телефонного звонка.

«Ладно, все равно посадят», — думал Штрум.

И эта мысль теперь не мучила, а словно бы утешала его. Так больные люди утешают себя мыслью: «Ладно, болей не болей, все помрем».

Виктор Павлович сказал Людмиле Никола-

евне:

— Единственный человек, который нам приносит новости, это Женя. Правда, новости все из приемной НКВД.

— Теперь я убеждена, — сказала Людмила Николаевна, — что Соколов выступил на ученом совете. Иначе нельзя объяснить молчание Марьи Ивановны. Ей стыдно звонить после этого. Вообще-то я могу ей сама позвонить днем, когда он будет на работе.

— Ни в коем случае! — крикнул Штрум. — Слышишь, Люда, ни в коем случае!

— Да какое мне дело до твоих отношений с Соколовым, — сказала Людмила Николаевна. — У меня с Машей свои отношения.

Он не мог объяснить Людмиле, почему ей нельзя звонить Марье Ивановне. Ему становилось стыдно от мысли, что Людмила, не понимая того, невольно станет соединением между Марьей Ивановной и им.

— Люда, теперь наша связь с людьми может быть только односторонней. Если человека посадили, его жена может ходить лишь к тем людям, которые зовут ее. Сама она не вправе сказать: мне хочется прийти к вам. Это унижение для нее и ее мужа. Мы вступили с тобой в новую эпоху. Мы

уже никому не можем писать письма, мы только отвечаем. Мы не можем теперь никому звонить по телефону, только снимаем трубку, когда нам звонят. Мы не имеем права первыми здороваться с знакомыми, может быть, они не хотят с нами здороваться. А если со мной здороваются, я не имею права первым заговорить. Может быть, человек считает возможным кивнуть мне головой, но не хочет говорить со мной. Пусть заговорит, тогда я ему отвечу. Мы вступили в великую секту неприкасаемых.

Он помолчал.

— Но, к счастью для неприкасаемых, из этого закона есть исключения. Есть один, два человека, — я не говорю о близких — твоей матери, Жене, — которые пользуются могучим душевным доверием со стороны неприкасаемых. Им можно, не ожидая разрешающего сигнала, звонить, писать. Вот Чепыжин!

— Ты прав, Витя, все это верно, — сказала Людмила Николаевна, и слова ее удивили его. Уже долгое время она ни в чем не признавала его правоты. — Я тоже имею такого друга: Марью Ивановну!

— Люда! — сказал он. — Люда! Знаешь ли, что Марья Ивановна дала слово Соколову больше не

видеться с нами? Иди, звони ей после этого! Ну, звони же, звони!

Сорвав с рычага телефонную трубку, он протянул ее Людмиле Николаевне.

И в эту минуту он каким-то маленьким краешком своих чувств надеялся — вот Людмила позвонит… и хотя бы она услышит голос Марьи Ивановны.

Но Людмила Николаевна проговорила:

— Ах, вот оно что, — и положила телефонную трубку.

— Что же это Женевьева не идет, — сказал Штрум. — Беда объединяет нас. Я никогда не чувствовал к ней такой нежности, как теперь.

Когда пришла Надя, Штрум сказал ей:

— Надя, я говорил с мамой, она тебе расскажет подробно. Тебе нельзя, когда я стал пугалом, ходить к Постоевым, Гуревичам и прочим. Все эти люди видят в тебе прежде всего мою дочь, мою, мою. Понимаешь, кто ты: член моей семьи. Я категорически прошу тебя…

Он знал заранее, что она скажет, как запротестует, возмутится.

Надя подняла руку, прерывая его слова.

— Да я все это поняла, когда увидела, что ты не пошел на совет нечестивых.

Он, растерявшись, смотрел на дочь, потом насмешливо проговорил:

— Надеюсь, на лейтенанта эти дела не повлияли.

— Конечно, не повлияли.

— Ну?

Она повела плечами.

— Ну вот, все. Сам понимаешь.

Штрум посмотрел на жену, на дочь, протянул к ним руки и пошел из комнаты.

И в его жесте столько было растерянности, вины, слабости, благодарности, любви, что обе они долго стояли рядом, не произнося ни слова, не глядя друг на друга.

29

Впервые за время войны Даренский ехал дорогой наступления, — он нагонял шедшие на запад танковые части.

В снегу, в поле, вдоль дорог стояли сожженные и разбитые немецкие танки, орудия, тупорылые итальянские грузовики, лежали тела убитых немцев и румын.

Смерть и мороз сохранили для взгляда картину разгрома вражеских армий. Хаос, растерянность, страдание — все было впечатано, вморожено в снег, сохраняя в своей ледяной неподвижности последнее отчаяние, судороги мечущихся на дорогах машин и людей.

Даже огонь и дым снарядных разрывов, чадное пламя костров отпечатались на снегу темными подпалинами, желтой и коричневой наледью.

На запад шли советские войска, на восток двигались толпы пленных.

Румыны шли в зеленых шинелях, в высоких барашковых шапках. Они, видимо, страдали от мороза меньше немцев. Глядя на них, Даренский не ощущал, что это солдаты разбитой армии, — шли тысячные толпы усталых, голод-

ных крестьян, наряженных в оперные шапки. Над румынами посмеивались, но на них смотрели без злобы, с жалостливой презрительностью. Потом он увидел, что с еще большим беззлобием относились к итальянцам.

Другое чувство вызывали венгры, финны, особенно немцы.

А пленные немцы были ужасны.

Они шли с головами и плечами, обмотанными обрывками одеял. На ногах у них были поверх сапог повязаны куски мешковины и тряпья, закрепленные проволокой и веревками.

Уши, носы, щеки у многих были покрыты черными пятнами морозной гангрены. Тихий звон котелков, подвешенных к поясам, напоминал о кандальниках.

Даренский глядел на трупы, с беспомощным бесстыдством обнажившие свои впалые животы и половые органы, он глядел на румяные от степного морозного ветра лица конвоиров.

Сложное, странное чувство испытывал он, глядя на искореженные немецкие танки и грузовики среди снежной степи, на заледеневших мертвецов, на людей, которые брели под конвоем на восток.

Это было возмездие.

Он вспомнил рассказы о том, как немцы высмеивали бедность русских изб, с гадливым удивлением разглядывали детские люльки, печи, горшки, картинки на стенах, кадушки, глиняных раскрашенных петухов, милый и чудный мир, в котором рождались и росли ребята, побежавшие от немецких танков.

Водитель машины любознательно сказал:

— Глядите, товарищ подполковник!

Четверо немцев несли на шинели товарища. По их лицам, напружившимся шеям было видно, что они скоро сами упадут. Их мотало из стороны в сторону. Тряпье, которым они были обмотаны, путалось в ногах, сухой снег лупил их по безумным глазам, обмороженные пальцы цеплялись за края шинели.

— Доигрались фрицы, — сказал водитель.

— Не мы их звали, — угрюмо сказал Даренский.

А потом вдруг счастье захлестывало его, — в снежном тумане степной целиной шли на запад советские танки-«тридцатьчетверки», злые, быстрые, мускулистые…

Из люков, высунувшись по грудь, глядели танкисты в черных шлемах, в черных полушубках. Они мчались по великому степному океану,

в снежном тумане, оставляя за собой мутную снеговую пену, — и чувство гордости, счастья перехватывало дыхание…

Закованная сталью Россия, грозная, хмурая, шла на запад.

При въезде в деревню образовался затор. Даренский сошел с машины, прошел мимо стоявших в два ряда грузовиков, мимо крытых брезентом «катюш»… Через дорогу на большак перегоняли группу пленных. Сошедший с легковой машины полковник в папахе серебристого каракуля, какую можно было добыть, либо командуя армией, либо находясь в дружбе с фронтовым интендантом, смотрел на пленных. Конвоиры покрикивали на них, замахивались автоматами:

— Давай, давай, веселей!

Невидимая стена отделяла пленных от водителей грузовиков и красноармейцев, холод, больший, чем степная стужа, мешал глазам встретиться с глазами.

— Гляди, гляди, хвостатый, — сказал смеющийся голос.

Через дорогу на четвереньках полз немецкий солдат. Кусок одеяла, с вылезшими клочьями ваты, волочился следом за ним. Солдат полз торопливо, по-собачьи перебирая руками и ногами,

не поднимая головы, точно чутьем вынюхивая след. Он полз прямо на полковника, и стоявший рядом водитель сказал:

— Товарищ полковник, укусит, ей-богу, целится.

Полковник шагнул в сторону и, когда немец поравнялся с ним, пихнул его сапогом. И некрепкого толчка хватило, чтобы перешибить воробьиную силу пленного. Руки и ноги его расползлись в стороны.

Он взглянул снизу на ударившего его: в глазах немца, как в глазах умирающей овцы, не было ни упрека, ни даже страдания, одно лишь смирение.

— Лезет, говно, завоеватель, — сказал полковник, обтирая об снег подошву сапога.

Смешок прошел среди зрителей.

Даренский почувствовал, как затуманилась его голова и что уже не он, кто-то другой, которого он знал и не знал, никогда не колеблющийся, руководит его поступками.

— Русские люди лежачих не бьют, товарищ полковник, — сказал он.

— А я кто, по-вашему, не русский? — спросил полковник.

— Вы мерзавец, — сказал Даренский и, увидя,

что полковник шагнул в его сторону, крикнул, предупреждая взрыв полковничьего гнева и угроз: — Моя фамилия Даренский! Подполковник Даренский, инспектор оперативного отдела штаба Сталинградского фронта. То, что я вам сказал, я готов подтвердить перед командующим фронтом и перед судом военного трибунала.

Полковник с ненавистью сказал ему:

— Ладно, подполковник Даренский, вам это даром не пройдет, — и пошел в сторону.

Несколько пленных оттащили в сторону лежащего, и, странно, куда ни поворачивался Даренский, глаза его встречались с глазами сбившихся толпой пленных, их точно притягивало к нему.

Он медленно зашагал к машине, слышал, как насмешливый голос сказал:

— Фрицевский защитник отыскался.

Вскоре Даренский вновь ехал по дороге, и снова навстречу, мешая движению, двигались серые немецкие и зеленые румынские толпы.

Водитель, искоса глядя, как дрожат пальцы Даренского, закуривающего папиросу, сказал:

— Я не имею к ним жалости. Могу любого пристрелить.

— Ладно, ладно, — сказал Даренский, — ты бы

их стрелял в сорок первом году, когда бежал от них, как и я, без оглядки.

Всю дорогу он молчал.

Но случай с пленным не открыл его сердца добру. Он словно сполна истратил отпущенную ему доброту.

Какая бездна лежала между той калмыцкой степью, которой он ехал на Яшкуль, и нынешней его дорогой.

Он ли стоял в песчаном тумане, под огромной луной, смотрел на бегущих красноармейцев, на змеящиеся шеи верблюдов, с нежностью соединяя в душе всех слабых и бедных людей, милых ему на этом последнем крае русской земли…

30

Штаб танкового корпуса расположился на окраине села. Даренский подъехал к штабной избе. Уже темнело. Видимо, штаб пришел в село совсем недавно, — кое-где красноармейцы снимали с грузовиков чемоданы, матрацы, связисты тянули провод.

Автоматчик, стоящий на часах, неохотно зашел в сени, кликнул адъютанта. Адъютант неохотно вышел на крыльцо и, как все адъютанты, вглядываясь не в лицо, а в погоны приехавшего, сказал:

— Товарищ подполковник, командир корпуса только-только из бригады: отдыхает. Вы пройдите к ОДЭ.

— Доложите командиру корпуса: подполковник Даренский. Понятно? — сказал надменно приезжий.

Адъютант вздохнул, пошел в избу.

А через минуту он вышел и крикнул:

— Пожалуйста, товарищ подполковник!

Даренский поднялся на крыльцо, а навстречу ему шел Новиков. Они несколько мгновений, смеясь от удовольствия, оглядывали друг друга.

— Вот и встретились, — сказал Новиков.

Это была хорошая встреча.

Две умные головы, как бывало, склонились над картой.

— Иду вперед с такой же скоростью, как драпали в свое время, — сказал Новиков, — а на этом участке перекрыл скорость драпа.

— Зима, зима, — сказал Даренский, — что лето покажет?

— Не сомневаюсь.

— Я тоже.

Показывать карту Даренскому было для Новикова наслаждением. Живое понимание, интерес к подробностям, которые казались заметны одному лишь Новикову, волновавшие Новикова вопросы…

Понизив голос, точно исповедуясь в чем-то личном, интимном, Новиков сказал:

— И разведка полосы движения танков в атаку, и согласованное применение всех средств целеуказания, и схема ориентиров, и святость взаимодействия — все это так, все это конечно. Но в полосе наступления танков боевые действия всех родов войск подчинены одному Богу — танку-«тридцатьчетверке», умнице нашей!

Даренскому была известна карта событий, происходивших не только на южном крыле

Сталинградского фронта. От него Новиков узнал подробности кавказской операции, содержание перехваченных переговоров между Гитлером и Паулюсом, узнал неизвестные ему подробности движения группы генерала артиллерии Фреттер-Пико.

— Вот уже Украина, в окно видно, — сказал Новиков.

Он показал на карте:

— Но вроде я поближе других. Только корпус Родина подпирает.

Потом, отодвинув карту, он произнес:

— Ну, ладно, хватит с нас стратегии и тактики.

— У вас по личной линии все по-старому? — спросил Даренский.

— Все по-новому.

— Неужели женились?

— Вот жду со дня на день, должна приехать.

— Ох ты, пропал казак, — сказал Даренский. — От души поздравляю. А я все в женихах.

— Ну, а Быков? — вдруг спросил Новиков.

— Быкову что. Возник у Ватутина, в том же качестве.

— Силен, собака.

— Твердыня.

Новиков сказал:

— Ну и черт с ним, — и крикнул в сторону соседней комнаты: — Эй, Вершков, ты, видно, принял решение заморить нас голодом. И комиссара позови, покушаем вместе.

Но звать Гетманова не пришлось, он сам пришел, стоя в дверях, расстроенным голосом проговорил:

— Что ж это, Петр Павлович, вроде Родин вперед вырвался. Вот увидишь, заскочит он на Украину раньше нас, — и, обращаясь к Даренскому, добавил: — Такое время, подполковник, пришло. Мы теперь соседей больше противника боимся. Вы часом не сосед? Нет, нет, ясно — старый фронтовой друг.

— Ты, я вижу, совсем заболел украинским вопросом, — сказал Новиков.

Гетманов пододвинул к себе банку с консервами и с шутливой угрозой сказал:

— Ладно, но имей в виду, Петр Павлович, приедет твоя Евгения Николаевна, распишу вас только на украинской земле. Вот подполковника в свидетели беру.

Он поднял рюмку и, указывая рюмкой на Новикова, сказал:

— Товарищ подполковник, давайте за его русское сердце выпьем.

Растроганный Даренский проговорил:

— Вы хорошее слово сказали.

Новиков, помнивший неприязнь Даренского к комиссарам, сказал:

— Да, товарищ подполковник, давно мы с вами не виделись.

Гетманов, оглянув стол, сказал:

— Нечем гостя угостить, одни консервы. Повар не поспевает печку растопить, а уж надо менять командный пункт. День и ночь в движении. Вот вы бы к нам перед наступлением приехали. А теперь час стоим, сутки гоним. Самих себя догоняем.

— Хоть бы вилку еще одну дал, — сказал Новиков адъютанту.

— Вы ж не велели посуду с грузовика снимать, — ответил адъютант.

Гетманов стал рассказывать о своей поездке по освобожденной территории.

— Как день и ночь, — говорил он, — русские люди и калмыки. Калмыки в немецкую дудку пели. Мундиры им зеленые какие-то выдали. Рыскали по степям, вылавливали наших русских. А ведь чего им только не дала советская власть! Ведь была страна оборванных кочевников, страна бытового сифилиса, сплошной неграмотности.

Вот уж — как волка ни корми, а он в степь глядит. И во время гражданской войны они почти все на стороне белых были… А сколько денег угробили на эти декады да на дружбу народов. Лучше бы завод танковый в Сибири построить на эти средства. Одна женщина, молодая донская казачка, рассказывала мне, каких страхов она натерпелась. Нет, нет, обманули русское, советское доверие калмыки. Я так и напишу в своей докладной Военному совету.

Он сказал Новикову:

— А помнишь, я сигнализировал насчет Басангова, не подвело партийное чутье. Но ты не обижайся, Петр Павлович, это я не в укор тебе. Думаешь, я мало ошибался в жизни? Национальный признак, знаешь, это большое дело. Определяющее значение будет иметь, практика войны показала. Для большевиков главный учитель, знаете, кто? Практика.

— А насчет калмыков я согласен с вами, — сказал Даренский, — я вот недавно был в калмыцких степях, проезжал всеми этими Китченерами и Шебенерами.

Для чего сказал он это? Он много ездил по Калмыкии, и ни разу у него не возникло злого чувства к калмыкам, лишь живой интерес к их

быту и обычаям.

Но, казалось, комиссар корпуса обладал какой-то притягательной, магнитной силой. Даренскому все время хотелось соглашаться с ним.

А Новиков, усмехаясь, поглядывал на него, он-то хорошо знал душевную, притягательную силу комиссара, как тянет поддакивать ему.

Гетманов неожиданно и простодушно сказал Даренскому:

— Я ведь понимаю, вы из тех, кому доставалось в свое время несправедливо. Но вы не обижайтесь на партию большевиков, она ведь добра народу хочет.

И Даренский, всегда считавший, что от политотдельцев и комиссаров в армии лишь неразбериха, проговорил:

— Да что вы, неужели я этого не понимаю.

— Вот-вот, — сказал Гетманов, — мы кое в чем наломали дров, но нам народ простит. Простит! Ведь мы хорошие ребята, не злые по существу. Верно ведь?

Новиков, ласково оглядев сидевших, сказал:

— Хороший у нас в корпусе комиссар?

— Хороший, — подтвердил Даренский.

— То-то, — сказал Гетманов, и все трое рассмеялись.

Словно угадывая желание Новикова и Даренского, он посмотрел на часы.

— Пойду отдохну, а то день и ночь в движении, хоть сегодня высплюсь до утра. Десять суток сапог не снимал, как цыган. Начальник штаба небось спит?

— Какой там спит, — сказал Новиков, — поехал сразу на новое положение, ведь с утра перебазироваться будем.

Когда Новиков и Даренский остались одни, Даренский сказал:

— Петр Павлович, чего-то я недодумывал всю жизнь. Вот недавно я был в особо тяжелом настроении, в каспийских песках, казалось, что уж конец подходит. А что получается? Ведь смогли организовать такую силищу. Мощь! А перед ней все ничто.

Новиков сказал:

— А я все яснее, больше понимаю, что значит русский человек! Лихие мы, сильные вояки!

— Силища! — сказал Даренский. — И вот основное: русские под водительством большевиков возглавят человечество, а все остальное — бугорки да пятнышки.

— Вот что, — сказал Новиков, — хотите, я снова поставлю вопрос о вашем переходе? Вы бы по-

шли в корпус заместителем начальника штаба? Повоюем вместе, а?

— Что ж, спасибо. А кого же я буду замещать?

— Генерала Неудобнова. Законно: подполковник замещает генерала.

— Неудобнов? Он за границей был перед войной? В Италии?

— Точно. Он. Не Суворов, но, в общем, с ним работать можно.

Даренский молчал. Новиков поглядел на него.

— Ну как, сделаем дело? — спросил он.

Даренский приподнял пальцем губу и немного оттянул щеку.

— Видите, коронки? — спросил он. — Это мне Неудобнов вышиб два зуба на допросе в тридцать седьмом году.

Они переглянулись, помолчали, снова переглянулись.

Даренский сказал:

— Человек он, конечно, толковый.

— Ясно, ясно, все же не калмык, русский, — усмехаясь, сказал Новиков и вдруг крикнул: — Давай выпьем, но уж так, действительно по-русски!

Даренский впервые в жизни пил так много, но, если б не две пустые водочные бутылки на столе, никто бы со стороны не заметил, что два

человека выпили сильно, по-настоящему. Вот разве что стали говорить друг другу «ты».

Новиков в какой уж раз налил стаканы, сказал:

— Давай, не задерживай.

Непьющий Даренский на этот раз не задерживал.

Они говорили об отступлении, о первых днях войны. Они вспомнили Блюхера и Тухачевского. Они поговорили о Жукове. Даренский рассказал о том, чего хотел от него на допросе следователь.

Новиков рассказал, как перед началом наступления задержал на несколько минут движение танков. Но он не рассказал, как ошибся, определяя поведение командиров бригад. Они заговорили о немцах, и Новиков сказал, что лето сорок первого года, казалось, закалило, ожесточило его навек, а вот погнали первых пленных, и он приказал получше кормить их, велел обмороженных и раненых везти в тыл на машинах.

Даренский сказал:

— Ругали мы с твоим комиссаром калмыков. Правильно? Жаль, что твоего Неудобнова нет. Я бы с ним поговорил, уж я бы поговорил.

— Эх, мало ли орловских и курских с немцами снюхались? — сказал Новиков. — Вот и генерал

Власов, тоже не калмык. А Басангов мой — хороший солдат. А Неудобнов чекист, мне комиссар рассказывал про него. Он не солдат. Мы, русские, победим, до Берлина дойду, я знаю, нас уж немец не остановит.

Даренский сказал:

— Вот Неудобнов, Ежов, вот все это дело, а Россия теперь одна — советская. И я знаю — все зубы мне выбей, а моя любовь к России не дрогнет. Я до последнего дыхания ее любить буду. Но в замы к этой бляди не пойду, вы что, шутите, товарищи?

Новиков налил в стаканы водки, сказал:

— Давай, не задерживай.

Потом он сказал:

— Я знаю, будет еще всякое. Буду и я еще плохим.

Меняя разговор, он вдруг сказал:

— Ох, жуткое у нас тут дело было. Оторвало танкисту голову, и он, убитый, все жал на акселератор, и танк идет. Все вперед, вперед!

Даренский сказал:

— Ругали мы с твоим комиссаром калмыков, а у меня калмык старый из головы сейчас не выходит. А сколько ему лет — Неудобнову? Поехать к нему на ваше новое положение, повидаться?

Новиков медленно, тяжелым языком прого-

ворил:

— Мне счастье выпало. Больше не бывает.

И он вынул из кармана фотографию, передал ее Даренскому. Тот долго молча смотрел, проговорил:

— Красавица, ничего не скажешь.

— Красавица? — сказал Новиков. — Красота ерунда, понимаешь, за красоту так не любят, как я ее люблю.

В дверях появился Вершков, стоял, вопросительно глядя на командира корпуса.

— Пошел отсюда, — медленно сказал Новиков.

— Ну, зачем же ты его так, — он хотел узнать, не нужно ли чего, — сказал Даренский.

— Ладно, ладно, буду я еще плохим, буду хамом, сумею, меня учить не надо. Вот ты подполковник, а почему на «ты» мне говоришь? Разве так по уставу полагается?

— Ах, вот что! — сказал Даренский.

— Брось, шуток не понимаешь, — сказал Новиков и подумал, как хорошо, что Женя не видит его пьяным.

— Глупых шуток не понимаю, — ответил Даренский.

Они долго выясняли отношения и помирились на том, что Новиков предложил поехать на новое

положение и выпороть шомполами Неудобнова. Они, конечно, никуда не поехали, но выпили еще.

31

Александра Владимировна в один день получила три письма, — два от дочерей и одно от внучки Веры.

Еще не распечатав писем, по почерку узнав, от кого они, Александра Владимировна знала, что в письмах нет веселых новостей. Ее многолетний опыт говорил, что матерям не пишут, чтобы делиться радостью.

Все трое просили ее приехать — Людмила в Москву, Женя в Куйбышев, Вера в Ленинск. И это приглашение подтверждало Александре Владимировне, что дочерям и внучке тяжело живется.

Вера писала об отце, его совсем измотали партийные и служебные неприятности. Несколько дней назад он вернулся в Ленинск из Куйбышева, куда ездил по вызову наркомата. Вера писала, что эта поездка измучила отца больше, чем работа на СталГРЭСе во время боев. Дело Степана Федоровича в Куйбышеве так и не решили, велели ему вернуться и работать по восстановлению станции, но предупредили, что неизвестно, оставят ли его в системе Наркомата электростанций.

Вместе с отцом Вера собиралась переехать из

Ленинска в Сталинград, — теперь уж немцы не стреляют. Центр города еще не освобожден. Люди, побывавшие в городе, говорят, что от дома, в котором жила Александра Владимировна, осталась одна лишь каменная коробка с провалившейся крышей. А директорская квартира Спиридонова на СталГРЭСе уцелела, только штукатурка обвалилась и стекла вылетели. В ней и поселятся Степан Федорович и Вера с сыном.

Вера писала о сыне, и странно было Александре Владимировне читать о том, что девчонка, внучка Вера, так по-взрослому, по-женски, даже по-бабьи пишет о желудочных болезнях, почесухе, беспокойном сне, нарушенном обмене веществ своего ребенка. Обо всем этом Вере надо было писать мужу, матери, а она писала бабушке. Не было мужа, не было матери.

Вера писала об Андрееве, о его невестке Наташе, писала о тете Жене, с которой виделся в Куйбышеве Степан Федорович. О себе она не писала, точно ее жизнь была неинтересна Александре Владимировне.

А на полях последней страницы она написала: «Бабушка, квартира на СталГРЭСе большая, места всем хватит. Умоляю тебя, приезжай». И в этом неожиданном вопле было высказано то, чего

Вера не написала в письме.

Письмо Людмилы было коротким. Она писала: «Я не вижу смысла в своей жизни, — Толи нет, а Вите и Наде я не нужна, проживут без меня».

Никогда Людмила Николаевна не писала матери таких писем. Александра Владимировна поняла, что у дочери всерьез разладились отношения с мужем. Приглашая мать в Москву, Людмила писала: «У Вити все время неприятности, а он ведь с тобой охотней, чем со мной, говорит о своих переживаниях».

Дальше была такая фраза: «Надя стала скрытна, не делится со мной своей жизнью. Такой у нас установился стиль в семье…»

Из Жениного письма понять ничего нельзя было, оно все состояло из намеков на какие-то большие неурядицы и беды. Она просила мать приехать в Куйбышев и одновременно писала, что должна будет срочно поехать в Москву. Женя писала матери о Лимонове, он произносит в честь Александры Владимировны хвалебные речи. Она писала, что Александре Владимировне будет приятно повидаться с ним, он умный, интересный человек, но в том же письме было сказано, что Лимонов уехал в Самарканд. Совершенно непонятно было, как бы встретилась с ним Алек-

сандра Владимировна, приехав в Куйбышев.

Понятно было лишь одно, и мать, прочтя письмо, подумала: «Бедная ты моя девочка».

Письма разволновали Александру Владимировну. Все трое спрашивали ее о здоровье, тепло ли у нее в комнате.

Забота эта трогала, хотя Александра Владимировна понимала, что молодые не думали о том, нужны ли они Александре Владимировне.

Она была нужна им.

Но ведь могло быть и по-иному. Почему она не просила помощи у дочерей, почему дочери просили у нее помощи?

Ведь она была совсем одна, стара, бездомна, потеряла сына, дочь, ничего не знала о Сереже.

Работать ей становилось все тяжелей, беспрерывно болело сердце, кружилась голова.

Она даже попросила технорука завода перевести ее из цеха в лабораторию, очень трудно было весь день ходить от аппарата к аппарату, брать контрольные пробы.

После работы она стояла в очередях за продуктами, придя домой, топила печь, готовила обед.

А жизнь была так сурова, так бедна! Стоять в очереди не так уж трудно. Хуже было, когда к пустому прилавку не было очереди. Хуже было,

когда она, придя домой, не готовила обед, не топила печь, а ложилась голодной в сырую, холодную постель.

Все вокруг жили очень тяжело. Женщина-врач, эвакуированная из Ленинграда, рассказывала ей, как она с двумя детьми прожила прошлую зиму в деревне, в ста километрах от Уфы. Жила она в пустой избе раскулаченного, с выбитыми стеклами, с разобранной крышей. На работу ходила за шесть километров лесом и иногда на рассвете видела зеленые волчьи глаза между деревьями. В деревне была нищета, колхозники работали неохотно, говорили, что, сколько ни работай, все равно хлеб отберут, — на колхозе висели недоимки по хлебосдаче. У соседки муж ушел на войну, она жила с шестью голодными детьми, и на всех шестерых была одна пара рваных валенок. Докторша рассказала Александре Владимировне, что она купила козу, и ночью, по глубокому снегу ходила в дальнее поле воровать гречиху, и откапывала из-под снега неубранные, запревшие стожки. Она рассказывала, что ее дети, наслушавшись грубых, злых деревенских разговоров, научились материться и что учительница в казанской школе ей сказала: «В первый раз вижу, чтобы первоклассники матерились,

как пьяные, а еще ленинградцы».

Теперь Александра Владимировна жила в маленькой комнатке, где раньше жил Виктор Павлович. В большой, проходной комнате поселились квартирные хозяева, ответственные съемщики, жившие до отъезда Штрумов в пристройке. Хозяева были люди беспокойные, часто ссорились из-за домашних мелочей.

Александра Владимировна сердилась на них не за шум, не за ссоры, а за то, что они брали с нее, погорелицы, очень дорого за крошечную комнату — 200 рублей в месяц, больше третьей части ее заработной платы. Ей казалось, что сердца этих людей сделаны из фанеры и жести. Они думали лишь о продуктах питания, о вещах. С утра до вечера шел разговор о постном масле, солонине, картошке, о барахле, которое покупалось и продавалось на толчке. Ночью они шептались. Нина Матвеевна, хозяйка, рассказывала мужу, что сосед по дому, заводской мастер, привез из деревни мешок белых семечек и полмешка лущеной кукурузы, что на базаре сегодня был дешевый мед.

Хозяйка, Нина Матвеевна, была красива: высокая, статная, сероглазая. До замужества она работала на заводе, участвовала в самодеятельности — пела в хоре, играла в драмкружке. Семен

Иванович работал на военном заводе, был кузнецом-молотобойцем. Когда-то, в молодые годы, он служил на эсминце, был чемпионом бокса Тихоокеанского флота в полутяжелом весе. А теперь это давнее прошлое ответственных съемщиков казалось невероятным, — Семен Иванович утром до работы кормил уток, варил суп поросенку, после работы возился на кухне, чистил пшено, чинил ботинки, точил ножи, мыл бутылки, рассказывал о заводских шоферах, привозивших из дальних колхозов муку, яйца, козлятину… А Нина Матвеевна, перебивая его, говорила о своих бесчисленных болезнях, а также о частных визитах к медицинским светилам, рассказывала о полотенце, обмененном на фасоль, о соседке, купившей у эвакуированной жеребковый жакет и пять тарелочек из сервиза, о лярде и комбижире.

Они были незлые люди, но они ни разу не заговорили с Александрой Владимировной о войне, Сталинграде, о сообщениях Совинформбюро.

Они жалели и презирали Александру Владимировну за то, что после отъезда дочери, получавшей академический паек, она жила впроголодь. У нее не стало сахара, масла, она пила пустой кипяток, она ела суп в нарпитовской столовой, этот суп однажды отказался кушать

поросенок. Ей не на что было купить дрова. У нее не было вещей для продажи. Ее нищета мешала хозяевам. Раз, вечером, Александра Владимировна слышала, как Нина Матвеевна сказала Семену Ивановичу: «Пришлось мне вчера дать старухе коржик, неприятно при ней кушать, сидит голодная и смотрит».

Ночью Александра Владимировна плохо спала. Почему нет вестей от Сережи? Она лежала на железной кроватке, на которой раньше спала Людмила, и, казалось, ночные предчувствия и мысли дочери перешли к ней.

Как легко уничтожала людей смерть. Как тяжело тем, кто остался в живых. Она думала о Вере. Отец ее ребенка то ли убит, то ли забыл ее, Степан Федорович тоскует, подавлен неприятностями… Потери, горе не объединили, не сблизили Людмилу с Виктором.

Вечером Александра Владимировна написала Жене письмо: «Хорошая моя дочка…» А ночью ее охватило горе за Женю, — бедная девочка, в какой жизненной путанице живет она, что ждет ее впереди.

Аня Штрум, Соня Левинтон, Сережа… Как там у Чехова: «Мисюсь, где ты?»

А рядом вполголоса разговаривали хозяева

квартиры.

— Надо будет на Октябрьскую вутку зарезать, — сказал Семен Иванович.

— Для того я на картошке воспитывала утку, чтобы зарезать? — сказала Нина Матвеевна. — Вот, знаешь, когда старуха уедет, я хочу полы покрасить, а то половицы загниют.

Они всегда говорили о предметах и продуктах, мир, в котором они жили, был полон предметов. В этом мире не было человеческих чувств, одни лишь доски, сурик, крупа, тридцатки. Они были работящие и честные люди, все соседи говорили, что никогда Нина и Семен Иванович чужой копейки не возьмут. Но их не касался голод в Поволжье в 1921 году, раненые в госпиталях, слепые инвалиды, бездомные дети на улицах.

Они были разительно противоположны Александре Владимировне. Их равнодушие к людям, к общему делу, к чужому страданию было беспредельно естественно. А она умела думать и волноваться о чужих людях, радоваться, приходить в бешенство по поводу того, что не касалось ни ее жизни, ни жизни ее близких… пора всеобщей коллективизации, тридцать седьмой год, судьба женщин, попавших в лагеря за мужей, судьба детей, попавших в приемники и детдома

из разрушенных семей… немецкие расправы над пленными, военные беды и неудачи — все это мучило ее, лишало покоя так же, как несчастья, происходившие в ее собственной семье.

И этому ее не научили ни прекрасные книги, которые она читала, ни традиции народовольческой семьи, в которой она росла, ни жизнь, ни друзья, ни муж. Просто такой она была и не могла быть другой. У нее не было денег, до получки оставалось шесть дней. Она была голодна, все ее имущество можно было увязать в носовой платок. Но ни разу, живя в Казани, она не подумала о вещах, сгоревших в ее сталинградской квартире, о мебели, о пианино, о чайной посуде, о пропавших ложках и вилках. Даже о сгоревших книгах она не жалела.

И странное что-то было в том, что она сейчас, вдали от близких, нуждавшихся в ней, жила под одной крышей с людьми, чье фанерное существование было ей беспредельно чуждо.

На третий день после получения писем от родных к Александре Владимировне пришел Каримов.

Она обрадовалась ему, предложила выпить вместе кипятку, заваренного на шиповнике.

— Давно ли вы имели письмо из Москвы? —

спросил Каримов.

— Третьего дня.

— Вот как, — сказал Каримов и улыбнулся. — А интересно, как долго идут письма из Москвы?

— Вы поглядите по штемпелю на конверте, — сказала Александра Владимировна.

Каримов стал разглядывать конверт, сказал озабоченно:

— На девятый день пришло.

Он задумался, словно медленное движение писем имело для него какое-то особенное значение.

— Это, говорят, из-за цензуры, — сказала Александра Владимировна. — Цензура не справляется с потоками писем.

Он поглядел ей в лицо темными, прекрасными глазами.

— Значит, у них все там благополучно, никаких неприятностей?

— Вы плохо выглядите, — сказала Александра Владимировна, — какой-то у вас нездоровый вид.

Он поспешно, точно отвергая обвинение, сказал:

— Что вы! Наоборот!

Они поговорили о фронтовых событиях.

— Детям ясно, что в войне произошел решаю-

щий перелом, — сказал Каримов.

— Да-да, — усмехнулась Александра Владимировна, — теперь-то ребенку ясно, а прошлым летом всем мудрецам было ясно, что немцы победят.

Каримов вдруг спросил:

— Вам, вероятно, трудно одной? Я вижу, печь сами топите.

Она задумалась, нахмурив лоб, точно вопрос Каримова был очень сложен и не сразу ответишь на него.

— Ахмет Усманович, вы пришли для того, чтобы спрашивать, — трудно ли мне печь топить?

Он несколько раз качнул головой, потом долго молчал, разглядывая свои руки, лежавшие на столе.

— Меня на днях вызывали туда, расспрашивали об этих наших встречах и беседах.

Она сказала:

— Что ж вы молчите? Зачем же говорить о печке?

Ловя ее взгляд, Каримов сказал:

— Конечно, я не мог отрицать, что мы говорили о войне, о политике. Смешно же заявлять, что четверо взрослых людей говорили исключительно о кино. Ну, конечно, я сказал, — о чем бы мы ни

говорили, мы говорили как советские патриоты. Все мы считали, что под руководством партии и товарища Сталина народ победит. Вообще, должен вам сказать, вопросы не были враждебны. Но прошло несколько дней, и я стал волноваться, совершенно не сплю. Мне стало казаться, что с Виктором Павловичем что-то случилось. А тут еще странная история с Мадьяровым. Он поехал на десять дней в Куйбышев в пединститут. Здесь студенты ждут, а его нет, декан послал телеграмму в Куйбышев — и ответа нет. Лежишь ночью, о чем только не думаешь.

Александра Владимировна молчала.

Он тихо сказал:

— Подумать только, — стоит людям поговорить за стаканом чаю — и подозрения, вызовы туда.

Она молчала, он вопросительно посмотрел на нее, приглашая заговорить, ведь он уже все рассказал ей. Но Александра Владимировна молчала, и Каримов чувствовал, что она своим молчанием дает ему понять, — он не все рассказал ей.

— Вот такое дело, — сказал он.

Александра Владимировна молчала.

— Да, вот еще, забыл, — проговорил он, — он, этот товарищ, спросил: «А о свободе печати вы говорили?» Действительно, был такой разговор.

Да, потом вот еще что, спросили вдруг, — знаю ли я младшую сестру Людмилы Николаевны и ее бывшего мужа, кажется, Крымов фамилия? Я их не видел никогда, ни разу со мной Виктор Павлович не говорил о них. Я так и ответил. И вот еще вопрос: не говорил ли со мной лично Виктор Павлович о положении евреев? Я спросил, — почему именно со мной? Мне ответили: «Знаете, вы татарин, он еврей».

Когда, простившись, Каримов в пальто и шапке уже стоял в дверях и постукивал пальцем по почтовому ящику, из которого когда-то Людмила Николаевна вынула письмо, сообщавшее ей о смертельном ранении сына, Александра Владимировна сказала:

— Странно, однако, при чем тут Женя?

Но, конечно, ни Каримов, ни она не могли ответить на вопрос, — почему казанского энкавэдиста интересовали жившая в Куйбышеве Женя и ее бывший муж, находившийся на фронте.

Люди верили Александре Владимировне, и она много слышала подобных рассказов и исповедей, привыкла к ощущению, что рассказчик всегда что-нибудь не договорит. У нее не было желания предупредить Штрума, — она знала, что ничего, кроме ненужных волнений, это ему не

даст. Не было смысла гадать, кто из участников бесед проболтался либо донес; угадать такого человека трудно, в конце концов оказывается виновником тот, кого меньше всего подозревали. А часто случалось, что дело в МГБ возникало самым неожиданным образом, — из-за намека в письме, шутки, из-за неосторожно сказанного на кухне в присутствии соседки слова. Но с чего вдруг следователь стал спрашивать Каримова о Жене и Николае Григорьевиче?

И снова она долго не могла уснуть. Ей хотелось есть. Из кухни доносился запах еды — хозяева пекли картофельные оладьи на постном масле, слышался стук жестяных тарелок, спокойный голос Семена Ивановича. Боже, как ей хотелось есть! Какую бурду давали сегодня в столовой на обед. Александра Владимировна не доела ее и теперь жалела об этом. Мысль о еде перебивала, путала другие мысли.

Утром она пришла на завод и в проходной будке встретила секретаря директора, пожилую, с мужским, недобрым лицом женщину.

— Зайдите ко мне в обеденный перерыв, товарищ Шапошникова, — сказала секретарша.

Александра Владимировна удивилась, — неужели директор так быстро выполнил ее

просьбу.

Александра Владимировна не могла понять, почему легко ей стало на душе.

Она шла по заводскому двору и вдруг подумала, и тут же сказала вслух:

— Хватит Казани, еду домой, в Сталинград.

32

Шеф полевой жандармерии Хальб вызвал в штаб 6-й армии командира роты Ленарда.

Ленард опоздал. Новый приказ Паулюса запрещал пользоваться бензином для легковых автомобилей. Все горючее поступило в распоряжение начальника штаба армии генерала Шмидта, и можно было десять раз умереть и не добиться санкции генерала хотя бы на пять литров горючего. Бензина не хватало теперь не только для солдатских зажигалок, но и для офицерских автомашин.

Ленарду пришлось до вечера ждать штабной машины, идущей в город с фельдъегерской почтой.

Маленький автомобиль катил по обледеневшему асфальту. Над блиндажами и землянками переднего края, в безветренном морозном воздухе поднимались полупрозрачные тощие дымы. По дороге в сторону города шли раненые, с головами, повязанными платками и полотенцами, шли солдаты, перебрасываемые командованием из города на заводы, — и их головы тоже были повязаны, а на ноги были намотаны тряпки.

Шофер остановил машину возле трупа лошади, лежавшего на обочине, и стал копаться в моторе, а Ленард разглядывал небритых, озабоченных людей, рубивших тесаками мороженое мясо. Один солдат залез меж обнажившихся ребер лошади и казался плотником, орудующим среди стропил на недостроенной крыше. Тут же среди развалин дома горел костер и на треноге висел черный котел, вокруг стояли солдаты в касках, пилотках, одеялах, платках, вооруженные автоматами, с гранатами на поясах. Повар штыком окунал вылезавшие из воды куски конины. Солдат на крыше блиндажа не торопясь обгладывал лошадиную кость, похожую на невероятную циклопическую губную гармошку.

И вдруг заходящее солнце осветило дорогу, мертвый дом. Выжженные глазницы домов налились ледяной кровью, грязный от боевой копоти снег, разрытый когтями мин, стал золотиться, засветилась темно-красная пещера во внутренностях мертвой лошади, и поземка на шоссе заструилась колючей бронзой.

Вечерний свет обладает свойством раскрывать существо происходящего, превращать зрительное впечатление в картину — в историю, в чувство, в судьбу. Пятна грязи и копоти в этом

уходящем солнце говорят сотнями голосов, и сердце щемит, и видишь ушедшее счастье, и безвозвратность потерь, и горечь ошибок, и вечную прелесть надежды.

Это была сцена пещерного времени. Гренадеры, слава нации, строители великой Германии, были отброшены с путей победы.

Глядя на обмотанных тряпками людей, Ленард своим поэтическим чутьем понял, — вот он, закат, гаснет, уходит мечта.

Какая тупая, тяжелая сила заложена в глубине жизни, если блистательная энергия Гитлера, мощь грозного, крылатого народа, владеющего самой передовой теорией, привели к тихому берегу замерзшей Волги, к этим развалинам и грязному снегу, к налитым закатной кровью окнам, к примиренной кротости существ, глядящих на дымок над котлом с лошадиным мясом…

33

В штабе Паулюса, расположенном в подвале под сгоревшим зданием универмага, по заведенному порядку начальники приходили в свои кабинеты, и дежурные рапортовали им о бумагах, об изменениях обстановки, о действиях противника.

Звонили телефоны, щелкали пишущие машинки, и слышался за фанерной дверью басистый хохот генерала Шенка, начальника второго отдела штаба. Так же поскрипывали по каменным плитам быстрые адъютантские сапоги, и так же после того, как проходил, блестя моноклем, в свой кабинет начальник бронетанковых частей, в коридоре стоял, смешиваясь и не смешиваясь с запахом сырости, табака и ваксы, запах французских духов. Так же враз замолкали голоса и щелканье машинок, когда по теснинам подземных канцелярий проходил командующий в своей длинной шинели с меховым воротником, и десятки глаз всматривались в его задумчивое, горбоносое лицо. Так же был построен распорядок дня Паулюса, и столько же времени уходило у него на послеобеденную сигару и на беседу с

начальником штаба армии генералом Шмидтом. И так же, с плебейской надменностью, нарушая закон и распорядок, проходил к Паулюсу мимо опустившего глаза полковника Адамса унтер-офицер, радист, неся радиотелеграмму Гитлера с пометкой: «Лично в руки».

Но, конечно, лишь внешне все шло неизменно, — огромное количество изменений вторгалось в жизнь штабных людей со дня окружения.

Изменения были в цвете кофе, который они пили, в линиях связи, тянущихся на западные, новые участки фронта, в новых нормах расходования боеприпасов, в жестоком ежедневном зрелище горящих и гибнущих грузовых «юнкерсов», пробивающихся через воздушное кольцо. Возникло новое имя, заслонившее другие имена в умах военных, — Манштейна.

Перечислять эти изменения бессмысленно, и без помощи этой книги они совершенно очевидны. Ясно: те, кто прежде ели досыта, ощущали постоянный голод; ясно: лица голодных и недоедавших изменились, стали землистого цвета. Конечно, изменились немецкие штабные люди и внутренне, — притихли спесивые и надменные; хвастуны перестали хвастать, оптимисты стали поругивать самого фюрера и сомневаться в пра-

вильности его политики.

Но имелись особые изменения, начавшиеся в головах и душах немецких людей, окованных, зачарованных бесчеловечностью национального государства; они касались не только почвы, но и подпочвы человеческой жизни, и именно поэтому люди не понимали и не замечали их.

Этот процесс ощутить было так же трудно, как трудно ощутить работу времени. В мучениях голода, в ночных страхах, в ощущении надвигающейся беды медленно и постепенно началось высвобождение свободы в человеке, то есть очеловечивание людей, победа жизни над нежизнью.

Декабрьские дни становились все меньше, огромней делались ледяные семнадцатичасовые ночи. Все туже стягивалось окружение, все злей становился огонь советских пушек и пулеметов… О, как беспощаден был русский степной мороз, невыносимый даже для привычных к нему, одетых в тулупы и валенки русских людей.

Морозная, лютая бездна стояла над головой, дышала неукротимой злобой, сухие вымороженные звезды выступили, как оловянная изморозь, на скованном стужей небе.

Кто из гибнущих и обреченных гибели мог по-

нять, что это были первые часы очеловечивания жизни многих десятков миллионов немцев после десятилетия тотальной бесчеловечности!

34

Ленард подошел к штабу 6-й армии, увидел в сумерках серолицего часового, одиноко стоявшего у вечерней серой стены, и сердце его забилось. И когда он шел по подземному коридору штаба, все, что видел он, наполняло его любовью и печалью.

Он читал на дверях выведенные готическим шрифтом таблички: «2 отдел», «Адъютантура», «Генерал Лох», «Майор Трауриг», он слышал потрескивание пишущих машинок, до него донеслись голоса, и он по-сыновьи, по-братски познавал чувство связи с привычным, родным ему миром товарищей по оружию, партии, своих боевых друзей по СС, — он увидел их в свете заката — жизнь уходила.

Подходя к кабинету Хальба, он не знал, каков будет разговор, — захочет ли оберштурмбаннфюрер СС делиться с ним своими переживаниями.

Как часто бывает между людьми, хорошо знакомыми по партийной работе в мирное время, они не придавали значения различию в своих воинских званиях, сохраняя в отношениях товарищескую простоту. Встречаясь, они обычно

болтали и одновременно говорили о делах.

Ленард умел несколькими словами осветить существо сложного дела, и его слова иногда совершали длинное путешествие по докладным запискам до самых высоких кабинетов Берлина.

Ленард вошел в комнату Хальба и не узнал его. Всматриваясь в полное, не похудевшее лицо, Ленард не сразу сообразил: изменилось лишь выражение темных умных глаз Хальба.

На стене висела карта Сталинградского района, и воспаленный, безжалостный багровый круг охватывал 6-ю армию.

— Мы на острове, Ленард, — сказал Хальб, — и остров наш окружен не водой, а ненавистью хамов.

Они поговорили о русском морозе, русских валенках, русском сале, о коварстве русской водки, согревающей для того, чтобы заморозить.

Хальб спросил, какие изменения появились в отношениях между офицерами и солдатами на переднем крае.

— Если подумать, — сказал Ленард, — я не вижу разницы между мыслями полковника и солдатской философией. Это, в общем, одна песня, оптимизма в ней нет.

— Эту песню в голос с батальонами тянут и в

штабе, — сказал Хальб и, не торопясь, чтобы эффект был больше, добавил: — А запевалой в хоре генерал-полковник.

— Поют, но перебежчиков, как и прежде, нет.

Хальб сказал:

— Я имею запрос, он связан с коренной проблемой — Гитлер настаивает на обороне Шестой армии, Паулюс, Вейхс, Цейцлер высказываются за спасение физического существования солдат и офицеров, предлагают капитуляцию. Мне приказано секретнейше проконсультировать, имеется ли вероятность, что окруженные в Сталинграде войска могут на известном этапе выйти из подчинения. Русские это называют — волынка, — он произнес русское слово четко, чисто, небрежно.

Ленард понял серьезность вопроса, молчал. Потом он сказал:

— Мне хочется начать с частности, — и он стал рассказывать о Бахе. — В роте у Баха есть неясный солдат. Солдат этот был посмешищем для молодежи, а сейчас, со времени окружения, к нему стали льнуть, оглядываются на него… Я стал думать и о роте и о ее командире. В пору успеха этот Бах всей душой приветствовал политику партии. Но сейчас, я подозреваю, в его голове происходит другое, он начинает оглядываться. Вот я и спрашиваю

себя, — почему солдаты в его роте стали тянуться к типу, который их недавно смешил, казался помесью сумасшедшего с клоуном? Что сделает этот типус в роковые минуты? Куда он позовет солдат? Что произойдет с командиром их роты?

Он произнес:

— На все это ответить трудно. Но на один вопрос я отвечаю: солдаты не восстанут.

Хальб сказал:

— Теперь особенно ясно видна мудрость партии. Мы без колебания удаляли из народного тела не только зараженные куски, но с виду здоровые части, которые в трудных обстоятельствах могли загнить. От волевых людей, вражеских идеологов очищены города, армия, деревни, церковь. Болтовни, ругани и анонимных писем будет сколько угодно. Но восстаний не будет, даже если враг начнет окружать нас не на Волге, а в Берлине! Мы все можем быть благодарны за это Гитлеру. Надо благословлять небо, пославшее нам в такую пору этого человека.

Он прислушался к глухому, медлительному гулу, перекатывавшемуся над головой: в глубоком подвале нельзя было разобрать, — германские ли то орудия, рвутся ли советские авиационные бомбы.

Хальб, переждав постепенно стихавший грохот, сказал:

— Немыслимо, чтобы вы существовали на обычном офицерском пайке. Я внес вас в список, в нем наиболее ценные партийные друзья и работники безопасности, вам будут регулярно доставлять посылки фельдъегерской связью на штаб дивизии.

— Спасибо, — сказал Ленард, — но я не хочу этого, я буду есть то, что едят остальные.

Хальб развел руками.

— Как Манштейн? Говорят, ему дали новую технику.

— Я не верю в Манштейна, — сказал Хальб. — В этом я разделяю взгляд командующего.

И привычно, вполголоса, так как уже долгие годы все, что он говорил, относилось к категории высокой секретности, он произнес:

— У меня имеется список, это партийные друзья и работники безопасности, которым будут при приближении развязки обеспечены места в самолетах. В этом списке и вы. В случае моего отсутствия инструкции будут у полковника Остена.

Он заметил вопрос в глазах Ленарда и объяснил:

— Возможно, мне придется полететь в Германию. Дело настолько секретно, что его нельзя доверить ни бумаге, ни радиошифру.

Он подмигнул:

— Напьюсь же я перед полетом, не от радости, а от страха. Советы сбивают много машин.

Ленард сказал:

— Товарищ Хальб, я не сяду в самолет. Мне стыдно будет, если я брошу людей, которых я убеждал драться до конца.

Хальб слегка привстал.

— Я не имею права отговаривать вас.

Ленард, желая рассеять чрезмерную торжественность, проговорил:

— Если возможно, помогите моей эвакуации из штаба в полк. Ведь у меня нет машины.

Хальб сказал:

— Бессилен! Впервые совершенно бессилен! Бензин у собаки Шмидта. Я не могу и грамма добыть. Понимаете? Впервые! — и на лице его появилось простецкое, не свое, а может быть, именно свое, выражение, которое и сделало его неузнаваемым для Ленарда в первые минуты встречи.

35

К вечеру потеплело, выпал снег и прикрыл копоть и грязь войны. Бах в темноте обходил укрепления переднего края. Легкая белизна порождественски поблескивала при вспышках выстрелов, а от сигнальных ракет снег то розовел, то сиял нежной мерцающей зеленью.

При этих вспышках каменные хребты, пещеры, застывшие волны кирпича, сотни заячьих тропинок, вновь прочерченных там, где люди должны были есть, ходить в отхожее место, ходить за минами и патронами, тащить в тыл раненых, засыпать тела убитых, — все казалось поразительным, особенным. И одновременно все казалось совершенно привычным, будничным.

Бах подошел к месту, которое простреливалось русскими, засевшими в развалинах трехэтажного дома, — оттуда доносился звук гармошки и тягучее пение противника.

Из пролома в стене открывался обзор советского переднего края, были видны заводские цехи, замерзшая Волга.

Бах окликнул часового, но не расслышал его слов: внезапно взорвался фугас, и мерзлая земля

забарабанила по стене дома; это скользивший на малой высоте «русс-фанер» с выключенным мотором уронил бомбу-сотку.

— Хромая русская ворона, — сказал часовой и показал на темное зимнее небо.

Бах присел, оперся локтем о знакомый каменный выступ и огляделся. Легкая розовая тень, дрожавшая на высокой стене, показывала, что русские топят печку, труба раскалилась и тускло светилась. Казалось, что в русском блиндаже солдаты жуют, жуют, жуют, шумно глотают горячий кофе.

Правее, в том месте, где русские окопы сближались с немецкими, слышались негромкие неторопливые удары металла по мерзлой земле.

Не вылезая из земли, русские медленно, но беспрерывно двигали свой окоп в сторону немцев. В этом движении в мерзлой, каменной земле заключалась тупая могучая страсть. Казалось, двигалась сама земля.

Днем унтер-офицер донес Баху, что из русского окопа бросили гранату, — она разбила трубу ротной печки и насыпала в окоп всякой дряни.

А перед вечером русский в белом полушубке, в теплой новой шапке вывалился из окопа и закричал матерную брань, погрозил кулаком.

Немцы не стреляли — инстинктом поняли, что дело организовано самими солдатами.

Русский закричал:

— Эй, курка, яйки, русь буль-буль?

Тогда из окопа вылез серо-голубой немец и не очень громко, чтобы не слышали в офицерском блиндаже, крикнул:

— Эй, русь, не стреляй голову. Матку видать надо. Бери автомат, дай шапку.

Из русского окопа ответили одним словом, да притом еще очень коротким. Хотя слово было русское, но немцы его поняли и рассердились.

Полетела граната, она перемахнула через окоп и взорвалась в ходе сообщения. Но это уже никого не интересовало.

Об этом также доложил Баху унтер-офицер Айзенауг, и Бах сказал:

— Ну и пусть кричат. Ведь никто не перебежал.

Но тогда унтер-офицер, дыша на Баха запахом сырой свеклы, доложил, что солдат Петенкофер каким-то образом организовал с противником товарообмен, — у него появился в мешке пиленый сахар и русский солдатский хлеб. Он взял у приятеля бритву на комиссию и обещал за нее кусок сала и две пачки концентрата, оговорил для себя

сто пятьдесят грамм сала комиссионных.

— Чего же проще, — сказал Бах, — пригоните его ко мне.

Но, оказывается, в первой половине дня Петенкофер, выполняя задание командования, пал смертью храбрых.

— Так что ж вы от меня хотите? — сказал Бах. — Вообще между немецким и русским народами давно велась торговля.

Но Айзенауг не был склонен к шутке, — с незаживающим ранением, полученным во Франции в мае сорокового года, его два месяца назад доставили в Сталинград на самолете из Южной Германии, где он служил в полицейском батальоне. Всегда голодный, промерзший, съедаемый вшами и страхом, он был лишен юмора.

Вот там, где едва белело расплывчатое, трудно различимое во мраке каменное кружево городских домов, Бах начал свою сталинградскую жизнь. Черное сентябрьское небо в крупных звездах, мутная волжская вода, раскаленные после пожара стены домов, а дальше степи русского юго-востока, граница азиатской пустыни.

В темноте тонули дома западных предместий города, выступали развалины, покрытые снегом, — его жизнь…

Зачем он написал из госпиталя это письмо маме? Вероятно, мама показала его Губерту! Зачем он вел разговоры с Ленардом?

Зачем у людей есть память, иногда хочется умереть, перестать помнить. Надо же ему было перед самым окружением принять пьяное безумие за истину жизни, совершить то, чего он не совершал в трудные долгие годы.

Он не убивал детей и женщин, никого не арестовывал. Но он сломал хрупкую плотину, отделявшую чистоту его души от мглы, клокотавшей вокруг. И кровь лагерей и гетто хлынула на него, подхватила, понесла, и уж не стало грани между ним и тьмой, он стал частью этой тьмы.

Что же это произошло с ним, — бессмысленность, случай или то законы его души?

36

В ротном блиндаже было тепло. Одни сидели, другие лежали, задрав ноги к низкому потолку, некоторые спали, натянув на головы шинели и выставив босые желтые ступни.

— А помните, — сказал особо худой солдат, оттягивая на груди рубашку и оглядывая шов внимательным и недобрым глазом, которым все солдаты мира оглядывают швы своих рубах и подштанников, — сентябрь, подвальчик, в котором мы устроились?

Второй, лежавший на спине, сказал:

— Я уже вас застал здесь.

Несколько человек ответили:

— Можешь поверить, подвал был хорош… Там кроватки были, как в лучших домах…

— Под Москвой тоже люди отчаивались. А оказалось, мы махнули до Волги.

Солдат, рубивший штыком доску, в это время открыл дверцу печки, чтобы сунуть в огонь несколько полешек. Пламя осветило его большое небритое лицо, и оно из серого, каменного стало медным, красным.

— Ну, знаешь, — сказал он, — радоваться тому,

что из подмосковной ямы мы попали в более вонючую.

Из темного угла, где были сложены ранцы, раздался веселый голос:

— Теперь-то ясно, лучшего Рождества и не придумаешь: конина!

Разговор коснулся еды, и все оживились. Заспорили о том, как лучше отбить запах пота у вареного лошадиного мяса. Одни говорили, что надо снимать с кипящего бульона черную пену. Другие советовали не доводить варево до бурного кипения, третьи советовали вырубать мясо из задней части туши и не класть мерзлое мясо в холодную воду, а кидать его сразу в кипяток.

— Живут хорошо разведчики, — сказал молодой солдат, — они захватывают продукты у русских и подкармливают ими своих русских баб в подвалах, а тут какой-то дурак удивлялся, почему разведчикам дают молодые и красивые.

— Вот уж о чем я теперь не думаю, — сказал топивший печь, — не то настроение, не то питание. Детей бы повидать перед смертью. Хоть на часок…

— Офицеры зато думают! Я встретил в подвале, где живет население, командира роты. Он там свой человек, семьянин.

— А сам что ты делал в этом подвале?

— Ну, я, я носил белье стирать.

— Я одно время охранял лагерь. Насмотрелся, как военнопленные подбирают картофельные очистки, дерутся из-за гнилых капустных листьев. Я думал, — ну, это действительно не люди. Но, оказывается, и мы такие же свиньи.

Голос из полутьмы, где были сложены ранцы, певуче произнес:

— Начали с кур!

Резко распахнулась дверь, и вместе с круглыми сырыми клубами пара возник одновременно густой и звонкий голос:

— Встать! Смирно!

Это слово прозвучало по-старому, — спокойно и неторопливо.

«Смирно» относилось к горечи, к страданиям, к тоске, к злым мыслям… Смирно.

В тумане мелькнуло лицо Баха, заскрипели по-чужому, непривычно чьи-то сапоги, и жители блиндажа увидели светло-голубую шинель командира дивизии, его близоруко сощуренные глаза, старческую белую руку с золотым обручальным кольцом, протиравшую замшевой тряпочкой монокль.

Голос, привыкший, не напрягаясь, доходить

на военном плацу и до командиров полков, и до рядовых, стоявших на левом фланге, произнес:

— Здравствуйте. Вольно.

Нестройно ответили солдаты.

Генерал сел на деревянный ящик, и печной желтый свет пробежал по черному железному кресту на его груди.

— Поздравляю вас с наступающим Сочельником, — сказал старик.

Солдаты, сопровождавшие его, подтащили к печке ящик и, подняв штыками крышку, стали вынимать завернутые в целлофан рождественские, величиной с ладонь, елочки. Каждая елочка была украшена золотистой канителью, бусинами, горошинами-леденцами.

Генерал наблюдал, как солдаты разбирали целлофановые пакетики, поманил обер-лейтенанта, сказал ему несколько невнятных слов, и Бах громко произнес:

— Генерал-лейтенант велел передать вам, что этот рождественский подарок из Германии доставил летчик, смертельно раненный над Сталинградом. Он приземлился в Питомнике, его вынули мертвым из кабины.

37

Люди держали на ладонях карликовые елочки. Елки, отогретые в теплом воздухе, покрылись мелкой росой, наполнили подвал запахом хвои, забившим тяжелый дух морга и кузницы — запах переднего края.

Казалось, от седой головы старика, сидевшего у печки, шел запах Рождества.

Чувствительное сердце Баха ощутило печаль и прелесть этой минуты. Люди, презиравшие силу русской тяжелой артиллерии, ожесточенные, грубые, измученные голодом, вшами, задерганные недостачей патронов, молча поняли все сразу, — не бинты, не хлеб, не толовые шашки, а эти еловые ветки, опутанные бесполезной паутинкой, бомбошки из сиротского дома нужны были им.

Солдаты окружили старика, сидевшего на ящике. Это он летом вел головную моторизованную дивизию к Волге. Всю жизнь, везде и всюду, он был актером. Он актерствовал не только перед строем и в разговорах с командующим. Он был актером и дома с женой, и когда гулял по саду, и с невесткой, и с внуком. Он был актером, когда

ночью, один, лежал в постели, а рядом на кресле лежали его генеральские брюки. И, конечно, он был актером перед солдатами, он был актером, когда спрашивал их о матерях, когда хмурился, когда грубовато шутил по поводу солдатских любовных развлечений, и когда интересовался содержимым солдатского котла и преувеличенно серьезно снимал пробу с супа, и когда склонял суровую голову перед незасыпанными солдатскими могилами, и когда произносил преувеличенно сердечные, отеческие слова перед шеренгой новобранцев. Это актерство не приходило извне, оно являлось изнутри, оно было растворено в его мыслях, в нем. Он не знал о нем, актерство немыслимо было отделить от него, как нельзя отфильтровать соль из соленой воды. Это актерство вошло с ним в ротный блиндаж, оно было в том, как он распахнул шинель, сел на ящик перед печкой, в том, как спокойно, печально посмотрел на солдат и поздравил их. Старик никогда не чувствовал своей актерской игры, и вдруг он понял ее, и она ушла, выпала из его существа — вымороженная соль из замерзшей воды.

Пришла пресность, стариковская жалость к голодным, замученным людям. Беспомощный, слабый и старый человек сидел среди беспомощ-

ных и несчастных.

Один из солдат тихо затянул песенку:

O, Tannenbaum, o, Tannenbaum,
Wie grün sind deine Blätter…

Два-три голоса подтянули. А запах хвои сводил с ума, и слова детской песенки звучали, как раскаты божественных труб:

O, Tannenbaum, o, Tannenbaum…

И со дна моря, из холодной тьмы поднимались на поверхность забытые, заброшенные чувства, высвобождались мысли, о которых давно не было воспоминаний…

Они не давали ни радости, ни легкости. Но сила их была человеческой силой, то есть самой большой силой в мире.

Тяжело ударили один за другим разрывы крупнокалиберных советских снарядов — иван был чем-то недоволен, видимо, догадывался, что окруженные справляют Рождество. Никто не обратил внимания на посыпавшуюся с потолка труху и на то, что печка дунула в блиндаж облачком красных искр.

Дробь железных барабанов дубасила по земле, и земля кричала, — иван заиграл на своих

любимых реактивных минометах. И тотчас заскрежетали тяжелые станковые пулеметы.

Старик сидел, склонив голову, — поза обычная для людей, утомленных долгой жизнью. Потухли огни на сцене, и люди со смытым гримом вышли под серый дневной свет. Разные стали сейчас одинаковы, — и легендарный генерал, руководитель молниеносных мотомехпрорывов, и мелочный унтер-офицер, и солдат Шмидт, подозреваемый в нехороших антигосударственных мыслях… Бах подумал, что Ленард бы не поддался в эти минуты, в нем уж не могло произойти преображения немецкого, государственного, в человеческое.

Он повернул голову к двери и увидел Ленарда.

38

Штумпфе, лучший солдат в роте, вызывавший робкие и восхищенные взгляды новобранцев, преобразился. Его большое светлоглазое лицо осунулось. Мундир и шинель обратились в мятую и старенькую одежду, прикрывавшую тело от русского ветра и мороза. Он перестал говорить умно, его шутки не смешили.

Он страдал от голода сильней других, так как был огромен ростом и нуждался в большой пище.

Постоянный голод заставлял его с утра выходить на добычу; он рыл, шуровал среди развалин, он выпрашивал, подъедал крошки, дежурил около кухни. Бах привык видеть его внимательное, напряженное лицо. Штумпфе беспрерывно думал о еде, искал ее не только в свободное время, но и в бою.

Пробираясь к жилому подвалу, Бах увидел большую спину, большие плечи голодного солдата. Он копался на пустыре, где когда-то, до окружения, стояли кухни и находились склады продовольственного отдела полка. Он отдирал от земли листья капусты, выискивал крошечные,

величиной с желудь, замерзшие картофелины, в свое время по мизерности размера не попавшие в котел.

Из-за каменной стены вышла высокая старуха в рваном мужском пальто, подпоясанном веревкой, в стоптанных мужских бутсах. Она шла навстречу солдату, пристально глядя в землю, крючком из толстой проволоки ворошила снег.

Они увидели друг друга, не поднимая головы, по теням, столкнувшимся на снегу.

Громадный немец поднял глаза на высокую старуху и, доверчиво держа перед ней дырявый, слюдянистый капустный лист, сказал медленно и потому торжественно:

— Здравствуйте, мадам.

Старуха, неторопливо отведя рукой шмотье, сползавшее ей на лоб, взглянула темными, полными доброты и ума глазами, величаво, медленно ответила:

— Здравствуй, пан.

Это была встреча на самом высоком уровне представителей двух великих народов. Никто, кроме Баха, не видел этой встречи, а солдат и старуха тотчас забыли о ней.

Потеплело, и крупный снег хлопьями ложился на землю, на красное кирпичное крошево, на

плечи могильных крестов, на лбы мертвых танков, в ушные раковины незарытых мертвецов.

Теплый снеговой туман казался синевато-серым. Снег заполнил воздушное пространство, остановил ветер, приглушил пальбу, соединил, смешал землю и небо в неясное, колышущееся мягкое и серое единство.

Снег ложился на плечи Баха, и казалось, тишина хлопьями падает на затихшую Волгу, на мертвый город, на скелеты лошадей; снег шел всюду, не только на земле, но и на звездах, весь мир был полон снега. Все исчезало под снегом — тела убитых, оружие, гнойные тряпки, щебень, скрученное железо.

Это не снег, само время — мягкое, белое, ложилось, наслаивалось на человеческое городское побоище, и настоящее становилось прошлым, и не было будущего в медленном мохнатом мелькании снега.

39

Бах лежал на нарах за ситцевой занавеской в тесном закуте подвала. На плече его лежала голова спящей женщины. Лицо ее от худобы казалось одновременно детским и увядшим. Бах глядел на ее худую шею и грудь, белевшую из серой грязной сорочки. Тихо, медленно, чтобы не разбудить женщину, он поднес к губам ее растрепанную косу. Волосы пахли, они были живыми, упругими и теплыми, словно и в них текла кровь.

Женщина открыла глаза.

Практичная баба, иногда беспечная, ласковая, хитрая, терпеливая, расчетливая, покорная и вспыльчивая. Иногда она казалась дурой, подавленной, всегда угрюмой, иногда она напевала, и сквозь русские слова проступали мотивы «Кармен» и «Фауста».

Он не интересовался, кем была она до войны. Он приходил к ней, когда ему хотелось к ней прийти, а когда ему не хотелось с ней спать, Бах не вспоминал ее, не тревожился, — сыта ли она, не убил ли ее русский снайпер. Однажды он вытащил из кармана случайно оказавшуюся у него галету и дал ей, — она обрадовалась, а потом по-

дарила эту галету старухе, жившей рядом с ней. Это тронуло его, но он, идя к ней, почти всегда забывал захватить что-нибудь съестное.

Имя у нее было странное, не похожее на европейские имена, — Зина.

Старуху, жившую рядом с ней, Зина, видимо, не знала до войны. Это была неприятная бабушка, льстивая и злая, невероятно неискренняя, охваченная бешеной страстью питания. Вот и сейчас она методично стучала первобытным деревянным пестом в деревянной ступе, толкла горелые, облитые керосином, черные зерна пшеницы.

Солдаты после окружения стали лазить в подвалы к жителям, — раньше солдаты не замечали жителей, теперь же оказалось множество дел в подвалах — стирка без мыла с золой, кушанья из отбросов, починки, штопки. Главными людьми в подвалах оказались старухи. Но солдаты ходили не только к старухам.

Бах считал, что о его приходах в подвал никто не знает. Но однажды, сидя на нарах у Зины и держа ее руки в своих руках, он услышал за занавеской родную речь, и показавшийся ему знакомым голос сказал:

— Не лезь за эту занавеску, там фрейляйн оберлейтенанта.

Сейчас они лежали рядом и молчали. Вся его жизнь — друзья, книги, его роман с Марией, его детство, все, что связывало его с городом, в котором он родился, со школой и университетом, грохот русского похода, все не значило… Все это оказалось дорогой к этим нарам, слаженным из полуобожженной двери… Ужас охватил его от мысли, что он может потерять эту женщину, он нашел ее, он пришел к ней, все, что творилось в Германии, в Европе, служило тому, чтобы он встретил ее… Раньше он не понимал этого, он забывал ее, она казалась ему милой именно потому, что ничего серьезного его с ней не связывало. Ничего не было в мире, кроме нее, все утонуло в снегу… было это чудное лицо, немного приподнятые ноздри, странные глаза и это, сводящее с ума, детское беспомощное выражение, соединенное с усталостью. Она в октябре нашла его в госпитале, пешком пришла к нему, и он не хотел видеть ее, не вышел к ней.

Она видела — он не был пьян. Он стал на колени, он целовал ее руки, он стал целовать ее ноги, потом приподнял голову, прижался лбом и щекой к ее коленям, он говорил быстро, страстно, но она не понимала его, и он знал, что она не понимает его, — ведь они знали лишь ужасный

язык, которым говорили в Сталинграде солдаты.

Он знал, что движение, которое привело его к этой женщине, теперь оторвет ее от него, разлучит их навек. Он, стоя на коленях, обнимал ее ноги и смотрел ей в глаза, и она вслушивалась в его быстрые слова, хотела понять, угадать, что говорит он, что происходит с ним.

Она никогда не видела немца с таким выражением лица, думала, что только у русских могут быть такие страдающие, молящие, ласковые, безумные глаза.

Он говорил ей, что здесь, в подвале, целуя ее ноги, он впервые, не с чужих слов, а кровью сердца понял любовь. Она дороже ему его прошлого, дороже матери, дороже Германии, его будущей жизни с Марией… Он полюбил ее. Стены, воздвигнутые государствами, расовая ярость, огневой вал тяжелой артиллерии ничего не значат, бессильны перед силой любви… И он благодарен судьбе, которая накануне гибели дала ему это понимание.

Она не понимала его слов, она знала только: «Хальт, ком, бринг, шнеллер». Она слышала только: «Даешь, капут, цукер, брот, катись, проваливай».

Но она догадывалась о том, что происходит с

ним, она видела его смятение. Голодная, легкомысленная любовница немецкого офицера со снисходительной нежностью видела его слабость. Она понимала, что судьба разлучит их, и она была спокойней его. Теперь, видя его отчаяние, она ощутила, что связь ее с этим человеком превращается во что-то, поразившее ее своей силой и глубиной. Она расслышала это в его голосе, ощутила в его поцелуях, в его глазах.

Она задумчиво гладила Баха по волосам, а в ее хитрой головке поднялось опасение, как бы эта неясная сила не захватила ее, не завертела, не погубила… А сердце билось, билось и не хотело слушать хитрый, предупреждавший ее, стращавший голос.

40

У Евгении Николаевны появились новые знакомые, люди из тюремных очередей. Они спрашивали у нее: «Что у вас, какие новости?» Она уже стала опытна и не только слушала советы, но и сама говорила: «Вы не волнуйтесь. Может быть, он в больнице. В больнице хорошо, все мечтают из камеры попасть в больницу».

Она узнала, что Крымов находится во внутренней тюрьме. Передачи у нее не приняли, но она не теряла надежды, — на Кузнецком, случалось, отказывались принять передачу и раз, и два, а потом вдруг сами предлагали: «Давайте передачу».

Она побывала на квартире Крымова, и соседка рассказала ей, что месяца два назад приходили двое военных с управдомом, открыли крымовскую комнату, забрали много бумаг, книг и ушли, опечатав дверь. Женя смотрела на сургучные печати с веревочными хвостиками, соседка, стоя рядом, говорила:

— Только, ради бога, я вам ничего не рассказывала. — Подведя Женю к двери, осмелев, соседка зашептала: — Такой был хороший человек, добровольцем на войну пошел.

Новикову она из Москвы не писала.

Какая смута в душе! И жалость, и любовь, и раскаяние, и радость от побед на фронте, и тревога за Новикова, и стыд перед ним, и страх навсегда потерять его, и тоскливое чувство бесправия…

Еще недавно она жила в Куйбышеве, собиралась ехать к Новикову на фронт, и связь с ним казалась ей обязательной, неминуемой, как судьба. Женя ужасалась тому, что навеки связана с ним, навеки рассталась с Крымовым. Все в Новикове минутами казалось ей чужим. Его волнения, надежды, круг знакомых были ей совершенно чужды. Нелепым представлялось ей разливать чай за его столом, принимать его друзей, разговаривать с генеральскими и полковничьими женами.

Она вспомнила равнодушие Новикова к чеховскому «Архиерею» и «Скучной истории». Они ему нравились меньше, чем тенденциозные романы Драйзера и Фейхтвангера. А теперь, когда она понимала, что ее разрыв с Новиковым решен, что она уж никогда не вернется к нему, Женя ощущала к нему нежность, часто вспоминала покорную торопливость, с которой он соглашался со всем, что она говорила. И Женю охватывало горе, — неужели его руки никогда не коснутся ее

плеч, она не увидит его лица?

Никогда не встречала она такого необычного соединения силы, грубой простоты с человечностью, робостью. Ее так влекло к нему, ему так чужд был жестокий фанатизм, в нем была какая-то особая, разумная и простая мужичья доброта. И тут же неотступно тревожила мысль о чем-то темном и грязном, что вползло в ее отношения с близкими людьми. Откуда стали известны слова, сказанные ей Крымовым?.. Как безысходно серьезно все, что связывает ее с Крымовым, она не сумела зачеркнуть прожитую с ним жизнь.

Она поедет вслед за Крымовым. Пусть он ей не простит, она заслужила его вечный упрек, но она нужна ему, он в тюрьме все время думает о ней.

Новиков найдет в себе силу пережить разрыв с ней. Но она не могла понять, что нужно ей для душевного покоя. Знать, что он перестал любить ее, успокоился и простил? Или, наоборот, знать, что он любит, безутешен, не прощает? А ей самой — лучше ли знать, что разрыв их навеки, или в глубине сердца верить, что они еще будут вместе?

Сколько страданий она причинила близким. Неужели все это она натворила не ради блага других, а по своей прихоти, ради себя? Интеллек-

туальная психопатка!

Вечером, когда Штрум, Людмила, Надя сидели за столом. Женя вдруг спросила, глядя на сестру:

— Знаешь, кто я?

— Ты? — удивилась Людмила.

— Да-да, я, — сказала Женя и пояснила: — Я маленькая собачка женского пола.

— Сучка? — весело сказала Надя.

— Вот-вот, именно, — ответила Женя.

И вдруг все стали хохотать, хотя понимали, что Жене не до смеха.

— Знаете, — сказала Женя, — мой куйбышевский посетитель Лимонов объяснял мне, что такое не первая любовь. Он говорил — это душевный авитаминоз. Скажем, муж долго живет с женой, и у него развивается голод душевный, вот как у коровы, которая лишена соли, или у полярника, который годами не видит овощей. Жена — человек волевой, властный, сильный, вот супруг начинает тосковать по душе кроткой, мягкой, податливой, робкой.

— Дурак твой Лимонов, — сказала Людмила Николаевна.

— А если человеку нужны несколько витаминов — A, B, C, D? — спросила Надя.

А позже, когда уже собрались спать, Виктор

Павлович сказал:

— Женевьева, у нас принято высмеивать интеллигентов за гамлетовскую раздвоенность, за сомнения, нерешительность. И я в молодости презирал в себе эти черты. А теперь я считаю по-иному: нерешительным и сомневающимся люди обязаны и великими открытиями, и великими книгами, сделали они не меньше, чем прямолинейные стоеросы. Они и на костер пойдут, когда надо, и под пули не хуже волевых и прямолинейных.

Евгения Николаевна сказала:

— Спасибо, Витенька, это вы насчет собачки женского пола?

— Вот именно, — подтвердил Виктор Павлович.

Ему захотелось сказать Жене приятное.

— Смотрел снова вашу картину, Женечка, — проговорил он. — Мне нравится, что в картине есть чувство, а то ведь, знаете, у левых художников лишь смелость да новаторство, а Бога в них нет.

— Да уж, чувства, — сказала Людмила Николаевна, — зеленые мужчины, синие избы. Полный отход от действительности.

— Знаешь, Милка, — сказала Евгения Никола-

евна, — Матисс сказал: «Когда я кладу зеленую краску, это не означает, что я собрался рисовать траву, беру синюю, это еще не означает, что я рисую небо». Цвет выражает внутреннее состояние художника.

И хотя Штрум хотел говорить Жене лишь приятное, но он не удержался и насмешливо вставил:

— А вот Эккерман писал: «Если б Гёте, подобно Богу, создавал мир, он бы сотворил траву зеленой, а небо голубым». Мне эти слова говорят много, я ведь имею кое-какое отношение к материалу, из которого Бог создал мир… Правда, поэтому я знаю, что нет ни цветов, ни красок, а лишь атомы и пространство между ними.

Но подобные разговоры происходили редко, — большей частью говорили о войне, прокуратуре…

Это были тяжелые дни. Женя собиралась уезжать в Куйбышев, — истекал срок ее отпуска.

Она боялась предстоящего объяснения с начальником. Ведь она самовольно отправилась в Москву и долгие дни околачивала пороги тюрем, писала заявления в прокуратуру и наркому внутренних дел.

Всю жизнь она боялась казенных учреждений, писания прошений, и перед тем как менять пас-

порт, плохо спала и волновалась. Но в последнее время судьба заставила ее, казалось, только и иметь дело с пропиской, паспортами, милицией, прокуратурой, с повестками и заявлениями.

В доме сестры стоял неживой покой.

Виктор Павлович на работу не ходил, сидел часами у себя в комнате. Людмила Николаевна приезжала из лимитного магазина расстроенная, злая, рассказывала, что жены знакомых не здороваются с ней.

Евгения Николаевна видела, как нервничает Штрум. При телефонном звонке он вздрагивал, стремительно хватал трубку. Часто за обедом или во время ужина он прерывал разговор, резко произносил: «Тише, тише, по-моему, кто-то звонит в дверь». Он шел в переднюю, возвращался, неловко усмехаясь. Сестры понимали, чем вызвано это постоянное напряженное ожидание звонка, — он боялся ареста.

— Вот так и развивается мания преследования, — сказала Людмила, — в тридцать седьмом году полно было таких людей в психиатрических лечебницах.

Евгению Николаевну, видевшую постоянную тревогу Штрума, особенно трогало его отношение к ней. Он как-то сказал: «Запомните, Женевьева,

мне глубоко безразлично, что подумают по поводу того, что вы живете в моем доме и хлопочете за арестованного. Понимаете? Это ваш дом!»

Вечерами Евгения Николаевна любила разговаривать с Надей.

— Уж слишком ты умна, — сказала племяннице Евгения Николаевна, — не девочка, а какой-то член общества бывших политкаторжан.

— Не бывших, а будущих, — сказал Штрум. — Ты, вероятно, и со своим лейтенантом говоришь о политике.

— Ну и что? — сказала Надя.

— Уж лучше бы целовались, — сказала Евгения Николаевна.

— Вот об этом я и толкую, — сказал Штрум. — Все же безопасней.

Надя действительно затевала разговоры на острые темы, — то вдруг спрашивала о Бухарине, то верно ли, что Ленин ценил Троцкого и не хотел видеть Сталина в последние месяцы жизни, написал завещание, которое Сталин скрыл от народа.

Евгения Николаевна, оставаясь наедине с Надей, не расспрашивала ее о лейтенанте Ломове. Но из того, что Надя говорила о политике, войне, о стихах Мандельштама и Ахматовой, о своих

встречах и разговорах с товарищами, Евгения Николаевна узнала о Ломове и о Надиных отношениях с ним больше, чем знала Людмила.

Ломов, видимо, был парнишка острый, с трудным характером, ко всему признанному и установленному относился насмешливо. Он, видимо, сам писал стихи, и это от него Надя заимствовала насмешливое и презрительное отношение к Демьяну Бедному, Твардовскому, равнодушие к Шолохову и Николаю Островскому. Видимо, его слова произносила, пожимая плечами, Надя: «Революционеры или глупы, или нечестны — нельзя жертвовать жизнью целого поколения ради будущего выдуманного счастья...»

Однажды Надя сказала Евгении Николаевне:

— Знаешь, тетенька, старому поколению нужно обязательно во что-то верить: вот Крымову в Ленина и в коммунизм, папе в свободу, бабушке в народ и рабочих людей, а нам, новому поколению, все это кажется глупым. Вообще верить глупо. Надо жить, не веря.

Евгения Николаевна внезапно спросила:

— Философия лейтенанта?

Надин ответ поразил ее:

— Через три недели он попадет на фронт. Вот и вся философия: был — и нету.

Евгения Николаевна, разговаривая с Надей, вспоминала Сталинград. Вот так же Вера говорила с ней, вот так же Вера влюбилась. Но как отличалось простое, ясное чувство Веры от Надиной путаницы. Как отличалась тогдашняя жизнь Жени от ее сегодняшнего дня. Как отличались тогдашние мысли о войне от сегодняшних, в дни победы. Но война шла, и неизменным было то, что сказала Надя: «Был — и нету лейтенанта». И войне было безразлично, пел ли прежде лейтенант под гитару, уходил ли добровольцем на великие стройки, веря в грядущее царство коммунизма, почитывал ли стихи Иннокентия Анненского и не верил в выдуманное счастье будущих поколений.

Однажды Надя показала Евгении Николаевне записанную от руки лагерную песню.

В песне говорилось о холодных пароходных трюмах, о том, как ревел океан, и что «от качки страдали зека, обнявшись, как кровные братья», и как из тумана вставал Магадан — «столица Колымского края».

В первые дни после приезда в Москву, когда Надя заговаривала на подобные темы, Штрум сердился и обрывал ее.

Но в эти дни в нем многое изменилось. Он

теперь не сдерживался и в присутствии Нади говорил, что невыносимо читать елейные письма-здравицы «великому учителю, лучшему другу физкультурников, мудрому отцу, могучему корифею, светлому гению»; кроме того, он и скромный, и чуткий, и добрый, и отзывчивый. Создается впечатление, будто Сталин и пашет, и выплавляет металл, и кормит в яслях с ложечки детей, и стреляет из пулемета, а рабочие, красноармейцы, студенты и ученые лишь молятся на него, и, не будь Сталина, весь великий народ погибнет, как беспомощное быдло.

Однажды Штрум подсчитал, что имя Сталина было названо в «Правде» 86 раз, на другой день он насчитал 18 упоминаний имени Сталина в одной лишь передовой статье.

Он жаловался на беззаконные аресты, на отсутствие свободы, на то, что любой не шибко грамотный начальник с партийным билетом считает своим правом командовать учеными, писателями, ставить им отметки, поучать их.

В нем появилось какое-то новое чувство. Нарастающий ужас перед истребительной силой государственного гнева, все растущее чувство одиночества, беспомощности, цыплячьего жалкого бессилия, обреченности, — все это по-

рождало в нем минутами какую-то отчаянность, разухабистое безразличие к опасности, презрение к осторожности.

Утром Штрум вбежал к Людмиле в комнату, и она, увидя его возбужденное, радостное лицо, растерялась, настолько необычно было для него это выражение.

— Люда, Женя! Мы вновь вступаем на украинскую землю, только что передали по радио!

А днем Евгения Николаевна вернулась с Кузнецкого моста, и Штрум, посмотрев на ее лицо, спросил так же, как Людмила спросила у него утром:

— Что случилось?

— Приняли передачу, приняли передачу! — повторяла Женя.

Даже Людмила понимала, что будет значить для Крымова эта передача с Жениной запиской.

— Воскресение из мертвых, — сказала она и добавила: — Должно быть, ты его все же любишь, не помню у тебя таких глаз.

— Знаешь, я, наверное, сумасшедшая, — шепотом сказала сестре Евгения Николаевна, — я ведь счастлива и потому, что Николай получит передачу, и потому, что сегодня поняла: не мог, не мог Новиков, не мог сделать подлость. Понимаешь?

Людмила Николаевна рассердилась и сказала:

— Ты не сумасшедшая, ты — хуже.

— Витенька, милый, сыграйте нам что-нибудь, — попросила Евгения Николаевна.

Все это время он ни разу не садился за пианино. Но сейчас он не стал отговариваться, принес ноты, показал их Жене, спросил: «Не возражаете?» Людмила и Надя, не любившие музыку, ушли на кухню, а Штрум стал играть. Женя слушала. Играл он долго, закончив игру, молчал, не смотрел на Женю, потом начал играть новую вещь. Минутами ей казалось, что Виктор Павлович всхлипывает, она не видела его лица. Стремительно открылась дверь, Надя крикнула:

— Включите радио, приказ!

Музыка сменилась металлическим рокочущим голосом диктора Левитана, произносившего в этот момент: «…и штурмом овладели городом и важным железнодорожным узлом…» Потом перечислялись генералы и войска, особо отличившиеся в боях, перечисление началось с имени генерал-лейтенанта Толбухина, командовавшего армией; и вдруг ликующий голос Левитана произнес: «А также танковый корпус под командованием полковника Новикова».

Женя тихонько ахнула, а потом уж, когда силь-

ный, мерный голос диктора проговорил: «Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины», — она заплакала.

41

Женя уехала, и совсем печально стало в доме Штрумов.

Виктор Павлович часами сидел за письменным столом, по нескольку дней подряд не выходил из дому. В нем появился страх, казалось, на улице он встретит особо неприятных, враждебно относящихся к нему людей, увидит их безжалостные глаза.

Телефон совсем замолчал, если раз в два-три дня раздавался звонок, Людмила Николаевна говорила:

— Это Надю, — и действительно, просили к телефону Надю.

Не сразу стал понимать Штрум всю тяжесть происшедшего с ним. В первые дни он даже испытывал облегчение от того, что сидит дома, в тишине, среди милых ему книг, не видит враждебных, хмурых лиц.

Но вскоре домашняя тишина стала угнетать его, она вызывала не только тоску, но и тревогу. Что происходит в лаборатории? Как идет работа? Что делает Марков? Мысль о том, что он нужен в лаборатории в то время, как сидит дома, вы-

зывала лихорадочное беспокойство. Но так же невыносима была и противоположная мысль, что в лаборатории хорошо обходятся без него.

Людмила Николаевна встретила на улице свою приятельницу по эвакуации, Стойникову, работавшую в аппарате Академии. Стойникова подробно рассказала ей о заседании ученого совета, — она стенографировала его от начала до конца.

Главное — Соколов не выступал! Он не выступил, хотя Шишаков сказал ему: «Петр Лаврентьевич, мы хотим послушать вас. Вы много лет работали вместе со Штрумом». Соколов ответил, что ночью у него был сердечный приступ и ему трудно говорить.

Странно, но Штрума это известие не обрадовало.

От лаборатории говорил Марков, он говорил сдержанней других, без политических обвинений, главным образом нажимая на скверный характер Штрума, и даже упомянул о его таланте.

— Он не мог не выступить: партийный, его обязали, — сказал Штрум. — Его винить нельзя.

Но большинство выступлений было ужасно. Ковченко говорил о Штруме, словно он проходи-

мец, жулик. Он сказал: «Сей Штрум не изволил явиться, совсем распоясался, мы с ним поговорим другим языком, он, видимо, хочет этого».

Седовласый Прасолов, тот, что сравнивал работу Штрума с работой Лебедева, сказал: «Определенного сорта люди организовали вокруг сомнительных теоретизирований Штрума непристойный шум».

Очень нехорошо выступал доктор физических наук Гуревич. Он признал, что грубо ошибся, переоценил работу Штрума, намекал на национальную нетерпимость Виктора Павловича, говорил, что путаник в политике окажется неминуемо путаником и в науке.

Свечин назвал Штрума «почтенный» и привел слова, сказанные Виктором Павловичем о том, что нет американской, немецкой, советской физики, — физика едина.

— Было это, — сказал Штрум. — Но ведь приводить на собрании сказанное в частной беседе — это чистейший донос.

Штрума поразило, что на заседании выступил Пименов, хотя он уже не был связан с институтом, выступил никем не понуждаемый. Он каялся, что придавал работе Штрума чрезмерное значение, не видел ее пороков. Это было совершенно по-

разительно. Пименов не раз говорил, что работа Штрума вызывает в нем молитвенное чувство, что он счастлив, содействуя ее реализации.

Шишаков говорил немного. Резолюцию предложил секретарь парткома института Рамсков. Она была жестока, требовала, чтобы дирекция отсекла от здорового коллектива загнивающие части. Особенно обидно было, что в резолюции даже слова не было о научных заслугах Штрума.

— Все же Соколов вел себя абсолютно порядочно. Почему же исчезла Марья Ивановна, неужели он так боится? — сказала Людмила Николаевна.

Штрум ничего не ответил.

Странно! Но он ни на кого не сердился, хотя христианское всепрощение совершенно не было свойственно ему. Он и на Шишакова, и на Пименова не сердился. Он не испытывал злобы к Свечину, Гуревичу, Ковченко. Один лишь человек вызывал в нем бешенство, такое тяжелое, душное, что Штруму делалось жарко, трудно было дышать, едва он думал о нем. Казалось, все жестокое, несправедливое, что совершено было против Штрума, исходило от Соколова. Как мог Петр Лаврентьевич запретить Марье Ивановне бывать у Штрумов! Какая трусость, сколько в этом жестокости, подлости, низости!

Но он не мог сознаться себе в том, что злоба его питалась не только мыслью о вине Соколова против Штрума, но и тайным чувством своей вины перед Соколовым.

Теперь Людмила Николаевна часто заговаривала о материальных делах.

Излишки жилой площади, справка о заработной плате для домоуправления, продовольственные карточки, прикрепление к новому продмагу, лимитная книжка на новый квартал, просроченный паспорт и необходимость представить при обмене паспорта справку с места службы, — все это тревожило Людмилу Николаевну днем и ночью. Где взять денег на жизнь?

Раньше Штрум, хорохорясь, шутил: «Буду работать над теоретическими вопросами дома, устрою себе хату-лабораторию».

Но теперь было не смешно. Денег, которые он получал как член-корреспондент Академии наук, едва хватило бы на оплату счетов за квартиру, дачу, коммунальные расходы. Одиночество угнетало его.

Ведь надо жить!

Педагогическая работа в вузе, оказывается, была заказана ему. С молодежью не мог иметь дело человек, политически запачканный.

Куда деваться?

Его видное научное положение мешало устроиться на маленькую работу. Любой кадровик ахнет и откажется оформить доктора наук техредом или преподавателем физики в техникуме.

И когда мысли о погибшей работе, о нужде, зависимости, унижениях становились особенно невыносимыми, он думал: «Хоть бы скорей посадили».

Но ведь Людмила и Надя остаются. Жить-то им надо.

Какая уж там дачная клубника! Ведь дачу отберут, — в мае нужно оформить продление аренды. Дача не академическая, а ведомственная. А он по неряшливости запустил оплату аренды, думал заплатить сразу и за прошлое, и внести аванс за первое полугодие. Теперь суммы, казавшиеся ему месяц назад пустяковыми, вызывали в нем ужас.

Где взять деньги? Наде нужно пальто.

Одалживать? Но ведь нельзя одалживать без надежды вернуть долг.

Продавать вещи? Но кто во время войны будет покупать фарфор, пианино? Да и жалко, — Людмила любит свою коллекцию, даже теперь, после гибели Толи, иногда любуется ею.

Он часто думал о том, что пойдет в военкомат,

откажется от брони Академии и попросится красноармейцем на фронт.

Когда он думал об этом, ему становилось спокойно на душе.

А потом снова приходили тревожные, мучительные мысли. Как будут жить Людмила и Надя? Учительствовать? Сдавать комнату? Но сразу же вмешаются домоуправление, милиция. Ночные облавы, штрафы, протоколы.

Какими могучими, грозными, мудрыми становятся для человека управдомы, участковые милицейские надзиратели, инспектора райжилотдела, секретарши отделов кадров.

В девчонке, сидящей в карточном бюро, ощущает потерявший опору человек огромную, бестрепетную силу.

Чувство страха, беспомощности, неуверенности владело Виктором Павловичем на протяжении всего дня. Но оно не было одинаково, неизменно. Разное время суток имело свой страх, свою тоску. Рано утром, после теплой постели, когда за окном стоял холодный мутный сумрак, он испытывал обычно чувство детской беспомощности перед огромной силой, навалившейся на него, хотелось залезть под одеяло, сжаться, зажмуриться, замереть.

В первой половине дня он тосковал по работе, его особенно сильно тянуло в институт. Он казался себе в эти часы никому не нужным, неумным, бездарным.

Казалось, что государство в своем гневе способно отнять у него не только свободу, покой, но и ум, талант, веру в себя, превратить его в тусклого, тупого, унылого обывателя.

Перед обедом он оживлялся, ему становилось весело. Сразу же после обеда наваливалась тоска, тупая, нудная, бездумная.

Начинали сгущаться сумерки, и приходил большой страх. Виктор Павлович боялся теперь темноты, как дикарь каменного века, застигнутый сумерками в лесу. Страх силился, густел… Штрум вспоминал, думал. Из тьмы за окном смотрела жестокая, неминуемая гибель. Вот зашумит на улице машина, вот раздастся звонок, вот заскрипят в комнате сапоги. Деться некуда. И вдруг врывалось злое, веселое безразличие!

Штрум сказал Людмиле:

— Хорошо было дворянским фрондерам при царе. Попал в немилость — сел в коляску, вон из столицы, в пензенское имение! Там охота, сельские радости, соседи, парк, писание мемуаров. А вы, господа вольтерианцы, попробуйте вот

так, — двухнедельная компенсация и характеристика в запечатанном конверте, с которой тебя не примут в дворники.

— Витя, — сказала Людмила Николаевна, — мы проживем! Я буду шить, стану надомницей, буду раскрашивать платочки. Пойду лаборантом. Прокормлю тебя.

Он целовал ей руки, и она не могла понять, почему на лице его появлялось виноватое, страдающее выражение и глаза становились жалобными, молящими…

Виктор Павлович ходил по комнате и вполголоса напевал слова старинного романса:

…а он забыт, один лежит…

Надя, узнав о желании Штрума пойти добровольцем на фронт, сказала:

— У нас есть одна девочка, Таня Коган, ее отец пошел добровольцем, он спец по каким-то древнегреческим наукам и попал в запасный полк в Пензу, там его заставили чистить уборные, подметать. А однажды зашел командир роты, а он сослепу мел на него мусор, и тот ударил его кулаком по уху так, что у него лопнула барабанная перепонка.

— Ну что ж, — сказал Штурм, — я не буду мести

мусор на командира роты.

Теперь Штрум разговаривал с Надей, как со взрослой. Казалось, что никогда он так хорошо не относился к дочери, как теперь. Его трогало, что в последнее время она возвращалась домой сразу же после школы, он считал, что она не хочет его волновать. В насмешливых глазах ее, когда она разговаривала с отцом, было новое — серьезное и ласковое — выражение.

Как-то вечером он оделся и пошел в сторону института, — ему захотелось заглянуть в окна своей лаборатории: светло ли там, работает ли вторая смена, может быть, Марков уж закончил монтаж установки? Но он не дошел до института, побоялся встретить знакомых, свернул в переулок, пошел обратно к дому. Переулок был пустынный, темный. И вдруг чувство счастья охватило Штрума. Снег, ночное небо, свежий морозный воздух, шум шагов, деревья с темными ветвями, узенькая полоска света, пробивавшаяся сквозь маскировочную штору в окне одноэтажного деревянного домика, — все было так прекрасно. Он вдыхал ночной воздух, он шел по тихому переулку, никто не смотрел на него. Он был жив, он был свободен. Чего же ему еще нужно, о чем еще мечтать? Виктор Павлович подошел к дому,

и чувство счастья ушло.

Первые дни Штрум напряженно ждал появления Марьи Ивановны. Дни шли, а Марья Ивановна не звонила. Все у него отняли, — его работу, честь, спокойствие, веру в себя. Неужели у него забрали последнее его прибежище — любовь?

Минутами он приходил в отчаяние, хватался руками за голову, казалось, он не может жить, не видя ее. Иногда он бормотал: «Ну что ж, ну что ж, ну что ж». Иногда он говорил себе: «Кому я теперь нужен!»

А в глубине его отчаяния существовало светлое пятнышко, — ощущение чистоты души, которое сохраняли он и Марья Ивановна. Они страдали, но не мучили других. Но он понимал, что все его мысли — и философские, и примиренные, и злые, — не отвечают тому, что происходит в его душе. И обида на Марью Ивановну, и насмешка над собой, и печальное примирение с неизбежностью, и мысли о долге перед Людмилой Николаевной и о спокойной совести, — все это было лишь средством побороть свое отчаяние. Когда он вспоминал ее глаза, ее голос, невыносимая тоска охватывала его. Неужели он не увидит ее?

И когда неизбежность разлуки, чувство потери

стали особенно невыносимы, Виктор Павлович, стыдясь себя, сказал Людмиле Николаевне:

— Знаешь, меня мучит мысль о Мадьярове, — в порядке ли он, есть ли какие-нибудь сведения о нем? Хоть бы об этом ты спросила по телефону Марью Ивановну, а?

Самым удивительным, пожалуй, было то, что он продолжал работать. Он работал, а тоска, беспокойство, горе продолжались.

Работа не помогала ему бороться с тоской и страхом, она не служила для него душевным лекарством, он не искал в ней забвения от тяжелых мыслей, от душевного отчаяния, она была больше, чем лекарство.

Он работал потому, что не мог не работать.

42

Людмила Николаевна сказала мужу, что ей встретился управдом и просил Штрума зайти в домоуправление.

Они стали гадать, с чем это связано. Излишки жилплощади? Обмен паспорта? Проверка военкомата? Может быть, кто-нибудь подал заявление о том, что Женя жила у Штрумов без прописки?

— Надо было спросить, — сказал Штрум. — Тогда бы мы не ломали головы.

— Конечно, надо было, — согласилась Людмила Николаевна, — но я растерялась, он сказал — пусть утром зайдет ваш муж, ведь на работу он теперь не ходит.

— О господи, им уже все известно.

— Да ведь все следят — дворники, лифтеры, соседские домработницы. Чему же удивляться?

— Да-да. Помнишь, как перед войной явился молодой человек с красной книжечкой и предложил тебе сообщать ему, кто ходит к соседям?

— Помню ли, — сказала Людмила Николаевна, — я так рявкнула, что он только в дверях успел сказать: «Я думал, вы сознательная».

Людмила Николаевна рассказывала Штруму

эту историю много раз, и он обычно, слушая ее, вставлял слова, чтобы сократить рассказ, но теперь он выспрашивал у жены все новые подробности, не торопил ее.

— А знаешь, — сказала она, — может быть, это связано с тем, что я продала две скатерти на базаре?

— Не думаю, чего бы стали меня вызывать, тебя бы и вызвали.

— Может быть, какую-нибудь подписку хотят с тебя взять? — нерешительно произнесла она.

Пронзительно угрюмы были его мысли. Он беспрерывно вспоминал свои разговоры с Шишаковым и Ковченко, — чего он только не наговорил им. Он вспоминал свои студенческие споры, — чего только не болтал он. Он спорил с Дмитрием, он спорил с Крымовым, правда, иногда он соглашался с Крымовым. Но ведь он никогда в жизни, ни на минуту не был врагом партии, советской власти. И вдруг он вспоминал особенно резкое слово, где-то, когда-то произнесенное им, и весь холодел. А Крымов — жесткий, идейный коммунист, фанатик, уж этот-то не сомневался, а вот арестован. А тут эти чертовы симпозиумы с Мадьяровым, Каримовым.

Как странно!

Обычно к вечеру, в сумерках, начинала мучить мысль, что его арестуют, и чувство ужаса становилось все шире, больше, тяжелей. Но когда гибель казалась совершенно неизбежной, ему вдруг становилось весело, легко! Э, черт побери!

Казалось, он сойдет с ума, думая о несправедливости, проявленной к его работе. Но когда мысль о том, что он бездарен и глуп, что работа его представляет собой тусклое, топорное глумление над реальным миром, переставала быть мыслью, а становилась ощущением жизни, — ему делалось весело.

Теперь он даже не помышлял о признании своих ошибок, — он был жалок, невежествен, покаяние его ничего бы не изменило. Он никому не был нужен. Покаявшийся или нераскаянный, он был одинаково ничтожен пред гневавшимся государством.

Как изменилась за это время Людмила. Она уже не говорит по телефону управдому: «Немедленно пришлите мне слесаря», не ведет следствия по лестнице: «Кто это опять набросал очистки возле мусоропровода?» Она одевается нервно как-то, что ли. То надевает без нужды, идя за постным маслом в распределитель, дорогую обезьянью шубу, то повяжется серым старым платком и

наденет пальто, которое еще до войны хотела подарить лифтерше.

Штрум поглядывал на Людмилу и думал о том, как они оба будут выглядеть через десять-пятнадцать лет.

— Помнишь, в чеховском «Архиерее»: мать пасла корову, рассказывала женщинам, что сын ее когда-то был архиереем, но ей мало кто верил.

— Я уже давно читала, девочкой, не помню, — сказала Людмила Николаевна.

— А ты перечти, — сказал он раздраженно.

Всю жизнь он сердился на Людмилу Николаевну за равнодушие к Чехову, подозревал, что многих чеховских рассказов она не читала.

Но странно, странно! Все беспомощней и слабей он, все ближе к состоянию полной духовной энтропии, и все ничтожней он в глазах управдома, девиц из карточного бюро, паспортистов, кадровиков, лаборантов, ученых, друзей, даже родных, может быть, даже Чепыжина, может быть, даже жены… а вот для Маши он все ближе, дороже. Они не виделись, но он знал, чувствовал это. При каждом новом ударе, новом унижении он мысленно спрашивал ее: «Видишь ты меня, Маша?»

Так сидел он рядом с женой, говорил с ней,

думал свои тайные от нее мысли.

Зазвонил телефон. Теперь телефонные звонки вызывали в них растерянность, какую вызывает ночная телеграмма, вестница несчастий.

— Ах, знаю, мне обещали позвонить насчет работы в артели, — проговорила Людмила Николаевна.

Она сняла трубку, брови ее приподнялись, и она сказала:

— Сейчас подойдет.

— Тебя, — сказала она.

Штрум глазами спросил: «Кто?»

Людмила Николаевна, прикрыв ладонью микрофон, сказала:

— Незнакомый голос, не вспомню.

Штрум взял трубку.

— Пожалуйста, я подожду, — сказал он и, глядя в спрашивающие глаза Людмилы, нащупал на столике карандаш, написал несколько кривых букв на клочке бумаги.

Людмила Николаевна, не замечая, что делает, медленно перекрестилась, потом перекрестила Виктора Павловича. Они молчали.

«…Говорят все радиостанции Советского Союза».

И вот голос, немыслимо похожий на тот, кото-

рый 3 июля 1941 года обращался к народу, армии, всему миру, — «Товарищи, братья, друзья мои…», обращенный к одному лишь человеку, державшему в руке телефонную трубку, произнес:

— Здравствуйте, товарищ Штрум.

В эти секунды в смешении мыслей, отрывков мыслей, обрывков чувств в один ком соединились — торжество, слабость, страх перед чьей-то хулиганской мистификацией, исписанные страницы рукописи, анкетная страница, здание на Лубянской площади…

Возникло пронзительно ясное ощущение свершения судьбы, и с ним смешалась печаль о потере чего-то странно милого, трогательного, хорошего.

— Здравствуйте, Иосиф Виссарионович, — сказал Штрум и поразился: неужели это он произнес в телефон эти немыслимые слова. — Здравствуйте, Иосиф Виссарионович.

Разговор длился две или три минуты.

— Мне кажется, вы работаете в интересном направлении, — сказал Сталин.

Голос его, медленный, с горловым произношением, с значительностью звуковых подчеркиваний, казалось, звучал нарочито, настолько походил он на тот голос, который Штрум слушал

по радио. Вот так, дурачась, Штрум иногда подражал этому голосу у себя дома. Вот так передавали его люди, слышавшие Сталина на съездах или вызванные к нему.

Неужели мистификация?

— Я верю в свою работу, — сказал Штрум.

Сталин помолчал, казалось, он обдумывал слова Штрума.

— Не испытываете ли вы недостатка в иностранной литературе в связи с военным временем, обеспечены ли вы аппаратурой? — спросил Сталин.

С поразившей его самого искренностью Штрум произнес:

— Большое спасибо, Иосиф Виссарионович, условия работы вполне нормальные, хорошие.

Людмила Николаевна, стоя, точно Сталин видел ее, слушала разговор.

Штрум махнул на нее рукой: «Сядь, как не стыдно...» А Сталин снова молчал, обдумывая слова Штрума, и произнес:

— До свидания, товарищ Штрум, желаю вам успеха в работе.

— До свидания, товарищ Сталин.

Штрум положил трубку.

Они сидели друг против друга так же, как

несколько минут назад, когда говорили о скатертях, проданных Людмилой Николаевной на Тишинском рынке.

— Желаю вам успеха в работе, — вдруг произнес Штрум с сильным грузинским акцентом.

В этой неизменности буфета, пианино, стульев, в том, что две немытые тарелки стояли на столе так же, как при разговоре об управдоме, было что-то немыслимое, сводящее с ума. Ведь все изменилось, перевернулось, перед ними стояла иная судьба.

— Что он сказал тебе?

— Да ничего особенного, спросил, не мешает ли моей работе недостаток иностранной литературы, — сказал Штрум, стараясь казаться самому себе спокойным и безразличным.

Секундами ему становилось неловко за чувство счастья, охватившее его.

— Люда, Люда, — сказал он, — ты подумай, ведь я не покаялся, не поклонился, не писал ему письма. Он сам, сам позвонил!

Невероятное совершилось! Мощь произошедшего была огромна. Неужели Виктор Павлович метался, не спал ночами, млел, заполняя анкеты, хватался за голову, думая о том, что говорили о нем на ученом совете, вспоминал свои грехи, мыс-

ленно каялся и просил прощения, ждал ареста, думал о нищете, замирал, предвкушая разговор с паспортисткой, с девицей из карточного бюро!

— Боже мой, боже, — сказала Людмила Николаевна. — Толя никогда не узнает.

Она подошла к двери Толиной комнаты и раскрыла ее.

Штрум снял телефонную трубку с рычага, снова положил ее.

— А вдруг розыгрыш? — сказал он и подошел к окну.

Из окна была видна пустая улица, прошла женщина в ватной кофте.

Он снова подошел к телефону, постучал по трубке согнутым пальцем.

— Какой у меня был голос? — спросил он.

— Ты очень медленно говорил. Знаешь, я сама не понимаю, почему я вдруг встала.

— Сталин!

— А может быть, действительно розыгрыш?

— Ну что ты, кто решится? За такую шутку верных десять лет дадут.

Всего час назад он ходил по комнате и вспоминал романс Голенищева-Кутузова:

…а он забыт, один лежит…

Телефонные звонки Сталина! Раз в год или два по Москве проходил слух: Сталин позвонил по телефону кинорежиссеру Довженко, Сталин позвонил по телефону писателю Эренбургу.

Ему не нужно было приказывать, — дайте такому-то премию, дайте квартиру, постройте для него научный институт! Он был слишком велик, чтобы говорить об этом. Все это делали его помощники, они угадывали его желание в выражении его глаз, в интонации голоса. А ему достаточно было добродушно усмехнуться человеку, и судьба человека менялась, — из тьмы, из безвестности человек попадал под дождь славы, почета, силы. И десятки могущественных людей склоняли перед счастливцем головы, — ведь Сталин улыбнулся ему, пошутил, говоря по телефону.

Люди передавали подробности этих разговоров, каждое слово, сказанное Сталиным, удивляло их. Чем обыденней было слово, тем больше поражало оно, — Сталин, казалось, не мог произносить обиходные слова.

Говорили, что он позвонил знаменитому скульптору и, шутя, сказал ему:

— Здравствуй, старый пьяница.

Другого знаменитого и очень хорошего чело-

века он спросил об арестованном товарище, и, когда тот растерялся и невнятно ответил, Сталин сказал:

— Плохо вы защищаете своих друзей.

Рассказывали, что он позвонил по телефону в редакцию молодежной газеты, и заместитель редактора сказал:

— Бубекин слушает.

Сталин спросил:

— А кто такой Бубекин?

Бубекин ответил:

— Надо знать, — и шваркнул трубку.

Сталин снова позвонил ему и сказал:

— Товарищ Бубекин, говорит Сталин, объясните, пожалуйста, кто вы такой?

Рассказывали, что Бубекин после этого случая пролежал две недели в больнице, лечился от нервного потрясения.

Одно его слово могло уничтожить тысячи, десятки тысяч людей. Маршал, нарком, член Центрального Комитета партии, секретарь обкома — люди, которые вчера командовали армиями, фронтами, властвовали над краями, республиками, огромными заводами, сегодня по одному гневному слову Сталина могли обратиться в ничто, в лагерную пыль, позванивая котелочком,

ожидать баланды у лагерной кухни.

Рассказывали, что Сталин и Берия ночью приехали к старому большевику, грузину, недавно отпущенному с Лубянки, и просидели у него до утра. Жильцы квартиры ночью боялись выходить в уборную и утром не пошли на службу. Рассказывали, что дверь гостям открыла акушерка, старшая по квартире, она вышла в ночной рубахе, держа в руках собачку-моську, очень сердитая, что ночные пришельцы позвонили не должное число раз. Потом она рассказывала: «Я открыла дверь и увидела портрет, и вот портрет стал двигаться на меня». Говорили, что Сталин вышел в коридор, долго рассматривал лист бумаги, повешенный возле телефона, на нем жильцы палочками помечали количество разговоров, чтобы знать, сколько кому платить.

Все эти рассказы поражали и смешили именно обыденностью слов и положений, они-то и были невероятны, — Сталин ходил по коридору коммунальной квартиры!

Ведь по одному его слову возникали огромные стройки, колонны лесорубов шли в тайгу, стотысячные людские массы рыли каналы, возводили города, прокладывали дороги в крае полярной ночи и вечной мерзлоты. Он выразил

в себе великое государство! Солнце сталинской конституции… Партия Сталина… сталинские пятилетки… сталинские стройки… сталинская стратегия… сталинская авиация… Великое государство выразило себя в нем, в его характере, в его повадках.

Виктор Павлович все повторял:

— «Желаю вам успеха в работе… вы работаете в очень интересном направлении…»

Теперь ясно: Сталин знал о том, что за рубежом начали интересоваться физиками, разрабатывающими ядерные явления.

Штрум ощущал, что вокруг этих вопросов возникает странное напряжение, он нащупывал это напряжение между строк в статьях английских и американских физиков, в недомолвках, ломавших логическое развитие мысли. Он замечал, что имена исследователей, часто публиковавших свои работы, ушли со страниц физических журналов, что люди, работавшие над расщеплением тяжелого ядра, словно истаяли, никто не ссылался на их работы. Он ощущал нарастание напряжения, молчания, едва проблематика приближалась к вопросам распада уранового ядра.

Не раз Чепыжин, Соколов, Марков заводили разговоры на эти темы. Еще недавно Чепыжин

говорил о близоруких людях, не видящих практических перспектив, связанных с воздействием нейтронов на тяжелое ядро. Сам-то Чепыжин не хотел работать в этой области…

В воздухе, полном топота солдатских сапог, военного огня, дыма, скрежета танков, возникло новое бесшумное напряжение, и самая сильная рука в этом мире сняла телефонную трубку, и теоретик-физик услышал медленный голос: «Желаю вам успеха в работе».

И новая, неуловимая, безгласная, легкая тень легла на сожженную войной землю, на седые и детские головы. Люди не ощущали ее, не знали о ней, не чуяли рождения силы, которой суждено было прийти.

Длинный путь лежал от письменных столов нескольких десятков физиков, от листочков бумаги, исписанных греческими бета, альфа, кси, гамма, сигма, от библиотечных шкафов и лабораторных комнат до сатанинской космической силы — будущего скипетра государственного могущества.

Путь начался, и немая тень, все сгущаясь, обращалась в тьму, готовую окутать громады Москвы и Нью-Йорка.

В этот день Штрум не радовался торжеству

своей работы, которую, казалось, загнали навек в ящик его домашнего стола. Она уйдет из тюрьмы в лабораторию, в слова профессорских лекций и докладов. Он не думал о счастливом торжестве научной правды, о свой победе, — теперь он снова может двигать науку, иметь учеников, существовать на страницах журналов и учебников, волноваться, сольется ли его мысль с правдой счетчика и фотоэмульсии.

Совсем другое волнение захватило его — честолюбивое торжество над людьми, преследовавшими его. Ведь недавно, ему казалось, он не имел злобы против них. Он и сегодня не хотел им мстить, причинять зло, но его душа и ум были счастливы, когда он вспоминал все плохое, нечестное, жестокое, трусливое, что совершили они. Чем грубее, подлее были они к нему, тем слаще было сейчас вспоминать об этом.

Надя вернулась из школы, Людмила Николаевна крикнула:

— Надя, Сталин звонил папе по телефону!

И, видя волнение дочери, вбежавшей в комнату в наполовину снятом пальто, с волочащимся по полу кашне, Штрум еще ясней ощутил смятение, которое охватит десятки людей, когда они сегодня и завтра узнают о произошедшем.

Сели обедать, Штрум внезапно отложил ложку и сказал:

— Да я ведь совершенно есть не хочу.

Людмила Николаевна сказала:

— Полное посрамление для твоих ненавистников и мучителей. Представляю себе, что начнется в институте да и в Академии.

— Да-да-да, — сказал он.

— И дамы в лимитном будут тебе, мамочка, снова кланяться и улыбаться, — сказала Надя.

— Да-да, — сказала Людмила Николаевна и усмехнулась.

Всегда Штрум презирал подхалимов, но сейчас его радовала мысль о заискивающей улыбке Алексея Алексеевича Шишакова.

Странно, непонятно! В чувство радости и торжества, которое переживал он, все время вмешивалась идущая из подземной глубины грусть, сожаление о чем-то дорогом и сокровенном, что, казалось, уходило от него в эти часы. Казалось, он виноват в чем-то и перед кем-то, но в чем, перед кем, он не понимал.

Он ел свой любимый суп — гречневый кулеш с картошкой и вспомнил свои детские слезы, когда ходил весенней ночью в Киеве, а звезды проглядывали меж цветущих каштанов. Мир то-

гда казался ему прекрасным, будущее огромным, полным чудесного света и добра. И сегодня, когда совершалась его судьба, он словно прощался со своей чистой, детской, почти религиозной любовью к чудесной науке, прощался с чувством, пришедшим несколько недель назад, когда он, победив огромный страх, не солгал перед самим собой.

Был лишь один человек, которому он мог сказать об этом, но его не было рядом с Виктором Павловичем.

И странно. В душе было жадное, нетерпеливое чувство, — скорее бы все узнали о том, что произошло. В институте, в университетских аудиториях, в Центральном Комитете партии, в Академии, в домоуправлении, в комендатуре дачного поселка, на кафедрах, в научных обществах. Безразлично было Штруму, узнает ли об этой новости Соколов. И вот не умом, а в темноте сердца не хотелось, чтобы знала об этой новости Марья Ивановна. Он угадывал, что для его любви лучше, когда он гоним и несчастен. Так казалось ему.

Он рассказал жене и дочери случай, который они обе знали еще с довоенных времен, — Сталин ночью появился в метро, он был в легком подпитии, сел рядом с молодой женщиной, спросил ее:

— Чем бы я мог вам помочь?

Женщина сказала:

— Мне очень хочется осмотреть Кремль.

Сталин, прежде чем ответить, подумал и сказал:

— Это, пожалуй, мне удастся для вас сделать.

Надя сказала:

— Видишь, папа, сегодня ты так велик, что мама дала тебе досказать эту историю, не перебила, — ведь она ее слышала в сто одиннадцатый раз.

И они вновь, в сто одиннадцатый раз, посмеялись над простодушной женщиной.

Людмила Николаевна спросила:

— Витя, может быть, вина выпить по такому случаю?

Она принесла коробку конфет, ту, что дожидалась Надиного дня рождения.

— Кушайте, — сказала Людмила Николаевна, — только, Надя, не набрасывайся на них, как волк.

— Папа, послушай, — сказала Надя, — отчего мы смеемся над этой женщиной в метро? Почему ты не попросил его о дяде Мите и о Николае Григорьевиче?

— Да что ты говоришь, разве мыслимо! — проговорил он.

— А по-моему, мыслимо. Бабушка сразу бы ска-

зала, я уверена, что сказала бы.

— Возможно, — сказал Штрум, — возможно.

— Ну, хватит о глупостях, — сказала Людмила Николаевна.

— Хороши глупости, судьба твоего брата, — сказала Надя.

— Витя, — сказала Людмила Николаевна, — надо позвонить Шишакову.

— Ты, видимо, недооцениваешь того, что произошло. Никому не нужно звонить.

— Позвони Шишакову, — упрямо сказала Людмила Николаевна.

— Вот Сталин тебе скажет: «Желаю успеха», — ты и звони Шишакову.

Странное, новое ощущение возникло в этот день у Штрума. Он постоянно возмущался тем, как обоготворяют Сталина. Газеты от первой до последней полосы были полны его именем. Портреты, бюсты, статуи, оратории, поэмы, гимны… Его называли отцом, гением…

Штрума возмущало, что имя Сталина затмевало Ленина, его военный гений противопоставлялся гражданскому складу ленинского ума. В одной из пьес Алексея Толстого Ленин услужливо зажигал спичку, чтобы Сталин мог раскурить свою трубку. Один художник нарисовал, как Сталин шеству-

ет по ступеням Смольного, а Ленин торопливо, петушком, поспевает за ним. Если на картине изображались Ленин и Сталин среди народа, то на Ленина ласково смотрели лишь старички, бабки и дети, а к Сталину тянулись вооруженные гиганты — рабочие, матросы, опутанные пулеметными лентами. Историки, описывая роковые моменты жизни Советской страны, изображали дело так, что Ленин постоянно спрашивал совета у Сталина — и во время Кронштадтского мятежа, и при обороне Царицына, и во время польского наступления. Бакинской стачке, в которой участвовал Сталин, газете «Брдзола», которую он когда-то редактировал, историки партии отводили больше места, чем всему революционному движению в России.

— «Брдзола», «Брдзола», — сердито повторял Виктор Павлович. — Был Желябов, был Плеханов, Кропоткин, были декабристы, а теперь одна «Брдзола», «Брдзола»…

Тысячу лет Россия была страной неограниченного самодержавия и самовластия, страной царей и временщиков. Но не было за тысячу лет русской истории власти, подобной сталинской.

И вот сегодня Штрум не раздражался, не ужасался. Чем грандиозней была сталинская власть,

чем оглушительней гимны и литавры, чем необъятней облака фимиама, дымившие у ног живого идола, тем сильней было счастливое волнение Штрума.

Начало темнеть, а страха не было.

Сталин говорил с ним! Сталин сказал ему: «Желаю успеха в работе».

Когда стемнело, он вышел на улицу.

В этот темный вечер он не испытывал чувства беспомощности и обреченности. Он был спокоен. Он знал, — там, где выписывают ордера, уже знают все. Странно было думать о Крымове, Дмитрии, Абарчуке, Мадьярове, о Четверикове… Их судьба не стала его судьбой. Он думал о них с грустью и отчужденностью.

Штрум радовался победе, — его душевная сила, его башка победили. Его не тревожило, почему сегодняшнее счастье так не похоже на то, что он пережил в день судилища, когда, казалось, мать стояла рядом с ним. Теперь ему было безразлично, — арестован ли Мадьяров, дает ли о нем показания Крымов. Впервые в жизни он не страшился своих крамольных шуток и неосторожных речей.

Поздно вечером, когда Людмила и Надя легли спать, раздался телефонный звонок.

— Здравствуйте, — сказал негромкий голос, и волнение, казалось, больше того волнения, которое Штрум пережил днем, охватило его.

— Здравствуйте, — сказал он.

— Я не могу не слышать вашего голоса. Скажите мне что-нибудь, — сказала она.

— Маша, Машенька, — проговорил он и замолчал.

— Виктор, милый мой, — сказала она, — я не могла лгать Петру Лаврентьевичу. Я сказала ему, что люблю вас. Я поклялась ему никогда не видеть вас.

Утром Людмила Николаевна вошла к нему в комнату, погладила его по волосам, поцеловала в лоб.

— Мне сквозь сон слышалось, что ты ночью с кем-то говорил по телефону.

— Нет, тебе показалось, — сказал он, спокойно глядя ей в глаза.

— Помни, тебе надо к управдому зайти.

43

Пиджак следователя казался странным для глаз, привыкших к миру гимнастерок и кителей. А лицо следователя было обычным, — таких желтовато-бледных лиц много среди канцелярских майоров и политработников.

Отвечать на первые вопросы было легко, даже приятно, казалось, что и остальное будет таким же ясным, как очевидны фамилия, имя и отчество.

В ответах арестованного чувствовалась торопливая готовность помочь следователю. Следователь ничего ведь не знал о нем. Учрежденческий стол, стоявший между ними, не разъединял их. Оба они платили партийные членские взносы, смотрели «Чапаева», слушали в МК инструктаж, их посылали в предмайские дни с докладами на предприятия.

Предварительных вопросов было много, и все спокойней становилось арестованному. Скоро дойдут они до сути, и он расскажет, как вел людей из окружения.

Вот, наконец, стало очевидно, что сидевшее у стола небритое существо с раскрытым воротом

гимнастерки и со споротыми пуговицами имеет имя, отчество, фамилию, родилось в осенний день, русское по национальности, участвовало в двух мировых войнах и в одной гражданской, в бандах не было, по суду не привлекалось, в ВКП(б) состояло в течение двадцати пяти лет, избиралось делегатом конгресса Коминтерна, было делегатом Тихоокеанского конгресса профсоюзов, орденов и почетного оружия не имеет…

Напряжение души Крымова было связано с мыслями об окружении, с людьми, шедшими с ним по белорусским болотам и украинским полям.

Кто из них арестован, кто на допросе потерял волю и совесть? И внезапный вопрос, касавшийся совсем иных, далеких лет, поразил Крымова:

— Скажите, к какому времени относится ваше знакомство с Фрицем Гаккеном?

Он долго молчал, потом сказал:

— Если не ошибаюсь, это было в ВЦСПС, в кабинете Томского, если не ошибаюсь, весной двадцать седьмого года.

Следователь кивнул, точно ему известно это далекое обстоятельство.

Потом он вздохнул, раскрыл папку с надписью «Хранить вечно», неторопливо развязал белые

тесемки, стал листать исписанные страницы. Крымов неясно видел разных цветов чернила, видел машинопись, то через два интервала, то через один, размашистые и скупо налепленные пометки красным, синим и обычным графитовым карандашом.

Следователь медленно листал страницы, — так студент-отличник листает учебник, заранее зная, что предмет проштудирован им от доски до доски.

Изредка он взглядывал на Крымова. И тут уж он был художником, проверял сходство рисунка с натурой: и внешние черты, и характер, и зеркало духа — глаза…

Каким плохим стал его взгляд… Его обыкновенное лицо — такие лица часто встречались Крымову после 1937 года в райкомах, обкомах, в районной милиции, в библиотеках и издательствах — вдруг потеряло свою обычность. Весь он, показалось Крымову, как бы состоял из отдельных кубиков, но эти кубики не были соединены в единстве — человеке. На одном кубике глаза, на втором — медленные руки, на третьем — рот, задающий вопросы. Кубики смешались, потеряли пропорции, рот стал непомерно громаден, глаза были ниже рта, они сидели на наморщенном

лбу, а лоб оказался там, где надо было сидеть подбородку.

— Ну вот, таким путем, — сказал следователь, и все в лице его вновь очеловечилось. Он закрыл папку, а вьющиеся шнурки на ней оставил незавязанными.

«Как развязанный ботинок», — подумало существо со споротыми со штанов и подштанников пуговицами.

— Коммунистический Интернационал, — медленно и торжественно произнес следователь и добавил обычным голосом: — Николай Крымов, работник Коминтерна, — и снова медленно, торжественно проговорил: — Третий Коммунистический Интернационал.

Потом он довольно долго молча размышлял.

— Ох, и бедовая бабенка Муська Гринберг, — внезапно с живостью и лукавством сказал следователь, сказал, как мужчина, говорящий с мужчиной, и Крымов смутился, растерялся, сильно покраснел.

Было! Но как давно это было, а стыд продолжался. Он, кажется, уже любил тогда Женю. Кажется, заехал с работы к своему старинному другу, хотел вернуть ему долг, кажется, брал деньги на путевку. А дальше он уж все помнил хорошо,

без «кажется». Константина не было дома. И ведь она ему никогда не нравилась, — басовитая от беспрерывного курения, судила обо всем с апломбом, она в Институте философии была заместителем секретаря парткома, правда, красивая, как говорят, видная баба. Ох… это Костину жену он лапал на диване, и ведь еще два раза с ней встречался…

Час тому назад он думал, что следователь ничего не знает о нем, выдвиженец из сельского района…

И вот шло время, и следователь все спрашивал об иностранных коммунистах, товарищах Николая Григорьевича, — он знал их уменьшительные имена и шуточные клички, имена их жен, их любовниц. Что-то зловещее было в огромности его сведений.

Будь Николай Григорьевич величайшим человеком, каждое слово которого важно для истории, и то не стоило собирать в эту папку столько рухляди и пустяков.

Но пустяков не было.

Где бы он ни шел, оставался след его ног, свита шла за ним по пятам, запоминала его жизнь.

Насмешливое замечание о товарище, словцо о прочитанной книге, шуточный тост на дне

рождения, трехминутный разговор по телефону, злая записка, написанная им в президиум собрания, — все собиралось в папку со шнурками.

Слова его, поступки были собраны, высушены, составляли обширный гербарий. Какие недобрые пальцы трудолюбиво собирали бурьян, крапиву, чертополох, лебеду…

Великое государство занималось его романом с Муськой Гринберг. Пустяковые словечки, мелочи сплетались с его верой, его любовь к Евгении Николаевне ничего не значила, а значили случайные, пустые связи, и он уже не мог отличить главного от пустяков. Сказанная им непочтительная фраза о философских знаниях Сталина, казалось, значила больше, чем десять лет его бессонной партийной работы. Действительно ли он в 1932 году сказал, беседуя в кабинете Лозовского с приехавшим из Германии товарищем, что в советском профдвижении слишком много государственного и слишком мало пролетарского? И товарищ стукнул.

Но, боже мой, все ложь! Хрусткая и липкая паутина лезет в рот, ноздри.

— Поймите, товарищ следователь…

— Гражданин следователь.

— Да-да, гражданин. Ведь это мухлевка, пред-

взято. Я в партии на протяжении четверти века. Я поднимал солдат в семнадцатом году. Я четыре года был в Китае. Я работал дни и ночи. Меня знают сотни людей… Во время Отечественной войны я пошел добровольно на фронт, в самые тяжелые минуты люди верили мне, шли за мной… Я…

Следователь спросил:

— Вы что, почетную грамоту сюда пришли получать? Наградной лист заполняете?

В самом деле, не о почетной грамоте он хлопочет.

Следователь покачал головой:

— Еще жалуется, что жена ему передач не носит. Супруг!

Эти слова сказал он в камере Боголееву. Боже мой! Каценеленбоген шутя сказал ему: «Грек пророчил: все течет, а мы утверждаем: все стучат».

Вся его жизнь, войдя в папку со шнурками, теряла объем, протяженность, пропорции… все смешалось в какую-то серую, клейкую вермишель, и он уж сам не знал, что значило больше: четыре года подпольной сверхработы в изнуряющей парной духоте Шанхая, сталинградская переправа, революционная вера или несколько раздраженных слов об убогости советских газет, сказанных в санатории «Сосны» малознакомому

литературоведу.

Следователь спросил добродушно, негромко, ласково:

— А теперь расскажите мне, как фашист Гаккен вовлек вас в шпионскую и диверсионную работу.

— Да неужели вы серьезно…

— Крымов, не валяйте дурака. Вы сами видите — нам известен каждый шаг вашей жизни.

— Именно, именно поэтому…

— Бросьте, Крымов. Вы не обманете органы безопасности.

— Да, но ведь это ложь!

— Вот что, Крымов. У нас есть признание Гаккена. Раскаиваясь в своем преступлении, он рассказал о вашей с ним преступной связи.

— Предъявите мне хоть десять признаний Гаккена. Это фальшивка! Бред! Если есть у вас такое признание Гаккена, почему мне, диверсанту, шпиону, доверили быть военным комиссаром, вести людей в бой? Где вы были, куда смотрели?

— Вас, что ли, учить нас сюда позвали? Руководить работой органов, так, что ли?

— Да при чем тут — руководить, учить! Есть логика. Я Гаккена знаю. Не мог он сказать, что вербовал меня. Не мог!

— Почему такое — не мог?

— Он коммунист, революционный борец.

Следователь спросил:

— Вы всегда были уверены в этом?

— Да, — ответил Крымов, — всегда!

Следователь, кивая головой, перебирал листы дела и, казалось, растерянно повторял:

— Раз всегда, то и дело меняется… и дело меняется…

Он протянул Крымову лист бумаги.

— Прочтите-ка, — проговорил он, прикрывая ладонью часть страницы.

Крымов, просматривая написанное, пожимал плечами.

— Дрянновато, — сказал он, отодвигаясь от страницы.

— Почему?

— У человека нет смелости прямо заявить, что Гаккен честный коммунист, и ему не хватает подлости обвинить его, вот он и выкручивается.

Следователь сдвинул ладонь и показал Крымову подпись Крымова и дату — февраль 1938 года.

Они молчали. Потом следователь строго спросил:

— Может быть, вас били и поэтому вы дали такие свидетельские показания?

— Нет, меня не били.

А лицо следователя вновь распалось на кубики, брезгливо смотрели раздраженные глаза, рот говорил:

— Вот так. А будучи в окружении, вы на два дня оставили свой отряд. Вас на военном самолете доставили в штаб группы немецких армий, и вы передали важные данные, получили новые инструкции.

— Бред сивой кобылы, — пробормотало существо с расстегнутым воротом гимнастерки.

А следователь повел дальше свое дело. Теперь Крымов не ощущал себя идейным, сильным, с ясной мыслью, готовым пойти на плаху ради революции.

Он ощущал себя слабым, нерешительным, он болтал лишнее, он повторял нелепые слухи, он позволял себе насмешливость по отношению к чувству, которое советский народ испытывал к товарищу Сталину. Он был неразборчив в знакомствах, среди его друзей многие были репрессированы. В его теоретических взглядах царила путаница. Он жил с женой своего друга. Он дал подлые, двурушнические показания о Гаккене.

Неужели это я здесь сижу, неужели это со мной

все происходит? Это сон, прекрасный сон в летнюю ночь…

— А до войны вы передавали для заграничного троцкистского центра сведения о настроениях ведущих деятелей международного революционного движения.

Не надо было быть ни идиотом, ни мерзавцем, чтобы подозревать в измене жалкое, грязное существо. И Крымов на месте следователя не стал бы доверять подобному существу. Он знал новый тип партийных работников, пришедший на смену партийцам, ликвидированным либо отстраненным и оттесненным в 1937 году. Это были люди иного, чем он, склада. Они читали иные книги и по-иному читали их, — не читали, а «прорабатывали». Они любили и ценили материальные блага жизни, революционная жертвенность была им чужда либо не лежала в основе их характера. Они не знали иностранных языков, любили в себе свое русское нутро, но по-русски говорили неправильно, произносили: «про́цент», «пинжак», «Бе́рлин», «выдающий деятель». Среди них были умные люди, но, казалось, главная, трудовая сила их не в идее, не в разуме, а в деловых способностях и хитрости, в мещанской трезвости взглядов.

Крымов понимал, что и новые и старые кадры в партии объединены великой общностью, что не в различии дело, а в единстве, сходстве. Но он всегда чувствовал свое превосходство над новыми людьми, превосходство большевика-ленинца.

Он не замечал, что сейчас его связь со следователем уже не в том, что он готов был приблизить его к себе, признать в нем товарища по партии. Теперь желание единства со следователем состояло в жалкой надежде, что тот приблизит к себе Николая Крымова, хотя бы согласится, что не одно лишь плохое, ничтожное, нечистое было в нем.

Теперь уж, и Крымов не заметил, как это произошло, уверенность следователя была уверенностью коммуниста.

— Если вы действительно способны чистосердечно раскаяться, все еще хоть немного любите партию, то помогите ей своим признанием.

И вдруг, сдирая с коры своего мозга разъедавшую его слабость, Крымов закричал:

— Вы ничего не добьетесь от меня! Я не подпишу ложных показаний! Слышите, вы? Под пыткой не подпишу!

Следователь сказал ему:

— Подумайте.

Он стал листать бумаги и не смотрел на Крымова. А время шло. Он отодвинул крымовскую папку в сторону и достал из стола лист бумаги. Казалось, он забыл о Крымове, писал он не торопясь, прищурившись, собирая мысли. Потом он прочел написанное, опять подумал, достал из ящика конверт и стал надписывать на нем адрес. Возможно, это не было служебное письмо. Потом он перечел адрес и подчеркнул двумя чертами фамилию на конверте. Потом он наполнил чернилами автоматическую ручку, долго снимал с пера чернильные капли. Потом он стал чинить над пепельницей карандаши; грифельный стержень в одном из карандашей каждый раз ломался, но следователь не сердился на карандаш, терпеливо принимался наново затачивать его. Потом он пробовал на пальце острие карандаша.

А существо думало. Было о чем подумать.

Откуда столько стукачей! Необходимо вспомнить, распутать, кто доносил. Да к чему это? Муська Гринберг… Следователь еще доберется до Жени… Ведь странно, что ни слова о ней не спросил, не сказал… Неужели Вася давал обо мне сведения… Но в чем же, в чем же мне признаваться? Вот уж я здесь, а тайна остается тайной, — партия, зачем тебе все это? Иосиф,

Коба, Сосо. Каких ради грех побил столько добрых и сильных? Надо опасаться не вопросов следователя, а молчания, того, о чем молчит, — Каценеленбоген прав. Ну конечно, начнет о Жене, ясно, ее арестовали. Откуда все пошло, как все началось? Да неужели я тут сижу? Какая тоска, сколько дряни в моей жизни. Простите меня, товарищ Сталин! Одно ваше слово, Иосиф Виссарионович! Я виноват, я запутался, я болтал, я сомневался, партия все знает, все видит. Зачем, зачем я разговаривал с этим литератором? Да не все ли равно. Но при чем тут окружение? Это дико все, — клевета, ложь, провокация. Почему, почему я тогда не сказал о Гаккене, — брат мой, друг, я не сомневаюсь в твоей чистоте. И Гаккен отвел от него свои несчастные глаза…

Вдруг следователь спросил:

— Ну как, вспомнили?

Крымов развел руками, сказал:

— Мне нечего вспоминать.

Позвонил телефон.

— Слушаю, — сказал следователь, мельком взглянув на Крымова, проговорил: — Да, подготовь, скоро время заступать. — И Крымову показалось, что разговор шел о нем.

Потом следователь положил трубку и снова

снял ее. Удивительный это был телефонный разговор, словно рядом не человек сидел, а четвероногое двуногое. Следователь болтал, по-видимому, с женой.

Сперва шли хозяйственные вопросы:

— В распределителе? Гуся, это хорошо… Почему по первому талону не дали? Серегина женка в отдел звонила, по первому отоварила баранью ногу, нас с тобой позвали. Я, между прочим, взял творог в буфете, нет, не кислый, восемьсот грамм… А газ как сегодня горит? Ты не забудь про костюм.

Потом он стал говорить:

— Ну, как вообще, не очень скучаешь, смотри у меня. Во сне видела?.. А в каком виде? Все же в трусах? Жалко… Ну, смотри у меня, когда приду, ты уже на курсы пойдешь… Уборку — это хорошо, только смотри, тяжелого не поднимай, тебе ни в коем случае нельзя.

В этой мещанской обыденности было что-то невероятное: чем более походил разговор на житейский, человеческий, тем меньше походил на человека тот, кто его вел. Чем-то ужасает вид обезьяны, копирующей повадку человека… И в то же время Крымов ясно ощущал и себя не человеком, ведь при постороннем человеке не ведут подобных разговоров… «В губки целую… не

хочешь… ну, ладно, ладно…»

Конечно, если, по теории Боголеева, Крымов — ангорская кошка, лягушка, щегол или просто жук на палочке, ничего удивительного в этом разговоре нет.

Под конец следователь спросил:

— Подгорит? Ну, беги, беги, покедова.

Потом он вынул книгу и блокнот, стал читать, время от времени писал карандашиком, — может быть, готовился к занятиям в кружке, может быть, к докладу…

Со страшным раздражением он сказал:

— Что вы все время стучите ногами, как на физкультурном параде?

— Затекают ноги, гражданин следователь.

Но следователь снова ушел в чтение научной книги.

Минут через десять он рассеянно спросил:

— Ну как, вспомнил?

— Гражданин следователь, мне нужно в уборную.

Следователь вздохнул, подошел к двери, негромко позвал. Такие лица бывают у хозяев собак, когда собака в неурочное время просится гулять. Вошел красноармеец в полевой форме. Крымов наметанным взглядом осмотрел его: все

было в порядке — поясной ремень заправлен, чистый подворотничок, пилотка сидела как надо. Только не солдатским делом занимался этот молодой солдат.

Крымов встал, ноги затекли от долгого сидения на стуле, при первых шагах подгибались. В уборной он торопливо думал, пока часовой наблюдал за ним, и на обратном пути он торопливо думал. Было о чем.

Когда Крымов вернулся из уборной, следователя не было, на его месте сидел молодой человек в форме с синими, окантованными красным шнуром капитанскими погонами. Капитан посмотрел на арестованного угрюмо, словно ненавидел его всю жизнь.

— Чего стоишь? — сказал капитан. — Садись, ну! Прямо сиди, хрен, чего спину гнешь? Дам в потрах, так распрямишься.

«Вот и познакомились», — подумал Крымов, и ему стало страшно, так страшно, как никогда не было страшно на войне.

«Сейчас начнется», — подумал он.

Капитан выпустил облако табачного дыма, и в сером дыму продолжался его голос:

— Вот бумага, ручка. Я, что ли, за тебя писать буду.

Капитану нравилось оскорблять Крымова. А может быть, в этом была его служба? Ведь приказывают иногда артиллеристам вести беспокоящий огонь по противнику, — они и стреляют день и ночь.

— Как ты сидишь? Ты спать сюда пришел?

А через несколько минут он снова окликнул арестованного:

— Эй, слушай, я, что ли, тебе говорил, тебе не касается?

Он подошел к окну, поднял светомаскировку, погасил свет, и утро угрюмо посмотрело в глаза Крымову. Впервые со дня прихода на Лубянку он увидел дневной свет.

«Скоротали ночку», — подумал Николай Григорьевич.

Было ли худшее утро в его жизни? Неужели, счастливый и свободный, несколько недель назад он беспечно лежал в бомбовой воронке и над головой его выло гуманное железо?

Но время смешалось: бесконечно давно вошел он в этот кабинет, так недавно был он в Сталинграде.

Какой серый, каменный свет за окном, выходившим во внутреннюю шахту внутренней тюрьмы. Помои, не свет. Еще казенней, угрюмей,

враждебней, чем при электричестве, казались предметы при этом зимнем утреннем свете.

Нет, не сапоги стали тесны, а ноги отекли.

Каким образом связали здесь его прошлую жизнь и работу с окружением 1941 года? Чьи пальцы соединили несоединимое? Для чего это? Кому нужно все это? Для чего?

Мысли жгут так сильно, что он минутами забывал о ломоте в спине и пояснице, не ощущал, как набрякшие ноги распирали голенища сапог.

Гаккен, Фриц… Как я мог забыть, что в 1938 году сидел в такой же комнате, так, да не так сидел: в кармане был пропуск… Теперь-то вспомнил самое подлое: желание всем нравиться — сотруднику в бюро пропусков, вахтерам, лифтеру в военной форме. Следователь говорил: «Товарищ Крымов, пожалуйста, помогите нам». Нет, самым подлым было не желание нравиться. Самым подлым было желание искренности! О, теперь-то он вспомнил! Здесь нужна одна лишь искренность! И он был искренним, он припоминал ошибки Гаккена в оценке спартаковского движения, недоброжелательство к Тельману, его желание получить гонорар за книгу, его развод с Эльзой, когда Эльза была беременна… Правда, он вспоминал и хорошее… Следователь записал его фразу:

«На основе многолетнего знакомства считаю маловероятным участие в прямых диверсиях против партии, но не могу полностью исключить возможность двурушничества…»

Да ведь он донес… Все, что собрано о нем в этой вечной папке, рассказано его товарищами, тоже хотевшими быть искренними. Почему он хотел быть искренним? Партийный долг? Ложь! Ложь! Искренность была только в одном, — с бешенством стуча по столу кулаком, крикнуть: «Гаккен, брат, друг, невиновен!» А он нашаривал в памяти ерунду, ловил блох, он подыгрывал человеку, без чьей подписи его пропуск на выход из большого дома был недействителен. Он и это вспомнил — жадное, счастливое чувство, когда следователь сказал: «Минуточку, подпишу вам пропуск, товарищ Крымов». Он помог втрамбовать Гаккена в тюрьму. Куда поехал правдолюбец с подписанным пропуском? Не к Муське ли Гринберг, жене своего друга? Но ведь все, что он говорил о Гаккене, было правдой. Но и все, что о нем тут сказано, тоже ведь правда. Он ведь сказал Феде Евсееву, что у Сталина комплекс неполноценности, связанный с философской необразованностью. Жуткий перечень людей, с которыми он встречался: Николай Иванович, Григорий Евсеевич,

Ломов, Шацкий, Пятницкий, Ломинадзе, Рютин, рыжий Шляпников, у Льва Борисовича бывал в «Академии», Лашевич, Ян Гамарник, Луппол, бывал у старика Рязанова в институте, в Сибири дважды останавливался по старому знакомству у Эйхе, да в свое время и Скрыпник в Киеве, и Станислав Косиор в Харькове, ну и Рут Фишер, ого… слава богу, следователь не вспомнил главного, ведь в свое время Лев Давыдович к нему неплохо относился…

Насквозь прогнил, чего уж говорить. Почему, собственно? Да они виноваты не больше меня! Но я-то не подписал. Подожди, Николай, подпишешь. Еще как подпишешь, они-то подписали! Наверное, главная гнусность припасена на закуску. Продержат так без сна трое суток, потом бить начнут. Да, вообще-то на социализм не очень похоже все это. Для чего моей партии нужно меня уничтожить? А всех тех? Ведь революцию мы и совершали — не Маленков, не Жданов, не Щербаков. Все мы были беспощадны к врагам революции. Почему же революция беспощадна к нам? А может быть, потому и беспощадна… А может быть, не революция, какая же этот капитан революция, это — черная сотня, шпана.

Он толок воду в ступе, а время шло.

Боль в спине и боль в ногах, изнеможение подминали его. Главное — лечь на койку, пошевелить босыми пальцами ног, задрать кверху ноги, чесать икры.

— Не спать! — кричал капитан, точно отдавал боевую команду.

Казалось, закрой Крымов на минуту глаза, и рухнет советское государство, фронт будет прорван…

За всю свою жизнь Крымов не слышал такого количества матюгов.

Друзья, милые его помощники, секретари, участники задушевных бесед собирали его слова и поступки. Он вспоминал и ужасался: «Это я сказал Ивану, только лишь Ивану»; «Был разговор с Гришкой, ведь с Гришкой мы знакомы с двадцатого года»; «Этот разговор у меня был с Машкой Мельцер, ах, Машка, Машка».

Внезапно он вспомнил слова следователя, что не следует ему ждать передач от Евгении Николаевны… Ведь это его недавний разговор в камере с Боголеевым. До последнего дня люди пополняли крымовский гербарий.

Днем ему принесли миску супа, рука у него так дрожала, что приходилось наклонять голову и подхлебывать суп у края миски, а ложка стучала,

била дробь.

— Кушаешь ты, как свинья, — с грустью сказал капитан.

Потом было еще одно событие: Крымов снова попросился в уборную. Он уж ни о чем не думал, идя по коридору, но, стоя над унитазом, он все же подумал: хорошо, что спороли пуговицы, пальцы дрожат — ширинку не расстегнуть и не застегнуть.

Снова шло, работало время. Государство в капитанских погонах победило. Густой, серый туман стоял в голове, наверно, такой туман стоит в мозгу обезьяны. Не стало прошлого и будущего, не стало папки с вьющимися шнурками. Лишь одно — снять сапоги, чесаться, уснуть.

Снова пришел следователь.

— Поспали? — спросил капитан.

— Начальство не спит, а отдыхает, — наставительно сказал следователь, повторяя стародавнюю армейскую остроту.

— Правильно, — подтвердил капитан. — Зато подчиненные припухают.

Как рабочий, заступая на смену, оглядывает свой станок, деловито обменивается словцом со своим сменщиком, так следователь глянул на Крымова, на письменный стол, сказал:

— А ну-ка, товарищ капитан.

Он посмотрел на часы, достал из стола папку, развязал шнурки, полистал бумаги и, полный интереса, живой силы, сказал:

— Итак, Крымов, продолжим.

И они занялись.

Следователя сегодня интересовала война. И снова его знания оказались огромны: он знал про назначения Крымова, знал номера полков, армий, называл людей, воевавших вместе с Крымовым, напоминал ему слова, сказанные им в политотделе, его высказывания о неграмотной генеральской записке.

Вся фронтовая работа Крымова, речи под немецким огнем, его вера, которой делился он с красноармейцами в тяжелые дни отступления, лишения, мороз, — все враз перестало существовать.

Жалкий болтун, двурушник разлагал своих товарищей, заражал их неверием и чувством безнадежности. Можно ли сомневаться, что немецкая разведка помогла ему перейти линию фронта для продолжения шпионской и диверсионной деятельности?

В первые минуты нового допроса Крымову передалось рабочее оживление отдохнувшего

следователя.

— Как хотите, — сказал он, — но я никогда не признаю себя шпионом!

Следователь поглядел в окно, — уже начинало темнеть, он плохо различал бумаги на столе.

Он зажег настольную лампу, опустил синюю светомаскировку.

Угрюмый, звериный вой донесся из-за двери и вдруг прервался, стих.

— Итак, Крымов, — сказал следователь, вновь усаживаясь за стол.

Он спросил Крымова, известно ли ему, почему его ни разу не повышали в звании, и выслушал невнятный ответ.

— Так-то, Крымов, болтались на фронте батальонным комиссаром, а надо бы вам быть членом Военного совета армии или даже фронта.

Он помолчал, в упор глядя на Крымова, пожалуй, впервые посмотрел по-следовательски, торжественно произнес:

— Сам Троцкий о ваших сочинениях говорил: «Мраморно». Захвати этот гад власть, высоко бы вы сидели! Шутка ли: «Мраморно»!

«Вот они, козыри, — подумал Крымов. — Выложил туза».

Ну, ладно, ладно, все он скажет — и когда, и где,

но ведь и товарищу Сталину можно задать те же вопросы, к троцкизму Крымов не имел отношения, он всегда голосовал против троцкистских резолюций, ни разу — за.

А главное, снять сапоги, лечь, поднять разутые ноги, спать и одновременно чесаться во сне.

А следователь заговорил тихо и ласково:

— Почему вы не хотите нам помочь?.. Разве дело в том, что вы не совершили преступлений до войны, что вы в окружении не возобновили связи и не установили явки?.. Дело серьезнее, глубже. Дело в новом курсе партии. Помогите партии на новом этапе борьбы. Для этого нужно отречься от прошлых оценок. Такая задача по плечу лишь большевикам. Поэтому я и говорю с вами.

— Ну, ладно, хорошо, — медленно, сонно говорил Крымов, — могу допустить, что помимо своей воли стал выразителем враждебных партии взглядов. Пусть мой интернационализм пришел в противоречие с понятиями суверенного, социалистического государства. Ладно, по своему характеру я стал после тридцать седьмого года чужд новому курсу, новым людям. Я готов, могу признать. Но шпионаж, диверсии…

— Для чего же это «но»? Вот видите, вы уже стали на путь осознания своей враждебности делу

партии. Неужели имеет значение форма? Для чего ваше «но», если вы признаете основное?

— Нет, я не признаю себя шпионом.

— Значит, вы ничем не хотите помочь партии. Разговор доходит до дела — и в кусты, так, что ли? Дерьмо вы, дерьмо собачье!

Крымов вскочил, рванул следователя за галстук, потом ударил кулаком по столу, и внутри телефона что-то звякнуло, екнуло. Он закричал пронзительным, воющим голосом:

— Ты, сукин сын, сволочь, где был, когда я вел людей с боями по Украине и по брянским лесам? Где ты был, когда я дрался зимой под Воронежем? Ты был, мерзавец, в Сталинграде? Это я ничего не делал для партии? Это ты, жандармская морда, защищал Советскую Родину вот тут, на Лубянке? А я в Сталинграде не защищал наше дело? А в Шанхае под петлей ты был? Это тебе, мразь, или мне колчаковец прострелил левое плечо?

Потом его били, но не по-простому, по морде, как во фронтовом Особом отделе, а продуманно, научно, со знанием физиологии и анатомии. Били его двое одетых в новую форму молодых людей, и он кричал им:

— Вас, мерзавцев, надо в штрафную роту… вам надо в расчете противотанкового ружья…

дезертиры…

Они работали, не сердясь, без азарта. Казалось они били не сильно, без размаха, но удары их были какие-то ужасные, как ужасно бывает подлое, спокойно произнесенное слово.

У Крымова полилась изо рта кровь, хотя по зубам его ни разу не ударили, и кровь эта шла не из носа, не из челюстей, не из прикушенного языка, как в Ахтубе… Это шла глубинная кровь, из легких. Он уже не помнил, где он, не помнил, что с ним… Над ним вновь появилось лицо следователя, он показывал пальцем на портрет Горького, висевший над столом, и спрашивал:

— Что сказал великий пролетарский писатель Максим Горький?

И по-учительски вразумляюще ответил:

— Если враг не сдается, его уничтожают.

Потом он увидел лампочку на потолке, человека с узенькими погончиками.

— Что ж, раз медицина позволяет, — сказал следователь, — хватит отдыхать.

Вскоре Крымов снова сидел у стола, слушал толковые вразумления:

— Будем так сидеть неделю, месяц, год… Давайте по-простому: пусть вы ни в чем не виноваты, но вы подпишете все, что я вам скажу. Вас после

этого не будут бить. Ясно? Может быть, Особое совещание осудит вас, но бить не будут, — это большое дело! Думаете, мне приятно, когда вас бьют? Дадим спать. Ясно?

Шли часы, беседа продолжалась. Казалось, уж ничем нельзя ошеломить Крымова, вывести его из сонной одури.

Но все же, слушая новую речь следователя, он удивленно полуоткрыл рот, приподнял голову.

— Все эти дела давние, о них и забыть можно, — говорил следователь и показывал на крымовскую папку, — но вот уж не забудешь вашей подлой измены Родине во время Сталинградской битвы. Свидетели, документы говорят! Вы вели работу, разлагающую политическое сознание бойцов в окруженном немцами доме «шесть дробь один». Вы толкали Грекова, патриота Родины, на измену, пытались уговорить его перейти на сторону противника. Вы обманули доверие командования, доверие партии, пославших вас в этот дом в качестве боевого комиссара. А вы, попав в этот дом, кем оказались? Агентом врага!

Под утро Николая Григорьевича снова били, и ему казалось, что он погружается в теплое черное молоко. Снова человек с узенькими погончиками кивнул, обтирая иглу шприца, и следователь

говорил:

— Что ж, раз медицина позволяет.

Они сидели друг против друга. Крымов смотрел на утомленное лицо собеседника и удивлялся своему беззлобию, — неужели он хватал этого человека за галстук, хотел задушить его? Сейчас у Николая Григорьевича вновь возникло ощущение близости с ним. Стол уж не разделял их, сидели два товарища, два горестных человека.

Вдруг Крымову вспомнился недостреленный человек в окровавленном белье, вернувшийся из ночной, осенней степи во фронтовой Особый отдел.

«Вот и моя судьба, — подумал он, — мне тоже некуда идти. Поздно уж».

Потом он просился в уборную, потом появился вчерашний капитан, поднял светомаскировку, потушил свет, закурил.

И снова Николай Григорьевич увидел дневной хмурый свет, — казалось, он шел не от солнца, не с неба, свет шел от серого кирпича внутренней тюрьмы.

44

Кровати были пустыми, — то ли соседей перевели, то ли они парились на допросе.

Он лежал располосованный, потеряв себя, с заплеванной жизнью, с ужасной болью в пояснице, кажется, ему отшибли почки.

В горький час сокрушения жизни он понял силу женской любви. Жена! Только ей дорог человек, затоптанный чугунными ногами. Весь в харкотине, а она моет ему ноги, расчесывает его спутанные волосы, она глядит ему в закисшие глаза. Чем больше раскроили ему душу, чем отвратительней он и презренней для мира, тем ближе, дороже он ей. Она бежит за грузовиком, она стоит в очереди на Кузнецком мосту, у лагерной ограды, ей так хочется послать ему несколько конфет, луковку, она печет ему на керосинке коржики, годы жизни она отдает, чтобы увидеться хоть на полчаса…

Не всякая женщина, с которой ты спишь, — жена.

И от режущего отчаяния ему самому захотелось вызвать в другом человеке отчаяние.

Он сочинил несколько строк письма: «Узнав

о случившемся, ты обрадована не тому, что я раздавлен, а тому, что ты успела бежать от меня, и ты благословляешь свой крысиный инстинкт, заставивший тебя покинуть тонущий корабль… один я…»

Мелькнул телефон на следовательском столе… здоровенный бугай, бивший его в бока, под ребра… капитан поднимает штору, тушит свет… шуршат, шуршат страницы дела, под их шуршание он стал засыпать…

И вдруг раскаленное кривое шило вошло в его череп, и показалось, что мозг смердит паленым: Евгения Николаевна донесла на него!

Мраморно! Мраморно! Слова, сказанные ему в утренний час на Знаменке, в кабинете председателя Реввоенсовета Республики… Человек с острой бородкой, со сверкающими стеклами пенсне прочел статью Крымова и говорил ласково, негромко. Он помнит: ночью он сказал Жене о том, что ЦК его отозвал из Коминтерна и поручил редактировать книжки в Политиздате. «А ведь когда-то был человеком», — и он рассказал ей, как Троцкий, прочитав его работу «Революция и реформа — Китай и Индия», сказал: «Мраморно».

Ни одному человеку он не повторил этих, сказанных с глазу на глаз слов, только Женя слышала

их, значит, следователь услышал их от нее. Она донесла.

Он не чувствовал семидесятичасовой бессонницы, — он уже выспался. Заставили? Не все ли равно. Товарищи, Михаил Сидорович, я умер! Меня убили. Не пистолетной пулей, не кулаками, не бессонницей. Женя убила. Я дам показания, я все признаю. Одно условие: подтвердите, что она донесла.

Он сполз с кровати и стал стучать в дверь кулаком, закричал:

— Веди меня к следователю, я все подпишу.

Подошел дежурный, сказал:

— Прекратите шум, дадите показания, когда вызовут.

Он не мог оставаться один. Лучше, легче, когда бьют и теряешь сознание. Раз медицина позволяет…

Он проковылял к койке, и когда, казалось, уж не вынесет душевной муки, когда вот-вот, казалось, мозг его лопнет и тысячи осколков вонзятся в сердце, в горло, в глаза, он понял: Женечка не могла донести! И он закашлял, затрясся:

— Прости меня, прости. Мне не судьба быть счастливым с тобой, я в этом виноват, не ты.

И дивное чувство, может быть, впервые при-

шедшее к человеку в этом доме, с тех пор как ступил в него сапог Дзержинского, охватило его.

Он проснулся. Напротив него грузно сидел Каценеленбоген со спутанными бетховенскими седыми волосами.

Крымов улыбнулся ему, и низкий мясистый лоб соседа нахмурился, — Крымов понял, что Каценеленбоген принял его улыбку за проявление безумия.

— Вижу, дали вам сильно, — сказал Каценеленбоген, указывая на запачканную кровью гимнастерку Крымова.

— Да, дали сильно, — кривя рот, ответил Крымов. — А вы как?

— В больнице гулял. Соседи отбыли — Дрелингу Особое совещание дало еще десять лет, значит, тридцать имеет, а Боголеев переведен в другую камеру.

— А… — сказал Крымов.

— Ну, выкладывайте.

— Я думаю, при коммунизме, — сказал Крымов, — МГБ будет тайно собирать все хорошее о людях, каждое доброе слово. Все, связанное с верностью, честностью, добротой, агенты будут подслушивать по телефону, выискивать в письмах, извлекать из откровенных бесед и доносить

о них на Лубянку, собирать в досье. Только хорошее! Здесь будут крепить веру в человека, а не разрушать ее, как сейчас. Первый камень положил я… Я верю, я победил вопреки доносам, лжи, верю, верю…

Каценеленбоген, рассеянно слушая его, сказал:

— Это все верно, так и будет. Нужно только добавить, что, собрав такое лучезарное досье, вас доставят сюда, в большой дом, и все же шлепнут.

Он пытливо поглядел на Крымова, никак не мог понять, почему землисто-желтое лицо Крымова с запавшими, затекшими глазами, с черными следами крови на подбородке улыбается счастливо и спокойно.

45

Адъютант Паулюса, полковник Адамс, стоял перед раскрытым чемоданом.

Денщик командующего Риттер, сидя на корточках, перебирал белье, разложенное на газетах, расстеленных на полу.

Ночью Адамс и Риттер жгли бумаги в кабинете фельдмаршала, сожгли большую личную карту командующего, которую Адамс считал священной реликвией войны.

Паулюс всю ночь не спал. Он отказался от утреннего кофе и безучастно наблюдал за хлопотами Адамса. Время от времени он вставал и ходил по комнате, переступая через сложенные на полу пачки бумаг, ожидавших кремации. Карты, наклеенные на холст, горели неохотно, забивали колосники, и Риттеру приходилось прочищать печь кочергой.

Каждый раз, когда Риттер приоткрывал дверцу печки, фельдмаршал протягивал к огню руки. Адамс накинул шинель на плечи фельдмаршала. Но Паулюс нетерпеливо повел плечом, и Адамс снова отнес шинель на вешалку.

Может быть, фельдмаршал видит себя сейчас в

сибирском плену, — он стоит с солдатами перед костром и греет руки, а позади него пустыня и впереди пустыня.

Адамс сказал фельдмаршалу:

— Я велел Риттеру уложить в ваш чемодан побольше теплого белья, — Страшный суд мы себе неправильно представляли в детстве: это не связано с огнем и горячими углями.

За ночь дважды заходил генерал Шмидт. Телефоны с перерезанными шнурами молчали.

Начиная с момента окружения, Паулюс ясно понимал, что руководимые им войска не смогут продолжать борьбу на Волге.

Он видел, что все условия, определявшие его летний успех, — тактические, психологические, метеорологические, технические, — отсутствуют, плюсы превратились в минусы. Он обратился к Гитлеру: 6-я армия должна согласованно с Манштейном прорвать кольцо окружения в юго-западном направлении, образовать коридор и вывести свои дивизии, заранее примирившись с тем, что большую часть тяжелого оружия придется оставить.

Когда Еременко 24 декабря успешно ударил по Манштейну в районе речушки Мышковка, любому командиру пехотного батальона стало

ясно, что сопротивление в Сталинграде невозможно. Это было не ясно одному лишь человеку. Он переименовал 6-ю армию в форпост фронта, протянувшегося от Белого моря до Терека, 6-я армия была объявлена им «Крепостью Сталинград». А в штабе 6-й армии говорили, что Сталинград превратился в лагерь вооруженных военнопленных. Паулюс снова передал радиошифром, что есть некоторые шансы на прорыв. Он ждал, что последует страшный взрыв ярости, никто не осмеливался дважды противоречить Верховному Главнокомандующему. Ему рассказывали, как Гитлер сорвал с груди фельдмаршала Рундштедта рыцарский крест и что у присутствовавшего при этом Браухича случился сердечный припадок. С фюрером не следовало шутить.

31 января Паулюс наконец получил ответ на свою шифровку, — ему было присвоено звание фельдмаршала. Он сделал еще одну попытку доказать свою правоту и получил высший орден Империи — Рыцарский крест с дубовыми листьями.

Постепенно он осознал, что Гитлер стал обращаться с ним, как с мертвецом, — это было посмертное присвоение звания фельдмаршала, посмертное награждение Рыцарским крестом с

дубовыми листьями. Он был нужен теперь для одного лишь — для создания трагического образа руководителя героической обороны. Сотни тысяч людей, находившихся под его командованием, государственная пропаганда объявила святыми и мучениками. Они были живы, варили конину, охотились на последних сталинградских собак, ловили в степи сорок, давили вшей, курили сигареты, в которых бумага была завернута в бумагу, а в это время государственные радиостанции передавали в честь подземных героев торжественную траурную музыку.

Они были живы, дули на красные пальцы, сопли текли из их носов, в их головах сверкали мысли о возможности пожрать, украсть, притвориться больным, сдаться в плен, погреться в подвале с русской бабой, а в это время государственные хоры мальчиков и хоры девочек звучали в эфире: «Они умерли, чтобы жила Германия». Воскреснуть для грешной и чудной жизни они могли лишь при условии гибели государства.

Все совершалось так, как предсказывал Паулюс.

Он жил с трудным чувством своей правоты, подтвержденной полной, без изъятия, гибелью его армии. В гибели своей армии он, против воли,

находил томительно-странное удовлетворение, основу для высокой самооценки.

Подавленные, стертые в дни высшего успеха мысли вновь полезли в голову.

Кейтель и Иодль называли Гитлера — божественный фюрер. Геббельс вещал, что трагедия Гитлера в том, что он не может встретить в войне равного полководческого гения. А Цейцлер рассказывал, что Гитлер просил его выпрямить линию фронта, так как она шокирует его эстетическое чувство. А безумный неврастеничный отказ от наступления на Москву? А внезапное безволие и приказ прекратить наступление на Ленинград? Его фанатическая стратегия жесткой обороны основана на страхе потерять престиж.

Теперь все окончательно ясно.

Но именно окончательная ясность и страшна. Он мог не подчиниться приказу! Конечно, фюрер казнил бы его. Но он бы спас людей. Он видел упрек во многих глазах.

Мог, мог спасти армию!

Он боялся Гитлера, он боялся за свою шкуру!

Хальб, высший представитель Управления безопасности при штабе армии, на днях, улетая в Берлин, сказал ему в неясных выражениях, что фюрер оказался слишком велик даже для такого

народа, как немецкий. Да-да, ну конечно.

Все декламация, все демагогия.

Адамс включил радиоприемник. Из треска разрядов родилась музыка — Германия отпевала сталинградских покойников. В музыке таилась особая сила… Может быть, для народа, для будущих битв созданный фюрером миф значит больше, чем спасение обмороженных и вшивых дистрофиков. Может быть, логику фюрера не поймешь, читая уставы, составляя боевые расписания и разглядывая оперативные карты.

А может быть, в ореоле мученичества, которому обрек 6-ю армию Гитлер, формировалось новое бытие Паулюса и его солдат, их новое участие в будущем Германии.

Здесь не помогали карандашу логарифмическая линейка и счетные машины. Здесь действовал странный генерал-квартирмейстер, у него был другой подсчет, другие резервы.

Адамс, милый, верный Адамс, ведь человеку высшей духовной породы всегда и неизменно присуще сомнение. Властвуют над миром лишь ограниченные люди, наделенные непоколебимым чувством своей правоты. Люди высшей породы не властвуют над государствами, не принимают великих решений.

— Идут! — вскрикнул Адамс. Он приказал Риттеру: «Убрать!» И тот оттащил в сторону раскрытый чемодан, одернул мундир.

У фельдмаршальских носков, второпях положенных в чемодан, имелись на пятках дыры, и Риттер затомился, заволновался, не потому, что неразумный и беспомощный Паулюс наденет рваные носки, а потому, что эти дыры на носках увидят недобрые русские глаза.

Адамс стоял, положив руки на спинку стула, отвернувшись от двери, которая сейчас распахнется, спокойно, заботливо и любовно глядя на Паулюса, — так, подумалось ему, должен вести себя адъютант фельдмаршала.

Паулюс немного откинулся от стола, сжал губы. И в эти минуты фюрер хотел от него игры, и он готовился играть.

Вот откроется дверь, комната в темном подземелье станет видна людям, живущим на земле. Прошли боль и горечь, остался страх, что распахнут дверь не представители советского командования, которые тоже подготовились играть торжественную сцену, а лихие, привыкшие легко нажимать на спусковой крючок автомата советские солдаты. И томила тревога перед неизвестным, — вот кончится сцена и начнется

человеческая жизнь — какая, где, — в Сибири, в московской тюрьме, в лагерном бараке?

46

Ночью из Заволжья люди увидели, как небо над Сталинградом осветилось разноцветными огнями. Немецкая армия капитулировала.

Тут же ночью из Заволжья в Сталинград пошли люди. Распространился слух, что оставшееся в Сталинграде население терпело в последнее время жестокий голод, и солдаты, офицеры, моряки Волжской военной флотилии несли с собой узелки с хлебом и консервами. Некоторые прихватили водку, гармошки.

Но странно, эти самые первые, пришедшие ночью в Сталинград без оружия солдаты, отдавая хлеб защитникам города, обнимая и целуя их, словно были печальны, не веселились и не пели.

Утро 2 февраля 1943 года было туманным. Над волжскими полыньями и прорубями дымил пар. Солнце всходило над верблюжьей степью, одинаково суровой в знойные августовские дни и в пору низового зимнего ветра. Сухой снег носился над плоским простором, свивался в столбы, крутился молочными колесами и вдруг терял волю, оседал. Ступни восточного ветра оставляли за собой следы: снеговые воротники вокруг скрипучих

стеблей колючки, застывшую рябь по склонам оврагов, глинистые плеши и лобастые кочки…

Со сталинградского обрыва казалось, что люди, идущие через Волгу, возникают из степного тумана, что их лепит мороз и ветер.

У них не было дела в Сталинграде, начальство их не посылало сюда, — война здесь кончилась. Они сами шли — красноармейцы, дорожники, паховские пекари, штабные, ездовые, артиллеристы, портные из фронтовой пошивочной, электрики и механики из ремонтных мастерских. Вместе с ними шли через Волгу, карабкались по обрыву обмотанные платками старики, бабы в солдатских ватных штанах, мальчишки и девчонки тащили за собой салазки, груженные узлами, подушками.

Странная вещь происходила с городом. Слышались автомобильные гудки, шумели тракторные моторы; шли галдящие люди с гармошкой, танцоры утаптывали снег валенками, ухали и гоготали красноармейцы. Но город от этого не ожил, он казался мертвым.

Несколько месяцев назад Сталинград перестал жить своей обычной жизнью — в нем умерли школы, заводские цехи, ателье дамского платья, самодеятельные ансамбли, городская милиция,

ясли, кинотеатры…

В огне, охватившем городские кварталы, вырос новый город — Сталинград войны — со своей планировкой улиц и площадей, со своей подземной архитектурой, со своими правилами уличного движения, со своей торговой сетью, со своим заводским цеховым гулом, со своими кустарями, со своими кладбищами, выпивками, концертами.

Каждая эпоха имеет свой мировой город — он ее душа, ее воля.

Вторая всемирная война была эпохой человечества, и на некоторое время ее мировым городом стал Сталинград. Он стал мыслью и страстью человеческого рода. На него работали заводы и фабрики, ротации и линотипы, он вел на трибуну парламентских лидеров. Но когда из степи пошли в Сталинград тысячные толпы, и пустынные улицы заполнились людьми, и зашумели первые автомобильные моторы, мировой город войны перестал жить.

Газеты в этот день сообщили подробности немецкой капитуляции, и люди в Европе, в Америке, в Индии узнали, как вышел из подвала фельдмаршал Паулюс, как снимался первый допрос с немецких генералов в штабе 64-й армии генерала Шумилова и как был одет генерал

Шмидт — начальник паулюсовского штаба.

В этот час столица мировой войны уже не существовала. Глаза Гитлера, Рузвельта, Черчилля искали новые центры мировых военных напряжений. Сталин, постукивая пальцем по столу, спрашивал начальника Генерального штаба, обеспечены ли средства для переброски сталинградских войск из тыла, в котором они очутились, в район нового сосредоточения. Мировой город войны, еще полный боевых генералов и мастеров уличного боя, еще полный оружия, с живыми оперативными картами, налаженными ходами сообщений, перестал существовать, — начал свое новое существование, такое, какое ведут нынешние Афины и Рим. Историки, музейные экскурсоводы, учителя и всегда скучающие школьники уже незримо становились хозяевами его.

Рождался новый город — город труда и быта, с заводами, школами, родильными домами, милицией, оперным театром, тюрьмой.

Легкий снег припорошил дорожки, по которым подносили на огневые позиции снаряды и булки хлеба, перетаскивали пулеметы и термосы с кашей, извилистые, хитрые тропочки, по которым пробирались в свои тайные каменные шалаши

снайперы, наблюдатели, слухачи.

Снег припорошил дороги, по которым связные бежали из роты в батальон, дороги от Батюка к Банному оврагу, мясокомбинату и водонапорным бакам…

Снег припорошил дороги, по которым жители великого города ходили позычить табак, выпить двести грамм на именинах у товарища, помыться в подземной баньке, забить козла, попробовать у соседа квашеную капусту; дороги, по которым ходили к знакомой Мане и к знакомой Вере, дороги к часовщикам, мастерам зажигалок, портным, гармонистам, кладовщикам.

Толпы людей прокладывали новые дороги, они шли, не прижимаясь к развалинам, не петляли.

А сеть боевых тропинок и дорожек покрывалась первым снегом, и на всем миллионе километров этих заснеженных тропинок не возникло ни одного свежего следа.

А на первый снег вскоре лег второй, и тропинки под ним замутились, расплылись, не стали видны…

Непередаваемое чувство счастья и пустоты испытывали старожилы мирового города. Странная тоска возникала в людях, оборонявших Сталинград.

Город опустел, и командующий армией, и командиры стрелковых дивизий, и старик-ополченец Поляков, и автоматчик Глушков, — все почувствовали эту пустоту. Это чувство было бессмысленным — разве может возникнуть тоска от того, что побоище кончилось победой и смерти нет?

Но так было. Молчал телефон в желтом кожаном футляре на столе у командующего; снежный воротничок вырос на кожухе пулемета, ослепли стереотрубы и боевые амбразуры; истертые, залапанные планы и карты перебрались из планшетов в полевые сумки, а из некоторых полевых сумок в чемоданы и вещевые мешки командиров взводов, рот, батальонов… А среди умерших домов ходили толпы людей, обнимались, кричали «ура»… Люди глядели друг на друга. «Какие все ребята хорошие, жуткие, простые, славные, вот и ходим — ватники, ушанки, все в вас такое же, как и в нас. А дело мы сделали, даже подумать страшно, какое мы дело сделали. Подняли, подняли самый тяжелый груз, какой есть на земле, правду подняли над неправдой, пойди-ка попробуй, подними… То в сказке, а здесь не в сказке».

Все земляки: одни с Купоросной балки, другие из Банного оврага, третьи из-под водонапорных

баков, четвертые с «Красного Октября», пятые с Мамаева кургана, а к ним подходили жители центра, жившие у реки Царицы, в районе пристаней, под откосами у нефтебаков… Они были и хозяева и гости, они сами себя поздравляли, и холодный ветер гремел старой жестью. Иногда они стреляли в воздух из автоматов, а иногда ухала граната. Они хлопали, знакомясь, друг друга по спине, иногда они обнимались, целовались холодными губами, потом смущенно и весело ругались… Они вывалили из-под земли, — слесари, токари, пахари, плотники, землекопы, они отбились от врага, перепахали камень, железо и глину.

Мировой город отличается от других городов не только тем, что люди чувствуют его связь с заводами и полями всего мира.

Мировой город отличается тем, что у него есть душа.

И в Сталинграде войны была заключена душа. Его душой была свобода.

Столица антифашистской войны обратилась в онемевшие, холодные развалины довоенного промышленного и портового советского областного города.

Здесь, через десять лет, тысячные полчища заключенных воздвигли мощную плотину,

построили, одну из величайших в мире, государственную гидроэлектрическую станцию.

47

Этот случай произошел оттого, что проснувшийся в блиндаже немецкий унтер-офицер не знал о капитуляции. Его выстрел ранил сержанта Заднепрука. Это вызвало злобу среди русских, наблюдавших, как из-под массивных сводов бункеров выходят немецкие солдаты, бросают в гремящую и все растущую кучу автоматы и винтовки.

Пленные шли, стараясь не глядеть по сторонам, показывая, что и глаза их в плену. И только солдат Шмидт, заросший черно-белой щетиной, выйдя на божий свет, улыбаясь, оглядывал русских солдат, словно уверенный, что ему должно встретиться знакомое лицо.

Слегка выпивший полковник Филимонов, накануне прибывший из Москвы в штаб Сталинградского фронта, стоял вместе с прикомандированным к нему переводчиком на пункте сдачи частей дивизии генерала Веллера.

Его шинель с новыми золотыми погонами, с красными нашивками и черными кантами выделялась среди грязных, прожженных ватников и мятых шапок сталинградских комротов и комба-

тов и такой же мятой, жженой и грязной одежды пленных немцев.

Вчера в столовой Военного совета он рассказывал, что на московском главном интендантском складе сохранилась золотая канитель, шедшая на погоны в старой русской армии, и что среди его приятелей считается удачей добыть погоны из этого доброго старого материала.

Когда раздался выстрел и вскрикнул легко раненный Заднепрук, полковник громко спросил:

— Кто стрелял, в чем дело?

Несколько голосов ему ответили:

— Да тут дурак один, немец. Его уж повели… вроде не знал…

— Как не знал? — крикнул полковник. — Мало ему крови нашей, мерзавцу? — Он обратился к длинному еврею-политруку, переводчику: — Обнаружьте мне офицера. Он головой, мерзавец, ответит за этот выстрел.

Вот тут полковник заметил большое улыбающееся лицо солдата Шмидта, закричал:

— Смеешься, мерзавец, еще одного покалечили?

Шмидт не понял, почему улыбка, которой он так много хотел выразить хорошего, вызвала крик русского старшего офицера, а когда, каза-

лось, без всякой связи с этим криком треснул пистолетный выстрел, он, уже совсем ничего не понимая, споткнулся и упал под ноги шедших сзади солдат. Тело его оттащили в сторону, и он лежал на боку, и все, знавшие его и не знавшие, проходили мимо. Потом, когда прошли пленные, мальчишки, не боясь мертвого, залезли в опустевшие бункеры и блиндажи, шуровали по дощатым нарам.

Полковник Филимонов в это время осматривал подземную квартиру командира батальона и восхищался, как прочно и удобно все устроено. Автоматчик подвел к нему молодого немецкого офицера со спокойными светлыми глазами, переводчик сказал:

— Товарищ полковник, вот этот, обер-лейтенант Ленард, которого вы велели привести.

— Какой? — удивился полковник. И так как лицо немецкого офицера показалось ему симпатичным, и так как он был расстроен тем, что впервые в жизни он оказался причастен к убийству, Филимонов сказал:

— Ведите его на сборный пункт, только без глупостей, под вашу личную ответственность, — чтобы живым дошел.

Судный день подходил к концу, и уже нельзя

было различить улыбки на лице застреленного солдата.

48

Подполковник Михайлов, старший военный переводчик седьмого отдела политуправления штаба фронта, сопровождал пленного фельдмаршала в штаб 64-й армии.

Паулюс вышел из подвала и, не обращая внимания на советских офицеров и солдат, с жадным любопытством разглядывавших его и оценивавших качество его фельдмаршальской шинели с полоской зеленой кожи от плеча до талии и серой кроличьей шапки, он прошел широким шагом с вскинутой головой, глядя поверх сталинградских развалин, к ожидавшему штабному вездеходу.

Михайлову до войны часто приходилось присутствовать на дипломатических приемах, и он вел себя с Паулюсом уверенно, легко отделяя холодную почтительность от ненужной суетливости.

Сидя рядом с Паулюсом и следя за выражением его лица, Михайлов выжидал, пока фельдмаршал нарушит молчание. Его поведение не походило на поведение генералов, в предварительном опросе которых участвовал Михайлов.

Начальник штаба 6-й армии ленивым, мед-

ленным голосом сказал, что катастрофу вызвали румыны и итальянцы. Генерал-лейтенант Зикст фон Арним с крючковатым носом, угрюмо позванивая медалями, добавил:

— Не только Гарибальди со своей восьмой, но и русский холод, отсутствие продовольствия и боеприпасов.

Седой Шлеммер, командир танкового корпуса, с Рыцарским железным крестом и с медалью за пятикратное ранение, перебив этот разговор, стал просить сохранить его чемодан. Тут уж заговорили все — и начальник санитарной службы, мягко улыбающийся генерал Ринальдо, и мрачный полковник Людвиг, командир танковой дивизии, с лицом, изуродованным сабельным ударом. Особенно волновался адъютант Паулюса, полковник Адамс, потерявший несессер, — он разводил руками, тряс головой, и уши его шапки из леопардовой шкуры тряслись, как у породистой собаки, вышедшей из воды.

Они очеловечились, но как-то по-плохому.

Водитель машины в нарядном белом полушубке негромко ответил на приказание Михайлова ехать помедленней:

— Слушаю, товарищ подполковник.

Ему хотелось рассказать товарищам-шоферам о

Паулюсе, вернувшись домой после войны, похвастать: «Вот когда я вез фельдмаршала Паулюса…» Ему, кроме того, хотелось как-то по-особому вести машину, чтобы Паулюс подумал: «Вот он, советский водитель, видно механика первого класса».

Невероятным казалось фронтовому глазу тесное смешение русских и немцев. Команды веселых автоматчиков обыскивали подвалы, залезали в водопроводные колодцы, выгоняли немцев на морозную поверхность.

На пустырях, на улицах с помощью толчков, крика автоматчики переформировывали немецкое войско по-новому — соединяли солдат разных боевых специальностей в походные колонны.

Немцы, озираясь на руки, державшие оружие, шли, стараясь не спотыкаться. В их покорности был не только страх перед легкостью, с которой палец русского мог нажать на спусковой крючок автомата. Власть исходила от победителей, какая-то гипнотическая тоскливая страсть заставляла подчиняться им.

Машина с фельдмаршалом шла на юг, а навстречу ей двигались пленные. Мощная громкоговорительная установка ревела:

Я уходил вчера в поход в далекие края,

Платком махнула у ворот моя любимая...

Двое несут третьего, он обнял их за шеи бледными, грязными руками, и головы носильщиков сблизились, и между ними глядит мертвое лицо с горячими глазами.

Четыре солдата вытаскивают из бункера на одеяле раненого.

Синевато-черные кучи оружейной стали лежат на снегу. Словно стога обмолоченной стальной соломы.

Звучит салют — в могилу опускают убитого красноармейца, а тут же рядом лежат вповалку мертвые немцы, вытащенные из госпитального подвала. Идут в боярских белых и черных шапках румынские солдаты, гогочут, машут руками, смеются над живыми и мертвыми немцами.

Пленных гонят со стороны Питомника, от Царицы, из Дома специалистов. Они шагают особой походкой, которой ходят потерявшие свободу люди и животные. Легко раненные и обмороженные опираются на палки, на обгоревшие куски досок. Идут, идут. Кажется, одно синевато-серое лицо на всех, — одни глаза, одно на всех выражение страдания и тоски.

Удивительно! Сколько оказалось среди них

маленьких, носатых, низколобых, со смешными заячьими ротиками, с воробьиными головками. Сколько черномазых арийцев, много прыщавых, в нарывах, в веснушках.

Это шли некрасивые, слабые люди, рожденные своими мамами и любимые ими. И словно исчезли те, не люди, нация, шагавшие с тяжелыми подбородками, с надменными ртами, белоголовые и светлолицые, с гранитной грудью.

Как чудно, братски похожа эта толпа рожденных мамами некрасивых людей на те печальные и горестные толпы несчастных, рожденных русскими матерями, которых немцы гнали хворостинами и палками в лагеря, на запад, осенью 1941 года. Изредка раздавался со стороны бункеров и подвалов хлопок пистолетного выстрела, и плывущая к скованной Волге толпа, вся, как один человек, понимала значение этих выстрелов.

Подполковник Михайлов поглядывал на сидевшего рядом фельдмаршала. Водитель заглядывал в зеркальце. Михайлов видел длинную, худую щеку Паулюса, водитель видел его лоб, глаза, сложенные для молчания губы.

Они проезжали мимо орудий с поднятыми к небу хоботами, мимо танков с крестами на лбу, мимо грузовых автомобилей с хлопающими на

ветру брезентами, мимо бронетранспортеров и самоходных орудий.

Железное тело 6-й армии, ее мышцы вмерзли в землю. А мимо медленно двигались люди, и казалось, и они остановятся, застынут, вмерзнут в грунт.

Михайлов, и водитель, и автоматчик-конвоир ждали, что Паулюс заговорит, позовет, отвернется. Но он молчал, и нельзя было понять, куда смотрят его глаза, что приносят они в ту глубину, где сердце человека.

Боялся ли Паулюс, что его солдаты увидят его, или хотел, чтобы они видели его? Вдруг Паулюс спросил Михайлова:

— Sagen Sie bitte, was ist es, Machorka?[18]

И по этому неожиданному вопросу Михайлов не понял мыслей Паулюса. Фельдмаршал тревожился о том, чтобы кушать каждый день суп, спать в тепле, покурить.

---

[18] Примечания: 18
Скажите, пожалуйста, что такое махорка? (*нем.*)

49

Из подвала двухэтажного дома, где размещалось полевое управление гестапо, военнопленные немцы выносили трупы советских людей.

Несколько женщин, старики и мальчишки стояли, несмотря на холод, возле часового и наблюдали, как немцы укладывают на мерзлую землю трупы.

У большинства немцев было безразличное выражение, они тягуче шагали, покорно вдыхали трупный запах.

Лишь один из них, молодой человек в офицерской шинели, повязавший нос и рот грязным носовым платком, судорожно, по-лошадиному мотал головой, словно ее обжигали слепни. Глаза его выражали муку, которая сродни безумию.

Военнопленные ставили на землю носилки и, прежде чем начать снимать трупы, раздумывая, стояли над ними, — у некоторых тел отделились руки, ноги, и немцы соображали, какому трупу принадлежит та или другая конечность, прикладывали ее к телу. Большинство мертвецов были полураздеты, в белье, некоторые в брюках военного образца. Один был совершенно

голый, с кричащим открытым ртом, с запавшим, соединившимся с позвоночником животом, с рыжеватыми волосами на половых частях, с тонкими и худыми ногами.

Невозможно было представить себе, что эти трупы, с прорубленными яминами ртов и глазниц, были недавно живыми людьми с именами, с местожительством, говорившими: «Милая ты, славная, поцелуй, смотри, не забывай», мечтавшими о кружке пива, курившими цигарки.

Видимо, только офицер с повязанным ртом ощущал это.

Но именно он особо раздражал женщин, стоявших у входа в подвал, и они живо следили за ним и безразлично смотрели на остальных военнопленных, из которых двое были одеты в шинели со светлыми пятнами от споротых эсэсовских эмблем.

— А, отворачиваешься, — бормотала приземистая женщина, державшая за руку мальчишку, следя за офицером.

Немец в офицерской шинели ощутил на себе давление медленного, жадного взгляда, которым следила за ним русская женщина. Чувство ненависти, возникнув, искало и не могло не найти своего приложения, как не может не найти

приложения электрическая сила, собранная в грозовой туче, остановившейся над лесом, слепо выбирающая ствол дерева для испепеляющего удара.

Напарником немца в офицерской шинели был маленький солдат с шеей, обмотанной вафельным полотенцем, с ногами, завернутыми в мешки, обвязанные телефонным проводом.

Такими недобрыми были взгляды людей, молча стоявших возле подвала, что немцы с облегчением шли в темный подвал и не спешили выходить из него, предпочитали тьму и зловоние наружному воздуху и дневному свету.

Когда немцы шли к подвалу с пустыми носилками, послышалась знакомая им матерная русская брань.

Пленные шли к подвалу, не ускоряя шага, животным инстинктом чувствуя, что стоит им сделать торопливое движение, и толпа кинется на них.

Немец в офицерской шинели вскрикнул, и часовой недовольно сказал:

— Пацан, зачем камень кидаешь, ты, что ли, будешь за фрица носить, если он свалится?

В подвале солдаты переговаривались:

— Достается пока одному обер-лейтенанту.

— Ты заметил бабу, все смотрит на него.

Из темноты подвала чей-то голос сказал:

— Обер-лейтенант, вы бы разок остались в подвале, начнут с вас, а кончат нами.

Офицер сонным голосом забормотал:

— Нет-нет, нельзя прятаться, это Страшный суд. — И, обращаясь к своему напарнику, добавил: — Пошли, пошли, пошли.

В очередной выход из подвала офицер и его напарник шагали несколько быстрей обычного — груз был легче. На носилках лежал труп девушки-подростка. Мертвое тело съежилось, ссохлось, и только светлые растрепанные волосы сохранили молочную, пшеничную прелесть, рассыпались вокруг ужасного, черно-коричневого лица умерщвленной птицы. Толпа негромко ахнула.

Пронзительно взвыл голос приземистой женщины, и словно сверкнувший нож вспорол холодное пространство.

— Деточка! Деточка! Деточка ты моя золотая!

Этот крик по чужому ребенку потряс людей. Женщина стала расправлять еще сохранившие следы завивки волосы на голове трупа. Она всматривалась в лицо с кривым, окаменевшим ртом и видела, как только мать могла одновре-

менно видеть, и эти ужасные черты, и то живое и милое лицо, которое улыбалось ей когда-то из пеленочки.

Женщина поднялась на ноги. Она шагнула к немцу, и все заметили это, — глаза ее смотрели на него и одновременно искали на земле кирпич, не намертво смерзшийся с другими кирпичами, такой, который могла бы отодрать ее большая, исковерканная страшным трудом, ледяной водой, кипятком и щелоком рука.

Неизбежность того, что произойдет, чувствовал часовой и не мог остановить женщину, потому что она была сильней, чем он и его автомат. Немцы не могли отвести от нее глаз, и дети жадно и нетерпеливо глядели на нее.

А женщина уже ничего не видела, кроме лица немца с повязанным ртом. Не понимая, что делается с ней, неся ту силу, которая подчиняла себе все вокруг, и сама подчиняясь этой силе, она нащупала в кармане своего ватника кусок подаренного ей накануне красноармейцем хлеба, протянула его немцу и сказала:

— На, получай, на, жри.

Потом она сама не могла понять, как это случилось, почему она так сделала. В тяжелые часы обиды, беспомощности, злобы, а всего этого было

много в ее жизни, — подравшись с соседкой, обвинившей ее в краже пузырька с постным маслом, выгнанная из кабинета председателем райсовета, не желавшим слушать ее квартирных жалоб, переживая горе и обиду, когда сын, женившись, стал выживать ее из комнаты и когда беременная невестка обозвала ее старой курвой, — она сильно расстраивалась и не могла спать. Как-то, лежа ночью на койке, расстроенная и злая, она вспомнила про это зимнее утро, подумала: «Была я дура и есть дура».

50

В штаб танкового корпуса Новикова стали поступать тревожные сведения от командиров бригад. Разведка обнаружила новые, не участвовавшие в боях танковые и артиллерийские части немцев, видимо, противник выдвигал резервы из глубины.

Эти сведения беспокоили Новикова: передовые части двигались, не обеспечивая флангов, и, если бы противнику удалось перерезать немногочисленные зимние дороги, танки остались бы без поддержки пехоты, без горючего.

Новиков обсуждал положение с Гетмановым, он считал, что необходимо срочно подтянуть отставшие тылы и на короткое время задержать движение танков. Гетманову очень хотелось, чтобы корпус положил начало освобождению Украины. Они решили, что Новиков выедет в части — на месте проверит положение, а Гетманов подгонит отставшие тылы.

Новиков перед выездом в бригады позвонил заместителю командующего фронтом, доложил о положении. Он заранее знал ответ замкомандующего, который, конечно, не возьмет на себя

ответственность: не остановит корпус и не предложит Новикову продолжать движение.

И действительно, замкомандующего велел срочно запросить данные о противнике во фронтовом разведывательном отделе, обещал доложить о разговоре с Новиковым командующему.

После этого Новиков связался с соседом, командиром стрелкового корпуса Молоковым. Молоков был человек грубый, раздражительный и всегда подозревал соседей в том, что они дают о нем командующему фронтом неблагоприятную информацию. Они поругались и даже обменялись матюками, правда, не обращенными непосредственно к личностям, а к возрастающему разрыву между танками и пехотой. Новиков позвонил соседу слева, командиру артиллерийской дивизии.

Командир артиллерийской дивизии сказал, что без приказа фронта он дальше двигаться не будет.

Новиков понимал его соображения, — артиллерист не хотел ограничиваться вспомогательной ролью, обеспечивать бросок танков, сам желал осуществлять бросок.

Как только кончился разговор с артиллеристом, к Новикову вошел начальник штаба. Никогда Но-

виков не видел Неудобнова таким торопливым и встревоженным.

— Товарищ полковник, — сказал он, — мне звонил начальник штаба авиационной армии, они собираются перебазировать поддерживающие нас самолеты на левый фланг фронта.

— Это как же, обалдели они, что ли? — крикнул Новиков.

— Да очень просто, — сказал Неудобнов, — кое-кто не заинтересован, чтобы мы первыми вступили на Украину. Получить «Суворова» и «Богдана Хмельницкого» за это дело желающих много. Без авиационного прикрытия корпус придется остановить.

— Сейчас буду звонить командующему, — сказал Новиков.

Но с командующим его не соединили, — Еременко выехал в армию Толбухина. Заместитель командующего, которому снова позвонил Новиков, никакого решения принять не хотел. Он лишь удивился, почему Новиков не выехал в части.

Новиков сказал замкомандующему:

— Товарищ генерал-лейтенант, что же это, вот так, без согласования, лишить авиационного прикрытия корпус, вырвавшийся на запад даль-

ше всех частей фронта?

Замкомандующего раздраженно сказал ему:

— Командование лучше видит, как использовать авиацию, не один ваш корпус участвует в наступлении.

Новиков грубо сказал:

— Что я танкистам скажу, когда их начнут долбать с воздуха? Чем я их прикрою — директивой фронта?

Замкомандующего не вскипел, а примирительно сказал:

— Езжайте в части, я доложу положение командующему.

Едва Новиков положил трубку, вошел Гетманов, — он был уже в шинели и папахе. Увидя Новикова, он сокрушенно развел руками.

— Петр Павлович, я думал, ты уже уехал.

Он мягко, ласково проговорил:

— Вот тылы отстали, а зам по тылу мне говорит, — не надо было под раненых и больных немцев машины давать, жечь дефицитный бензин.

Он лукаво поглядел на Новикова:

— И в самом деле, мы не секция Коминтерна, а танковый корпус.

— При чем тут Коминтерн? — спросил Нови-

ков.

— Поезжайте, поезжайте, товарищ полковник, — с мольбой сказал Неудобнов, — дорога минута. Я тут обеспечу все возможное в переговорах со штабом фронта.

После ночного рассказа Даренского Новиков все вглядывался в лицо начальника штаба, следил за его движениями, голосом. «Неужели вот этой самой рукой?» — думал он, когда Неудобнов брал ложку, вилку с насаженным на нее соленым огурцом, телефонную трубку, красный карандаш, спички.

Но сейчас Новиков не смотрел на руку Неудобнова.

Никогда Новиков не видел Неудобнова таким ласковым, растревоженным, даже милым.

Неудобнов и Гетманов душу готовы были положить, чтобы корпус первым пересек границу Украины, чтобы бригады безостановочно продолжали двигаться на запад.

Они ради этого готовы были пойти на любой риск, но одним лишь не хотели рисковать — принять на себя ответственность в случае неудачи.

Новикова невольно захватила лихорадка, — и ему хотелось радировать во фронт, что передовые подразделения корпуса первыми пересекли

границу Украины. Это событие не имело никакого военного значения, не причинило бы противнику особого ущерба. Но Новиков хотел этого, «хотел ради военной славы, благодарности командующего, ордена, похвалы Василевского, ради приказа Сталина, который прочтут по радио, ради генеральского звания и зависти соседей. Никогда подобные чувства и мысли не определяли его действий, но, может быть, потому именно сейчас они оказались так сильны.

В этом желании не было ничего дурного… Как и в Сталинграде, как и в 1941 году, беспощадны были морозы, по-прежнему усталость ломала солдатские кости, по-прежнему страшна была смерть. Но уже другим воздухом начинала дышать война.

И Новиков, не понимая этого, удивлялся тому, что впервые он так легко, с полуслова, понимал Гетманова и Неудобнова, не раздражался, не обижался, так естественно хотел того же, чего хотели они.

Ускоренное боевое движение его танков действительно привело бы к тому, что оккупантов на несколько часов раньше изгнали бы из десятков украинских деревень, и он бы радовался, видя взволнованные лица стариков и детей, и

слезы выступали бы на его глазах, когда старая крестьянка обняла бы его и поцеловала, как сына. И в то же время зрели новые страсти, новое главное направление определялось в духовном движении войны, и то направление, что было главным в 1941 году и в боях на Сталинградском обрыве, сохраняясь и существуя, становилось незаметно вспомогательным.

Тайну перевоплощения войны первым понял человек, 3 июля 1941 года произнесший: «Братья и сестры, друзья мои…»

Странно, разделяя волнение Гетманова и Неудобнова, торопивших его, Новиков, сам не зная почему, оттягивал свой отъезд. Уже сидя в машине, он понял причину этого — он ждал Женю.

Больше трех недель не получал он писем от Евгении Николаевны. Возвращаясь из поездки в части, он поглядывал, не встречает ли его на штабном крыльце Женя. Она стала участницей его жизни. Она была с ним, когда он говорил с командирами бригад, и когда его вызывал на провод штаб фронта, и когда он в танке вырвался на переднюю линию и танк, как молодая лошадь, дрожал от немецких разрывов. Он рассказывал Гетманову о своем детстве, а казалось, что рассказывает он ей. Он думал: «Ох, и пахнет от меня

винищем, Женя бы сразу унюхала». Иногда он думал — вот бы она посмотрела. Он с тревогой задумывался, — а что она скажет, узнав, что я отдал под трибунал майора?

Он входил в землянку на передовой НП, и среди табачного дыма, голосов телефонистов, пальбы и бомбовых разрывов его вдруг обжигала мысль о ней…

Иногда его охватывала ревность к ее прежней жизни, и он становился мрачен. Иногда она снилась ему, и он просыпался и не мог уснуть.

То ему казалось, что любовь их будет до гроба, то накатывала тревога: он останется снова один.

Садясь в машину, он оглянулся на дорогу, ведущую к Волге. Дорога была пустынна. Потом он озлился, — пора было ей давно быть здесь. А может быть, она заболела? И он снова вспомнил, как собрался в тридцать девятом году стреляться, узнав, что она вышла замуж. Отчего он ее любит? Да ведь были у него бабы не хуже. То ли это счастье, то ли вроде болезни — безотступно думать о человеке. Хорошо, что он ни с кем не связался из штабных девушек. Приедет, а у него все чисто. Правда, был и с ним грех, недели три назад. Вот она по дороге остановится, заночует в той грешной избе, и молодая хозяйка разговорится с

Женей, опишет его, скажет: «Славный этот полковник». Что за чушь в голову лезет, конца нет…

51

На следующий день, к полудню Новиков возвращался из поездки в части. От беспрерывной тряски по разбитой танковыми гусеницами дороге, от мерзлых ухабов у него болела поясница, спина, затылок, казалось, что танкисты заразили его изнеможением, бессонной многосуточной одурью.

Подъезжая к штабу, он вглядывался в людей, стоявших на крыльце. Он увидел: Евгения Николаевна стояла с Гетмановым и смотрела на подъезжавшую машину. Ожгло огнем, безумие ударило в голову, он задохнулся от почти равной страданию радости, рванулся, чтоб на ходу выпрыгнуть из машины.

А Вершков, сидевший на заднем сиденье, сказал:

— Комиссар со своей докторшей воздухом дышут, хорошо бы фото домой послать, то-то радость будет жене.

Новиков вошел в штаб, взял протянутое Гетмановым письмо, повертел, узнал почерк Евгении Николаевны, сунул письмо в карман.

— Ну вот, слушай, докладываю, — сказал он

Гетманову.

— А письма не читаешь, разлюбил?

— Ладно, успею.

Вошел Неудобнов, и Новиков сказал:

— Все дело в людях. В танках во время боя засыпают. Валятся совсем. И командиры бригад в том числе. Карпов еще кое-как, а Белов разговаривал со мной и заснул, — пятые сутки на ходу. Механики-водители на ходу спят, от усталости есть перестали.

— А как ты, Петр Павлович, оцениваешь обстановку? — спросил Гетманов.

— Немец не активен. Ждать на нашем участке контрудара не приходится. У них тут пшик, пусто. Фреттер Пико. Фик.

Он говорил, а пальцы его ощупывали конверт. На мгновение он отпускал конверт и снова быстро прихватывал его, казалось, письмо уйдет из кармана.

— Ну вот, понятно, ясно, — сказал Гетманов, — теперь я тебе докладываю: мы тут с генералом до самого неба дотянулись. Говорил я с Никитой Сергеевичем, обещал авиацию с нашего участка не снимать.

— Он оперативное руководство не осуществляет, — сказал Новиков и стал расклеивать в

кармане письмо.

— Ну, это как сказать, — проговорил Гетманов, — только что генерал получил подтверждение из штаба воздушной: авиация с нами остается.

— Тылы пройдут, — торопливо сказал Неудобнов, — дороги неплохие. Главное — это ваше решение, товарищ подполковник.

«В подполковники меня разжаловал, волнуется», — подумал Новиков.

— Да, панове, — сказал Гетманов, — сдается, что мы первыми начнем освобождать неньку Украину. Я сказал Никите Сергеевичу: танкисты осаждают командование, мечтают ребята называться Украинским корпусом.

Раздражаясь от фальшивых слов Гетманова, Новиков сказал:

— Мечтают они об одном: поспать. Пятые сутки, понимаете, не спят.

— Значит, решено, продолжаем движение, рвем вперед, Петр Павлович? — сказал Гетманов.

Новиков наполовину раскрыл конверт, просунул в него два пальца, ощупал письмо, все заныло внутри от желания увидеть знакомый почерк.

— Я думаю такое принять решение, — сказал он, — дать людям десять часов отдохнуть, пусть

хоть немножко силенки подберут.

— Ого, — сказал Неудобнов, — проспим мы за эти десять часов все на свете.

— Постой, постой, давай разберемся, — сказал Гетманов, и его щеки, уши, шея стали понемногу краснеть.

— Вот так, уже разобрался, — сказал, посмеиваясь, Новиков.

И вдруг Гетманов взорвался.

— Да мать их... дело какое — не выспались! — крикнул он. — Успеют выспаться! Черт их не возьмет. Из-за этого остановить всю махину на десять часов? Я против этого слюнтяйства, Петр Павлович! То ты задержал ввод корпуса в прорыв, то спать людей укладываешь! Это уж превращается в систему порочную! Я буду докладывать Военному совету фронта. Не яслями заведуешь!

— Постой, постой, — сказал Новиков, — ведь ты меня целовал за то, что я не ввел танки в прорыв, пока не подавил артиллерии противника. Ты напиши об этом в докладной.

— Я тебя за это целовал? — сказал пораженный Гетманов. — Да ты бредишь просто!

Неожиданно он произнес:

— Я тебе прямо скажу, меня как коммуниста тревожит, что ты, человек чистых пролетарских

кровей, все время находишься под чуждым влиянием.

— Ах вот как, — с раскатом сказал Новиков, — ладно, понятно.

И, встав, расправив плечи, злобно сказал:

— Я корпусом командую. Как я сказал, так и будет. А доклады, повести и романы обо мне пишите, товарищ Гетманов, хоть самому Сталину.

Он вышел в соседнюю комнату.

Новиков отложил прочитанное письмо и засвистел, как, бывало, свистел мальчиком, когда, стоя под соседским окном, вызывал товарища гулять… Наверное, лет тридцать он не помнил об этом свисте и вдруг присвистнул…

Потом он с любопытством поглядел в окно: нет, светло, ночи не было. Потом он истерично, радостно проговорил: спасибо, спасибо, за все спасибо.

Потом ему показалось, что он сейчас упадет мертвым, но он не упал, прошелся по комнате. Потом он посмотрел на письмо, белевшее на столе, показалось — это пустой чехол, шкурка, из которой выползла злая гадючка, и он провел рукой по бокам, по груди. Он не нащупал ее, уже вползла, залезла, крапивила сердце огнем.

Потом он стоял у окна — шоферы смеялись в

сторону связистки Маруси, шедшей в отхожее место. Механик-водитель штабного танка нес ведро от колодца, воробьи занимались своим воробьиным делом в соломе, лежавшей у входа в хозяйский коровник. Женя говорила ему, что ее любимая птица воробей… А он горел, как дом горит: рушились балки, проваливались потолки, падала посуда, опрокидывались шкафы, книги, подушки, как голуби, кувыркаясь, летели в искрах, в дыму… что ж это: «Я всю жизнь буду тебе благодарна за все чистое, высокое, но что я могу сделать с собой, прошлая жизнь сильнее меня, ее нельзя убить, забыть… не обвиняй меня, не потому, что я не виновата, а потому, что ни я, ни ты не знаем, в чем моя вина… Прости меня, прости, я плачу над нами обоими».

Плачет! Бешенство охватило его. Сыпнотифозная вошь! Гадина! Бить ее по зубам, по глазам, проломить рукояткой револьвера сучью переносицу…

И с совершенно невыносимой внезапностью, тут же, вмиг, пришла беспомощность, — никто, никакая сила в мире не могут помочь, только Женя, но она-то, она-то и погубила.

И он, повернувшись лицом в ту сторону, откуда она должна была приехать к нему, говорил:

— Женечка, что ж это ты со мной делаешь? Женечка, ты слышишь, Женечка, посмотри ты на меня, посмотри, что со мной делается.

Он протянул к ней руки.

Потом он думал: для чего же, ведь столько безнадежных лет ждал, но раз уж решилась, ведь не девочка, если годы тянула, а потом решилась, — надо было понимать, ведь решилась…

А через несколько секунд он вновь искал себе спасение в ненависти: «Конечно, конечно, не хотела, пока был зауряд-майором, болтался на сопках, в Никольске-Уссурийском, а решилась, когда пошел в начальство, в генеральши захотела, все вы, бабы, одинаковы». И тут же он видел нелепость этих мыслей, нет-нет, хорошо бы так. Ведь ушла, вернулась к человеку, который в лагерь, на Колыму пойдет, какая тут выгода… Русские женщины, стихи Некрасова; не любит меня, любит его… нет, не любит его, жалеет его, просто жалеет. А меня не жалеет? Да мне сейчас хуже, чем всем вместе взятым, что на Лубянке сидят и во всех лагерях, во всех госпиталях с оторванными ногами и руками, да я не задумаюсь, хоть сейчас в лагерь, тогда кого выберешь? Его! Одной породы, а я чужой, она так и звала меня: чужой, чужой. Конечно, хоть маршал, а все равно

мужик, шахтер, неинтеллигентный человек, в ее хреновой живописи не понимаю… Он громко, с ненавистью спросил:

— Так зачем же, зачем же?

Он вынул из заднего кармана револьвер, взвесил на ладони.

— И не потому застрелюсь, что жить не могу, а чтобы ты всю жизнь мучилась, чтобы тебя, блядину, совесть заела.

Потом он спрятал револьвер.

— Забудет меня через неделю.

Самому надо забыть, не вспомнить, не оглянуться!

Он подошел к столу, стал перечитывать письмо: «Бедный мой, милый, хороший…» Ужасными были не жестокие слова, а ласковые, жалостливые, унижающие. От них делалось совершенно невыносимо, даже дышать невозможно становилось.

Он увидел ее груди, плечи, колени. Вот едет она к этому жалкому Крымову. «Ничего не могу с собой поделать». Едет в тесноте, в духоте, ее спрашивают. «К мужу», — говорит. И глаза кроткие, покорные, собачьи, грустные.

Из этого окна он смотрел, не едет ли к нему она. Плечи затряслись, он засопел, залаял, давясь,

вдавливая в себя прущие наружу рыдания. Вспомнил, что велел привезти для нее из фронтового интендантства шоколадных конфет, шутя сказал Вершкову: «Голову оторву, если тронешь».

И снова бормотал:

— Видишь, миленькая моя, Женечка моя, что ты со мной делаешь, да пожалей ты меня хоть трошечки.

Он быстро вытащил из-под койки чемодан, достал письма и фотографии Евгении Николаевны, и те, что возил с собой много лет, и ту фотографию, что она прислала ему в последнем письме, и ту, самую первую, маленькую, для паспорта, завернутую в целлофановую бумагу, и стал рвать их сильными, большими пальцами. Он раздирал в клочья написанные ею письма и в мелькании строчек, по отдельному кусочку фразы на бумажном клочке узнавал десятки раз читанные и перечитанные, сводившие с ума слова, смотрел, как исчезало лицо, гибли губы, глаза, шея на разодранных фотографиях. Он торопился, спешил. От этого становилось ему все легче, казалось, он враз вырвал, выдрал ее из себя, затаптывал ее целиком, освобождался от ведьмы.

Жил же он без нее. Осилит! Через год пройдет мимо нее, сердце не дрогнет. Ну вот, все! «Нужна

ты мне, как пьянице пробка!» И едва он подумал это, как ощутил нелепость своей надежды. Из сердца ничего не вырвешь, сердце не бумажное, не чернилами в нем жизнь записана, не порвешь его в клочки, не выдерешь из себя долгих лет, впечатавшихся в мозг, душу.

Он сделал ее участницей своей работы, своей беды, мыслей, свидетельницей дней своей слабости, силы…

И порванные письма не исчезли, десятки раз читанные слова остались в памяти, и глаза ее по-прежнему смотрели на него с порванных фотографий.

Он открыл шкаф, налил до краев стакан водки, выпил, закурил папиросу, вновь прикурил, хотя папироса горела. Горе зашумело в голове, обожгло внутренности.

И он снова громко спросил:

— Женечка, маленькая, миленькая, что ты наделала, что ты наделала, как ты могла?

Потом он сунул клочья бумаги в чемодан, поставил в шкаф бутылку, подумал: «От водки чуток легче».

Вот скоро танки войдут в Донбасс, он приедет в родной поселок, найдет место, где похоронены старики; пусть отец погордится Петькой, пусть

мать пожалеет своего горького сынка. Война кончится, он приедет к брату, будет жить в его семье, племянница скажет: «Дядя Петя, что ты молчишь?»

Вдруг ему вспомнилось детство, — живший у них мохнатый пес ходил на собачью свадьбу и вернулся искусанный, с вырванной шерстью, со сжеванным ухом, с отеком головы, от которого у него заплыл глаз и покривило губу, стоял у крыльца, печально опустив хвост, и отец, поглядев на него, добродушно спросил:

— Что, пошаферовал?

Да, пошаферовал…

В комнату вошел Вершков.

— Отдыхаете, товарищ полковник?

— Да, немного.

Он посмотрел на часы, подумал: «До семи часов завтрашнего дня приостановить движение. Шифровкой передать по радио».

— Я снова в бригады поеду, — сказал он Вершкову.

Быстрая езда немного отвлекла сердце. Шофер гнал «виллис» со скоростью восемьдесят километров в час, а дорога была совсем плохой, машину подбрасывало, швыряло, заносило.

Каждый раз водитель пугался, жалобно взгля-

дом просил у Новикова разрешения снизить скорость.

Он вошел в штаб танковой бригады. Как все изменилось за короткие часы! Как изменился Макаров — словно несколько лет с ним не виделись.

Макаров, забыв об уставных правилах, недоуменно развел руками, сказал:

— Товарищ полковник, только что Гетманов передал приказ командующего фронтом: распоряжение о дневке отменить, продолжать наступление.

52

Через три недели танковый корпус Новикова был выведен во фронтовой резерв — корпусу предстояло пополнить личный состав, отремонтировать машины. Люди и машины устали, пройдя с боями четыреста километров.

Одновременно с приказом о выходе в резерв было получено распоряжение о вызове полковника Новикова в Москву, в Генштаб и в Главное управление высших командных кадров, и не совсем было ясно, вернется ли он в корпус.

На время его отсутствия командование временно было возложено на генерал-майора Неудобнова. За несколько дней до этого бригадный комиссар Гетманов был извещен о том, что Центральный Комитет партии решил в ближайшем будущем отозвать его из кадров — ему предстояло работать секретарем обкома в одной из освобожденных областей Донбасса; работе этой Центральный Комитет придавал особое значение.

Приказ о вызове Новикова в Москву вызвал толки в штабе фронта и в Управлении бронетанковых сил.

Одни говорили, что вызов этот ничего не означает и что Новиков, побыв недолгое время в Москве, вернется обратно и примет командование корпусом.

Вторые говорили, что дело связано с ошибочным распоряжением о десятичасовом отдыхе, отданным Новиковым в разгар наступления, и с заминкой, допущенной им при вводе корпуса в прорыв. Другие считали, что он не сработался с комиссаром корпуса и начальником штаба, имевшими большие заслуги.

Секретарь Военного совета фронта, человек информированный, сказал, что кое-кем Новикову вменялись в вину компрометирующие личные связи. Одно время секретарь Военного совета считал, что беды Новикова связаны с неладами, возникшими между ним и комиссаром корпуса. Но, видимо, это оказалось не так. Секретарь Военного совета своими глазами читал письмо Гетманова, написанное в самые высшие инстанции. В этом письме Гетманов возражал против отстранения Новикова от командования корпусом, писал, что Новиков замечательный командир, обладающий выдающимся военным дарованием, человек безупречный в политическом и моральном отношении.

Но особо удивительно, что в ночь получения приказа об отзыве в Москву Новиков впервые спокойно спал до утра, после многих мучительных бессонных ночей.

53

Казалось, грохочущий поезд нес Штрума, и странно человеку в поезде было думать и вспоминать о домашней тишине. Время стало плотным, наполнилось событиями, людьми, телефонными звонками. День, когда Шишаков приехал к Штруму домой, внимательный, любезный, с расспросами о здоровье, с шутливыми и дружескими объяснениями, предающими забвению все происшедшее, казалось, ушел в десятилетнюю давность.

Штрум думал, что люди, старавшиеся погубить его, будут стыдиться смотреть в его сторону, но они в день его прихода в институт радостно здоровались с ним, заглядывали ему в глаза взором, полным преданности и дружбы. Особенно удивительно было то, что эти люди были действительно искренни, они действительно желали теперь Штруму одного лишь добра.

Он теперь снова слышал много хороших слов о своей работе. Маленков вызвал его и, уставившись на него пристальными, умными черными глазами, проговорил с ним сорок минут. Штрума поразило, что Маленков был в курсе его работы и

довольно свободно пользовался специальными терминами.

Штрума удивили слова, сказанные на прощанье Маленковым: «Мы будем огорчены, если в какой-либо мере помешаем вашей работе в области физической теории. Мы отлично понимаем — без теории нет практики».

Он совсем не ожидал услышать подобные слова.

Странно было на следующий день, после встречи с Маленковым, видеть беспокойный, спрашивающий взгляд Алексея Алексеевича и вспоминать чувство обиды и унижения, пережитое, когда Шишаков, устроив дома совещание, не позвал Штрума.

Снова был мил и сердечен Марков, острил и посмеивался Савостьянов. Гуревич пришел в лабораторию, обнял Штрума, сказал: «Как я рад, как я рад, вы Веньямин Счастливый».

А поезд все нес его.

Штрума запросили, не находит ли он нужным создать на базе своей лаборатории самостоятельное исследовательское учреждение. Он на специальном самолете летал на Урал, вместе с ним летел заместитель наркома. За ним закрепили автомашину, и Людмила Николаевна ездила в

лимитный магазин на машине, подвозила тех самых женщин, которые старались ее не узнавать несколько недель назад.

Все то, что казалось раньше сложным, запутанным, совершалось легко, само собой.

Молодой Ландесман был растроган: Ковченко позвонил ему домой по телефону, Дубенков в течение часа оформил его поступление в лабораторию Штрума.

Анна Наумовна Вайспапир, приехав из Казани, рассказала Штруму, что ее вызов и пропуск были оформлены в течение двух дней, а в Москве Ковченко прислал за ней машину на вокзал. Анну Степановну Дубенков письменно известил о восстановлении на работе и о том, что вынужденный прогул, по договоренности с заместителем директора, ей оплатят полностью.

Новых работников беспрерывно кормили. Они, смеясь, говорили, что вся их работа сводится к тому, что их с утра до вечера возят по «закрытым» столовым и кормят. Но их работа, конечно, была не только в этом.

Установка, смонтированная в лаборатории Штрума, уже не казалась ему такой совершенной, он думал, что через год она будет вызывать улыбку, как стеффенсоновский паровозик.

Все, что происходило в жизни Штрума, казалось естественным и в то же время казалось совершенно противоестественно. В самом деле — работа Штрума действительно была значительна и интересна, — почему бы не похвалить ее? И Ландесман был талантливым ученым, — почему бы ему не работать в институте? И Анна Наумовна была незаменимым человеком, зачем же ей было торчать в Казани?

И в то же время Штрум понимал, что не будь сталинского телефонного звонка, никто бы в институте не хвалил выдающиеся труды Виктора Павловича и Ландесман со всеми своими талантами болтался бы без дела.

Но ведь звонок Сталина не был случайностью, не был прихотью, капризом. Ведь Сталин — это государство, а у государства не бывает прихотей и капризов.

Штруму казалось, что организационные дела — прием новых сотрудников, планы, размещение заказов на аппаратуру, совещания — займут все его время. Но автомобили катили быстро, заседания были короткими, и на них никто не опаздывал, его пожелания реализовывались легко, и самые ценные утренние часы Штрум постоянно проводил в лаборатории. В эти самые

важные рабочие часы он был свободен. Никто не стеснял его, он думал о том, что интересовало его. Его наука оставалась его наукой. Это совсем не походило на то, что произошло с художником в гоголевской повести «Портрет».

На его научные интересы никто не покушался, а он опасался этого больше всего. «Я действительно свободен», — удивлялся он.

Виктор Павлович как-то вспомнил казанские рассуждения инженера Артелева об обеспеченности военных заводов сырьем, энергией, станками, о том, что там отсутствует волокита…

«Ясно, — подумал Виктор Павлович, — в стиле «ковер-самолет», в отсутствии бюрократизма как раз и проявляется бюрократизм. То, что служит главным целям государства, мчится экспрессом, сила бюрократизма имеет в себе две противоположности, — она способна остановить любое движение, но она же может придать движению невиданное ускорение, хоть вылетай за пределы земного тяготения».

Но о вечерних разговорах в маленькой казанской комнатке он теперь вспоминал нечасто, равнодушно, и Мадьяров не казался ему таким замечательным, умным человеком. Теперь его не тревожила неотступно мысль о судьбе Мадь-

ярова, не вспоминался так часто и упорно страх Каримова перед Мадьяровым, страх Мадьярова перед Каримовым.

Все происходившее невольно стало казаться естественным и законным. Правилом стала жизнь, которой жил Штрум. Штрум стал привыкать к ней. Исключением стала казаться жизнь, которая была раньше, и Штрум стал отвыкать от нее. Так ли уж верны были рассуждения Артелева?

Раньше, едва входя в отдел кадров, он раздражался, нервничал, ощущая на себе взгляд Дубенкова. Но Дубенков оказался услужливым и добродушным человеком.

Он звонил Штруму по телефону и говорил:

— Беспокоит Дубенков. Я не помешал, Виктор Павлович?

Ковченко представлялся ему вероломным и зловещим интриганом, способным погубить всякого, кто станет на его пути, демагогом, равнодушным к живой сути работы, пришедшим из мира таинственных, неписаных инструкций. Но оказалось: Ковченко обладал и совершенно иными чертами. Он заходил ежедневно в лабораторию Штрума, вел себя запросто, шутил с Анной Наумовной и оказался заправским демо-

кратом, — здоровался со всеми за руку, беседовал со слесарями, механиками, он сам в молодости работал токарем в цехе.

Шишакова Штрум не любил много лет. Он приехал обедать к Алексею Алексеевичу, и тот оказался хлебосолом и гастрономом, острословом, анекдотистом, любителем хорошего коньяка и коллекционером гравюр. А главное — он оказался поклонником теории Штрума.

«Я победил», — думал Штрум. Но он понимал, конечно, что одержал не высшую победу, что люди, с которыми он имел дело, изменили свое отношение к нему, стали помогать, а не мешать ему вовсе не потому, что он очаровал их силой ума, таланта либо еще какой-то там своей силой.

И все же он радовался. Он победил!

Почти каждый вечер по радио передавались сообщения «В последний час». Наступление советских войск все ширилось. И Виктору Павловичу казалось теперь так просто и легко связать закономерность своей жизни с закономерным ходом войны, с победой народа, армии, государства.

Но он понимал, что не так уж все просто, посмеивался над своим собственным желанием увидеть лишь одно азбучно простое: «И тут Ста-

лин, и там Сталин. Да здравствует Сталин».

Администраторы и партийные деятели, казалось ему, и в кругу семьи говорят о чистоте кадров, подписывают красным карандашом бумаги, читают женам вслух «Краткий курс» истории партии, а во сне видят временные правила и обязательные инструкции.

Неожиданно эти люди открылись Штруму с другой, человеческой стороны.

Секретарь парткома Рамсков оказался рыболовом, — до войны он с женой и сыновьями путешествовал в лодке по уральским рекам.

— Эх, Виктор Павлович, — сказал он, — есть ли что-нибудь лучше в жизни: выйдешь на рассвете, роса блестит, песочек на берегу холодный, размотываешь удочки, и вода, темная еще, замкнутая, что-то она тебе сулит… Вот война кончится, я вас втяну в рыболовное братство…

Ковченко как-то разговаривал со Штрумом о детских болезнях. Штрум удивился его познаниям в способах лечения рахита, ангины. Оказалось, что у Касьяна Терентьевича, кроме двух родных детей, живет усыновленный мальчик-испанец. Маленький испанец часто болел, и Касьян Терентьевич сам занимался его лечением.

И даже сухой Свечин рассказывал Штруму о

своей коллекции кактусов, которую ему удалось спасти в холодную зиму 1941 года.

«А, ей-богу, не такие уж плохие люди, — думал Штрум. — В каждом человеке есть человеческое».

Конечно, Штрум в глубине души понимал, что все эти изменения, в общем-то, ничего не меняют. Он не был дураком, он не был циником, он умел думать.

В эти дни ему вспомнился рассказ Крымова о своем старом товарище, старшем следователе военной прокуратуры, Багрянове. Багрянов был арестован в 1937 году, а в 1939 году, в короткую пору бериевского либерализма, выпущен из лагеря и возвращен в Москву.

Крымов рассказывал, как Багрянов пришел к нему ночью прямо с вокзала, в рваной рубахе и в рваных брюках, с лагерной справкой в кармане.

В эту первую ночь он произносил свободолюбивые речи, сострадал всем лагерникам, собирался стать пчеловодом и садовником.

Но постепенно, по мере возвращения к прежней жизни, его речи менялись.

Крымов со смехом рассказывал, как постепенно, по ступеням, менялась идеология Багрянова. Ему вернули военные штаны и китель, и этой

фазе соответствовали все еще либеральные взгляды. Но все же он уж не обличал, подобно Дантону, зло.

Но вот ему взамен лагерной справки выдали московский паспорт. И сразу же в нем ощутилось желание стать на гегелевские позиции: «Все действительное разумно». Потом ему вернули квартиру, и он заговорил по-новому, сказал, что в лагерях немало осужденных за дело врагов Советского государства. Потом ему вернули ордена. Потом его восстановили в партии и восстановили его партийный стаж.

Как раз в эту пору у Крымова начались партийные неприятности. Багрянов перестал звонить ему по телефону. Однажды Крымов встретился с ним, — Багрянов с двумя ромбами на вороте гимнастерки выходил из машины, остановившейся у подъезда союзной прокуратуры. Это было через восемь месяцев после того, как человек в рваной сорочке, с лагерной справкой в кармане, ночью, сидя у Крымова, произносил речи о невинно осужденных и о слепом насилии.

— А я-то думал, послушав его в ту ночь, что он навсегда потерян для прокуратуры, — с недоброй усмешкой говорил Крымов.

Конечно, Виктор Павлович не напрасно вспом-

нил эту историю и рассказал ее Наде и Людмиле Николаевне.

Ничто не изменилось в его отношении к людям, погибшим в 1937 году. Он по-прежнему ужасался жестокости Сталина.

Жизнь людей не меняется от того, стал ли некто Штрум пасынком удачи или баловнем ее, люди, погибшие в пору коллективизации, расстрелянные в 1937 году, не воскреснут от того, дадут ли некоему Штруму ордена и лауреатскую медаль или не дадут, приглашают ли его к Маленкову или не включают в список приглашенных пить чай у Шишакова.

Все это Виктор Павлович отлично помнил и понимал. И все же что-то новое появилось в этой памяти и понимании. То ли не было в нем прежнего смятения, прежней тоски по свободе слова и печати, то ли не жгли теперь с прежней силой душу мысли о невинно загубленных людях. Может быть, это было связано с тем, что он теперь не испытывал постоянного острого утреннего, вечернего, ночного страха?

Виктор Павлович понимал, что Ковченко, и Дубенков, и Свечин, и Прасолов, и Шишаков, и Гуревич, и еще многие не стали лучше оттого, что изменили свое отношение к нему. Гавронов,

продолжавший с фанатической упорностью охаивать Штрума и его работу, был честен.

Штрум так и сказал Наде:

— Понимаешь, мне кажется, что во вред себе отстаивать свои черносотенные убеждения все же лучше, чем из карьеристских соображений защищать Герцена и Добролюбова.

Он гордился перед дочерью тем, что контролирует себя, следит за своими мыслями. С ним не случится то, что случилось со многими: успех не повлияет на его взгляды, на его привязанности, на выбор друзей… Напрасно Надя его заподозрила когда-то в подобном грехе.

Старый стреляный воробей. Все менялось в его жизни, но он-то не менялся. Он не менял заношенного костюма, мятых галстуков, туфель со стоптанными каблуками. Он ходил по-прежнему нестриженый, со спутанными волосами, он по-прежнему на самые ответственные заседания приходил небритым.

Он по-прежнему любил беседовать с дворниками и лифтерами. Он по-прежнему свысока, презрительно относился к человеческим слабостям, осуждал робость многих людей. Его утехой была мысль: «Вот я-то не сдался, не пошел на поклон, выстоял, не покаялся. Ко мне пришли».

Часто говорил он жене: «Сколько ничтожеств вокруг! Как люди боятся защищать свое право быть честными, как легко уступают, сколько соглашательства, сколько жалких поступков».

Он даже о Чепыжине как-то подумал с осуждением: «В его чрезмерном увлечении туризмом да альпинизмом — бессознательный страх перед сложностью жизни, а в его уходе из института — сознательный страх перед главным вопросом нашей жизни».

Конечно, что-то все же менялось в нем, он чувствовал это, но он не мог понять, что же именно.

54

Вернувшись на работу, Штрум не застал в лаборатории Соколова. За два дня до прихода Штрума в институт Петр Лаврентьевич заболел воспалением легких.

Штрум узнал, что перед своей болезнью Соколов договорился с Шишаковым о новой работе. Соколова утвердили заведующим вновь организуемой лаборатории. Вообще дела Петра Лаврентьевича шли в гору.

Даже всеведущий Марков не знал истинных причин, заставивших Соколова просить дирекцию о переводе из лаборатории Штрума.

Узнав об уходе Соколова, Виктор Павлович не почувствовал горечи и сожаления, — мысль о встрече с ним, о совместной работе была тяжела.

Чего только не прочел бы Соколов в глазах Виктора Павловича. Конечно, он не имел права думать о жене своего друга так, как думал о ней. Он не имел права тосковать о ней. Он не имел права тайно встречаться с ней.

Расскажи ему кто-либо подобную историю, он был бы возмущен. Обманывать жену! Обманывать друга! Но он тосковал по ней, мечтал о

встречах с ней.

У Людмилы отношения с Марьей Ивановной восстановились. Они имели долгое телефонное объяснение, потом встретились, плакали, каясь одна перед другой в дурных мыслях, подозрениях, неверии в дружбу.

Боже, как сложна и запутанна жизнь! Марья Ивановна, правдивая и чистая Марья Ивановна, не была искренна с Людмилой, покривила душой! Но ведь сделала она это ради своей любви к нему.

Теперь Штрум редко видел Марью Ивановну. Почти все, что он узнавал о ней, шло от Людмилы.

Он узнал, что Соколова выдвигают на Сталинскую премию за работы, опубликованные до войны. Он узнал, что Соколов получил восторженное письмо от молодых английских физиков. Он узнал, что Соколов на ближайших выборах в Академии будет баллотироваться в члены-корреспонденты. Обо всем этом Марья Ивановна рассказала Людмиле. Сам он при коротких встречах с Марьей Ивановной теперь не говорил о Петре Лаврентьевиче.

Деловые волнения, заседания, поездки не могли заглушить его постоянной тоски, ему все

время хотелось ее видеть.

Людмила Николаевна несколько раз говорила ему: «Не могу я понять, почему Соколов так восстановлен против тебя. И Маша мне ничего не может толком объяснить».

Объяснение имелось простое, но, конечно, Марья Ивановна ничего толком не могла объяснить Людмиле. Достаточно, что она рассказала мужу о своем чувстве к Штруму.

Это признание навсегда погубило отношения Штрума и Соколова. Она обещала мужу не видеться больше со Штрумом. Скажи Марья Ивановна хоть слово Людмиле, и он подолгу ничего не будет знать о ней, — где она, что с ней. Ведь они виделись так редко! И ведь встречи их были так коротки! Во время этих встреч они мало разговаривали, ходили по улице, взявшись за руки, либо сидели в скверике на скамейке и молчали.

В пору его горестей и несчастий она с совершенно необычайной чуткостью понимала все, что он переживает. Она угадывала его мысли, она угадывала его поступки, казалось, что она даже заранее знала все, что произойдет с ним. Чем тяжелей на душе было ему, тем мучительней и сильней становилось желание видеть ее. Ему казалось, что в этом полном, совершенном понимании и

есть его нынешнее счастье. Казалось, будь эта женщина рядом с ним, он бы легко перенес все свои страдания. Он был бы с ней счастлив.

Как-то они разговаривали ночью в Казани, в Москве прошли вдвоем по Нескучному саду, однажды посидели несколько минут на скамейке в скверике на Калужской, вот, собственно, и все. Это было прежде. Да вот еще то, что сейчас: несколько раз они говорили по телефону, несколько раз виделись на улице, и об этих коротких свиданиях он не говорил Людмиле.

Но он понимал, что его грех и ее грех не мерился минутами, которые они тайно просидели на скамейке. Грех был немалый: он любил ее. Почему такое огромное место в его жизни заняла она?

Каждое его слово, сказанное жене, было полуправдой. Каждое движение, каждый взгляд, помимо его воли, нес в себе ложь.

Он с деланым безразличием спрашивал у Людмилы Николаевны: «Ну как, звонила тебе твоя подружка, что она, как здоровье Петра Лаврентьевича?»

Он радовался успехам Соколова. Но радовался он не от хорошего чувства к Соколову. Ему почему-то казалось, что успехи Соколова дают право Марье Ивановне не испытывать угрызений.

Невыносимо было узнавать о Соколове и Марье Ивановне от Людмилы. Это было унизительно для Людмилы, для Марьи Ивановны, для него.

Но ложь смешивалась с правдой и тогда, когда он говорил с Людмилой о Толе, о Наде, об Александре Владимировне, ложь была во всем. Почему, отчего? Ведь его чувство к Марье Ивановне было действительной правдой его души, его мыслей, его желаний. Почему же эта правда порождала столько лжи? Он знал, что, отрекшись от своего чувства, он освободил бы от лжи и Людмилу, и Марью Ивановну, и себя. Но в те минуты, когда ему казалось, что надо отказаться от любви, на которую он не имел права, лукавое чувство, пугаясь страдания, заморочивая мысль, отговаривало его: «Ведь не так уж страшна эта ложь, никому нет вреда от нее. Страдания страшнее, чем ложь».

Когда минутами ему казалось, он найдет в себе силу и жестокость порвать с Людмилой, разрушить жизнь Соколова, его чувство подталкивало его, обманывало мысль прямо противоположным способом:

«Ложь ведь хуже всего, лучше пойти на разрыв с Людмилой, лишь бы не лгать ей, не заставлять лгать Марью Ивановну. Ложь ужасней страданий!»

Он не замечал, что мысль его стала покорной служанкой его чувства, чувство водило за собой мысль и что из этого кругового верчения был один лишь выход — рубить по живому, жертвовать собой, а не другими.

Чем больше он думал обо всем этом, тем меньше он во всем этом разбирался. Как понять это, как распутать — его любовь к Марье Ивановне была правдой его жизни и ложью его жизни! Вот был у него летом роман с красивой Ниной, это не был гимназический роман. С Ниной они не только гуляли в скверике. Но ощущение измены, семейной беды, вины перед Людмилой пришло к нему теперь.

Он тратил очень много душевных сил, мыслей, волнений на эти дела, вероятно, Планк затратил не меньше сил на создание квантовой теории.

Одно время он считал, что эта любовь рождена лишь его горестями, бедами… Не будь их, он не испытывал бы такого чувства…

Но жизнь подняла его, а желание видеть Марью Ивановну не ослаблялось.

Она была особой натурой, — не богатство, не слава, не сила привлекали ее. Ведь ей хотелось делить с ним беду, горе, лишения… И он тревожился: вдруг она отвернется от него теперь?

Он понимал, что Марья Ивановна боготворила Петра Лаврентьевича. Вот это-то и сводило его с ума.

Наверное, Женя была права. Вот эта вторая любовь, приходящая после долгих лет женатой жизни, она действительно есть следствие душевного авитаминоза. Вот так корову тянет лизать соль, которую она годами ищет и не находит в траве, в сене, в листьях деревьев. Этот голод души развивается постепенно, он достигает огромной силы. Вот так оно было, вот так оно есть. О, он-то знал свой душевный голод… Марья Ивановна разительно не похожа на Людмилу…

Были ли мысли его верны, были ли они ложны? Штрум не замечал того, что не разум рождал их, их правильность, их ложность не определяли его поступков. Разум не был его хозяином. Он страдал, не видя Марьи Ивановны, был счастлив при мысли, что увидит ее. Когда же он представлял себе, что они будут всегда неразлучно вместе, он становился счастлив.

Почему он не испытывал угрызений совести, думая о Соколове? Почему не становилось ему стыдно?

Правда, чего стыдиться? Ведь только и было, что прошли по Нескучному саду да посидели на

скамейке.

Ах, да при чем тут сидение на скамейке! Он готов порвать с Людмилой, он готов сказать своему другу, что любит его жену, что хочет забрать ее у него.

Он вспоминал все плохое, что было в его жизни с Людмилой. Он вспоминал, как нехорошо относилась Людмила к его матери. Он вспомнил, как Людмила не пустила ночевать его двоюродного брата, вернувшегося из лагеря. Он вспоминал ее черствость, ее грубость, упрямство, жестокость.

Воспоминания о плохом ожесточали его. А ожесточиться нужно было, чтобы свершить жестокость. Но ведь Людмила прожила жизнь с ним, разделила с ним все тяжелое, трудное. Ведь у Людмилы седеют волосы. Сколько горя легло на нее. Только ли плохое в ней? Ведь сколько лет он гордился ею, радовался ее прямоте, правдивости. Да-да, он готовился совершить жестокость.

Утром, собираясь на работу, Виктор Павлович вспомнил недавний приезд Евгении Николаевны и подумал:

«Все же хорошо, что Женевьева уехала в Куйбышев».

Ему стало стыдно от этой мысли, и именно в этот момент Людмила Николаевна сказала:

— Ко всем нашим сидящим добавился еще Николай.

Хорошо еще, что Жени сейчас нет в Москве.

Он хотел ее упрекнуть за эти слова, но спохватился, промолчал, — уж очень фальшив был бы его упрек.

— Чепыжин тебе звонил, — сказала Людмила Николаевна.

Он посмотрел на часы.

— Вечером вернусь пораньше и позвоню ему. Между прочим, вероятно, я опять полечу на Урал.

— Надолго?

— Нет. Дня на три.

Он спешил, впереди был большой день.

Работа была большая, дела большие, государственные дела, а собственные мысли, словно в голове действовал закон обратной пропорциональности, были маленькие, жалкие, мелкие.

Женя, уезжая, просила сестру сходить на Кузнецкий мост, передать Крымову 200 рублей.

— Людмила, — сказал он, — надо передать деньги, о которых просила Женя, ты, кажется, срок пропустила.

Он сказал это не потому, что тревожился о Крымове и о Жене. Он сказал это, подумав, что

небрежность Людмилы может ускорить Женин приезд в Москву. Женя, находясь в Москве, начнет писать заявления, письма, звонить по телефону, превратит квартиру Штрума в базу для тюремно-прокурорских хлопот.

Штрум понимал, что мысли эти не только мелкие и жалкие, но и подлые. Стыдясь их, он торопливо сказал:

— Напиши Жене. Пригласи ее от своего и моего имени. Может быть, ей нужно быть в Москве, а ехать без приглашения неловко. Слышишь, Люда? Немедленно напиши ей!

После таких слов ему стало хорошо, но он опять знал, — говорил он все это для самоуспокоения… Странно все же. Сидел в своей комнате, выгнанный отовсюду, и боялся управдома и девицы из карточного бюро, а голова была занята мыслями о жизни, о правде, о свободе, о Боге… И никому он не был нужен, и телефон молчал неделями, и знакомые предпочитали не здороваться с ним, встречаясь на улице. А теперь, когда десятки людей ждут его, звонят ему, пишут ему, когда «ЗИС-101» деликатно сигналит под окном, — он не может освободиться от пустых, как подсолнечная шелуха, мыслей, жалкой досады, ничтожных опасений. То не так сказал, то неосторожно усмех-

нулся, какие-то микроскопические житейские соображения сопутствуют ему.

Одно время после сталинского телефонного звонка ему казалось, что страх полностью ушел из его жизни. Но оказалось, страх все же продолжался, он только стал иным, не плебейским, а барским, — страх ездил в машине, звонил по кремлевской вертушке, но он остался.

То, что казалось невозможным, — завистливое, спортивное отношение к чужим научным решениям и достижениям, стало естественно. Он тревожился, не обскачут, не обштопают ли?

Ему не очень хотелось говорить с Чепыжиным, казалось, что не хватит сил для долгого, трудного разговора. Они все же слишком просто представляли себе зависимость науки от государства. Ведь он действительно свободен. Его теоретические построения теперь никому не кажутся талмудической бессмыслицей. Никто теперь не покушается на них. Государству нужна физическая теория. Теперь это ясно и Шишакову, и Бадьину. Для того чтобы Марков проявил свою силу в эксперименте, Кочкуров в практике, нужны халдеи-теоретики. Все вдруг поняли это после сталинского звонка. Как объяснить Дмитрию Петровичу, что звонок этот принес Штруму

свободу в работе? Но почему он стал нетерпим к недостаткам Людмилы Николаевны? Но почему он так добродушен к Алексею Алексеевичу?

Очень приятен стал ему Марков. Личные дела начальства, тайные и полутайные обстоятельства, невинные хитрости и нешуточное коварство, обиды и уязвления, связанные с приглашениями и отсутствием приглашений на президиумы, попадание в какие-то особые списки и роковые слова: «Вас в списке нет», — все это стало ему интересно, действительно занимало его.

Он, пожалуй, предпочел бы сейчас провести свободный вечер в болтовне с Марковым, нежели рассуждать с Мадьяровым на казанских ассамблеях. Марков удивительно точно подмечал все смешное в людях, беззлобно и в то же время ядовито осмеивал человеческие слабости. Он обладал изящным умом, да к тому же Марков был первоклассным ученым. Быть может, самый талантливый физик-экспериментатор в стране.

Штрум уже надел пальто, когда Людмила Николаевна сказала:

— Марья Ивановна вчера звонила.

Он быстро спросил:

— Что же?

Видимо, лицо его изменилось.

— Что с тобой? — спросила Людмила Николаевна.

— Ничего, ничего, — сказал он и из коридора вернулся в комнату.

— Собственно, я не совсем поняла, какая-то неприятная история. Им звонил, кажется, Ковченко. В общем, она, как всегда, волнуется за тебя, боится, что ты навредишь себе опять.

— В чем же? — нетерпеливо спросил он. — Я не понял.

— Да вот, говорю, и я не поняла. Ей, видимо, было неудобно по телефону.

— Ну, повтори еще раз, — сказал он и, раскрыв пальто, сел на стул возле двери.

Людмила смотрела на него, покачивая головой. Ему показалось, что глаза ее укоризненно и печально смотрят на него.

А она, подтверждая эту его догадку, сказала:

— Вот, Витя, позвонить утром Чепыжину у тебя нет времени, а слушать про Машеньку ты всегда готов… даже вернулся, а уже опоздал.

Он как-то криво, снизу поглядел на нее, сказал:

— Да, я опоздал.

Он подошел к жене, поднес ее руку к губам.

Она погладила его по затылку, слегка потрепала волосы.

— Вот видишь, как стало важно и интересно с Машенькой, — тихо сказала Людмила и жалко улыбнулась, добавила: — С той самой, которая не может отличить Бальзака от Флобера.

Он посмотрел: ее глаза стали влажными, ее губы, ему показалось, дрожали. Он беспомощно развел руками, в дверях оглянулся.

Выражение ее лица поразило его. Он спускался по лестнице и думал, что, если расстанется с Людмилой и никогда не встретится с ней, это выражение ее лица — беспомощное, трогательное, измученное, стыдящееся за него и за себя, — никогда, до последнего дня жизни не уйдет из его памяти. Он понимал, что в эти минуты произошло очень важное: жена дала понять ему, что видит его любовь к Марье Ивановне, а он подтвердил это…

Он знал лишь одно. Он видел Машу, и он был счастлив, если же он думал, что не увидит ее больше, — ему нечем было дышать.

Когда машина Штрума подходила к институту, с ней поравнялся «ЗИС» Шишакова, и оба автомобиля почти одновременно остановились у подъезда.

Они шли рядом по коридору так же, как недавно шли рядом их «ЗИСы». Алексей Алексеевич

взял Штрума под руку, спросил:

— Значит, летите?

Штрум ответил:

— Видимо, да.

— Скоро мы с вами и вовсе расстанемся. Будете как некий равный государь, — шутливо сказал Алексей Алексеевич.

Штрум вдруг подумал: «Что он скажет, если я спрошу, а случалось ли вам влюбляться в чужую жену?»

— Виктор Павлович, — сказал Шишаков, — удобно ли вам зайти ко мне часика в два?

— К двум я буду свободен, с удовольствием.

Ему плохо работалось в этот день.

В лабораторном зале Марков, без пиджака, с засученными рукавами, подошел к Штруму, оживленно сказал:

— Если разрешите, Виктор Павлович, я несколько попозже зайду к вам. Есть интересный разговор, каляк.

— В два я должен быть у Шишакова, — сказал Штрум. — Давайте попозже. Мне тоже хочется вам кое-что рассказать.

— К двум к Алексею Алексеевичу? — переспросил Марков и на мгновенье задумался. — Кажется, догадываюсь, о чем будут вас просить.

55

Шишаков, увидев Штрума, сказал:

— А я уж собирался вам позвонить, напомнить о встрече.

Штрум посмотрел на часы.

— По-моему, я не опоздал.

Алексей Алексеевич стоял перед ним, огромный, закованный в серый нарядный костюм, с массивной серебряной головой. Но Штруму глаза Алексея Алексеевича теперь не казались холодными и надменными, это были глаза мальчика, начитавшегося Дюма и Майн Рида.

— У меня к вам сегодня особое дело, дорогой Виктор Павлович, — сказал, улыбаясь, Алексей Алексеевич и, взяв Штрума под руку, повел его к креслу. — Дело серьезное, не очень приятное.

— Что ж, не привыкать стать, — сказал Штрум и скучающе оглядел кабинет огромного академика. — Давайте займемся делом.

— Так вот, — сказал Шишаков, — за границей, главным образом в Англии, поднята подлая кампания. Мы несем на себе главную тяжесть войны, а английские ученые, вместо того чтобы требовать скорейшего открытия второго фрон-

та, открыли более чем странную кампанию, разжигают враждебные настроения к нашему государству.

Он посмотрел Штруму в глаза, Виктор Павлович знал этот открытый, честный взгляд, каким смотрят люди, совершая плохие дела.

— Да-да-да, — сказал Штрум, — в чем же, однако, эта кампания?

— Кампания клеветническая, — сказал Шишаков. — Опубликован список якобы расстрелянных у нас ученых и писателей, говорится о каких-то фантастических количествах репрессированных за политические преступления. С непонятной, я бы даже сказал, подозрительной горячностью они опровергают установленные следствием и судом преступления врачей Плетнева и Левина, убивших Алексея Максимовича Горького. Все это публикуется в газете, близкой к правительственным кругам.

— Да-да-да, — трижды сказал Штрум, — что же еще?

— В основном вот это. Пишут о генетике Четверикове, создали комитет его защиты.

— Дорогой Алексей Алексеевич, — сказал Штрум, — но ведь Четвериков действительно арестован.

Шишаков пожал плечами.

— Как известно, Виктор Павлович, я не имею отношения к работе органов безопасности. Но если он действительно арестован, то, очевидно, за совершенные им преступления. Нас с вами ведь не арестовывают.

В это время в кабинет вошли Бадьин и Ковченко. Штрум понял, что Шишаков ожидал их, заранее, видимо, договорился с ними. Алексей Алексеевич даже не стал объяснять вновь пришедшим, о чем шел разговор, сказал:

— Прошу, прошу, товарищи, садитесь, — и продолжал, обращаясь к Штруму: — Виктор Павлович, сие безобразие перекочевало в Америку и было опубликовано на страницах «Нью-Йорк таймса», естественно, вызвав чувство возмущения среди советской интеллигенции.

— Конечно, иначе и быть не могло, — сказал Ковченко, глядя Штруму в глаза пронзительно ласковым взглядом.

И взгляд его карих глаз был так дружествен, что Виктор Павлович не высказал естественно возникшей у него мысли: «Как же возмутилась советская интеллигенция, если она «Нью-Йорк таймса» отродясь не видела?»

Штрум повел плечами, помычал, и эти дей-

ствия могли, конечно, означать его согласие с Шишаковым и Ковченко.

— Естественно, — сказал Шишаков, — в нашей среде возникло желание дать достойную отповедь всей этой мерзости. Мы составили документ.

«Да ничего ты не составлял, без тебя написали», — подумал Штрум.

Шишаков проговорил:

— Документ в форме письма.

Тогда Бадьин негромко произнес:

— Я читал его, хорошо написано, то, что нужно. Подписать его должны немногие, наиболее крупные ученые нашей страны, люди, обладающие европейской, мировой известностью.

Штрум с первых слов Шишакова понял, к чему сведется разговор. Он не знал лишь, чего будет просить Алексей Алексеевич — выступления ли на ученом совете, статьи, участия ли в голосовании… Теперь он понял: нужна его подпись под письмом.

Тошное чувство охватило его. Снова, как перед собранием, где требовали его покаянного выступления, он ощутил свою хлипкую, мотыльковую субтильность.

Миллионы тонн скального гранитного камня

снова готовы были лечь на его плечи… Профессор Плетнев! Штрум сразу вспомнил статью в «Правде» о какой-то истеричке, обвинившей старого медика в грязных поступках. Как всегда, напечатанное показалось правдой. Видимо, чтение Гоголя, Толстого, Чехова и Короленко приучило к почти молитвенному отношению к русскому печатному слову. Но пришел час, день, и Штруму уж было очевидно, что газета лгала, что профессор Плетнев оклеветан.

А вскоре Плетнев и знаменитый терапевт из Кремлевской больницы доктор Левин были арестованы и признались, что убили Алексея Максимовича Горького.

Три человека смотрели на Штрума. Глаза их были дружественны, ласковы, уверенны. Свои среди своих. Шишаков по-братски признал огромное значение работы Штрума. Ковченко смотрел на него снизу вверх. Глаза Бадьина выражали: «Да, то, что ты делал, казалось чуждо мне. Но я ошибся. Я не понял. Партия меня поправила».

Ковченко раскрыл красную папку и протянул Штруму отпечатанное на пишущей машинке письмо.

— Виктор Павлович, — сказал он, — надо вам сказать, что эта кампания англо-американцев

прямо играет на руку фашистам. Вероятно, ее инспирировали мерзавцы из пятой колонны.

Бадьин, перебивая, сказал:

— К чему агитировать Виктора Павловича? У него сердце русского советского патриота, как и у всех нас.

— Конечно, — сказал Шишаков, — именно так.

— Да кто ж в этом сомневается? — сказал Ковченко.

— Да-да-да, — сказал Штрум.

Самым удивительным было то, что люди, еще недавно полные к нему презрения и подозрительности, сейчас были совершенно естественны в своем доверии и дружестве к нему и что он, все время помня их жестокость к себе, сейчас естественно воспринимал их дружеские чувства.

Вот эти дружественность и доверчивость сковывали его, лишали силы. Если бы на него кричали, топали ногами, били, он, быть может, остервенился бы, оказался сильней…

Сталин говорил с ним. Люди, сидевшие сейчас рядом с ним, помнили это.

Но боже мой, как было ужасно письмо, которое товарищи просили его подписать. Каких ужасных вещей касалось оно.

Да не мог он поверить в то, что профессор Плет-

нев и доктор Левин — убийцы великого писателя. Его мать, приезжая в Москву, бывала на приеме у Левина, Людмила Николаевна лечилась у него, он умный, тонкий, мягкий человек. Каким чудовищем надо быть, чтобы так страшно оклеветать двух врачей?

Средневековой тьмой дышали эти обвинения. Врачи-убийцы! Врачи убили великого писателя, последнего русского классика. Кому нужна эта кровавая клевета? Процессы ведьм, костры инквизиции, казни еретиков, дым, смрад, кипящая смола. Как связать все это с Лениным, со строительством социализма, с великой войной против фашизма?

Он взялся за первую страницу письма.

Удобно ли ему, достаточно ли света, спросил Алексей Алексеевич. Не пересесть ли ему в кресло? Нет-нет, ему удобно, спасибо большое.

Он читал медленно. Буквы вдавливались в мозг, но не впитывались им, словно песок в яблоко.

Он прочел: «Беря под защиту выродков и извергов рода человеческого, Плетнева и Левина, запятнавших высокое звание врачей, вы льете воду на мельницу человеконенавистнической идеологии фашизма».

Вот он прочел: «Советский народ один на один

ведет борьбу с германским фашизмом, возродившим средневековые процессы ведьм и еврейские погромы, костры инквизиции, застенки и пытки».

Боже мой, как не сойти с ума.

Вот дальше: «Кровь наших сыновей, пролитая под Сталинградом, ознаменовала перелом в войне с гитлеризмом, вы же, беря под защиту отщепенцев из пятой колонны, сами того не желая…»

Да-да-да. «У нас, как нигде в мире, люди науки окружены любовью народа и заботой государства».

— Виктор Павлович, мы не мешаем вам своими разговорами?

— Нет-нет, что вы, — сказал Штрум и подумал: «Вот есть же счастливые люди, которые умеют отшутиться, либо оказываются на даче, либо больны, либо…»

Ковченко сказал:

— Мне говорили, что Иосиф Виссарионович знает об этом письме и одобрил инициативу наших ученых.

— Вот поэтому и подпись Виктора Павловича… — сказал Бадьин.

Тоска, отвращение, предчувствие своей по-

корности охватили его. Он ощущал ласковое дыхание великого государства, и у него не было силы броситься в ледяную тьму… Не было, не было сегодня в нем силы. Не страх сковывал его, совсем другое, томящее, покорное чувство.

Как странно, удивительно устроен человек! Он нашел в себе силу отказаться от жизни, и вдруг тяжело отказаться от пряников и леденцов.

Попробуй отбрось всесильную руку, которая гладит тебя по голове, похлопывает по плечу.

Глупости, зачем клеветать на самого себя. При чем тут пряники и леденцы? Он всегда безразличен к бытовым удобствам, материальным благам. Его мысли, его работа, самое дорогое в жизни оказались нужны, ценны в пору борьбы с фашизмом. Ведь это счастье!

Да, собственно, как же это? Ведь они признались на предварительном следствии. Они признались на суде. Возможно ли верить в их невиновность после того, как они признались в убийстве великого писателя?

Отказаться подписать письмо? Значит, сочувствовать убийцам Горького! Нет, невозможно. Сомневаться в подлинности их признаний? Значит, заставили! А заставить честного и доброго интеллигентного человека признать себя наем-

ным убийцей и тем заслужить смертную казнь и позорную память можно лишь пытками. Но ведь безумно высказать хоть малую тень такого подозрения.

Но тошно, тошно подписывать это подлое письмо. В голове возникли слова и ответы на них… «Товарищи, я болен, у меня спазм коронарных сосудов». «Чепуха: бегство в болезнь, у вас отличный цвет лица». «Товарищи, для чего вам моя подпись, я ведь известен узкому кругу специалистов, меня мало кто знает за пределами страны». «Чепуха! (И приятно слышать, что чепуха.) Знают вас, да еще как знают! Да и о чем говорить, немыслимо показать без вашей подписи письмо товарищу Сталину, он ведь может спросить: а почему нет подписи Штрума?»

«Товарищи, скажу вам совершенно откровенно, мне некоторые формулировки кажутся не совсем удачными, они как бы накладывают тень на всю нашу научную интеллигенцию».

«Пожалуйста, пожалуйста, Виктор Павлович, давайте ваши предложения, мы с удовольствием изменим кажущиеся вам неудачными формулировки».

«Товарищи, да поймите вы меня, вот тут вы пишете: враг народа писатель Бабель, враг народа

писатель Пильняк, враг народа академик Вавилов, враг народа артист Мейерхольд… Но я ведь физик, математик, теоретик, меня некоторые считают шизофреником, настолько абстрактны области, где я действую. Право же, я неполноценный, таких людей лучше всего оставить в покое, я ничего не понимаю во всех этих делах».

«Виктор Павлович, да бросьте вы. Вы превосходно разбираетесь в политических вопросах, у вас отличная логика, вспомните, сколько раз и как остро вы говорили на политические темы».

«Ну боже мой! Поймите, у меня есть совесть, мне больно, мне тяжело, да не обязан я, почему я должен подписывать, я так измучен, дайте мне право на спокойную совесть».

И тут же — бессилие, замагниченность, послушное чувство закормленной и забалованной скотины, страх перед новым разорением жизни, страх перед новым страхом.

Что ж это? Снова противопоставить себя коллективу? Снова одиночество? Пора ведь всерьез относиться к жизни. Он получил то, о чем не смел мечтать. Он свободно занимается своей работой, окруженный вниманием и заботой. Ведь он ни о чем не просил, не каялся. Он победитель! Чего же он хочет еще? Сталин ему звонил по телефону!

«Товарищи, все это настолько серьезно, что я хотел бы подумать, разрешите отложить решение хотя бы до завтра».

И тут он представил себе бессонную, мучительную ночь, колебания, нерешительность, внезапную решимость и страх перед решимостью, опять нерешительность, опять решение. Все это выматывает подобно злой, безжалостной малярии. И самому растянуть эту пытку на часы. Нет у него силы. Скорей, скорей, скорей.

Он вынул автоматическую ручку.

И тут же он увидел, что Шишаков опешил от того, что самый непокладистый оказался сегодня покладистым.

Весь день Штрум не работал. Никто не отвлекал его, телефон не звонил. Он не мог работать. Он не работал потому, что работа в этот день казалась скучной, пустой, неинтересной.

Кто поставил подпись под письмом? Чепыжин? Иоффе подписывал? А Крылов? А Мандельштам? Хотелось спрятаться за чью-то спину. Но ведь отказаться невозможно. Равносильно самоубийству. Да ничего подобного. Мог и отказаться. Нет, нет, все правильно. Ведь никто не грозил ему. Было бы легче, если б он подписал из чувства животного страха. Но ведь не из страха подписал.

Какое-то томное, тошное чувство покорности.

Штрум позвал к себе в кабинет Анну Степановну, попросил ее проявить к завтрашнему дню пленку — контрольную серию опытов, проведенных на новой установке.

Она все записала и продолжала сидеть.

Он вопросительно посмотрел на нее.

— Виктор Павлович, — сказала она, — я раньше думала, что словами не скажешь, но сейчас я хочу сказать: понимаете ли вы, что вы сделали для меня и других? Это для людей важней великих открытий. Вот от того, что вы живете на свете, от одной мысли об этом хорошо на душе. Знаете, что о вас говорят слесари, уборщицы, сторожа? Говорят — правильный человек. Я много раз хотела к вам домой пойти, но боялась. Понимаете, когда я в самые трудные дни думала о вас, у меня на душе легко, хорошо делалось. Спасибо вам за то, что вы живете. Человек вы!

Он ничего не успел сказать ей, она быстро вышла из кабинета.

Хотелось бежать по улице и кричать… только бы не эта мука, не этот могучий стыд. Но это было не все, только начало.

В конце дня раздался телефонный звонок.

— Вы узнаете?

Боже мой, узнал ли он. Казалось, не только слухом, похолодевшими пальцами, державшими телефонную трубку, он узнал этот голос. Вот Марья Ивановна снова пришла в тяжелую минуту его жизни.

— Я говорю из автомата, очень плохо слышно, — сказала Маша. — Петру Лаврентьевичу стало лучше, у меня теперь больше времени. Приезжайте, если можете, завтра в восемь в тот скверик, — и вдруг произнесла: — Любимый мой, милый мой, свет мой. Я боюсь за вас. К нам приходили по поводу письма, вы понимаете, о чем я говорю? Я уверена, что это вы, ваша сила помогла Петру Лаврентьевичу выстоять, у нас все обошлось благополучно. И тут же я представила, как вы при этом навредили себе. Вы такой угловатый, где другой ушибется, вы разобьетесь в кровь.

Он повесил трубку, закрыл лицо руками.

Он уже понимал ужас своего положения: не враги казнили сегодня его. Казнили близкие, своей верой в него.

Придя домой, он сразу же, не сняв пальто, стал звонить Чепыжину. Людмила Николаевна стояла перед ним, а он набирал чепыжинский телефонный номер, уверенный, убежденный в том, что и его друг, учитель сейчас нанесет ему, любя его,

жестокую рану. Он спешил, он даже не успел сказать Людмиле о том, что подписал письмо. Боже мой, как быстро седеет Людмила. Да-да, молодец, бей седых!

— Хорошего много, читали сводку, — сказал Чепыжин, — а у меня никаких событий. Да вот я поругался сегодня с несколькими почтенными людьми. Вы слышали что-нибудь о некоем письме?

Штрум облизнул пересохшие губы и сказал:

— Да, кое-что.

— Ладно, ладно, понимаю, это не для телефона, поговорим об этом при встрече, после вашего приезда, — сказал Чепыжин.

Ну, ничего, ничего, вот еще Надя придет. Боже, боже, что он сделал…

56

Ночью Штрум не спал. У него болело сердце. Откуда эта ужасная тоска? Тяжесть, тяжесть. Победитель!

Робея перед делопроизводительницей в домоуправлении, он был сильней и свободней, чем сейчас. Сегодня он не посмел даже поспорить, высказать сомнение. Он потерял внутреннюю свободу, ставши сильным. Как посмотреть в глаза Чепыжину? А быть может, он сделает это так же спокойно, как делали это те, что весело и добродушно встретили Штрума в день возвращения в институт?

Все, что он вспоминал в эту ночь, ранило, мучило его, ничто не давало покоя. Его улыбки, жесты, поступки были и чужды, и враждебны ему самому. В Надиных глазах сегодня вечером было жалостливое гадливое выражение.

Одна лишь Людмила, всегда раздражавшая его, всегда перечившая ему, выслушав его рассказ, вдруг сказала: «Витенька, не надо мучиться. Ты для меня самый умный, самый честный. Раз ты так сделал, значит, так нужно».

Откуда в нем появилось желание все оправ-

дывать, утверждать? Почему он стал терпим к тому, к чему недавно был нетерпим? О чем бы ни говорили с ним, он оказывался оптимистом.

Военные победы совпали с переломом в его личной судьбе. Он видит мощь армии, величие государства, свет впереди. Почему такими плоскими кажутся ему сегодня мысли Мадьярова?

В день, когда его вышвыривали из института, он отказался покаяться, и как светло и легко стало у него на душе. Каким счастьем были для него в эти дни близкие — Людмила, Надя, Чепыжин, Женя... А встреча с Марьей Ивановной, что он скажет ей? Всегда он так надменно относился к покорности и послушанию робкого Петра Лаврентьевича. А сегодня! Он боится думать о матери, он согрешил перед ней. Ему страшно взять в руки ее последнее письмо. С ужасом, с тоской он понимал, что бессилен сохранить свою душу, не может оградить ее. В нем самом росла сила, превращающая его в раба.

Он совершил подлость! Он, человек, бросил камень в жалких, окровавленных, упавших в бессилии людей.

И от боли, сжавшей его сердце, от мучительного чувства пот выступал у него на лбу.

Откуда бралась в нем душевная самоуверен-

ность, кто дал ему право кичиться перед другими людьми своей чистотой, мужеством, быть судьей над людьми, не прощать им слабостей? Не в надменности правда сильных.

Бывают слабыми и грешные, и праведные. Различие их в том, что ничтожный человек, совершив хороший поступок, всю жизнь кичится им, а праведник, совершая хорошие дела, не замечает их, но годами помнит совершенный им грех.

А он-то все гордился своим мужеством, своей прямотой, высмеивал тех, кто проявлял слабость, робость. Но вот и он, человек, изменил людям. Он презирал себя, он стыдился себя. Дом, в котором он жил, свет его, тепло, которое его согревало, — все превратилось в щепу, в сыпучий сухой песок.

Дружба с Чепыжиным, любовь к дочери, привязанность к жене, его безнадежная любовь к Марье Ивановне — его человеческий грех и человеческое счастье; его труд, его прекрасная наука, его любовь к матери и плач о ней, — все ушло из его души.

Ради чего совершил он страшный грех? Все в мире ничтожно по сравнению с тем, что он потерял. Все ничтожно по сравнению с правдой, чистотой маленького человека, — и царство, рас-

кинувшееся от Тихого океана до Черного моря, и наука.

С ясностью он увидел, что еще не поздно, есть в нем еще сила поднять голову, остаться сыном своей матери.

Он не будет искать себе утешений, оправданий. Пусть то плохое, жалкое, подлое, что он сделал, всегда будет ему укором, всю жизнь: день и ночь напоминает ему о себе. Нет, нет, нет! Не к подвигу надо стремиться, не к тому, чтобы гордиться и кичиться этим подвигом.

Каждый день, каждый час, из года в год, нужно вести борьбу за свое право быть человеком, быть добрым и чистым. И в этой борьбе не должно быть ни гордости, ни тщеславия, одно лишь смирение. А если в страшное время придет безвыходный час, человек не должен бояться смерти, не должен бояться, если хочет остаться человеком.

— Ну что ж, посмотрим, — сказал он, — может быть, и хватит у меня силы. Мама, мама, твоей силы.

57

Вечера на хуторе близ Лубянки…

После допросов Крымов лежал на койке, стонал, думал, говорил с Каценеленбогеном.

Теперь Крымову уже не казались невероятными сводившие с ума признания Бухарина и Рыкова, Каменева и Зиновьева, процесс троцкистов, право-левацких центров, судьба Бубнова, Муралова, Шляпникова. С живого тела революции сдиралась кожа, в нее хотело рядиться новое время, а кровавое живое мясо, дымящиеся внутренности пролетарской революции шли на свалку, новое время не нуждалось в них. Нужна была шкура революции, эту шкуру и сдирали с живых людей. Те, кто натягивали на себя шкуру революции, говорили ее словами, повторяли ее жесты, но имели другой мозг, другие легкие, печень, глаза.

Сталин! Великий Сталин! Возможно, человек железной воли — самый безвольный из всех. Раб времени и обстоятельств, смирившийся покорный слуга сегодняшнего дня, распахивающий двери перед новым временем.

Да, да, да… А те, кто не кланялся перед новым

временем, шли на свалку.

Теперь он знал, как раскалывали человека. Обыск, споротые пуговицы, снятые очки создавали в человеке ощущение физического ничтожества. В следовательском кабинете человек осознает, что его участие в революции, гражданской войне — ничего не значит, его знания, его работа, — все чепуха! И вот, значит, второе: человек не только физическое ничтожество.

Тех, которые продолжали упорствовать в своем праве быть людьми, начинали расшатывать и разрушать, раскалывать, обламывать, размывать и расклеивать, чтобы довести их до той степени рассыпчатости, рыхлости, пластичности и слабости, когда люди не хотят уже ни справедливости, ни свободы, ни даже покоя, а хотят лишь, чтобы их избавили от ставшей ненавистной жизни.

В единстве физического и духовного человека заключался почти всегда беспроигрышный ход следовательской работы. Душа и тело — сообщающиеся сосуды, и, разрушая, подавляя оборону физической природы человека, нападающая сторона всегда успешно вводила в прорыв свои подвижные средства, овладевала душой и вынуждала человека к безоговорочной капитуляции.

Думать обо всем этом не было сил, не думать об

этом тоже не было сил.

А кто же выдал его? Кто донес? Кто оклеветал? И он чувствовал, что ему теперь неинтересен этот вопрос.

Он всегда гордился тем, что умеет подчинять свою жизнь логике. Но теперь было не так. Логика говорила, что сведения о его разговоре с Троцким дала Евгения Николаевна. А вся его нынешняя жизнь, его борьба со следователем, его способность дышать, оставаться товарищем Крымовым основывались на вере в то, что Женя не могла это сделать. Он удивлялся, как мог на несколько минут потерять уверенность в этом. Не было силы, которая могла его заставить не верить Жене. Он верил, хотя знал, что никто, кроме Евгении Николаевны, не знал о его разговоре с Троцким, знал, что женщины изменяют, женщины слабы, знал, что Женя бросила его, ушла от него в тяжелую пору его жизни.

Он рассказал Каценеленбогену о допросе, но об этом случае не сказал ни слова.

Каценеленбоген теперь не пошучивал, не балагурил.

Действительно, Крымов не ошибся в нем. Он был умен. Но страшно и странно было все то, что говорил он. Иногда Крымову казалось, что

нет ничего несправедливого в том, что старый чекист сидит в камере внутренней тюрьмы. Не могло быть иначе. Иногда он казался Крымову безумным.

Это был поэт, певец органов государственной безопасности.

Он с восхищением рассказал Крымову, как Сталин на последнем съезде партии во время перерыва спросил у Ежова, почему он допустил перегибы в карательной политике, и, когда растерявшийся Ежов ответил, что он выполнял прямые указания Сталина, вождь, обращаясь к окружавшим его делегатам, грустно проговорил: «И это говорит член партии».

Он рассказал об ужасе, который испытывал Ягода…

Он вспоминал великих чекистов, ценителей Вольтера, знатоков Рабле, поклонников Верлена, когда-то руководивших работой в большом, бессонном доме.

Он рассказал о многолетнем московском палаче, милом и тихом старичке-латыше, который, совершая казни, просил разрешения передать одежду казненного в детский дом. И тут же рассказал о другом исполнителе приговоров — тот пил дни и ночи, тосковал без дела, а когда его

отчислили с работы, стал ездить в подмосковные совхозы и колол там свиней, привозил с собой бутыли свиной крови, — говорил, что врач прописал ему пить свиную кровь от малокровия.

Он рассказывал, как в 1937 году приводились еженощно в исполнение сотни приговоров над осужденными без права переписки, как дымили ночные трубы московского крематория, как мобилизованные для исполнения приговоров и вывоза трупов комсомольцы сходили с ума.

Он рассказывал о допросе Бухарина, об упорстве Каменева… А однажды они проговорили всю ночь до утра.

В эту ночь чекист развивал теорию, обобщал.

Кацеленбоген рассказал Крымову о поразительной судьбе нэпмана-инженера Френкеля. Френкель в начале нэпа построил в Одессе моторный завод. В середине двадцатых годов его арестовали и выслали в Соловки. Сидя в Соловецком лагере, Френкель подал Сталину гениальный проект, — старый чекист именно это слово и произнес: «гениальный».

В проекте подробно, с экономическими и техническими обоснованиями, говорилось об использовании огромных масс заключенных для создания дорог, плотин, гидростанций, искус-

ственных водоемов.

Заключенный нэпман стал генерал-лейтенантом МГБ, — Хозяин оценил его мысль.

В простоту труда, освященного простотой арестантских рот и старой каторги, труда лопаты, кирки, топора и пилы, вторгся двадцатый век.

Лагерный мир стал впитывать в себя прогресс, он втягивал в свою орбиту электровозы, экскаваторы, бульдозеры, электропилы, турбины, врубовые машины, огромный автомобильный, тракторный парк. Лагерный мир осваивал транспортную и связную авиацию, радиосвязь и селекторную связь, станки-автоматы, современнейшие системы обогащения руд; лагерный мир проектировал, планировал, чертил, рождал рудники, заводы, новые моря, гигантские электростанции.

Он развивался стремительно, и старая каторга казалась рядом смешной и трогательной, как детские кубики.

Но лагерь, говорил Каценеленбоген, все же не поспевал за жизнью, питавшей его. По-прежнему не использовались многие ученые и специалисты, — они не имели отношения к технике и медицине…

Историки с мировыми именами, математики,

астрономы, литературоведы, географы, знатоки мировой живописи, ученые, владеющие санскритом и древними кельтскими наречиями, не имели никакого применения в системе ГУЛАГа. Лагерь в своем развитии еще не дорос до использования этих людей по специальности. Они работали чернорабочими либо так называемыми придурками на мелких конторских работах и в культурно-воспитательной части — КВЧ, либо болтались в инвалидных лагерях, не находя применения своим знаниям, часто огромным, имеющим не только всероссийскую, но и мировую ценность.

Крымов слушал Каценеленбогена, казалось, ученый говорит о главном деле своей жизни. Он не только воспевал и славил. Он был исследователем, он сравнивал, вскрывал недостатки и противоречия, сближал, противопоставлял.

Недостатки, конечно, в несравненно более мягкой форме, существовали и по другую сторону лагерной проволоки. Немало есть в жизни людей, которые делают не то, что могли бы, и не так, как могли, в университетах, в редакциях, в исследовательских институтах Академии.

В лагерях, говорил Каценеленбоген, уголовные главенствовали над политическими заключен-

ными. Разнузданные, невежественные, ленивые и подкупные, склонные к кровавым дракам и грабежам, уголовники тормозили развитие трудовой и культурной жизни лагерей.

И тут же он сказал, что ведь и по ту сторону проволоки работой ученых, крупнейших деятелей культуры подчас руководят малообразованные, неразвитые и ограниченные люди.

Лагерь давал как бы гиперболическое, увеличенное отражение запроволочной жизни. Но действительность по обе стороны проволоки не была противоположна, а отвечала закону симметрии.

И тут-то он заговорил не как певец, не как мыслитель, а как пророк.

Если смело, последовательно развивать систему лагерей, освободив ее от тормозов и недостатков, это развитие приведет к стиранию граней. Лагерю предстоит слияние с запроволочной жизнью. В этом слиянии, в уничтожении противоположности между лагерем и запроволочной жизнью и есть зрелость, торжество великих принципов. При всех недостатках лагерной системы — в ней есть одно решающее преимущество. Только в лагере принципу личной свободы в абсолютно чистой форме противопоставлен

высший принцип — разум. Этот принцип приведет лагерь к той высоте, которая позволит ему самоупразднится, слиться с жизнью деревни и города.

Каценеленбогену приходилось руководить лагерными КБ — конструкторскими бюро, — и он убедился, что ученые, инженеры способны решать самые сложные задачи в условиях лагеря. Им по плечу любые проблемы мировой научной и технической мысли. Нужно лишь разумно руководить людьми и создавать им хорошие бытовые условия. Старинная байка о том, что без свободы нет науки, — начисто неверна.

— Когда уровни сравняются, — сказал он, — и мы поставим знак равенства между жизнью, идущей по ту и по эту сторону проволоки, репрессии станут не нужны, мы перестанем выписывать ордера на аресты. Мы сроем тюрьмы и политизоляторы. КВЧ — культурно-воспитательная часть — будет справляться с любыми аномалиями. Магомет и гора пойдут навстречу друг другу.

Упразднение лагеря будет торжеством гуманизма, и в то же время хаотический, первобытный, пещерный принцип личной свободы не выиграет, не воспрянет после этого. Наоборот, он будет полностью преодолен.

После долгого молчания он сказал, что, может быть, через столетия самоупразднится и эта система и в своем самоупразднении породит демократию и личную свободу.

— Ничто не вечно под луной, — сказал он, — но мне не хотелось бы жить в то время.

Крымов сказал ему:

— Ваши мысли безумны. Не в этом душа и сердце революции. Говорят, что психиатры, долго проработавшие в психиатрических клиниках, сами становятся безумными. Простите, но вас все же не зря посадили. Вы, товарищ Каценеленбоген, наделяете органы безопасности атрибутами божества. Вас действительно пора сменить.

Каценеленбоген добродушно кивнул:

— Да, я верю в Бога. Я темный, верующий старик. Каждая эпоха создает божество по подобию своему. Органы безопасности разумны и могущественны, они господствуют над человеком двадцатого века. Когда-то такой силой — и человек обожествлял ее — были землетрясения, молнии и гром, лесные пожары. А посадили ведь не только меня, но и вас. Вас тоже пора сменить. Когда-нибудь выяснится, кто все же прав — вы или я.

— А старичок Дрелинг едет сейчас домой, об-

ратно в лагерь, — сказал Крымов, зная, что слова его не пройдут даром.

И, действительно, Каценеленбоген проговорил:

— Вот этот поганый старичок мешает моей вере.

58

Крымов услышал негромкие слова:

— Передали недавно, — наши войска завершили разгром сталинградской группировки немцев, вроде Паулюса захватили, я, по правде, плохо разобрал.

Крымов закричал, стал биться, возить ногами по полу, захотелось вмешаться в толпу людей в ватниках, валенках… шум их милых голосов заглушал негромкий, шедший рядом разговор; по грудам сталинградского кирпича с перевалочкой шел в сторону Крымова Греков.

Врач держал Крымова за руку, говорил:

— Надо бы сделать перерывчик… повторно камфару, выпадение пульса через каждые четыре удара.

Крымов проглотил соленый ком и сказал:

— Ничего, продолжайте, медицина позволяет, я все равно не подпишу.

— Подпишешь, подпишешь, — с добродушной уверенностью заводского мастера сказал следователь, — и не такие подписывали.

Через трое суток кончился второй допрос, и Крымов вернулся в камеру.

Дежурный положил около него завернутый в белую тряпицу пакет.

— Распишитесь, гражданин заключенный, в получении передачи, — сказал он.

Николай Григорьевич прочел перечень предметов, написанный знакомым почерком, — лук, чеснок, сахар, белые сухари. Под перечнем было написано: «Твоя Женя».

Боже, боже, он плакал…

59

Первого апреля 1943 года Степан Федорович Спиридонов получил выписку из решения коллегии Наркомата электростанций СССР, — ему предлагалось сдать дела на СталГРЭСе и выехать на Урал, принять директорство на небольшой, работавшей на торфе электростанции. Наказание было не так уж велико, ведь могли и под суд отдать. Дома Спиридонов не сказал об этом приказе наркомата, решил обождать решения бюро обкома. Четвертого апреля бюро обкома вынесло ему строгий выговор за самовольное оставление в тяжелые дни станции. Это решение тоже было мягким, могли и исключить из партии. Но Степану Федоровичу решение бюро обкома показалось несправедливым, — ведь товарищи в обкоме знали, что он руководил станцией до последнего дня Сталинградской обороны, ушел на левый берег в тот день, когда началось советское наступление, ушел, чтобы повидать дочь, родившую в трюме баржи. На заседании бюро он попробовал спорить, но Пряхин был суров, сказал:

— Можете обжаловать решение бюро в Центральной Контрольной Комиссии, думаю,

товарищ Шкирятов сочтет наше решение половинчатым, мягким.

Степан Федорович сказал:

— Я убежден, что ЦКК отменит решение, — но, так как он много был наслышан о Шкирятове, апелляцию подавать побоялся.

Он опасался и подозревал, что суровость Пряхина связана не только со сталгрэсовским делом. Пряхин, конечно, помнил о родственных отношениях Степана Федоровича с Евгенией Николаевной Шапошниковой и Крымовым, и ему стал неприятен человек, знавший, что Пряхин и посаженный Крымов давние знакомые.

В этой ситуации Пряхин, если б даже и хотел, никак не мог поддержать Спиридонова. Если б он сделал это, недоброжелатели, которые всегда есть возле сильных людей, тотчас сообщили бы куда следует, что Пряхин из симпатии к врагу народа Крымову поддерживает его родича, шкурника Спиридонова.

Но Пряхин, видимо, не поддерживал Спиридонова не только потому, что не мог, а потому, что не хотел. Очевидно, Пряхину было известно, что на СталГРЭС приехала теща Крымова, живет в одной квартире со Спиридоновым. Вероятно, Пряхин знал и то, что Евгения Николаевна пе-

реписывается с матерью, недавно прислала ей копию своего заявления Сталину.

Начальник областного отдела МГБ Воронин после заседания бюро обкома столкнулся со Спиридоновым в буфете, где Степан Федорович покупал сырковую массу и колбасу, посмотрел насмешливо и сказал насмешливо:

— Прирожденный хозяйственник Спиридонов, ему только что строгий выговор вынесли, а он заготовками занимается.

— Семья, ничего не поделаешь, я теперь дедушкой стал, — сказал Степан Федорович и улыбнулся жалкой, виноватой улыбкой.

Воронин тоже улыбнулся ему:

— А я думал, ты передачу собираешь.

После этих слов Спиридонов подумал: «Хорошо, что на Урал перегоняют, а то еще совсем тут пропаду. Куда Вера с маленьким денутся?»

Он ехал на СталГРЭС в кабине полуторки и смотрел через мутное стекло на разрушенный город, с которым скоро расстанется. Степан Федорович думал о том, что по этому ныне заваленному кирпичами тротуару его жена до войны ходила на работу, думал об электросети, о том, что, когда пришлют из Свердловска новый кабель, его уж не будет на СталГРЭСе, что у внучка от недостаточ-

ного питания прыщи на руках и на груди. Думал: «Строгача так строгача, в чем дело», думал, что ему не дадут медаль «За оборону Сталинграда», и почему-то мысль о медали расстраивала его больше, чем предстоящая разлука с городом, с которым связалась его жизнь, работа, слезы по Марусе. Он даже громко выругался по матушке от досады, что не дадут медали, и водитель спросил его:

— Вы кого это, Степан Федорович? Забыл чего-нибудь в обкоме?

— Забыл, забыл, — сказал Степан Федорович. — Зато он меня не забыл.

В квартире Спиридоновых было сыро и холодно. Вместо вышибленных стекол была вставлена фанера и набиты доски, штукатурка в комнатах во многих местах обвалилась, воду приходилось носить ведрами на третий этаж, комнаты отапливались печурками, сделанными из жести. Одну из комнат закрыли, кухней не пользовались, она служила кладовой для дров и картошки.

Степан Федорович, Вера с ребенком, Александра Владимировна, вслед за ними приехавшая из Казани, жили в большой комнате, раньше служившей столовой. В маленькой комнатке, бывшей Вериной, рядом с кухней, поселился

старик Андреев.

У Степана Федоровича была возможность произвести ремонт потолков, поштукатурить стены, поставить кирпичные печи, — нужные мастера были на СталГРЭСе, и материалы имелись.

Но почему-то обычно хозяйственному, напористому Степану Федоровичу не хотелось затевать эти работы.

Видимо, и Вере, и Александре Владимировне казалось легче жить среди военной разрухи, — ведь довоенная жизнь рухнула, зачем же было восстанавливать квартиру, напоминать о том, что ушло и не вернется.

Через несколько дней после приезда Александры Владимировны приехала из Ленинска невестка Андреева, Наталья. Она в Ленинске поссорилась с сестрой покойной Варвары Александровны, оставила у нее на время сына, а сама явилась на СталГРЭС к свекру.

Андреев рассердился, увидев невестку, сказал ей:

— Не ладила ты с Варварой, а теперь по наследству и с сестрой ее не ладишь. Как ты Володьку там оставила?

Должно быть, Наташе жилось очень трудно в Ленинске. Войдя в комнату Андреева, она огляде-

ла потолок, стены и сказала:

— Как хорошо, — хотя ничего хорошего в дранке, висевшей с потолка, в куче штукатурки в углу, в безобразной трубе не было.

Свет в комнату проходил через небольшую стеклянную заплату, вставленную в дощатый щит, закрывавший окно.

В этом самодельном окошечке был невеселый вид, — одни лишь развалины, остатки стен, размалеванных поэтажно синей и розовой краской, изодранное кровельное железо…

Александра Владимировна, приехав в Сталинград, заболела. Из-за болезни ей пришлось отложить поездку в город, она хотела посмотреть на свой разрушенный, сгоревший дом.

Первые дни она, превозмогая болезнь, помогала Вере, — топила печь, стирала и сушила пеленки над жестяной печной трубой, выносила на лестничную площадку куски штукатурки, даже пробовала носить снизу воду.

Но ей становилось все хуже, в жарко натопленной комнате ее знобило, на холодной кухне на лбу ее вдруг выступал пот.

Ей хотелось перенести болезнь на ногах, и она не жаловалась на плохое самочувствие. Но как-то утром, выйдя в кухню за дровами, Александра

Владимировна потеряла сознание, упала на пол и расшибла себе в кровь голову. Степан Федорович и Вера уложили ее в постель.

Александра Владимировна, отдышавшись, подозвала Веру, сказала:

— Знаешь, мне в Казани у Людмилы тяжелей было жить, чем у вас. Я не только для вас сюда приехала, но и для себя. Боюсь только, замучишься ты со мной, пока я на ноги стану.

— Бабушка, мне так с вами хорошо, — сказала Вера.

А Вере действительно пришлось очень тяжело. Все добывалось с великим трудом, — вода, дрова, молоко. На дворе пригревало солнце, а в комнатах было сыро и холодно, приходилось много топить.

Маленький Митя болел желудком, плакал по ночам, материнского молока ему не хватало. Весь день Вера топталась в комнате и в кухне, то ходила за молоком и хлебом, стирала, мыла посуду, таскала снизу воду. Руки у нее стали красные, лицо обветрилось, покрылось пятнами. От усталости, от постоянной работы на сердце стояла ровная серая тяжесть. Она не причесывалась, редко мылась, не смотрелась в зеркало, тяжесть жизни подмяла ее. Все время мучительно хо-

телось спать. К вечеру руки, ноги, плечи ныли, тосковали по отдыху. Она ложилась, и Митя начинал плакать. Она вставала к нему, кормила, перепеленывала, носила на руках по комнате. Через час он вновь начинал плакать, и она опять вставала. На рассвете он просыпался и уж больше не засыпал, и она в полумраке начинала новый день, не выспавшись, с тяжелой, мутной головой, шла на кухню за дровами, растапливала печь, ставила греть воду — чай для отца и бабушки, принималась за стирку. Но удивительно, она никогда теперь не раздражалась, стала кроткой и терпеливой.

Жизнь Веры стала легче, когда из Ленинска приехала Наталья.

Андреев сразу же после приезда Наташи уехал на несколько дней в северную часть Сталинграда, в заводской поселок. То ли он хотел посмотреть свой дом и завод, то ли рассердился на невестку, оставившую сына в Ленинске, то ли не хотел, чтобы она ела спиридоновский хлеб, и уехал, оставив ей свою карточку.

Наталья, не отдохнув, в день приезда, взялась помогать Вере.

Ах, как легко и щедро работала она, какими легкими становились тяжелые ведра, выварка,

полная воды, мешок угля, едва ее сильные, молодые руки брались за работу.

Теперь Вера стала выходить на полчасика с Митей на улицу, садилась на камешек, смотрела, как блестит весенняя вода, как подымается пар над степью.

Тихо было кругом, война ушла на сотни километров от Сталинграда, но покой не вернулся с тишиной. С тишиной пришла тоска, и, казалось, легче было, когда ныли в воздухе немецкие самолеты, гремели снарядные разрывы и жизнь была полна огня, страха, надежды.

Вера всматривалась в покрытое гноящимися прыщами личико сына, и жалость охватывала ее. И одновременно мучительно жалко становилось Викторова — боже, боже, бедный Ваня, какой у него хиленький, худенький, плаксивый сынок.

Потом она поднималась по заваленным мусором и битым кирпичом ступеням на третий этаж, бралась за работу, и тоска тонула в суете, в мутной, мыльной воде, в печном дыму, в сырости, текущей со стен.

Бабушка подзывала ее к себе, гладила по волосам, и в глазах Александры Владимировны, всегда спокойных и ясных, появлялось невыносимо печальное и нежное выражение.

Вера ни разу, ни с кем — ни с отцом, ни с бабушкой, ни даже с пятимесячным Митей — не говорила о Викторове.

После приезда Наташи все изменилось в квартире. Наталья соскребла плесень со стен, побелила темные углы, отмыла грязь, казалось, намертво въевшуюся в паркетины. Она устроила великую стирку, которую Вера откладывала до теплых времен, этаж за этажом очистила лестницу от мусора.

Полдня провозилась она с длинной, похожей на черного удава дымовой трубой, — труба безобразно провисла, на стыках из нее капала смолянистая жижа, собиралась лужицами на полу. Наталья обмазала трубу известкой, выпрямила, подвязала проволоками, повесила на стыках пустые консервные банки, куда капала смола.

С первого дня она подружилась с Александрой Владимировной, хотя казалось, что шумная и дерзкая женщина, любившая говорить глупости о бабах и мужиках, должна была не понравиться Шапошниковой. С Натальей сразу оказались знакомы множество людей — и линейный монтер, и машинист из турбинного зала, и водители грузовых машин.

Как-то Александра Владимировна сказала вернувшейся из очереди Наталье:

— Вас, Наташа, спрашивал товарищ один, военный.

— Грузин, верно? — сказала Наталья. — Вы его гоните, если еще раз придет. Свататься ко мне надумал, носатый.

— Так сразу? — удивилась Александра Владимировна.

— А долго ли им. В Грузию меня зовет после войны. Для него, что ли, я лестницу мыла.

Вечером она сказала Вере:

— Давай в город поедем, картина будет. Мишка-водитель нас на грузовой свезет. Ты в кабину с ребенком сядешь, а я в кузове.

Вера замотала головой.

— Да поезжай ты, — сказала Александра Владимировна, — было бы мне получше, и я бы с вами поехала.

— Нет-нет, я ни за что.

Наталья сказала:

— Жить-то надо, а то все мы тут собрались вдовцы да вдовицы.

Потом она с упреком добавила:

— Все сидишь дома, никуда пойти не хочешь, а за отцом плохо смотришь. Я вчера стирала, у него

и белье, и носки совсем рваные.

Вера взяла ребенка на руки, вышла с ним на кухню.

— Митенька, ведь мама твоя не вдова, скажи?.. — спросила она.

Степан Федорович все эти дни был очень внимателен к Александре Владимировне, дважды привозил к ней из города врача, помогал Вере ставить ей банки, иногда совал в руку конфету и говорил:

— Вере не отдавайте, я ей уже дал, это специально вам, в буфете были.

Александра Владимировна понимала, что Степана Федоровича мучили неприятности. Но когда она спрашивала его, есть ли новости из обкома, Степан Федорович качал головой и начинал говорить о чем-нибудь другом.

Лишь в тот вечер, когда его известили о предстоящем разборе его дела, Степан Федорович, придя домой, сел на кровать рядом с Александрой Владимировной и сказал:

— Что я наделал, Маруся бы с ума сошла, если б знала о моих делах.

— В чем же вас обвиняют? — спросила Александра Владимировна.

— Кругом виноват, — сказал он.

В комнату вошли Наталья и Вера, и разговор прервался.

Александра Владимировна, глядя на Наталью, подумала, что есть такая сильная, упрямая красота, с которой тяжелая жизнь ничего не может поделать. Все в Наталье было красиво: и шея, и молодая грудь, и ноги, и обнаженные почти до плеч стройные руки. «Философ без философии», — подумала Александра Владимировна. Она часто замечала, как не привыкшие к нужде женщины блекли, попав в тяжелые условия, переставали следить за своей наружностью, — вот и Вера так. Ей нравились девушки-сезонницы, работницы в тяжелых цехах, военные регулировщицы, которые, живя в бараках, работая в пыли, грязи, накручивали перманент, гляделись в зеркальце, пудрили облупившиеся носы; упрямые птицы в непогоду, вопреки всему, пели свою птичью песню.

Степан Федорович тоже смотрел на Наталью, потом вдруг поймал за руку Веру, подтянул ее к себе, обнял и, точно прося прощения, поцеловал.

И Александра Владимировна сказала, казалось, ни к селу ни к городу:

— Что ж уж там, Степан, умирать вам рано! На что я, старуха, и то собираюсь выздороветь и

жить на свете.

Он быстро посмотрел на нее, улыбнулся. А Наталья налила в таз теплой воды, поставила таз на пол возле кровати и, став на колени, проговорила:

— Александра Владимировна, я вам ноги хочу помыть, в комнате тепло сейчас.

— Вы с ума сошли! Дура! Встаньте немедленно! — крикнула Александра Владимировна.

60

Днем вернулся из Тракторозаводского поселка Андреев.

Он вошел в комнату к Александре Владимировне, и его хмурое лицо улыбнулось, — она в этот день впервые поднялась на ноги, бледная и худая, сидела у стола, надев очки, читала книгу.

Он рассказал, что долго не мог найти места, где стоял его дом, все изрыто окопами, воронка на воронке, черепки да ямы.

На заводе уже много людей, новые приходят каждый час, даже милиция есть. О бойцах народного ополчения ничего узнать не пришлось. Хоронят бойцов, хоронят, и все новых находят, то в подвалах, то в окопчиках. А металла, лома там...

Александра Владимировна задавала вопросы, — трудно ли было ему добираться, где ночевал он, как питался, сильно ли пострадали мартеновские печи, какое у рабочих снабжение, видел ли Андреев директора.

Утром перед приходом Андреева Александра Владимировна сказала Вере:

— Я всегда смеялась над предчувствиями и

суевериями, а сегодня впервые в жизни непоколебимо предчувствую, что Павел Андреевич принесет вести от Сережи.

Но она ошиблась.

То, что рассказывал Андреев, было важно, независимо от того, слушал ли его несчастный или счастливый человек. Рабочие рассказывали Андрееву: снабжения нет, зарплаты не выдают, в подвалах и землянках холодно, сыро. Директор другим человеком стал, раньше, когда немец пер на Сталинград, он в цехах — первый друг, а теперь разговаривать не хочет, дом ему построили, легковую машину из Саратова пригнали.

— Вот на СталГРЭСе тоже тяжело, но на Степана Федоровича мало кто обижается, — видно, что переживает за людей.

— Невесело, — сказала Александра Владимировна. — Что же вы решили, Павел Андреевич?

— Проститься пришел, пойду домой, хоть и дома нет. Я место себе приискал в общежитии, в подвале.

— Правильно, правильно, — сказала Александра Владимировна. — Ваша жизнь там, какая ни есть.

— Вот откопал, — сказал он и вынул из кармана заржавевший наперсток.

— Скоро я поеду в город, на Гоголевскую, к себе домой, откапывать черепки, — сказала Александра Владимировна. — Тянет домой.

— Не рано ли вы встали, очень вы бледная.

— Огорчили вы меня своим рассказом. Хочется, чтобы все по-иному стало на этой святой земле.

Он покашлял.

— Помните, Сталин говорил в позапрошлом году: братья и сестры… А тут, когда немцев разбили, — директору коттедж, без доклада не входить, а братья и сестры — в землянки.

— Да-да, хорошего в этом мало, — сказала Александра Владимировна. — А от Сережи ничего нет, как в воду канул.

Вечером приехал из города Степан Федорович. Он утром никому не сказал, уезжая в Сталинград, что на бюро обкома будет рассмотрено его дело.

— Андреев вернулся? — отрывисто, по-начальнически спросил он. — Про Сережу ничего нет?

Александра Владимировна покачала головой.

Вера сразу заметила, что отец сильно выпил. Это видно было по тому, как он открыл дверь, по весело блестевшим несчастным глазам, по тому, как он выложил на стол привезенные из города гостинцы, снял пальто, как задавал вопросы.

Он подошел к Мите, спавшему в бельевой кор-

зине, и наклонился над ним.

— Да не дыши ты на него, — сказала Вера.

— Ничего, пусть привыкает, — сказал веселый Спиридонов.

— Садись обедать, наверное, пил и не закусывал. Бабушка сегодня первый раз вставала с постели.

— Ну вот это действительно здорово, — сказал Степан Федорович и уронил ложку в тарелку, забрызгал супом пиджак.

— Ох, и сильно вы клюкнули сегодня, Степочка, — сказала Александра Владимировна. — С какой это только радости?

Он отодвинул тарелку.

— Да кушай ты, — сказала Вера.

— Вот что, дорогие, — негромко сказал Степан Федорович. — Есть у меня новость. Дело мое решилось, получил строгий выговор по партийной линии, а от наркомата предписание — в Свердловскую область на маленькую станцию, на торфе работает, сельского типа, словом, из полковников в покойники, жилплощадью обеспечивают. Подъемные в размере двухмесячного оклада. Завтра начну дела сдавать. Получим рейсовые карточки.

Александра Владимировна и Вера перегляну-

лись, потом Александра Владимировна сказала:

— Повод, чтобы выпить, основательный, ничего не скажешь.

— И вы, мама, на Урал, отдельную комнату, лучшую, вам, — сказал Степан Федорович.

— Да вам всего там одну комнату дадут, верно, — сказала Александра Владимировна.

— Все равно, мама, вам она.

Степан Федорович называл ее впервые в жизни — мама. И, должно быть спьяну, в глазах его стояли слезы.

Вошла Наталья, и Степан Федорович, меняя разговор, спросил:

— Что ж наш старик про заводы рассказывает?

Наташа сказала:

— Ждал вас Павел Андреевич, а сейчас уснул.

Она села за стол, подперла щеки кулаками, сказала:

— Рассказывает Павел Андреевич, на заводе рабочие семечки жарят, главная у них еда.

Она вдруг спросила:

— Степан Федорович, верно, вы уезжаете?

— Вот как! И я об этом слышал, — весело сказал он.

Она сказала:

— Очень жалеют рабочие.

— Чего жалеть, новый хозяин, Тишка Батров, человек хороший. Мы с ним в институте вместе учились.

Александра Владимировна сказала:

— Кто там носки вам так артистически штопать будет? Вера не сумеет.

— Вот это, действительно, вопрос, — сказал Степан Федорович.

— Придется Наташу с вами командировать, — сказала Александра Владимировна.

— А что ж, — сказала Наташа, — я поеду!

Они посмеялись, но тишина после шутливого разговора стала смущенной и напряженной.

61

Александра Владимировна решила ехать вместе со Степаном Федоровичем и Верой до Куйбышева, собиралась прожить некоторое время у Евгении Николаевны.

За день до отъезда Александра Владимировна попросила у нового директора машину, чтобы съездить в город, посмотреть на развалины своего дома.

По дороге она спрашивала водителя:

— А тут что? А здесь что было раньше?

— Когда раньше? — спрашивал сердитый водитель.

Три слоя жизни обнажились в развалинах города, — той, что была до войны, военной — периода боев, и нынешней, когда жизнь снова искала свое мирное русло. В доме, где помещались когда-то химчистка и мелкий ремонт одежды, окна были заложены кирпичом, и во время боев через бойницы, устроенные в кирпичной кладке, вели огонь пулеметчики немецкой гренадерской дивизии; а теперь через бойницу выдавался хлеб стоящим в очереди женщинам.

Блиндажи и землянки выросли среди разва-

лин домов, в них помещались солдаты, штабы, радиопередатчики, в них писались донесения, набивались пулеметные ленты, заряжались автоматы.

А сейчас мирный дым шел из труб, возле блиндажей сохло белье, играли дети.

Мир вырастал из войны — нищий, бедный, почти такой же трудный, как война.

На разборке каменного мусора, завалившего магистральные улицы, работали военнопленные. У продовольственных магазинов, размещавшихся в подвалах, стояли очереди с бидончиками. Военнопленные румыны лениво шарили среди каменных громад, откапывали трупы. Военных не было видно, изредка лишь попадались моряки, водитель объяснил, что Волжская флотилия осталась в Сталинграде тралить мины. Во многих местах были навалены свежие негорелые доски, бревна, мешки цемента. Это завозились материалы для строительства. Кое-где среди развалин наново асфальтировали мостовые.

По пустынной площади шла женщина, впряженная в двухколесную, груженную узлами тележку, двое детей помогали ей, тянули за веревки, привязанные к оглоблям.

Все тянулись домой, в Сталинград, а Александра

Владимировна приехала и вновь уезжала.

Александра Владимировна спросила водителя:

— Жалко вам, что Спиридонов уходит со СталГРЭСа?

— Мне-то что? — сказал водитель. — Спиридонов меня гонял, и новый будет гонять. Один черт. Подписал путевку — я и еду.

— А здесь что? — спросила она, указывая на широкую стену, закопченную огнем, с зияющими глазницами окон.

— Учреждения разные, лучше бы людям отдали.

— А раньше что здесь было?

— Раньше тут сам Паулюс помещался, отсюда его и взяли.

— А еще раньше?

— Не узнаете? Универмаг.

Казалось, война оттеснила прежний Сталинград. Ясно представлялось, как из подвала выходили немецкие офицеры, как немецкий фельдмаршал шел мимо этой закопченной стены и часовые вытягивались перед ним. Но неужели здесь Александра Владимировна купила отрез на пальто, часы, которые подарила Марусе в день рождения, сюда она приходила с Сережей и в спортивном отделе на втором этаже купила ему

коньки?

Вот так же, должно быть, странно смотреть на детей, на стирающих женщин, на подводу, груженную сеном, на старика с граблями тем, кто приезжает смотреть Малахов курган, Верден, Бородинское поле… Здесь, где виноградники, шли колонны пуалю[19], двигались крытые брезентом грузовики; там, где изба, тощее колхозное стадо, яблоньки, шла конница Мюрата, отсюда Кутузов, сидя в креслице, взмахом старческой руки поднимал в контратаку русскую пехоту. На кургане, где пыльные куры и козы щиплют среди камней траву, стоял Нахимов, отсюда неслись светящиеся, описанные Толстым бомбы, здесь кричали раненые, свистели английские пули.

И Александре Владимировне казались странными эти бабьи очереди, лачуги, дядьки, сгружавшие доски, эти сохнущие на веревках рубахи, залатанные простыни, вьющиеся змеями чулки, объявления, приклеенные к мертвым стенам…

Она ощущала, какой пресной казалась нынешняя жизнь Степану Федоровичу, когда он рассказывал о спорах в райкоме по поводу распределения рабочей силы, досок, цемента, какой

---

[19] Примечания: 19
Шутливое прозвище французских солдат.

скучной стала для него «Сталинградская правда», писавшая о разборе лома, расчистке улиц, устройстве бань, орсовских столовых. Он оживлялся, рассказывая ей о бомбежках, пожарах, о приездах на СталГРЭС командарма Шумилова, о немецких танках, шедших с холмов, и о советских ребятах-артиллеристах, встречавших огнем своих пушек эти танки.

На этих улицах решалась судьба войны. Исход этой битвы определял карту послевоенного мира, меру величия Сталина либо ужасной власти Адольфа Гитлера. Девяносто дней Кремль и Берхтесгаден жили, дышали, бредили словом — Сталинград.

Сталинграду надлежало определять философию истории, социальные системы будущего. Тень мировой судьбы закрыла от человеческих глаз город, в котором шла когда-то обычная жизнь. Сталинград стал сигналом будущего.

Старая женщина, приближаясь к своему дому, бессознательно находилась под властью тех сил, что осуществляли себя в Сталинграде, где она работала, воспитывала внука, писала письма дочерям, болела гриппом, покупала себе туфли.

Она попросила водителя остановиться, сошла с машины. С трудом пробираясь по пустынной

улице, не расчищенной от обломков, она вглядывалась в развалины, узнавая и не узнавая остатки домов, стоявших рядом с ее домом.

Стена ее дома, выходившая на улицу, сохранилась, сквозь зияющие окна Александра Владимировна увидела старческими, дальнозоркими глазами стены своей квартиры, узнала их поблекшую голубую и зеленую краску. Но не было пола в комнатах, не было потолков, не было лестницы, по которой могла бы она подняться. Следы пожара отпечатались на кирпичной кладке, во многих местах кирпич был изгрызен осколками.

С пронзительной, потрясающей душу силой она ощутила свою жизнь, своих дочерей, несчастного сына, внука Сережу, свои безвозвратные потери, свою бесприютную седую голову. Она смотрела на развалины дома, слабая, больная женщина в стареньком пальто, в стоптанных туфлях.

Что ждет ее? Она в семьдесят лет не знала этого. «Жизнь впереди», — подумала Александра Владимировна. Что ждет тех, кого она любила? Она не знала. Весеннее небо смотрело на нее из пустых окон ее дома.

Жизнь ее близких была неустроенной, запутанной и неясной, полной сомнений, горя, ошибок. Как жить Людмиле? Чем кончится разлад в ее

семье? Что с Сережей? Жив ли он? Как трудно жить Виктору Штруму. Что будет с Верой и Степаном Федоровичем? Сумеет ли Степан вновь построить жизнь, найдет ли покой? Какая дорога предстоит Наде, умной, доброй и недоброй? А Вера? Согнется в одиночестве, в нужде, житейских тяготах? Что будет с Женей, поедет ли она в Сибирь за Крымовым, сама ли окажется в лагере, погибнет так же, как погиб Дмитрий? Простит ли Сереже государство его безвинно погибших в лагере мать и отца?

Почему так запутанна, так неясна их судьба?

А те, что умерли, убиты, казнены, продолжали свою связь с живыми. Она помнила их улыбки, шутки, смех, их грустные и растерянные глаза, их отчаяние и надежду.

Митя, обнимая ее, говорил: «Ничего, мамочка, главное, ты не тревожься за меня, и тут, в лагере, есть хорошие люди». Соня Левинтон, черноволосая, с усиками над верхней губой, молодая, сердитая и веселая, декламирует стихи. Бледная, всегда грустная, умная и насмешливая Аня Штрум. Толя некрасиво, жадно ел макароны с тертым сыром, сердил ее тем, что чавкал, не хотел ничем помочь Людмиле: «Стакана воды не допросишься...» — «Хорошо, хорошо, принесу,

но почему не Надька?» Марусенька! Женя всегда насмехалась над твоими учительскими проповедями, учила ты, учила Степана ортодоксии… утонула в Волге с младенцем Славой Березкиным, со старухой Варварой Александровной. Объясните мне, Михаил Сидорович. Господи, что уж он объяснит…

Все неустроенные, всегда с горестями, тайной болью, сомнениями, надеялись на счастье. Одни приезжали к ней, другие писали ей письма; и она всегда со странным чувством: большая дружная семья, а где-то в душе ощущение собственного одиночества.

Вот и она, старуха, живет и все ждет хорошего, и верит, и боится зла, и полна тревоги за жизнь живущих, и не отличает от них тех, что умерли, стоит и смотрит на развалины своего дома, и любуется весенним небом, и даже не знает того, что любуется им, стоит и спрашивает себя, почему смутно будущее любимых ею людей, почему столько ошибок в их жизни, и не замечает, что в этой неясности, в этом тумане, горе и путанице и есть ответ, и ясность, и надежда, и что она знает, понимает всей своей душой смысл жизни, выпавшей ей и ее близким, и что хотя ни она и никто из них не скажет, что ждет их, и хотя они знают, что

в страшное время человек уж не кузнец своего счастья и мировой судьбе дано право миловать и казнить, возносить к славе и погружать в нужду, и обращать в лагерную пыль, но не дано мировой судьбе, и року истории, и року государственного гнева, и славе, и бесславию битв изменить тех, кто называется людьми, и ждет ли их слава за труд или одиночество, отчаяние и нужда, лагерь и казнь, они проживут людьми и умрут людьми, а те, что погибли, сумели умереть людьми, — и в том их вечная горькая людская победа над всем величественным и нечеловеческим, что было и будет в мире, что приходит и уходит.

62

Этот последний день был хмельным не только для пившего с утра Степана Федоровича. Александра Владимировна и Вера были в предотъездном чаду. Несколько раз приходили рабочие, спрашивали Спиридонова. Он сдавал последние дела, ездил в райком за откреплением, звонил друзьям по телефону, откреплял в военкомате бронь, ходил по цехам, разговаривал, шутил, а когда на минуту оказался один в турбинном зале, приложил щеку к холодному, неподвижному маховику, устало закрыл глаза.

Вера укладывала вещи, досушивала над печкой пеленки, готовила в дорогу бутылочки с кипяченым молоком для Мити, запихивала в мешок хлеб. В этот день она навсегда расставалась с Викторовым, с матерью. Они останутся одни, никто о них здесь не подумает, не спросит.

Ее утешала мысль, что она теперь самая старшая в семье, самая спокойная, примиренная с тяжелой жизнью.

Александра Владимировна, глядя в воспаленные от постоянного недосыпания глаза внучки, сказала:

— Вот так, Вера, устроено. Тяжелей всего расставаться с домом, где пережил много горя.

Наташа взялась печь на дорогу Спиридоновым пироги. Она с утра ушла, нагруженная дровами и продуктами, в рабочий поселок к знакомой женщине, у которой имелась русская печь, готовила начинку, раскатывала тесто. Лицо ее раскраснелось от кухонного труда, стало совсем молодым и очень красивым. Она смотрелась в зеркальце, смеясь, припудривала себе нос и щеки мукой, а когда знакомая женщина выходила из комнаты, Наташа плакала, и слезы падали в тесто.

Но знакомая женщина все же заметила ее слезы и спросила:

— Чего ты, Наталья, плачешь?

Наташа ответила:

— Привыкла я к ним. Старуха хорошая, и Веру эту жалко, и сироту ее жалко.

Знакомая женщина внимательно выслушала объяснение, сказала:

— Врешь ты, Наташка, не по старухе ты плачешь.

— Нет, по старухе, — сказала Наталья.

Новый директор обещал отпустить Андреева, но велел ему остаться на СталГРЭСе еще на пять дней. Наталья объявила, что эти пять дней и она

проживет со свекром, а потом поедет к сыну в Ленинск.

— А там, — сказала она, — видно будет, куда дальше поедем.

— Чего там тебе видно? — спросил свекор, но она не ответила.

Вот оттого, должно быть, она и плакала, что ничего не было видно. Павел Андреевич не любил, когда невестка проявляла заботу о нем, — ей казалось, что он вспоминает ее ссоры с Варварой Александровной, осуждает ее, не прощает.

К обеду пришел домой Степан Федорович, рассказал, как прощались с ним рабочие в механической мастерской.

— Да и здесь все утро паломничество было к вам, — сказала Александра Владимировна, — человек пять-шесть вас спрашивали.

— Все, значит, готово? Грузовик ровно в пять дадут, — он усмехнулся. — Спасибо Батрову, все же дал машину.

Дела были закончены, вещи уложены, а чувство пьяного, нервного возбуждения не оставляло Спиридонова. Он стал переставлять чемоданы, наново завязывать узлы, казалось, ему не терпелось уехать. Вскоре пришел из конторы Андреев, и Степан Федорович спросил:

— Как там, телеграммы насчет кабеля нет из Москвы?

— Нет, телеграммы не было ни одной.

— Ах ты, сукины коты, срывают все дело, ведь к майским дням первую очередь можно бы пустить.

Андреев сказал Александре Владимировне:

— Плохая вы совсем, как вы в такую дорогу пускаетесь?

— Ничего, я семижильная. Да и что делать, к себе домой, что ли, на Гоголевскую? А тут уж приходили маляры, смотрели, ремонт делать для нового директора.

— Мог бы день подождать, хам, — сказала Вера.

— Почему ж он хам? — сказала Александра Владимировна. — Жизнь ведь идет.

Степан Федорович спросил:

— Как обед, готов, чего же ждать?

— Вот Наталью ждем с пирогами.

— О, с пирогами, это мы на поезд опоздаем, — сказал Степан Федорович.

Есть он не хотел, но к прощальному обеду была припасена водка, а ему очень хотелось выпить.

Он все хотел зайти в свой служебный кабинет, побыть там хоть несколько минут, но неудобно

было, — у Батрова шло совещание заведующих цехами. От горького чувства еще больше хотелось выпить, он все качал головой: опоздаем мы, опоздаем.

Этот страх опоздать, нетерпеливое ожидание Наташи чем-то были приятны ему, но он никак не мог понять, чем; не мог вспомнить, что так же посматривал на часы, сокрушенно говорил: «Опоздаем мы», когда в довоенные времена собирался с женой в театр.

Ему хотелось слышать хорошее о себе в этот день, от этого делалось еще хуже на душе. И он снова повторил:

— Чего меня жалеть, дезертира и труса? Еще, чего доброго, от своего нахальства потребую, чтобы мне дали медаль за участие в обороне.

— Давайте, в самом деле, обедать, — сказала Александра Владимировна, видя, что Степан Федорович не в себе.

Вера принесла кастрюлю с супом. Спиридонов достал бутылку водки. Александра Владимировна и Вера отказались пить.

— Что ж, разольем по мужчинам, — сказал Степан Федорович и добавил: — А может, подождем Наталью?

И именно в это время вошла Наташа с кошел-

кой, стала выкладывать на стол пироги.

Степан Федорович налил полный стакан Андрееву и себе, полстакана Наталье.

Андреев проговорил:

— Вот прошлым летом мы так же пироги у Александры Владимировны на Гоголевской ели.

— Эти, наверное, ничуть не хуже прошлогодних, — сказала Александра Владимировна.

— Сколько народу было за столом, а теперь только бабушка, вы да я с папой, — сказала Вера.

— Сокрушили в Сталинграде немцев, — сказал Андреев.

— Великая победа! Дорого она людям обошлась, — сказала Александра Владимировна и добавила: — Ешьте побольше супа, в дороге долго будем питаться всухомятку, горячего не увидим.

— Да, дорога трудная, — сказал Андреев. — И посадка трудная, вокзала нет, поезда с Кавказа мимо нас транзитом на Балашов едут, народу в них полно, военные, военные. Зато хлеб белый с Кавказа везут!

Степан Федорович проговорил:

— Тучей на нас шли, а где эта туча? Победила Советская Россия.

Он подумал, что недавно еще на СталГРЭСе слышно было, как шумят немецкие танки, а сей-

час их отогнали на многие сотни километров, бои идут под Белгородом, под Чугуевом, на Кубани.

И тут же он вновь заговорил о том, что нестерпимо пекло его:

— Ладно, пускай я дезертир, но кто мне выговор выносит? Пускай меня сталинградские бойцы судят. Я перед ними во всем повинюсь.

Вера сказала:

— А возле вас, Павел Андреевич, тогда Мостовской сидел.

Но Степан Федорович перебил разговор, очень уж его пекло сегодняшнее горе. Обращаясь к дочери, он сказал:

— Позвонил я первому секретарю обкома, хотел проститься, как-никак всю оборону я единственный из всех директоров на правом берегу оставался, а помощник его, Барулин, не соединил меня, сказал: «Товарищ Пряхин с вами говорить не может. Занят». Ну что же, занят так занят.

Вера, точно не слыша отца, сказала:

— А возле Сережи лейтенант сидел, Толин товарищ, где он теперь, этот лейтенант?..

Ей так хотелось, чтобы кто-нибудь сказал: «Где ему быть, возможно, жив-здоров, воюет».

Такие слова хоть чуточку утешили бы ее сегодняшнюю тоску.

Но Степан Федорович снова перебил ее, проговорил:

— Я ему говорю, уезжаю сегодня, сам знаешь. А он мне: что ж, тогда напишите, обратитесь в письменной форме. Ладно, черт с ним. Давай по маленькой. В последний раз за этим столом сидим.

Он поднял стакан в сторону Андреева:

— Павел Андреевич, не вспоминай меня плохим словом.

Андреев сказал:

— Что ты, Степан Федорович. Местный рабочий класс за вас болеет.

Спиридонов выпил, несколько мгновений молчал, точно вынырнув из воды, потом стал есть суп.

За столом стало тихо, слышно было только, как жевал пирог да постукивал ложкой Степан Федорович.

В это время вскрикнул маленький Митя. Вера встала из-за стола, подошла к нему, взяла на руки.

— Да вы кушайте пирог, Александра Владимировна, — тихо, словно просила о жизни, сказала Наталья.

— Обязательно, — сказала Александра Влади-

мировна.

Степан Федорович сказал с торжественной, пьяной и счастливой решимостью:

— Наташа, при всех вам говорю. Вам тут делать нечего, отправляйтесь в Ленинск, берите сына и приезжайте к нам на Урал. Вместе будем, вместе легче.

Он хотел увидеть ее глаза, но она низко склонила голову, он видел только ее лоб, темные, красивые брови.

— И вы, Павел Андреевич, приезжайте. Вместе легче.

— Куда мне ехать, — сказал Андреев. — Я уж не воскресну.

Степан Федорович быстро оглянулся на Веру, она стояла у стола с Митей на руках и плакала.

И впервые за этот день он увидел стены, которые покидал, и боль, жегшая его, мысли об увольнении, о потере почета и любимой работы, сводившие с ума обида и стыд, не дававшие ему радоваться свершившейся победе, все исчезло, перестало значить.

А сидевшая рядом с ним старуха, мать его жены, жены, которую он любил и которую навеки потерял, поцеловала его в голову и сказала:

— Ничего, ничего, хороший мой, жизнь есть

жизнь.

63

Всю ночь в избе было душно от натопленной с вечера печи.

Постоялица и приехавший к ней накануне на побывку муж, раненый, вышедший из госпиталя военный, не спали почти до утра. Они разговаривали шепотом, чтобы не разбудить старуху-хозяйку и спавшую на сундуке девочку.

Старуха старалась уснуть, но не могла. Она сердилась, что жилица разговаривала с мужем шепотом, — это ей мешало, она невольно вслушивалась, старалась связать отдельные слова, доходившие до нее.

Казалось, говори они громче, старуха бы послушала немного и уснула. Ей даже хотелось постучать в стену и сказать: «Да что вы шепчетесь, интересно, что ли, слушать вас».

Несколько раз старуха улавливала отдельные фразы, потом снова шепот становился невнятным.

Военный сказал:

— Приехал из госпиталя, даже конфетки вам не мог привезти. То ли дело на фронте.

— А я, — ответила жилица, — картошкой с

постным маслом тебя угостила.

Потом они шептались, ничего нельзя было понять, потом, казалось, жилица плакала.

Старуха услышала, как она сказала:

— Это моя любовь сохранила тебя.

«Ох, лиходей», — подумала старуха о военном.

Старуха задремала на несколько минут, видимо, всхрапнула, и голоса стали громче.

Она проснулась, прислушалась, услышала:

— Пивоваров мне написал в госпиталь, только недавно дали мне подполковника и сразу послали на полковника. Командарм сам возбудил. Ведь он меня на дивизию поставил. И орден Ленина. А все за тот бой, когда я, засыпанный, без связи с батальонами в цеху сидел, как попка, песни пел. Такое чувство, словно я обманщик. Так мне неудобно, ты и не представляешь.

Потом они, видимо, заметили, что старуха не храпит, и заговорили шепотом.

Старуха была одинока, старик ее умер до войны, единственная дочь не жила с ней, работала в Свердловске. На войне у старухи никого не было, и она не могла понять, почему ее так расстроил вчерашний приезд военного.

Жилицу она не любила, она казалась старухе пустой, несамостоятельной женщиной. Вставала

она поздно, девчонка у нее ходила рваная, кушала что попало. Большей частью жилица молчала, сидела за столом, смотрела в окно. А иногда на нее накатывало, и она принималась работать, и, оказывается, все умела: и шила, и полы мыла, и варила хороший суп, и даже корову умела доить, хотя была городской. Видно, была она какая-то не в себе. И девчонка была у нее какая-то малахольная. Очень любила возиться с жуками, кузнечиками, тараканами, и как-то по-дурному, не как все дети, — целует жуков, рассказывает им что-то, потом выпустит их и сама плачет, зовет, именами называет. Старуха ей осенью принесла из леса ежика, девчонка за ним ходила неотступно, куда он, туда и она. Еж хрюкнет, она сомлеет от радости. Еж уйдет под комод, и она сядет около комода на пол и ждет его, говорит матери: «Тише, он отдыхает». А когда еж ушел в лес, она два дня есть не хотела.

Старухе все казалось, что ее жилица удавится, и беспокоилась: куда девчонку девать? Не хотела она на старости новых хлопот.

— Я никому не обязана, — говорила она, и ее действительно мучила мысль: встанет утром, а жилица висит. Куда девку тогда?

Она считала, что жилицу муж бросил, нашел

себе другую на фронте, помоложе, от этого она задумывается. Письма от него приходили редко, а когда приходили, она не становилась веселей. Вытянуть из нее ничего нельзя было — молчит. И соседки замечали, что у старухи странная жилица.

Старуха хлебнула горя с мужем. Он был человек пьющий, скандальный. И дрался он не по-обычному, а норовил либо кочергой, либо палкой ее достать. И дочку он бил. А от трезвого тоже было мало радости, — скупой, придирался, в горшки, как баба, нос совал: все не то, все не так. Учил ее готовить, не то купила, не так корову доит, не так постель стелет. И через каждое слово по-матерному. Он и ее приучил, чуть не по ее, она теперь матюгалась. Она даже любимую корову материла. Когда муж умер, она ни одной слезы не проронила. И лез он к ней до старости. Что с ним поделаешь, пьяный. И хоть бы дочки постыдился, вспомнить стыдно. А храпел как, особенно когда напьется. А корова у нее такая побегунья, такая побегунья. Чуть что — бежит из стада, разве за ней старый человек угонится.

Старуха то прислушивалась к шепоту за перегородкой, то вспоминала свою недобрую жизнь с мужем и вместе с обидой чувствовала жалость

к нему. Все же работал он трудно, зарабатывал мало. Если бы не корова, совсем плохо было бы им жить. И умер он оттого, что пыли на руднике наглотался. Вот она не умерла, живет. А когда-то он ей из Екатеринбурга бусы привез, их дочь теперь носит…

Рано утром, еще не просыпалась девочка, они пошли в соседний поселок за хлебом, там по военной рейсовой карточке можно было получить белый хлеб.

Они шли молча, держась за руки, надо было пройти полтора километра лесом, спуститься к озеру, а оттуда пройти берегом.

Снег еще не стаял и казался синеватым. В его крупных шершавых кристаллах зарождалась, наливалась синева озерной воды. На солнечном склоне бугра снег таял, вода шумела в придорожной канаве. Блеск снега, воды, запаянных льдом луж слепил глаза. Света было так много, что сквозь него приходилось продираться, как сквозь заросли. Он беспокоил, мешал, и, когда они наступали на замерзшие лужицы и раздавленный лед вспыхивал на солнце, казалось, что под ногой похрустывает свет, дробится на колючие, острые осколочки-лучи. Свет тек в придорожной канаве, а там, где канаву преграждали булыжники, свет

вздувался, пенился, звякал и журчал. Весеннее солнце приблизилось совсем близко к земле. Воздух был одновременно прохладным и теплым.

Ему казалось, что его горло, обожженное морозами и водкой, прокопченное табаком и пороховыми газами, пылью и матюгами, вымыто, прополоскано светом, синевой неба. Они вошли в лес, под тень первых дозорных сосен. Здесь снег лежал сплошной нетающей пеленой. На соснах, в зеленом колесе ветвей, трудились белки, а внизу, на леденцовой поверхности снега, лежали широким кругом изгрызенные шишки, сточенная резцами древесная труха.

Тишина в лесу происходила от того, что свет, задержанный многоэтажной хвоей, не шумел, не звякал.

Они шли по-прежнему молча, они были вместе, и только от этого все вокруг стало хорошим и пришла весна.

Не условившись, они остановились. Два отъевшихся снегиря сидели на еловой ветке. Красные толстые снегирьи груди показались цветами, раскрывшимися на заколдованном снегу. Странной, удивительной в этот час была тишина.

В ней была память о поколении прошлогодней листвы, об отшумевших дождях, о свитых и по-

кинутых гнездах, о детстве, о безрадостном труде муравьев, о вероломстве и разбое лис и коршунов, о мировой войне всех против всех, о злобе и добре, рожденных в одном сердце и вместе с этим сердцем умерших, о грозах и громе, от которого вздрагивали души зайцев и стволы сосен. В прохладном полусумраке, под снегом спала ушедшая жизнь, — радость любовной встречи, апрельская неуверенная птичья болтовня, первое знакомство со странными, а потом ставшими привычными соседями. Спали сильные и слабые, смелые и робкие, счастливые и несчастные. В опустевшем и заброшенном доме происходило последнее прощание с умершими, навсегда ушедшими из него.

Но в лесном холоде весна чувствовалась напряженней, чем на освещенной солнцем равнине. В этой лесной тишине была печаль большая, чем в тишине осени. В ее безъязыкой немоте слышался вопль об умерших и яростная радость жизни…

Еще темно и холодно, но совсем уж скоро распахнутся двери и ставни, и пустой дом оживет, заполнится детским смехом и плачем, торопливо зазвучат милые женские шаги, пройдет по дому уверенный хозяин.

Они стояли, держа кошелки для хлеба, и мол-

чали.

1960 г.